



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

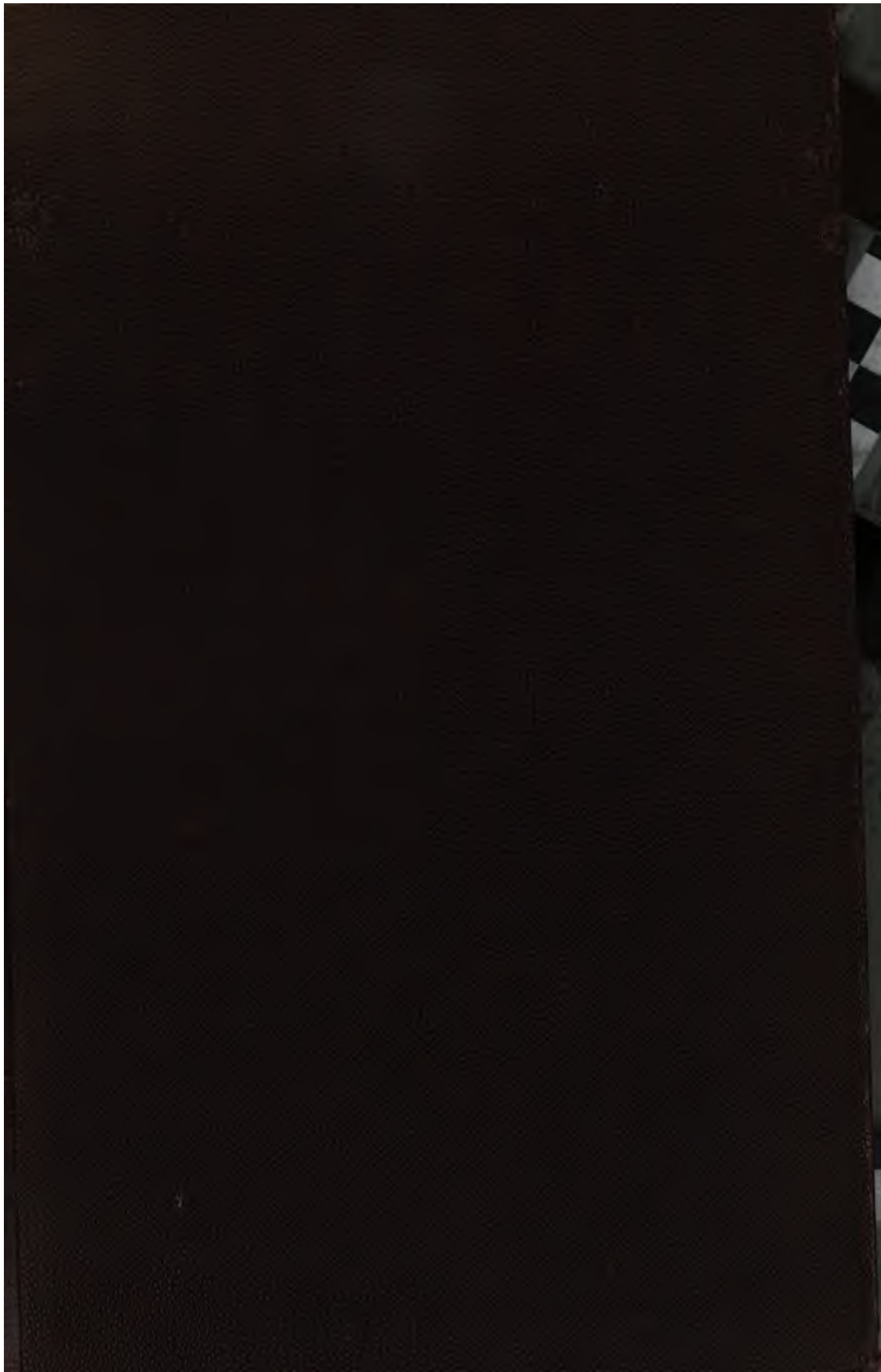
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>







2015. 12. 12. 10:00



*Скабичевъ, П. П.,*  
*=*

# СОЧИНЕНІЯ А. СКАБИЧЕВСКАГО.

Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литературныя характеристики.

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА,  
гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ, по фотографіи Ю. Штейнберга.

—> ТОМЪ ВТОРОЙ. <—

Цѣна за два тома—3 рубля.

Простые переплеты—по 50 к. Календарные съ золотомъ—по 1 р. Пересылка безъ переплетовъ—за 4 фута,  
въ переплетахъ—за 5 фунтовъ.

С-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія газеты «Новости», Екатерининскій каналъ, д. № 115.

1890.

*СК*

Pg 3011  
S626  
v.2

27976

YRABALI RIVONH BHT



# ОГЛАВЛЕНІЕ

## ВТОРОГО ТОМА.

### 1873.

- |   |    |
|---|----|
| 1. Сентиментальное прекраснѣе въ мундирѣ реализма . . . . . | 1  |
| 2. Наши грядущіе Бисмарки . . . . .                         | 31 |

### 1874—1875.

- |   |     |
|---|-----|
| 3. Литературныя противорѣчія . . . . .      | 93  |
| 4. Винегретъ современной морали . . . . .   | 131 |
| 5. Наша современная беззавѣтность . . . . . | 161 |

### 1876—1877.

- |  |     |
|--|-----|
| 6. Бесѣды о русской словесности . . . . .  | 195 |
| (I. Наше современное литературное безвременье.—II. Поэзія графа Ал. Толстого, какъ типъ чуждаго творчества.—III. О различіи художественно-творческаго отношенія къ дѣйствительности отъ художественно-техническаго). |     |
| 7. А. И. Левитовъ. Его жизнь и сочиненія . . . . .   | 285 |

### 1878—1880.

- |  |     |
|--|-----|
| 8. Николай Алексѣевичъ Некрасовъ . . . . .                                     | 331 |
| 9. Разладъ художника и мыслителя . . . . .                                     | 405 |
| 10. Эпидемія легкомыслія . . . . .   | 427 |
| 11. Женскій вопросъ съ точки зрѣнія парижскаго бульварнаго публициста. . . . . | 439 |

### 1882.

- |   |     |
|---|-----|
| 12. Жизнь въ литературѣ и литература въ жизни (Письма къ читателямъ). . . . . | 465 |
| (I. Глѣбъ Успенскій, какъ разрушитель иллюзій.—II. Вс. Мих. Гаршинъ).         |     |
| 13. Новый человекъ деревни . . . . .  | 541 |

1885—1888.

14. Мысли и замѣтки по поводу нравственно-философскихъ идей графа Л. Толстого . . . . .	561
15. Власть тьмы . . . . .	621
16. Пѣсни о женской неволѣ . . . . .	635
17. Нашъ историческій романъ въ его прошломъ и настоящемъ . . .	653
18. Женщины въ пьесахъ Островскаго . . . . .	793
19. Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ . . . . .	829

1873.

## СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕКРАСНОДУШІЕ

ВЪ МУНДИРѢ РЕАЛИЗМА.

Сочиненія А. Михайлова. Спб. 1873 года.

### I.

Подъ весьма естественнымъ вліяніемъ Добролюбова въ настоящее время весьма распространена у насъ, такъ называемая общественная критика, заключающаяся въ томъ, что критикъ, упомянувши вскользь объ эстетическихъ достоинствахъ произведенія, все свое вниманіе устремляетъ на факты жизни, изображенные въ произведеніи, причѣмъ каждому отдѣльному типу посвящается особенный тщательный анализъ, затѣмъ слѣдуетъ еще болѣе подробный анализъ отношеній дѣйствующихъ лицъ между собою; каждая сценка подаетъ критику поводъ входить въ многорѣчивыя разсужденія о различныхъ суетахъ міра сего, и въ результатъ критикъ старается сдѣлать выводы, опять-таки, не столько о достоинствахъ и недостаткахъ произведенія, сколько о качествѣ изображаемыхъ поэтомъ фактовъ жизни.

Но слишкомъ усердные послѣдователи Добролюбова упускаютъ часто простую до банальности истину, что для того, чтобы анализъ фактовъ жизни по произведеніямъ былъ вѣренъ и могъ привести къ плодотворнымъ результатамъ, необходимо, чтобы въ разбираемыхъ произведеніяхъ находились дѣйствительные факты, а не измышленія досужей фантазіи поэта и чтобы факты эти были представлены въ истинномъ ихъ свѣтѣ и въ настоящей величинѣ. Послѣдователи гениальнаго критика забываютъ, какъ осторожно обходился съ фактами произведеній самъ ихъ гениальный учитель. Такъ, напримѣръ, онъ оставилъ безъ разбора одно, довольно крупное произведеніе своего времени, именно „Тысячу душъ“ Писемскаго, и въ одной изъ своихъ статей онъ объясняетъ, что умалчиваетъ о романѣ Писемскаго, о которомъ такъ много въ то время говорили, именно потому, что, сообразно характеру своей критики, онъ не можетъ положиться

на романъ, сомнѣваясь въ истинности изображенныхъ въ немъ фактовъ.

Но что-же, въ такомъ случаѣ, дѣлать общественной критикѣ, если появляется произведеніе, обращающее на себя вниманіе и, въ то-же время, представляющее факты жизни столь невѣрно, что судить по этому произведенію о жизни не представляется никакой возможности, и особенно, если является не одно такое произведеніе, а цѣлый ихъ рядъ, создается цѣлая школа? Неужели-же каждый разъ поступать съ ними такъ, какъ поступалъ Добролюбовъ съ романомъ Писемскаго, т.-е. оставлять ихъ безъ вниманія? Но развѣ въ одинъ прекрасный день не можетъ произойти такой казусъ, что общественной критикѣ придется совсѣмъ замолчать, если литература, вслѣдствіе какихъ-нибудь печальныхъ обстоятельствъ, будетъ вся переполнена произведеніями, искажающими факты жизни, и критика не захочетъ дѣлать ложные выводы изъ невѣрныхъ источниковъ. Или, можетъ быть, критикъ въ такомъ случаѣ слѣдуетъ держаться отрицательнаго пріема, т.-е. докладывать читателямъ, что факты, изображаемые писателемъ, невѣрны, искажены: въ дѣйствительности они не такіе, какъ въ разбираемомъ произведеніи, а вотъ, молъ, какіе? Но, какъ-же вы, въ качествѣ критика, въ состояніи будете показать дѣйствительные факты противъ искаженныхъ произведеній, иначе сказать, представить истинные образы противъ ложныхъ? Для этого нужно быть такимъ-же поэтомъ, какъ тотъ, котораго вы разбираете. Или, можетъ быть, для этого достаточно взять такіа произведенія, въ которыхъ тѣ-же факты представлены въ истинномъ ихъ видѣ и сопоставить съ искаженными фактами разбираемаго произведенія? Прекрасно, если имѣются подъ рукой такіа спасительныя произведенія, истинность образовъ которыхъ для всѣхъ читателей равно

несомнѣнна, такъ что произведенія эти безъ спора и безъ излишнихъ разсужденій могутъ быть всѣми приняты за единицу критической мѣры. Ну, а что-же дѣлать, если такихъ единицъ мѣры не имѣется въ виду въ данномъ случаѣ, если мы встрѣчаемъ въ дѣломъ рядъ произведеній различныхъ писателей—факты спорные, неизслѣдованные, неприведенные въ ясность; если о нихъ всякій молодецъ судитъ на свой образецъ и какого-либо общаго критериума еще не составлено? Понятно, что въ каждомъ произведеніи, трактующемъ объ этихъ фактахъ, будетъ отражаться тотъ или другой изъ многочисленныхъ взглядовъ, равно ни для кого не обязательныхъ, и въ этомъ отношеніи, какъ въ беллетристикѣ, такъ и въ критикѣ, которая вздумаетъ судить объ этихъ фактахъ по образамъ искусства, вы встрѣтите полнѣйшій произволъ личныхъ вкусовъ и предубѣжденій. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите вы, напримѣръ, съ одной стороны рядъ типовъ людей сороковыхъ годовъ, выставленныхъ Тургеневымъ, Гончаровымъ, Писемскимъ и прочими писателями этой школы. Какъ ни разнообразны всѣ эти типы, но во всѣхъ ихъ вы найдете нѣчто общее, одно, точно какъ будто всѣ эти писатели нарочно предварительно сговорились, какъ имъ изображать людей своего поколѣнія и, сплѣвшись, составили одинъ хоръ, совершенно стройный, несмотря на все разнообразіе голосовъ и тоновъ. Эта общность типовъ невольно убѣждаетъ васъ въ истинности ихъ изображенія и даетъ вамъ полную возможность привести къ одному знаменателю все ихъ кажущееся разнообразіе. А отчего произошло это согласіе хора? Ни отчего иного, какъ оттого, что, въ пятидесятые годы, когда беллетристика начала изображать людей сороковыхъ годовъ, взгляды на этихъ людей все болѣе и болѣе устанавливались, люди эти ясно представлялись воображенію писателей со всѣми психическими особенностями, достоинствами и недостатками, представлялись, однимъ словомъ, людьми, облеченными въ плоть и кровь своего вѣка, а не отвлеченными идеалами или мелодраматическими злодѣями. Понятно, что при существованіи довольно полнаго комплекта типовъ сороковыхъ годовъ, не подлежащихъ сомнѣнію, общественная критика могла смѣло обсуждать по беллетристическимъ произведеніямъ людей предшествовавшаго поколѣнія, и Добролюбовъ стоялъ въ этомъ отношеніи на твердой почвѣ. Понятно также, что принявши типы Рудина, Лавреца, Обломова—мѣриломъ для нашихъ критическихъ изслѣдованій, мы можемъ смѣло сказать, что если въ данномъ произведеніи изображаются люди сороковыхъ годовъ, не имѣющие ничего общаго съ вышеупомянутыми типами, то авторъ, очевидно, искажаетъ факты жизни или сочиняетъ свои собственные. Но возьмите типы людей шестидесятыхъ годовъ, появившіеся въ современной намъ беллетристикѣ, и вы сразу запутаетесь въ лабиринтъ самыхъ безъисходныхъ противорѣчій и напрасно будете искать чего-либо общаго въ разнообразіи художественныхъ образовъ, чисто-калейдоскопическомъ. Въ самомъ дѣлѣ: есть-ли хоть что-либо общее между Базаровымъ, Маркомъ Волоховымъ, героями Стебническаго съ одной стороны, а съ другой—героями повѣстей и романовъ, печатаемыхъ въ „Дѣлѣ“? Какъ ориентироваться кри-

тикѣ въ этомъ хаосѣ,—какіе типы принять мѣриломъ жизненной правды: типы беллетристовъ „Дѣла“, или „Русскаго Вѣстника“? И здѣсь дѣло чисто личнаго вкуса, личныхъ пристрастій критика: если онъ смотритъ на вещи съ точки зрѣнія московской публицистики, то онъ будетъ васъ убѣждать, что истинные представители людей шестидесятыхъ годовъ олицетворяются въ типахъ Базарова, Марка Волохова, героевъ „Некуда“, а на героевъ беллетристики „Дѣла“ будетъ смотреть, какъ на вымышленныхъ пристрастными авторами; точно также, только наоборотъ, будетъ поступать критикъ, приверженный взглядамъ петербургской публицистики; но съ обѣихъ сторонъ всѣ доводы будутъ одинаково голословны и бездоказательны, и читателямъ больше ничего не останется, какъ или склоняться на сторону того или другаго критика, тоже сообразно своимъ личнымъ пристрастіямъ, или-же пожимать только плечами, сомнѣваясь въ истинности типовъ беллетристики обихъ лагерей.

Что-же дѣлать въ такомъ случаѣ общественной критикѣ, если только она захочетъ строить свое зданіе на землѣ, а не въ воздухѣ, захочетъ быть настоящей критикой фактовъ жизни дѣйствительныхъ, а не праздною болтовнею по поводу фантастическихъ и пристрастныхъ измышлений беллетристовъ разныхъ лагерей? Общественной критикѣ при такихъ условіяхъ ничего не приходится дѣлать, какъ уступить свое мѣсто иной критикѣ—именно историко-физиологической. Прежде, чѣмъ дѣлать какіе-либо выводы о фактахъ жизни по данному произведенію, самое произведеніе должно быть разсмотрѣно, какъ продуктъ жизни, критика должна изслѣдовать прежде всего, на какой почвѣ выросъ этотъ продуктъ, что его вызвало и есть-ли это продуктъ здоровый и годный на что-либо или больной, протухлый и вредный. Подобная критика обусловливаетъ своими заключеніями возможность или невозможность критики общественныхъ фактовъ по данному произведенію; но въ то-же время и сама она по себѣ есть уже общественная критика: разница между нею и критикой добролюбовской школы заключается только въ томъ, что вмѣсто того, чтобы анализировать сотни сомнительныхъ фактовъ, заключающихся въ произведеніи, она анализируетъ одинъ несомнѣнный фактъ—само произведеніе; результатъ-же ея анализа тотъ-же самый: изслѣдовать условія общественной жизни, направляющія творчество писателей.

Въ данномъ случаѣ по вопросу о беллетристикѣ „Дѣла“ и о Михайловѣ въ особенности, по моему мнѣнію, только и можетъ имѣть мѣсто историко-физиологическая критика. Мнѣ, конечно, ничего не стоило-бы наговорить листовъ хоть на десять всевозможныхъ разсужденій о людяхъ шестидесятыхъ годовъ по романамъ Михайлова, особенно принимая въ соображеніе, что романы эти являются въ видѣ объемистыхъ 5 томовъ и каждый томъ, конечно, могъ-бы дать матеріалу листа на два для всевозможныхъ анализовъ. Но мнѣ кажется, что вся эта болтовня имѣла-бы такой-же смыслъ, какъ если-бы кто вздумалъ судить о людяхъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ по романамъ Марлинскаго, или, еще лучше, писать историческое изслѣдованіе о нравахъ XVI вѣка

по Юрію Милославскому Загоскина. Въ неизмѣримой степени умѣстнѣе въ настоящемъ случаѣ историко-физиологическій анализъ беллетристики „Дѣла“. Тѣмъ болѣе, что мы много уже говорили о томъ, чѣмъ были вызываемы и какъ создавались типы московской беллетристики, между тѣмъ о типахъ беллетристовъ „Дѣла“ намъ приходилось говорить только мимоходомъ. Желая загладить этотъ пробѣлъ, мы и выбираемъ романы Михайлова, какъ наиболѣе плодovitаго представителя беллетристики „Дѣла“.

## II.

Прежде чѣмъ мы приступимъ къ главному предмету нашей статьи, именно къ изслѣдованію достовѣрности типовъ молодого поколѣнія беллетристики „Дѣла“, считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о характерѣ творчества Михайлова, общемъ у него со всѣми прочими беллетристами его школы: Важинымъ, Омудевскимъ и пр.

Первое, что поражаетъ васъ у всѣхъ этихъ беллетристовъ, это — крайняя бѣдность, однообразие и стереотипность типовъ, выводимыхъ ими въ своихъ произведеніяхъ. Возьмите, наприимѣръ, хоть того-же Михайлова. Передъ вами 5 томовъ его сочиненій; и если взять во вниманіе, что „Мертвыя души“ Гоголя занимаютъ всего одинъ томъ, а комедія Грибоедова, не знаю, заняла-ли бы сто страничекъ въ изданіи Михайлова, можно было-бы подумать, что Михайловъ исчерпалъ типы нашего современнаго общества во всѣхъ его слояхъ, что называется, до гл. И что-же мы видимъ: во всѣхъ его романахъ на первомъ планѣ стоятъ одни и тѣ же шесть личностей, истрепанныхъ беллетристикою нашею до того, что на нихъ буквально лица уже не видно. Типы эти слѣдующіе:

1) Герой и героиня романа, представляющіе лучезарное сіяніе прогресса и совершенствъ нравственныхъ, умственныхъ и физическихъ. О нихъ будетъ особенная рѣчь впереди.

2) Злодѣй романа — высокій, смуглый мужчина, съ оловянными, ледяными глазами и нахупленными бровями; помѣщикъ-практикъ съ большими связями, консерваторъ и деспотъ. Когда онъ входитъ въ свой домъ, всѣ домашніе разбѣгаются. Онъ разлучаетъ влюбленныхъ другъ въ друга дворовыхъ, вгоняетъ въ гробъ жену и чуть не засѣкаетъ розгами героя романа (послѣ чего-герой обыкновенно впадаетъ въ горячку и, вынося ее, дѣлается новымъ человѣкомъ).

3) Злодѣйка романа — бабушка или тетушка, съ княжескимъ гербомъ на каретѣ, занятая вѣчно своей родословной, бредящая свѣтскими приличіями и презирающая чернь. Она своимъ тлетворнымъ вліяніемъ готова погубить героя и сдѣлать изъ него свѣтскаго шалопа, но добрыя начала торжествуютъ надъ зломъ, герой озаряется свѣтомъ прогресса, а тетушка, разорившаяся и всѣми забытая, умираетъ на рукахъ тѣхъ, которыхъ она прежде презирала.

4) Коммисаріатскій чиновникъ — взяточникъ и низкопоклонникъ, передъ высшими пресмыкается, съ низшими надмененъ, помышляетъ только о чинахъ, наградахъ и взяткахъ. Кончается, обыкновенно, тѣмъ, что попадаетъ подъ судъ послѣ крымской кампаніи,

лишается всего благосостоянія и начинаетъ злобно шипѣть противъ молодого поколѣнія и всѣхъ новыхъ порядковъ.

5) Петербургская кумушка — ищанка или чиновница низшаго сорта, подобострастная во всему, ищущему вѣсъ и деньги, жадная ко всякаго рода подаркамъ, готовая ограбить наследниковъ умершаго богатаго родственника, безчеловѣчная къ дочери или невѣсткѣ и склонная въ каждомъ движеніи и шагѣ молодого человѣка или дѣвушки подозревать какія-либо грязныя побужденія.

6) Свѣтскій шалопа, паркетный шаркунъ, любитель пикниковъ и рысаковъ, кончающій разореніемъ отца, воровствомъ, тюрьмою или самоубійствомъ.

Таковы главные, неизмѣнные типы, на которыхъ строятся обыкновенно всѣ романы Михайлова. Къ нимъ можно присоединить нѣсколько второстепенныхъ, столь же однообразныхъ и стереотипныхъ; таковы, наприимѣръ, пошлые учителя стараго времени, неизмѣнно въ каждомъ романѣ таскающіе за волосы учениковъ въ классѣ, изрыгающіе ругательства въ родѣ „ослы“, „сволочь“ и нюющіе горькую; учителя новаго пошиба, исполненные либеральнаго духа и устремляющіе героевъ въ такъ называемую „свѣтлую даль“; нѣмцы, являющіеся постоянно сухими, бездушными формалистами; крѣпостные дядьки добраго стараго времени, преданные душою и тѣломъ господамъ и за то обглоданные литературою до костей и пр. и пр. Рядомъ со всѣмъ этимъ старымъ литературнымъ тряпьемъ парадируютъ личности, созданныя по образцу типовъ англійскихъ романовъ, каковы, наприимѣръ, штабсъ-капитанъ Прохоровъ въ романѣ „Лѣсъ рубать — щепки летать“, или капитанъ Хлопко въ романѣ „Въ разбродѣ“. Подобные типы, пересаженные съ англійской почвы на русскую, бросаются въ глаза своею курьезностью. Представьте, вы въ самомъ дѣлѣ, русскаго капитана на деревяшкѣ и съ краснымъ носомъ, вѣчно шатающагося по переднимъ знатныхъ домовъ съ просьбами о вспоможеніяхъ въ рукахъ, — и вдругъ этотъ капитанъ является передъ вами глубокомысленнымъ философомъ, мудро рѣшающимъ всѣ вопросы жизни, читающимъ чувствительную мораль своимъ дѣтямъ, въ отношеніи къ которымъ онъ играетъ роль нѣжнаго отца самыхъ идеальныхъ свойствъ (такъ, наприимѣръ, когда однажды къ нему явился одинъ изъ его кадетовъ-сыновей въ неприличномъ видѣ, онъ его не только не отдубасилъ костылемъ, какъ-бы этого слѣдовало ожидать отъ русскаго капитана на деревяшкѣ и съ краснымъ носомъ, а бережно раздѣлъ, уложилъ въ постель, далъ ему выпастся, и, когда тотъ на другой день лежалъ полубольной съ похмѣлья въ постели, добродѣтельный отецъ читалъ ему различные душевнеспасительныя книги). Но еще лучше выходитъ у Михайлова русскаго моряка стараго времени, съ трубкой Жукова въ рукахъ, за стаканомъ грогу, съ соблазнительными картинками по стѣнамъ и громаднымъ псомъ подъ столомъ, который, между прочимъ, занимается тѣмъ, что ходитъ по чердакамъ и подваламъ утѣшать страждущихъ, помогать алчущимъ и жаждущимъ и, въ свою очередь, поражаетъ читателей глубиною сво-

ихъ житейскихъ взглядовъ и чувствительностью сдобольнаго сердца.

Подобные типы, столь мало свойственные русской почвѣ и такъ сильно напоминающіе различныхъ Пенденисовъ и Коперфильдовъ — побудили даже одного рецензента заподозрить Михайлова въ томъ, что будто онъ, если не цѣликомъ передѣлываетъ англійскіе романы на русскіе нравы, то, по крайней мѣрѣ, заимствуетъ изъ нихъ цѣлыя главы и сцены, и Михайловъ былъ названъ компиляторомъ англійскихъ романовъ. Но я не стану такъ далеко простираť моихъ подозрѣній, такъ-какъ для подтвержденія ихъ слѣдовало-бы перерыть всю англійскую беллетристику за послѣднее тридцатилѣтіе, держа, въ то-же время, въ рукахъ 5 томовъ сочиненій Михайлова, что я считаю дѣломъ, при всей его трудности, совершенно бесполезнымъ, а не совершивши этого дѣла, я считаю, съ своей стороны, крайне недобросовѣстнымъ рѣшиться бросить человѣку подобное обвиненіе, совершенно голословное и основанное на однихъ только предположеніяхъ. При томъ-же, ужъ если основываться на предположеніяхъ, то человѣчище будетъ съ нашей стороны не отягчать, а напротивъ, невозможно уменьшать провинность ближняго, и потому я склоненъ скорѣе предположить, что Михайловъ не только никогда не занимался передѣлкою сценъ, главъ, а тѣмъ болѣе цѣлыхъ англійскихъ романовъ на русскіе нравы, но что типы онъ заимствовалъ совершенно безсознательно, вслѣдствіе одного только подчиненія вліянію англійской беллетристики. Подобное предположеніе имѣетъ тѣмъ большее основаніе, что подчиненіе Михайлова вліянію англійской беллетристики можетъ быть объяснено тѣми-же причинами, какія обуславливаютъ однообразие и стереотипность всѣхъ его прочихъ типовъ. Объ этихъ-то причинахъ мы и поговоримъ теперь.

Здѣсь я прошу читателей припомнить тѣ идеи, которыя мнѣ неоднократно уже случалось проводить въ своихъ статьяхъ, именно, что процессъ поэтическаго творчества вовсе не составляетъ противоположности съ процессомъ развитія научныхъ идей, а есть одинъ и тотъ-же; въ основаніяхъ обоихъ процессовъ лежитъ одна и та-же индукція, и разница вся только въ томъ, что въ одномъ случаѣ представленіе, образовавшееся въ нашемъ мозгу путемъ индуктивнаго процесса, настолько ясно и рельефно представляется нашему воображенію и такъ сильно овладѣваетъ нами, что побуждаетъ насъ къ полному воспроизведенію его въ формахъ искусства, въ другомъ случаѣ — мы можемъ ограничиваться для выраженія этого представленія однимъ условнымъ символомъ въ видѣ слова или логическаго сочетанія нѣсколькихъ словъ устной или письменной рѣчи. Разъ вы подчиняете творчество процессу индукціи, очевидно, что этимъ самымъ уже вы обуславливаете богатство и бѣдность его не одною только силою или слабостью умственныхъ способностей человѣка, но и количествомъ воспринимаемыхъ впечатлѣній. Я не отвергаю, что сила или слабость таланта играетъ большую роль въ творествѣ; отъ нихъ прямо зависитъ способность поэта ориентироваться въ массѣ воспринятыхъ впечатлѣній и извлечь изъ нихъ обобщенія болѣе или менѣе важныя и существенныя (вѣдь и въ наукѣ тоже для важныхъ от-

крытій требуются и великіе умы); но, съ другой стороны, никакая сила таланта не выручитъ, если жизнь писателя, бѣдная впечатлѣніями, не даетъ ему никакой пищи для индукціи.

Принявши въ основаніе этотъ законъ творчества, я неоднократно дѣлалъ паралели между условіями жизни западныхъ и русскихъ писателей и старался объяснить, почему творчество западныхъ писателей въ неизмѣримой степени богаче разнообразіемъ поэтическихъ образовъ и типовъ, чѣмъ творчество писателей русскихъ. Я обуславливалъ это явленіе тѣми причинами, что, во-первыхъ, на Западѣ жизнь гораздо разнообразнѣе и сложнѣе, чѣмъ у насъ; во-вторыхъ, тамъ вы не встрѣтите такой замкнутости, какая распространена въ нашемъ обществѣ. Западный писатель, заинтересованный въ различныхъ общественныхъ движеніяхъ своей страны, не ограничивается двумя, тремя пріятелями изъ своихъ-же собратьевъ-литераторовъ, а вращается во всѣхъ слояхъ общества; люди, съ которыми онъ встрѣчается, рисуются передъ нимъ не съ одной только внѣшней стороны, какъ они являются ежедневно, подобравшись и украсившись, въ салонахъ, на бульварахъ, въ канцеляріяхъ или за прилавками, а въ настоящемъ своемъ видѣ въ роковыя минуты общественныхъ буръ и катастрофъ. При такихъ условіяхъ, западный писатель не ощущаетъ никогда недостатка въ впечатлѣніяхъ жизни; напротивъ того, жизнь мечется ему въ глаза такимъ обиліемъ красокъ и звуковъ, что только успѣвая все это переработать и употребить къ дѣлу. Русский писатель составляетъ полнѣйшую противоположность относительно западнаго по всѣмъ условіямъ своей жизни. Въ то время, какъ западный дѣлается писателемъ, успѣвши объѣхать полъ Европы, пережѣнить нѣсколько профессій, побывать на сотняхъ митинговъ, и, сдѣлавшись писателемъ, онъ продолжаетъ такую-же разнообразную и бурную жизнь, русскій начинаетъ считать себя писателемъ съ 3-го класса гимназій, съ перваго безграмотнаго стихотворенія, написаннаго въ подражаніе Пушкину; а сдѣлаться писателемъ для гимназиста 14 лѣтъ, — это значить начать удалаться отъ людей и свѣта, вести такъ-называемую, разумную, мыслящую жизнь, вѣчно сидѣть взаперти, исписывая кипы бумаги, и видѣться съ однимъ, много двумя товарищами, занимаясь съ ними рѣшеніемъ различныхъ глубокомысленныхъ вопросовъ жизни. Послѣ 10 лѣтъ такой затворнической жизни, русскій писатель поступаетъ, наконецъ, въ цехъ какого-нибудь литературнаго кружка, и начинается новое затворничество, въ сообществѣ съ двумя-тремя сотрудниками своего журнала. При этомъ надо замѣтить, что беллетристы-помѣщики сороковыхъ годовъ вели жизнь, все-таки, болѣе разнообразную, чѣмъ беллетристы-пролетаріи нашего времени. Ненормальностью въ ихъ жизни было только то, что они вращались въ однихъ привилегированныхъ слояхъ общества и были потому способны изображать жизнь исключительно только этихъ слоевъ, но, за то будучи людьми обезпеченными, они имѣли и досугъ, и средства путешествовать и по Россіи, и по Европѣ, встрѣчаться съ массою личностей своего слоя и хоть этотъ-то слой они имѣли возможность воспроизводить во всемъ его типическомъ



разнообразіи и со всѣхъ его сторонъ. Жизнь-же современныхъ намъ писателей-пролетаріевъ складывается именно такъ, что они почти совсѣмъ лишены возможности видѣть жизнь. Она состоитъ, обыкновенно, изъ двухъ періодовъ. Въ первый періодъ писатель борется съ нуждою, съ людьми, и всячески пробивается впередъ; это—самый живой періодъ въ его жизни; здѣсь онъ, переходя черезъ различныя мытарства, встрѣчается съ разнообразными личностями, и масса впечатлѣній, которые онъ при этомъ воспринимаетъ, даетъ могучій толчокъ его творчеству. Кончается этотъ періодъ тѣмъ, что молодой человѣкъ, наконецъ, одерживаетъ побѣду надъ обстоятельствами; проще сказать, обратитъ на себя вниманіе редактора какого-нибудь виднаго журнала, и первое произведеніе, напечатанное въ одномъ изъ нумеровъ журнала, вызоветъ нѣсколько лестныхъ рецензій въ газетахъ о появленіи новаго таланта. Вслѣдъ за этою побѣдою начинается новая жизнь писателя; онъ начинаетъ срывать лавры своей побѣды: является сотрудникомъ одного изъ лучшихъ журналовъ; положеніе его обезпечивается, кругъ знакомства упрочивается, всѣ мытарства кончаются; но вмѣстѣ съ тѣмъ, кончаются и прежнія столкновенія съ различными сторонами жизни, съ людьми всевозможныхъ слоевъ общества. Начинается однообразная, монотонная, уединенная жизнь россійскаго журналиста и, конечно, такая жизнь не замедлитъ отразиться на его творчествѣ. Въ первомъ своемъ произведеніи писатель воспроизводитъ, обыкновенно, впечатлѣнія своего дѣтства и юности; здѣсь вы встрѣтите изображеніе и тѣхъ людей, съ которыми сталкивался онъ, и всѣхъ пережитыхъ имъ мытарствъ. Но этимъ первымъ произведеніемъ и исчерпывается, обыкновенно, все творчество молодого писателя; во второмъ ему приходится уже пережывать старое, успѣвшее потускнѣть и стерѣться въ его воображеніи; въ третьемъ, ему остается сочинять фантастическіе образы. Последнее обстоятельство тѣмъ болѣе имѣетъ мѣсто, если писатель, человѣкъ занимающійся, читающій, успѣваетъ во время срыванія лавровъ увеличить свое теоретическое развитіе. Является масса новыхъ идей и взглядовъ на различныя явленія жизни; между тѣмъ, запасъ поэтическихъ образовъ остается столь-же скудный, какъ и прежде. Естественно, что голая отвлеченная идея, не находя живого, соответствующаго ей образа, облекается въ какой-нибудь блѣдный и тощій символъ. Писатель, напримѣръ, заинтересовался ненормальностью отношеній капиталистовъ къ рабочему классу, но, въ дѣйствительности, онъ не видалъ ни одного фабриканта, а на рабочихъ смотрѣлъ только изъ окна своего кабинета; нѣтъ ничего мудренаго, что и капиталистъ, и рабочій въ его произведеніи выйдутъ не живыми образами, взятыми изъ жизни, а стереотипными манекенами, символизирующими собою отвлеченныя идеи. Въ этомъ отношеніи я какъ въ неточности, назвавши тѣ 6 личностей, которые постоянно парадируютъ въ романахъ Михайлова, типами; это не типы, а символы, въ такой-же совершенной степени, въ какой для ребенка, напримѣръ, одна и та-же палка служитъ символомъ и меча, и коня. Но встрѣчая въ литературѣ подобнаго рода стереотипные

манекены, вы сдѣлали-бы слишкомъ быстрое заключеніе, если-бы объяснили существованіе ихъ исключительно бездарностью сочиняющихъ ихъ авторовъ. Ничуть не бывало: обладая самымъ сильнымъ талантомъ, писатель можетъ унизиться до самого бѣднаго символизма и стереотипности, при скудости содержанія фантазіи.

Скудость поэтическихъ образовъ, извлеченныхъ изъ жизни индуктивнымъ путемъ, объясняетъ весьма легко и склонность нашихъ писателей къ подражательности западнымъ образцамъ. Въ самомъ дѣлѣ, нигдѣ не развита эта склонность въ такой сильной степени, какъ у насъ. Англійскіе романы читаетъ вся Европа, и ужь, конечно, съ ними знакомъ каждый нѣмецкій и французскій писатель; но не говоря о первостепенныхъ талантахъ, даже самыя заурядныя французскіе и нѣмецкіе романисты являются передъ вами вполне народно-оригинальными, и ни въ одномъ плохенькомъ романчикѣ вы не встрѣтите такой пересадки англійскихъ типовъ и нравовъ на иную почву, какъ у Михайлова.

Объяснить это можно такимъ образомъ: когда вы читаете хорошій англійскій романъ Диккенса или Теккерея, у васъ являются въ головѣ поэтическіе образы этого романа въ видѣ готовыхъ уже типовъ, которые такъ ясно представляются вашему воображенію, какъ-будто они были созданы вами самими путемъ индукціи. Если рядомъ съ этими типами у васъ въ мозгу стоятъ и множество другихъ, оригинальныхъ, созданныхъ вами самими изъ впечатлѣній окружающей васъ жизни, въ такомъ случаѣ новые пришельцы нисколько не могутъ вытѣснить или заслонить старыхъ; напротивъ того, здѣсь долженъ начаться новый процессъ мозга — сравненіе типовъ и нравовъ англійской жизни съ типами и нравами жизни русской, и это сравненіе должно привести къ наибольшему только уясненію, къ наибольшей рельефности созданныхъ вами типовъ. Такимъ образомъ при этихъ условіяхъ иностранныя произведенія не подчиняютъ васъ, а только обогащаютъ ваше творчество, придаютъ болѣе жизненности и смысла изображаемымъ вами типамъ. Но совершенно другое дѣло, если у васъ въ мозгу вмѣсто живыхъ, яркихъ типовъ, находятся однѣ только отвлеченныя идеи, облеченныя въ тусклые, стереотипные символы. И вдругъ, въ это бѣдное содержаніемъ воображеніе вносятся рядъ живыхъ и слѣпыхъ поэтическихъ образовъ какой-нибудь чуждой жизни. Понятно, что эти образы завладѣютъ вашимъ мозгомъ вполне, они одни будутъ постоянно носиться передъ вами и совершенно произвольно, вслѣдствіи законовъ рефлексовъ, вы будете воспроизводить въ поэтическомъ творчествѣ не что-либо другое, какъ эти образы.

При этой характеристикѣ условій жизни современнаго беллетриста-пролетарія я взялъ все-таки еще лучшіе условія для творчества: я все-таки предположилъ, что беллетристъ принужденъ былъ пробиваться и испытывать всевозможныя мытарства; прежде чѣмъ онъ попалъ въ цехъ писателей, онъ можетъ быть пѣшкомъ пришолъ въ столицу изъ какой-нибудь дальней губерніи. Подобныхъ беллетристовъ все-таки хватаетъ на три, на четыре произведенія вполне жи-

выхъ и оригинальныхъ. Но можно себя представить условія еще болѣе неблагоприятныя для творчества, хотя въ то же время вовсе не столь бѣдственныя въ матеріальномъ отношеніи для субъекта. Представьте себя, что беллетристъ, сынъ мелкаго чиновника или ремесленника, родился и прожилъ полъ-вѣка въ столицѣ, въ одномъ какомъ-нибудь затхлому пяти-этажному дому и имѣлъ возможность изучать жизнь только изъ окна, обращеннаго въ стѣну противостоящаго дома; а между тѣмъ, талантъ въ соединеніи съ нуждою побуждаютъ его писать безъ устали многотомные романы. Что-же мудренаго, если въ этихъ романахъ вы не встрѣтите ни одного живого типа, если авторъ будетъ постоянно открывать снова Америку, въ длинныхъ водянистыхъ разсужденіяхъ распространяясь передъ вами о томъ, какъ постыдно ѣздить на рыскахъ, когда въ подвалахъ каждаго дома стонетъ отъ холода и голода нищета; если, наконецъ, въ этихъ романахъ вы найдете только одни блѣдныя намеки на окружающую васъ жизнь и за то такое удивительное смѣшеніе нравовъ и типовъ всѣхъ странъ, что отъ этого вавилонскаго столпотворенія у васъ голова пойдетъ кругомъ. Вините въ этомъ не автора, не его талантъ или отношеніе къ дѣлу, а условія жизни, которые производятъ на нашей почвѣ такія печальныя и уродливыя явленія.

Михайловъ, по моему мнѣнію, есть именно одна изъ жертвъ подобныхъ условій. Была бы одиозность и несправедливо, и опрометчиво бѣдность и стереотипность типовъ въ его романахъ обусловливать недостатками его таланта; о талантѣ Михайлова не можетъ быть рѣчи; это — *x*, величина неизвѣстная и не представляющая никакой возможности опредѣлить ее и измѣрить подобно тому, какъ нѣтъ возможности опредѣлить какую силу могъ-бы имѣть голодный, отощавшій человекъ, если-бы онъ велъ извѣстную жизнь. Мы можемъ только судить по нѣкоторымъ первымъ опытамъ Михайлова, что недаромъ онъ обратилъ на себя вниманіе съ самаго начала своего литературнаго поприща и заставилъ ожидать отъ себя чего-либо дѣльнаго. Мы укажемъ здѣсь не на „Гнилыя болота“, этотъ первый романъ Михайлова, напечатанный въ „Современникѣ“ и представляющій, по нашему мнѣнію, начало конца; нѣтъ, просимъ обратить вниманіе на небольшой разсказъ, напечатанный въ первомъ томѣ его сочиненій подъ заглавіемъ „Двѣ семьи“, и сравнить его со всѣми прочими произведеніями. Въ этомъ разсказѣ вы не найдете никакихъ широкихъ задачъ, это — просто картина съ натуры, представляющая жизнь одного изъ мрачныхъ казенныхъ петербургскихъ домовъ, биткомъ набитаго бѣдными служащими людьми. Здѣсь вы не найдете ни парадныхъ тетешекъ, ни паркетныхъ шалопаевъ, которыхъ, судя по живости и вѣрности изображенія, сѣло можемъ сказать, Михайловъ никогда не видывалъ вблизи; но за то всѣ типы разсказа дышатъ поразительною яркостью и дагеротипностью. Прочтя этотъ разсказъ, вы не заподозрите Михайлова въ передѣлкѣ иностранныхъ нравовъ на русскій ладъ или въ искусственномъ сочиненіи неизученной жизни: передъ вами чисто русская жизнь и притомъ петербургская, мѣщанская. Хотя и здѣсь нѣкоторыя личности

идеализированы и выступаютъ изъ общаго фона картины, словно конфетныя картинки на грязной, запачканной мухами стѣнѣ; таковы типы: добродѣтельной матери, морализующей на манеръ англійской мистрисъ, и Насти, напоминающей болѣе парижскую швею, чѣмъ петербургскую, но за то все прочее — типъ отца героя, картина святочныхъ оргій мрачнаго дома, славящихъ Христа ребятишекъ, характеристика сосѣдней семьи Степановыхъ, — все это дышетъ жизненною правдою и особенно рѣзко выступаетъ изъ всего пятитомнаго хлама безконечныхъ романовъ Михайлова. Мы убѣждены, что типы и картины, описанные въ этомъ разсказѣ, составляютъ, единственную собственность фантазіи Михайлова; это все, что онъ успѣлъ вынести изъ жизни, и передавши это читателямъ, сразу оказался банкротомъ; и ему ничего не осталось болѣе, какъ сочинять парадныхъ тетешекъ и паркетныхъ шалопаевъ отчасти по наслышкѣ, отчасти по образцу англійскихъ романовъ.

Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы Михайлову такъ будто-бы ужъ и не оставалось ничего дѣлать, написавши „Двѣ семьи“ и выложивши въ нихъ всѣ свои живыя впечатлѣнія. Говоря о ненормальности условій жизни современныхъ намъ беллетристовъ-пролетаріевъ, мы вовсе не считаемъ эти условія такими роковыми и неизбѣжными, чтобы противъ нихъ тщетна была всякая борьба и оставалось только, покорившись судьбѣ, оплакивать участь нашей современной беллетристики. Вѣстѣ съ тѣмъ, я далекъ и отъ той мысли, чтобы побѣда надъ этими условіями завистла исключительно отъ какихъ-либо коренныхъ измѣненій всего строя нашей жизни. Есть условія жизни дѣйствительно непобѣдимыя или требующія для своего устраненія основныхъ реформъ, но есть и такія, которыя зависятъ иногда просто отъ жизни спустя рукава или отъ неразумія ихъ ненормальности, и побѣда надъ подобными условіями возможна при небольшихъ личныхъ усиліяхъ. Къ числу такихъ легкопобѣдимыхъ ненормальныхъ условій принадлежатъ, по моему мнѣнію, и тѣ, о которыхъ мы бесѣдовали въ этой главѣ.

Здѣсь мнѣ приходится сказать нѣсколько словъ объ одномъ вопросѣ, весьма старомъ, но который и до сихъ поръ остается новымъ, такъ какъ и до настоящаго времени еще онъ не рѣшенъ вполне ясно и окончательно; это, именно, вопросъ о произвольности поэтическаго творчества.

Въ правильномъ разрѣшеніи этого вопроса мѣшало то, что весьма многіе приверженцы произвольности творчества ставили эту произвольность не на томъ мѣстѣ, гдѣ-бы слѣдовало: они говорили обыкновенно, что она должна имѣть мѣсто въ самомъ актѣ творчества, что поэтъ долженъ творить сознательно, разумно, задаваясь высшими цѣлями, такъ какъ онъ существо разумное; предаваться-же во время своего творчества волѣ необузданной стихійности, по ихъ мнѣнію, значило унижать свое человѣческое достоинство. Говоря такія темныя и неопредѣленныя рѣчи, приверженцы произвольности дѣлали нападеніе на такой пунктъ, въ которомъ они прежде всего должны были-бы согласиться съ врагами своей теоріи, если-бы они, не довольствуясь прекрасными, но въ то-же

время бессмысленными фразами, захотѣли-бы обсудить дѣло серьезно и глубже, съ реальной точки зрѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, разъ вы выникните въ тѣ законы, по которымъ совершается творческій процессъ, вы непременно должны придти къ убѣжденію, что процессъ этотъ не можетъ быть произвольнымъ. Съ одной стороны вамъ представится индукція, выработка общихъ представленій изъ массы частныхъ впечатлѣній, — процессъ ума, не подлежащій ни малѣйшему произволу и доходящій до сознанія человека только тогда, когда онъ уже совершился гдѣ-то въ тайникахъ мозга; съ другой стороны, вы видите рефлексъ воспроизведенія впечатлѣній. Здѣсь произволъ можетъ быть только отрицательный: можно задержать рефлексъ, воздержаться отъ воспроизведенія поэтическаго образа; но разъ рефлексъ допущенъ вашею волею, опять-таки конецъ произволу: вы невольно стремитесь туда, куда влечотъ васъ рефлексъ. — Но согласиться съ врагами произвольности въ томъ, что самый актъ творчества непроизволенъ, вовсе не значитъ согласиться съ ними вполне и отказаться отъ своей теоріи, а только оставить за ними пунктъ, на которомъ они твердо держатся и сбить съ котораго ихъ нѣтъ никакой возможности; но есть другой пунктъ, на который не обращаютъ никакого вниманія ни они, ни ихъ противники, а между тѣмъ это именно и есть тотъ пунктъ, на которомъ должна опираться вся теорія произвольности творчества. Пунктъ этотъ ясно откроется намъ, если мы обратимъ вниманіе на то, что не одно поэтическое творчество, а всякое человеческое дѣло имѣетъ двѣ стороны — произвольную и непроизвольную. Управлять силами природы, это — значитъ пользоваться ими въ свою пользу, направлять процессы природы къ различнымъ нашимъ цѣлямъ; между тѣмъ, самое дѣйствіе силъ, совершеніе процессовъ отъ вашей воли нисколько не зависятъ. Разъ вы произвольно вызвали извѣстную силу, — она начинаетъ дѣйствовать совершенно непроизвольно отъ васъ, и вы сами подчиняетесь ея дѣйствію. Вы можете, напримѣръ, произвольно назначить, куда идти локомотиву, опредѣлить, какъ слѣдуетъ дѣйствовать пару на рычаги и колеса, но разъ машина пущена въ ходъ — вы подчиняетесь движенію ея совершенно непроизвольно. На животныхъ процессахъ эта граница произвольности и непроизвольности еще яснѣе: непроизвольно отъ васъ совершается процессъ желудка, но это не мѣшаетъ вамъ произвольно подвергать этому процессу ту или другую пищу, въ тѣ или другіе часы; вы можете даже произвольно воспитать свой желудокъ, внушить ему различныя качества и привычки; но разъ вы это сдѣлаете, вы непроизвольно подчиняетесь этимъ привычкамъ. Точно также произвольно не воспитываете вы вашъ мозгъ, даете ему ту или другую пищу въ видѣ чтенія, наблюденій, опытовъ и пр. и затѣмъ подчиняетесь непроизвольному дѣйствію его процессовъ. Въ этомъ отношеніи учоный — тотъ-же машинистъ, который, подложивши дрова подъ котелъ и отвернувши клапанъ, отдается всецѣло движенію локомотива. Точно также и поэтическое творчество: какъ-бы оно ни было стихійно и непроизвольно само по себѣ, но почему-же, управляя всѣми стихіями природы, мы не можемъ управлять и этою сти-

хією, нисколько не нарушая непроизвольности ея процесса? Вопросъ заключается здѣсь только въ томъ, до какихъ границъ можетъ простирается произволъ въ актѣ творчества, и гдѣ начинается его непроизвольность. Возвращаясь къ нашимъ сравненіямъ, мы находимъ, что во всѣхъ нашихъ управленіяхъ силами природы произвольность имѣетъ мѣсто передъ совершеніемъ даннаго процесса и заключается въ приготовленіи матеріаловъ, вызывающихъ процессъ, и въ его направленіи. Тоже самое должно имѣть мѣсто и въ управленіи процессомъ творчества: подвергать этотъ процессъ нашему произволу, это — значитъ сознательно готовить матеріалъ, вызывающій творчество, иначе сказать, употреблять всѣ усилія для обогащенія нашей фантазіи тѣми или другими образами, могущими вызвать творческій процессъ. Къ сожалѣнію, объ этомъ первомъ и главнѣйшемъ дѣлѣ, въ которомъ только и возможенъ нашъ произволъ въ актѣ творчества, прилагается у насъ всего менѣе заботъ. Всю произвольность творчества полагаютъ только въ направленіи его, то-есть въ томъ, чтобы поэтъ былъ преисполненъ полезныхъ цѣлей, стремился проводить прекрасныя идеи и разрѣшать роковые вопросы современности, но о томъ и не помышляютъ, что вѣдь для этого необходимо, чтобы поэтъ отлично зналъ жизнь того общества, которому служить, чтобы воображеніе его было переполнено живыми и яркими образами этой жизни, а безъ этого всѣ прекрасныя идеи останутся отвлеченными призраками, будутъ проведены блѣдно, вяло, гипотетично, никого не увлекутъ, не убѣдятъ, не принесутъ поэтому ни малѣйшей пользы, и поэтъ, при всемъ своемъ стремленіи къ произвольности творчества, останется непроизвольною жертвою бѣдности своей фантазіи. Это все равно, что выстроить прекрасную желѣзную дорогу, проведя ее къ важнѣйшему пункту страны, распространиться потокомъ громкихъ фразъ о ея полезности и позабыть только о весьма пустомъ и маломъ: о топливѣ и водѣ для локомотивовъ. Но въ этомъ отношеніи надо признаться, что не только у насъ, но и на Западѣ и не только въ средѣ защитниковъ теоріи непроизвольности творчества, но и въ рядахъ приверженцевъ противоположной теоріи, творчество и до сей поры пребываетъ на степени необузданной стихійности, и въ своемъ теченіи зависитъ не отъ нашего разумнаго произвола, а отъ различныхъ случайныхъ, внѣшнихъ обстоятельствъ. Такимъ образомъ, если на Западѣ творчество богаче, чѣмъ у насъ, а у насъ у 2, 3 первостепенныхъ писателей богаче, чѣмъ у нѣсколькихъ второстепенныхъ и, наконецъ, до поразительной нищеты у романистовъ въ родѣ Михайлова, то это нисколько не зависитъ отъ большихъ или меньшихъ усилій со стороны различныхъ поэтовъ: они играютъ тутъ роль пассивныхъ резервуаровъ и, что случайно волеетъ въ нихъ жизнь, то они и даютъ вамъ; если жизнь, вслѣдствіи особенныхъ общественныхъ или ихъ собственныхъ личныхъ условій доливаетъ ихъ до краевъ, они поставляютъ себѣ это въ заслугу и тщеславятся богатствомъ своей фантазіи, поразительнымъ знаніемъ человеческого сердца или нравовъ своего общества, а если иначе сложившаяся жизнь не дастъ имъ ни капельки, то не ждите отъ

нихъ какихъ-либо попытокъ личными усилиями наполнить пустоту своей фантазии. Въ этомъ отношеніи наука представляетъ радикальную противоположность по отношенію къ искусству: въ то время, какъ ученый объѣзжаетъ весь земной шаръ, прорывается въ глубь его, роется въ архивахъ и въ различныхъ обломкахъ старины, изобрѣтаетъ всевозможные инструменты для того, чтобы изучать то, чего не въ состояніи видѣть простой глазъ, въ то время, однимъ словомъ, какъ передъ каждымъ ничтожнымъ открытіемъ вы видите массу усидчиваго труда,—поэтъ сидитъ, сложивъ ручки, и, изрекая трескучія фразы о святомъ призваніи искусства поднимать и разрѣшать роковые вопросы жизни, спѣшитъ возвѣстить міру о какихъ-нибудь двухъ-трехъ жалкихъ впечатлѣніяхъ маленькаго уголочка, въ которомъ онъ прозябаетъ. По своей необузданной, подверженной всякимъ случайностямъ стихійности—искусство можно сопоставить съ наукою развѣ что тѣхъ глубоководныхъ животныхъ, когда люди, не прилагая никакихъ усилій къ приобретенію новыхъ знаній, довольствовались свѣдѣніями о томъ, что имъ могололо глаза: прибрежные жители знали породы морскихъ рыбъ или выбрасываемыхъ моремъ раковинъ и не умѣли отличить одного дерева отъ другого; обитатели дѣсовъ, въ свою очередь, зная породы и качества различныхъ деревьевъ, не умѣли отличить ржи отъ овса и проч. Такъ и современные нашъ поэты: родится поэтъ во дворянствѣ, глядишь только и умѣетъ изображать однихъ дворянъ, а какъ только вздумаетъ вывести передъ вами мѣщанина или крестьянина, такъ и выйдутъ передъ вами „цвѣты, похожіе на птицъ, и птицы, похожія на цвѣты“; проведетъ поэтъ полъ-жизни въ обществѣ трехъ литераторовъ и двухъ передовыхъ дѣвицъ высшаго развитія, — и только эти пять личностей и варьируетъ на всевозможные лады во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

Въ силу этого, если писатель хочетъ не на однихъ словахъ, а на дѣлѣ осуществить теорію произвольности творчества и принести истинную, а не эфемерную пользу своему обществу, онъ обязанъ употребить для каждаго написаннаго листа хотя малую часть тѣхъ усилій, которыя употребляетъ ученый часто для того только, чтобы имѣть основаніе сказать одну только фразу. Жизнь мало даетъ русскому писателю, и неужели ему вѣчно сидѣть сложа руки и ждать у моря погоды, когда общественныя обстоятельства сложатся такъ удачно, что массы всевозможныхъ впечатлѣній посыпятся съ неба и оплодотворятъ безъ всякихъ съ его стороны усилій его пустопорожнюю фантазію? Вѣдь этого онъ пожалуй и никогда не дождется, а жизнь, между тѣмъ, уходитъ безцѣльно и бесплодно, оставляя за собою, вмѣсто сочныхъ и питательныхъ плодовъ, одинъ никому ненужный навозъ. Чѣмъ труднѣе обстоятельства, тѣмъ болѣе усилій долженъ употреблять противъ нихъ человекъ, если только онъ захочетъ не напрасно носить имя человека. А въ отношеніи русскаго писателя не требуется даже и сотой доли тѣхъ страшныхъ усилій, какія употребляетъ западный ученый для своихъ изысканій: ему не нужно ни переплывать морей, ни спускаться въ шахты, ни вскрывать вонючихъ труповъ, ни проводить мѣсяцевъ и лѣтъ въ обществѣ кровожадныхъ дикарей по при-

мѣру Ливингстона или Миклухи-Маклая, ни, наконецъ, висѣть въ воздухѣ на веревочкѣ, разбирая гieroглическую надпись на скалѣ. Отъ него требуется только менѣе замкнутости, большаго круга знакомства въ разныхъ слояхъ общества, частой перемѣны мѣста жительства, или хотя-бы нѣсколькихъ экскурсій по Россіи, по возможности пѣшкомъ или на долгихъ и съ обозами. Нашъ русскій писатель (за весьма немногими исключениями) такой еще бѣлоручка, при всѣхъ своихъ демократическихъ стремленіяхъ, что великій подвигъ для него—войти въ хату мужика; но туда онъ еще входитъ иногда, скрѣпя сердце, среди лѣтнихъ наслажденій природою въ деревнѣ—для того, чтобы записать народную пѣсенку или движимый какими-нибудь высоко-филантропическими цѣлями. Но войти въ кругъ людей мало-мальски не нашего лагеря и не равной съ нами степени развитія, fi done, какую-же мы можемъ имѣть солидарность во всѣхъ этихъ кругахъ: какъ будто медицинскій студентъ долженъ имѣть непремѣнно солидарность съ тѣми трупами, которые онъ изслѣдуетъ съ своими научными цѣлями? То-ли дѣло сидѣть въ комфортабельныхъ кабинетахъ и тянуть какую-нибудь безконечную канитель, стремясь къ развитію такъ называемаго молодого поколѣнія въ духѣ возвышенныхъ идей. Въ слѣдующихъ главахъ мы увидимъ, много-ли выходитъ у насъ изъ этого пресловутаго вѣчнаго развиванія такъ называемыхъ молодыхъ поколѣній.

### III.

Если вы начнете разсматривать положительные типы въ литературахъ различныхъ странъ, временъ и направленій, то вамъ сразу представится, что они раздѣляются на двѣ категоріи: 1) типы относительные и 2) безусловно-идеальные.

Относительные типы—это представители даннаго вѣка или среды. Они являются въ произведеніи писателя обыкновенно облеченными въ плоть и кровь своего времени, со всѣми своими типическими особенностями, достоинствами и недостатками. Вы можете симпатизировать имъ, увлекаться ими, видя передъ собою лучшихъ людей вѣка, но это не мѣшаетъ вамъ разсматривать ихъ, какъ продуктъ извѣстныхъ условій жизни и находить въ нихъ недостатки, обуславливающіеся вреднымъ влияніемъ среды, воспитанія, политическаго строя общества, и проч. Уже мы не будемъ распространяться о такихъ типахъ, какъ Евгений Онегинъ, Печоринъ, Чацкій, Бельтовъ и проч.; всѣ эти герои своего времени являются типами вполне относительными, дальше десятилѣтія не переживаютъ, вырастая и ступовываясь со своими поколѣніемъ, и не только въ критикѣ послѣдующаго періода, но и въ современной имъ вы встрѣтите не восторженное къ нимъ удивленіе, какъ къ воплощеннымъ идеаламъ, а безпристрастный, холодный анализъ, воздающій имъ должное, какъ лучшимъ представителямъ своего времени и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отмѣчающій на нихъ всѣ язвы современнаго общества. Возьмите многочисленныхъ героинь нашихъ романовъ и повѣстей, начиная съ Татьяны Пушкина и кончая Еленою въ „Наканунѣ“ и Ольгою въ „Обломовѣ“. Всѣ эти пре-

красные, увлекательные типы, повидимому, больше всего подходят къ безусловно идеальнымъ; но нѣтъ: и въ нихъ вы видите, въ свою очередь, представительницъ вѣка и среды: передъ вами русскія женщины тридцатыхъ, сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ и притомъ исключительно привилегированныхъ слоевъ общества. Всѣ онѣ являются не иначе, какъ въ теплыхъ гнѣздышкахъ, сначала въ отеческихъ, потомъ въ мужнинныхъ, и имѣютъ такъ мало самостоятельности, что многія изъ нихъ не въ состояніи оказываются выйти замужъ по собственному выбору и влеченію. Теплыя гнѣздышки такъ для всѣхъ ихъ необходимы, что если ихъ выпустить внезапно на волю, онѣ немедленно-же должны погибнуть, такъ-какъ онѣ плохо образованы, не приучены ни къ какому труду, не знаютъ ни людей, ни жизни. Всѣ онѣ стремятся къ развитію, но не иначе, какъ черезъ процедуру любви: сами пальчикомъ не поведутъ для своего развитія, а все сидятъ, сложа ручки, и млѣютъ въ ожиданіи, когда явится передъ ними *онъ* и начнетъ ихъ развивать; это ожиданіе доходитъ до такой степени нетерпѣнія, что, наконецъ, барышни набрасываются на перваго встрѣчнаго, воображая, что это есть сей *онъ*, и обыкновенно горько разочаровываются въ своего героя. Очевидно, что во всемъ этомъ нѣтъ ничего безусловно идеальнаго. Но авторы и не думали изображать безусловно идеальныхъ женщинъ. Они безхитростно вывели лишь лучшихъ женщинъ своего времени, оставляя намъ судить о нихъ, какъ намъ угодно.

Совершенно не таковы безусловно-идеальные типы въ литературѣ. Къ нимъ вы уже не придеретесь ни съ какой стороны: каждый шагъ ихъ — доблесть, каждое движеніе — подвигъ, и вамъ только и остается восхищаться, умиляться и поучаться. Подобнаго рода типы бываютъ двухъ родовъ. Одни изъ нихъ играютъ рутинную роль добродѣтельныхъ героевъ и героинь, безъ всякихъ претензій, чисто по традиціи, потому что романъ, происшедшій, какъ извѣстно, изъ сказки, до сихъ поръ, въ глазахъ многихъ, немислимъ безъ царевича и царевны неописанной красоты. Но есть эпохи, въ которыя образуется особенная склонность къ созерцанію безусловно-идеальныхъ типовъ; въ такія эпохи является рядъ произведеній, въ которыхъ добродѣтельные герои играютъ уже не традиционную роль сказочныхъ царевичей, а напротивъ: главная цѣль поставляется въ томъ, чтобы изобразить наивозможно-идеальную личность, и всѣ силы автора устремляются къ этой цѣли.

Я не знаю, нужно-ли много распространяться насчетъ того, что на почвѣ истинно-реальной поэзіи возможны только относительные типы, потому именно, что она всецѣло основывается на наблюденіяхъ дѣйствительности; въ дѣйствительности-же мы можемъ наблюдать одни относительныя явленія. Безусловные идеалы суть только отвлеченныя категоріи нашего мышленія и стремиться ихъ олицетворять, это — значитъ, стремиться къ невозможному, причемъ мы постоянно рискуемъ впадать въ грубыя заблужденія: или намъ приходится возводить въ идеалъ относительную дѣйствительность, вовсе въ сущности не идеальную, или-же разрушать всякую связь причинности и, обходя всѣ законы жизни, предполагать истую чудесность.

Поэты-идеалисты и идутъ обыкновенно по этимъ двумъ путямъ. Вспомните, напримѣръ, хотя-бы безусловно-идеальные типы эпохи романтизма: съ одной стороны передъ вами рисуются возведенные въ идеалъ безумные фантазеры и мечтатели, въ сущности не только не заключающіе въ себѣ ничего идеальнаго, но весьма противные своимъ сентиментальнымъ прекраснотушамъ; съ другой стороны — Маркизы Позы, Іоанны д'Арки и цѣлый рядъ безплотныхъ юношей и дѣвъ, появленіе которыхъ среди полуварварскихъ обществъ не обуславливается никакими дѣйствительными, осязательными причинами и которые представляются вамъ возникшими такъ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, словно феи и гномы изъ-подъ пола балетной сцены.

Идеализмъ въ жизни и искусствѣ, параллельно съ метафизикою въ наукѣ, считается обыкновенно извѣстною степенью умственного развитія, за которою слѣдуетъ періодъ процвѣтанія положительныхъ знаній и реального искусства. Но правильность въ послѣдовательности этихъ періодовъ постоянно нарушается вслѣдствіе той причины, что въ то время, какъ до реализма доразвивается ничтожное меньшинство, массы-же общества продолжаютъ косить въ грубомъ невѣжествѣ и, нерѣдко, прорывая плотину передовой мысли, снова воскрешаютъ такія системы мысли или литературныя школы, которыя, съ точки зрѣнія передовой мысли, представляются давно отжившими. Этому атавизму много способствуетъ и то, что въ переходные періоды подъ знамена новыхъ идей становятся многіе люди, далеко не доразвившіеся до этихъ идей, увлекшіеся ими совершенно поверхностно, усвоившіе кое-какія хлесткія фразы, и очень часто подъ оболочкою, повидимому, совершенно новой, вы можете разглядѣть у подобныхъ господъ системы мышленія самаго архаическаго свойства. Между тѣмъ, этотъ архаизмъ мысли сближаетъ ихъ съ толпою, которая сама исполнена архаическихъ понятій и потому является склонною болѣе понимать этихъ псевдореалистовъ, чѣмъ истинныхъ. Становясь, такимъ образомъ, во главѣ толпы, дѣлаясь ея любимцами, эти господа сильно тормозятъ движеніе, давно отжившее и заплѣсневѣлое выдавая за только-что родившееся и, въ надеждѣ открытія новыхъ путей, поворачивая на старыя торныя дорожки.

Къ этому надо присоединить еще и вліянія общественныхъ условій, которыя могутъ способствовать къ обращенію мысли не реальный путь или, наоборотъ, обращать ее вспять на почву метафизики и идеализма. Въ этомъ отношеніи ничто такъ не ускоряетъ устремленія мысли на реальную почву, какъ политическая зрѣлость общества, развитіе въ немъ самостоятельности и активности, и это весьма естественно. Человѣку, проникнутому общественными интересами и притомъ не платонически только, а активно, некогда бываетъ задумываться надъ различными метафизическими отвлеченностями и безусловными идеалами: въ борьбѣ съ тѣми или другими наличными условіями жизни, онъ привыкаетъ устремлять свою мысль въ сферу относительныхъ явленій; анализъ этихъ явленій стоитъ въ его умственной лабораторіи на первомъ планѣ и прямо ведетъ его къ положительнымъ выво-

дамъ въ наукѣ и реальнымъ образамъ въ искусствѣ. Поэтому въ странахъ съ сильно развитою общественною активностію люди дѣлаются реалистами прежде даже, чѣмъ сознаютъ это: по міросозерцанію они являются передъ вами, повидимому, метафизиками и даже исполненными наивныхъ вѣрованій, между тѣмъ весь процессъ ихъ мысли стоитъ уже на чисто реальной почвѣ анализа относительныхъ явленій, не имѣя никакой точки соприкосновенія съ отвлеченными теоріями, которыя хранятся на всякій случай въ ихъ мозгу, гдѣ-то въ кладовой, безъ всякаго употребленія. Примеромъ такого преждевременнаго развитія реализма можетъ служить Англія. Въ самомъ дѣлѣ, недаромъ Англія, страна Бэкона, Локка, Юма, Ньютона, Адама Смитта, Милля, Шекспира, Свифта и Диккенса послужила колыбелью современнаго реализма, какъ въ наукѣ, такъ и въ искусствѣ; недаромъ она съ 18-го вѣка увлекаетъ за собою на почву реализма всю Европу; въ тоже время, это страна, въ которой самодѣятельность и активность общества развились тогда, когда на континентѣ ни о чемъ подобномъ и не мечтали; мысль англичанъ привыкла уже работать на реальной почвѣ. Мы видимъ, что въ Англіи самыя мистическія и аскетическія секты въ родѣ пуританъ или квакеровъ не отрѣшались отъ жизни въ какія-либо отвлеченныя, заоблачныя сферы, а, напротивъ того, принимали характеръ политическихъ партій, устремлявшихся въ сферу рѣшенія вопросовъ чисто относительнаго свойства. — Совершенною противоположностью представляютъ страны, въ которыхъ общество, чуждое всякой самодѣятельности, влачитъ пассивную жизнь, утопая въ тинѣ мелочей и дрязгъ. Мысль въ этомъ обществѣ, находя мало пищи внѣ себя, поневолѣ углубляется внутрь психическаго міра, къ различнымъ отвлеченнымъ категоріямъ. Отсюда является наклонность къ созданію воздушныхъ метафизическихъ теорій, опирающихся не на факты дѣйствительности, а на эти отвлеченныя категоріи. Вѣдѣтъ съ тѣмъ, мыслящіе люди привыкаютъ къ созерцанію. Находя вокругъ себя повсюду одно безцѣльное, бессмысленное прозябаніе, исполненное возмущительныхъ пошлостей, они видятъ спасеніе своего человѣческаго достоинства единственно только въ томъ, чтобы отрѣшиться отъ всего ихъ окружающаго и начать въ уединеніи воспитывать себя въ духъ какого-нибудь высренняго идеала. Таково начало нравственнаго идеализма, вѣчно сентиментально умиляющагося при созерцаніи различныхъ возвышенныхъ идеаловъ и въ личномъ воплощеніи ихъ ищущаго единственное спасеніе общества, вѣчно то терзающагося при мысли о недостижимости этихъ идеаловъ, то напротивъ того наивно воображающаго, что идеалы уже достигнуты, и потому въ гордомъ высокомеріи смотрящаго сверху внизъ на жалкое, пресмыкающееся человечество; отсюда, наконецъ, и вѣчное исканіе по свѣту идеальныхъ личностей, причежь замѣчательно, что мысль идеалистовъ всѣхъ вѣковъ и странъ постоянно раздвигалась въ этомъ исканіи идеальныхъ личностей: съ одной стороны, имъ казалось, что есть особенныя избранныя натуры, по самому призванію своему чуть не съ колыбели обреченныя быть воплощеніемъ идеала, съ другой стороны, они вѣрили въ

возможность сдѣлаться идеальнымъ каждому человѣку путемъ цѣлаго ряда подвиговъ воспитанія въ себѣ идеала и, наконецъ, просвѣтлѣніи имъ. Нужно-ли говорить о томъ, какая страна Европы была колыбелью, какъ цѣлаго ряда метафизическихъ системъ въ философіи, такъ и цѣлаго ряда сентиментально-прекраснодушныхъ идеаловъ въ поэзіи. Это страна благодушныхъ, пассивныхъ филистеровъ и мечтательныхъ буршей — Германія, въ которой общество такъ долго было лишено всякой активной самодѣятельности, страна и до сихъ поръ еще не отрѣшившаяся вполне отъ метафизики и сентиментальнаго прекраснотушья.

Наше общество имѣетъ большую аналогію съ германскимъ начала XVIII столѣтія по отсутствію всякой активной самодѣятельности, разрозненности, мелкости и дрянности интересовъ. Къ этимъ всѣмъ качествамъ прибавьте еще остатки грубой, чисто-азиатской одичалости нравовъ, вслѣдствіе которой человѣкъ, мало-мальски избѣгающій непечатной брани или употребленія десницы, считается уже какимъ-то высшимъ существомъ, избранною натурою. Понятно, что и на нашей почвѣ сентиментально-прекраснодушный идеализмъ долженъ имѣть крѣпкіе корни и роскошныя произростанія. Мы и видимъ, что, начиная съ Карамзина, съ первыхъ зачатковъ философскаго движенія подъ влияніемъ энциклопедистовъ XVIII вѣка, развивается у насъ и сентиментализмъ, сначала въ версальскомъ духѣ, затѣмъ въ геттингенскомъ: чувствительные Эрасты, стонущіе на могилахъ Агатовыхъ, сжѣняются прекраснотушными художниками въ гофмановскомъ родѣ, и вообще все умственное развитіе постоянно принимаетъ видъ отрѣшенія отъ суетнаго свѣта, тѣсной замкнутости въ интимныхъ кружкахъ и личнаго воспитанія себя въ духѣ различныхъ возвышенныхъ идеаловъ.

Въ сороковые годы этотъ характеръ развитія началъ измѣняться. Съ одной стороны, наплывъ реальной мысли съ Запада былъ слишкомъ ужъ силенъ, съ другой — обстоятельства жизни принимали день отъ дня все болѣе и болѣе мрачный характеръ и поневолѣ заставляли обращать на себя вниманіе и задумываться, отвлекая, такимъ образомъ, мысль отъ созерцанія возвышенныхъ идеаловъ. Вслѣдствіе всего этого, мысль передовыхъ кружковъ нашего общества начала устремляться на реальный путь; созерцаніе безплотныхъ идеаловъ смѣнилось анализомъ окружающей дѣйствительности; явился Гоголь, и такъ была сильна наклонность мысли перейти на реальную почву, что даже этому крайнему мистику и аскету удалось создать новую, чисто реальную школу въ поэзіи. Крымская катастрофа еще сильнѣе устремила мысль передовыхъ кружковъ на реальную почву общественныхъ вопросовъ и анализа окружающей дѣйствительности; относительная свобода печати и выписки иностранныхъ книгъ изъ-за границы усилила еще болѣе наплывъ реальныхъ идей современныхъ западныхъ мыслителей. Начались реформы и казалось, что вниманіе общества окончательно устремилось изъ отвлеченныхъ сферъ — въ сферы относительныхъ явленій жизни. По крайней мѣрѣ, въ концѣ 50-хъ годовъ, въ передовыхъ кружкахъ, вопросъ о возвышенности тѣхъ или другихъ личныхъ идеаловъ стоялъ на заднемъ



планъ: люди раздѣлялись на категоріи не сообразно ихъ личной нравственности—на просвѣтленныхъ носителей идеаловъ и пресмыкающуюся во тѣхъ толпу, а на консерваторовъ и прогрессистовъ по отношенію къ тѣмъ или другимъ общественнымъ вопросамъ; искали не идеальныхъ личностей для взаимнаго самосозерцанія, а союзниковъ для борьбы.

Но увы, весь этотъ пресловутый реализмъ конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ оказался явленіемъ крайне ненадежнымъ и эфемернымъ. Только какіе-нибудь десятки передовыхъ мыслителей вполнѣ встали на реальную почву и отрѣшились отъ всѣхъ остатковъ идеализма. Между тѣмъ, въ массахъ общества идеалистическая закваска была такъ еще сильна, такъ глубоко въѣлась въ жизнь и такъ была ей сродни, что стоило немножко утолить всеобщую жажду реформъ, и вниманіе общества снова устремилось отъ общественныхъ вопросовъ къ индивидуально-нравственнымъ. И вотъ уже съ 1863 года въ огромной массѣ общества исканіе новыхъ формъ жизни смѣняется исканіемъ новыхъ личныхъ идеаловъ. Реализмъ въ глазахъ этой массы является не извѣстнымъ методомъ мышленія, каковъ онъ есть самъ по себѣ, а какимъ-то готовымъ уже кодексомъ личной нравственности, имѣющимъ въ виду сдѣлать изъ человѣка особеннаго сорта существо, такъ-называемаго *трезваго реалиста*.—Затѣмъ умственное движеніе снова принимаетъ прежній характеръ отрѣшенія отъ окружающей жизни, самовоспитанія въ тѣсной замкнутости сектаторскихъ кружковъ въ духѣ новѣйшихъ идеаловъ, погоня за идеальными личностями не отъ міра сего, со младенчества предназначенными къ наиполнѣйшему воплощенію въ себѣ типовъ трезваго реализма, наконецъ чисто-схоластическаго рѣшенія вопросовъ о томъ, какъ себя вести такъ, чтобы ни на одну секунду не отклониться отъ идеала трезваго реализма, на какой спать для этого постели, курить или нѣтъ сигары, ѣсть-ли сардинки и телятину или ограничиваться одною ветчиною съ ситникомъ, по примѣру Рахметова.

Въ литературѣ такой новый наплывъ идеализма отразился въ критикѣ „Дѣла“, и Писаревъ, начавшій свою литературную дѣятельность съ проповѣди „базаровскаго типа“, сдѣлался вскорѣ идоломъ новѣйшихъ идеалистовъ. Этотъ пресловутый писаревскій базаровскій типъ (не имѣвшій ничего общаго съ тургеневскимъ Базаровымъ) прекрасно характеризуетъ собою новый идеалъ, въ которомъ начали искать спасенія отъ всѣхъ скорбей и болѣзней. На первомъ же планѣ въ этомъ идеалѣ стоитъ полное отрѣшеніе отъ всего окружающаго.

«Люди прошлаго, говоритъ Писаревъ, металась и суетилась, надѣясь гдѣ-нибудь пристроиться и какънибудь втихомолку, урывками, незамѣтно влить въ жизнь свои честныя убѣжденія. Люди настоящаго не мечутся, ничего не ищутъ, нигдѣ не пристраиваются, не поддаются ни на какіе компромисы и ни на что не надѣются. Въ практическомъ отношеніи они также безсильны, какъ Рудины, но они сознали свое безсильіе и перестали махать руками. «Я не могу дѣйствовать теперь—думаешь про себя каждый изъ этихъ новыхъ людей—не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружаетъ, и не стану

скрывать своего презрѣнія. Въ борьбу со зломъ я пойду тогда, когда почувствую себя сильнымъ. До тѣхъ поръ буду жить самъ по себѣ, какъ живетъ, не мирясь съ господствующимъ зломъ и не давая ему надъ собою никакой власти. Я—чужой среди существующаго порядка вещей, и мнѣ до него нѣтъ никакого дѣла. Занимаюсь я хлѣбнымъ ремесломъ, думаю, что хочу, и высказываю—что можно высказывать».

«Пойдетъ-ли за ними общество, говорить въ другомъ мѣстѣ Писаревъ про своихъ новыхъ реалистовъ, до этого имъ нѣтъ дѣла. Они полны собою, своею внутреннею жизнью и не стѣсняють ея въ угоду принятымъ обычаямъ и церемоніаламъ. Здѣсь личность достигаетъ полнаго самоосвобожденія, полной личности и самостоятельности».

Прочитавши рядъ такихъ тирадъ, поразмыслите, чѣмъ отличается въ социологическомъ отношеніи подобнаго рода новѣйшій идеалъ отъ романтическаго идеала 30-хъ годовъ? И тамъ, и здѣсь предписывается одно и то же: хочешь быть счастливымъ, освободись отъ всѣхъ стѣсненій, налагаемыхъ на тебя суетнымъ свѣтомъ, со всѣми его обычаями, приличіями и китайскими церемоніями, замкнись въ гордое уединеніе и, презирая жалкое, пресмыкающееся человечество, предавайся свободному полету своего духа. Разница здѣсь только въ употребленіи времени: романтикъ 30-хъ годовъ наполнялъ его созерцаніемъ образовъ чистаго искусства, романтикъ 60-хъ годовъ—рѣзаніемъ лягушекъ, но если-бы романтикъ 70-хъ годовъ занялся ловленіемъ мухъ,—то и тутъ разница была-бы небольшая: романтики всѣхъ трехъ родовъ могутъ воображать, что они олицетворили свой идеалъ и достигли высшаго нравственнаго довольства собою и счастіемъ; въ социологическомъ-же отношеніи всѣ они въ равной степени уредставляютъ изъ себя высокомерныхъ филистеровъ, индифферентныхъ ко всему, что вокругъ нихъ происходитъ, и успокоившихся на пресловутой пошлой философіи: „моя хата съ краю, ничего не знаю“.

Да не подумаетъ читатель, чтобы я считалъ Писарева изобрѣтателемъ базаровскаго типа и на него одного возлагалъ всю вину воскрешенія филистерскаго идеализма. Нѣтъ, я весьма далекъ отъ той устарѣлой теоріи, которая все приписываетъ гениямъ и воображаетъ, что они изобрѣтають, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, что ни взбредетъ имъ въ голову. Писаревъ былъ лишь наиталантливѣйшимъ выразителемъ новѣйшаго идеализма: философія-же эта—есть болѣзнь вѣка; она періодически высыпаетъ наружу въ обществѣ пассивномъ, лишенномъ всякой самостоятельности, какъ выраженіе жалкаго малодушія, безсилія, трусости, привычки къ сонному спокойствію и отвращенія отъ малѣйшаго энергическаго движенія.

Устремленіе общества на путь новѣйшаго сентиментальнаго прекраснотушія, отразившись въ критикѣ Писарева, не замедлило проявиться и въ беллетристикѣ. Вскорѣ создалась цѣлая школа романовъ, спеціальная цѣль которыхъ заключается въ томъ, чтобы, изображая идеальные типы въ духѣ трезваго реализма и по образцу писаревскаго Базарова, показывать русскимъ людямъ путь ко спасенію.—Михайловъ является передъ нами представителемъ этой школы.

## IV.

Да, господа Михайловъ, Бажинъ, Омулевскій и проч., конечно, вы ставите выше всего поэзію реальную, вы стоите за нее горой и ужъ, разумеется, возмущаете, что съ васъ только и началась на Руси истинная поэзія. Такъ знайте-же, что ваши произведенія отстоятъ отъ почвы реализма, какъ небо отъ земли; вы создатели не реальной школы въ нашей литературѣ, а воскресители сентиментальнаго прекраснотворія тридцатыхъ годовъ, эпохи Н. Полевого, кн. Одоевскаго и Марлинскаго.

Да иначе не можетъ и быть. Уже если все современное мыслящее общество, вслѣдствіе отсутствія активности и соединеннаго съ нею обращенія мысли къ анализу относительныхъ фактовъ, стремится къ созерцанію различныхъ прекрасныхъ, безусловныхъ идеальчиковъ, то на васъ эта болѣзнь вѣка должна отразиться во стократъ болѣе, чѣмъ на прочихъ современникахъ: поразительное отсутствіе всякой наблюдательности дѣйствительныхъ фактовъ жизни въ вашихъ произведеніяхъ доказываетъ, что вы ведете кабинетную, затворническую жизнь писателей-отшельниковъ и вращаетесь вѣчно въ кружкѣ 3-хъ—4-хъ пріятелей, которыхъ возводите, конечно, въ идеалъ и съ которыхъ списываете вашихъ героевъ. Такая ненормальная жизнь прямо ведетъ въ заоблачныя сферы созерцанія различныхъ воздушныхъ видѣній не отъ міра сего—и ужъ тутъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи о реальной поэзіи.

Возьмемъ опять Михайлова, какъ представителя школы, и посмотримъ, что такое его идеальные типы сами по себѣ и какъ онъ къ нимъ относится.

Мы уже говорили выше, что поэты-идеалисты, сядя въ воплотить въ реальные образы свои абстрактные идеалы, идутъ двумя путями: или они выставляютъ передъ нами героевъ не отъ міра сего, монстровъ, разрушая всякую связь причинности, или же возводятъ въ идеалъ дѣйствительность вовсе не идеальную. Михайловъ умудрился какими-то чудодѣйственными образомъ избрать разомъ оба пути, и изъ этого вышла удивительная нескладница. Въ каждомъ романѣ Михайлова жизнь героя описана весьма подробно и обстоятельно во всѣхъ, что называется, воздыханіяхъ, начиная съ перваго крика младенца и до трезвыхъ сентенцій умудреннаго опытомъ зрѣлаго мужа. Начинаете вы читать романъ, и въ первыхъ главахъ видите въ героѣ передъ собою человѣка вполне не отъ міра сего. Чтобы читатели могли ясно представить себѣ, насколько горой Михайлова выше всѣхъ обыкновенныхъ смертныхъ, я попрошу только ихъ вспомнить свое собственное дѣтство, особенно, если дѣтство это протекало въ помѣщичьемъ домѣ. Мальчику нерѣдко приходилось видѣть зуботычины и пощечины, ристачаемыя родителями дворовымъ; случалось ему, пожалуй, быть свидѣтелемъ и болѣе серьезныхъ экзекуцій; но, какъ будто, видъ побоевъ и сѣченій самъ по себѣ наводилъ мальчика на мысль о ненормальности такихъ явленій? Ничуть не бывало. Ребѣчьему уму установленный вѣками порядокъ жизни представлялся столь-же неизбежнымъ, какъ неизбежно стоитъ земля, а надъ нею раскидывается сводъ небесный.

Каждый разъ при экзекуціяхъ онъ видѣлъ передъ собою не одиѣ стонущія жертвы, но и родителей, огорченныхъ, разсерженныхъ, твердившихъ, что эти бѣсти вгоняютъ ихъ въ гробъ, раздражая постоянно своимъ непослушаніемъ, грубостью, пьянствомъ, или же разоряютъ утаиваньемъ того, что имъ не принадлежитъ. Такимъ образомъ, каждая экзекуція оправдывалась виною въ глазахъ ребенка; онъ самъ начиналъ раздражаться на грубияновъ, пьяницъ и воровъ, и въ немъ зарождались инстинкты жестокости, заставлявшіе его съ злорадствомъ смотрѣть на истязанія и, подчасъ, самому поднимать свою маленькую ручонку на бѣдку или Таньку, надѣвшихъ ему неловко чулки. Изрѣдка въ душѣ ребенка проявлялось и чувство инстинктивной жалости, особенно по отношенію къ какому-нибудь своему любимцу; онъ могъ обратиться къ родителямъ и съ просьбою о помилованіи, но эта жалость была всегда явленіемъ частнымъ, единичнымъ, инстинктивнымъ, не исходящимъ ни изъ какого общаго принципа и ни къ какому принципу не приводящимъ. Гуманные принципы являлись обыкновенно въслѣдствіи, вычитывались изъ книгъ, выслушивались въ аудиторіяхъ, но долго приходилось имъ бороться съ грубыми привычками, вынесенными изъ дѣтства, и не всегда эта борьба оканчивалась побѣдою. Вспомните типъ Нехлюдова въ повѣсти Л. Толстого „Юность“. Онъ стремится къ гуманному идеалу, создаетъ различныя душевнотворительныя теоріи жизни, но это не мѣшаетъ ему, въ самомъ пылу бесѣды съ пріятелями о высокихъ вопросахъ жизни, сѣздить своего лакея по фізіономіи, вымѣщая на немъ несносную зубную боль, приключившуюся герою въ эту минуту. Вотъ это называется истинный реализмъ въ поэзіи. Сопоставьте рядомъ съ этимъ фактъ не изъ беллетристики уже, а прямо изъ жизни: И. Панаевъ рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ онъ, будучи взрослымъ юношею, романтикомъ, начавшимъ уже вращаться въ литературныхъ кружкахъ, въ свою очередь, въ пылу гнѣва, сѣздитъ по фізіономіи своего крѣпостнаго лакея, былъ тутъ-же посрамленъ своимъ пріятелемъ, и тогда только впервые почувствовалъ всю гнусность подобныхъ выходокъ и серьезно задумался о ненормальности крѣпостнаго права. У Михайлова герои рождаются уже эмансипаторами. Такъ, напримѣръ, Шуповъ на *десятомъ году* развѣгиралъ со своими родственниками цѣлую сцену по поводу собранія ими съ крестьянъ оброка: онъ былъ такъ уже развитъ, что могъ сопоставить мягкое обращеніе умершей матери со слугами и подаваніе ею милостыни нищимъ съ фактомъ собранія оброка съ крестьянъ и вывести изъ этого сопоставленія принципъ гнусности собранія оброка, и до такой степени разошелся мальчикъ: „не хочу брать оброка, мамаша сама давала нищимъ, я—наслѣдникъ!“, что былъ отцомъ высѣченъ, наконецъ, до полусмерти. Послѣ порки, *десятилетний мальчикъ* былъ согласенъ на другую такую-же порку, лишь-бы не принудили его просить прощенія у дяди, котораго онъ возненавидѣлъ и оскорбилъ за то, что тотъ не заступился за крестьянъ, и кончилась эта исторія тѣмъ, что тотъ-же *десятилетний мальчикъ*, послѣ всего этого погрома, воспылалъ единственною страстью учиться, развиваться!..

Такую-же совершенно сцену разыгралъ съ своимъ отчимомъ Вубновымъ герой романа „Въ разбродъ“ — Теплицинъ и, въ свою очередь, былъ высъченъ до полусмерти. Послѣ порки онъ тоже на 10-мъ году загорѣлся страстію учиться, развиваться. У него былъ дядя, капитанъ Хлопко, тотъ самый передѣланный съ англійскихъ нравовъ на русскіе морякъ, о которомъ мы говорили во второй главѣ; онъ рассказывалъ мальчику разные эпизоды изъ исторіи и изъ своихъ кругосвѣтныхъ путешествій, и хотя безспорно подобные рассказы имѣли свое развивательное вліяніе, но, во всякомъ случаѣ, нужно представить себѣ 10-лѣтняго мальчика въ высшей степени необыкновеннымъ, чтобы у него могло быть психическое настроеніе, которое у обыкновенныхъ смертныхъ является на шестнадцатомъ, семнадцатомъ году:

«Невеселая наша жизнь, притѣсненія, постоянное одиночество или бесѣды съ такимъ идеаломъ, какъ дядя, навели меня на мысль, что и меня ждутъ впереди страданія, что я долженъ приготовиться къ нимъ, и я, экзальтированный до крайности, сталъ развивать въ себѣ физическія силы и пробовать свою выносливость. Меня радовало, если мнѣ удавалось поднять что-нибудь тяжелое или справиться въ борьбѣ съ Гаврюшкой. Помню, что я однажды въ эту зиму взялъ горячій уголь въ руки и держалъ его до тѣхъ поръ, пока онъ остылъ. Изъ моихъ глазъ градомъ катились слезы, моя ладонь болѣла очень долго, но я былъ радъ и торжествовалъ въ душѣ, вспоминая о Іоаннѣ Гусѣ. Меня стали особенно привлекать такіа зрѣлища, какъ рѣзаніе куръ, и хотя мнѣ было очень жалко бѣдныхъ хохлушекъ, но я не убѣгалъ и смотрѣлъ до конца на ихъ казнь, помня, что дядя рассказывалъ о многихъ людяхъ, падающихъ въ обморокъ при видѣ крови».

Въ романѣ „Жизнь Шупова“ — есть герой плебейскаго происхожденія, Колька, который, въ свою очередь, поражаетъ васъ въ 10-ти-лѣтнемъ возрастѣ глубокомысліемъ социальныхъ взглядовъ. Такъ, онъ создаетъ цѣлую теорію о томъ, какъ жить безъ воровства: „по его соображеніямъ слѣдовало работать, цѣлый день работать, бумаги писать въ должности, сапоги или платье шить дома, — все работать и на выработанныя деньги нанимать маленькую, самую маленькую комнатку и жить одному, не имѣя дѣтей, одѣваться просто, ну, совсѣмъ просто, вотъ какъ мужики одѣваются“... Такимъ образомъ, вотъ уже въ какомъ возрастѣ являются въ современныхъ намъ трезвыхъ реалистахъ ихъ идеалы честнаго труженичества и чуждой малѣйшей роскоши, спартанской жизни! Въ томъ-же самомъ возрастѣ они начинаютъ уже и протестовать противъ истязаній, не только людей, но и животныхъ:

«— Одною я не понимаю, серьезно и задумчиво говорилъ онъ мнѣ однажды: — за что это собакъ и лошадей мучаютъ?

— Да вѣдь и людей мучаютъ, Колька, отвѣчалъ я. — Ты самъ-же мнѣ говорилъ...

— Людей! Такъ люди души свои за это за самое спасутъ. Вотъ и я теперь, если-бы умеръ, такъ святымъ-бы сталъ, съ нѣжной улыбкой промолвилъ онъ полусути. — А у собакъ и у лошадей души нѣтъ».

Я-бы могъ массу представить всевозможныхъ фактовъ, показывающихъ необычайность героевъ Михайлова. У Михайлова есть, наприѣмъ, герой — Павелъ Панютинъ, который, снѣдаемый безнадежною любовью, закучиваетъ съ богатыми шалопаями на пикникахъ и

ужинахъ съ куртизанками; но такъ какъ онъ никакихъ наслѣдственныхъ капиталовъ для этого не имѣетъ, а кутить на чужой счетъ считаетъ безчестнымъ, то онъ старается трудомъ приобрѣсти деньги, необходимыя для кутежей. Казалось-бы, что для приобрѣтенія уроками или переводами количества денегъ, достаточнаго, чтобы можно было стоять на одной ногѣ съ богатыми кутилами, требуется такая масса труда, что ни времени, ни силъ не хватило-бы на самую цѣль приобрѣтенія, т.-е. на кутежи; и, наоборотъ, участіе въ кутежахъ, въ свою очередь, требуетъ столько и времени, и силъ, что послѣ нихъ истощенному организму не до усидчиваго труда. Но для необъятныхъ силъ Панютина не существуетъ животной экономіи: трудясь, какъ волъ, онъ кутить, какъ гусаръ — и силы его ни мало не изнуряются отъ такой жизни. У Михайлова есть героиня Катерина Александровна Прилежаева, которая выходитъ изъ мрака грязнаго петербургскаго подвала, изъ міра голода, холода, пьянства и лохмотьевъ нищеты, словно Афродита изъ морской пѣны, исполненная лучезарнаго сіянія нравственныхъ и физическихъ совершенствъ и необразованная, едва умѣющая писать и читать — сразу дѣлается идеальнѣе всѣхъ идеальныхъ людей на свѣтѣ. Но довольно; однимъ словомъ, чудесъ въ романахъ Михайлова не оберешься; надо, впрочемъ, замѣтить, что всѣ подобныя чудеса не составляютъ особенности творчества одного Михайлова; у всѣхъ писателей этой школы вы найдете тоже самое: у всѣхъ у нихъ десятилѣтніе отроки развиваютъ социальные теоріи и шестилѣтнія дѣти протестуютъ. Мнѣ даже кажется, что будто я гдѣ-то читалъ, не помню у Михайлова или у Бажина, такую сцену, какъ младенецъ, сосущій млеко матери, внезапно оторвался отъ сосца и глубоко задумался о томъ, какое право имѣетъ онъ потреблять, не вознаграждая своего потребленія никакимъ производствомъ съ своей стороны; такое отступленіе отъ идеала честнаго труженичества такъ взволновало бѣдняжку, что онъ раскричался благимъ матомъ и ничѣмъ не могли его успокоить; груди онъ послѣ того не хотѣлъ ни за что брать и такъ и умеръ, не успѣвъ придумать, за какой-бы полезный трудъ приняться ему, и, въ тоже время, не желая ни одного шага болѣе дѣлать по опасному и кривому пути филистерскаго дармоѣдства. Читатель можетъ усомниться въ справедливости передаваемого мною факта; я и самъ не вполне увѣренъ, дѣйствительно-ли я читалъ что-нибудь подобное, но, во всякомъ случаѣ, нѣтъ сомнѣнія, что если до сихъ поръ еще ни одному беллетристу „Дѣла“ не пришелъ въ голову такой поэтический образъ идеальнаго младенца, то навѣрное скоро придетъ и — мы не замедлимъ прочитать на страницахъ „Дѣла“ въ романѣ Михайлова или Омулевскаго умилительную сцену трагической смерти младенца, который предпочелъ смерти отступленію отъ пути трезваго реализма.

Въ силу всего этого, когда вы начинаете читать романъ Михайлова, васъ невольно заинтересовываетъ судьба героя, такъ какъ вы проникаетесь слѣдующимъ соображеніемъ: Господи, ужъ если герой съ такихъ малыхъ лѣтъ проявляетъ столь необыкновенныя задатки, такъ осмысленно и глубоко обсуждаетъ всѣ окружающія его явленія, такъ рано устремляется на цѣль

развитія и притомъ развитія въ духѣ трезваго реализма, такъ сочувствуетъ всему страждущему и угнетенному, такъ негодуетъ противъ всего угнетающаго, то что-же изъ него потомъ выйдетъ? Невольно припоминаете вы при этомъ біографіи различныхъ великихъ людей, не только русскихъ, но и западныхъ, и даже и въ ихъ дѣтствѣ, при всемъ желаніи біографовъ показывать вамъ, что историческіе герои уже въ пеленкахъ создавали планы своей будущей дѣятельности, вы не видите и десятой доли того, что проявляютъ въ своемъ дѣтствѣ герои Михайлова!

Но читаете вы дальше и съ каждой страницей убѣждаетесь, что гора рождаетъ мышь. Въ половинѣ романа уже Михайловъ, какъ-бы совсѣмъ забывая, какихъ онъ намѣревался представить намъ великановъ, начинаетъ насъ убѣждать, что герои его — обыкновеннѣйшіе смертные, какъ мы съ вами; что они вовсе и не думали питать въ себѣ идеалы съ самаго рожденія, а должны до нихъ достигнуть путемъ долгаго искуса, соединеннаго съ цѣлымъ рядомъ испытаній и страданій, опасностей сбиться съ прямаго пути и дѣйствительныхъ заблужденій. И въ этихъ заблужденіяхъ герои наши оказываются такими иногда тряпичными, что какая-нибудь полоумная тетушка способна бываетъ направить ихъ на дорогу шалопайства, и если они не свертываютъ окончательно на эту дорогу, то благодаря вовсе не ихъ стойкому нравственному противодѣйствію, а чисто вѣншиимъ случайнымъ обстоятельствамъ въ родѣ того, что тетушка разоряется, уѣзжаетъ или умираетъ. Но какъ-бы то ни было, въ концѣ романа, герои, наконецъ, просвѣтляются таки новыми идеалами въ духѣ честнаго труженичества и трезваго реализма, въ осуществленіи этихъ идеаловъ находятъ мирную пристань отъ всѣхъ жизненныхъ бурь и невзгодъ и начинаютъ блаженствовать во вседовольствѣ и совершенствѣ.

Начинаете вы вглядываться въ этихъ вседовольныхъ и совершенныхъ героевъ, потому что, какъ хотите, а весьма любопытно посмотреть, что это за диво-совершенство въ семъ мірѣ, заключающемъ въ себѣ такую массу всевозможныхъ несовершенствъ, да и кроѣ того, среди цѣлаго ряда сомнѣній, огорченій и всякаго рода жизненныхъ дразгъ самаго возмутительнаго свойства, которыя вы ежедневно испытываете, развѣ не лестно научиться, какъ это хорошіе люди устраиваютъ безоблачное счастье, нельзя-ли и намъ присоединиться къ нимъ какъ-нибудь? Уже не производятъ-ли Михайловъ невиданнаго и неслыханнаго чуда: не даетъ-ли онъ намъ ключъ отъ эдема? Начинаяте вы съ этихъ мыслей всматриваетесь, говорю я, въ просвѣтленныхъ новѣйшими идеалами героевъ, и что-же представляется вамъ? Вы видите передъ собою милыхъ голубковъ, чистенькихъ, гладенькихъ, а какихъ невинныхъ, Боже мой, какихъ невинныхъ! Всѣ нравственныя, христіанскія и семейныя добродѣтели соединяются въ нихъ: кротость и незлобивость сердца, вѣжная преданность родителямъ, утѣшеніе алчущихъ и жаждущихъ и пр., и пр.; сидятъ они въ теплыхъ уголкахъ, въ уютныхъ гнѣздышкахъ и, проливая слезы умиленія при созерцаніи взаимныхъ добродѣтелей, тихо воркують вамъ: мы тише воды, ниже травы, мы ничтожные мураши, простые люди толпы!

Въ приобрѣтеніи честнаго куска хлѣба путемъ какого-нибудь муравьиного полезнаго труда — вся наша философія и все наше счастье; за большимъ-же мы не гонимся!.. Куда намъ: знай сверчокъ свой шестокъ. Всѣ наши несчастія и огорченія въ прошлой жизни, оттого, именно, и происходили, что мы метались безъ пути, взваливая себѣ на плечи громадныя труды не по силамъ, будучи неподготовлены и къ малымъ трудамъ; теперь мы опомнились, познали наше ничтожество, и скромно *„сошли со сцены для того, чтобы начать мирную, быть можетъ, буржуазную жизнь съ трудомъ изъ за куска хлѣба“*. И вотъ, какъ видите, живемъ, любимъ другъ друга, совѣсть наша спокойна и рыльце наше въ пушку. Только вы не подумайте, что мы всецѣло такъ ужъ и окунулись въ тину пошлаго филистерства. Ничуть ни бывало: мысли наши по-прежнему возвышенны, мы занимаемся на досугѣ естественными науками, готовы и школу завести, если разрѣшить начальство, наконецъ, всегда готовы помочь и бѣдному, осушить слезы плачущаго... Чего-жъ вамъ больше?

Вслушиваясь въ такую философію мурашинскаго ничтожества, вы невольно припоминаете что-то весьма знакомое, затерявшееся въ вашей памяти: Ба! Да вѣдь это философія Молотова, та самая, которую онъ развивалъ своей невѣстѣ въ концѣ повѣсти. Совершенно тоже самое: „мы люди темные, будемъ благодумствовать въ тепломъ гнѣздышкѣ въ сознаніи своей честности“. Да и всѣ герои Михайлова сходятся къ молотовскому типу и похожи на Молотова, какъ двѣ капли воды. — Да, читатели, всѣ эти Прохоровы, Теплицины, Шуповы — снимки съ Молотова; но подумайте только, какая неизмѣримая разница между отношеніемъ къ своему герою Помяловскаго и Михайлова!

Въ Молотовѣ Помяловскій изобразилъ передъ нами своего рода представителя среды. Это была первая попытка въ нашей литературѣ представить героя изъ той новой среды мыслящаго пролетаріата, которая съ конца пятидесятихъ годовъ начала играть первенствующую роль въ сферѣ умственнаго движенія нашего общества. Какъ представитель среды, какъ своего рода герой времени, Молотовъ несомнѣнно имѣетъ многія неотъемлемыя достоинства. Такъ, напримеръ, васъ могутъ привлекать въ немъ его неподкупная честность, плебейская гордость, доходящая часто до такой степени нравственной щепетильности, что даже въ желаніи сдѣлать ему подарокъ со стороны пощениковъ, у которыхъ онъ давалъ уроки, онъ видитъ побужденіе унижить его нравственное достоинство и отказывается не только отъ подарка, но и отъ мѣста; далѣе, его стремленіе составить свое счастье собственными руками, никому не дѣлаясь обязаннымъ въ немъ, ни передъ кѣмъ не стѣбаясь, никому ни въ чемъ не уступая; наконецъ, нравственная стойкость и энергія въ этомъ пути, соединенная съ суровымъ самообладаніемъ, привычкою воздерживаться отъ всякихъ мимолетныхъ увлеченій, прихотей и слабостей, могущихъ въ концѣ-концовъ свести съ того прямаго пути, который разъ избралъ себѣ человекъ. Все это — качества, безспорно, прекрасныя и рѣзко отличающія Молотова отъ всѣхъ прежнихъ героевъ, возросшихъ на почвѣ крѣпостнаго права, безхарактерныхъ, рас-

пущенныхъ и безцѣльно шатающихся, куда подуетъ вѣтеръ. Но, какъ ни хороши эти качества, съ реальной точки зрѣнія и они вполне относительны, т.-е. при однихъ условіяхъ жизни могутъ произвести какіе-нибудь благіе результаты, при другихъ-же условіяхъ, слава Богу, если изъ нихъ не выйдетъ чего-либо весьма непривлекательнаго. Какъ писатель реальный, Помяловскій и относится къ своему герою вполне реально; онъ не спѣшитъ возвести въ нѣчто безусловно-идеальное хорошія качества своего героя, а безпристрастно показываетъ намъ въ своей повѣсти, какъ они, при данныхъ условіяхъ жизни, только и могли привести Молотова, что къ 20,000 капитала, мягкому дивану, фарфоровымъ вазамъ по угламъ, семейному кошаку и усыпительному сознанию, что я — человѣкъ толпы и потому отъ меня ничего не требуется, какъ только, чтобы я въ чужой карманъ не залѣзалъ и спины передъ ближними не гнулъ, а въ остальномъ — Богъ проститъ. И въ концѣ-концовъ, Помяловскій скорбитъ о его судьбѣ, какъ скорбѣли объ Онегинѣ, Чацкомъ, Бельтовѣ, Рудинѣ — ихъ авторы. „Скучно, господа“, восклицаетъ онъ въ заключеніи повѣсти. А Михайловъ, наоборотъ, при взглядѣ на окончательную судьбу тѣхъ-же Молотовыхъ, умиляется, приходитъ въ телачій восторгъ и восклицаетъ сентиментально-риторическимъ тономъ, живо напоминающимъ языкъ Карамзина:

«Сократъ счастливъ тотъ, кто не слышалъ словъ праздно извѣрившейся старости, кто унесъ въ своей памяти хотя одинъ милый образъ, который, какъ яркій лучъ изъ мрака прошедшаго, озарялъ одинокую душу своей красотой, своей любовью и твердой вѣрой въ свои силы. Счастливъ читатель, который окончилъ чтеніе хотя одного романа и не потупилъ въ отчаяніи головы, но, поднявъ се, и бодро, и весело устремилъ свои взоры за героями въ ихъ будущую, неизвѣстную ему, читателю жизнь, въ страну вымысла, созданную его пробужденнымъ воображеніемъ. Въ этой странѣ свѣтлые образы навсегда останутся свѣтлыми, и никакого пятна не наложитъ на нихъ наша грязная жизнь. Свѣтлое настроеніе охватитъ душу читателя и промелькнетъ въ его головѣ мысль: «еще можно жить на свѣтѣ, еще есть хорошіе люди, они мнѣ какъ-будто знакомы....».

Что-же за причина такого радикально-противоположнаго отношенія къ одному и тому-же типу двухъ различныхъ писателей? Какая-же можетъ быть иная причина какъ не время: Помяловскій жилъ въ вѣкъ наибольшаго реалистическаго движенія въ нашемъ обществѣ, когда ко всему относились критически, когда не вѣрили, чтобы можно было достигнуть олицетворенія какихъ-бы то ни было идеаловъ, хотя призракъ личнаго счастья среди гнетущихъ и растлѣвающихъ обстоятельствъ жизни. А нынѣ вѣкъ другой, нынѣ мы только и ищемъ, что оправданія нашего малодушія, дряблости, безсилія въ борьбѣ съ обстоятельствами, и готовы возвести въ идеалъ всякую мерзость, лишь-бы хоть въ чемъ-нибудь найти успокоеніе и усыпить въ мирной пристани ничтожества проснувшуюся совѣсть.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ эти самозванные защитники новыхъ людей, Михайловъ, Омулевскій, Бажинъ,

выставляя намъ не настоящихъ людей нашего поколѣнія со всѣми ихъ недостатками и слабостями, а своихъ золотушныхъ идеальчиковъ, унижаютъ и топчутъ въ грязь своихъ кліентовъ неизмѣримо въ большей степени, чѣмъ враги. Въ самокъ дѣлѣ, подумайте, что униженіе для дѣйствительныхъ новыхъ людей, представленіе-ли ихъ въ видѣ хищныхъ Карловъ Морровъ, какъ это дѣлаетъ московская беллетристика, или прекраснодушно-невинныхъ тряпичностей тише воды ниже травы? Признаться сказать, подобная защита ужаснѣе самаго жестокаго обвиненія.

Но при созерцаніи типовъ Михайлова приходятъ въ голову мысли, еще болѣе возмущающія душу до глубины. Посмотришь вокругъ себя и видишь, что личное счастье не въ романахъ Михайлова, а въ дѣйствительности и до сихъ не прямо, а обратно пропорціонально развитію, т.-е. и до сихъ поръ, чѣмъ менѣе развитъ человѣкъ, тѣмъ легче ему помириться со многимъ, съ чѣмъ не помирится никогда человѣкъ истинно-развитый и тѣмъ больше шансовъ устроить свои дѣлишки; посмотришь, какъ нынѣ живетъ развитымъ людямъ, и, вмѣсто тѣснаго сожитія въ блаженныхъ эмпирахъ, въ духѣ единенія, любви и общаго труда, видишь всеобщій разладъ, вошь и скрежетъ зубовой на развалинахъ цѣлаго ряда такъ-называемыхъ „благихъ начинаній“! Посмотришь, какъ осмѣяно и попроано все, чѣмъ когда-то жилъ, на что надѣялся, что было въ молодости твоею святынею; и раздается вокругъ тебя одинъ циничскій хохотъ обѣвшихся, но не треснувшихъ еще отъ жиру всякого рода дѣльцовъ и срывателей кушей... А въ ушахъ еще не смолкъ грохотъ пушекъ, такъ недавно доказывавшихъ міру, что грубой матеріальной силѣ и теперь ничего не стоитъ наплевать на всѣ гуманныя, высокія идеи, которыя стояли человѣчеству столько слезъ и крови и стереть ихъ съ лица земли, какъ-будто ихъ никогда и не было... На сердцѣ у васъ кошки скребутъ, читатель. Развертываете вы книгу прогрессивнаго журнала, мечтая, что въ ней, если и не найдете утѣшенія, то хоть размыкаете скорбь вашу, и вдругъ передъ вами прекраснодушный романтистъ строитъ умиительно-сентиментальную физиономію и говоритъ вамъ: „вы страждете, вы мечетесь по свѣту, а отчего? — Отъ того, что многое берете на себя не по силамъ; бросьте лучше всѣ ваши кичливыя мечты, предоставьте передовымъ дѣятелямъ заботы о судьбахъ міра, исполнитесь кроткаго смиренномудрія, смѣшайтесь съ толпою, займитесь честнымъ муравьинымъ трудомъ и обрѣтете миръ и покой, *уходите, что есть еще хорошіе люди, еще можно жить на свѣтѣ*, и благо вамъ будетъ!“

Благо вамъ, философы честной пошлости, философы трезваго приниженія ниже травы, тише воды, философы дряблага малодушія, воображающіе сохранить свое человѣческое достоинство, отстранившись отъ всего, что дѣлается вокругъ васъ, и укрывшись отъ жизни въ раковинку блаженнаго прекраснодушія! Вамъ только и живетъ на свѣтѣ.

# НАШИ ГРЯДУЩЕ БИСМАРКИ.

«Национальный вопросъ въ исторіи и литературѣ». А. Градовскаго. Спб. 1873 г.

Метафизическій методъ все болѣе и болѣе утрачиваетъ свое значеніе для разрѣшенія вопросовъ общественныхъ; но онъ сохранилъ еще значеніе (вслѣдствіе отсталости государственныхъ наукъ) для разрѣшенія вопросовъ политическихъ...  
(Изъ книги А. Градовскаго, стр. 67).

## 1.

Национальный вопросъ на первый взглядъ можетъ привести насъ къ очень грустнымъ мыслямъ, особенно если мы сравнимъ, чѣмъ былъ этотъ вопросъ лѣтъ 50 тому назадъ и чѣмъ онъ сталъ въ наше время. Вспомните въ самомъ дѣлѣ, какими великимъ пріобрѣтеніемъ ума человѣческаго казался онъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, какими и моднымъ, и смѣлымъ, и страшнымъ казался онъ тогда, какими надеждами и мечтами кружились молодые горячія головы при одномъ словѣ „народность“ и какою злобою исполнялись сердца сѣдовласыхъ старцевъ, различныхъ Шульцевъ, Стурдзъ, Коцебу и прочихъ приверженцевъ священнаго союза и Меттерниха, сколько энергіи расточено ради этой идеи и сколько принято вѣнцовъ мученичества. Извѣстно, что послѣ вѣнскаго конгресса вся Европа была опутана сѣтью тайныхъ обществъ, и большинство этихъ обществъ, въ особенности—карбонаріи, гетеріи, Tugend-Bund на первомъ планѣ своей дѣятельности ставили принципъ народности. Не говоря уже о Гарибальди, Мадзини, Кошутѣ, политическая дѣятельность которыхъ всецѣло посвящена была національному принципу, мы можемъ насчитать многихъ и другихъ политическихъ дѣятелей, которые хотя переходили впоследствии къ инымъ принципамъ, но начинали свое политическое развитіе непремѣнно съ національнаго принципа; для примѣра приведемъ наиболѣе всѣмъ извѣстное и громкое имя Лассалля. Но, оставляя въ сторонѣ политическихъ дѣятелей, мы видимъ, что и наука, и искусства въ равной степени съ усердіемъ служили національному принципу. Такъ въ эпоху господства метафизической философіи всѣ знаменитые германскіе философы заплатили свою дань національному принципу, начиная съ Фихте, который готовъ былъ пожертвовать жизнью этому принципу и изображенія котораго нѣмецкіе студенты носили на трубкахъ именно ради этой готовности, и кончая Шеллингомъ и Гегелемъ, возводившими національный принципъ въ основное начало исторіи человѣчества. При этомъ замѣтимъ, что не одна только гегелевская школа выступила съ пресловутою теоріею избранныхъ народовъ и поставила во главѣ общечеловѣческой цивилизаціи германскую народность, которой, по ея мнѣнію, суждено сказать повлѣднее слово цивилизаціи; по пути Гегеля шли писатели, нисколько не принадлежащіе къ его школѣ.

Одно время сдѣлалось какъ бы *conditio sine qua non* патриотизма, чтобы каждый историкъ во главѣ общечеловѣческой цивилизаціи ставилъ непремѣнно народность, къ которой онъ имѣлъ честь принадлежать. Такъ Гизо въ своихъ философско-историческихъ этюдахъ представительницею европейской цивилизаціи считаетъ Францію, и даже Бокль, знаменитый Бокль, котораго ставятъ во главѣ историковъ—реалистовъ, внесшихъ въ историческую науку положительный методъ, въ свою очередь идетъ по пути метафизика Гегеля и, считая представительницею общечеловѣческой цивилизаціи свою Англію, дѣлаетъ ее чѣмъ-то въ родѣ масштаба для измѣренія хода цивилизаціи въ другихъ народахъ.

Что касается искусствъ, то они раньше исторіи и политики съ конца прошлаго столѣтія уже устремились на народную почву. Съ нихъ то началось развитіе національнаго принципа, начало которому положилъ своею дѣятельностью Лессингъ.

Все романтическое движеніе въ литературѣ было ничѣмъ инымъ, какъ служеніемъ національному принципу. Когда же изъ міра наукъ и искусствъ, изъ темныхъ лабиринтовъ тайныхъ обществъ, національный принципъ впервые всплылъ на поверхность законной международной политики въ видѣ греческаго вопроса, это произвело взрывъ такого необузданнаго энтузіазма во всей Европѣ, что даже великій поэтъ, стоявшій во главѣ всѣхъ европейскихъ литературъ, рѣшился пожертвовать этому вопросу всѣ свои могучія силы, всѣ свои матеріальныя средства и самую жизнь.

Въ развитіи нашего общества мы можемъ въ свою очередь припомнить такой моментъ, когда національный принципъ не былъ удѣломъ одного кружка, а представлялъ изъ себя модную идею, которою увлекалась вся мыслящая молодежь. Это было въ 20-ые годы. Тогда не существовало еще позднѣйшаго дѣленія на славянофиловъ и западниковъ, а всѣ общественные и литературные дѣятели, стоявшіе во главѣ умственнаго движенія, были немножко славянофилы. Этимъ и объясняются тѣ славянофильскія рѣчи Чацкого, которыя повидимому звучатъ такъ странно въ устахъ молодого человѣка, только что пріѣхавшаго изъ-за границы и ругающаго напоялъ московское общество, но онъ весьма понятны, если мы примемъ во вниманіе, что въ то время вся и петербургская, и московская молодежь, увлекаемая національнымъ принципомъ, повсюду твердила вслѣдъ за Чацкимъ:



Пускай меня объявят старовѣромъ,  
Но хуже для меня нашъ сѣверъ во сто кратъ  
Съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ все въ промѣнъ на  
новый ладъ:

И нравы, и языкъ, и старину святую,  
И величавую одежду на другую,  
По шутовскому образу...

Но вотъ прошло 50 лѣтъ, и Боже мой! что-же случилось въ наше время изъ этого нѣкогда моднаго, прогрессивнаго и даже революціоннаго принципа! Градовскій съ откровенностью, поражающею васъ наивнымъ простодушіемъ, въ предисловіи къ своему трактату прямо объявляетъ, какую роль суждено играть въ наше время національному принципу. „Эта теорія національно-прогрессивнаго государства, говоритъ онъ на страницѣ IV, одна можетъ быть противопоставлена требованіямъ нашего времени, сдержатъ завоеванія ученій, которыя принято называть „разрушительными“, хотя они суть только „инобытіе“ господствовавшей государственной теоріи“.

Итакъ, принципъ, который въ свою очередь былъ нѣкогда требованіемъ времени и считался (такова ужъ видно судьба всѣхъ требованій времени) разрушительнымъ ученіемъ, противъ завоеванія котораго былъ поставленъ оплотомъ священный союзъ, въ настоящее время становится самъ на мѣсто священнаго союза, своего кровнаго врага, и принимаетъ прискорбную и жалкую роль обуздателя какихъ-то новыхъ современныхъ требованій. И Градовскій совершенно правъ, навязывая національному принципу такую роль, отъ которой конечно всѣ умершіе великіе бойцы за этотъ принципъ должны перевернуться въ своихъ гробахъ, а живые покраснѣть отъ стыда. Вотъ уже 10 лѣтъ, какъ національный принципъ играетъ въ европейской жизни именно эту самую роль обуздателя и гасителя. Въ самомъ дѣлѣ: чуть въ какой-нибудь европейской странѣ слишкомъ ужъ громко начинаютъ заявлять себя живыя требованія времени, тотчасъ-же подымается какой-нибудь національный вопросъ, которыхъ такъ многоросло въ европейской жизни, завязывается кровопролитная война, поля опустошаются, тысячи семействъ сиротѣютъ, число нищихъ увеличивается въ странѣ, народъ стонетъ отъ увеличенія налоговъ вслѣдствіе уплаты военныхъ издержекъ и контрибуцій, но если бѣдствуетъ народъ, за то торжествуетъ національный принципъ, и въ разгулѣ необузданнаго шовинизма дѣйствительно обуздываются и забываются всѣ живыя требованія времени. Прижѣмъ благотворнаго торжества національнаго принципа можетъ служить намъ современная Германія. Объединенные подъ гегемонію Пруссіи, возвратившіеся изъ Франціи гордыми побѣдителями, нагруженными несметными добычами, нѣмцы, въ восторгѣ отъ торжества національнаго принципа, забыли всѣ тѣ глубокія идеи, всѣ тѣ мучительные вопросы времени, которые подымались и разрабатывались съ такимъ усердіемъ и ученостью въ ихъ отечествѣ; всѣ гениальные умы затмѣлись, все стушевалося и надъ всѣмъ царитъ одинъ чванный шовинизмъ, преисполненный дикихъ пристрастій и наглыхъ дифирамбовъ пангерманизма и слѣплаго поклоненія грубой, матеріальной силѣ. А Франція, чему обязана она своимъ тридцатилѣтнимъ рабствомъ подъ гнетомъ иска-

теля приключеній и своимъ постыднымъ паденіемъ въ результатъ этого рабства, какъ не тому-же національному принципу, служителемъ котораго объявилъ себя Наполеонъ III, и ловко умѣлъ время отъ времени подымать различные національные вопросы и отвлекать французскіе умы отъ вопросовъ внутренней политики внѣшними войнами, снискивая себѣ въ то же время популярность и славу защитника угнетенныхъ народностей...

Послужилъ-ли національный принципъ хотя-бы къ тому, чтобы въ международныхъ сношеніяхъ побудить дипломатовъ соблюдать права народностей, если не на самостоятельность, то хотя-бы на выраженіе воли подчиняться тому или другому изъ государствъ, присвоивающихъ себѣ данную страну? Ни чуть не бывало. Подобно тому, какъ при Меттернихѣ и до него кроили и перекраивали Европу во имя идеи политическаго равновѣсія, столь-же произвольно и теперь кроятъ и перекраиваютъ ее во имя національныхъ принциповъ, идей объединенія и округленія. Разница только въ томъ, что прежде полагали при присоединеніи областей къ тому или другому государству, что у населенія нѣтъ надобности спрашивать согласія, такъ какъ народы по существу своему призваны повиноваться государственнымъ людямъ, заботящимся о ихъ благѣ, теперь-же не считаютъ нужнымъ испрашивать согласія на томъ основаніи, что населенія по существу своему должны тянуть къ родственной національности... И вотъ вслѣдствіи одной войны, ведущейся ради національныхъ принциповъ, присоединяется Ницца къ Франціи, вслѣдствіе другой—Эльзасъ и Лотарингія къ Германіи. Предоставляемъ болѣе тонкимъ и глубокомысленнымъ политикамъ, въ родѣ хоть того-же Градовскаго, опредѣлить, чѣмъ отличается прежнее присоединеніе Эльзаса и Лотарингіи къ Франціи отъ нынѣшняго присоединенія ихъ къ Германіи; мы-же отказываемся находить въ обоихъ фактахъ присоединенія существенную разницу.

## II.

Если мы отъ національнаго принципа обратимся къ разнымъ другимъ, которые тоже въ свою очередь и въ свое время стояли во главѣ европейскаго движенія, то и въ ихъ судьбѣ мы увидимъ такое-же превращеніе изъ двигателей прогресса въ тормазы его. Такъ, наприимѣръ, возьмите хотя-бы дѣятельность первыхъ миссіонеровъ, распространявшихъ христіанство среди полудикихъ германскихъ племенъ. Сколько энтузіазма и самопожертвованія было въ этихъ людяхъ. Изъ цивилизованныхъ городовъ, бросая всѣ удобства жизни и прерывая всѣ кровныя связи, шли они въ дѣсныя трущобы къ дикимъ варварами, на холодъ, голодъ, мученія, иногда и вѣрную смерть. Они мечтали, что имъ удастся смягчить грубые нравы, обуздать дикія страсти и внушить дикарямъ принципы любви и гуманности, и воображали, что ихъ дѣятельность будетъ имѣть результатомъ католическую теократію, которая на цѣлые вѣка наляжетъ тяжелымъ гнетомъ на Европу, гнетомъ, отъ котораго европейскіе народы не могутъ вполне избавиться и понынѣ.

Но вотъ противъ этого гнета въ XV вѣкѣ возста-  
ла европейская мысль, возбужденная знакомствомъ  
съ идеями древней цивилизаціи и цѣлымъ рядомъ  
открытій и изобрѣтеній. Началось новое движеніе,  
исполненное столь-же горячаго энтузіазма; на знаме-  
ни прогресса были написаны великія слова: свобода  
совѣсти и право каждому толковать св. писаніе по  
своему разумѣнію. Все, что было живаго въ европей-  
скихъ обществахъ, устремилось за вождями этого дви-  
женія, и думали-ли эти вожди, что эманципируя  
Европу отъ авторитета папъ, они ведутъ ее къ пора-  
бощенію изсушающимъ умъ и сердце схоластическимъ  
резонерствомъ пастырей различныхъ реформатскихъ  
церквей, которые въ концѣ концовъ подадутъ руку  
свѣтской власти для искорененія всякихъ новыхъ по-  
бѣговъ европейской мысли.

А движеніе XVIII вѣка, все это броженіе скепти-  
ческихъ и гуманныхъ идей, разрѣшившееся обще-  
европейскимъ взрывомъ, что вышло изъ всего этого?  
Промышленная анархія на почвѣ безусловнаго инди-  
видуализма и мнимой равноправности, да идеалъ еди-  
ной, нераздѣльной республики, съ убійственной цен-  
трализаціею, поддерживаемою штыками. Если респуб-  
ликанцы, вѣрные преданіямъ эпохи якобинцевъ, не  
являются еще вполне реакціонерами, то благодаря  
только тому, что Европа и до сихъ поръ не отдѣла-  
лась отъ притязаній феодализма, съ которыми боро-  
лись ихъ отцы въ концѣ прошлаго столѣтія.

Перехода такимъ образомъ отъ одного движенія  
идей къ другому и види, что каждая серія идей изъ  
прогрессивной дѣлается въ концѣ концовъ консерва-  
тивной и реакціонной, невольно становишься въ ту-  
пикъ и спрашиваешь себя, что-же это за нелѣпая  
игра и стоитъ-ли послѣ этого къ чему-нибудь стре-  
миться, если исторія осязательно убѣждаетъ тебя, что  
все кажущееся тебѣ непрелѣжною истиною покажется  
ложью лѣтъ черезъ 50, а можетъ быть и ранѣе, а  
прекрасныя убѣжденія твои обратятся въ орудіе же-  
стокихъ преслѣдованій. Гдѣ-же послѣ этого настоя-  
щая-то истина, правда, и стоитъ-ли послѣ этого жить  
на землѣ, будучи смѣшною и жалкою игрушкою ка-  
кой-то бессмысленной исторической коловратности?

Но всѣ подобныя сомнѣнія происходятъ ни отъ че-  
го иного, какъ отъ укоренившейся въ насъ привычки  
отдѣлять человѣчскій родъ отъ всего прочаго жи-  
вотнаго царства непроницаемою стѣною, воображать,  
что съ появленія человѣка такъ сразу и началось на  
землѣ царство разума, и вслѣдствіе этого требовать,  
чтобы вся исторія человѣчества слагалась по непре-  
ложнымъ законамъ безусловной разумности.

Если-же мы, отрѣшившись отъ этого предразсудка,  
снимемъ человѣка съ того пьедестала, на который  
привыкли ставить его, убѣдимся, что человѣкъ, какъ-  
бы онъ ни возвышался надъ прочими животными  
своею способностью умственнаго развитія, тѣмъ не  
менѣе раздѣляетъ съ ними одну долю, подчиняясь не  
однимъ только идеямъ разума, а различнымъ вѣяніямъ  
тѣхъ-же самыхъ темныхъ инстинктовъ, какіе руко-  
водятъ всѣми животными, если, однимъ словомъ, мы  
признаемъ, что исторія человѣчества не есть исторія  
разумныхъ существъ, а только стремящихся сдѣлать-  
ся разумными, мы, правда, разочаруемся во многихъ

радушныхъ фантазіяхъ, но за то перестанемъ смот-  
рѣть мрачными глазами на всѣ вышеупомянутыя дви-  
женія прогресса, увидимъ, что въ каждомъ изъ нихъ  
есть своя доля истины, правды, и не все со временемъ  
дѣлается удѣломъ реакціи.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое животный инстинкъ  
и чѣмъ отличается онъ отъ разума? Было время, ког-  
да ему приписывали чудеса и ставили его даже выше  
человѣческаго разума, вида въ немъ частицу божес-  
твеннаго предусмотрѣнія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ  
рушилась вѣра въ цѣлесообразность явленій природы,  
исчезла и вѣра въ чудодѣйственность инстинкта. Онъ  
оказался ничѣмъ инымъ, какъ рядомъ инертныхъ  
привычекъ, образовавшихся путемъ ассоціацій впе-  
чатлѣній и часто повторявшихся рефлекторныхъ дви-  
женій. Въ такомъ видѣ инстинкъ является не только  
нечѣмъ либо противоположнымъ разуму, — это тотъ же  
разумъ, но или находящійся въ зачаточномъ состоя-  
ніи, не дошедшій еще до самосознанія и способности  
критически относиться къ явленіямъ внѣшняго міра  
и своимъ собственнымъ отпавленіямъ, или же напро-  
тивъ того разумъ, утратившій самосознаніе, омерт-  
вѣвшій, если можно такъ выразиться. Мы просимъ  
читателей обратить особенное вниманіе на этотъ двой-  
ной характеръ инстинкта, такъ какъ это обстоятель-  
ство будетъ играть не малую роль въ нашихъ даль-  
нѣйшихъ разсужденіяхъ. Дѣло въ томъ, что инстинкъ  
не всегда предшествуетъ разуму, иногда онъ слѣдуетъ  
за нимъ, и это мы видимъ во многихъ проявленіяхъ  
инстинкта уже въ различныхъ низшихъ классахъ жи-  
вотныхъ. Это обстоятельство и обманывало людей,  
заставляя ихъ видѣть разумную цѣлесообразность  
тамъ, гдѣ на самомъ дѣлѣ является одна механиче-  
ская инерція наслѣдственной привычки, периодически  
повторяющаяся не только безъ всякой цѣли и смысла,  
но иногда и во вредъ животнаго. Такъ напримѣръ,  
возьмите вы хотя бы привычку кошки зарывать свой  
пометъ въ землю. Очень можетъ быть, что при обра-  
зованіи этой привычки кошкою руководили какія ни-  
будь разумныя основанія, но разъ образовалась эта  
привычка, она дѣйствуетъ съ бессознательною маши-  
нальною аккуратностью маховаго колеса паровой мель-  
ницы, которое, разъ заведенное, будетъ вертѣться,  
хотя бы и не было подъ жерновомъ ни крупинки муки.  
Такъ и кошка, находясь въ комнатѣ, при видѣ своего  
помета, непременно поскребетъ полъ задними лапка-  
ми, нисколько не отдавая себѣ отчета въ томъ, что  
въ этомъ случаѣ подобное дѣйствіе лишено всякой  
цѣлесообразности. А что можетъ быть разумнѣе при-  
вычки бѣлки сохранять запасъ провизіи на зиму, но  
разъ сложившаяся, эта привычка въ свою очередь  
теряетъ всякую разумность и обращается въ такой же  
машинальный и бессмысленный обычай, и мы видимъ,  
что прирученная бѣлка продолжаетъ прятать гдѣ ни-  
будь въ уголку дома свой зимній запасъ, нисколько  
не обращая вниманія на то, что сожителство съ людьми  
обеспечиваетъ ея продовольствіе и безъ этихъ бере-  
женій. Точно также наконѣцъ и овцы, привыкши не  
безъ разумныхъ основаній слѣдовать за вожакомъ,  
доводятъ эту привычку до такой машинальности, что  
бросаются за своимъ вожакомъ и въ пропасть, въ слу-  
чаѣ неудачнаго скачка съ его стороны.

Совершенно подобны же проявленія машинальнаго, бессмысленнаго инстинкта мы можем встрѣтить на каждомъ шагѣ въ жизни человѣка и во всемірной исторіи. Мы не будемъ много распространяться о массѣ всякаго рода повседневныхъ обычаевъ и привычекъ, опутывающихъ нашу жизнь и своею машинальною прямо относящихся къ инертнымъ привычкамъ инстинкта; таковы, напримѣръ, суевѣрія, изъ которыхъ многія имѣютъ свое историческое происхожденіе, показывающее, что не всегда они были столь бессмысленны, какъ въ наше время: такъ, напримѣръ, когда простодушныя, при встрѣчѣ съ попомъ, спѣшатъ свернуть въ сторону, при этомъ ему и въ голову не приходитъ, что онъ машинально повторяетъ привычку своего предка-язычника, который имѣлъ свои разумныя основанія свертывать съ дороги при встрѣчѣ съ христіанскимъ священникомъ, опасаясь гнѣва языческихъ боговъ. Проявленія безотчетныхъ инстинктивныхъ и часто вполне рефлекторныхъ движеній, мы можемъ встрѣтить и въ болѣе крупныхъ историческихъ явленіяхъ, чѣмъ примѣты, суевѣрія и мелкіе обычай заходустій. Петръ Великій, напримѣръ, сознательно брилъ бороды боярамъ, желая сдѣлать ихъ европейцами хотя бы по одной внѣшности, но послѣ него обычай запрещенія носить бороды привилегированнымъ классамъ обратился въ мертвый формализмъ, дошедшій до такого отсутствія всякой осмысленности, что бороды не снѣли носить люди, съ ногъ до головы уже оевропеившіеся, и когда никому и въ голову не приходило соединять съ ношеніемъ бородъ какихъ-либо старовѣрскихъ наклонностей. А графъ Шамборъ? Не верхъ ли нелѣпости, что вопросъ быть или не быть королемъ соединяется въ его мозгу неразрывно съ вопросомъ будутъ или не будутъ на французскихъ знаменахъ нарисованы излюбленные цвѣточки. Какая можетъ быть разумная связь между тѣми или другими общественными принципами и тряпками, развѣвающимися на башняхъ; это проявленіе самаго слѣплаго инстинкта человѣка, до такой степени привязавшагося къ символу извѣстной идеи, что онъ потерялъ возможность представлять себѣ эту идею безъ символа и готовъ даже пожертвовать ради символа самою идеею. Но, да не подумаетъ читатель, что подобный абсурдъ составляетъ особенность одного графа Шамбора. Сжѣшеніе идеи съ жертвою формою, съ которой иногда совершенно случайно соединяется идея, составляетъ одно изъ самыхъ существенныхъ историческихъ явленій въ жизни всѣхъ народовъ; отъ этого не изъяты даже люди, стоящіе впереди вѣка. Возьмите, напримѣръ, такой фактъ, какъ низверженіе вандомской колонны. Что такое въ сущности этотъ фактъ, какъ не ребяческій гнѣвъ разумныхъ существъ противъ неодушевленнаго куска гранита, которому рѣшительно все равно, стоять или лежать на Вандомской площади. Разсуждая по простому здравому смыслу, казалось бы такъ очевидно, что тѣ или другіе памятники, представителями какихъ бы вредныхъ идей они ни были, сами по себѣ не могутъ принести никакого вреда, если мы постараемся искоренить вредныя идеи изъ самой жизни; протекутъ вѣка и памятники останутся въ глазахъ толпы ничѣмъ инымъ, какъ свидѣтелями прожитаго и будутъ только

оживлять своимъ присутствіемъ историческія воспоминанія. Не смѣшно ли тратить время и силы на разрушеніе бездушныхъ столбовъ, въ то время, какъ то зло, представителями котораго эти столбы являются, продолжаетъ господствовать во всѣхъ отношеніяхъ жизни? Или ужъ если такъ необходимо выражать свой гнѣвъ на бездушныхъ камняхъ, то почему же не начинать дѣло разоренія съ египетскихъ пирамидъ и коллизей, которые остаются передъ нами памятниками тоже не богъ вѣсть какихъ доблестей человѣчества? Но какъ вы тамъ ни разсуждайте, сидя въ своемъ кабинетѣ, а вотъ нашлись-таки люди, взяли да и повалили вандомскую колонну. И замѣтьте притомъ, что подобный поступокъ не есть дѣло минутнаго увлеченія: онъ былъ совершенъ не внезапно, впопыхахъ, какъ обыкновенно народъ въ дни возстаній срываетъ гербы и флаги; это дѣло было совершенно систематически: взялся за него одинъ изъ лучшихъ архитекторовъ Парижа и совершилъ его хладнокровно, по всѣмъ правиламъ искусства, принявши всѣ мѣры, чтобы колонна своимъ паденіемъ не повредила окружающихъ зданій; однимъ словомъ, какъ будто дѣло шло здѣсь о чемъ-либо весьма цѣлесообразномъ и имѣющемъ важныя результаты для исторіи страны или для Парижа.

Именно это-то сжѣшеніе идеи съ формою и наклонность привязываться къ формѣ болѣе, чѣмъ къ идеѣ, происходящая по всей вѣроятности отъ той причины, что идея отвлеченна, а форма осязательна, мы видимъ во всѣхъ вышеупомянутыхъ міровыхъ историческихъ движеніяхъ. Каждое движеніе въ началѣ своемъ бываетъ весьма разумно и цѣлесообразно и приноситъ міру рядъ идей, истинность которыхъ несомнѣнна и которыя и не думаютъ отживать вмѣстѣ съ своимъ вѣкомъ, а напротивъ того продолжаютъ существовать въ умахъ лучшихъ людей во всѣ послѣдующіе вѣка. Такъ, напримѣръ, развѣ умерли тѣ идеи гуманности, любви ближняго паче себя, которыя принесли христіанскіе миссіонеры дикарямъ германскихъ лѣсовъ? А идеи свободы совѣсти или права ума самостоятельно разсуждать, не ограничиваясь однимъ слѣпымъ повиновеніемъ высшимъ авторитетамъ, а идеи равенства передъ закономъ, народнаго самовластія, — развѣ всѣ эти идеи оказались въ послѣдствіи вредными и ложными и были отвергнуты передовыми мыслителями позднѣйшихъ вѣковъ? Ничуть не бывало: онѣ и понынѣ считаются лучшимъ достояніемъ человѣчества и между собою живутъ вполне дружно, нисколько не отрицая одна другую, позднѣйшая старѣйшую, и составляя одну стройную систему, поддерживая и дополняя одна другую. Нѣтъ, не идеи низводили прогрессивныя движенія на почву реакціи, а именно тѣ условныя, историческія формы, въ которыхъ эти идеи проявлялись. Мы видимъ, что при каждомъ движеніи выдвигалась впередъ какая-либо форма, которая, цѣпляясь за передовыя идеи, изъявляла претензію составлять съ ними нѣчто одно, нераздѣльное. И люди до такой степени привыкли соединять свои любимыя идеи съ этою формою, что привычка и привязанность къ формѣ, возрастая все болѣе и болѣе, доходили, наконецъ, до того, что за формою забывались и самыя идеи. Тогда то и кончались всякая разумность и цѣлесо-

образность, а начинались дѣйствія слѣпаго инстинкта въ видѣ машинальнаго исполненія привычныхъ формъ и стремленія сохранить ихъ во что бы то ни стало, хотя бы подобное охраненіе не только не имѣло ничего общаго съ идеями, но шло воплнѣ въ разрѣзъ съ ними. Подобное низведеніе разумаго движенія идей на степень слѣпаго инстинкта, мы, дѣйствительно, видимъ въ каждомъ изъ разсматриваемыхъ нами историческихъ моментовъ. Въ началѣ среднихъ вѣковъ формою, изъяснившю претензію составлять сосудъ для идей христіанскихъ миссіонеровъ, послужила католическая церковь, и до такой степени эта форма въ послѣдствіи сѣмѣлась съ христіанскими идеями, что людямъ начало казаться, что для спасенія достаточно принадлежать къ католической церкви и исполнять ея обряды, а о проведеніи самихъ идей въ жизнь перестали и помышлять, и даже начали поступать совершенно вопреки ихъ, когда ради сохраненія излюбленной формы начали воздвигать кровавыя войны и кистры инквизиціи. Въ XVI вѣкѣ такою формою явились различныя реформатскія церкви, которыя въ свою очередь, поставивши на своемъ знамени свободу совѣсти и разума, забыли въ послѣдствіи о своихъ основныхъ принципахъ и, когда свобода критики коснулась ихъ самихъ, начали дѣйствовать въ союзѣ со свѣтской властью противъ идей, которыя сами же нѣкогда воздвигли. Гуманныя и скептическія идеи XVIII вѣка прилѣпились въ глазахъ вѣрныхъ преданій первой революціи къ идеалу единой, нераздѣльной, централизованной республики, и въ свою очередь, разъ эта форма восторжествуетъ и утвердится, хотя бы во Франціи, приверженцы ея всегда будутъ готовы воздвигнуть гоненія, весьма не гуманныя, противъ каждого противника подобной формы.

### III.

Національный принципъ, составляющій предметъ нашихъ разсужденій, въ свою очередь не избѣгъ той же участи перехода изъ сферы разумности въ сферу слѣпыхъ инстинктовъ бездушнаго формализма. Въ основѣ этого вопроса лежитъ идея воплнѣ разумная, несомнѣнно истинная и явившаяся не случайно, не свалившаяся съ неба, такъ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, а вынесенная изъ горькаго опыта жизни. Чтобы понять весь смыслъ этой идеи и всю ея важность, надо обратить вниманіе на то, что, какъ губерналисты дореволюціонной эпохи, такъ и рационалисты эпохи революціи воплнѣ игнорировали фактъ существованія различныхъ народностей. Губерналисты, вѣрные феодальнымъ понятіямъ и преданіямъ, всѣ государственные вопросы сводили къ вопросамъ о владѣніи землею, люди же, населявшіе земли, по ихъ понятіямъ, составляли нѣчто одно нераздѣльное съ землями и имѣли въ ихъ глазахъ значеніе, нисколько не большее, чѣмъ лѣса или дуга, т. е. разсматривались исключительно только, какъ статьи дохода. Очевидно, что вопросы о народныхъ интересахъ не могли имѣть здѣсь и мѣста, потому что не все ли было равно для феодальнаго владыки, какіе бы народы ни населяли различныя части государственной территоріи, лишь бы

только эти народы исправно платили подати и поставляли рекрутовъ въ государственную армію?

Естественно, что при такихъ возрѣзьяхъ единственными вопросами международной политики могли быть вопросы о правахъ на владѣніе тѣми или другими землями различныхъ государствъ, и не столько даже государствъ, сколько ихъ представителей, такъ что уничтоженіе какого-либо государства и присоединеніе его территоріи къ другому представлялось въ глазахъ государственныхъ людей не потерю завоеваннымъ народомъ свободы, а простою экспроприаціею бывшаго владѣтеля.

Рационалисты XVIII вѣка возстали противъ всѣхъ этихъ порядковъ, основанныхъ на феодальныхъ преданіяхъ. Въ основѣ своихъ ученій они поставили тотъ всѣмъ извѣстный принципъ новаго времени, что не люди существуютъ для государства, а государство для людей. Основываясь на этомъ принципѣ, они начали создавать à rigōr планы такихъ государственныхъ устройствъ, которыя, будучи основаны на разумныхъ началахъ, служили-бы къ наибольшему счастью и благополучію. Въ теоріи всѣ эти планы были прекрасны, основывались на истинно гуманныхъ идеяхъ свободы и равноправности, но когда пришлось осуществлять ихъ на дѣлѣ, въ дѣйствительности рационалисты встрѣтили не тѣхъ апріорныхъ людей, которые въ ихъ фантазіи стремились къ братству и единенію въ духѣ свободы и любви, а рядъ народностей, находящихся на различныхъ степеняхъ культуры, имѣющихъ каждая свои дорогія историческія воспоминанія, свои освященные вѣками обычаи и формы жизни, наконецъ, свои симпатіи и антипатіи, — однимъ словомъ, въ дѣйствительности рационалисты встрѣтились не съ разумными существами, готовыми слѣдовать законамъ разума, а съ стадными животными, слѣпо повинующимися различнымъ вѣяніямъ инстинкта. Если-бы рационалисты были чистые мыслители, то они, конечно, остановились-бы передъ такою дѣйствительностью и ограничились-бы тѣмъ, что сказали-бы людямъ: вотъ вамъ рядъ идей, способныхъ осчастливить васъ и сдѣлать настоящими людьми. Способны вы принять эти идеи и слѣдовать имъ — ваше счастье, а нѣтъ — вините себя, мы все-таки будемъ дѣлать свое дѣло и проповѣдывать вамъ наши идеи, авось вы когда-нибудь и прозрѣете. Но рационалисты не могли ограничиться этимъ, потому что они были людьми не однихъ словъ, но и дѣла. Они до такой степени вѣрили въ силу и спасительность своихъ идей, что имъ казалось, что и насильно навязанныя, эти идеи должны принести свою пользу. И вотъ начались всевозможныя попытки рациональныхъ реформъ сверху, которыми сначала занимались философствующіе правители въ родѣ Фридриха Великаго, Екатерины и Іосифа II, а потомъ всѣ эти частныя попытки сѣмѣнились однимъ колоссально-безумнымъ опытомъ Наполеона — разрушить силою меча всѣ національныя перегородки, слить всѣ европейскіе народы подъ одинъ скипетръ и водворить въ нихъ рациональныя учрежденія, выработанныя французскою революціею. Національный принципъ былъ прямымъ логическимъ выводомъ изъ всѣхъ этихъ неудачныхъ попытокъ къ насильственному водворенію на землѣ царства разума.

Попытки эти показали людямъ, что какъ ни прекрасны могутъ быть тѣ или другія учрежденія въ теоріи, въ дѣйствительности они могутъ осуществиться только тогда, когда они свободно и естественно развиваются изъ жизни народа; необходимо поэтому, чтобы народъ доросъ до нихъ, понялъ ихъ, захотѣлъ ихъ; все-же искусственно навязываемое народу, помимо его желанія, не только не приноситъ ему пользы, но причиняетъ неизгладимый вредъ потому что парализуетъ свободное и естественное развитіе народной культуры, обращая народъ изъ живаго существа въ мертвый матеріалъ, изъ котораго можно будто-бы вылѣпить какую угодно форму по нашему личному произволу. Въ результатѣ выходитъ тотъ выводъ, что каждая народность имѣетъ право на свободное, самобытное развитіе, и всякое насиліе надъ нею не только ради своекорыстнаго господства, но и съ самыми благодѣтельными цѣлями терпимо быть не можетъ. Вотъ основаніе національнаго принципа. Я полагаю, что каждый здравомыслящій человѣкъ согласится съ истинностью подобнаго основанія и не найдетъ въ немъ ничего такого, что-бы въ послѣдствіи могло сдѣлаться регрессивнымъ и реакціоннымъ, подобно тому, какъ не можетъ быть ничего реакціоннаго въ христіанскихъ идеяхъ любви и гуманности, въ реформаціонныхъ идеяхъ свободы совѣсти и разума, въ скептическихъ идеяхъ XVIII вѣка. Защищая право каждаго народа на свободное и самостоятельное развитіе, національный принципъ, взятый въ своемъ чистомъ видѣ, и не думаетъ навязывать народамъ тѣ или другія стремленія, такое развитіе, а не другое, предполагать напримѣръ, что каждая народность непременно должна стремиться къ единству, къ созданію своихъ особенныхъ самобытныхъ государственныхъ формъ и пр., и съ другой стороны отвергать возможность раздробленія народа на нѣсколько государствъ или соединеніе нѣсколькихъ народностей въ одно государство. Для національнаго принципа важно только, чтобы надъ народами не производилось никакого насилія и воля его свято соблюдалась, что-же касается характера народныхъ желаній, то какъ-бы они ни были противоположны, народный принципъ долженъ относиться къ нимъ съ одинаковымъ уваженіемъ. И дѣйствительно мы можемъ предположить себѣ рядъ проявленій народныхъ стремленій, диаметрально противоположныхъ другъ другу — и всѣмъ имъ одинаково долженъ сочувствовать національный принципъ. Является напримѣръ народность, находящаяся въ раздробленномъ состояніи, желающая соединиться въ одно цѣлое; такова была Италія въ недавнее время. Конечно, національный принципъ долженъ принять такое стремленіе подъ свое покровительство и вооружиться всѣми своими силами противу людей, желающихъ насильственно сохранить раздробленіе народности изъ какихъ-нибудь своекорыстныхъ видовъ или теорій политическаго равновѣсія. Но вотъ мы видимъ другую народность — напримѣръ Англію, стремящуюся къ раздробленію; мы видимъ, что одна огромная часть, въ видѣ Америки, отвалилась уже отъ своей метрополіи; не сегодня завтра тоже сдѣлается съ Индіей или англійскими владѣніями въ Австраліи. Національный принципъ долженъ и

такое стремленіе взять подъ свое покровительство въ виду людей, которые насильственно старались-бы сохранить единство народа ради государственной цѣлости. Отторгнутая завоеваніемъ провинція съ отвращеніемъ переноситъ чужеземное иго и тянетъ къ единоплеменному государству. Нужно ли и говорить о томъ, какъ долженъ отнестись къ этому національный принципъ? Но вотъ происходитъ нѣчто совершенно противоположное: отторгнутая провинція, въ родѣ, напримѣръ, Эльзаса и Лотарингіи, такъ сжилась съ своими завоевателями, что совершенно причеслала къ нимъ, особенно послѣ того, какъ успѣла много кое-чего пережить съ ними общаго; и вдругъ сосѣдняя народность, которой нѣкогда принадлежала эта провинція, снова возвращаетъ ее себѣ на томъ основаніи, что населеніе этой провинціи одного съ ней племени, между тѣмъ, какъ населеніе возвращенной провинціи не хочетъ и знать своихъ земляковъ и продолжаетъ тянуть къ своимъ прежнимъ завоевателямъ. Неужели же національный принципъ долженъ одобрить это насильственное присоединеніе провинціи ради теоріи народнаго единства? Нѣтъ, онъ долженъ не забывать, что единственное истинное основаніе его — есть отрицаніе всякаго насилія надъ цѣлымъ народомъ или хотя бы частью его, и онъ, въ свою очередь, долженъ стать на сторону провинціи, не желающей присоединенія, и объявить, что единство, созданное насильственнымъ путемъ, вовсе не есть единство. Нѣсколько народовъ насильственно связываются въ одно государство подъ верховною властію, совершенно вѣмъ имъ чуждою. Примѣръ такого государства представляетъ Австрія. Нужно-ли опять-таки говорить о томъ, какъ долженъ отнестись къ этому факту національный принципъ? Но можетъ случиться и такъ, что нѣсколько народностей пожелаютъ составить одно государство или, можетъ быть, онѣ давно уже составили и отлично ужились между собою. Европа можетъ представить намъ и такой примѣръ въ видѣ Швейцаріи, въ которой дѣйствительно подъ одной государственной формой вотъ уже нѣсколько вѣковъ существуютъ три народности: французская, нѣмецкая и итальянская. Представьте-же себѣ, что вдругъ Франція, Италія и одна изъ нѣмецкихъ державъ вздумали бы составить между собою союзъ съ цѣлію раздѣленія Швейцаріи, ради объединенія народностей каждой изъ союзныхъ державъ. Чью-бы сторону долженъ здѣсь принять національный принципъ: сторону-ли державъ, выступившихъ приверженцами національнаго объединенія, или швейцарцевъ, желающихъ составлять одно государство, несмотря на различіе народностей, входящихъ въ него? Очевидно, сторону швейцарцевъ. Онъ долженъ былъ-бы напомнить приверженцамъ объединенія, что подобно тому, какъ иностранецъ, съ которымъ мы прожили десять лѣтъ въ одной комнатѣ душа въ душу, дѣлается для насъ въ неизмѣнно большей степени роднымъ, чѣмъ тотъ кровный родственникъ, съ которымъ мы никогда въ жизни не видались, такъ и для гражданъ Берна гораздо роднѣе граждане Женева, чѣмъ граждане Вѣны или Берлина. Много значить прожить съ кѣмъ-нибудь долгое время подъ одними впечатлѣніями жизни, и въ этомъ отношеніи

доктрина народнаго объединенія является жертвою, абстрактною теорією, идущою въ разрѣзъ со всѣми народными симпатіями и влеченіями, и національный принципъ долженъ воспротивиться всѣмъ своимъ силами противъ такого насилія.

Наконецъ, представимъ себѣ, что во главѣ народа стоитъ правительство, состоящее изъ людей, сильно увлеченныхъ культурными формами какой-нибудь чуждой національности и желающихъ во что-бы то ни стало пересадить эти формы на почву своего народа; между тѣмъ, массы народа, дорожа своею собственною культурою, вовсе этого ни желаютъ и относятся къ реформамъ враждебно. И какъ - бы пересаживаемыя культурныя формы ни были выше народныхъ, національный принципъ непремѣнно долженъ возстать противъ такой пересадки, именно, во имя того, что ничто насильно навязанное народу не можетъ пустить въ немъ глубокихъ корней и не можетъ принести ему никакой пользы, а напротивъ того, только извращаетъ его понятія, приучая его, вслѣдствіе инстинктивной оппозиціи противъ насилія, съ отвращеніемъ относиться къ такимъ предметамъ, которые сами по себѣ должны-бы были внушать, напротивъ того, сочувствіе и могли-бы принести бездну блага. Но мы можемъ представить себѣ и совершенно обратный случай: народъ всею массою увлекается формами чуждой культуры и желаетъ пересадить эти формы на свою почву; во главѣ же его стоятъ люди, держащіеся такого мнѣнія, что народъ долженъ, во что-бы то ни стало, сохранять свои народныя культурныя формы и отнюдь не перенимать чужихъ, и люди эти начинаютъ употреблять всѣ усилія, чтобы удержать народъ отъ подражанія чуждымъ ему формамъ. Долженъ - ли національный принципъ встать на сторону подобныхъ консерваторовъ? Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. И въ этомъ случаѣ, какъ во всѣхъ предыдущихъ, для него должна быть дорога народная воля и онъ долженъ заявить людямъ, желающимъ идти противъ этой воли: да, неестественно навязывать народу насильно формы чуждой ему культуры, но столь-же неестественно и насильно стараться удерживать въ народѣ его старыя формы. Желаніе, созрѣвшее въ массахъ народа, относительно принятія какой-нибудь чуждой культурной формы, должно считать столь естественнымъ и нормальнымъ, какъ, если-бы эта чуждая форма была создана самимъ народомъ: чего народъ желаетъ, то, значитъ, ему не чуждо, то, значитъ, народно и должно ему принадлежать неотъемлемо.

Я прошу извинить читателей, если я надѣлъ ему рядомъ своихъ антитезъ; но я желалъ ими вполне исчерпать всевозможныя отношенія къ различнымъ явленіямъ жизни національнаго принципа, взятаго въ его чистомъ видѣ. И мы видимъ изъ этого ряда антитезъ, что національный принципъ самъ по себѣ не имѣетъ ничего общаго съ теоріей народнаго единства, требующаго, чтобы каждый народъ составлялъ непремѣнно одно, особенное государственное цѣлое и чтобы отнюдь нѣсколько народовъ не могли сливаться въ одно государство или, наоборотъ, одинъ народъ раздробляться на нѣсколько государствъ; не имѣетъ ничего общаго и съ доктринами народной исключительности, требующей, чтобы народъ свято сохранялъ всѣ

свои культурныя формы и въ принятіи каждой чуждой формы видѣлъ гибель.

#### IV.

Но мы уже говорили, что національный принципъ, какъ и всѣ прочіе предшествовавшіе ему великіе историческіе принципы, не могъ удержаться въ своемъ чистомъ видѣ и, въ свою очередь, перешелъ въ послѣдствіи на почву мертваго формализма. Этому помогли тѣ же историческія обстоятельства, которыя и вызвали его. Истинному пониманію принципа въ его чистомъ видѣ очень часто мѣшаютъ тѣ вопліи естественныя, но тѣмъ не мѣнѣе инстинктивныя и лишенныя всякой осмысленности реакціи въ противоположную сторону, которыя слѣдуютъ за всякимъ увлеченіемъ и которыя Градовскій, слѣдуя гегелевской терминологіи, называетъ инобытіемъ. Съ одной стороны, гегельялисты и рационалисты до такой степени пренебрегали народными интересами, считая народы ничѣмъ инымъ, какъ какимъ-то мертвымъ матеріаломъ, для осуществленія своихъ своекорыстныхъ и абстрактныхъ цѣлей, и такъ произвольно позволяли себѣ дѣлать и соединять ихъ, что вызвали противоположную крайность, въ силу чего приверженцы національнаго принципа не могли остановиться на одномъ только отрицаніи какихъ-бы то ни было насилій надъ волею народовъ, а начали воображать, что народы по самому существу своему внутренне нераздѣлимы и внѣшно несоединимы, что ужъ такъ положено самою природою, чтобы человечество раздѣлялось на отдѣльныя народныя группы, причемъ каждая народная группа должна непремѣнно составлять особенное, независимое цѣлое, потому что она есть особенный живой организмъ; мечтать же изъ двухъ-трехъ организмовъ составить искусственно одинъ столь же нелѣпо, какъ и наоборотъ расчленять организмъ на части, мечтая изъ каждой части создать особенное живое существо. Съ другой стороны надо вспомнить, что въ XVIII вѣкѣ всѣ европейскіе народы были увлечены французскою цивилизаціею. Это увлеченіе, какъ извѣстно, не ограничивалось одними идеями, распространявшимися французскими мыслителями, а доходило до крайностей, лишенныхъ всякой осмысленности и стоявшихъ вопліи на почвѣ рефлексивныхъ движеній подражательности: перенимали изъ Франціи все, что только бросалось въ глаза: костюмы, убранство комнатъ, архитектуру домовъ и садовъ; старались и говорить, и ходить, и писать, какъ французы, и также развратничать, какъ развратничали въ Версали. Эта крайность вызвала противоположную крайность, столь-же слѣпую и неосмысленную. Послѣ наполеоновскихъ войнъ всѣ ударились въ квазную патріотизмъ, начали прославлять народные обычаи и нравы, возводить въ идеальныя различныя народныя качества иногда самого не идеальнаго свойства и отрицать полезность перенесенія съ почвы одной народности на почву другой какихъ-бы то ни было культурныхъ формъ. Подобному увлеченію ревностно вторила метафизическая философія, выступившая со своею извѣстною теорією, заключающеюся въ томъ, что каждая народность есть выразительница одной какой-нибудь стороны бе-



зусловной идеи и поэтому должна развиваться совершенно самостоятельно; увлечение же какими-нибудь культурными формами чуждой цивилизации может повести только к тому, что народность, потерявши свою индивидуальную особенность, обезличится и утратит всякое историческое значение. На почве таких учений и развились различные германофильства, славянофильства и пр. Таким образом, национальный принцип и вступил на почву мертвого формализма. Вместо того, чтобы органичиваться одною защитой свободных проявлений народной воли и отрицанием каких бы то ни было насилий над народами, он начал сам навязывать народу ряд стремлений, выведенных à priori из различных метафизических начал и вместе с тем предписывать народам предвзятые формы жизни. Требование, чтобы народность, непременно объединенная, непременно была нераздельно связана государственными формами, созданными опять-таки непременно ею самою, — сдѣлалось благочестивым желанием националистов; въ эти узкія рамки они начали стремиться втиснуть всю историческую жизнь европейских народовъ, отрицая внѣ этихъ рамокъ возможность какого бы то ни было движения жизни. Но вѣдь это величайшее насилие, какое только можно себѣ представить. Чужое, такъ оно и должно быть: каждый принципъ, переходя на почву формализма, приходитъ къ отрицанию тѣхъ самыхъ идей, какія положены въ его основаніе. Къ этому же пришелъ и національный принципъ: отъ отрицанія насилия онъ самъ неминуемо долженъ былъ обратиться къ насилию, разъ онъ создалъ себѣ фетиша, поклоненіе которому сдѣлалъ всеобщую обязанностью. Пока подобный формализмъ стоялъ еще на почвѣ отвлеченныхъ теорій кабинетныхъ мыслителей въ родѣ нашихъ славянофиловъ 40-хъ годовъ, можно было и не замѣтить противорѣчія между ними и чистыми основаніями національнаго принципа. Можно было думать, что националисты-формалисты ограничатся пропагандою своихъ утопій, но въ то-же время, во имя основныхъ началъ своего принципа, никогда не покусаясь силою провести эти утопіи въ жизнь, въ случаѣ если жизнь, не послушавшись, будетъ идти своею дорогою. Но когда національный формализмъ началъ переходить въ Европѣ отъ слова къ дѣлу, когда онъ проникъ въ сферу международной и внутренней политики, тогда и обнаружилось, что въ дѣйствительности онъ иначе не можетъ быть проведенъ, какъ путемъ цѣлаго ряда самыхъ грубыхъ и убійственныхъ насилий. Германское объединеніе показываетъ намъ наглядно, каковы первые шаги національнаго формализма въ жизни. Но это только цвѣточки, а ягодки будутъ впереди, и мы не знаемъ еще, сколько крови будетъ пролито, сколько будетъ совершенно ужасныхъ насилий и поправо самыхъ естественныхъ народныхъ стремлений.

## V.

У насъ не существуетъ еще такой національной партіи, какъ въ Пруссіи, гдѣ эта партія строго организована, имѣетъ определенную, признаваемую всѣми членами программу дѣйствій, и стоитъ во главѣ

правленія, являясь въ настоящее время побѣдительною всѣхъ другихъ партій общества. У насъ существуютъ только разрозненные славянофильскіе кружки, идеи которыхъ и до сихъ поръ находятся въ состояніи хаотическаго броженія въ области чистой мысли безъ малѣйшей возможности перейти къ какому либо дѣйствию. Въ 40-е же годы славянофильскія идеи находились еще въ большемъ хаосѣ и, стоя на почвѣ метафизическихъ теорій, еще менѣе имѣли соприкосновенія съ дѣйствительностью, будучи ничѣмъ болѣе, какъ отвлеченными мечтаніями кабинетныхъ людей. До какой степени неопредѣленно и, если можно такъ выразиться, безформенно было славянофильство, это мы можемъ судить по тому, что подъ знаменемъ славянофильскія ставились не одни только чистые славянофилы, въ родѣ Кирѣевскихъ, Хомякова, К. Аксакова, — не одни люди, проповѣдующіе гніеніе Запада и искавшіе идеаловъ для будущей общечеловѣческой цивилизации въ славянскомъ мірѣ, но и такіе поборники кваснаго и официальнаго патріотизма, какъ Погодинъ; къ славянофильству же причисляли себя и различные археологи по славянскимъ древностямъ, занимавшіеся своими изысканіями ради одной страсти къ разрыванію архивовъ и которые въ вопросѣ о томъ, къ какому вѣку относится языкъ краледворской рукописи, видѣли альфу и омегу всѣхъ славянскихъ вопросовъ, такъ что на помыслы о будущихъ судьбахъ славянства у нихъ не было ни времени, ни охоты. Сюда же шли и мистики всякаго рода, въ родѣ Гоголя, по той простой причинѣ, что они находили много сочувственнаго въ томъ положеніи славянофильскаго ученія, что оскудѣніе вѣры и развитіе скептицизма есть одинъ изъ признаковъ гніенія Запада, хотя у подобныхъ мистиковъ только и общаго было съ славянофилами, что этотъ единственный пунктъ. Находясь въ состояніи такого безформеннаго хаоса, славянофильство только и проявляло свою дѣятельность, что туманно-философскими разсужденіями о гніеніи Запада и о переходѣ общечеловѣческой цивилизации на славянскую почву, богословскими трактатами о преимуществѣ православной церкви передъ всѣми западными церквами, историческими изысканіями, съ цѣлію доказательства преимуществъ различныхъ культурныхъ формъ славянскаго быта, да собираніемъ памятниковъ народной поэзіи. Такимъ образомъ славянофилы были вполне безобидными мечтателями, никто и не воображалъ, чтобы когда-нибудь хотя малая часть ихъ простодушныхъ мечтаній могла быть осуществлена; всѣ ихъ невинныя крайности не возбуждали ничего болѣе, кромѣ столь же невиннаго смѣха, который переходилъ въ негодованіе тогда только, когда какой либо слишкомъ разошедшійся славянофилъ обзывалъ въ жару полемики извѣстными отчества тѣхъ изъ своихъ враговъ, на которыхъ и безъ того уже косились въ высшихъ сферахъ.

Но въ началѣ 60 годовъ изъ безформенной массы славянофильства начала выдѣляться особенная фракція людей, которые, выражая сочувствіе чистымъ славянофиламъ, раздѣляя многія ихъ идеи, тѣмъ не менѣе говорили, что они вовсе не славянофилы и не раздѣляютъ многихъ ихъ крайностей. Люди эти были

названы почвенниками, потому что въ органахъ своихъ (Время, Эпоха, Заря) они все толковали о народной почвѣ и на каждое явленіе жизни смотрѣли съ той точки зрѣнія, что имѣетъ ли оно народную почву подъ ногами или не имѣетъ. Было у нихъ еще и другое сатирическое названіе стрижей, данное имъ вслѣдствіе крайней безобидности и невинности ихъ робкихъ воркованій о почвѣ. Но какъ ни туманны и неопредѣленны, какъ ни робки и безобидны были всѣ эти стрижиныя воркованія, они не были сами по себѣ столь маловажны, какими казались въ то время. Это былъ первый, хотя и колеблющійся, нерѣшительный, но тѣмъ не менѣе новый шагъ перевести славянофильство изъ его заоблачныхъ метафизическихъ высей на почву дѣйствительности, очистить его отъ всего того, что представлялось слишкомъ утопичнымъ и несбыточнымъ въ славянофильскомъ ученіи или что слишкомъ уже шло въ разрѣзъ со всеобщими требованіями, и путемъ уступокъ сблизить славянофильскія идеи съ общественнымъ движеніемъ. Все это дѣлалось крайне неумѣло вслѣдствіе того, что во главѣ этой новой славянофильской фракціи стояли люди, не отличающіеся особенною даровитостію и не вполне опредѣлившіе тотъ путь, на который они выступили, и потому они постоянно сбивались съ него то въ сферы чистаго славянофильства, то на почву реакціонной публицистики въ духѣ Каткова, то удалялись вдругъ въ чисто-литературные вопросы, видѣли особенную важность въ опредѣленіи, на сколько можно считать народными писателями Пушкина или Островскаго, вопросы, на которые, конечно, не обратилъ бы и вниманія маломальскій талантливый публицистъ, неуклонно стремящійся къ своей цѣли. Такъ шли дѣла до начала изданія въ Москвѣ „Бесѣды“. Въ этомъ органѣ новое направленіе славянофильства, наконецъ, выяснилось и опредѣлилось на столько, что о немъ можно сдѣлать говорить, какъ о дѣйствительно новомъ направленіи. Чистые славянофилы, вѣрные преданіямъ эпохи Хомякова и Кирѣевскихъ, сколько мы слышали, отзывались о „Бесѣдѣ“ не совсѣмъ дружелюбно, несмотря на то, что, „Бесѣда“ считалась въ обществѣ славянофильскимъ органомъ, и они имѣли на это право. Хотя „Бесѣда“ очень высоко ставила славянофиловъ и много толковала о ихъ заслугахъ, но принимала ихъ ученія далеко безусловно и относилась къ нимъ критически. Это критическое отношеніе къ славянофиламъ обуславливалось тѣмъ, что у сотрудниковъ „Бесѣды“ были свои особенные взгляды, значительно отличавшіеся отъ славянофильскихъ, хотя, повидимому, и возросшіе на ихъ почвѣ. Особенность же этихъ взглядовъ въ томъ именно и заключалась, чтобы сформировать широкія и расплывчатые славянофильскія идеи, вставивши ихъ въ узкія, но за то рѣзко опредѣленныя рамки національнаго формализма и такимъ образомъ метафизическія утопіи обратить въ политическое ученіе, могущее служить практическою и возможною къ осуществленію программю правительственныхъ дѣйствій. Такой переходъ славянофильства съ отвѣченной почвы на практическую имѣетъ, по нашему мнѣнію, весьма большую важность въ нашей жизни. Этимъ путемъ славянофильство изъ

небольшихъ кружковъ мечтателей, не имѣющихъ ни малѣйшаго вліянія въ жизни, можетъ превратиться въ обширную политическую партію, которая, при благоприятныхъ обстоятельствахъ, будетъ имѣть огромное вліяніе въ нашей жизни, если только не поглотитъ все. Примѣръ такого всепоглощенія мы видимъ въ современной Германіи и не имѣемъ шансовъ утверждать, чтобы и у насъ не могло бы произойти чего-либо подобнаго. Напротивъ того, многія обстоятельства заставляютъ насъ предполагать, что національный формализмъ можетъ вознѣмѣть у насъ торжество, гораздо, можетъ быть, въ болѣе скоромъ времени, чѣмъ многіе предполагаютъ. Въ него, конечно, не замедлятъ влиться всѣ тѣ фракціи безхарактернаго либерализма, который въ настоящее время не находятъ подъ ногами никакой почвы и будетъ очень радъ, когда ему представится рядъ опредѣленныхъ стремленій, повидимому, весьма либеральныхъ и въ то же время не лишаящихъ либеральныхъ людей дорогой для нихъ невинности. За него же въ своихъ видахъ и по своему ухватится реакція и на свой ладъ обработаетъ приставшихъ либераловъ, и тогда—первое столкновеніе съ Европой, особенно съ Германіей, и націоналисты встанутъ во главѣ общества...

Въ виду возможности подобнаго хода идей и событій въ нашемъ будущемъ, считаю не лишнимъ представить читателямъ характеристику взглядовъ нашихъ нарождающихся націоналистовъ, обозначить тѣ пункты, въ которыхъ они расходятся съ славянофилами, и показать, въ чемъ заключается растлѣвающее и жертвящее вліяніе этого новѣйшаго формализма и какъ онъ, стараясь опереться на реальную почву историческаго опыта и оправдать свое ученіе непреложными законами человѣческой жизни, между тѣмъ идетъ противъ этого опыта и измышляетъ свои собственные законы, обходя истинные. Для этого я избираю Градовскаго, какъ наиболѣе крупнаго сотрудника „Бесѣды“, и такъ какъ онъ собралъ всѣ свои статьи, помѣщенные въ этомъ органѣ въ одну книжку, заглавіе которой и помѣщено мною въ началѣ этой статьи. Книжка эта можетъ дать намъ самое полное и вполне ясное понятіе, къ чему стремятся наши новые націоналисты.

## VI.

А. Градовскій является въ своей книгѣ горячимъ приверженцемъ славянофиловъ. Но было бы ошибочно считать его самого славянофиломъ въ той же степени, въ какой являются передъ нами Кирѣевскіе, Хомяковъ и К. Аксаковъ. Въ своихъ публичныхъ лекціяхъ о значеніи славянофиловъ, прочитанныхъ имъ въ нынѣшнемъ году въ Петербургѣ и напечатанныхъ въ концѣ книги, Градовскій весьма опредѣленно обозначаетъ тѣ пункты, въ которыхъ онъ расходится съ славянофилами, ясно опредѣляя этимъ особенности доктрины національнаго формализма. Въ началѣ первой же лекціи онъ отрицаетъ тождество своихъ взглядовъ съ славянофильскими въ слѣдующихъ словахъ: „все, что здѣсь будетъ сказано, есть выраженіе моего личнаго взгляда на ученіе первыхъ представителей славянофильства. Мое выраженіе не есть аполо-



гія Кирѣвскаго, Хомякова и К. Аксакова. Оно будетъ такою же критикою славянофильства, какъ и критика ихъ противниковъ. Можетъ быть нѣтъ удастся указать на нѣкоторые большіе „грѣхи“ школы, чѣмъ нѣтъ“.

И дѣйствительно въ первой-же лекціи Градовскій указываетъ на такой существенный пунктъ своего разногласія съ славянофилами, въ которомъ послѣдніе оказываются гораздо болѣе сходящимися съ своими врагами-западниками, чѣмъ съ доктринерами національнаго формализма. Пунктъ этотъ есть вопросъ объ общечеловѣческой цивилизаціи. Славянофилы, какъ извѣстно, и не думали отрицать общечеловѣческую цивилизацію. Стоя на метафизической почвѣ, они вѣрили вслѣдъ за Гегелемъ, что народы раздѣляются на историческіе, составляющіе ту или другую ступень въ обнаруженіи безусловной идеи, и неисторическіе, слѣпо идущіе вслѣдъ за историческими и сами по себѣ ничего не вносящіе въ исторію. Затѣмъ, въ каждую эпоху выдвигается впередъ одна кака-либо избранная народность, въ которой наиболѣе воплощается тотъ или другой фазисъ обнаруживанія идеи и народность эта сходитъ съ историческаго поприща, отслуживши свою роль. Исходя изъ такой теоріи, славянофилы наравнѣ съ западниками признавали обще-человѣчность цивилизаціи; мало этого, они за одно съ западниками вѣрили и въ то, что славянский міръ призванъ для того, чтобы послужить новою ступеню въ этой цивилизаціи. Разногласіе ихъ съ западниками начиналось съ опредѣленія тѣхъ путей, по которымъ должны идти славяне и въ особенности русскіе для исполненія своей всемірноисторической роли. Западники утверждали, что Россія должна прежде всего всецѣло воспринять цивилизацію Запада со всѣми ея наиболѣе совершенными культурными формами и потомъ уже думать о произнесеніи какихъ либо новыхъ словъ; славянофилы же возражали, что стремиться переносить на народную почву идеи и формы западной жизни, значитъ обезличивать свою народность и подводить ее къ роли неисторическихъ народовъ, не имѣющихъ никакой самостоятельности. Къ тому же Западъ отслужилъ исторіи, роль его кончена, онъ начинаетъ гнить, и заимствовать отъ него что-либо, это значитъ вносить гниль въ здоровый организмъ живой русской народности; эта народность, призванная служить новою ступеню въ общечеловѣческой цивилизаціи, въ самой себѣ носитъ уже особенности, сообразныя этому предназначенію, и нужно, отстранившись отъ подражательности Западу, обратить все вниманіе на развитіе этихъ особенностей. Такимъ образомъ въ основаніи славянофильскихъ ученій все-таки стояла общечеловѣческая цивилизація, и они вѣрили, что когда славяне достигнутъ своего предназначенія, когда они возвѣстятъ міру новыя начала цивилизаціи, эти начала будутъ обязательны для всего міра, а не для однихъ славянъ, и отчаянная Европа можетъ быть найдетъ свое спасеніе, прожѣвывая свои отжившія культурныя формы на живыя начала, развитыя славянами, и отдастъ пальму первенства славянскому міру въ ходѣ общечеловѣческой цивилизаціи.

Градовскій рѣзко отрицаетъ самую возможность

общечеловѣческой цивилизаціи. По его мнѣнію, отношеніе между общечеловѣческимъ и народнымъ такое-же, какъ между логическимъ понятіемъ и реальнымъ явленіемъ.

«Наше представленіе объ общечеловѣческомъ есть продуктъ логическаго и философскаго обобщенія всѣхъ частныхъ явленій, говоритъ онъ:—поэтому человѣкъ, желающій признать, что дѣйствительное бытіе имѣетъ только общечеловѣческое, а частное, народное есть только призракъ, ничтожный съ точки зрѣнія общечеловѣческаго, долженъ вмѣстѣ съ тѣмъ стать на почву чистой метафизики. Онъ долженъ признать, вмѣстѣ съ Гегелемъ, что міръ есть проявленіе отвлеченной идеи, а отдѣльные народы и люди суть только преходящіе и ничтожныя «сосуды» абсолютнаго. Онъ долженъ признать, какъ это сдѣлалъ Платонъ, что идея предмета существуетъ не только *независимо* отъ этого предмета, но что одна она и имѣетъ бытіе. На дѣлѣ представляется другое. Идея есть *представленіе* мыслящаго субъекта; она существуетъ *въ немъ и черезъ него*; то, что мы называемъ общечеловѣческими стремленіями, не имѣетъ реальнаго бытія. На дѣлѣ эти общечеловѣческія стремленія воплощены, выражены въ учрежденіяхъ, поэзіи, искусствѣ, философіи и т. д. разныхъ народовъ; въ нихъ и черезъ нихъ только они получаютъ дѣйствительное бытіе. Эти различныя выраженія народной мысли и нравственныхъ стремленій не могутъ быть замѣнены *однообразными* учрежденіями и формами, построенными на отвлеченныхъ представленіяхъ о человѣческихъ стремленіяхъ и способностяхъ, ибо въ мірѣ существуютъ не слова и понятія, а народы и люди...»

Но являясь такимъ образомъ отрицателемъ общечеловѣческой цивилизаціи, о которой мечтали славянофилы и западники сороковыхъ годовъ, Градовскій тотчасъ-же сдается на компромиссъ, весьма замѣчательный въ томъ отношеніи, что рядомъ съ другими подобными ему компромиссами, онъ составляетъ именно ту хитросплетенную сѣть, которую ткуть наши націоналисты для уловленія массы наивныхъ простаковъ.

«Но неужели-же, по нашему мнѣнію, говоритъ Градовскій далѣе:—общечеловѣческое есть только фикція, плодъ абстракціи, не имѣющій никакого значенія въ жизни народовъ? О, нѣтъ! Это значило-бы отрицать достоинство одной изъ драгоцѣннѣйшихъ способностей челоѣческаго духа и ума—способности къ обобщенію, къ составленію общихъ понятій. Если мы нападаемъ на злоупотребленія, часто дѣлаемыя изъ общихъ понятій, то мы никакъ не намѣрены отрицать ихъ великаго достоинства въ цивилизаціи. Роль этихъ общихъ понятій, съ нашей точки зрѣнія, проявляется въ *долгомъ* отношеніи. Во-первыхъ, представленіе объ общечеловѣческомъ раскрываетъ намъ совокупность тѣхъ коренныхъ условій, безъ которыхъ немислима нормальная жизнь челоѣка и цѣлаго народа, каковы-бы ни были особенности ихъ культуры. Такими условіями мы можемъ назвать, напримѣръ, личную безопасность, свободу совѣсти, свободу мысли и слова, правосудіе, обезпеченіе условій народнаго здравія, народнаго продовольствія, образованія и т. д. Эти условія должны быть признаны необходимыми для цѣлаго круга народовъ. Съ этой точки зрѣнія отвергались и отвергаются разныя фарисейскія заявленія ложной теоріи народности,—своекорыстные возгласы, напримѣръ, американскихъ рабовладѣльцевъ, доказывавшихъ, что рабство есть естественное призваніе негра, или русскихъ крѣпостниковъ, доказывавшихъ, что крѣпостное право есть необходимое національное достояніе Россіи. Въ этомъ смыслѣ справедливо знаменитое восклицаніе В. Гумбольдта,

повторенное братомъ его Александромъ въ Космо-сѣ: «Нѣтъ племенъ болѣе благородныхъ, чѣмъ другія. Всѣ одинаково созданы для свободы, для той свободы, которая въ первобытномъ обществѣ принадлежитъ лицу, но у націй, обладающихъ настоящими политическими учреждениями, есть право цѣлаго общества».

«Во-вторыхъ, общечеловѣческими, т.-е. не принадлежащими къ существеннымъ особенностямъ отдѣльныхъ народовъ, являются внѣшнія, такъ сказать, техническія условія осуществленія человѣческихъ цѣлей, или выраженія нашихъ идеаловъ, каково-бы ни было ихъ внутреннее содержаніе. Таковы, напримеръ, пути сообщенія, орудія экономическаго обмѣна, производства, машины и т. д.; техника въ поэзіи, искусствѣ и т. п. Для того, чтобы нарисовать картину, нужно знать много техническихъ приѣмовъ, какъ для того, чтобы написать поэму, нужно знать правила версификаціи. Эти техническіе приемы и правила имѣютъ такое-же общечеловѣческое значеніе, какъ и желѣзныя дороги, машины и т. д., т.-е. усвоеніе ихъ не предполагаетъ отреченія отъ своей народности, отказа отъ самостоятельности мысли и духа».

Всѣ подобныя соображенія Градовскій формулируетъ въ видѣ слѣдующей формулы: *вмѣсто того, чтобы говорить объ общечеловѣческой цивилизаціи, правильно говорить объ общечеловѣческомъ въ цивилизаціи.*

Отрицая такимъ образомъ общечеловѣческую цивилизацію, Градовскій этимъ самымъ разщепляетъ ее на массу частныхъ цивилизацій отдѣльныхъ народовъ, причемъ каждая изъ такихъ частныхъ цивилизацій только и годится для того народа, который ее производитъ.

«Итакъ, говоритъ онъ:—понятіе *цивилизации*, слишкомъ, нужно замѣтить, общее понятіе, представляется намъ въ двоякомъ видѣ и значеніи: во-первыхъ, со стороны внѣшнихъ условій жизни и способовъ труда, цивилизація представляется намъ общечеловѣческою; со стороны ея *содержанія* она разбивается на культуры различныхъ народовъ, изъ которыхъ каждая самостоятельно проявляетъ одну изъ сторонъ, одинъ изъ оттѣнковъ человѣческаго духа. Другими словами, со стороны своего содержанія, человѣческая цивилизація представляется намъ въ формѣ совокупности частныхъ, національныхъ культуръ; поэтому ни одна изъ нихъ не можетъ быть признана *общечеловѣческою* цивилизаціею».

Ниже, когда мы будемъ разбирать всѣ эти доктрины Градовскаго по существу, мы увидимъ, на сколько справедливы онѣ, и справедливо-ли, что общечеловѣческое существуетъ только въ частныхъ цивилизаціяхъ отдѣльныхъ народностей, общечеловѣческая-же цивилизація не можетъ никогда быть осуществлена въ дѣйствительности; развитіе каждымъ народомъ своей особенной культуры можно-ли считать *conditio sine qua* по исторіи, явленіемъ субстанціоннымъ или переходящимъ и временнымъ; затѣмъ, наконецъ, такія прекрасныя понятія, какъ *личная безопасность, свобода совѣсти, свобода мысли и слова, правосудіе, обезпеченіе условій народнаго продовольствія, образованія и т. д.*, понятія, которыя Градовскій считаетъ общечеловѣческими и необходимыми для каждого народа, осуществимы-ли они безъ выработки въ которыхъ раціональныхъ культурныхъ формъ общежитія, которыя для всѣхъ народовъ должны являться столь-же не-

обходимыми, какъ и самыя понятія, а безъ этого, если мы, мечтая объ этихъ прекрасныхъ вещахъ, будемъ коснѣть на исконныхъ обычаяхъ народной культуры, то не останутся-ли они навсегда одними только громкими фразами безъ содержанія? Всѣ такіе вопросы, будутъ рѣшены нами въ слѣдующихъ главахъ. Теперь-же мы отлагаемъ ихъ пока въ сторону, возвращаясь къ специальной цѣли настоящей главы, къ опредѣленію различія между взглядами чистаго славянофильства и доктринами національныхъ формалистовъ въ родѣ Градовскаго, — и возможныхъ практическихъ послѣдствій этого различія.

И такъ, какая повидимому ничтожная разница: — не все-ли равно, блюсти-ли народныя культурныя формы отъ чужеземныхъ влияній во имя того, что въ этихъ формахъ таятся зерна будущей всемірной цивилизаціи, или просто потому, что каждая народность обязана, по предписанію высшаго начальства, имѣть свои особенныя формы, подобно тому, какъ каждый обыватель города долженъ носить въ карманѣ свой особенный паспортъ, свидѣтельствующій о его личности. Разница, дѣйствительно, ничтожна на первый взглядъ. Но стоитъ хоть немножко вдуматься въ нее, и вы увидите къ какимъ громаднымъ результатамъ ведетъ она. Вы только представьте себѣ, что вы — просвѣщенный буржуа, отецъ многочисленнаго семейства, богатый владѣтель имѣній, домовъ, акцій, облигацій, ведете обширныя дѣла, торгуете, участвуете въ нѣсколькихъ акціонерныхъ компаніяхъ, играете на биржѣ и пр. и пр. Вы, конечно, увлечены до мозга костей такъ называемою европейскою цивилизаціею, которая представляется вамъ въ видѣ массы фабрикъ съ дымящимися трубами, непроницаемыхъ для взора лѣсовъ корабельныхъ мачтъ, теряющихся изъ виду рядовъ великолѣпныхъ зданій, испещренныхъ выѣсками, свидѣтельствующими о томъ, что въ этихъ зданіяхъ сосредоточены богатства со всѣхъ концовъ свѣта, желѣзно-дорожныхъ поѣздовъ, съ визгомъ стремящихся по разнымъ направленіямъ и во всѣ стороны, суетливой дѣятельностью пристаней и биржъ и пр. Всѣ эти блага цивилизаціи тѣмъ болѣе привлекаютъ васъ, что при пятидесяти тысячномъ и еще того болѣе доходѣ — они такъ легко доступны вамъ; вы ихъ царь и богъ, вы сами ихъ создаете, а они возносятъ васъ на большую и большую высоту. Привлекаютъ васъ и другія стороны европейской цивилизаціи: сытый, довольный, окруженный всевозможными удобствами, пользующійся всеобщимъ почетомъ, въ свободныя минуты послѣобѣденной дремоты вы любите помечтать о такихъ прекрасныхъ загадахъ европейскаго прогресса, какъ свобода совѣсти, свобода слова и пр. и пр., и вотъ начинается вамъ грезиться, что какъ-бы это было-бы пріятно, какъ это дѣлается въ Англіи, стоять на высокой трибунѣ и, произнося увлекательную рѣчь передъ согражданами, сознавать, что ты вѣдь тоже въ своемъ родѣ законодатель, отъ тебя зависитъ счастье и благоденствіе всей твоей страны.

И вдругъ въ разгарѣ подобныхъ послѣобѣденныхъ грезъ вторгается къ вамъ господинъ весьма мрачнаго вида, съ бородою до пояса и одѣтый не въ платье но-вѣйшаго фасона, а въ

Красную рубашку,  
Платокъ шелковый кушакомъ,  
Армякъ татарскій на распахку  
И шапку съ бѣлымъ козырькомъ...

И начинается этотъ господинъ замогильнымъ голосомъ читать вамъ цѣлый рядъ анаемъ за ваше увлеченіе гнилымъ и коварнымъ Западомъ и отступничество отъ исконныхъ и вѣковѣчныхъ началъ славянскаго міра...

„Не стыдно-ли вамъ, вопитъ неожиданный гость, что вы, увлекшись наружною мишурою, внѣшнимъ блескомъ западнаго прогреса, создали изъ него золотого тельца и, поклонившись ему, забыли о тѣхъ народныхъ славянскихъ началахъ, въ которыхъ все спасеніе не только для однихъ славянъ, но для всего человѣчества? Бросьте заражать гангреною западнаго растлѣнія здоровый, молодой организмъ вашего народа и обратитесь къ тѣмъ кореннымъ основамъ русской народности, на которыхъ была воздвигнута древняя Русь, пока Петръ не сдвинулъ ее своею дерзновенною десницею“.

Подумайте, не придете-ли вы въ ужасъ отъ подобныхъ рѣчей вашего гостя, не представится-ли вамъ тотчасъ-же, что вамъ предлагаютъ ни больше, ни меньше, какъ возвратиться ко временамъ Котошихина и Домостроя, разрушить до основанія ненавистный Петербургъ, прогнать за границу иностранцевъ въ видѣ купцовъ, ремесленниковъ и всякаго рода специалистовъ, засѣсть въ златоверхой Москвѣ и... прощай шампанское и устрицы, прощайте Шнейдерша и Кадуджа... Ваше тонкое обоняніе, способное по одному нюху отличить шестирублевый лафитъ отъ пятирублеваго, уже чувствуетъ запахъ кислой капусты на постномъ маслѣ, запиваемой квасомъ, вамъ уже греются блаженныя времена коренныхъ основъ до-петровской Руси, времена пытокъ и правейей, заключенія женъ въ терема, чинныхъ азіатскихъ церемоній съ подобострастными поклонами въ поясъ и исполненной дикаго изуверства, кичливой и слѣпой ненависти ко всему иноземному. Что-же мудренаго, если васъ бросить въ потъ и холодъ отъ рѣчей вашего собесѣдника, и если, вздохнувши свободно послѣ его ухода, вы прикажете лакею никогда больше такого страшнаго господина не впускать.

Но вотъ къ вамъ приходитъ баринъ совсѣмъ въ иномъ видѣ: въ изысканномъ европейскомъ костюмѣ самаго новѣйшаго фасона, съ стеклышкомъ у глаза и шляпою въ рукѣ, и говоритъ вамъ: „прогрессъ, топ аті, о! прогрессъ великое дѣло, ему мы обязаны и желѣзными дорогами, и газомъ, и свободою слова, и свободою совѣсти! Я не сомнѣваюсь, что всѣ эти дары прогреса должны составлять общечеловѣческое достояніе, и мы обязаны пользоваться ими наравнѣ со всѣми народами, но, топ аті, все это только одна внѣшность прогреса, внутренняя-же его сторона, содержаніе, у каждаго народа должны быть свои; каждый народъ долженъ идти своимъ путемъ и свято соблюдать свои исконныя народныя начала. Не говоря уже о томъ, что этого требуетъ народная гордость, honneur national, что народъ, не дорожающій ничѣмъ своимъ и охотно воспринимаящій все чужое, тѣмъ самымъ открыто заявляетъ о своемъ ничтожествѣ; надо обратить вниманіе и на то, что если мы будемъ пре-

небрегать народными основами нашей жизни, на которыхъ зиждется все наше благосостояніе, порядокъ и нравственность, то все пойдетъ кверху дномъ: если допускать, чтобы у насъ вводились западныя учрежденія, совершенно произвольно, такъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, изъ одной слѣпой подражательности, то сегодня у насъ будутъ вводиться коллегіи или маіораты, потому что таковыя существуютъ на западѣ, завтра мы вздумаемъ затѣять революцію, потому что на западѣ революція, послѣ завтра на западѣ уничтожатся религія, собственность, браки и всѣ начнутъ поѣдать другъ друга, неужели-же и мы должны дѣлать тоже?.. Нѣтъ, топ сбер, подумай о томъ, что ты отецъ многочисленнаго семейства, у тебя святая собственность, а еще болѣе святая родина, о крѣпости, величій и славы которой ты обязанъ заботиться. Когда тебѣ привозятъ съ Запада два ящика шампанскаго, то и такіе пустяки ты критикуешь, ящикъ съ хорошимъ виномъ берешь себѣ, а съ дурнымъ оставляешь негоціанту; то тѣмъ болѣе, если дѣло идетъ о такихъ вещахъ, какъ учрежденія, на которыхъ зиждется все твое благосостояніе: здѣсь должна быть самая строгая критическая оцѣнка. Въ этомъ отношеніи, ужь если мы должны кому подражать, то развѣ одной Англіи, въ которой весь прогрессъ основывается на развитіи народныхъ обычаевъ, и Англія дорожитъ ими и не промѣняетъ ихъ ни на какіе другіе. Такъ и мы должны дорожить нашими національными обычаями, гордясь тѣмъ, что мы русскіе...“ Не правда-ли, что подобныя рѣчи должны вызвать въ васъ чувства совершенно противоположныя, чѣмъ возбудилъ первый посѣтитель. Въ самомъ дѣлѣ, не укоряетъ онъ васъ ни фракомъ, ни Шнейдершей, ни канномъ, не пугаетъ никакими жупелами въ родѣ сирадной гангрены западнаго растлѣнія, предлагаетъ вамъ заботиться не о такихъ заоблачныхъ и далекихъ отъ васъ вещахъ, какъ обновленіе всемірной цивилизаціи славянскими началами, а о своей собственной рубашкѣ, которая, естественно, всего ближе къ вашему тѣлу. Твердо и упорно держась своей народной культуры во всѣхъ ея особенностяхъ, даже и *экономическихъ*, какъ во многихъ мѣстахъ заявляетъ Градовскій, вы, конечно, будете заботиться прежде всего объ обеспеченіи вашего личнаго благосостоянія отъ наплыва какихъ-либо такихъ ученій, которыя, не дорожа народными особенностями, возмечтали-бы, пожалуй, измѣнить экономическій бытъ народа на чисто-раціональныхъ общечеловѣческихъ началахъ и, въ концѣ-концовъ, пожалуй, могли-бы помѣшать вамъ во многихъ изъ такихъ практическихъ дѣлишекъ, обдѣлывать которыя вамъ легко въ настоящее время, при данныхъ экономическихъ особенностяхъ вашей страны. Конечно, при такихъ соображеніяхъ вы уже не прогоните вашего гостя, а напротивъ того, заключите его въ объятія, а послѣ нѣкоторыхъ размышленій придете въ восторгъ и превознесете его выше небесъ, когда узнаете, какое великое благодѣяніе дѣлаетъ онъ для васъ, устремляя васъ на путь націонализма: въ самомъ дѣлѣ, до сихъ поръ, когда вы ратовали противъ слишкомъ смѣлыхъ реформъ въ экономическомъ бытѣ страны, чѣмъ другимъ могли вы защитить ваше желаніе statu quo, кромѣ обивчивой теоріи laissez

faire, laissez passer, которую и сами вы вдобавок не вполне ясно понимали, и вы смущались и падали духомъ, когда враги бросали вамъ въ лицо обвиненіе въ безчеловѣчності, узкомъ эгоизмѣ... Теперь же вы чувствуете почву подъ ногами, ваши стремленія удержать statu quo получаютъ освѣщеніе высшими принципами, и вы можете смѣло возразить врагамъ: нѣтъ, не изъ узкаго эгоизма ратую я противъ вашихъ утопій, а изъ желанія строго держаться основныхъ началъ народности, потому что въ этихъ началахъ я вижу единственное спасеніе и единственную славу народа; отступивъ же отъ нихъ, народъ долженъ обратиться въ ничтожество и погибнуть. Однимъ словомъ, мы не де-Местры, не Коцебу, — мы Катоны...

Если мы отъ этого основного различія между ученіемъ націоналистовъ и чистымъ славянофильствомъ обратимся къ частностямъ, то и здѣсь мы найдемъ то же стремленіе очистить славянофильство отъ всѣхъ слишкомъ уже отталкивающихъ своею дикостью крайностей и путемъ компромиссовъ сдѣлать его популярнымъ. Такъ, напримеръ, извѣстно, какъ славянофилы смотрѣли на Петра. Они отрицали его реформы всецѣло, приписывая имъ все зло разрыва образованныхъ классовъ съ народомъ и устремленія ихъ на путь слѣпой подражательности Западу. Какъ просвѣщенный буржуа, вы хотя и не прочь согласиться, что Петръ точно перенималъ изъ Запада многое совершенно зря и напрасно, но, выйдя съ тѣмъ, съ младенчества вы уже привыкли близко ставить къ сердцу эту личность, сознавая, что ей вы обязаны всѣми благами прогресса, кромѣ того, видѣть въ ней особенную славу своей родины, такъ какъ не одни русскіе, но и всѣ западные историки ставятъ Петра на одномъ ряду съ величайшими гениями человѣчества. Очевидно, что отрицаніе Петра должно возбуждать въ васъ еще большее озлобленіе противъ славянофиловъ. Градовскій весьма любезно уступаетъ вамъ этотъ пунктъ вашихъ симпатій; оказывается, что можно стоять за народныя начала, нисколько не отрицая Петра.

«Здѣсь справедливость требуетъ замѣтить,—говоритъ Градовскій: — что ихъ (т. е. славянофильскія) мнѣнія объ этомъ историческомъ событіи, конечно, преувеличены. Конечно, рѣзкое осужденіе реформы Петра было естественнымъ результатомъ того, въ свою очередь, преувеличеннаго мнѣнія людей противоположнаго лагеря, которые серьезно полагали, что историческая жизнь Россіи началась только съ Петра. Конечно, далѣе, они, по самой своей, такъ сказать, критической позиціи, склонны были останавливаться только на отрицательныхъ сторонахъ реформы. Но это не снимаетъ съ нихъ отвѣтственности за многія увлеченія и крайности, замѣченныя, впрочемъ, самимъ Хомяковымъ въ его превосходной статьѣ о «Старомъ и новомъ». Это не снимаетъ съ нихъ упрека въ неполномъ пониманіи личности Петра, котораго они не умѣли выдѣлить изъ послѣдующей исторіи. Они не увидѣли *народныхъ* чертъ въ преобразователѣ Россіи и его, во многихъ отношеніяхъ, свободнаго отношенія къ Западу. Мало того. Они не дали себѣ труда отвѣтить на вопросъ: дѣйствительно-ли исторія XVIII столѣтія такъ оторвана отъ исторіи предыдущей, и не былъ-ли разрывъ болѣе внѣшнимъ, чѣмъ внутреннимъ? Этого, правда, они и не могли сдѣлать, потому что исторія XVIII столѣтія едва начинается выступать изъ мрака, благодаря обилію издаваемыхъ теперь матеріаловъ».

Въ то же время немаловажною причиною непопулярности славянофиловъ было то обстоятельство, что, доводя до послѣднихъ крайностей свою теорію спасительности славянскихъ основъ жизни, они возводили въ идеалъ такіе народные обычаи и качества, въ которыхъ, съ точки зрѣнія простаго здраваго смысла, не только не представляется ничего идеальнаго, но, напротивъ того, которые показываютъ только низкую степень развитія, грубое невѣжество народа. Таково, напримеръ, было возведеніе К. Аксаковымъ въ идеалъ отсутствія письменныхъ гарантій, какъ въ средѣ современнаго намъ захолустнаго купечества, такъ въ особенности въ до-петровской Руси, въ различныхъ договорныхъ сношеніяхъ торговыхъ и государственныхъ. Славянофилы видѣли въ этомъ преимущество славянъ передъ Западомъ; по ихъ мнѣнію, отсутствіе письменныхъ гарантій у славянъ показываетъ, что они на первый планъ ставятъ живой духъ, они вѣрятъ въ человѣка и потому ищутъ гарантій въ его свободной совѣсти, а не въ мертвой буквѣ; Западъ не вѣритъ въ человѣка и потому видитъ необходимость поработать его мертвой буквѣ.

Какъ просвѣщенный буржуа, вы, конечно, должны придти въ ужасъ отъ подобныхъ славянофильскихъ взглядовъ. Вамъ сейчасъ-же, безъ сомнѣнія, представится, что славянофилы мечтаютъ ни болѣе, ни меньше, какъ объ уничтоженіи векселей, заемныхъ писемъ, акцій, облигацій и всякихъ торговыхъ актовъ, на которыхъ зиждется все ваше благосостояніе и при отсутствіи которыхъ завтра-же, пожалуй, къ вамъ явятся сотни славянофиловъ особеннаго рода и во имя свободы духа растащутъ всѣ ваши капиталы. Въ то же время вамъ хорошо извѣстно, какъ оправдывается на практикѣ идеальное качество отсутствія письменныхъ гарантій въ средѣ нашего купечества и предстаютъ передъ вами мрачные типы Большова, Подхализина и прочихъ героевъ комедій Островскаго. Но Градовскій и тутъ является вашимъ другомъ и успокоиваетъ вашу тревогу.

«Съ другой стороны,—говоритъ онъ:—они (т. е. славянофилы) слишкомъ идеализировали древнюю Русь въ томъ смыслѣ, что уваженіе свое къ *принципамъ* древней жизни они переносили иногда на *самыя формы*, а иногда и на *отсутствіе формъ*, гдѣ онѣ были бы нужны. Такъ, К. Аксаковъ упорно проповѣдуетъ бесполезность юридическихъ гарантій разныхъ правъ, личныхъ и общественныхъ, и видитъ въ безформенности древней Руси нѣкоторую заслугу, даже высшій принципъ, возвышающій насъ надъ Западомъ, слишкомъ увлеченнымъ формой. Онъ забываетъ, что отсутствіе формъ и гарантій въ самой древней Руси было не повсемѣстно. Новгородъ и Псковъ, развитые болѣе другихъ частей, вырабатывали свои «гарантіи». Во-вторыхъ, отсутствіе гарантій въ другихъ мѣстахъ было признакомъ несовершенства общественнаго, даже, можетъ быть, отсутствія грамотности».

Вотъ какіе представляется принципы національнаго формализма въ его отношеніяхъ къ славянофильству. Мы видимъ, что это тоже славянофильство, но очищенное отъ всѣхъ слишкомъ нелѣпныхъ крайностей, и обращенное изъ кабинетныхъ метафизическихъ бредней въ политическое ученіе, могущее имѣть немалый успѣхъ въ ближайшемъ будущемъ. Далѣе мы

рассмотрим этот самый принцип по существу в его отношении к истории и жизни.

## VII.

Формалисты всех возможных видов имеют два неотъемлемых качества.

Во первых, все они ужасные казуисты. Хитрая изворотливость, которую славится последователи Лойолы, эти формалисты католического принципа, присуща до известной степени и формалистам всех других родов. И это очень понятно. Стремясь какуюнибудь преходящую и условную форму жизни возвести в нечто непреложное и безусловное и втиснуть в нее всю жизнь, формалисты ищут оправдания своей доктрины в господствующем в данное время мирозерцании, стараются основать ее или на божественном праве, если в обществе преобладает теологическое мирозерцание, или на законах безусловного разума, если господствует метафизика; а если господствует реализм, то формалисты начинают толковать об опытах и наблюдениях положительных знаний, — и во всех трех случаях пускаются в ход все диалектические уловки с целью согласить во чтобы то ни стало свою доктрину с основами мирозерцания; искусственно сглаживаются и уравниваются все вопиющие противоречия; один и тот же закон жизни в одном случае заставляют действовать, в другом его парализуют и игнорируют; всю историю переназначают на свой лад, факты, которые хоть скольконибудь служат в пользу доктрины, выставляют на первый план, а противоречащие, если их нельзя опровергнуть, оставляют в стороне, а если нельзя о них умолчать, считают случайными исключениями; если в видах оправдания доктрины нужно вам доказать, что белое вовсе не белое, а черное только кажется черным, а в самом деле есть голубое, — формалист не остановится и перед этим.

Вторым неизменным качеством каждого формалиста является крайняя слепота относительно противников. Понять и уяснить воззрения противников и уметь стать на их точку зрения для формалиста дело немислимое. Сблизив идею с формой и видя в форме все спасение, формалист полагает обыкновенно, что каждый, отрицающий форму, непременно тем самым должен отрицать и те принципы, которые неразрывно связаны в глазах формалиста с формой; и мало этого: так как в существовании любимой формы формалист усматривает, еще раз повторяем, все спасение мира, то в отрицании формы естественно он подозревает злостное покушение подорвать все основы жизни. Так, например, ультра-католик никак не может допустить, чтобы человек, не признающий папу главою церкви и принадлежащий к какомунибудь другому вероисповеданию, мог быть больше чистым и истинным христианином, чем он, ультра-католик; ему постоянно представляется, что отрицающий католичество тем самым отрицает христианство, нравственность, и является врагом человечества, исчадием сатаны, готовым на всякие преступления.

Оба эти качества мы можем проследить и в Градовском, являющемся перед нами представителем национального формализма.

Так Градовский очень хорошо понимает, что какими-нибудь метафизическими теориями современную публику не проведешь. Прошли те блаженные времена, когда все, что вам угодно, вы могли без особенных трудностей выводить из законов развития безусловной идеи. Наш скептический век требует фактов, реальных основ для подтверждения каких-бы то ни было взглядов. Доказать, что то или другое учение основывается на непреложных данных положительных знаний, это значит в наше время сделать это учение обязательным для всех и каждого, и наоборот доказать, что какая-либо истина стоит в области чистой метафизики, — это значит представить их произвольными, фантастическими и уронить в глаза публики. Вѣрный своему стремлению сделать национальный принцип популярным и обязательным, Градовский первым делом спешит поставить его на почву господствующего мирозерцания, доказать, что он основывается на непреложных естественно-научных, географических, ботанических и даже геологических данных, и что в то же время все противники национального принципа суть чистые метафизики.

«При разрешении вопроса о разрушении национальностей, говорить он на 56 стр., мы имеем дело не с основаниями «рациональными», с посылами и умозаключениями, а с совокупностью *стихийных сил, подчиненных неизменным естественно-историческим законам*».

Процесс образования народности подчинен законам образования человеческих пород, языков, религий, зависит от условий среды, т. е. *географических, геологических, ботанических и т. д.* особенностей страны, сдвигавшейся местом оседлости народа; он находится в тесной связи с образованием экономического быта в той или другой стране, от разных комбинаций в раздѣлении занятий, в распределении богатств и зависящего от этих обстоятельств образования и комбинации общественных классов и т. д.

Все эти условия и причины бытия народностей имеют один признак; *они находятся в власти человеческой воли, не подчиняются формальным законам логики*. Отсюда сама собою обнаруживается несостоятельность приемов разрушения народности. Признавая возможность и необходимость своей задачи, она ставит вопрос следующим образом:

Необходимо-ли и дозвоительно-ли с точки зрения начал разума существование народностей?

Отвѣчая на этот вопрос отрицательно, она логически приходит к необходимости разрушения.

Подобный прием был-бы уместен только в том случае, если-бы самое основание народностей было в началах разума. Но *положительная наука* должна прежде всего поставить вопрос: где основание национальных различий? *Естественные науки, антропология, география, филология и история* дали-бы ей отвѣтъ на этот вопрос и могли-бы дать его.

Но если основание народности — в естественно-исторических условиях страны и народонаселения, то мы очевидно не имеем права (т. е. научного права), говоря о разрушении народности, поставить вопрос о том, «оправдывает» или не оправдывает разум их существование? Мы только в праве и должны задать себе следующий вопрос: представляют-ли научные факты какие-нибудь данные в пользу того, что условия, влияющие на образова-

ніе національних особенностей и самых народностей, исчезнуть?

Самое смѣлое воображеніе не можетъ себя представить, чтобы люди когда-нибудь пришли къ однообразной структурѣ тѣла, къ однообразнымъ психическимъ проявленіямъ, заговорили-бы однимъ языкомъ, чтобы самая земля, съ ея физическими особенностями, не имѣла больше вліянія на различіе культуръ и т. д. Такимъ образомъ *естественно-историческія* основанія народности даны непреодолимыми условіями внѣшняго міра и природы человѣка. Они, какъ и самыя народности, стоятъ внѣ вліянія рациональных началъ и субъективной воли.

Идемъ далѣе. Если существованіе или несуществованіе народности не зависитъ отъ субъективной воли, то точно также независимы отъ рациональных основаній и личнаго произвола и коренныя стремленія каждой національности образовать самостоятельное національное общество съ своею территоріею и своею государственною властью. *Исторія показываетъ намъ*, что каждое племя, энергическое и способное къ развитію, стремилось укрѣпиться въ извѣстной странѣ, ассимилировать племена слабѣйшія, сложиться въ цѣльную народность, выработать самостоятельныя политическія учрежденія, — словомъ, образовать свое государство. Племена, обиженныя историческими условіями, считали для себя величайшимъ несчастіемъ, если имъ не удавалось составить независимое политическое общество и приходилось жить въ чужомъ государствѣ.

Такимъ образомъ вы видите, что при вопросѣ о національномъ принципѣ вамъ приходится имѣть дѣло съ непреложными данными географическими, ботаническими и даже геологическими, и вамъ ничего не останется, какъ только уступить Градовскому и умолкнуть, иначе вы рискуете попасть въ разрядъ метафизиковъ, что, конечно, очень прискорбно и постыдно въ наше положительное вѣкъ. Исторія, гласитъ Градовскій, показываетъ вамъ, что каждое энергическое племя стремится сложиться въ цѣльную народность и составить свое самостоятельное государство, — неужели же вы станете спорить съ исторіей или возмечтаете перевернуть ее на свой ладъ?

Въ приведенной нами цитатѣ изъ книги Градовскаго открывается передъ нами и другое изъ вышеозначенныхъ качествъ формалистовъ. Мы видимъ, что Градовскій не ограничивается тѣмъ, что представляетъ своихъ противниковъ метафизиками, пренебрегающими непреложными данными положительныхъ наукъ. Онъ предполагаетъ въ нихъ гораздо болѣе, чѣмъ лишь одни неправильныя взгляды, вставая на теорію *разрушенія* народностей и отрицая возможность вліянія *субъективной воли, произвола* на народныя стихіи. И можете себя представить, Градовскій не въ какомъ-либо переносномъ или метафизическомъ смыслѣ обвиняетъ своихъ противниковъ въ покушеніи разрушить народности и вѣстѣ съ ними государства, а въ самомъ прямомъ, буквально, и совершенно въ серъезъ. Изъ многихъ мѣстъ книги Градовскаго явствуетъ, что онъ представляетъ своихъ противниковъ не иначе, какъ въ видѣ отвлеченныхъ космополитовъ, которые мечтаютъ въ одинъ прекрасный день однимъ ударомъ разрушить народности, государства и слить все человечество въ одинъ организмъ, насильственно сгладивъ всѣ культурныя особенности и подчинивъ всѣхъ смертныхъ однообразнымъ формамъ цивилизаціи, основанной на началахъ разума. Васъ, можетъ быть, поразитъ подобное дѣтски-наивное представленіе зло-

ехидныхъ космополитовъ, угрожающихъ человечеству чѣмъ-то въ родѣ новаго вавилонскаго столпотворенія. Нанзнанку, вы, можетъ быть, подумаете, что подобныя грубыя представленія свойственны никакъ не ученому мужу, занимающему кафедру въ одномъ изъ столичныхъ университетовъ, читающему публичныя лекціи, издающему книги съ цитатами изъ Лассалля и Прудона, а скорѣе, какой-нибудь дряхлой старушкѣ, изжившей вѣкъ въ провинціальномъ захолустѣ и воображающей, что гдѣ-то за моремъ есть фармазоны, отрeksiеся отъ Христа и предавшіе душу чорту, и которые въ одинъ прекрасный день могутъ нагрянуть и съѣсть живьемъ бѣдную старушку. Но погодите удивляться и не забывайте, что вы имѣете дѣло съ формалистомъ, который, по самому существу своему не способенъ имѣть никакого яснаго понятія о своихъ противникахъ, по самому существу своему склоненъ воображать, что кто не считаетъ его излюбленныя формы безусловнымъ началомъ жизни, кто смотритъ на существованіе отдѣльныхъ народностей, какъ на явленіе преходящее, и въ то-же время не замѣчаетъ въ исторіи никакого особенно таинственнаго стремленія со стороны каждой народности слиться непременно въ одинъ государственный организмъ, такой злодѣй непримѣнно питаетъ коварныя замыслы завтра-же приступить къ разрушенію государствъ, народностей и къ слитію человечества въ одинъ безразличный организмъ. Не будемъ отрицать, можетъ быть, и есть такіе мечтатели, — мало-ли чего нѣтъ подъ луною, — продолжающіе стоять на почвѣ отвлеченнаго рационализма XVIII вѣка, но увлекшись полемикою съ подобными покойниками Градовскій въ слѣпотѣ своей не замѣтилъ, что у него могутъ быть иные противники, болѣе современные, которые и не воображаютъ посягать на какія-либо разрушенія, которые, можетъ быть, болѣе его, Градовскаго, отрицаютъ всякое насиліе надъ народностями и потому весьма далеки отъ какихъ-бы то ни было произвольныхъ сглаживаній культурныхъ особенностей во имя единства общечеловѣческой цивилизаціи; но противники эти въ то-же время имѣютъ свои реальныя основанія утверждать, что отдѣльныя народности вовсе не представляютъ особенныхъ цѣльныхъ организмовъ, и государственныя формы, объединяющія народности, отнюдь нельзя считать естественными органами подобныхъ организмовъ, что стремленіе къ единству никакъ нельзя считать существеннымъ и необходимымъ условіемъ жизни каждаго народа; далеко не всѣ удавшіяся попытки къ народному объединенію исходили изъ народной воли, многія изъ нихъ были столь-же насильственны и искусственны, какъ и сплоченіе разнородныхъ національностей въ одно государственное цѣлое и въ результатѣ имѣли столь-же нивелирующее и рабствующее вліяніе, какое Градовскій приписываетъ вліянію австрійской имперіи на славянъ или насильственному соединенію всѣхъ народовъ земнаго шара въ одно цѣлое. Съ другой-же стороны противники эти допускаютъ, что при полномъ отсутствіи всякихъ насильственныхъ и искусственныхъ мѣръ отдѣльныя народности, въ какое-бы то ни было отдаленное время, могутъ соединиться въ одну общечеловѣческую народность вполне естественно и произвольно, дѣй-



ствіемъ тѣхъ-же самыхъ географическихъ, антропологическихъ, физиологическихъ и пр. законовъ, которые вліяютъ на образованіе отдѣльныхъ народностей, и что поэтому общечеловѣческая цивилизація можетъ когда-нибудь сдѣлаться не одною отвлеченною фикціею, а реальнымъ фактомъ.

Постараемся-же доказать Градовскому возможность подобнаго рода противниковъ національнаго формализма, и что онъ, такъ рьяно ополчающійся въ своей книгѣ на отвлеченныхъ рационалистовъ во имя, будто-бы, реальныхъ основаній, самъ всецѣло стоитъ на почвѣ того-же самого отвлеченнаго рационализма и далекъ отъ истинно реальныхъ основаній, какъ небо отъ земли, что возставая на своихъ противниковъ за жестокія поплзновенія съ ихъ стороны къ насильственному водворенію на землѣ однообразной культуры и уничтоженію всѣхъ индивидуальных особенностей, онъ самъ стоитъ на почвѣ такой доктрины, которая и въ настоящее, и въ прошедшее, и будущее времена ни къ чему не приводила и не можетъ привести въ своемъ осуществленіи, какъ, именно, къ убійственному нивелированію и сглаживанію тѣхъ индивидуальных особенностей, которыя ежедневно возникаютъ въ человѣческомъ родѣ совершенно самостоятельно и независимо отъ существованія отдѣльныхъ народностей.

Доказательства мои будутъ раздѣлены на два отдѣла, на первый взглядъ представляющіе рѣзкую противоположность. Въ первомъ отдѣлѣ я постараюсь доказать, что отдѣльныя народности въ своей внутренней жизни вовсе не представляютъ ни въ государственномъ, ни въ культурномъ отношеніи такого органическаго единства, какой навязываетъ имъ Градовскій. Во второмъ же отдѣлѣ будетъ доказано мною, что историческій прогрессъ въ томъ и заключается, что съ одной стороны народности, приходя все въ большія и большія столкновенія другъ съ другомъ, непремѣнно должны сливаться въ большія и большія группы, пока всѣ не сольются въ одну народность, и съ другой стороны, что по мѣрѣ того, какъ человѣкъ будетъ одерживать все большія и большія побѣды надъ природою и, освобождаясь отъ ея вліянія, самъ подчинять ее своему вліянію, — вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ естественныя культурныя формы, которыя создались помимо воли человѣка дѣйствіемъ историческихъ условій, непремѣнно должны сдѣлаться рациональными. На первый взглядъ оба отдѣла могутъ показаться взаимно-отрицающими другъ друга. Развѣ можетъ быть и рѣчь, подумаетъ читатель, о возможности внѣшняго единства между различными народностями, если авторъ начинаетъ съ того, что отрицаетъ внутреннее единство въ каждой народности. Но это противоположность только кажущаяся. Если же читатель потрудится глубже вникнуть въ дѣло, онъ убѣдится, что возможность слитія различныхъ народностей въ одно цѣлое только и можетъ быть доказана, если прежде всего вамъ удастся доказать отсутствіе внутреннего органическаго единства въ каждой народности. Въ самомъ дѣлѣ, только такіе элементы могутъ сливаться, которые не представляютъ внутренняго органическаго единства, организмы же сливаться другъ съ другомъ не могутъ: каждый организмъ по са-

мой своей сущности представляетъ необходимымъ условіемъ своей жизни отдѣльное существованіе; прекращеніе этой отдѣльности есть разрушеніе самого организма, смерть. На какомъ же иномъ основаніи и отрицаютъ приверженцы національнаго формализма возможность слитія народностей въ одно цѣлое, какъ не на томъ, что каждая народность есть по ихъ мнѣнію особенный организмъ и по этому самому обречена на отдѣльное существованіе отъ другихъ народностей, рискуя, въ противномъ случаѣ, перестать быть организмомъ и слѣдовательно умереть. На этомъ основаніи, если намъ удастся доказать, что народности вовсе не представляютъ собою отдѣльныхъ организмовъ, этимъ самымъ уже мы расчистимъ путь къ доказательству возможности слитія народностей въ общечеловѣческую цивилизацію.

### VIII.

За что Градовскій съ особенною рьяностью нападаетъ на рационалистовъ XVIII вѣка? За то именно, что они, создавая à priori какія-нибудь теоріи основаннаго на разумѣ государственнаго устройства, стремились осуществить ихъ совершенно искусственнымъ путемъ, не принимая въ расчетъ историческихъ условій жизни народовъ; отрицая все то, что есть, они мечтали сразу ввести то, что должно быть. „Съ научной точки зрѣнія, говоритъ Градовскій: — нельзя *желательность* извѣстнаго положенія дѣлать признакомъ его практической годности“.

Прекрасно. Но не стоитъ-ли самъ Градовскій на почвѣ рационализма, требуя, чтобы государство основывалось на почвѣ народности, чтобы оно составляло нѣчто одно нераздѣльное съ народами, было его органомъ, выразителемъ его жизни, стремленій, развитія и пр?

Вѣдь и въ этомъ случаѣ Градовскій высказываетъ только то, что *ему желательно*: государство должно быть органически народнымъ, высказываетъ онъ во многихъ частяхъ своей книги; но такимъ-ли оно на самомъ дѣлѣ является въ условіяхъ исторической жизни, и годно-ли практически, осуществимо-ли желаніе Градовскаго? Вѣдь это тоже вопросъ съ научной точки зрѣнія.

И надо признаться, что въ какихъ отвлеченныхъ сферахъ ни витали рационалисты, а они были не въ примѣръ и логически послѣдовательнѣе его, и научно честнѣе: они играли въ открытую, они смѣло провозглашали свой разрывъ съ исторіею и не дѣлали никакихъ уловокъ для соглашенія своихъ утопій съ историческимъ опытомъ, не искажали историческихъ фактовъ и не выдумывали своей собственной исторіи, чтобы оправдать ея свои теоріи; они прямо говорили: да, ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ вы ничего не найдете подобнаго тому, что мы вамъ даемъ, но за то ваше прошлое и настоящее основано на игрѣ неразумныхъ стихій, а то, что мы вамъ даемъ, будетъ основано на законахъ безусловнаго разума. Градовскій, говоря о томъ, что должно быть, предполагаетъ, что это уже есть, и переворачиваетъ всю исторію на изнанку, для того, чтобы доказать вамъ, что оно и всегда такъ было. — Если повѣрить ему на слово, то

можно подумать, что государственные формы развиваются на почве той или другой народности вполне аналогично съ развитіемъ органовъ растенія: какъ изъ одного зерна выходятъ и корни, и стебли, и листья, такъ, по мнѣнію Градовскаго, всѣ функціи и права политической власти развиваются изъ какой-нибудь первобытной формы общества, въ родѣ, напирѣзъ, патріархальной семьи.

«До образованія государственной формы, говоритъ онъ на стр. 44, права и функціи политической власти находились въ рукахъ извѣстныхъ *властей*, выработанныхъ первобытными формами общества. Права законодательства, суда и управленія находились послѣдовательно въ рукахъ отца семейства, патріарха-родоначальника, собранія родовыхъ старшинъ, вотчинника-феодала и т. д.

«Два признака отличали этотъ порядокъ вещей.

«Права и функціи власти были соединены *частными* правами лицъ, ими облеченныхъ. Они какъ-бы вытекали изъ нихъ. Родоначальникъ изъ своей отеческой власти выводилъ право на жизнь и смерть своихъ подчиненныхъ, на внутреннее управленіе дѣлами рода, на веденіе внѣшнихъ сношеній и т. д. Феодалный-вотчинникъ видѣлъ въ судѣ одно изъ своихъ поземельныхъ правъ, статью дохода. Власть не была въ это время общественною должностію, предназначенною для осуществленія общественныхъ интересовъ.

«При такой системѣ *частныхъ* властей, политическая жизнь представлялась чѣмъ-то разрозненнымъ. Племена, роды, феодальныя владѣнія не имѣютъ внутренней связи; они не способны къ общности національной жизни. Самыя условія этой жизни, и больше всего юридическія условія, не представляютъ однообразія, единства, необходимыхъ для правильного общенія.

«Процессъ образованія государственной власти состоитъ въ томъ, что права и функціи политической власти постепенно конфискуются у всѣхъ частныхъ властей. Феодалы лишаются права законодательства, суда, правъ управленія финансоваго, полицейскаго, права частныхъ войнъ и т. д. Всѣ эти права сосредоточиваются въ рукахъ одного лица или учрежденія, дѣйствующаго во имя общественныхъ интересовъ, дѣлаются существенными *атрибутами* верховной власти. Повтому этотъ процессъ можетъ быть названъ *сосредоточеніемъ* или *централизациею* власти. Словомъ, сосредоточеніе власти состоитъ въ томъ, что вмѣсто многихъ родоначальниковъ, вотчинниковъ и т. д., остается *одинъ*. Централизованная власть сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ только часть функцій прежнихъ властей, именно функціи, имѣющія политическое значеніе.

«Единство власти приводитъ къ единству и однообразію всѣхъ условій общенія, что допускаетъ возможность болѣе широкаго и всесторонняго общенія. Единство законодательной власти устанавливаетъ единство и равенство въ правахъ и обязанностяхъ, централизація суда ведетъ къ единообразному прижизненію и охраненію законовъ, единство администраціи—къ общности силъ и мѣръ въ осуществленіи разныхъ общественныхъ интересовъ. Такъ вмѣстѣ съ образованіемъ центральной политической власти образуется и самое *государство*, какъ форма человѣческаго общенія, какъ разнообразное и единое въ своемъ разнообразіи политическое общество».

На первый взглядъ вамъ можетъ показаться, что подобная система развитія государства основана всецѣло на историческомъ опытѣ, поэтому не подлежитъ сомнѣнію, и вамъ остается только удивляться, какъ въ самомъ дѣлѣ органически, естественно и систематично совершается процессъ развитія государства. Но если вы вздумаете, не повѣривши Градовскому на

слово, примѣнить эту схему къ развитію любого изъ историческихъ государствъ и просмотрѣть по историческимъ фактамъ, такъ-ли на самомъ дѣлѣ развивались государства, вы тотчасъ и увидите, что схема Градовскаго виситъ въ безвоздушномъ пространствѣ и отличается, мало сказать, отвлеченностью, а вполне произвольною фантастичностью.

Но прежде, чѣмъ мы займемся анализомъ историческихъ фактовъ, съ цѣлію опроверженія фантастической схемы Градовскаго, мы считаемъ не лишнимъ уяснить, что мы должны считать подъ словами органический, естественный, искусственный, противуестественный и пр. Дѣло въ томъ, что у насъ весьма произвольно играютъ этими словами и изъ этой игры и выходятъ такіе фокусы-покусы, какъ представленный намъ Градовскимъ въ видѣ его вышеозначенной схемы. До какой степени темно у насъ понятіе объ естественномъ, это мы можемъ судить по тому, что, вопреки всѣмъ законамъ логики, понятіе это имѣетъ два антитеза: противуестественный и искусственный. Но съ реальной точки зрѣнія послѣднее понятіе вовсе не составляетъ антитеза естественному. Реализмъ признаетъ, что все, какъ въ природѣ, такъ и въ жизни человѣка, совершается по непреложнымъ естественнымъ законамъ и, слѣдовательно, въ исторіи все безразлично должно быть признаваемо равно естественнымъ. Противуположностью такому естественному можетъ быть только признаніе такихъ явленій, которыя совершались-бы вопреки всѣмъ естественнымъ законамъ, дѣйствіемъ силъ, лежащихъ внѣ природы. Признаете вы или нѣтъ возможность такихъ явленій, назовете-ли вы ихъ сверхъестественными или просто неестественными, во всякомъ случаѣ они одни могутъ быть истиннымъ антитезомъ всего естественнаго. Искусственное же есть не антитезъ, а только видъ естественнаго и имѣетъ свой особенный антитезъ, обусловливающийся понятіемъ искусственнаго. Въ самомъ дѣлѣ, что мы подразумеваемъ подъ этимъ словомъ? Всѣ явленія, въ которыхъ обнаруживается сознательное стремленіе человѣка примѣнить силы и законы природы къ своимъ личнымъ цѣлямъ. Всякое такое явленіе гораздо правильнѣе и точнѣе было-бы обозначить словомъ произвольно-естественнаго и антитезомъ этого произвольно-естественнаго будетъ понятіе о непроизвольно-естественномъ, т. е. о всѣхъ такихъ явленіяхъ, которыя совершаются внѣ воли человѣка. Но не говоря уже о произвольно-естественномъ, и непроизвольно-естественное далеко не все можетъ быть названо въ тоже время и органическимъ. Органическое составляетъ только видъ непроизвольно-естественнаго, въ противуположность неорганическому. Органическими мы вправѣ считать только такія явленія, которыя присущи органическимъ тѣламъ и составляютъ ихъ жизненные процессы, опредѣляемые біологіею. Не считая нужнымъ вдаваться въ подробности разсмотрѣнія всѣхъ общезвѣстныхъ признаковъ органическаго, мы укажемъ только на два существенные закона, которые будутъ играть важную роль въ нашихъ дальнѣйшихъ разсужденіяхъ. Во первыхъ, все органическое развивается изъ самого себя,—причемъ изъ внѣшней природы входитъ въ организмъ только матеріалъ, перерабатываемый органи-



момъ для своихъ жизненныхъ цѣлей: такимъ образомъ мы не можемъ себѣ и представить возможности существованія такого организма, части котораго развились бы не изъ него, а существовали прежде отдѣльно, а потомъ взяли сошлись, да и составили бы готовый организмъ. Во вторыхъ всѣ органическіе процессы суть непронизовольно-естественные: воля чловѣка можетъ ихъ ускорить, замедлить, остановить и уничтожить, но вызвать и производить ихъ личными усиліями — внѣ власти чловѣка; по крайней мѣрѣ, до нашихъ временъ никто еще не сдѣлалъ живого организма.

На основаніи этихъ двухъ законовъ вы можете смѣло называть или шарлатаномъ и гаеромъ, или попугаемъ, повторяющимъ чловѣческія слова, смысла которыхъ онъ не понимаетъ, всякого господина, который будетъ вамъ толковать о народномъ или государственномъ организмѣ, предполагая, что этотъ организмъ сложился изъ отдѣльныхъ частей, которыя нѣкогда существовали безъ всякой связи другъ съ другомъ, или, что явился такой чародѣй, который разрозненные части *насильственно сплотилъ* въ одинъ живой организмъ посредствомъ, положимъ, хотъ завоеванія.

И вотъ, если мы обратимся теперь къ схемѣ Градовскаго, поразившей насъ на первый взглядъ своею несомнѣнностью, мы увидимъ, что Градовскій, желая доказать органичность развитія государства, въ первыхъ-же строчкахъ отрицаетъ его, представляя первый періодъ этого развитія въ такомъ видѣ: „при такой системѣ частныхъ властей, политическая жизнь представлялась чѣмъ-то разрозненнымъ. Племена, феодальныя владѣнія не имѣютъ внутренней связи, они не способны къ общности національной жизни. Самыя условія этой жизни, и болѣе всего юридическія условія, не представляютъ однообразія, единства, необходимыхъ для правильнаго общенія“.

И дѣйствительно, въ исторію какого изъ индо-европейскихъ народовъ вы ни заглянете, вездѣ вы увидите, въ эпоху образованія государственныхъ формъ, вмѣсто одного зерна, изъ котораго впоследствии развивался бы организмъ государства, массу отдѣльныхъ частей, совершенно разрозненныхъ, изъ которыхъ каждая живетъ своею особенною жизнію и стремится не къ единенію съ другими частями, а напротивъ того къ полному обособленію и независимости. Можно положительно сказать, что единственною, если не органическою, то вполне непронизовольно-естественною формою государства является родовая или лично-семейная община земледѣльская, промышленно-торговая или военная. При благопріятныхъ условіяхъ эта община развивается въ городъ (*civitas*) и только въ подобномъ маленькомъ естественно развившемся государствѣ вы можете видѣть государственныя формы, создавшіяся вполне органически, изъ какого-нибудь патриархально-семейнаго зерна, безъ участія личнаго произвола какихъ-либо завоевателей. Такъ образовались древне-греческія республики, древне-русскіе города (Кіевъ, Новгородъ, Псковъ и пр.). И у германскихъ народовъ были зародыши подобныхъ-же государственныхъ формъ. По крайней мѣрѣ, Тацитъ и Цезарь представляютъ намъ германцевъ живущими

СОЧИНЕНІЯ А. СКАВИЧЕВСКАГО. — II.

небольшими общинами съ общимъ землевладѣніемъ, причемъ общественныя дѣла рѣшались на сходкахъ всѣми свободными людьми общины; каждая община выбирала своихъ судей и распорядителей, и только въ случаѣ войны являлся общій предводитель всего племени, но и этотъ предводитель имѣлъ только временное значеніе въ военное время; въ мирное-же время власть его почти уничтожалась, и только впоследствии, когда войны сдѣлались непрерывными и подъ чуждыми вліяніями идей римской цивилизаціи и библейскихъ, временной предводитель превратился въ постоянного короля. — Такимъ образомъ мы имѣемъ основаніе предполагать, что если германцы развивались-бы на своихъ мѣстахъ вполне самобытно и мирно, внѣ всякихъ внѣшнихъ вліяній, безъ передвиженій и завоеваній, то и они сложились-бы въ рядъ городовъ-государствъ, политически совершенно независимыхъ другъ отъ друга.

По крайней мѣрѣ передъ нашими глазами тотъ несомнѣнный фактъ, что чѣмъ болѣе развитіе того или другого народа подходило къ непронизовольно-естественному, чѣмъ менѣе участвовалъ въ немъ завоевательно-личный элементъ, тѣмъ сильнѣе въ такомъ народѣ было стремленіе къ политической разьединенности и тѣмъ долѣе она сохранялась. Изъ крупныхъ историческихъ народовъ мы можемъ указать на два такихъ народа: русскій и древне-греческій. — Дѣйствительно въ исторіи обоихъ народовъ завоеваніе играло самую ничтожную роль въ образованіи государствъ, и вотъ мы видимъ, что Русь слагается въ видѣ вѣчевыхъ городовъ, связь между которыми становилась все слабѣе до татарскаго ига... Въ Греціи является цѣлый рядъ совершенно независимыхъ республикъ.

Такимъ образомъ, на первой же страницѣ исторіи передъ нами предстоить одинъ изъ самыхъ великихъ всемірно-историческихъ народовъ, который не только не сложился въ единое политическое цѣлое, но который достигнулъ высокаго развитія и положилъ основаніе всемірной цивилизаціи, пока не былъ соединенъ; объединеніе же было его смертію. — Отношеніе греческихъ республикъ между собою было совершенно такое же, какое представляется нынѣ между современными европейскими государствами; точно также они то воевали между собою, то заключали союзы; очень часто являлось преобладаніе одной державы надъ другими и возбуждало оппозицію, весьма похожую на наши теоріи политическаго равновѣсія. Если существовали между греками кой-какія попытки къ политическому объединенію, то замѣчательно, что во первыхъ онѣ никогда не обнимали всего эллинскаго народа, а были частно-племенными, каковы были союзъ іоническихъ городовъ подъ гегемонією Аѣинъ, ахейскій союзъ, дорическое объединеніе большей части Пелопонеза подъ властію Спарты; во вторыхъ во всѣхъ этихъ союзахъ и слѣда мы не видимъ чего-либо непронизовольно-естественнаго, органическаго: это были или насильственно-завоевательныя стремленія одного возвысившагося государства, какъ напримѣръ Спарты, а впоследствии Македоніи; но Спарта нашла въ греческихъ республикахъ не готовность объединиться подъ ея владычествомъ, а напротивъ того дру-

жественный отпоръ; Македонія-же должна была разрушить многіе греческіе города до основанія, чтобы заставить ихъ забыть о своей политической независимости. Или-же попытки объединенія устраивались между свободными державами по сознательному соглашенію, договору, и носили такимъ образомъ характеръ чисто рациональный, который между прочимъ Градовскій самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергаетъ въ образованіи государствъ. Въ самомъ дѣлѣ: Градовскій смѣется надъ рационалистами за ихъ теорію общественнаго договора, которою они объясняли происхожденіе государствъ, и дѣйствительно смѣшно все подводить подъ эту теорію; но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы нужно было впадать въ другую крайность и отвергать совсѣмъ существованіе рациональнаго начала въ исторіи, и вотъ почти на первой же страницѣ исторіи мы видимъ проявленіе начала чисто рациональнаго: сначала іонійскіе города, а потомъ ахейскіе составляютъ, на основаніи свободнаго общественнаго договора, союзъ, который былъ болѣе, чѣмъ простымъ политическимъ союзомъ: это была федерація городовъ, весьма напоминавшая собою федерацію сѣверо-американскихъ штатовъ.

Разумъ—одинъ изъ могучихъ дѣятелей исторіи, и отвергать его вліяніе въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ установленіе формъ общежитія, значитъ лишать человечества того, чѣмъ оно единственно отличается отъ всѣхъ прочихъ животныхъ. По этому слѣдуетъ отвергать не рационализмъ самъ по себѣ, а только ложное его направленіе. Конечно, когда рационализмъ является въ видѣ отвлеченныхъ теорій меньшинства, и это меньшинство стремится насильно осуществить свою теорію, отъ такого рационализма Боже избави; но совершенно другое дѣло, когда одно или нѣсколько независимыхъ обществъ вполне сознательно и свободно что-либо производить или измѣняютъ въ своемъ бытѣ по разумнымъ соображеніямъ. Такой рационализмъ во имя права человѣка распоряжаться своею судьбою имѣетъ всегда мѣсто въ исторіи: онъ развивается по мѣрѣ развитія человечества, и ниже мы увидимъ, къ какимъ результатамъ онъ можетъ привести въ послѣдствіи.

Но, можетъ быть, при всемъ отсутствіи органической, государственной связи, греки все-таки имѣли внутреннюю, духовную связь, сознание, что всѣ они составляютъ одинъ народъ, и, можетъ быть, это сознание, забывавшееся въ мирное время, съ особенною силою воскресало въ моменты нападенія иноплеменинаго врага, каковыми были, наприимѣръ, персы? Но и такое трансцендентальное единство представляетъ весьма спорный вопросъ. Достаточно того, что у политически-разъединенныхъ грековъ, разсѣянныхъ по берегамъ и островамъ Мраморнаго и Средиземнаго морей, не могло сложиться идея объ обще-греческой территоріи; существовали только отдѣльныя территоріи: Аѣннская, Спартанская, Фивская, Коринская и проч. Поэтому, когда иноплеменики нападали на грековъ, они нападали не на греческую землю вообще, а на владѣніе того или другаго государства. Это государство обращалось тогда къ различнымъ греческимъ городамъ съ просьбою о помощи, искало союзниковъ, и греческіе города далеко не всегда и не всѣ

подымались противу общаго врага. Такъ, покоривши Лидійское царство, персы покорили и подвластные имъ іонійскія колоніи. Іонійцы возмущались и просили помощи у европейскихъ грековъ. Изъ нихъ спартанцы наотрѣзъ отказались помочь іонійцамъ; имъ было не до того: они были заняты войною съ Аргосою; аѣнне-же поддерживали возстаніе малоазійскихъ грековъ, и то не столько ради искренняго желанія помочь единоплеменникамъ, сколько ради мести персамъ, пріютившимъ у себя бѣжавшаго тирана Гиппій. Такимъ образомъ, при первомъ-же столкновеніи съ персами, греки проявили себя совершенно такъ-же, какъ проявили-бы себя и современные европейскія государства при вторженіи въ Европу какого-нибудь азіатскаго племени. Если-бы это племя завоевало Россію и Германію, Англія могла-бы продолжать держать строгій нейтралитетъ и еще, пожалуй, радовалась-бы, что избавилась отъ двухъ цивилизованныхъ соперниковъ, а Франція могла-бы протянуть руку побѣжденнымъ державамъ, если-бы въ лагерѣ азіатовъ очутились-бы наполеониды и новый Чингисъ-Ханъ обѣщавъ-бы возстановить ихъ на престолахъ Франціи. И всѣ дальнѣйшія войны съ персами носятъ такой-же разъединенный характеръ со стороны грековъ. Сначала еще мы видимъ кой-какое стремленіе спланиваться въ союзы и дѣйствовать сообща противъ общаго врага,—союзы, заключеніе которыхъ возможно и между различными народами, но и въ этихъ союзахъ мы не замечаемъ особеннаго патріотическаго единодушія: такъ, одни города спѣшатъ безропотно покориться персамъ, другіе колеблются и не знаютъ, къ чему пристать—къ партіи сопротивленія или покорности, третьи, какъ опять та же Спарта, на словахъ соглашаются сопротивляться, а на дѣлѣ медлятъ, отвиливаютъ и предоставляютъ другимъ освободиться отъ персовъ Элладу. Такой порядокъ мы видимъ во время первыхъ войнъ съ персами; далѣе-же мы встрѣчаемъ еще менѣе единодушія: весь греческій міръ распадается на два враждебно-политическіе лагера, начинаются пелопонезскія войны, и ужъ тутъ не только мы не видимъ и возможности, чтобы весь народъ, какъ одинъ человѣкъ, возсталъ и слился въ одною общемъ чувствѣ и т. д., а напротивъ того: то та, то другая сторона прибѣгаютъ къ персамъ, ища въ нихъ союзниковъ противъ единоплеменнаго врага. Такъ, аѣнскій полководецъ Кононъ одерживаетъ надъ спартанцами побѣду при Кандіи при помощи персидскаго флота, а спартанцы оплачиваютъ своимъ врагамъ анталкидовымъ миромъ, по которому они отдають во власть персовъ всѣ малоазійскія колоніи съ островами Кипромъ и Клазоменъ.

Но что-же тутъ хорошаго въ этой разъединенности? спроситъ меня читатель. Развѣ не эта разъединенность и погубила Грецію? Если-бы Греція составляла нѣчто цѣлое, органически-единое, то, можетъ быть, не было-бы и Римской Имперіи, и гениальный народъ представилъ-бы намъ и не такія еще чудеса цивилизаціи? Но развѣ я представляю разъединенность Греціи, какъ нѣчто идеальное? Ничуть не бывало. Я только констатирую фактъ, доказывающій, что стремленіе къ единству и органическое развитіе государственныхъ формъ вовсе не составляютъ фа-

тельно-неизбѣжнаго условія жизни каждаго народа. Я могу повторить здѣсь слова самого Градовскаго: „мы, очевидно, не имѣемъ права (т.-е. научнаго права), говоря о раздѣленіи Греціи, ставить вопросъ о томъ, оправдываетъ или не оправдываетъ разумъ его существованія. Мы только въ правѣ и должны задать себѣ слѣдующій вопросъ: представляютъ-ли научные факты какія-нибудь данныя въ пользу того, что каждая народность представляетъ изъ себя послѣдовательно развивающійся политическій организмъ“.

Какъ-бы то ни было, но городъ,—эта единственная, непривольно-естественная форма государства,—до такой степени сдѣлался привычною формою древней жизни, что когда Римъ объединилъ, наконецъ, весь древній міръ, онъ не могъ сразу вырвать съ корней этого глубоко вкоренившагося растенія. Римъ лишалъ города одной только политической независимости и въ то же время представлялъ имъ полное самоуправленіе: они сохраняли свой судъ, свою выборную полицію и администрацію и самостоятельно рѣшали всѣ свои внутреннія дѣла. Казалось, что весь древній міръ готовъ былъ обратиться въ федерацію, напоминавшую собою Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты. Но для осуществленія подобной федераціи не доставало одного и самаго главнаго: древній міръ далекъ былъ отъ той степени развитія, чтобы соединеніе могло произойти вполне сознательно, свободно, добровольно и на равныхъ правахъ; оно было совершенно насильственно не ради единенія въ духѣ любви и братства, а съ своекорыстными цѣлями господства. Объединивши весь древній міръ подъ своею властью, Римъ началъ высасывать всѣ производительные соки изъ покоренныхъ областей. Громадные богатства, начавшія стекаться отовсюду въ всемірный городъ, произвели страшное разлаганіе нравовъ и до такой степени искажили древне-римскую культуру, что свободныя республиканскія формы должны были смѣниться деспотическими. Усиленіе деспотизма въ Римѣ вліяло и на муниципальную свободу городовъ, все болѣе и болѣе подавляя ее. Страшные поборы, особенно тягостно падавшіе на выборныхъ представителей городовъ, произвели то, что на муниципальныя должности начали смотрѣть не какъ на почетъ, а какъ на наказаніе. Города бѣднѣли, обезлюживались, наконецъ, едва владели свое существованіе; и все-таки обратиле вниманіе на ихъ живучесть: они одни пережили Римскую Имперію, и въ то время, какъ всѣ ея искусственныя, насильственно поддерживаемыя формы развалились въ дребезги передъ напоромъ варваровъ, эти органически сложившіяся формы уцѣлѣли. И это произошло очень естественно.

Мы уже говорили выше, что у германцевъ, еслибы они развивались на своихъ мѣстахъ, внѣ всякихъ внѣшнихъ вліяній, могъ бы развиваться такой же порядокъ, какъ въ древней Греціи или до-монгольской Руси, т. е. рядъ независимыхъ городовъ, связанныхъ весьма слабою политическою связью или ничѣмъ не связанныхъ. Но развитію такого порядка помѣшали два обстоятельства: съ одной стороны, напоръ новыхъ народовъ, хлынувшихъ въ Европу съ востока; съ другой стороны, сосѣдство цивилизованнаго государства,

въ свою очередь дѣлавшаго нападенія на германцевъ. Все это сплочивало германцевъ въ орды, поддерживало и развивало въ нихъ воинственный духъ и военный порядокъ. Вмѣстѣ съ увеличеніемъ разлаганія въ Римской имперіи начались и вторженія въ нее варваровъ. Есть полное основаніе предполагать, что подобныя вторженія были не столько вторженіями цѣлыхъ племенъ, сколько военныхъ дружинъ, въ родѣ походовъ первыхъ русскихъ князей на Грецію, причемъ мы видимъ, что Святославу, напримѣръ, понравилась Болгарія, онъ засѣлъ въ ней, забывши о Кіевѣ. Такъ засѣдали въ завоеванныхъ странахъ и германскія варварскія полчища, забывая свою родину. Во всякомъ случаѣ варвары, опустошая и покоряя римскія провинціи, и не воображали вносить въ нихъ какое-либо органическое государственное устройство: удовлетворивши жаднѣ добычи повсемѣстнымъ грабежомъ, они потомъ располагались въ странѣ военнымъ лагеремъ, съ единственнымъ цѣлью собирать доходы съ покоренныхъ областей и благоденствовать. Что же дѣлали въ это время покоренные жители: латиняне, галлы, бритты, иберы и пр.? Они разбѣгались при появленіи варваровъ, а потомъ, когда тѣ насыщались грабежомъ, снова сходились на пепелища разрушенныхъ городовъ, строились на нихъ или по близости и снова заводили у себя свое исконное муниципальное правленіе, съ которымъ сжились. Варварамъ до этого не было никакого дѣла; главной заботой ихъ было собирать побольше дохода съ покоренныхъ земель, и они не только не вмѣшивались въ самоуправленіе городовъ, но, напротивъ, поощряли такой порядокъ, желая, по всей вѣроятности, ободрить испуганный народъ и снова собрать его изъ лѣсовъ въ города. Такъ, по свидѣтельству Григорія Турскаго, король франковъ Хлотарь даже присягнулъ разнымъ городамъ франкской державы не навязывать имъ никакихъ новыхъ законовъ и учреждений.

Такимъ образомъ, съ самаго начала образованія современныхъ намъ государствъ не представляется и слѣдовъ чего-либо органическаго, — естественнаго и непривольнаго развитія разнообразія изъ единства; напротивъ того, передъ нами насильственное сдѣленіе совершенно разнородныхъ элементовъ. Мы видимъ нѣсколько враждебныхъ лагерей, составляющихъ государства въ государствахъ: съ одной стороны передъ нами короли съ вассалами, составляющіе внѣшній, пришлый военно-деспотическій элементъ и, если считать этотъ элементъ головами развивавшихся народно-государственныхъ организмовъ, то мы будемъ имѣть чудодѣйственные организмы, головы которыхъ развились не изъ стѣмени вмѣстѣ съ другими членами тѣла, а приросли къ тѣлу извнѣ; съ другой стороны, города со своими вольностями, основанными на римскомъ правѣ, съ третьей стороны духовенство, это новое государство въ государствахъ, не желающее знать никакихъ другихъ властей, кромѣ единой власти римскаго папы. И всѣ эти элементы, несмотря на попытку къ искусственно-насильственному соединенію ихъ въ видѣ монархіи Карла, этого неудачнаго подражанія Римской имперіи, всѣ они тянутъ врозь и, наконецъ, совсѣмъ расплзаются. Феодалы отлагаются отъ королей, и по мѣрѣ того, какъ распадается

насильственно сдѣляющій военно-деспотическій элементъ, произвольно-естественные элементы начинаютъ развиваться и усиливаться: города получаютъ все болѣе и болѣе свободы, правъ, и обращаются почти въ независимыя республики.

Въ самомъ дѣлѣ, къ 13 вѣку, мы видимъ, что вся Европа покрыта сѣтью вольныхъ городовъ, которые наперерывъ стремятся, то силою оружія, то путемъ мирныхъ договоровъ, въ родѣ покупокъ за деньги льготныхъ грамотъ, приобрести полную независимость отъ феодализма. И въ то время, какъ за стѣнами городовъ царствуетъ грубое варварство, въ городахъ начинается кипѣть совершенно иная жизнь: развивается торговля и промышленность, нравы смягчаются, является страсть къ наукамъ и искусствамъ, совершаются первыя изобрѣтенія. Между тѣмъ, какъ внѣ городовъ господствуетъ необузданный произволъ феодальнаго и крѣпостнаго права, не возбуждающаго ни малѣйшаго протеста и признаваемого божественнымъ, въ городахъ, какъ итальянскихъ, такъ и германскихъ возникаетъ демократическое движеніе: все болѣе и болѣе богатѣющіе купцы и ремесленники возстаютъ на городскихъ дворянъ и требуютъ равенства въ участіи въ городскомъ правленіи. При всемъ этомъ замѣчателенъ тотъ фактъ, что въ мѣстностяхъ Европы, въ которыхъ феодальныя стихіи пришли въ наиболѣе раздробленное состояніе, и гдѣ взаимная борьба между ними парализовала всякія попытки къ насильственнымъ объединеніямъ, тамъ города достигли наибольшей независимости и цвѣтущаго состоянія. Таковы были Италия, въ особенности сѣверная, Швейцарія и Германія. При этомъ сначала города боролись съ феодализмомъ, каждый въ отдельности, впоследствии же начали составлять союзы, весьма напоминавшіе древне-греческіе. Такова была напримѣръ Ломбардская лига, составившаяся противъ Фридриха II изъ городовъ Вероны, Верчелли, Мантуи, Гуасталлы, Виченцы, Падуи и Тревизо. Таковъ былъ на сѣверѣ знаменитый Ганзейскій союзъ, состоявшій изъ 90 городовъ, которые, пользуясь самостоятельностью каждый въ отдельности, въ тоже время имѣли союзное правительство, владѣвшее союзною казною и войсками. Эти союзныя войска вмѣстѣ съ любекскимъ флотомъ очистили Балтійское море отъ морскихъ пиратовъ, прекратили набѣги нормановъ, и обезопасили Ганзу отъ рыцарей-разбойниковъ, въ мрачную эпоху кулачнаго права. Союзы городовъ, сначала случайныя и частныя, со временемъ дѣлаются все болѣе и болѣе обширными, и вотъ мы видимъ въ XIV вѣкѣ настаетъ такой критическій моментъ, въ который едва не совершился въ жизни Европы великій переворотъ. Дѣло въ томъ, что Швейцарія, освобожденіе которой приписывается мюнхенскому Вильгельму Теллю и представляется обыкновенно какинъ-то исключительнымъ явленіемъ, въ сущности есть ни что иное, какъ памятникъ такого движенія, которое въ моментъ освобожденія Швейцаріи было общеевропейскимъ и едва всей Европѣ не придало видъ Швейцаріи. Такъ рядомъ съ Швейцарскимъ союзомъ образовались союзы рейнско-швабскихъ и франконскихъ городовъ. Оба эти союза, соединившись между собою, предложили пристать къ нимъ и швейцарскому союзу, и по-

слѣдній присталъ къ швабскимъ и франконскимъ городамъ, хотя и не во всемъ своемъ составѣ. Такимъ образомъ составила лига изъ 70 городовъ, основаніемъ которой послужилъ союзный договоръ, заключенный въ Констанцѣ 21 Февраля 1385 года. Не довольствуясь этимъ, лига вошла въ сношеніе съ Ганзою, и стоило только пристать къ ней ганзейскимъ и верхне-италійскимъ городамъ, тогда образовалась бы такая сила, противъ которой феодалы всей Европы конечно не могли бы устоять, еслибы даже способны были къ единодушному сопротивленію, и тогда Европа могла бы принять видъ древней Греціи. Но германскіе князья во время поняли угрожавшую имъ опасность и, прежде чѣмъ города успѣли слотиться въ такой колоссальный союзъ, они напали на нихъ дружными усиліями. Въ 1388 и 1389 гг. произошло нѣсколько битвъ, результатомъ которыхъ было то, что города принуждены были покориться, союзъ распался и власть князей сдѣлалась неограничена; уже никакое энергическое сопротивленіе не мѣшало имъ болѣе ослаблять города и всячески притѣснять ихъ. Но дорого стоило Германіи это паденіе городовъ: вмѣстѣ съ ними надолго пали и торговля, и благосостояніе страны; нравы огрубѣли и одичали; надо всѣмъ воцарился необузданный деспотизмъ феодальныхъ владѣтелей и католическаго духовенства, эксплуатировавшего грубое суевѣріе.

Въ то время, какъ въ Германіи побѣда феодальныхъ князей надъ городами повела къ усиленію ихъ могущества и къ окончательному раздробленію Германіи, во Франціи и Англіи произошли иныя комбинаціи между элементами средневѣковыхъ обществъ, результатомъ которыхъ было дѣйствительно объединеніе этихъ странъ, но все-таки это объединеніе не представляетъ ничего естественно-органическаго и является насильственнымъ и потому искусственнымъ. Такъ во Франціи въ моментъ объединенія мы видимъ не народный организмъ, развивающій многое изъ единого, а четыре враждебные лагеря, упорно борющіеся между собою: съ одной стороны феодалы стремятся свергнуть съ себя всякую зависимость отъ королей, съ другой — города стремятся къ независимости отъ феодаловъ, съ третьей стороны короли въ теоріи воспитываютъ въ себѣ идеалы абсолютизма, завѣщанные Востокомъ и Римомъ, фактически-же не имѣютъ еще почти никакой власти, и наконецъ, въ четвертыхъ духовенство стремится покорить теократической власти папы всѣ прочіе элементы общества. — Если при такихъ условіяхъ Франція не распалась на мелкія части и не образовала изъ себя нѣсколькихъ государствъ вмѣсто одного, то благодаря тому, что королевская власть соединилась съ городами противу общихъ враговъ, феодаловъ, но покоривши феодаловъ и обуздавши притязанія духовенства, она потомъ уничтожила и своихъ союзниковъ, подавила самостоятельность городовъ и, утвердивши необузданный абсолютизмъ, распространивши на всю страну давящую и мертвящую централизацию, начала стягивать къ себѣ всѣ соки страны, пока не истощила ее до послѣдней степени. — Видѣть нѣчто народно-органическое въ подобномъ объединеніи отказывается даже Градовскій: „успѣхи королевской власти, говоритъ

онъ на 8 стр., не вездѣ разрѣшили національный вопросъ; короли даже не въ состояніи были дать этому вопросу правильную постановку. Нужно имѣть въ виду, что во-первыхъ, королевская власть приняла въ себя много элементовъ феодальнаго права и, во-вторыхъ, что она, въ дѣйствіяхъ своихъ, выдвигала на первый планъ чисто политическіе и юридическіе вопросы—вопросы о единствѣ власти, закона и администраціи. Мы можемъ прибавить къ этимъ словамъ Градовскаго, что короли не только что *не вездѣ*, но нигдѣ и не думали о разрѣшеніи національнаго вопроса. Какъ элементъ пришлый, основавшійся въ различныхъ странахъ на правѣ завоеванія, королевская власть по самому существу своему смотрѣла на завоеванныя земли, какъ на свои *владѣнія*; главный же и единственный принципъ всякаго владѣнія— есть пользованіе предметомъ владѣнія; по отношенію къ землѣ пользованіе это заключается въ собираніи доходовъ. Естественно, что феодально-королевская власть на Западѣ эту дѣятельность ставила на первый планъ, въ ней видѣла все свое призваніе, о ней только и заботилась.—Такимъ образомъ, покоряя феодаловъ, короли вовсе и не думали дѣлать это изъ-за какихъ-либо отвлеченныхъ идей національнаго единства: феодалы въ глазахъ ихъ были ничѣмъ болѣе какъ своевольными арендаторами, вздумавшими раздѣлить ихъ владѣнія между собою и присвоить себѣ ихъ земли; точно также и борясь съ притязаніями католическаго духовенства, короли и не воображали о національной независимости отъ всепокоряющей власти папы; здѣсь точно также является передъ нами вопросъ исключительно финансовый объ увеличеніи доходовъ. По крайней мѣрѣ въ такомъ видѣ представляется намъ знаменитый споръ между Бонифациемъ VIII и Филиппомъ Красивымъ, этотъ роковой моментъ въ сверженіи Франціею теократическаго ига. Все несогласіе между папою и королемъ произошло изъ того, что король ради наибольшихъ доходовъ вздумалъ обложить податями духовенство; папа запретилъ это; тогда король въ свою очередь запретилъ вывозъ золота куда-бы то ни было изъ Франціи, слѣдовательно и въ Римъ. Наконецъ усиленіе администраціи и та крайняя централизація, которую развили во Франціи короли, все это имѣло единственную цѣль—систематизацію собиранія доходовъ. Въ этомъ отношеніи знаменитая фраза Людовика XIV—*l'état c'est moi* является примымъ логическимъ выводомъ изъ самой идеи феодально-королевской власти. Фразою этою Людовикъ XIV откровенно выразилъ, что онъ вовсе не есть глава или представитель какого-то тамъ еще народа; никакого народа онъ и знать не хочетъ, а знаетъ онъ только свое помѣстье, составляющее его неотъемлемую собственность, часть его самого (какъ обыкновенно объясняютъ юристы идею всякой собственности), которое потому только и существуетъ, что онъ Людовикъ XIV; онъ именно и есть *l'état*.

Въ Англіи представляются намъ тѣ-же самые общественные элементы: тѣ-же феодальные бароны, города и короли, имѣющіе притязаніе видѣть въ себѣ *l'état*. Разница представляется здѣсь только въ комбинаціи враждебныхъ лагерей. Такъ здѣсь города соединяютъ-

ся не съ королями противъ бароновъ, а съ баронами противъ королей. Слѣдствіемъ такой комбинаціи и было то, что короли въ Англіи не могли достигнуть такого могущества, какъ во Франціи, не имѣя возможности составить постояннаго войска, какое образовали французскіе короли при помощи городовъ. Власть ихъ поэтому все болѣе и болѣе падала послѣ cadaго дружнаго натиска бароновъ въ соединеніи съ городами; результатомъ этого и образовалось полное отсутствіе централизаціи и то знаменитое англійское *self-government*, на которое съ такою завистью смотрятъ всѣ континентальные народы. Англійская конституція со всѣми своими широкими правами есть какъ-бы рядъ мирныхъ договоровъ между воюющими лагерями.

Но какъ ни различно сложились государственныя формы въ трехъ передовыхъ Европейскихъ странахъ—Германіи, Франціи и Англіи, въ основѣ этого образованія лежитъ одна и таже искусственная комбинація элементовъ, одинаково враждебныхъ другъ другу, одинаково взаимно другъ друга исключającychъ. Образованіе государственныхъ формъ Западной Европы вышло такимъ образомъ вовсе не изъ естественно-органическаго развитія, а изъ борьбы между этими враждебными элементами, при чемъ въ однихъ странахъ, какъ во Франціи XIII вѣка и современной Германіи, произошло *насильственное* подчиненіе всѣхъ элементовъ одному, одержавшему побѣду, въ другихъ, какъ въ Англіи, мы видимъ *раціональный* договоръ, установившій отношенія между враждебными лагерями. Но и послѣ того, какъ объединеніе совершилось, вышеозначенные элементы не слились въ одно органическое тѣло, и до сихъ поръ они существуютъ каждый своею особенною жизнью въ видѣ сословій, ведущихъ между собою борьбу, то открытую, то тайную. Но мало того, что вмѣстѣ съ объединеніемъ борьба не уменьшилась, но еще осложнилась, потому что среднее сословіе, въ которое слились города, раздѣлилось на два элемента, на капиталистовъ и рабочихъ, и послѣдніе составили враждебный лагерь, могущій вступать въ различные союзы со всѣми прежними элементами. Отсюда весьма естественнымъ представляется и тотъ антагонизмъ между государствомъ и обществомъ, противъ котораго ратуетъ Градовскій. Этотъ антагонизмъ вытекаетъ прямо изъ историческаго положенія вещей въ Европѣ. Правительства пришлыя, поработившія различные самостоятельные элементы странъ и насильственно сплотившія ихъ, естественно тѣмъ самымъ и утвердили взглядъ на себя, какъ на нѣчто внѣшнее и тяготящее надъ страной; взглядъ этотъ утверждался вѣками, и вы подумайте только, въ какихъ слояхъ западно-европейскихъ обществъ наиболѣе господствуетъ онъ? въ городскомъ среднемъ сословіи. Какіе классы общества наиболѣе оказываются приверженными теоріямъ государственнаго невмѣшательства и ограниченія государственныхъ функцій однимъ охраненіемъ личной безопасности—опять-таки буржуазные классы, т.-е. тѣ-же города, привыкшіе съ начала среднихъ вѣковъ уже стремиться къ независимости отъ феодальныхъ владѣтелей и къ огражденію своихъ внутреннихъ городскихъ дѣлъ отъ внѣшняго вмѣшатель-

ства. Но объясняемый исторически, подобный взгляд имеет свое оправдание и в современном положении вещей. Это был-бы ложен только в том случае, если-бы в действительности во Франции, Англии или иной стране существовали те идеальные национально-органические государственные формы, о которых мечтает Градовский, но таких форм нигде не существует; в действительности искусственно сложившиеся государственные формы служат орудием в руках одного какого-нибудь элемента, одержавшего верх и стремящегося поработить все прочие. Отсюда, весьма естественно, в городских классах, наиболее образованных и издревле привыкших к самоуправлению, стремление гарантировать свои внутренние дела от произвольного вмешательства администрации, являющейся слепым орудием в руках то той, то другой из господствующих партий.

Читатель может опять задать мне вопрос: неужели же я смотрю, как на нечто идеальное, на всю эту рознь элементов, из которых складывается европейская жизнь, неужели я не желаю, подобно Градовскому, чтобы каждый народ представлял стройный государственный организм, вполне сливающийся, отождествляющийся с народом и органы которого не дрались бы между собою, а напротив того составляли нечто систематически стройное, единодушно-взаимно-действующее, многое в едином и единое во многом? Но мало ли чего бы я ни желал: здесь идет дело не о том, что было бы желательно, а о том, что есть на самом деле. И я, если вам угодно, могу еще раз повторить два мудрых изречения Градовского: 1) с научной точки зрения нельзя желательность известного положения делать признаком его практической годности и 2) мы очевидно не имеем права (т. е. научного права), говоря о государственном единстве народов, поставить вопрос о том, оправдывает или не оправдывает разум существования этого единства? Мы только в праве и должны задать себе следующий вопрос: представляют-ли научные факты какие-нибудь данные в пользу того, что государственные формы различных народов сложились естественно и представляют органическое единство?

И научные факты говорят нам: нет и тысячу раз нет.

Но может быть отсутствие органического единства в государственных формах несколько не мешает народу быть единым в культурном отношении, т. е. каждый народ, какие бы враждебные политические элементы ни заключал в своих недрах и хотя бы даже был политически разъединен, подобно древним грекам, при всем том, говорить одним языком, исповедует одну религию, имеет одинаковый быт во всех своих элементах и отдельных частях, одинаковый склад ума, одинаковую наклонность к созданию своеобразных произведений искусства или к процветанию тех или других наук и пр. Но и в этом отношении мы не найдем положительно ни одного народа, который в продолжении всей своей истории имел бы однообразную культуру во всех своих отдельных частях. На-

против того, мы видим, что народ или постоянно делится на различные культуры, не имеющие между собою часто ничего общего; или же с течением времени в нем возникают такие культурные разновидности, которые теряют всякую связь с общою культурою.

Начнем, если вам угодно, опять с греков. Говоря одним языком, они имели одни верования, нравы и обычаи, учились по одним и тем же песням Гомера, сходились со всех стран света на олимпийские игры, где при всем своем политическом разъединении сливались в один народ в созерцании своих вечноживущих памятников искусства, которые составляли гордость и славу каждого грека безразлично. Те, которые судят таким образом, имеют о древней Греции самое поверхностное понятие. — По песням Гомера и по олимпийским играм заключать об единстве греческой культуры все равно, что предполагать европейскую культуру однообразною на том основании, что все европейцы молятся по одному и тому же евангелию и время от времени устраивают в столичных городах всемирные выставки, на которых состязаются друг перед другом в произведениях промышленности, торговли, изящных искусств и пр. Искони Греция разделялась на две культуры, весьма мало похожие одна на другую — дорическую, представительницею которой является перед нами Спарта, и ионийскую, дошедшую до высшего своего процветания в Афинах. Между обеими культурами было также мало общего, как в настоящее время между культурою хотя бы Италии и Пруссии. — В самом деле: представьте себе с одной стороны народ-мореплавец, мыслитель, предприимчивый, деятельный, способный на все мастерства и в изящных искусствах дошедший до недостижимой высоты, народ утонченно-изящный, впечатлительный, крайне подвижный и в то же время любящий роскошь и блеск, и с другой стороны народ воинственный, закаленный в перенесении холода и голода, привыкший к грубой солдатской простоте жизни, выше всего ставящий в человеке физическую силу и все воспитание полагающий в солдатской выправке. Самое смелое воображение, выражаясь словами Градовского, не может себе представить Фидию в Спарте или Пизогора в аркадской Кинифе. Вся та высокая цивилизация, которую греки завещали миру, принадлежала исключительно почти одному ионийскому племени, между тем как к грекам принадлежат и македоняне, имевшие опять таки свою особенную культуру, не похожую ни на аттическую, ни на спартанскую.

Если мы заглянем в средние века, то здесь мы встретим еще более пестрое разнообразие жизни в культурном отношении. В самом деле, возьмите вы богатую культуру южной Франции, на почве которой расцвела знаменитая провансальская поэзия и начались первые задатки протестантизма в лице альбигойцев, и сравните с дикою, варварскою Нормандию или Бретанью, возьмите культуру торгово-промышленной Англии и сравните ее с культурою горной Шотландии, возьмите немцев балтийских прибрежий и сравните их с тирольцами, саксонцами...



Возьмите новгородскую культуру торговой республики и сравните ее с одной стороны с культурой запорожской сечи, этой военно-лагерной вольницы, и с другой стороны с культурой Москвы, основанной на византийско-татарском абсолютизмѣ. И вообще если мы примемъ во вниманіе, по совѣту Градовскаго, географическія, климатическія и всѣ прочія естественно-историческія условія жизни народовъ, то найдемъ, что культуры раздѣляются не столько по народностямъ, сколько по характеру мѣстностей: такимъ образомъ передъ нами будутъ культуры не русскихъ, французовъ и англичанъ, а горныхъ странъ, приморскихъ, рѣчныхъ, степныхъ, лѣсныхъ и пр., и мы увидимъ, что горцы или поморяне всѣхъ странъ имѣютъ гораздо больше общихъ чертъ въ своей культурѣ, чѣмъ напримѣръ тѣже горцы и поморяне со своими единоплеменниками, живущими въ лѣсахъ или степяхъ. Тѣ политическія объединенія, которыя происходили въ нѣкоторыхъ странахъ Европы въ концѣ среднихъ вѣковъ, какъ напримѣръ во Франціи и въ Россіи, до нѣкоторой степени дѣйствительно сгладили всѣ эти мѣстныя культурныя особенности и подчинили цѣлые народы однообразной культурѣ центра, но въ подобномъ сглаженіи, нивелированіи было столько же искусственнаго, насильственнаго и подавляющаго, сколько Градовскій находитъ въ подчиненіи славянскихъ народовъ однообразной культурѣ Австрійской имперіи, и стоили они не менѣе страшныхъ кровавыхъ жертвоприношеній: такъ въ Россіи нужно было нѣсколько десятковъ тысячъ новгородцевъ потопить въ Волховѣ и расселить по всѣмъ городамъ, чтобы приравнять новгородскую землю къ Москвѣ; во Франціи воздвигались цѣлые походы на альбигойцевъ, кончившіеся окончательнымъ истребленіемъ роскошной провансальской культуры. — Не знаемъ много-ли выиграла французская національность отъ уничтоженія всякихъ мѣстныхъ особенностей и отъ сосредоточенія всей національной жизни въ Парижѣ, но намъ извѣстно, что потеряла Россія отъ уничтоженія въ лицѣ Новгорода важнаго торговаго пункта, который служилъ въ свое время для страны единственнымъ посредникомъ между нею и западною Европою въ сбытѣ мѣстныхъ произведеній, и какихъ неимоверныхъ усилий стоило Россіи создать новый такой пунктъ. Мы можемъ также представить себѣ, какое гибельное вліяніе экономическое и нравственное произвело бы на Англію подавленіе въ сѣверо-американскихъ колоніяхъ стремленія къ независимости и къ созданію своей собственной культуры. Въ этомъ отношеніи, если мы возьмемъ любое изъ западно-европейскихъ государствъ, составленныхъ изъ одной народности, то къ каждому мы можемъ буквально прийтти тоже самое, что Градовскій говоритъ о государствахъ, искусственно составленныхъ изъ различныхъ народностей. Вотъ что говорить онъ на 28 стр.:

«Искусственные государства не удовлетворяютъ самымъ элементарнымъ потребностямъ народнаго развитія: они не могутъ обезпечить коренныхъ условій гражданской свободы. Созданныя обыкновенно насиліемъ, они должны направить всѣ свои средства на сохраненіе и поддержаніе своего искусственнаго единства. Они, въ силу вещей, должны бывають подавлять всякое свободное проявленіе жизни и даже

мысли. Развитіе свободы кажется имъ опаснымъ потому, что оно можетъ напомнить насилъственно сплоченнымъ народностямъ объ ихъ правахъ. Признаніе даже административнаго самоуправленія кажется невозможнымъ, потому что за нимъ можетъ явиться требованіе самостоятельности политической. Такія государства безпрерывно живутъ между страхомъ внутренней революціи и внѣшняго нападенія. Малѣйшее пробужденіе общественной жизни внутри кажется предвѣстникомъ грознаго переворота. Усиленіе сосѣда вызываетъ тревожныя опасенія. Правительство такого государства поставлено въ весьма фальшивое положеніе. Оно вѣчно должно питать подозрѣніе къ собственному обществу, зависть къ сосѣдямъ. Можетъ-ли оно разрѣшить великія нравственныя и экономическія задачи, къ которымъ призвано государство?»

Говоря это, Градовскій подразумеваетъ, конечно, все ту же несчастную Австрійскую имперію, о которой націоналисты не могутъ вспомнить безъ скрежета зубовъ и существованіе которой составляетъ ихъ истинное несчастіе, но мы спрашиваемъ Градовскаго, къ какому-же изъ современныхъ намъ западно-европейскихъ государствъ не могутъ быть буквально прийтены тѣже самыя слова? Или, быть можетъ, къ Англіи, которую націоналисты постоянно превозносятъ, какъ образецъ народа, развившагося вполне самобытно, и въ которомъ народное правительство, выражая собою волю всего народа, стремится выполнять великія національныя задачи? Но и въ Англіи ея хвалемое широкое самоуправленіе, неприкосновенность личности, готовность правительства выслушивать свободно раздающіеся голоса общественнаго мнѣнія и удовлетворять всѣмъ потребностямъ общества, всѣ эти прелести имѣютъ мѣсто только до первой роковой минуты, до чернаго дня, и въ извѣстныхъ рамкахъ. Чуть напримѣръ въ какой-нибудь части Англіи создается мѣстная культура, слишкомъ ужъ обособившаяся отъ общаго уровня жизни, заявить о своемъ существованіи и потребуетъ своихъ правъ, — отношеніе правительства къ этой мѣстности тотчасъ-же и принимаетъ характеръ отношеній австрійской администраціи къ угнетеннымъ славянамъ, и куда тогда дѣваются и свобода общественнаго мнѣнія и *habeas corpus* и все прочее. Одинъ примѣръ подобнаго отношенія мы уже имѣемъ передъ собою въ фактѣ отложенія сѣверо-американскихъ англійскихъ колоній. Чего требовали колоніи? О политической независимости онѣ еще и не мечтали, когда подняли знамя возстанія; онѣ добивались одного: признанія за ними со стороны метрополіи равноправности, права присылать депутатовъ въ парламентъ, освобожденія отъ тяготившихъ таможенныхъ пошлинъ и другихъ налоговъ, устроенныхъ въ пользу метрополіи. Чѣмъ же отвѣтила имъ Англія на эти справедливыя требованія? Репрессивными мѣрами. Колонія силою оружія добились не только того, чего требовали, но и большаго — политической независимости, ну а что было бы, если бы счастье войны склонилось на сторону Англіи, если бы краснорѣчіе Вильяма Питта не одержало верхъ въ парламентѣ? Развѣ положеніе колоній не было бы въ настоящее время хуже, чѣмъ положеніе Ирландіи, этой другой страны, отношеніе англійскаго правительства къ которой нисколько не лучше, чѣмъ отношеніе австрійскаго правительства

къ любому изъ угнетенныхъ славянскихъ народовъ?

Но мы никогда не кончили-бы, если-бы вздумали привести всѣ возможные доказательства въ пользу того, что народно-органическія государственныя формы существуютъ только въ воображеніи Градовскаго. Ограничиваясь приведенными нами историческими фактами, мы можемъ резюмировать въ заключеніи всѣ тѣ выводы, которые прямо истекаютъ изъ этихъ фактовъ. И такъ: 1) стремленіе къ единству вовсе не лежитъ въ природѣ каждаго народа, какъ необходимое условіе его органическаго развитія: оно можетъ быть или не быть; 2) всѣ историческія попытки къ объединенію носятъ двойной характеръ или *насильственный*, когда одна часть или одинъ изъ элементовъ національности силою оружія покоряетъ всѣ прочія, стремящіяся къ политической независимости, или *рациональной*, когда нѣсколько независимыхъ политическихъ единицъ соединяются въ одно государство посредствомъ свободнаго, сознательнаго общественнаго договора (іонійскій и ахейскій союзы, Швейцарія, С. Американскіе соединенные штаты); 3) государственныя формы никакъ нельзя назвать естественно-органическими формами объединенной народности. Единственными естественно-органическими государственными формами являются въ исторіи *civitates* — города, исключаяющія своимъ существованіемъ всякую мысль о народномъ единствѣ; всѣ-же болѣе крупныя государственныя формы, обнимающія цѣлыя народности, являются уже искусственными комбинаціями, создающимися путемъ насильственнаго сѣшенія отдѣльныхъ элементовъ или рациональнаго соглашенія, и, наконецъ, 4) однообразіе культуры тоже не составляетъ необходимаго условія жизни каждаго народа; напротивъ того, мы не знаемъ положительно ни одного народа, который искони не раздѣлялся-бы на культурныя разновидности сообразно различнымъ условіямъ мѣстности, населяемой народомъ, не говоря уже о томъ, что исторія постоянно создаетъ среди народа новыя и новыя культурныя особенности, не имѣющія иногда ничего общаго съ общимъ культурнымъ типомъ народа.

## IX.

Доказавши, что существованіе отдѣльныхъ народностей вовсе не есть существованіе отдѣльныхъ саморазвивающихся политическихъ организмовъ, теперь мы приступимъ ко второй части нашего трактата, къ доказательству, что тѣ самыя условія жизни, которыя создаютъ отдѣльныя народности, могутъ эти самыя народности соединять въ болѣе обширныя группы и даже слить когда-нибудь все человѣчество въ одинъ народъ.

Такъ какъ ни политическія формы, ни культурныя особенности не составляютъ всеобщаго и безусловнаго мѣрила отдѣльности народовъ, то у насъ остается одно только мѣрило, одинъ признакъ такой отдѣльности — это языкъ. И дѣйствительно языкъ составлялъ во всѣ времена единственный и несомнѣнный признакъ существованія отдѣльнаго народа. Не даромъ наши предки отождествляли понятіе языка и народа, на-

звывая оба эти понятія однимъ словомъ *языкъ*; надо отдать имъ честь, такое отождествленіе показывается, что они гораздо вѣрнѣе, чѣмъ Градовскій и всѣ прочіе подобные ему націоналисты, сознавали, что существованіе отдѣльнаго народа только и есть, что существованіе отдѣльнаго языка (разумѣется, конечно, живого). Въ самомъ дѣлѣ, народъ можетъ раздѣляться на какія угодно политическія и культурныя группы, совершенно независимыя и даже крайне враждебныя, можетъ измѣнять какъ угодно свою культуру, можетъ потерять окончательно свою политическую независимость, но пока онъ говоритъ однимъ особеннымъ языкомъ, онъ не перестанетъ считаться отдѣльнымъ народомъ. Такъ древніе греки, не составлявшіе ни политическаго, ни культурнаго единства, тѣмъ не менѣе считаются отдѣльнымъ народомъ, потому что говорили отдѣльнымъ языкомъ; точно также считаются, единственно на основаніи языка, отдѣльнымъ народомъ финны, никогда не имѣвшіе ни политической независимости, ни даже своей особенной культуры.

Какія-же существуютъ условія жизни, которыя, создавая особенные языки, тѣмъ самымъ полагаютъ начало отдѣльности народовъ? Что эти условія лежатъ не въ политическихъ формахъ и не въ культурныхъ особенностяхъ, доказательствомъ этому можетъ служить то, что группы людей слагаются въ отдѣльныя народности, начинаютъ говорить однимъ языкомъ, не смотря ни на политическую разединенность, ни на культурныя особенности. Не говоря уже о древнихъ грекахъ, мы видимъ, что и всѣ современныя намъ народности Европы начали свое отдѣльное существованіе тогда, когда объ ихъ объединеніи никто и не думалъ. Какія-же это такія особенныя условія?

Историческимъ путемъ вопросъ этотъ рѣшить нѣтъ пока еще никакой возможности. Въ предѣлахъ исторіи намъ представляются уже готовыми нѣсколько системъ языковъ, при чемъ каждая система раздѣляется на группы: греческую, латинскую, кельтскую, германскую. Условія-же образованія этихъ группъ теряются въ доисторической древности. Но за невозможностью рѣшить вопросъ историческимъ путемъ, можно принять другой методъ для его рѣшенія: можно взять нѣсколько современныхъ намъ европейскихъ народовъ и рассмотреть тѣ условія, которыя способствуютъ къ наибольшему развѣтвленію того или другаго языка на мѣстныя нарѣчія и говоры; очевидно, что это будутъ тѣ-же самыя условія, которыя и первоначально вліяли на образованіе первобытныхъ системъ и группъ языковъ.

Здѣсь насъ на первый-же взглядъ поражаетъ слѣдующій поразительный фактъ: народъ, говорящій, по видимому, однимъ языкомъ, перестаетъ понимать другъ друга, если отдѣльныя части его живутъ слишкомъ изолированной жизнью и очень мало имѣютъ между собою общенія; поэтому въ странахъ горныхъ и лѣсныхъ встрѣчается наибольшее количество мѣстныхъ говоровъ, доходящихъ до того, что сосѣднія одноплеменные селенія съ трудомъ понимаютъ другъ друга.

Если одинъ языкъ раздѣляется на мѣстные говоры, доходящіе до полнаго отсутствія взаимнаго пониманія при условіи полной изолированности, за то наоборотъ мы видимъ, что при условіи частаго общенія сли-



ваются языки не только различных группъ, но и системъ. И это очень естественно: если въ одной мѣстности поселяется нѣсколько племенъ, и между ними устанавливаются различныя сношенія въ видѣ союзовъ, войнъ, торговли и пр., то необходимость заставляетъ ихъ понимать другъ друга, и вотъ мало-по-малу между ними дѣйствительно устанавливается одинъ языкъ, составляющій первое и необходимое условіе человѣческихъ сношеній. Установленіе языка происходитъ двумя путями: или языкъ одного племени, наиболѣе сильнаго, цивилизованнаго, вытѣсняетъ всѣ другіе и дѣлается всеобщимъ языкомъ цѣлой группы племенъ, или-же происходитъ амальгама нѣсколькихъ племенныхъ и мѣстныхъ. Какъ на примѣръ перваго явленія мы можемъ указать на Россію, въ которой масса финскихъ и татарскихъ племенъ совершенно слились съ русскимъ племенемъ, воспринявши ихъ языкъ; что касается до втораго явленія, то я не знаю, нужно-ли и приводить примѣры его, такъ они многочисленны и общеизвѣстны: передъ нами цѣлый рядъ западно-европейскихъ языковъ, изъ которыхъ большая часть суть амальгамированные—таковы англійскій, французскій, итальянскій, испанскій, венгерскій и проч.

Рядомъ съ образованіемъ одного общаго языка усиленіе сношеній между людьми данной мѣстности производитъ и другія явленія: такъ съ одной стороны усиливается брачное скрещиванье между племенами, сливающее ихъ фізіологическія особенности, а затѣмъ съ болѣе развитіемъ цивилизаціи является и новый факторъ—подражательность. Отдѣльныя племена перенимаютъ другъ у друга религіозныя вѣрованія, обычаи, пѣсни, костюмы и пр.

Что касается до этого послѣдняго фактора, то мы считаемъ не лишнимъ остановиться на немъ подольше, такъ какъ онъ представляется особеннымъ пугаломъ, какъ для чистыхъ славянофиловъ стараго пошиба, такъ и для новѣйшихъ націоналистовъ. Въ сущности, онъ принадлежитъ къ числу всемірно-историческихъ, неизбѣжныхъ факторовъ жизни человѣческой; можно положительно сказать, что безъ прямого или косвеннаго вліянія его не обходится ни одинъ шагъ въ жизни какъ отдѣльнаго лица, такъ и всего человѣчества. И это очень понятно: факторъ этотъ составляетъ одно изъ существенныхъ свойствъ человѣческой природы: существо, съ такими воспримчивыми нервами, какъ человѣкъ, не можетъ не быть подражательнымъ. Подражательность есть актъ вполне непроизвольно-естественный, зависящій отъ нервныхъ рефлексовъ, и ратовать противъ него, въ сущности, такъ-же нелѣпо, какъ ратовать противъ смѣха, плача и прочихъ фізіологическихъ нервныхъ отправленій. Но этого мало, что воздержаніе отъ подражательности, какъ и отъ всѣхъ прочихъ непроизвольно-естественныхъ отправленій человѣческой природы, есть насиліе, искаженіе естественнаго хода процессовъ этой природы,—кромя того великій вредъ подобнаго воздержанія заключается въ томъ, что въ лицѣ подражательности мы имѣемъ такой факторъ, на которомъ зиждется вся преемственность прогресса. Въ самомъ дѣлѣ, возможно-ли было-бы воспитаніе дѣтей, развитіе каждаго отдѣльнаго человѣка, если-бы мы

лишены были дара подражательности? Самый гениальный человѣкъ, прежде чѣмъ начнетъ творить свои великія и вполне оригинальныя творенія, ничѣмъ инымъ не руководится въ своемъ первоначальномъ развитіи, какъ только стремленіемъ *походить* на лучшихъ людей, образцы которыхъ онъ видитъ передъ собою въ жизни или въ исторіи, и если онъ начинаетъ подобное подражаніе съ одной внѣшности, съ подражанія манерамъ, походкѣ или слогу человѣка, подъ вліяніемъ котораго находится, то неужели онъ этимъ такъ сейчасъ-же ужъ и рискуетъ потерять свою личность и дальше одной внѣшности не пойдетъ? Можно судить о ребячествѣ подобнаго подражателя, о низкой степени его развитія, но бить по этому поводу тревогу, и предрекать гибель ребенку, видя, какъ онъ копируетъ взрослого,—это въ свою очередь смѣшное и жалкое ребячество. Поэтому намъ всегда казалось, что люди, приходящіе въ ужасъ при видѣ галломановъ и англomanовъ въ нашемъ обществѣ, суть такіе-же дикари, какъ и всѣ эти маны; разница между первыми и послѣдними только та, что послѣдніе по своему развитію стоятъ на такой еще низкой степени, что ихъ увлекаетъ къ подражательности, какъ дѣтей, одна внѣшность, первые-же воображаютъ, что стоитъ только воздержаться отъ такой подражательности, чтобы сейчасъ-же получить способность творить нѣчто свое, оригинальное... У дѣтей, только что начинающихъ развиваться, тоже въ свою очередь находятъ подобныя минуты оригинальничанья: дай, начну дѣлать все не такъ, какъ другіе, а какъ нибудь совершенно иначе, и ребенокъ вообразитъ при этомъ, что одно подобное оригинальничанье дѣлаетъ его взрослымъ.

Возставая противъ подражательности, націоналисты не соображаютъ, что безъ нея не могло-бы образоваться ни одного народа, и слѣдовательно, не было-бы и ихъ, націоналистовъ, а существовали-бы отъ отдѣльныхъ мелкихъ племенъ, съ такою невообразимой пестротой нравовъ, обычаевъ, вѣрованій, костюмовъ, что самъ кварталный никогда-бы ничего тутъ не разобралъ. Но въ томъ-то и дѣло, что рядомъ съ образованіемъ одного общаго языка и фізіологическимъ скрещиваніемъ начинается безконечный процессъ подражательности, сначала чисто внѣшней, иногда и самой нелѣпой по своему ребячеству. Малѣйшее улучшение въ бытѣ одной хижинны воспринимается другой, третьей,—цѣлымъ племенемъ, нѣсколькими сосѣдними племенами. Такимъ путемъ масса мѣстныхъ мнeовъ и суевѣрій слагается въ общенародный культъ; ремесло одного племени и даже можетъ одного рода дѣлается ремесломъ всего народа; наконецъ какъ-же иначе, какъ не путемъ взаимной подражательности вырабатываются тѣ красивые національные костюмы, за которые такъ ратовали славянофилы? Конечно такая подражательность имѣетъ свои границы: не все можетъ быть усвоено населеніемъ всей данной мѣстности. Можетъ случиться, что мѣстность эта, съ одной стороны прилегая къ морю, съ другой уходитъ далеко въглубь материка, гдѣ она имѣетъ видъ гористой, лѣсной или луговой страны. Конечно лѣсные жители не въ состояніи подражать во всемъ береговымъ и наоборотъ; кое-что они усвоятъ другъ у друга,

но кое-что создадут свое, сообразно различнымъ условіямъ своей жизни, и вотъ въ средѣ одного народа начнутъ образовываться культурныя разновидности.

Всѣ три вышеозначенные факторы — образованіе общаго языка, фізіологическія скрещиванія и подражательность — соединяются въ одномъ общемъ понятіи ассимиляціи племенъ. — Основная-же причина такой ассимиляціи является въ усиленіи общенія между отдѣльными племенами.

Градовскому извѣстенъ хорошо законъ ассимиляціи и онъ его не отвергаетъ:

«Ассимиляція племенъ, говоритъ онъ на 22 стр., совершается на каждомъ шагѣ. Племя сильное и количественно, и нравственно вбираетъ въ себя всѣ менѣе сильныя народы, живущіе на одной съ нимъ территоріи. Ихъ особенности, наиболѣе крѣпкія, переходятъ, съ своей стороны, въ типъ господствующаго племени, сообщая ему больше разнообразія и оригинальности. Вотъ почему и народность, образовавшаяся такимъ путемъ, отличается необыкновенною энергіей и крѣпостью. Принципъ національности нисколько не противорѣчитъ ассимиляціи племенъ, если изъ нихъ въ послѣдствіи образуется одна народность, съ общимъ языкомъ, единствомъ нравовъ и другихъ культурныхъ признаковъ.»

Прекрасно; но только почему-же Градовскій, допуская ассимиляцію племенъ, ограничиваетъ ее одними племенами и предполагаетъ, что разъ племена сложились въ народы и — стопъ, машина! далѣе ассимиляція уже невозможна и что если племена способны соединяться въ народы, то народы уже неспособны ассимилироваться между собою? — Мнѣ кажется, что разъ существуетъ въ природѣ извѣстный законъ, онъ всегда долженъ дѣйствовать, какъ только онъ вызывается своею причиною, и исключенія здѣсь немыслимы, признаніе ихъ есть отрицаніе самого закона.

Но въ томъ то и дѣло, что Градовскій силится поставить націонализмъ не на его настоящую почву, оттого и путается на каждомъ шагѣ. Какъ ученіе по самому существу своему метафизическое, основанное на чисто абстрактныхъ началахъ, оно не имѣетъ ничего общаго съ реальными законами природы и потому подтверждать его ими трудъ совершенно напрасный. Другое дѣло, еслибы Градовскій послѣдовалъ примѣру противниковъ Дарвина, утверждающихъ, что виды животныхъ суть неизмѣнныя субстанціи и существовали всегда, и сталъ-бы, въ свою очередь, утверждать, что и народы суть такіа-же неизмѣнныя субстанціи, что образовались они каждый изъ отдѣльнаго семейства и, разъ образовавшись, никакимъ измѣненіямъ и смѣшиваніямъ подвергаться уже болѣе не могутъ. Правда, утверждая подобную нелѣпость, Градовскій противорѣчилъ-бы всѣмъ фактамъ исторіи, но за то былъ-бы вполне на своей почвѣ: народы его фантазіи были-бы дѣйствительно неизмѣнными субстанціями, выражающими различныя стороны челоувѣческаго духа... Но разъ онъ допускаетъ образованіе народовъ изъ племенъ путемъ ассимиляціи, разъ онъ вводитъ реальный законъ природы въ свои фантастическія умозрѣнія и всѣ эти умозрѣнія должны разсыпаться въ прахъ, какъ сонныя грезы передъ дѣйствительностью. Законъ ассимиляціи тотчасъ-же наводитъ васъ на слѣдующіе выводы: отдѣльныя

племена ассимилируются въ народы, когда приходятъ въ очень близкое и постоянное сношеніе между собою, если-же между ними нѣтъ такихъ сношеній, то остаются разрозненными. Ну, а что сдѣлалось-бы съ народами, если-бы и они въ свою очередь стали приходить все въ болѣе частое и тѣсное сближеніе, не должны-ли были-бы и они подвергнуться закону ассимиляціи? Почему-же законъ этотъ долженъ былъ-бы остановиться здѣсь свое дѣйствіе, не смотря даже на то, что существовали-бы всѣ условія, необходимыя къ его дѣйствію? Если-же законъ не дѣйствуетъ въ настоящее время или дѣйствуетъ слабо, то можетъ быть потому, что недостаточно еще сильны условія его, т. е. сношенія между народами не достигли еще до такой степени, чтобы они могли подвергнуться быстрой ассимиляціи? Такимъ образомъ весь вопросъ сразу сводится съ того, субстанціальны народы или нѣтъ, лежитъ-ли различіе между ними въ ихъ природѣ или не лежитъ, просто на то, можно-ли допустить такое увеличеніе сношеній между народами, при которыхъ они должны слиться между собою?

И если мы обратимся съ этимъ вопросомъ къ исторіи, то она не замедлитъ отвѣтить на этотъ вопросъ положительно, потому что вся она основана ни на чемъ иномъ, какъ на все болѣе и болѣе развивающемся общеніи между отдѣльными народами. Въ самомъ дѣлѣ, что мы видимъ въ исторіи? Сначала отдѣльные народы развиваются каждый самъ по себѣ, чуждаются другъ друга, и жьютъ другъ о другѣ весьма мало свѣдѣній и нѣкоторые доводятъ эту изолированность до такой степени, что готовы предать смерти дерзкаго чужеземца, рѣшившагося вступить на ихъ почву. Такъ развиваются Римъ, Греція, Египетъ, восточныя царства, — отдѣльно другъ отъ друга, какъ будто ихъ раздѣляютъ цѣлыя океаны. Но вотъ они начинаютъ приходить въ сношенія другъ съ другомъ. — Сношенія эти имѣютъ первоначально характеръ весьма односторонній: ограничиваются торговлею и завоеваніями. Но и подобнаго рода элементарныя сношенія не замедлили произвести первые задатки ассимиляціи. Такъ является потребность понимать другъ друга, и поверхъ различныхъ языковъ возвышаются сначала греческій, потомъ латинскій языки, которые дѣлаются языками образованныхъ слоевъ и международныхъ сношеній. Развивается взаимная подражательность въ нравахъ, обычаяхъ, костюмахъ, причемъ, конечно, греки, какъ народъ, занимавшій первую степень въ древней цивилизаціи, становятся наиболѣе предметомъ подражанія. Ихъ философскія идеи, успѣхи въ искусствахъ, утонченныя, изящныя манеры, костюмы дѣлаются общимъ достояніемъ. Наконецъ начинаютъ смѣшиваться народныя культы и потомъ смѣняются одною общою религіею — христіанскою, объявившею, что для нея нѣтъ различія между народами, что для всѣхъ племенъ земнаго шара она равно обязательна.

Въ средніе вѣка, повидимому, вся эта работа ассимиляціи разрушается: опять на сцену являются мелкія племена, не сложившіяся даже въ народныя группы, и вносятъ съ собою пестрое однообразіе мѣстныхъ культуръ. Но на самомъ дѣлѣ начала ассимиляціи, положенной древнимъ міромъ, не погибли: начать съ

того, что вошедшіе въ историческое русло свѣжіе народы не успѣли развить своихъ отдѣльныхъ народныхъ культѣвъ, всѣ они приняли христіанскую религію, сдѣлавшуюся общою для всей Европы, и хотя она раздѣлилась на двѣ церкви, хотя это раздѣленіе составляетъ конекъ, затѣванный націоналистами, но все таки тотъ фактъ, что вмѣсто дюжины дюжинъ мѣстныхъ языческихъ культѣвъ, образовалось всего два вида одной общей религіи, говоритъ несомнѣнно въ пользу ассимиляціи. Особенно богатыхъ успѣховъ ассимиляція народовъ не могла конечно достигнуть въ средніе вѣка, когда не существовало еще и самихъ народовъ, и ассимиляція должна была работать надъ соединеніемъ племенъ въ народы; но и въ средніе вѣка сношенія между массаи европейскаго населенія были на столько сильны, что была потребность для образованныхъ классовъ въ общемъ языкѣ, какимъ продолжалъ пребывать латинскій языкъ. Даже и подражательность не ограничивалась слитіемъ племенъ въ народныя группы; такъ мы видимъ возвышается провансальная культура, простирающаяся районъ своего вліянія далеко за предѣлы Франціи: увлеченіе формами этой культуры одно время было почти общеевропейскимъ. За Провансомъ выдвигается впередъ Италія въ эпоху *renaissance*, — за нею въ XVIII вѣкѣ французская культура дѣлается предметомъ всеобщихъ подражаній.

Но какъ ни увеличивались въ продолженіи всей исторіи сношенія между народами, никогда еще они не доходили до такой степени, какой начинаютъ достигать въ нынѣшнемъ столѣтіи. Одни такія изобрѣтенія, какъ желѣзныя дороги, пароходы и телеграфы, разомъ на цѣлыя сотни и тысячи миль сблизили между собою человѣчество. Судить о вліяніи подобныхъ изобрѣтеній на такой вѣковой процессъ, какъ ассимиляція конечно теперь еще трудно, такъ какъ они существуютъ безъ году недѣлю, но несомнѣнно, что съ ихъ введенія началась такая циркуляція людей по всему европейскому матеріку, какой еще не было ни въ древніе, ни въ средніе вѣка даже между населеніемъ одной мѣстности. Подобная циркуляція не можетъ не отразиться со временемъ на процессѣ ассимиляціи.

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ помѣшать ассимиляціи народовъ при все болѣе и болѣе возрастающей циркуляціи народонаселеній? Другое дѣло, еслибы народы представляли до такой степени различныя виды животнаго царства, что между ними невозможно было брачное смѣшеніе, но этого мы не видимъ: напротивъ того, при всемъ своемъ распадѣніи на отдѣльныя народности, родъ человѣческій все таки настолько однороденъ, что скрещиванье возможно даже между такими его разновидностями, какъ бѣлая и черная расы. Другое было бы опять дѣло, еслибы каждый человѣкъ былъ обреченъ говорить только на одномъ своемъ языкѣ, но и этого нѣтъ: люди способны говорить разомъ на нѣсколькихъ языкахъ и уже въ настоящее время есть такой языкъ, зная который можно объѣхать свѣтъ и вездѣ находить людей, говорящихъ на этомъ языкѣ; нужно ли объяснять какой это языкъ?

Что же касается смѣшиванья культуръ, то здѣсь мы встрѣчаемся разомъ съ двумя факторами ассимиляціи. Съ одной стороны передъ нами является пер-

вобытнй факторъ, въ видѣ подражательности. И хотя націоналисты на стѣну лѣзутъ при одномъ упоминаніи объ этомъ ненавистномъ имъ факторѣ, но и они не въ силахъ являются отвергнуть его безусловно и дѣлаютъ уступку, допуская подражательность, но только разумную, вооруженную критикою. Прекрасно, мы и сами не особенно высоко цѣнимъ непроизвольно-рефлективную, слѣпую подражательность, считая ее признакомъ крайне низкой степени образованности, хотя въ то же время и не видимъ въ ней такой бѣды, какую представляютъ себѣ націоналисты; мы сами выше всего цѣнимъ подражательность разумно-критическую, осмысленную. Но только намъ кажется, что подобнаго рода подражательность скорѣе всего должна повести къ ассимиляціи народовъ. Въ самомъ дѣлѣ: чѣмъ же инымъ можетъ явиться взаимная разумная подражательность народовъ, какъ не подборомъ культурныхъ формъ? Россія, напримеръ, видитъ въ Англіи судъ присяжныхъ, и, критически взвѣсивши это учрежденіе, находитъ, что по всемъ разумнымъ соображеніямъ слѣдуетъ и у насъ ввести подобную форму суда. Вводятъ. Вотъ уже однимъ учрежденіемъ англійская культура сдѣлалась болѣе сходною съ русскою. Далѣе затѣмъ англичане могутъ завтра же додуматься, что положеніе русскихъ крестьянъ, надѣленныхъ землею и живущихъ общинами, гораздо лучше положенія англійскихъ фермеровъ, и, критически взвѣсивши, найдутъ, что вопросъ первой необходимости дать фермерамъ землю и ввести общину. Дѣло, конечно, не легкое, стоящее тяжелыхъ усилій, борьбы, можетъ быть, и серьезныхъ государственныхъ потрясеній, но партія реформы преодолеваетъ всѣ препятствія, — и вотъ англійская культура дѣлается еще болѣе похожею на русскую. Въ настоящее время наиболѣе разумною формою суда является судъ присяжныхъ; но въ сущности этотъ судъ является далеко не безусловнымъ совершенствомъ, такъ какъ большую роль играетъ въ немъ слѣпой случай, участь подсудимаго зависитъ часто отъ того или другаго подбора присяжныхъ, не говоря уже о возможности подкуповъ и другихъ злоупотребленій. Ну, а если въ какомъ нибудь государствѣ выработается болѣе разумная и совершенная форма суда, неужели же она не обязательна будетъ и для cadaго народа, желающаго жить разумною жизнью и неужели тотъ или другой народъ должны отвергнуть эту лучшую форму изъ одного нелѣпаго оригинальничанья, изъ желанія имѣть хоть и худое, да свое?

Националисты, отвергая возможность общечеловѣческой цивилизаціи и толкуя объ общечеловѣческомъ въ цивилизаціяхъ отдѣльныхъ народностей, твердятъ постоянно, что подражательность должна ограничиваться только такими предметами, какъ научныя открытія, техническія изобрѣтенія и гуманныя идеи, равно обязательныя для всего человѣчества, а затѣмъ основныя формы народной культуры должны оставаться ненарушимыми. Но гдѣ же граница между дозволеннымъ и недозволеннымъ къ воспріятію, между тѣмъ, что составляетъ общечеловѣческое въ культурѣ народа, у котораго мы перенимаемъ что либо, и тѣмъ, что только и можетъ принадлежать этому народу и

къ воспріятію негодно? И сказать по правдѣ, не только націоналисты не уяснили это намъ, врядъ ли они и сами-то себѣ достаточно уяснили это. Въ этомъ отношеніи они судятъ такъ, какъ имъ Богъ на душу положить, руководствуясь въ своихъ сужденіяхъ чисто личными вкусами: что имъ лично по душѣ въ западной жизни, то они считаютъ общечеловѣческимъ и годнымъ для воспріятія, что не нравится, то они считаютъ народно-культурнымъ, возможнымъ только въ средѣ того народа, гдѣ это выработалось и негоднымъ для воспріятія. Но и этого мало: не составивши себѣ яснаго критерія относительно того, что слѣдуетъ считать общечеловѣческимъ и что народно-культурнымъ, націоналисты, если придется къ слову, то готовы отвергнуть и такія вещи, которыя, казалось бы, должны и по ихъ теоріи быть общечеловѣческими, потому что составляютъ неотъемлемое качество чело-вѣческой природы. Такъ напримѣръ, знате ли, что, между прочимъ, отрицаетъ Градовскій? Общечеловѣчность такихъ необходимыхъ степеней умственного развитія, какъ мистицизмъ, метафизика и реализмъ. Какъ же такъ отвергаетъ, спросите вы меня; во имя чего-же ратуетъ онъ противъ метафизическихъ космополитовъ, какъ не во имя реализма, доказывая, что всѣ естественно-научныя, географическія и геологическія данныя подтверждаютъ его ученіе? А тотъ эпиграфъ, который взятъ изъ книги Градовскаго и поставленъ во главѣ настоящей статьи, что же онъ выражаетъ иное, какъ не отрицаніе метафизическаго метода въ политическихъ наукахъ во имя положительнаго? Я могу подтвердить возраженіе читателя еще болѣе яснымъ фактомъ, что Градовскій большой другъ и пріятель реализма. Такъ ниже, подъ тѣми словами его, которыя взяты мною въ эпиграфъ, онъ прямо говоритъ, что вопросъ объ уничтоженіи государствъ не могъ бы явиться, *если-бы политическая наука искала не принциповъ, а законовъ общественнаго развитія, если-бы она шла путемъ положительнымъ, а не метафизическимъ*. И при всемъ томъ, этотъ-же самый господинъ, который толкуетъ о преимуществѣ положительнаго метода передъ метафизическимъ, въ другомъ мѣстѣ книги смотритъ и на метафизику, и на реализмъ, какъ на такія вещи, которыя мы восприняли съ Запада вмѣстѣ со всѣми другими ученіями въ подражательной слѣпотѣ и безъ всякой нужды. „На насъ налетали, говоритъ онъ на 302 стр., разныя направленія европейской мысли, временно поработали насъ, но также быстро улетали, уступая мѣсто другимъ. Налетѣло на насъ вольтеріанство и улетѣло, уступивъ мѣсто масонству и мистицизму; налетѣлъ псевдоклассицизмъ, потомъ романтизмъ, байронизмъ; подчинялись мы экономизму, парламентаризму, социализму, радикализму и милитаризму; переживали догматическій рационализмъ, идеализмъ, реализмъ, матеріализмъ. Что переживемъ мы еще, извѣстно единому Богу“... Вотъ и послушайте послѣ того Градовскаго. Въ одномъ мѣстѣ онъ вопиетъ на васъ, что вы метафизикъ, что не отдаете преимущества положительному методу, а попробуйте-ка отдать преимущество, то и увидите, что скажетъ вамъ Градовскій; и окажется, что вашъ идеализмъ и реализмъ, вмѣстѣ со всѣми прочими измами, перешедшими въ

намъ съ Запада, показываютъ, что вы неосмысленный, слѣпой подражатель и плохой патріотъ. Но какъ-же мнѣ мыслить, воскликнете въ сердечномъ сокрушеніи? Вѣдь остается вывернуться изъ своей кожи, чтобы мыслить, не будучи, въ тоже время ни мистикомъ, ни метафизикомъ, ни реалистомъ? На это я могу посовѣтовать вамъ одно—перестать совсѣмъ мыслить, тогда дѣйствительно вы не будете ни мистикомъ, ни реалистомъ, ни метафизикомъ, и уже совсѣмъ перестанете походить на западнаго европейца, да не мѣшаетъ къ тому же вамъ начать ходить на четверенькахъ, такъ какъ на Западѣ имѣютъ обыкновеніе ходить на двухъ ногахъ; можетъ быть вы и угодите тогда Градовскому.

И не забавно-ли, что Градовскій, огуломъ отрицающій и мистицизмъ, и метафизику, и реализмъ, т.-е. значить всякую мысль, является въ тоже время такимъ либераломъ, что признаетъ общечеловѣческими и обязательными каждой народности подобныя вещи, какъ личная безопасность, свобода совѣсти, свобода мысли и слова, правосудіе, обезпеченіе условій народнаго здравія, народнаго продовольствія, образованія и т. д.? Но или Градовскій признаетъ все это на однихъ словахъ и играетъ ими ради только успокоенія простодушныхъ читателей его книги въ томъ, что націонализмъ вовсе не такое ужъ обскурантное ученіе, чтобы отрицать, ради соблюденія народной культуры, излюбленные всѣми русскими либералами прогрессивныя стремленія; а если-же онъ серьезно считаетъ всѣ эти вещи общечеловѣческими, то значить онъ нисколько не вдумываясь въ смыслъ ихъ и онъ остаются въ его фантазіи воздушными замками: иначе онъ понималъ-бы, что осуществленіе этихъ замковъ невозможно безъ существенныхъ измѣненій народныхъ культуръ. Въ самомъ дѣлѣ: попробуйте-ка ввести свободу слова въ государствѣ съ централизованною властью, опирающеюся на постоянное войско, въ родѣ, напримѣръ, Франціи, или свободу совѣсти въ теократическомъ государствѣ. Вѣдь и такая реформа, какъ освобожденіе крестьянъ, есть реформа, измѣняющая всѣ отношенія общества и ставящая народную культуру на совершенно иномъ основаніи. А система народнаго образованія, обезпеченіе условій народнаго здравія и продовольствія? Конечно, для людей, взирающихъ на вещи поверхностно, всѣ подобныя вещи осуществить также легко, какъ выпить стаканъ воды: стоятъ послать въ провинцію нѣсколько полуграмотныхъ учителей, да нѣсколько врачей, менѣе свѣдущихъ, чѣмъ иной фельдшеръ, да устроить балъ въ случаѣ голода—и дѣло въ шляпѣ. Но человѣкъ, мало-мальски серьезно вдумывавшійся въ это дѣло, пойметъ, что выполненіе всѣхъ этихъ общественныхъ отношеній невозможно безъ такихъ реформъ въ этихъ отношеніяхъ, которыя въ результатъ должны совершенно измѣнить фیزیономію народной культуры. Теперь мы спрашиваемъ, какимъ путемъ и правильнѣе, и совершеннѣе, и скорѣе могутъ быть совершены эти реформы, путемъ ли выработки всѣми народами сообща формъ общенія, пригодныхъ для осуществленія ихъ, и затѣмъ заимствованія другъ у друга наиболѣе совершенныхъ формъ, или каждый народъ долженъ зажать уши и глаза на то, что дѣлается по этимъ вопросамъ у дру-

гихъ народовъ и занятія ими самостоятельно? Очевидно, что если Градовскій для рѣшенія вопроса о правосудіи допускаетъ заимствование формъ западныхъ судовъ и не требуетъ, чтобы мы, въ ожиданіи самостоятельной выработки лучшихъ, сидѣли на старой системѣ судопроизводства, то подобныя-же уступки онъ долженъ сдѣлать и для всѣхъ прочихъ вопросовъ — и сводится все это на ту-же выработку общевропейской цивилизаціи такихъ формъ жизни, при которыхъ только и возможно осуществленіе вышепоставленныхъ вопросовъ и которыя по этому самому должны быть столь-же обязательны для каждаго народа, какъ и самые вопросы. Но къ чему-же можетъ привести эта выработка наилучшихъ формъ общежитія, какъ не къ той-же ассимиляціи европейскихъ народовъ въ культурномъ отношеніи?

Но кромѣ подражательности существуетъ и другой факторъ, значительно влияющій на сглаженіе мѣстныхъ культуръ, являющійся въ видѣ той массы открытій и изобрѣтеній, которыя, освобождая человѣка отъ вліянія природы, наоборотъ покоряють ему ее. Въ самомъ дѣлѣ, не самъ-ли Градовскій увѣряетъ насъ, что различіе культуръ зависитъ отъ географическихъ, климатическихъ и прочихъ естественно-историческихъ условій? Но силась поставить такимъ образомъ свое ученіе на реальную почву, онъ и не замѣчаетъ, какъ этимъ самымъ онъ и уничтожаетъ его. То-ли дѣло, Градовскій, метафизическая почва: вставши на нее, вы-бы сказали намъ, что культуры различны потому, что въ нихъ выражается развитіе самоопредѣляющагося духа, разлагающаго свое внутреннее единство въ ви́шнемъ разнообразіи — и ужь тутъ никакія возраженія были-бы невозможны и разнообразіе культуръ было-бы утверждено на вѣки на неизмѣнныхъ столбахъ діалектики; а то вздумали вы полагать непреложность разнообразія культуръ на началахъ реализма, который только и допускаетъ, что одни переходящія, относительныя явленія! Что-же мудренаго, если и ваше разнообразіе оказывается переходящимъ и относительнымъ съ реальной точки зрѣнія, и тѣже самыя географическія, климатическія условія, которыми вы старались подтвердить ваше ученіе, они то и рушатъ его. Не говоря о томъ, что сами по себѣ условія эти измѣнчивы, кромѣ того человѣкъ оказывается способнымъ измѣнять ихъ силою знанія и воли и освобождаться отъ ихъ вліянія. Горы перерѣзываются тоннелями, рѣки мостами, русла ихъ произвольно измѣняются, поля искусственно орошаются влагою, степи покрываются лѣсами, и лѣсныя страны обращаются въ степи, люди говорятъ другъ съ другомъ черезъ океаны, привозятъ массы льду въ тропическія страны и ѣдятъ бананы подъ 70° сѣверной широты — а Градовскій увѣряетъ насъ, что естественныя условія составляютъ нѣчто роковое, непреодолимо дѣйствующее на разнообразіе культуръ. Можно подумать, что цивилизованные европейцы, поселившіеся въ Индіи, должны, подъ обаяніемъ индійской природы, обратиться въ индусовъ, вѣрить въ сторукихъ и стоногихъ боговъ и выставлятъ по цѣлымъ годамъ на одной ножкѣ въ созерданіи Брами, что землетрясенія, усиливающія суевѣрія въ народахъ, населяющихъ вулканическія страны, должны также дѣйствовать и на людей

образованныхъ, имѣющихъ свѣдѣнія о естественныхъ причинахъ этихъ явленій...

Но можетъ быть читатель, возразить мнѣ, что, конечно, природа не можетъ жить на человѣка образованнаго, являющагося на лоно ея окруженнымъ утонченнымъ комфортомъ, со всѣми возможными орудіями для борьбы съ нею, такого вліянія, какое она производитъ на беззащитнаго дикаря; но тѣмъ не менѣе на массу людей, живущихъ подъ различными широтами, болѣе или менѣе жгучіе лучи солнца, болѣе или менѣе роскошная природа должны оказывать свое вліяніе и полагать различія культурныхъ типовъ. Видъ уже сумрачному небу сѣвера не создать итальянца, а подъ лучами неаполитанскаго солнца не развиться суровой энергіи сѣвернаго человѣка. Да, для настоящаго времени, когда массы необразованнаго народа живутъ цѣлыми поколѣніями въ одной мѣстности, конечно это такъ. Но мы не знаемъ, что будетъ тогда, когда циркуляція европейскаго населенія увеличится до такой степени, что оно будетъ вращаться по Европѣ, а, придетъ время, и по всему земному шару, какъ вращается по городу населеніе столицы, когда даже человѣкъ, прожившій всю жизнь въ одной мѣстности, не будетъ обезпеченъ отъ того, что не женится на женщинѣ, пріѣхавшей изъ Австраліи, что дѣти и внуки его не очутятся въ разныхъ концахъ свѣта. Что подобная циркуляція не лежитъ внѣ возможности и человѣчество стремится къ ней, это видно изъ того, что образованные и обезпеченные классы Европы и Америки и теперь уже близки къ ней; никто изъ читающихъ эти строки не можетъ поручиться за себя, что онъ не кончитъ жизни гдѣ-нибудь въ Ниццѣ, Каирѣ, Туркестанѣ или Нерчинскѣ, что не женится на итальянкѣ, что дѣти и внуки его не очутятся на берегахъ Миссиссипи и пр. Не забудьте при этомъ, что когда циркуляція народовъ дойдетъ до такой степени, тогда только собственно и можетъ начаться истинная ассимиляція ихъ. Но, очевидно, что тогда не будетъ ни итальянца, ни англичанина, именно, потому, что ни въ Италіи, ни въ Англіи не будетъ такого продолжительнаго устоя населенія, чтобы солнце, климатъ и природа могли повліять на созданіе особеннаго культурнаго типа.

Мнѣ могутъ сказать, что я занесся въ міръ утопій, что если возможно допустить осуществленіе подобныхъ фантазій, то въ слишкомъ отдаленное время, черезъ цѣлыя десятки и сотни тысячъ лѣтъ. Ну чтожь, можете ставить и цѣлыя милліоны, но при этомъ подумайте также и о томъ, что вы не смущаетесь, когда астрономъ вычислитъ вамъ, что черезъ столько-то тысячъ лѣтъ, такого-то года, мѣсяца и числа будетъ солнечное затмѣніе, что черезъ нѣсколько милліоновъ лѣтъ земля должна перестать вращаться вокругъ своей оси и быть постоянно обращенною къ солнцу одною стороною. Вы вѣрите этимъ предсказаніямъ, потому что они основаны на законахъ природы. Но почему-же вы не допускаете подобныхъ-же предсказаній и въ жизни человѣческой, если они въ свою очередь основаны на законахъ природы? А въ данномъ случаѣ, законъ ясенъ, очевиденъ, проходитъ черезъ всю исторію человѣчества и нынѣ во очю продолжаетъ дѣйствовать вокругъ васъ и дѣйствія его бро-

саются въ глаза своими результатами. Для доказательства возьмите хоть такой крупный фактъ, что и въ настоящее время, если гдѣ сохраняются еще особенно рѣзко и дагеротипно народно-культурные типы, то въ однихъ необразованныхъ классахъ европейскаго населенія, и тутъ культурное различіе доходитъ даже до мѣстно-племеннаго; житель какого-нибудь кантона, затеряннаго въ горахъ и, вообще, изолированнаго захолустья, не выглядитъ даже и нѣмцемъ или французомъ, а носитъ совершенно особенный типъ, только и принадлежащій данной мѣстности. За то чуть человѣкъ войдетъ въ струю цивилизаціи, да особенно если порыскаеть по Европѣ, и у него является уже особенный, общекультурный типъ, характеризующій не француза, англичанина, нѣмца, а вообще, цивилизованнаго человѣка. До какой степени образованные люди всѣхъ странъ имѣютъ въ культурномъ отношеніи гораздо болѣе общаго между собою, чѣмъ по отношенію къ своимъ необразованнымъ соотечественникамъ, это мы можемъ судить по одному весьма простому наблюденію, которое вѣроятно каждый испытать на себѣ. Вамъ, конечно, случалось читать иностранные романы, встрѣчать среди выставленныхъ героевъ людей вполне знакомыхъ вамъ, имѣющихъ много общихъ чертъ и съ вами, и съ окружающими васъ образованными людьми не только по убѣжденіямъ, но по чисто типическимъ чертамъ характера. Ну а начните-ка читать хотя-бы Рѣшетникова, много-ли общаго найдете вы между вашими знакомыми и его героями? И если въ настоящее время ассимиляція успѣла уже такъ много сдѣлать, то что-же помѣшаетъ ей въ будущемъ достигнуть еще большихъ успѣховъ? Или націоналисты останавливаютъ ея дѣйствія? Но всѣ ихъ старанія нисколько не дѣйствительно усилиемъ остановить ладонями теченіе широкой и быстрой рѣки. Они могли-бы быть страшны для дѣйствія

ассимиляціи, если-бы захотѣли быть послѣдовательнѣе, т.-е. если-бы поняли, что сохраненіе культурныхъ особенностей народа только и возможно, что при полной его изолированности, и если-бы сообразно этому убѣжденію имъ удалось-бы снова воздвигнуть китайскія стѣны между народами и установить по всѣмъ странамъ Европы запрещеніе иностранцу вступать на чужую землю, а туземцу дѣлать хоть одинъ шагъ за границу; тогда ассимиляція дѣйствительно прекратилась-бы. Но націоналисты въ тоже время и либералы; они стремятся согласить свою доктрину съ требованіями времени и допускаютъ поэтому и братскія сношенія между народами и даже разумное заимствованіе общечеловѣческаго въ цивилизаціи—несчастные, думаютъ-ли они, что этими допущеніями они прямо расчищаютъ дорогу къ ненавистному для нихъ слитію народностей?

Читатель спроситъ меня при этомъ: что же сдѣлается съ государствами, когда ассимилируются народы, сольются-ли и они тоже въ одно всемірное государство, или прекратятъ совсѣмъ свое существованіе? На этотъ вопросъ я отказываюсь отвѣчать и нахожу только, что это совершенно безразлично; мы видимъ, по крайней мѣрѣ, что грекамъ политическая разрозненность не мѣшала слиться въ одинъ народъ, между тѣмъ какъ преждевременное и насильственное сдѣленіе нѣсколькихъ народовъ въ одно государство, въ видѣ Австріи, неособенно способствуетъ къ слитію этихъ народовъ. Во всякомъ случаѣ, мнѣ кажется, что ассимиляція народовъ, зависящая отъ одного увеличенія свободной циркуляціи населеній, нисколько не мѣшаетъ существованію отдѣльныхъ политическихъ формъ, такъ что въ этомъ случаѣ Градовскій можетъ быть спокоенъ: я не собираюсь разрушать государства.



1874—1875.

## ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРОТИВОРѢЧІЯ.

«Пугачевцы», историческій романъ, сочиненіе Евг. Саліаса, въ 4 томахъ. Москва. 1874.—«Богатыри», романъ въ трехъ частяхъ изъ времени императора Павла. Н. Чаева. Москва. 1873.

### I.

Въ тоскливыя эпохи всеобщей апатіи, равнодушія, застоя, когда не видно вокругъ нигдѣ ни малѣйшаго просвѣта, когда ложь и зло представляются окончательно восторжествовавшими, безъ возврата утвердившимися повсюду и даже снискавшими довѣріе, почетъ и уваженіе въ глазахъ пошлой толпы—остается одно утѣшеніе: любоваться тѣми роковыми противорѣчіями, въ которыя становятся зло, неправда и всякое извращеніе человѣческой природы и мысли. Не думайте, чтобы я о подобномъ утѣшеніи говорилъ въ проницательномъ смыслѣ. Безъ шутокъ, развѣ не отраднѣе видѣть, что при полномъ отсутствіи съ вашей стороны возможности личной борьбы, за васъ борется природа, жизнь, назовите ее, какъ хотите, которая роковымъ путемъ ведетъ вашего врага къ той ямѣ, которую онъ вамъ копаешь... И эта яма не есть одна мечта, представляемая въ далекомъ будущемъ: вы видите, что врагъ ежедневно скользитъ по наклонной плоскости и въ тоже время, запутываясь въ тѣхъ тенетахъ, которыя плететъ про васъ, лишаетъ себя всякой возможности остановиться въ своемъ паденіи... Назовите меня человѣкомъ въ высшей степени негуманнымъ, лишеннымъ чувства христіанскаго всепрощенія, но я откровенно долженъ сознаться, что не въ силахъ бываю воздержаться отъ сладострастнаго упоенія, при видѣ, какъ бьющій кулакъ самъ разбивается о предметъ, который бьетъ. Если же вамъ и не часто могутъ представиться въ жизни усладительныя зрѣлища подобныхъ возмездій, за то ежедневно вы можете утѣшаться картинами тѣхъ противорѣчій, въ которыя ежеминутно становится кичливое зло. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не отраднѣе видѣть вдругъ, что господинъ, бросившій вамъ въ лицо обвиненіе въ неуваженіи къ собственности, оказывается промотавшимъ всѣ свои имѣнія, надѣлавшимъ долговъ безъ возможности ихъ выплатить и проиграв-

шимъ въ карты значительный кушъ изъ казеннаго сундука, или что другой господинъ, семейный и окруженный дѣтьми, вопиетъ о вредѣ отрицанія семейныхъ основъ—и тутъ же дѣлаетъ глазки супругѣ своего ближняго,—вѣдь это все по истинѣ праздники въ нашей тоскливой жизни... Вы, можетъ быть, скажете мнѣ, что вовсе тутъ ничего нѣтъ отраднаго; напротивъ того, подобныя зрѣлища должны увеличивать скорбь, еще болѣе подымать жолчь и доводить до крайняго отчаянія и ожесточенія, что если васъ могло бы что-либо утѣшить, то развѣ отсутствіе въ жизни воровъ, являющихся защитниками собственности, и развратныхъ селадоновъ, защищающихъ семейныя основы. Но вольно-жъ вамъ забираться въ отвлеченныя сферы и оттуда созерцать жизнь, требуя отъ нея такихъ праздниковъ, которыхъ, навѣрное можно сказать, въ ваше недолговременное существованіе вы отъ нея не дождетесь... Пользуйтесь лучше тѣмъ, что даетъ вамъ жизнь, отдаваясь всецѣло навѣваемымъ ею впечатлѣніямъ. Сдѣлайте простѣе сердцемъ и уподобитесь тѣмъ школярамъ, которые исполняются неописанною радостью и беззавѣтно хохочутъ при видѣ, какъ падаетъ злой учитель съ подпиленного стула, и, отдаваясь минутѣ восторга, не думаютъ, что злой учитель, поднявшись съ полу, не замедлитъ, конечно, задать имъ. Очень можетъ быть, что сдѣлавшись такими беззавѣтными школярами, вы почувствуете въ себѣ приливъ такихъ силъ на борьбу, какихъ вамъ никогда не собрать вашими превыспренними размышленіями и сердобольными сѣтованіями о суетахъ и сквернахъ сего міра.

Подобный приступъ я сдѣлалъ съ тою цѣлью, чтобы подготовить читателя къ праздничному созерцанію одного изъ вопіющихъ противорѣчій въ скромной сферѣ нашей литературы. Это одно изъ тѣхъ роковыхъ противорѣчій, которыя неминуемо возникаютъ на почвѣ всякаго извращенія мысли, всякаго отказа слѣдовать за свѣжею струею жизни. Надѣясь, что мои



читатели внемлют моему воззванію и въ сердечной простотѣ возликують вмѣстѣ со мною при зрѣлищѣ, что обскурантизмъ и изувѣрство не остаются безнаказанными даже и въ такой безобидно-скромной сферѣ, какъ наша литература, я приступаю къ созерцанію и ликованію.

Читателямъ моимъ хорошо, конечно, извѣстно о томъ вѣковомъ антагонизмѣ, который существуетъ между Москвою и Петербургомъ, извѣстно, безъ сомнѣнія, и о тѣхъ историческихъ обстоятельствахъ, изъ которыхъ этотъ антагонизмъ развился. Петербургъ самымъ своимъ возникновеніемъ обусловилъ его, потому что туда вслѣдъ за Петромъ бросилось все молодое, живое, жаждущее простора мысли и дѣятельности, свѣта и обновленія, все, отрицавшее допетровскую Русь съ ея узкою умственнымъ кругозоромъ и мертвою обрядностью, — а сзади въ Москвѣ остался мракъ невѣжества и изувѣрства, толпы старовѣровъ святошъ, полагавшихъ все спасеніе въ брадахъ и кафтанахъ, да горсть бояръ, исполненныхъ традицій мѣстничества и самоуправства, затворившихся въ своихъ дѣдовскихъ теремахъ и въ безсильной злобѣ ворчавшихъ на новые порядки, при которыхъ обходя ихъ, древнихъ и высокочиненныхъ бояръ, возвышались на высшія государственныя должности людей новыхъ, иногда изъ самыхъ низшихъ, подлыхъ сословій.

Прошло безъ малаго 200 лѣтъ съ возникновенія Петербурга, и какъ мало измѣнился этотъ порядокъ вещей. И теперь еще каждый молодой и свѣжій побѣтъ мысли, развивающійся подъ вліяніемъ западно-европейской цивилизаціи, находитъ себѣ приютъ и сосредоточивается главнымъ образомъ въ Петербургѣ; и теперь еще въ Москвѣ тѣ-же партіи и тенденціи, какія были 200 лѣтъ тому назадъ, какъ будто Петръ вчера только оставилъ первопрестольную столицу. Разница произошла развѣ только въ томъ отношеніи, что тенденціи эти болѣе сознательно формулировались, нашли себѣ различныя философскія и социальныя подкладки, осложнились, развились въ цѣлыя ученія. Такъ, петровскіе старовѣры обратились въ славянофиловъ; старобоярство приняло видъ англomanіи съ ея приверженностью къ крупному землевладѣнію, вотчинной полиціи и пр. Но сущность осталась та же самая даже до мелочей: и до сегодня въ Москвѣ вы встрѣтите и отрицаніе реформъ Петра, и изувѣрное отвращеніе ко всему западно-бурсманскому, и пристрастіе къ брадамъ и кафтанамъ, съ другой стороны то-жеворчаніе на излишнюю демократичность правительственныхъ реформъ, ту же страсть считать древніе роды и тѣже золотыя мечты о томъ, что наступитъ когда-нибудь блаженныя времена, когда немногіе бояре будутъ владѣть многими. Мы даже видимъ не малое сходство въ томъ отношеніи, что подобно тому, какъ при Петрѣ московскіе бояре, съ охотою отдавая своихъ дѣтей въ классическое славяно-греко-латинское законоспаское училище, отрекшавшись отъ заводимыхъ Петромъ реальныхъ техническихъ училищъ, такъ и нынѣ Москва, лелѣя по старой традиціи излюбленный классицизмъ съ Катковскимъ лицомъ во главѣ, отрекшавшись отъ распространенія реальныхъ училищъ.

По отношенію къ литературѣ московскія тенденціи высказывали постоянно два рода требованій. Съ одной стороны, на почвѣ старобоярскихъ тенденцій развилась теорія искусства для искусства, олимпійскаго отношенія къ жизни, требующая, чтобы поэтъ отрѣшался то въ всякаго преходящаго, партійнаго интереса дня, не вмѣшивался въ житейскія дразги, а созерцалъ однѣ вѣчныя общечеловѣческія красоты. Съ другой стороны, на почвѣ славянофильства, возникло требованіе, чтобы русская поэзія была самобытна, при чемъ самобытность эта поставлялась въ томъ, чтобы писатели развивали непременно русскіе, исконные идеалы — терпѣнія, смиренномудрія, любви, и пр. и пр.

Что касается теоріи чистаго искусства, то я не знаю, можетъ ли быть и сомнѣніе въ томъ, что мы обязаны ей Москвѣ и преимущественно старобоярскимъ тенденціямъ. Вы только подумайте, кому было скорѣе всего задаться этой теоріей, хотя бы она пришла къ намъ и съ Запада, суетливому-ли петербургскому люду, занятому ежеминутно всевозможными дразгами жизни, готовому не только поэзію, но и религію обратить къ своимъ практическимъ цѣлямъ, или же напротивъ того московскимъ олимпійцамъ, гордо смотрѣвшимъ изъ оконъ своихъ московскихъ теремовъ на всю кишашую суету новой жизни и презрительно отстранявшимся отъ всякаго вмѣшательства въ нее. Тоскливое однообразіе, затишье московской жизни въ соединеніи съ безусловною праздною, — все это невольно располагало москвичей къ трансцендентальности, къ отвлеченію отъ всего временнаго, преходящаго и къ созерцанію вѣчнаго и неизмѣннаго. Нѣтъ ничего мудренаго, что когда отъ соколовъ и голубей, полетомъ которыхъ они любовались въ то время, какъ царь-плотникъ стругалъ, пилилъ и строилъ новую Россію, они перешли въ духовнымъ наслажденіямъ, то привычки взирать горѣ, они потребовали, чтобы поэзія услаждала ихъ досугъ такими же полетами въ облакахъ, какіе въ прежніе годы совершали сокола и голуби. И дѣйствительно теорія чистаго искусства развилась въ московскомъ философскомъ кружкѣ Станкевича; впервые пущена въ свѣтъ, развита во всѣхъ своихъ философскихъ положеніяхъ и доведена до послѣднихъ крайностей она была въ „Московскомъ Наблюдателѣ“, журналѣ, издававшемся въ Москвѣ, въ концѣ 30 годовъ. Бѣлинскій, бывшій въ то время самымъ талантливымъ и усерднѣйшимъ проповѣдникомъ ея, воспринялъ ее на московской почвѣ и стояло ему только переселиться въ Петербургъ, не прошло года, какъ онъ сдѣлался приверженцемъ совершенно противоположной теоріи искусства для жизни и, по собственному признанію его, подобной метаморфозѣ онъ былъ обязанъ ничему иному, какъ тому общему духу и настроенію жизни, которые обхватили его въ Петербургѣ. Вы мнѣ скажете, что и въ Петербургѣ в послѣдствіи были органы, защищавшіе теорію искусства для искусства. Мало ли чего! Я могу прибавить къ вашему возраженію, что въ Петербургѣ возникли в послѣдствіи и славянофильскіе органы, а въ Москвѣ издавался лѣтъ 10 „Телеграфъ“, не имѣвшій ничего общаго съ московскими тенденціями; въ Москвѣ же родился, воспитался и развился Герценъ.



Но всѣ эти возраженія нисколько не измѣняютъ дѣла: для насъ важно не то, гдѣ и какъ отразилось какое-либо ученіе, а на какой почвѣ оно возникло, кому принадлежитъ его инициатива, и безъ сомнѣнія инициатива теоріи чистаго искусства принадлежитъ Москвѣ; теорія эта только и могла впервые явиться и развиваться на почвѣ московскаго барства; точно также не составляетъ исключенія и Н. А. Полевой со своимъ „Телеграфомъ“, потому что идеи, развиваемыя имъ въ „Телеграфѣ“, онъ усвоилъ подъ вліяніемъ петербургскаго западническаго движенія и все равно, гдѣ бы онъ ни издавалъ свой журналъ, въ Москвѣ ли, въ Казани или Харьковѣ, все-таки журналъ остается на почвѣ петербургскаго движенія, и съ московскими тенденціями онъ не только не нигдѣ ничего общаго, но постоянно ратовалъ противъ нихъ; это былъ боецъ, ворвавшійся въ самую среду непріятельскаго стана. О Герценѣ и говорить нечего: все его развитіе совершалось вопреки окружавшимъ его московскимъ тенденціямъ, и когда онъ возсталъ противъ Бѣлинскаго, то статьи свои, въ которыхъ защищалъ теорію искусства для жизни, печаталъ въ одномъ изъ петербургскихъ журналовъ.

Что касается теоріи самобытности русской поэзіи въ видѣ выставленія исконныхъ идеаловъ, то я не знаю нужно ли и доказывать, что всецѣло вытекши изъ славянофильскихъ ученій, она неотъемлемо принадлежитъ Москвѣ. Впервые вполне развита была эта теорія въ Москвитинѣ, преклонившемся передъ Гоголемъ главнымъ образомъ за то, что тотъ, не довольствуясь однимъ отрицательнымъ отношеніемъ къ русской жизни, стремился подъ конецъ своего поприща къ положительнымъ типамъ и все общалъ, что у него польются звуки иныхъ рѣчей, въ Москвитинѣ, съ негодованіемъ относившимся къ натуральной школѣ и обличительной литературѣ, отыскивавшимъ исконные русскіе идеалы даже въ самодурахъ Островскаго и умилявшимся передъ дѣдушкою Багровымъ и Куролесовымъ.

Изъ этихъ двухъ московскихъ теорій такъ и сыпались въ разныя времена и въ различныхъ органахъ всевозможныя шишки на нашу бѣдную русскую литературу. Съ одной стороны изъ славянофильскаго лагеря преслѣдовали ее постоянно за рабское преклоненіе передъ идеалами и образцами западныхъ литературъ, за измѣну русскимъ идеаламъ и предрекали ей вѣчное отсутствіе какой-либо самобытности, полное обезличеніе и безцвѣтность. Съ другой стороны изъ лагеря теоретиковъ чистаго искусства нападали на нее постоянно за измѣну чистому искусству, за стремленіе служить тьмамъ низкихъ истинъ и въ свою очередь предсказывали ей, что, если она будетъ стремиться къ тенденціозности, то совсѣмъ перестанетъ быть изящнымъ искусствомъ, а сдѣлается иллюстрированной публицистикой и должна будетъ неминуемо измѣлчать и обезцвѣтиться.

Если послушать всѣ эти нападки, раздающіяся не одинъ уже десятокъ лѣтъ, то можно подумать, что съ нашей литературой давно уже приключилось все, что ей обѣщано: давно уже она въ преклоненіи передъ Западомъ потеряла всякую самобытность, обезличилась и обезцвѣтилась, давно уже, служа низкимъ

истинамъ, обратилась въ рядъ ничтожныхъ памфлетовъ. Ну и конечно, такая судьба постигла наиболѣе петербургскую литературу, развившуюся на почвѣ западничества. Что-же касается литературы, придерживающейся московскихъ тенденцій, то естественно въ ней только и слѣдуетъ искать задатковъ и самобытности, и непосредственности; однимъ словомъ — драгоцѣнныхъ перловъ истиннаго, чистаго, высокаго и притомъ чисто русскаго искусства.

Но дѣйствительность убѣждаетъ насъ совершенно въ противоположномъ. Начать съ того, что если когда-либо наша литература находилась поистинѣ въ рабскомъ подчиненіи западнымъ литературамъ и представляла изъ себя одно жалкое ихъ эхо, то это было только въ продолженіи перваго ея періода — такъ называемаго, ложно-классическаго. Но въ этотъ періодъ писатели наши увлеклись не столько какими-либо западными идеалами и ученіями, сколько одними формами поэзіи, считавшимися непреложными и обязательными равно для всѣхъ народовъ. Что-же касается идеаловъ и ученій, то большинство русскихъ писателей того времени мало чѣмъ расходилось съ московскими тенденціями: всѣ они преклоняются ницъ передъ, такъ называемою, сватынею предковъ, всѣ они преисполнены были пламенной любви къ отечеству, и, настраивая свою лиру на высокой ладъ, воспѣвали славу храбрыхъ россомъ, ширину размаха русской богатырской натуры, великодушіе и щедрость высокоименитыхъ дворянъ и всякаго рода генераловъ, такъ что стремились воспроизводить въ искусствѣ именно исконные русскіе идеалы, а если что и отрицали, то опять-таки совершенно въ духѣ московскихъ тенденцій: отрицали слѣбое обезьянство французскимъ нравамъ въ разныхъ петиетрахъ, воротившихся изъ-за границы модникахъ, пристрастіе ко всѣму иноземному, доходившее въ людяхъ высшаго свѣта до забвенія роднаго языка и прочее въ этомъ родѣ, такъ что даже и въ наше время славянофилы весьма склоняются къ тому, что не слѣдуетъ-ли приписать къ ихъ лагерю всѣхъ этихъ отрицателей добраго стараго времени. И между тѣмъ вся эта вѣрность исконнымъ русскимъ идеаламъ, вся эта безукоризненная чистота искусства, не вмѣшивавшагося ни въ какія низкія дразги жизни и витавшаго постоянно въ заоблачныхъ высотахъ, — все это ни мало не дѣлало литературу нашу ни самобытною, ни естественною; напротивъ того, никогда она не была такъ искусственна, преднамѣренна, безлична и безцвѣтна, какъ именно въ этотъ первый періодъ своего существованія. И, напротивъ того, именно, съ тѣхъ поръ, какъ наше общество начало увлекаться не одними формами, но и идеями, ученіями, духомъ западной цивилизаціи, съ тѣхъ поръ и начинается развиваться въ нашей литературѣ и естественность творчества, и самобытность, и всѣ эти вещи возникаютъ отнюдь не на почвѣ московскихъ тенденцій, а того самого западничества, которое, по мнѣнію московскихъ мыслителей, должно было постоянно держать литературу въ оковахъ подражательности и тенденціозности.

Въ самомъ дѣлѣ: первые зачатки самобытности русской литературы положили романтики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, внесшіе въ нашу жизнь имен-

но тотъ строптивый западный духъ отрицанья, духъ сомнѣнья и анализа, который такъ ненавистенъ московскимъ мыслителямъ обѣихъ категорій. Первымъ самобытнымъ русскимъ поэтомъ является Пушкинъ, этотъ человекъ, получившій въ родительскомъ домѣ свѣтское образованіе во французскомъ духѣ, напившійся въ бытность свою въ лицей и въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ либеральными идеями, заимствованными съ Запада, потомъ сдѣлавшійся поклонникомъ Байрона, — и этотъ Пушкинъ, положивъ начало самобытности русской литературы, воспиталъ Гоголя, поставившаго окончательно нашу литературу на самостоятельную дорогу. Правда, Гоголь не былъ западникомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова; это былъ самородокъ, дѣйствовавшій совершенно инстинктивно; онъ былъ слишкомъ мало образованъ для того, чтобы сознательно сдѣлаться западникомъ или славянофиломъ; но все-таки обратите вниманіе на то, что большую часть своей литературной дѣятельности онъ совершилъ въ Петербургѣ, и Петербургъ не только не мѣшалъ его самобытности, но, напротивъ того, всячески поощрялъ ее въ лицѣ Пушкина и Жуковского, Вѣлинскаго и Плетнева, и очень можетъ быть, что преобладанію въ его произведеніяхъ смѣха сквозь слезы, составлявшаго главную сущность и самобытность его таланта, онъ былъ обязанъ именно тому духу скептицизма, ироніи, которымъ онъ былъ охваченъ въ Петербургѣ. Уже, конечно, не Москвѣ, имѣющей тенденцію вѣчно умиляться и восторгаться передъ всѣмъ отечественнымъ, онъ обязанъ былъ тѣмъ знаменитымъ: „скучно на этомъ свѣтѣ, господа“, которымъ заканчивается одинъ изъ первыхъ его юмористическихъ рассказовъ. Напротивъ того, Москвѣ онъ былъ обязанъ только тѣмъ, что по мѣрѣ того, какъ подъ конецъ своей жизни все болѣе и болѣе проникался онъ московскими тенденціями, онъ терялъ и естественность, и самобытность своего творчества; оно все болѣе и болѣе обезцвѣчивалось, обезличивалось, дѣлалось преднамѣреннымъ, искусственнымъ и, наконецъ, Гоголь, вмѣсто своихъ драгоценныхъ поэтическихъ образовъ, началъ изливаться отвлеченнѣйшими тенденціями изувѣрнаго характера...

Послѣ Гоголя литература наша окончательно становится на самобытную почву. Всѣ послѣдующіе писатели: Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Некрасовъ, Щедринъ, Помяловскій, Рѣшетниковъ, Гл. Успенскій, являются писателями вполне самобытно-русскими, не только по своему происхожденію, или потому, что они пишутъ порусски, но по духу и характеру своихъ произведеній, по отношенію ихъ къ русской жизни, потому, что ихъ произведенія составляютъ нѣчто совершенно особенное въ ряду европейскихъ литературъ, возникшее вслѣдствіе своихъ особенныхъ причинъ. А между тѣмъ, всѣ эти писатели и не повышляли о своей самобытности, и не думали стремиться во чтобы то ни стало достичь ея; всѣ они являются передъ нами болѣе или менѣе сознательными западниками, всѣ они, развившись подъ непосредственнымъ вліяніемъ западной цивилизаціи, увлекались и увлекаются западными идеями и ученіями. Произведенія ихъ, не имѣя ничего общаго съ москов-

скими тенденціями, неотчетливо составляютъ литературу петербургско-западнаго движенія.

И замѣтите: мало того, что вся эта петербургско-западническая литература представляетъ нѣчто самобытное и особенное по отношенію ко всѣмъ прочимъ европейскимъ литературамъ, въ самыхъ нѣдрахъ своихъ, вмѣсто предсказаннаго обезличенія, она представляетъ поразительное развитіе индивидуальнаго разнообразія. На почвѣ этой литературы сдѣлалась, новидимому, совершенно немислимою рабская подражательность не только образцамъ западной литературы, но и лучшимъ произведеніямъ русской. Совершенно вопреки старой эстетики, которая полагала, что второстепенные и третьестепенные таланты по самому существу своему предназначены быть эхами гениевъ и первостепенныхъ талантовъ, литература, возникающая на петербургской почвѣ, представляетъ безконечную оригинальность въ лицѣ самыхъ маленькихъ и дюжинныхъ талантиковъ. Здѣсь каждый мелкій рассказчикъ имѣетъ свою физиономію и вкладываетъ въ литературу нѣчто особенное, свое. Когда говорятъ, что Гоголь создалъ натуральную школу и что всѣ послѣдующіе писатели пятидесятыхъ годовъ шли по его пути, подъ этимъ вовсе не подразумеваютъ, чтобы они были болѣе или менѣе рабскими подражателями Гоголя; слово путь принимается здѣсь въ самомъ общемъ, отвлеченномъ смыслѣ, — въ томъ именно, что послѣдующіе послѣ Гоголя писатели занялись, подобно ему, изображеніемъ обыденной русской дѣйствительности. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы они принялись изображать тѣ-же самыя черты дѣйствительности, которыя изображалъ Гоголь, и подъ тѣми-же углами зрѣнія. И въ этомъ-то отсутствіи рабской подражательности, въ этомъ богатомъ развитіи индивидуальности представляется, по нашему мнѣнію, весьма отрядный признакъ избытка творчества и жизни въ современной намъ литературѣ. Жестко ошибаются въ этомъ отношеніи тѣ изъ современныхъ критиковъ, которые, замѣчая отсутствіе въ литературѣ гениальныхъ талантовъ, вѣчно вопиютъ о бѣдности и мнимомъ измѣльчаніи литературы. Напротивъ того, намъ кажется, что литература, въ которой на одинъ, на два гениальные таланта представляется цѣлый рядъ рабскихъ ихъ подражателей, гораздо бѣднѣе творчествомъ и менѣе жизненна, чѣмъ литература, въ которой, хотя и нѣтъ гениевъ, удивляющихъ вселенную, но за то каждый писатель представляетъ особенный міръ, каждый идетъ по своей совершенно особенной дорогѣ и гдѣ, не говоря уже о талантахъ, стоящихъ впереди, даже и такіе второстепенные беллетристы, какими были въ прежнее время Вс. Крестовскій (исевдоимъ), а въ наше время — Боборыкинъ или Кушневскій, представляются писателями вполне оригинальными и чуждыми всякой подражательности.

Съ другой стороны, если мы взглянемъ на петербургскую литературу съ точки зрѣнія теоріи непосредственности творчества, то и тутъ передъ нами открывается поразительное зрѣлище. Мы видимъ, что, начиная съ эпохи Вѣлинскаго и Гоголя, большинство писателей отрицаютъ теорію чистаго искусства и стремятся своими произведеніями служить тѣмъ или дру-

гнѣ общественнымъ интересамъ; но замѣчательно, что это стремленіе нисколько не мѣшаетъ свободѣ ихъ творчества и не дѣлаетъ ихъ преднамѣренно тенденціозными. Проникновеніе тѣми или другими идеями извѣстными образомъ освѣщаетъ ихъ поэтическіе образы, даетъ имъ смыслъ, но въ произведеніяхъ ихъ на первомъ планѣ стоятъ все тѣже поэтическіе образы, взятые изъ жизни и совершенно естественно возникшіе въ ихъ творческой фантазіи. Возьмите вы въ этомъ отношеніи хотя-бы Щедрина, какъ писателя наиболѣе тенденціознаго, что болѣе всего вамъ нравится въ немъ? Очевидно, умѣнье выставить на всеобщее осмѣяніе типы всевозможныхъ пошляковъ, разыгрывающихъ различныя роли въ общественной жизни. Но откуда-же беретъ Щедрина эти типы? Конечно, они являются у него не изъ какихъ-либо отвлеченныхъ тенденцій, онъ беретъ ихъ изъ жизни, создаетъ путемъ вполне свободного творчества; и тенденціозность заключается у него только въ мастерствѣ, съ которымъ онъ выставляетъ на первый планъ наиболѣе пошлыя стороны своихъ героев. Ну, а Рѣшетниковъ, Гл. Успенскій, что въ нихъ найдете вы преднамѣренно тенденціознаго? Какія такія предвзятія темы въ ихъ очеркахъ? Или, можетъ быть, вы скажете, что преднамѣренность ихъ произведеній заключается въ самомъ побужденіи изображать жизнь непримѣнно однихъ только страждущихъ, низшихъ слоевъ общества? Но тогда я спрошу васъ, на какомъ логическомъ основаніи, при видѣ двухъ поэтовъ, пообразившихъ двухъ обѣдающихъ людей, вамъ можетъ придти въ голову фантазія, что изображеніе лукуловскаго пира сибарита Майковымъ или Фетомъ должно принадлежать къ чистому искусству, а изображеніе Рѣшетниковымъ подлиповца, питающагося лебедю—къ искусству преднамѣренно-тенденціозному, если въ обоихъ случаяхъ изображенія отличаются одинаковою объективностью и вѣрностью дѣйствительности? Вы отвѣтите мнѣ, можетъ быть, что Майковъ или Фетъ, изображая пирующаго сибарита, ни о чемъ не помышляли, какъ только о художественномъ воспроизведеніи своего образа, между тѣмъ, какъ Рѣшетниковъ изобразилъ своего голодающаго подлиповца съ предвзятымъ намѣреніемъ привести читателя къ тѣмъ или другимъ социальнымъ выводамъ? Но, высказывая подобное сужденіе, не принимаете-ли вы на себя роли тѣхъ прокуроровъ, которые опираются въ своихъ обвиненіяхъ не на факты судебного слѣдствія и показанія свидѣтелей, а на свои собственные гипотезы относительно того, что могъ думать преступникъ, когда собрался совершить преступленіе? Вы вѣдь не присутствовали при актѣ творчества Рѣшетникова и не слышали отъ него лично, или отъ другого кого, о тѣхъ расчетахъ, которые будто-бы онъ имѣлъ, садясь писать Подлиповцевъ? Передъ вами на лицо одинъ фактъ—разсказъ писателя, отличающійся такою-же объективностью, какою отличается и описаніе лукуловскаго пира сибарита, какое-же право имѣете вы судить о преднамѣренности? Вѣдь очень можетъ быть, что Рѣшетниковъ, подобно Майкову или Фету, ничѣмъ не руководился въ своемъ писаніи Подлиповцевъ, какъ лишь стремленіемъ изобразить то, что онъ болѣе всего встрѣчалъ въ жи-

ни, что врѣзалось въ его фантазію и произвело на него сильное впечатлѣніе; что же касается социальныхъ выводовъ изъ произведенія, то это ваше личное дѣло, и вы его совершенно напрасно навязываете автору; вѣдь и изъ изображенія лукуловскаго пира можно сдѣлать свои социальные выводы; можно ихъ дѣлать, наконецъ, изъ разсмотрѣнія самихъ фактовъ жизни, не читая поэтическихъ произведеній, изображающихъ эти факты: неужели-же и сама жизнь производитъ эти факты тоже съ преднамѣреннымъ тенденціею привести васъ къ извѣстнымъ выводамъ? Такъ, напримѣръ, неужели жизнь нарочно придумала самарскій голодъ для того, чтобы доказать людямъ, что при неравсчитливомъ хозяйствѣ возможно-ли плодороднѣйшую почву обратить въ бесплодную? Наконецъ, очень возможно, что Рѣшетниковъ сознавалъ, какіе выводы извлекутъ читатели изъ его произведенія; возможно даже, что это сознаніе было главнымъ побудительнымъ стимуломъ въ его творествѣ, но что намъ до этого за дѣло, если мы въ произведеніи этого не видимъ, если оно является передъ нами простымъ, безхитростнымъ изображеніемъ дѣйствительности, и выводы не навязываются намъ авторомъ, а сами собою явствуютъ изъ представленныхъ фактовъ? Измѣтите, что подобный характеръ непреднамѣренной преднамѣренности, произвольной естественности, имѣетъ большинство произведеній, возникающихъ на петербургской почвѣ. Конечно, и тутъ въ семьѣ не безъ уroda: и тутъ вы можете встрѣтить романы гг. Михайлова и Кош., въ которыхъ дѣйствительно преобладаютъ отвлеченныя тенденціи, факты-же, образы, берутся не изъ жизни, а сочиняются авторами, подгоняясь къ тенденціямъ; но подобныя явленія представляются, все-таки, не главными, преобладающими въ петербургской литературѣ; не въ нихъ основной стволъ литературнаго развитія; они суть только мертвые наросты на живомъ тѣлѣ, которые не замедлятъ, конечно, отвалиться.

Совершенно иное явленіе представляетъ изъ себя литература, возникшая на почвѣ московскихъ тенденцій; она вся цѣлкомъ составляетъ мертвый наростъ самаго гангренознаго свойства, причемъ она преисполнена, именно, тѣхъ самыхъ недостатковъ, которые она подозреваетъ въ петербургской литературѣ. Начать съ того, что ужъ я не знаю, можно-ли и говорить о національной самобытности этой литературы, когда каждый писатель, какъ только вступаетъ на почву московскихъ тенденцій, тотчасъ-же теряетъ свою собственную, личную самобытность и мало того, что обезличивается до послѣдней крайности, но совершенно теряетъ способность поэтическаго творчества въ смыслѣ дара говорить образами, склоняясь къ простому изверженію различныхъ отвлеченныхъ идей. Мы уже говорили о подобной метаморфозѣ съ Гоголемъ, котораго московскія тенденціи превратили изъ автора „Ревизора“, „Мертвыхъ душъ“ въ автора „Переписки съ друзьями“, но кромѣ Гоголя можно насчитать и множество другихъ примѣровъ подобнаго же паденія творчества. Возьмите, напримѣръ, хотя-бы Кохановскую, которая начала свою литературную дѣятельность рядомъ вполне оригинальныхъ, яркихъ и непроизвольно-естественныхъ поэтическихъ образовъ,

между тѣмъ, какъ въ послѣднихъ ея произведеніяхъ совершенно уже нѣтъ почти никакихъ образовъ, а идетъ безконечный рядъ отвлеченнѣйшихъ разсужденій, исполненныхъ трескухой реторики и мистическаго бреда въ славянофильскомъ духѣ. Подумайте, что сдѣлала Москва изъ Писемскаго, О. Достоевскаго? А Л. Толстой, этотъ писатель, развившійся на почвѣ петербургской литературы, что же, какъ не Москва, побудила его принять на себя несвойственную ему роль историческаго философа и наводнить свой послѣдній прекрасный романъ длиннѣйшими туманными полуфилософскими, полумистическими разсужденіями о судьбахъ міра сего? Словомъ, кто только вступитъ на почву московскихъ тенденцій, у того, будь онъ поэтъ до мозга костей, тотчасъ же является побужденіе изрѣкать неизрѣченные глаголы и онъ начинаетъ цѣлыя страницы и томы наполнять мистическими резонерствами, или начнетъ вездѣ отыскивать враговъ отечества.

На основаніи всего этого я уже не знаю, нужно ли и говорить о томъ, на сколько московская литература при такомъ своемъ положеніи можетъ быть представительницею своихъ излюбленныхъ теорій чистаго искусства и непредназначенности творчества? Напротивъ того, совершенно въ разрѣзъ съ этими теоріями она является вся сплошь преднамѣренно тенденціозною, и эта преднамѣренная тенденціозность ея дошла до такихъ поразительныхъ крайностей, что всѣ московскіе беллетристы въ настоящее время подведены окончательно подъ одну норму, подъ одинъ, такъ сказать, ранжиръ, причемъ, мало того, что опредѣлено, какія они должны проводить тенденціи въ своихъ произведеніяхъ, но и какъ проводить, такъ что московскимъ беллетристамъ не нужно уже трудиться надъ созданіемъ сюжетовъ и типовъ для своихъ романовъ: все это существуетъ уже въ готовомъ видѣ, въ родѣ тѣхъ формъ, въ которыя отливаются различныя фигуры на литейныхъ или фарфоровыхъ заводахъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы ни представлялось на первый взглядъ разнообразно содержаніе московскихъ романовъ, существуетъ всего на все двѣ неизмѣнныя формы, въ которыя всѣ они отливаются, одна форма для романовъ съ тенденціями „Московскихъ Вѣдомостей“, другая — для романовъ въ славянофильскомъ духѣ. Если угодно, я могу сообщить вамъ обѣ формы, такъ что вы безъ всякаго труда будете въ состояніи написать романъ для „Русскаго Вѣстника“ или какого-нибудь будущаго славянофильскаго органа.

Форма романовъ въ духѣ тенденцій „Московскихъ Вѣдомостей“ должна быть слѣдующая:

На первомъ планѣ изобрази героя-охранителя. Онъ долженъ быть красивъ и статенъ, древняго рода, князь или графъ (не мѣшаетъ при этомъ страницу, другую посвятить характеристикѣ его предковъ и разобрать по листочкамъ все его генеалогическое древо). Характера онъ долженъ быть гордаго, непреклонно-твердаго, храбро-отважнаго, немного, пожалуй, и стремительнаго; убѣжденъ, само собою разумѣется, безкорыстно честныхъ, и всѣ силы души его должны стремиться къ борьбѣ съ неправдою и зломъ на охраненіе коренныхъ основъ религіи, нравственности, семьи, собственности, въ особенности же охраняя оте-

чества. Еще до своего служебнаго поприща онъ можетъ уже начать эту борьбу въ какойнибудь либеральной гостиниѣ губернскаго города, разразившись тирадой о паденіи современныхъ нравовъ, о томъ, что лагушки никогда не могутъ замѣнить того божественнаго упоенія, какое возбуждается сонатой Бетховена, сыгранною прекрасными пальчиками, и что наши предки тоже были скептиками, но скептицизмъ не мѣшалъ имъ цѣнить все изящное и любить свою родину паче жизни. Подобная рѣчь должна возбудить всеобщій смѣхъ въ легкомысленныхъ либералахъ, но чьинибудь глубокія синія очи могутъ затуманиться томною задумчивостью подъ обаяніемъ рѣчи героя и заблестѣть живыми участіемъ, когда герою мимоходомъ среди споровъ удастся сбить съ толку отрицающаго гимназиста или до такой степени опѣшить и сконфузить хвастливаго пана Бзексержинскаго, что панъ, схвативши свою конфедератку быстро, отретировался бы, киня злобу и общаясь отгнать герою посредствомъ коварной польской интриги. Затѣмъ, можешь опредѣлить героя на государственную службу въ качествѣ мирового посредника, судебнаго слѣдователя или чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ, и здѣсь должна начаться уже серьезная борьба героя со зломъ, угрожающимъ основамъ и окраинамъ. Это должно представляться въ двоякомъ, конечно, видѣ: 1) въ видѣ коварной польской интриги, осуществленной въ образѣ пана Бзексержинскаго, который подъ предлогомъ служения своей отчизнѣ долженъ истить герою изъ чисто личныхъ видовъ за нанесенную герою обиду въ присутствіи синеокой дѣвы; 2) въ видѣ многоглавой гидры нигилизма, который долженъ быть изображенъ въ романѣ панурговымъ стадомъ, возмущающимъ крестьянъ, подсовывающимъ въ карманы героя возмутительныя прокламаціи, посягающимъ, наконецъ, на самую жизнь героя, и все это не по собственному побужденію, а подъ влияніемъ все той-же польской интриги. Въ борьбѣ съ этими исчадіями ада герой можетъ быть оклеветанъ и попасть подъ судъ, быть отравленъ, нѣсколько разъ истекать кровью отъ нанесенныхъ ранъ, но въ концѣ концовъ все-таки выйти сухимъ изъ воды, побѣдя и посрамя вокругъ себя все и вся, и польскую интригу, и панургово стадо нигилизма. Для большей полноты всей этой картины борьбы новаго Донъ-Кихота съ вѣтренными мельницами можно повести героя въ различныя центры золь, такъ, наприимѣръ, пусть онъ пріѣдетъ въ Петербургъ и тамъ побродитъ по разнымъ литературнымъ или студенческимъ кружкамъ, а не то отправь его за границу, заставь его тамъ столкнуться съ русскими эмигрантами и на возвратномъ пути выбросить изъ чемодана какого-нибудь юнаго спутника за бортъ парохода пукъ прокламацій. Въ перемежку со всѣми этими политическими сценами должны идти любовныя интриги. Герой рядомъ со всѣми своими героическими качествами долженъ обладать, конечно, и даромъ покорять женскія сердца. Всѣ женщины должны влюбляться въ него съ первой встрѣчи, и у героя сквозь его жизнь должны пройти три вида любви: одна любовь игриваго и скабрзнаго свойства, въ которой должна разыгрывать роль или юная губерна-торша, опутывающая героя тенетами кокетства, или

супруга закадычнаго друга, съ которою герою приходится совершенно случайно ночевать въ двухъ смежныхъ комнатахъ и совершенно нечаянно сдѣлаться жертвою ея страстности. Другая любовь, вспыхивающая внезапно, какъ ураганъ, доводящая героя до высшаго экстаза страстности и повергающая его въ концѣ-концовъ въ крайнее изнеможение и нравственное оцѣпенѣніе, эта любовь къ какой-нибудь юной полькѣ, ну, хоть сестрѣ пана Бзексержинскаго, а не то къ россианкѣ, жаждущей широкаго простора жизни, уносящейся въ волны нигилизма и гибнущей какою-нибудь кровавою смертью, положимъ хоть на баррикадѣ во время осады Парижа. Наконецъ, третья любовь, постепенно развивающаяся, неслышная, незамѣтная сначала, но за то въ послѣдствіи самая глубокая, истинная и безконечная, это — любовь къ той синеокой дѣвѣ, которая въ pendant герою должна представлять изъ себя типъ коренной русской женщины, стремящейся къ домашнему очагу, свято охраняющей всѣ основы и неспособной къ какимъ-либо мишурнымъ увлеченіямъ и легкомысленнымъ отрицаніямъ; съ этой своей совершенной во всѣхъ отношеніяхъ парой герой долженъ почить отъ всѣхъ своихъ тревоженій и, уставши охранять отечество своею собственною грудью, посвятить остатокъ дней воспитанію въ деревенской тиши новыхъ будущихъ охранителей.

Форма романа въ славянофильскомъ духѣ должна быть совершенно иного рода. Здѣсь не требуется отъ героя ни графскаго, ни княжескаго титула, достаточно, чтобы онъ былъ коренной русской помѣщикъ, самой чисто славянской крови безъ малѣйшей подмѣси. Генеалогическаго древа писатель, въ свою очередь, можетъ совсѣмъ не касаться, но за то жизнь и нравы родительской усадьбы, исполненные чисто русскихъ исконныхъ чертъ, должны быть описаны во всѣхъ подробностяхъ, съ охотами и рыбными ловлями, святочными гаданіями, хороводами, храмовыми праздниками, постами и розговѣнями, и ужъ тутъ писатель долженъ не пожалѣть художественныхъ красокъ; не жѣщается даже для большей полноты картины заглянуть въ сборники Сахарова, Снегирева, Рыбникова, Кирѣевскаго и проч., откуда писатель можетъ заимствовать нужныя для него свѣдѣнія о гаданіяхъ, ворожбахъ, святочныхъ пѣсняхъ и обогатить всѣмъ этимъ матеріаломъ свой рассказъ для того, чтобы поэтичность его была вполне въ русскомъ духѣ и чтобы каждый читатель, прочтя описаніе жизни усадьбы могъ въ умиленіи воскликнуть:

Здѣсь Русь живетъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Проведя свое дѣтство среди такой обстановки, герой потомъ долженъ быть оторванъ отъ своей исконной среды, отданъ родителемъ въ какое-нибудь столичное заведеніе и тамъ, пройдя различные курсы, долженъ напиться духомъ западной цивилизаціи, сдѣлаться ея горячимъ поклонникомъ, увлечься различными кичливыми и разрушительными ученіями растлѣннаго Запада, а воротившись на каникулы домой въ родную усадьбу, начать нѣсколько свысока съ презрѣніемъ и отрицаніемъ относиться ко всѣмъ исконнымъ святынямъ и дорогимъ обычаямъ русской старины. При этомъ не жѣщается изобразить нѣсколь-

ко сценъ, въ которыхъ герой попадался-бы въ просякъ и былъ-бы посрамленъ въ своей кичливости: можно, наприимѣръ, изобразить разговоръ героя съ сельскимъ іереемъ, причемъ простой и здравый, чисто русскій умъ іерея, исполненнаго христіанскаго смиренія, одержалъ-бы верхъ надъ западною мудростію занесшагося барича. Затѣмъ, для того, чтобы представить міръ не только въ его старинныхъ уголкахъ, но во всей совокупности въ роковую минуту, когда онъ поднимается, спланивается въ одного исполина и обнаруживаетъ всю мощь славянскаго духа, слѣдуетъ изобразить какую-либо важную эпоху въ родѣ народной войны 12 года, севастопольской обороны, суворовскихъ походовъ, московской чумы и проч., и проч. Необходимо пустить героя въ эту кашу, заставить его испытать всевозможныя мытарства, голодать, холодать, тонуть, нѣсколько разъ лежать убитымъ на полѣ брани, — при всѣхъ этихъ испытаніяхъ встрѣчаться постоянно съ народомъ и внезапно прозрѣть, увидѣть всю великость этого народа и все ничтожество западной мудрости передъ его міровоззрѣніями, исполненными неизрѣченно глубокой правды, хотя и облеченными въ оболочку дѣтской простоты и христіанскаго смиренія, чуждаго малѣйшей рисовки и кичливости. Результатомъ подобнаго прозрѣнія должно быть перерожденіе героя: онъ вдругъ долженъ почувствовать въ себѣ избытокъ елейной мягкости, всепрощенія и преисполниться исконными русскими идеалами смиренномудрія, терпѣнія и любви. Можно и другими путями привести героя къ этому перерожденію, болѣе простыми и быстрыми, посредствомъ, наприимѣръ, того-же самаго вышеупомянутаго іерея, если писатель, не желая писать многотомный романъ, хочетъ ограничиться небольшою повѣстью; посредствомъ, наконецъ, любви, вліянія матери, какъ это сдѣлала, наприимѣръ, Кохановская въ своей повѣсти Галька; во всякомъ случаѣ перерожденіе необходимо, и оно должно составлять основу романа, написаннаго въ славянофильскомъ духѣ. Этимъ перерожденіемъ романъ вполне исчерпывается; за нимъ герою ничего больше не остается, какъ сочетаться законнымъ бракомъ съ русской дѣвою неизрѣченной красоты и начать осуществлять купно съ ней исконные русскіе идеалы смиренномудрія, терпѣнія и любви.

Конечно можно придумать множество различныхъ вариантовъ на эти темы; писатели могутъ вмѣсто жепитбы въ концѣ романа умирить своихъ героевъ ужасною смертію, могутъ заставить ихъ влюбиться въ блондинку или въ брюнетку, могутъ послать заграницу или въ Ташкентъ и на Кавказъ, могутъ развернуть интригу романа въ западномъ краѣ, или во всѣхъ частяхъ свѣта. На первый взглядъ вамъ можетъ показаться, что одинъ романъ не похожъ на другой, что и въ московской беллетристикѣ есть свое разнообразіе; но стоитъ припомнить всѣ романы, вышедшіе въ послѣднія 10 лѣтъ, всмотрѣться въ ихъ сюжеты, и вы увидите, что всѣ они непременно подойдутъ подъ одинъ изъ этихъ двухъ шаблоновъ, во всѣхъ ихъ проводятся двѣ неизмѣнныя тенденціи: 1) вотъ они каковы подрывающія всѣ основы исчадія польской интриги и панургова стада нашего либерализма и 2) великъ Богъ земли Русской.

## II.

Что же за причина подобныхъ противорѣчій въ литературныхъ сферахъ? Какъ же это случилось, что петербургская литература, никогда не помышляя о самобытности, сдѣлалась самобытною, ратуя за полезное творчество, однакожь, осталась чуждою преднамѣренной тенденціозности, и напротивъ того московская литература, при всѣхъ своихъ стремленіяхъ и къ самобытности, и къ чистотѣ искусства, дошла до крайняго обезличія и впала въ самую узкую тенденціозность?

Причины такого страннаго явленія очень просты и понятны. Начать съ того, что самобытность есть явленіе вполне произвольное; она вырабатывается естественнымъ жизненнымъ процессомъ и всякое вмѣшательство личной воли въ этотъ процессъ не только не способствуетъ ему, но пренятствуетъ и парализируетъ его. На основаніи этого закона, гдѣ только являлась какая-либо самобытность, она возникала сама собою, нежданная, негаданная; стремленіе-же вызывать ее никогда ни къ чему не вело, какъ только къ напускному оригинальничанью, производящему всегда непріятное впечатлѣніе лжи и фальши и скрывавшему подъ собою полную безцѣльность. Между тѣмъ, наша петербургская литература, развившись подъ вліяніемъ общаго увлеченія Западомъ, съ самаго начала встала на естественную почву въ томъ отношеніи, что беззавѣтно отдалась этому увлеченію. Она явилась подражательною не вслѣдствіе какихъ либо предвзятыхъ теорій, а потому, что и общество, и литераторы вполне естественно и беззавѣтно увлекались образцами западной словесности. Такимъ образомъ съ самаго возникновенія петербургская литература отдалась всецѣло произвольному жизненному процессу, увлекаясь тѣми впечатлѣніями, какія преобладали въ передовыхъ кругахъ общества. Эта-то непосредственность ея и вывела ее на путь самобытности. — Слившись путемъ подражательности съ литературами Запада, она начала вмѣстѣ съ европейскимъ литературнымъ движеніемъ переживать всѣ его фазы и дожила до современныхъ намъ эстетическихъ требованій, чтобы каждый поэтъ творилъ свободно, воспроизводя въ своихъ произведеніяхъ тѣ впечатлѣнія, какія навѣваетъ на него жизнь. Эти требованія, положившія начало новаго реальнаго искусства, и повели къ той индивидуализаціи искусства, о которой мы выше говорили: каждый поэтъ, въ какой-бы странѣ онъ ни жилъ, началъ воспроизводить въ своихъ произведеніяхъ тѣ образы и впечатлѣнія, какія навѣвала на него окружающая его дѣйствительность, переставши брать себѣ въ образцы Байрона, Гете, Шиллера или Шекспира и стремиться возвышаться до нихъ. Эта-то индивидуализація искусства естественно повела за собою и національную самобытность. Помимо того, что каждый поэтъ сдѣлался выразителемъ жизни и интересовъ своей страны; онъ сталъ самимъ собою, началъ отражать въ своихъ произведеніяхъ свою личность, естественно и традиціонно носящую въ себѣ тѣ или другія народныя черты.

Между тѣмъ, какъ петербургская литература до-

стигла самобытности, нисколько не заботясь о ней, путемъ одной индивидуализаціи искусства, Москва въ своемъ славянофильскомъ лагерѣ возмѣтила цѣль поставить литературу на самобытную почву путемъ исполнѣ преднамѣреннымъ, обязывая каждого поэта *стремиться* быть самобытнымъ, при чемъ подъ самобытностью разумѣлась не личная самобытность каждаго поэта, а особенная собирательная самобытность русскаго искусства, въ которомъ личность поэта должна пропасть, какъ пропадаетъ она въ народной пѣснѣ. По московскимъ теоріямъ, поэтъ, чтобы сдѣлаться самобытнымъ, долженъ изучать народную поэзію былыхъ временъ, набираться всевозможныхъ народныхъ поэтическихъ мотивовъ, читая лѣтописи и всякіе сборники, посѣщать такіа глухіа захолустья, гдѣ-бы стародавняя русская жизнь наиболѣе сохранилась со всѣми старинными міровоззрѣніями, повѣрьями и поэтическими обрядами языческихъ временъ. Посредствомъ такого изученія поэтъ долженъ проникнуться народнымъ міровоззрѣніемъ и народными мотивами, слиться съ народною поэзію и сдѣлаться такимъ образомъ національно-самобытнымъ. Но надо-ли много распространяться о томъ, какъ неестествененъ и ложенъ такой путь? Начать съ того, что въ основѣ его лежитъ не живое, непосредственное творчество подъ впечатлѣніемъ окружающей дѣйствительности, а рядъ археологическихъ изысканій. Поэтъ долженъ перестать здѣсь быть самимъ собою, а сдѣлаться подражателемъ тѣхъ разнообразныхъ народныхъ мотивовъ, которые народъ создалъ 200, 300 и болѣе лѣтъ тому назадъ. Я говорю 200, 300 лѣтъ назадъ, потому что народное творчество въ томъ собирательномъ, безличномъ видѣ, въ какомъ оно существовало нѣкогда, совсѣмъ почти изсякаетъ, новыхъ мотивовъ народъ почти не создаетъ болѣе, а старые сохраняеть по традиціи, но, находя въ нихъ слишкомъ мало отзывовъ на современную ему жизнь, постепенно забываетъ. Народъ какъ бы инстинктивно передалъ свою лиру передовымъ образованнымъ поэтамъ своей страны и ждетъ отъ нихъ новыхъ звуковъ, новыхъ пѣсенъ, которыя выразили-бы тѣ радости и горе, которыми онъ живетъ, образованные поэты что-же вдругъ хотятъ сдѣлать? Обратиться къ народу съ тою ветошью, которую онъ давно бросилъ! Положимъ, что въ этой ветоши много поэтическаго, но вѣдь все это поэтическое давно уже пережито и мохомъ поросло, но вѣдь каждое поэтическое потому оно и является такимъ, что оно выстрадывается жизнью; почему же и народныя пѣсни такъ хватаютъ васъ за душу, какъ не потому, что нѣкогда живые люди выразили въ нихъ свои современные радости и печали... А вы, вмѣсто того, чтобы подражать этимъ живымъ людямъ въ томъ отношеніи, чтобы по приѣму ихъ выразить въ новыхъ мотивахъ ваши современные впечатлѣнія жизни, думаете подражать самими мотивамъ, естественно отжившимъ вмѣстѣ съ тою жизнью, которая ихъ вызвала. Не значить-ли это отказываться отъ живой дѣйствительности и обращаться вспять, мечтая воскресить мертвое? Во всякомъ случаѣ такого рода археологическая поэзія вовсе не есть самобытная, а въ свою очередь подражательная; разница только въ томъ, что предметами



подражательности являются здѣсь образцы не греко-римской или современно-западной поэзіи, а древне-русской; но это все равно, вѣдь не считаемъ-же мы самобытными писателями псевдоклассиковъ XVIII вѣка или нѣмецкихъ ультра-романтиковъ въ родѣ Бюргера, Уланда и проч. Естественно, что на почвѣ такого самобытничанья не вышло до сихъ поръ ничего истинно самобытнаго, а являются одни только археологически скучныя и сухія измышленія, въ родѣ драмъ Чаева или Аверкіева, искусственныя поддѣлки подъ народную поэзію А. Толстаго, да изрѣдка попытки изображенія домовыхъ, лѣшихъ и прочихъ личностей нашей доморощенной мифологіи въ томъ поэтическомъ обаяніи, въ какомъ они должны были представляться, по мнѣнію поэтовъ XIX столѣтія, ихъ предкамъ, жившимъ 1,000 лѣтъ тому назадъ. И замѣтите при этомъ, что если вошли въ народъ кое-какія произведенія изъ нашей цивилизованной литературы, то выросшія отнюдь не на почвѣ московскихъ тенденцій, а той-же петербургской литературы.

Что-же касается отсутствія преднамѣренной тенденціозности въ петербургской литературѣ и крайняго развитія ея въ московской, то на это имѣются свои особенныя причины, лежащія въ томъ различіи вліяній, какія оказываютъ на поэтическое творчество идеи объективно-естественныя и субъективно-искусственныя. Но прежде, чѣмъ я буду говорить объ этомъ различіи вліяній, необходимо объяснить, что я разумѣю подъ идеями объективно-естественными и субъективно-искусственными.

Объективно-естественныя идеи суть такія, которыя вытекаютъ помимо нашихъ желаній непосредственно изъ фактовъ; онѣ немислимы безъ этихъ фактовъ, равно какъ и факты немислимы безъ нихъ; онѣ лежатъ въ фактахъ, въ извѣстномъ порядкѣ вещей, независимо отъ того, сознаемъ мы ихъ или не сознаемъ, потому что онѣ суть ничто иное, какъ эти факты и дѣлаются идеями уже тогда, когда доходятъ до нашего сознанія. Такова, напримѣръ, идея о томъ, что рабство растлѣваетъ нравственно въ одинаковой степени господина и раба. Мы можемъ не желать, чтобы это было такъ, можемъ не сознавать этого, но, тѣмъ не менѣе, все-таки тамъ, гдѣ въ жизни являются господинъ и рабъ, тамъ непрежѣнно будетъ осуществляться эта идея въ видѣ обоюднаго нравственнаго растлѣнія. Изъ наблюденій цѣлаго ряда такихъ растлѣній мы и выносимъ вышеозначенную идею.

Субъективно-искусственныя идеи образуются совершенно другимъ путемъ. Онѣ возникаютъ изъ нашихъ желаній, симпатій или антипатій — личныхъ, сословныхъ или племенныхъ. Мы выносимъ ихъ такимъ образомъ не изъ фактовъ, а напротивъ того, стараемся навазать ихъ фактамъ, хотя-бы въ фактахъ такихъ идей и не лежало вовсе, а были другія, совершенно противоположныя. Такова, напримѣръ, идея рабовладѣльческая, желающая доказать, что рабство — полезное учрежденіе въ экономическомъ и нравственномъ отношеніяхъ, или идеи аристократическія, видящія все спасеніе общества въ крупномъ землевладѣніи, батрачествѣ и вотчинной полиціи, таковы идеи всякой національной исключительности, въ родѣ пангерманизма, мечтающаго, что нѣмцы призваны

огерманизировать всѣ европейскіе народы, или славянофильства, воображающаго, что весь родъ человѣческій находится въ состояніи гніенія, кромѣ однихъ славянъ, призванныхъ обновить чуть-что не всю вселенную.

Изъ этого различія идей объективно-естественныхъ и субъективно-искусственныхъ произтекаетъ и различіе вліянія ихъ на творчество поэта. Я не знаю, нужно-ли и доказывать, что преднамѣренность въ проведеніи идей объективно-естественныхъ вещь совершенно немислимая. Зачѣмъ я буду преднамѣренно проводить въ своихъ произведеніяхъ такія идеи, которыя и безъ того уже лежатъ въ фактахъ и сами собою, помимо моего старанія, вытекаютъ изъ нихъ? Совершенно достаточно будетъ для меня ограничиться тѣмъ, что изобразить факты, и они, конечно, скажутъ сами за себя лучше всякихъ моихъ разглагольствованій. Другое совсѣмъ дѣло идеи субъективно-искусственныя; задавшись ими, творчество наоборотъ никакимъ инымъ быть не можетъ, какъ преднамѣреннымъ. Я не могу здѣсь брать прямо факты дѣйствительности и представлять ихъ, какъ они суть, потому что въ нихъ я рискую вовсе не найти такихъ идей, какія я желаю провести, а можетъ быть совершенно противоположныя. Поэтому я долженъ прежде всего сдѣлать строгій выборъ фактовъ и подтасовать такіе, которые мнѣ наиболѣе по вкусу. Но и такіе факты могутъ не совсѣмъ прямо подходить къ моей излюбленной идѣ; тогда я принужденъ буду нѣсколько измѣнить ихъ, произвольно исказить сообразно своимъ цѣлямъ; если же при этомъ избранные и произвольно измѣненные мною факты все-таки не будутъ вполне выражать мою идею, я долженъ пойти далѣе и самъ уже выдумать такіе факты, которыхъ въ дѣйствительности совсѣмъ нѣтъ и быть не можетъ.

Но тѣмъ и отличалась всегда петербургская литература западническаго движенія, что она проникалась постоянно такими объективно-естественными идеями, которыя, составляя содержаніе передовой европейской мысли, являлись къ намъ не въ видѣ отвлеченныхъ тенденцій, а какъ продуктъ вѣкового опыта жизни. Такія идеи по самому существу своему могли вести творчество поэтовъ не къ преднамѣренности, а только къ обогащенію этими незамѣченными прежде фактами. Для примѣра возьмите хотя-бы вышеозначенную идею вреда рабства, вполне разившуюся въ передовыхъ кружкахъ нашего общества только въ концѣ сороковыхъ годовъ, и подумайте, какого рода вліяніе на творчество нашихъ поэтовъ могла оказать эта идея? Никакого иного, какъ лишь передъ поэтами вдругъ открылся цѣлый рядъ фактовъ жизни, на которые они прежде не обращали вниманія. Прежде помѣщичья власть представлялась передъ ними съ одной только стороны своей патріархальности, какъ она рисуется, напримѣръ, въ „Семейной хроникѣ“ Аксакова. Если сатира и нападала на злоупотребленія помѣщичьей власти, то, именно, только на *злоупотребленія*, причемъ предполагалось, что тамъ, гдѣ помѣщичья власть существовала въ своемъ идеальномъ видѣ, чуждая злоупотребленій, крѣпостное право не производило никакого нравственнаго вреда ни на помѣщиковъ, ни на крестьянъ. Мы видимъ, что даже у



Гоголя въ его „Мертвыхъ душахъ“ факты растлѣвающаго вліянія крѣпостнаго права совершенно игнорируются. Чичиковъ, Ноздревъ, Маниловъ, Плюшкинъ и проч. представляются пошляками чисто по своей доброй волѣ, по недостатку воспитанія, по невѣжеству, но, вмѣстѣ съ тѣмъ предполагается, что они могли-бы быть и иными при томъ-же положеніи вещей, предполагается на почвѣ того-же крѣпостнаго права возможность такого отраднаго явленія, какъ Костанжогло, а въ своей „Перепискѣ съ друзьями“ Гоголь проповѣдуетъ своимъ друзьямъ, какъ подобаетъ идеальному помѣщику держать себя по отношенію къ крестьянамъ. Но вотъ является идея нравственнаго вреда рабства и передъ русскими писателями вдругъ открывается цѣлая Америка. Передъ ними разомъ всплываетъ наружу цѣлая масса фактовъ, повсюду вокругъ нихъ и въ нихъ самихъ, показывающихъ, до какой нравственной дряблости доводитъ и въ какое фальшивое положеніе ставитъ рабство людей, самыхъ образованныхъ, гуманнѣйшихъ и готовыхъ облагодѣтельствовать своихъ крестьянъ. Какая-же тутъ нужна была преднамѣренность, чтобы проводить идею вреда рабства? Вери только всѣ эти открывшіеся факты и изображай ихъ вполне объективно, оставаясь въ сферѣ самаго чистѣйшаго искусства? Такъ и сдѣлали петербургскіе писатели. Начиная съ „Записокъ охотника“ появилась цѣлая серія литературы, представляющей вредное нравственное вліяніе крѣпостнаго права. Можно сказать даже, что вся литература пятидесятихъ годовъ была посвящена этому вопросу. Но преднамѣренно-тенденціознаго все-таки ничего не было въ ней, а было одно художественно-объективное выставленіе фактовъ, обличающихъ нравственный вредъ крѣпостнаго права. Точно также подѣйствовали на болѣе юныхъ писателей новыя экономическія идеи: онѣ не повели за собою никакой преднамѣренности, а только заставили глубже вникать въ нѣкоторые факты жизни, которые въ свою очередь прежде игнорировались. Не далѣе, какъ въ пятидесятые годы, если выводился на сцену рабочій людъ, то съ одной только комической стороны невѣжества, пьянства, грубости, жаргона и проч.; фабричный работникъ изображался не иначе, какъ ухарскимъ, франтоватымъ парнемъ съ гармоникой въ рукахъ, сельскимъ Донъ-Жуаномъ, готовымъ подъ часъ выйти и съ кистенемъ на большую дорогу; но вотъ появились новыя экономическія идеи и повели за собою изученіе быта рабочаго люда совсѣмъ съ другой стороны: появились очерки Рѣшетникова, Гл. Успенскаго и проч., въ которыхъ преднамѣренной тенденціозности въ свою очередь столь-же мало, какъ и въ повѣстяхъ пятидесятихъ годовъ, изображающихъ нравственный вредъ рабства.

Совершенно въ иномъ положеніи находится московская беллетристика; она задается не объективно-естественными идеями, а субъективно-искусственными; для нея важно не изображеніе правды жизни, какъ она есть, а проведеніе тенденцій, съ одной стороны узкоконсервативныхъ, съ другой стороны столь-же узконаціональных. Извольте пребывать въ предѣлахъ свободы творчества и чистаго искусства, когда вамъ нужно доказать въ вашемъ произведеніи, что всѣ пережитыя нами реформы страдаютъ излишествомъ де-

мократизма и что движеніе шестидесятихъ годовъ ни къ чему не привело, какъ только ко всеобщей нравственной распущенности, особенно въ средѣ молодого поколѣнія. Въ дѣйствительности можетъ быть ничего этого нѣтъ, ни излишняго демократизма реформъ, ни всеобщей распущенности, но для васъ необходимо, чтобы это все было. Что-же остается вамъ, какъ не натягивать всячески факты, не искажать дѣйствительности, не придумывать такихъ вещей, какихъ въ дѣйствительности со свѣчкой не отыщешь. Путемъ цѣлаго ряда подобныхъ искаженій дѣйствительности ради подогнанія ея къ извѣстной узкой тенденціи и образовались, наконецъ, тѣ неизмѣнныя фабулы, тѣ стереотипные образы, въ которыхъ замерла и окостенѣла московская беллетристика.

Точно къ такой-же преднамѣренности ведутъ беллетристику, съ своей стороны, и славянофильскія идеи. Онѣ заранѣе предписываютъ поэту, что ему искать въ дѣйствительности и какъ ее изображать. Такъ французъ, сообразно имъ, долженъ быть выставленъ непремѣнно вѣтреннымъ и тщеславнымъ хвастуномъ, нѣмецъ — сухимъ педантомъ, англичанинъ — своекорыстнымъ любостяжателемъ, русскій-же, мало-мальски не зараженный тлетворною заразою Запада — долженъ быть преисполненъ терпѣнія, смиренномудрія и любви. О свободѣ творчества, о непосредственномъ изображеніи жизни во всей ея правдѣ, конечно, при этомъ не можетъ быть и рѣчи. Поэтъ приступаетъ здѣсь къ дѣйствительности не для того, чтобы изучать ее; онъ заранѣе уже знаетъ, какою ему надо ее представить: факты жизни выходятъ у него прямо изъ предвзятыхъ идей. Что-же мудренаго, если они являются отвлеченно-туманными, если, наконецъ, и совсѣмъ не является никакихъ образовъ, а мѣсто ихъ занимаетъ рядъ голыхъ, отвлеченныхъ разсужденій?

### III.

Романы гр. Саліаса и Чаева, заглавія которыхъ выставлены въ началѣ статьи, представляютъ крайнюю ступень того обезличенія, до котораго дошла въ послѣднее время московская беллетристика. Въ самомъ дѣлѣ, до сихъ поръ московскіе беллетристы, будучи однообразны въ тенденціяхъ и общихъ фабулахъ своихъ произведеній, все-таки хоть до нѣкоторой степени разнообразили ихъ тѣмъ, что каждый по своему варьировалъ эти фабулы, самостоятельно развивалъ ихъ въ тѣ или другіе сюжеты, бралъ на себя трудъ измышлять своихъ собственныхъ мужскихъ и женскихъ героевъ. Такъ что, какъ гл. сливались личности московскихъ беллетристовъ въ общей фізіономіи московской тенденціозности, все-таки до нѣкоторой степени можно было отличить Писемскаго отъ Достоевскаго, Достоевскаго отъ Стебницкаго, Стебницкаго отъ Маркевича и проч. Саліасъ и Чаевъ съумѣли вполне отрѣшиться отъ своихъ собственныхъ фізіономій: ихъ самихъ вы тщетно будете искать въ романахъ, вы найдете въ нихъ вездѣшнее присутствіе одной только личности — гр. Л. Толстого, у котораго романисты взяли цѣликомъ все, что только можно было взять — характеры, сцены, мотивы, філософію, словомъ, ободрали бѣднаго автора „Войны

и мира<sup>4</sup>, что называется, до ниточки, представивши, такимъ образомъ, образцы такого рабскаго подражанія, какого давно уже не слыхано было въ нашей литературѣ. Саліасъ и Чаевъ написали свои романы какъ будто для того, чтобы показать, что для такой узко-тенденціозной беллетристики, какъ московская, въ живомъ творествѣ нѣтъ никакой нужды: въ самомъ дѣлѣ, на что оно? Существуютъ готовые, предвзятые тенденціи, существуютъ неизмѣнныя фавулы, соответствующія этимъ тенденціямъ,—однимъ словомъ, канва дана, нужно-ли при этомъ ломать голову надъ придумываньемъ своихъ собственныхъ узоровъ: можно и ихъ брать готовыми изъ другихъ романовъ.

Замѣчательную роль играетъ романъ гр. Л. Толстого „Война и миръ“ въ этомъ новомъ шагѣ объединенія творчества московской беллетристики. Видно до одурѣнія пріѣхали московскимъ беллетристамъ всѣ ихъ стереотипные образы непрекословно-твердыхъ обрусителей, косматыхъ отрицателей и хвастливыхъ пановъ Бзексержинскихъ, и романъ гр. Л. Толстого со своими художественными, свѣжими образами былъ для нихъ тѣмъ же, что для людей, нѣсколько дней ничего не ѣвшихъ, приглашеніе къ роскошному обѣду. Не въ силахъ сами ничего создать, съ азартомъ набросились они, очертя голову, на сытныя, вкусныя яства, и некогда имъ было даже разжевать ихъ, какъ слѣдуетъ, а такъ цѣликомъ и глотають, отправляя мясо и овощи громаднѣйшими кусками въ свои опустѣлые желудки. Но истощенные, больные желудки плохо перевариваютъ эти куски, и то, что у гр. Толстого вышло и художественно, и реально, и умно, то у нихъ обезображивается, пригоняясь къ ихъ узкимъ, предвзатымъ тенденціямъ.

Романъ гр. Толстого стоитъ какъ-бы на распутіи двухъ дорогъ: его можно причислить разомъ и къ московской, и къ петербургской литературѣ. Съ одной стороны, въ немъ довольно явно проглядываютъ московскія тенденціи. Не говоря уже о мистической теоріи рокового движенія народовъ съ запада на востокъ и потомъ обратно съ востока на западъ, теоріи, развитіе которой занимаетъ, по крайней мѣрѣ, четверть романа, вы найдете и во многихъ художественныхъ образахъ романа вѣяніе московскаго духа,—такъ, напримѣръ, въ идеализаціи Кутузова, и, напротивъ, въ бросаніи нѣкоторой тѣни на Сперанскаго, въ пресловутомъ перерожденіи Пьера посредствомъ сближенія съ народомъ и въ особенности съ Каратаевымъ, олицетворяющимъ въ себѣ русско-народный идеалъ терпѣнія, смиренномудрія, любви и проч. Но вмѣстѣ со всѣмъ этимъ, въ романѣ гр. Толстого вы найдете и чисто петербургскую струйку. Не забудьте, что гр. Толстой только въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ началъ склоняться на почву московскихъ тенденцій. Большею-же частью своихъ предыдущихъ произведеній онъ примыкаетъ всецѣло къ школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, и въ произведеніяхъ этихъ заключается еще болѣе рѣзкій и беспощадный анализъ среды, растлѣнной крѣпостнымъ правомъ, чѣмъ у прочихъ писателей одной съ нимъ школы. Трудно предположить, чтобы гр. Толстой такъ сразу и освободился бы отъ той привычки къ глубокому анализу реальныхъ фактовъ жизни, въ которой та-

лантъ его воспитался и развился. Немудрено, что и „Въ войнѣ и мирѣ“ эта привычка сильно заявляетъ себя. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что реалистъ-аналитикъ постоянно борется въ романѣ съ мистикомъ и часто побѣждаетъ. Въ каждомъ фактѣ романа раскрываются передъ вами какъ-бы двѣ истины: одна—объективно-естественная, лежащая въ самомъ фактѣ, независимо отъ воли художника, другая—субъективно-искусственная, навязываемая художникомъ-мистикомъ. Такъ, напримѣръ, возьмите вы хотя-бы такой рѣзкій фактъ, какъ перерожденіе Пьера. Фактъ этотъ изображенъ у гр. Толстого такъ, что, откинувъ всѣ мистическія умствованія, вы можете объяснить его путемъ вполне реальнымъ, и это именно потому, что гр. Толстой не выдумалъ этого факта, не исказилъ ради него дѣйствительности, а изобразилъ его вполне безпристрастно, оставивши въ немъ ту объективно-естественную идею, которая въ немъ заключается. И потому, вставши на вполне реальную почву, вы должны согласиться съ гр. Толстымъ, что, да, Пьеръ долженъ былъ переродиться послѣ того, что въ немъ произошло, не потому, конечно, что онъ пришелъ въ соприкосновеніе съ исконными русскими идеалами, но потому, что Пьеръ баричъ, Пьеръ, жившій до сихъ поръ отвлеченными идеалами безъ всякаго примѣненія ихъ къ жизни, вдругъ вошелъ въ среду труда, дѣла, въ среду дѣйствительно совершенно особенныхъ идеаловъ, присущихъ всему человечеству труждающемуся, человечеству обремененному, и незнакомыхъ только человечеству пирующему, къ какому бы оно, въ свою очередь, племени ни принадлежало. Войдя въ эту новую среду, проживя вмѣстѣ съ нею ея жизнь, понятно, что онъ освѣжился духомъ, избавился отъ цѣлаго ряда мучившихъ его безполезныхъ рефлексій и сомнѣній, почувствовалъ въ себѣ живое участіе къ людямъ, готовность откликаться на всякую радость и горе ближняго, наконецъ, додумался до признанія возможности для каждого человѣка думать, чувствовать и смотрѣть на вещи по своему. Точно также на вполне реальной почвѣ стоитъ гр. Толстой, описывая, напримѣръ, хотя-бы патріотическіе восторги Коли Ростова въ Тильзитѣ и тотъ исходъ, который Ростовъ далъ своимъ внезапно налетѣвшимъ сомнѣніямъ послѣ тильзитскаго мира. гр. Толстой не поспѣшилъ чувства Ростова и боязню сомнѣній съ его стороны обобщить, какъ нѣчто присущее каждому русскому сердцу, которое по особенному таинственному опредѣленію судьбы будто-бы должно непременно приходить въ восторгъ передъ нѣкоторыми предметами и гнать отъ себя прочь всякія сомнѣнія. Какъ истинный художникъ-реалистъ, гр. Толстой вселилъ эти чувства исключительно въ Колю Ростова, и въ немъ они весьма понятны и естественны, какъ въ гусарѣ, живущемъ однимъ сердцемъ, въ области наивныхъ дѣтскихъ вѣрованій и упованій, и для котораго малѣйшее напряженіе мыслительныхъ способностей тяжело и невыносимо.

Но этой безпристрастной объективности, этого глубокаго анализа, которые составляютъ главное достоинство романа гр. Толстого, у подражателей его вы не найдете. Они или безъ толку нагромождаютъ

свои произведенія образами, взятыми изъ его романовъ, представляя эти образы въ одной ихъ внѣшности и лишая ихъ того глубокаго смысла, въ какомъ выступаютъ они въ романѣ, или-же искажаютъ ихъ, приравнивая къ узкимъ тенденціямъ, которыми задаются. Первымъ занимается преимущественно гр. Салиасъ, вторымъ—Чавъ.

#### IV.

Представьте вы себѣ художника, чуждаго какихъ либо предвзятыхъ тенденцій, приступающаго къ изученію той или другой исторической эпохи съ цѣлю написать историческій романъ изъ этой эпохи. Казалось-бы, что если у художника есть хоть крупница свободнаго творчества и если въ своемъ изученіи онъ будетъ стоять на вполнѣ объективно-реальной почвѣ, то въ результатѣ изученія у него долженъ будетъ явиться рядъ образовъ, вполнѣ своеобразныхъ, принадлежащихъ этой эпохѣ, а не какой-либо другой, выражающихъ ея нравы, духъ, преобладающіе типы. Представьте же вы себѣ XVIII вѣкъ, столь богатый самыми яркими красками, столь рѣзко отличающійся и нравами, и характерами, и событіями, возьмите къ тому же такой важный моментъ этого вѣка, какъ пугачевскій бунтъ, — казалось-бы, здѣсь-ли не разгуляться творчеству мало-мальски сильному и свободному? Здѣсь, что ни человекъ, то типъ, и типъ совершенно особенный, своеобразный, который вы только и можете найти, что въ XVIII вѣкѣ, въ царствованіе Екатерины. А сколько разнообразныхъ до безконечности драматическихъ сюжетовъ можете вы придумать на этой почвѣ, богатой всевозможными столкновеніями страстей, высокаго самоотверженія и безчеловѣчнаго своекорыстія, утонченной гуманности, основанной на изученіи передовыхъ мыслителей вѣка и дикаго звѣрства Киргизъ-Кайсацкихъ степей. Я полагаю, что при разнообразіи и рѣзкости красокъ этой эпохи, не нужно даже особенно сильнаго таланта для того, чтобы написать произведеніе вполнѣ оригинальное, въ которомъ ни одной черты не было-бы откуды-либо заимствованной, каждая принадлежала-бы изображаемому вѣку.

И что же мы видимъ въ романѣ гр. Салиаса? До какой степени творчество автора сковано московскими тенденціями, когда даже изъ этой богатой эпохи онъ ничего не могъ вынести, кромѣ все той же неизмѣнной фабулы романовъ Русскаго Вѣстника, скелетъ которой былъ выше представленъ мною!

Такъ на первомъ же планѣ рисуется передъ нами все тотъ же пресловутый герой Русскаго Вѣстника, гордый, непреклонно-твердый, храбро отважный охранитель князь Данило Родивонычъ Хвалынскій, генеалогическому древу котораго гр. Салиасъ посвящаетъ три страницы (ст. 62, 63, 64), причежъ мы подробно узнаемъ весь родъ Хвалынскихъ, начиная съ татарина Хаванъ-Атръ-Мира, плѣннаго Іоанномъ Грознымъ въ Казани, переведеннаго въ Москву и положившаго начало славному роду князей Хвалынскихъ.

Послѣ участія въ турецкомъ походѣ, князь Данило, на пути въ отцовскую усадьбу Азгаръ, заѣзжаетъ

къ одному отцовскому знакомому богатому помѣщику, опальному московскому боярину Артемію Никитичу Соколь-Уздальскому, съ генеалогическимъ древомъ котораго гр. Салиасъ въ свою очередь знакомить насъ еще съ большими подробностями (см. стр. 25—30).

Артемій Никитичъ оказывается играющимъ роль своего рода нигилиста XVIII вѣка. Онъ участвуетъ въ различныхъ тайныхъ обществахъ, распространяетъ прокламаціи и съѣтъ смуту, подготавливая такимъ образомъ пугачевскій бунтъ. Князь Данило, какъ только прѣзжаетъ къ нему, такъ сейчасъ-же и начинаетъ свое донкихотское поприще въ духѣ московскихъ тенденцій, сдѣлаясь съ этимъ коварнымъ крамольникомъ своего времени.

— Масонъ! Масонъ! говоритъ Артемій Никитичъ: — а что такое масонъ? Стали швыряться новымъ словомъ, а что оно означаетъ? Никому не вѣдомо. Въ Бога не вѣришь: масонъ! Екатерину Великую не почитаешь: масонъ! Науками занятъ или въ гости мало ѣдишь: опять масонъ! А то и воръ—масонъ!

— Я свое поясненіе имѣю масону, выговорилъ князь холодно:—недовольный, завидующій лѣзъ къ дѣламъ государства и не попалъ, обойденъ наградами, забился въ темный уголъ, чтобы оттуда вредить всеячески правленію государыни.

— Это все я? захохоталъ старикъ, остановясь передъ княземъ.

— Нѣту, не ты. Ты отъ праздности, или такъ, прости за откровенное слово, съ жиру!

— Съ жиру! Я! Ладно! Инъ быть по твоему. Пусть будетъ съ жиру. А неурядица, нестройство всего отечества, разбой, смертоубійство, раскольничьи безобразія въ дѣсахъ? Самозванство на Приволжѣ, атаманство, душегубство! А войны безконечныя: то на турокъ лѣземъ зря, то не въ свое дѣло мѣшаемся. Слышь, поляка дѣлать. Да съ кѣмъ? Съ нѣмцами! Вѣдь это все одно, что родного брата жида продавать. Вы воюете, кресты да вотчины съ тысячами душъ себѣ загребаете, а православный народъ рекрутчиной, да алтынами отбоивайтесь! А тягости подушныя, поземельныя, да еще тамъ всякія. А волонята приказная, судьи да палачи, да плети, да Сибирь на праваго и виноватаго?

— Полно, прежде-то болѣе правды въ судахъ было, какъ мѣшокъ-то ходилъ и кричалъ на улицахъ, да курляндцы русскихъ судили! молвилъ князь.

— Я про тѣ времена не говорю, я про свои сказываю и равняю съ нынѣшними. Ты въ разныхъ Гирсахъ или Букарештахъ воевалъ... Вотъ теперь насмотришься на наши Букарешты, какъ у насъ своя турка приказная нашу-же кровь пьетъ. Увидишь невиданное сребролюбство да мздоимство. Ты вѣдаешь-ли, какую народъ поговорку сказывается про Господа Бога? Сказываютъ: почто Бога бояться, онъ не приказный; знать одолѣли! Тебѣ хорошо? А ты возари на государство. Чума! Чума!

Князь разсмѣялся и бросилъ тесемку на столъ.

— Чему ты радуешься?

— И въ чумѣ виновата государыня?

— Я не про эту чуму сказываю. Я про всероссійскую приказную чуму. А про московскую тоже скажу: охранять края государства правительская забота.

— По твоему будь теперь императрица Елисавета аль Петръ Ѳеодоровичъ, не было-бы и чумы въ Москвѣ, аль была-бы излѣченная?

Князь засмѣялся. Артемій Никитичъ не отвѣчалъ и послѣ минутнаго молчанія выговорилъ насмѣшливо:

— Объявила она тоже нѣмцамъ изъ Риги, что я-де, молъ...

— Кто она? отчетливо и холодно произнесъ князь.

— Екатерина Алоксѣевна: одна у насъ царица. Царьковъ-то много развелось! схибно процѣдаль сквозъ зубы Артемій Никитичъ. — Сербская принцесса Хламида Угаровна! прибавилъ онъ и захохоталъ.

Князь Данило вспыхнулъ, всталъ и вдругъ выговорилъ громко и повелительно:

— Была Ангальтъ-Цербская принцесса, а нынѣ великая монархія всей Россіи, императрица Екатерина Великая, которой я, князь Хвалынский, присягалъ въ долгъ службы и въ вѣрности противу всякаго супостата иноземнаго и отечественнаго, а потому не подобаетъ мнѣ слушать болѣ твои крамольничьи рѣчи...

Наступило молчанье.

Эта сцена, и особенно заключеніе ея, вполне опредѣляетъ роль, которую предоставлено играть герою въ романѣ, и онъ остается вѣренъ этой роли до конца.

Такъ, простившись съ Уздальскимъ, на пути въ Азгаръ, онъ случайно сталкивается съ клеветомъ Уздальскаго, мѣщаниномъ Долгополовымъ, везшимъ на Волгу пачки прокламацій, арестуетъ его, захватываетъ прокламаціи, узнавши по тесемочкамъ, которыми онъ были перевязаны, кто былъ ихъ виновникъ, и восклицаетъ:

— Ну, старый тетеревъ, добро-же! Самъ сатана тебя мнѣ въ руки пихаетъ.

А сдѣлавши полицейское дознаніе, князь приходитъ еще въ большую ярость.

— Саморучно убилъ-бы стараго пса, не взирая на его хлѣбъ-соль, подумалъ князь и сжалъ кулаки.

Затѣмъ князь, проѣздомъ черезъ Казань, попадаетъ на губернаторскій балъ и въ ужасѣ видитъ, что зала наполнена плѣнными конфедератами и танцуютъ что же вдругъ, о ужасъ! мазурку!

— Гдѣ я? невольно выговорилъ онъ громко.

Появленіе въ дверяхъ статной фигуры неожиданнаго гостя и новаго, еще невиданнаго гвардейскаго мундира очевидно произвело точно такое же сильное впечатлѣніе.

Музыка гудѣла, но притоптыванье стихло; нѣсколько паръ сбилось въ кучку, и всѣ обернулись къ вошедшему.

Иванъ уже подбѣжалъ къ брату.

— Скажи, Ваня, гдѣ мы съ тобой, и что эта притча въ языцѣхъ?

— Что? Какъ? А то новый плясъ, второй разъ ужъ его, сказываютъ, въ Казани пляшутъ. Я еще его самъ не видывалъ и не знаю.

— А эти селѣнные: конфедераты, французскіе офицеры, турки, весь этотъ страшный стонъ селѣнныхъ? Что здѣсь острогъ или губернаторскій домъ? Толкучка или балъ?

— Тише, братецъ, услышать.

— Пусть слышатъ. Когда я говорю дѣло, то говорю громко. Срамота!

— Да чего вы осерчали? Я въ толкъ не возьму. Это все плѣнные. Вы же сами воевали и забрали. Полагать надо, вы тутъ знакомыхъ повстрѣчаете, разсмѣялся князь Иванъ. То-то не чаялось встрѣтиться на балѣ, послѣ воеводства.

— Тогда здѣсь не мѣсто офицеру гвардіи.

Къ довершенію ужаса офицеръ гвардіи встрѣтилъ въ лицѣ Яна Бжегинскаго того самаго поляка, который при штурмѣ краковской цитадели едва не убилъ его, ранивъ ударомъ сабли въ плечо. Князь, конечно не замедлилъ поссориться съ своимъ прежнимъ врагомъ, воспользовавшись тѣмъ предложеньемъ, что Янъ Бжегинскій, приглашая даму на танецъ, нечаянно поставилъ локоть недалеко отъ лица князя. Ихъ сей-

часъ же разняли, но отважный боецъ съ врагами отечества и непреклонно твердый охранитель не замедлилъ разразиться слѣдующею угрозою:

— Добро, вымолвилъ Данило, смѣясь сухо и отходя:—завтра я соберу моихъ лихачей и его какъ жидъ выпорю нагайками на дому.

Какъ видите, не обходится романъ и безъ пресловутой коварной польской интриги. Оказывается въ концѣ концовъ, что и пугачевскій бунтъ поднять былъ все тою же коварною польскою интригою. По крайней мѣрѣ, изъ романа явствуетъ, что вотъ онъ какъ начался:

Все у того же мятежнаго Артемія Никитича былъ внукъ Вячеславъ, рожденный отъ племянника его Алексѣя и польки Людовики. Когда отецъ и мать у Вячеслава умерли и онъ остался на попеченіи дяди, однажды, послѣ долгой бесѣды съ Артеміемъ Никитичемъ, онъ исчезъ: Артемій Никитичъ сначала сказалъ, что юноша уѣхалъ въ Польшу погостить къ теткѣ, родной сестрѣ своей матери, а черезъ полгода объявилъ, что Вячеславъ не хочетъ возвращаться въ Россію и проситъ все свое имущество продать, а деньги переслать къ нему въ Краковъ. Съ той поры никто ничего не слыхалъ о Вячеславѣ. Что было съ нимъ въ Польшѣ, авторъ объ этомъ не распространяется, но довольно того, что возвращается онъ оттуда съ намѣреніемъ сдѣлаться самозванцемъ, и дѣлается имъ, возмущая Яксайскую станицу. Надо полагать, что въ Краковѣ на Вячеслава, во все время пребыванія его тамъ, неустанно вліяла польская интрига и подготовила его къ смѣлому замыслу, при чемъ, конечно, не мало дѣйствовала тутъ въ сообществѣ съ іезуитами и любовь каковой нибудь обольстительной панни съ честолюбіемъ Марины Мнишекъ, какъ это можно судить по слѣдующимъ мечтаніямъ Вячеслава, нужно по правдѣ сказать, плѣнкомъ взятымъ изъ „Бориса Годунова“ Пушкина.

«Изъ-за чего? думать молодой малый. — Жить-бы тихо и мирно, въ уголкѣ своемъ, не затѣвая погребельныхъ подвиговъ. Пожелала она много... громче да славнѣе, и сгубить. А если... Если суждено и мнѣ...»

И чудная картина возставала на глазахъ его. Кремль златоглавый... звонъ колокольный... Толпы несметныя и оглушительныя клики... Стоить онъ на краю стѣны зубчатой, и у ногъ его кишеть этотъ людъ... Она около него, ея рука въ его рукѣ...

Такимъ образомъ и оказывается, что начало пугачевского бунта положила все та же польская интрига. Самозванцемъ явился не прямо Пугачевъ, а этотъ самый Вячеславъ, креатура польской интриги въ союзѣ съ крамольническимъ русскимъ бояриномъ Соколомъ Уздальскимъ. Пугачевъ же сдѣлался самозванцемъ уже впоследствии, когда казаки, недовольны будучи гуманной мягкостью Вячеслава и его отвращеніемъ отъ кровожадности, рѣшились отдѣлаться отъ него; этимъ и воспользовался Пугачевъ: при помощи казака Чики, ночью въ степи онъ убилъ Вячеслава, бросилъ трупъ его въ рѣку и объявилъ самого себя Петромъ III.

Положивши начало пугачевского бунта, коварная польская интрига не дремала и во все его продолженіе: такъ Янъ Бжегинскій отправился въ войско Пугачева, сдѣлался его главнымъ подручникомъ,

устроилъ ему артиллерію на санкахъ, а братъ его Казиміръ, хитрый, сосредоточенный іезуитъ, держалъ въ рукахъ нити настоящей польской интриги, велъ огромную переписку съ разными европейскими дворами, съ Турціей и съ польскими іезуитами и въ концѣ концовъ собственноручно отравилъ Бибикова, когда тотъ началъ одолѣвать мятежниковъ.

При описаніи этой польской интриги бросается въ глаза еще одинъ рутинный приѣмъ, весьма часто встрѣчающійся въ романахъ „Русскаго Вѣстника“: писатели этихъ романовъ, имѣя, конечно, въ виду свои московскія тенденціи, любятъ изображать недоумѣніе народа, не понимающаго изъ чего польскіе или русскіе революціонеры, будучи баричами, стараются мутить его или становятся во время бунта въ его ряды, пда такимъ образомъ противъ своихъ-же. Такъ въ романѣ Салиаса Пугачевъ представленъ непонимающимъ, изъ-за чего Янъ Бжегинскій явился вдругъ такимъ усерднымъ его сподвижникомъ.

— Постой на часъ! остановилъ его Пугачевъ.— Чуденъ ты. Съ какого ты рожна ко мнѣ вышелъ отъ нихъ?.. Денегъ тебѣ не надо... Вина не пьешь... Не изъ холоповъ, изъ добродѣевъ... А? Аль опять не отвѣтишь?

Бжегинскій молчалъ и смотрѣлъ въ уголъ на осѣмьконечные кресты бѣлыхъ знаменъ, недвижно повиснувшихъ въ воздухѣ.

— Они-то всё... мой-то... Что казаки, что татары все одно вѣдь... Изъ-за дубины за шашку схватились. Будь ихъ жизнь хорошая—ихъ-бы ко мнѣ въ становище калачемъ не заманилъ никакаго шайтанъ... Да и я то... Я то... развѣ... Э-эхъ!...

Пугачевъ махнулъ рукой и замолчалъ на мгновение.

— Кабы мнѣ ходъ былъ въ люди, горячо молвилъ онъ.—Я былъ въ прусской-то войнѣ не изъ послѣднихъ... Изъ кожи лѣзъ. Ну вотъ. Въ асаулы начальство не пустило—въ цари вышелъ... Почешутъ нынѣ затылки-то... Да не обо мнѣ рѣчь. Ты скажи, съ чего лѣзешь. А?

— Тебѣ этого Емельянъ Ивановичъ не смекнуть. Брось! Прости, сказалъ Бжегинскій.

— Нѣтъ, постой. Я, братъ, многого чего не вѣдаю по моей малограмотности и простому состоянию, но коли мнѣ пояснить, я все пойму... мнѣ вотъ одинъ про звѣзды въ Польшѣ толковалъ. Я все понимаю... Ты полоненный... Такъ! смекаю, назадъ хочешь, что-ль... Помочь тебѣ бѣжать до Витки я смогу, чрезъ иргизскихъ старцевъ, цѣлехонекъ у меня дойдешь до Варшавы.

— Нѣтъ! Спасибо!

— Стой! Ты не мыслишь-ли, что я иначе пригожусь, что я впрямъ въ царяхъ буду въ Москвѣ сидѣть на престолѣ... Ни-и! Изъ грязи да въ князи! не можно брать! День мой—ну и вѣкъ мой! Я токъмо погуляю гораздо по Россіи. Пусть галдятъ обо мнѣ! ну чтожъ молчишь, не откроешься. Ну Богъ съ тобой, спасибо за службу. Ступай. А нужда будетъ, приди и сказывай. Все сдѣлаю, что могу».

Подобная сцена наглядно показываетъ вамъ, до какого отсутствія всякаго соображенія можетъ довести человѣка тенденціозная рутинна. Пожалуй, можно допустить безъ труда недоумѣніе захолустнаго мужика, къ которому является вдругъ баринъ во фракѣ и пачинаетъ проповѣдывать революцію, но вы представьте себѣ Пугачева, участвовавшаго въ прусской кампаніи, бывшаго въ Польшѣ, гдѣ ему даже звѣзды показывали, представьте себѣ Пугачева, сознательно стягивавшаго въ свой станъ всѣ недовольные эле-

менты, и онъ вдругъ наивно не понимаетъ, для чего Янъ Бжегинскій пришелъ къ нему! Сметливый, хитрый и постоянно держащій ухо востро, Пугачевъ сталъ-бы вдругъ, ни съ того, ни съ сего изливать свою душу передъ первымъ проходившемъ! Если на него находили минуты унынія и невѣрія въ успѣхъ своего дѣла, то скорѣе всего передъ своимъ-же братомъ казакомъ онъ могъ излить свое горе, а ужъ никакъ не передъ человѣкомъ, на котораго онъ смотрѣлъ, какъ на чужого, и зналъ, повѣрьте, очень хорошо зналъ, зачѣмъ этотъ чужой человѣкъ пришелъ къ нему, и безъ сомнѣнія понималъ, что не разочаровывать нужно этого полезнаго помощника, а напротивъ всячески привлекать надеждами на успѣхъ и обольстительными обѣщаніями впереди относительно его отчизны, держать съ нимъ, однимъ словомъ, политику, въ противномъ-же случаѣ, Пугачевъ, мало того, что терялъ лучшаго изъ своихъ полководцевъ, но кромѣ того наживалъ опаснаго врага, который, уйдя изъ своего стана, могъ разгласить повсюду, что Пугачевъ вовсе не страшень, что это больше ничего, какъ заматавшійся воръ, и дѣла его такъ плохи, что и самъ онъ не надѣется на успѣхъ.

Встрѣтите вы въ романѣ Салиаса и еще одну особенность, общую у него со всѣми московскими беллетристами:—именно страсть вводить сверхъестественный элементъ въ описываемыя событія. Я не берусь рѣшать, какъ развилась эта особенность въ московской беллетристикѣ, явилась-ли она въ оппозицію разнымъ измамъ, или-же беллетристы искренно вѣрятъ во всякую чертовщину, и эта вѣра сохраняется въ Москвѣ, по старой традиціи со временъ Домостроя и Котошихина, можетъ быть даже, вѣра эта на раду съ генеалогіями героевъ составляетъ особенный великосвѣтскій шикъ, за которымъ такъ гонятся нѣкорые изъ беллетристовъ „Русскаго Вѣстника“, но только ни одинъ изъ романовъ этихъ беллетристовъ не обходится безъ прिवидній, предсказаній, вѣщихъ сновъ и проч. Не обошелся безъ чертовщинки и гр. Салиасъ въ своемъ романѣ. Правда, настоящихъ привидній, которыя являлись-бы съ того свѣта, вы у него не найдете, развѣ только сумасшедшій шутъ Михалка, незаконнорожденный братъ князя Родивона Зосимовича, азгарскаго барина, пугаетъ князя, перерядившись въ красный мундиръ умершаго князя Зосимы, но предсказанія и вѣщія сны вы встрѣтите въ романѣ на каждомъ шагу. Такъ, герой романа, князь Данило, видѣлъ два раза повторявшійся сонъ, будто онъ лѣзъ черезъ высокую стѣну по грудѣ камней, среди пламени и несъ въ рукахъ дѣвицу съ черной косою, которая поцѣловала его, и затѣмъ оба они упали въ пропасть. Сонъ этотъ въ послѣдствіи буквально сбылся: князь дѣйствительно встрѣтилъ въ лицѣ Милуши ту самую дѣвицу, которую видѣлъ во снѣ, женился на ней, прозрѣвши въ этомъ свою судьбу и воскликнувши: „Да будетъ Его святая воля! сужена ты мнѣ, Милуша, и я беру тебя безъ трепета ложнаго“. Въ послѣдствіи сонъ окончательно сбывается: во время казанскаго погрома князю дѣйствительно приходится переносить жену среди пламени черезъ стѣну и, поцѣловавшись, упасть съ нею со стѣны на аршинномъ разстояніи отъ земли.

— Упали! Ну, вот и весь мой сон! Слава Богу! восторженно воскликнул Данило. Во снѣ дальшаго ничего не было! А на яву? Будетъ?! Будетъ?! Мужиченокъ ты мой... (Милуша была переодѣта мужикомъ въ это мгновеніе).

— Будетъ... страстно шепнула Милуша, прижимаясь къ мужу.

Янъ Бжегинскій въ свою очередь оказывается магомъ и хиромантикомъ. Такъ онъ гадаетъ по рукѣ Паранѣ Уздальской и предсказываетъ ей ея будущую судьбу.

— Ну! ну! Когда я выйду замужъ и за кого? спросила Параня, усмѣхаясь и косясь на Ивана.

— Вы никогда замужъ не выйдете!

— Никогда! Вотъ какъ, и солгалъ... и солгалъ!.. У меня можетъ и женихъ уже есть.

— Такъ линія показывается.

— Долго-ли я проживу?

— Очень, очень... очень не долго, пани, смѣясь продолжалъ Бжегинскій.

— Нѣтъ... Я много хочу. Сто лѣтъ.

— И умрете вы не простою, а страшною смертію. *Serieuement, je vois là une mort terrible*, прибавилъ Янъ, обращаясь къ Дювалю, и предсказаніе Яна Бжегинскаго сбылось буквально: Параня дѣйствительно умерла ужасною смертію: она была приязана мятежниками къ хвосту лошади.

Сама эта Параня является въ романѣ вѣщю дѣвою, разыгрывавшею во время осады Янцка роль Иоанны д'Аркъ, прозванная осажденнымъ гарнизономъ ангеломъ и разразившаяся подъ конецъ пророчествомъ, поистинѣ чудеснымъ. Такъ она явилась къ одному изъ начальниковъ гарнизона, Симонову, въ среду на страстной недѣлѣ, и въ экстазѣ проглаголила:

— Радуйтесь и веселитесь! За утро спасены! будете до 12-ти Евангеліевъ. Симоновъ посмѣялся надъ этимъ пророчествомъ, но на другой день дѣйствительно въ крѣпость явился цѣлый отрядъ изъ мятежнаго войска съ повинной головою, ведя трехъ связанныхъ пугачевскихъ комендантовъ и таща съ собою хлѣба, муки и всякой провизіи, а черезъ четыре дня прибыли въ крѣпость войска генерала Мансурова.

Параня показала Симонову на ворота и молвила:

— Отворите! Взыскалъ Господь... Перекрестившись три раза, она глянула на свѣтлое небо и шепнула: славенъ Господь на небеси и расточаетъ враги егo!..

Самъ Пугачевъ, когда одинъ изъ его приближенныхъ казаковъ, Шигаевъ, выразилъ свое недоумѣніе по тому поводу, что зачѣмъ онъ милуетъ казака Лысова, открыто высказывающаго враждебные замыслы противъ Пугачева, разразился цѣлымъ рядомъ тяготившихъ надъ нимъ предсказаній:

— Я чтой-то и не смекну, сказалъ Шигаевъ. — Что онъ тебѣ, батька съ маткой, что-ль?

— Скажу я тебѣ... Боязно мнѣ трогать его поганого, а то-бъ давно сжилъ. Были мы въ Сакмарскомъ городкѣ на свадьбѣ, какъ Татишеву еще только одолѣли. Ну была тамъ ворожея, аль колдунья... Изъ Сибири что-ль сказывалась... Тебя не было, ты еще валялся отъ убійства старшинскаго... Ну вотъ эта вѣдьма ворожила намъ... Мнѣ, русачку тому, да Лыскѣ — троицѣ... И говоритъ: эхъ, тѣснота молодцамъ на бѣломъ свѣтѣ... Помрутъ русыя да рыжіе не своей смертію, а кто ихъ угодить, двадцать недѣль проходить.

— У-ухъ! отозвалась вдругъ Фаина Ѳоминашна, словно испугалась чего.

— Мнѣ тогда не въ домекъ было... А теперь я это смекаю... А еще то-же сказывала: высоко поле-

тишь — далече упадешь и на четыре части развалишься.

— У-ухъ! снова отозвалась Фаина Ѳоминашна. — Во всю ночь теперь не засну!

— А вотъ помню я тоже... какъ былъ я въ Польшѣ на Вяткѣ, задумчиво продолжалъ Пугачевъ. — Иду разъ селеньемъ, мнѣ невѣдомымъ, дорогою... Дѣвчонка у колодца двухъ коней поить. Ведерка большущая и не справится... Я взялъ у ней коней, напоилъ, да и спрашиваю, какъ мнѣ ближе на границу пройти... А она говоритъ... Иди, иди, на царство придешь... Да, такъ и сказала чудно.

Да, поистинѣ чудно, можетъ и мы въ свою очередь сказать гр. Саліасу.

Впрочемъ надо замѣтить, что гр. Саліасъ не вполнѣ и не во всемъ вѣренъ тенденціи „Московскихъ Вѣдомостей“; происходитъ-ли это отъ молодости и неаппетитности, или можетъ быть у гр. Саліаса такой-же складъ ума, что ему трудно твердо удержаться на какой-нибудь тенденціи и остаться ей логически послѣдовательнымъ до конца, но только онъ открываетъ намъ вдругъ такіа завѣсы, какія прочіе его товарищи, беллетристы „Русскаго Вѣстника“, тщательно соблюдаютъ закрытыми. Еще ни въ одномъ московскомъ романѣ герой „Московскихъ Вѣдомостей“, гордый и непреклонно-твердый охранитель, не представлялся въ истинномъ своемъ свѣтѣ, каковъ онъ есть въ дѣйствительности: постоянно онъ пародируетъ въ романахъ героемъ въ истинномъ смыслѣ этого слова, исполненнымъ и храбрости, и честности, и, главное дѣло, ума въ своей борьбѣ съ неблагоназванными элементами общества; всѣ дѣйствія его клонятся ко благу, всѣ отношенія его къ людямъ преисполнены бываютъ самой безукоризненной нравственности и гуманности, и привлекаютъ къ нему сердца иногда даже заклятыхъ враговъ его. Гр.-же Саліасъ въ дальнѣйшемъ развитіи романа представилъ своего князя Данилу Хвалынскаго въ такомъ явно-неблаговидномъ свѣтѣ, что на страницахъ „Русскаго Вѣстника“ герой этотъ сдѣлался какъ-бы обличеніемъ изнанки всѣхъ подобныхъ ему высокодоблестныхъ охранителей, пародирующихъ на страницахъ этого журнала.

Мы не будемъ много распространяться о его отношеніяхъ къ женѣ Милушѣ, въ которыхъ онъ является безъ всякихъ преувеличеній негодяемъ въ высшей степени. Женившись, зря, вслѣдствіе вѣщаго сна, онъ скоро охлаждаетъ къ своей женѣ и бросаетъ ее на волю судьбы, увлекшись общественною дѣятельностью. Несчастная женщина среди общаго переполоха, послѣ ужасной смерти отца ея, заживо сожженного въ своей усадьбѣ возмущившимися крестьянами, попадаетъ въ руки своего прежняго жениха Андрея Уздальскаго, который, пользуясь ея неопытностью, опанываетъ ее и безчеститъ. Узнавши объ этомъ, князь Данила схватываетъ обольстителя при содѣйствіи своей дворни, привозитъ его въ свою усадьбу и предаетъ истязаніямъ публично въ присутствіи толпы своихъ холоповъ. Что-же касается до жены, то тщетно, она, любящая его до мозга костей, у ногъ его умоляла о прощеніи и доказывала свою невинность, князь не переставалъ терзать ее упреками, проклятіями, самую площадную бранью, отталкивалъ ее отъ себя безъ малѣйшей жалости, силою заключилъ



ее въ монастырь, а потомъ, послѣ минутнаго перемпрія и мелькнувшей прежней пѣжности — въ ея же почти глазахъ нагло памѣнилъ ей на дикую и развратную татарку, — и кончилось все тѣмъ, что Милуша ушла отъ него неизвѣстно куда, можетъ быть, на вѣрную и ужасную смерть.

Не вдаваясь въ излишнія подробности всей этой возмутительной драмы, мы лучше обратимъ вниманіе, на общественную дѣятельность князя Данилы, гдѣ прославленный герой „Русскаго Вѣстника“ и является въ своемъ настоящемъ видѣ.

Во время разгара мятежа, князь, конечно, преисполняется жаромъ разпѣ враговъ отечества. Но онъ слишкомъ гордъ, чтобы скромно причислиться къ какому нибудь изъ дѣйствовавшихъ полковъ, подъ чье нибудь начальство, онъ рѣшается дѣйствовать самостоятельно, снаряжаетъ изъ своихъ холоповъ и охотчихъ наемниковъ свой собственный *режиментъ черныхъ гусаръ*, стоившій ему нѣсколько тысячъ рублей помимо содержанія. „Люди охотники и наемщики, читаемъ мы въ романѣ, набировавшиеся быстро изъ того люда, что кишѣлъ теперь всюду по городамъ и по дорогамъ, безъ вида, безъ стана, безъ хлѣба и часто безъ совѣсти, потерянной повешному и поневолѣ съ холоду и съ голоду. И многіе молодцы, тянувшіе до батюшки явленнаго царя, попали въ черные гусары и охотно, весело (а главное, сытно и тепло) поскакали съ княземъ-командиромъ усмирять того-же явленнаго батюшку и его сподвижниковъ“.

Вы, можетъ быть, подумаете, что князь Данило со своимъ чернымъ regimentомъ отправился прямо на пугачевцевъ? Ни чуть не бывало. Онъ просто началъ нападать на мирныя селенія, жечь, грабить и вѣшать, не разбирая ни праваго, ни виноватаго и считая всѣхъ крестьянъ безразлично мятежниками.

«Жегъ, билъ и вѣшалъ, читаемъ мы въ романѣ, все и всѣхъ попадавшихся подъ руку на пространствѣ отъ Бугульмы до Юзеевой и между прочимъ *сбрилъ* три большія татарскія деревни. Благодаря этому, душъ восемьсотъ, оставшихся вдругъ безъ крова и хлѣба, тучей двинулись въ Берду, побросавъ женъ и дѣтей, но унося съ собою звѣрскую ярость и злобу на царицыны порядки и полки. Черный regimentъ въ двѣ недѣли навелъ ужасъ на провинцію, и его боялись, какъ если-бъ то былъ легионъ чертей...»

Въ концѣ концовъ подобной дѣятельности князь Данило чуть не заporолъ до смерти настоящаго воеводу Царицына, принявши его за пугачевского воеводу.

Немудрено, что Бибииковъ, узнавъ обо всѣхъ этихъ подвигахъ князя, сдѣлалъ о немъ слѣдующаго рода похвальный отзывъ.

— Герой! Veni, vidi... и перваго, кто подвернулся — на висѣлицу! или изъ пестодета! Самъ — и сыщикъ, и судья, и палачъ. Три села сжегъ, а куда пошли погорѣльцы — въ Берду!.. Царицѣ услужилъ?..

— Это знаменитый князь Хвалынский? почтительно спросилъ Куницынъ.

— Знаменитый?! Эдакихъ знаменитыхъ я тебѣ, голубчикъ, роту наберу, а коли влѣзутъ въ одинъ мѣшокъ, то и въ воду ихъ!..

— Человѣкъ, сказывали мнѣ, нелюбезный... для общества.

— Человѣкъ? вадохнулъ Бибииковъ задумчиво. — Вѣдую это слово, голубчикъ мой. И всего-то мудренѣе человѣкомъ быть... Я вотъ какъ стараюсь

сего званія добиться. А должно и умру, не добьюсь!.. А онъ-то... Хвалынский-то? Много ихъ на Руси такихъ. Вотъ они что!.. показалъ Бибииковъ на ящики изъ возка. — Осина подъ орѣхъ.

Неправда-ли, читатель, какъ мѣтко и правдиво въ лицѣ князя Данилы гр. Саліасъ обличаетъ донъ-кихотство своего-же лагеря. Что-же такое этотъ князь Данило, какъ не представитель многочисленныхъ героевъ московскихъ тенденцій, которые, воображая себя охранителями, съ такимъ-же слѣпымъ азартомъ набрасываются на все и вся, повсюду подозрѣвая измѣны и интриги, готовы всю Русь крещеную заподозрить во всевозможныхъ измѣхъ, и въ результатѣ ихъ дѣятельности оказывается тоже самое приниженіе своихъ за чужихъ и тѣ-же медвѣжьи услуги начальства, охранителями которыхъ они являются? По моему мнѣнію, личность князя Данилы, — это самая живая черта въ романѣ.

Рядомъ съ такимъ удачнымъ проведеніемъ тенденцій „Москов. Вѣдом.“, вы встрѣчаете въ романѣ, какъ уже выше было говорено, массу заимствованій изъ „Войны и мира“ гр. Толстого, доходящихъ до удивительной безцеремонности. Гр. Саліасъ словно нарочно подрядился переложить сцены „Войны и мира“ на нравы XVIII столѣтія. Для доказательства, какъ близокъ переводъ, мы можемъ привести нѣсколько примѣровъ, наиболѣе выдающихся.

Такъ, вы, конечно, помните, какъ Долоховъ побился объ закладъ съ англичаниномъ, что онъ, сидя на покатномъ выступѣ окна и ни за что не держась, выпьетъ залпомъ бутылку рома. Точно также и въ романѣ гр. Саліаса Ахлатскій бьется объ закладъ съ Туровскимъ, что онъ взѣдетъ на конѣ по лѣсамъ строившейся колокольни до самаго креста, и гр. Саліасъ позаботился обставить подробное описаніе этого путешествія такими-же захватывающими духъ ужасами.

Помните вы въ романѣ Толстого описаніе болѣзни и смерти князя Андрея, отличающееся весьма художественными картинками горячечнаго бреда, перешаннаго съ мистическими размышленіями. У гр. Саліаса вы тоже найдете подобныя-же описанія и горячечнаго бреда, и мистическихъ размышленій, героемъ которыхъ является князь Иванъ Хвалынский, раненный подъ Оренбургомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что представляютъ изъ себя, какъ не варіаціи на описанія гр. Толстаго, хотя-бы подобныя выдержки:

«Это что-то теперь кружится въ немъ, бѣжить — и стучать молоточками. Молоточки эти разные... Вотъ бѣгутъ и стучатъ маленькіе, черные, бархатные молоточки, они добры, они любятъ его. Но вотъ близится одинъ побольше, шершавый; тихо близится онъ — ползаетъ, и вотъ ударилъ изо всей силы и прошелъ, но боль осталась отъ удара. Какъ шапки, опять забѣгали маленькіе молоточки и за ними другіе и третьи, и сотни, и тысячи... Но вотъ опять онъ тащится, тотъ большой молотокъ, огромный, злой!»

А вотъ другая варіація на тему возвращенія сознания:

«И онъ сталъ глядѣть себѣ на блѣдно-желтыя, еще слабыя руки, на протянутыя ноги въ теплыхъ сафьянныхъ сапожкахъ, на грудь и плечи въ бархатномъ мѣховомъ кафтанѣ съ застѣжками.



— Это князь Иванъ Родіоновичъ; такъ всё они зовутъ. Отъ чего мнѣ это все жалко и я это все люблю больше, чѣмъ даже родныхъ? продолжалъ онъ думать, глядя на себя. — Не все-ли равно... А кого я больше люблю, это все или Парашу... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Параню! Параню! Пускай это все пропадетъ, лишь-бы она осталась. Да вѣдь тогда меня не будетъ, мнѣ будетъ все равно, гдѣ Параня? Какъ-же это? Мысли Ивана спутались.

Подобно Пьеру, Иванъ по выздоровленіи почувствовалъ въ себѣ перерожденіе, новыя мысли и взгляды на все, такъ что даже начальникъ его Тавровъ замѣтилъ въ немъ разительную перемену.

— Ты, князь, голубчикъ, разумнѣе сталъ. Вотъ что... Гляди! Похудѣлъ, а похорошѣлъ; глаза свѣтятся, и смѣтливость въ нихъ примѣтна нынѣ. Все лицо румянитъ глядѣть, а не то, что до-днесъ было; бузка какая-то сдобная, да румяная, да умишко съ птичьихъ носокъ...

Разница, впрочемъ, въ этомъ отношеніи заключается въ томъ, что въ романѣ гр. Толстаго Пьеръ послѣ всѣхъ своихъ испытаній и болѣзни дѣлается дѣйствительно совершенно инымъ, и перерожденіе его для читателя вполне очевидно; между тѣмъ, въ романѣ гр. Саліаса перерожденіе князя Ивана является одной подражательной фразой: князь по выздоровленіи является все тѣмъ-же Иванушкой, и для васъ остается загадкою, въ чемъ заключается перерожденіе его.

Припомните въ романѣ гр. Толстаго замыселъ Пьера убить Наполеона, созрѣвшій въ немъ подъ вліяніемъ масонскаго мистицизма и натянутого сближенія своего имени съ апокалипсическимъ числомъ 666. Въ романѣ гр. Саліаса вы найдете тоже личность, мечтающую убить Пугачева: — это именно Параня, возмнившая, что ей свыше предопредѣлено совершить подвигъ, подобный Юдиен. Въ романѣ гр. Толстаго особенно рельефно выдается по своей художественности и глубокому анализу сцена разстрѣливанія въ Москвѣ мнимыхъ поджигателей, въ числѣ которыхъ является Пьеръ, съ ужасомъ наблюдающій эту сцену и ожидающій своей участи. Въ pendant этой сценѣ и гр. Саліасъ изобразилъ сцену разстрѣливанія захваченныхъ пугачевцевъ, въ числѣ которыхъ пародируетъ князь Иванъ, пришедшій въ лагерь Бибикова съ пугачевскимъ паспортомъ, и точно также авторъ заставляетъ его смотрѣть на эту сцену, испытывая всѣ ужасы ожиданія смерти; точно также неохотно отрядъ исполняетъ возложенное на него порученіе.

Подъ конецъ романа гр. Саліасъ подражаетъ гр. Толстому и въ томъ отношеніи, что точно также старается провести идею, что всѣ историческія событія обуславливаются массовыми движеніями, при чемъ отдѣльныя личности играютъ роль чисто служебную, и не они движутъ массама, а массы ими. Такъ и въ пугачевскомъ бунтѣ, по мнѣнію гр. Саліаса, главную роль игралъ не Пугачевъ, а народное движеніе, выдвинувшее Пугачева, и въ случаѣ если-бы Пугачевъ погибъ или былъ захваченъ въ началѣ возстанія, то бунтъ все-таки шелъ-бы своимъ путемъ, при чемъ роль Пугачева тотчасъ-же была-бы замѣщена другимъ и третьимъ лицомъ, особенно если принять во вниманіе, что въ разгаръ волненія явилось множество Пугачей, каждый съ своей шайкой. Мысль эта, конечно, имѣетъ основаніе, но только разница въ про-

веденіи ея у гр. Толстаго и гр. Саліаса заключается въ томъ, что у перваго историческія личности и массы дѣйствуютъ и совершаютъ событія, вышеозначенную-же идею проводитъ самъ авторъ, обсуждая эти событія; гр.-же Саліасъ заставляетъ самихъ дѣйствующихъ лицъ разговаривать по поводу совершаемыхъ ими событій, и у него простой степной казакъ Чумаковъ читаетъ вамъ лекцію по философін исторіи, причемъ оказывается глубокимъ знаткомъ закона акцій и реакцій, не хуже Стронина, и предсказываетъ новое такое-же народное движеніе черезъ 50 лѣтъ. Но послушаемъ лучше самого философа:

— Я, Емельянтъ, тебя тоже почиталъ. Полагалъ я изъ насъ первымъ тебя-же по многоумію и отвагѣ, потому тебя и допустилъ въ Петры; а не будь тебя, я-бы самъ назвался... Но то времечко, казакъ, бывшемъ нонѣ затануло. Уходилъ ты что-ль? Ахъ набаловался?... Не вѣдаю, но токмо сказываю тебѣ, и вѣрно сказываю... Не тотъ ты нонѣ, Емельянтъ, и не тѣ ужъ тебѣ сани подавай. Не подѣлать тебѣ болѣе никакихъ дѣловъ нигдѣ... Да что и дѣлать-то?... Ты гульнуть хотѣлъ и мы тожъ; и народъ православный тожъ—кто гульнуть, кто обиду очистить... Ну вотъ мы въ полѣ-Россіи сполохъ и учинили... А ты все про себя взялъ... Знаешь ты, сказывается сказка вотъ: тащили казаки изъ Яика карягу въ сто пудъ и гадали, съ чего она легко идетъ изъ воды въ руки, а лягуха большущая, сидѣвшая на карягѣ, то прослышала, и потомъ своимъ товаркамъ и репортуетъ, какъ она молодцамъ карягу изъ воды подавала. Такъ-же и ты, Ивановичъ, все про себя взялъ. Ну вотъ, сунься нынѣ опять на Казань, да Пензу—полагаешь что-ль, паки все по старому будетъ... Вотъ черезъ годовъ пятьдесятъ, али и болѣе—ино дѣло! Холопые подневольные опять понатерпятся отъ господъ — ну положи ихъ... Опять они въ охотѣ будутъ... Полно, братъ, пора, говорю, съ колокольни...

Мы указали только на нѣсколько наиболее выдающихся и бросающихся въ глаза фактовъ заимствованій, между тѣмъ, въ романѣ на каждой страницѣ вы встрѣтите массу мелкихъ и неудовольныхъ заимствованій въ тѣхъ или другихъ чертахъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, въ манерѣ анализировать ихъ мысли и чувства, представлять послѣднія минуты ихъ жизни и проч., и проч.

Тамъ же, гдѣ гр. Саліасъ избѣгаетъ подобнаго обезьянства гр. Толстому, гдѣ онъ поневолѣ остается самимъ собою, тамъ онъ безцвѣтенъ до послѣдней крайности и не имѣетъ никакой собственной физиономіи, тамъ онъ бросается то въ трескучую реторику временъ Марлинскаго, то народничаетъ на манеръ Н. Полеваго и М. Погодина, то напоминая Загоскина, какъ по мелодраматической стереотипности описаній разныхъ пугачевскихъ ужасовъ, такъ и по цвѣтистости слога. Такъ, наприимѣръ, возьмите хотя бы первыя страницы романа, въ которыхъ авторъ силится представить аналогію между народною жизнію и океаномъ. Передъ вами словно будто гимназическое сочиненіе добрыхъ старыхъ временъ господства реторики Кошанскаго:

«Силенъ и грозенъ море-океанъ, но сильнѣе и грознѣе его гулявное, перемѣнчивое море житейское!»

Бываетъ на морѣ-океанѣ: безпредѣльно и неизбылемо стелется живое доно водъ, облитое закатомъ солнца, или обѣятое звѣздною синевой полуночи, или укрытое мглой; горделиво смотрится оно въ да-

декія небеса, спокойное, величавое, словно полное какою-то великою, тайною думой.

Много загадочной жизни въ одушевленномъ, живомъ просторѣ морскомъ. Сверху тишь да гладь, позлащенная солнцемъ, а подъ нею скрыто много...

Бывасть и на морѣ житейскомъ: стоитъ оно въ чудномъ затишьѣ, всюду миръ и покой, также величаво отражаетъ оно и свои далекія небеса, неразгаданныя и непроглядныя разумомъ людскимъ... и проч., и проч.

А вотъ вамъ образецъ народничанья на погодинскій ладъ:

«Въ ту пору, о которой рѣчь пойдетъ, житебыть на Русь святой было ничего. Слава Богу! Времена только были непонятныя, тяжкія времена; безправье да неурядица, грѣхъ да бѣда, просто дымъ коромысломъ по всей землѣ православной. Знать, самый онъ, черный день пришелъ, да заглянулъ на дворъ. За грѣхи что-ль накавалъ Господь? Трудно стало жить, куда трудно! Почитай, даже совсѣмъ нельзя жить. Ложись да и помирай... А то ничего: Слава Богу!..»

Что касается до описанія мятежнаго лагеря, гдѣ гр. Саліасъ тоже принужденъ былъ стоять на собственной почвѣ, то здѣсь онъ, въ свою очередь, безцвѣтенъ и стереотипенъ. Кромѣ мужиковъ Савки да Яшки, ни одного рѣзкаго и опредѣленнаго типа передъ вами: казаки, башкиры, крестьяне, холопы — проходятъ передъ вашими глазами, какъ тѣни кровожадныхъ страшилищъ, жаждущихъ душегубства, пьянства и разврата. Самъ Пугачевъ является блѣдною и неопредѣленною тѣнью какой-то распущенной мамли, которая вѣчно киснетъ подъ гнетомъ своего дѣла и приближенные казаки тщетно стараются всячески ободрить его и поднять въ немъ энергію, и такъимъ онъ является съ самаго начала, между тѣмъ, какъ изъ вышеприведенной нами тирады Чумакова мы можемъ заключить, что такимъ долженъ Пугачевъ являться только въ послѣдствіи, когда дѣло начало клониться явно къ проигрышу, что въ немъ долженъ былъ произойти какой-то переломъ, но этого въ романѣ мы и не видимъ.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ отзываютъ относительно романа гр. Саліаса, которые мнѣ приходилось слышать отъ людей, компетентныхъ въ исторіи и специально занимавшихся XVIII столѣтіемъ. Они говорятъ, что гр. Саліасъ очевидно добросовѣстно изучилъ пугачевскій бунтъ и что романъ его представляетъ несомнѣнную фактическую вѣрность исторіи.

Правда, что и относительно фактической вѣрности можно усомниться, такъ какъ проявляющееся во многихъ лицахъ романа стремленіе пригнать историческіе факты къ московскимъ тенденціямъ, очевидно, не говоритъ въ пользу исторической объективности, а введеніе въ исторію русаго самозванца, предшествовавшего Пугачеву, принадлежитъ прямо къ историческому вымыслу, но допустимъ, что въ большинствѣ своихъ характеристикъ гр. Саліасъ остается вѣренъ исторіи. Мы спрашиваемъ, достаточно-ли для художественнаго романа одной фактической вѣрности? Вѣдь романъ не есть историческая монографія. У серьезнаго художника, берущагося изобразить какую либо историческую драму, должны быть свои особенныя художественныя цѣли, не ограничивающіяся тѣмъ

только, чтобы историческія личности были одѣты въ костюмы, принадлежащіе своему вѣку, говорили архаическимъ языкомъ, думали и дѣйствовали сообразно историческимъ источникамъ и пр. Художникъ долженъ развернуть передъ нами картину исторической борьбы во всей ея драматической коллизіи, показать намъ всѣ ея неизбѣжныя, роковыя причины и ея трагическій исходъ. Такъ художникъ, вздумавшій изобразить пугачевскій бунтъ, долженъ, по нашему мнѣнію, главное вниманіе читателя остановить на картинахъ той всеобщей неурядицы, которая предшествовала бунту — картинахъ помѣщичьяго звѣрства, капелярской волокиты — и съ другой стороны тѣхъ стонъ народныхъ, которые тщетно раздавались повсюду и замирали безъ участія и сочувствія... Картины эти должны представить русскую дѣйствительность того времени въ такой ужасающей правдѣ, чтобы читатель, незнакомый съ исторіей, по однимъ мнѣ, могъ судить, что съ обществомъ, дошедшимъ до такого безправія, неминуемо должно произойти какое-нибудь погрязеніе. Между тѣмъ, гр. Саліасъ на подобныхъ картинахъ останавливается менѣе всего: сухо и безучастно, мелькомъ на нѣсколькихъ страницахъ рассказываетъ онъ о народныхъ бѣдствіяхъ, описывая судьбу Савки и Яшки и ломаясь при этомъ въ пошломъ народничаньѣ, между тѣмъ, какъ весь романъ наполненъ у него описаніемъ по роману гр. Толстого любовныхъ чувствованій и горестныхъ приключеній различныхъ высокопоставленныхъ героевъ, да мелодраматическими сценами грабежей и неистовствъ, исполненными трескучихъ эффектовъ въ загоскинскомъ духѣ. Можете послѣ этого находить, что гр. Саліасъ совершенно вѣрно изобразилъ казанское общество того времени (употребивши, замѣчу въ скобкахъ, для своего изображенія половину красокъ, которыми гр. Толстой обрисовываетъ общество, жившее 40 лѣтъ спустя), но я все-таки буду стоять на своемъ, что гр. Саліасъ обнаруживаетъ въ своемъ произведеніи ничего болѣе, какъ диллетанта во всѣхъ отношеніяхъ: диллетанта художника, диллетанта историка, и диллетанта по отношенію къ тѣмъ тенденціямъ, которымъ служить, и романъ его недалеко отошелъ отъ тѣхъ quasi-историческихъ романовъ, какіе писались 40 лѣтъ тому назадъ Загоскинымъ и Лажечниковымъ, Р. Зотовымъ и Булгаринымъ...

## V.

Чаевъ представляетъ изъ себя совершенно иной типъ, возросшій на почвѣ московскихъ тенденцій. Не говоря уже о томъ, что онъ отличается отъ гр. Саліаса по самымъ тенденціямъ, такъ какъ придерживается болѣе славянофильства, чѣмъ тенденцій „Московскихъ Вѣдомостей“, но кромѣ того, и по самому отношенію къ своимъ тенденціямъ представляетъ не малую разницу.

Такъ въ лицѣ гр. Саліаса мы видѣли диллетанта, порхающаго по цвѣткамъ российской словесности и съ ловкостью почти военнаго человека умѣвшаго скомкать въ общій хаосъ тенденцій „Московскихъ Вѣдомостей“, историческіе факты и образы, взятые изъ

романа гр. Толстого. Чаевъ представляется намъ типомъ знаменитаго ученика Фауста — Вагнера.

Особенности Вагнеровъ хорошо всѣмъ извѣстны. Во первыхъ, они отличаются глубокимъ до мозга костей и рабскимъ проникновеніемъ своимъ ученіемъ и являются въ болѣе степени фанатиками, чѣмъ ихъ учителя; во вторыхъ, они суживаютъ до послѣдней степени ученія, которыми увлекаются, низводя ихъ къ ряду рутинныхъ и пошлыхъ формулъ; и, въ третьихъ, наконецъ, у нихъ есть удивительная склонность увлекаться по преимуществу смѣшными сторонами ученія и доводить эти смѣшныя стороны до послѣдней степени карикатурности. Всѣ эти качества вагнерства вы найдете у Чаева въ обиліи.

Мы не станемъ много распространяться о художественной сторонѣ романа, представляющей сплошной рядъ рабской подражательности гр. Толстому. Еслибы мы захотѣли представить списокъ всѣхъ заимствованій изъ „Войны и мира“, то пришлось бы выписывать весь романъ, потому что какую бы сцену Чаевъ ни задумалъ изображать передъ нами, княжескій домъ или придворный балъ, военный бивакъ или сраженіе, историческаго героя Суворова или романтическаго героя Катенева — во всемъ этомъ такъ и сидитъ гр. Толстой, присутствія же самого Чаева, какъ художника, вы въ романѣ положительно не найдете ни на одной страницѣ.

Что же касается до внутренняго содержанія романа, то здѣсь-то Чаевъ и является передъ нами Вагнеромъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Нужно ли и говорить о томъ, что того глубокаго, объективнаго анализа русской жизни со всѣми ея достоинствами и недостатками, анализа, какой вы встрѣчаете у гр. Толстого, здѣсь нѣтъ и тѣни. Не найдете вы и тѣни хотя бы той философской подкладки, которую подшивали подъ свои разсужденія первые славянофилы. Какъ Вагнеръ, Чаевъ исповѣдуетъ славянофильское ученіе не столько умомъ, сколько сердцемъ: онъ понимаетъ его не иначе, какъ въ видѣ слезнаго умиленія передъ всѣмъ русскимъ, представленія русской жизни въ ореолѣ идеаловъ терпѣнія, смиренномудрія и любви и низводитъ славянофильство до казеннаго кваснаго патріотизма времени „Русскаго Вѣстника“ С. Глинки. Чтобы познакомить читателей съ философіей и витійствомъ сего доблестнаго росса, мы ограничимся двумя, тремя наиболѣе характеристичными мѣстами изъ его романа, исчерпывающими до тла всѣ незамысловатыя идеяшки нашего Вагнера славянофильства.

Вотъ какъ Чаевъ характеризуетъ, напримѣръ, то движеніе вспять, которое, по его мнѣнію, необходимо для всего русскаго общества и которымъ уже увлеклось будто-бы молодое поколѣніе:

«Уже туда, смотрите, въ старину, къ живому, вѣчному ключу народной мудрости кинулось новое наше поколѣніе; чего-то ищеть оно около старыхъ, родныхъ развалинъ, допрашиваетъ ихъ... Но вѣковыя камни нѣмы, пока не отнесется сердцемъ къ старинѣ, къ нимъ вопрошающій. *Туда, въ прошедшее*, кто-то зоветъ русскихъ ратаевъ мысли; спасаютъ памятники народнаго творчества, точно отцовское имущество во время внезапнаго пожара; всѣ смотрятъ съ упованіемъ не на потожковъ, а на пращадовъ; не отъ грядущаго ждутъ обновленія мысли,

сочиненія А. СКАВИЧЕВСКАГО.—II.

возрожденія, а отъ прошедшаго, отъ смолкшей, прежде думали мы, навсегда тысячелѣтней были. И уже не «впередъ», а «стой, осмотришь; никакъ мы позабыли что-то» — нерѣшительно, но ясно произносятся мыслящіе люди; уже хватились многіе, а скоро хватятся и всѣ, весь длинный поѣздъ молодыхъ, богатыхъ силой и надеждами переселенцевъ, что позабыли взять они съ собою пращадную казну, забравъ второпяхъ, вмѣсто богатыхъ аксамитовъ, мѣшковъ съ бурмицкимъ жемчужнымъ зерномъ, самоцѣтновъ-каменной старорусской воды, забравъ новополученную рухлядь, всякій хламъ, который только таготить, обременяетъ путниковъ. Да, мы еще въ дорогѣ... Въ дорогѣ еще Русь. Не потому-ли всѣмъ, отъ ямщика до русскаго поэта, — всѣмъ слышится что-то свое родное въ яркомъ звонѣ вѣщуна-колокольца, въ неудержимомъ бѣгѣ разметающей гривы и ремни удалой тройки? Да, русская, родная наша мысль еще въ дорогѣ. Тамъ, впереди, на синей полосѣ-каймѣ необозримой дали, словно видать родныя кровли, главы, золотые кресты? Брось лишній хламъ; укладывай, не покидай дѣдовскихъ кованыхъ ларцовъ, переселенцы; не вѣрь, будто они пусты и не нужны. Верхомъ грузи этимъ старымъ стареющимъ телѣги, и тогда съ Богомъ, въ путь, тогда «впередъ» съ молитвою и богатырскою пѣснью».

Вотъ этимъ-то и отличаются Вагнеры, что они, какъ начнутъ говорить въ духѣ своего ученія, то говорятъ на чистоту въ самомъ что ни есть крайнемъ духѣ, и уже не ждете отъ нихъ, чтобы они отступили хоть на шагъ отъ своихъ словъ, примѣняясь къ вашимъ убѣжденіямъ или духу вѣка. Умный адептъ славянофильства, видя, напримѣръ, въ васъ прогрессиста, стремящагося впередъ, начнетъ вамъ представлять различные доводы въ пользу того, что идти впередъ это и значить проникаться народными началами и что, не проникаясь ими, нельзя впередъ сдѣлать и шагу, или, если въ васъ преобладаютъ демократическія стремленія, умный адептъ начнетъ вамъ доказывать, что въ проникновеніи народными началами и лежитъ вся суть демократизма; и только одинъ Вагнеръ способенъ вести дѣло такъ наголо, что не обращая никакого вниманія на ваши стремленія, воскликнуть: „съ Богомъ и молитвою, ура!.. Маршъ!.. Назадъ!..“

Одна эта выдержка характеризуетъ Чаева вполне. Надо, впрочемъ, замѣтить, что восторгаясь непрестанно среди всѣхъ своихъ слезныхъ умиленій, Чаевъ не упускаетъ случая каждый разъ дѣлать надлежащія внушенія насмѣшливому лебералу. Такъ, описывая встрѣчу героя своего съ императоромъ Павломъ, Чаевъ изображаетъ тѣ патріотическія чувства, которыя возгорѣлись въ душѣ героя, и при этомъ въ свою очередь не позабыть насмѣшливый либераль:

«Государь приложилъ руку къ шляпѣ и поѣхалъ далѣе; у молодого капитана пробѣжала дрожь по членамъ; зашевелилось, закипѣло какое-то мощное чувство въ груди, — чувство любви, преданности, покорности, знакомое каждому русскому, *зови его, какъ хочешь, либераль*, но оно вспыхиваетъ — это чувство въ русскомъ при видѣ пары; и ошибается тотъ, кто назоветъ его раболѣпствомъ, подобострастіемъ... Нѣтъ, оно чисто, искренно, безкорыстно и живо до сихъ поръ въ золотой душѣ богатыря народа».

Приходя на послѣдней страницѣ романа въ самый яркій разгаръ павоса при созерцаніи русскихъ народныхъ началъ, Чаевъ и тутъ не забываетъ насмѣшливаго либерала:

«Отчего, восклицаетъ онъ: — русскіе купцы, не смотря на безобразныя, возмутительныя, подчасъ, отношенія «хозяина» къ фабричному, сидѣльцу, отчего они ближе къ народу, чѣмъ мы, литераторы? Оттого, что купецъ съ нимъ вмѣстѣ молится, вѣруеть, а мы скептически относимся къ тому, что дороже всего, дороже жизни нашему народу; жизнью онъ жертвовалъ не разъ, но никогда не жертвовалъ своею вѣрою; бѣднякъ, угнетенникъ—и тогъ снимаетъ съ себя крестъ, чтобы не обругать своимъ постыднымъ дѣйствіемъ свитыню... «Но какъ-же мнѣ увѣровать, когда наука идетъ впередъ», возражать можетъ мнѣ: «когда она убѣдительно разрушаетъ міръ моихъ прежнихъ дѣтскихъ вѣрованій?» Да полно, убѣдительно-ли она опровергаетъ то, что и понять-то нѣтъ возможности однимъ умомъ, безъ сердца? Вотъ къ этимъ мнѣющимъ вмѣстѣ съ фасономъ шляпъ ученіямъ нужно-бы относиться скептически. Не ослѣпляетъ-ли вамъ глаза новизна идейки отрицанія—новой вѣды только для того, кто не читалъ Эклезіаста? Не вѣруете-ли вы, какъ мусульманинъ въ пророка, въ мудреца, поставившаго въ основаніе своего ученія предположеніе, гипотезу, которую почему-то приняли за аксіому, за непереложную истину? Нѣтъ?... Такъ отойдите отъ народа; онъ не пойметъ васъ; вы разстались съ нимъ. Народъ не можетъ не вѣровать; какъ пересталъ онъ вѣровать, такъ пересталъ быть народомъ; утра-

тивъ вѣчную идею, его связующую, имъ вносимую въ мировую братчину мысли, онъ потерялъ право на свое существованіе».

Этою выпискою изъ романа Чаева, я могу закончить статью, предложивши только Чаеву передѣлать выписку въ такомъ родѣ:

«Отчего петербургскіе писатели, не смотря на безпощадно отрицательное, скептическое отношеніе къ народу (конечно, въ цѣлой его совокупности), отчего они ближе къ народу, чѣмъ мы, московскіе литераторы? Оттого, что петербургскій литераторъ вмѣстѣ съ нимъ смѣется надъ тѣмъ, что достойно смѣха, и страдаетъ его страданіями, а мы только и дѣлаемъ, что умниаемся передъ тѣмъ, что народъ давно пережилъ и готовится бросить, какъ старую, негодную ветошь. И еще благо намъ, московскимъ литераторамъ, что народъ не знаетъ насъ, а если-бы онъ насъ узналъ, если-бы въ нашихъ многотомныхъ писаніяхъ прочелъ, какую старину мы ему хотимъ навязать, старину, отъ которой и до сихъ поръ болятъ у него всѣ кости и составы, то... лучше ужъ и не говорить, чтобы тогда было».

## ВИНЕГРЕТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОРАЛИ.

Сочиненія Алексѣя Потѣхина, 6 т. Спб. 1873—4 г.

### I.

Съ личностью Потѣхина, какъ писателя, я былъ знакомъ чуть не съ гимназической скамьи. Случалось нерѣдко бесѣдовать съ нимъ то дома, читая его повѣсти и романы, то въ театрѣ, присутствуя на представленіяхъ его драмъ и комедій. Но, видно, правду говоритъ пословица, что вы не узнаете человека, пока не съѣдите съ нимъ пуда соли. Такъ, нѣмъ дѣло постоянно съ однимъ какимъ либо произведеніемъ Потѣхина черезъ длинныя промежутки времени и ограничиваясь поэтому тѣми микроскопическими дозами соли, какія обрѣтаются въ его произведеніяхъ, я постоянно находился въ невѣдѣніи и недоумѣніи, что за писатель Потѣхинъ? Нельзя сказать, думалъ я, чтобы онъ былъ безталанный, однако же, рядомъ съ художественными чертами, сколько вы найдете въ каждомъ произведеніи его сочиненнаго или стереотипнаго. Нельзя сказать, чтобы Потѣхинъ былъ приверженецъ какихъ-либо отжившихъ началъ, защитникъ мрака и изуверства: напротивъ того, мнѣ казалось, что онъ постоянно силится идти впереди вѣка, каждое произведеніе его проникнуто такимъ, повидимому, искреннимъ и горячимъ либерализмомъ, любовью къ народу и ненавистью ко всевозможнымъ его притѣснителямъ, и однакожъ сквозь этотъ либерализмъ проглядываютъ такіе обыденные взгляды и на жизнь, и на народъ, что просто становясь въ ту-

пшкъ и недоумѣваешь, какъ подобные взгляды могутъ уживаться съ стремленіемъ идти впереди вѣка и съ либерализмомъ, и что составляетъ главную суть произведеній Потѣхина, его кровныя убѣжденія—либерализмъ или эти взгляды?

И только теперь, когда я могу сказать, что я съѣлъ пудъ соли съ Потѣхинымъ, прочитавши за разъ шесть томовъ его произведеній, я наконецъ уяснилъ себѣ, что такое Потѣхинъ и какъ художникъ, и какъ мыслитель.

Что касается до художественнаго значенія произведеній Потѣхина, то я не намѣренъ особенно много распространяться объ этомъ. Замѣчу только, что Потѣхинъ, какъ художникъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которые, не производя ничего самобытнаго, отражаютъ въ своихъ произведеніяхъ тѣ поэтическіе образы, мотивы, приемы, которые въ данное время господствуютъ въ литературѣ. Нельзя сказать, чтобы это была рабская подражательность передовымъ писателямъ; нѣтъ, это не слѣпое эхо, а подпѣвъ хору, въ которомъ пѣвецъ можетъ вамъ предоставить бездну вариаций вполнѣ оригинальныхъ и не лишенныхъ пріятности, но тѣмъ не менѣе оригинальны будутъ только вариации, тема же не принадлежитъ пѣвцу. Такимъ же пѣвцомъ вариаций является передъ нами въ литературѣ и Потѣхинъ. Такъ въ началѣ 50-хъ годовъ была въ особенной модѣ этнографія—знакомство съ народнымъ бытомъ: явились со-

биратели народных пѣсенъ и путешественники съ цѣлью изученія обычаевъ, суевѣрій, нравовъ, ремеслъ и занятій народа. Въ главѣ этихъ этнографовъ стоялъ въ то время Даль, очерки котораго наперерывъ печатались во всѣхъ журналахъ. Написалъ нѣсколько этнографическихъ очерковъ и Потѣхинъ, съ нихъ-то именно и начавши свое литературное поприще. Но по всей вѣроятности въ то время Потѣхинъ только что успѣлъ покинуть школьную скамью, потому что очерки его исполнены тѣхъ слезливыхъ умиленій передъ русскою природою, величавою красотою и чистотою русскихъ городовъ, завиднымъ довольствомъ и богатствомъ русскихъ селъ, чистотою и патриархальностью русскихъ нравовъ и пр. и пр., какія вы встрѣтите въ учебныхъ хрестоматіяхъ, представляющихъ образцы путешествій, — и все это описано тѣмъ цвѣтистымъ слою, какиимъ излагають свои путешествія гимназисты въ классныхъ сочиненіяхъ. Возьмемъ для образца хотя описаніе Ярославля.

«Но между тѣмъ лодка все еще стоитъ на мѣстѣ. Полюбуйтесь пока на красивый Ярославль. Какъ хороша его набережная, обнесенная чугуною рѣшеткой, обсаженная липами, чистая, опрятная. На углу, образованномъ впаденіемъ Которости въ Волгу, стоитъ огромное зданіе Демидовскаго лицея, а рядомъ съ нимъ красуется алотглавыи соборъ. По ту сторону Которости и по берегу Волги поднимаются каменные зданія, частныя и казенныя. Которость, извиваясь, исчезаетъ изъ вашихъ глазъ, закрываемая съ одной стороны прилежащими къ ней домами, съ другой большими кладенищами дровъ, заготовленными на зиму. Долго любовались вы красивымъ городомъ, но наконецъ вниманіе ваше утомлено однимъ и тѣмъ же предметомъ, и вы невольно обращаете его на будущихъ вашихъ спутниковъ. Вотъ мирное купеческое семейство, собравшееся на богомолье въ Вабайскій монастырь, лежащій въ 30-ти верстахъ отъ Ярославля, на правомъ берегу Волги. Два молодыхъ лица среди этого семейства, съ веселыми, улыбающимися физиономіями, кажутся вамъ недавно обвѣнчанной счастливою четою, и вѣроятно ся-то будущее счастье хочетъ освятить вся семья усердной молитвой. Вотъ какой-то молодецъ въ синей чуйкѣ, служащій приказчикомъ у купца одной изъ низовыхъ губерній и возвращающійся къ своему дѣлу послѣ свиданія съ родными своими, живущими въ Ярославлѣ. Съ любовью смотритъ онъ на свой родной городъ и съ привѣтливой улыбкой говоритъ вамъ, указывая на него: — «Каковъ городокъ-то? Вѣдь не хуже иной столицы?»

И къ какому только городу ни подѣзжалъ бы Потѣхинъ, къ Киевшѣ ли, къ Костромѣ ли, къ Плесу ли, тотчасъ же онъ приходилъ въ восторженное состояніе и начиналъ восклицать:

«Вотъ посмотрите, на право виднѣется заштатный городокъ Плесъ. Какъ красивъ онъ! Множество разнообразныхъ деревянныхъ домиковъ, и между ними два или три большіе каменные, расположенные у подошвы высокой горы, а на самой верхушкѣ этой горы высятся Божіи храмы, вознося свои кресты къ самому небу. Вся эта картина окружена вмѣсто рамы густымъ темнымъ лѣсомъ. Въ этомъ городкѣ есть жизнь, движеніе: небольшая пристань доказываетъ, что онъ ведетъ торговые обороты хлѣбомъ».

Отдавши долгъ этнографіи и познакомивши насъ и съ тѣмъ, какъ ловятъ рыбу на Волгѣ въ Саратовской губерніи, и какъ отплясываютъ кадрили на вечеринкахъ въ уѣздныхъ городахъ, Потѣхинъ заплатилъ свою депту и тѣмъ повѣстямъ изъ народнаго

быта, которыя въ свою очередь играли не малую роль въ литературѣ 50-хъ годовъ. Въ самомъ дѣлѣ, кроме развѣ Гончарова и Хвощинской я не могу припомнить ни одного беллетриста 50-хъ годовъ, который не написалъ бы хотя одной повѣсти изъ народнаго быта, но особенно отличался по этой части Григоровичъ, посвятившій почти всю литературную дѣятельность изображенію крестьянскаго быта. Цѣль всѣхъ этихъ повѣстей заключалась въ томъ, чтобы съ одной стороны увѣрить русскую публику, что и подъ сермягою бьется человеческое сердце, что и простой мужикъ въ лаптяхъ можетъ любить, страдать и питать всѣ тѣ нѣжныя и раздирающія чувства, какія питають образованные люди, а съ другой стороны — противопоставить изнѣженному, растлѣнному быту образованныхъ слоевъ общества патриархальную чистоту, нравственную стойкость, выносливость крестьянской среды. Заплатилъ, какъ я уже сказалъ, Потѣхинъ дань и этому роду литературы, написавши нѣсколько повѣстей и драмъ изъ народнаго быта. Я не буду распространяться здѣсь объ этихъ произведеніяхъ Потѣхина, такъ какъ о нихъ будетъ особенная рѣчь впереди.

Въ большой модѣ были въ 50-е годы романы и повѣсти изъ провинціальнаго великосвѣтскаго быта, въ которыхъ дѣйствіе вращалось обыкновенно на балахъ и маскарадахъ, объясненія въ любви совершались подъ звуки кадрили въ ярко освѣщенной залѣ губернскаго бала, или сонаты Бетховена за роялемъ въ изящно убранной гостиной, а не то подъ трели соловьиного пѣнія въ тѣнистыхъ аллеяхъ усадьбы; въ романахъ этихъ благородная и честная бѣдность ставилась обыкновенно въ противоположность свѣтской мишурѣ; бѣдный, но съ возвышенной душой герой награждался презрѣніемъ и осмѣивался бездушнымъ свѣтомъ за то, что не имѣлъ даже хотя-бы какихъ-нибудь 200 душъ родового имуществъ, а героиня, хотя и не бѣдная, но съ столь-же возвышенною душою, подвергалась городскимъ сплетнямъ и пересудамъ и дѣлалась жертвою суетной среды. — Не замедлилъ отзываться Потѣхинъ и на эту школу беллетристики, и написалъ объемистый романъ подъ заглавіемъ «Крушинскій». Героємъ этого романа является передъ нами молодой медикъ съ блестящимъ умомъ, съ пылкою душою, подающій большія надежды, но имѣющій одно несчастье: быть сыномъ не богатаго дворянина, а бѣднаго причетника, и хотя онъ не гнушается своего происхожденія и даже гордится имъ, объявляя о немъ во всеуслышаніе въ великосвѣтской гостиной, однако же проклятое происхожденіе дѣлается причиною его гибели: онъ влюбляется въ дочь богатаго дворянина, и, не смотря на то, что героиня отвѣчаетъ ему на его любовь столь-же горячимъ и нѣжнымъ чувствомъ, несмотря на то, что онъ дважды спасаетъ отъ смерти отца героини, а самое ее избавляетъ отъ скандала во время губернскаго бала, — родители возлюбленной съ презрѣніемъ отказываютъ ему въ просьбѣ руки ихъ дочери, и герой въ отчаяніи умираетъ отъ чахотки. Такимъ образомъ Потѣхинъ своимъ романомъ какъ бы воззвалъ: бѣдныя дѣти причетниковъ, несчастные молодые люди, снискивающіе всевозможные дипломы, но не имѣющіе одного и

самого главного диплома на уваженіе—дворянскаго, какая печальная участь ожидаетъ васъ!... Романъ, какъ видите, весьма назидательный и трогательный, а если-бы вы знали, какимъ чувствительнымъ слогомъ написанъ онъ! Для образца возьмемъ на удачу, какое попадется мѣсто: навѣрное найдется, надъ чѣмъ прослезиться. Вотъ наприимѣръ, раскрывается 137 страница; читайте:

«Между тѣмъ бѣдный Крушинскій жестоко страдалъ. Съ какою радостью летѣлъ онъ въ Родовое-Подгорное, съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалъ онъ Наденьку, какъ радостно затрепетало его сердце, когда вошла она, и какъ вдругъ зануло оно, какъ будто кто его ранилъ, когда онъ увидалъ ея небрежный поклонъ, ея холодность. Неужели онъ ошибся? Неужели сердце обмануло его? Неужели онъ не произвелъ на нее никакого впечатлѣнія, или это впечатлѣніе было только минутное, которое тотчасъ же и замѣнилось совершеннымъ равнодушіемъ? Неужели она такая дѣвушка, у которой чувство мгновенно, какъ вспышка, у которой сердце такъ вѣтренно, такъ ничтожно, что можетъ отдаваться сегодня одному человѣку, а завтра другому? Неужели она ничтожная, пустая кокетка, для которой ничего не стоитъ показать чувство, котораго она вовсе не имѣетъ и не можетъ имѣть? Или не ошибся-ли онъ, не показалось-ли ему?..» и т. д.

Рядомъ съ утонченными нравами гостинныхъ и буваровъ, помѣщичій бытъ изображался иногда беллетристикою 50-хъ годовъ и съ другой своей, такъ сказать, задней стороны — грубаго цинизма дѣвичьихъ сералей, ямрончныхъ кутежей, обжорства именинныхъ обѣдовъ, бессмысленныхъ и комическихъ интригъ въ моменты выборовъ и проч., и проч. Кто не читалъ „Проселочныхъ дорогъ“ Григоровича, посвященныхъ, именно, изображенію всей этой изнанки помѣщичьяго быта добраго стараго времени? Въ репандъ „Проселочныхъ дорогахъ“ и Потѣхинъ написалъ романъ „Бѣдные дворяне“, въ которомъ вы найдете такія-же картины и сцены, какими изобилуетъ романъ Григоровича. Впрочемъ нужно замѣтить, что романъ этотъ представляетъ самымъ удачливѣйшимъ произведеніемъ Потѣхина и рѣзко выдается изъ всего прочаго, написаннаго когда-либо авторомъ, а чѣмъ, именно, и почему, объ этомъ будетъ рѣчь впереди.

Въ концѣ 50 годовъ, въ знаменитое „наше время, когда“, были въ большей модѣ герои въ видѣ молодыхъ либеральныхъ администраторовъ, у которыхъ весь либерализмъ заключался въ грозномъ преслѣдованіи мелкихъ взяточниковъ и которые въ видѣ Юпитеровъ громовержцевъ обрушивались на какое-нибудь захламленіе карать злоупотребленія и водворять законность и порядокъ; въ концѣ-же концовъ оказывалось, что ихъ ничего не стоило водить за носъ какому-нибудь плуту-секретарю и что, преслѣдуя мелкое и прямое взяточничество, они сами склонялись къ взяточничеству болѣе косвенному, утонченному, облеченному во всѣ легальные атрибуты, и къ которому не могли придраться не только законы, но и ихъ либеральная совесть. Сначала было подобные герои начали изображаться литературою въ серьезъ, какъ новые люди, представляющіе собою отрадное явленіе прогресса, но когда критика Добролюбова разъяснила, что это за новые люди, и въ какой степени они могутъ считаться отрадными явленіями прогресса, тогда литература на-

чала относиться совершенно иначе къ своимъ излюбленнымъ администраторамъ-громовержцамъ, появился романъ Писемскаго „Тысяча душъ“, изобразившій въ лицѣ Калиновича подобнаго героя въ его истинномъ свѣтѣ. Потѣхинъ вывелъ того-же самаго Калиновича подъ именемъ Пустозерова въ комедіи „Мишура“.

Однимъ словомъ, захотите-ли вы найти въ сочиненіяхъ Потѣхина героевъ сатиры Щедрина или комедій Островскаго, Писемскаго, Григоровича, Тургенева, навѣрное найдете. Герои эти на первый взглядъ могутъ показаться вамъ вполне своеобразными, но стоитъ всмотрѣться въ нихъ и припомнить при этомъ то или другое произведеніе Островскаго, Писемскаго, Григоровича и проч., и вы увидите, что всѣ они представляютъ болѣе или менѣе удачныя варіаціи на данныя темы.

Я полагаю, что всего сказаннаго о художественной сторонѣ сочиненій Потѣхина совершенно достаточно, тѣмъ болѣе, что меня занимаетъ въ Потѣхинѣ не столько художникъ, сколько мыслитель, и не потому, чтобы въ сочиненіяхъ Потѣхина я встрѣчалъ какія-либо идеи, оригинальныя по своей глубинѣ, мѣткости или же нелѣпости; совсѣмъ напротивъ—меня занимаютъ здѣсь идеи, господствующія въ настоящее время въ массѣ образованныхъ слоевъ общества. Мы будемъ разсматривать Потѣхина, какъ образецъ той шаткости нравственныхъ понятій, какая господствуетъ въ наше время въ общественной толпѣ. Ядалекъ отъ той мысли, чтобы Потѣхинъ одинъ только могъ служить для насъ подобнымъ образцомъ. Если хотите, то и большинство нашихъ беллетристовъ не отличаются особенною глубиною и послѣдовательностью нравственныхъ идей, но Потѣхинъ имѣетъ для насъ въ настоящемъ случаѣ именно то преимущество, что не принадлежитъ къ числу особенно сильныхъ талантовъ. У сильнаго и хорошо воспитаннаго таланта вы часто совсѣмъ не разглядите нравственныхъ взглядовъ: образы, вѣрно схваченные изъ жизни и прошедшіе сквозь процессъ непосредственнаго творчества, могутъ говорить сами за себя и совершенно вопреки тѣхъ взглядовъ, какими смотритъ на нихъ самъ авторъ. Въ тоже время, чѣмъ слабѣе талантъ, чѣмъ блѣднѣе образы, тѣмъ какъ-то рѣзче выдаются взгляды, какими авторъ смотритъ на жизнь... Ничѣмъ не выдѣляясь по своимъ взглядамъ изъ толпы, Потѣхинъ и будетъ служить для насъ мѣриломъ мировоззрѣній этой толпы.

## II.

Мы всѣ ужасные либералы въ различныхъ нравственныхъ вопросахъ, особенно когда обсуждаемъ эти вопросы отвлеченно или-же занимаемся анализомъ тѣхъ или другихъ литературныхъ типовъ въ современныхъ художественныхъ произведеніяхъ. Всѣ мы большіе любители щеголять выраженіями *узкая, рутинная нравственность, пошлая, прописная мораль*, и очень хорошо понимаемъ, что подъ этими словами подразумѣвается завыщанный дѣдами нравственный кодексъ, опирающійся частію на преданія патріархальнаго быта, частію на сословныя и прочія социальныя отношенія, и идущій совершенно въ разрѣзъ съ тѣмъ нормальнымъ удовлетвореніемъ есте-



ственных потребностей человеческой природы, которое одно только обуславливает собою истинную нравственность. Въ силу этого, мы беремъ подъ свою защиту многіе такіе поступки, которые, будучи повидимому безнравственны съ точки зрѣнія рутинной морали, тѣмъ не менѣе обуславливаютъ въ человѣкѣ стремленіе вырваться изъ оковъ мертвѣго обычая, избавиться отъ того обезличенія, къ которому приводитъ рутинная мораль, проявить въ себѣ живого человѣка, удовлетворивши своимъ живымъ, человеческимъ потребностямъ, хотя-бы вопреки мнѣніямъ всей окружающей среды и съ опасностью не только потери репутации, но и жизни. Мы готовы въ неизмѣримой степени болѣе сочувствовать человѣку, который рѣшается пожить хоть минуту полною человеческою жизнью, а тамъ хоть и въ могилу, чѣмъ господину, который возлагаетъ на себя нравственный подвигъ подавлять въ себѣ естественныя человѣческия потребности ради того, чтобы остаться вѣрнымъ узкимъ, условнымъ правиламъ житейской морали, ну и, конечно, ужь получить за такое благонаравіе соотвѣтственную награду не только въ будущей, но и въ настоящей жизни. Въ первомъ случаѣ мы видимъ могучую природу, исполненную жизни, силы, страсти и отваги, разрушающую всѣ оковы и препятствія, во второмъ случаѣ — малокровіе, дряблость, малодушіе, безотвѣтную покорность всякому гнету. На этихъ основаніяхъ мы симпатизируемъ невольно даже такимъ протестамъ, въ которыхъ не замѣчаемъ ничего цѣлесообразнаго, разумнаго и которые ничего не представляютъ собою, кромѣ простаго взрыва жизни противъ стѣсняющихъ ее условий.

Но всѣ подобныя оправданія и симпатіи имѣютъ мѣсто только до тѣхъ поръ, пока мы вращаемся въ отвлеченномъ книжномъ мірѣ. Мы готовы симпатизировать Катеринѣ въ „Грозѣ“ и даже видѣть гораздо болѣе истинной и естественной нравственности въ ея измѣнѣ мужу, чѣмъ если-бы она, подавивши всю кипѣвшую въ ней и рвущуюся на свободу жизнь, сдѣлалась-бы истуканомъ въ видѣ безотвѣтно почтительной дочери по отношенію къ свекрови, оскорблявшей ее на каждомъ шагѣ, и жены, вѣрной по гробъ нелюбимому и презираемому мужу. Мы проникаемся глубокимъ уваженіемъ къ Еленѣ въ „Наканунѣ“ за то, что она, повинаясь призыву своей природы и увлекшись Инсаровымъ, свободно отдалась ему и пошла за нимъ, а не отреклась отъ своей страсти во имя того, чтобы остаться благонавною барышней и сдѣлаться потомъ добродѣтельно-пресмыкающеюся женою Паншина. Мы скорбимъ при видѣ Лизы въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, этой жертвы мистицизма и свѣтскихъ предрассудковъ, отрекшейся отъ жизни изъ боязни того смѣлаго шага, который подготовила ей жизнь. Но мы симпатизируемъ, уважаемъ, скорбимъ во всѣхъ этихъ случаяхъ единственно по винѣ писателей, которые навязали намъ эти чувства силою своего творчества, да еще благодаря критикѣ, которая разъяснила намъ эти образы не въ духѣ рутинной морали. Но стоитъ только намъ встрѣтить первый подобный фактъ не въ книгѣ, а въ самой жизни, гдѣ мы предоставлены своему собственному уму и гдѣ нѣтъ передъ нами ни художника, ни критика, которые вели-бы насъ на помо-

хачъ, — и куда тогда дѣваются всѣ наши либеральныя сужденія, и снова всплываетъ передъ нами презираемая рутинная мораль, на основаніи которой мы только и оказываемся способными обсуждать встрѣчающіеся въ жизни факты, особенно если факты эти близко касаются и задѣваютъ насъ самихъ. Такъ, попробуйте-ка переварить, чтобы ваша жена, промаявшись съ вами нѣсколько лѣтъ монотоннымъ, безцѣльнымъ мѣщанскимъ прозябаніемъ, до такой степени измаялась однимъ зрѣлищемъ вашей механически-безжизненной, сухой порядочности (не говорю уже о томъ, что вы могли много разъ доставить ей зрѣлище жалкой трусости, малодушія, приниженія), что, наконецъ, подобно Катеринѣ въ „Грозѣ“, способна сдѣлалась-бы увлеченъ первымъ встрѣчнымъ проходившимъ, лишь-бы только онъ не былъ похожъ на васъ и имѣлъ-бы въ себѣ хоть вѣншіе признаки чего-либо выходящаго изъ ряда обыденности? Попробуйте оправдать вашу дочь, которая, вѣсто того, чтобы, по вашему желанію, выйти замужъ за молодого человѣка, подающаго большія надежды, вдругъ увлеклась-бы какимъ-то невѣдомымъ нищимъ-сербомъ и отправилась съ нимъ освобождать Сербію отъ Турціи, или, еще того лучше, подобно Лизѣ „Дворянскаго гнѣзда“, полюбила-бы вдругъ женатаго человѣка. И я все-таки вамъ скажу, что хотя я и не раздѣлялъ-бы вашихъ мнѣній, но все-таки уважалъ-бы въ васъ послѣдовательность, если-бы вы при подобныхъ случаяхъ открыто и честно встали-бы на сторону рутинной морали и стали-бы обсуждать поступокъ вашей жены или дочери прямо съ точки зрѣнія этой морали, нисколько не прикрываясь личиною мнимаго либерализма и не дѣлая никакихъ изворотовъ съ цѣлью примирить тенденціи ветхихъ кодексовъ съ новыми гуманными убѣжденіями: такъ относительно поступка жены вы-бы мнѣ заявили, что вѣдь никто ее не неволилъ идти за васъ, а разъ сдѣлала этотъ шагъ, дала роковой обѣтъ передъ Богомъ, людьми и вами, то должна свято соблюдать его, потому что на этомъ основаніи зиждется вся семейная нравственность; или же относительно дочери: „она моя дочь, я ее произвелъ на свѣтъ, возлелѣлъ, воспиталъ, сколькихъ она мнѣ стоила заботъ, денегъ. За это все она обязана безропотно повиноваться мнѣ, тѣмъ болѣе, что я, какъ человѣкъ опытный, лучше могу судить объ ея счастьи, чѣмъ она, ребенокъ, не знающій ни людей, ни жизни!“ Такія сужденія могли-бы казаться мнѣ рутинными, пошлыми, но еще разъ повторяю, я уважалъ-бы въ нихъ прямодушную честность. А то нѣтъ: я убѣжденъ, что вы ничего подобнаго мнѣ не скажете, что вы суждете въ вашемъ негодованіи на измѣнницу жену и непослушную дочь опереться на идеи самаго новѣйшаго чекана и произнесете приговоры тѣмъ болѣе жестокіе, что они будутъ облечены во всѣ атрибуты сегодняшняго прогресса. Изъ вашихъ словъ окажется, что не вы рутинеръ въ вашей злобѣ, а напротивъ того, ваша жена и дочь являются отступницами отъ пути прогресса и гуманности, а вы, конечно, несчастная жертва подобнаго ренегатства. Вотъ тутъ-то и начинается чудовищный сумбуръ старой рутины и новыхъ взглядовъ, господствующій въ нравственныхъ приговорахъ не только пошлой, уличной толпы,



но весьма часто людей, считающих себя передовыми мыслителями века. Почему ваша жена изменила вам? О, конечно, потому, что путем-ли наследственности или дурного воспитания, она приобрела такие барские привычки, что для нее невыносимо постоянство труженической жизни, упорство в разе предначертанном пути: ее слабые нервы утомляются однообразием впечатлений, требуют постоянно новых и сильных возбуждений; трудовые будни для нее каторга, ей необходим в жизни постоянный праздник светских развлечений с музыкой, танцами и безпрестанной переменной декораций; или-же ваша жена изменила вам просто потому, что от природы она такая уж безхарактерная, дряблая натура, что достаточно было первого искушения и небольших усилий со стороны обольстителя, чтобы свести ее с того честного и разумного пути жизни, который она избрала с вами. Таким образом, и выходит в конце концов, что правда, свет, истина на вашей стороне, вы олицетворяете в своем лице новый идеал честного энергичного труженника, постоянного в своих убеждениях, целях, привязанностях, жена-же ваша представляет из себя, конечно, отживающий тип извращенного, легкомысленного, растленного барства. Точно также и относительно дочери: поступок ее, конечно, ничем другим нельзя объяснить, как недостаточным проникновением началами реализма; очевидно, в ней много мечтательного романтизма, который потешал ее трезво обдумать свой поступок, понять всю безразсудность любви к женатому человеку или увлечения каким-то сербом и мечтою избавления Сербии из-под ига турок; иначе она, конечно, предпочла-бы Панишина, этого практического реалиста до мозга костей и уж, конечно, выйдя за него замуж, могла-бы принести неизмеримо больше пользы обществу, чем своим безразсудным шагом. Таким образом, и здесь на вашей стороне оказывается прогрессивное начало в виде трезвого реализма, а на стороне вашей дочери отжившее начало мечтательного романтизма.

Причина подобного сумбура во всех наших нравственных суждениях очень понятна. Вы должны знать, что презираемая вами рутинная, пошлая, узкая мораль не с неба же свалилась в самый дель и не навязана она вам каким-нибудь господином, который сочинил ее на досуге от нечего делать, но, к сожаленью, был так слабоумен, что не мог придумать ничего лучшего. Мораль эта коренится в основах быта, завещанная вам отцами и дядями, и извлекается из всех условий окружающей вас жизни. Она и эти условия — одно и то же. Естественно поэтому, что пока будут продолжаться существовать эти условия, нечего и думать о возможности существования какой-либо иной морали, кроме выходящей из них и какими-бы гуманными и светлыми идеями вы ни задавались, они постоянно будут витать в отвлеченной сфере, если у вас не хватает ни силы, ни энергии, ни умения создать такие условия жизни, которые соответствовали-бы вашим гуманным идеям; до тех пор, как ни презирайте пошлую мораль, жизнь роковым, неизбеж-

ным путем приведет вас таки к ней не в том, так в другом случае, и вы сами не замечаете, как взгляды на конкретные факты у вас разойдутся с общими, отвлеченными теориями. И еще-бы: пока в жизни господствуют условия, соответствующие пошлой морали, каждое отступление от этих условий, каждый истинно-свободный шаг в жизни представляется не иначе, как в виде протеста против этих условий. А раз вы подчиняетесь господствующим условиям и сами вместе своим существованием входите в их систему, то, конечно, каждый вышеозначенный протест есть протест против вас самих, хотя-бы даже и не касался прямо и непосредственно вашей особы. Зрелище каждого свободного человеческого шага неминуемо должно возбуждать в вас не то зависть, не то упрек, и вы, конечно, для успокоения своей совести и оправдания своей постыдной трусости, не замедлите подыскать все доводы в пользу того, что истинно благородный человек, такой, конечно, как вы, никогда-бы на подобный рискованный шаг не покусился, что шаг этот ни к каким полезным результатам не приведет, что он вызван вовсе не естественною и разумною потребностью, а мечтательною утопичностью, вместе с желанием показать себя, порисоваться и проч. и проч. Все подобные доводы вы, конечно, постараетесь построить на самых новейших теориях, но в существе будет скрываться также пошлая мораль в виде тайного желания, с вашей стороны, чтобы ближний ваш жил, подобно вам, тише воды, ниже травы, ни на шаг не отступая от проторенных дорожек. Если смельчак, покусившийся на самостоятельный шаг, близкий вам родственник или нжно любимый друг, к зависти присоединится еще чувство страха за любимого вами человека, и естественно почему: люди подчиняются рутинной морали не из одной только любви к ней или привычки, но также и из чувства самосохранения. Мы уже говорили выше, что каждое отступление от правил рутинной морали является не иначе, как в виде протеста против господствующих условий жизни, и каждый такой протест, хотя-бы самого невинного и безобидного качества, представляется толпе не иначе, как покушением на подрыв нравственных начал, развратом, преступлением, заслуживающим если не кары закона, то осуждения общественного мнения. В силу этого, каждый самостоятельный шаг в жизни не по проторенным дорожкам ведет за собой неминуемо целый ряд неприятностей более или менее крупного свойства. Вы же, не чая души в вашем родственнике или друге, желаете ему, конечно, всякого счастья, благополучия и избжания каких-либо неприятностей. И вот начинаются с вашей стороны отговаривания от решительного шага во имя любви и дружбы. Отговаривать вы можете опять-таки на основании самых новейших и либеральнейших теорий, но в результате будет все-таки желание, чтобы друг ваш не делал решительного шага, т.-е. не отступал от правил уличной морали. При этом вам, конечно, и в голову не придет, что ваш ближний, как человек, имеет право сво-

бодного выбора, что взгляды на счастье могут быть различны до бесконечности, что, может быть, то благополучие, которое вы прочтете другу, горше для него всѣхъ тѣхъ непріятностей, какія могутъ его постигнуть за рѣшительнымъ шагомъ, и что въ этомъ рѣшительномъ шагѣ, можетъ быть, онъ видитъ такое счастье, за которое онъ готовъ вынести не только всѣ предстоящія опасности, но и мучительную смерть...

До сихъ поръ я считалъ васъ только зрителемъ постороннихъ протестовъ. Но представьте вы себѣ, что протесты направлены прямо противъ васъ и мѣтятъ вамъ не въ бровь, а въ самый глазъ. О, тутъ вы навѣрное окунетесь уже по уши въ презираемую вами рутинную мораль, и даже не въ ту древлеписанную, общечеловѣческую мораль, которая прописывается на прописяхъ, а мораль, еще болѣе узкую: сословную, чиновничью или фельдфебельскую. Но между тѣмъ обратите вниманіе на то, что подобные, направленные противъ васъ протесты не исчерпываются одними экстраординарными случаями, въ родѣ тѣхъ, о которыхъ мы говорили на предыдущихъ страницахъ. По-мимо ихъ существуютъ въ жизни ежедневно и ежедневно тысячи мелкихъ, незамѣтныхъ протестиковъ, колющихъ васъ со всѣхъ сторонъ и какъ, повидимому, ни ничтожны эти уколы, въ массѣ и они оказываютъ свое вліяніе и чуть ли даже не большее, чѣмъ протесты крупныя и экстраординарныя. Такъ, напримѣръ, вы нанимаете работника. Не желая выдѣлаться изъ среды и повинаясь закону предложенія и спроса, вы, конечно, заботитесь нанять слугу какъ можно дешевле и наложить на него, какъ можно болѣе обязанностей. Но положимъ даже, что вы этого не дѣлаете, положимъ, что вы, уступая вашимъ гуманнымъ убѣжденіямъ, платите работнику рублемъ, двумя дорожее установленной цѣны и требуете отъ него менѣе труда, чѣмъ за установленную цѣну обыкновенно полагается, даете ему сверхъ того другія разныя льготы. Но при всѣхъ этихъ уступкахъ положеніе все-таки остается ненормальнымъ: хотя вы и гуманный господинъ, но все-таки господинъ, пользующійся львиною долей, а работникъ вашъ, хотя и пользуется большимъ, чѣмъ всѣ его собратья, все-таки пользование ограничивается одними крупицами его труда. А между тѣмъ у васъ закрадывается уже въ душу тайное желаніе получить возмездіе за вашу гуманность въ видѣ признательности со стороны работника. По справедливости судя, если бы вы раздѣлили съ работникомъ весь барышъ труда или если работника, являющагося въ видѣ домашнего слуги, приобщили бы къ своему семейству, — и въ такомъ случаѣ вы только воздали бы должное и не заслуживали-бы ни малѣйшей благодарности, но таково ужъ дѣйствіе рутины господствующихъ условий, что хотя бы теоретически вы и вовсе не желали особенныхъ изъясненій благодарности со стороны работника, но невольно вамъ будетъ казаться, что за два лишніе рубля непременно вы должны обрѣсти со стороны работника и большую благосклонность къ вамъ, и большее усердіе въ работѣ. — А между тѣмъ въ дѣйствительности вы можете не только не обрѣсти ничего подобнаго, а напротивъ того, наткнуться на цѣлый рядъ неожиданныхъ протестовъ: окажется вдругъ, что лишнихъ два рубля

нисколько не измѣнили работника въ отношеніи къ вамъ: по прежнему онъ сухъ съ вами и даже грубъ, не оказываетъ ни малѣйшаго усердія къ работѣ, старается напротивъ сдѣлать какъ можно меньше за ту же плату, да вдобавокъ еще вдругъ вы замѣчаете въ немъ, что онъ не прочь что нибудь и стянуть у васъ, что плохо лежитъ. Вы, конечно, приходите въ негодованіе: какъ, такъ вотъ что обрѣли вы вмѣсто ожидаемой признательности за вашу гуманность!.. Но чего же вы хотите тогда? — Въѣдъ на основаніи вашихъ же гуманныхъ убѣжденій вы должны оправдать въ работникѣ и грубость, и лѣность, и даже воровство: что же выражаютъ всѣ эти безнравственные качества въ работникѣ, какъ не то, что онъ не осиновою чурбанъ, не машина, которая отъ васъ ничего не требуетъ, какъ только чтобы вы подкладывали подъ нее огонь, и готова работать на васъ съ раздѣленною аккуратностью; нѣтъ, это живой человѣкъ, протестующій противъ вашей несправедливости, хотя бы и въ самой грубой, первобытной формѣ, живой человѣкъ, ищущій удовлетворенія своихъ живыхъ человѣческихъ потребностей, хотя бы и не законнымъ путемъ. Если бы вы захотѣли быть послѣдовательными вашимъ прогрессивнымъ убѣжденіямъ, то, конечно, вы должны были бы съ большимъ уваженіемъ относиться къ работнику, который вамъ нагрубилъ и обокрадетъ васъ, чѣмъ къ такому, который, какъ бы вы его ни обсытывали, будетъ все-таки работать на васъ, какъ волъ, и не только относительно вашего добра будетъ проявлять безукоризненную честность, но еще будетъ преисполненъ подобострастной признательности къ вамъ, доходящей до того, что при случаѣ готовъ будетъ положить жизнь за ваше добро и за васъ самихъ. — Но признайтесь, положивъ руку на сердце, что вы, конечно, предпочтете имѣть у себя въ работникахъ человѣка послѣднихъ качествъ, чѣмъ первыхъ, признайтесь, что относительно цѣлаго класса людей вы не имѣете иного идеала, какъ въ видѣ людей, которые работали бы, какъ волы, будучи совершенными безсребренниками, были бы безукоризненно честными къ вашей собственности и подобострастно-призательными къ вашей личности... Какъ бы вы были счастливы, если бы весь этотъ классъ людей состоялъ изъ такихъ идеальныхъ личностей! Вотъ и подумайте, въ какомъ же духѣ всѣ подобныя благочестивыя желанія, какъ не въ духѣ самой рутинной морали? — Вы можете опять таки скрыть не только отъ людей, но и отъ себя всю пошлость этой морали. Вы, конечно, зажмурите глаза на суть дѣла и антипатичныя вамъ качества работника начнете объяснять разными побочными причинами въ родѣ недостатка образованія въ простомъ человѣкѣ; найдя такое объясненіе, вы проникнитесь прогрессивными заботами о распространеніи образованности въ массахъ, мечтая, что когда эта образованность распространится, то, конечно, работникъ встанетъ на почву законности, перестанетъ грубить, воровать, будетъ безукоризненно честенъ и трудолюбивъ, однимъ словомъ, познаетъ тогда все, что пишется на прописяхъ: и что праздность есть мать всѣхъ пороковъ, и что за признательность и честность человѣкъ получаетъ награду въ сознаніи чистоты своей совѣсти, и что сребролюбіе и стропти-

вость суть дѣти ада, и что чужое добро въ прокъ не пойдетъ и пр. и пр. Вѣдь вы о подобномъ образованіи, конечно, только и мечтаете, проектируя даже особенныя заведенія для выдрессировки такой идеальной прислуги, которая не возмущала бы вашего олимпійскаго спокойствія никакими дразгами...

Такимъ образомъ, рутинная, пошлая мораль преbываетъ въ непоколебимомъ господствѣ, прикрываясь ради приличія передъ прогрессомъ разными либеральными тенденціями... Подобнаго рода прикрытіемъ служатъ въ настоящее время два рода тенденцій: съ одной стороны такъ-называемый практически-трезвый реализмъ, съ другой—демократическія убѣжденія.

Практически-трезвый реализмъ, заставляя васъ постоянно вопрошать почему и зачѣмъ и рѣшать глубокомысленные вопросы о томъ, что разумно, цѣлесообразно и что неразумно и нецѣлесообразно, естественно воздерживаетъ васъ отъ всякихъ увлеченій, отъ всякаго подчиненія стихійнымъ жизненнымъ силамъ, которыя вдругъ вздумали-бы вырваться изъ подъ гнета рутинной обыденности и пожалуй погубить васъ безъ всякой пользы. Практически-трезвый реализмъ, имѣя въ виду прежде всего пользу, и одну только осязательную, разумную пользу, учитъ васъ, что какія-либо попытки къ проведенію въ жизни болѣе разумной и естественной нравственности невозможны до тѣхъ поръ, пока всѣ люди не сдѣлаются трезвыми реалистами. До тѣхъ поръ всякое отступленіе отъ обыденной рутинной жизни есть только смѣшное донкихотство, не только не способствующее, но мѣшающее дѣлу насажденія трезваго реализма. Такимъ образомъ, чтобы не мѣшать дѣлу насажденія, вамъ остается только быть благонравнымъ по всѣмъ правиламъ рутинной морали и, будучи тише воды, ниже травы, заботиться только объ одномъ: о распространеніи практически-трезваго реализма въ обществѣ. Естественно, что подъ знамя подобнаго практически-трезваго реализма стекается все малодушно-трусливое, дряблѣе, все желающее почить въ мѣщанскомъ благодушіи, и невинность соблюда, и капиталъ приобрѣта.

Подъ сѣнію демократическихъ убѣжденій тоже ищетъ въ нынѣшнее время прибѣжища всевозможная рутина.—Малѣйшее проявленіе протеста живой природы противъ оковъ обычая такъ нынѣ рѣдко, что по неволѣ выдается, а все выдающееся нѣтъ ничего легче по аналогіи подвести подъ проявленіе барства, подъ желаніе высокомерно выставиться впередъ, порисоваться. И вотъ каждая ничтожная тряпица спѣшитъ задрапировать свою никуда-негодность въ благолѣпіе народныхъ идеаловъ. Я человѣкъ толпы, говоритъ современный Молчалинъ устами героевъ Михайлова, я въ герои не лѣзу; мой единственный идеалъ зарабатывать въ потѣ лица свой хлѣбъ, какъ послѣдній работникъ, и я этимъ горжусь. И можете что угодно вамъ дѣлать съ подобнымъ современнымъ героемъ негеройства, можете попать кровный трудъ его подъ ногами своими, лишитъ его послѣдняго куска хлѣба, плюнуть ему въ глаза, онъ все будетъ гордиться тѣмъ, что онъ человѣкъ народа и, какъ овца, все проститъ вамъ, потому что идеалъ его—скромная, безыскусственная простота и христиан-

ское незлобіе человѣка народа. А затѣмъ, глядишь, вдругъ въ одинъ прекрасный день нашъ человѣкъ народа окажется крупнымъ капиталистомъ. Какъ это случилось? Очень просто: какъ человѣкъ народа, герой нашъ не имѣлъ барской привычки расточительности, онъ всегда презиралъ роскошь и былъ самымъ строгимъ ригористомъ; какъ пролетарій, онъ непрестанно памятовалъ о шомажѣ и припрятывалъ лишнюю копейку на черный день. Такъ путемъ, какъ видите вполне идеальнымъ, онъ и обогатился,—и невинность соблюда, и капиталъ приобрѣта.

### III.

Въ сочиненіяхъ Потѣхина преобладаютъ демократическія тенденціи. Образованные слои общества онъ по большей части обрисовываетъ съ тѣхъ отрицательныхъ сторонъ, съ которыхъ они изображались беллетристикою пятидесятихъ годовъ, т.-е. со стороны—праздности, изнѣженности, безхарактерности, высокомерія, чванства и пр. Положительные типы, высокие нравственные идеалы онъ ищетъ преимущественно въ народѣ. Въ этомъ и заключается стремленіе Потѣхина идти впередъ вѣка и тотъ либерализмъ, который бросается вамъ въ глаза съ перваго взгляда.

Но стоитъ только взглянуть попристальнѣе и вдуматься, какого-же рода положительные типы находитъ Потѣхинъ среди народа и какіе нравственные идеалы навязываетъ ему, и вы увидите, что идеалы эти мало того, что въ духѣ прописной морали, но зачастую даже въ духѣ узко-сословномъ, т.-е. Потѣхинъ представляетъ себѣ идеальныхъ крестьянъ въ такомъ видѣ, въ какомъ, конечно, для большинства благомыслящихъ россиянъ желательно, чтобы они были.

Въ самомъ дѣлѣ, возьмите хотя-бы повѣсть Потѣхина изъ народнаго быта—„Титъ Софроничъ Казанокъ“, помѣщенную во второмъ томѣ его сочиненій.

Въ повѣсти этой Потѣхинъ выводитъ передъ нами идеальнаго пчеловода Григорія сына Тита Казанка:

«Славный былъ мужикъ этотъ Григорій, говоритъ Потѣхинъ:—умный, смысленный, зажиточный, хорошо велъ свои дѣла, отлично торговалъ. Главный промыселъ его было пчеловодство, и ужъ ни у кого нельзя было достать такого чудеснаго меда, самотека и прозрачнаго какъ янтарь, и обсахареннаго, какъ крѣпкое мороженое. Какой хотите—спросите: пѣвоточный-ли, липовый, или хлѣбный—ни одинъ изъ нихъ не уступитъ другому. Дѣлать онъ и воскъ превосходный: не то, что красивый или желтый, нѣтъ! а такой чистый, такой бѣлый, какъ слонова кость. И все это производилось не въ маломъ количествѣ. Вѣдь у Григорія было ульевъ пятьдесятъ, такъ что весь садикъ былъ заставленъ ими»...

«Трудомъ Григорія, казалось, покровительствова-ла сама судьба. Вотъ, напримѣръ, роится рой надъ деревней, густой тучей несется онъ, жужжа и извиваясь. Всякій мужикъ, у котораго есть хоть одинъ улей, бѣжитъ въ свой огорода, надѣясь, что авось-либо ему выпадетъ такое счастье—привьется даровой рой; глаза всякаго подняты къверху и жад-

но слѣдять за двигающейся живой массой. Вотъ рой остановился надъ однимъ чѣмъ-то садомъ, вьется, жужжитъ, нѣкоторыя пчелы сѣли уже на плетень, на рябину, владѣтель сада внутренне торжествуетъ: закутанный въ вывороченную шубу, съ сѣткою на лицѣ и въ рукавицахъ, онъ усердно колотитъ палкой въ сквороду, надѣясь дребезжащими звуками этого оригинальнаго инструмента привлечь весь рой... но напрасно: маткѣ почему-то не нравится этотъ садъ, а можетъ быть не нравится и самъ хозяинъ, предлагающій гостепріимство, быстро поднимается она къ небу, а за нею несется и весь рой съ сердитымъ жужжаньемъ.

— Что, братъ, не привился? спрашиваетъ одинъ владѣтель другого.

— Да, дождайся: привьется къ намъ! Смотри, коли не опять Григорію счастье.

И они не ошибаются. Дѣйствительно, рой покрываетъ плетень его сада, облѣпляетъ со всѣхъ сторонъ или черемуху, или яблонь. Григорій осторожно беретъ матку, сажаетъ ее въ стеклянный маточникъ, послѣдній ставитъ въ улей, и весь рой летитъ вслѣдъ за маткой.

Такимъ образомъ, Григорій съ новымъ даровымъ ульемъ. А это хорошая примѣта: замѣчено, что рой не привьется никакъ къ мужику несчастному, или пьяницѣ, или неряхѣ. Спросите любого пчеловода изъ крестьянъ; онъ также станетъ васъ увѣрять въ этомъ. Да еще не только не привьется новый рой, а и старыя-то ульи опустѣютъ, если мужикъ поведетъ дѣло не честно...

Какъ ни курьезно подобное участіе со стороны пчелъ въ нравственности людей, пристрастіе ихъ къ людямъ честнымъ и антипатія къ пьяницамъ, неряхамъ и обманщикамъ, но положимъ, что Потѣхинъ тутъ не при чемъ, онъ только передаетъ, конечно, народное повѣрье. Вы, можетъ быть, поинтересуетесь знать, что-же разумѣютъ пчелы подъ честностью и безчестностью мужиковъ? Можетъ быть честность пчеловодовъ въ предѣлахъ своего ремесла относительно другихъ пчеловодовъ, отсутствіе всякихъ продѣлокъ для привлеченія пчелъ въ свои ульи и отвлеченія ихъ отъ другихъ? А вотъ читайте далѣе и увидите:

«Да вотъ, не далеко идти. У Григорія сосѣдъ, такъ, мужиченка, несправедливый, нечестный, вздумалъ было, по его примѣру, завести у себя ульи. Ну, пошелъ къ помѣщику и говорить ему: «денегъ, говорить, у меня, батюшка, нѣтъ, дѣлишки, говорить, моя плоховата, а знаешь ты, что куда какъ выгодно въ нашемъ краю завести ульи; ссуди, говорить, меня деньжонками, будь отецъ родной. Къ дѣлу, говорить, этому я присмотрѣлся, и знаю, какъ его повести: куплю улья три, буду получать съ нихъ пуда три меда, половину отдавать тебѣ, а потомъ, какъ Богъ сподобитъ, дѣло пойдетъ хорошо, еще прикуплю ульевъ, и что-бы ни сталъ получать меду — все одна половина тебѣ». Баринъ согласился, далъ денегъ, и мужикъ купилъ улья. Первый годъ, что ни собралъ меду, половину отдалъ барину исправно, на другой годъ сборъ былъ также хорошъ, но мужику жаль стало отдавать половину, и онъ принесъ барину меньше противъ условія, а на третій годъ и ничего не далъ барину: сказалъ, что годъ былъ не хорошъ, мокрый, и пчѣту было мало, да и пѣлый улей у него вымеръ; ну, словомъ, наговорилъ ему турусы на колесахъ. Что же вы думаете? Года черезъ три послѣ того, у него всѣ до одного улья опустѣли! Такъ, если у Григорія пчеловодство шло такъ успѣшно, значитъ, онъ былъ мужикъ добрый и честный. И это совершенно справедливо. За то какой и почетъ былъ Григорію! Поѣдетъ, бывало, на ярмарку съ медомъ или воскомъ, такъ тамъ всѣ ря-

довичи и даже богатые купцы, да и самъ иной баринъ попроше, да подобрѣе, который ужъ не черезъ чуръ деликатень, величаютъ да чествуютъ его, не то что какого нибудь простого мужика, а всѣ съ имя съ отчества: Григорій Онуфричъ, да Григорій Онуфричъ. И всякій ему поклонится, и всякій добрымъ словомъ възыщетъ, а иной и чаемъ напоитъ, потому что Григорій никогда никого не обманывалъ, и всѣ, кто имѣлъ съ нимъ дѣло, считали его мужикомъ честнымъ и всегда благодарили за его хороший товаръ».

Какъ вамъ нравится вся эта выдержка? Оказывается, что и пчелы въ добрыя старыя времена имѣли совершенно своеобразныя понятія о нравственности. Мужикъ весь вѣкъ платилъ барину, баринъ однажды только заплатилъ мужику на обзаведеніе, конечно, ничтожную часть того, что онъ отъ него уже перебралъ; при этомъ замѣтите онъ далъ мужику денегъ не даромъ, а на условіяхъ по истинѣ жидовскихъ, чтобы мужикъ, сколько-бы у него потомъ ульевъ ни было, отдавалъ постоянно барину половину меду. Казалось-бы, что тутъ не могло и рѣчи быть о какой-либо нравственности. Естественно, что мужикъ, споряча самъ предложивши подобныя тягостныя условія, потомъ спохватился, ему стало жаль своего добра и, не находя иного исхода избавиться отъ подобныхъ поборовъ, прибѣгъ къ утайкѣ. Подобнаго рода утайки со стороны крестьянъ не были какими-либо исключеніемъ во времена крупнотнаго права, на нихъ, можно сказать, держался весь крестьянскій міръ и безъ нихъ крестьяне за долго до освобожденія обнищали-бы до послѣдней крайности. Поэтому, тутъ и немалымъ вопросомъ о нравственности или безнравственности — тутъ шла борьба за существованіе; прилагать здѣсь шѣрки какой-либо морали также нелѣпо, какъ, напримѣръ, хотя въ такомъ случаѣ, что нравственно или безнравственно дать затрещину человѣку, напавшему на васъ въ лѣсу съ ножомъ въ рукахъ. Но по мнѣнію Потѣхина это не такъ: оказывается, что въ добрыя старыя времена помѣщики имѣли подъ рукой не однихъ только управляющихъ, бурмистровъ или старостъ для собранія недоимокъ, но сама природа со всѣми своими тварями земными и небесными заботилась объ ихъ интересахъ, и гдѣ не досматривало барское око, тамъ пчелы брали подъ свое покровительство барина и съ ужасомъ улетали отъ мужика, осмѣливагося не уплатить сполна барину оброка. Хорошо также и окончаніе представленной нами выдержки на тему: будь честенъ, никого не обманывай и всѣ тебя будутъ величать по имени и отчеству и чайкомъ напоятъ; — такъ и просится это мѣсто въ какой-нибудь «Грамотей», «Солдатскій досугъ» и прочіе журналы, издающіеся для народа ради развитія въ немъ нравственности.

#### IV.

Не меньшимъ курьезомъ отлчается повѣсть «Два охотника» (см. соч. А. Пот., т. I). Въ этой повѣсти Потѣхинъ вывелъ параллель двухъ охотниковъ, идущихъ въ рекруты за своихъ братьевъ. Изъ нихъ одинъ охотникъ оказывается безнравственнымъ, другой — идеально-добродѣтельнымъ.

Начнемъ съ характеристики безнравственнаго, по порядку изложенія самой повѣсти.

Въ деревнѣ Аришкинѣ жилъ богатый мужикъ Порфиръ Макарычъ, торговый, промышленный и хозяинъ хорошій, по словамъ Потѣхина. У него было четверо сыновей. Пока онъ былъ крѣпостной, онъ откупалъ своихъ дѣтей отъ очередей, принося помѣщику въ видѣ взятки посильную дань рублей по 300, а разъ пожертвовавши даже своимъ меньшимъ сыномъ Степкою и отдавши его барину во дворъ въ повара. Но вотъ пришла воля, откупиться отъ мірскаго приговора уже было не у кого, и его семья попала въ очередь. Между тѣмъ, младшій сынъ его Степанъ, сдѣлавшись поваромъ, отошелъ отъ господъ послѣ воли, женился на дворовой дѣвушкѣ и проживалъ на частныхъ мѣстахъ, а когда у него не случалось мѣста, то прїѣзжалъ къ отцу на побывку. Потѣхинъ характеризуетъ его слѣдующимъ образомъ:

«Степка оказался парень рослый, толстый, рыжій. Отдали его въ ученье сначала къ своему повару, но тотъ только билъ его и ходилъ пить водку къ Порфиру за ученье сына; потомъ его нашли нужнымъ отдать къ повару сосѣдняго помѣщика на выучку, тамъ его тоже болѣе били, чѣмъ учили; но черезъ три-четыре года Степка, еще болѣе рослый, еще болѣе толстый и такой же рыжій, уже дѣйствовалъ въ качествѣ повара на кухнѣ своего барина. Поваръ онъ былъ плохой, но нрава оказался оригинальнаго: съ веселостію и сонливостію соединяя кровожадность, чувствовалъ особенное удовольствіе при видѣ чужихъ страданій; спать же могъ до 20 часовъ въ сутки. Рубя котлетки или отбивая мясо, онъ всегда въ тактъ припрыгивалъ и подпѣвалъ; забѣгавшихъ въ кухню собакъ и кошекъ ошпаривалъ кипяткомъ, а курицъ всегда щипалъ живыхъ и потомъ уже рѣзалъ; однажды совѣмъ живого, но и совѣмъ ошпареннаго индѣйскаго пѣтуха, посадилъ на ворота, къ общему удовольствію всей дворни, хохотавшей надъ этою шуткою до упада. Барыня разъ брала его съ собой въ Москву; тамъ его ничего не удивило, не заняло и не поразило; все время пребыванія барыни въ столицѣ онъ проспалъ и только два раза куда-то пропадалъ; оказалось, что онъ ходилъ смотрѣть, какъ наказывали преступниковъ пастями, и потомъ рассказывалъ объ этомъ зрѣлищѣ съ особеннымъ удовольствіемъ и веселымъ смѣхомъ».

Такимъ злодѣемъ съ наклонностями къ палачеству предстаетъ передъ нами безнравственный охотникъ. Его-то, какъ человѣка отрѣзаннаго отъ семьи и ненужнаго, начинается уговаривать Порфиръ Макарычъ вмѣстѣ со всею семьею идти въ солдаты за братьевъ. Степанъ сначала, конечно, ломается, но потомъ соглашается за 300 рублей да гулянку. Начинается гулянка самаго безобразнаго свойства. Вотъ какими красками описана эта гулянка у Потѣхина:

«Заходитъ Степанъ въ кабакъ. Поить тамъ каждаго встрѣчнаго, или переколотить всѣхъ, кто подъ силу пришелся, или пойдеть цѣловаться съ кѣмъ-нибудь, да и укусить до крови — за все это отвѣчай, какъ знаютъ, отецъ и братья, а его дѣло гулять: онъ охотникъ, за братьевъ охотой идти».

Вся семья глазъ не сводитъ со Степана, кто-нибудь изъ братьевъ слѣдитъ за каждымъ его шагомъ, чтобы, храни Богъ, какъ не набѣдиль, да не попалъ подъ судъ, тогда и въ солдаты не примутъ; и вся семья исполняетъ каждую его прихоть, чтобы какъ не прогнѣвался, да не раздумалъ идти за братьевъ. А Степанъ это чувствуетъ, понимаетъ и

ломается надъ семьею сколько разуму стасть. Идетъ пьяный изъ кабака, нарочно повалится въ самую грязь, въ лужу, пересрамитъ всю одежду, да и не встаетъ, самъ идти не хочетъ, неси братья на себѣ. И тащутъ эту тушу братья на себѣ, дѣлать-то нечего: охотникъ, за нихъ охотой идти. Еще на другой день новаго платья потребуетъ: это не хорошо, все выгязнилось. Подходить Степанъ къ забору, рядомъ калитка. Не хочу идти въ калитку: разбѣрай заборъ — и разбираютъ. Прїѣхалъ Степанъ съ катанья, съ пѣніемъ и музыкой подкатилъ къ крыльцу, братъ-кучеръ промокъ до костей, лошаденки подводятъ бока, раздышаться не могутъ, качаются, а Степанъ изъ кибитки нейдетъ, пусть снохи на рукахъ вынутъ и на лѣстницу вынесутъ. Нечего дѣлать: тащатъ бабы десятипудоваго парня, а братья скося только поглядываютъ на замученныхъ лошадей, да вздыхаютъ, а говорить нельзя: разсердился братецъ-охотникъ.

Пріѣхалъ Степанъ домой, въ избу — пошелъ дымъ коромысломъ. Все не по немъ, все не такъ и не этакъ, и вся семья ему служить съ подобострастіемъ и рабобѣдствомъ; заставить братьевъ и ихъ женъ плясать — и пляшутъ, заставить пѣсни пѣть — поютъ, задумаетъ ни съ того, ни съ сего за волосы потаскать, или поколотить — даются, только развѣ про себя бормочутъ: «вотъ, дьяволъ, куда и сонъ прошелъ, и не дрыхаетъ теперь, и день и ночь куражитъ!» Отецъ ужъ отъ грѣха изъ дома уходитъ, чтобы какъ изъ терпѣнья не выйти, да не поколотить охотника. А тому и на руку: видать, пришло его время. Сосовѣтъ со всей деревни и изъ сосѣднихъ всѣхъ назначенныхъ въ рекрута — и пьянствуетъ съ ними, оретъ пѣсни цѣлую ночь, а вся семья служить, спать никто уйти не смѣетъ. Не узнаешь мирнаго, скромнаго и скупого Порфирова дома».

Да не подумаетъ читатель, чтобы въ подобныхъ безобразіяхъ я находилъ что-либо нравственное съ точки зрѣнія какой-бы то ни было морали, пошлой или непошлой. Но я еще разъ повторяю, — есть такіе явленія въ жизни, являющіяся неотразимыми слѣдствіями причинъ, для которыхъ какія-либо нравственныя мѣрки рѣшительно неприменимы, а если и применимы, то приложение это является совершенно безплоднымъ и ничего не доказывающимъ въ равной степени, какъ еслибы кто пытался опредѣлить качество полотна, ограничившись тѣмъ, что смѣрилъ-бы его аршиномъ. Моралисты тѣмъ и несостоятельны, что они всѣ свои сужденія основываютъ обыкновенно на послѣднемъ явленіи послѣдняго дѣйствія драмы, и въ этомъ отношеніи они неизмѣримо хуже юристовъ, потому что послѣдніе, хотя въ свою очередь призваны обсуждать послѣднія явленія послѣднихъ дѣйствій, но, все-таки, принимаютъ въ соображеніе и всѣ прочія дѣйствія, допуская, вслѣдствіе этого, смягчающія обстоятельства, между тѣмъ какъ для моралистовъ существуетъ всегда одинъ только данный фактъ, къ которому они и прикладываютъ свои нравственныя мѣрки, и въ дѣла нѣтъ до того, что вызвало этотъ фактъ. Видя, что разъярившійся господинъ пустилъ въ ближняго бутылкой и раскрылъ ему голову, они тотчасъ-же вопиютъ о всей безнравственности выходить до такой степени изъ себя и прибѣгать къ подобной кулачной расправѣ, но при этомъ имъ и въ голову не приходитъ, что можетъ быть обидчикъ, при всемъ безобразіи своего гнѣва, ангелъ сравнительно съ обиженнымъ, что порицаемый фактъ ничто въ сравненіи съ предшествующими фактами, вызвавшими пущеніе бутылки, какъ неудержимую реакцію.

Такъ и въ нашемъ случаѣ. Стоитъ только взглянуть на обстоятельства, предшествовавшія гулянкѣ Степана, и мы увидимъ, что безобразіе ея явилось не такъ, зря, изъ одной злой воли, а вызвано было своими уважительными причинами, и что люди, противъ которыхъ неистовствовалъ Степанъ, едва-ли были не похуже его и во всякомъ случаѣ стояли такого съ ними обращенія.

Начать съ того, что съ самаго дѣтства Степанъ въ своей семьѣ нашелъ не покровительство родного крова, не любовь и участіе, а предательство. Отецъ продалъ его барину за брата, отчуждилъ его отъ семьи, бросилъ на руки чужихъ людей на побои и всякое мучительство, да къ тому-же, совершая самый актъ продажи, не упустилъ случая обидѣть его: „и приносилъ Порфиръ деньги, и приводилъ Степку, снабдивъ его что ни на есть хуже шубенкой и двумя рубашонками, за что и получилъ отъ барина строгій выговоръ и наставленіе о любви къ дѣтямъ“...

Брошенный такимъ образомъ семьею безъ всякой жалости, какъ подростшій щенокъ, послѣ всѣхъ побоевъ, которые онъ получилъ въ ученьи отъ чужихъ людей, могъ-ли Степанъ питать къ своей семьѣ хоть какое-нибудь уваженіе и дружелюбіе? И готовъ, когда онъ вышелъ на волю, сталъ жить на частныхъ мѣстахъ, то въ черные дни, когда онъ, потерявши какое-нибудь мѣсто, не зналъ куда преклонить голову, находилъ-ли онъ подъ родительскимъ кровомъ привѣтъ и радушіе? Нѣтъ, его бранилъ отецъ, попрекалъ братья, что онъ даромъ ѣстъ ихъ хлѣбъ, невѣстки кляли его и гоняли съ каждаго мѣста, на которое-бы онъ ни прилежъ, его, наконецъ, прогнали совсѣмъ изъ дома, иди куда хочешь. И вдругъ что-же: эти люди, которые оттолкнули его изъ своей среды самымъ безчеловѣчнымъ образомъ, относились къ нему съ безцеремонностью грубаго эгоизма, дрожали за каждый кусокъ хлѣба, который онъ у нихъ сѣдаль, и выгоняли его на голодъ и холодъ, эти люди, когда пришла до него нужда, начали всячески угождать ему, ухаживать:

«И спать ему даютъ, читаемъ мы, и кормятъ, какъ на убой, и еще не то, что попрекать кускомъ, а подчуютъ, ни на какую работу не посылаютъ, отецъ не ругается, братья не ропшутъ и не бормочатъ себѣ подъ носъ про лѣтня, дармовѣда брата, а жены ихъ, сношки любезныя, не только не клянутъ, не только не гонятъ съ каждаго мѣста, на которое-бы ни легъ—вишь ты, оно имъ всепрѣмѣнно понадобилось! не только не подбиваютъ противъ него всячески отца и мужьевъ, но еще—вотъ диво! ухаживаютъ за нимъ, и подчуютъ, и на печь посылаютъ, и одежду подъ голову постилаютъ, особливо двѣ молодыя снохи. Живетъ Степанъ и не на радуется на свою жизнь привольную».

И кончается все это ухаживанье тѣмъ, что, наконецъ, вся семья валется въ ноги у милаго братца, прося его выручить изъ бѣды. Уже и не прогнѣвайтесь послѣ всего этого, если милый братецъ и оплатилъ своимъ роднымъ за всѣ прежнія ихъ ласки, и накуражился надъ ними вдоволь послѣ всѣхъ униженій и оскорбленій. И замѣтите, что въ концѣ концовъ онъ оказывается все-таки честнѣе ихъ: онъ имѣлъ полную возможность, покуражившись и поломавшись надъ ними, отказаться отъ рекрутства, тѣмъ болѣе, что

онъ второй разъ уже избавлялъ братьевъ отъ солдатчины: разъ вѣдь онъ былъ уже проданъ отцемъ за братьевъ, но онъ этого не сдѣлалъ, онъ пошелъ въ солдаты... На чьей-же сторонѣ здѣсь больше правды и великодушія? И можно-ли здѣсь прилагать какія-бы то ни было нравственныя мѣрки? Единственно, что можно здѣсь приложить, это извѣстную пословицу: что посѣяли, то и пожнете. И если-бы Потѣхинъ, будучи истиннымъ художникомъ, стоялъ-бы выше рутинной морали, онъ, конечно, дальше этой пословицы не пошелъ-бы, онъ могъ ограничиться сценой гулянки и закончить ею свой очеркъ, представивши читателю самому выводиться изъ него какіе угодно выводы. Но Потѣхину захотѣлось непремѣнно подвести выведенные факты подъ свои нравственные кодексы, захотѣлось провести параллель между охотникомъ безнравственнымъ и нравственнымъ съ его точки зрѣнія, и вотъ онъ далѣе въ своей повѣсти выводилъ передъ нами добродѣтельнаго охотника въ прелестномъ видѣ.

Въ сосѣдней деревнѣ Баранихѣ во время того-же самого рекрутскаго набора, очередь пала на семейство двухъ племянниковъ вышеупомянутаго Порфира — Павла и Алексѣя. Одному изъ нихъ предстояло идти въ солдаты, причѣмъ оба были женаты; Алексѣй женился недавно и не имѣлъ еще дѣтей, а у Павла были уже дѣти. Мѣрской сходъ порѣшилъ, чтобы братья кинули между собою жеребей, но Алексѣй изъ великодушія согласился идти за брата безъ всякаго жребія.

Потѣхинъ характеризуетъ этого великодушнаго парня такимъ образомъ:

«Алексѣй жилъ всегда дома, былъ нерѣчивъ и на сходку изъ-за брата никогда не ходилъ; слылъ парнемъ смиреннымъ, работающимъ, но не больно умнымъ». А далѣе Потѣхинъ прибавляетъ къ этой характеристикѣ: «откуда такая тонкость, такая деликатность чувства въ простомъ, неразвитомъ мужикѣ? можетъ-ли та среда, въ которой онъ выросъ, имѣть такіе элементы? да, вѣдь, не даромъ онъ и слылъ на міру чуть не дурачкомъ, не даромъ во многихъ русскихъ сказкахъ, что ни дуракъ, то и умнѣе, и лучше всѣхъ»... Эта деликатность чувства заключалась въ томъ, что, пойдя за брата въ рекрута охотою и безъ всякой со стороны послѣдняго просьбы, Алексѣй потомъ предался грустнымъ размышленіямъ, почему это ему брата, отъ котораго онъ никакого добра не видѣлъ, жалъ, а жены не жалъ, женѣ, которая за него въ огонь рада идти, онъ зло дѣлаетъ?.. «Экой грѣхъ, эка бѣда», думалъ онъ:—жены-то я не люблю: пускай-бы непутная какая была, а то баба-то добрая, хороша, души во мнѣ не слышитъ, жалко мнѣ ее, все-бы для нея сдѣлалъ, а поди вотъ ты, сердце къ ней не лежитъ... Не потерпѣть мнѣ Богъ за это!.. Вѣдь вотъ передъ Богомъ, въ церкви, давалъ обѣщаніе любить ее, а что дѣлаю?.. Сидитъ она, молчитъ, не глядитъ, работаетъ—ну, ничего, взгляну на нее, даже жалость возьметъ, такъ-бы и обнялъ, и приголубилъ; а начнетъ она ко мнѣ ластиться, да цѣловаться, либо теперь плакать, да приговаривать—ну, противно, не глядѣли-бы мои глаза... Что ты станешь дѣлать? И жалко мнѣ ее, и совѣсть зазрѣть, а нѣтъ вотъ, не любя, не тянешь меня къ ней»...

Но не въ этихъ однихъ размышленіяхъ заключалась деликатность чувства Алексѣя. Онъ проявилъ ее во время обычной гулянки новобранцевъ:

«Какъ охотникъ, какъ назначенный въ рекруты, Алексѣй, по обычаю, освобождался отъ всякихъ домашнихъ работъ и заботъ, и гулялъ заурядъ съ другими назначенными къ поставкѣ, но гулялъ какъ-то тихо, уныло, никто его не замѣчалъ, никто о немъ



не рассказывалъ, никакихъ штукъ онъ не выкидывалъ, пьяные ребята рѣдко заходили звать его въ свою компанію, но и не гнали прочь, когда онъ приставалъ къ нимъ и тянулъ съ ними общую водку и пѣню. Мало было даже и разговоръ въ деревнѣ о томъ, что вотъ Алеха идетъ охотой за брата; всѣ смотрѣли на это просто и безъ удивленія, безъ похвалъ, точно какъ будто такъ и быть слѣдовало. Въ деревнѣ, какъ и въ городѣ, скромность рѣдко оцѣнивается, и на сходкѣ міромъ больше тотъ ворочается, у кого глотка шире, да за словомъ, хотя и не больно умнымъ, въ карманъ не подѣзаетъ. Даже въ семьѣ своей поступокъ Алексѣя скоро потерялъ свою цѣну: Павелъ и жена его, убѣдившись въ неизмѣнности намѣренія Алексѣя и не вида съ его стороны ни малѣйшей требовательности, ни малѣйшаго желанія напомнить о своемъ самопожертвованіи, почти не считали себя ничѣмъ ему обязанными, по крайней мѣрѣ, не думали объ этомъ.

Все это очень добродѣтельно и похвально, и, конечно, не похоже на гулянку Степана, но все это одни только цвѣточки, ягодки впереди... Свою добродѣтель и деликатность чувствъ Алексѣй завершилъ подвигомъ, по истинѣ, умиленнымъ. Въ довершеніе гулянки, онъ вознамѣрился пойти проститься со своею прежнею барынею и пригласить ее къ себѣ въ гости провести съ нимъ послѣдній вечеръ... Да мало того, что самъ онъ отправился къ барынѣ, но и увлекъ своего двоюроднаго брата Степана, того самаго демоническаго Степана, который отмачивалъ такія штуки надъ своими родными. По этому поводу у нихъ произошелъ такой разговоръ:

— Слушай-ка, Степа, пойдешь ты къ барынѣ проститься?

— А коего дѣлаго я не видалъ у нея?

— А проститься-то надо-же? Подемъ, братъ, и я пошелъ-бы съ тобой...

— Да развѣ только то, что чаемъ или кофеемъ напоить; а то плевать и хотѣлъ проститься-то съ ней...

— Да что она? вѣдь она тебя не обижала? Тебѣ грѣхъ на нее жаловаться... Пойдемъ-ка, полно... Миѣ одному-то идти ровно какъ не того... Да я и не бывалъ николи... А сходить-то надо... Подемъ...

— Ну, подемъ...

И они пошли. У барыни въ гостяхъ Алексѣй вдругъ вздумалъ открывать ей всю свою душу, повѣрять всѣ свои горести, разругился и растаялъ парень со-всѣмъ.

— Не надивлюсь я на себя: ну-ка, что я вамъ наговорилъ, откуда у меня столько рѣчей-то набралось... Не говоривать, кажись, столько отродася... а вы сидѣли, да слушали меня... Дай вамъ Богъ за то радости, а миѣ ровно пооблегчало... Ну, прощайте... Пора ужъ миѣ... Вотъ что, матушка, попросилъ бы я тебя, да не знаю какъ... не прогнѣвалась-бы ты...

— Что, что такое? Говори, Алеша; я рада радостью...

— Погости ты у меня ужю... Приходи ко миѣ въ гости, вотъ и съ дочками, всѣ приходите... а? Будь мать родная... Я сегодня выпрошу у брата, чтобы миѣ хоть одинъ денекъ побольшичить въ дому, а ты и приходи ко миѣ... Али тебѣ непригоже?

— Изволь, изволь, непримѣнно приду... Всѣ придемъ...

— Ну, вотъ ужъ покорнѣйше благодарю... Вотъ благодарю... Ужъ буду радъ—приходите... Ну, а теперь прощайте пока.

Барыня проводила Алексѣя со слезами и благословеніями...

Неправда-ли, какъ это все умиительно. Выходить въ концѣ концовъ, что Потѣхинъ какъ будто нароч-

но написалъ повѣсть для того, чтобы провести въ ней слѣдующую нравственную сентенцію: если тебя отдадутъ въ рекруты, то не предавайся съ горя пьянству или дебоширству, не слѣдуй дурному примѣру развращеннаго Степана, а поступай такъ, какъ поступалъ исполненный деликатныхъ чувствъ Алексѣй: будь благонравенъ и трезвъ до послѣдняго дня, а если хочешь разгуляться да побольшичить въ послѣдній день, то ступай не въ кабакъ, а къ какому нибудь начальству, настоящему или бывшему, отдай ему достодолжный поклонъ, пригласи его на пирушку и проводи послѣдній день гулянки въ лестномъ для тебя сообществѣ съ людьми чиновными и высокопоставленными, памятуя мудрый заветъ отцовъ, что сообщество съ людьми высшими возвышаетъ ниспаго до нихъ.

За такое добродѣтельное поведеніе Алексѣй получилъ похвальный отзывъ и отъ своей тетюшки Прасковьи.

— А барыню развѣ звалъ? спросила она, когда онъ пришелъ пригласить ее на пирушку и объявилъ, что у него будетъ въ гостяхъ барыня.

— Звалъ.

— Ну, доброе дѣло, умно; хвалю за то. У насъ народъ на нее взбѣлся, самъ не знаетъ за что... Что барыня? Такъ чѣмъ она виновата, что барыня, коли такъ ее Богъ уродилъ... Вотъ были и всѣ въ крѣпости, а теперь царь отмѣнилъ, стала воля... Такъ она-то въ чемъ тутъ причина? вѣтъ, какъ были крѣпостные, такъ барыни боялись и почитали, а теперь — ругать, да наравить какъ обидѣтъ: не хорошо, я этого не хвалю... А ты хорошо сдѣлалъ, умно...

— Э, да, вѣдь, ты бы посмотрѣла, тетюшка Прасковья, какъ меня въ господскомъ-то дому привѣчали... ровно я не мужикъ... Даже все сердце мое къ барынѣ раскрылось...

— Что-же? Барыня она добрая завсегда была... И впередъ Алексѣюшка никогда не смотри на людей и не дѣлай за людьми, а дѣлай такъ, какъ Господь тебѣ на душу положить... Доброе дѣло, доброе дѣло, голубчикъ... Умница ты у меня, люди-то только въ тебѣ пути не знали...

И правду говорила старушка; дѣйствительно, что за умница былъ Алексѣюшка. Въ одномъ только она ошибалась, что будто люди пути въ немъ не знали. Какіе это люди? Развѣ какіе-нибудь Степаны и прочіе въ этомъ родѣ, не понимавшіе, какое счастье и высшее наслажденіе въ жизни, когда къ тебѣ вдругъ придетъ въ гости барыня. Люди-же, имѣвшіе понятіе объ этомъ наслажденіи, конечно, знали толкъ и въ Алексѣѣ, и я съ своей стороны скажу, что Алексѣй съ своими деликатными чувствами, безъ сомнѣнія, пошелъ далеко, давно уже обогналъ всѣхъ своихъ товарищей, тѣмъ болѣе, что барыня общала писать, чтобы на него обратили вниманіе, если у нея окажутся знакомые въ томъ полку, куда онъ попадетъ; ужъ навѣрное кто ни кто, а Алексѣй выслужится въ унтеръ-офицеры...

Такъ вотъ какого рода добродѣтельныхъ крестьянъ рисуетъ намъ Потѣхинъ.

## V.

Потѣхину удастся иногда создать такой сюжетъ, который имѣетъ свое реальное значеніе, является очевидно не искусственно придуманнымъ, а взятымъ изъ жизни, но такова ужъ несчастная линія Потѣ-



хина, что вѣсто того, чтобы продумать подобный сюжетъ и представить его во всей жизненной правдѣ, Потѣхинъ суживаетъ и его подвести подъ рутинныя нравственныя тенденціи. Таковъ, напримѣръ, сюжетъ извѣстной драмы Потѣхина „Чужое добро въ прокъ не идетъ“.

Представьте себѣ крестьянина, содержателя постоялаго двора и ямской станціи на большой торговой дорогѣ, человѣка зажиточнаго, расчетливаго скопидона, который держитъ всю семью въ ежовыхъ рукавицахъ и требуетъ, чтобы домохадцы безпрекословно исполняли его волю и работали на него, какъ рабы. Между тѣмъ у него двое уже взрослыхъ сыновей, изъ которыхъ одинъ, Михайла, человѣкъ уже женатый и въ свою очередь отецъ семейства.

Однимъ словомъ, передъ вами картина патриархальнаго родового быта, остатки котораго и теперь еще не въ рѣдкость встрѣтить въ средѣ крестьянства и купечества, и вы видите передъ собой все то растлѣвающее вліяніе, какое производитъ родовой деспотизмъ на людей, подчиненныхъ ему.

Извѣстно, что родовой деспотизмъ въ средѣ домохадцевъ развиваетъ постоянно два рода типовъ. Одни люди, не одаренные ни силою, ни упругостью природы, безпрекословно склоняются подъ иго деспотизма, отрѣшаются совершенно отъ своей воли и обезличиваются до послѣдней степени. Все свое человѣческое достоинство они полагаютъ въ томъ, чтобы смотрѣть на все глазами своего повелителя, всячески угождать ему и безпрекословно во всемъ повиноваться; въ этомъ заключаются въ ихъ глазахъ высшій нравственный долгъ и всевозможныя человѣческія добродѣтели; въ этомъ-же они предугадываютъ и единственный ключъ къ достиженію всевозможнаго благополучія. И они не ошибаются; дѣйствительно, отрѣшеніемъ отъ своей личности они съ одной стороны приобретаютъ внутреннее сознаніе своего нравственнаго совершенства, смотря на свое рабство, какъ на самоотверженіе въ пользу долга, съ другой стороны — приобретаютъ и внѣшнюю славу, такъ какъ ихъ поведеніе ставится въ примѣръ людямъ, менѣе добродѣтельными и послушными, чѣмъ они; съ третьей стороны — и что самое главное, они приобретаютъ благоволеніе со стороны своихъ повелителей; вслѣдствіе чего, ихъ постоянно во всемъ отличаютъ, ставятъ впереди; такимъ образомъ, они пролагаютъ путь къ своему матеріальному благосостоянію, и когда, наконецъ, получаютъ самостоятельность по смерти, напримѣръ, родового повелителя, когда обзаводятся своею собственною семьей, воспитанные въ духѣ семейнаго деспотизма, они сами дѣлаются деспотами-самодурами и отъ своихъ домохадцевъ требуютъ такихъ-же добродѣтелей — безпрекословнаго повиновенія и угожденія, какія практиковали по отношенію къ своимъ родителямъ.

Другого рода люди, по силѣ и кипучести своей натуры, никакъ не могутъ выносить безропотнаго рабства; терпѣть и ждать, пока судьба изъ подчиненныхъ сдѣлаетъ ихъ повелителями, не въ ихъ характерѣ. Имъ хочется сразу избавиться отъ всякой опеки и начать жить самостоятельною жизнью, никому не кланяясь и ни отъ кого не завися. Крошѣ того,

имъ кажется тѣсенъ узкій міръ семейныхъ обязанностей, они не могутъ вынести монотонной жизни рабства въ видѣ вѣчнаго торчанья за прилавкомъ, вѣчной ѣзды между двумя станціями и проч. Имъ хочется вездѣ побывать, все увидѣть, испытать, однимъ словомъ погулять по бѣлу свѣту, и людей повидать, и себя показать. Изъ такихъ натуръ, конечно, послушныхъ сынковъ не выходитъ, по за то при благоприятныхъ условіяхъ развиваются Ломоносовы, которые, бросая родительскій кровъ, идутъ, куда глаза глядятъ, проклинаясь своими самодурами родовыми владыками, но возвращаются черезъ нѣсколько лѣтъ великими людьми. Конечно, не всѣ изъ нихъ кончаютъ такъ счастливо; рядомъ съ Ломоносовыми изъ такихъ — же людей вырабатываются и разбойники. Иные изъ нихъ не имѣютъ столько силъ, чтобы сразу скинуть съ себя опеку, ограничиваются мгновенными вспышками противъ своего владыки, ищутъ разгула гдѣ-нибудь на сторонѣ и за глазами отъ повелителя; такого рода люди составляютъ уже переходную ступень отъ идеально — послушныхъ домохадцевъ къ рѣшительно-непослушнымъ. Постоянное витаніе между послушаніемъ и непослушаніемъ, вѣчная забота о томъ, какъ-бы скрыть веселые разгулы на сторонѣ — все это крайне растлѣваетъ ихъ, изъ нихъ дѣлаются безхарактерные, дряблые люди и ни къ чему неспособные пьяницы и развратники, но и въ такомъ случаѣ причины ихъ нравственнаго паденія слѣдуетъ искать не въ нихъ самихъ, а въ ненормальности условій родового быта. Къ тому-же, какъ-бы низко ни падали они, а все-таки въ мало-мальски живомъ человѣкѣ они способны возбудить гораздо болѣе симпатіи, чѣмъ тѣ идеально-добродѣтельные послушники, о которыхъ мы выше говорили; и знаете-ли: случается въ жизни зачастую, что когда разоряется родитель, когда подъ старость, немощный, онъ не знаетъ, куда преклонить голову, онъ скорѣе находитъ пріютъ въ домѣ блуднаго сына, чѣмъ идеально-послушнаго, котораго онъ ставилъ всегда въ примѣръ блудному. Всѣ эти вещи хорошо всѣмъ извѣстны со временъ Исава, продаваго первенство своему младшему брату Іакову за чечевичную похлебку, со временъ Шекспира, изобразившаго въ королѣ Лирѣ безразсуднаго деспота-родителя, отѣзняющаго своихъ дѣтей по наружному виду ихъ подобострастія къ нему, со временъ Шиллера съ его „Разбойниками“.

Въ драмѣ Потѣхина мы видимъ оба вышеупомянутые типа въ лицѣ сыновей Стенана Федорсва, Алексѣя и Михайла. Въ самомъ началѣ драмы мы встрѣчаемъ сцену, рельефно характеризующую обоихъ братьевъ во всемъ существенномъ различіи ихъ характеровъ. Вотъ эта сцена:

*Михайло.* Ну, что, Алеха, въ городѣ ярманка, гуляютъ?

*Алексѣй.* Гуляютъ.

*Михайло.* Народу, чай, гибель?

*Алексѣй.* Много.

*Михайло.* Эхъ, чай, весело! Балаганы, чай, палцы, выставка?

*Алексѣй.* Миѣ-ка все равно.

*Михайло.* Такъ неужто, фая, не погулять?

*Алексѣй.* Что мнѣ... гулять-то! Я не... не надо мнѣ.

*Михайло.* Такі неужто пряниковъ или орѣховъ не купишь? Чай, вѣдь, на водку-то дали?

*Алексѣй.* Дали... гривенникъ.

*Михайло.* Чай, опять отцу отдашь?

*Алексѣй.* Извѣстно... мнѣ куда? мнѣ-ка не надо.

*Михайло.* Слушай, Алеха! ты хоть дуракъ, а обиду мнѣ дѣлаешь. Теперь батка завсегда мнѣ глаза тычетъ, что ты всякую на-водку ему отдаешь...

*Алексѣй.* Такъ что мнѣ? на что мнѣ? деньги не мои... Я сытъ, одѣтъ... все отъ батюшки... его деньги.

*Михайло.* Да ты дуракъ, такъ по дурачки и толкуешь! Наводку твою, и отецъ не требуетъ.

*Алексѣй.* Мнѣ не надо.

*Михайло* (передразнивая его). Э! мнѣ не надо! Кабы мнѣ подошло въ городъ что свезти, да въ ярманку-то... ну ужъ я-бы, кажись, развязалъ поясъ. Да я и теперь, братъ, такое колѣно загнулъ, что любо-два. Тако колѣно, Алеха... слышь ты: везъ я двухъ молодецъ, съ ярмарки ѣхали... Народъ—купцы, гулящій... съ ярманки; значить, денегъ много... Я, это дѣло сейчасъ смекнувши, говорю: «Господа-купцы, прикажите удовольствіе сдѣлать... какъ быть порассейски... аванчикъ выкинуть?»—Катай, говорить.—«А на водку много-ли будетъ?»—Ну, ужъ, говорить, будетъ.—«Полтинничекъ пожертвуете, такъ сдѣлаемъ?»—Полтинничекъ такъ полтинничекъ—жертвуетъ, говорить, дѣлай.—«А какой, молъ, вамъ аванчикъ сдѣлать: нѣмецкій, французскій или рассейскій? Рассейскій всѣхъ будетъ позабористѣе, только дороже стоитъ: къ полтинничку гривенничекъ прикните?» Ну ужъ, Алеха, и сдѣлалъ! Въ корню-то у меня Савраска, а на пристажии-то справа Дьяволокъ, а слѣва — Бутузка. Какъ я, братъ Алеха, возжи-то подобралъ, да привсталъ, да по всѣмъ по тремъ задамъ провелъ разъ, да два, да какъ вскрикну: «батюшки, воры!.. родимые, грабятъ!.. душа, вынеси!» Какъ они, братъ, у меня завизали, да подхватили: Савраска-то, какъ шарикъ, Бутузка—кольцомъ, а Дьяволокъ и ржетъ, и землю роетъ, огнемъ палитъ!.. Эхъ, не расти зелена трава, не свѣти свѣтѣль мѣсяцъ! (Воодушевляясь). Только ухъ, ухъ... Ну, ну...

*Алексѣй* (тоже воодушевляясь). [А... Ахъ! у... ухъ!.. Важно!

*Михайло* (въ увлеченіи). О! О! бѣда, Алеха! духъ захватываетъ... ровно вихорь какой... земля дрожитъ! только колесо за колесомъ поспѣвай; а они-то, мои соколики, трахъ! трахъ!.. Ну, потѣшилъ свою душеньку, ровно всю землю произвелъ, ровно подъ небомъ побывалъ...

*Алексѣй.* Ну, ну?

*Михайло.* Ну, цѣлковый, какъ есть, отвалили.

*Алексѣй.* Полно?

*Михайло.* Вѣрно слово! Ну за то и уваженіе сдѣлалъ...

*Алексѣй.* Лошадей-то, чай, шибко вепарилъ?

*Михайло.* Еще-бы не вепарить! часа полтора водилъ: насилу отдышался.

*Алексѣй.* А что батюшка-то?

*Михайло.* Такъ, пустая голова, глупый твой разумъ, неужто я ему сказалъ? Ты не вадумай сказаты!

*Алексѣй.* Такъ цѣлковый-то развѣ не отдалъ?

*Михайло.* Такъ неужто отдалъ? Я, чай, за свою послугу получилъ... онъ самъ не пренятуетъ: что, говорятъ, за послугу дадутъ, то твое.

*Алексѣй* (качаетъ головой). Негоже...

Изъ этой сцены ясно видно все различіе между двумя братьями. Съ одной стороны, передъ вами идеально-добродѣтельный Алексѣй, являющійся, что называется, *plus royaliste que le roi*, и доводящій свою педантическую легальность до того, что отдаетъ отцу каждый гривенникъ, полученный на-водку, хотя отецъ вовсе этого и не требуетъ; съ другой сторо-

ны, Михайло, человѣкъ живой, страстный, увлекающійся, и такимъ является онъ во всей драмѣ: его тяготитъ гнетъ отцовскаго деспотизма, и онъ постоянно мечтаетъ о раздѣлѣ, его тяготитъ жена, навязанная ему, по всей вѣроятности, насильно, ему хочется разгуляться по бѣлу свѣту, всего посмотреть, испытать! „Эхъ, говоритъ онъ: — кажись, кабы деньги, всего-бы этого насмотрѣлся, всякое-бы себѣ удовольствіе получилъ, да такихъ-бы лошадей тамъ себѣ купилъ, что земля-бы подо мною дрожала... Просто, неси вихорь-атаманъ... разнеси ты мои косточки!..“ Правда, грубы и матеріальны его мечты, но что-же дѣлать, если такова ужъ была его обстановка, что не могла внушить ему болѣе высокихъ и разумныхъ стремленій? Что-же дѣлать, если судьба свела его съ дряннымъ, развратнымъ Леонидомъ Константиновичемъ, а не послала ему человѣка, который могъ-бы дать какой-нибудь иной исходъ его жаднѣ разгуляться. Въ этомъ виноватъ не Михайло, а наша жизнь, которая не успѣла выработать для мужика ничего другого, кромѣ кабака; виноваты, можетъ быть, и мы сами, оградившіе себя непроницаемою китайскою стѣною отъ народа, со всѣми нашими высокими и разумными стремленіями, и обрекли народъ на жертву Леонидамъ Александровичамъ всякаго рода... Но и въ такомъ видѣ, въ какомъ является передъ нами, Михайло способенъ неизмѣнно болѣе возбудить въ насъ симпатіи, чѣмъ Алексѣй, этотъ истуканъ, доведшій свое обезличеніе до отсутствія всякаго живого стремленія, ничего не желающій, не смѣющій и смотрящій, какъ на великій грѣхъ, на каждый самостоятельный шагъ помимо отцовской воли! Въ такомъ видѣ, въ какомъ является передъ нами этотъ жрецъ патриархальнаго культа въ вышеприведенной сценѣ и во всей драмѣ, онъ возбуждаетъ рѣшительное нравственное отвращеніе...

Я не знаю, какъ-бы распорядился истинно-реальный художникъ съ этими двумя типами, задуманными, какъ видите, весьма умно; но, Боже мой, что сдѣлалъ изъ нихъ Потѣхинъ. Начать съ того, что онъ самъ всталъ на точку зрѣнія патриархальной морали Степана Федоровича, и Алексѣй вышелъ у него добродѣтельнымъ героемъ драмы, положительнымъ, идеальнымъ типомъ, отбѣняющимъ собою отрицательный типъ развратнаго Михайлы и служащимъ, конечно, для того, чтобы читатель могъ отдохнуть душою на такомъ свѣтломъ явленіи. Однимъ словомъ, вышла также исторія, что и съ „Двумя охотниками“. Къ тому же вмѣсто того, чтобы вывести дѣйствіе вполнѣ естественно изъ самаго драматическаго положенія дѣйствующихъ лицъ, Потѣхинъ сочинилъ искусственную завязку, введя въ драму случайный эпизодъ въ видѣ внезапно свалившихся съ неба 30,000... Это богатство нечаянно обронилъ проѣзжій купецъ. Михайло нашелъ деньги, но отецъ, по праву родительской власти, отнялъ ихъ отъ сына. Въ то время, какъ добродѣтельный Алексѣй постоянно твердилъ, что чужія деньги слѣдуетъ возвратить по принадлежности, Степанъ Федоровичъ не очень-то желалъ идти по пути добродѣтели и припряталъ деньги, а чтобы смирить и заставить молчать Михайлу, началъ выдавать ему по мелочамъ на кутежи. Дѣло кончилось тѣмъ, что Ми-

хайло, стакнувшись съ развращеннымъ чиновничешкой Леонидомъ Александровичемъ, рѣшился, по наущенію послѣдняго, силою отнять у отца деньги, а въ случаѣ сопротивленія пожалуй и убить его. — Но добродѣтельный Алексѣй все это подслушалъ и предупредилъ (замѣчательно, что въ нашей беллетристикѣ идеально-добродѣтельные герои постоянно занимаются подслушиваньемъ, подсматриваньемъ и предупрежденіемъ преступленій, и это не у одного Потѣхина, а у всѣхъ писателей, выводящихъ идеальные типы). Драма кончается умиительно: Степанъ Федоровичъ прощаетъ, по просьбѣ все того-же добродѣтельнаго Алексѣя, своего преступнаго сына, который обѣщается исправиться и пребывать впредь въ полномъ повиновеніи своему родителю, и въ тоже время старикъ спѣшитъ отвезти по принадлежности деньги, надѣлавшія столько бѣды, на томъ основаніи, что чужое добро въ прокъ не идетъ. Такимъ образомъ, въ заключеніи драмы и оказывается, что причину всѣхъ бѣдъ слѣдуетъ искать не въ ложности условій жизни и отношеній между собою дѣйствующихъ лицъ, а въ попыткѣ присвоенія чужихъ денегъ, и не будь этого случайнаго эпизода, все-бы шло какъ по маслу въ семьѣ Степана Федоровича, да и впредь, конечно, все будетъ обстоять благополучно вслѣдствіе того, что старикъ рѣшился возвратитъ купцу потерянные послѣдніе деньги. Такимъ образомъ Потѣхинъ и свелъ свою драму на слѣдующую прописную тенденцію: если найдешь на дорогѣ деньги, то спѣши отдать потерявшему, или-же представь ихъ поскорѣе въ часть, а въ противномъ случаѣ тебя могутъ постигнуть всевозможныя бѣдствія, потому что чужое добро въ прокъ не идетъ.

## VI.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ такими произведеніями Потѣхина, въ которыхъ, хотя дѣло и сводится въ концѣ-концовъ на рутинно-моральныя тенденціи, но все-таки въ основаніи мы видѣли кой-какія реальныя черты, взятые очевидно изъ жизни и только ложно понятыя и фальшиво освѣщенныя. Но у Потѣхина есть такого рода произведенія, въ которыхъ реальныя чертъ жизни вы не встрѣтите и слѣда, которые цѣлкомъ состоятъ изъ однихъ нравственно-сентиментальныхъ воздыханій, въ которыхъ дѣйствующія лица — и крестьяне, и дворяне, только и дѣлаютъ, что морализируютъ, умиляются и изрѣкаютъ различныя душеспасительныя сентенціи... Таковы, напримѣръ, романъ „Крестьянка“ и продолженіе этого романа въ видѣ драмы „Шуба овечья, душа человѣчья“. Героиней этихъ двухъ произведеній является идеально-добродѣтельная крестьянка, воспитанная сентиментально-добродѣтельнымъ нѣмцемъ, управляющимъ имѣніемъ. Въ продолженіи всего романа она борется со своею страстью къ сосѣднему молодому помѣщику-ловеласу, который имѣетъ непреклонное намереніе обольстить ее; но добродѣтель ея торжествуетъ къ концу романа и коварный обольститель уходитъ съ носомъ. Въ драмѣ-же „Шуба овечья, душа человѣчья“ добродѣтель этой самой героини награждается подъ конецъ законнымъ бракомъ съ другимъ помѣщикомъ,

который оказывается великодушнѣе перваго и на балу, при всемъ собраніи дворянъ, громогласно объявляетъ, что онъ беретъ подъ свое покровительство угнетенную невинность и, пренебрегая всѣми свѣтскими предразсудками, предлагаетъ ей руку, несмотря на то, что онъ благородный дворянинъ, а она подлая крестьянка... Умиительно!...

Къ такого-же рода нравственно-сентиментальнымъ воздыханіямъ принадлежитъ и драма „Судъ людской не Божій“. Довольно сказать, что вся эта драма основана на роковомъ дѣйствіи родительскаго проклятія. Крестьянская дѣвушка слюбилась съ парнемъ; парень посватался къ ней, но отецъ, крестьянинъ зажиточный и гордый, не согласился на бракъ дочери съ бѣднякомъ, а узнавши, что она уже слюбилась съ нимъ, изрекъ свое родительское проклятіе, которое такъ по дѣйствовало на дѣвушку, что она упала въ обморокъ и потомъ погѣшалась. Старикъ отецъ спохватился, но поздно. Въ отчаяніи и сокрушеніи сердца отправился онъ виѣстѣ съ возлюбленнымъ дочери въ Кіевъ на богомолье. На возвратномъ пути они встрѣтили на постояломъ дворѣ подупомѣшанную дѣвушку. Слѣдуетъ умиительная сцена: дѣвушка приходитъ въ себя, отецъ прощаетъ ее, милый предлагаетъ ей руку, но она отказывается ему на томъ основаніи, что во время сумасшествія ей снились всѣ адскія муки, и она дала обѣтъ никогда съ милымъ не сходитьсь, а всю жизнь посвятить Богу и отцу. Въ отчаяніи милый идетъ въ солдаты, а присутствующій при этомъ помѣщикъ Скрипуновъ, утирая слезы, восклицаетъ: „трогательная исторія! Именно наши крестьяне (дѣлаютъ въ воздухѣ неопредѣленное движеніе рукою) удивительный народъ!.. съ душой!..“ Послѣ подобныхъ сентиментальностей, естественно, натыкаешься какъ на оазисъ въ степи и отдыхаешь душою, читая романъ „Бѣдные дворяне“. Оттого-ли, что въ этомъ романѣ Потѣхинъ имѣетъ дѣло съ средою, болѣе ему знакомою, чѣмъ крестьянская, или на Потѣхина нашелъ уже такой моментъ просвѣтленія, когда онъ писалъ этотъ романъ, но только въ этомъ произведеніи онъ стоитъ вполне на реальной почвѣ. Вы не найдете здѣсь и слѣда сентиментальной морали, ни малѣйшаго побужденія къ изображенію добродѣтельныхъ героевъ, отрекающихся отъ своей человѣческой личности ради сохраненія невинности и выдающихъ высшій нравственный идеалъ въ смренногудріи, незлобін, уваженіи къ старшимъ, повиновеніи и пр. Героємъ романа является бѣдный дворянинъ Никаноръ Александровичъ Осташковъ, воспитанный совершенно, какъ крестьянинъ и ничѣмъ не отличающійся отъ окружающихъ его мужиковъ. Находящійся подъ сильнымъ вліяніемъ тетки, женщины смышленной и энергической, и безпрекословно подчиняясь ей во всемъ, человѣкъ недалекаго ума, онъ является въ началѣ романа передъ нами трудолюбивымъ парнемъ, способнымъ сдѣлаться усерднымъ хозяиномъ-земледѣльцемъ. Но женившись на дочери вольноотпущенной дворовой, онъ подчиняется новому вліянію тещи Праксѣи Федоровны, которая совращаетъ его съ правдильнаго пути, твердя ему, что онъ дворянинъ, что ему слѣдуетъ идти въ дворянское общество, гдѣ онъ имѣетъ право быть принятымъ на равной ногѣ, гдѣ онъ

может приобрести и покровительство, и участие, может приобрести знание хороших манеръ, гдѣ его всему научатъ и впоследствии опредѣлятъ на какую-нибудь дворянскую службу. Подобныя внушенія кончились тѣмъ, что Прасковья Федоровна повела его, наконецъ, къ дворянамъ и втиснула въ ихъ кругъ. Но что-же обрѣлъ въ этомъ кругу бѣдный Осташковъ вмѣсто ожидаемаго участія, покровительства, ученія и опредѣленія на службу? Дворяне начали глумиться надъ ихъ собратомъ, неожиданно нежданно вторгшимся въ ихъ среду съ вышностью мужика съ головы до ногъ; его наряжали въ разные шутовскіе костюмы, били нагайками, травили собаками, однимъ словомъ, онъ явился въ ихъ общество въ качествѣ шута. Сначала такое положеніе тяготило Осташкова, но потомъ онъ мало-по-малу втянулся въ свою должность шута, ему понравилась возможность жить на чужихъ хлѣбахъ, ничего не дѣлая и получая сверхъ того подачки. Картина постепеннаго превращенія Осташкова изъ скромнаго, честнаго труженника въ лѣнтяя-дармоеда, пресмыкающагося у разныхъ благодѣтелей-милостивцевъ, терпѣливо переносящаго всевозможныя поруганія, подобострастно кланяющагося, восхваляющаго и униженно выпрашивающаго разныхъ подачекъ, надо отдать справедливость, исполнена Потѣхинымъ мастерски. Съ другой стороны, перевода своего героя отъ одного благодѣтеля къ другому, Потѣхинъ раскрываетъ передъ нами такую ужасающую картину праздности, пьянства, разврата, грубаго животнаго эгоизма, дикаго безчеловѣчія, гордаго высокомерія и дряблой безхарактерности, что волосы становятся дыбомъ, читая все это, и между тѣмъ все это совершенно правдиво и реально, безъ малѣйшихъ преувеличеній и искаженій. Однимъ словомъ за однихъ „Бѣдныхъ дворянъ“ можно простить Потѣхину всѣ грѣхи его прочихъ произведеній.

Случая „Бѣдныхъ дворянъ“ съ остальными произведеніями, невольно приходишь къ мысли, что Потѣхинъ не понялъ своего таланта и не умѣлъ постоянно держаться своей настоящей дороги. Начать съ того, что Потѣхинъ большую часть своей литературной дѣятельности посвятилъ драматической поэзіи, тогда какъ онъ не созданъ быть ни драматургомъ, ни комикомъ.

Для драмы необходимъ глубокий и смѣлый мыслитель, исполненный скептицизма и ироніи; между тѣмъ всѣхъ этихъ качествъ въ Потѣхинѣ нѣтъ и слѣда. Въ самомъ дѣлѣ, драма есть чадъ переходныхъ эпохъ, она развивается тогда, когда рушится цѣлый кодексъ отжившей морали и притомъ рушится не передъ одними ответченными теоріями передовыхъ мыслителей, но въ самой жизни вмѣстѣ съ тѣми порядками, которые онъ освящалъ. Цѣль драмы представить борьбу живыхъ, естественныхъ, человѣческихъ стремленій съ различными давящими и стѣсняющими условіями жизни, являющимися въ видѣ мертвыхъ обычаевъ, предрасудковъ и всевозможныхъ заблужденій, корнящихся на почвѣ отжившаго быта. Поэтому истинный драматургъ непремѣнно долженъ стоять выше обыденныхъ міровоззрѣній толпы, онъ долженъ раскрывать толпѣ всю нелѣпость, всѣ противорѣчія ея міровоззрѣній и показывать, къ какимъ трагическимъ послѣдствіямъ ведутъ подобныя міровоззрѣнія, какъ

отъ нихъ гибнуть лучшія силы общества. Писатель же, который раздѣляетъ всѣ отжившія міровоззрѣнія толпы, ничѣмъ не возвышается надъ нею, навѣно воображаетъ, что трагическое въ жизни является не иначе, какъ въ случаяхъ отступленія отдѣльных личностей отъ мудрыхъ правилъ уличной морали, — такой писатель не создастъ ни одной порядочной драмы. Злодѣи его будутъ всегда представлять неестественный мелодраматическій экстрактъ всякихъ гадостей или, напротивъ того, явятся вдругъ самыми симпатичными людьми изъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ драмы, добродѣтельные же герои будутъ сентиментально-плаксивными олицетвореніями сентенцій прописной морали и отталкивающими отъ себя приниженными пошляками. Въ цѣломъ же каждая драма такого писателя будетъ ничѣмъ инымъ, какъ иллюстраціей къ прописямъ и тѣмъ нравоученіямъ, которые печатались нѣкогда въ старыхъ азбукахъ. Какъ писателю, стоящему не только на почвѣ обыденной рутинной морали, но не вполне отрѣшившемуся отъ морали узко-сословной, полагающему нравственность мужика прежде всего въ почтеніи и угожденіи барину, Потѣхину нечего и думать быть драматическимъ писателемъ. Это совсѣмъ не его область.

Точно также и комедія совершенно не въ духѣ Потѣхина. По шуткому и совершенно вѣрному замѣчанію Добролюбова, въ комедіяхъ Потѣхина недостаетъ смѣха, а это-то одно и составляетъ всю сущность комедіи. По моему же мнѣнію, стремленіе Потѣхина выводить въ комедіяхъ своихъ, рядомъ съ отрицательными типами, сентиментально-добродѣтельныхъ героевъ главнымъ образомъ оттого и происходитъ, что онъ не обладаетъ смѣхомъ: не въ силахъ достаточно осмѣять своихъ героевъ, Потѣхинъ поневолѣ чувствуетъ потребность отгнѣять ихъ и показать свое отрицательное къ нимъ отношеніе выведеніемъ положительныхъ типовъ. Такимъ образомъ, положительные типы въ комедіяхъ Потѣхина играютъ роль хора древней драмы. Но такъ какъ эти типы выводятся постоянно на одинъ и тотъ же образецъ сентиментальной морали, то хоръ этотъ выходитъ очень однообразенъ, монотоненъ и плаксивъ!.. А между тѣмъ, обладая Потѣхинъ хоть частицею смѣха, и смѣхъ самъ собою выручилъ бы его, не смотря даже на всю обыденность его морали. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, чѣмъ Гоголь по своей морали сложенъ выше Потѣхина? Но онъ былъ истинный художникъ, обладавшій неисчерпаемымъ богатствомъ смѣха, и смѣхъ этотъ выручалъ его: ему незачѣмъ было морализировать, достаточно было представить своихъ героевъ во всемъ ихъ комическомъ безобразіи и заставить читателя смѣяться надъ ними отъ души. Читатель хохоталъ, и цѣлый рядъ явленій представлялся ему въ пошломъ видѣ, независимо отъ того, что писатель можетъ быть глядѣлъ на пошлость этихъ явленій совсѣмъ съ иной точки зрѣнія, чѣмъ читатель. Возьмите другого писателя прошлаго столѣтія — Фонъ-Визина. Подобно Потѣхину, онъ выводилъ сентиментально-добродѣтельныхъ героевъ, въ видѣ Правдина, Милона, Стародума. Мы считаемъ подобныя личности большимъ недостаткомъ комедій Фонъ-Визина, личностями, совершенно лишними и ни къ чему ненужными, но не смо-

три на то мы все-таки уважаемъ комедіи Фонъ-Визина. Почему? Потому, что въ нихъ мы видимъ не одно сентиментальничанье, но и обильное количество смѣха. Отрицательныя личности фонъ-визинскихъ комедій не только отгѣняются добродѣтельными героями, но и сами по себѣ осмѣиваются, и въ этомъ смѣхѣ все достоинство этихъ комедій. Комедія же серьезная, безъ смѣха и съ сентиментально-плаксивыми воздыханіями—это не комедія, а селедка, посоленная вмѣсто соли сахаромъ. Комическій писатель, не умѣющій смѣяться—это слѣпой художникъ и глухо-нѣмой пѣвецъ...

Судя же по „Бѣднымъ дворянамъ“, настоящее призваніе Потѣхина есть скромный удѣлъ беллетриста-фотографа. Потѣхинъ долженъ, по моему мнѣнію,

воздерживаться всѣми силами отъ всякой попытки что либо художественно создавать, полагаясь на свою творческую фантазію, а тѣмъ болѣе пытаться выводить идеальные типы, которые всегда у него выходятъ безжизненно отвлеченны, по причинамъ, о которыхъ мы достаточно трактовали въ этой статьѣ. Удѣлъ Потѣхина—изображать безхитростно ту обыденную дѣйствительность, которая окружаетъ его и съ которою онъ хорошо знакомъ, изображать ее во всей правдѣ, какъ она ему представляется, ничего къ ней не присочиняя и не подвергая ее никакимъ нравственнымъ приговорамъ. Читатель самъ будетъ знать, какіе ему сдѣлать выводы изъ подобныхъ изображеній. И если Потѣхинъ не слѣдовалъ постоянно этому пути, то остается только пожалѣть объ этомъ.

## НАША СОВРЕМЕННАЯ БЕЗЗАВѢТНОСТЬ.

*Албомъ* — Группы и портреты. Хвоцинской. (См. «Вѣстникъ Европы» № 12, 1874 г., и №№ 2 и 10, 1875 г.)

### I.

Игѣете-ли вы ясное понятіе о томъ, какое различіе между произведеніями, откликающимися на современные вопросы жизни, и попадающими въ самую жилку современности? Я убѣжденъ, что многіе изъ васъ не приходило даже и въ голову вопроса о подобномъ различіи. Откликается авторъ на тѣ или другіе изъ текущихъ вопросовъ, обсуждающихся въ передовыхъ статьяхъ газетъ, воскресныхъ фельетонахъ и въ журнальных обзорѣнияхъ—и чего же больше, какой еще вамъ нужно такой особенной жилки? Вѣсьма многіе изъ беллетристовъ и драматурговъ такъ, именно, и понимаютъ задачу искусства „откликаться на вопросы жизни“. Такъ, въ знаменитое „наше время, когда“, въ эпоху поднятія цѣлаго ряда вопросовъ о взяточничествѣ, откупахъ, крѣпостномъ правѣ и пр. и пр., сколько появилось произведений, представляющихъ отвратительныхъ взяточниковъ, жирныхъ, откормленныхъ откупщиковъ, звѣрообразныхъ помѣщиковъ и помѣщицъ, злоупотребляющихъ своимъ крѣпостнымъ правомъ, и рядомъ съ ними благоглупныхъ администраторовъ, являвшихся насаждать честность, правду, гуманность, уваженіе къ закону и провозносившихъ горячія, исполненные пафоса рѣчи объ исчезновеніи мрака, о наступленіи зари новаго сіяющаго дня и о своей высокой, гражданской доблести. Затѣмъ, въ смутную эпоху 60-хъ годовъ, развѣ мало появлялось произведений, въ которыхъ парадировали растрепанные и всеотрицающіе нигилисты, поправшія всякій женскій стыдъ и пустившіяся во всѣ тяжкія стриженныя нигилисты и рисовались передъ вами польскія смуты со всею ихъ подпольною адскою интригою. — А потомъ вышли на сцену адвокаты, концессионеры, дѣльцы. А нынѣ, посмотрите, обходится ли хоть одинъ общественный вопросъ и обществен-

ный скандалъ безъ того, чтобы такъ или иначе не отразиться въ беллетристикѣ—если не прямо, то въ соотвѣтствующихъ характерахъ и положеніяхъ.

Но какъ ни много въ послѣднія 15 лѣтъ появилось романовъ, повѣстей, комедій, очерковъ, откликающихся на вопросы жизни, произведенія же, попадающихъ въ жилку современности, всегда выходили, выходятъ и, по всей вѣроятности, будутъ выходить въ самомъ ограниченномъ количествѣ. Они отличаются отъ другихъ тѣмъ, что изъ чтенія ихъ вы выносите не одно только эстетическое наслажденіе, не одно оправданіе, порицаніе или объясненіе какихъ-нибудь частныхъ явленій, совершающихся передъ вами; они обнаруживаютъ передъ вами самую суть современности, открываютъ передъ вами такія пропасти, на краю которыхъ стоите вы сами, такія трагическія катастрофы, въ которыхъ вы сами признаете себя дѣйствующимъ лицомъ; поэтому они возбуждаютъ въ васъ рядъ роковыхъ мыслей, отъ которыхъ вы не въ силахъ отдѣлаться; мало того, пробуждаютъ въ васъ совѣсть, сокрушеніе о вашей собственной несостоятельности, заставляютъ васъ содрогнуться, подобно тому, какъ заставила содрогнуться пирующихъ та огненная надпись, которая появилась вдругъ на стѣнахъ дворца Вальтасара. Очевидно, что не много произведений, способныхъ производить на васъ подобное впечатлѣніе. По большей части, читая произведеніе, вы остаетесь холоднымъ зрителемъ раскрываемой передъ вами картины и смотрите на нее, какъ на нѣчто совершенно для васъ постороннее. Возьмите, для примѣра, хотя бы „Злобу дня“ Потѣхина. Она-ли не откликается на самый, повидному, животрепещущій вопросъ жизни, именно, вопросъ объ особенномъ увеличеніи числа самоубійствъ въ послѣднее время; мало этого, авторъ въ своей комедіи вывелъ даже дѣйствительный фактъ, „былъ“, какъ говорили прежде. А между тѣмъ, вы

смотрите на эту пьесу холодно, и дѣйствіе, развиваемое въ ней, представляется вамъ чѣмъ-то, совершенно чуждымъ для васъ лично. — Вы, безъ сомнѣнія, не принадлежите ни къ числу тѣхъ родителей, которые способны отдать замужъ свою дочь за безобразнаго купца ради поправленія своихъ обстоятельствъ, ни къ числу тѣхъ несчастныхъ дочерей, которымъ выпадаетъ на долю подобная участь. Конечно, очень жаль, что наша жизнь столь безобразна, что на ея почвѣ могутъ совершаться такіа чудовищныя драмы. Но вамъ-то лично что же остается тутъ дѣлать, какъ не радоваться, что вы, слава Богу, стоите на неизмѣримой высотѣ, надъ грязью этой жизни, и для васъ недоступны подобныя трагическія катастрофы, совершающіяся гдѣ-то далеко, далеко, въ самомъ низу, подъ вашими ногами? Съ такой высоты смотрите вы на нравы, характеры, положенія большинства произведеній, откликаящихся на вопросы современности. Произведенія же, попадающія въ жилку современности, тѣмъ и отличаются, что васъ самихъ сбрасываютъ съ вашей мнимой высоты и разрушаютъ всѣ ваши гордыя иллюзіи.

Для подобнаго рода произведеній нуженъ, конечно, большіи талантъ, но и большой талантъ не всегда здѣсь выручаетъ. Далеко не всѣ произведенія великихъ талантовъ можно считать попадающими въ жилку современности. Не всякое сѣмя, летающее по воздуху, оплодотворяется и производитъ растеніе. Нужно особенно счастливое стеченіе обстоятельствъ для того, чтобы произведеніе писателя, какъ-бы онъ ни былъ талантливъ, попало въ жилку современности: это происходитъ только тогда, когда писатель или самъ переживаетъ нѣсколько событій, глубоко его потрясающихъ, или бываетъ близкимъ свидѣтелемъ подобныхъ событій. Во всякомъ случаѣ, подобныя произведенія не пишутся, а выстрадываются; отъ нихъ вѣетъ всегда слезами и кровью.

Къ такого рода произведеніямъ безспорно принадлежатъ очерки современныхъ нравовъ Хвоцинской, носящіе заглавіе „Альбомъ—группы и портреты“. — Я не хочу сказать, чтобы лучше этихъ очерковъ ничего не появилось въ печати въ послѣднее время; конечно, найдется не мало произведеній и болѣе сильныхъ по таланту авторовъ, и болѣе обработанныхъ. Я не скажу также, чтобы эти очерки были лучшіе изъ всего написаннаго Хвоцинской: это—больше ничего, какъ наброски, эскизы, въ которыхъ многое только намѣчено, многое недоговорено и вамъ самимъ представляется догадываться и дополнять картину своимъ воображеніемъ. Конечно, принимая во вниманіе, что Хвоцинская написала цѣлый рядъ романовъ и повѣстей, вполне развитыхъ и обработанныхъ въ художественномъ отношеніи, было-бы странно ставить эти очерки выше всего, написаннаго ею прежде. Я и не дѣлаю этого. Я избѣгаю всякихъ сравненій и беру эти очерки сами по себѣ, какъ они мнѣ представляются. И представляются они мнѣ одними изъ тѣхъ немногихъ произведеній, которыя прямо попадаютъ въ жилку современности. И замѣчательно, что, при всей своей хаотичности, при всей своей необработанности, они тѣмъ не менѣе производятъ на читателя самое потрясающее впечатлѣніе. Послѣ чтенія ихъ вамъ

становится тяжело и грустно, становится страшно и за себя, и за все общество. Вы видите, что каждая строка здѣсь выстрадана и заставляетъ васъ глубоко задумываться.

Подобнаго рода произведенія представляютъ особенно богатый матеріалъ для критики. Они не заставляютъ критика задумываться, что писать по поводу произведенія и съ какой стороны разбирать его, какъ это бываетъ съ весьма многими произведеніями, откликающимися на самые, повидимому, животрепещущіе вопросы жизни. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ для примѣра хотя-бы опять-таки пресловутую „Злобу дня“. Вѣдь ужъ самое заглавіе пьесы, казалось-бы, должно вамъ внушать, что о ней, конечно, можно вдоволь наговориться любому критику; о чемъ-же и толковать критикъ, какъ не о злобѣ дня? А между тѣмъ, попробуйте-ка, потолкуйте о злобѣ дня, парадирующей въ пьесѣ Потѣхина. Какіе вы типы станете анализировать, какія идеи, вызываемыя пьесой, разовьете передъ читателями? Неужели идею о томъ, какъ гнусно поступаютъ родители, приносящіе въ жертву своихъ дѣтей ради поправленія своихъ финансовъ? Неправда-ли, что тошнота одолеваетъ васъ при одной мысли о необходимости распространяться о такихъ азбучныхъ идеяхъ и перо выпадаетъ изъ рукъ вашихъ. Да, много появляется произведеній нынѣ, откликающихся на вопросы современности, но не о многихъ можно написать болѣе десяти строкъ, и мало вы найдете такихъ, которыя, при всей своей животрепещущей современности, шли-бы далѣе какихъ-нибудь прописныхъ труизмовъ въ родѣ того, что терпѣніе и трудъ преодолеваютъ все, чужое добро въ прокъ нейдетъ, чревоугодіе есть мать всѣхъ пороковъ и пр. Возьмите, напримѣръ, романъ Данилевскаго „Девятый валъ“. Чѣмъ это не современный романъ? Написать легко, безъ сучка и задоринки, читается не безъ интереса; найдете вы въ немъ хорошо обдуманное и строго выдержанное характеры, вполне естественныя драматическія положенія, изображенія многихъ сторонъ жизни, въ своемъ родѣ любопытныхъ и мало затрогивающихся литературой, хотя-бы, напримѣръ, нравовъ женскихъ монастырей; однимъ словомъ, романъ недюжинный и небезполезный. Но попробуйте писать критическую статью объ этомъ романѣ, и о чемъ-же придется вамъ распространяться въ ней? Неужели о вредѣ аскетизма и подавленія естественныхъ человѣческихъ потребностей? И я очень хорошо понимаю, почему по поводу романа Данилевскаго не появилось ни одной критической статьи въ нашей литературѣ. То же самое можно сказать о романѣ Печерскаго „Въ лѣсахъ“. Романъ тянулся Богъ вѣсть сколько лѣтъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, вышелъ въ четырехъ объемистыхъ книгахъ, представляетъ много любопытныхъ этнографическихъ данныхъ: во всей подноготной рисуется здѣсь передъ вами жизнь раскольниковъ-скитовъ Костромскихъ лѣсовъ. — Я убѣжденъ, что, если не раздалось еще ропота на страницахъ какого-нибудь журнала или газеты, то скоро раздастся, что вотъ какая у насъ нынѣ критика: о такихъ крупныхъ и капитальныхъ вещахъ—и хоть-бы полслова; можно положительно сказать, что у насъ теперь и полное отсутствіе всякой критики. Но что-жъ вы



будете дѣлать, поневолѣ будетъ отсутствіе, потому что критикъ рѣшительно нечего дѣлать съ подобнаго рода капитальными романами. Я, по крайней мѣрѣ, прочелъ романъ Печерскаго отъ доски до доски съ цѣлью непремѣнно написать о немъ статью, и что-же я вынесъ изъ него (исключая этнографическихъ свѣдѣній, разборъ которыхъ подлежитъ какому нибудь специальному, а никакъ не литературному журналу и тѣмъ менѣе литературной критикѣ): радомъ съ пріѣзжими картинами купеческихъ нравовъ, въ духѣ комедій Островскаго, представляющими развѣ ту поразительную новостъ, что тѣже Титы Титычи рисуются въ романѣ Печерскаго въ идеальномъ цвѣтѣ широкихъ русскихъ натуръ и благодѣтелей народа, радомъ съ любовными сценами, совершенно въ загоскинскомъ духѣ, при чемъ добрый молодецъ, какъ увидитъ дѣвицу, такъ сейчасъ-же оба воспламеняются неудержимой страстью и располагаются вкушать чары любви гдѣ-нибудь подъ кустикомъ, а въ это время языческій богъ любви Ярило, и вмѣстѣ съ нимъ Печерскій непремѣнно ужъ улыбаются во весь ротъ, — я нашелъ въ романѣ такое несметное количество затрактовъ, закусокъ, обѣдовъ, ужиновъ, что единственное, что я вынесъ изъ романа, это — колоссальный аппетитъ. Ну и что же мнѣ пришлось бы писать о романѣ Печерскаго? Какія мысли сообщить читателю? Пришлось-бы развѣ только распространяться на счетъ радостей бога Ярила вкушѣть съ Печерскими, да насчитать того, какъ вкусно и сытно ѣдятъ въ раскольниковыхъ скитахъ, какіхъ истребляютъ огромныхъ стерлядей, донскихъ балыковъ, уральскую икру, запивая все это несметнымъ количествомъ рюмокъ всякаго рода настоекъ, наливокъ, рому, шампанскаго и пр. и пр. Все это въ своемъ родѣ любопытно, но какое дѣло до всего этого литературной критикѣ? И поневолѣ пришлось отложить романъ Печерскаго въ сторону вмѣстѣ съ романомъ Данилевскаго.

Очерки же Хвоцинской тѣмъ и хороши, что, какъ произведеніе, попадающее въ самую жилку современности, они не заставляютъ васъ задуматься, что писать по поводу ихъ и стоитъ ли писать что-либо. Они сами возбуждаютъ вашу мысль и тянутъ васъ къ перу для сообщенія тѣхъ впечатлѣній, какія толпою выѣдряются въ васъ послѣ чтенія и ищутъ выхода. Только подобнаго рода произведенія, по моему мнѣнію, и заслуживаютъ критики; о всѣхъ же прочихъ совершенно достаточно десяти, двадцати строкъ какой-нибудь газетной рецензіи.

Собразно всему вышесказанному, цѣль моей статьи будетъ заключаться ни въ чемъ иномъ, какъ въ развитіи тѣхъ мыслей, какія я вынесъ изъ очерковъ Хвоцинской.

## II.

Лѣтъ 15 и 20 тому назадъ, въ большой модѣ былъ, совсѣмъ забытый нынѣ, вопросъ о гамлетствѣ и донкихотствѣ, т. е. о различіи сильныхъ, непосредственныхъ натуръ, энергическихъ, рѣшительныхъ и беззавѣтно отдающихся влеченію своихъ страстей, и натуръ безхарактерныхъ, нерѣшительныхъ, раздвоенныхъ и извѣденныхъ рефлексією. Характеризовались

тѣ и другія натуры совершенно правильно, но причина ихъ различія осталась невыясненною. Предполагалось, что фатально, самою природою суждено однимъ людямъ быть гамлетами, другимъ донъ-кихотами. Мнѣ кажется, что это совсѣмъ неправильно.

Преобладаніе въ обществѣ гамлетства или донкихотства зависитъ, по моему мнѣнію, не отъ чего иного, какъ отъ характера той или другой эпохи. Бываютъ эпохи, когда люди представляются въ полной гармоніи со всѣмъ окружающимъ ихъ міромъ и строятъ жизни, являются преисполненными вѣры, что все стоитъ на своемъ мѣстѣ, какъ слѣдуетъ, что и сами они занимаютъ надлежащее мѣсто въ природѣ и жизни. Совѣсть ихъ или безпробудно спитъ, или, просыпаясь, легко находитъ себѣ удовлетвореніе въ тѣхъ или другихъ функціяхъ общественнаго строя. При такихъ условіяхъ, людямъ, конечно, ничего не остается, какъ беззавѣтно отдаваться влеченіямъ своихъ страстей, какія-бы ни были эти страсти — чисто-животныя, чувственные или самыя высокія. Въ такіе эпохи въ обществѣ естественно должны преобладать донъ-кихоты.

Но бываютъ другого рода эпохи, когда люди, додумываясь до какихъ-нибудь новыхъ системъ міросозерцанія, новыхъ общественныхъ или нравственныхъ идеаловъ, въ тоже время не видятъ ни въ окружающемъ ихъ строѣ жизни, ни въ самихъ себѣ — ничего общаго съ этими идеалами. Жизнь влечетъ ихъ въ одну сторону, идея требуетъ, чтобы они шли въ другую. Казалось-бы, что гдѣ-то могло представиться мѣсто для энергической, донъ-кихотской натуры, какъ не здѣсь: сразу порѣшить, по какому изъ двухъ путей идти и, не задумываясь долго, ринуться по избранной дорогѣ. Но въ томъ-то и дѣло, что ощущуетъ собственно говоря въ подобныя эпохи одинъ только путь: старая дорога, проторенная вѣками; другой-же путь, требуемый новыми идеями, находится только въ отвлеченіи, а въ дѣйствительности нѣтъ ни малѣйшаго подобія его. Вы скажете, что и здѣсь есть мѣсто для энергическаго донъ-кихота: — прокладывать новую дорогу. Сказать это, конечно, ничего не стоитъ, но на дѣлѣ это рѣшительно все равно, какъ сказать путнику, заблудившемуся въ лѣсу: зачѣмъ ты бродишь по топямъ и кочкамъ? проложи черезъ лѣсъ желѣзную дорогу, и она тебя быстро выведетъ на свѣтъ Божій. Всякая новая дорога прокладывается только тогда, когда является множество людей, нуждающихся въ ней; такъ точно и въ жизни. Слѣшно и думать, чтобы отдѣльный человѣкъ, затерянный въ господствующемъ и утвержденномъ вѣками строѣ жизни, могъ перевернуть этотъ строй по своимъ идеямъ. Ему остается одно: бороться всѣми своими слабыми силами съ потокомъ жизни, увлекающимъ его по проложенному руслу. Вы не забудьте при этомъ, что бороться, въ такомъ случаѣ, приходится ему не только съ внѣшними обстоятельствами, но и съ самимъ собою, потому что самъ онъ — кровь отъ крови и кость отъ кости своихъ отцовъ, и въ себѣ самомъ онъ замѣчаетъ на каждомъ шагѣ многое, стоящее въ радикальномъ противорѣчій съ новыми излюбленными идеями. Вотъ тутъ-то и начинается тотъ мучительный разладъ со всѣмъ строимъ жизни, людъ-



ми и съ самимъ собою, который составляетъ сущность гамлетства. Человѣкъ теряетъ возможность съ прежнему беззавѣтностью отдаваться своимъ страстямъ, потому что страсти эти влекутъ по проложенной старой дорогѣ, а ему хочется жить согласно своимъ излюбленнымъ идеямъ; начинается мучительный анализъ каждаго шага и движенія, открывающій бездну противорѣчій, какъ во всемъ окружающемъ, такъ и во внутреннемъ мірѣ; подобный анализъ парализуетъ всякую энергію страстей и влеченій и придаетъ человѣку видъ нерѣшительнаго, безхарактернаго, неспособнаго сдѣлать ни одного куринаго шага. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы подобные люди и въ самомъ дѣлѣ были безсильны и слабохарактерны. Имѣете-ли вы право считать безсильнымъ пловца, потому только, что онъ не двигается съ мѣста, борясь съ быстрымъ потокомъ? Еслибы потокъ и увлекалъ его въ подобной борьбѣ, и въ такомъ случаѣ вы могли-бы изъ этого вывести только относительное заключеніе, что потокъ сильнѣе пловца, но это вовсе не мѣшало-бы пловцу, самому по себѣ, имѣть самую титаническую силу въ предѣлахъ человеческой природы.

Я понимаю, почему Шекспиръ, жившій въ XVII вѣкѣ—создалъ типъ Гамлета. Это былъ вѣкъ самый гамлетическій. Въ это время новыя гуманныя идеи, составлявшія продуктъ древней цивилизаціи, все болѣе и болѣе вторгались въ умы образованнѣйшихъ людей; а строй жизни представлялъ обветшалыя средневѣковыя формы, не имѣвшія съ этими новыми идеями ничего общаго—естественно, что всѣ образованнѣйшіе люди этого вѣка, не исключая и самого Шекспира, должны были представляться гамлетами. Вникните съ исторической точки зрѣнія въ трагедію Шекспира, подумайте, въ чемъ заключается та внутренняя борьба, которая, совершаясь въ душѣ Гамлета, дѣлаетъ его столь нерѣшительнымъ и безхарактернымъ, какія элементы борются въ Гамлетѣ? Вы увидите, что—тѣ самые элементы, борьба которыхъ составляетъ сущность XVII вѣка. Въ Гамлетѣ представляется вамъ, прежде всего, образованнѣйшій человѣкъ своего времени, получившій въ лучшемъ университетѣ образованіе въ духѣ гуманизма.—Идеи, воспріятыя имъ, влекутъ его вовсе не къ какимъ-либо кровавымъ подвигамъ въ духѣ среднихъ вѣковъ, а къ мирнымъ кабинетнымъ бесѣдамъ съ философами и поэтами древности, къ энергическому содѣйствію развитію образованности въ своемъ отечествѣ и смягченію нравовъ въ духѣ просвѣщенной гуманности. Но въ тоже время жизнь со своимъ средневѣковымъ строемъ не представляетъ Гамлету и тѣни возможности слѣдовать по этому пути. Этотъ строй разыгрываетъ вдругъ передъ Гамлетомъ трагедію совершенно въ средневѣковомъ духѣ въ видѣ убійства отца его роднымъ братомъ, узурпаціи престола и замужества матери за убійцу мужа. Мало того, что вся просвѣщенно-гуманная натура Гамлета была потрясена до послѣдней крайности столь ужасною катастрофою, но и на внѣшнее его положеніе она отразилась самымъ неблагоприятнымъ для него образомъ; она закрыла для него всякіе пути къ проведенію своихъ идей въ жизни, обрекла его на жалкую, пассивную роль при-

дворнаго принца, отъ котораго, конечно, постарались бы впоследствии отдѣлаться, когда у Клавдія явились бы свои дѣти, и Гамлетъ, въ качествѣ законнаго наслѣдника, мѣшалъ бы имъ занять престолъ. Къ этому ко всему присоединился и внутренній разладъ въ нравственномъ мірѣ самого Гамлета. Передъ нимъ, въ видѣ призрака отца, встала опять-таки вполне средневѣковая идея кровавой мести, и Гамлетъ, этотъ гуманистъ семнадцатаго вѣка, въ тоже время оказывается на столько еще все таки средневѣковымъ человѣкомъ, что проникается идеею кровавой мести до мозга костей, и очень понятно почему: въ духѣ этой идеи онъ воспитанъ, и все, что окружало его, оправдывало ее и даже видѣло въ ней первую обязанность каждаго находящагося въ такихъ обстоятельствахъ, въ какихъ былъ Гамлетъ. Однимъ словомъ, Гамлетъ былъ въ положеніи современнаго намъ свѣтскаго человѣка, который, какъ-бы ни отрицалъ въ теоріи дуэли, эти подобныя-же средневѣковыя учрежденія, тѣмъ не менѣе не можетъ обойтись безъ нихъ подъ вліяніемъ первой вспышки оскорбленія. Но другое дѣло—проникнуться идеею кровавой мести, другое дѣло—привести ее въ исполненіе. Если для перваго Гамлетъ былъ достаточно еще средневѣковымъ человекомъ, то для послѣдняго онъ былъ слишкомъ уже гуманистъ, его цивилизованная натура была до такой степени уже смягчена образованіемъ, что онъ не способенъ уже былъ, не медля и не задумываясь и съ такою-же беззавѣтностью, совершать кровавые поступки, какъ это дѣлали средневѣковыя непосредственныя натуры.—Поэтому мы и видимъ его постоянно резонирующимъ, колеблющимся, сомнѣвающимся, пока, наконецъ, потокъ жизни, продолжавшій струиться по средневѣковому руслу, не принесъ его самъ собою къ кровавой развязкѣ. И въ этомъ отношеніи Гамлета можно сравнить съ тѣми-же современными намъ свѣтскими людьми, которые выходятъ на дуэль, хотя всѣ убѣжденія ихъ вопіютъ противъ этого, и стрѣляютъ, зажимаютъ глаза и на авось, но пуля и безъ ихъ воли можетъ совершить свое дѣло и случайно попасть въ цѣль. Но представьте вы себѣ этого самаго Гамлета живущимъ вѣкомъ позже, когда нравы были на столько уже гуманизированы и смягчены, что немислимо уже стало, чтобы на престолахъ, въ глазахъ всего народа, совершались кровавыя преступленія, подобныя убійству отца Гамлета, а если они кое-гдѣ все еще и совершались, то идея кровавой мести совсѣмъ уже исчезла изъ умовъ людей—вы не увидѣли-бы тогда въ этомъ самомъ человѣкѣ и тѣни того, что вы понимаете подъ словомъ гамлетство. Онъ представлялся бы вамъ просвѣщеннымъ принцемъ или королемъ въ родѣ Фридриха Великаго или Іосифа, меценатствовалъ бы, поощряя философовъ и поэтовъ, велъ бы съ ними дружбу и переписывался, испрашивая у нихъ совѣтовъ, и мечталъ-бы о разныхъ гуманныхъ реформахъ для водворенія на землѣ царства разума. Онъ продолжалъ бы быть скептикомъ, но скептицизмъ этотъ вовсе не имѣлъ-бы того мрачнаго, парализующаго волю вліянія, какое мы видимъ въ скептицизмѣ XVII вѣка: онъ представлялся бы вамъ смѣлымъ порывомъ гордаго разума, отважно ниспровергающаго всѣ старые пре-

дразсудки, имѣлъ бы на страсти скорѣе разнудывающее, чѣмъ парализирующее вліяніе. И дѣйствительно, таковъ былъ скептицизмъ восемнадцатаго вѣка. Это былъ вѣкъ, въ который люди беззавѣтно отдавались влеченію своихъ страстей, какихъ-бы ни было—самыхъ высокихъ и самыхъ низкихъ; потому восемнадцатый вѣкъ и представляется намъ такимъ разнуданнымъ, потому въ пестрой картинѣ его мы и видимъ ужасающіе пороки и циническій развратъ, рядомъ съ такими возвышенными, героическими проявленіями человѣческой натуры, какія выпадаютъ на долю только немногимъ избраннымъ эпохамъ.

Вмѣстѣ со всѣмъ этимъ понятно становится, почему въ сороковые и пятидесятые годы вопросъ о гамлетствѣ былъ у насъ въ такой модѣ: это была самая гамлетическая эпоха въ нашей жизни. Отцы и дѣды людей сороковыхъ годовъ были исполнены такихъ-же противорѣчій, но они на эти противорѣчія или не обращали вниманія, или находили легкое примиреніе имъ въ жизни. Поэтому, не говоря уже о восемнадцатомъ вѣкѣ, и первая четверть девятнадцатаго представляетъ характеръ необузданно веселой и безпечной жизни въ образованныхъ слояхъ жизни.—Образованнѣйшіе и либеральнѣйшіе люди этой эпохи, увлекаясь до самоотверженія идеями восемнадцатаго вѣка, прилагали эти идеи исключительно только къ вопросамъ государственнымъ, но въ тоже время имъ и въ голову не приходило о согласованіи своей личной жизни съ этими идеями. Либеральныя идеи нисколько не мѣшали имъ беззавѣтно наслаждаться жизнью, кутить, драться на дуэляхъ, донжуанствовать, пылать страстію къ красотѣ военнаго мундира, припечатывать бороды жидовъ къ столамъ и пр. и пр.; иной герой двадцатыхъ годовъ былъ способенъ, въ порывѣ вспыльчивости, оттащить чубукомъ своего крѣпостного или деньщика, а потомъ, черезъ часъ, отправиться на засѣданіе тайнаго общества рѣшать вопросъ объ освобожденіи этого самаго прибитаго Ивана, и при этомъ ему и въ голову могла не прийти вся несообразность подобнаго совпаденія двухъ столь несоотвѣствующихъ поступковъ. Въ своемъ фронтдированіи онъ видѣлъ государственное дѣло на основаніи высшихъ философскихъ соображеній, а въ побіеніи Ивана—ничтожный частный случай вспыльчивости широкой русской натуры, а, если его когда и смущали подобныя проявленія широты натуры, то ему ничего не стоило утѣшиться мыслію, что Иванъ все таки его любитъ и считаетъ хотя и вспыльчивымъ, но добрымъ бариномъ и, конечно, простить ему побои, когда увидитъ, что этотъ самый баринъ устроилъ ему свободу.

Сороковые же годы тѣмъ именно и отличаются, что въ эту эпоху люди перестали уже ограничиваться одними высшими соображеніями о государственныхъ судьбахъ отечества, а начали подводить къ одному знаменателю всѣ малѣйшія проявленія жизни, начали искать новыхъ путей не только для всего общества въ массѣ, но и для каждого индивидуума. Не распространяясь о всемъ другомъ, самыя тѣ неудачи, которыя претерпѣли отцы, навели дѣтей на мысль о той массѣ нравственныхъ противорѣчій, при которой ни о какихъ удачахъ нечего было и мечтать. Люди соро-

ковыхъ годовъ и обратили все свое вниманіе на эту массу противорѣчій. На очную ставку съ новыми и гуманными идеями, составляющими продуктъ современной цивилизаціи, были поставлены не только каждый малѣйшій шагъ жизни, но и каждое помысленіе, самое сокровенное. Не только кулачныя проявленія широкой русской натуры начали казаться поступками, непримиримыми никакими сдѣлками съ совѣстью, но начало оспариваться право на самыя, повидимому, невинныя наслажденія жизни, купленные цѣною чужого труда. Но легко было мечтать о новыхъ идеальныхъ путяхъ жизни, слѣдовать же по нимъ не представлялось никакой возможности, по той простой причинѣ, что въ жизни никакихъ такихъ путей не было и признака. Въ какую бы сторону ни направлялся мыслящій челоѣкъ того времени, онъ вездѣ находилъ одни старыя и рутинныя пути, и жизнь, обхватывая его своимъ потокомъ, неудержимо влекла его по продолженному вѣками руслу. Мечталъ-ли онъ о честной гражданской дѣятельности, ему только и оставалось служить. Но, поступивши на службу, онъ, не говоря уже о томъ, что дѣлался мертвымъ колесомъ обвѣшанной бюрократической машины, кромѣ того, долженъ былъ соглашаться на цѣлый рядъ компромиссовъ, смотрѣть сквозь пальцы на самыя возмутительныя вещи, а зачастую доходило до того, что ему предлагали на выборъ или дѣйствовать, какъ другіе и дѣлаться съ прочими какими нибудь безгрѣшными доходами, или быть отстранену. Пробыться на верхнія ступени служебной іерархіи для пріобрѣтенія болѣе широкаго простора дѣятельности онъ не могъ и мечтать безъ протекцій, противъ которыхъ вопіяли всѣ его убѣжденія. Помышлялъ-ли онъ объ агрономической дѣятельности, поселялся въ деревнѣ и начиналъ хозяйничать, и здѣсь всѣ его идеалы разбивались въ пухъ и прахъ о вредныя экономическія и нравственныя результаты крѣпостного права. Выступалъ онъ на ученое поприще, и, если не былъ рутинеромъ, лекціи его оказывались опасными, онъ принужденъ былъ малодушно скрывать истину, говорить даже вопреки ей,—или сходить съ кафедры. Дѣлаясь писателемъ, онъ, при строгости тогдашней цензуры, вмѣсто высказыванія того, чѣмъ была преисполнена душа его, долженъ былъ писать Богъ знаетъ о какихъ пустякахъ. Приходило-ли ему въ голову жениться, и, въ то время, какъ въ головѣ его носился высокій идеалъ образованной, гуманной женщины, которая была бы во всѣхъ отношеніяхъ подругою его въ жизни, онъ находилъ не женщину, а самку, полуобразованную, исполненную предрасудковъ, искалѣченную воспитаніемъ и обезличенную семейнымъ рабствомъ. Прибавьте ко всему массу внутреннихъ противорѣчій, которыя на каждомъ шагѣ находилъ челоѣкъ сороковыхъ годовъ въ себѣ—противорѣчій между тѣми новыми идеями, какими онъ увлекался, и массою привычекъ, въ духѣ которыхъ онъ былъ воспитанъ и которыя глубоко успѣли въдраться въ него путемъ наслѣдственнаго подбора.—Понятно, что челоѣкъ 40-хъ годовъ не могъ не быть Гамлетомъ, хотя бы и щигровскаго уѣзда.

Затѣмъ наступили шестидесятые годы, которые нѣкогда ставились у насъ въ противоположность соро-

ковымъ годамъ и даже въ нѣкоторый антагонизмъ съ послѣдними, на томъ будто основаніи, что поколѣніе сороковыхъ годовъ состояло изъ людей одной праздной рефлексіи, а люди шестидесятыхъ годовъ были людьми дѣла. Но, въ сущности, шестидесятые годы со всѣмъ ихъ шумнымъ движеніемъ были, конечно, прямымъ результатомъ и, такъ сказать, наслѣдіемъ сороковыхъ годовъ. Различіе между первой и второй эпохами заключалось только въ томъ, что въ сороковые годы люди ограничивались однимъ сознаніемъ своихъ противорѣчій и сокрушеніемъ о нихъ; въ шестидесятые же годы въ цѣлой массѣ общества возбудилась неудержимая жажда во что бы то ни стало найти выходъ изъ мучительныхъ противорѣчій идей съ дѣйствительностью. Это была эпоха всеобщаго покаянія, стремленія къ обновленію. Люди шестидесятыхъ годовъ продолжали быть не менѣе раздвоенными, чѣмъ и предшествовавшее поколѣніе, но они не оставались только скорбными зрителями своей раздвоенности, а боролись съ нею, причѣмъ каждый по своему старался устроить жизнь на новыхъ и разумныхъ основаніяхъ, свергнувъ съ себя ветхаго человѣка. Конечно, отдѣлаться отъ ветхаго человѣка сразу было очень трудно; оттого выходила путаница и сумятица невообразимая: одни принимали за новыя начала старыя же, только нѣсколько заново подмалеванныя, другіе увлекались одною внѣшностью новизны и видѣли въ ней сущность, третьи впадали въ какую нибудь узкую односторонность, иногда думая идти впередъ, уходили назадъ, чувъ что не въ средневѣковую глубину, ударяясь въ мрачный и нетерпимѣйшій аскетизмъ или въ необузданную чувственность, но, какъ ни много было въ шестидесятые годы дикихъ увлеченій и печальныхъ заблужденій, а все-таки въ концѣ-концовъ, это была честная эпоха—эпоха, недопускавшая никакихъ компромиссовъ и требовавшая истиннаго, а не какого-либо призрачнаго обновленія жизни. Люди шестидесятыхъ годовъ были пионерами, наудачу и въ разсыпную на проломъ устремившимися пролагать новыя пути въ невѣдомыя страны; многіе измучились въ мучительной борьбѣ и пали; многіе погибли въ самомъ началѣ пути; многіе заблудились, зайдя въ непроглядную глушь; многіе трусили и малодушно обратились вспять. Но, все-таки, кой-какая тропа оказалась продолженной, кое-что самое непролазное вырублено и указано, по крайней мѣрѣ, выходъ изъ мучительныхъ противорѣчій предшествовавшаго поколѣнія.

Но многіе-ли пошли вслѣдъ за пионерами шестидесятыхъ годовъ по новой тропѣ? Увы, не прошло и десяти лѣтъ, какъ проложенная тропа оказалась вдругъ пустынею, лишь устѣяною кое-гдѣ трупами падшихъ путниковъ. Масса же общества, такъ искренно каившаяся въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, такъ, повидимому, горячо жаждавшая обновленія, — осталась въ старой глуши со всѣми своими прежними нравственными противорѣчійми, которыя въ скоромъ времени перестали вовсе смущать людей, такъ какъ жизнь успѣла выработать кой-какія формы, въ которыхъ оказалось очень легко находить полное примиреніе и съ внѣшнею жизнью и съ внутреннимъ нравственнымъ міромъ.

Уже передъ началомъ шестидесятыхъ годовъ были

люди, которые пророчески предрекали, что жажда общества къ обновленію не замедлитъ удовлетвориться пустяками, и общество быстро найдетъ самое легкое примиреніе.

Не прошло и двадцати лѣтъ съ тѣхъ поръ, и жизнь успѣла вполне оправдать эти пророчества. Большинство людей, такъ горячо когда-то обличавшихъ, такъ искренно сокрушавшихся и каившихся, оказались Маниловыми, успѣвшими построить и мостикъ черезъ рѣку, и бельведеръ, изъ котораго Москва видна. И какъ немного было нужно для того, чтобы были забыты всѣ противорѣчія и люди снова изъ сокрушающихся гамлетовъ подѣлались непосредственными донъ-кихотами и, махнувши на все рукою, беззавѣтно отдались влеченію своихъ страстей...

Да, господа, нашъ вѣкъ, семидесятые годы, есть вѣкъ безспорно донъ-кихотскій и, люди сороковыхъ годовъ, оставшіеся въ живыхъ, могутъ позавидовать людямъ семидесятыхъ годовъ, вспомя свою мучительную юность, исполненную рефлексій, сомнѣній и сокрушеній. Да и въ самомъ дѣлѣ, о чемъ-же сокрушаться современному намъ человѣку, въ чемъ сомнѣваться ему? Кто-бы онъ ни былъ, этотъ современный человѣкъ, — биржевой-ли игрокъ, концессионеръ-ли, инженеръ, адвокатъ, прокуроръ, медикъ, педагогъ, профессоръ, писатель — во всѣхъ профессіяхъ онъ чувствуетъ себя въ своей тарелкѣ съ одинаково спокойною совѣстью... Когда онъ садится за трапезу, ему и въ голову не приходитъ убійственная мысль, что онъ ѣстъ кровь и потъ своихъ крѣпостныхъ. Какіе-же нынѣ крѣпостные? Это — дѣло уже старое, начинающее обростать мохомъ: крѣпостные замѣнились нынѣ распущенными и излѣнившимися мужиками, и современный человѣкъ является, конечно, скорѣе жертвою ихъ нахальнаго вымогательства, чѣмъ вымогателемъ. Какіе-бы громадные куши ни загребалъ современный человѣкъ и какою-бы роскошью себя ни окружалъ, совѣсть его остается спокойною, потому что онъ эти куши не воруетъ, не беретъ ихъ тайкомъ, въ видѣ взятокъ: они сами открыто со всѣхъ сторонъ валяются къ нему въ видѣ награды за его неусыпные труды и гражданскую доблесть. Сознавая себя честнымъ труженникомъ, современный человѣкъ блестяще героическимъ либерализмомъ и уже не гдѣ-нибудь за уголкомъ и съ оглядкой, въ интимномъ кружкѣ друзей, а открыто и громкогласно передъ всѣмъ свѣтомъ, и за это снискиваетъ уваженіе и превознесеніе отъ свѣта: публика ему аплодируетъ, дамы шлютъ ему нѣжные взоры, а начальство награждаетъ чинами и орденами. Это — уже не печальный гамлетъ, всюду лишній, всѣмъ мозолящій глаза и становящійся въ непримиримый разладъ со всѣмъ окружающимъ, а хозяинъ жизни, передъ которымъ двери всѣ растворяются настѣжъ, и всюду его принимаютъ съ почтеніемъ и распростертыми объятіями, не зная, куда его посадить. Захочетъ-ли онъ вкусить чары любви, и, опять-таки, о чемъ-же задумываться ему? Развѣ современная жизнь мало уже выработала женщинъ прелестныхъ, смѣлыхъ, пикантныхъ, гордыхъ на что угодно—и на игривую салонную болтовню, и на глубокомысленный разговоръ о Боклѣ, Дарвинѣ и Моле-шотѣ, и на безпечное срываніе цвѣтовъ наслажденій и

на дѣловыя пренія въ какомъ-нибудь благотворительномъ дамскомъ комитетѣ и даже засѣданія по поводу вопроса о женскомъ трудѣ. Но, впрочемъ, зачѣмъ-же ему какая-нибудь она, одна? Искать себѣ такъ называемую подругу жизни для того, чтобы дѣлится съ нею радости и горе и оставаться ей вѣрнымъ до могилы— это уже старо, сантиментально, отзывается нѣмецкимъ бюргерствомъ, да и современный человѣкъ обладаетъ слишкомъ широкимъ сердцемъ для того, чтобы быть въ состояніи сосредоточиться на одной привязанности. И вотъ, какъ посравнишь съ современными героями людей сороковыхъ годовъ, обидно станетъ за послѣднихъ: какими, въ самомъ дѣлѣ, смиренными, жалкими представляются Райскій или Лаврецкій съ ихъ мучительными рефлексіями и томными восторгами у ногъ какой-нибудь сельской красавицы, сравнительно съ современнымъ дѣльцомъ, прожигающимъ жизнь въ кругу шикарныхъ кокотокъ и въ чадѣ свѣтскихъ клубныхъ и закулисныхъ интригъ самаго забубеннаго характера.

Да, читатель, намъ теперь не въ чѣмъ сомнѣваться, не къ чему стремиться: всегда мы можемъ найти самое легкое примиреніе для какихъ угодно нравственныхъ противорѣчій—въ должности-ли мирового судьи, на трибунѣ-ли судейской или земской, въ занятіяхъ-ли естественными науками, въ писаніи-ли передовыхъ статей самаго либеральнаго характера, и что-же намъ остается дѣлать, какъ не плыть по теченію, не отдаться влеченію своихъ страстей и не срывать цвѣты удовольствія, представляясь вполнѣ непосредственными натурами. Такъ мы и поступаемъ. И нѣтъ ничего мудренаго, что наша современная жизнь замѣтно повеселѣла и принарядилась сравнительно съ тѣмъ, что было лѣтъ десять тому назадъ; по тому разливному морю роскоши и веселья, какое кипитъ повсюду по большимъ и малымъ городамъ, она начинаетъ во многомъ напоминать жизнь дѣдовъ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Вы читали, конечно, очерки современныхъ провинціальныхъ нравовъ Кроткова въ августовской и сентябрьской книжкахъ „Отечеств. Запис.“? Вы замѣтили, конечно, какая масса въ этихъ очеркахъ представляется вамъ непосредственныхъ кутиль, беззавѣтныхъ весельчаковъ, которые только о томъ и думаютъ, какъ-бы повеселѣе мелькалъ день за днемъ въ ихъ жизни; какъ дѣти, увлекаются они до самозабвенія появленіемъ какого-нибудь фокусника въ городѣ и вслѣдъ за нимъ наперерывъ спѣшатъ продѣлывать его паясничество.

«Куда, подумаешь, дѣвалась солидность? спрашиваетъ одинъ изъ героевъ очерковъ Кроткова, глядя на всѣ эти невинныя забавы:—отчего это люди публично обнаруживаютъ легкомысленность, свойственную только ребенку? Это—люди-дѣти и дѣти вѣчно несовершеннолѣтнія! Присмотритесь-ка вы попристальнѣе къ особенностямъ современной жизни! Революція откладывается до завтра, а сами идутъ смотрѣть фокусы! Секретарь, положимъ—еще очень молодой человѣкъ, а паясничасть въ судѣ и внѣ суда!.. Забавляются, балуютъ фокусами, а какъ будто сами и не вѣдаютъ, что въ жизни всякій изъ насъ продѣлываетъ тысячи фокусовъ почище этихъ, и намъ не рукоплещутъ, а хлещутъ, да похлестываютъ!».

Посмотрите, въ то же время, какую рѣкою льется вино всюду, на каждой страницѣ очерковъ Кроткова:

люди пьянствуютъ и безобразничаютъ не по ночамъ и тайкомъ ото всѣхъ, а открыто, днемъ, въ публичныхъ мѣстахъ и, при этомъ, играютъ роль полныхъ хозяевъ, гдѣ-бы то ни было, громогласно заявляютъ, что они имѣютъ полное право пьянствовать и безобразничать, потому что они пьютъ на свои трудовыя деньги и, къ тому же, они — цвѣтъ интеллигенціи и никто имъ не указъ, а напротивъ того — съ нихъ, какъ съ интеллигенціи, должны брать примѣръ люди. Въ связи съ этимъ стоитъ, конечно, особенно замѣтное, въ послѣднее время, пристрастіе къ юбилейнымъ празднествамъ и банкетамъ по всякому удобному случаю. Наконецъ, возьмите вы хотя-бы развивающуюся съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе страсть къ маскарадамъ съ арлекинадами, шуточными процессіями и аллегорическими представленіями. Я помню, какъ въ молодости меня странно поражало существованіе нѣкогда такого литературнаго общества, какъ „Арзамасъ“. Я никакъ не могъ представить себѣ, какъ это серьезные люди, стоявшіе во главѣ интеллигенціи своего времени, могли быть, въ то же время, такими дѣтьми, чтобы собираться вдругъ для того, чтобы устраивать какія-то шуточные процессіи, посвященія и обзывать другъ друга комическими прозвищами, точно передъ вами пародируютъ не первостепенные русскіе литераторы, а школьники. Для меня это было въ такой же степени дико, какъ если-бы я получилъ свѣдѣніе, что въ кружкѣ Станкевича или любуясь изъ кружковъ шестидесятыхъ годовъ — между прочимъ, играли-бы въ чехарду. Но, въ настоящее время, я очень хорошо понимаю причину страсти къ дѣтскимъ забавамъ и шалостямъ въ членахъ „Арзамаса“; она происходила отъ того, что большинство членовъ были непосредственными натурами, подобно средневѣковымъ людямъ, которые по той же причинѣ, въ свою очередь, были страстные любители арлекинадъ и всякаго рода шуточныхъ процессій. Люди сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ потеряли способность ребяческаго веселья, потому что ко всему подходили они со своимъ анализомъ и скептицизмомъ, были полны тревожныхъ думъ и развѣдающихъ рефлексій; имъ казалось дикимъ надѣть вдругъ шутовское платье и пуститься въ плясъ, когда на сердцѣ скребутъ кошки, когда весь міръ кажется душною и смрадною тюрьмою, когда предстоитъ рѣшить столько роковыхъ и страшныхъ вопросовъ жизни. Естественно, что веселье и ребяческая шутка бѣжали безъ оглядки отъ этихъ серьезныхъ, насунившихся мрачныхъ людей, всюду приносившихъ съ собою уныніе и отчаяніе... А теперь... теперь я насколько не былъ-бы удивленъ, если-бы въ самыхъ интеллигентнѣйшихъ кружкахъ повторились празднества „Арзамаса“, и люди собиравшіе-бы съ единственною цѣлю, надѣвши шутовскіе костюмы, ходить кверху ногами: мы опять вернули нашу беззавѣтную непосредственность, и жизнь снова приняла видъ ликующаго праздника; трещатъ ракеты и потѣшные огни, гремитъ музыка, летятъ въ потолокъ пробки, шампанское льется безконечною рѣкою, только и раздается вокругъ, что тосты, пожеланія и восторги всевозможнаго процвѣтанія, а по уголкамъ слышится страстный шопотъ любви и звукъ сочныхъ поцѣлуевъ,

а въ театрахъ пѣніе шансонетокъ и бѣшеные звуки канкана, и хохотъ, хохотъ, беззавѣтный хохотъ надъ всѣмъ и вся—неправда-ли, какъ весело живетъ, читатель?...

Но обратимся къ очеркамъ Хвощинской и посмотримъ, какъ отражается въ этихъ очеркахъ широкая масляница современной намъ жизни.

### III.

Мы начнемъ не съ перваго, а съ третьяго очерка. Это мы сдѣлаемъ на томъ основаніи, что въ этомъ очеркѣ передъ нами рисуется одно изъ явленій шестидесятыхъ годовъ, возможное, конечно, и въ наше время, но по характеру своему относящееся все-таки къ недавно пережитому прошлому. Въ наше время драмы, подобныя той, какую вынесла героиня этого очерка, переживаются конечно гораздо скорѣе и легче, чѣмъ десять лѣтъ тому назадъ, и это очень понятно: всѣ прошлые моменты жизни переживаются послѣдующими поколѣніями гораздо скорѣе и легче, чѣмъ выносили ихъ люди, современные этимъ моментамъ: такъ напримѣръ, тотъ же савый аскетическій мистицизмъ, который обхватываетъ всю жизнь Гоголя, въ жизни Добролюбова занимаетъ небольшой періодъ самой ранней юности.

И дѣйствительно, несмотря даже на то, что героиня этого очерка, Лизавета Васильевна Риднева, конечно, далеко не принадлежитъ къ передовымъ прогрессисткамъ шестидесятыхъ годовъ и представляетъ заурядный типъ провинціальной свѣтской барыни, все таки и въ ней видне въ тотъ же разладъ съ самой собою, ту же борьбу непримиримыхъ противорѣчій, то же стремленіе выйти изъ нихъ, однимъ словомъ, все тоже самое, чѣмъ жили въ шестидесятые годы, и что отражалось во всѣхъ безъ исключенія людяхъ этой эпохи.

Не принадлежа по своему типу къ числу передовыхъ прогрессистокъ шестидесятыхъ годовъ, Риднева тѣмъ болѣе замѣчательна въ томъ отношеніи, что показываетъ, какъ въ шестидесятые годы люди, не влѣдствие только одного увлеченія передовыми идеями, но самую роковую силою обстоятельствъ выбивались изъ непосредственности, приходили къ самымъ непримиримымъ противорѣчіямъ и должны были искать какого нибудь выхода изъ этихъ противорѣчій.

Лизавета Васильевна Риднева была воспитана вполне въ духѣ дореформенныхъ порядковъ, и, если бы не шестидесятые годы, то она, конечно, могла бы прожить всю жизнь свѣтскою куколкою, ни о чемъ не задумываясь, ни къ чему не стремясь и заботясь до сдѣхъ волосъ о срываніи цвѣтовъ наслажденій. Вотъ что мы читаемъ о ея ранней юности:

Ея мать умерла давно; она ея не знала. Все, что она знала—это, что она единственная дочь, что отецъ несмѣтно богатъ, что ее обожаютъ. У нея пересѣивались десяткомъ гувернантокъ и полные шкапы игрушекъ и нарядовъ. Позднѣе, она какъ-то слышала, что существуютъ какіе-то откупы, что отецъ—предсѣдатель какой-то палаты и эти откупы отъ него зависятъ, что будетъ очень не хорошо, если они отойдутъ. Куда отойдутъ и какъ, и собственно что такое «отойти» — она не понимала и не спрашивала объясненія. Она слышала, въ тоже время,

что еще многое переимѣнится и тоже будетъ не хорошо, но ей до этого не было дѣла. Именно тогда ей было особенно весело: ей минуло четырнадцать лѣтъ; у нея была предобная, премилая, прехорошенькая гувернантка, м-ше Вильдгольцъ, которая попросила отца давать вечера, чтобъ приучить Лизу къ обществу. Лиза хозяйничала на этихъ вечерахъ, какъ большая. Дамы обращались съ нею немного покровительственно, но очень мило, а дѣвицы—она знала навѣрное—ей завидовали. Со злости, онѣ насчитывали ей лишніе года и—для нихъ-же было хуже: молодые люди сочли ее въ самомъ дѣлѣ большою и объяснялись ей въ любви. Очень было хорошо, только не долго. Отецъ вдругъ вышелъ въ отставку, откупа совсѣмъ уничтожились; м-ше Вильдгольцъ вдругъ за что-то разсердилась и уѣхала. Отецъ сказалъ Лизѣ, что больше не возьметъ ей гувернантки. Лиза была очень довольна, она и сама умѣла принимать гостей, а учиться—она уже прекрасно говорила пофранцузски, играла на фортепиано, рисовала цвѣты, даже умѣла дѣлать ихъ изъ папиросной бумаги, вышивала иногда по канвѣ, на рукахъ, конечно, чтобы не кривить талии, а танцевала въ совершенствѣ. Она и пѣла, но въ то время у дѣвушекъ было не въ модѣ пѣть романсы. Ея воспитаніе могло казаться вполне оконченнымъ. У нея было уже нѣсколько жениховъ...

Такъ все шло, какъ по маслу, и шло бы оно такъ до скончанія дней Лизы, если бы не подоспѣли шестидесятые годы и не сбили героиню нашей съ той торной дороги, по которой нѣкогда шли многія подобныя ей дѣвушки. Но прежде, чѣмъ сбить съ этой дороги обстоятельствами жизни, шестидесятые годы не замедлили осѣнить ее своимъ крыломъ и по части того движенія идей, которое, разливаясь широкимъ потокомъ по всей матушкѣ Руси, задѣло краешкомъ и Лизу. У отца ея была знакомая небогатая старуха Риднева. У этой старухи былъ молодой племянникъ, университетскій студентъ. Молодые люди какъ-то увидѣлись и влюбились другъ въ друга... Начались безконечныя прогулки въ огородѣ, поцѣлуи подъ чирканье воробьевъ. Ему было двадцать два года, ей—шестнадцать.

Ридневъ побылъ въ городѣ N, гдѣ жила Лиза съ отцомъ, только во время вакаціи; потомъ онъ уѣхалъ на какой-то урокъ и оканчивать курсъ. Конечно, въ короткое время сближенія съ дѣвушкой онъ не могъ сдѣлать Богъ вѣсть какіе успѣхи въ ея развитіи. Только въ пошлыхъ романахъ героини, послѣ двухъ-трехъ бесѣдъ съ новымъ человекомъ, сразу перерождаются и дѣлаются вполне современными дѣвицами. Однако же, какъ ни ничтожно было его вліяніе на дѣвушку, въ ней успѣло уже забродить что-то новое, о чемъ до того времени не приходило ей и въ голову.

«Въ ней произошла какая-то переимѣна, читаемъ мы:—она сама себя казала серьезнѣе, говорила о трудѣ, занятіяхъ. Она слышала, что мудро свѣтской дѣвицѣ сдѣлаться трудовой женщиной, что нельзя привязаться къ занятіямъ, въ которыхъ съ дѣтства мы не признавали ни важности, ни смысла,—но она твердила, что такъ слѣдуетъ сдѣлать, если возможно. Для нея—это было невозможно. Учиться было не у кого и некогда. Получая письма Риднева, покрывая ихъ поцѣлуями и не понимая изъ нихъ половины, Лиза говорила себѣ, что *тогда* онъ всему ее выучитъ. Она бросилась читать, и читала романы...»

Сколько реальной правдивости въ этихъ строкахъ!

Когда совершается какое-нибудь большое движеніе въ обществѣ, оно захватываетъ собою всѣхъ и каждого, но, очевидно, не всѣхъ въ равной степени, а сообразно воспитанію человѣка, средѣ, въ которой онъ живетъ, воспримчивости натуры, близости къ центру движенія и тому подобнымъ обстоятельствамъ. Представить это вліяніе движенія въ той надлежащей мѣрѣ, въ какой оно въ данномъ случаѣ могло имѣть мѣсто — немаловажная задача художника. И задачи этой не упустила изъ вида Хвощинская: конечно, при воспитаніи, положеніи и жизни Лизы въ домѣ отца, вліяніе духа времени не могло простираться далѣе того, что мы видимъ: Лиза начала говорить о трудѣ, занятіяхъ и читать романы — и этого было много въ ея житейской обстановкѣ.

Но вотъ произошла катастрофа, вызванная движеніемъ жизни — отецъ совсѣмъ разорился: два года передъ тѣмъ „отошли“ эти непостижимые откупы; теперь лопнули какія-то акціи: бѣжалъ какой-то касирь; нужно было передать другому только-что построенную желѣзную дорогу... Все продали: экипажи, лошадей, домъ...

Для Лизы началась новая жизнь, совершенно противоположная прежней:

«Убѣднѣй городишко; квартира... коморка какая-то; потолки текли; разъ шпукатурка свалилась, чуть головы не проломилась. Отецъ на старости лѣтъ нашелъ службу: на телегѣ, по слякоти, по ночамъ, ревизовалъ кабаки... А она... ну, все дѣлала, до всего дошла: и тряпки, и соръ, и корыто. Нужно было пить и ѣсть. А то — не было чего и поѣсть. Зубы-то молодые, здоровые... Ахъ, какъ ѣсть хотѣлось...»

Казалось-бы — это-ли не выходъ изъ противорѣчій, въ какія могла-бы встать Лиза, еслибы она продолжала развиваться въ прежней свѣтской и роскошной обстановкѣ? Что было общаго между такою обстановкой и идеями о трудѣ, занятіяхъ, навѣянными духомъ времени? Теперь-же, напротивъ того, Лиза встала именно въ такое положеніе, когда идеи о трудѣ сдѣлались наиболѣе пригодными и соответственными, мало того — даже необходимыми. Но мы видимъ, что легко было выйти изъ прежней обстановки жизни, особенно когда сами обстоятельства принудили къ тому Лизу, но другое дѣло было снять съ себя ветхаго человѣка, отдѣлаться отъ цѣлой массы привычекъ, вкусовъ и предразсудковъ, въ духѣ которыхъ была воспитана Лиза. И вотъ мы видимъ, что тамъ, гдѣ, казалось-бы, долженъ былъ открыться выходъ изъ противорѣчій, тамъ-то именно и началась настоящая-то борьба ихъ. При прежней обстановкѣ, противорѣчія эти, конечно, не мѣшали-бы другъ другу и мирно уживались-бы подъ одною кровлею, какъ они зачастую уживаются въ непосредственныхъ натурахъ при мало-мальски обезпеченномъ довольствѣ. Но въ когтяхъ нужды, когда для человѣка требуется масса энергіи, опытности, знанія жизни и ловкости, чтобы бороться за свое существованіе и снискивать хоть черствый кусокъ хлѣба, тутъ-то обыкновенно и выступаетъ наружу та страшная неподготовленность къ жизни, какая обыкновенно бываетъ при свѣтскомъ воспитаніи, неумѣнье ступить шагу самостоятельно и безъ посторонней указки, незнаніе самыхъ обыденныхъ условій жизни, отсутствіе малѣйшей усидчивости въ трудѣ,

изнѣженность и, вслѣдствіе ея, изнеможеніе и даже страданіе при малѣйшемъ напряженіи какихъ-либо усилій, отсутствіе всякой расчетливости въ деньгахъ, невозможность обходиться безъ такихъ предметовъ роскоши, которые совершенно несвойственны при трудовой жизни и не по средствамъ — все это прежде было совершенно незамѣтно, стушевывалось въ общемъ фонѣ свѣтской обстановки, могло казаться даже очень красивымъ, а теперь всплываетъ наружу, какъ нѣчто совершенно несообразное съ новымъ характеромъ жизни и, конечно, дѣлаетъ человѣка въдесятеро несчастнѣе самаго бѣднаго труженика, воспитаннаго и закаленнаго въ трудѣ и борьбѣ съ нищетою. Такой человѣкъ долженъ бороться не только съ внѣшними обстоятельствами, но и съ самимъ собою. Самое свое положеніе онъ мѣрятся совершенно по другому масштабу, чѣмъ привычный бѣднякъ и труженикъ: та же самая обстановка, какую привычный труженикъ могъ-бы быть вполне доволенъ, возбуждаетъ въ немъ брезгливость и отвращеніе; онъ чувствуетъ себя глубоко несчастнымъ, наприимѣръ, что долженъ ѣздить въ вагонахъ третьяго класса, что на стѣнахъ у него самые простые обои, за столомъ неприхотливыя кушанья и пр. и пр. Все это, конечно, должна была испытать Лиза въ продолженіи года своей бѣдственной жизни съ разорившимся отцомъ. Но этотъ годъ не исправилъ Лизы, не переродилъ ея и не привелъ ея натуры въ полное согласіе съ новою обстановкою. Конечно, это было очень мало сравнительно съ десятками лѣтъ прежней завидной жизни. Потому обстоятельства нѣсколько измѣнились. Ридневъ кончилъ, наконецъ, курсъ, нашелъ мѣсто учителя, женился на ней. Но если замужество и вывело Лизу изъ безпомощной нищеты, во всякомъ случаѣ, мужъ далеко не могъ пріобрѣтать столько средствъ, чтобы обставитъ ее роскошью и дать ей возможность снова наслаждаться свѣтскою жизнію. Семейная обстановка ея была въ общемъ уровнѣ жизни средняго круга. Такъ обыкновенно живутъ въ провинціяхъ гимназическіе учителя. Посмотримъ-же теперь, въ какомъ видѣ представляется намъ Лиза въ обстановкѣ средняго круга:

«Балованное дитя, читаемъ мы: — она могла покориться необходимости, но покорялась ей, какъ случайному, временному; могла бороться съ бѣдой, даже удачно и смѣло, но находя силы и владѣя собою только сгоряча. Проходила бѣда — она помнила ее со злобостью, ожесточаясь, но не становилась опытнѣе, мужественнѣе, не готовилась ни къ чему въ будущемъ. Она трудилась поневолѣ, но не пріучалась, не могла привыкнуть къ труду, со всякимъ днемъ болѣе ненавидѣла трудъ. Она выносила лишенія, потому что такъ складывались обстоятельства, но не понимала, какъ можно добровольно отказывать себѣ въ чемъ-нибудь. Для нея существовали только крайности: совершенная беззаботность или отчаяніе, и вся ея жизнь — каждый день ея жизни — состояла изъ безпрестанныхъ переходовъ изъ одной въ другую крайность. Она не утѣшала себя, не успокаивала планами и мечтами: спокойствіе налетало само собою, мгновенно, при малѣйшемъ просвѣтѣ обстоятельствъ, и, довольная тѣмъ, что успокоилась, она, конечно, не тревожила себя оглядкой, разборомъ прошедшаго, какимъ-нибудь соображеніемъ на будущее: она отдыхала, будто обновлялась на день, на два, иногда на нѣсколько часовъ до новой «бѣды»... Такъ прожила она тяжкій годъ съ полубезумнымъ отцомъ. Неожиданное счастье — возвратъ



любое милое челоѣка, его попеченія, угожденія, снисходительность только поддерживали это дѣтство мысли, эту жаркую, своевольную жизненность. Она принялась отдыхать всѣмъ своимъ существомъ. Она не умѣла ни работать, ни сберечь, ни заботиться. На наряды она не тратилась: она помнила, что они дорого стоятъ, и что грѣшно разорять Гришу, а главное—она знала, что въ весельи она безъ нарядовъ еще красивѣе. Но за то, въ минуты веселья, ей были необходимы пустяки, мелочи, праздничанье, маленькая роскошь въ убранствѣ дома, прихоть въ обѣдѣ; ей хотѣлось «кутить», какъ она кричала, обнимая своего Гришу съ радостными слезами. Привѣтливая, ласковая со всѣми, она любила дарить, не разбирая, нравятся-ли, годятся-ли подарки тѣмъ, кому она дарила. Иногда, вдругъ вспомнивъ свою бѣдность съ опомъ, она бросалась помогать другимъ, не оглядываясь, чего это стоитъ, то-ли нужно и даже точно-ли нужна помощь; она только съ умиленьемъ, съ восторгомъ твердила, что помогаетъ не она, а все ея милый, золотой Гриша. Ее обманывали, она клала обманщиковъ, но не дѣлалась осматрительнѣе. Она только считала себя виноватою передъ мужемъ и все собиралась помогать ему, собиралась зарабатывать, собиралась учиться, заводила пальцы и прочее, накупала учебниковъ, но все было некогда. Когда родилась дочка—ужъ и вовсе было некогда, хотя Лиза не кормила сама, хотя всѣ наряды дѣвочки шились въ магазинахъ.

— На свѣтѣ нѣтъ лучше нашей куклочки! восклицала счастливица, поднося въ самое дѣлѣ прелестнаго ребенка влюбленному отцу.

«Онъ любилъ ее. Былъ-ли онъ счастливъ? Занятый цѣлый день, возвращаясь домой, онъ находилъ праздникъ, пѣсни, поцѣлуи, или—горькія слезы, жалобы, что нѣтъ того, нѣтъ другого, что онъ—труженикъ, а она—глупая; раскаяніе и опять поцѣлуи. Жизнь сердца выходила какая-то странная отъ этихъ безпрестанныхъ переиѣнъ. Молодая женщина была вспыльчива, своеправна и покорна; ей нельзя было выговаривать ни въ чемъ, потому что она приходила въ искреннее отчаяніе и страдала. Она была вся—желаніе принести себя въ жертву, при малѣйшей неумѣлости на самую простую услугу, и не сознавала этой неумѣлости, и оскорблялась-бы до отчаянія, если-бы ей о ней замѣтили. Она была добра и несправедлива; мужества у нея не было. Рѣзкій переходъ отъ роскоши къ бѣдности, а потомъ къ житію средняго круга не сдѣлалъ для нея понятіе жизни и людей; она осталась прежней «барышней» въ замашкахъ, въ оттѣнкахъ обращенія; у нея являлось иногда капризное важничанье. Случалось, она не скрывала, что ей скучно «безъ хорошаго общества»...

Вы подумайте только, какою поразительною вѣрностью жизни дышетъ каждая строка этой тирады! Было-ли хоть что нибудь подобное въ нашей литературѣ? Беллетристика наша, въ теченіи десяти послѣднихъ лѣтъ, не мало вывела передъ нами женскихъ типовъ шестидесятихъ годовъ, но всѣ они обыкновенно скраивались по двумъ формамъ: или выводились такіе идеальныя женщины, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать: женщины эти, хотя-бы выходили изъ свѣтскаго круга и до 20-ти лѣтъ палецъ о палецъ никогда не двигали, сразу, обыкновенно подъ вліяніемъ новаго челоѣка, трезваго реалиста и доблестнаго развивателя, перерождались въ энергическихъ труженицъ, рушащихъ всѣ препятствія, трудолюбивыхъ, простыхъ, способныхъ мужественно переносить голодъ и холодъ. Или-же женщины шестидесятихъ годовъ изображались передъ нами въ видѣ пошлыхъ стриженныхъ нигилистокъ, ломающихся, кричащихъ, говорящихъ грубости и не стыдя-

щихся публично высказывать самыя циническія вещи. И въ то время, какъ беллетристика, такъ глупо и нагло лгала намъ въ обоихъ случаяхъ,—жизнь была преисполнена именно явленій того самаго нравственнаго разлада съ жизнью и собою, какой изображаетъ Хвощинская, и женщины въ родѣ Лизы Ридневой встрѣчались на каждомъ шагѣ. Сдвинутыя силою движенія идей съ своего обычнаго русла жизни, но не въ силахъ будучи сразу избавиться отъ своихъ прежнихъ привычекъ, вкусовъ и нравовъ, онѣ именно путались въ жизни, представляя рядъ вопіющихъ несообразностей. Фразы о трудѣ, вмѣстѣ съ непривычкою къ труду и даже врожденною ненавистью къ нему, безпечность,—а черезъ минуты самое молодужное отчаяніе, искренняя готовность не тратить на наряды, не разорять ими мужа и ходить весь вѣкъ въ одномъ черномъ платьѣ, и рядомъ съ этимъ жажда кутнуть при первыхъ попавшихъ въ карманъ лишнихъ деньгахъ, покупка ни съ того, ни съ сего, дорогаго сервиза, а потомъ вдругъ готовность подарить этотъ сервизъ первому похвалившему его челоѣку, рѣшеніе философскихъ вопросовъ о судьбахъ всего челоѣчества и неумѣнье поставить самовара и обойтись при случаѣ безъ прислуги, вѣчное мечтаніе объ интимномъ кружкѣ избранныхъ друзей, а рядомъ съ этимъ неожиданныя претензіи, что скучно «безъ хорошаго общества», и радостный блескъ въ глазахъ при посѣщеніи важной особы, учебники и конфеты, вѣчные сборы трудиться и зарабатывать хлѣбъ и вѣчное откладыванье дѣла за недосугомъ, занятымъ въ сущности пустяками... Подумайте, развѣ вы не замѣчали подобныхъ чертъ въ вашихъ женахъ, сестрахъ, свояченицахъ и пр. и пр.! Ими были полны шестидесятые годы, и одна только наша такъ-называемая «реальная литература» отличалась поразительною слѣпотой къ такого рода вопіющимъ фактамъ жизни.

Но пойдѣмъ далѣе вслѣдъ за Хвощинскою въ изобращеніи судьбы Лизы Ридневой.

Тщетно ожидая, что жена пойметъ, наконецъ, его убѣжденія, понятія и солется съ нимъ въ гармоніи полнаго товарищества, налегая въ тоже время на работу сверхъ всякихъ силъ, чтобы быть въ состояніи исполнять всѣ прихоти и капризы жены, Ридневъ началъ хворать. Она не замѣчала, вѣрнѣе—ей не вѣрилось... еще вѣрнѣе: она не могла понять, чтобы это могло быть въ самомъ дѣлѣ. Когда она, наконецъ, поняла, ея отчаяніе было бурно, безумно, мучительно и безсильно. Онъ умеръ въ отчаяніи за нее.

«Тогда вдругъ, читаемъ мы далѣе:—любовь къ дочери выросла у нея въ обязанность. Все для нея, вся жизнь для нея! Прежде всего—чтобы она не знала бѣдности... Чтобы не забыло это прелестное тѣло, не грубѣло это личико, не плакали эти глазки о пустякахъ, въ которыхъ нѣтъ отказа другимъ дѣтямъ. Страшное дѣло—дѣтскія слезы! Ей ужъ три года; ее видятъ на улицѣ. Чтобы не смѣли безобразныя, безсовѣстныя, богатые дѣти, не смѣли презирать ее за то, что она бѣдно одѣта! Она лучше всѣхъ, у нея все должно быть лучше, нежели у всѣхъ»...

Какъ вамъ нравятся подобныя мнѣнія Лизы Ридневой въ минуты отчаянія, послѣ смерти мужа? Какая поразительная смѣсь горячей материнской любви и высокой готовности самопожертвованія для дочерей,



которая осталась въ ея жизни единственнымъ утѣшеніемъ, вмѣстѣ съ тщеславіемъ свѣтской женщины! Всѣ ея мечты о воспитаніи дочери только въ томъ и выражаются, *чтобы дочь ея не терпѣла*, о ужасъ! *бѣдности, чтобы ни въ чемъ не было ей отказу и чтобы опыта она была не хуже дружка*. Вы, конечно, предвидите, что, при такомъ воспитаніи, Лиза создастъ не труженицу, а такую-же избалованную, изнѣженную кокетку, какою была и сама. Но ваше предвидѣніе обманетъ васъ. На дѣлѣ оказывается, что Лиза была не въ состояніи выполнить даже и такого идеала воспитанія: при своей полной неумѣлости она способна была только умирить ребенка.

Въ самомъ дѣлѣ, легко было мечтать о самопожертвованіи для того, чтобы „не заблю это предестное тѣлце, не грубѣло это личико, не плакали эти глазки о пустякахъ“, но что-же могла дѣлать Риднева для всего этого? Она ничему не могла учить и не умѣла работать. Она жила, закладывая, продавая понемногу, что имѣла, въ ожиданіи чего-то, — чего опредѣлить не могла. Она писала теткѣ; отвѣта не было. Запасъ вещей былъ очень не великъ; его достало только на два мѣсяца. Подступала осень. Шубы мужа уже не было давно, свою она заложила. Оставалось всего одно шелковое платье, но надо-же было имѣть что-нибудь порядочное. Риднева отпустила горничную, нянька жаловалась, что ей слишкомъ много дѣла, и грозилъ уйти“.

Въ это время, пріѣхала въ городъ труппа актеровъ на короткое время, на нѣсколько представленій, какъ обѣщали афиши, бѣлѣя на столбахъ.

«Риднева, читаемъ мы:—не разъ останавливалась передъ ними. Ей было горько, тяжело... и ей было скучно! Знакомыхъ было мало, и тѣ, въ послѣднее время, приходили все рѣже. Она очень любила театр. Мужъ не любилъ его, судилъ какъ-то серьезно и строго, но не стѣснялъ ея, уступалъ ей, и она бывала въ театрѣ постоянно... Ей казалось, что теперь, въ настоящей тоскѣ, два часа спектакля были-бы полезны ей, какъ лекарство... Искушеніе было такъ сильно, что, прочтя афишу у театральнаго подъѣзда, она шла въ кассу, *готовая отдать за билетъ последние деньги*».

Но спектакль оказался отложеннымъ и, какъ случайно узнала Риднева отъ проходившихъ мимо актеровъ, по причинѣ внезапнаго замужества примадонны. Отъ тѣхъ-же самыхъ актеровъ Риднева узнала, что антрепренеръ въ большомъ затрудненіи, откуда взять ему новую примадонну и не поскупился-бы на большую плату, если-бы нашлась желающая замѣстить открывшуюся вакансію. Это извѣстіе, случайно подхваченное на улицѣ, имѣло важныя послѣдствія для Ридневой. Ей тотчасъ-же пришло въ голову идти въ актрисы, благо представляется удобный къ тому случай. Больше ей, казалось, нечего было дѣлать. „Что это такое? размышляла она:—совсѣмъ другая жизнь, совсѣмъ другой міръ, невѣдомый... И какой заманчивый! Искусство, веселье и кусокъ хлѣба, честно заработанный“...

И вотъ, на другое уже утро Риднева отправилась къ антрепренеру. Казалось-бы, чѣмъ-же не непосредственная натура эта Риднева:—задумала и тотчасъ-же привела свое намѣреніе въ исполненіе. Но на самомъ дѣлѣ, во всемъ ходѣ поступленія Ридневой въ

актрисы, въ каждомъ шагѣ ея вы видите все ту-же раздвоенную натуру, находящуюся въ непрестанномъ разладѣ и съ самою собою, и съ жизнью. Такъ, она, какъ мы видѣли, смотрѣла на новый путь, который ей представлялся, какъ на заманчивый міръ искусства, какъ на кусокъ хлѣба, заработанный *честно*—чего-же ей было смущаться въ такомъ случаѣ? Но она смущалась: она, всю ночь, передъ тѣмъ, какъ идти къ антрепренеру, проплакала. По выходѣ отъ антрепренера сказала сама себѣ: — „ну, вотъ, вотъ, все сдѣлано. Все рѣшено. И прекрасно. Новая жизнь. Благородное занятіе. *Артистка*—даже слово такое хорошенькое“... Но тутъ-же она прибавила: „Гриша, да что-же я не умерла вмѣстѣ съ тобою?“ Эти слезы и подобныя восклицанія наглядно показываютъ вамъ, какъ силенъ былъ въ Ридневой ветхій человѣкъ и какъ ему трудно было уладить съ новымъ: сознавая, что идти зарабатывать честный кусокъ хлѣба на поприще благороднаго искусства, Лиза тѣмъ не менѣе шла на это поприще, какъ на позоръ, и оплакивала себя, вспоминая при этомъ мужа, какъ будто ей грозило страшное нравственное паденіе. Безъ сомнѣнія, тутъ дѣйствовалъ тотъ вѣковой предразсудокъ, который видитъ въ званіи актера нѣчто позорное, и Лиза до такой степени была заражена имъ, что даже долго не рѣшалась дебютировать въ томъ городѣ, гдѣ жила съ мужемъ. По привычкѣ, она воображала, что о ней заговоритъ весь городъ. И, конечно, она ошиблась въ этомъ.

«Правда, читаемъ мы, слухи скоро расходятся въ провинціи, и на другой день уже всѣ знали, что вдова учителя Риднева идетъ на сцену, но говорили объ этомъ очень умѣренно. Въ богатыхъ салонахъ, гдѣ ея не знали, это было принято очень равнодушно. Тамъ, гдѣ она бывала съ мужемъ, се ужъ успѣли забыть, и ея поступокъ вызвалъ только пожатіе плечъ, выражавшее, что она ни на что болѣе не способна. Средній кругъ оскорбился и закричалъ о скандалѣ,—но Риднева никогда не дорожила мнѣніемъ *этихъ людей*».

Къ этой внутренней душевной борьбѣ присоединялись еще и внѣшнія свойства ветхаго человѣка, сидѣвшаго въ Ридневой,—въ видѣ неопытности, нерасчетливости, вообще неумѣнья жить и обращаться съ людьми на практической почвѣ. Такъ, мы видѣли, Риднева знала, что антрепренеръ очень нуждается въ примадоннѣ и готовъ на большую прибавку противъ обыкновенной платы, лишь-бы заручиться порядочною актрисою; тѣмъ не менѣе, она такъ неумѣло повела свои переговоры съ антрепренеромъ, что послѣднему удалось нанять ее не только не за большую, но за меньшую плату. Получивши отъ него задатокъ, она не могла пройти мимо моднаго магазина безъ того, чтобы въ воображеніи ея не заперестрѣли костюмы, наряды. Она заглянула въ окна магазина, вошла и черезъ полчаса возвращалась домой съ свертками покупокъ. Такъ, своей дочкѣ она купила стеганное пальто коричневаго ліонскаго бархата. Дебютировала она въ сценѣ Евгенія Онѣгина съ Татьяной и, гнушаясь жалкою обстановкою провинціальнаго театра, на свой счетъ декорировала сцену такъ, чтобы обстановка хоть сколько-нибудь походила на великосвѣтскій салонъ, въ которомъ происходитъ объясненіе Евгенія съ Татьяной. Результатомъ такой

расточительности было естественно то, что Лиза, въ короткое пребываніе труппы въ городѣ В., успѣла истратить все, что ей дали на подъемъ и, сверхъ того, распродала всю лишнюю мебель, посуду. Но ей было за то весело: новая совершенно сфера жизни, шумная, суетливая, аплодисменты, овации, — все это ее сначала очень занимало и кружило. Но затѣмъ она скоро свыклась со всѣмъ этимъ, приглядѣлась, и потянулась для нея прозаически однообразная, при всемъ кажущемся разнообразіи, убогая жизнь провинціальной актрисы:

«Дымная квартира, гдѣ за перегородкой хозяйка распиваетъ чай, заглядываетъ въ щелку, подслушиваетъ, насмѣхается, и хорошо еще, если не сплетничаетъ. Разсчетъ каждаго дня и невозможность, недосугъ свести этотъ разсчетъ толкомъ, привести жизнь въ порядокъ; одуряющая возня, безденежье, займы и, вслѣдствіе ихъ, сношенія съ людьми, которыхъ не пустил-бы на порогъ. Товарищество, которое, можетъ быть, могло-бы быть и пріятнымъ, — но эти товарищи живутъ также день за день, такимъ-же неустроеннымъ житьемъ, имъ также недосугъ, ихъ интересы также бѣдны. Одни — также скучаютъ, безъ возможности вырваться; другіе — втянулись и несносны. Изъ нихъ женщины жалки или пусты»...

Къ этому всему подоспѣла новая тяжелая нравственная борьба: антрепренеръ началъ убѣждать ее играть въ опереткахъ Offenbacha, говоря, что въ наше время на однихъ серьезныхъ драмахъ и комедіяхъ не выѣдешь, и успѣхъ зависитъ отъ однихъ оперетокъ. Онъ поставилъ ей ультиматумъ — или взять на себя эти новыя роли, или оставить труппу. „Она долго рыдала, возвратясь домой. Она знала, чего отъ нея хотѣли. Въ короткую пору своего замужества она видѣла всѣ эти пьесы; тогда онѣ ее забавляли, нравились ей. То простодушно увѣренная, то упрямо, на зло, она спорила съ мужемъ, что не находитъ въ томъ ничего дурного, ничего, кромѣ откровеннаго смѣха... Теперь, когда ей представлялось на выборъ — голодать или тѣшить собою зрителей, какъ тѣ несчастныя, которыми она сама тѣшилась, она поняла ихъ положеніе“...

— Что дѣлать? Боже, что мнѣ дѣлать? повторяла она въ отчаяніи.

Случись съ Ридневой подобное же обстоятельство нѣсколькими годами позже, именно сегодня, она, конечно, не задумалась бы, что ей дѣлать. Наша современная жизнь, выработавши повсемѣстное примиреніе, позаботилась избавить и актрисъ, играющихъ въ опереткахъ, отъ всякой нравственной борьбы: созданъ особеннаго рода жанръ для женскихъ ролей въ подобныхъ опереткахъ, заключающійся въ томъ, чтобы было и шикарно, и пикантно, и, въ тоже время, цѣломудренно, но такъ при этомъ цѣломудренно, чтобы цѣломудріе это еще усиливало соблазнъ въ большей степени, чѣмъ какая бы то ни была циническая разнузданность. По крайней мѣрѣ, современные газетные рецензенты такъ вслазуски и расхваливаютъ подобныя качества примадоннъ Буффа... Но Риднева еще и не подозрѣвала о возможности подобнаго выхода изъ своей нравственной борьбы. Ей казалось, что предстоитъ что-нибудь изъ двухъ: или оставить труппу и обречь себя на холодъ и голодъ, — или махнуть рукою на все... Она рѣшилась на послѣднее:

«Риднева разучила роль и сыграла. Какъ новички творятъ чудеса храбрости, какъ бесильные ломаютъ крыши на пожарѣ, такъ и она, въ невѣдѣніи, въ неопытности, со злости, съ размаха превзошла всѣ ожиданія смѣлостью своего исполненія. Она была отвратительна. Ее вызвали пятнадцать разъ, а къ послѣднему вызову старичекъ изъ «золотой молодежи» ужъ успѣлъ достать и бросить ей букетъ. Антрепренеръ расцѣловалъ ея ручки.

— Каково? Смиреница, лукавая! повторялъ онъ. — А увѣряла, будто не умѣетъ.

Едва дыша, усталая, какъ никогда, Риднева спускалась съ хѣстницы. Въ корридорахъ, въ сѣняхъ всѣ говорили о ней, и никто не узналъ бѣдной, измученной женщины, когда, вслѣдъ за горничной, которая несла ея узелъ, она неловко влѣзла на оборванный извозничьи дрожки и упала головой на этотъ узелъ. Была темная осенняя ночь и хлесталъ дождь.

Но зато «довольный» директоръ самъ предложилъ ей небольшую прибавку жалованья. Мѣняевъ, двадцати-трехъ-лѣтній юноша, ни за чѣмъ катающійся по Россіи, предлагалъ свои пятнадцать тысячъ дохода... Ея ремесло стало для нея каторгой».

Вскорѣ это ремесло потеряло для нея и всякій смыслъ. Вѣдь она пошла въ актрисы изъ самопожертвованія, съ единственною цѣлюю возрости и воспитать дочь, которая была единственнымъ утѣшеніемъ ея жизни. Между тѣмъ, дѣвочка ея отъ плохого пристрастія, отъ переѣздовъ, отъ лишеній, хворала, чахла, наконецъ и умерла. Тогда Риднева рѣшилась бросить ремесло провинціальной актрисы. Передъ тѣмъ умерла ея тетка по мужу, оставивши въ Н. небольшой домикъ. Она взяла отпускъ отъ антрепренера и отправилась въ Н. получать въ наслѣдство этотъ домикъ. Послѣ цѣлаго ряда скитаній въ Н., Риднева дошла до самаго отчаяннаго положенія. Она узнала, что полусумасшедшая старуха ханжа, съ ужасомъ услышавши, что жена племянника ея пошла въ актрисы, пожертвовала оставшія послѣ нея домики на церковь. Ей ничего не оставалось дѣлать въ Н., и приходилось отправляться обратно въ труппу. Но случай свелъ ее съ нѣкимъ нотаріусомъ Ещечкинымъ, и послѣдній, воспользовавшійся ея дѣтскою неопытностью, нагло надулъ ее, лишивши ее брошки, полученной въ бенефисъ, присвоивши эту брошку себѣ за какой-то яко бы долгъ ея отца. Брошка эта была послѣднимъ ея ресурсомъ, и съ потерей ея Ридневой было не съ чѣмъ выѣхать изъ Н. Всѣми брошенная, безъ копѣйки денегъ въ карманѣ, въ грязномъ, холодномъ номерѣ гостиницы, Риднева дошла до послѣдней степени отчаянія: она рѣшилась на самоубійство. Она воспользовалась тѣмъ, что половой забылъ въ ея номерѣ стѣянку съ мышьякомъ, которымъ травилъ крысъ, и рѣшилась отравиться этимъ мышьякомъ. Сцена борьбы молодой жизни со смертью — представляется лучшею сценою во всемъ очеркѣ. По справедливости можно сказать, что давно уже въ нашей литературѣ не было ничего подобнаго. Особенно замѣчательна эта сцена тѣмъ, что Риднева, въ самую страшную минуту полной безпомощности, мрачнаго отчаянія, на краю могилы, остается передъ нами все тою Лизою Ридневой, раздвоенною натурою, искалѣченною свѣтскимъ воспитаніемъ. Такъ, мы видимъ, что, рѣшившись окончательно покончить съ жизнью, Риднева находитъ у себя въ карманѣ рубль, оставшіяся отъ разсчета съ половымъ. Тотчасъ же у

нея является мысль кутнуть въ послѣдній разъ въ жизни, и она посылаетъ полового за лучшими конфектами отъ Эрдера...

Когда конфеты были принесены, она крѣпко хлопнула дверь и съ какой то злостью повернула ключъ въ замкѣ.

— Ну-съ, Лизавета Васильевна?.. сказала она громко, возвращаясь къ столу.—Теперь все готово. Она развязала розовую ленту коробки, которую принесли.

— Кажется, недурны... А ты—еще лучше.

Она еще не посмотрѣла на тѣ. Стяжка оставалась подъ диваномъ; она спрятала ее туда и не подходила. Она сѣла, облокотилась спокойно и ничего не думала. Раскрытый бумажникъ съ фотографіей опять бросился ей въ глаза.

— Люба, хочешь конфетку? сказала она громко и зарыдала.

«О дитя! въ тебя всю душу положила! Гриша, жизнь моя, помыслимъ противъ тебя не была виновата! Прости, видишь, для кого срамилась, — для твоей же... Ты зачѣмъ ее вяла? Ну, ничего я не умѣю, не могу, но я бы для нея подѣ окна пошла просить, и прожила бы, и я бы жила... было бы для чего жить! А теперь, что же? Гриша, — одинъ конецъ! Уйду къ вамъ... Вы меня примите, что ли? Или и вы прогоните, не гоужь? Что тамъ у васъ?.. Господи!..

— Ужасъ!.. Честная женщина, — бывало, краснѣла, лаская мужа — а тутъ, всякій вечеръ, при сотняхъ глазъ, при сотняхъ ушей... Прислушалась, притерпѣлась къ стыду! Изъ-за куска хлѣба... вотъ каковъ хлѣбъ насущный!.. Нѣтъ, теперь я свободна, я одна, я не хочу... Но хоть бы и хотѣла, — понимаете ли вы, что вашей маменькѣ и срамиться — сунуться не съ чѣмъ?

Она помѣшанно хохотала.

— Конечно! вотъ здѣсь, въ этой грязи, сейчасъ будетъ кончено... И славно! Гриша, любовь моя, свѣтъ мой, поцѣлуй меня! Дай мнѣ вдохнуть, покаяться, освятиться твоимъ поцѣлуемъ... О, какъ я тебя любилъ!.. Прощайте! Довольно... Что-жъ, не ребенокъ я...

Она подошла къ дивану, протянула и отдернула руку. Она утѣряла себя, будто ей показалось, что кто-то стучится... Все было тихо.

— Гадость, должно быть, ужасная. Изъ аптеки. Какъ это отпускаютъ такъ неосторожно? мало ли можетъ быть несчастныхъ случаевъ, мало ли кому вадумается... Вотъ, напримѣръ, мнѣ вздумалось... Это задохнешься отъ вони.

Она опять открыла форточку. Большой звѣзды ужъ не было. Хотѣ бы ее увидѣть. Куда онѣ идутъ, направо или налево? Гриша объяснялъ какъ-то.

— Тихо что-то. Всѣ въ театрѣ. А что, умираетъ кто-нибудь въ городѣ въ эту минуту?.. Холодно... Гдѣ меня похоронять?.. Вотъ, чѣмъ бѣгать по улицамъ за вадоромъ, зайти бы лучше въ монастырь, гдѣ похоронена мать... А какъ это странно — не знать матери!..

Вдали, въ рѣдкомъ воздухѣ, раздался бой часовъ. «Это — на соборной колокольнѣ, подумала она и сосчитала десять. — Еще рано. Весь день не было слышно этого боя; должно быть, теперь оттуда вѣтеръ. Что значить привычка: послѣ столькихъ лѣтъ, я узнала этотъ колоколь. Я вѣчно узнаю. Здѣсь родилась и здѣсь умру».

— Ну, что-жъ? Пора, что ли?

Она сошла съ окна.

— Отвратительно. Должно быть, жжетъ въ горлѣ. Можно заѣсть конфеткой. Успѣю, прежде нежели зачерчусь... А что какъ повергнешься долго? Полчаса. часъ, больше... Господи! Какая должна быть боль... Вѣдь это горитъ; вотъ, заслонишь свѣчку, свѣтится... Горитъ! Во мнѣ будетъ горѣть... Господи! Ложка выпала у нея изъ рукъ.

— Господи! въ двадцать пять лѣтъ, здоровой... умереть, умереть, такъ, вдругъ, въ такихъ мукахъ... Господи!.. А тамъ зайдутъ сюда, будутъ осматривать, слѣдствіе... Создатель, такая смерть... Всю жизнь, всю молодую жизнь плакала, голодала, унижалась, схоронила все... и околѣть, какъ крыса, и надъ мертвой еще наругаются, истеразуютъ, бросать въ яму... Господи! А другимъ тепло, свѣтло, цвѣты, роскошь... Господи!

Она рвала на себѣ волосы.

Въ это время, въ корридорѣ послышался шумъ, голоса. Затѣмъ въ ея дверь застучали. Это ее искалъ тотъ самый Николай Дмитриевичъ Мѣняевъ, который предлагалъ ей свои пятнадцать тысячъ дохода... Риднева бросила сткланку въ окно и отворила дверь номера...

Я далека отъ мысли, что Риднева была лучшею представительницею своего вѣка. Конечно, въ ней слишкомъ много сидѣло ветхихъ началъ жизни, и борьба съ ними новыхъ началъ была неравная, оттого ветхія начала и побѣдили подѣ конецъ. Безъ сомнѣнія, было въ то время не мало женщинъ, которымъ борьба обходилась легче и приводила ихъ къ болѣе утѣшительнымъ результатамъ. Но для подтвержденія нашего анализа это даже и лучше, что Хвоцинская изобразила намъ въ лицѣ Ридневой худшую представительницу шестидесятихъ годовъ. По крайней мѣрѣ, мы видимъ теперь, какъ и подобная, худшая представительница, была, все-таки, охвачена духомъ своего времени, и она искала чего-то новаго, лучшаго, суетилась, говорила о необходимости трудиться, окружала себя учебниками... И она каждый шагъ въ жизни своей совершала не иначе, какъ съ мучительною борьбою, съ слезами и рыданиями...

А теперь... теперь я убѣжденъ, что эта самая Лиза Риднева навѣрное смѣется надъ всѣми своими прежними нравственными призраками и муками борьбы. Современная жизнь, безъ сомнѣнія, нашла и для нея свои примиренія и сдѣлала ее вполне непосредственною натурою. Борьба ея оканчивается, поவிديوу, такъ мрачно въ разсказѣ Хвоцинской, и за послѣднюю точку разсказа воображенію читателя рисуется, конечно, мрачная пропасть паденія, въ которую должна упасть Лиза послѣ того, какъ отворила двери Мѣняеву... Но успокойся, читатель: я убѣжденъ, что ничего такого ужаснаго съ Лизою не произошло. Хотя она и согласилась быть содержанкой Мѣняева, но навѣрное это униженное положеніе продолжалось не долго. Недаромъ-же Лиза получила свѣтское воспитаніе во всѣхъ тонкостяхъ, и это воспитаніе внушило ей секретъ нравиться и очаровывать хотя-бы антрепренера при первомъ свиданіи — игрою фizioноміи, ужимкамъ во время представиться сконфуженной, во время принять на себя личину дѣтской шаловливости. Поверьте, что Лиза не замедлила употребить всѣ эти средства и по отношенію къ Мѣняеву и сжурила сдѣлать его ручнымъ и рабѣнно ползкоющимъ у ея ногъ. А затѣмъ... затѣмъ законный бракъ, законное владѣніе пятнадцатью тысячами дохода и — тепло, свѣтло, цвѣты, роскошь... однимъ словомъ — все то, о чемъ мечтала Лиза передъ сткланкою съ ядомъ. И теперь она навѣрное смѣется надо всѣмъ: и надъ своимъ скромнымъ мученикомъ Гришею съ его убогою обстановкою, и надъ своими мечтами о честномъ насущномъ

кусѣ, и надъ прежнею Лизою Ридневою, которая когда-то рвала волосы въ отчаяніи... Да и какъ-же ей не смѣяться, когда все, что повади ея, все такъ мизерно и жалко... а впередъ роскошь, блескъ, и безконечное веселье...

Посѣмся и мы съ тобой, читатель, надъ нашимъ прошлымъ, такимъ мизернымъ и жалкимъ, когда и мы съ тобой мучили себя и отказывали себѣ во всемъ изъ-за разныхъ вопросовъ, конечно, „фантастическихъ и утопичныхъ“ — и ринемся впередъ, вмѣстѣ съ Хвощинскою, въ сферу роскоши, блеска и беззавѣтнаго веселья...

#### IV.

Нѣкто Аяровъ ѣхалъ по желѣзной дорогѣ изъ одного далекаго города въ Петербургъ. На дорогѣ онъ услышалъ отъ двухъ разговаривавшихъ между собою пассажировъ, что недавно умерла нѣкая Новоселова, а эта Новоселова была нѣкогда предметомъ безнадежной и нераздѣленной страсти Аярова. Ему захотѣлось проститься съ этой когда-то милой для него женщиной на ея могилѣ, и онъ заѣхалъ въ городъ N, гдѣ была она похоронена. Тамъ онъ нашелъ скоро на кладбищѣ ея могилу, еще свѣжую и не украшенную памятникомъ. Ему захотѣлось снять фотографію съ этой могилы, и онъ направился къ городскому фотографу. Послѣдній оказался старымъ знакомымъ Аярова, нѣкимъ Либмейеромъ. Либмейеръ этотъ представлялъ изъ себя типъ вполнѣ современнаго непосредственнаго человѣка. Онъ былъ доволенъ и собою, и всѣмъ окружающимъ. Пріѣхалъ онъ въ N налегкѣ, почти ни съ чѣмъ, а въ семь лѣтъ у него были уже свой домикъ, свой садикъ, экипажъ, и все это потому, что онъ умѣлъ приноровиться ко вкусамъ городского общества, и публика забросала его заказами, не то что прежній фотографъ, у котораго не было никакой опытности понять публику N, и потому онъ убрался, продавши счастливому сопернику свои инструменты. Счастливый Либмейеръ находилъ, что Аяровъ былъ слишкомъ требователенъ къ здѣшнему обществу; онъ, Либмейеръ, засталъ его какъ разъ вслѣдъ за Аяровымъ и нашелъ, что оно, право, ничего...

— Нѣтъ, здѣсь, право, не скучно, говорилъ онъ: — въ послѣднее время особенно. Знаете, общество опять оживляется. Лѣтъ шесть, семь назадъ, ужъ очень серьезничали. Теперь, какъ-то это все въ порядокъ приходитъ. Танцуютъ. Театръ есть, оперетки. Съ дамами есть о чемъ поговорить. А то, бывало, помните, неприступности... Ахъ, забавно: когда и только что здѣсь обаялся, ко мнѣ приходили двѣ дѣвицы, просили, чтобы я училъ ихъ снимать, да еще мало этого: читай я имъ химію... Мало ли какихъ затѣй бывало. Теперь вспомнить забавно; а что я, въ крайности, въ первое время выносилъ! Препараты, бывало, имъ снимаешь, жуковъ разныхъ... Право! чтѣжь дѣлать! нужда!.. Но всего было непріятнѣ женскіе портреты: все—черный люстриръ, ни бантика, ни позы, ни выраженія. Все — «строгая простота», а художнику это наказание. Только, только хочешь освѣтить какъ нибудь, посадить, — кричатъ: «неестественно!» Какое ужъ тутъ искусство и какъ себя заявить...

— А теперь? — спросилъ Аяровъ.

— О, теперь, нѣтъ никакого сравненія! Дамъ не

узнаешь, ожили, опять красота, опять наряды. Теперь художнику раздолье.

Такъ говорилъ Либмейеръ и въ доказательство показалъ Аярову цѣлую коллекцію женскихъ портретовъ, которые онъ собиралъ, снимая обитательницъ города N и съ ихъ согласія продавалъ эти портреты. Оказалось, что въ городѣ N, завелась мода продажи карточекъ красивыхъ женщинъ для мужскихъ альбомовъ. Портреты были сняты по большей части все въ картинныхъ и эффектныхъ позахъ. Между прочимъ, Либмейеръ особенно обратилъ вниманіе Аярова на одинъ изъ такихъ портретовъ.

— Позвольте, сказалъ онъ: — вотъ вамъ не улыбающаяся, — прервалъ художникъ, вынимая листъ большого размѣра, работу, которой онъ, очевидно, особенно гордился: — это, я вамъ даже назову, — m-lle Бѣлушева, молодая особа, недавно воротилась изъ за границы, ѣздилъ съ матерью. Образована, пишетъ, дочь статскаго совѣтника, музыкантша. Она желала сохранить воспоминаніе о своемъ путешествіи. Видите, стоитъ на скалѣ; море и буря. Я скажу нарочно заказывалъ. Картонная, знаете, мохъ тутъ, растенія. Трудно было поставить, однако, удалось.

Аяровъ упалъ головой на фотографію и расхохотался неудержимо. Дѣва, стоявшая на скалѣ, была шарообразна. Изъ-подъ узкой юбки съ фалдами высовывались огромныя поля въ бантахъ; каблукъ впиивались въ картонъ. Волосы, безъ сомнѣнія, фальшивые, потому что съ собственными такъ бы не распорядилась: взметанные пуками, космами нависли надъ низенькимъ круглымъ лбомъ и оттуда дико смотрѣли круглые, бѣлые глаза; ротъ былъ разинутъ, одна рука прижата къ корсету, стянутому ремнемъ, другая, съ жестомъ ужаса, будто отталкивала даль...

Вскорѣ не замедлилъ явиться къ Либмейеру и подлинникъ этого фантастическаго портрета въ видѣ m-lle Бѣлушевой съ своей матушкой. Онъ оказались столь часто встрѣчающимися въ провинціи типами поискательницъ жениховъ, при чемъ, дочка, подходящая уже къ тридцатилѣтнему возрасту, только и мечтала, какъ-бы поскорѣ выйти за кого-бы ни было замужъ и пристроиться, а матушка — какъ-бы событь ее поскорѣ съ рукъ и избавиться отъ нея. Такъ мы видимъ изъ разговоровъ ихъ съ Либмейеромъ, что m-lle Бѣлушева не прочь найти свое счастье и въ мастерской фотографіи. Когда-же онъ увидѣлъ Аярова, и онъ оказался старымъ знакомымъ m-lle Бѣлушевой, онъ съ яростью набросились на него.

— Вѣдь мы сверстники, мы знаемъ другъ друга съ дѣтства, объясняла m-lle Бѣлушева, обращаясь къ Либмейеру. — Правда, я немного постарше васъ, но мы, женщины, всегда старше мужчинъ; жить начинаемъ раньше! Я была уже замужемъ. А этой особы вы, конечно, не помните?

Аяровъ ничего не помнилъ въ дѣтствѣ, а зналъ только, что эта барыня старше его около двухъ десятковъ лѣтъ и что, въ его студенческое время, у нея была уже взрослая дочка, которую она прятала въ институтъ. Чтобы спросить что-нибудь, онъ спросилъ о супругѣ.

— Я—вдова, отвѣтила m-lle Бѣлушева съ мгновенной грустью, отъ которой также быстро перешла въ растроганно-шутливый тонъ. — Теперь я всецѣло принадлежу вотъ этой дурочкѣ. Но позвольте-же вамъ ее представить: ma fille Nathalie.

Аяровъ еще разъ раскланялся. Дѣвица притихла и смотрѣла строго.

Затѣмъ, вечеромъ, встрѣтивъ Аярова на бульварѣ, m-lle Бѣлушева почти силою увлекла его въ свой салонъ на чашку чаю, и тамъ произошла весьма харак-

терная сцена уловленія жениха. И какъ ни беззавѣтно пошлы и глупы были въ этой сценѣ обѣ Бѣлушевы, матушка и дочка, и хотя все, что онѣ говорили, высказывалось ими не въ серьезъ и отъ души, а ради только того, чтобы порисоваться и показать товаръ лицомъ, тѣмъ не менѣе въ словахъ ихъ оказалось много истиннаго пониманія современной намъ жизни. Видно правда, что судьба умудряетъ иногда дураковъ и пошляковъ, и что сквозь вопиющую ложь проглядываетъ иногда истина. Такъ, не доходя еще до дома, на бульварѣ, т-ше Бѣлушева держала къ Аярову слѣдующую рѣчь:

«А помните... Много мы пережили съ вами, mon cher Аяровъ! Que d'illusions, bon Dieu, et que de folies! Блаженъ, кто устоялъ! Вотъ прошло и не стало мило, можно сказать о нашемъ прошедшемъ, и какое счастье, что мы видимъ, по крайней мѣрѣ, нашихъ молодыхъ, которые умѣютъ насъ беречь свое время! Знаете, когда вотъ такъ выглядываешься въ нихъ... Напримѣръ, обратите вниманіе на эти группы.

Мимо нихъ пробѣжали три дѣвцы и два кавалера. Они громко смѣялись, сѣла заняты скамейку, и, опережая другъ друга, толкали встрѣчающихся. Аяровъ успѣлъ посторониться, но шлейфъ т-ше Бѣлушевой нѣсколько пострадалъ. Кавалеры первые захватили мѣсто и не давали сѣсть дѣвцамъ; тѣ ужъ не смѣялись, а кричали и гнали.

— Какъ это учтиво! Пустите! Мы устали!

— Мы сами устали!

Восклицанія еще долго перекрещивались.

— Замѣчайте это, продолжала т-ше Бѣлушева, отряхнувъ свой шлейфъ.—Я покоряюсь! прибавила она, прослѣди за взглядомъ Аярова:—я—покоряюсь! это—неизбѣжно. Я—другое поколѣніе и уступаю мѣсто съ радостью: это—жизнь кипучая, полная надеждъ, полная будущаго. Это безопасно, это ровно ничего не думаетъ, не затѣваетъ, не перестраиваетъ, не сушитъ себя педантизмомъ; это—живетъ! Живетъ и наслаждается, беретъ свое право, свою долю и умѣетъ крѣпко ихъ отстаивать. О, они сильны! Тутъ есть характеръ. Прислушайтесь, вотъ хоть эти сейчасъ. *Наимъ* бы непременно тутъ устраивали вселенную или что-нибудь въ этомъ родѣ, — а эти просто смѣются... Прислушайтесь, вездѣ только веселый говоръ, безъ задней мысли, безъ стремленій этихъ Богъ вѣсть куда, безъ вопросовъ, которые ни къ чему не ведутъ, а только пачкаютъ воображеніе. А между тѣмъ, эта молодежь благоразумнѣе, дѣльнѣе насъ; она умѣетъ устроиться; она понимаетъ, что химерами не живуть; она разборчива въ выборѣ друзей, она не даетъ себя компрометировать... О, это—люди! А мы-то? Грустно вспомнить! Милый мой, въ нашей молодости (вѣдь она была общая у насъ!) мы не слыхали смѣха. Весна безъ розъ, небо безъ лучей—вотъ наша молодость. Чего мы хотѣли? Чего *мы* хотѣли, это вѣрнѣе! Не правда-ли, вы не сдумаете сказать? А между тѣмъ, все было омрачено, все возмущено, всѣ связи порваны... Другъ мой, и вы, вы тоже прикладывали къ этому руку!

— Laissez moi prendre votre bras. Все-таки, я немного старше васъ и дама! разсмѣялась она, не замѣчая, что произноситъ монологи.—Ахъ, теперь мы легче задохнули. Теперь у насъ возрожденіе, *renaissance*. Я радуюсь, я счастлива, что молодость моей дочери пришла въ это, а не въ то время. Я говорю ей: ты умна, что опоздала родиться. Мы съ нею понимаемъ другъ друга. Je suis une heureuse mѣге, Аяровъ!.. Я молюсь... мы молимся съ нею вмѣстѣ, а этого, въ наше время, были лишены многія матери!.. У нея столько талантовъ. Мы изучаемъ вмѣстѣ природу и искусство... Ахъ, нѣтъ, я не хочу думать, чтобы мы встрѣтились только на какіе-ни-

будь два-три часа. Нѣтъ, вы пробудете еще, вы останетесь здѣсь, вамъ надо внушить... Но вотъ мы дома. Милости просимъ.

М-ле Бѣлушева, въ свою очередь, весь вечеръ проводила передъ Аяровымъ параллели между прежнимъ и нынѣшнимъ временемъ...

— Откуда это вы все знаете?

— Я-то?

— Вѣдь вы были тогда—дѣвочка.

— Да, дѣвочка, подтвердила она серьезно:—но дѣвочка думала крѣпче взрослыхъ. Преданія свѣжія; я добавила ихъ по догадкамъ, по наведенію, и выходитъ все ясно. И притомъ, что-же? Не Богъ знаетъ какая премудрость была все ваше развитіе, ваши знанія, ваши планы, чтобы не постичь ихъ, господа! Я и не извиняюсь, что выражаюсь непочтительно. Это ужъ оцѣнено и сдано въ архивъ. Для васъ ужъ тоже настало молодое поколѣніе, какимъ вы были тогда сами, и, не гнѣвайтесь, мы васъ поняли. Но мы не ведемъ съ вами борьбы, мы—народъ мирный. Мы только позволяемъ себѣ иногда, вотъ такъ, пошутить немножко. Вы не сердитесь?

Ниже она говоритъ:

— Ну... хоть разобратъ, что такое было ваше прошлое. Его подробности вы мнѣ когда-нибудь расскажете, а о дальнѣйшемъ я буду имѣть удовольствіе вамъ сейчасъ сообщить. Васъ интересуетъ Авдотья Андреевна. Позвольте ужъ къ этому образу присоединить и другой—тетушку Annette. Онѣ нераздѣльны—съ самой исторіей; онѣ дополняютъ одна другую... Вотъ съ, когда покончились ваши сборища, ваши затѣи,—мой папаша-покойникъ даже любезно предложилъ молодому поколѣнію позабыть, какъ отворяется дверь въ его домъ,—ну, тогда нашимъ развитымъ дѣвцамъ, проводя васъ, ничего больше не осталось, какъ влюбляться и ловить жениховъ. Вѣдь въ вашемъ уставѣ это воспрещалось. Такъ-ли?

— Не помню.

— Ахъ, какой лукавый! А я знаю: и предписывалось «искать человѣка».—Это было вообще нѣсколько неудобопонятно, а для нашихъ двухъ барышень и подавно. Потому, вы не вообразите, какъ онѣ обрадовались, что отъ васъ избавились; все полетѣло—всѣ ваши литографіи, ваши рукописи,—а *онѣ* сами—по баламъ, по моднымъ магазинамъ. Радость-то какая: вѣдь все равно, что возвратъ въ лоно родительское, въ лоно церкви...

Не правда-ли, во всѣхъ этихъ рѣчахъ Бѣлушевыхъ не малая доля правды? Но онѣ имѣли-бы еще болѣе смыслу, если бы Хвощинская не окаррикурировала личностей Бѣлушевыхъ. Вопервыхъ, она заставила ихъ слишкомъ ужъ прозрачно уловлять Аярова въ женихи, а во-вторыхъ, она совершенно напрасно заставила т-ле Бѣлушеву сняться въ такомъ уродливомъ видѣ—на скалѣ съ протянутой рукою. Отъ этого отзывается чѣмъ-то совершенно уже архаическимъ, какимъ-то романтизмомъ тридцатыхъ годовъ. Не таковы должны быть Бѣлушевы въ дѣйствительности: т-ше Бѣлушева все-таки терлась нѣкогда въ какихъ-то кружкахъ, т-ле Бѣлушева—дѣвушка образованная, бывала за границей и даже сочинительница. Очевидно, онѣ должны стоять au courant современнаго прогресса, безукоризненно соблюдать всѣ его внѣшнія требованія, и тогда рѣчи ихъ получаютъ глубокий смыслъ въ ихъ устахъ. Развѣ вы не встрѣчаете, въ самомъ дѣлѣ, нынѣ на каждомъ шагу подобныхъ Бѣлушевыхъ? Изысканная, блестящая, безукоризненно прогрессивная, онѣ засѣдаютъ въ дамскихъ комитетахъ, сочиняютъ, переводятъ и, главное дѣло, собирая вокругъ себя цѣвъ современной моло-

дежи, сіяютъ въ своихъ салонахъ невозмутимымъ самодовольствомъ, съ пренебреженіемъ поспѣваясь надъ химерическимъ прошлымъ съ его утопическими мечтами о передѣлѣ вселенной, мрачными юношами, отвергавшими всякія наслажденія жизни, и стриженными дѣвницами, никогда ничего не надѣвавшими, кромѣ чернаго люстрина. Въ очеркѣ Хвощинской Бѣлушевы повели дѣло такъ неуклюже, что не только не уловили Аярова, но заставили его поскорѣй уѣхать изъ N, чтобы не встрѣчаться съ ними болѣе. Въ дѣйствительности же, Бѣлушевы уловляютъ жениховъ съ такимъ выработаннымъ тактомъ и тонкимъ кокетствомъ самой высокой пробы, что имъ удается улавливать сплошь и рядомъ людей, которые—не чета Аярову. Въ Аяровѣ много еще сидитъ элементовъ шестидесятыхъ годовъ, онъ полонъ воспоминаній юности; къ тому же онъ сошелся съ Бѣлушевыми подъ вліяніемъ только что пережитой и схороненной глубокой страсти; конечно, трудно было уловить его при этихъ условіяхъ. Но вы представьте только себя его—нѣсколько лѣтъ спустя, когда воспоминанія юности мало по малу изгладились бы, онъ между тѣмъ успѣлъ бы закружиться въ шумѣ современной жизни, да и притомъ столичной (вѣдь онъ ѣхалъ въ Петербургъ), умѣлъ бы устроить свое положеніе въ качествѣ хотя бы, напримѣръ, адвоката. И чѣмъ же тогда Бѣлушева была бы не жена ему: дочь статскаго совѣтника, образованная, музыкантша и, вдобавокъ, еще сочинительница; чего же ему нужно было бы болѣе при современной нашей беззавѣтности? Онъ бы гремѣлъ съ судейской трибуны, пожиная лавры и окружая себя все болѣе и болѣе блескомъ славы и матеріальныхъ благъ, она сочиняла бы книги и даже могла бы читать лекціи о женскомъ трудѣ—и оба только дивились бы другъ на друга, шествуя рука объ руку и срывая по пути цвѣты наслажденія. Да здравствуетъ наша современная беззавѣтность!

## V.

Но не все же одно веселье, не все же одни цвѣты наслажденія въ современной жизни. Бываютъ въ ней, конечно, и драмы. Вотъ передъ нами, во второмъ очеркѣ Хвощинской, одна изъ современныхъ драмъ, страшная, кровавая. Но странно, замѣтите, и эта кровавая драма далеко не возмущаетъ общей гармоніи современной намъ жизни и ни мало не мѣшаетъ дѣйствующимъ лицамъ этой трагедіи оставаться вполне непосредственными натурами. Что жъ, извѣстное дѣло, что непосредственныя натуры, конечно, въ большей степени, чѣмъ Гамлеты, способны на трагическія катастрофы. Но трагическія катастрофы непосредственныхъ натуръ отличаются тѣмъ, что, какой бы ужасъ и состраданіе къ героямъ и жертвамъ ни возбуждали бы онѣ въ васъ, вы не испытываете и тѣни той нравственной угнетенности, того разлагающаго душевнаго разстройства, того тревожнаго и мучительнаго чувства дисгармоніи, какія возбуждаются въ васъ гамлетическими драмами. Напротивъ того, здѣсь къ ужасу и состраданію вашему невольно примѣшивается то обаяніе, какое на васъ производитъ всякая свободная игра страстей, какія бы эти страсти ни были и къ че-

му бы онѣ ни приводили. Вы также невольно любуетесь такою игрою страстей человѣческихъ, какъ любуетесь роковою игрою стихій въ родѣ бури или пожара, забывая иногда о тѣхъ бѣдствіяхъ, какія она приноситъ.

Героизмъ подобной трагедіи является передъ нами Копыловъ. Онъ былъ героемъ вполне современнымъ съ головы до ногъ, т. е. занималъ выгодное мѣсто, былъ агентомъ какой-то компаніи, имѣлъ небольшое, но очень приличное состояніе, однимъ словомъ, имѣлъ полную возможность срывать всѣ цвѣты наслажденія, и это нисколько не мѣшало ему, въ то же время, быть чуткимъ на всякій современный вопросъ, принимать даже участіе во всякой чужой заботѣ\*, — и замѣтите, что собственно и отличаетъ въ Копыловѣ современнаго челоука: при этомъ откликаньи на всякій современный вопросъ, Копыловъ, не хуже Либейера или Бѣлушевыхъ, умѣлъ ладить съ окружающимъ его обществомъ: „Откровенность, говорить Хвощинская, способность увлекаться, пылкость, все принимающая къ сердцу, недостатокъ разсчета среди поголовнаго пошлячества на разсчетъ, могли подчасъ показаться наивными, могли вызывать осужденіе холодно-благоразумныхъ людей и презрѣніе рьяныхъ дѣльцовъ, но, въ большинствѣ, Копылова любили. Игривый, образованный, онъ вездѣ вносилъ съ собою оживленіе; въ немъ было что-то прямое, любящее, горячее... Копыловъ былъ рѣдкость“.

Однимъ словомъ, Копыловъ стоялъ въ полной гармоніи какъ съ самимъ собою, такъ и со всѣмъ окружающимъ его обществомъ. И чего же могло недоставать этому удачѣ-доброму молодцу, лихачу-кудрявичу? Очевидно, только одного: недоставало ему жениться. Но и за этимъ дѣломъ не стало. Вскорѣ Копыловъ оказался влюбленъ, да такъ влюбленъ, что, читаемъ мы, „не умѣлъ скрывать этого, выносилъ изъ меки свѣтскихъ женщинъ, шутки пріятелей и добивался руки своей Клавдіи съ настоячивостью — не нашего времени“. Такъ говоритъ Хвощинская, но совершенно напрасно она думаетъ, что настоячивость Копылова была не нашего времени; напротивъ того, она принадлежала къ самой наисовременнѣйшей современности — и подумайте, къ какой же другой эпохѣ изъ прежнихъ могла она принадлежать? Герой сороковыхъ годовъ на мѣстѣ Копылова, конечно, прежде, чѣмъ добиться чего-нибудь, сталъ-бы анализировать Клавдію со всѣхъ сторонъ, разбирать ее по косточкамъ, соответствовуетъ ли она вполне его идеалу женщины, сталъ бы взвѣшивать на аптекарскихъ вѣсахъ и свое собственное чувство, и чувство героини, да такъ бы дѣло и кончилось однимъ безконечнымъ анализомъ на всю жизнь. Грубый герой шестидесятыхъ годовъ, прежде чѣмъ жениться, пожалуй, предложилъ бы какія-нибудь тривіальныя условія, въ родѣ полнаго отреченія отъ всякихъ цвѣтовъ и газа, ношенія исключительно одного чернаго люстрина и занятія какимъ-нибудь насущнымъ трудомъ, чѣмъ-нибудь въ родѣ акушерства — и плюнулъ бы, не смотря на всю свою пылкую страсть, еслибы Клавдія на такія условія не согласилась. Но кто же, кромѣ Копылова, этого героя нашей современной беззавѣтности, способенъ отдаться своей страсти такъ всецѣло и такъ



очертя голову, безъ малѣйшихъ колебаній, думъ и какихъ бы то ни было вопросовъ? Подобнаго рода непосредственныя натуры всегда отличаются стремительною настойчивостью разъяренныхъ быковъ. Мы видимъ, что слѣпота страсти Копылова простиралась до того, что онъ не только не далъ себѣ ни малѣйшаго труда попристальнѣе вдуматься, согласуется ли характеръ, вкусы и привычки Клавдіи съ тѣми его принципами, которые побуждали его откликаться на общественные вопросы, — но онъ не замѣчалъ даже, что выходили за него ради однихъ матеріальныхъ выгодъ, что любили не его, а другого, который передъ свадьбой уѣхалъ изъ Н и воротился опять...

И впоследствии, когда Копыловъ успѣлъ разгадать, что такое Клавдія, успѣлъ разочароваться въ ней и убѣдиться, что его не любятъ, онъ занялся не какими либо анализомъ или думами о томъ, какой выходъ найти изъ своего ложнаго положенія, а, какъ всегда бываетъ съ непосредственными натурами, одна страсть смѣнилась у него другою, такою же слѣпою, стремительною и чисто животною, какъ и первая. Что-бы сталъ дѣлать въ такомъ случаѣ человѣкъ сороковыхъ годовъ? Онъ, конечно, расплылся бы тотчасъ въ унылыхъ рефлексіяхъ, сталъ бы то въ женѣ, то въ самомъ себѣ отыскивать причины нелюбви и невѣрности супруги, ежедневно поглядывать на крючки въ стѣнахъ и примѣриваться, на какой бы повѣситься — и такъ провелъ бы всю жизнь, а жена шалила бы и шалила. Человѣкъ шестидесятихъ годовъ или оскорбился бы обманами жены и, выведя ихъ наружу, предложилъ бы впредь безъ всякихъ такихъ обмановъ откровенно поступать, какъ ей угодно, или же разошелся бы съ нею, постаравшись, въ то же время, устроить это такъ, чтобы не опозорить передъ свѣтомъ женщины. Копыловъ же, какъ современный герой, поступилъ совершенно такъ, какъ и всегда поступаютъ въ такомъ случаѣ непосредственныя натуры, въ родѣ хотя бы Отелло. Убѣдившись въ невѣрности жены, онъ побѣжалъ въ гостиницу, гдѣ она обѣдала съ любовникомъ и тамъ, въ бѣшенствѣ, зарѣзалъ столовымъ ножомъ послѣдняго.

Но и послѣ такого омерзительнаго поступка Копыловъ остался все тою же непосредственною натурою: онъ тотчасъ же нашелъ для себя примиреніе въ непоколебимой рѣшимости принять на себя всѣ кары закона за свой поступокъ, не дѣлая ни шагу къ малѣйшему смягченію этихъ каръ. Онъ отказался отъ всякихъ объясненій своего поступка при допросахъ суднаго слѣдователя, отказался отъ всякихъ объясненій на судѣ, не хотѣлъ принять адвоката, а когда тотъ насильно навязался, сбилъ его съ толку во время его рѣчи, прося поторопиться. Когда жена, во время свидѣтельскихъ показаній, выставила его чудовищемъ, а себя несчастною и невинною жертвою этого чудовища, онъ и тутъ хотѣлъ бы слово сказать въ оправданіе себя или въ укоръ женѣ. Однимъ словомъ,

до конца выдержалъ передъ публикой роль трагическаго героя, желающаго, чтобы на него неуклонно упалъ мечъ карающей Немезиды, — и эта роль, конечно, примирила его съ самимъ собою, потому что, согласитесь сами, какъ пріятно сознавать себя подобнымъ непреклоннымъ героемъ, помирила его и съ публикой, которая выразила глубокое сочувствіе къ трагической жертвѣ игры страстей, выступавшей передъ нею въ такомъ картинномъ величіи сокрушеннаго желанія пострадать во что бы то ни стало за свое преступленіе и пострадать безъ малѣйшаго снисхожденія. Вышла, однимъ словомъ, очень эффектная сцена — трагическаго примиренія, восстановленія нравственной гармоніи, вотъ какъ, напримѣръ, у Шекспира Отелло задушилъ неповинную женщину, потомъ зарѣзалъ самъ себя, — и зрители должны выходить изъ театра съ сладостнымъ сознаніемъ, что преступленіе отомщено и нравственные законы судьбы уравновѣшены; такъ, по крайней мѣрѣ, учили насъ старые эстетики.

Изъ этого всего наглядно видно, какъ легко героямъ нашей современной непосредственности не только производить гражданскіе подвиги доблестей и въ вознагражденіе за нихъ срывать цвѣты наслажденій, но и совершать самыя возмутительныя и грязныя преступленія. Имъ ничего не стоитъ найти, въ такомъ случаѣ, примиреніе въ самой жизни и пребывать картинными и величественными героями какъ въ глазахъ толпы, такъ и передъ очами своей совѣсти. И такъ, еще разъ: да здравствуетъ современная намъ беззавѣтность!

Казалось бы, что, въ виду всего вышесказаннаго, очерки Хвощинской должны были бы возбуждать въ насъ самое свѣтлое настроеніе. Что можетъ быть утѣшительнѣе и отраднѣе, какъ не созерцаніе людей такихъ умныхъ, образованныхъ, блестящихъ, откликающихся на всѣ современные вопросы жизни и пользующихся всѣми благами, срывающихъ всѣ возможные цвѣты наслажденій, беззавѣтно отдающихся своимъ страстямъ, какъ истые донъ-кихоты, и находящихся въ непрестанной гармоніи и съ самими собою, и съ окружающимъ ихъ обществомъ? И между тѣмъ, очерки Хвощинской, вмѣсто ободряющихъ и радостныхъ впечатлѣній, возбуждаютъ въ насъ мучительную тоску и ужасъ. Вамъ становится какъ-то жутко не только за всѣхъ этихъ людей, которымъ море по колено и у которыхъ нѣтъ ничего въ головахъ ни вчерашняго, ни завтрашняго, но и за все общество, наполненное этими людьми. Въ насъ словно будто пробуждается совѣсть, и вы сознаете себя участникомъ въ какомъ-то отвратительномъ преступленіи... Вамъ кажется, будто весь этотъ пиръ совершается въ какомъ-то чужомъ домѣ и, какъ ни велико, какъ ни беззавѣтно веселье, а вы все ждете, что вотъ сейчасъ придетъ хозяинъ и отнесется къ вамъ, какъ къ непрошеннымъ гостямъ... Отчего это, читатель?





1876—1877.

## БЕСѢДЫ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

(КРИТИЧЕСКІЯ ПИСЬМА).

### Письмо первое.

#### НАШЕ СОВРЕМЕННОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ БЕЗВРЕМЬЕ.

Въ настоящее время и въ журналахъ, и въ газетахъ, и въ различныхъ общественныхъ кружкахъ— повсюду господствуетъ минорный тонъ относительно состоянія литературы вообще, беллетристики-же и критики въ особенности. Всѣ жалуются, что критика находится въ такомъ упадкѣ, что совсѣмъ начинаетъ исчезать изъ журналовъ. Беллетристика-же только и держится, что корифеями прежней эпохи, блиставшими уже въ 40-хъ, 50-хъ и 60-хъ годахъ; новыхъ-же талантовъ, которые можно-бы поставить на одну высоту со старыми, не является. И вотъ, въ этотъ-то моментъ литературнаго безвременья, я рѣшился писать къ вамъ критическія письма. Не подумайте, чтобы я мечталъ занять своими письмами опустѣвшую арену критики и принять на себя роль критическаго вождя, полагающаго за собою право рѣшить и вязать. Нѣтъ, просто по просту, когда во время жаркихъ сраженій избиваются всѣ полководцы, каждый солдатъ дѣлается генераломъ и подаетъ свои совѣты; или на общественныхъ собраніяхъ, когда вожди партій оставляютъ арену, каждый обыватель, который прежде только и дѣлалъ, что сидѣлъ и глубококомсленно выслушивалъ, теперь встаетъ и подаетъ свое мнѣніе. Такъ точно и я предстаю передъ вами простымъ рядовымъ и обывателемъ, и подаю свой голосъ, который вы въ правѣ выслушать или оставить безъ вниманія.

Начинаю я свои письма, какъ вы можете судить по заглавію, съ разсужденій о нашемъ современномъ литературномъ безвременьи—разсужденій, которыя, какъ я заявилъ уже выше, вы встрѣтите на всѣхъ перекресткахъ, безъ которыхъ не могутъ обойтись нынѣ, заговоривъ о литературѣ. Вслѣдствіе одной этой всеобщности толковъ о литературномъ безвре-

меньи, вопросъ этотъ получаетъ большую важность; его слѣдуетъ поставить впереди и обсудить прежде всего. Онъ послужитъ мнѣ какъ-бы вступленіемъ въ мои критическія письма; дастъ мнѣ возможность, прежде, чѣмъ я займусь анализомъ того или другого изъ современныхъ произведеній беллетристики, сдѣлать общій обзоръ состоянія современной литературы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, высказать тѣ критеріи, которые будутъ руководить мною при оцѣнкѣ различныхъ произведеній, настоящихъ и будущихъ.

Что касается лично до меня, то я вполнѣ раздѣляю недовольство большинства общества современною беллетристикою. Если и существуютъ въ литературѣ два, три имени, которыя слѣдуетъ исключить изъ этого недовольства, если и появляется въ теченіи года два, три произведенія, отмѣченныя сильнымъ талантомъ и обращающія на себя всеобщее вниманіе, то подобныя явленія представляются словно оазисами въ дикой пустынѣ. Они остаются сами по себѣ, а пустыня тоже—сама по себѣ продолжаетъ пребывать все тою-же безплодною пустынею. Такъ, напримѣръ, возьмемъ хоть нынѣшній годъ, клонящійся уже къ концу и представляющій намъ свои итоги и, нужно отдать ему справедливость, плачевные итоги по части художественной литературы. Такъ, изъ наиболѣе выдающихся произведеній только и можно отмѣтить, что трагикомедію Некрасова „Современные герои“, нѣсколько очерковъ Щедрина, нѣсколько главъ романа гр. Толстаго, одну комедію Островскаго, да два очерка Г. Иванова (этого чуть-ли не единственнаго изъ молодыхъ талантовъ, выстрадавающаго свои очерки, а не сочиняющаго ихъ). Но вѣдь это не составляетъ всей беллетристики за цѣлый годъ въ четырехъ толстыхъ журналахъ? Вѣдь это—капля въ морѣ? Вѣдь это все, переплетенное вмѣстѣ, составило-бы небольшой томъ? Ну, а затѣмъ что-же представляетъ собою беллетристика нынѣшняго года? Далѣе за тѣмъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ слѣ-

дуетъ романъ Смирновой „Сила характера“. Въ „Дѣлѣ“ былъ помѣщенъ романъ Михайлова „Хлѣба и зрѣлицъ“, и затѣмъ тянется и, вѣроятно, долго еще будетъ тянуться безконечный романъ Евг. Маркова „Черноземныя поля“. А въ концѣ года выступилъ Лѣтневъ съ новымъ романомъ „Вѣшенная лощина“. Въ „Вѣстникѣ Европы“ парадировалъ А. Потѣхинъ, который началъ годъ повѣстью „Хворая“, а окончилъ романомъ „Около денегъ“. Въ промежуткѣ-же между этими двумя столпами беллетристики „Вѣстника Европы“ мы только и видимъ, что два посмертныхъ произведенія, помѣщенные, конечно, ради одного историческаго интереса: отрывки изъ драмы А. Толстого „Посадникъ“ и повѣсть М. Авдѣева „Въ сороковые годы“. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“... но беллетристика „Русскаго Вѣстника“—совсѣмъ особая статья: она стоитъ совсѣмъ за рубежомъ современнаго движенія литературы; для нея никакихъ эстетическихъ законовъ не писано, и говорить о ней—дѣло никакъ ужъ не художественной критики. Оставимъ мы ее лучше въ покоѣ съ ея „Млечными путями“, „Избушками на куряхъ ножкахъ“ и тому подобнымъ хламомъ.

Вотъ и все, за исключеніемъ нѣсколькихъ мелкихъ повѣстей, рассказовъ, очерковъ, о которыхъ не осталось въ головѣ ни малѣйшаго воспоминанія. Не правда-ли, какъ мало за цѣлый годъ для четырехъ толстыхъ журналовъ? Но этого мало, что мало, а главное дѣло въ томъ, что все это, вмѣстѣ взятое, и производитъ на большинство публики то впечатлѣніе неудовлетворенности, которое приводитъ читателей журналовъ къ сѣтованіямъ на литературное безвременье.

Читатель, повидимому, очень жаждетъ талантливой беллетристики, которая произвела бы на него сильное впечатлѣніе и вліяніе. Это можно судить по тому, что толпами бросается онъ къ тому журналу, въ которомъ заранѣе обѣщано ему произведеніе съ извѣстнымъ и любимымъ именемъ, не взирая даже на направленіе журнала и на то соображеніе, что въ журналѣ, можетъ быть, нечего будетъ читать, кромѣ общепланной приманки. Но каждый разъ читатель испытываетъ новое разочарованіе и приходитъ къ грустному сознанію, что все это—не то, чего бы ему хотѣлось. Главная же задача въ томъ, что читатель и самъ не можетъ рѣшить, что ему нужно отъ беллетристики и почему она не удовлетворяетъ его? Вѣдь, если прислушаться ко всѣмъ тѣмъ эстетическимъ требованіямъ, какія бродятъ въ обществѣ и, притомъ, въ передовыхъ и наиболѣе интеллигентныхъ его сферахъ, то остается только дивиться и пожимать плечами: чего же можетъ не доставать въ нашей современной беллетристикѣ такого, что бы не удовлетворяло этимъ требованіямъ и тѣмъ подавало поводъ къ жалобамъ на литературное безвременье? Во-первыхъ, читатель требуетъ, чтобы беллетристика изображала ему жизнь такъ, какъ она есть, во всемъ ея обыденномъ теченіи, со всѣми ея деталями. Во-вторыхъ—чтобы писатель обобщалъ жизнь, представлялъ такіе типы и сюжеты, въ которыхъ, какъ въ фокусѣ, изображались бы черты жизни наиболѣе общія, встрѣчаемыя въ цѣлыхъ массахъ конкретныхъ явленій ея.

Въ-третьихъ, наконецъ, читатель требуетъ, чтобы произведенія отзывались на различные злобы дня, были полезны въ тенденціозномъ отношеніи. И вотъ, найдите мнѣ хоть одно такое изъ современныхъ беллетристическихъ произведеній, которое не удовлетворяло бы если не всѣмъ этимъ требованіямъ, то хоть одному изъ нихъ?

Что касается до изображенія жизни въ ея обыденномъ теченіи и до деталей, то беллетристы такъ и распинаятся, чтобы изображать жизнь какъ можно полнѣе, всестороннѣе и подробнѣе, во всѣхъ ея мельчайшихъ оттѣнкахъ, со всѣмъ фламандской кухни пестрымъ соромъ. Вы найдете въ нашей литературѣ романы, въ которыхъ это эстетическое требованіе доведено до *plus ultra*, до идеальности—романы, основанные всѣ подъ рядъ на анализѣ мелкихъ деталей жизни, романы, въ которыхъ нѣтъ ни интриги, ни сюжета, ни какихъ-либо катастрофъ, ничего такого, что на языкѣ толпы называется романическимъ, а просто по просту рассказывается, какъ живутъ день за днемъ зауряднѣйшіе и на каждомъ шагѣ встрѣчаемые люди, какъ они пьютъ, ѣдятъ, ходятъ другъ къ другу въ гости, хозяйничаютъ и пр. Чтобы не далеко ходить, возьмите хоть „Черноземныя поля“ Евг. Маркова. Чего же хотите вы совершеннѣе въ этомъ отношеніи? Вотъ ужъ цѣлый годъ тянется этотъ романъ, дотянулся едва-едва до второй части—и хоть-бы намекъ на какую нибудь романическую интригу, драматическій сюжетъ и т. п., а такъ-таки прямо и выкладывается передъ вами деревенская жизнь во всей ея подноготной. Читаете вы одну главу; въ ней описано, какъ Надя лечила телку. Такъ таки цѣлая глава и посвящена этому поучительному, въ своемъ родѣ, рассказу. Читаете другую главу; въ ней находите не менѣе поучительный рассказъ о томъ, какъ Надя учила деревенскихъ ребятшекъ и какъ при этомъ пріѣхали два сосѣдніе помѣщика, и Надя сконфузилась и застыдилась. Въ третьей главѣ слѣдуетъ описаніе, какъ деревенскія бабы молотили рожь, а господа пришли къ нимъ на гумно, посмотрѣть на ихъ работу. Въ четвертой главѣ повѣствуется о томъ, какъ господа застрякали въ лѣсу и варили яичницу и пр., и пр. И замѣтьте при этомъ, что все это описано крайне вѣрно, до мельчайшихъ подробностей; люди передъ вами, какъ живые, и вся жизнь ихъ у васъ на ладони. Но и прочіе беллетристы, подвизавшіеся въ нынѣшнемъ году, хотя и не достигли въ изображеніи обыденной жизни во всѣхъ ея деталяхъ до такого совершенства, какъ Евг. Марковъ, все-таки, нельзя сказать, чтобы и пренебрегли этимъ эстетическимъ требованіемъ. Дѣйствующія лица романовъ ихъ, въ свою очередь, встаютъ передъ вами, какъ живыя; нѣкоторые изъ нихъ весьма типичны и напоминаютъ собою многихъ, встрѣчаемыхъ въ жизни людей. Такъ, напримѣръ, если вы обязываете меня видѣть въ гоголевскомъ Бетрищевѣ типъ, обобщающій многихъ военныхъ русскихъ генераловъ, то чѣмъ же уступаетъ ему столь же обобщающій типъ генерала Охлыстышева въ романѣ Смирновой? Если Акакія Акакіевича вы признаете типомъ всѣхъ крайне забытыхъ мелкихъ чиновниковъ, то почему же Лыткинъ въ романѣ Михайлова не можетъ въ та-

кой-же степени служить представителемъ всѣхъ спившихся съ кругу чиновниковъ-сутягъ, дошедшихъ до такой деморализаціи, что имъ ничего не стоитъ торговать честью своей дочери? Отчего Охлыстышевъ и Лыткинъ не могутъ служить кличками для весьма многихъ субъектовъ, встречающихся въ жизни, подобно тому, какъ служатъ кличками Фамусовы, Чичиковы, Ноздревы и пр.? А о А. Потѣхина и говорить нечего: у него, въ „Хворой“—ли, въ „Около денегъ“—ли, что ни дѣйствующее лицо—то самый обобщительный типъ. Онъ только такіа личности и выводитъ, какія вы можете встрѣтить въ жизни, изображаемой имъ, на каждомъ шагѣ.

Что касается до вѣрности дѣйствительности, то, конечно, не всѣ беллетристы безукоризненны относительно ея. Много кое въ чемъ можно усомниться въ романѣ Смирновой и еще болѣе въ романѣ Михайлова относительно изображенія Михайловымъ великосвѣтскаго общества, котораго онъ, повидимому, и въ глаза не видалъ. Но и въ романѣ Смирновой, и въ романѣ Михайлова вы найдете черты жизни несомнѣнно вѣрныя и, притомъ, въ свою очередь, не малое богатство деталей. Вы вспомните, какъ обстоятельно, до какихъ мелочныхъ подробностей описана у Смирновой повседневная жизнь семейства Охлыстышевыхъ: возьмите хоть бы всѣ эти споры генерала съ Отто о внутренности земного шара и другихъ новѣйшихъ теорійхъ, его причуды и капризы съ Марьей Николаевной. Развѣ все это—не типическія черты, знакомящія васъ съ жизнію Охлыстышевыхъ такъ коротко, въ такихъ подробностяхъ, какъ будто вы сами прожили нѣсколько лѣтъ въ этомъ семействѣ? Ну, а что касается Потѣхина, то и говорить нечего: я не думаю, чтобы онъ хоть въ чемъ-нибудь уступилъ Евг. Маркову относительно вѣрности, дѣйствительности и обилія деталей. Возьмите во вниманіе хоть-бы то, напримѣръ, обстоятельство, что въ октябрьскомъ номерѣ „Вѣстника Европы“, въ которомъ начался печататься новый романъ Потѣхина, напечатано, по крайней мѣрѣ, листовъ пять романа, и эти пять листовъ представляютъ описаніе одного деревенскаго праздника. Деревенскій праздникъ, описанный на пяти печатныхъ листахъ—какой же вы хотите большей еще обстоятельности? Вѣдь, ужъ тутъ, значитъ, разобрано все по косточкамъ, ничего не упущено изъ вида до послѣдней подноготной. Ну, и дѣйствительно, остается только дивиться обилію деталей. Начнетъ ли Потѣхинъ описывать деревенскую часовню, ничего не пропуститъ безъ замѣчанія: и какой въ часовнѣ полъ, и какія стѣны, и какой потолокъ, и какіе образа что изображаютъ, въ окладахъ или безъ окладовъ, и какія паникадила передъ каждымъ образомъ, и какъ молятся мужики, какъ молятся бабы, въ чемъ кто одѣтъ и пр., и пр. Описываетъ ли Потѣхинъ крестный ходъ, онъ посвятитъ васъ въ такіа подробности, которыя, навѣрное, вы пропустили бы безъ вниманія, еслибы сами присутствовали на этомъ крестномъ ходѣ: кто, напримѣръ, держалъ какую хоругвь или образъ, кто кому когда передалъ это держаніе, какъ бабы, набожно подлѣзая подъ образа, не опускали при этомъ случая дать тукманку въ шею какому-нибудь шаловливому мальчугану и пр., и пр. Однимъ

словомъ, остается диву даваться, до чего простирается тонкость наблюдательности Потѣхина.

Что касается до тенденціозности, то, конечно, трудно бываетъ иногда сказать, для чего пишутся новыя современныя произведенія и что они собою выражаютъ, хоть-бы тѣ-же произведенія Потѣхина. Такъ, напримѣръ, для чего онъ написалъ свою „Хворую“? Хотѣлъ въ ней представить, просто-на-просто, грустную картину грубости нравовъ необразованнаго мужичья, или же провести болѣе возвышенную и тонкую мысль, что бѣдность и нужда заглушаютъ въ людяхъ всѣ родственныя и человѣческія чувства? Христосъ его вѣдаетъ. Точно также, кто разгадаетъ тайну: какую идею провела Смирнова въ своемъ послѣднемъ романѣ? Наиболѣе простодушные читатели положили, что писательница написала свой романъ не съ какою иную цѣлю, какъ лишь для иллюстраціи десятой заповѣди: „не пожелай жены брата твоего“; но одинъ болѣе хитроумный критикъ рѣшилъ, что въ романѣ проведенъ и нѣкоторая ироническая и злоехидная мысль—та именно, что, какого-бы героя ни корчилъ изъ себя мужчина и какую силу характера ни обнаруживалъ онъ повидимому, но настойчивая женщина всегда окажется побѣдительницею, и онъ спасуетъ передъ нею въ рѣшительную минуту. Какъ-бы тамъ ни было, но даже и относительно этихъ произведеній, сомнительныхъ въ тенденціозномъ отношеніи, у насъ есть отличный оправдывающій критерій, выработанный предъидущемою критикою и заключающійся въ томъ, что въ истинно-художественномъ произведеніи образы писателя говорятъ сами за себя, высказываютъ гораздо болѣе, чѣмъ онъ предполагалъ, иногда даже свидѣтельствуютъ совершенно вопреки его мыслямъ. А разъ вы признали, что романъ Смирновой или Потѣхина вѣрно изображаетъ жизнь—чего-же вамъ еще? Ну, и пусть образы, представленные ими, говорятъ сами за себя, а вы ихъ анализируйте и дѣлайте изъ нихъ свои выводы и заключенія.

Но вѣдь не все-же въ теченіи нынѣшняго года являлись произведенія, относительно тенденціозности которыхъ остается поставить вопросительный знакъ. Развѣ не было произведеній несомнѣнно тенденціозныхъ и, притомъ, съ тенденціями немаловажными и вполне современными? Вотъ, напримѣръ, хоть-бы тѣ-же опять „Черноземныя поля“ Евг. Маркова. Чѣмъ-же это—не тенденціозный романъ? Вѣдь, если взять во вниманіе, что самымъ современнымъ вопросомъ, въ разрѣшеніе котораго болѣе углублялась наша интеллигенція въ нынѣшнемъ году, былъ вопросъ объ отношеніи города къ деревнѣ и объ опредѣленіи деревенской нравственности, то романъ Маркова точно будто нарочно написанъ въ видахъ этого вопроса, и я убѣжденъ, что публицисты „Недѣли“ должны читать этотъ романъ всласть и приходить въ умиленіе отъ каждой его страницы. Все содержаніе романа въ томъ, именно, и заключается, что противъ изнѣженныхъ, изломанныхъ, растлѣнныхъ городскихъ верхоглядовъ поставлены крѣпкіе душою и тѣломъ люди деревни и воспѣты во всѣхъ своихъ деревенскихъ добродѣтеляхъ. Какой-же вамъ нужно еще тенденціи, болѣе бьющей въ современную жилку? Здѣсь именно является то искусство, которое вамъ такъ жала-

тельно—искусство, ловящее сегодняшний момент и спешащее ответить на вопрос, только-что поднятый в литературе.

Ну, а романъ Михайлова—чѣмъ-же это не романъ тенденціознѣйшій изъ всего, что появилось въ нынѣшнемъ году въ литературѣ нашей? Раскрытъ намъ мрачную картину всей неурядицы, всего того возмущающаго душу циническаго безчеловѣчія, кроющагося подъ личиною гуманности, какія существуютъ въ отношеніяхъ жителей бельэтажей къ обитателямъ подваловъ, показать всю несостоятельность и эфемерность нашей грошовой филантропіи—Господи, да можно-ли придумать для романа тѣму наиболѣе животрепещущую? Развѣ это—не одинъ изъ такихъ вопросовъ времени, которымъ беллетристъ обязанъ посвящать все свои силы?

Послѣ всего этого только и осталось-бы, повидимому, радоваться, что наша литература находится на самой вѣрной дорогѣ и процвѣтаетъ, ликовать, признавая, что, хотя и немного даетъ она въ теченіи года пищи для ума и сердца въ количественномъ отношеніи, зато въ качественномъ вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ современнымъ требованіямъ отъ искусства. И, при всемъ томъ, публика остается почему-то недовольною беллетристикою, жалуется на литературное безвременье, чего-то ищетъ, чего-то ждетъ, словно будто совсѣмъ чего-то другого, и сама не знаетъ чего. Что-же сей сонъ значить?

И публика, по моему мнѣнію, совершенно права. Здѣсь происходитъ явленіе весьма естественное и довольно часто встрѣчаемое въ жизни. Публика находится въ положеніи молодой женщины, которая вышла замужъ не по любви, а по навязанному ей родителями расчету. Казалось-бы, чѣмъ не жизнь: домъ ея, какъ полная чаша, мужъ—вовсе не какой-нибудь беззубый, разваливающийся старикъ или негодяй, а молодой, красивый, добрый, образованный. Она не можетъ ни въ чемъ пожаловаться на него, питаетъ къ нему полное уваженіе, старается даже вообразить, что любить его. А, между тѣмъ, на сердцѣ у нея какая-то зловѣщая пустота, и что-то бродитъ въ ней тревожное, мучительное, назойливое, заставляющее ее задумываться, лить безпричинныя, повидимому, слезы и смотрѣть на все унылыми глазами. Это бушуютъ въ ней неудовлетворенныя инстинкты страсти, жажда любви естественной, настоящей, а не навязанной и надуманной доводами холоднаго разсудка. Въ такомъ же положеніи находится и публика наша. Ей навязали рядъ эстетическихъ доктринъ, искусственныхъ, узкихъ, схоластическихъ и предлагаютъ ей художественныя произведенія, изготовленныя вполнѣ по рецептамъ этихъ доктринъ. Съ одной стороны, она не смѣетъ ни слова возразить противъ этихъ доктринъ, такъ какъ современные критики наперерывъ внушаютъ ей, что въ доктринахъ этихъ вся современная мудрость; съ другой стороны, разъ она соглашается съ этими доктринами, она не имѣетъ основанія возставать противъ произведеній искусства, написанныхъ вполнѣ въ ихъ духѣ. Но, тѣмъ не менѣе, въ ней не перестаютъ бродить художественныя инстинкты, не имѣющіе ничего общаго съ навязанными ей доктринами, и требуютъ удовлетворенія такими произведеніями искусства, ко-

торыя вполнѣ согласовались-бы съ этими инстинктами. Она и недовольна, она и ропщетъ, она и ждетъ чего-то такого особеннаго, въ чемъ и сама себѣ не можетъ отдать отчета. Все это пока крайне не ясно. Но все это вполнѣ разъяснится для насъ, когда мы сдѣлаемъ нѣкоторое отступленіе, оставимъ на время въ сторонѣ публику съ ея недовольствомъ и современную нашу беллетристику со всѣми ея совершенствами и вникнемъ въ основанія художественныхъ творческихъ процессовъ, въ тѣ естественныя основанія, которыя лежатъ не въ какихъ-либо задуманныхъ эстетическихъ доктринахъ, а въ самой человѣческой природѣ, которыя, съ одной стороны, побуждаютъ великихъ и истинныхъ художниковъ къ созданію вполнѣ естественныхъ и сильныхъ произведеній искусства, съ другой-же стороны руководятъ инстинктами массъ, какъ при созданіи этими массами собирательно-народныхъ произведеній, такъ и при томъ сочувствіи или несочувствіи, которыя возбуждаются въ массахъ къ произведеніямъ личнаго творчества. Разъ мы это сдѣлаемъ, и если увидимъ, что естественныя основанія художественнаго творчества не имѣютъ ничего общаго ни съ господствующими нынѣ эстетическими доктринами, ни съ беллетристикою, вѣрно этимъ доктринамъ, для насъ и станетъ вполнѣ ясна причина инстинктивнаго недовольства публики современною беллетристикою, ясно станетъ и то, что требуется публикою, чего ей недостаетъ.

Подъ именемъ современныхъ эстетическихъ доктринъ мы имѣемъ дѣло, собственно говоря, съ весьма старыми доктринами, установленными еще Бѣлинскимъ и господствующими въ нашей литературѣ, по крайней мѣрѣ, лѣтъ уже 30, причѣмъ до сихъ поръ никому и въ голову не приходитъ подвергнуть эти доктрины пересмотру, свести ихъ на очную ставку съ тѣми успѣхами знаній, какіе въ эти 30 лѣтъ были приобрѣтены во всѣхъ наукахъ, соприкасающихся съ эстетикой (въ физиологіи, психологіи, логикѣ). Конечно, это опущеніе происходитъ отчасти отъ того, что доктрины эти имѣютъ претензію носить авторитетное для нашего времени клеймо реализма. Но вопросъ еще—такъ-ли онѣ реальны, какъ кажутся? Не надо при этомъ забывать, что онѣ возникли въ то переходное время, когда реализмъ только-что возникалъ и различныя положенія его перепутывались съ метафизическими теоріями, отъ которыхъ не могло сразу отстать мышленіе людей 40-хъ годовъ, въ томъ числѣ и Бѣлинскаго. И дѣйствительно, даже раньше постановленія этихъ доктринъ на очную ставку съ новыми успѣхами знаній, мы можемъ усмотрѣть, что въ нихъ что-то неладно, чего-то какъ-будто недостаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, замѣтили-ли вы, что все эти доктрины говорятъ исключительно только о цѣляхъ творчества и совершенно умалчиваютъ о причинахъ? Поэтъ, говорятъ они, *долженъ* воспроизводить обыденную жизнь такъ, какъ она есть, во всѣхъ ея деталяхъ; поэтъ *долженъ* отзываться на различныя злобы дня. Но изъ какихъ-же основныхъ побужденій человѣческой природы возникаютъ эти *должности*?—доктрины объ этомъ умалчиваютъ. Такимъ образомъ, художественное творчество оказывается лишеннымъ всякаго основанія, и весьма нетрудно праймъ, логическимъ вы-

вodomъ изъ вышеупомянутыхъ доктринъ дойти до полного отрицанія творчества. Въ самомъ дѣлѣ, вы только подумайте: поэтъ долженъ изображать жизнь, какъ она есть. Что за абсурдъ такой? Для чего это рядомъ съ дѣйствительностью, полною жизни и красокъ, строить, ни съ того, ни сего, другую дѣйствительность, мертвую, книжную, которая навсегда останется блѣдною, жалкою копіею живой дѣйствительности, потому что не тѣ-же ли самыя доктрины внушаютъ намъ, что искусство никогда не сравняется съ дѣйствительностью и обречено на вѣчныя муки Тантала въ своихъ стремленіяхъ изобразить дѣйствительность въ самомъ дѣлѣ такую, какава она есть? А если такъ, то тѣмъ болѣе оказывается пелѣнымъ трудъ, излишній даже и въ случаѣ успѣха. И вотъ, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать существованіе искусства, несостоятельнаго въ своей существенной цѣли, выступаетъ на сцену теорія искусства для жизни и начинаетъ предписывать искусству различныя утилитарныя цѣли: искусство, говоритъ она, должно воспроизводить обыкновенную жизнь во всѣхъ ея деталяхъ съ такими-то и такими-то научными, политическими, нравственными цѣлями и проч., и проч. Но если вы разберете всѣ эти предписанія, то окажется, что въ жизни и безъ искусства есть не мало функций, достигающихъ тѣхъ-же цѣлей, но только гораздо прямѣйшимъ путемъ и болѣе сильными средствами, чѣмъ можетъ достигнуть ихъ искусство. Спрашивается: для чего-же ко всѣмъ этимъ функциямъ присоединять еще одну лишнюю и самую слабѣйшую, въ видѣ изображенія жизни во всѣхъ ея деталяхъ? Такъ, напримѣръ, предположимъ, что мнѣ нужно сдѣлать какой-нибудь интересный психологическій анализъ—спрашивается: для чего стану я придумывать цѣлыя сюжеты, сцены, любовныя объясненія и, сверхъ того, еще награждать детали на детали, описывать ни къ селу, ни къ городу столы, стулья, костюмы, природу, однимъ словомъ, захватывать бездну всякаго сору на пути, ни мало не относящагося къ моему анализу, когда я могу сдѣлать дѣло гораздо проще, написавъ небольшую брошюру, въ которой прямохонько изложу свой психическій анализъ, подтвердивъ его необходимыми фактами, и дѣлу конецъ—однимъ словомъ, какъ это дѣлаютъ ученые, которымъ и въ голову не приходитъ блажная мысль, трактуя объ условіяхъ эпидеміи самоубійствъ, начать вдругъ изображать самоубійство неизвѣстной дѣвушки въ гостинницѣ во всѣхъ подробностяхъ, не упуская изъ виду при этомъ и того замѣчательнаго обстоятельства, что у полового, который прислуживалъ самоубійцѣ, была уродливая шишка подъ носомъ? Или представьте себѣ, что я увлекся какимъ-нибудь животрепещущимъ современнымъ вопросомъ дня. И, опять-таки—къ чему мнѣ всѣ эти детали, мебели, костюмы, природа, шишки подъ носами у половыхъ, когда я гораздо прямѣе могу достигнуть своей цѣли, пристроившись къ какой-нибудь газетѣ и начавши писать передовыя статьи—одну, другую, третью, пока, наконецъ, мнѣ не удастся увлечь публику своимъ вопросомъ и склонить ее къ разрѣшенію его? Возбуждали-ли во мнѣ сильное негодованіе какія-нибудь отрицательныя явленія жизни—ну, хоть, напримѣръ, наши современные герои въ видѣ концессионеровъ,

биржевыхъ игроковъ и тому подобныхъ аферистовъ, то къ чему стану изливать свое негодованіе въ художественныхъ произведеніяхъ, зная, что въ нихъ явятся однѣ блѣдныя, безличныя копіи дѣйствительныхъ негодяевъ, совершенно для нихъ безобидныя, когда я могу гораздо прямѣе лично напасть на людей, возбуждившихъ во мнѣ негодованіе хоть-бы въ газетныхъ фельетонахъ, поименно обозначая ихъ и показывая на нихъ и на ихъ поступки пальцами всей публикѣ? А не то я могу добиваться прокурорской каѳедры и пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ для привлеченія этихъ людей къ судебной отвѣтственности. Ну, вотъ и подумайте опять: какое художественное произведеніе своими блѣдными копіями дѣйствительности произведетъ такое сильное впечатлѣніе на публику, какое способна произвести сама дѣйствительность, въ видѣ хотя-бы струсбергскаго процесса, въ которомъ безобразія современныхъ героевъ являются передъ публикою воочію и чувствительно бьютъ не только по нервамъ ея, но и по карманамъ? Какая гениальная сатира, какой гоголевскій юморъ покараетъ ихъ въ такой степени, какъ способенъ покараетъ ихъ судъ не однимъ смѣхомъ и свистомъ надъ подобными имъ выдуманскими художественными типами, но позоромъ публичнаго разбирательства ихъ собственныхъ поступковъ и сообразнаго ихъ винѣ наказанія по законамъ?

Я могъ-бы привести массу и другихъ примѣровъ, показывающихъ полное банкротство искусства, если принимать его въ духѣ господствующихъ эстетическихъ доктринъ, но я полагаю, что и этихъ примѣровъ достаточно. Но искусство, и безъ того несостоятельное въ тѣхъ цѣляхъ, которыя ему навязываютъ современные доктрины, должно оказаться еще несостоятельнѣе, если мы обратимъ вниманіе, какъ обыкновенно добиваются этихъ цѣлей художники, наиболѣе вѣрные этимъ доктринамъ. Вѣдь, въ сущности, они самымъ наивно-грубымъ образомъ надуваютъ и себя, и публику, воображая, что произведенія ихъ, въ самомъ дѣлѣ, проникнуты современными идеями въ духѣ полезнаго искусства, ради этихъ идей только и написаны. Въ дѣйствительности же, проникновеніе это напоминаетъ то напускное благоговѣніе, которое принимали на себя древніе авгуры, когда совершали свои жертвы, и которое нисколько не мѣшало имъ, возводя очи горѣ, расчитывать въ своемъ умѣ, какое получатъ они вознагражденіе за свою службу. Такъ точно и большинство нашихъ беллетристовъ только дѣлаетъ видъ, что отзывается на различныя злобы дня. Отзываніе это является обыкновенно въ видѣ самаго общаго рутиннаго мѣста, столь общезвѣстнаго, что, казалось-бы, не стоило изъ-за этого трюизма и огорождать городить, не стоило и капусту садить. Дѣло заключается обыкновенно въ какой-нибудь сентенціи, въ родѣ слѣдующихъ: грошова подачка съ высоты барскаго величія не приноситъ ни малѣйшей пользы нуждающимся, а только оскорбляютъ и деморализируютъ ихъ; люди, живущіе въ деревнѣ и занимающіеся сельскимъ хозяйствомъ, лучше знаютъ деревню и это хозяйство, чѣмъ городскіе обыватели; нужда разстроиваетъ семейные узы и, дѣлая домохадцевъ взаимными врагами, доводитъ

ихъ до безчеловѣчныхъ преступленій и проч., и проч. Положивъ въ основаніе своего произведенія одинъ изъ подобныхъ трюизмовъ, беллетристъ воображаетъ, что заплатилъ дань вѣку, оправдалъ себя передъ теоріею полезнаго искусства. И затѣмъ, оставаясь, такимъ образомъ, съ очами, благоговѣнно возведенными горѣ, во всѣхъ своихъ помысленіяхъ онъ пребываетъ художникомъ вполне въ духѣ чистаго искусства и начинаетъ съ спокойною совѣстью нагромождать детали на детали для того, чтобы показать: смотрите, молъ, какой я тонкій наблюдатель, какъ я всесторонне обрисовываю предметы во всѣхъ мелочахъ, не забывая ни одной черточки, какія умѣю и рисовать художественныя картины природы, что вашъ Тургеневъ и проч., и проч. Для того, чтобы показать всю нелѣпость и эфемерность подобной комедіи, равно какъ и тѣхъ доктринъ, которыя ведутъ къ ней, мы и займемся опредѣленіемъ искусства не въ цѣляхъ его, а въ тѣхъ основныхъ побужденіяхъ челоѣческой природы, изъ которыхъ возникаетъ художественное творчество, и изъ этихъ основныхъ побужденій мы попытаемся вывести какъ условія, при которыхъ произведенія искусства производятъ на насъ сильнѣйшее впечатлѣніе и удовлетворяютъ нашимъ эстетическимъ потребностямъ, такъ и всѣ цѣли искусства, и все значеніе его въ жизни.

Доктрина, опредѣляющая цѣль искусства въ изображеніи жизни такъ, какъ она есть, опровергается прежде всего самыми элементарными философскими положеніями, давно, съ начала XVIII вѣка, принятыми равно всѣми философскими школами — метафизическими и реальными. Дѣло въ томъ, что какъ же такъ изображать дѣйствительность, какъ она есть, когда мы не знаемъ дѣйствительности въ томъ видѣ, какъ она есть на самомъ дѣлѣ, когда мы имѣемъ дѣло не съ нею самою непосредственно, а съ тѣми впечатлѣніями, какія она производитъ на насъ, и представленіями, возникающими въ нашемъ мозгу вслѣдствіе впечатлѣній? Такимъ образомъ, вышеупомянутую формулу слѣдовало-бы измѣнить такимъ образомъ: искусство должно воспроизводить дѣйствительность не въ томъ видѣ, какъ она есть сама по себѣ, а какъ она намъ представляется. Но, разъ мы сдѣлаемъ такое измѣненіе, мы сразу перемѣстимъ искусство съ прежней почвы тщетной погони за вѣрностью дѣйствительности на почву вѣрности нашимъ представленіямъ. Міръ же представленій нашихъ есть нѣчто крайне относительное, условное, зависящее какъ отъ тѣхъ точекъ зрѣнія, съ какихъ мы смотримъ на различные предметы, такъ и отъ силы или слабости впечатлѣній. Представленія наши вовсе не составляютъ чего-либо постояннаго, неизбѣжнаго, неизмѣннаго. Напротивъ того: они, словно призраки спиритизма, постоянно мѣняются свои очертанія, дѣлаясь то ярче, то туманнѣе, то увеличиваясь, то уменьшаясь въ своей интенсивности и экстенсивности. Измѣнчивость нашихъ представленій и зависимость ихъ отъ впечатлѣній я могу пояснить нѣсколькими наглядными примѣрами, причѣмъ я нарочно выбираю такіе примѣры, которые ближе подходятъ къ нашему дальнѣйшему разсмотрѣнію творческихъ процессовъ.

Такъ, наприимѣръ, возьмемъ на первый разъ такіа, повидимому, опредѣленные представленія, какъ представленія солнечнаго блеска и дневнаго свѣта. Я не говорю уже о томъ, что представленія эти нисколько не соответствуютъ дѣйствительности. Мы очень хорошо знаемъ на основаніи несомнѣнныхъ научныхъ данныхъ, что, само по себѣ, солнце не имѣетъ вовсе никакой ослѣпительной яркости, а только производить опредѣленное движеніе эфирѣ. Понятіе же о яркости солнца и дневномъ свѣтѣ опредѣляетъ только отношеніе этихъ волнъ эфирѣ къ нашимъ глазнымъ нервамъ, и, какъ таковое, оно крайне относительно. Будь наши нервы устроены нѣсколько иначе, будь они хоть немножко туповатѣе, и солнце представлялось-бы намъ не болѣе яркимъ, чѣмъ луна, и день гораздо темнѣе. Да и при настоящемъ устройствѣ нашего глазнаго аппарата, понятія о яркости солнца и дневномъ свѣтѣ остаются условными: чѣмъ выше солнце надъ горизонтомъ, тѣмъ кажется оно болѣе яркимъ. Для челоѣка, только что вышедшаго изъ темной комнаты, можетъ показаться ослѣпительно-яркимъ нашъ темный, ненастный декабрьскій день, а если было-бы возможно жителя тропиковъ въ одно мгновеніе переселить въ Архангельскъ, то великолѣпный солнечный іюльскій день показался-бы ему пасмурнымъ и мрачнымъ.

Точно также—можемъ ли мы сказать, чтобы красавица была прекрасна сама по себѣ, когда намъ извѣстно, что красота ея есть не что иное, какъ собственное наше впечатлѣніе, производимое на насъ женщиной, и, чѣмъ сильнѣе это впечатлѣніе, тѣмъ и женщина кажется намъ красивѣе? Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы она и на самомъ дѣлѣ была красивѣе: мы зачастую видимъ, что влюбленному челоѣку предметъ любви представляется гораздо красивѣе, чѣмъ другимъ смертнымъ эта же самая женщина; это, конечно, потому, что прочіе смертные смотрятъ на эту женщину далеко не съ тѣмъ страстнымъ восторгомъ, какъ влюбленный. Но и влюбленному впослѣдствіи предметъ его страсти будетъ казаться гораздо менѣе красивымъ, чѣмъ при первыхъ встрѣчахъ, когда страсть его потеряетъ свой острый характеръ и впечатлѣніе отъ непрестанныхъ повтореній сдѣлается привычнымъ. А если влюбленный разочаруется въ женщину, то она можетъ показаться ему и совсѣмъ некрасивою. Эту дисгармонію качествъ и признаковъ предметовъ, сообразно силѣ впечатлѣній и по мѣрѣ повторяемости послѣднихъ, мы замѣчаемъ въ жизни на каждомъ шагѣ. Этимъ, конечно, объясняется и тотъ общезвѣстный фактъ, почему жители, постоянно населяющіе какую-нибудь красивую мѣстность, остаются совершенно равнодушны къ красотамъ окружающей ихъ природы, совсѣмъ какъ-будто и не замѣчаютъ ихъ, въ то время какъ пріѣзжіе выражаютъ самые шумные восторги. Подъ влияніемъ сильныхъ впечатлѣній мы получаемъ склонность преувеличивать предметы не только въ интенсивномъ, но и въ экстенсивномъ отношеніи, т. е. представлять ихъ не только красивѣе, безобразнѣе, смѣшнѣе, но и больше по своему объему или величинѣ. Извѣстныя поговорки, что у страха глаза велики и что пугливый челоѣкъ способенъ муху увидѣть со слона, какъ нельзя

болѣе философски опредѣляютъ наклонность преувеличивать предметы подъ вліяніемъ сильнаго впечатлѣнія страха.

Но не одинъ страхъ дѣйствуетъ такимъ образомъ. Такъ, когда вы въ первый разъ идете по какой-нибудь дорогѣ, она кажется вамъ несравненно длиннѣе, чѣмъ когда вы проходите тѣмъ же путемъ въ сотый разъ. Ту-же разницу относительно длины дороги чувствуете вы, смотря потому, идете ли по ней со свѣжими силами или усталые, одни или въ обществѣ. Когда вы въ первый разъ осматриваете квартиру, въ которой поселитесь, комнаты кажутся вамъ гораздо обширнѣе, чѣмъ онѣ будутъ казаться вамъ, когда обживетесь въ ней. Люди, привыкшіе жить въ большихъ залахъ, не замѣчаютъ громадности ихъ въ такой степени, какъ тѣ, которые впервые входятъ въ эти залы, привыкши толкаться въ маленькихъ комнатахъ. Если человѣку въ первый разъ приходится пройти по карнизу пятиэтажнаго дома, то, навѣрное, высота карниза отъ мостовой представляется ему гораздо значительнѣе, чѣмъ привычному кровельщику, и, безъ сомнѣнія, смѣлость, которую обнаруживаютъ кровельщики при работахъ на высотахъ, во многомъ зависитъ отъ того обстоятельства, что высоты эти, вслѣдствіе привычки къ нимъ, вовсе не кажутся имъ такъ громадны, какъ прочимъ людямъ.

Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ мы можемъ вывести то заключеніе, что, чѣмъ сильнѣе впечатлѣнія, получаемыя нами отъ дѣйствительности, тѣмъ ярче, рѣзче, преувеличеннѣе, и въ интенсивномъ, и въ экстенсивномъ отношеніи, соотвѣтственные имъ представленія. Но впечатлѣнія не ограничиваются тѣмъ, что производятъ въ нашемъ мозгу представленія: они, кромѣ того, возбуждаютъ въ насъ различные рефлексы, начиная отъ низшихъ, беспорядочныхъ, чисто мускульныхъ рефлексовъ ребенка и кончая тѣми стройными, организованными рефлексами, какіе проявляются у людей взрослыхъ и развитыхъ въ выразительныхъ мимическихъ движеніяхъ—въ пѣніи, въ словѣ. Здѣсь и лежитъ основаніе всѣхъ художественныхъ творческихъ процессовъ. Поэтическое творчество, по самому существу своему, есть ничто иное, какъ рефлектированіе впечатлѣній. Въ этомъ и заключается, съ одной стороны, непосредственная непроизвольность его процессовъ, съ другой стороны—его естественная потребность, такая же роковая, какъ потребность ѣсть, пить, спать и проч. Что художественное творчество есть ничто иное, какъ рефлектированіе впечатлѣній, въ этомъ убѣждаетъ насъ то обстоятельство, что въ степеняхъ своей возбуждаемости оно управляется совершенно тѣми же законами, какіе существуютъ для всѣхъ рефлексовъ, начиная съ самыхъ низшихъ, управляющихся спиннымъ мозгомъ. Такъ, извѣстенъ законъ всѣхъ рефлексовъ, что, чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, тѣмъ сильнѣйшій возбуждаетъ оно рефлексъ. Тоже самое видимъ мы и въ творествѣ. Въ жизни очень часто замѣчаются случаи, что подъ вліяніемъ очень сильныхъ впечатлѣній, люди, никогда не бывшіе до того времени поэтами, получаютъ вдругъ способность говорить стихами и нараспѣвъ, рѣчь ихъ дѣлается исполненною страсти и, въ тоже время, цвѣтистою, изобразительною, образною. Вы,

конечно, читали среди газетныхъ извѣстій объ одной болгаркѣ, которая, подъ сильнымъ впечатлѣніемъ разоренія турками деревни и убійства всѣхъ ея близкихъ, не иначе могла передавать свои впечатлѣнія обо всѣхъ ужасахъ, какіе она пережила, какъ пѣсней. А если мы, простые смертные, съ нашими тупыми и желѣзными нервами способны дѣлаться поэтами подъ вліяніемъ сильныхъ впечатлѣній, то какъ же должны дѣйствовать эти сильныя впечатлѣнія на поэтовъ, людей крайне нервныхъ и впечатлительныхъ? Немудрено, что они получаютъ весьма сильныя впечатлѣнія отъ такихъ предметовъ, мимо которыхъ мы проходимъ равнодушно, иногда и не замѣчая ихъ. Но и поэты, при всей ихъ впечатлительности, подвержены вліянію тѣхъ же законовъ рефлексовъ. И у нихъ поэтическое творчество возбуждается тѣмъ съ большою силою и напряженіемъ, чѣмъ сильнѣе возбуждающія его впечатлѣнія. И у нихъ, подобно тому, какъ и у насъ, чѣмъ чаще повторяется однородное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе и болѣе слабѣетъ вліяніе его, тѣмъ бѣднѣе становится рефлексъ, пока, наконецъ, не оказывается недостаточнымъ для отраженія впечатлѣнія какого-нибудь простого символа, стоящаго въ случайной ассоціационной связи съ даннымъ впечатлѣніемъ. Такими символами являются между прочимъ слова языка, поэтический смыслъ которыхъ давно забылся и стерся и которые имѣютъ для насъ одно символическое значеніе наименованій понятій. Здѣсь—конецъ поэзіи и начало прозы въ видѣ совокупленія символовъ—словъ въ отвлеченныя формулы, сообразно связи и отношеніямъ понятій между собою. И дѣйствительно, мы видимъ, что самые могучіе таланты, если не получаютъ новыхъ и сильныхъ впечатлѣній, а продолжаютъ вращаться въ кругу старыхъ и привычныхъ, исписываются, дѣлаются вялыми, скучными, повторяющимися и, выйдя съ тѣмъ, у нихъ все болѣе и болѣе развивается наклонность къ отвлеченнымъ разсужденіямъ о тѣхъ самыхъ предметахъ, которые прежде они изображали въ самыхъ яркихъ, поэтическихъ краскахъ.

И такъ, поэтическое творчество, какъ рефлектированіе впечатлѣній, возбуждается тѣмъ напряженіемъ, чѣмъ сильнѣе послѣднія. Но мы видѣли выше, что, чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, тѣмъ ярче и преувеличеннѣе получается представленіе не только въ интенсивномъ, но и въ экстенсивномъ отношеніи. Сопоставивъ эти два положенія, мы получимъ формулу для творчества, совершенно противоположную формулѣ господствующихъ эстетическихъ доктринъ. Вѣсто недостижимаго стремленія изображать дѣйствительность такъ, какъ она есть, мы видимъ, что творчество, въ наибольшемъ напряженіи своихъ силъ, отражаетъ образы дѣйствительности въ преувеличенномъ видѣ сравнительно съ представленіями простыхъ смертныхъ.

Для большаго разъясненія подобной формулы творчества, я считаю не лишнимъ разрѣшить и распутать тѣ недоумѣнія, которыя, навѣрно, копошатся уже въ головѣ вашей, привыкшей къ принципамъ господствующей эстетики и соблазняющейся нѣкоторыми доводами этой эстетики, основанными на такой-же



ложной очевидности, какова очевидность обращенія солнца вокругъ земли. — Вотъ, кстати о солнцѣ. По вышеизложенной формулѣ творчества, выходитъ, что художнику, какъ человѣку впечатлительнѣйшему, чѣмъ обыкновенные люди, солнце должно казаться гораздо болѣе блестящимъ, чѣмъ намъ. Надо поэтому ожидать, что художники должны на своихъ ландшафтахъ рисовать солнце гораздо интенсивнѣе въ своемъ блескѣ, чѣмъ оно кажется на небѣ простымъ смертнымъ. Но развѣ мы видимъ это въ живописи? Напротивъ того, мы видимъ, что ни одинъ художникъ въ мірѣ не нарисовалъ намъ солнца въ его истинномъ блескѣ, и мы можемъ смотрѣть на солнце ландшафтовъ сколько угодно, простыми глазами, не боясь ослѣпнуть. Да что говорить о солнцѣ? Пусть хоть одинъ художникъ во всемъ мірѣ, какъ-бы онъ ни былъ великъ, нарисуетъ намъ воздухъ, такой-же безконечно-прозрачный, какой онъ бываетъ въ природѣ, деревья, столь-же полныя ропота и движенія, тѣло человѣка въ такой-же степени нѣжно-прозрачное и трепещущее жизнью и пр., и пр. Развѣ не стремится ко всему этому искусство вотъ уже нѣсколько тысячелѣтій, и стремится совершенно тщетно, представляя и до сихъ поръ одну блѣдную, мертвую копию живой дѣйствительности?

Да, и стремилось, и стремится; но это стремление всегда было и будетъ одною пустою прихотью искусства и совсѣмъ не въ этомъ его смыслъ и основное значеніе. Ставя для искусства исключительно подобную цѣль, вы не можете представить, какъ вы унижаете его и сводите съ его истинной дороги. Начнемъ, прежде всего, съ солнца, съ его ослѣпительнымъ блескомъ. Солнце, правда, ослѣпляетъ насъ. Но что ослѣпляетъ оно въ насъ? Нашъ умъ, наши психическія чувства? Нѣтъ, одни глаза. Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ силою не впечатлѣнія, а ощущенія. Правда, что ощущенія, въ свою очередь, возбуждаютъ въ насъ рефлексы тѣмъ сильнѣйшіе, чѣмъ они сами сильнѣе; но это — рефлексы низшіе, элементарные, лежащіе въ спинномъ мозгѣ и общіе у насъ со всѣми животными. Такъ, единственные рефлексы, какіе способно возбудить въ насъ солнце своимъ блескомъ, это — непроизвольное стремленіе мигать глазами, закрыться рукою, отвернуть голову. А вы хотите навязать подобнаго рода элементарные рефлексы искусству, приглашая его воспроизвести солнце въ его настоящемъ блескѣ? Зачѣмъ-же это? Чтобы въ васъ, въ свою очередь, возбудить тѣ-же элементарные рефлексы при взглядѣ на картину, заставить замигать глазами и отвернуться отъ нея? Стоить игра свѣтъ — нечего сказать! Да если вамъ этого такъ хочется, то ступайте не къ художнику, а къ физику; онъ доставитъ вамъ подобное наслажденіе своимъ друмондовымъ свѣтомъ. Художественное-же творчество заключается въ психическихъ рефлексахъ, лежащихъ въ головномъ мозгѣ; оно рефлектируетъ не элементарныя ощущенія, а тѣ сложныя душевныя настроенія, которыя возбуждаются цѣлымъ ансамблемъ впечатлѣній. Дѣло живописи заключается совсѣмъ не въ томъ, чтобы нарисовать воздухъ, столь-же глубоко-прозрачный, какой онъ въ природѣ, деревья, столь-же трепещущія и шепчущіяся или тѣла съ такими-

же переливающимися кровью жилками, а отразить то настроеніе художника, какое произвели на него эти предметы. Талантливый художникъ нарисуетъ пейзажъ карандашемъ, т. е. сдѣлаетъ всѣ предметы безразлично черными и приведетъ васъ въ большее восхищеніе, чѣмъ иной маляръ, написавшій тотъ-же пейзажъ красками, т. е. сдѣлавшій его болѣе подходящимъ къ дѣйствительности. А если мы посмотримъ на искусство съ точки зрѣнія отраженія душевныхъ настроеній, возбуждаемыхъ цѣлымъ ансамблемъ представлений, то мы тотчасъ и поймемъ, въ чемъ заключаются тѣ преувеличенія, къ которымъ ведетъ творчество въ своемъ сильномъ развитіи. Развѣ не случилось вамъ смотрѣть на пейзажи, изображающіе знакомыя вамъ мѣстности, и не приходилось приходить при этомъ въ изумленіе: неужели-молъ это — тѣ самые виды, которые вамъ такъ знакомы? Казалось-бы, на картинѣ далеко все не такъ живо, какъ въ дѣйствительности: и воздухъ не такъ прозраченъ, и деревья не такъ зелены, и вода — не вода, а просто нѣсколько черточекъ карандашемъ, а, между тѣмъ, въ цѣломъ мѣстность кажется вамъ на картинѣ гораздо красивѣе, чѣмъ въ природѣ. Вы тоже любовались не разъ ею, но не замѣчали такихъ красотъ ея, какія подмѣтилъ художникъ. Вы будете опять любоваться ею, всматриваться — и, все-таки, не найдете въ ней этихъ красотъ. Старинные эстетики объясняли этотъ фокусъ тѣмъ, что художникъ вложилъ въ картину свою идею, которая будто-бы и освѣтила пейзажъ своимъ особеннымъ свѣтомъ, или что своимъ художественнымъ чутьемъ онъ проникъ въ тайну красотъ природы и прозрѣлъ то, что недоступно очамъ простыхъ смертныхъ. Ничуть не бывало: никакихъ тутъ нѣтъ освѣщающихъ идей, тайнъ и прозрѣній; а весь фокусъ заключается въ томъ, что художникъ, какъ человѣкъ съ болѣе впечатлительною натурою, чѣмъ вы, воспринялъ отъ прекрасной мѣстности болѣе сильное впечатлѣніе, и, подъ влияніемъ его, мѣстность показала ему настолько-же красивѣе, насколько впечатлѣніе его сильнѣе вашего. Но этого еще мало: если, при этомъ, художникъ не зараженъ торжествующими творческими порывами принципами рабской вѣрности дѣйствительности, если онъ всецѣло отдается своему творческому процессу въ его естественномъ теченіи, то надо ожидать, что творчество, стремящееся само по себѣ не къ вѣрному изображенію дѣйствительности, а къ наиболѣе сильнѣйшему отраженію психическаго настроенія художника, должно еще болѣе преувеличить тѣ элементы красивой мѣстности, которые наиболѣе поражаютъ художника, или, по крайней мѣрѣ, выставить ихъ на первый планъ, подчеркнуть такъ, какъ не заботится природа подчеркивать свои красоты, и подчеркнуть для того именно, чтобы какъ можно сильнѣе выразить настроеніе художника. Дѣйствительность или, собственно говоря, не сама дѣйствительность, а ваши представленія о ней, при такихъ условіяхъ окажутся еще болѣе преувеличенными, измѣненными. Въ этомъ и заключается тайна художественнаго творчества и весь секретъ, почему въ наиболѣе талантливыхъ пейзажахъ вы совсѣмъ не узнаете знакомой вамъ мѣстности и приходите въ восторгъ отъ такихъ красотъ природы, мало

которыхъ не одинъ десятокъ разъ проходили совершенно равнодушно.

Тоже можемъ мы сказать и о портретной живописи. Мы часто видимъ, что художники дѣлаютъ на портретахъ ослѣпительными красавицами женщинъ, въ дѣйствительности, хотя и не дурныхъ, но далеко не столь красивыхъ; и не всегда происходитъ это вслѣдствіе шарлатанства, желанія польстить, угодить и проч. Очень часто это является невольнo, вслѣдствіе того, что художнику очень нравится женщина, и онъ къ ней несомнѣнно равнодушенъ. Точно также говорятъ обыкновенно, что истинный художникъ, когда пишетъ портретъ, не ограничивается вѣрною копіею съ оригинала, а стремится выразить въ портретѣ психическій характеръ человѣка, уловить существенныя черты его типа. Что-же это значитъ такое? Да ничто иное, какъ то, что художникъ, подбѣта въ лицѣ оригинала одну или двѣ наиболѣе рѣзкія и характеристическія черты характера его, преувеличить ихъ нѣсколько подъ силою впечатлѣній и тѣмъ выставить ихъ на первый планъ и подчеркнуть такъ, какъ онѣ не бываютъ обыкновенно подчеркнуты въ дѣйствительномъ лицѣ, которое, къ тому-же, безпрестанно мѣняетъ свое выраженіе подъ наплывомъ различныхъ впечатлѣній.

Если-же живопись, искусство наиболѣе, такъ сказать, прикрѣпленное къ дѣйствительности, не обходится безъ преувеличеній, то что-же сказать о тоническихкихъ искусствахъ, каковы музыка и поэзія?

Что музыка не ограничивается однимъ вѣрнымъ воспроизведеніемъ различныхъ психическихъ настроеній, а передаетъ ихъ въ усиленномъ видѣ—въ этомъ можетъ убѣдить насъ ежедневный опытъ дѣйствія на насъ музыки. Если вамъ грустно и у васъ является потребность въ соотвѣтственной музыкѣ, то послѣдняя непременно усилитъ вашу грусть, доведетъ ее до высшаго напряженія. Прежде вы ограничивались только сосредоточенною тоскою, а подъ влияніемъ музыки начинаете вдругъ плакать; слезы невольнo льются сами собою и рыданія захватываютъ горло. Если вамъ весело, но весело такъ-себѣ, только немножко, то веселая музыка можетъ возвысить ваше веселье до шумнаго восторга, до пляса. Каждый знаетъ, конечно, какая неизмѣримая разниа между пѣснею прочитанною и спѣтою, и въ какой сильной степени музыка усиливаетъ впечатлѣніе словъ романа.

Что-же касается поэзіи, этого всесильнаго искусства, нестѣсненнаго никакою матеріализаціей образовъ своихъ и дѣйствующаго непосредственно на воображеніе наше, то о ней и говорить нечего: здѣсь принципъ преувеличенія представленій дѣйствительности подъ влияніемъ сильныхъ впечатлѣній играетъ главную и преобладающую роль. Если вы припомните всѣ такіа произведенія искусства, которыя произвели на васъ самое сильное впечатлѣніе и наиболѣе врѣзались въ память вашу—произведенія, отиѣченныя самыми сильными проявленіями поэтическаго творчества, то, внимательнѣе всмотрѣвшись въ образы ихъ, вы увидите, что они изображаютъ дѣйствительность вовсе не въ томъ видѣ, какъ она представляется вамъ, а непременно въ преувеличенномъ, усиленномъ, сообразно характеру творчества. Предметами такого творчества

постоянно являлось или что-либо поразившее поэта своею необыкновенностью, монструозностью, повизною—однимъ словомъ, что-либо выдающееся изъ нормы обыденной жизни, или-же, если поэтъ изображалъ и обыкновенное, повидимому, то и это обыкновенное онъ возводилъ на степень необыкновеннаго, преувеличивая и усиливая тѣ черты, которыя наиболѣе поразили его.

Я не намѣренъ, для доказательства этого, останавливаться долго на народной поэзіи, въ которой, вслѣдствіе ея полной естественности и инстинктивной непосредственности, вышеозначенный принципъ творчества господствуетъ всецѣло. Такъ мы видимъ, что народное творчество преимущественно останавливается на явленіяхъ жизни, наиболѣе поразившихъ народъ и оставшихся у него въ памяти, воспѣваетъ личности, наиболѣе выдавшіяся на сѣромъ фонѣ заурядной жизни, въ какомъ-либо отношеніи, хорошемъ или дурномъ. Въ лирическихъ пѣсняхъ своихъ народъ останавливается на наиболѣе драматическихъ и патетическихъ положеніяхъ частной и семейной жизни. Въ сказкахъ, легендахъ, новеллахъ дѣйствуютъ личности, поражающія тѣми или другими необыкновенными качествами, возвышающими ихъ надъ толпою, въ какомъ-бы видѣ ни появлялись эти качества—въ видѣ-ли удалства, хитрости, разврата, жестокости и проч. Преувеличенія представленій дѣйствительности въ народномъ эпосѣ вошли въ пословицу своею варварски-грубою и наивно-младенческою необузданностью. Народу мало было своего богатыря изобразить ломающимъ подковы и скручивающимъ въ вензеля желѣзные прутья: онъ заставлялъ его вывертывать дубы и раздирать львиныя челюсти; чтобы показать, что богатыря вино не опьяняетъ, онъ заставлялъ его выпивать чару въ полтора ведра и проч.

Я не намѣренъ останавливаться я на всѣхъ прежнихъ школахъ поэзіи, древнихъ, средневѣковыхъ, ложно-классическихъ, ново-романтическихъ и проч., въ которыхъ дѣйствительность зачастую выставилась не только въ томъ естественномъ преувеличеніи, которое обусловливается силою художественнаго впечатлѣнія, но въ искусственномъ, предвзятомъ и фантастически-необузданномъ: если выводилась красавица, такъ ужъ такая неописанная, что искры сыпались изъ глазъ, смотря на нее, а если изображался злодѣй, то ужъ такой злодѣй, что волосы могли встать дыбомъ при одной мысли о возможности встрѣчи съ подобнымъ бариномъ въ жизни...

Нѣтъ, мы лучше обратимъ вниманіе на новѣйшую, реальную поэзію и увидимъ, что и въ ней пресловутая вѣрность обыденной дѣйствительности принадлежитъ обыкновенно произведеніямъ второстепеннымъ, не отиѣченнымъ сильнымъ творчествомъ, не производящимъ ни малѣйшаго впечатлѣнія и не остающимся долго въ памяти. И, напротивъ того, всѣ произведенія реальной школы, со временъ Пушкина и Гоголя и до настоящаго времени, которыя считаются наиболѣе талантливыми и произвели самое сильное впечатлѣніе, отличаются только относительною вѣрностью дѣйствительности. На самомъ дѣлѣ, мы видимъ въ нихъ постоянное изиѣненіе дѣйствительности въ смыслѣ усиленія и преувеличенія тѣхъ чертъ ея, какія

поразили писателей. Такъ, напримѣръ, вамъ извѣстно, что наша реальная школа успѣла создать цѣлый рядъ типовъ, которые обратились въ нарицательныя имена и до сихъ поръ еще подвергаются всевозможнымъ анализамъ критики: таковы Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Обломовъ, Фамусовъ, Молчалинъ, Чичиковъ, Ноздревъ и проч. Но что такое выражаютъ собою эти типы и каково отношеніе ихъ къ дѣйствительнымъ людямъ? Съ точки зрѣнія господствующей эстетики, типъ есть обобщеніе частныхъ и конкретныхъ характеровъ, встрѣчающихся въ жизни. Дѣйствительно, въ литературѣ нашей много есть типовъ въ этомъ смыслѣ слова, представляющихъ самыя широкія обобщенія. Но замѣтите, что далеко не подобнаго рода широкія обобщенія цѣнятся въ литературѣ, не они доставляютъ славу авторамъ, не они подвергаются анализамъ критики. Напротивъ того: чѣмъ общѣ подобнаго рода типы, тѣмъ они блѣднѣе, неопредѣленнѣе и менѣе обращаютъ на себя вниманія. И это очень понятно: дѣло въ томъ, что такіе типы суть продукты нашего мышленія, и поэтическое творчество въ истинномъ смыслѣ тутъ не причесть. Наши далеко непозитическія головы наполнены ими. Намъ ничего не стоитъ тотчасъ-же вообразить себѣ типы помѣщика, чиновника, будочника, мужика, напоминающіе намъ большинство людей этого рода; можемъ представить себѣ еще болѣе общіе типы нѣнца, француза, англичанина, наконецъ, и такой громаднѣйшій по своей общности типъ, какъ типъ человѣка, въ отличіе его отъ обезьяны. Мы видимъ, что писатели, бѣдные даромъ творчества, на подобныхъ типахъ только и выѣзжаютъ. Возьмите, напримѣръ, нашихъ драматурговъ средней руки, Потѣхинныхъ, Александрова, Дьяченко и проч. Если вывести вѣдь Дьяченко помѣщика, то помѣщикъ этотъ, дѣйствительно, будетъ напоминать собою большинство помѣщиковъ, встрѣчаемыхъ вами; адвоката—такъ онъ будетъ похожъ на всѣхъ адвокатовъ; купца—и опять-таки передъ вами будетъ, какъ есть, настоящий русскій купецъ, словно прямо явившійся на сцену изъ сосѣдней мелочной лавочки. Вѣдь, если строго держаться принциповъ господствующей эстетики, то намъ слѣдовало бы этихъ писателей поставить во главѣ русской литературы, куда выше Гоголя. Потому что попробуйте въ жизни такъ часто, на каждомъ шагу, встрѣтить любого изъ гоголевскихъ героевъ, Хлестакова или Ноздрева, какъ вы можете встрѣтить героевъ какихъ-нибудь „Ошибокъ молодости“, „Къ мировому“ и „Свѣтскихъ ширмъ“. Но, однако-же, мы почему-то очень низко цѣнимъ подобныя широкія обобщенія. Они не дѣлаются кличками, не западаютъ въ нашу голову, и мы тотчасъ-же и забываемъ ихъ, какъ вышли изъ театра. Что-же представляютъ собою тѣ вышеозначенные типы, которые сдѣлались нарицательными именами? А вотъ что:

Случалось вамъ въ жизни встрѣчать людей, поражающихъ васъ какими-нибудь рѣзкими особенностями? Это былъ тотъ-же чиновникъ, купецъ, помѣщикъ, мужикъ, но непохожій на массу людей одного съ нимъ рода, а, напротивъ того, выдѣляющийся изъ нихъ тѣмъ, что одна какая-нибудь черта типа оказывалась развитою въ немъ до монструозности, до

выдѣленія изъ предѣловъ заурядности, до степени бросающейся въ глаза поразительности. При встрѣчахъ съ подобными монстрами, вы невольно восклицали: *вотъ такъ типъ*, и жалѣли, зачѣмъ вы—не Гоголь и не можете изобразить подобное рѣдкое явленіе. Такъ напримѣръ вамъ, конечно, не разъ приходило въ голову, что знаменитая игуменья, мать Митрофанія, могла бы служить богатымъ типомъ для поэтического произведенія. Почему же такъ? Конечно, не потому, чтобы она по чертамъ своего характера походила на массу заурядныхъ русскихъ игуменій и представляла собою ихъ обобщеніе, а, напротивъ того—потому что она вышла изъ ихъ ряда, потому, что одно изъ ихъ качествъ, именно, любостяжаніе, подъ лицемѣрнымъ прикрытіемъ благочестія, оказалось развитымъ въ ней до такой монструозности и виртуозности, какихъ мы не замѣчаемъ въ массѣ заурядныхъ личностей этого рода.

Тѣ перечисленные нами типы, которые обратились въ нарицательныя имена, тѣмъ именно и отличаются, что представляютъ собою вовсе не обобщенія зауряднаго, а, напротивъ того, выдѣленія и преувеличенія наиболѣе характеристическихъ особенностей жизни. Писатели творили ихъ отнюдь не нутемъ какихъ-либо схоластическихъ обобщеній, а брали ихъ цѣликомъ изъ жизни, поражаясь ими, какъ замѣчательными ея явленіями, или-же создавали ихъ, пораженные одною, двумя чертами жизни и раздувая эти черты въ цѣлые характеры, типы. Мы имѣемъ многочисленныя факты подобнаго рода созданія типовъ. Такъ, напримѣръ, не безъ основанія указываютъ на живыя лица, называя ихъ по именамъ и фамиліямъ, съ которыми былъ знакомъ въ Москвѣ Грибоедовъ и на которыя потомъ, какъ двѣ капли воды, оказались похожи лучшіе типы его комедій: Фамусовъ, Молчалинъ, Софья, Скалозубъ. Точно также указываютъ на личности, съ которой Тургеневъ списалъ своего Рудина, указываютъ на личности, внушившія Гончарову Обломова и Марка Волохова, а Тургеневъ, наконецъ, самъ признается, что онъ изобразилъ въ Базаровѣ какого-то своего знакомаго доктора. Къ этому могу я прибавить свои собственныя наблюденія. Мнѣ случалось видѣть тѣ двѣ личности, которыя были знакомы Гончарову и которыя, можетъ быть, сознательно, а можетъ быть и бессознательно для самого автора, послужили оригиналами для его типовъ. Дѣйствительно, они нѣсколько напоминаютъ собою одинъ Обломовъ, другой—Марка Волохова. Но только напоминаютъ. На самомъ-же дѣлѣ, въ романѣ Гончарова качества этихъ личностей оказались возведенными въ кубъ, если не въ высшую степень. Еслибы Гончаровъ ограничился одною рабскою вѣрностью дѣйствительности, то конечно ни Обломовъ, ни Маркъ Волоховъ далеко не производилъ-бы въ романѣ его того впечатлѣнія, какое они производятъ. Они не казались бы намъ типами, не врѣзывались бы въ память, подобно тому, какъ тѣ личности, которыя послужили въ этомъ случаѣ оригиналами, вовсе не поразили меня своими обломовскими и марковолоховскими качествами, показались обыкновенными людьми съ кое-какими достоинствами и недостатками, свойственными каждому смертному. И напротивъ того, еслибы вамъ пришлось встрѣтиться

съ Обломовымъ и Маркомъ Волоховымъ, не съ такими, какіе встрѣчаются въ жизни, а вполне подобными изображеннымъ въ романѣ Гончарова, они произвели бы на васъ впечатлѣніе необычайныхъ монстровъ, совершенно вышедшихъ изъ уровня обыденности.

Мнѣ скажутъ на это, что какое-моль дѣло намъ, съ кого списываютъ авторы свои типы и какъ они ихъ производятъ? Намъ достаточно, что они напоминаютъ намъ многихъ, и, какъ-бы тамъ ни было, а все-таки Обломовъ есть обобщеніе всѣхъ Обломовыхъ, встрѣчаемыхъ въ жизни. Отъ того онъ и сдѣлался кличкой. На это я отвѣчу, что людей безносыхъ на Руси, въ свою очередь, вы найдете не мало, можетъ быть, нисколько не менѣе Обломовыхъ. Представьте же себѣ, что я нарисовалъ-бы портретъ съ одного безносаго знакомаго. Развѣ не сталъ бы онъ напоминать собою всѣхъ безносыхъ людей на Руси, самъ по себѣ, просто вслѣдствіе того, что всѣ безносые имѣютъ общее сходство въ отсутствіи носа? Но я-то былъ бы тутъ причѣмъ, и можно ли было бы сказать, что я сдѣлалъ какое-то обобщеніе, т. е. въ моемъ мозгу совершился особенный процессъ, вслѣдствіе котораго и произошло сходство портрета со всѣми безносыми? А между тѣмъ, рѣчь-то у насъ о томъ вѣдь и идетъ, что такое поэтическое творчество: слѣдуетъ ли понимать его согласно господствующей эстетикѣ въ процессѣ обобщеній, т. е. понимать его такъ, что поэтъ, какъ увидитъ рядъ предметовъ, имѣющихъ много общаго, такъ сейчасъ-же приходитъ въ поэтическое восторгъ и начинаетъ обобщать ихъ, или совершенно наоборотъ—чѣмъ болѣе поэтъ встрѣчаетъ предметовъ, похожихъ другъ на друга, чѣмъ зауряднѣе и привычнѣе они для него вслѣдствіе этого, тѣмъ менѣе возбуждается въ немъ поэтическое творчество, требующее, сообразно законамъ рефлексовъ, для наибольшаго возбужденія наиболѣе сильныхъ впечатлѣній? И если всѣ данныя свидѣлствуютъ въ пользу послѣдняго положенія, то принципъ господствующей эстетики, полагающій творчество въ обобщеніи зауряднаго, совершенно рушится. Въ одномъ случаѣ, творчество можетъ возбудиться до крайней напряженности и создать гениальнѣйшее произведеніе, увлечшись предметомъ, за вѣдомо существующимъ въ одномъ экземплярѣ и не имѣющимъ во всемъ мірѣ подобія себѣ, какова, напримеръ, личность Петра I; въ другомъ—поэтъ можетъ вдохновиться явленіемъ, существующимъ въ большомъ числѣ экземпляровъ; но, во всякомъ случаѣ, вдохновение это будетъ происходить не отъ того, что предметъ встрѣчается часто, а отъ того, что онъ поразилъ чѣмъ-нибудь поэта. Такъ точно и въ данномъ случаѣ: Гончаровъ увлекся типомъ Обломова не потому, что Обломовыхъ много, а потому что его поразили нѣкоторыя черты характера знакомаго господина. Когда Гончаровъ писалъ романъ, онъ только и имѣлъ въ виду представить какъ можно рельефнѣе и рѣзче эти черты. А затѣмъ уже найти сходство Обломова съ массою людей, подобныхъ ему, которыхъ писатель никогда не видалъ, не имѣлъ понятія о ихъ существованіи, это—уже дѣло читателей и критиковъ: писатель здѣсь въ сторонѣ.

Я-бы могъ привести бездну примѣровъ, показывающихъ, что писатели, подъ влияніемъ сильныхъ

впечатлѣній жизни, изображаютъ дѣйствительность далеко не всецѣло и всесторонне, со всѣми ея деталями, а постоянно берутъ одну ея сторону, смотря по характеру своего творчества, и усиливаютъ, преувеличиваютъ ее. Но объемъ статьи и желаніе представить свою эстетическую теорію со всѣхъ ея сторонъ принуждаютъ меня ограничиться однимъ, двумя примѣрами. Такъ, изъ современныхъ намъ писателей возьмемъ Щедрина, произведенія котораго производятъ очень сильное впечатлѣніе на публику и пользуются поэтому большою любовью. Между тѣмъ, вамъ вѣроятно приходилось нерѣдко и слышать, и читать такого рода отзывы о Щедринѣ, что онъ преувеличиваетъ смѣшныя стороны жизни, раздуваетъ ихъ до карикатурности и шаржа, что въ дѣйствительности многие изъ тѣхъ предметовъ, которые онъ осмѣиваетъ, вовсе не такъ смѣшны, какъ они являются въ его сатирахъ. Такъ, напримеръ, возьмите хоть статистическій съѣздъ, бывшій года два назадъ и осмѣянный имъ въ „Дневникѣ провинціала“. Неужели-же на этомъ съѣздѣ все были такіе уроды, какіе изображены Щедринымъ, и неужели они только и дѣлали, что все шлѣпались по трактирамъ и заказывали разнообразныя меню обѣдовъ? Я помню, что какой-то рецензентъ ввалился даже въ амбіцію по поводу сатиры Щедрина и сослался на книгу Гаписскаго, какъ на доказательство, что статистики вовсе не такіе отпѣтые люди, какими изобразилъ ихъ Щедринъ. Ну, и что-жь такое? Я убѣжденъ, что, если-бы мы съ тобой, читатель, засѣдали на томъ-же самомъ съѣздѣ, мы не нашли-бы и десятой доли ничего такого смѣшнаго, что представилъ Щедринъ. Напротивъ того, мы пришли-бы въ нѣкоторое восторженное состояніе, увидя себя въ кругу такихъ милыхъ, такихъ интеллигентныхъ людей, столповъ науки и всевозможныхъ благихъ начинаній. Мы апплодировали-бы ихъ рѣчамъ, предлагали-бы тосты въ ихъ честь на обѣдахъ и упивались-бы зрѣлищемъ европейскаго прогресса на почвѣ почтенной и серьезной науки. А Щедринъ, какъ художникъ-сатирикъ, обратилъ вниманіе исключительно на одну смѣшную и пошлую сторону съѣзда, се только одну и изобразилъ, и притомъ, конечно, въ преувеличенномъ видѣ. Но этия преувеличеніемъ онъ достигъ того, что рѣзче выставилъ эту пошлую сторону и заставилъ насъ глубже почувствовать ее. Обвиненія, которыя сыплются на Щедрина за его раздуваніе смѣшныхъ сторонъ русской жизни, испытывали всѣ художники-сатирики отъ своихъ современниковъ. Гоголь, въ продолженіи всей своей жизни, терпѣлъ подобныя-же обвиненія, что онъ искажаетъ жизнь, представляя ее односторонне исключительно въ однихъ грязныхъ, тривиальныхъ краскахъ, что онъ клеветаетъ на Россію, потому что плохой патріотъ и т. п. Что-жь, и дѣйствительно: возьмите хоть „Ревизора“ для примѣра. Ну гдѣ-же, хотя-бы и въ эпоху Гоголя, нашли-бы вы губернский городъ, представляющій подборъ такихъ уродовъ, какіе изображены въ этой комедіи? Вѣдь, еслибы, въ самомъ дѣлѣ, въ Россіи только и существовали, что одни Сквозники-Дмухановскіе, Земляники, Добчинскіе, Бобчинскіе, и притомъ въ такомъ безобразнѣйшемъ видѣ,

въ какомъ они рисуются передъ вами въ комедіи — то какъ-же могло просуществовать подобное государство до эпохи Гоголя и давно уже не развалиться? Но въ томъ-то и дѣло, что, еслибы мы съ вами попали въ среду этихъ людей, они намъ далеко не показались-бы такими возмутительнѣйшими уродами, какими ихъ представилъ впечатлительный художникъ. Рядомъ съ различными недостатками и смѣшными сторонами этой среды, мы нашли-бы, конечно, въ ней и хорошія качества, въ родѣ добродушія и гостепріимства однихъ, остроумія другихъ, семейныхъ добродѣтелей третьихъ и т. д.; мы до нѣкоторой степени, можетъ быть, и помирись-бы съ этою средою, нашли-бы, что жить въ ней можно, смотря сквозь пальцы на кое-какіе ея грѣшки...

Изъ всего вышеизложеннаго мы можемъ теперь вывести опредѣленіе значенія и цѣли искусства въ совершенно иномъ родѣ, чѣмъ это обыкновенно дѣлается сообразно принципамъ господствующей эстетики. Съ одной стороны, искусство, съ нашей точки зрѣнія, получаетъ право существованія помимо уже его высшихъ, утилитарныхъ цѣлей. Здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ эфемернымъ созданіемъ мертвой, книжной дѣйствительности рядомъ съ живой, а съ отраженіемъ впечатлѣній, съ рефлексами, т. е. съ однимъ изъ естественныхъ и необходимыхъ отправленій человѣческой природы. Говорить о ненужности искусства столь-же поэтому нелѣпо, какъ и говорить о ненужности всѣхъ прочихъ отправленій нашего организма. Мы имѣемъ возможность подавлять рефлексы, затаивая въ себѣ впечатлѣнія, но это будетъ уже искаженіе нормальнаго и правильнаго хода жизненныхъ процессовъ, аскетизмъ, рабство. Замѣтите, что сосредоточенность наиболѣе развивается въ рабахъ и аскетахъ. На почвѣ истинной свободы нѣтъ мѣста какому-бы то ни было насиліямъ надъ естественными влеченіями природы.

Но кромѣ того, что искусство имѣетъ право существованія, какъ одно изъ естественныхъ отправленій человѣческой природы, оно можетъ оказывать немаловажную пользу въ жизни въ нравственномъ и гражданскомъ отношеніи. Только пользу эту слѣдуетъ полагать специальную, присущую сферѣ искусства, а отнюдь не навязывать ему такихъ цѣлей, которыя параллельно съ искусствомъ могутъ достигаться разными другими функциями жизни гораздо успѣшнѣе, при большемъ ихъ соотвѣтствіи этимъ цѣлямъ. Такъ, напримѣръ, давно пора оставить ту мысль, что искусство можетъ разрѣшать какіе бы то ни было вопросы жизни. Вѣдь стоитъ только подумать, что искусство существуетъ не одну уже тысячу лѣтъ и не мало создало оно произведеній на всевозможныхъ живыхъ и мертвыхъ уже языкахъ — произведеній, которыя цѣнятся нами очень высоко и пользуются большимъ уваженіемъ не за одну только чистую художественность ихъ; но назовите мнѣ хоть одно такое произведение искусства, которое дѣйствительно разрѣшило бы хоть одинъ вопросъ нравственный, политическій, философскій, научный и пр., и найдите мнѣ хоть одинъ подобный вопросъ, слава разрѣшенія котораго принадлежала бы искусству. Не спорю, искусство очень часто касается всевозможныхъ такихъ

вопросовъ, но беретъ ихъ или въ формѣ вопроса, или пользуется готовымъ уже разрѣшеніемъ ихъ въ сферѣ науки. Да и очень понятно: если вы потрудились надъ разрѣшеніемъ какого-нибудь вопроса, то развѣ только какая-нибудь особенная экстренная необходимость можетъ заставить васъ прибѣгать при изложеніи вашихъ рѣшеній къ такимъ окольнымъ и сложнымъ путямъ, какъ писаніе романа, драмы и т. п. Это совершенно то-же самое, что, полюбивши женщину и желая вступить съ нею въ бракъ, вы, вмѣсто того, чтобы пойти къ ней и объясниться съ нею насчетъ вашей любви и брака въ обыкновенномъ прозаическомъ разговорѣ, вздумали бы сдѣлать это не иначе, какъ въ формѣ музыкальной симфоніи. Хотя, конечно, влюбленные композиторы нерѣдко выражаютъ свои чувства въ музыкальныхъ произведеніяхъ, посвящая ихъ предметамъ своей страсти, но это они дѣлаютъ только между прочимъ и при этомъ преслѣдуютъ болѣе музыкальныя цѣли, чѣмъ любовныя. Для разрѣшенія же вопроса о любви и бракѣ, они, все-таки, обращаются къ любимымъ женщинамъ обыкновенными, прозаическими рѣчами, а не музыкальными. Точно также, совершенно неосновательно навязывать искусству и другія цѣли, столь же несвойственные ему и гораздо успѣшнѣе достигаемыя другими функциями жизни, въ родѣ каранія злодѣевъ, защиты угнетенныхъ и т. п. Конечно, никакое гениальное произведение неспособно покарать зло въ такой степени, какъ судъ или различныя иныя практическія преслѣдованія зла фактическаго, а не вымышленнаго творчества, и, конечно, не въ примѣръ и доблестнѣе, и плодотворнѣе пойти къ дѣйствительнымъ бѣднымъ и угнетеннымъ и стараться помогать имъ елико возможно къ выходу изъ ихъ положенія, чѣмъ сидѣть въ комфортабельномъ кабинетѣ и расписывать о ихъ страданіяхъ.

Но въ томъ-то и дѣло, что искусство имѣетъ свою специальную сферу пользы, которая выдѣляетъ его совершенно изъ всѣхъ прочихъ функций человѣческой дѣятельности и тѣмъ болѣе даетъ ему право на существованіе. Истинная и существенная цѣль искусства должна выводиться изъ сущности поэтическаго творчества, изъ характера его процессовъ. Мы видѣли, что поэтическое творчество заключается въ рефлексированіи впечатлѣній, и тѣмъ сильнѣе возбуждается оно, чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, овладѣвающее художникомъ. Теперь подумайте, съ какою же иною цѣлью можетъ художникъ рефлексировать свои впечатлѣнія, какъ не съ тою естественно выходящею изъ самой природы рефлексовъ, именно — съ цѣлью передачи другимъ людямъ своего впечатлѣнія, возбужденія въ нихъ тѣхъ же страстныхъ импульсовъ, какіе овладѣваютъ художникомъ и побуждаютъ его къ созданію художественнаго произведенія. Такимъ образомъ, природная область дѣйствія искусства, это — міръ нашихъ чувствъ и страстей. Тѣ явленія жизни, мимо которыхъ мы проходимъ равнодушно, не обращая на нихъ должнаго вниманія, не замѣчая ихъ и не придавая имъ должнаго значенія, развлекаемые разнородными, перекрещивающимися впечатлѣніями дѣйствительности, художникъ выдѣляетъ изъ пестраго хаоса жизни, выставляетъ передъ нами на первый

планъ, подчеркиваетъ, раздуваетъ ихъ въ интенсивномъ или экстенсивномъ отношеніи подъ влияніемъ силы своего впечатлѣнія и, мало того, что обращаетъ наше вниманіе на нихъ, но и поражаетъ насъ ими, возбуждая въ насъ тѣ или другіе страстные импульсы, въ видѣ восторга, жалости, состраданія, смѣха, негодованія и пр. При такомъ способѣ дѣйствія своего, искусство, правда, не можетъ разрѣшать вопросовъ жизни, но оно можетъ возбуждать ихъ, заставляя обращать вниманіе людей на такія явленія жизни, которыя долго оставались бы въ тѣни и въ пренебреженіи, еслибы искусство не вызывало ихъ на свѣтъ и не приводило людей въ экстазъ зрѣлищемъ ихъ. Тѣ преувеличенія представленій дѣйствительности, какія мы видимъ на каждомъ шагѣ въ искусствѣ, играютъ роль не лжи и искаженія правды, а имѣютъ характеръ, совершенно подобный тѣмъ преувеличеніямъ, какія употребляютъ естественныя науки, вооружая ваши глаза оптическими инструментами и заставляя васъ видѣть мухъ со словенъ и топчашія ткани съ канаты, съ цѣлю наблюдать такія явленія природы, которыя не замѣтны для невооруженнаго глаза.

Совершенно подобно тому, и искусство, своими преувеличеніями представленій дѣйствительности, вооружаетъ васъ своего рода естественнымъ микроскопомъ, но такимъ могучимъ, который дѣйствуетъ не только на ваши умственные взоры, предоставляя вамъ разсматривать въ крупныхъ размѣрахъ такія явленія жизни, которыя вы пропускаете безъ вниманія, но и возбуждаетъ ваши нервы къ страстному воспріятію впечатлѣній, возбуждаемыхъ предлагаемымъ зрѣлищемъ. Такимъ образомъ, искусство представляется не только микроскопомъ, но и однимъ изъ сильнѣйшихъ средствъ, возбуждительно дѣйствующихъ на волю и энергію людей, подверженныхъ его влиянію. Последнее обстоятельство, именно возбуждительно дѣйствіе искусства на волю путемъ передачи рефлексовъ, открываетъ передъ нами новую сферу пользы искусства, именно — сферу практическую. Правда, искусство само по себѣ безсильно карать и миловать, освобождать угнетенныхъ и оказывать помощь страждущимъ. Но, приводя людей въ экстазъ своими образами, оно способно побуждать ихъ волю къ этимъ дѣйствіямъ. Когда еще жизнь подготовитъ вамъ такое зрѣлище, какъ овсянниковскій или струсберговскій процессы, да и подготовитъ-ли еще, или нѣтъ, — искусство предупреждаетъ жизнь въ этомъ отношеніи: представивъ рядъ поразительныхъ образовъ современныхъ пороковъ во всей ихъ гнусности, оно возбуждаетъ въ обществѣ негодованіе противъ этихъ пороковъ и жажду искорененія ихъ. Не въ силахъ, такимъ образомъ, само встать на мѣсто прокуратуры или администраціи, оно дѣйствуетъ на людей, находящихся въ этихъ сферахъ, и побуждаетъ ихъ къ преслѣдованію зла, поразительные образцы котораго оно представляетъ. Такимъ путемъ оно можетъ повліять на возбужденіе карательныхъ процессовъ или исполненіе надлежащихъ реформъ, ускорить то и другое.

Сдѣлаемъ теперь перечень всѣхъ тѣхъ выводовъ, къ какимъ мы пришли путемъ анализа художественнаго творчества въ его основныхъ процессахъ. И такъ,

вопреки мнѣнію господствующей эстетики: 1) Искусство представляется вовсе не воспроизведеніемъ жизни въ томъ видѣ, какъ она есть, а рефлексированіемъ впечатлѣній посредствомъ образовъ, заключающихъ въ себѣ представленія жизни въ преувеличенномъ видѣ, подъ влияніемъ художественнаго пафоса. 2) Искусство вовсе не должно стремиться изображать жизнь непременно всецѣло и всесторонне, со всѣми ея мелкими деталями; а, напротивъ того, одностороннее изображеніе жизни есть одно изъ существенныхъ его качествъ, такъ какъ художественное творчество въ томъ и состоитъ, что художникъ выдѣляетъ и ставитъ на первый планъ тѣ явленія и стороны жизни, которыя его поразили; ихъ наиболѣе яркое представленіе онъ только и долженъ имѣть въ виду, заботясь о всѣхъ прочихъ сторонахъ жизни и деталяхъ лишь настолько, насколько они могутъ служить къ освѣщенію главнаго, что выставляется въ произведеніи. 3) Утилитарная цѣль искусства заключается вовсе не въ обсужденіи и рѣшеніи какихъ-либо вопросовъ жизни, а, въ умственномъ отношеніи, въ поднятіи вопросовъ путемъ демонстрированія явленій жизни, а въ практическомъ — въ возбужденіи воли, энергіи, страстей въ томъ или другомъ направленіи.

Объемъ статьи, а также боязнь утомить читателей очень долгимъ пребываніемъ въ отвлеченныхъ сферахъ эстетики, принудили меня ограничиться только краткимъ и общимъ очеркомъ тѣхъ эстетическихъ понятій, которыя будутъ руководить мною въ моихъ критическихъ письмахъ. Я надѣюсь, впрочемъ, въ послѣдующихъ письмахъ гораздо обстоятельнѣе, съ большими подробностями и аргументами, развить эти понятія при удобныхъ случаяхъ, какіе будутъ представляться во время разбора тѣхъ или другихъ произведеній. Теперь-же я намѣренъ, вооружившись вышеизложенными эстетическими положеніями, обратиться къ главному предмету нашей рѣчи — къ состоянію нашей современной беллетристики и причинамъ недовольства ею публики.

Я говорилъ уже выше, что, вопреки всѣмъ навязываемымъ публикѣ эстетическимъ доктринамъ,носящимъ внушительное клеймо реализма, публикою руководитъ естественный инстинктъ, идущій совершенно въ разрѣзъ съ этими доктринами. Теперь, на основаніи всего вышеизложеннаго, мы можемъ опредѣлить, въ чемъ заключается этотъ инстинктъ. Дѣло въ томъ, что публика инстинктивно ищетъ въ произведеніяхъ искусства того, что должно составлять ихъ сущность, именно — яркихъ, поразительныхъ, волнующихъ душу образовъ, вообще сильныхъ впечатлѣній, въ какомъ-бы то ни было родѣ, возбуждають-ли они восторгъ, смѣхъ, жалость, негодованіе и пр., и пр. Правда, что инстинктъ этотъ зачастую и обманываетъ публику, понуждая ее увлекаться издѣльями шарлатановъ, вродѣ французскихъ романовъ, повѣствующихъ о похищеніяхъ Рокамболя или „Петербургскихъ трущобъ“ Всев. Крестовскаго, и шарлатаны эти ловятъ публику на удочку сильныхъ впечатлѣній, предлагая ей поразительныя зрѣлища грубо-фантастическихъ и бессмысленныхъ вымысловъ празднаго и развращеннаго воображенія. Но за-то тотъ-же самый инстинктъ способствуетъ публикѣ съ увлече-



нѣмъ относиться къ каждому талантливому произведенію, оти́ченному несомнѣннымъ и могучимъ порывомъ поэтическаго паюса. Что-бы вы ни говорили о грубости и неразборчивости вкуса публики, но обратите вниманіе, что ни одно истинно-художественное сильное поэтическое произведеніе не остается незамѣченнымъ ею и не минуетъ возбудить при своемъ появленіи всеобщее вниманіе и восторги. Конечно, критика не должна слѣпо подчиняться этимъ восторгамъ и воображать, что все, чѣмъ увлекается публика, непременно представляетъ перлы художественнаго творчества. Она должна опредѣлять, не надуетъ-ли писатель публику, не шарлатанитъ-ли онъ, истинные-ли перлы предлагаетъ онъ публикѣ, или, можетъ быть, фальшивые. Но зато, съ отрицательной стороны, критика можетъ всецѣло подчиняться вкусамъ публики, и можно ввести въ критику разъ на всегда непреложную аксіому, что все, что остается незамѣченнымъ публикою, что не возбуждаетъ въ ней страстныхъ интульсовъ, что ей не нравится — все это навѣрное несостоятельно, слабо, ничтожно въ художественномъ отношеніи, какъ-бы оно, повидимому, ни строго соответствовало господствующимъ эстетическимъ доктринамъ и какъ-бы высоко ни ставили его какіе-нибудь замкнутые кружки строгихъ цѣнителей изящнаго или партіонныхъ единомышленниковъ.

Итакъ, публика инстинктивно жаждетъ въ художественныхъ произведеніяхъ поразительныхъ образовъ и сильныхъ, страстныхъ впечатлѣній, и что же она находитъ въ современной намъ беллетристикѣ? Точно какъ будто нарочно, вопреки этимъ естественнымъ требованіямъ, большинство нашихъ беллетристовъ только и заботится о томъ, какъ бы представить рядъ явленій самыхъ заурядныхъ, самыхъ обыденныхъ, наиболѣе пріѣвшихся намъ въ самой жизни, давно намозолившихъ глаза наши, давно разсмотрѣнныхъ нами самими со всѣхъ сторонъ и надѣвшихъ хуже, чѣмъ надѣдаютъ дѣтямъ старая и перенатранная игрушки. И подобныя пріѣвшіяся явленія обыденной жизни беллетристы съ педантическою строгостью стараются обрисовать передъ нами непрѣменно со всѣхъ сторонъ и кропотливо нанизываютъ детали на детали, не забывая мельчайшихъ тонкостей, въ родѣ стеганнаго патнущка на верхней полкѣ въ кладовой, за кухней, въ квартирѣ одного изъ третьестепенныхъ лицъ романа. Начинаете вы читать романъ, мечтая, что вотъ сейчасъ передъ нами предстанетъ какой-нибудь поразительный современный типъ, вотъ разовьется сюжетъ, полный потрясающаго драматизма, и вы увидите въ немъ въ болѣе крупныхъ и рѣзкихъ чертахъ ту самую роковую борьбу, которую сами переживаете вмѣстѣ съ вашимъ вѣкомъ. Ни чуть не бывало: вмѣсто всего этого, авторъ начнетъ томить васъ длиннѣйшими описаніями комнатъ, въ которыхъ совершается дѣйствіе романа, мебели, которою убраны эти комнаты, домашней утвари, при чемъ не забудетъ сообщить вамъ, гдѣ эта утварь куплена, въ какомъ магазинѣ и по какому побужденію въ томъ, именно, магазинѣ, а не въ другомъ. Потомъ поведетъ онъ васъ на кухню, обстоятельно познакомитъ съ прислугой, съ ея отношеніями къ господамъ и между собою, перечислитъ при этомъ всѣ горшки и ухваты,

заглянетъ на плиту и замѣтитъ, какой супъ варится къ обѣду или что пирожки немножко подгорѣли. Затѣмъ послѣдуетъ рядъ домашнихъ сценъ, разговоровъ за обѣдами и чаепітіями, разговоровъ самыхъ обыденныхъ, незначительныхъ, нисколько не относящихся къ развитію сюжета и совершенно излишнихъ для обрисовки характеровъ, которые и безъ того могли бы вполне рельефно обрисоваться въ сюжетныхъ сценахъ романа. Затѣмъ — затѣмъ потянется передъ вами рядъ великосвѣтскихъ обѣдовъ или завтраковъ въ салонахъ и отеляхъ, пикниковъ, загородныхъ гуляній, вѣнчаній, похоронъ. Если герой поѣдетъ куда-нибудь, авторъ начинаетъ вести подробнѣйшій дневникъ путешествія его: отъ которой до которой станціи онъ уснулъ, гдѣ выпилъ рюмку водки, гдѣ позавтракалъ, гдѣ далъ кондуктору на водку, гдѣ крупно поговорилъ съ сосѣдомъ, вздумавшимъ заснуть положе голову на его плечо и пр. При описаніи же деревенской жизни и особенно народнаго быта, вы не обретаете подробностей, еще болѣе тщательныхъ, микроскопическихъ. Къ тому же здѣсь присоединяются еще новые описательные элементы; это, именно, природа со всѣми ея красотою, ландшафтиками лѣсовъ, полей, усадебъ, временъ года и борьбы стихій.

Что касается дѣйствующихъ лицъ романовъ, то они являются по большей части первыми встрѣчными знаками автора, съ которыхъ онъ списываетъ портреты, тщательно заботясь о вѣрности съ подлинниками. Передъ вами проходитъ рядъ личностей, совершенно случайныхъ, мелкихъ, блѣдныхъ, ничѣмъ особенно не замѣчательныхъ, не выдающихся какими-нибудь характеристическими особенностями времени или среды, вслѣдствіе сильнаго развитія и преобладанія которыхъ ихъ можно было бы назвать типами. А не то передъ вами является рядъ стереотипныхъ обобщеній, которыя, какъ я сказалъ уже выше, составляютъ продукты вовсе не художественнаго творчества, а той индуктивной работы мысли, которая свойственна всѣмъ и каждому. Такіе отвлеченные типы наиболѣе претягиваются въ художественномъ произведеніи, потому что инстинктивно вы ждете отъ него, чтобы оно взволновало васъ какими-нибудь образами, представляющими новыя, только что народившіяся явленія жизни и поразительныя своею новизною, или же, если не новыя, то, во всякомъ случаѣ, хотя бы и старыя, но возведенныя въ перлъ созданія путемъ преувеличенія и выставленія на первый планъ наиболѣе характеристическихъ свойствъ ихъ; авторъ же, вмѣсто этого, угощаетъ васъ стереотипными обобщеніями, которыми и безъ того полна ваша голова. Подобная стереотипность обобщеній, случайность, мелкость и блѣдность выводимыхъ личностей — особенно нѣтъ мѣсто въ повѣстяхъ изъ народнаго быта, вообще, изъ всѣхъ слоевъ, стоящихъ внѣ интеллигенціи — крестьянскихъ, мѣщанскихъ и купеческихъ. Это, конечно, происходитъ отъ того, что авторы мало того, что сами не живутъ жизнію этихъ слоевъ, но весьма мало соприкасаются съ нею, для того, чтобы имѣть возможность напечатлѣться наиболѣе крупными и рѣзкими ея особенностями и уловить букетъ этихъ особенностей. Они наблюдаютъ ее со стороны, въ ея обыденномъ теченіи, въ деталяхъ, въ тѣхъ мелкихъ раздробленныхъ



личностях, съ которыми случайно встрѣчаются, и выписать рядъ мелкихъ, слабыхъ впечатлѣній, которыя ведутъ къ столь же слабымъ творческимъ рефлексамъ. Отъ того повѣсти изъ народнаго быта по большей части и отличаются скукою, вялостью, стереотипностью, полнымъ отсутствіемъ всякаго огня поэтического вдохновенія и силы впечатлѣнія. Это—вовсе не художественныя произведенія, а этнографическіе этюды въ беллетристической формѣ.

Да не подумаетъ читатель, чтобы я всецѣло отрицалъ выведение въ романахъ деталей обыденной жизни. Нѣтъ, пусть будутъ и детали; но, во всякомъ случаѣ, не въ нихъ должна заключаться сущность романа. Онѣ не должны стоять на первомъ планѣ; изъ за тщательной, кропотливой обрисовки ихъ писатель не долженъ забывать все и вся и всецѣло отдаваться имъ. Онѣ должны играть въ произведеніи не болѣе, крѣк самую второстепенную, декоративную роль. Авторъ имѣетъ право выставить ихъ лишь настолько, насколько онѣ дѣйствительно могутъ послужить къ обрисовкѣ характеровъ и жизни дѣйствующихъ лицъ. Но и при этомъ онъ не долженъ упускать изъ вида — что какъ бы не напустить въ свое произведение скуки длиннотами подобныхъ описаній и какъ бы мелочами не заслонить главнаго и не умалить, вслѣдствіе этого, силы общаго впечатлѣнія, въ которомъ заключается вся сущность произведенія. Къ тому же, писатель не долженъ забывать и того, что онъ имѣетъ дѣло въ лицѣ читателей съ живыми людьми, которые сами обладаютъ кое-какою наблюдательностью, кое-что видѣли и кое-что сохраняется въ ихъ воображеніи, и, вѣсто подробнѣйшихъ и кропотливѣйшихъ описаній, достаточно бываетъ двухъ-трехъ штриховъ, которые намекнули бы на общій характеръ жилища, одежды героя, чтобы у читателя самостоятельно обрисовались разныя мелкія подробности и возникла въ головѣ цѣлая картина. Сильные и опытные художники такъ обыкновенно и поступаютъ, останавливаясь только на главномъ и существенномъ, въ мелочахъ же довольствуясь одними намеками. Это и называется сжатостью художественнаго языка и уцѣненьемъ въ двухъ-трехъ словахъ сказать многое, нарисовать передъ вами цѣлыя картины.

Въ тоже время, не гоню я вовсе мелкіе, обыденные характеры или стереотипныя обобщенія. Они бываютъ иногда столь же необходимы въ произведеніи, какъ и детали. Вы найдете ихъ не въ такомъ количествѣ въ произведеніяхъ первостепенныхъ беллетристовъ, даже у Гоголя, Тургенева, Гончарова, Щедрина и пр. Нельзя же требовать, чтобы писатель въ каждой выводимой личности изображалъ вамъ какой-нибудь замѣчательный типъ и напрягалъ всю силу своего творчества, чтобы поразить васъ. Мало ли въ романахъ бываетъ побочныхъ личностей, являющихся мелькомъ и чисто по необходимости. Сильные и истинные художники такъ обыкновенно и дѣлаютъ, что всѣ свои силы и все вниманіе обращаютъ на обрисовку двухъ-трехъ личностей въ произведеніи, а остальные намѣчаютъ самыми общими чертами, иногда въ двухъ-трехъ словахъ. Я протестую только противъ того, чтобы во всемъ романѣ только и встрѣчались, что одни мелкія, случайныя, обыденныя личности, да стерео-

типныя обобщенія и чтобы писатели въ тщательной обрисовкѣ подобныхъ личностей видѣли всю сущность поэтического творчества. Напротивъ того, поэтическое творчество, требующее для своего наибольшаго развитія сильныхъ впечатлѣній, весьма мало возбуждается при созданіи подобныхъ привычныхъ образовъ, отъ того образы эти и не производятъ на насъ никакого впечатлѣнія. Холодно читаемъ мы произведеніе, наполненное такими образами, и, слава Богу, если не засыпаемъ за чтеніемъ; за-то послѣ прочтенія романа, все содержаніе его живо вылетаетъ изъ нашей памяти, не оставляя тамъ ни малѣйшаго слѣда. Прибавьте ко всему этому, что произведеніе, наполненное длиннѣйшими описаніями мелочныхъ деталей жизни, мелкими, обыденными сценками, случайными и блѣдными характерами или стереотипными обобщеніями, въ тоже время, и въ тенденціозномъ своемъ содержаніи представляетъ собою какое-нибудь банальное общее мѣсто, и вы тогда поймете, почему большинство беллетристическихъ произведеній такъ мало удовлетворяютъ публику.

Что же за причина, что наша беллетристика все болѣе и болѣе погружается въ грубый натурализмъ безцѣльнаго кропотливо-мелочнаго списыванья обыденной жизни въ ея микроскопическихъ деталяхъ, выведения случайныхъ, первыхъ попавшихся подъ руку людшекъ и расписыванія ихъ ежедневнаго времяпрепровожденія? Неужели все зло лежитъ въ господствующихъ эстетическихъ доктринахъ, которыя толкаютъ искусство на такую ложную дорогу? Но, судя по всему вышеизложенному, можно думать, что доктрины тутъ не причемъ. Онѣ могутъ узаконить грустный фактъ, но какъ же могутъ производить его? Вѣдь, мы опредѣлили, что поэтическое творчество зависитъ всецѣло отъ силы впечатлѣній; что оно измѣняется и преувеличиваетъ представленія дѣйствительности все не искусственно и самопроизвольно со стороны поэта, а вполне естественно и бессознательно. Поэтъ изображаетъ дѣйствительность въ томъ видѣ, какъ она ему представляется; если же представленія эти оказываются преувеличенными, поразительными, то это не поэтъ сдѣлалъ ихъ такими, а сила впечатлѣнія, или ювіи которой онъ самъ бессознательно подчинился. А если такъ, то при чемъ же тутъ ложныя эстетическія доктрины? Поэтъ можетъ свято исповѣдывать ихъ, воображая, что въ нихъ вся мудрость вѣка, и, все-таки, будетъ подчиняться въ своемъ творчествѣ не имъ, а силѣ своихъ впечатлѣній. И, въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли, что современныя эстетическія доктрины установились не сегодня, а господствуютъ лѣтъ уже тридцать, но не помѣшали же онѣ въ свое время появиться такимъ сильнымъ произведеніямъ, какъ „Мертвыя души“, „Обломовъ“, „Рудинъ“, „Гроза“ и пр. Не мѣшаютъ онѣ и нынѣ, хотя не въ такомъ большомъ количествѣ, какъ прежде, появляться произведеніямъ, производящимъ сильное впечатлѣніе могучестью поэтического творчества. А если не въ эстетическихъ доктринахъ, то въ чемъ же другомъ слѣдуетъ искать жалкаго состоянія нашей современной беллетристики? О, тутъ, конечно, дѣйствуетъ не одна какая-нибудь причина, а много причинъ весьма сложныхъ и весьма важныхъ, лежащихъ и въ общемъ скла-

дѣ нашей современной общественной жизни, и въ частныхъ условіяхъ жизни нашихъ писателей. Но объ этихъ причинахъ нужно говорить или слишкомъ много, или лучше совсѣмъ не говорить. Въ двухъ же трехъ словахъ говорить о нихъ не стоитъ, потому что такимъ образомъ ничего путнаго не скажешь и ограничишься только самыми неопредѣленными общими мѣстами. Распространяться же теперь вполне обстоятельно объ этихъ причинахъ нѣтъ никакой возможности, такъ какъ время закончить настоящее письмо, которое и безъ того уже вышло достаточно длинно; а еслибы начать распространяться о причинахъ, то оно рисковало бы сдѣлаться безконечнымъ. Поэтому, причины я отлагаю до слѣдующихъ писемъ. Мнѣ придется еще касаться ихъ и разъяснить очень много и при каждомъ удобномъ случаѣ. Настоящее же письмо вполне достигло цѣли, ознакомивъ читателей съ тѣми эстетическими критеріями, на основаніи которыхъ я буду разбирать современные и прошлые поэтическія произведенія, и давъ читателямъ понятіе о томъ, какъ я смотрю на нашу современную изящную литературу и чего я отъ нея намѣренъ прежде всего требовать.

#### Письмо второе.

Поэзія графа А. Толстого, какъ типъ чужаднаго творчества.

Если мы будемъ разсматривать поэтическое творчество, какъ естественное и непосредственное рефлектированіе впечатлѣній, навѣваемыхъ жизнью, и будемъ обуславливать силу и направленіе его силою и характеромъ впечатлѣній, то подобное воззрѣніе дастъ совершенно иное освѣщеніе двумъ спорнымъ эстетическимъ доктринамъ прошлаго десятилѣтія: доктринѣ искусства для искусства и искусства для жизни. Обыкновенно полагается такъ, что польза и значеніе поэтическихъ произведеній, помимо талантовости автора, всецѣло зависятъ оттого, какой изъ двухъ доктринъ придерживается писатель—чистаго или полезнаго искусства: въ первомъ случаѣ, произведенія его должны быть безцѣльны и потому бесполезны, а во второмъ проникнуты самыми современными тенденціями, и въ пользѣ ихъ не будетъ представляться ни малѣйшаго сомнѣнія. На дѣлѣ же и съ точки зрѣнія нашихъ воззрѣній на искусство это не всегда бываетъ такъ: что толку, что поэтъ будетъ исповѣдывать доктрину полезнаго искусства, если въ произведеніи его отразятся впечатлѣнія, ничтожныя по своей слабости и маловажности, и если оно будетъ ничѣмъ инымъ, какъ рутинною иллюстраціею общихъ мѣстъ, вполне справедливыхъ, но тѣмъ не менѣе намозолившихъ всѣмъ глаза своею стереотипностью? А съ другой стороны, развѣ не можетъ случиться, что хотя бы иной поэтъ держался теоріи разпречистѣйшаго искусства, тѣмъ не менѣе въ его поэтическихъ образахъ отразятся впечатлѣнія сильныя и животрепещущія по своему существенному значенію въ жизни, и произведеніе его само по себѣ будетъ въ высшей степени полезно, будетъ имѣть большое значеніе въ литературѣ. Такъ, напримѣръ, скажите: какой доктринѣ

осмысленія А. СКАВИЧЕВСКАГО.—II.

ны, чистаго или полезнаго искусства, держались такіа свѣтила поэзіи, какъ Дантъ, Шекспиръ или Байронъ? А Гоголь положительно держался теоріи чистаго искусства; но это не помѣшало ему создать рядъ произведеній, по значенію и пользѣ превосходящихъ все созданное до него въ русской литературѣ. А еще лучше возьмите народную поэзію: какой доктрины держится народъ, чистаго или полезнаго искусства, создавая свои пѣсни? Онъ творитъ ихъ совершенно непринужденно, поетъ ихъ также безотчетно, какъ птицы небесныя, а между тѣмъ, много ли найдете вы народныхъ пѣсенъ, которыя не отражали бы тѣхъ или другихъ роковыхъ и существенныхъ явленій его жизни и не имѣли бы серьезнаго значенія для него?

Такимъ образомъ, нисколько не отвергая, что искусство должно служить не ради однихъ праздныхъ эстетическихъ забавъ и утѣхъ, что оно имѣетъ свое спеціальное высшее, утилитарное назначеніе въ жизни, мы въ то же время должны признать, что достиженіе этого назначенія или же пребываніе искусства въ области эстетической побрякушности зависитъ вовсе не отъ доброй воли поэта и его эстетическихъ взглядовъ, а отъ характера впечатлѣній, возбуждающихъ его творчество. Характеръ же впечатлѣній зависитъ отъ суммы условій жизни поэта, условій, создаваемыхъ эпохою, средою, наконецъ, обстоятельствами личной жизни. И совершенно подобно тому, какъ жизнь создаетъ различные типы людей той или другой среды, того или другого вѣка, такъ-же точно создаетъ она и различные типы поэзіи. Типы эти, подобно людскимъ, возникаютъ и исчезаютъ сообразно возникновенію и исчезанію тѣхъ условій, которыя ихъ создаютъ. Такимъ образомъ, если вамъ не нравится какой-нибудь изъ существующихъ поэтическихъ типовъ, то это происходитъ прежде всего отъ того, что онъ чуждъ условіямъ, характеру и складу вашей личной жизни, оттого, что будь вы сами поэтомъ, ваша поэзія принадлежала бы къ другому типу, не имѣющему ничего общаго съ первымъ. Затѣмъ вы можете воздвигать на несимпатичный вамъ типъ поэзіи какія вамъ угодно гоненія, пусть гоненія эти будутъ основаны на вполне неопровержимыхъ, самыхъ глубокихъ и вѣскихъ истинахъ, и повѣрьте, что никакіе критическіе доводы не поколеблютъ существующаго типа поэзіи, пока не исчезнутъ условія, вызывающія и поддерживающія его существованіе.

Такъ, напримѣръ, представьте себѣ господина, который съ пеленокъ привыкаетъ уже созерцать жизнь исключительно съ одной стороны красоты ея формъ. Когда еще питается онъ молокомъ деревенской красавицы (нарочно тщательно выбранной изъ сотенъ крестьянокъ по привлекательности своихъ формъ), когда сознаніе не успѣло еще проявиться въ немъ и только-только что воспитываются органы элементарныхъ ощущеній, его ручки ошупываютъ не иначе, какъ газъ, шелкъ и атласъ, въ которыхъ онъ изящно окутанъ, его глазенки останавливаются на ослѣпительномъ блескѣ артистически изваянныхъ бронзовыхъ или хрустальныхъ люстръ и канделябръ; его ушки слушаютъ тихіе звуки отдаленныхъ музыкальных мотивовъ, сладкій говоръ нѣжныхъ ласкъ на звучномъ французскомъ діалектѣ и т. п.

И потомъ, когда онъ начинаетъ подростать, отъ него тщательно отстраняется и удаляется все негармоническое, неуклюжее, тривіальное по внѣшнимъ формамъ, а если что-либо изъ подобнаго по необходимости торчитъ передъ его глазами, ему внушается презрѣніе и пренебреженіе ко всему подобному. Такъ, напримѣръ, губернёръ его можетъ имѣть бездну самыхъ почтенныхъ и высокихъ нравственныхъ достоинствъ, но никто не заботится обратить вниманіе мальчика на эти достоинства, а, напротивъ того, на первомъ планѣ ставятся неловкія манеры или всклокоченные волосы ментора, и осмѣиваются маменьками и папеньками, тетеньками и дяденьками. Заражаясь ихъ смѣхомъ, и мальчикъ осмѣиваетъ своего наставника, за некрасивыми формами его не замѣчая прекраснаго внутренняго ихъ содержанія. Такимъ образомъ, мальчикъ привыкаетъ все, на что ни кидаетъ взоры свои, разсматривать исключительно со стороны красоты или безобразія формъ. Сама природа является глазамъ его прежде всего въ выровненномъ, вылощенномъ, изукрашенномъ видѣ симметрически-правильныхъ формъ сада, расположеннаго вокругъ замка. И только далѣе, за предѣлами сада, допускается настоящая природа, позволяется имѣть ей и свои дикія красоты, но все-таки непремѣнно не что иное, какъ красоты: взоры, привыкшіе нѣжиться прелестью изящныхъ формъ, и здѣсь прежде всего и болѣе всего ищутъ привычныхъ наслажденій. Прибавьте ко всему этому, что къ наступленію зрѣлаго возраста человекъ этотъ привыкаетъ главнымъ содержаніемъ жизни считать всевозможныя наслажденія, стараясь окружать себя со всѣхъ сторонъ всѣмъ нѣжущимъ и ласкающимъ чувства, и тщательно удаляетъ отъ себя не только все негармоническое, безобразное, тривіально-грязное, но и все возмущающее, тревожащее душу въ какомъ бы то ни было отношеніи. Весьма понятно, что для такого господина „муза мести и печали“ всегда будетъ чужда и ненавистна, какими бы доказательствами вы ни разсыпались передъ нимъ въ полезности и естественности такой музы. Ну, статочное ли дѣло, чтобы Некрасовъ могъ тронуть его стихотвореніемъ:

Жизнь въ трезвомъ положеніи  
Куда не хороша!  
Въ томительномъ бореніи  
Сама съ собой душа и проч.

или чтобы Рѣшетниковъ могъ разжалобить его судьбою спившагося почтальона, когда видъ пьянаго простолюдина или разночинца никогда ничего въ этомъ господинѣ неспособенъ возбуждать, кромѣ одного единственнаго чувства гадливости и ненависти. Ему и въ голову не можетъ прийти, чтобы въ безобразной, съ точки зрѣнія изящества формъ, фигурѣ пьянаго почтальона могли происходить какія-нибудь „душевные боренія“. Помилуйте, какія-такія тутъ душевные боренія, ха, ха, ха!.. Больше ничего, какъ бессмысленный бредъ хмѣльнаго идіота. Да и въ правдѣ ли вы требовать, чтобы этотъ господинъ постигъ вдругъ поэзію душевныхъ бореній спившагося разночинца или, еще того хуже, мужика, когда даже плачущую Ніобею, этотъ общечеловѣческій образъ материнской скорби, господинъ этотъ способенъ совер-

шать исключительно со стороны красоты ея слезъ, не допуская разстроивать свои чувствительные нервы тревожными размышленіями о томъ, что слезы эти не только красивы, но солони и горьки, и что подъ ними таятся своего рода „душевные боренія“. Понятно, что среда такихъ господъ фатально должна воспитывать поэзію, главное содержаніе которой заключается въ отраженіи впечатлѣній изящныхъ формъ, которая на всѣ явленія жизни, на всѣ людскія радости и печали будетъ смотрѣть исключительно съ той точки зрѣнія, какъ красиво они проявляются и рисуются передъ глазами. Понятно также, что пока будетъ существовать эта среда, до тѣхъ поръ и этому типу поэзіи не будетъ конца. Этотъ типъ и есть то, что у насъ принято называть искусствомъ для искусства. Но въ сущности это вовсе не искусство для искусства. Это въ своемъ родѣ искусство для жизни: да, для жизни той среды, которая создаетъ такое искусство, потому что *нуждается* въ немъ и создаетъ его сообразно *своимъ потребностямъ*, подобно тому, какъ иныя среды создаютъ свои типы искусства, сообразно своимъ потребностямъ.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ жизнь средней руки французскаго буржуа, нѣмецкаго бюргера, мелкопомѣстнаго русскаго помѣщика или разночинца. Здѣсь вы не найдете уже, конечно, того восторженнаго культа прекрасныхъ формъ, какое мы видѣли въ жизни вышеозначеннаго господина. Прекрасному предпочтается здѣсь полезное. Главнымъ стимуломъ жизни является здѣсь не наслажденіе, а приобрѣтеніе. Здѣсь и некогда, да нѣту и средствъ заводить прекрасную, нѣжащую взоры обстановку. Комнаты у подобныхъ людей наполняются старомодною, неуклюжею, дешевою мебелью, лишь-бы было на чемъ сидѣть, обѣдать или спать. Подобнымъ хламомъ эти люди дорожатъ иногда въ гораздо большей степени, чѣмъ знатные господа своею дорогою и изящною мебелью, но дорожатъ вовсе не въ силу того, чтобы онъ прельщалъ взоры ихъ изяществомъ своихъ формъ, а потому что одніе вещи представляютъ память о дѣдушкѣ или бабушкѣ, по наслѣдству отъ которыхъ онѣ достались; другія дороги по собственнымъ воспоминаніямъ или по привычкѣ, потому что глаза успѣли приглядѣться къ нимъ съ самаго дѣтства; наконецъ, дорогъ весь этотъ хламъ и просто потому, что въ этой средѣ каждая мелочь идетъ въ счетъ, каждой ложкѣ и площкѣ придается свое представительное значеніе, надъ каждой разбитой чашкой проливаются здѣсь подчасъ слезы. И еще-бы: вся жизнь въ этой средѣ слагается изъ мелочей; здѣсь сколачиваются капиталы по копейкамъ и денежкамъ. Здѣсь нѣтъ взрывовъ вулканическихъ страстей, ведущихъ за собою катастрофы и быстрые перевороты; а, напротивъ того, жизнь тянется въ однообразномъ теченіи мелочныхъ, повседневныхъ дрызгъ, вслѣдствіе чего такіе пустяки, какъ экстраординарная пирушка по случаю полученія ордена или поѣздка за 100 верстъ, принимаютъ здѣсь размѣры крупныхъ событій жизни, отъ которыхъ люди ведутъ свои зры. Характеры въ этой средѣ обрисовываются не геройскими подвигами или злодѣйствами, не какими-либо крупными поступками, а совокупнымъ рядомъ деталей домашней об-

становки и мелких дрызгъ, въ отношеніи къ небольшой группѣ людей. Наконецъ, люди этой среды такъ привыкають обращать пристальное вниманіе, взвѣшивать и высоко цѣнить каждую мелочь, что они рѣшительно теряють сознаніе различія мелкаго отъ крупнаго, и такіе вопросы, какъ заказъ новаго платья или оклейка стѣнъ новыми обоями, стоятъ въ головѣ ихъ на одномъ планѣ съ самыми существенными общими вопросами вѣка. Подумайте теперь: какой типъ поэзіи должна создать подобная среда? Нужно-ли распространяться, какой именно? Конечно, это будетъ именно та пресловутая натуральная поэзія мелочей и дрызгъ жизни, которая, начиная съ 30-хъ годовъ, преобладаетъ въ Европѣ. Феодальный принципъ, опредѣляющій искусство сферою прекраснаго и высшего, къ этому типу совершенно оказывается непримѣнимымъ. Люди, привыкшіе вращаться въ средѣ мелочей жизни и цѣнить ихъ со стороны исключительно утилитарной, не обращая особеннаго вниманія, насколько мелочи эти удовлетворяють чувству прекраснаго, очень понятно, и въ искусствѣ будутъ отражать всѣ эти мелочи съ точки зрѣнія утилитарно-правственнаго или матеріальнаго значенія ихъ въ жизни. Понятно также, что этотъ типъ поэзіи будетъ чуждаться выставленія крупныхъ характеровъ, сильныхъ страстей и выдающихся трагическихъ событій жизни. Напротивъ того, онъ долженъ неуклонно стремиться къ изображенію обыкновенныхъ маленькихъ людшекъ во всей ихъ будничной обстановкѣ, съ ихъ миниатюрными добродѣтелями и пошленькими плотскими вожделѣніями, съ ихъ семейными драмами, медленнымъ, черепашинымъ шагомъ выплывающими изъ тины мелочей и дрызгъ повседневной жизни.

Замѣтите, что недаромъ подобнаго рода типъ поэзіи, въ видѣ натурального романа, развивается въ Европѣ вмѣстѣ съ окончательнымъ паденіемъ феодальныхъ режимовъ, и утвержденіемъ господства буржуазныхъ, промышленныхъ классовъ. Подобно тому, какъ въ Англіи послѣ послѣдняго проблеска поэзіи феодальнаго режима, въ видѣ неоромантизма (Вальтеръ-Скоттъ, Байронъ), воцаряется натуральный романъ на почвѣ всемогущей англійской буржуазіи, въ лицѣ такихъ крупныхъ представителей, какъ Диккенсъ, Тэккерей, Джорджъ Эллиотъ и проч., подобно тому, какъ во Франціи, вскорѣ послѣ первой революціи, даровавшей господство промышленнымъ классамъ, возникла подобнаго-же рода школа натурального романа въ лицѣ Бальзака, Стендаля, Флобера и Зола, точно такъ-же и у насъ, въ свою очередь, достаточно оказалось перемѣщенія центра умственнаго движенія изъ великовѣтскихъ слоевъ общества въ среду мелкаго дворянства и разночинства, чтобы тотчасъ-же возникла натуральная школа, воцарилась поэзія мелочей и дрызгъ повседневной жизни, и мы видимъ, что представитель этой школы, Гоголь, является самъ всецѣло выходящимъ изъ этой среды и по своему происхожденію, и по своему воспитанію, и по всѣмъ обстоятельствамъ своей жизни.

Судя по всему этому, можно ожидать, что и натуральная поэзія мелочей и дрызгъ жизни имѣетъ крайне относительное значеніе и преходящее существованіе. Она, конечно, будетъ процвѣтать и господство-

вать до тѣхъ только поръ, пока центръ умственнаго движенія будетъ сосредоточиваться въ средѣ промышленныхъ классовъ. Передвиженіе-же этого центра въ иные слои общества, напримѣръ, въ народные, непременно должно отзываться въ искусствѣ появленіемъ новыхъ типовъ поэзіи, соответствующихъ этимъ слоямъ. Первообразы этихъ типовъ мы и теперь впрочемъ можемъ наблюдать, какъ, съ одной стороны, въ собирательно-народномъ творчествѣ, такъ и въ произведеніяхъ поэтовъ выходцевъ изъ народа, каковы: Кольцовъ, Шевченко, Никитинъ, Борнсъ и проч. Замѣтите, что, несмотря на то, что поэты эти оригинальны до крайности и вносятъ совершенно свѣжія струи въ литературу тѣхъ обществъ, среди которыхъ появляются, они стоятъ совершенно особняками, не дѣлають пока переворотовъ въ той сферѣ поэзіи, къ которой принадлежатъ. Такъ, напримѣръ, мы видимъ, что ни Кольцовъ, ни Шевченко ни мало не помѣшали появленію послѣ нихъ лиръ Ап. Майкова, Фета, Тютчева и пр. въ такой степени, въ какой Жуковский съ Пушкинымъ помѣшали трескучимъ одамъ, поэмамъ и трагедіямъ въ ложно-классическомъ духѣ, или въ какой степени Гоголь помѣшалъ появленію романовъ въ духѣ Полевого или Загоскина съ Кукольниковъ. Это происходитъ, конечно, отъ того, что въ средѣ умственнаго движенія общества и до сихъ поръ преобладають слои, для которыхъ пушкинская муза роднѣе кольцовской. Такъ мы и до сихъ поръ видимъ; если появляется молодой лирикъ изъ привилегированныхъ классовъ, то онъ не станетъ подражать Кольцову или Никитину, а будетъ придерживаться мотивовъ и формъ лирики, выработанныхъ пушкинской традиціей, тогда какъ выходцы изъ народа начинаютъ обыкновенно подражаніемъ Кольцову. Стоитъ обратить при этомъ вниманіе и на то, что поэзія всѣхъ этихъ выходцевъ изъ народа, этихъ первыхъ пионеровъ будущихъ поэтическихъ типовъ, не подходитъ ни подъ одну изъ существующихъ до нынѣ эстетическихъ доктринъ. Это — отнюдь не поэзія прекрасныхъ образовъ, изысканныхъ формъ и выражений и тѣмъ менѣе — поэзія мелочныхъ деталей жизни. При своей крайней, чисто младенческой простотѣ, чуждая всякихъ изысканныхъ вычурностей, она отличается чрезвычайной сжатостію и, вмѣстѣ съ тѣмъ, могучей силой страстности. Отъ нея такъ и вѣетъ упругою крѣпостью мускуловъ, развитыхъ земледѣльческимъ трудомъ, и свѣжестью непочатыхъ и необятныхъ душевныхъ силъ. Она изображаетъ предметы крупными общими чертами, избѣгая мелкихъ деталь-ныхъ штриховъ и тонкихъ оттѣнковъ различныхъ душевныхъ движеній. Видно, что она вышла изъ среды людей, слишкомъ занятыхъ, чтобы предаваться празднымъ созерцаніямъ и подолгу останавливаться на каждой черточкѣ жизни. Природа въ ней если и описывается, то въ тѣсной связи съ жизнію человѣка и въ ея вліяніи на эту жизнь. Общее содержаніе ея заключается отнюдь не въ восторженномъ созерцаніи прекраснаго и не въ тщательномъ изображеніи дѣйствительности во всѣхъ ея мельчайшихъ подробностяхъ, а въ глубокой, сурово-скорбной думѣ о жизни и судьбѣ человѣка, о борьбѣ съ людскими несправдами и о прискорбномъ преобладаніи кривды надъ цвѣтущемъ.

При всемъ этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, конечно, не однимъ складомъ жизни и характеромъ тѣхъ или другихъ слоевъ общества опредѣляются типы поэзій. Они въ значительной степени видоизмѣняются и сложняются, смотря по характеру эпохи. Такъ, напримѣръ, примите во вниманіе, что во всѣхъ поэтическихъ произведеніяхъ Западной Европы послѣдней четверти прошлаго столѣтія и первой четверти настоящаго про-обладаетъ наклонность къ грандіозному въ изображеніяхъ, какъ жизни человѣческой, такъ и природы. На сцену выступаетъ передъ вами цѣлый рядъ титаническихъ личностей, представляющихъ въ себѣ какъ бы фокусы всего человѣчества, каковы Фаустъ, Чайльд-Гарольдъ, маркизъ Поза и проч. Они обставляются соответствующею, величественною обстановкою: сюжеты произведеній развиваются постоянно то среди громадѣющихся скалъ и вѣчныхъ снѣговъ Альпъ, то среди бушующихъ волнъ океановъ, то въ дѣвственныхъ лѣсахъ тропической природы, то подъ гигантскими сводами средневѣковыхъ храмовъ или замковъ, или среди обвитыхъ плющами и миртами развалинъ классической древности. Въ общемъ своемъ содержаніи всѣ эти произведенія трактуютъ *en grand* о судьбахъ всего человѣчества, объ основныхъ началахъ человѣческой природы и вѣковѣчныхъ явленіяхъ жизни. Нѣтъ сомнѣнія, что такой характеръ поэзій лежитъ въ тѣсной связи съ общимъ настроеніемъ эпохи, въ которую Европа переживала двойной кризисъ, философскій и политическій, въ которую жизнь ежедневно выдвигала чрезвычайныя событія, катастрофы и перевороты, всѣ страсти были взволнованы до послѣдней крайности и воображеніе крайне возбуждено и напряжено. Правда, что и послѣдующее пятидесятилѣтіе, составляющее середину нынѣшняго столѣтія, не лишено своего рода чрезвычайныхъ событій: стоитъ припомнить три революціи, пережитыя Франціею съ ужасами іюльскихъ дней и коммуны, американскую войну за освобожденіе негровъ, освобожденіе Италіи, крымскую кампанію, германо-французскую войну или только-что пережитый терроръ на Балканскомъ полуостровѣ. Но какой-бы ужасъ ни возбуждали въ свое время эти событія въ современникахъ, они далеко не имѣютъ въ ихъ глазахъ того рокового, апокалипсическаго характера, какой представляли событія конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Къ тому-же, всѣ эти событія совершаются маленькими людьми, далеко не рисующимися въ томъ ореолѣ величавой геніальности или трагичности, въ какомъ рисовались такіе дѣятели прошлаго вѣка, какъ Уашингтонъ, Наполеонъ I, Суворовъ, Робеспьеръ, Маратъ, Дантонъ и проч. Они возбуждаютъ въ насъ не восторженное удивленіе или ужасъ, а смѣхъ и презрѣніе своими смѣшными слабостями въ мѣщанскомъ духѣ, въ родѣ мелочнаго тщеславія, погони за наживою, интригантства и передергиваній чисто-шуллерскаго характера, жалкаго малодушія въ роковыхъ минуты и проч. А главное дѣло, мы слишкомъ умудрены опытомъ, чтобы каждое событіе, выходящее изъ обыденнаго уровня, встрѣчать, какъ возрожденіе всего человѣчества и начало новой эры. Мы очень хорошо впередъ предугадываемъ, что, сколько ни было-бы сожжено пороха, разрушено домовъ и пролито крови, въ концѣ-концовъ, надъ всѣ-

ми развалинами совершившихся катастрофъ, все-таки, восторжествуетъ единственный, истинный владыка нашего вѣка—купецъ, съ аршиномъ въ одной рукѣ и мѣшкомъ золота въ другой. Немудрено, что всѣ вышеупомянутыя, чрезвычайныя событія нашего времени нисколько не мѣшаютъ европейской жизни въ общемъ своемъ теченіи имѣть сѣренскій характеръ заурядности мирныхъ устоевъ буржуазнаго прозябанія. Куда ни обернетесь, повсюду вы наткнетесь на купца, афериста, мелкаго промышленника, биржеваго игрока и шулера. Что-же мудренаго, что и поэзія спустилась нѣсколькими тонами ниже: вмѣсто того, чтобы изображать судьбы человѣчества *en grand*, занялась анализомъ мелочей и дразгъ буржуазной жизни, и вмѣсто того, чтобы выводить на сцену Валленштейновъ, Манфредовъ или Іоаннъ д'Аркъ, героями своими избрала Пиквикиковъ, Ругоновъ, Чичиковыхъ, Ревеккъ Шарпъ и проч.

Не малое влияніе на созданіе, въ настоящемъ случаѣ, не общихъ и гуртовыхъ, но личныхъ, индивидуальныхъ типовъ поэзій имѣютъ, конечно, частныя условія жизни того или другого поэта. Но здѣсь мы вступаемъ въ такую необъятную область, что, изъ боязни разбросаться и запутаться въ массѣ конкретныхъ явленій, я считаю необходимымъ немедленно-же перейти къ главному предмету своего настоящаго письма—къ анализу поэтическаго творчества сошедшаго въ прошломъ году въ могилу графа Алексѣя Толстого. Его поэтическія произведенія, въ связи съ біографическими данными, покажутъ намъ, какія общія и частныя условія жизни и какъ вліяли на творчество этого современнаго намъ поэта и что они изъ него сдѣлали. Я избираю въ настоящемъ случаѣ для своего анализа гр. А. Толстого не только потому, что онъ недавно умеръ и послѣ его смерти изданы были въ прошломъ году всѣ его стихотворныя произведенія. Это только поводъ. Главное-же дѣло въ томъ, что гр. А. Толстой, какъ поэтъ, представляется мнѣ весьма рѣзкимъ и опредѣленнымъ типомъ для моего анализа.

Но прежде, чѣмъ мы займемся поэтическими произведеніями гр. А. Толстого, мы обратимъ вниманіе на тѣ автобіографическія свѣдѣнія о его жизни, которыя онъ изложилъ въ своемъ письмѣ къ флорентійскому профессору де-Губернатису, помѣщенномъ въ началѣ послѣдняго изданія его стихотвореній. При всей своей краткости и сжатости, свѣдѣнія эти столь характерны, что даютъ вполне ясное и опредѣленное понятіе объ условіяхъ жизни поэта и вліяніи этихъ условій на его творчество. Итакъ, что-же мы видимъ изъ этихъ свѣдѣній? Мы видимъ, во-первыхъ, что гр. Толстой родился и всю жизнь прожилъ исключительно въ самыхъ великосвѣтскихъ кругахъ общества. Затѣмъ мы видимъ, что хотя онъ родился въ Петербургѣ (въ 1817 году), но еще шестинедѣльнымъ увезли его въ Малороссію мать и дядя его съ материнской стороны, Алексѣй Перовскій, который, замѣтьте, былъ человѣкъъ образованный, большой любитель изящныхъ искусствъ, и принималъ участіе въ русской литературѣ, въ которой извѣстенъ подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго. Итакъ, родиною своею гр. А. Толстой въ полномъ правѣ могъ считать Малороссію, гдѣ съ шестинедѣльнаго возраста онъ провелъ въ юнѣтніи родите-

лей первые восемь или девять лѣтъ своей жизни. Дѣтство графа прошло, какъ онъ самъ говоритъ, чрезвычайно счастливо и оставило въ немъ одни свѣтлыя воспоминанія. И еще-бы: конечно, попеченіями любящихъ его нѣжно родителей онъ былъ тщательно огражденъ отъ всѣхъ непріятныхъ столкновений и шероховатостей жизни: это была нѣжная гусеница, бережно окутанная въ вату, чтобы она не могла подвергнуться ни малѣйшему толчку или грубому прикосновенію стѣнъ. Онъ не имѣлъ въ своемъ дѣтствѣ даже сверстниковъ, отношенія къ которымъ, въ видѣ насмѣшекъ, поддразниваній, обидъ, ссоръ и потасовокъ, могли-бы доставить ему первые тяжкіе опыты жизни. Онъ росъ въ полномъ одиночествѣ среди изящной обстановки, среди роскошной малороссійской природы, и очень понятно, что, при такихъ условіяхъ, въ немъ рано развилась мечтательность, причемъ воображеніе его начало создавать самыя причудливыя и фантастическія грезы, своею обольстительностію вполне соответствующія изяществу обстановки окружающей его жизни. Для большей наглядности я считаю не лишнимъ иллюстрировать характеристику дѣтства поэта извлеченіемъ изъ стихотворной повѣсти его „Портретъ“. Хотя я и не имѣю права утверждать, чтобы въ повѣсти этой гр. А. Толстой изобразилъ свое собственное дѣтство, но, тѣмъ не менѣе, мнѣ кажется, что, хотя-бы и при нѣкоторыхъ иныхъ условіяхъ и подробностяхъ домашней обстановки, дѣтство графа имѣло немало общаго съ описаннымъ въ „Портретѣ“, и несомнѣнно, что на послѣднемъ отражаются слѣды воспоминаній перваго. Вотъ что мы читаемъ въ вышеупомянутой повѣсти. Послѣ описанія казарменной архитектуры фасада родительскаго дома героя, поэтъ говоритъ:

«но внутри  
Характеръ свой прошедшаго столѣтъя  
Дождь сохранилъ. Покоя два, иль три  
Могли-бъ восторга вызвать междоусь  
У знатока. Изъ бронзы фонари  
Въ стѣнахъ висѣли, и любилъ смотреть я,  
Хоть былъ тогда въ искусствѣ не толковъ,  
На линіи стѣны и форму потолковъ.

\* \*

Родителей своихъ я видѣлъ мало;  
Отецъ былъ занятъ; братьевъ и сестеръ  
Я не знавалъ; мать много выѣжала;  
Ворчали вѣчно теткы; съ раннихъ поръ  
Привыкъ одинъ бродить я въ залъ изъ зала  
И населять мечтами изъ просторъ.  
Такъ подвиги, достойные романа,  
Вообразить себѣ я началъ рано.

\* \*

Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была  
Отъ мамы мнѣ неясна и противна.  
Жизнь, какъ она вокругъ меня текла,  
Все въ той-же протѣ движжась безпрерывно,  
Все, что зовутъ серьезныя дѣла, —  
Я ненавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно.  
Не юворю, что въ этомъ былъ я правъ,  
Но видно такъ ужъ мой сложился нравъ.

\* \*

Пѣтлы у насъ стояли въ разныхъ залахъ:  
Желто-фіолетъ много золотыхъ,  
И много гіацинтовъ, синихъ, алыхъ,  
И полевыхъ, и блѣдно-голубыхъ;  
И я, міровъ искатель небывалыхъ,

Любилъ вникать въ благоуханье ихъ,  
И въ каждомъ запахѣ индивидуальный  
Мнѣ музыкой какъ будто вѣялъ дальной.

\* \*

Въ иные-жъ дни, прервавъ мечтаній сонъ,  
Случалось мнѣ очнуться, въ удивленіи,  
Съ цѣпками въ руки. Какъ мной былъ сорванъ онъ —  
Не помнилъ я; но въ чудный видѣнья  
Былъ запахомъ его я погруженъ.

Такъ превращало мнѣ воображеніе  
Въ волшебный міръ нашъ скучный старый домъ —  
А жизнь межъ тѣмъ шла прежнимъ чередомъ.

Къ этимъ галлюцинаціямъ, внушаемымъ полнымъ одиночествомъ мальчика среди роскошной и изящной обстановки, прибавьте еще обаяніе малороссійской природы, о которомъ гр. А. Толстой считаетъ нужнымъ два раза замѣтить въ своей автобіографіи. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что мѣстная природа, среди которой онъ жилъ, много содѣйствовала развитію въ немъ мечтательности и склонности къ поэзіи: „Воздухъ и видъ нашихъ большихъ лѣсовъ, страстно любимыхъ мною, оставили во мнѣ глубокое впечатлѣніе, имѣвшее вліяніе на мой характеръ и жизнь и сохраняемое мною до сей поры“. Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что, возвращаясь порою въ деревню, гдѣ провелъ первые годы, онъ никогда не могъ видѣть тѣхъ мѣстъ безъ особеннаго волненія.

При такихъ условіяхъ жизни, въ мальчикѣ очень рано начало обнаруживаться поэтическое призваніе.

«Съ шестилѣтняго возраста, — говоритъ гр. А. Толстой: — началъ я марать бумагу и писать стихи — такъ было поражено мое воображеніе произведеніями нашихъ лучшихъ поэтовъ, найденныхъ мною въ какомъ-то толстомъ сборникѣ, дурно напечатанномъ и плохо переплетенномъ въ грязную красную обертку. Видъ этой книги отпечатлѣлся въ моей памяти и заставлялъ биться сердце всякій разъ, когда она мнѣ снова попадалась на глаза. Я таскалъ ее, бывало, съ собою всюду и пряталъ въ садъ или въ лѣсу, чтобы, лежа подъ деревьями, изучать ее часами. Скоро я зналъ ее наизусть; я упивался музыкою разнообразныхъ романсовъ и усвоилъ себѣ ихъ технику. Какъ ни были неглины мои первые опыты, я долженъ, однако, сказать, что въ метрическомъ отношеніи они были безупречны».

Когда мальчику было восемь или девять лѣтъ, его повезли въ Петербургъ, гдѣ онъ былъ представленъ ко двору и допущенъ въ число дѣтей, составлявшихъ воскресное общество Цесаревича (покойнаго императора Александра Николаевича). Но съ слѣдующаго же года начинаются постоянныя странствованія его съ родителями за-границей, имѣвшія огромное вліяніе на эстетическое развитіе и окончательное углубленіе его въ міръ прекрасныхъ образовъ искусства. Первое путешествіе было совершено въ Германію. „Во время пребыванія нашего въ Веймаръ, — говоритъ гр. Толстой, по поводу этого путешествія: — дядя свелъ меня съ Гете, къ которому я инстинктивно проникся величайшимъ почтеніемъ за ту манеру, съ которою онъ говорилъ. Отъ этого посѣщенія у меня сохранились въ памяти величественныя черты Гете и еще то, что я сидѣлъ у него на колѣняхъ“.

Но самое роковое, въ смыслѣ нравственнаго и эстетическаго вліянія, наложившаго печать на всю жизнь поэта, было путешествіе въ Италію на 14 году его жизни.



«Мнѣ было 13 лѣтъ, говорить гр. А. Толстой:— когда я съ родными сдѣлалъ первое путешествіе въ Италію. Невозможно изобразить силы моихъ впечатлѣній и переворота, совершившагося въ моей душѣ, когда въ первый разъ увидѣлъ я тѣ сокровища, о которыхъ имѣлъ уже смутныя понятія, прежде нежели встрѣтился съ ними. Мы начали съ Венеціи, гдѣ мой дядя сдѣлалъ большія покупки въ старомъ дворцѣ Гримани. Между прочимъ, былъ купленъ бюстъ молодого фавна, приписываемый Микель-Анджело, великолѣпный экземпляръ, который когда-либо мнѣ случалось видѣть: онъ находится теперь въ Петербургѣ и принадлежитъ гр. Павлу Строгонову. Когда статую перенесли въ нашъ отель, я не отходилъ отъ нея. Я вставалъ ночью посматрѣть на нее, и мое воображеніе мучилось нелѣпыми подозрѣніями. Я задавалъ себѣ вопросъ, что мнѣ дѣлать, если вспыхнетъ пожаръ въ отелѣ, и пробовалъ, могу-ли я, въ случаѣ, унести статую на своихъ рукахъ. (Не правда-ли, какъ это опять-таки напоминаетъ повѣсть «Портретъ»? Невольно приходило въ голову, что не себя-ли изобразилъ поэтъ въ этомъ образѣ мальчика, крадущагося ночью, когда все въ домѣ заснуло, на фантастическое свиданіе съ таинственнымъ портретомъ, въ который онъ мечтательно влюбился, какъ въ живое существо). Изъ Венеціи мы отправились въ Миланъ, Флоренцію, Римъ и Неаполь; при каждомъ посѣщеніи мой восторгъ и любовь къ искусству возрастали; дѣло дошло до того, что, по возвращеніи въ Россію, я впалъ въ настоящую тоску по Итали, доходила до какого-то отчанія, которое, заставляло меня днемъ отказываться отъ пищи, а ночью рыдать, когда мои сны заносили меня въ мой потерянный рай».

По этимъ выдержкамъ изъ автобіографіи гр. А. Толстого вы можете судить, что все воспитаніе его въ дѣтствѣ какъ будто нарочно и вполне систематично было направлено такъ, чтобы отвлечь его отъ всякихъ непосредственныхъ отношеній къ живой дѣйствительности и окончательно поселить въ отвлеченномъ-мечтательный міръ обольстительно-прекрасныхъ грезъ. Онъ, по всей справедливости, могъ къ самому себѣ отнести тѣ стихи своей повѣсти (Портретъ), которые онъ вложилъ въ уста своего героя:

Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была  
Отъ малыхъ лѣтъ несносна и противна.  
Жизнь, какъ она вокругъ меня текла,  
Все въ той-же провѣй движась безпрерывно,  
Все, что зовутъ серьезныя дѣла—  
Я ненавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно...

И дѣйствительно, трудно представить себѣ жизнь, болѣе отрѣшенную отъ дѣйствительности и бѣдную внѣшними событіями, чѣмъ жизнь гр. А. Толстого, Семнадцати лѣтъ выдержалъ онъ выпускной экзаменъ въ московскомъ университетѣ. Въ 1836 году, по желанію матери, былъ прикомандированъ къ русскому посольству при нѣмецкомъ сеймѣ во Франкфуртъ-на-Майнѣ; позже поступилъ во II отдѣленіе собственной Его Величества канцеляріи. Въ 1855 году онъ записался въ число охотниковъ, образовавшихъ стрѣлковый полкъ императорской фамилии съ тѣмъ, чтобы отправиться въ крымскую кампанію. Но полкъ не имѣлъ случая быть въ дѣлѣ и достигъ только Одессы, гдѣ потерялъ болѣе тысячи человекъ отъ тифа, полученнаго также и гр. Толстымъ. Наконецъ, слѣдуетъ послѣднее замѣчательное событіе въ жизни гр. Толстого—событіе, владущее свою печать на всю его послѣдующую жизнь, событіе, которымъ самъ онъ гордился, какъ своего рода нравственною доблестью,

которое подчеркивали какъ его приверженцы, такъ и порицатели, одни прославляя его за него, другіе осуждая.

«Императоръ Александръ II, говорить гр. А. Толстой въ своей біографіи:— во время коронаціи въ Москвѣ, изволилъ назначить меня своимъ флигель-адъютантомъ. Но такъ какъ я вовсе не готовился быть военнымъ и, поступая въ стрѣлки, имѣлъ намѣреніе оставить службу тотчасъ по окончаніи войны, то я и представилъ мои сомнѣнія Его Величеству, и Государь Императоръ принялъ мою просьбу съ обычнымъ ему благодушіемъ и назначилъ меня егермейстеромъ двора».

Это былъ отказъ отъ блестящей карьеры ради исключительнаго посвященія всей жизни служенію мундштуку. Я уже сказалъ выше, что гр. А. Толстой самъ гордился этимъ подвигомъ, такъ что даже воспѣлъ его въ цѣлой поэмѣ, подъ заглавіемъ «Іоаннъ Дамаскинъ». Когда калифъ предложилъ Іоанну быть наместникомъ его и владѣть полцарствомъ, Іоаннъ отвѣчалъ ему:

Твой щедрый даръ,  
О, государь, пѣвцу не нуженъ;  
Съ иною силою онъ друженъ;  
Въ его груди пылаетъ жаръ,  
Которымъ зиждется созданье;  
Служить Творцу—его призванье...

а въ концѣ этой высокопарной рѣчи, Іоаннъ возмолвилъ:

О, отпусти меня, каліеъ,  
Дозволь дышать и пѣть на волѣ!

Я сказалъ уже выше, что приверженцы гр. А. Толстого очень высоко ставятъ это самоотверженіе поэта въ пользу своего поэтического призванія, между тѣмъ какъ порицатели осуждаютъ графа за индифферентизмъ его къ дѣлу служенія и принесенія пользы отечеству. Они показываютъ, какъ это всегда при такомъ случаѣ дѣлается, на примѣръ Англіи, въ которой поэтамъ, ученымъ и философамъ призваніе ихъ нисколько не мѣшаетъ быть въ тоже время государственными людьми, полководцами, банкирами и т. п.

Что касается до меня, то фактъ отказа гр. А. Толстого отъ блестящей карьеры я принимаю совершенно индифферентно, въ такой же степени индифферентно, какъ если-бы мнѣ сказали, что графъ А. Толстой отказался отъ блестящей партіи или выгодной покупки отличнаго имѣнія, и предложили-бы мнѣ при этомъ рѣшить вопросъ: какое влияние на поэтическое творчество графа могли имѣть подобные его поступки? Другое дѣло, если-бы вопросъ становился на нравственную почву, т. е. если-бы дѣло шло о рѣшеніи того, что имѣлъ-ли нравственное право гр. А. Толстой отказываться отъ практическаго служенія отечеству ради исключительнаго пристрастія къ изящнымъ искусствамъ, или чѣмъ могъ быть онъ полезенъ для Россіи: въ качествѣ-ли государственнаго мундштука, или поэта? Не знаю ужъ, въ какой степени были бы разрѣшены подобные вопросы, но, по крайней мѣрѣ, я понимаю ихъ смыслъ и значеніе. Но насъ, въ настоящемъ случаѣ, занимаютъ вовсе не нравственные приговоры о томъ, достойно или недостойно, правильно или неправильно направлять и употребить свою жизнь гр. А. Толстой, а опредѣленіе характера его поэтическаго творчества. И вотъ съ



этой точки зрѣнія я и утверждаю, что отказъ графа отъ блестящей карьеры не имѣетъ ровно никакого значенія. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь вы подумайте только, что могла-бы принести поэтическому творчеству графа самая блестящая карьера? Какой-бы важный постъ онъ ни занялъ и сколько-бы ни принесъ онъ пользы государству на этомъ постѣ, во всякомъ случаѣ, дѣятельность его по общему характеру устройства нашей государственной службы, начиная съ самыхъ низшихъ и до самыхъ высшихъ инстанцій, была-бы крайне однообразна, суха, монотонна, вся состояла-бы изъ подписанія бумагъ, написанныхъ канцелярскимъ слогомъ, дѣловыхъ разговоровъ съ личностями, сопряженными къ службѣ, да какихъ-нибудь ревизіонныхъ поѣздокъ, обставленныхъ узкими рамками официального декораума. Я не думаю, чтобы подобнаго рода дѣятельность могла-бы служить къ особенному обогащенію поэтического творчества новыми, свѣжими и сильными впечатлѣніями. Въ жизни графа, какъ это было у насъ издревле, со временъ Державина, какъ это и теперь бываетъ зачастую въ жизни служащихъ поэтовъ, было-бы, конечно, непреходящее раздвоеніе: съ одной стороны проза, съ другой поэзія; по утрамъ скучныя и сухія кипы предписаній, отиошеній, внушеній и распоряженій, а по вечерамъ или почамъ, въ часы свободнаго досуга, сладкія бесѣды съ музами.

Я не отрицаю, чтобы люди не могли вмѣщать въ себя по нѣскольку призваній и страстей. Поэтому я вполне допускаю, что иной поэтъ можетъ съ такимъ же рвеніемъ и увлеченіемъ по утра заниматься своими служебными обязанностями, съ какими по вечерамъ онъ бряцаетъ на лирѣ. Но мы видѣли, что гр. А. Толстой съ самаго младенчества былъ совсѣмъ не такъ воспитанъ, чтобы быть способнымъ вмѣщать въ себя служебный жаръ вмѣстѣ съ поэтическимъ. Мы видѣли, что онъ весь до мозга костей былъ проникнутъ служеніемъ музамъ, только жилъ и дышалъ, что своими волшебными мечтами; все же, что зовутъ серьезныя дѣла, онъ ненавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно. Понятно, что такимъ образомъ онъ съ дѣтства былъ предуготованъ къ отказу отъ всякихъ блестящихъ карьеръ, и отказъ этотъ можно считать какимъ-либо особеннымъ нравственнымъ подвигомъ въ такой же степени, въ какой съ вашей стороны было-бы достойно удивленія, что, будучи музыкантомъ, вы не пошли-бы въ моряки.

Если гр. А. Толстой въ сущности ровно ничего не потерялъ для развитія своего поэтическаго творчества, вслѣдствіе того, что отказался отъ обязанности посвящать нѣсколько часовъ дня занятіямъ, не имѣющимъ ничего общаго съ его поэтическою дѣятельностью, то другой вопросъ: приобрѣлъ-ли онъ что либо своимъ отказомъ? принесло-ли какую-нибудь пользу его творчеству исключительное посвященіе всего своего времени служенію музамъ? На первый поверхностный взглядъ казалось бы, что какъ же не принести пользы: чего же лучше, когда человѣкъ весь сосредоточивается на одномъ какомъ-нибудь дѣлѣ, всего себя отдаетъ ему, ничѣмъ не развлекаясь постороннимъ? При такихъ только условіяхъ, конечно, дѣло и можетъ быть совершенно вполне

успѣшно и принести наиболѣе плодовъ. Такъ-то оно такъ, да не всегда только бываетъ такъ. Вотъ тутъ-то именно и раскрывается передъ нами все необъятное различіе искусства отъ всѣхъ другихъ отраслей человѣческой дѣятельности. Другое совсѣмъ дѣло — ученый, философъ, медикъ, инженеръ и пр., и пр. Тѣ, конечно, чѣмъ болѣе сосредоточиваются въ своихъ занятіяхъ и чѣмъ болѣе посвящаютъ имъ времени, тѣмъ дѣло у нихъ идетъ успѣшнѣе. Искусство же — совершенно наоборотъ: требуетъ какъ можно большаго разнообразія жизни. Чѣмъ болѣе поэтъ сталкивается съ разнохарактерными явленіями дѣйствительности, чѣмъ болѣе самъ онъ выноситъ всевозможныхъ испытаній и тревоженій, тѣмъ болѣею массою живыхъ впечатлѣній обогащается его творчество и тѣмъ живѣе, разностороннѣе и могучѣе становится оно. Вы посмотрите на большинство первостепенныхъ поэтовъ всѣхъ странъ; возьмите во вниманіе жизнь Шекспира, Сервантеса, Мольера, Байрона, Гейне, Шиллера, Гете, Жоржъ-Занда, Виктора Гюго, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и пр. и пр. Биографіи всѣхъ этихъ поэтовъ отличаются крайнею пестротою внѣшнихъ событій ихъ жизни. Это вовсе не кабинетные затворники, всю жизнь проведеніе въ созерцаніи прекрасныхъ образовъ и дорожащіе каждою минутою, потерянною для служенія музъ, а напротивъ того — вѣчные скитальцы, которые сегодня не знаютъ, гдѣ будутъ завтра, искатели приключеній, изгнанники, страстные натуры, которые, подобно, какъ мотыльки на огонь, бросаются постоянно стремглавъ въ самый что ни есть бурный водоворотъ жизни. Если вы начнете слѣдить за событіями ихъ жизни, за тѣмъ, что ихъ занимало, интересовало, увлекало, начнете перечитывать массу ихъ писемъ или дневниковъ, то вы совершенно подчасъ забудете, что передъ вами поэты, или придете къ заключенію, что искусство занимало въ ихъ жизни самое ничтожное мѣсто, стояло на самомъ заднемъ планѣ. Пушкинъ былъ совершенно правъ въ своемъ извѣстномъ стихотвореніи:

Пока не требуетъ поэта  
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,  
Въ заботахъ суетнаго свѣта  
Онъ малодушно погрузонъ,  
Молчитъ его святая лира,  
Душа вкушаетъ хладный сонъ,  
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,  
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.

Къ этой формулѣ отношенія жизни поэта къ его творчеству пужно развѣ присоединить только то, что, когда поэтъ малодушно погруженъ въ заботы суетнаго свѣта, когда межъ всѣхъ дѣтей ничтожныхъ міра онъ всѣхъ ничтожнѣе, эти моменты и представляются самыми роковыми для развитія его творчества. Въ эти моменты именно творчество его и обогащается новыми, живыми образами, развивается, растетъ. Самая-же жертва поэта Аполлону — это уже больше ничего, какъ заключительный актъ изверженія накопившагося матеріала, конечный результатъ всего, что вынесъ поэтъ во время своего погруженія въ заботы суетнаго свѣта.

И вотъ, если мы, принявши въ расчетъ это важное условіе для развитія творчества, обратимся къ произведеніямъ графа А. Толстаго въ связи съ его

жизнию, мы тотчас и увидимъ, чего ему не доставало. Окажется, что не отсутствіе служебной карьеры мѣшало полному развитію его творчества, а недостатокъ разнообразія впечатлѣній и личныхъ опытовъ. Жизнь его и безъ того уже сдвлена была въ узкую колею великосвѣтскаго круга, а онъ еще болѣе сѣузилъ ее, посвящая большую часть времени замкнутому созерцанію прекрасныхъ образовъ искусствъ всѣхъ странъ и временъ. Теперь вы подумайте: какого рода поэта могли выработать подобныя условія? И раньше даже заглядывая въ его произведенія, однимъ логическимъ выводомъ а priori можно рѣшить этотъ вопросъ. Творчество поэта можетъ давать вамъ только то, что получаетъ. Если-же мы видимъ, что оно по большей части возбуждается вовсе не какими-либо непосредственными впечатлѣніями жизни, а отраженіями чуждыхъ впечатлѣній въ различныхъ произведеніяхъ искусства, такое творчество, очевидно, должно быть лишено всякой оригинальности и самобытности; оно должно непрестанно измѣняться, какъ хамелеонъ, смотря потому, какіе поэты припираютъ его въ ту или другую минуту. Произведенія поэта подобнаго типа должны представляться калейдоскопомъ, варіирующимъ на тысячу ладовъ образы, мотивы, метафоры и фигуры поэтовъ всѣхъ странъ и временъ, но въ калейдоскопѣ этомъ въ то же время вы не найдете ни одного камешка или стеклышка, которые представлялись бы самостоятельнымъ, особеннымъ вкладомъ самого поэта. Это—чуждаемое растеніе, которое способно оказываться питаться сокомъ какого угодно дерева, но только не дождетесь вы отъ него ни росинки его собственного сока. Да и странно было бы ожидать и требовать того, чего оно дать не въ силахъ, потому что у него нѣтъ почвы подъ ногами, да кромѣ того нѣтъ и корней, которыми оно могло бы утвердиться въ какой-либо почвѣ.

Наша литература, особенно прежнихъ, до-гоголевскихъ временъ, когда она сосредоточивалась исключительно почти въ великосвѣтскихъ слояхъ общества и когда любителямъ изящнаго было особенно удобно и ничто не мѣшало вести замкнутую жизнь созерцанія прекрасныхъ образовъ искусства различныхъ странъ и эпохъ, была обильна поэтами подобнаго чуждаемаго типа. Мы видимъ, что даже и Пушкинъ славился способностью принимать на себя личины какихъ угодно западныхъ поэтовъ: то онъ корчилъ изъ себя Шенье, то Байрона, то Гете, то Данта и пр., и пр. Но онъ жилъ слишкомъ разнообразною и бурною жизнію, и судьба слишкомъ мѣшала ему сосредоточиваться въ кабинетной художественной созерцательности, чтобы изъ него могъ выработаться исключительно типъ чуждаемаго творчества. Вслѣдствіе этого, творчество его, обогащенное массою живыхъ и непосредственныхъ впечатлѣній, особенно въ эпоху скитальчества по югу Россіи и затѣмъ житы въ деревнѣ, создало массу произведеній вполне самобытныхъ, заключающихъ въ себѣ образы и мотивы, принадлежащіе исключительно Пушкину и никакому иному поэту во всемъ мірѣ. Наиболѣе же полнымъ и совершеннымъ представителемъ чуждаемаго творчества, соприсчисленнымъ даже къ лику классическихъ писателей литературы, былъ, безъ сомнѣнія, Жуковский, творчество котора-

го только тогда и возбуждалось во всей своей силѣ, когда онъ переводилъ иностранныхъ поэтовъ или подражалъ имъ. Когда же онъ пытался быть самимъ собою, не Шиллеромъ, не Гете, не Гомеромъ, не Уландомъ или Гебелемъ, а только Жуковскимъ, изъ подъ его пера выливалось нѣчто безцвѣтно-тягучее и приторно-слащавое, сентиментально-плаксивое, риторичное, растяннутое и въ настоящее время совсѣмъ ужъ неудобочитаемое; однимъ словомъ, нѣчто подобное тѣмъ паточнымъ грошовымъ леденцамъ изъ мелочной лавки, которые мы могли сосать въ дѣтствѣ, но на которые въ настоящее время не можемъ безъ ужаса смотрѣть.

Графъ А. Толстой представляется именно такого рода поэтомъ, и его, по всей справедливости, можно назвать Жуковскимъ нашего времени, въ чемъ можетъ убѣдить насъ вполне анализъ его произведеній, къ которому мы теперь и приступаемъ.

Прежде всего, скажемъ нѣсколько словъ о его тенденціозныхъ стихотвореніяхъ, чтобы сразу порѣшить съ небольшою серіею этихъ произведеній, совершенно не свойственныхъ его таланту, и затѣмъ приступить къ такимъ, которыя вполне выражаютъ собою характеръ его творчества.

Общее мнѣніе о графѣ А. Толстомъ въ этомъ отношеніи еще задолго до его смерти утвердилось такое, что графъ А. Толстой не отличался особенною послѣдовательностью и стойкостью относительно гражданскаго направленія своей лиры, что радомъ съ весьма либеральными стихотвореніями вы найдете у него и такія, которыя вполне согласуются съ тенденціями „Русскаго Вѣстника“; найдете и въ славянофильскомъ духѣ, хотя по характеру всей его поэтической дѣятельности, графа А. Толстого никакъ нельзя назвать славянофиломъ. Однимъ словомъ, въ продолженіи своей жизни, графъ успѣлъ раздать всѣмъ сестрамъ по серьгамъ, но ни съ одной сестрой близко не сошелся и не вступилъ въ законный бракъ. Ну и опять-таки одни при этомъ качаютъ головой, приписывая политическую непослѣдовательность графа его недоразвитости, недодуманности, а другіе превозносятъ его, видя въ этомъ же самомъ художественно-философское безпристрастіе поэта, парящаго своею творческою фантазіею превыше всѣхъ условныхъ и преходящихъ тенденцій дня. Самъ графъ А. Толстой объясняетъ свой политическій индифферентизмъ въ небольшомъ стихотвореніи слѣдующаго содержанія:

Двухъ станомъ не боецъ, но только гость случай-  
ный,

За правду я бы радъ поднять мой добрый мечъ,  
Но споръ съ обоими—досель мой жребій тайный,  
И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь;  
Союза полнога не будетъ между нами—  
Не купленный никѣмъ, подъ чѣмъ-бъ ни сталъ я  
знамя,

Пристрастной ревности друзей не въ силахъ снести,  
Я знамени врага отстаивалъ бы честь.

Не правда ли, какъ это темно, неопредѣленно и въ тоже время поверхностно и легкомысленно? Видно, что графъ А. Толстой совершенно не постигалъ, что значить быть привязану къ той или другой партіи, къ тому или другому дѣлу органическому, естественно-свободною связью святыхъ убѣжденій, сросшихся съ

человѣкомъ. Онъ понималъ не иначе, какъ вѣдѣнную связь въ видѣ какой-то клятвы, къ которой нужно быть привлечену со стороны. А ниже еще курьезнѣе: оказывается, что для того, чтобы твердо стоять за своихъ и не отстаивать чести знамени врага, т. е. не быть измѣнникомъ, нужно быть непремѣнно купленнымъ, а такъ какъ графа А. Толстого никто не позавоужалъ купить, то... то, я полагаю, что гр. А. Толстой до конца дней своихъ не догадался, какою возмутительностью онъ нечаянно обмолвился. Я говорю „нечаянно“, потому что никакимъ способомъ не могу допустить, чтобы графъ А. Толстой сознательно могъ обнаружить подобную душевную низость и чтобы на самомъ дѣлѣ онъ былъ присущъ ей. Нечаянность этой обмолвки произошла, по моему мнѣнію, ни изъ чего иного, какъ, именно, изъ того, что графъ никогда и не задумывался о томъ серьезно: что значить органически, душою и тѣломъ принадлежать къ какому-нибудь лагерю? А не задумывался онъ потому, что не было никакихъ побудительныхъ поводовъ, во все не для чего было задумываться ему объ этомъ. Принадлежность къ какому-либо лагерю ему, съ дѣтства и до сѣдѣхъ волосъ погруженному въ міръ волшебныхъ, поэтическихъ грезъ, была совершенно въ такой же степени излишня, какъ и блестящая карьера. При его замкнутой жизни, до него могли долетать изрѣдка кое-какіе неопредѣленные отголоски шума и гамы современной жизни и, когда ему приходило въ голову отражать эти звуки въ своихъ иѣснощѣняхъ, они выходили у него въ той же безсвязности, въ какой доносились до его ушей. И если вы внимательно прочтаете любое изъ подобныхъ произведеній, то вы увидите, что въ каждомъ изъ нихъ главную сущность составляетъ не столько выраженная идея, сколько вѣдѣнная художественность или игривость поэтического образа, причемъ поэтический образъ до такой степени всегда владѣетъ художникомъ, что влечетъ его порою въ такіа дѣбри, въ которыя онъ вовсе и не подумалъ бы самъ по себѣ забираться, еслибы его не завела туда безотчетно художественная фантазія. Такъ, наприимѣръ, возьмите хотя бы его „Пантелея“, который въ свое время произвелъ большую сенсацию. Нѣкоторые напали на него не только за тенденціозность въ московскомъ духѣ, но и за то, что графъ будто бы вздумалъ проповѣдывать тѣлесное наказаніе, побуждая своего Пантелея-цѣлителя не жалѣть палки суковатыя на людей,

Что леченіемъ всякимъ гнушаются,  
Они звона не терпятъ гусярнаго,  
Подай имъ товара базарнаго!  
Все, чего имъ не взвѣсятъ, не смѣрятъ,  
Все, кричатъ они, похоронятъ!  
Только-то, говорятъ, и дѣйствительно,  
Что для нашего тѣла чувствительно;  
И приемы у нихъ дубоватые,  
И ученье-то ихъ грязноватое!

Во мнѣ, по крайней мѣрѣ, стихотвореніе это возбудило одну снисходительную улыбку. Чѣмъ же, подумалъ я, виноватъ мечтательный графъ, что въ его поэтическія заоблачныя сферы буйный вѣтеръ занесъ темные слухи о томъ, что есть какіе-то ехидные люди, которые бѣгаютъ отъ докторовъ и отъ гусярнаго звона, рыскаютъ по базарамъ и что-то тамъ все

покупаютъ?.. Что же касается суковатой палки Пантелея, то что же было дѣлать графу, если его поэтической фантазіи приснился св. Пантелей-цѣлитель, грозящій суковатою палкою. Какое же иное отношеніе къ ехиднымъ людямъ со стороны Пантелея могъ придумать гр. Толстой сообразно этому представленію, какъ не въ видѣ угрозы палкою? Очевидно, что тутъ вовсе и тѣни нѣтъ со стороны поэта какой-либо сознательно-злобной пропаганды чего-либо въ родѣ шпицрутеновъ, а просто-по-просту — игривость поэтического образа, завлекшая поэта въ дикія дѣбри. Не менѣе курьезна и баллада „Потокъ-богатырь“, въ которой шаловливая фантазія поэта вздумала заставить „Потока“ видѣть во снѣ всю русскую исторію во всѣхъ ея періодахъ и, въ концѣ-концовъ, очутиться въ анатомическомъ кабинетѣ медико-хирургической академіи и тамъ прійти вдругъ въ неописанный ужасъ, что стриженныя женщины препарируютъ трупы:

Ужаснулся Потокъ, отъ красавицъ бѣжить,  
А онѣ восклицаютъ эхидно:  
—Ахъ, какой онъ пошлякъ! ахъ, какъ онъ не развѣтъ!

Современности вовсе не видно!  
Но Потокъ говорить, очутись на дворѣ:  
—То-жъ бывало у насъ и на Лысой Горѣ,  
Только вѣдѣны, хоть голы и босы,  
Но, по крайности, есть у нихъ косы!

Что это такое, какъ опять-таки не дикія дѣбри, въ которыя завлекла нашего поэта досужая фантазія? Вѣдь вы подумайте только о всей курьезности вымысла: заставить вдругъ современника Владиміра Святого присутствовать въ анатомическомъ музеѣ XIX столѣтія! Что-жъ удивительнаго, что подобный архаическій герой, покрытый ржавчиной десяти вѣковъ, не только долженъ прійти въ ужасъ при видѣ вскрываемыхъ труповъ, но просто не понять, что такое вокругъ него дѣлается. Но удивительно то, что, создавъ подобную нелѣпую фантазмагорію, поэтъ воображаетъ, что онъ жестоко поражаетъ устами Потока ненавистную ему современность, не замѣчая, что онъ болѣе ничего, какъ только самъ принижается до уровня понятій временъ X столѣтія. Спрашивается теперь: неужели слѣдуетъ смотрѣть на подобныя вещи, какъ на нѣчто серьезное, какъ на что-то продуманное и прочувствованное, какъ на ядовитыя стрѣлы, которыя кого-либо могутъ поразить, а не какъ на мыльные пузыри, главная сущность которыхъ состоитъ вовсе не въ томъ, что въ нихъ заключается, а единственно въ разноцвѣтныхъ отраженіяхъ снаружи? И замѣтите, что подобною галантерейностью отличаются вовсе не одни только тенденціозныя произведенія, преслѣдующія ехидныхъ людей, что

Звона не терпятъ гусярнаго,  
Подай имъ товара базарнаго...

Нѣтъ, возьмите вы стихотворенія, посвященные совсѣмъ инымъ тенденціямъ, и въ нихъ вы найдете ту же бѣдность содержанія и преобладаніе вѣдѣнной игривости фантазіи или формы. Обратите вниманіе, наприимѣръ, на стихотвореніе

Государь ты нашъ батюшка,  
Государь Петръ Алексѣевичъ.

Стихотвореніе это, напечатанное въ „Днѣ“, въ свое время произвело не малую сенсацию, благодаря, конечно, тому, что это былъ первый мало-мальски политическій намекъ, допущенный въ литературу. Но что это такое въ сущности, какъ не самое общее, намозолившее всѣмъ глаза славянофильское мѣсто о непригодности реформъ Петра, выраженное въ „граціозно-игривыхъ и шутивыхъ виршахъ? Неужели и это стихотвореніе можно принимать въ серьезъ, какъ выраженіе зрѣлой, глубокой и серьезной идеи? Меня, по крайней мѣрѣ, эта шутка занимала всегда только со стороны ея формы, и при этомъ я никакъ не могу отрѣшиться отъ мысли, что оно словно нарочно написано для дѣтей четырехъ и пятилѣтнихъ, едва начинающихъ лепетать. По крайней мѣрѣ, сколько мнѣ ни приходилось слышать его, никогда оно не казалось мнѣ столь прелестнымъ, какъ въ устахъ ребенка, декламирующаго:

Госудаль ты нашъ батюска,  
Госудаль Петлъ Алексѣвицъ,  
Что ты изволишь въ котлѣ валить?  
Касицу, матуска, касицу,  
Касицу, судальниа, касицу и проч.

При всемъ этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе вамъ вотъ еще на какое, весьма, по моему, замѣчательное и характеристическое обстоятельство: замѣтите, что единственно серьезное, сильное, прочувствованное, тенденціозное стихотвореніе, о которомъ вы не скажете, что содержаніе въ немъ—дѣло второстепенное, а главная суть заключается въ затѣйливомъ образѣ—это стихотвореніе, носящее заглавіе „Противъ теченія“:

\*\*\*

Други, вы слышите-ль крикъ оглушительный:  
«Сдайтесь, пѣвцы и художники! Кстати-ли  
«Вымыслы ваши въ нашъ вѣкъ положительный?  
«Много-ли васъ остается, мечтатели?  
«Сдайтесь натиску новаго времени!  
«Миръ отрезвился, прошли увлеченія—  
«Гдѣ-жъ устоятъ вамъ, отжившему племени,  
«Противъ теченія?»

\*\*\*

Други, не вѣрьте! Все та-же одинака  
Сила насъ манить къ себѣ неизвѣстная,  
Та-же плѣняетъ насъ пѣнь соловьиная,  
Тѣ-же насъ радуютъ звѣзды небесныя!  
Правда все та-же! Средь мрака ненастнаго,  
Вѣрьте чудесной звѣздѣ вдохновенія,  
Дружно гребите, во имя прекраснаго,  
Противъ теченія! и проч.

Очень понятно, откуда взялась сила и прочувствованность этого стихотворенія. Во всѣхъ прочихъ тенденціозныхъ стихотвореніяхъ дѣло шло о вещахъ, совершенно постороннихъ для поэта, до которыхъ ему въ сущности не было рѣшительно никакого дѣла и насчетъ которыхъ онъ не считалъ интереснымъ и нужнымъ особенно много задумываться. Здѣсь-же совершенно наоборотъ: онъ задѣтъ за живое; дѣло идетъ здѣсь о томъ, что исключительно составляло все содержаніе его жизни—объ искусствѣ. И вотъ въ немъ подымается борецъ отчаянно отстаивающій свое единственное достоинствѣ. Вы видите въ этомъ стихотвореніи того самаго 14-лѣтняго мальчика, который когда-то оберегалъ купленнаго дядю фавна отъ мнимаго пожара. Удивительную цѣльность характера

представляетъ въ этомъ отношеніи графъ А. Толстой. Рѣдко въ комъ вы встрѣтите такую строгую послѣдовательность, проходящую черезъ всю жизнь, съ самаго ранняго дѣтства и до могилы. Разъ посвятивши всю жизнь, всѣ свои помышленія искусству и до гробовой доски не измѣняя своему самоотверженному служенію, несмотря ни на какія препятствія или соблазны, понятно, что онъ только и могъ проникнуться единственнымъ общественнымъ интересомъ: исполнѣ искренно, живо и горячо при видѣ враговъ предмета его пламеннаго поклоненія; только эти враги и могли быть его врагами, только они и были способны вывести его изъ себя. Замѣтите, что и во всѣхъ почти прочихъ тенденціозныхъ стихотвореніяхъ, о чемъ-бы въ нихъ ни шла рѣчь, онъ не упускалъ случая прокричать лишній разъ караулъ противъ дерзновенныхъ покушеній на гуслярный звонъ.

И не злая-ли иронія судьбы, что самые пламенные и самоотверженные любовники рѣдко бывають, въ то-же время, счастливыми любовниками? Вспомните душевныя муки Сальери при горькомъ сознаніи, что

Гдѣ-жъ правота, когда священный даръ,  
Когда бессмертный гений—не въ награду  
Любви горящей, самоотверженья,  
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,  
А озаряетъ голову безумца,  
Гуляки празднаго?..

Точно также и графу А. Толстому за все его пламенное и самоотверженное поклоненіе искусству, за всѣ его труды, усердіе и моленія злая иронія судьбы не дала въ награду такого достоинства, какое одно только и составляетъ всю гордость и почетъ поэта: не дала ему никакой собственной поэтической фязіомоніи и не внушила ему ни одного исполнѣ самобытнаго произведенія. И такая злая насмѣшка судьбы была не однимъ слѣпымъ фатумомъ. Напротивъ того, именно излишнее посвященіе всей жизни художественной созерцательности и было, какъ выше уже объ этомъ я говорилъ, главною причиною этой бѣды.

Въ самомъ дѣлѣ, оставивъ въ сторонѣ вопросъ о тенденціозности, о внутреннемъ содержаніи стихотвореній гр. А. Толстого, будемъ разсматривать ихъ съ одной чисто художественной стороны. Вѣдь стихотворенія, написанныя безо всякой какой-либо философской или политической цѣли, исполнѣ въ духѣ чистаго искусства, самыя невиннѣйшія по своему содержанію, могутъ, тѣмъ не менѣе, быть исполнѣ самобытными, носить неизгладимую печать народности, эпохи и личной индивидуальности поэта. Вы возьмите, наприимѣръ, массу лучшихъ стихотвореній Пушкина, ну, хоть его балладу „Бѣсы“, или стихотвореніе

Сквозъ волнистые туманы  
Пробирается луна...

Стихотворенія эти только и могъ написать, что русскій поэтъ и притомъ русскій поэтъ, жившій въ эпоху Пушкина, когда не существовало еще въ Россіи желѣзныхъ дорогъ, и очевидно, поэтъ этотъ, чтобы написать подобныя стихотворенія, долженъ былъ порядкомъ поѣздить по російскимъ дорогамъ того времени, и притомъ поѣздить не въ какихъ-либо заграничныхъ рессорныхъ экипажахъ, лежа на мягкихъ пуховикахъ и лети на курьерскихъ, а на перекладныхъ и на дол-

гихъ, въ простыхъ ямщицкихъ телѣгахъ—испытать, однимъ словомъ, всѣ невзгоды и всю скуку старинной русской дороги. Букетъ этихъ русскихъ дорожныхъ впечатлѣній и составляетъ всю прелесть, все обаяніе этихъ стихотвореній и всю ихъ самобытность. Или возьмите вы, напримѣръ, „Завѣщаніе“ Лермонтова. Это невиннѣйшее по своему содержанію, отличающееся крайнею простотою и незатѣйливостію, но въ то-же время глубоко трогательное стихотвореніе, способное вызвать въ иномъ читателѣ слезу, отличается въ то-же время самою рѣзкою самобытностію. Написать его могъ, очевидно, только русскій писатель, и притомъ только такой русскій писатель, который потолкался на Кавказъ, подобно Лермонтову, не просто путешествовалъ опять-таки въ комфортабельномъ дормезѣ, любуясь изъ оконъ экипажа на живописныя картины, но именно потолкался и своими глазами видѣлъ и прочувствовалъ, какъ умираетъ затертый судьбою въ кавказскихъ горахъ, простой и безхитростный русскій армейскій офицерикъ. Возьмемъ, наконецъ, Некрасова, и я нарочно указываю въ настоящемъ случаѣ на этого поэта, имѣя въ виду, что въ нѣкоторыхъ литературныхъ лагеряхъ утвердилось мнѣніе, будто поэтъ этотъ превозносится исключительно только за тенденціозность его стихотвореній въ современномъ духѣ. Нѣтъ, я вамъ укажу на такое стихотвореніе его, въ которомъ нѣтъ ни малѣйшей тѣни какой-либо тенденціозности. Вотъ, напримѣръ, прочитайте его „Бурю“:

Долго не сдалася Любушка сосѣдка;  
Наконецъ шепнула: ость въ саду бесѣдка...

Стихотвореніе это выражаетъ ничего болѣе, какъ только торжество любовника, къ которому явились на свиданіе, несмотря на дождь и бурю, и который изъ этого убѣждается въ силѣ любви къ нему женщины—тама самая безобидная для какого угодно литературнаго лагеря и притомъ самая общечеловѣческая для всѣхъ временъ и странъ. И Гейне, и Байрону, и Гете, и Шенье, и какому-нибудь средневѣковому провансальскому труверу, и автору „Пѣсни пѣсней“ могло прийти въ голову написать стихотвореніе на подобную-же тему; можетъ быть, даже въ западныхъ литературахъ вы и найдете нѣчто подобное. Но при всей общности темы, стихотвореніе Некрасова отличается, тѣмъ не менѣе, самою яркою и полною самобытностію. Отъ него такъ и вѣетъ свѣжимъ букетомъ жизни, и притомъ не какой-нибудь иной, какъ именно русской жизни. У иностраннаго поэта, навѣрное, та-же самая тема будетъ имѣть совершенно иное выраженіе, представитъ вамъ иной букетъ; стихотвореніе-же Некрасова могъ написать только русскій поэтъ, и изъ современныхъ русскихъ поэтовъ—только Некрасовъ.

Но зачѣмъ брать такихъ первостепенныхъ поэтовъ, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Некрасовъ, когда и у Фета, и у Тютчева, и даже у Ап. Майкова вы найдете стихотворенія, отмѣченныя печатью жизни и самобытности?

Но найдите нѣтъ хоть одно такое стихотвореніе у графа А. Толстого, одолѣвши которое, вы почувствовали-бы, что прочли нѣчто совершенно новое и не-

бывалое еще ни въ иностранной, ни въ русской литературѣ, нѣчто, неотъемлемо принадлежащее графу А. Толстому. Напротивъ того: что ни приметесь читать, такъ сейчасъ-же на васъ и повѣетъ чѣмъ-нибудь давно уже знакомымъ вамъ и читаннымъ гдѣ-то прежде; нѣкоторыя-же произведенія носятъ на себѣ самую явную печать тѣхъ или другихъ западно-европейскихъ или русскихъ писателей. Такъ, напримѣръ, найдете вы и произведенія, очевидно, навѣяныя Лермонтовымъ („Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ“, „Вѣ совѣсти искалъ я долго обвиненія“, „Въ странѣ лучей, незримой нашимъ взоромъ“, „Горными тихо летѣла душа небесами“); нѣкоторыя напомятъ вамъ Гейне („Знѣя, что по скаламъ влечешь свои извивы“ и многіе Крымскіе очерки, какъ, напримѣръ: „Вы все любуетесь на скалы“ или „Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты“). Драматическая поэма „Донъ-Жуанъ“, очевидно, внушена изученіемъ Фауста Гете, а „Драконъ“, итальянскій разсказъ XII вѣка, носитъ на себѣ несомнѣнные слѣды извученія Данта и проч., и проч.

Въ возраженіе на это, вы имѣ, конечно, укажете на цѣлую массу стихотвореній гр. А. Толстого, написанныхъ въ народномъ духѣ и даже разнѣрами народныхъ пѣсень, въ родѣ „Ходитъ спѣсъ надуваючися“, „Кабы знала я, кабы вѣдала“, „Колокольчики мои, цвѣтики степные“, „Не Божіимъ громомъ горе ударило“, цѣлый рядъ, наконецъ, былинъ и балладъ изъ русской исторіи и пр., и пр.

Ну, что-жъ такое, что стихотворенія эти написаны въ духѣ народныхъ пѣсень и даже ихъ разнѣрами, что нѣкоторыя изъ нихъ представляютъ очень искусную и удачную поддѣлку подъ нихъ?—это нисколько еще не говоритъ въ пользу ихъ самобытности. Истинно самобытнымъ можетъ быть названо только такое произведеніе, которое создается подъ влияніемъ непосредственныхъ впечатлѣній жизни; создавая его, поэтъ вовсе не думаетъ о томъ, чтобы произведеніе было написано въ народномъ духѣ, а стремится только выразить то, что наполняетъ его душу. Оно можетъ быть совершенно не похоже ни на одну народную пѣсню, ни по содержанію, ни по формѣ, представлять изъ себя нѣчто совершенно новое и небывалое, написанное совершенно особеннымъ разнѣромъ, только-что изобрѣтеннымъ самимъ авторомъ, и тѣмъ не менѣе, быть вполне народно-самобытнымъ. Однимъ словомъ, въ подобнаго рода произведеніяхъ вы видите не одну только племенную самобытность, но и выраженіе индивидуальности поэта. Писать-же стихотворенія въ народномъ духѣ, въ родѣ тѣхъ, какія писалъ гр. А. Толстой—это совсѣмъ другое дѣло. Для этого вовсе не нужно жить непосредственно народною жизнью и притомъ бойкою, горячею жизнью, втягивать въ себя всѣми порами своего существованія народные радости и народные страданія, а напротивъ того, совершенно достаточно, не выходя изъ кабинета, изучать нѣсколько сборниковъ народныхъ пѣсень, начиная съ Кирши-Данилова и Сахарова и кончая сборниками Кирѣевскаго, Рыбникова и Худякова.

Такимъ образомъ, стихотворенія гр. А. Толстого, о которыхъ мы говоримъ, представляютъ продуктъ все

того же самого отвлеченнаго, кабинетнаго творчества, которое я называю чужадымъ. Писать такимъ образомъ можно въ духѣ какой угодно народности, совершенно безотносительно, къ какому народу принадлежитъ самъ авторъ. И я не понимаю, чѣмъ могутъ отличаться, по процессу созданія, стихотворенія гр. А. Толстого въ духѣ русской народности отъ стихотвореній того же автора въ духѣ народности итальянской XII столѣтія, въ родѣ „Дракона“, отъ стихотвореній въ духѣ народности шотландской, въ родѣ баллады „Эдвардъ“, отъ пѣсенъ въ духѣ народности южныхъ славянъ Пушкина, отъ испанскихъ, греческихъ, еврейскихъ и т. п. мотивовъ Щербинны или Вс. Крестовскаго. Во всѣхъ этихъ стихотвореніяхъ вы и слѣда не найдете искренняго, неподдѣльнаго чувства, живой, горячей страсти, вдохновенія, однимъ словомъ, того, что составляетъ всю прелесть и всю силу истинной и вполне естественной поэзіи. Напротивъ того, отъ нихъ такъ и вѣетъ холодомъ искусственнаго вымысла, тяжелыми усиліями кропотливой художественной отдѣлки, мучительными потѣніями надъ инымъ неукладывающимся въ размѣръ стихомъ или недающейся римой.

Особенно эти замѣчанія слѣдуютъ отнести къ былинамъ гр. А. Толстого, въ родѣ Алеши Поповича, Ильи Муромца, Садко, Змѣя Тугарина и пр. Я не буду уже распространяться много о всей эфемерной галантерейности этихъ произведеній гр. А. Толстого, о крайней праздности кабинетной фантазіи, услаждавшей поэтическіе досуги тѣмъ, чтобы заставить Садко лишній разъ проплясать передъ морскимъ царемъ, Алешу пробѣжать по Днѣпру въ лодочкѣ съ похищенной красоткой или Илью Муромца отпустить еще нѣсколько ругани противъ Владиміра и кіевскихъ порядковъ. Но и со стороны мнимой народности этихъ произведеній графа, я спрашиваю у васъ: скажите, чѣмъ отличается эта вычитанная изъ сборниковъ пѣсенъ народности отъ народности тѣхъ чугунныхъ или фарфоровыхъ прессъ-папье, которые изображаютъ русскаго мужика, ѣдущаго на саняхъ въ лѣсъ за дровами, бабу, прадушую лѣнъ, или подгулявшаго крестьянина, вѣдомаго домой подъ ручку озабоченной и раздраженной супругой? Подобныя статуэтки могутъ быть вполне правильны, типичны, даже изящны, могутъ служить прекрасными украшеніями для вашего письменнаго стола; но кому же придетъ въ голову при созерцаніи ихъ подымать вдругъ какіе-нибудь серьезные эстетическіе вопросы и вообразить, что творцовъ ихъ можно назвать самобытными художниками, внесшими какой бы то ни было свой собственный вкладъ въ русское искусство? А вѣдь они съ неменьшимъ, пожалуй, успѣхомъ, чѣмъ и гр. А. Толстой, могли бы изобразить вамъ и Алешу Поповича, услаждающаго гусларнымъ звономъ похищенную красавицу, и пляшущаго Садко, и Илью Муромца, ѣдущаго на конѣ съ мрачнымъ и надуленнымъ видомъ.

Какъ бы то ни было, а стихотворенія гр. А. Толстого, навѣянные разными поэтами или написанныя въ духѣ различныхъ народностей, можно считать все-таки лучшими и наиболѣе удачными. Отъ нихъ вѣетъ, по крайней мѣрѣ, духомъ той поэзіи, которая вдохновляла графа и подѣ влияніемъ которой онъ

создавалъ. Что-же касается до вполне самостоятельныхъ произведеній его, въ которыхъ онъ является передъ нами только графомъ А. Толстымъ и никѣмъ болѣе, то всѣ они столь-же безхарактерны и слабы, какъ и подобныя же имъ самостоятельныя произведенія Жуковскаго. Между прочимъ, слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на какое весьма характеристическое явленіе. Графъ А. Толстой, какъ это видно изъ многихъ мѣстъ его автобіографіи, былъ большою любителемъ природы. Мы видѣли, съ какимъ пафосомъ отзывался онъ о влияніи на него малороссійской природы, среди которой онъ провелъ всю свою жизнь. Въ другомъ мѣстѣ своей автобіографіи онъ связываетъ эту страсть къ природѣ со страстью къ охотѣ, говоря, что онъ нарочно ускользалъ отъ свѣтской жизни, чтобы проводить цѣлыя недѣли въ лѣсахъ, иногда съ товарищами, но обыкновенно въ одиночку. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что обязанъ этой жизни охотника тѣмъ, что поэзія его почти всегда писана въ мажорномъ тонѣ, между тѣмъ какъ соотечественники его поютъ по большей части въ минорномъ, и что любовь его къ нашей дикой природѣ отразилась въ его поэзіи почти столько же, какъ и чувство пластической красоты.

Дѣйствительно, въ своихъ стихотвореніяхъ, графъ очень часто обращается къ природѣ и отличается немалою щедростью въ описаніяхъ ея красотъ. Но замѣчательно, что всѣ эти описанія составляютъ самую слабую сторону его стихотвореній. Читая эти описанія, вы не чувствуете и тѣни того обаянія природы, какимъ проникнуты лучшія произведенія нашей литературы въ этомъ родѣ, не говоря уже о Пушкинѣ, Лермонтовѣ или Гоголѣ, но даже описанія С. Аксакова или Тургенева. Гдѣ ужъ тутъ толковать о воспроизведеніи впечатлѣній, внушаемыхъ природою, когда изъ описаній гр. А. Толстого вы не въ силахъ обыкновенно представить себѣ даже того ландшафта, о которомъ идетъ рѣчь. Передъ вами вовсе не живыя, художественныя картины, а простой перечень предметовъ въ разсыпную, при чемъ воображенію вашему, если оно живо и богато, предоставляется самому слагать эти предметы во что-нибудь цѣльное и связанное. Такъ, напримѣръ, казалось бы, что ужъ какой иной природѣ, какъ не малороссійской слѣдовало бы отражаться въ произведеніяхъ гр. А. Толстого, особенно если мы примемъ во вниманіе, что онъ все дѣйство провелъ среди нея и съ какимъ восторгомъ говоритъ онъ о ея влияніи на него. А между тѣмъ, этого-то именно влиянія вы и не найдете въ его стихотвореніяхъ, точно будто онъ никогда не жилъ въ Малороссіи, и только развѣ проѣзжалъ черезъ нее и видѣлъ ее мелькомъ. Не говоря уже о Гоголѣ, даже различные второстепенные малороссійскіе писатели, въ родѣ Гребенки или Марко-Вовчка, даютъ вамъ гораздо болѣе ясное и опредѣленное представленіе малороссійской природы въ ея характеристическихъ особенностяхъ, чѣмъ описанія гр. А. Толстого. Вы прочтите, напримѣръ, стихотвореніе, специально посвященное воспѣванію малороссійскаго края „Ты знаешь край“. Что здѣсь воспѣвается не что либо иное, какъ Малороссія, можно судить только потому, что упоминаются въ разныхъ мѣстахъ названія, относящіяся



къ этой странѣ, въ родѣ парубковъ, Маруси, Грицко, Чубовъ, казачекъ, или историческія имена въ родѣ Кочубея, Мазепы, Палѣя, Сагайдачнаго. Что же касается колорита и характеристическихъ особенностей мѣстности, ея быта и нравовъ, то вмѣсто всего этого вы найдете рядъ самыхъ общихъ, стереотипныхъ чертъ, могущихъ относиться къ какой угодно мѣстности Европы, лежащей подъ одною широтою съ Малороссіей. Вотъ для пригѣра отрывки изъ этого стихотворенія:

*Ты знаешь край, идѣ все обильемъ дышетъ,  
Гдѣ рѣчки льются чище серебра,  
Гдѣ вѣтерокъ степной ковыль колышетъ,  
Въ вишневыхъ рощахъ тонуть хутора,  
Среди садовъ деревья гнутся долу,  
И до земли виситъ ихъ плодъ тяжелый?  
Шума тростника надъ озеромъ трепещетъ,  
И чистъ, и тихъ, и ясенъ сводъ небесъ,  
Косарь поетъ, коса звенитъ и блещетъ,  
Вдоль берега стоитъ кудрявый лѣсъ,  
И къ облакамъ, клубясь надъ водою,  
Вьсится дымокъ синюшней струей?*

Какъ ты думаешь, читатель, знаешь ты такой край? Что это такое? Венгрія, Богемія, Силезія, а, можетъ быть, и Нормандія или Пикардія? Вѣдь во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ могутъ существовать всѣ признаки, означенные въ приведенныхъ нами стихахъ: и обиліе, и рѣчки чище серебра, и деревья, гнущіяся долу отъ тяжести плодовъ, и трепещущій надъ озеромъ тростникъ, и ясный, тихій и чистый сводъ небесъ, не говоря ужъ о кудрявомъ лѣсѣ вдоль берега и дымкѣ, клубящемся надъ водою. Все, что напечатано курсивомъ въ приведенномъ отрывкѣ, составляетъ самые банальныя общія мѣста, не курсивомъ же напечатано всего два стиха, но вѣдь и въ нихъ собственно малороссійскаго только и есть, что одно слово—хуторъ. Или вотъ вамъ другой отрывокъ, который я имѣю полное право совершенно преобразить въ картину тирольскаго селенія, переименовавъ въ немъ всего одно слово:

*Ты знаешь край, гдѣ утромъ въ воскресенье,  
Когда росой подсолнечникъ блеститъ,  
Такъ звонко льется жаворонка пѣнье,  
Стада блеютъ, а колоколъ гудитъ,  
И въ Божій храмъ, увѣнчанный цвѣтами,  
Идутъ тирольски пестрыми толпами?*

Вслѣдствіе отсутствія всей прелести обаянія мѣстнаго колорита воспѣваемого края и наполненія стихотворенія банальными общими мѣстами, оно невольно принимаетъ характеръ сухого, холоднаго и натянутаго риторизма. Можетъ быть, этотъ риторизмъ гр. Толстой и принималъ за мажорный тонъ своей поэзіи. Фактъ этотъ меня глубоко поражаетъ: какъ это такъ—почти родиться въ Малороссіи (мы видѣли, что его туда привезли шестинедѣльнымъ ребенкомъ), прожить тамъ девять лѣтъ, часто возвращаться потомъ въ родимую деревню, каждый разъ быть не въ силахъ видѣть тѣ мѣста безъ особеннаго волненія, и, выйдя съ тѣмъ, не вынести изъ мѣстъ этихъ ни одной живой краски, ни одной задушевной нотки или черточки быта обитателей этого края, ихъ радостей и страданій, обычаевъ, повѣрій и пр. Это только и можно объяснить крайнею изолированностью жизни гр. А. Толстого, особенно въ дѣтствѣ. Въ то время, какъ Гоголь, Грицко-Основьяненко или даже Гребен-

ка и прочіе писатели, выросшіе въ Малороссіи, жили въ родительскихъ домахъ непосредственною жизнію края и имѣли болѣе тѣсныя сношенія съ разными его слоями, между прочимъ, и съ простымъ народомъ, графу А. Толстому, конечно, только издали, изъ окна усадьбы кое-когда приходилось видѣть, какъ

Парубки, кружась на пожнѣ гладкой,  
Взрываютъ пыль веселою присядкой.

Но и эти буколическія картины, конечно, не столько его занимали, какъ какой-нибудь неизвѣстно когда и какъ сорванный гіацинтъ, запахъ котораго погружалъ его въ разныя чудныя видѣнія, уносившія его за тридевять земель отъ окружающей дѣйствительности. Гдѣ же тутъ было напечатлѣться живыми впечатлѣніями этой дѣйствительности?

Вы посмотрите, какими общими неопредѣленно-стереотипными чертами изобразилъ онъ, между прочимъ, и характеръ вообще русской природы:

Край ты мой, родимый край!  
Конскій бѣгъ на волю!  
Въ небѣ крикъ орлиныхъ стай!  
Волчій голосъ въ полѣ!  
Гой ты, родина моя!  
Гой ты, боръ дремучій!  
Свистъ полночный соловья!  
Вѣтеръ, степь и тучи!

Не правда ли, что подобное восьмистишіе опять-таки можно отнести къ какой угодно степной мѣстности, но меньше всего я отнесъ бы его къ Россіи, потому что, подумайте: ну можно ли сказать, чтобы „въ небѣ крикъ орлиныхъ стай“ составлялъ одинъ изъ характеристическихъ признаковъ русской природы? Еслибы еще графъ сказалъ „вороньихъ стай“—это куда бы еще ни шло, а то вдругъ орлиныхъ! Я уже не говорю о томъ, что очень сомнительно, чтобы орлы детали стаями.

Но писатель, бѣдный живыми и яркими образами, вслѣдствіе крайне замкнутой и изолированной жизни, можетъ быть богатъ внутреннею жизнію, можетъ отразить въ своихъ произведеніяхъ въ условныхъ символическихъ образахъ цѣлый рядъ весьма любопытныхъ и поучительныхъ психическихъ или философскихъ процессовъ. Но и этого мы не можемъ сказать о гр. А. Толстомъ. Относительно обще-философскаго міросозерцанія, гр. А. Толстой представляется намъ стоящимъ вполне и всецѣло въ уровнѣ того велико-свѣтскаго кружка, въ средѣ котораго онъ воспитался и прожилъ всю жизнь. Убѣжденія его, ясныя и опредѣленныя, словно отлитыя изъ бронзы и въ неизмѣнной формѣ проходящія черезъ всю жизнь безъ малѣйшихъ колебаній и какого-либо движенія, поражаютъ васъ крайнею узостью чисто формальнаго пѣтизма, давящаго васъ, словно низенькій потолокъ надъ головою. Это—самая низшая ступень дѣтскаго мистицизма совершенно особеннаго рода. Мистицизмъ—мистицизму рознь. И у Достоевскаго, и у гр. Л. Толстого, и у Тургенева вы найдете не малыя дозы мистицизма. Но мистицизмъ у этихъ писателей все-таки имѣетъ, съ одной стороны, свою собственную поэтическую окраску, а съ другой—въ немъ видна хоть какая-нибудь самостоятельная работа мысли. Мистицизмъ же гр. А. Толстого заключается, напро-



тивъ того, въ полномъ отреченіи отъ всякаго покушенія на мало-мальски самостоятельную мысль, въ рабской вѣрности буквѣ. Однимъ словомъ, — это вовсе не тотъ мистицизмъ, который въ поэзіи создаетъ образы, хотя и дико-фантастичные, но не лишены своеобразной прелести, а тотъ, который подъ частъ, ради подобострастной вѣрности традиціи, лишаетъ иные образы присущей имъ поэтичности. Это мы можемъ видѣть съ большою наглядностью въ драматической поэмі гр. А. Толстого „Донъ-Жуанъ“. Поэма эта, навѣянная „Фаустомъ“ Гете, нужно признаться, представляется однимъ изъ самыхъ неудачныхъ подражаній тѣмъ западнымъ образцамъ, которые вдохновляли нашего поэта. На первыхъ же страницахъ поэмы васъ поражаетъ, какъ грязное и безобразное пятно, своимъ антихудожественнымъ безвкусиемъ фигура сатаны. Представьте себѣ, что, вмѣсто того мрачнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обольстительнаго духа протеста, который является передъ нами въ поэмі Байрона, или вмѣсто гетевского Мефистофеля, чарующаго тонкимъ остроуміемъ своихъ сарказмовъ чисто вольтеровскаго пошиба, исполненнаго яда того самаго скептицизма прошлаго вѣка, олицетвореніемъ котораго и является передъ вами Мефистофель, вмѣсто, наконецъ, хотя бы стереотипно-средневѣковаго діавола въ огнѣ, дымѣ и сѣрномъ запахѣ, — передъ вами является вдругъ, въ поэмі гр. А. Толстого, какой-то неуклюжій бунанъ, въ родѣ подгулявшаго мастерового, и вся соль его сарказмовъ заключается въ рядѣ тривиальныхъ выраженій, въ родѣ шарахнулъ, напиралъ, далъ маху, лопнетъ око, караулъ и т. п. Какую идею думалъ выразить гр. А. Толстой въ образѣ этого грубаго, аляповатаго и неотесаннаго мужлана? Не приходится ли вамъ невольно въ голову, что графъ только и заботился о томъ, чтобы, согласно традиціи, изобразить въ зломъ духѣ все, что только онъ могъ представить себѣ непріятнаго, а что могъ онъ представить себѣ болѣе непріятнаго съ великосвѣтской точки зрѣнія, какъ не тривиальныя выраженія? Вотъ онъ и нанизалъ ихъ безъ всякаго удержа и такта, желая представить въ сатанѣ самаго что ни есть таукаіа генге. Но сатана является второстепеннымъ лицомъ поэмы — только въ началѣ и концѣ ея; главнымъ же героемъ парадируетъ Донъ-Жуанъ, къ которому мы теперь и обратимся.

Легенда о Донъ-Жуанѣ относится къ эпохѣ „Возрожденія“ и чрезвычайно типично и рельефно выражаетъ собою духъ этой эпохи. Въ личности Донъ-Жуана олицетворяется протестъ человѣческой плоти противъ средневѣковаго аскетизма, все то радостное обаяніе земной жизни со всеми ея наслажденіями, которое повѣяло на современниковъ Донъ-Жуана отъ изученія классической древности. Это — язычество, возставшее противъ тысячелѣтняго гнета католическаго изуверства, со всеми своими эротическими и вакхическими культами, чашами, наполненными янтарнымъ виномъ, гирляндами цвѣтовъ, страстными пѣснями и поцѣлуями при блескѣ луны, въ тиши благоухающихъ южныхъ ночей.

Въ этомъ отношеніи, каждая подробность легенды имѣетъ свой особенный характеристическій и, можно даже выразиться, философскій, сообразно своему вре-

мени, смыслъ. Донъ-Жуанъ, подобно древнему Эросу, всюду несетъ съ собою любовь, но только не ограничивается ниспосыланіемъ ея смертнымъ, какъ языческій богъ, а напротивъ того, какъ человекъ, самъ ею пользуется. Но въ то же время, силы его имѣютъ чисто божественные размѣры, выходящіе изъ человѣческихъ предѣловъ. Такъ мы видимъ, что страсть его неотразима: ни одна женщина не въ силахъ устоять противъ его обольщеній; онъ непобѣдимъ въ бояхъ и пирахъ, и даже святая инквизиція, со всеми грозными атрибутами своего могущества, безсильна противъ него. Лично для него никакихъ религіозныхъ или нравственныхъ законовъ, установленныхъ средневѣковыми правами, не существуетъ. Вся поэзія жизни сосредоточивается въ его глазахъ въ любви и наслажденіяхъ земнымъ бытіемъ и кромѣ обаянія этой поэзіи для него не существуетъ ничего завѣтнаго и святого; разъ загорается въ его груди огонь этой поэзіи — и онъ готовъ преступить всѣ семейныя и гражданскія узы. Въ отвѣтъ своей, онъ мало того, что объявилъ войну всѣмъ и духовнымъ, и гражданскимъ властямъ, но дерзнулъ бросить вызовъ и самому небу. Такъ, убивши командора и обольстивши потомъ, все равно, жену его или дочь, онъ приглашаетъ статую его на пиршество. Замѣтьте, какая строгая послѣдовательность міра и какъ вѣренъ остается Донъ-Жуанъ самому себѣ до самаго конца легенды: своимъ приглашеніемъ статуи ни на что-иное, какъ именно на пиршество, Донъ-Жуанъ словно, наконецъ, самый загробный міръ призываетъ къ вкушенію сладостей земнаго бытія. Но здѣсь, по понятіямъ современниковъ Донъ-Жуана, переполняется чаша дерзкой отваги протеста противъ аскетизма и изуверства среднихъ вѣковъ, или лучше сказать, современники эти выдаютъ далѣе сами себя: въ страшномъ концѣ легенды, въ появленіи статуи Командора на пиршество и въ увлеченіи ею Донъ-Жуана въ преисподнюю они выразили свое отношеніе къ протесту своего времени и вообще настроеніе эпохи. Очевидно, что протестъ классицизма противъ средневѣковаго изуверства, съ одной стороны, привлекалъ ихъ, какъ нѣчто новое, освѣжающее и въ то же время вполне соответствующее естественнымъ требованіямъ человѣческой природы, освобождающее эту природу отъ оковъ, наложенныхъ нравомъ средневѣковаго невѣжества, но въ тоже время это новое, освѣжающее и освобождающее пугало, именно потому, что было новымъ и выходило изъ привычныхъ рамокъ жизни, казалось страшнымъ и гибельнымъ съ точки зрѣнія освященныхъ вѣками понятій. Поэтому и Донъ-Жуанъ является, съ одной стороны, доблестнымъ героемъ, возбуждающимъ восторгъ, удивленіе и неодолимое влеченіе къ себѣ, а, съ другой стороны, такимъ страшнымъ и неслыханнымъ злодѣемъ, что, наконецъ, земля была не въ состояніи держать такого нечестивца, и небо, возмущенное до послѣдней крайности его дерзостью, было вынуждено послать даже чудо, чтобы избавить міръ отъ этого чудовища.

Таковъ внутренній, философскій смыслъ легенды о Донъ-Жуанѣ, и вы видите, какую стройную поэтическую цѣльность имѣетъ этотъ послѣдній европейскій мифъ, какъ относительно образа своего героя,

такъ и относительно фабулы. Здѣсь каждый камушекъ цѣпляется за камушекъ и нѣтъ возможности ничего ни выкинуть, ни измѣнить. Реализуйте вы эту легенду, откиньте вы пиршество со статуей командора и проваливанье въ адъ, и Донъ-Жуанъ сейчасъ же перестаетъ быть Донъ-Жуаномъ въ смыслъ дерзкаго протестанта, бросившаго гордый вызовъ всѣмъ земнымъ и небеснымъ силамъ, а обращается въ чувственнаго испанскаго кавалера, пьянаго забіяку и пошлаго клубничника, во что-то въ родѣ російскаго „Бурцева, еры, забіяки, собутыльника дорогого“... Съ другой стороны, заставьте вы Донъ-Жуана раскаяться въ своихъ проказахъ и постричься въ монастырѣ для замаливанья грѣховъ молодости, и выйдетъ, и не могу и выразить, какая анти-художественная, кисло-сладкая размазня на постномъ маслѣ. Правда, въ послѣдствіи создались и другая легенда о Донъ-Жуанѣ, именно съ такимъ концомъ раскаянія и постриженія. Но подобный вариантъ легенды могъ возникнуть не иначе, какъ въ средѣ очень набожныхъ католиковъ, можетъ быть, и иезуитовъ. Очевидно, онъ принадлежитъ къ эпохѣ католической реакціи, когда, съ одной стороны, ослабъ духъ религіознаго протеста и протестантизма, самъ испугавшись своихъ крайностей, началъ робко отступать и формироваться въ доктринерскія, окаменѣлыя ученія, а научный протестъ классицизма въ свою очередь утратилъ свое обаяніе новизны и, вмѣсто того, чтобы призывать безразлично все человѣчество къ наслажденіямъ земною жизнію, обратился въ поборъ распушенности придворныхъ и великосвѣтскихъ нравовъ; въ то-же время возродившееся усиліемъ братьевъ Лойолы католичество начало отвоевывать цѣлыя народы и страны. Очевидно, что только тогда Донъ-Жуанъ, отважно подавшій руку желѣзному пожатію страшнаго гостя, могъ превратиться въ Донъ-Жуана, набожно молящагося въ монашеской рясѣ въ католическомъ монастырѣ.

Типы подобныхъ, малодушно струсившихъ своей отваги, слезно-кающихся протестантовъ являются въ литературѣ всегда не иначе, какъ въ моменты реакцій. Кающійся Донъ-Жуанъ—это Европа, смиренно возвращавшаяся на лоно католицизма въ лицѣ Испаніи, Италіи, Франціи, Австріи, Польши. Замѣчательно при этомъ, что когда литература, въ свою очередь проникнутая реакціоннымъ духомъ, относится положительно къ подобнаго рода типамъ, она постоянно создаетъ нѣчто анти-художественное, приторно-прѣсное, отталкивающее отъ себя и претящее. Это очень понятно: впечатлѣніе, отражающееся въ художественномъ образѣ, только тогда можетъ дѣйствовать сильно и стройно на вашу душу, когда оно является цѣльнымъ, не разбитымъ, не преломленнымъ, не ослабленнымъ ассоціаціею съ какими-нибудь иными впечатлѣніями, совершенно противоположнаго рода и составляющими диссонансъ съ главнымъ. Въ этомъ-то и заключается вся тайна художественной гармоніи. Представьте-же вы теперь, что едва только вы настроились обаяніемъ молодости, силы, отваги, гордой независимости — вообще, тѣми чарующими впечатлѣніями, какія навѣваютъ на вашу душу типы протестантовъ—и вдругъ оказывается, что это очаж-

рованіе—ложь, миражъ, нѣчто весьма недостойное и непохвальное—и вамъ въ видѣ спасительной гавани представляется тотъ же обаятельный образъ въ видѣ какого-нибудь смиреннаго святоши. Вы только представьте себѣ гордаго Чайльдъ-Гарольда, купившаго себѣ домъ въ Сити и обратившагося въ добродѣтельнаго лавочника и биржеваго игрока; Печорина, женившагося на Мери и сдѣлавшагося председателемъ губернской палаты министерства государственныхъ имуществъ; Марка Волохова, обратившагося въ губернскаго штабъ-жандарма.

Я не говорю, чтобы подобныя превращенія были невозможны въ жизни и нетерпимы въ литературѣ; я указываю только на анти-художественность положительнаго отношенія литературы къ нимъ. Вы замѣтите при этомъ, что всѣ художники съ мало-мальски сильнымъ и тонкимъ художественнымъ чутьемъ, выводя типы какихъ-либо протестантовъ, постоянно оставляли ихъ протестантами до конца произведеній и по большей части заставляли ихъ умирать какою-нибудь насильственной смертью. Такъ точно и большинство европейскихъ писателей, начиная съ Габріеля Теллецъ (Тирсо-де-Молина) и кончая Пушкинымъ, выводившихъ на сцену Донъ-Жуана, положительно-ли, или отрицательно относились они къ этому типу, постоянно брали для фабулы своихъ произведеній первый вариантъ легенды и оставляли Донъ-Жуана самимъ собою до проваливанья сквозь землю. И одному только гр. А. Толстому пришло въ голову воспользоваться вторымъ, позднѣйшимъ вариантомъ и заставить Донъ-Жуана трогательно умирать въ севильскомъ монастырѣ при набожныхъ хорахъ монаховъ. Но этого еще мало: гр. А. Толстой вздумалъ смѣшать въ одну кашу оба варианта легенды и для этого реализировалъ пиршество со статуею командора такимъ образомъ, что Донъ-Жуанъ, по окончаніи пира, упалъ въ обморокъ и видѣлъ во снѣ появленіе статуи и увлеченіе въ адъ, а когда проснулся, узналъ, что Дона-Анна отравилась, и убѣдился, что онъ ее все-таки не перестаетъ любить—тутъ-то и раскаялся во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ. — Я не могу себѣ представить большей степени художественнаго безвкусія, какъ подобная реализація мифовъ. Я допускаю, что мифъ можетъ быть у каждого писателя обработанъ по своему, сообразно духу времени и степени общественнаго развитія. Такъ напримѣръ, конечно, эсхилловскій Прометей, далеко не тотъ Прометей, какого создали тѣ эллины-дикари, которые только-что дошли до употребленія огня и прославили свое изобрѣтеніе въ прометеевскомъ мифѣ. Конечно, гетевскій Фаустъ имѣетъ очень мало общаго съ Фаустомъ средневѣковой легенды. Вѣдь и Донъ-Жуанъ у каждого изъ писателей, выводившихъ его на сцену, выходилъ свой особенный Донъ-Жуанъ. Нисколько не въ претензіи я, что и гр. А. Толстой вывелъ своего собственнаго, особеннаго Донъ-Жуана, болѣе похожаго на Фауста, чѣмъ на Донъ-Жуана въ собственномъ смыслѣ этого слова: такъ, у гр. Толстаго Донъ-Жуанъ кутитъ и переходитъ отъ одной женщины къ другой не отъ избытка и разгула жизненныхъ силъ, вырвавшихся на волю изъ-подъ гнета католическаго аскетизма, а

вслѣдствіе романтическаго исканія вполне идеальной женщины и постоянного разочарованія въ дѣйствительныхъ женщинахъ. Но я протестую противъ реализаціи фантастическихъ элементовъ мифовъ и легендъ. По моему мнѣнію, если хочешь быть реальнымъ писателемъ до конца ногтей, такъ и не бери легендъ фабулами своихъ произведеній, а ищи дѣйствительныхъ, вполне реальныхъ сюжетовъ. А если тебѣ хочется брать легенды, то бери ихъ всецѣло, памятуя, что въ фантастическихъ элементахъ этихъ легендъ и заключается обыкновенно вся и поэтическая, и философская суть ихъ. Вамъ извѣстна конечно, народная легенда о томъ, какъ Іисусъ Христосъ явился въ одеждѣ нищаго въ русскую деревню, стучался во всѣ окна, прося ночлега; но нигдѣ его не приняли, а изъ богатыхъ хатъ прогнали даже съ бранью и побоями, а пріютилъ его самый бѣднѣйшій крестьянинъ, въ награду за что и былъ обогащенъ: у него уголья на шестокъ превращены были въ червонцы. Согласитесь сами, что вся поэзія, вся сила этой легенды въ томъ именно и заключается, что тутъ является на сцену Іисусъ Христосъ и что зазнавшіеся и возгордившіеся богачи гнали и поругали самого Бога. Но вы вообразите себѣ только, что вышла-бы за нелѣпость и за пошлость, если-бы иной реальный поэтъ захотѣлъ-бы воспользоваться этою легендою, да только изъ излишняго усердія къ своему реализму вздумалъ-бы замѣнить Іисуса Христа какимъ-нибудь переодѣтымъ въ нищенское платье богачемъ-филантропомъ, который въ награду за гостепріимство бѣднаго мужика тихонько подложилъ-бы ему на шестокъ подъ уголья червонцы. Но, по моему мнѣнію, еще нелѣпѣе, еще пошлѣе, когда фантастическій элементъ легенды представляется въ видѣ сновъ или обмороковъ дѣйствующихъ лицъ легенды. Донъ-Жуана, сдѣлавшаго въ своей отвагѣ вызовъ самому загробному міру и павшаго въ неравной борьбѣ, я понимаю въ той-же степени, какъ и Святогора, вздумавшаго померяться съ тягою земли и въ свою очередь ушедшаго въ землю; но Донъ-Жуанъ, упавшій вдругъ въ обморокъ, какъ нервная барышня, и видѣвшій во снѣ появленіе на прішествѣ статуи — это верхъ художественной безвкусицы, это положительный абсурдъ. Легенда, теряя такимъ образомъ свой фантастическій смыслъ, не приобретаетъ взамѣнъ этого ни малѣйшаго смысла реального, потому что, подумайте только, какихъ нелѣпыхъ сновъ не бываетъ и что значилъ подобный вздорный сонъ для Донъ-Жуана? Да я убѣжденъ, что если-бы самъ гр. А. Толстой увидѣлъ во снѣ появленіе сотни командорскихъ статуй, это не помѣшало-бы ему остаться все тѣмъ-же графомъ А. Толстымъ, встать утромъ съ постели, какъ встрепанному, и приняться тотчасъ за художественное созерцаніе какого-нибудь рѣдкостнаго фавна.

Остается сказать нѣсколько словъ о драматическихъ произведеніяхъ гр. А. Толстаго, о его историческихъ хроникахъ (Іоаннъ Грозный, Борисъ Годуновъ, Царь Федоръ) въ связи съ романомъ „Князь Серебрянный“; но обо всемъ этомъ я ограничусь только нѣсколькими словами. Драмъ гр. А. Толстаго составлены очень толково, умно, вполне исторически вѣрно; на каждую, безъ сомнѣнія, положено не мало трудовъ

изученія эпохи и героевъ ея. Но главные недостатки ихъ заключаются въ томъ, что въ нихъ и тѣни нѣтъ драматическаго пафоса: дѣйствія въ нихъ мало, эпическій, бытоописательный элементъ преобладаетъ надъ драматическимъ, сюжеты не представляютъ той пѣльности и законченности, какая требуется отъ драмы, вслѣдствіе всего этого драмы эти скучноваты на сценѣ и годятся болѣе для чтенія, чѣмъ для игры. Подобные недостатки этихъ драмъ, очевидно, находятся въ тѣсной связи съ общимъ характеромъ творчества гр. А. Толстаго. Они зависятъ прямо отъ того, что, какъ все написанное графомъ, и драмы эти составляютъ продуктъ кабинетнаго, отвлеченнаго творчества по книгамъ. Онѣ составлены по источникамъ, какъ составляются историческія диссертациі, а не созданы какими-либо сильными импульсами жизни, одушевившими поэта и направившими его творчество. Замѣчательно при этомъ, что даже и въ этихъ произведеніяхъ, составленныхъ по древнимъ лѣтописямъ и актамъ, несмотря на все погруженіе поэта въ чисторусскую, безпримѣсную жизнь, онъ не могъ остаться вполне самимъ собою. Нѣтъ, у него тотчасъ-же явилась претензія представить изъ себя Шекспира — и вотъ онъ въ самой видной своей драмѣ, Іоаннъ Грозный, заставилъ какихъ-то волхвовъ-королевъ разгнать передъ Борисомъ Годуновымъ роль макбетовскихъ вѣдьмъ и ударился въ крайность, противуположную той, какую мы видѣли въ его „Донъ-Жуанѣ“. Тамъ онъ вздумалъ реализовать фантастическій элементъ легенды, а здѣсь, напротивъ того, ему пришло въ голову самовольно ввести фантастическій элементъ въ реальную жизнь — и вышло такъ-же нехстати и такъ-же пошло.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ еще о весьма странномъ и необъяснимомъ недостаткѣ творчества гр. А. Толстаго, недостаткѣ, впрочемъ, внѣшнемъ. Мы видѣли изъ автобіографіи графа, что онъ началъ писать стихи съ 6-лѣтняго возраста, увлекшись какимъ-то толстымъ сборникомъ лучшихъ русскихъ поэтовъ. При этомъ графъ считаетъ не лишнимъ замѣтить, что какъ ни были нелѣпы его первые опыты, но въ метрическомъ отношеніи они были безупречны. Но не диво-ли, что въ то самое время, какъ поэтъ считалъ безупречными въ метрическомъ отношеніи свои первые опыты шестилѣтняго ребенка, на дѣлѣ стихотворенія графа А. Толстаго, написанныя имъ въ продолженіи всей жизни, далеко нельзя назвать безупречными въ метрическомъ отношеніи? Я не говорю уже о томъ, что вообще его стихи тяжеловаты, не отличаются особенно гармоничностью и плавностью и видно, что не легко ему давался, но очень нелѣдко въ его стихотвореніяхъ вы можете встрѣтить стихи, положительно неправильные, которые могутъ быть введены въ размѣръ только при искаженіи нѣкоторыхъ словъ въ ихъ удареніяхъ. Какъ вамъ понравятся, напримѣръ, такіе неуклюжіе стишки:

И ничего въ природѣ нѣтъ  
Что-бы любовью не дышало...  
Галокъ стая вьетъ  
Погаяя гнѣзда...  
Будешь красоваться листьями убрана...  
Ассиріане шли какъ на стадо волки и пр.

Встрѣчаются также и такіе стихи, которые метрически совершенно правильны, но дорого досталась повидимому автору эта правильность. Напримѣръ, какъ вамъ нравится художественная прелесть и изысканность такого выраженія:

Все звонкое *платает* летаетъ кругомъ,  
Ликующи въ тысячу *мотокъ*...

Эти два стиха хоть-бы и Тредьяковскому въ пору. Я не знаю ужъ, какъ объяснить эту шероховатость стиховъ гр. А. Толстого, небрежностью-ли, съ какою онъ относился къ внѣшней отдѣлкѣ своихъ стихотвореній, недостаткомъ-ли музыкальнаго уха, неискусствомъ-ли владѣть стихомъ, или и здѣсь, можетъ быть, въ свою очередь играетъ роль тотъ-же характеръ творчества гр. А. Толстого. Я полагаю, что каждый пишущій стихи замѣчалъ не разъ, что чѣмъ сильнѣе онъ возбужденъ или вдохновенъ, какъ выражались прежде, къ изложенію своихъ мыслей стихами, тѣмъ легче давались ему стихи, тѣмъ они выходили гармоничнѣе и плавнѣе. Напротивъ того, искусственно слагать стихи при совершенно спокойномъ расположеніи духа безъ всякаго нервнаго возбужденія—бываетъ чрезвычайно трудно, какъ бы ни владѣли вы искусствомъ римоплетства. Попробуйте перелгать въ стихи какую-нибудь алгебру и вы увидите, насколько это труднѣе, чѣмъ написать стихотворное любовное посланіе въ порывѣ молодой страсти. Очень можетъ быть, что оттого у гр. А. Толстого и выходили стихи такъ тяжеловаты и шероховаты, что ему приходилось писать не въ порывѣ естественныхъ жизненныхъ возбужденій, а вымучивать ихъ, искусственно слагая холодныя измышленія,—продуктъ различныхъ художественныхъ созерцаній.

Я кончилъ, и мнѣ очень грустно, что о недавно умершемъ поэтѣ мнѣ пришлось изречь столько суровыхъ и черствыхъ приговоровъ. Чтобы смягчить ихъ хоть сколько-нибудь, въ видѣ послѣсловія я ставлю вотъ какой вопросъ. Мы видимъ, что во всѣхъ искусствахъ существуетъ строгое раздѣленіе двухъ областей, изъ которыхъ одна другую питаетъ и поддерживаетъ, но въ то-же время между этими двумя областями ставится рѣзкая грань, и никому въ голову не приходитъ смѣшивать обѣ области; каждая можетъ имѣть своихъ мастровъ и свои шедевры, но опять-таки никто и не подумаетъ мастера одной области переносить въ другую. Это — область искусства въ истинномъ смыслѣ этого слова, искусства живаго, творящаго, развивающагося, и искусства, если можно такъ выразиться, аксессуарно-техническаго, низшаго, паразитно питающагося соками высшаго искусства. Такъ, напримѣръ, никто вамъ не мѣшаетъ восхищаться работами Сазикова и Овчинникова и платить за нихъ большія деньги; но придетъ-ли кому въ голову сравнивать эти работы съ произведеніями великихъ ваятелей въ родѣ Бенвенуто-Челлини, и, съ другой стороны, съ чѣмъ сообразно, если-бы кто-нибудь вздумалъ презрительно относиться къ работамъ Овчинникова и Сазикова только потому, что эти работы не могутъ быть сравнимы съ такими-же работами Бенвенуто-Челлини. Нѣтъ, всякій знаетъ, что Бенвенуто-Челлини одинъ изъ первыхъ мастровъ въ

СОЧИНЕНІЯ А. СКАВИЧЕВСКАГО. — II.

своей области, и Овчинниковъ и Сазиковъ тоже первые въ своей. Тоже самое и въ музыкѣ: восхищеніе Бетховеномъ или Моцартомъ нисколько не мѣшаетъ вамъ находить, что вотъ въ данномъ трактирѣ существуетъ такой прекрасный органъ, лучше котораго вы не слышали, и потому чаще посѣщать этотъ трактиръ съ специальною цѣлію наслаждаться звуками органа: Бетховенъ первый—въ своей области, трактирный органъ—въ своей, и одинъ другому въ вашихъ глазахъ нисколько не мѣшаетъ быть первымъ. Точно также можетъ быть первый декораторъ въ городѣ безъ всякаго сравненія съ Рафаелями и Сальваторами-Розами и пр.

Скажите вы мнѣ, пожалуйста, отчего же въ одной только поэзіи не существуетъ никакого такого раздѣленія подобныхъ же областей, а всѣ поэты, мало мальски способные связать двѣ рѣшмы, безразлично смѣшиваются въ одинъ безразличный хаосъ знаменитостей, всѣ тянутся если не въ Шекспира и Гете, то, по малой мѣрѣ, въ Пушкины — и критика непремѣнно должна глубокомысленно рѣшать, какое значеніе имѣетъ римооплетатель въ судьбахъ русской литературы, что онъ внесъ въ нее, создалъ, а если окажется, что ничего особеннаго не создалъ, то непремѣнно затѣмъ должно послѣдовать презрѣніе, пренебреженіе — съ одной стороны, а съ другой—оскорбленіе самолюбія, если поэтъ живой, или памяти его, если онъ покойный?

А между тѣмъ, попробуйте разграничить обѣ области столь же строго, какъ онѣ разграничены въ другихъ искусствахъ, и вы сами сразу признаете первыми мастерами такихъ поэтовъ, какіе нынѣ считаются одними изъ самыхъ послѣднихъ, хотя, конечно, при этомъ вамъ и въ голову не придетъ задавать глубокомысленные вопросы, имѣютъ ли эти поэты какое-либо значеніе и какое именно въ судьбахъ развитія русской поэзіи.

Точно также и относительно графа А. Толстого. Конечно, послѣ тѣхъ колѣнопреклоненій передъ его поэзіею, которыя расточались въ прошломъ году и въ „Вѣстникѣ Европы“, и въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, и во многихъ газетахъ, мои приговоры имѣютъ мѣсто, какъ стремленіе ухѣрить пылъ этихъ колѣнопреклоненій и опредѣлить болѣе хладнокровно и безпристрастно, чѣмъ же именно заслужила поэзія гр. А. Толстого подобныхъ овацій. Но представьте себѣ, что заранѣе, безъ всякихъ сомнѣній и недоумѣній, было бы понятно всѣмъ и каждому, что стихотворенія гр. А. Толстого имѣютъ такое же значеніе въ литературѣ, какъ занавѣсы театровъ въ живописи, какъ канделябры или бронзовыя статуи подъ лампы работы того или другаго знаменитаго мастера въ этомъ родѣ, какъ вальсы Штрауса и т. п. Тогда, конечно, мои приговоры не имѣли бы ровно никакого смысла. Говорить о недостаткахъ описаній природы въ стихотвореніяхъ гр. А. Толстого, о промахахъ поэмы „Донъ-Жуанъ“, о спотворности его драматическихъ хроникъ или шероховатости стиховъ было бы такъ-же нелѣпо, какъ замѣчать о недостаткѣ экспрессіи въ лицѣ купающейся нимфы на занавѣсѣ театра или о несообразности членовъ бронзоваго рыцаря, держащаго въ рукахъ канделябръ со свѣчами. Напротивъ

того, я съ своей стороны готовъ былъ бы признать гр. А. Толстаго, однимъ изъ первыхъ мастеровъ по части галантерейной поэзіи, готовъ былъ бы искренно признаться, что многія изъ его произведеній не разъ доставляли мнѣ большое наслажденіе, что и впредь я готовъ послѣ сытнаго обѣда, въ приятной дамской компаніи усладить свой досугъ на ряду съ лучшими конфетами изъ модной кондитерской декламациею чего-либо въ родѣ:

Колокольчики мои,  
Цвѣтики степные и пр.

### Пибмо третье.

О различіи художественно-творческаго отношенія къ дѣйствительности отъ художественно-техническаго («Между денегъ», романъ А. Потѣхина. Спб. 1877 г.).

Когда въ первомъ своемъ письмѣ я сдѣлалъ такое опредѣленіе основного эстетическаго принципа, что искусство заключается вовсе не въ стремленіи изображать дѣйствительность, какъ она есть, а, напротивъ того, въ измѣненіи ея, въ изображеніи въ преувеличенномъ и одностороннемъ видѣ, я убѣжденъ въ томъ, что такимъ опредѣленіемъ я привлекъ читателя въ немаломъ недоумѣніи и, несмотря на всѣ мои старанія разъяснить подобное опредѣленіе въ тѣхъ краткихъ и сжатыхъ аргументахъ, какіе могли выпасть на долю небольшой статейки въ два печатныхъ листа, именно, благодаря краткости и сжатости этихъ аргументовъ, читатель, конечно, остался неубѣжденнымъ. Къ этому, безъ сомнѣнія, немало способствовало и то, что опредѣленіе мое идетъ совершенно, повидимому, въ разрѣзъ съ тѣми эстетическими понятіями, которыя читатель воссозалъ въ себя чуть не съ молокомъ матери, съ которыми онъ сжился и которыя снабжены такими достопочтенными атрибутами уважительности, въ видѣ разныхъ высокихъ словечекъ, что читатель въ правѣ считать эти понятія чуть не святынею. Помилуйте, какъ же не дорожить читателю, какъ святынею, такимъ эстетическимъ понятіемъ, которое гласитъ, что искусство должно изображать дѣйствительность, какъ она есть, потому что высшее святое призваніе его — отражать правду жизни. Ну, подумайте, что можетъ быть выше, краше правды, и можно ли придумать для искусства служеніе святѣе, какъ отраженіе правды? И вдругъ является господинъ, который дерзаетъ посягать на подобное эстетическое понятіе, глубоко вѣдренное всеми своими корнями въ новѣйшее прогрессивное и реальное міровоззрѣніе, рѣшается утверждать, что истинное искусство вовсе не есть представленіе дѣйствительности въ томъ видѣ, какъ она есть, а, напротивъ того, въ истинныхъ своихъ проявленіяхъ оно измѣняетъ дѣйствительность сообразно своимъ цѣлямъ, представляя ее въ преувеличенномъ или одностороннемъ видѣ. *Преувеличеніе, односторонность* — эти некрасивыя и ненавистныя слова представляются вѣдь ничѣмъ инымъ, какъ атрибутами лжи. Итакъ, дерзкій господинъ, вмѣсто высокаго при-

званія служенія святой правдѣ, обрекаетъ искусство на богомерзкое дѣло мороченья, подтасовыванья, лганья. Что это такое? Нахальная иронія, имѣющая цѣлю, униживъ искусство въ его высшихъ цѣляхъ, показать его ничтожество и несостоятельность, или дикій абсурдъ упрямаго ума, который во чтобы то ни стало хочетъ всѣ вещи видѣть шиворотъ на выворотъ?

Нѣтъ, ни то, ни другое, а одна простая и безпристрастная истина. Первымъ дѣломъ слѣдуе увидѣть читателя, что у меня и въ мысляхъ нѣтъ имѣть какое-либо покушеніе на отрицаніе служенія искусства правдѣ. Но при этомъ я спрашиваю у читателя: знаетъ ли онъ въ мірѣ ли искусства, или въ мірѣ науки хоть одну такую правду, которая не была бы относительна и односторонна, а напротивъ того, обнимала бы предметы со всѣхъ сторонъ и во всей ихъ сущности? Вѣдь даже такая простая и несомнѣнная истина, какъ  $2 + 2 = 4$ , развѣ это не есть самая крайняя односторонность, какую только мы можемъ себѣ представить? Когда мы говоримъ, что два Ивана, да еще два Ивана составляютъ четырехъ Ивановъ — вѣдь мы беремъ этихъ Ивановъ только съ одной стороны ихъ количественности и при этомъ не только совершенно упускаемъ изъ вида разныя ихъ качества и свойства, но даже въ нашихъ глазахъ они парадируютъ не какъ живые люди, а какъ отвлеченныя математическія единицы. Замѣьте, что въ наукахъ положительныхъ и точныхъ вы болѣе всего встрѣтите на каждомъ шагѣ подобнаго рода одностороннія истины. Наиболѣе отчетливыя, совершенныя и удачныя опыты, наиболѣе богатые выводы и открытія совершаются не иначе, какъ путемъ или изолированія разсматриваемаго явленія отъ всѣхъ побочныхъ и излишнихъ для цѣлей изслѣдованія осложненій, или увеличенія до высшихъ степеней интенсивности изслѣдуемыхъ силъ, или произведенія такихъ искусственныхъ комбинацій, подобныя которымъ въ природѣ встрѣчаются очень рѣдко или и совсѣмъ не встрѣчаются. Вѣдь вы же нисколько не въ претензіи на химика за то, что онъ изолируетъ подъ стекляннымъ колпакомъ азотъ въ такомъ его чистомъ и безпримѣсномъ видѣ, въ какомъ вы его нигдѣ не встрѣчаете въ природѣ. Вѣдь вы же допускаете, что ученые и техники съ научными или прикладными цѣлями усиливаютъ упругость воздуха или водяныхъ паровъ въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, въ какихъ въ природѣ такая упругость встрѣчается въ самыхъ рѣдкихъ и экстренныхъ случаяхъ. Вы не называете лжецомъ ученаго, который, на основаніи самыхъ точныхъ математическихъ вычисленій, опредѣлитъ вамъ, какъ должна быть велика упругость водяныхъ паровъ для того, чтобы пары эти, заключенные въ нѣдра земли, разнесли на куски весь земной шаръ. Наконецъ, не обвиняйте вы въ искаженіи дѣйствительности технолога, приподносящаго вамъ нитроглицеринъ, котораго нигдѣ не имѣется въ природѣ внѣ химическихъ заводовъ. Однимъ словомъ, если вы не только допускаете, но и требуете, чтобы наука, спеціальная цѣль которой — истина, правда, измѣняла дѣйствительность сообразно цѣлямъ своихъ изслѣдованій, то на какомъ же основаніи имѣете вы право требовать, чтобы искусство отказалось отъ подобныхъ же отношеній къ дѣйствительности, особенно принимая во вниманіе,

что здѣсь такіа отношенія возникаютъ не вслѣдствіе однихъ предумышленныхъ ухищреній изслѣдующаго ума, а выѣстъ съ тѣмъ и вполне инстинктивно, невольно и неотразимо вслѣдствіе силы страстныхъ импульсовъ художника? На какомъ основаніи тѣ самые пути, которые въ наукѣ ведутъ къ истинѣ, въ искусствѣ должны вести ко всяческой лжи? И неужели для того, чтобы искусству остаться платонически вѣрнымъ такъ-называемой „святой правдѣ“, оно должно вѣчно пребывать на той же самой низшей ступени разсматриванія дѣйствительности во всемъ ея пестромъ и сложномъ хаосѣ, на какой стоитъ человѣческій умъ при самыхъ первыхъ зачаткахъ своего развитія.

Но въ томъ-то и дѣло, что искусство въ истинныхъ своихъ проявленіяхъ всегда относилось къ дѣйствительности совершенно такъ же, какъ и наука, то есть разсматривало явленіе ея изолированно, односторонне, увеличивало ихъ интенсивность или экстенсивность, наконецъ, случалось ему зачастую слагать явленія эти и въ такіа комбинаціи, какія хотя и возможны, но встрѣчаются въ дѣйствительности очень рѣдко или же и никогда. И замѣчательно, что, именно, такіа произведенія искусства, въ которыхъ явленія жизни разсматриваются наиболѣе изолированно, преувеличенно, въ которыхъ дѣйствительность наиболѣе измѣняется сообразно плъмъ творчества—такія произведенія и производятъ наибольшее впечатлѣніе на читателей, они-то, въ концѣ-концовъ, и заслуживаютъ лестнаго эпитета „правдивыхъ“. Напротивъ того, всѣ попытки изображать дѣйствительность во всемъ ея пестромъ хаосѣ, разсматривать явленія жизни въ тѣхъ сложныхъ и случайныхъ ея комбинаціяхъ, въ какихъ она проявляется, обыкновенно ведутъ къ охлажденію или окончательному парализированію того основного впечатлѣнія, которое возбуждало творчество художника. Произведенія подобнаго рода могутъ возбудить въ васъ удивленіе относительно наблюдательности художника или искусства вѣрно схватывать предметы, но, въ концѣ-концовъ, отъ нихъ вѣстъ убійственнымъ холодомъ, вы не вынесете изъ нихъ ни малѣйшаго цѣльнаго впечатлѣнія и страстнаго импульса, а главное дѣло, умъ вашъ будетъ совершенно такъ же неопредѣленно блуждать въ пестромъ хаосѣ художественныхъ образовъ, какъ онъ блуждаетъ въ хаотической средѣ сложныхъ явленій жизни. Такія произведенія сѣло можно уподобить тѣмъ неудачнымъ химическимъ опытамъ, въ которыхъ химикъ не позаботился изолировать свои элементы отъ излишнихъ осложненій, и, вѣсто искомаго соединенія, у него вышла какая-то мутная жидкость, въ которой Богъ вѣстъ откуда взялся вдругъ кислородъ и для чего-то въ ней находится угольная кислота, которой вовсе не предполагалось въ искомомъ соединеніи. Нѣсколько примѣровъ, я надѣюсь, разъяснятъ мои мысли. При этомъ я нарочно начну съ самыхъ простыхъ, элементарно-грубыхъ фактовъ, чтобы показать, что и въ низшихъ своихъ проявленіяхъ искусство вовсе не нуждается въ представленіи дѣйствительности во всей ея сложности и со всѣхъ сторонъ, а измѣняетъ ее сообразно своимъ плъмамъ.

Представьте себѣ, что на сценѣ изображается гроза. Я нарочно беру грозу на сценѣ, потому что, ко-

нечно, ни поэзія, ни музыка, ни живопись сами по себѣ въ отдѣльности не въ силахъ представить грозу такъ всесторонне, какъ сцена. Если изображеніе грозы на сценѣ въ художественномъ отношеніи вы и не сравните ни съ однимъ классическимъ произведеніемъ другихъ искусствъ, то это происходитъ единственно отъ того, что техника декоративнаго искусства, существующая безъ года недѣлю, далеко еще не развита до такихъ совершенствъ, какъ техника другихъ искусствъ, насчитывающихъ тысячелѣтія своего существованія. Но въ воображеніи своемъ вы можете удешевить совершенство техники декоративнаго искусства и представить себѣ, что передъ вами на сценѣ въ видѣ грозы парадируетъ нѣчто, нисколько не уступающее, по своей художественной высотѣ, лучшимъ произведеніямъ всѣхъ прочихъ искусствъ. И все-таки, въ какую десятую, сотую, тысячную степень вы ни возводили бы это совершенство, вы не должны упускать изъ виду, что это развитіе техники будетъ крайне односторонне, будетъ касаться всего на всего трехъ-четырехъ признаковъ грозы, и такихъ именно, которые изъ всей массы признаковъ разсматриваемаго явленія наиболѣе дѣйствуютъ на нашу душу, въ видѣ впечатлѣнія величія и страха этого явленія. Это будутъ черныя, клубящіяся облака, зловѣщій сумракъ, ослѣпительный блескъ молніи, вой урагана, шумъ и потоки ливня. Эти симптомы театральная техника будетъ стремиться не только натурализовать въ возможной близости къ природѣ, но даже и преувеличивать ихъ грозность въ виду произведенія наибольшей силы впечатлѣнія.

Но изображать грозу только со стороны ея вышеозначенныхъ признаковъ, наиболѣе дѣйствующихъ на нашу душу—значить ли воспроизводить это явленіе всецѣло, со всѣхъ его сторонъ, во всей его реальной правдѣ и сущности? Начать съ того, что о чемъ искусство менѣе всего будетъ заботиться, такъ это, именно, о представленіи грозы въ ея сущности. Къ чему искусству эта сущность грозы, въ видѣ электричества со всѣми его законами? Стремиться воспроизвести грозу на сценѣ въ такой ея реальной правдѣ, чтобы передъ зрителями была не картонная только гроза, а дѣйствительная, какъ есть настоящая, электрическая, — это всегда будетъ не только роскошью, но, напротивъ того, не трудно доказать, что погоня за подобнымъ излишествомъ близости къ природѣ сразу парализуетъ достиженіе существенной специальной цѣли изображенія. Вѣдь эта цѣль заключается не въ произведеніи физическаго опыта, а въ стремленіи поразить зрителей величіемъ картины грозы въ природѣ: согласитесь же, что даже при всемъ несовершенствѣ декоративной техники искусство и въ наше время стоитъ ближе къ достиженію этой цѣли, чѣмъ еслибы оно произвело передъ зрителями настоящую грозу. Вы подумайте только, какъ мизерна была бы подобная гроза подъ тѣсными сводами театральной сцены и какъ она мало дала бы зрителямъ понятія о настоящей грозѣ подъ необъятными сводами неба. И вотъ вамъ сразу открываются двѣ односторонности: съ одной стороны, односторонность науки, которая въ лицѣ физика упускаетъ совершенно изъ виду величественные атрибуты грозы и представляетъ вамъ ее



въ видѣ цѣпи гальваническихъ и электрическихъ приборовъ, не имѣющихъ, по своей наружности, никакого и близкаго подобія съ изслѣдуемымъ явленіемъ природы, но за то представляющихъ сущность его; а съ другой стороны—односторонность искусства, которое только съ внѣшними атрибутами грозы и имѣетъ дѣло, нисколько не касаясь сущности ея.

Но и къ внѣшнимъ атрибутамъ искусство относится столь же односторонне, нисколько не заботясь о полнотѣ и всесторонности и ставя на первый планъ только такіе, которые въ данномъ случаѣ соответствуютъ его цѣлямъ. Такъ, напримѣръ, въ дѣйствительности каждая конкретная гроза осложняется массою явленій, которыя всецѣло входятъ въ нее и зависятъ отъ нея, но которыя не только не заключаютъ въ себѣ ничего величественнаго и поразительнаго, но, напротивъ того, въ извѣстной степени охлаждають и парализуютъ общее впечатлѣніе, производимое на насъ грозою. Гроза состоитъ не изъ однихъ только ослабительныхъ зигзаговъ молній, оглушительныхъ ударовъ грома, воя урагана и шума ливня. Любуясь на нее изъ окошка, вы увидите и тоскливое зрѣлище мутныхъ потоковъ грязи по улицамъ или колеямъ дорогъ, и комическія фигуры промокшихъ до костей прохожихъ съ вывороченными зонтиками, и тутъ-же какія-нибудь бабы съ грязными подобранными подолами забавно шлепають по лужамъ босыми ногами, заботливо снимая съ мокраго забора повѣшанное сушиться бѣлье. Всѣ подобные аксессуары могутъ до такой степени занять и развлечь васъ, когда вы любуетесь грозою изъ окошка, что вы совершенно забудете о всемъ величій зрѣлища. Очевидно, что художнику, имѣющему спеціальную цѣль поразить васъ величіемъ грозы,—не для чего приводить подобныхъ атрибутовъ изображаемаго явленія, иначе онъ рискуетъ, при всемъ выигрышѣ относительно полноты и близости дѣйствительности проиграть въ самомъ главномъ—въ силѣ основнаго впечатлѣнія, играющаго въ произведеніи его существенную роль. Другое дѣло, если это комическій художникъ. Тогда можетъ случиться совершенно наоборотъ: всѣ грозные атрибуты бури отступаютъ въ его изображеніи на самый задній планъ, они будутъ едва замѣтны въ картинѣ или можетъ быть даже и ихъ художнику удастся изобразить въ какомъ-нибудь комическомъ видѣ; на первый же планъ выступаютъ передъ вами различные комическіе пассажи, сопровождающіе грозу, и будутъ рисоваться передъ вами не въ примѣръ смѣшнѣе, чѣмъ они проявляются въ дѣйствительности. Въ обоихъ случаяхъ передъ вами будетъ односторонность, преувеличеніе одного на счетъ другого, но нельзя сказать, чтобы это была ложь и искаженіе дѣйствительности. Это только естественное стремленіе художественнаго творчества выдвинуть передъ вашими глазами одну изъ правдъ, заключающихся въ предметѣ, и наиболѣе освѣтить ее, наиболѣе поразить васъ ею.

Тоже самое мы видимъ, напримѣръ, и въ ваяніи. Древніе скульпторы, нисколько не заботясь о томъ, чтобы тѣло ихъ статуй во всѣхъ отношеніяхъ походило на человеческое, выставляли въ своихъ произведеніяхъ только одинъ атрибутъ тѣла—красоту и гармонию различныхъ сочетаній линій. Это одно они

только и имѣли въ виду и далѣе затѣли для нихъ было совершенно все равно, изъ бѣлаго ли, изъ чернаго ли мрамора были изваяны ихъ статуи или вылиты изъ бронзы, соответствовали ли онѣ въ своей величинѣ человеческому росту или не соответствовали. Подобною спеціализаціею они достигали той полноты и цѣльности впечатлѣнія, какія ставятъ произведенія ихъ на недосыгаемую высоту. Впослѣдствіи, когда древняя цивилизація начала падать и вкусы начали грубѣть, явилось раскрашивание статуй. Съ точки зрѣнія натурализма, это былъ шагъ впередъ; подумайте, какая разница относительно всесторонней близости дѣйствительности, представляется ли вамъ тѣло человеческое бѣлымъ, чернымъ, бронзовымъ, или въ своемъ натуральномъ цвѣтѣ. Но спрашивается, выиграло ли древнее ваяніе отъ подобной натурализаціи? Напротивъ того: совершенно проиграло. Обратите вниманіе на общезвѣстную странность: казалось бы, что бѣлый цвѣтъ мраморныхъ статуй долженъ былъ бы болѣе всего возбуждать въ насъ представленіе о трупахъ, а между тѣмъ, выходитъ совсѣмъ наоборотъ: когда мы любимся мраморными статуями, намъ и въ голову не приходитъ, что статуи эти проходятъ по своему цвѣту на мертвые тѣла; когда-же мы смотримъ на восковыя фигуры и раскрашенные статуи, то, несмотря на ихъ натуральный цвѣтъ живого тѣла, онѣ производятъ на насъ тяжелое впечатлѣніе труповъ, и долгое пребываніе въ одиночествѣ въ обществѣ подобныхъ фигуръ способно возбудить въ васъ ужасъ, а нервнаго человека довести до галлюцинацій. Этотъ фокусъ очень легко объяснить: когда вы смотрите на мраморную статую, вы получаете отъ нея одно спеціальное впечатлѣніе красоты формъ; ею только вы и любуетесь въ статуѣ и совершенно при этомъ забываете о томъ, на сколько походитъ или не походитъ эта статуя на живое тѣло во всѣхъ другихъ отношеніяхъ; васъ не только при этомъ не занимаетъ цвѣтъ статуи, но нисколько не шокируетъ даже отсутствіе въ ней глазъ, такъ все вниманіе ваше поглощено преобладающимъ впечатлѣніемъ красоты формъ. Но попробуйте раскрасить эту статую,—и сейчасъ впечатлѣніе, получаемое вами отъ нея, осложнится, раздвоится: вы будете видѣть въ статуѣ не спеціально одну только красоту формъ, но и цвѣтъ тѣла, волося, выраженіе глазъ. Весь этотъ ансамбль невольно заставитъ васъ сравнивать статую съ живымъ человекомъ и оцѣнивать, на сколько подходитъ она къ нему, чего вы прежде не дѣлали. Подобное сравненіе немедленно-же выдвинетъ впередъ новое впечатлѣніе: именно то, что вотъ передъ вами, повидимому, совсѣмъ живой чловѣкъ, а между тѣмъ онъ неподвиженъ, какъ трупъ. Это впечатлѣніе воцарится надо всѣми прочими и парализуетъ ихъ окончательно. Въ концѣ концовъ, вамъ будетъ не до красоты формъ, не до цвѣта кожи, не до выраженія глазъ: вы будете только всматриваться въ мертвую неподвижность статуй и съ мурашками, проходящими по кожѣ, ожидать, что вотъ она сейчасъ кивнетъ головою, пошевелитъ пальцемъ, моргнетъ глазами и пр. Согласитесь, что подобными ожиданіями обыкновенно кончаются всѣ созерцанія восковыхъ фигуръ, какъ-бы онѣ ни были хорошо сдѣланы. Чтобы избѣ-



жать подобнаго непріятнаго впечатлѣнія мертвенности въ восковыхъ фигурахъ, люди придумали придавать имъ еще большую натурализацию, дѣлать ихъ движущимися. И хотя вслѣдствіе этого онѣ сдѣлались еще ближе къ дѣйствительности, онѣ все-таки стали не менѣе, если не болѣе отвратительны. Если въ движущихся фигурахъ васъ не поражаетъ болѣе трупная мертвенность, за то тѣмъ болѣе тяжелое, давящее впечатлѣніе производитъ методичность и однообразная періодичность однихъ и тѣхъ-же движеній. Это нѣчто, при всей своей кажущейся близости къ дѣйствительности, совершенно несообразное съ нею, въ гораздо большей степени—ложь, чѣмъ статуя со своимъ бронзовымъ тѣломъ и безъ глазъ. Ну чтожь затѣмъ? Остается развѣ еще болѣе приблизить восковую фигуру къ дѣйствительности, заставить ее дѣлать самыя разнообразныя движенія и отвѣчать на ваши вопросы натуральнымъ человѣческимъ голосомъ. Но я убѣжденъ, что и въ такомъ случаѣ, вмѣсто цѣльнаго эстетическаго впечатлѣнія, вы вынесли-бы еще въ большей степени тяжелое чувство, въ родѣ кошмара, которое тѣмъ сильнѣе проявилось-бы въ васъ, чѣмъ болѣе механику удалось-бы *обмануть* васъ близостью къ дѣйствительности, заставивши принять восковую фигуру за живого человѣка, а потомъ разочароваться въ этомъ. А главное дѣло, замѣтите опять-таки фокусъ: въ то время, какъ при созерцаніи какой-нибудь Венеры Милосской, вамъ и въ голову не приходитъ, что художникъ лжетъ, надуваетъ васъ, выдавая вамъ за живого человѣка безглазую статую съ алебастрово-бѣлымъ тѣломъ и съ такими-же бѣлыми волосами, здѣсь напротивъ того, первое представленіе, какое должна возбудить въ васъ поразительная близость восковой фигуры къ дѣйствительности, это—представленіе очень хитраго и искуснаго обмана. Этотъ фокусъ лежитъ въ существѣ натурализаціи, поставленной единственной и спеціальной цѣлью искусства. Когда художникъ вдохновленъ какою-нибудь правдою жизни, ну хоть наприимѣръ, въ данномъ случаѣ, правдою красоты формъ человѣческаго тѣла, онъ только и стремится къ тому, чтобы выразить эту правду, и образъ его будетъ дышать этою правдою, какъ-бы ни была она относительна и односторонна, и хотя-бы художественный образъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ не имѣлъ ничего общаго съ дѣйствительностью. Если-же художника не поражаетъ никакая реальная, данная, конкретная правда, всегда односторонняя, если подъ правдою онъ подразумѣваетъ только общее, отвлеченное понятіе рабской вѣрности дѣйствительности, въ такомъ случаѣ, каждый разъ, когда будетъ представляться къ этому какая-либо возможность, у художника должна естественно возникать благородная цѣль своею вѣрностью дѣйствительности обмануть зрителя или читателя, заставивши ихъ забыть, что передъ ними не настоящая дѣйствительность, а только художественно воспронизведенная. Такимъ образомъ мы видимъ, что ложь лежитъ скорѣе въ основѣ и цѣляхъ излишней погони за вѣрностью дѣйствительности, а никакъ не въ тѣхъ измѣненіяхъ ея, какія допускаетъ истинное искусство подъ вліяніемъ различныхъ творческихъ экспансовъ. Не помню 10 или 15, а можетъ быть и всѣхъ

20 лѣтъ тому назадъ, на академической выставкѣ была выставлена однимъ художникомъ картина, изображающая ничего болѣе, какъ задъ картины, т. е. холстъ и сосновыя рамки со шпильками по краямъ. До такой степени это было вѣрно изображено, что посетители выставки, невооруженные каталогами, въ недоумѣніи останавливались передъ этою картиною и спрашивали, за какую это провинность картина обращена передомъ къ стѣнѣ. Вотъ вамъ наглядная эмблема натурализма. Какъ назвать подобную выходку художника: безцѣльнымъ, пошлымъ обманомъ или, напротивъ того, самою реальною правдою жизни?

Обращаясь затѣмъ къ російской словесности, я намѣренъ остановиться главнымъ образомъ на новомъ произведеніи А. Потѣхина, романѣ „Между денегъ“, напечатанномъ въ трехъ послѣднихъ книжкахъ прошлаго года „Вѣстника Европы“ и появившемся недавно въ отдѣльномъ изданіи. Но прежде, чѣмъ я приступлю къ главному предмету моего письма, я намѣренъ представить двѣ параллели: одну въ видѣ контраста относительно произведенія Потѣхина, другую-же, наоборотъ, въ видѣ подобія ему. Это именно—двѣ поэмы Некрасова „Русскія женщины“ и повѣсти Григоровича изъ народнаго быта. Выборъ этихъ произведеній сдѣланъ мной не случайно, несмотря на то, что они относятся, повидимому, къ разнымъ эпохамъ и не имѣютъ ничего общаго между собою по своему содержанію. Поэмы Некрасова я избираю на томъ основаніи, что я никакъ не могу припомнить ни одного художественнаго произведенія, вышедшаго въ послѣднія десять лѣтъ въ нашей печати, которое произвело-бы на публику такое сильное и цѣльное впечатлѣніе и которое имѣло-бы съ тѣмъ было-бы такъ систематически односторонне, какъ именно эти самыя поэмы Некрасова. Что-же касается до Григоровича, я не знаю писателя болѣе подобнаго А. Потѣхину, какъ именно этотъ беллетристъ 40 годовъ.

Начинаю съ поэмъ Некрасова. Я уже сказалъ выше, что я не могу припомнить никакого другого произведенія изъ появившихся въ послѣднія десять лѣтъ, которое равнялось-бы этимъ поэмамъ по силѣ и цѣльности производимаго ими впечатлѣнія. Изъ самыхъ произведеній Некрасова, написанныхъ до и послѣ этихъ поэмъ, вы не найдете подобныхъ имъ по классически-строгой, если можно такъ выразиться, художественности. Это превосходство поэмъ Некрасова произошло, по моему мнѣнію, не изъ чего иного, какъ изъ того, что предметъ ихъ оказался столь близкимъ и дорогимъ душѣ художника, что всецѣло завладѣлъ имъ, возбудилъ его творчество до высшаго напряженія и заставилъ его забыть все остальное, побочное, все, чѣмъ осложнялся въ свое время этотъ предметъ. Когда вы прочтете эти поэмы, несомнѣнно онѣ произведутъ на васъ впечатлѣніе реальной правдивости, въ васъ не закрадется и тѣни сомнѣнія, что авторъ измѣнилъ дѣйствительность, однѣ ея стороны совсѣмъ опустилъ, другія-же выдвинулъ впередъ и представилъ въ нѣсколько преувеличенномъ видѣ. А между тѣмъ, при всей реальной правдивости поэмъ, авторъ все это продѣлалъ: не то, чтобы самъ онъ все это искусственно, преднамѣренно продѣлалъ, но какъ-то это само все совершилось силою его творческаго пафоса.

Цѣль поэмъ Некрасова заключается въ томъ, чтобы выставить въ наиболѣе яркомъ свѣтѣ героизмъ тѣхъ нашихъ доблестныхъ соотечественницъ 20-хъ годовъ, которыя, покидая весь комфортъ роскошной жизни, всѣ прелести и приманки большого свѣта, отправлялись за своими мужьями, раздѣлять ихъ суровую каторжную, казематную жизнь въ далекихъ и глубокихъ сибѣгахъ Сибири. И поэмы съ такою исключительностью направлены къ этой цѣли, что не найдете вы въ нихъ ни одной черты, ни одного стиха, которые были-бы лишни, побочны, были-бы сами по себѣ и отвлекали-бы отъ главной цѣли поэмъ куда-нибудь совсѣмъ въ сторону. Каждая сцена, каждая деталь въ нихъ словно нарочно подобраны въ такомъ родѣ и духѣ, чтобы наиболѣе достигнуть цѣли выставленія героинь поэмъ въ наиболѣе обольстительномъ цвѣтѣ и величавомъ видѣ. Таковы контрасты золотыхъ сновъ и воспоминаній о прежней роскошной и веселой жизни, о молодости, балахъ, путешествіяхъ съ милымъ по южнымъ странамъ — съ печальною дѣйствительностью безконечнаго пути по унылымъ сибирскимъ сугробамъ, картина сибирской выюги и ночлега въ хатѣ лѣсника изнѣженной лвыицы, въ углу на мерзлой и жесткой цыновкѣ, рассказъ о всей трудности семейной борьбы, выдержанной несчастной женщиной, сцена прощанья съ сыномъ, проводовъ, сцена уговариванья со стороны губернатора и самоотверженной готовности продолжать путь пѣшкомъ, съ колодниками по этапу, и проч., и проч. Переберите вы всѣ эти сцены подъ рядъ, и вы убѣдитесь, что единственная и главная сторона, которая выступаетъ въ нихъ на первомъ планѣ, это — доблесть и сила самоотверженія выводимыхъ передъ вами героинь. Но развѣ одною этою стороною исполнѣны исчерпываются онѣ? Вы подумайте только: сколько другихъ сторонъ долженъ былъ-бы Некрасовъ освѣтить и очертить передъ нами, еслибы онъ вздумалъ гнаться за всестороннюю вѣрность дѣйствительности? Обратите вниманіе хотя-бы на то, что героини его мыслятъ, говорятъ и дѣйствуютъ совершенно подобно тому, какъ-бы стали мыслить, говорить и дѣйствовать лучшія и образованнѣйшія женщины того-же круга въ наше время. А между тѣмъ, въ поэмахъ представляется прошлое, отстоящее отъ нашего времени на цѣлое полстолѣтіе. Въ это время общій колоритъ нравовъ, складъ и умственныхъ, и нравственныхъ качествъ людей, захваченныхъ струей цивилизаціи, успѣли значительно видоизмѣниться. Такъ, напримѣръ, намъ извѣстно, что 50 лѣтъ тому назадъ, въ высшихъ слояхъ общества, которые въ то время представлялись и образованнѣйшими слоями, были въ большой модѣ приторный сентиментализмъ и напускная экзальтація. Правда, что мужчины начинали въ значительной степени уже освобождаться отъ этихъ свойствъ вѣка и проникаться байроновскимъ романтизмомъ, но великосвѣтскія женщины, которыя въ то время, по своему умственному развитію, стояли далеко позади своихъ мужей, все еще были преисполнены и сентиментальности, и экзальтаціи. Качества эти, въ то время, не только не считались чѣмъ-либо позорнымъ и смѣшнымъ, но напротивъ того, выставались на показъ и преувеличивались, потому что ими гордились, какъ признаками высшего развитія

и избранной природы. Но тѣмъ не менѣе, въ нашихъ глазахъ они неизбѣжно придаютъ смѣшной колоритъ женщинамъ начала нынѣшняго столѣтія не только въ мелочахъ ихъ обыденной жизни, въ родѣ проливанія горькихъ слезъ надъ раздавленной божьей коровкой, но и въ болѣе крупныхъ, роковыхъ и высокихъ эпизодахъ жизни ихъ, гдѣ выпешепонутые признаки вѣка проявлялись, конечно, еще въ болѣе рѣзкихъ чертахъ. Такъ, нѣтъ сомнѣнія, что и стремленіе къ мужьямъ въ ссылку въ Сибирь, изъ какихъ-бы высокихъ и святыхъ побужденій оно ни происходило и какимъ-бы ореоломъ героизма ни было окружено, тѣмъ не менѣе и оно, по всей вѣроятности, сопровождалось не малою дозою взрывовъ сентиментальности и экзальтаціи. Или вотъ вамъ и другая еще черта вѣка: извѣстно, что великосвѣтскіе люди начала нынѣшняго столѣтія отличались безумнымъ мотовствомъ, доходившимъ иногда до послѣднихъ предѣловъ вѣроятія. Женщины-же того времени превосходили, конечно, въ этомъ отношеніи мужчинъ, потому что мужчины жотали только изъ одной барской прихоти и самодурства, женщины-же, сверхъ того, слѣпо бросали деньги, потому что были по своему воспитанію безусловно лишены какого-бы то ни было знанія практической жизни, существовавшихъ въ то время отношеній, цѣнъ на разные продукты, чѣмъ, конечно, пользовались со всѣхъ сторонъ и надували барынь самымъ чудовищнымъ образомъ, беря съ нихъ сотни и тысячи рублей тамъ, гдѣ слѣдовало-бы платить копейками. Отъ такого недостатка, конечно, не были изъяты и героини наши, и надо полагать, что долгое и трудное путешествіе ихъ въ Сибирь не обошлось безъ цѣлаго ряда сценъ и комическихъ, и жалкихъ въ этомъ родѣ. По крайней мѣрѣ, вотъ что мы читаемъ по поводу женъ декабристовъ въ запискахъ Черепанова (см. „Древняя и Новая Россія“, № 7 1876 г.): „Дамы, какъ называютъ здѣсь женъ декабристовъ, разсыпали по здѣшней мѣстности кучи денегъ, съ такою щедростью, что я самъ однажды получилъ отъ княгини Трубецкой пять рублей за очнику ей пера (тогда не было еще стальныхъ перьевъ). Это обстоятельство выдвинуло смѣтливыхъ людей изъ ничего на степень богачей. Такъ разжился мясникъ Ефремовъ, ссыльно-каторжникъ“ и т. д. Хотя, конечно, сибирскій казакъ Черепановъ — не ахти какой авторитетъ относительно достовѣрности сообщаемыхъ имъ свѣдѣній, и въ той-же „Древней и Новой Россіи“, номера за 2, за 3, былъ уличенъ въ сообщенія невѣрныхъ свѣдѣній, именно относительно декабристовъ; но если допустить даже, что онъ все это выдумалъ, то выдумалъ довольно правдоподобно, не въ частности, такъ въ общемъ. По крайней мѣрѣ, я вполне готовъ вѣрить, что различнымъ сибирскимъ плутамъ, въ родѣ хотя-бы мясника Ефремова, выставляемаго Черепановымъ, пріѣздъ женъ декабристовъ былъ очень съ руки.

Представьте-же вы теперь, что Некрасовъ, изъ желанія воспроизвести личности изображенныхъ женщинъ какъ можно всестороннѣе и ближе къ дѣйствительности, не упустилъ-бы придать имъ значительный оттѣнокъ сентиментальной экзальтаціи и вибѣстѣ съ тѣмъ ребяческой непрактичности, заставлявшей ихъ сорить деньгами безъ всякаго разсчета и мѣры,

да ужь кстати, прибавилъ-бы нѣсколько дозъ великосвѣтской щепетильной гордости, отъ которой онѣ, по старой привычкѣ, никакъ не могли сразу отрѣшиться въ своемъ новомъ положеніи и которая, принося имъ миллионъ мелкихъ терзаній и уколовъ, омрачала и безъ того нерадостную жизнь ихъ. Относительно полноты и всесторонней вѣрности дѣйствительности, произведеніе, конечно, выиграло-бы, но выиграло-ли бы оно въ достиженіи существенной своей цѣли: увлеченія читателя картиною нравственной доблести героини поэмы? Въ томъ то и дѣло, что въ этомъ именно, въ самомъ-то главномъ, оно и проиграло-бы. Теперь читатель выноситъ изъ него одно цѣльное, ничѣмъ ненарушаемое впечатлѣніе, въ видѣ чувства восторга и востѣ съ тѣмъ глубокой жалости къ судьбѣ героини, а тогда эта цѣльность нарушилась-бы: читатель вынесъ-бы неопредѣленное чувство изъ нѣсколькихъ смѣшанныхъ впечатлѣній, изъ которыхъ одно парализовало-бы другое: хотя съ одной стороны героини и заслуживали-бы поклоненія за свой подвигъ, но съ другой—были-бы нѣсколько и смѣшны своею сентиментальностью, а съ третьей, возбудили-бы и отвращеніе антипатичными чертами своей великосвѣтскости—въ родѣ надутости, щепетильной гордости, непрактичности, мотовства и пр. Такимъ образомъ и здѣсь, въ поэмахъ Некрасова, мы видимъ тотъ-же законъ обратно пропорціональнаго отношенія всесторонней вѣрности дѣйствительности къ силѣ впечатлѣнія, возбуждаемаго произведеніемъ. Нетрудно при этомъ доказать, что если-бы, въ другомъ случаѣ, тотъ-же Некрасовъ вздумалъ-бы представить намъ весь комизмъ сентиментальной экзальтации, всю нелѣпость безумнаго мотовства нашихъ отцовъ и дѣдовъ или всю несообразность и дикость того ребяческаго незнанія жизни, которымъ наши бабушки гордились, то опять-таки и въ такомъ случаѣ большаго успѣха онъ достигъ-бы въ своемъ произведеніи только тогда, когда все вниманіе читателей исключительно обратилъ-бы на эти выставленные недостатки. Конечно, при этомъ было-бы совершенно излишне заставлять героевъ или героинь сверхъ всего совершать какіе-бы то ни было подвиги самоотверженія, и было-бы величайшею художественною ошибкою и чистѣйшимъ абсурдомъ въ видѣ сентиментально-экзальтированныхъ, безумно-расточительныхъ и дѣтски непрактичныхъ барынь изобразить вдругъ доблестныхъ женъ декабристовъ.

Но можно предположить, что Некрасовъ въ поэмахъ своихъ представилъ дѣйствительность не только крайне односложно, но и преувеличенно. Я убѣжденъ, по крайней мѣрѣ, что всѣ эти яркія, патетическія, потрясающія васъ сцены, каковы, напримѣръ, сцены свиданія съ мужемъ въ темницѣ, губернаторскаго уговариванья, появленія въ рудникахъ—въ дѣйствительности далеко не были столь ярки и потрясающи и носили тотъ колоритъ сѣренькой заурядности, какой носить наша русская жизнь во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, начиная отъ самыхъ низкихъ и комическихъ и до преисполненныхъ высокаго трагизма. Такъ, напримѣръ, возьмите вы хотя-бы сцену свиданія въ темницѣ. Женщина, ищущая такого свиданія, является у насъ обыкновенно не иначе, какъ въ видѣ хлопотливой просительницы въ приемныхъ людей, власть иму-

щихъ, а затѣмъ слѣдуютъ и самыя свиданія, мало чѣмъ отличающіяся отъ заурядныхъ, будничныхъ посѣщеній страждущихъ родныхъ въ больницахъ, при чемъ, я не спорю, бываютъ и слезы, и патетическія сцены, но преобладаютъ, конечно, самыя будничныя хлопоты о снабженіи заключеннаго деньгами и разными необходимыми продуктами. И опять-таки, я спрашиваю у васъ: неужели поэмы Некрасова выиграли-бы, если-бы онъ вздумалъ педантически соблюдать буквальную вѣрность дѣйствительности и наполнилъ-бы сцену свиданія разговорами княгини съ мужемъ о томъ, хорошо-ли его кормятъ и не нуждается-ли онъ въ сигарахъ или чистомъ бѣльѣ, и т. п.?

Вы сдѣлаете мнѣ, быть можетъ, такое возраженіе, что, положимъ, Некрасовъ имѣлъ свою специально-одностороннюю цѣль изобразить своихъ героинь только въ моменты совершенія ими ихъ высокаго подвига; но развѣ иной художникъ не могъ-бы задаться попыткой объективнаго всесторонняго воспроизведенія данной дѣйствительности не съ какою иною цѣлью, какъ лишь съ тою, чтобы воспроизвести передъ нами ту или другую эпоху во всѣхъ ея хорошихъ и дурныхъ чертахъ, воскресить ее передъ нами во всѣхъ ея краскахъ? Неужели-же я отрицаю историческій романъ, да и вообще всякій романъ, какъ эпопею современной или прошлой жизни? Нѣтъ я все это допускаю, но я отрицаю только объективно-безстрастное отношеніе художника къ изображаемой имъ дѣйствительности, то объективное безстрастное отношеніе, при условіи котораго только и возможно вполне вѣрное и всестороннее изображеніе дѣйствительности. Такого рода отношеніе художника къ изображаемымъ явленіямъ совершенно, по моему мнѣнію, выходитъ изъ области искусства въ его истинномъ смыслѣ. Это вовсе не художественное творчество, а техника, ремесло. Изображенія подобнаго рода могутъ блистать своего рода совершенствами, но совершенства эти будутъ именнo *своего рода*, не имѣющія ничего общаго съ совершенствами истинно-художественныхъ произведеній. Здѣсь мы будемъ имѣть дѣло съ совершенствами чисто техническими: съ вѣрнымъ и зоркимъ глазомъ, умѣнемъ схватывать колоритъ предметовъ, всѣ малѣйшіе оттѣнки ихъ и правильно разставлять подробности и пр., и пр. Но здѣсь и рѣчи не можетъ быть о истинныхъ, высшихъ задачахъ искусства—увлекать читателей изображаемыми явленіями жизни, возбуждать въ нихъ тѣ или другіе страстные импульсы, заставлять ихъ не однимъ воображеніемъ и мыслию, но всѣмъ существомъ переживать изображаемую жизнь. Подобныя изображенія, наконецъ, могутъ приносить свою пользу, но и польза ихъ совершенно своя, особенная, научно прикладная, служебная. Романы, все равно изъ исторической или современной жизни, не имѣющіе иной цѣли, какъ только объективно-всестороннее изображеніе жизни, вполне, по моему мнѣнію, равняются по своему значенію и пользѣ атласамъ географическимъ, ботаническимъ, зоологическимъ и т. п. Всѣ подобные атласы тоже могутъ имѣть свои техническо-художественныя совершенства въ смыслѣ вѣрности изображенія, изящества отдѣлки и т. п. Но, какъ-бы ни были прекрасно изображены въ нихъ цвѣты, попугаи, обезьяны или пѣлыя части свѣта, вѣдь не сравните-же вы ихъ съ лучшими со-

зданіями живописнаго творчества и будете смотрѣть на нихъ вовсе не въ художественныхъ интересахъ въ видѣ возбужденія въ себѣ какихъ-либо страстныхъ импульсовъ, а съ чисто научною цѣлю помочь своей памяти и воображенію путемъ живаго и нагляднаго представленія изучаемыхъ предметовъ. Но развѣ массы романовъ на всѣхъ языкахъ не ограничиваются преслѣдованіемъ столь-же чисто научно-прикладной цѣли помогать нашему воображенію и памяти при изученіи явленій жизни исторической или современной? Что иное можетъ принести вамъ чтеніе „Князя Серебрянаго“ гр. А. Толстого, какъ не наглядное представленіе эпохи Іоанна Грознаго? Или съ какимъ инымъ побужденіемъ можете вы приняться за чтеніе романа „Въ лѣсахъ“ Печерскаго, какъ не для того, чтобы узнать, какъ живутъ раскольники въ костромскихъ лѣсахъ, и прибавить нѣсколько нелишнихъ представлений въ сокровищницу своей памяти? Я и не думаю, такимъ образомъ, отрицать ни значенія, ни пользы всѣхъ подобныхъ произведеній, но только не воображайте, чтобы они въ свою очередь были продуктами художественнаго творчества, не считайте ихъ произведеніями искусства въ строгомъ смыслѣ этого слова, и не смѣшивайте въ одну неопредѣленную кучу съ истинными перлами художественныхъ созданій, и притомъ дѣлайте такое строгое разграниченіе вовсе не ради установленія какой-либо іерархіи въ области искусства, возведенія однихъ произведеній насчетъ другихъ, а чисто въ виду ясности сознанія, что вотъ-могутъ эти вещи принадлежать къ одной категоріи, а тѣ совсѣмъ къ другой, хотя и тѣ, и другія, конечно, могутъ быть въ своей области болѣе или менѣе совершенны: ботаническій атласъ можетъ быть не въ прирѣзъ совершеннѣе, какъ атласъ, чѣмъ иной художественный ландшафтъ, какъ ландшафтъ; но тѣмъ не менѣе, атласъ пусть остается атласомъ, а ландшафтъ — ландшафтомъ.

При этомъ нужно обратить вниманіе и на то, что присутствіе художественно-творческаго отношенія къ дѣйствительности въ произведеніи или-же отсутствіе его не всегда зависитъ отъ одного количества творческихъ силъ, вложенныхъ въ писателя судьбою. Здѣсь играетъ большую роль также и напряженіе этихъ силъ, которое независимо отъ ихъ количества можетъ въ данномъ случаѣ имѣть большую или меньшую степень. Если предметы, съ которыми имѣетъ дѣло писатель, совершенно чужды ему, онъ относится къ нимъ вполнѣ индифферентно, никакая сторона этихъ предметовъ особенно не задѣваетъ его за живое, не волнуетъ, не трогаетъ, то, конечно, можно ожидать, что, писатель, какимъ-бы громаднымъ талантомъ ни обладалъ, будетъ относиться къ нимъ скорѣе какъ художникъ-техникъ, чѣмъ какъ художникъ-творецъ. У него, безъ сомнѣнія, тотчасъ-же должно явиться стремленіе обрисовывать эти предметы со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ ихъ мелочахъ, именно въ силу того, что всѣ стороны для него одинаково замѣчательны и незамѣчательны, а съ другой стороны, при такомъ хладнокровіи, онъ окажется способнымъ обратить вниманіе на такіе не стоящіе вниманія мелочи, какія онъ, конечно, совершенно опустил-бы изъ виду въ порывѣ страстнаго экстаза. Въ результатѣ должно

выйти произведеніе, zagrożенное ненужными подробностями, безчувственно и безсердечно холодное, не представляющее никакой основной и разумной цѣли, которая-бы двигала авторомъ, не дающее никакого цѣльнаго впечатлѣнія и, въ концѣ-концовъ, несмотря на то, что предметы въ немъ обрисованы, по-видимому, мастерскою кистью, со всѣхъ сторонъ и съ самыми мелочными подробностями, вы вынесете о нихъ темное, неопредѣленное и сбивчивое понятіе, если только ранѣе и помимо произведенія вы не успѣли составить о нихъ болѣе яснаго понятія. Какъ на образцы такого явленія мы можемъ указать на массу беллетристическихъ произведеній, представляющихъ жизнь слоевъ общества, совершенно чуждыхъ авторамъ и съ которыми послѣдніе имѣютъ очень мало точекъ соприкосновенія. Таковы, наприимѣръ, романы, повѣсти, очерки изъ жизни крестьянъ, мѣщанъ и купцовъ. Какъ хотите, а только этимъ можно объяснить, что въ массѣ всѣ подобныя произведенія, несмотря на гуманное отношеніе къ героямъ со стороны авторовъ, поражаютъ насъ своею холодною объективностью, фотографичностью, полнымъ отсутствіемъ того живого, непосредственнаго отношенія къ изображаемымъ предметамъ и того горячаго одушевленія, какимъ бывають проникнуты повѣсти, изображающія жизнь и нравы интеллигентныхъ классовъ общества. Такъ, наприимѣръ, возьмите хотя-бы романы и повѣсти Григоровича изъ крестьянскаго быта. О нихъ существовало одно время, лѣтъ десять или пятнадцать тому назадъ, ложное предубѣжденіе, не знаю ужъ какъ возникшее, что будто въ повѣстяхъ этихъ изображены не настоящіе русскіе мужики, а нѣчто въ родѣ пейзажъ романовъ Жоржъ-Занда. Не знаю, можетъ быть, въ большихъ романахъ Григоровича, въ родѣ „Рыбаки“ или „Переселенцы“, вы и найдете двѣ-три фигуры, смахивающія на пейзажъ, но въ большинствѣ случаевъ и особенно въ мелкихъ разсказахъ Григоровича русскіе мужики являютъя вполнѣ похожими на настоящихъ и чистокровныхъ мужиковъ, со всѣми мелкими деталями ихъ быта, въ чемъ я вполнѣ убѣдился, перечитавши недавно подъ рядъ всѣ произведенія Григоровича въ этомъ родѣ. Отношеніе автора къ героямъ безхитростно простое, гуманное, въ то-же время безъ малѣйшей какой-либо напускной сентиментальности или идеализаціи. Рядомъ съ хорошими чертами крестьянскаго быта не упущена и масса дурныхъ. Вообще я не нашелъ почти никакой существенной разницы между этими повѣстями и современными намъ изображеніями крестьянскаго быта. Но меня поразила вотъ какая особенность во всѣхъ этихъ разсказахъ: надо замѣтить, что большая часть ихъ тенденціозны, стремятся выставить, что терпятъ крестьянѣ подъ гнетомъ крѣпостнаго права. Съ этимъ цѣлю авторъ избираетъ иногда вполнѣ драматическіе сюжеты, каковъ, наприимѣръ сюжетъ повѣсти „Антонъ-горемыка“. Послѣдній сюжетъ до того подкупилъ и увлекъ Бѣлинскаго, что тотъ поставилъ повѣсть эту превыше всего, что появилось въ то время въ литературѣ въ этомъ родѣ. „Несмотря на то, — говоритъ Бѣлинскій: — что внѣшняя сторона разсказа вертится на пропажѣ мужицкой лошадаенки; несмотря на то, что Антонъ — мужикъ простой, вовсе не изъ бой-

кихъ и хитрыхъ,—онъ лицо трагическое, въ полномъ значеніи этого слова. Это—повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя“, и пр.

Я нисколько не ставлю Бѣлинскому въ вину подобный приговоръ, но все-таки мнѣ кажется, что въ немъ, въ лицѣ Бѣлинскаго, публицистъ преобладаетъ надъ критикомъ. Попробуйте перечитать эту повѣсть, и вы увидите, что сюжетъ ея самъ по себѣ действительно драматическій и трогательный, и нельзя сказать, чтобы былъ совсѣмъ отжившій для нашего времени: стоитъ только замѣнить въ немъ барскаго управляющаго сельскими властями, становымъ и судебнымъ приставами—и онъ можетъ получить вполне современное значеніе. Но странно, сужденіе ваше о драматичности разсказа будетъ чисто разсудочно-головное, и трогательный сюжетъ ни мало не тронетъ васъ; дочитавъ повѣсть до конца, вы останетесь точно также апатично-спокойны, какъ будто прочли вовсе не о бѣдствіяхъ Антона-горемики, а рядъ художественныхъ картинъ, представляющихъ прелести и красоты сельской природы. Оно такъ и есть: вы, собственно говоря, это самое и прочли и одними прелестями, и ароматами сельской природы вы и должны были впечатлѣться. Дѣло въ томъ, что передъ вами вовсе не художникъ-публицистъ и драматургъ, который такъ глубоко былъ-бы взволнованъ судьбою Антона-горемики, что вздумалъ-бы выставить на первый планъ и поразить васъ всюю оскорбительностью бѣдствія героя. Нѣтъ, передъ вами художникъ-жанристъ, который, хотя поставилъ въ основѣ разсказа драматическій сюжетъ, заплативъ имъ дань вѣку, но въ сущности сюжетъ этотъ послужилъ ему ничѣмъ болѣе, какъ лишь канвою для вышиванія своихъ любимыхъ узоровъ. Но подумайте, развѣ вы заботитесь о канвѣ, когда любуетесь вышивкою? Очевидно, что одни узоры только и привлекаютъ все ваше вниманіе. Такъ и въ настоящемъ случаѣ: авторъ нанизываетъ такую массу мелкихъ, иногда поразительно-микроскопическихъ деталей различныхъ оттѣнковъ сельской природы—во всѣхъ четырехъ временахъ года, въ полдень, въ полночь, вечеромъ и утромъ на разсвѣтѣ, въ лѣсу, въ полѣ, въ селѣ и въ хатѣ мужика, что гдѣ ужъ тутъ проникаться бѣдствіями Антона-горемики, когда васъ только и хватаетъ на то, чтобы любоваться, какъ „кругомъ въ лѣсу царствовала тишина мертвая; на всемъ лежала печать глубокой, суровой осени; листья съ деревьевъ падали и влажными грудями устилали застывавшую землю; всюду чернѣлись голые стволы деревьевъ“ и пр. и пр., или какъ „возъ, навьюченный красноватымъ и сизымъ хворостомъ, медленно выѣзжалъ изъ лѣсу, скрипя и покачиваясь изъ стороны въ сторону, какъ бы изловчаясь сбросить съ себя при первомъ кособорѣ лишнюю тяжесть“ и пр. и пр.... Вообще любая повѣсть изъ народнаго быта Григоровича производитъ впечатлѣніе путешествія по картинной галлерей пейзажей и жанра. Вы только и дѣлаете, что переходите отъ одной картинки къ другой: тамъ вы находите, что колоритъ слишкомъ яркъ, здѣсь, что, напротивъ того, положено много тѣни, въ третьемъ мѣстѣ васъ восхищаетъ ансамбль крестьянскихъ дѣ-

вушекъ, очень удачно, картинно и типично сгруппированныхъ вокругъ воза коровейника, въ четвертомъ васъ поражаетъ наблюдательность художника, сжумѣвшаго подмѣтить удивительно тонкій оттѣнокъ природы или жизни и пр. и пр. Въ результатъ же, какъ и послѣ каждаго долгаго путешествія по заламъ музеевъ и выставокъ, должна получиться рядомъ съ физическою усталостью и нѣкоторая нервная оскомина. Очевидно, что тутъ ужъ вамъ будетъ не до бѣдствій Антона-горемики: закружится просто голова отъ излишества сельскихъ пейзажей и ароматовъ, и вы начнете въ утомленіи перевертывать страницу за страницей, въ нетерпѣніи ожидая, что когда же все-му этому будетъ конецъ?

Въ этомъ отношеніи повѣсти Григоровича изъ народнаго быта могутъ служить вамъ прекрасными образцами, показывающими, что выходитъ изъ того, если художникъ преслѣдуетъ въ своемъ произведеніи разомъ нѣсколько цѣлей, не сосредоточиваясь исключительно ни на одной. Очевидно, что въ такомъ случаѣ онъ или не достигаетъ ни одной изъ нихъ, и произведеніе его будетъ производить неопредѣленное и смѣшанное впечатлѣніе, или же въ результатъ окажется перевѣсъ за тою цѣлю, достиженіе которой болѣе интересуетъ художника, ближе его душѣ, сообразнѣе свойствамъ его таланта и складу его характера подъ влияніями воспитавшихъ его условій среды и вѣка. Такъ вотъ и въ данномъ случаѣ: художникъ-пейзажистъ и жанристъ вытѣснилъ художника публициста, вслѣдствіе того, что стороны сельской жизни, которыя болѣе всего занимали Григоровича и возбуждали его поэтическое творчество, встали на первый планъ и заслонили собою тѣчныя стороны быта мужика, которыя Григоровичъ постигалъ только головою. Однимъ словомъ, здѣсь случилось нѣчто аналогическое съ тѣмъ, что происходитъ при различныхъ химическихъ опытахъ, въ родѣ, напримеръ, разложенія воды—при чемъ вещества, имѣющія химическое средство съ водородомъ, соединяются съ нимъ и освобождаютъ кислородъ, и обратно.

Но сочиненія Григоровича поучительны для насъ въ данномъ случаѣ не только сами по себѣ. Они могутъ служить подтвердительными фактами при нашемъ дальнѣйшемъ анализѣ новаго романа А. Потѣхина, потому что представляютъ изъ себя явленія, вполне аналогичныя какъ съ этимъ романомъ, такъ и со многими произведеніями А. Потѣхина. Въ самомъ дѣлѣ, трудно сыскать въ нашей литературѣ двухъ писателей, столь схожихъ по своей литературной дѣятельности, какъ Григоровичъ и А. Потѣхинъ. Одинъ словно служитъ дополненіемъ и продолженіемъ другого. Правда, что между ними найдете вы кое-какую и разницу: такъ, Григоровичъ покажется вамъ, конечно, талантливѣе и умнѣе А. Потѣхина; онъ не задается съ такою беззаветною пошлостью сентенціями прописной морали, какъ это бывало зачастую съ А. Потѣхинымъ; въ тоже время онъ отличный пейзажистъ, тогда какъ Потѣхинъ совсѣмъ не обладаетъ этимъ даромъ, и въ его произведеніяхъ вы почти не найдете ни одного описанія природы. За то, въ то время, какъ Григоровичъ ограничивается одними только помѣщиками и крестьянами, Потѣхинъ

сверхъ того, изображаетъ купеческій и мѣщанскій бытъ; Григоровичъ подвизается исключительно въ области романа и повѣсти, тогда какъ Потѣхинъ, сверхъ того, извѣстенъ и какъ драматическій писатель. — Вотъ и все, чѣмъ эти два писателя отличаются другъ отъ друга. Но за то въ существенномъ они вполне сходятся: именно, оба представляются самыми ревностными приверженцами натурализма. Оба — жанристы съ ногъ до головы, и какими-бы сюжетами для повѣсти или романа ни задались, заботятся не столько о наиболѣе сильномъ выполненіи сюжета, сколько о томъ, какъ-бы очертить каждый встрѣчающійся въ повѣсти предметъ со всѣхъ сторонъ, какъ-бы не опустить ни малѣйшей подробности, и какъ у одного, такъ и у другого произведенія вслѣдствіе этого распадаются на массы мелкихъ жанровыхъ картиночекъ, разглядываніе которыхъ заставляетъ васъ совершенно забывать о главномъ содержаніи произведенія.

Въ этомъ отношеніи, къ новому роману Потѣхина совершенно можно примѣнить то, что я говорилъ объ „Антонѣ-горемыкѣ“ Григоровича. Въ основѣ романа лежитъ сюжетъ, самъ по себѣ исполненный печальнаго трагизма. Но, когда вы читаете романъ, трагизмъ этотъ нисколько не трогаетъ васъ; вы находите даже въ недоумѣніи: зачѣмъ это авторъ повѣствуетъ намъ о какихъ-то грязныхъ любовныхъ шашняхъ, какія ежедневно заводятся на заднихъ дворахъ помѣщичьихъ усадебъ или купеческихъ фабрикъ, не столько изъ потребности любви, сколько изъ жажды поживиться на счетъ предмета страсти? Только, когда вы дочитаете романъ до конца, и сюжетъ его развернется передъ вами во всей полнотѣ, вы, наконецъ, сообразите, что въ основѣ романа лежитъ цѣлая трагедія. Но вы сообразите это только своимъ разсудкомъ и въ тоже время останетесь совершенно равнодушны къ судьбѣ дѣйствующихъ лицъ, точно будто романъ покончился общимъ благополучіемъ или, еще того лучше, ровно ничѣмъ не кончился, а между тѣмъ, въ результатъ получается одна разбитая жизнь и одинъ новый кулакъ на Руси, разжившійся самымъ возмутительнымъ образомъ. Этотъ недостатокъ сильнаго и цѣльнаго впечатлѣнія зависитъ, по моему мнѣнію, отъ двухъ причинъ: съ одной стороны, отъ излишняго нагроможденія всевозможныхъ деталей, отвлекающихъ вниманіе читателя отъ главнаго содержанія романа и, въ концѣ-концовъ, утомляющихъ его, а съ другой стороны — отъ неправильнаго освѣщенія дѣйствующихъ лицъ романа, оттого, что автору, вслѣдствіе холоднаго безучастія къ своимъ героямъ, не удалось измѣнить изображаемую дѣйствительность, выдвинувши впередъ такіа стороны, какія были нужны сообразно характеру сюжета.

Для того, чтобы это вполне было ясно читателю, я попробую извлечь сюжетъ изъ всего загромождающаго его хлама и представить его въ самомъ чистомъ видѣ, обративши вниманіе только на тѣ его стороны, въ которыхъ онъ выступаетъ во всемъ своемъ драматизмѣ. А затѣмъ, мы посмотримъ, что сдѣлалъ изъ него Потѣхинъ.

На первомъ планѣ романа рисуется передъ нами

семейство Терентья Савельевича Скоробогатаго, богатаго крестьянина деревни Сногищево, записаннаго въ купеческой гильдіи, владѣльца небольшой ткацкой фабрики и кабачнаго заведенія. Это былъ сѣдой, но бодрый еще старикъ, съ черными живыми глазами, блестящими изъ подъ нависшихъ, вѣчно хмурыхъ бровей; онъ слылъ человѣкомъ скупымъ, нелюдимымъ, непривѣтливымъ. Отъ сельчанъ своихъ стоялъ въ сторонѣ и не сближался съ ними, смотря на нихъ свысока, какъ на своихъ фабричныхъ работниковъ; богачи-фабриканты, съ своей стороны, также смотрѣли на него свысока и не нисходили до хорошаго знакомства съ нимъ; бѣдной родни своей онъ дичился, какъ человѣкъ богатый и скупой, да къ тому же и непривѣтливый, а съ родней невѣстки, взятой изъ небогатаго купеческой семьи сосѣднаго города, онъ не ладилъ изъ-за разсчетовъ о приданомъ. Вслѣдствіе этого, Скоробогатый жилъ одиноко, и даже въ храмовой праздникъ, когда все село шумно пировало и принимало гостей со всего околотка, у него не было никакихъ гостей и ворота его были на запорѣ.

«Несмотря на то, читасмъ мы въ романѣ, что у Терентья Савельевича считали не одинъ десятокъ тысячъ залежнаго капитала и оборотъ его фабричныхъ заведеній шелъ также на десятки тысячъ, онъ жилъ совсѣмъ по-мужицки: прислуги почти не держалъ, прибирала въ домѣ и кушанье стряпала его сестра, самъ онъ не гнушался и задать корма лошади, и заложить ее, если отъ фабрики жалѣлось оторвать рабочаго, а нужно было куда-нибудь ѣхать. Всю семью онъ держалъ въ великомъ страхѣ и послушаніи. Тридцатилѣтній сынъ исполнялъ только его приказанія, самолично не могъ ничѣмъ распорядиться и былъ у отца, какъ говорится, на посылушкахъ, несмотря на то, что въ послѣднее время старикъ какъ будто меньше сталъ заниматься дѣломъ, рѣдко ходилъ на фабрику и больше все сидѣлъ дома — деньги сторожилъ, какъ говорили въ деревнѣ. Сестра старика, Анфиса, была совсѣмъ ходячей машиной, разъ заведенной и пущенной въ ходъ для веденія всего домашняго хозяйства, неизмѣнно по однажды заведенному порядку. Дочь Степанида Терентьевна, молчаливая, степенная, скопидомка и богомолка, пользовалась еще нѣкоторымъ вліяніемъ на отца, но и это вліяніе значительно уменьшилось съ тѣхъ поръ, какъ братъ женился и привелъ въ домъ невѣстку. Эта послѣдняя, бллая, румяная, тучная и сонливая, была любимицей старика и могла называться настоящей хозяйкой, потому что дѣлала, что хотѣла или, лучше сказать, вовсе ничего не дѣлала, но нерѣдко ломалась и капризничала надъ всей семьей, и старикъ терпѣливо переносилъ ея капризы».

Познакомившись въ главныхъ чертахъ съ членами семейства Скоробогатаго, теперь мы обратимъ все вниманіе на дочь Скоробогатаго Степаниду Терентьевну, которая и является главною героинею нашего романа. Степанида осталась послѣ матери 14 лѣтъ и самые юные годы свои провела въ полнѣйшемъ уединеніи и одиночествѣ. Братъ былъ моложе ея только двумя годами, но онъ былъ постоянно занятъ на заводѣ, и она рѣдко его видѣла. Только угрюмый и нелюдимый отецъ, да тетка Анфиса, послѣ смерти матери принявшая въ свои руки хозяйство, дѣлили ея одиночество. Степанида не знала веселья деревенской жизни, не имѣла подружки, не ходила на гулянки или на посѣдки, не водила хороводовъ, не пѣла пѣсень. Отецъ, старавшійся стать въ позицію купца,



не хотѣлъ позволить ей никакого сближенія съ простыми деревенскими дѣвками; притомъ, хотя и православный, онъ былъ воспитанъ въ духѣ старой вѣры, которой придерживались его родители, и считалъ всякое веселье бѣсовскимъ навожденіемъ и великимъ грѣхомъ. Осталась Степанида въ дѣвкахъ и не вышла замужъ, благодаря эгоизму отца. Послѣ жены, Терентій Савельичъ привыкъ къ постоянному присутствію дочери: она ему наливала чай, укладывала его пьянаго спать, шила ему рубашки, съ нею онъ иногда отъ скуки перекидывался словомъ, другимъ. Не малую роль при этомъ играла и скупость Терентія Савельича: женихи являлись и изъ купеческаго званія, наѣзжали и свахи, но никогда не могли добиться главнаго—никакого опредѣленнаго обѣщанія на счетъ приданаго. Особенной красотой Степанида не отличалась и вообще была не въ купеческомъ вкусѣ: слишкомъ суха, нетѣльна, очертанія лица рѣзкія, мужественныя, глаза очень выразительныя, но строгіе, непривѣтливыя; ни особенной бѣлизны, ни румянца. Понятно, что не нашлось ни одного жениха, который, несмотря на опасность ничего не получить болѣе существеннаго, рѣшился-бы добиваться ея руки. Какъ бы то ни было, но наступило время, когда Степанида перестала считать себя невѣстой и остановилась на мысли, что должна остаться вѣкъ свой въ дѣвкахъ; тогда появилась въ ней наклонность къ богомолью, убѣжденіе, что она предназначена служить Богу, быть Христовой невѣстой. Это богомолье главнымъ образомъ выражалось въ томъ, что она сдѣлалась первою начетчицей въ селѣ и передъ каждымъ праздникомъ непрестанно уже читала каноны и акаѣисты въ сельской часовнѣ, участвовала въ разныхъ крестныхъ ходахъ и т. п.

Ударившись въ богомольство, удовлетворенная общими почетомъ и уваженіемъ, сдѣлавшись излюбленною дочерью церкви, Степанида думала, что нашла настоящее свое призваніе, успокоилась, выкинула изъ головы всѣ грѣховныя дѣвичьи мечты и считала себя неуязвимою для стрѣлъ лукаваго. Но лукавый силенъ, какъ выражается Потѣхинъ, и вотъ у нея явился вдругъ искуситель.

Это былъ Капитонъ Абрамовъ Обоужухинъ, одинъ изъ фабричныхъ рабочихъ, человѣкъ бѣдный, семейный. Жена у него, Алена, была молодая, веселая, бойкая женщина, высокая, статная; сѣрые глаза ея, улыбка и все лицо выражали полную, беззаветную веселость. Эти глаза и лицо своимъ постояннымъ, почти неизмѣннымъ выраженіемъ, казалось, говорили одно: я хочу жить, жить и жить, весело и сытно, безъ труда и заботы, брать отъ жизни все, что она даетъ сегодня, не думая о слѣдующемъ днѣ, и Капитону, въ свою очередь, тоже хотѣлось жить весело и сытно, безъ труда и заботы; видъ носторонняго богатства и всякой достаточности возбуждалъ въ немъ естественную зависть и жажду разжиться. Но разжиться честнымъ трудомъ въ положеніи фабричнаго работника—дѣло трудное, и вотъ онъ рѣшился достигнуть своего стремленія окольнымъ путемъ, употребивъ на это единственный природный даръ, какимъ онъ владѣлъ: именно—красоту и умѣнье ухаживать за дѣвками. Коротче сказать, онъ вздумалъ приволочнуться за Сте-

панидой, увлечь ее и попользоваться на ея счетъ, пригрѣть руки возлѣ ея капиталовъ. Замѣчательно, что къ предпріятію этому онъ приступилъ не безъ вѣдома жены, имѣвъ съ нею по этому поводу слѣдующаго рода оригинальный разговоръ на сонъ грядущій:

— Аленка, сказала вдругъ Капитонъ шопотомъ, обнимая жену одной рукой.

— Ась? Что? спросила Алена съ новымъ зѣвкомъ. Капитонъ отвѣчалъ не вдругъ.—Давай гулять по согласу, неожиданно проговорилъ онъ.

— Какъ по согласу? живо повторила Алена, уже не зѣвая.

— Такъ, чтобы по любви... Вотъ мы съ тобой живемъ ладно, а достатковъ у насъ нѣтъ, бѣдность одна... Работашь, работашь, а все ничего нѣтъ... Вотъ я теперь около Скоробогатики обиходъ повелю; можешь до чего дойдемъ...

— Ну... торопила его Алена.

— Ну, такъ чтобы ужъ тебѣ не въ обиду... Гуляй и ты... Вотъ по согласу...

Алена захохотала.—Ишь ты что выдумалъ... чего мнѣ и въ голову-то не вступало... Да съ кѣмъ же гулять-то?..

— Да съ кѣмъ хошь, я спрашивать не стану: хочешь—скажешь, хочешь—нѣтъ, только, чтобы не въ обиду... потому... надо домъ поднять... не все въ бѣдности жить... Изъ дома чтобы не тащить... одно... потому все съ тобой, а ни съ кѣмъ, намъ вѣкъ-то коротать...

— Да мнѣ не надо, у меня и думки-то никакой нѣтъ...

— А это и того лучше... Было бы сказано, былъ бы согласъ, а нѣтъ никого, такъ и ладно, и мнѣ легче... Только смотри, чтобы и отъ тебя супротивъ меня никакой обиды не было...

— А долго ли гулять-то?

— Давай на два года...

— А послѣ любить будешь?

— Да и теперь буду, коли хошь...

Алена опять засмѣялась.—Пострѣль экой... Гуляй, ничего... только мотри, и я, коли вздумаю—гулять стану...

— Ужъ сказано, по согласу...

— Ахъ ты... чтобъ тебя... Что выдумалъ... Ну-ка, да еще подъ праздникъ-то...

— Памятѣй будешь... шутилъ Капитонъ.

— Ахъ Капитошка, подлець... Пра, подлый! Алена смѣялась и со смѣхомъ уснула. Капитонъ уснулъ вслѣдъ за нею.

Послѣ такого уговора съ женою, Капитонъ началъ энергически ухаживать за Степанидой, прикинулся сватомъ, началъ убѣждать ее, чтобы она учила его грамотѣ, чтобы онъ самъ могъ читать все божественное и т. п. Степанида, можетъ быть, и удержалась бы отъ грѣха, какъ ни силенъ былъ соблазнъ, но тутъ приключились такіа обстоятельства, которыя побудили ее стремглавъ броситься въ разверзшуюся подъ ногами пропасть. Обстоятельства эти являются въ видѣ семейнаго раздора, который все болѣе и болѣе разгорался въ домѣ Скоробогатовыхъ. Старикъ началъ явно обнаруживать снохаческія наклонности по отношенію къ Матренѣ Карповнѣ, а послѣдняя, пользуясь этимъ, начала вертѣть по своему всѣмъ домохъ. Дошло дѣло до того, что старикъ, подъ ея вліяніемъ, отнялъ у Степаниды ключи отъ хозяйства и передалъ ихъ торжествующей невѣсткѣ. Это была кровная обида для Степаниды, которая привыкла большачничать въ домѣ. Она увидѣла теперь себя одинокою, безучастною сиротою, преданною врагамъ, въ видѣ Матрены Карповны, на поруганіе, лишнею спицей въ



колесницѣ въ родительскомъ домѣ, лишенной всякой нравственной опоры... „Всѣ люди веселятся о праздникѣ... А я одна-то одиноконька, на всемъ бѣломъ свѣтѣ одна“, думала про себя Степанида. — „Какъ весь вѣкъ прожила? какую радость себѣ видѣла? Отецъ родной... такъ и тотъ въ пору хотъ изъ дома выгнать... таково я ему мила... Вона, какъ равкнулъ кто-то: захохоталъ... видно весело!.. Никакъ за забормотъ шепчутся... визжать, смѣются... цѣлуются... Всѣмъ-то, всѣмъ-то весело, всѣ какъ люди...“

Подъ вліяніемъ подобныхъ тяжелыхъ, развѣдающихъ думъ, въ Степанидѣ естественно начала все болѣе и болѣе разгораться страсть къ Капитону, который не переставалъ напѣвать ей въ уши сладкія рѣчи. Она начала смотрѣть на него, какъ на единственнаго человѣка во всемъ мірѣ, который принимаетъ въ ней участіе и жалѣетъ ее; въ любви его начала она видѣть всю нравственную опору и все содержаніе своей жизни, и вотъ она отдалась ему и душою, и тѣломъ. Это была, такимъ образомъ, та роковая, страшная страсть отчаянья, которая возможна бываетъ только въ зрѣломъ возрастѣ, страсть, въ которой вся жизнь ставится на карту и человѣкъ дѣлается способнымъ на все. Чтобы понять, чѣмъ пожертвовала Степанида, вы примите только во вниманіе тотъ ореолъ всеобщаго уваженія, какимъ пользовалась она въ селѣ своимъ благочестіемъ и святостью.

«Что я теперь, развѣ прежняя? размышляла она послѣ своего паденія:—прежде-то я всѣмъ прямо въ глаза смотрѣла, ни бояться, ни стыдиться мнѣ было нечего, всѣ мнѣ кланялись, уважали меня, иные грѣшницу меня чуть не святой почитали... А теперь какъ-то я стала? что-бы было, кабы узнали все про все, какъ бы смотрѣть на меня стали? не то что кланяться, а на смѣхъ-бы подняли, пальцами-бы показывать стали... Попустить ты, Господи, попутать меня лукавому... И изъ-за чего я грѣху поддаюсь, изъ-за какой радости? Стыдъ, да тоска одна, ровно ночь темная кругомъ, только и солнышко мое всходитъ, какъ онъ придетъ да сидитъ со мной, и то пока не вспомню, что онъ женатъ, что жена у него есть, что онъ любить ее... А вспомню и опять ровно изъ рая въ адъ, во тьму кромѣшную... А грѣхъ-то? а отвѣтъ-то на страшномъ судѣ, а муки-то вѣчныя?... Батюшки мои, что же мнѣ съ собой дѣлать?... Бросить бы его, убѣжать бы куда, чтобы не вороваться, не видѣть и не слышать о немъ... Да куда я отъ него уйду, коли адѣсь вотъ онъ передъ глазами стоитъ кажинный часъ, минуту каждую... И въ сердечушкѣ, и въ думушкѣ—все онъ одинъ!...»

Такимъ образомъ, немного радости принесла Степанидѣ страсть ея: рядомъ съ чувствомъ стыда и униженія ее начала терзать безумная ревность, изъ боязней потерять въ лицѣ милаго единственное утѣшеніе въ жизни. Она ревновала Капитона и къ женѣ его Алѣнѣ, и къ своей невѣсткѣ Матронѣ Карповнѣ, которая, въ свою очередь, дѣлала глазки Капитону и склоняла его поступить на мѣсто кучера къ нимъ въ домъ. Всѣ эти терзанія Степаниды были на руку Капитону, и онъ очень ловко пользовался ими. Онъ началъ склонять ее заставить отца выдать ей наслѣдство, оставшееся ей отъ матери, и бѣжать съ нимъ куда-нибудь на край свѣта, въ мѣста укромныя, внизъ по матушкѣ по Волгѣ. Для Степаниды это предложеніе Капитона, конечно, было единственнымъ спасительнымъ исходомъ, и она съ радостью ухватилась за него. Но

не такъ-то легко было уговорить старика отпустить ее, якобы, на богомолье, какъ она формулировала свое желаніе оставить родительскій домъ, а главное дѣло—побудить его разстаться съ ея деньгами. Старикъ уперся на своемъ: „Молись дома: кто тебѣ мѣшаетъ? Нѣту, Степанида, это ты и въ мышленіи не можешь, чтобы вовсе уйти отъ меня... Чего быть никогда невозможно! Была дочерью покорливой, такъ будь до конца... Каковъ я ни есть грѣшникъ, а все ты—моя плоть, завсегда я это чувствую, не сумѣвайся... Ступай-ка съ Богомъ въ свое мѣсто...“

Тогда Капитонъ началъ уговаривать ее рѣшиться на послѣднее отчаянное средство. „А вотъ что дѣлать, говорилъ онъ: — коли любъ я тебѣ, коли надобенъ, коли хочешь въ любви со мной жить и не хочешь дать заѣсть свой вѣкъ вовсе, такъ ждѣть да надѣяться на отца нечего, а надо короткимъ манеромъ взять свои деньги, да и уйти...“

Короче сказать—украсть ихъ изъ сундука отца. Когда Степанида ужаснулась на первыхъ порахъ передъ подобнымъ предложеніемъ, Капитонъ постарался изъяснить ей, что „развѣ кто свои деньги беретъ, тотъ воруетъ? Вѣдь ты свои деньги возьмешь — не его“... Истерзавшаяся Степанида, наконецъ, рѣшилась на все... Въ ночь, когда отецъ, узнавъ отъ нея же о плутняхъ сына, поѣхалъ на ярмарку, она пробралась въ комнату отца, достала ключъ отъ его сундука, выбрала оттуда столько пачекъ денегъ, сколько могло ихъ помѣститься въ носовомъ платкѣ и скрылась изъ дома. На условленномъ заранѣе мѣстѣ въ „Ямкахъ“ ее ждалъ Капитонъ съ тѣлѣгой. Затѣмъ идетъ слѣдующаго рода возмутительная сцена:

— Ты? спросилъ онъ ее, еще за нѣсколько шаговъ.

— Я, я... отвѣчала Степанида, задыхаясь и протягивая къ Капитону руку съ намѣреніемъ обнять его.

— А достала?

— Вотъ... и она указала на узелъ, который держала въ другой рукѣ.

— Молодецъ, Стеша, ну, теперь покатишь. Пойдемъ скорѣе къ лошади...

— Какъ бѣжала-то, какъ торопилась-то... говорила Степанида, слѣдуя за Капитономъ.—Думаю: ждѣтъ онъ меня...

— Ждалъ и есть... Много ли взяла?

— Не знаю ужъ... вотъ! Брала, сколь уложится... Подошли къ тѣлѣгѣ.—Погоди-ка, я сяду перво въ тѣлѣгу-то, да возжи возмю, а гнѣздо-то пугливъ, подхватываетъ вдругъ... Пожалуй, понесетъ... говорилъ Капитонъ, влѣзая въ телегу. Ну, гдѣ деньги-то? давай, да и полѣзай сама.

«Степанида протянула къ нему узелъ, который Капитонъ взялъ и положилъ на дно тѣлѣги. Потомъ она, держась руками за край тѣлѣги, поставила ногу на ступицу колеса и приподнялась-было уже, чтобы занести другую ногу въ телегу, какъ вдругъ сильный толчекъ въ грудь опрокинулъ ее навзничъ, и въ то же мгновеніе, Капитонъ крикнулъ, лошадьхватила съ мѣста и понесла. Степанида, какъ ни была ушиблена и оглушена паденіемъ, но быстро вскочила и побѣжала вслѣдъ за тѣлѣгой.

— Стой, стой, погоди!... кричала она, но только нѣсколько мгновеній слышала крики Капитона, которыми онъ понукалъ лошадь, топотъ ея копытъ, стукъ колесъ и громоханье тѣлѣги, видѣла вдали мелькающій силуэтъ милаго человѣка, его тѣлѣги и лошади, затѣмъ все затихло, все скрылось. Но Степанида бѣжала еще и тогда, задыхаясь, плача и крича что-то

безсвязное, дикимъ, прерывистымъ голосомъ. Наконецъ, у нея помутилось въ глазахъ, стѣснило дыханіе, ноги отказывались двигаться; невыразимая тоска, ужасъ охватили ея душу, какіе-то отрывки мыслей, чувства пронеслись черезъ голову, сердце... И вдругъ все спуталось, смѣшалось: мысль, чувства, дыханіе оборвались—Степанида упала безъ чувствъ».

За этою ужасною сценою быстро уже развивается развязка романа. Жену Капитона, Алену, не особенно обрадовали пачки денегъ, которыя онъ принесъ домой. — «Самъ не воровалъ, отвѣчала она мрачно на его увѣренія, что деньги не краденныя: — такъ на тебя, можетъ, уворованы... Знаю я, чьи онѣ... Скоробогатаго... Степанида украла, тебѣ передала»... И она сразу измѣнилась относительно своего обычнаго расположенія духа: веселость совсѣмъ пропала въ ея глазахъ, исчезла съ ея прежде всегда беззаботно-улыбавшагося лица; какая-то новая, безпокойная мысль, новое, непріятное чувство отражалось теперь на ея лицѣ, сдвинуло ея брови, провело морщину на лбу и сдѣлало складку около губъ. Она была честиѣ мужа. Несмотря на всѣ его старанія свести ее съ сыномъ Скоробогатаго, Иваномъ Терентьевичемъ, для того, чтобы и она, въ свою очередь, могла пожить на его счетъ, она не могла принудить себя сойтись безъ любви съ человѣкомъ, который былъ ей противенъ. Такъ и теперь она не могла переварить тѣхъ средствъ, какія употребилъ ея мужъ для обогащенія. Между тѣмъ, Степанида, очнувшись отъ своего обморока, воротилась домой, въ страшномъ душевномъ маразмѣ. Обманутая, поруганная, лишившись послѣдней святыни, которою только и дорога была ей жизнь, она рѣшилась, не помня себя, на отчаянную месть. Въ слѣдующую ночь, когда все село уснуло, она пошла и подожгла хату Капитона. Но месть эта ни къ чему не повела: хата сгорѣла, Капитонъ же съ женою спаслись; а деньги онъ заранѣе успѣлъ зарыть въ землю и онѣ остались цѣлы.

«Черезъ недѣлю послѣ пожара стонъ стоялъ въ домѣ Терентія Савельича, читаемъ мы въ заключеніе романа: воротясь съ ярмарки, онъ открылъ пропажу денегъ. Старикъ ревѣлъ, метался, рвалъ на себѣ волосы, кричалъ и топалъ надъ Степанидой. Она стояла передъ нимъ молча, какъ нѣмая. Иванъ ругался, Матрена ревѣла.

— Да скажешь-ли ты мнѣ хоть слово одно, вѣдьма ты прокл... вскричалъ, наконецъ, выйдя изъ себя Терентій Савельичъ, и бросаясь на дочь. Толчкомъ въ голову онъшибъ съ нея платокъ. Степанида была совсѣмъ сѣдая... У Терентія Савельича опустились руки.

«Много лѣтъ послѣ того, ежедневно, во время службы въ церкви села Нагорнаго, можно было видѣть на колѣняхъ, у задней стѣны церковной, старую, желтую, всю въ черномъ, смиренную и всегда безмолвную Степаниду».

Таковъ сюжетъ романа Потѣхина. Я не намѣренъ входить здѣсь въ подробное разбирательство, стоило или не стоило задаваться подобнымъ сюжетомъ. Очень можетъ статься, что еслибы я былъ беллетристомъ, то я и не остановился-бы на немъ, потому что меня занимали-бы болѣе существенныя и вопиющія явленія, совершающіяся „около денегъ“, чѣмъ случайная любовная интрига съ цѣлью нажиться случайнаго проходивца въ лицѣ Капитона. Но попробуемъ взглянуть на сюжетъ этотъ съ чисто объективной точки зрѣнія,

и согласимся, что на почвѣ буржуазнаго индивидуализма, на которой стоитъ всецѣло А. Потѣхинъ, сюжетъ его романа, во всякомъ случаѣ, заслуживаетъ вниманія, и на немъ могъ-бы съ успѣхомъ остановиться художникъ съ крупнымъ талантомъ, въ родѣ, напримеръ, Островскаго. И вотъ, становясь на такую точку зрѣнія, я и говорю, что, избравъ для своего романа довольно богатый въ своемъ родѣ сюжетъ, Потѣхинъ не смогъ увлечься имъ настолько, чтобы отнести къ нему не какъ художникъ-техникъ, а какъ художникъ-творецъ.

Въ самомъ дѣлѣ, подумайте: какая можетъ быть цѣль выбора подобнаго сюжета? Очевидно, та, чтобы, съ одной стороны, привести читателя въ негодованіе при видѣ того возмутительнаго безчеловѣчія, къ которому можетъ прийти узкій эгоизмъ въ лицѣ Капитона въ преслѣдованіи своекорыстныхъ цѣлей; съ другой стороны—исполнить читателя жалости и участія къ несчастной и неповинной жертвѣ этого эгоизма въ лицѣ Степаниды. Чтобы успѣшнѣе достигнуть этой цѣли, авторъ долженъ былъ-бы во-первыхъ употребить всѣ усилія, чтобы увлечь читателя личностью Степаниды, сдѣлать для него дорогою судьбу ея, чтобы было что жалѣть и чему сострадать. А этого авторъ могъ достигнуть только въ такомъ случаѣ, еслибы самъ онъ увлекся своею героинею и выставилъ-бы впередъ наиболѣе симпатичныя стороны ея характера. Однимъ словомъ, автору слѣдовало-бы сдѣлать со Степанидою тоже самое, что Островскій сдѣлалъ съ Катериною въ Грозѣ. А въ сюжетѣ мы видимъ всѣ данныя, чтобы сдѣлать Степаниду столь-же симпатичною, какъ и Катерина. Возьмите вы во вниманіе, что она должна быть столь-же страстная и кипучая натура, такая-же прямодушно честная, искренная и одаренная такимъ-же богатымъ воображеніемъ. Прибавьте къ этому глубокую сосредоточенность, развившуюся въ ней, вслѣдствіе той отчужденности отъ всѣхъ и родныхъ, и чужихъ, въ условіи которой она была воспитана съ дѣтства, четырнадцати лѣтъ лишившись матери, не имѣя никогда ни одной подруги, не видя возлѣ себя ни одного близкаго лица, которому могла-бы открыть свою душу. Самая ея религіозная экзальтація, по моему мнѣнію, должна проистекать прямо изъ подобнаго уединеннаго, замкнутаго существованія, а вовсе не изъ одного положенія старой дѣвы, какъ это довольно цинически объясняетъ Потѣхинъ. Въ ханжествѣ заурядныхъ старыхъ дѣвъ, обыкновенно, преобладаетъ черствый формализмъ, заключающійся въ безсмысленномъ преслѣдованіи буквы и въ рабской ея вѣрности. Подобная ханжа, будьте спокойны, никогда не допуститъ себя до такого смертнаго грѣха, какъ увлеченіе женатымъ человѣкомъ; мало того, если человѣкъ этотъ оказался-бы и холостымъ, то достаточно, что онъ былъ ничтожнымъ батракомъ на ихъ фабрикѣ, и для брака съ нимъ было-бы препятствіе со стороны священной родительской воли, чтобы она поспѣшила употребить всѣ усилія для отогнанія всѣхъ грѣховныхъ помысловъ. Наконецъ, ханжи подобнаго рода, при всемъ своемъ благочестіи, въ тоже время отлично знаютъ счетъ деньгамъ, и ужъ вы ихъ не надуете, и какъ-бы онѣ васъ страстно, по-видимому, ни любили, повѣрьте, онѣ не отдадутъ вамъ

своих денег иначе, какъ пересчитавъ ихъ тщательно и взявши отъ васъ тутъ-же, изъ рукъ въ руки, надлежащій документикъ. Степанида — же, въ экстазъ своей страсти способна, оказывается, отдать своему милому, не входя ни въ какія соображенія, ни религіознаго, ни матеріально-практическаго свойства, готова, оказывается, всѣмъ пренебречь, на все махнуть рукою и послѣдовать за своимъ милымъ на край свѣта. Степанида, какъ видно, жила до сихъ поръ въ такихъ заоблачныхъ сферахъ, что не знаетъ, сколько у нея своихъ денегъ, и до послѣдней минуты не подумала привести это въ извѣстность, а съ полной довѣрчивостью отдала все свое достояніе въ руки милому человѣку, полагая счастье своего существованія не въ деньгахъ, а въ немъ самомъ, — у такой женщины религіозный мистицизмъ долженъ проявляться не въ одномъ гнусливомъ чтеніи акаѣистовъ и ношеніи образовъ въ крестныхъ ходахъ, а представлять изъ себя болѣе рационально-мечтательный характеръ.

Вы мнѣ скажете, быть можетъ, что вѣдь все это есть въ романѣ Потѣхина, потому что откуда-же, какъ не изъ романа, взяты всѣ эти черты? Я и не говорю, чтобы ихъ совсѣмъ не было, потому что все это лежитъ въ характерѣ сюжета. Я утверждаю только, что автору не удалось поднять эти черты своей героини, подчеркнуть, выставить ихъ на первый планъ во всей ихъ поэтичности, въ то время, какъ цѣлый рядъ второстепенныхъ, крайне несимпатичныхъ чертъ, въ родѣ, наприимѣръ, мелочной сварливости съ невѣсткой изъ-за первенства въ домѣ, гнусливаго чтенія акаѣистовъ, внѣшней непривлекательности и пр., авторъ могъ-бы смѣло совсѣмъ опустить или отодвинуть все это на самый задній планъ. Авторъ же поступилъ какъ разъ совершенно наоборотъ: симпатичныя стороны Степаниды именно и упоминаются въ романѣ вскользь, онъ-то и стоитъ на заднемъ планѣ или совсѣмъ опускаются, какъ наприимѣръ, рационально-мечтательный характеръ мистицизма Степаниды; на первомъ же планѣ парадируютъ самыя несимпатичныя, мелочныя стороны ея характера.

Въ то время какъ Потѣхинъ такъ неправильно поступилъ съ своею героиней, не менѣе ложно отнесся онъ и къ герою. Здѣсь, напротивъ того, такія возмутительно-отвратительныя черты его характера, какъ скотскій эгоизмъ, жадность къ деньгамъ, грубое и черствое безчеловѣчіе, способное дойти до открытаго грабежа денегъ изъ рукъ любящей женщины, которая беззаветно отдалась этому негодяю, какъ-то ступшевываются въ вашихъ глазахъ при чтеніи романа передъ такими привлекательными качествами героя, какъ физическая красота, удалъ, донъ-жуанская жилка, въ видѣ умѣнья влѣзть въ сердце къ каждой женщинѣ, смышленность и продувная хитрость. Однимъ словомъ, передъ вами рисуется какой-то лихачъ-кудревичъ, которому на роду написано выйти въ люди и разбогатѣть, потому что во лбу у него сияетъ свѣтелъ мѣсяцъ, и даже не свѣтелъ мѣсяцъ, а чуть что не само солнце красное.

При такой постановкѣ сюжета, романъ производитъ на васъ совсѣмъ обратное и крайне фальшивое впечатлѣніе. Вмѣсто того, чтобы проникаться уча-

стіемъ и жалостью къ героинѣ и возмущаться героемъ, какъ отъявленнымъ негодяемъ, вы, напротивъ того, невольно становитесь на сторону героя противъ героини. Она представляется вамъ какимъ-то огороднымъ пугаломъ, неуклюжею, простоватою дуракомъ, которая сама такъ и лѣзетъ въ ротъ обману, и вы думаете: ну чтожь, такъ тебѣ глупая баба и надо, не соблазнился амурами на старости лѣтъ и не вѣшайся первому встрѣчному на шею, не разобравши, что онъ за человѣкъ. Герой же, напротивъ того, возбуждаетъ въ васъ невольное участіе своею красотою, молодцоватостью, ухорствомъ, смышленностью и пр., и пр. Когда читаете романъ, вы такъ и слѣдите за его подвигами: „ахъ, какой молодецъ, что за шустрый паренъ! Ахъ, удастся-ли ему это предпріятіе? Что какъ промахнется или помѣшають?.. Нѣтъ, удалось-таки облопошить глупую бабу. И какъ ловко всѣ концы спряталъ, и деньги въ землю закопалъ, такъ что и поджогъ ни къ чему не повелъ. Молодецъ, одно слово, молодецъ!“ Подумайте, чему въ такомъ случаѣ вы будете такъ радоваться, невольно, неотразимо радоваться, помимо всѣхъ доводовъ разсудка? Вѣдь ни чему иному, какъ народженію новаго кулака!

Я убѣжденъ, что Потѣхину и въ голову не приходило, какой эффектъ будетъ производить его романъ, но все это произошло изъ того, что онъ вовсе не заботился ни о какомъ эффектѣ. Онъ избралъ свой сюжетъ совершенно случайно, ни мало не увлекшись имъ, не проникшись душевно, взялъ его чисто какъ канву, чтобы нанизать на ней свои узоры, и въ этомъ нанизываніи узоровъ, въ видѣ массы мелкихъ бытовыхъ сценокъ, онъ положилъ всю свою душу; въ этомъ одномъ только и сосредоточилъ весь свой художественный трудъ. Поэтому, если вы хотите видѣть въ романѣ какія либо достоинства, вы должны совершенно забыть о сюжетѣ его, перестать разсматривать его, какъ нѣчто цѣлое, и совсѣмъ не принимать въ разсчетъ, какое вы вынесете впечатлѣніе по прочтеніи его всего до конца, а напротивъ того, обратить все вниманіе на отдѣльныя бытовыя, жанровыя сценки, въ которыхъ все дѣло заключается въ вѣрномъ и разностороннемъ изображеніи дѣйствительности. Многія изъ этихъ сценъ поразятъ васъ полнотою подробностей и наблюдательностью автора, не упускающаго ни одной микроскопической черточки изображаемой дѣйствительности. Таковы, наприимѣръ—картины сельскаго храмоваго праздника, отдѣльныхъ пирушекъ въ хатахъ крестьянъ, вечерняго моленія въ часовнѣ, крестнаго хода, недовкаго положенія и недоумѣнья церковнаго причта, явившагося въ домъ Скоробогатыхъ славить и попавшаго въ самую неудобную минуту семейнаго раздора. Все это — въ своемъ родѣ шедевры, хотя шедевры, по моему мнѣнію, одной художественной техники, а никакъ не поэтическаго творчества въ истинномъ смыслѣ этого слова. Но, чтобы достойно оцѣнить эти шедевры, я не совѣтую читать ихъ всѣ подъ рядъ въ той длинной галлереѣ въ формѣ романа „Около денегъ“, въ которой они развѣшаны: вы рискуете очень скоро вынести тяжелое утомленіе и вамъ будетъ не до шедевровъ. Лучше же всего, не заботясь совсѣмъ о чтеніи всего романа подъ рядъ, а такъ, изрѣдка, возьмите и про-

читайте какую-нибудь одну отдѣльную сценку—она покажется вамъ гораздо лучше, чѣмъ въ связи съ другими.

Однимъ словомъ, въ то время, какъ въ лицѣ графа А. Толстого мы видѣли образецъ типа великосвѣтскаго и притомъ отвлеченно-кабинетнаго творчества, въ лицѣ же А. Потѣхина представляется намъ образецъ художника-техника, возросшаго на почвѣ буржуазной поэзіи, этой поэзіи близорукаго натурализма, который до такой степени съ головою весь ушелъ

въ созерцаніе микроскопическихъ черточекъ, отгнечковъ обыденной, будничной дѣйствительности, что совершенно упускаетъ изъ виду существенныя стороны жизни и для котораго вся идеальная конечная цѣль поэтического творчества заключается въ томъ, чтобы не забыть сосчитать, сколько волосковъ красовалось въ бородѣ сельскаго дьякона въ Сногичевѣ въ тотъ моментъ, когда онъ служилъ всенощную накануне храмоваго праздника.

## АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ ЛЕВИТОВЪ.

(ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ).

Не разцвѣлъ и отцвѣлъ  
Въ утрѣ пасмурныхъ дней.  
*Полежаевъ.*

### I.

Въ лицѣ Александра Ивановича Левитова, умершаго въ 1877 г. въ ночь со 2-го на 3-е января, русская литература утратила еще одну молодую и недюжинную силу; еще одною свѣтлою надеждою, загорѣвшеюся въ началѣ прошлаго десятилѣтія, стало менѣе; еще просторнѣе сдѣлалась и безъ того опустѣлая арена молодой пореформенной беллетристики. Поразительная судьба всѣхъ дѣятелей мысли, вышедшихъ на поприще жизни въ концѣ 50-хъ или началѣ 60-хъ годовъ, но беллетристовъ въ особенности. Мало того, что имъ какъ-то не живется на свѣтѣ, что они такъ и умираютъ, одинъ за другимъ, едва достигая цвѣтущаго возраста. Помяловскій, Рѣшетниковъ, Левитовъ, Кущевскій, Вороновъ и многіе менѣе извѣстные могли-бы составлять цѣлое созвѣздіе въ современной намъ литературѣ, но они всѣ поспѣшили убраться въ могилы въ такую пору, когда силы писателя обыкновенно только-что начинаютъ развертываться во всемъ цвѣтѣ. Этого, я говорю, еще мало: судьба всѣхъ этихъ беллетристовъ замѣчательна въ другомъ еще отношеніи. Съ одной стороны, если взять въ расчетъ направление и содержаніе поэтическихъ образовъ этой молодой школы русскихъ беллетристовъ и тѣ общественные слои, изображенію которыхъ эта школа посвятила себя, то можно думать, что она представляетъ собою немаловажный шагъ впередъ въ развитіи нашей литературы. Изъ узко-сословной сферы изображенія жизни однихъ образованныхъ слоевъ общества, въ какой пребывала по преимуществу беллетристика 40-хъ и 50-хъ годовъ, школа эта перешла рѣшительно, смѣло и безповоротно на почву народной жизни въ связи ея съ жизнью всѣхъ прочихъ общественныхъ слоевъ; изъ узкой сферы исключительнаго психическаго анализа индивидуальныхъ страстей и душевныхъ движеній она обратилась къ вопросамъ общественнымъ и массовымъ. Казалось-бы, что этотъ

важный прогрессивный шагъ впередъ нашей беллетристики долженъ былъ-бы ознаменоваться появленіемъ новыхъ блестящихъ талантовъ и выходомъ въ свѣтъ произведеній, которыя затмили бы все предыдущее, не только по своему общественному значенію, но и въ чисто-художественномъ отношеніи, въ силу большей широты захвата поэтическаго творчества, вслѣдствіе того, что творчество, въ настоящемъ случаѣ, начало возбуждаться впечатлѣніями не одного какого-нибудь узенькаго общественнаго уголка, а свѣжею, широко и могучею струею народной жизни, бьющею живымъ ключемъ богатой красками и звуками и страстной поэзіи. Но на дѣлѣ вышло нѣчто совершенно иное: молодые беллетристы не только не создали до сихъ поръ ни одного произведенія, которое можно было бы поставить рядомъ съ „Мертвыми душами“ или „Ревизоромъ“, но которое выдержало бы соперничество хотя бы съ лучшими произведеніями беллетристовъ 40-хъ годовъ. Въмѣсто тщательно-обработанныхъ, художественно стройныхъ и законченныхъ произведеній, какими мы такъ избалованы всей предыдущею литературою, они подарили намъ рядомъ неконченныхъ отрывковъ и безформенныхъ клочковъ, неуклюжихъ, нестройныхъ, отягощенныхъ мѣстами длинными и скучными разсужденіями, мѣстами фотографическимъ сырьемъ или безконечными описаніями мелочныхъ деталей. Передъ вами точно будто снова выплыло нѣчто архаическое и первобытное, возвратился хаосъ первыхъ дней созданія. Литература, въ лицѣ этихъ молодыхъ беллетристовъ, словно бросила всѣ свои заимствованныя съ Запада, вѣками выработанныя, совершенныя формы и возвратилась къ тому безыскусственному виду, въ которомъ она пребывала въ эпоху Посошкова и Котошихина, когда наивные грамотіи валили въ одну безформенную рѣчь подъ заглавіемъ „завѣщанія“ или „слова“ все, что было у нихъ на душѣ—и мораль, и сатиру, и публицистику, и душевный плачъ о неурядицахъ земли русской, и фантастическія свѣдѣнія о заморскихъ странахъ.

Но этого мало, что въ техническомъ, формальномъ отношеніи литература наша сдѣлала такимъ образомъ

шагъ назадъ въ лицѣ молодыхъ нашихъ беллетристовъ; въ тоже время мы не видимъ ни малѣйшаго роста ихъ литературныхъ талантовъ. Какими являются они въ своихъ первыхъ и самыхъ юныхъ произведеніяхъ, такими-же видимъ мы ихъ и въ послѣднихъ, написанныхъ иногда лѣтъ черезъ 10 или 15, а у нѣкоторыхъ, какъ, напримѣръ, у Кущевского, замѣчается и регрессъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ.

Странное явленіе это не разъ останавливало вниманіе многихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ, причѣмъ каждый объяснялъ его по своему. Считая излишнимъ перечислять эти объясненія и входить въ подробный разборъ ихъ, я только замѣчу, что всѣ они распадаются на двѣ категоріи: одни, люди наиболѣе благосклонные къ беллетристамъ молодой школы, старались объяснить все это враждебнымъ влияніемъ общихъ условій жизни. Къ другой категоріи принадлежатъ враги молодой школы, которые всю причину настоящей бѣды полагали въ самомъ возникновеніи и существованіи этой школы. По мнѣнію этихъ людей, школа эта такова ужъ по своему существу, что должна парализовать всякое развитіе, губить и сводить въ преждевременную могилу каждый талантъ, пошедшій по этому направленію, какъ бы онъ ни былъ великъ. Это происходитъ будто-бы въ силу того, что писатель, увлекшійся направленіемъ этой школы, перестаетъ быть самимъ собою, выходитъ изъ предѣловъ высокой культуры образованныхъ слоевъ общества, умалется, принижается до узкихъ интересовъ и грубыхъ вкусовъ тѣхъ сферъ, изобразителемъ которыхъ онъ является, а, главное дѣло, съ почвы естественнаго и непосредственнаго творчества онъ переходитъ на почву творчества тенденціознаго, подчиняетъ свой талантъ разнымъ искусственнымъ требованіямъ либеральныхъ идей, начинаетъ писать на заданныя темы и этимъ путемъ убиваетъ всякій ростъ и развитіе своего таланта.

Что касается враждебнаго вліянія общихъ условій жизни, то люди, опирающіеся на это вліяніе въ своихъ объясненіяхъ разсматриваемаго явленія, забываютъ одно: именно, что условія эти потому уже сажу, что они общія, должны были бы враждебно вліять на всю литературу во всей ея сложности, а не на одну небольшую группу ея. И если-бы этими общими условіями объяснялись какъ смертность, такъ и отсутствіе роста талантовъ въ беллетристахъ молодой школы, то слѣдовало-бы ожидать, что беллетристы 40-хъ годовъ должны были бы подвергаться еще большей смертности и еще меньшему развитію, потому что на самомъ разцвѣтѣ ихъ талантовъ они встрѣтили условія жизни не въ примѣръ тягостнѣе и враждебнѣе, чѣмъ молодые таланты прошлаго десятилѣтія. Но мы не только не видимъ этого, а напротивъ того: лучшіе беллетристы 40-хъ годовъ дожили до самыхъ преклонныхъ лѣтъ, пережили почти всѣхъ своихъ юныхъ птенцовъ и наслѣдниковъ, и успѣли обогатить литературу нашу произведеніями высокаго достоинства, которыми она вполне вправѣ гордиться. Въ томъ-то и дѣло, что, вмѣсто того, чтобы все зло полагать во враждебности общихъ условій, не слѣдуетъ-ли поискать особенныхъ и частныхъ условій, вліявшихъ на жизнь нашихъ молодыхъ беллетристовъ?

Что же касается мнѣній второй категоріи, опиравшихся на вредъ самой школы, вродѣ приниженія до грубыхъ вкусовъ толпы или наслоуванія творчества подчиненіемъ его либеральнымъ тенденціямъ, то мнѣнія эти отличаются крайнею субъективностью. Люди, придерживающіеся ихъ, судятъ вполне по самимъ себѣ, и сужденія ихъ могли-бы имѣть блѣдную тѣнь справедливости примѣнительно къ нимъ самимъ. Они до такой степени исключительно замкнуты въ узкія сословныя рамки своей среды, что внѣ культурныхъ нравовъ, обычаевъ, приличій этой среды они ничего не могутъ допустить, кромѣ непрогляднаго мрака, невообразимой грубости нравовъ и самой животной низменности побужденій. Внѣ интересовъ и содержанія своей среды, все иное представляется для нихъ совершенно чуждымъ, непонятнымъ, какъ-бы вовсе не существующимъ. Понятно, что, если-бы они вздумали снизойти до интересовъ толпы, стоящей гдѣ-то тамъ далеко внизу подъ ними, и начать изображать ея жизнь и нравы, это было-бы для нихъ самихъ тягелымъ насиліемъ, чѣмъ-то совершенно искусственнымъ, натянутымъ, для чего они должны были каждый разъ, принимаясь за перо, совершенно выходить изъ своей тарелки и изворачивать себя въ три погибели. Подобный чисто субъективный предрассудокъ въ значительной степени поддерживается и тѣмъ, что въ литературѣ нашей вы встрѣтите, выродоженіе послѣднихъ 30 лѣтъ, не мало произведеній, которые и въ самомъ дѣлѣ представляютъ подобныя наслоуванія и изворачиванія себя различныхъ гуманныхъ господъ, нисходящихъ до изображеній народныхъ нравовъ. Въ силу этого предрассудка, у насъ сложился даже стереотипный образъ беллетриста народныхъ нравовъ, представляющійся непремѣнно въ видѣ господина, переодѣтаго мужикомъ, или же безъ переодѣванія, въ соломенной шляпѣ, въ пиджачкѣ и съ тросточкою въ рукахъ ходящаго, во время лѣтнихъ каникулъ, среди простого народа по кабакамъ, постоялымъ дворамъ и ярмаркамъ съ спеціальною пѣлью занесенія въ записную книжечку каждаго меткаго выраженія или разсказика для того, чтобы потомъ, зимою, воротясь въ столицу и въ ея кружки, блестящіе высшею интеллигенціею, предать надлежащимъ анализамъ и обсужденіямъ собранный матеріалъ и состряпать какой-нибудь очеркъ или разсказъ изъ народнаго быта. Что-жъ, развѣ у насъ и не было подобнаго рода наблюдателей и собирателей, временно ниспускавшихъ въ народныя массы, но въ то же время остававшихся совершенно чуждыми какъ народной жизни, такъ и народнымъ интересамъ? Но развѣ подобнаго рода явленія и субъективные выводы, осованные на нихъ, исключаютъ возможность выхода изъ самыхъ нѣдръ народныхъ массъ писателей, съ младенческихъ лѣтъ воспитанныхъ въ этихъ нѣдрахъ, глубоко-проникнутыхъ ихъ интересами и до самой смерти не перестававшихъ жить въ глубокой связи со своею родимою средою, ея непосредственною жизнью? Для такихъ писателей изображеніе народныхъ нравовъ, очевидно, должно представляться вовсе не наслоуваніемъ творчества, изворачиваніемъ себя, искусственнымъ списываніемъ со стороны въ угоду либеральныхъ тенденцій, а, напротивъ того,

вполнѣ естественнымъ, непосредственнымъ продуктомъ творчества. Такіе писатели рискуютъ впасть въ искусственность, надуманность и ломанье себя именно тогда, когда пустятся изображать чуждые имъ нравы и мотивы такъ называемыхъ культурныхъ слоевъ общества, что, напримѣръ, было съ Рѣшетниковымъ, когда онъ пускался выводить на сцену великосвѣтскихъ людей, или съ Кольцовымъ, когда онъ брался за философскія тѣмы.

Такъ вотъ, такимъ образомъ и представляется вопросъ: тѣ молодые беллетристы, о которыхъ идетъ у насъ рѣчь, были-ли они больше ничего, какъ гуманные баричи, которымъ, по ихъ происхожденію, воспитанію и образу жизни, гораздо свойственнѣе было-бы изображать нравы и мотивы интеллигентныхъ слоевъ общества, а они ломали себя и, наблюдая чуждую имъ народную жизнь со стороны, насильовали свое творчество, подчиняя его либеральнымъ тенденціямъ, или же, напротивъ того, они сами были выходцами изъ народа, и творили такъ-же естественно, произвольно и непринужденно, какъ, по мнѣнію нашихъ чистыхъ эстетиковъ, творять А. Майковъ и Фетъ? Въ первомъ случаѣ, враги ихъ, конечно, совершенно правы. Но, если мы имѣемъ дѣло со вторымъ обстоятельствомъ, если оказывается, что наши молодые беллетристы, происходя изъ народа и не переставая жить его жизнью и въ тѣсной связи съ нимъ, творили вполнѣ естественно и произвольно, нимало не насилуя своего таланта, творили, какъ только могли и умѣли, и все-таки не могли создать до сихъ поръ ни одного крупнаго произведенія, то, конечно, всѣ толкованія враговъ молодой школы рушатся сами собою; вопросъ остается вопросомъ, и разрѣшенія его слѣдуетъ искать въ иномъ мѣстѣ.

Жизнь Александра Ивановича Левитова, въ связи съ его сочиненіями, способна, по моему мнѣнію, какъ нельзя болѣе привести насъ къ разрѣшенію этого вопроса. Съ одной стороны, эта жизнь покажетъ намъ, какъ вполнѣ органически и какъ нельзя болѣе естественно каждое произведеніе умершаго писателя вытекло изъ его жизни и какую глубокую связь имѣло оно съ нею; съ другой стороны, мы увидимъ, какія скорбныя обстоятельства мѣшали А. И. Левитову высказаться надъ своими первыми очерками и создать что-нибудь крупное.

## II.

Для внѣшнихъ фактовъ жизни А. И. Левитова будетъ намъ служить некрологъ Нефедова, напечатанный въ мартовской книжкѣ „Вѣстника Европы“ 1877 г., къ сожалѣнію, единственный хоть сколько-нибудь обстоятельный изъ всѣхъ, появившихся вслѣдъ за смертію А. И. Левитова въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ. Но изъ этого некролога намъ придется заимствовать только самые крупные факты и кое-какія изъ особенно характеристическихъ обстоятельствъ. Самые же интересныя подробности жизни поэта, а главное дѣло, факты внутренней психической жизни мы найдемъ въ самыхъ сочиненіяхъ А. И. Левитова. И вотъ вамъ, на первомъ же шагѣ, доказательство, какъ блистательно рушатся всѣ тол-

кованія объ искусственномъ творествѣ чуждой поэту жизни, приниженіяхъ, ломаніяхъ и т. п. Въ лицѣ А. И. Левитова мы видимъ одного изъ тѣхъ субъективнѣйшихъ поэтовъ, которые въ каждомъ произведеніи выкладываютъ всего себя и по сочиненіямъ которыхъ, словно по дневникамъ, можно написать біографію не только ихъ внутренняго психическаго развитія, но и многихъ внѣшнихъ обстоятельствъ ихъ жизни.

А. И. Левитовъ родомъ былъ тамбовецъ. Его воспитали и взлелѣвали тѣ самыя тамбовскія поля, широкое раздолье которыхъ подарило насъ уже однимъ дорогимъ сердцу каждому русскаго и незабвеннымъ поэтомъ — Кольцовымъ. Онъ былъ сынъ сельскаго священника \*) и дѣтство его прошло въ самой бѣдной и убогой обстановкѣ, ничѣмъ не отличавшейся отъ обстановки любого крестьянина изъ неособенно зажиточныхъ. Въ отрывкѣ изъ своей автобіографіи, носящей заглавіе „Мое дѣтство“ (см. „Горь сель и деревень“, стр. 101), онъ приводитъ нѣсколько весьма характеристическихъ воспоминаній о своемъ дѣтствѣ.

«Я очень рано начинаю помнить себя,—говоритъ онъ:—во эти раннія воспоминанія, какъ тучей, затемняются множествомъ сѣрыхъ, обыденныхъ дней будничной сельской жизни, необыкновенно-похожихъ другъ на друга. Теперь, пристально всматриваясь въ непроглядный туманъ этихъ дней, я какъ будто вижу въ немъ что-то неясное, неопредѣленное, но вмѣстѣ съ тѣмъ страстно любимое мною: вотъ, напримѣръ, подъ однообразный, но могучій шумъ большой рѣки, обтекавшей село съ трехъ сторонъ, проходитъ предо мною эта, такъ манившая меня въ настоящую минуту, тишина сельской жизни, идетъ она, или даже не идетъ, а тихо-тихо летитъ, какъ нѣчто живое, имѣющее свой образъ, который въ моихъ глазахъ имѣетъ совершенно-опредѣленные формы. Да, я осязательно ясно вижу, какъ надъ молчаливыми сельскими буднями, поднявшись нѣсколько выше свѣтлаго креста на новой церкви, на бѣлыхъ крыльяхъ паритъ, вмѣстѣ съ летучими облаками, кто-то свѣтлый и тихій, съ лицомъ стыдливымъ и кроткимъ, какъ у нашихъ дѣвицъ... Такъ я теперь, отдаленный отъ родного села долгими годами шумной столичной жизни, исполненной невыразимыхъ страданій, представляю себѣ мирнаго генія тихой сельской дѣятельности.

«Но исчезло видѣніе, и опять идутъ медленные сельскія будни. Въ ушахъ раздается неразборчивый гулъ безпрестаннаго работника — деревенскаго дня. Въ какой-то угрюмой печали прислушиваются къ этому гулу понурья и растрепанные крыши домовъ и время отъ времени по улицѣ пролетитъ какая-нибудь лихая помѣщичья тройка, неистово позванивая валдайскимъ колокольцемъ и громыахъ безчисленными бубенчиками; вяло проплетется пропалыга-мѣщанинъ изъ сосѣдняго города, съ краснымъ товаромъ; за тройкой и за мѣщаниномъ одинаково любопытно прорышутъ сельскіе ребятишки и дѣвчонки, и опять—тишь, важная, медленная и челоуѣка, желающаго поговорить съ нею, подмѣтитъ въ ней хоть какіе-нибудь признаки жизни, до глубокой тоски мучающа своей хмурью и какъ бы упрямымъ молчаніемъ.

\*) У Нефедова значится сыномъ дьякона. Но А. И. Левитовъ въ своей автобіографіи говоритъ, что отецъ его былъ священникомъ. Я позволяю себѣ считать свѣдѣніе, исходящее изъ-подъ пера самого А. И. Левитова, за болѣе достовѣрное.



Между прочимъ, авторъ описываетъ тяжкую болѣзнь, продолжавшуюся всю зиму и едва прекратившуюся весной, къ святой недѣлѣ. Сквозь эту болѣзнь, по всей вѣроятности, тифъ, сопровождаемый безпамятствомъ и бредомъ, мелькаютъ кое-какія смутныя воспоминанія, изъ которыхъ особенно характеристично описаніе Рождества и христославленія отца автора.

«Будили меня,—говоритъ авторъ:—по временамъ крики матери, разговоръ Оомы, топанье мужиковъ, вносившихъ отца, какъ и меня больного, въ горницу на рукахъ и укладывавшихъ его на постель. Помню я, одни изъ мужиковъ несли самого отца, въ рукахъ у другихъ находилась его высокая мѣховая шапка съ зелено-плисовымъ верхомъ, третьи держали его красивый кумачный кушакъ, войлочный теплый сапогъ, обшитый кожей. Всѣ они говорили матери съ улыбками, необыкновенно похожими на праздничную улыбку отца:

«—Матушка! Извольте принять: все въ сохранности. Вотъ—кушакъ-съ; а вотъ—шапка; а вотъ—деньговъ рупь пять копеекъ... Въ цѣльности все, потому мы—не какіе-нибудь, а дѣти духовныя, своего батюшку-священника помнимъ и знаемъ. По рюмочкѣ, матушка, мужичкамъ для праздника Христова, наша милость будетъ...

«—Однѣхъ курочекъ, маменька, тридцать семь, ласкательно говорилъ раскрасившійся Оома, вдругъ врываясь въ горницу:—четыре пѣтушка, маменька, сто двадцать шесть хлѣбцовъ-съ. Вотъ, мы нонѣшній день-съ какъ съ батюшкой орудовали-съ... Пожалуйста ручку-съ, маменька!

«Мужики, смотря на ухорство Оомы, принимались смѣяться, закрывая, впрочемъ, свои рты широкими и закорючлыми ладонями, чтобы попадѣя не видала ихъ улыбокъ, а мать кричала на Оому:

«—Разбойники! Разбойники! Доколы ты меня мучить будешь? Вѣдь это ты все батюшку пьянствовать-то назуживаешь. Чѣмъ-бы побережъ хозяина, а онъ—накосъ! Ишь, какъ самъ наливался! Не просила ли я тебя, безстыжія твои бѣлмы, побережъ его, а?... Просила, или нѣтъ, сказывай! Помни мое слово, Оома, послѣ новаго года я тебя въ три шей отъ себя протру».

Рядомъ съ этими грустными и тоскливыми дѣтскими воспоминаніями по всѣмъ „Степнымъ очеркамъ“ А. И. Левитова разсѣяны и болѣе отрадныя и свѣтлыя картины его дѣтства: это — именно обаяніе южной, степной природы, положившее глубокой, неизгладимый слѣдъ на всю его жизнь и дѣятельность, сцены дѣтской бѣготни по широкому раздолью степей, игръ, занятій, пѣсенъ и самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній. Особенно въ этомъ отношеніи отличается очеркъ: „Уличные картины.—Ребячьи учителя.“ „Дѣти раздольныхъ полей, говоритъ А. И. Левитовъ:—широкихъ луговъ и улицъ, мы всегда убѣгали отъ грустныхъ матерей нашихъ въ поля или на улицы, гдѣ обыкновенно забывали и про обѣдъ, и про эти колотушки, которыми такъ тщетно заставляли насъ забывать про эти обѣды“ (Ст. очерки, гл. 2, стр. 51). Очеркъ „Дворянка“ отличается, по всей вѣроятности, въ такой же степени субъективностью личныхъ воспоминаній. Въ немъ описываются игры степныхъ ребятъ подъ предводительствомъ полоумной старухи Забани, помѣшавшейся вслѣдствіе того, что младшая сестра ея, оставшаяся на ея рукахъ, была оболочена какимъ-то бариномъ и умерла, приживши съ нимъ ребенка и покинутая имъ. Этотъ ребенокъ въ видѣ черноглазой, бойкой и ласковой степной смуглянки, является въ очеркѣ первому любовью рассказчика.

Племянница Забани предводительствовала всѣмъ дѣтскими играми, командовала надъ самою полоумною теткою и вскорѣ такъ привязалась къ рассказчику, что они жить не могли другъ безъ друга и поклялись даже, когда вырастутъ большіе, вступить въ законный бракъ.

«Отецъ принялся, между прочимъ, учить меня грамотѣ, рассказываетъ А. И. Левитовъ:—которая особенно потому мнѣ не нравилась, что на цѣлые дни разлучала меня съ дѣвочкой. Я бесполезно проводилъ мучительно-длинные и жаркіе лѣтніе дни, сидя надъ азбукой и тоскуя о знакомомъ огородѣ. Его веселье, его трава и плетень, раскаленное солнцемъ небо, покрывавшее его, представлялись мнѣ горадо видѣе, чѣмъ всѣ эти азбучные азы и титлы; а черномазанъ дѣвочка, съ своими длинными волосами, съ ясными, всегда такъ нѣжно смотрѣвшими глазами, бѣгавшая по этому огороду, окончательно затемнила глаза мои, такъ что они очень плохо знакомились съ раскрашенными ярко краской картинками въ священной исторіи, которыми отецъ хотѣлъ заохотить меня къ грамотѣ»...

Послѣ цѣлаго ряда руготни и истязаній отецъ мальчику, видя, что безъ дѣвочки ученіе не идетъ въ голову сыну, рѣшился учить вмѣстѣ съ нимъ его подругу. Съ дѣвочкой ученіе пошло быстро, такъ что очень скоро они, по собственному сознанию отца, и читать, и писать стали не въ примѣръ лучше его. Отъ „Сто четырехъ священныхъ исторій“ съ картинками они перешли къ знакомой уже намъ Четви-Миней.

«Цѣлый годъ, повѣствуетъ А. И. Левитовъ:—кажется, у насъ не было другого разговора, какъ только о приобрѣтеніи мученическаго вѣнца. Различные примѣры мучениковъ и мученицъ закаляли наши головы страстными, истомившими желаніемъ идти куда нибудь и прославлять святое имя Христова по всѣмъ широкимъ концамъ земнымъ. Сонныя видѣнія наши были не что иное, какъ отрывки изъ святыхъ поэмъ Четви-Миней... Но Четви-Миней была скоро прочитана. Еще намъ откуда-то досталъ отецъ божественныхъ книгъ... Однажды услышалъ наши разговоры дьяконскій сынъ—семинаристъ, который ходилъ къ моему отцу учиться живописи. Какъ теперь помню, первая книга, которую онъ далъ намъ читать, была „Графъ Монте-Кристо“. Послѣ Монте-Кристо мы перечитали всѣ историческія сказки Дюма, а потомъ семинаристъ, пріѣхавъ чрезъ годъ уже на лѣтнія вакаціи, началъ читать вмѣстѣ съ нами Галахова „Хрестоматію“. Онъ терпѣливо и охотно вселялъ все лѣто въ наши мозги настоящее дѣло. Горько плакали мы въ это время надъ „Бусурманомъ“, весело смѣялись съ Киршей, а потомъ, когда пришла пора, семинаристъ объяснилъ намъ мучительную прелесть Пушкина и мрачно-величавое уныніе Лермонтова!..»

Всѣ эти факты дѣтства А. И. Левитова обнаруживаютъ намъ его въ видѣ крайне болѣзненного и нервно-впечатлительнаго ребенка, съ богатымъ воображеніемъ, развитымъ подъ обаяніемъ южной природы и возбужденнымъ фантастическими грезами подъ вліяніемъ чтенія Четви Миней и слуханія всевозможныхъ сказокъ, легендъ и повѣрій, которыми въ обилии была переполнена среда, окружавшая мальчика. Въ играхъ съ сверстниками онъ, конечно, не былъ заправкой и предводителемъ. Отсутствие физическихъ силъ, вмѣстѣ съ пламенною экзальтаціею и грезами о всевозможныхъ мученическихъ вѣнцахъ, дѣлало его въ глазахъ здоровыхъ, сильныхъ и реально-мыслящихъ степныхъ мальчугановъ какимъ-то особеннымъ



существомъ, не то блаженненькимъ, не то баричемъ. Его осыпали градомъ колотушекъ и насмѣшекъ, прозывали не иначе, какъ дворянчикомъ, и все это въ дѣтскихъ годахъ будущаго поэта положило уже сѣмена того мрачнаго ожесточенія противъ людской неправды, безчеловѣчной ко всему слабому и немощному — ожесточенія, составлявшаго главную сущность поэзии Левитова. Уѣздная бурса и губернская семинарія еще болѣе развили это ожесточеніе.

### III.

Для этого самаго ужаснаго періода жизни А. И. Левитова отличнымъ матеріаломъ для насъ будетъ служить рассказъ его „Петербургскій случай“, въ которомъ рисуется передъ нами петербургскій чиновникъ Иванъ Николаевичъ, мрачный, нелюдимый, сосредоточенный, сильно пьющій и подъ конецъ сходящій съ ума. Описывая галлюцинаціи бѣлой горячки своего героя, авторъ заставляетъ его вспоминать дѣтство и училищные годы, и передъ нами воскресаютъ, очевидно, воспоминанія самого автора, да мало еще этого: въ рассказъ вклеены отрывки изъ семинарскаго дневника, съ обозначеніемъ даже чиселъ. Какъ всѣ детали этихъ воспоминаній, такъ и самый тонъ ихъ, исполненный слишкомъ нервно-болѣзненнаго и мрачнаго ожесточенія, доходящаго до отчаянья, невольно заставляютъ насъ думать, что и здѣсь мы имѣемъ дѣло съ чисто автобіографическими фактами.

«Во снѣ, повѣствуетъ авторъ про своего героя, Ивана Николаевича: — очень долгое время передъ нимъ бѣсилось коростовое стадо разношерстныхъ ребятишекъ, голодныхъ и потому воровавшихъ у всякаго все, что только попадало подъ руку; безпризорныхъ и потому позвѣрски изодравшихся; безъ хорошихъ, руководящихъ примѣровъ и, слѣдовательно, въ самомъ дѣствѣ уже обреченныхъ на гибель, какъ, почти безъ исключенія, погибаютъ всѣ люди, неприспособляемые съ раннихъ лѣтъ къ правильнымъ пониманіямъ и отношеніямъ къ жизненной дѣйствительности. Пронзительный звонъ колокольчика загонялъ это стадо въ какія-то смрадные стойла, гдѣ большею частью ему говорились какія-то ни въ одномъ словѣ общественной жизни неупотребляемыя слова. Шипѣнье гибкихъ, двух-аршинныхъ розогъ, ревъ десятка дѣтей, которыхъ въ разныхъ стойлахъ полосовали ими, звонъ колокольчика и, наконецъ, ни отчего отъ этого непрерывавшееся внушеніе тарабарской гибели, сливались въ одинъ общій, исполненный самаго варварскаго безобразія гулъ, и заставляли Ивана Николаевича, какъ одержимаго горячкой метаться на постели и кричать:

«— Боже, мой! Боже мой! Что-же это за несчастныя времена были! Сколько честнаго и даровитаго сгублено ими!..»

Затѣмъ воспоминанія Ивана Николаевича пересекаютъ насъ въ губернскій городъ и въ семинарію, и тутъ уже начинаются выписки изъ дневника, въ самомъ рассказѣ внесенныя въ ковычки:

«3-го сентября. Какъ только я, проводивши отца, пришелъ въ классъ, ученики прозвали меня франтомъ, потому-что я былъ въ ватной сибиркѣ изъ желтой нанки и въ замшевыхъ перчаткахъ, такъ какъ руки у меня дома отъ работы и отъ нечистоты закоростовѣли, и отецъ намазалъ мнѣ ихъ сѣрой съ жоревымъ масломъ. Всѣ меня со смѣхомъ принялись бить, плевать въ лицо, а за мальчика съ большими глазами, который накануне украдъ у меня задачу,

стали звать выслужкой, т. е. ябедникомъ. Пришелъ профессоръ въ короткомъ сюртукѣ и въ пестрыхъ штанахъ, которые были на манеръ ситцевыхъ. Онъ сталъ говорить со мной, и тогда весь классъ почемучу-то вдругъ громко захохоталъ, а я сталъ плакать. Профессоръ, вмѣсто того, чтобы заступиться за меня, подморгнулъ ученикамъ и сказалъ имъ: «не тревожьте его, братцы! Это—прекрасный молодой человѣкъ, сочиненіе Поль-де-Кока, романъ въ двухъ частяхъ».

«Цѣлыхъ полтора часа издѣвался надо мною профессоръ, а классъ грохоталъ и, наконецъ, когда пробили звонокъ, онъ сказалъ мнѣ: «ну, прощай, дамскій портной! ха, ха, ха!».

«Такъ съ тѣмъ я и остался, и ни отъ кого мнѣ не было прохода, и имени мнѣ отъ товарищей другого не было, какъ только дамскій портной и прекрасный молодой человѣкъ. Всѣми силами старался я подружиться съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, но всѣ они, обругавши меня, насмѣивались надо мною, уходили отъ меня.

«Декабря 1-го. Дали сочиненіе: «Весна пріятна». Нужно было написать три періода: причинный, уступательный и относительный; но я не понималъ, какъ профессоръ училъ сдѣлать это, а просто взялъ и сталъ говорить, какъ приходитъ весна, какъ солнце сушить грязь и, вмѣсто нея, встанешь иной разъ, поутру, увидишь тропинку мягкую такую, такую бѣлую... Кто протопталъ ее за ночь, не знаешь; а потому побѣжишь по ней... Она криво бѣжитъ къ лавкѣ, къ попу, въ кабакъ, потомъ въ лѣсъ, гдѣ и причется въ прошлогодней, успѣвшей уже обтаять, травѣ. Въ травѣ вода чистая и холодная, какъ ледъ. Руки и ноги, бывало, ужасно какъ зазнобишь, бродя въ этой водѣ. Онѣ сдѣлаются, бывало, красныя, какъ огонь, а потомъ посинѣютъ. У кого посинѣютъ руки и ноги, мы тому скажемъ: «у тебя руки и ноги померзли», потомъ всѣ бросимся на этого мальчишку или дѣвчонку и станемъ оттирать, а сами хохочемъ на весь лѣсъ... Около насъ шумѣла глубокая и широкая рѣка, а по ней скоро неслись большія льдины съ густымъ камышомъ. Подъ нимъ бѣгали и жалобно кричали зайцы, а самыя льдины сіяли на солнцѣ такъ, что мы жмурили глаза... Мы смотрѣли на это по цѣлымъ днямъ и цѣлые дни смѣялись.

«Все это я такъ и написалъ. И много другого еще про бабочекъ, про птицъ—потомъ, какъ у насъ однажды въ полноводье лодка плыла съ мельницы, которую чуть-чуть не затопила вдругъ прорвавшаяся плотина. Въ лодкѣ была мельничиха, сама она правила, отталкивала льдины и кричала, чтобы ей помогли, и дѣти у ней въ лодкѣ ползали и кричали, а кто былъ на берегу, всѣ молили Бога, чтобы Онъ помогъ ей. Когда-же она подѣхала къ берегу, тогда всѣ бросились цѣловать ее, а ребятишки, какіе тутъ были, смѣялись и плясали.

«На другой день пришелъ въ классъ профессоръ и спросилъ меня: — кто это тебѣ, чуело, написалъ сочиненіе? Я ему сказалъ:—никто! Это я самъ написалъ, и въ это время у меня лицо сдѣлалось красное, потому что я на него осерчалъ, зачѣмъ онъ мнѣ не вѣритъ, и мнѣ хотѣлось плакать. Тогда онъ схватилъ меня за уши и закричалъ: — врешь, подлецъ! Сейчасъ сознавайся, кто тебѣ это написалъ? Я громко зарыдалъ, а ученики захохотали.

«Профессоръ согналъ меня въ это время съ перваго мѣста на послѣднее, а я написалъ письмо матери, чтобы она пріѣхала ко мнѣ и исключила меня, потому, что я не могу понять ученья, т. е., какъ писать.

«Мать привезла мнѣ сухой малины и орѣховъ; долго плакала, прыскала мнѣ голову святою водою, потому что голова у меня горѣла, какъ въ огнѣ, а потомъ уѣхала домой съ обратными мужиками, и я остался одинъ».

«Передъ Святой, какъ-то сидѣли мы въ классѣ и профессоръ сказалъ намъ:—ну братцы! Теперь скоро публичный экзаменъ будетъ, и намъ нужно на-

вострились стихи сочинять. Вотъ они какіе бываютъ стихи-то; какъ развернулъ книгу и началъ намъ читать стихотворенія разныхъ размѣровъ, объясненія при этомъ, что такое ямбъ, хорей, дактиль, анапестъ и т. д. И, какъ я у дѣдушки, у протопопа, такихъ стиховъ прежде много читалъ, то и подумалъ, что писать ихъ не мудрено... Еще подумалъ, что какъ только я напишу стихи, сейчасъ меня всѣ полюбятъ, и профессоръ посадить меня на первое мѣсто... Ну, кто-же напишетъ, братцы? еще разъ спросилъ онъ, и тогда я всталъ съ мѣста и сказалъ, что я могу писать. Онъ задалъ мнѣ Осень—и къ концу класса я приготовилъ вотъ какіе стихи:

Перезрѣли въ просахъ зерна,  
Перезрѣли.  
Звонкимъ летомъ надъ рѣками  
Птицы пролетѣли.  
Вслѣдъ имъ пущень громкій выстрѣлъ  
Отъ сѣннаго стога.  
До весны прощайте, птицы,  
Путь вамъ и дорога!  
Имъ стрѣлокъ сказалъ, ступая  
Тонкой колею.  
Былъ онъ съ темными усами,  
Съ мерзлой бородою.

«Отъ этихъ стиховъ мнѣ стало еще хуже. Профессоръ набилъ меня за то, что онъ думалъ, что я ихъ списалъ изъ какой-нибудь книги, и все спрашивалъ меня, какого они размѣра, но я не зналъ этого. Пуще прежняго всѣ возненавидѣли меня; ученики изъ другихъ классовъ останавливали меня на улицахъ, въ корридорахъ и требовали, чтобы я прочиталъ имъ что-нибудь *вдругъ изъ своего ума*, и когда я не могъ этого сдѣлать, они били меня и говорили:—эхъ ты, сочинитель кислыхъ щей!

«Однажды я попалъ на глаза инспектору. Онъ спросилъ у профессора словесности: этотъ, что-ли, у тебя парнишка стихи-то сочиняетъ? Профессоръ отвѣтилъ: такъ точно-съ! Дрянъ самая безразвѣстная... Извольте обратить вниманіе на морду, ваше—іе! всегда внизъ... А это, доложу вамъ—вѣрнѣйшій признакъ злохудожной души-съ...

«Инспекторъ долго и свирѣпо смотрѣлъ на меня, потомъ принялся ощупывать мою голову, стучать по ней въ разныхъ мѣстахъ концами пальцевъ и кулакомъ (всѣ говорили, что онъ отлично умѣетъ узнавать человѣческія способности, и потому многіе господа привозили къ нему для этого своихъ дѣтей) и потомъ, обратившись къ профессору, сказалъ:

«— У него, дѣйствительно, очень развита ишишка сочинительства. Только ты гляди у меня, сочинитель, не пей!.. Знаю я вашего брата. Всѣ вы таковы. Запорю, коли что узнаю... А вы смотрите за нимъ построже, за каждый шагъ пробирайте... Не бойсь, остынетъ, а то, вѣдь, это искушеніе сильно... Не всякій съ нимъ совладѣть... О-о-хо-хо!.. Пошолъ прочь!..

«Прошло цѣлыхъ два года еще такого-же безсмысленнаго горя, оскорбленій, слезъ—и видно было, что ребенокъ формируется. Онъ уже не плакалъ, а злился и негодовалъ, и эта злость и негодованіе были выражены уже не ребячьимъ лепетомъ, а жаркимъ слогомъ юноши, въ которомъ закипѣло страстное и сильно-чувствующее сердце.

«Все-бы это опротивило мнѣ до безумія, писалъ мальчикъ:—еслибы я не подружился съ Васильемъ Западнымъ, который однажды заступился за меня, а потомъ посовѣтывалъ мнѣ, чтобы я самъ старался всякому носъ сорвать...

«— Какого ты чорта смотришь на этихъ подлецовъ? говорилъ Западновъ.—Колони въ морду какого-нибудь мерзавца, сейчасъ-же тебѣ отъ этого веселѣе сдѣлается... Это, братъ—вѣрно! Ей Богу! Я это пробовалъ и, вотъ, самъ видишь, кто теперь на

меня налестаетъ? А во, вѣдь, и меня, чуть-чуть не заклевали...

«Я очень его полюбилъ, и вчера мы выпили съ нимъ потихоньку отъ нашихъ квартирныхъ полуштофъ сантуринскаго и потомъ за полночь читали книгу *«Мертвѣя Души»*. Я много плакалъ, смѣялся, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мнѣ дѣлалось до того страшно чего-то, что зубы мои стучали, какъ въ лихорадкѣ... Въ мозгу пробѣгала какая-то смутная мысль о томъ, что «если-бы и мнѣ такъ-то»... Потомъ мысль эта вдругъ смѣнялась стыдомъ и злостью на себя за то, что она шевелится во мнѣ. Въ груди и головѣ моей неотступно сидѣлъ кто-то и сердито говорилъ: развѣ ты смѣешь желать *этого*? и этотъ говоръ былъ настолько слышенъ мнѣ, что я терялъ всякую надежду на что-то; а между тѣмъ, впервые услышанный мною *громъ друиыхъ речей*, которыми поэтъ живописалъ людей и природу, лился на меня неизъяснимо-увлекавшей музыкой, отъ которой вадрогивало тѣло и расширялась грудь, вся переполненная чѣмъ-то кипучимъ и необыкновенно сильнымъ»...

«Сантуринское вино вмѣстѣ съ потрясающимъ впечатлѣніемъ чтенія Гоголя произвели то, что мальчикъ впалъ въ безпамятство и снова тяжело заболѣлъ. Очнулся онъ въ больницѣ послѣ кризиса, спустя, повидимому, не малое время:

«— Да что ты, чортовъ сынъ, когда перестанешь барахтаться-то? загремѣлъ, рассказываетъ онъ,—надо мною голосъ челоуѣка, старавшагося связать мои руки. Ишь, дьяволенокъ, ишь здоровый какой! повторилъ этотъ голосъ.

«Я открылъ глаза и увидѣлъ выбѣденныя стѣны семинарскаго больничнаго, мать, умолявшую фельдшера не бить и не вязать меня и общавшую за это сейчасъ же пойти въ лавку и отрѣзать ему сукна на штаны, и Васю Западава.

«— Ну, мать, молись Богу! заговорилъ фельдшеръ матери.—Очнулся, значить, сто лѣтъ прожить. Бѣжи теперь, тащи мнѣ сукна, да прихвати атласцу на галстуки аршинчикъ. Очень я галстуками-то пообносился... Ухвати, кстати, маменька, четверточку табаку жукецу, мы тутъ воскуримъ съ твоимъ птенцомъ. Теперича ему это очень въ пользу пойдетъ...

«И странное дѣло! Вышелъ я изъ больницы съ совершенно облѣзлой головою. Посмотрю на себя въ зеркало, толкачъ толкачомъ, какъ сечь уродъ; и между тѣмъ никто надо мною не смѣялся. Я сталъ думать, отчего это меня обижать перестали, хотя, по прежнему, смотрѣли недоброжелательно, изъ подлѣбья, сумрачно—и дѣло объяснилось очень просто: мы всегда и въ классѣ сидѣли, и по улицамъ ходили вдвоемъ съ Западнымъ и, если на насъ налеталъ кто-нибудь съ дракой, мы его колотили до того, что начинали, противъ воли, истерически хохотать надъ его болями и бросали тогда уже, когда намъ самимъ дѣлалось нестерпимо больно отъ нашего смѣха... Потомъ, мы съ Западнымъ стали брать деньги за то, что писали за другихъ учениковъ сочиненія—и на эти деньги покупали красное вино, которое въ банѣ и выпивали. Это еще болѣе увеличило почетъ, которымъ мы начинали пользоваться. У насъ оказалось много преданныхъ ребятъ, которымъ мы писали даромъ, и они рассказывали всѣмъ, что мы необыкновенно умные и добрые, такъ что къ намъ стали ластиться изъ старшихъ классовъ. Разсуждая обо всемъ этомъ, мы съ Васильемъ очень смѣялись надъ товарищами и говорили другъ другу: вотъ скоты! Когда мы имъ хотѣли душу отдать, они издѣвались надъ нами, какъ надъ собаками, а теперь... вонъ какая штука пошла!..

«Долго мы съ своими неопытными умами вертѣлись около этой штуки и, наконецъ, рѣшились поступать всегда такимъ образомъ: пробирать всѣхъ и вся, а то самого убьютъ...

«Ужъ и доставалось же отъ насъ нашимъ прия-

телямъ! Мы составили собѣ изъ двухъ нашихъ маленькихъ физическихъ силъ одну, о которую разбивались всѣ остальные, а нравственные силы къ намъ обоимъ сами пришли... Понявши этотъ фактъ, мы смѣялись и колушмятили, колушмятили и смѣялись...

«—Вотъ теперь въ насъ съ тобою сидятъ длинно злохудожныя души! часто съ громкимъ хотомъ говаривалъ Василій, раздавая направо и налѣво забористые тумакы.

«Впрочемъ, когда мы оставались съ Западovýmъ одни, мы долго совѣщались, какъ бы намъ безъ драки помириться со всѣми—и не находили никакого другого средства. Я до слезъ унывалъ отъ этого, а Васютка надвинулъ-бывало брови, по лицу у него забѣгаютъ въ это время угрюмыя и вмѣстѣ печальныя тѣни—и скажутъ:

«—Э! не плачь! Чортъ съ ними! Давай-ка читать...»

«И они съ жадностью принимались читать... и далѣе воспоминанія А. И. Левитова передаютъ рядъ впечатлѣній, производимыхъ на юношей чтеніемъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Диккенса, Теккерса и проч.

#### IV.

Это обиліе чтенія имѣло тѣ послѣдствія, что на 17-мъ году А. И. Левитовъ покинулъ семинарію, будучи на философскомъ отдѣленіи, и рѣшился отправиться въ Москву, въ университетъ. За неимѣніемъ средствъ, ему пришлось совершить это путешествіе въ 500 верстѣ пѣшкомъ. Прийдя въ Москву, онъ началъ слушать лекціи въ университетѣ и готовится ко вступительному экзамену. Горизонтъ его жизни въ эту пору значительно прояснился; это была, повидимому, лучшая эпоха его жизни. Онъ попалъ въ Москву и въ университетъ въ самое оживленное и горячее время общественнаго пробужденія передъ реформами. Послѣ той страшной семинарскаго каторги, какую мы видѣли на предыдущихъ страницахъ, началась для него, полная надеждъ и мечтаній, горячихъ споровъ, разумнаго чтенія, жизнь въ студенческомъ кружкѣ (въ которомъ, вмѣстѣ съ Левитовымъ, былъ Кельсіевъ). Выдержавши вступительный экзаменъ, А. И. Левитовъ, однако же, не остался въ московскомъ университетѣ, а переехалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ въ медико-хирургическую академію. Здѣсь жизнь его потекла такъ же дѣятельно, разумно и оживленно, какъ и въ Москвѣ; рядомъ съ студенческими занятіями, онъ отдавалъ весь досугъ свой чтенію и изученію какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ поэтовъ и беллетристовъ. Но печальный случай измѣнилъ все; Левитовъ былъ запутанъ въ какія-то исторіи, исключенъ изъ академіи и очутился на далекомъ сѣверѣ—въ Шенкурскѣ, потомъ въ Вологдѣ.

Эта шенкурская и вологодская эпоха тяжело отразилась на всей жизни А. И. Левитова. Вдали отъ интеллигентныхъ центровъ, въ борьбѣ съ нищетою, среди уѣзднаго общества, тоущаго въ грубомъ материализмѣ, А. И. Левитовъ окончательно ожесточился, одичалъ и сжился съ тѣми низшими слоями общества, изобразителемъ жизни которыхъ онъ является. Въ то же время, скука, праздность, лишенія и уныніе, вмѣстѣ съ заразительнымъ пригнѣтомъ окружавшей его среды, развили и ожесточили въ немъ тотъ по-

рокъ, задатки котораго, въ видѣ выпиванія сантуринаскаго и краснаго вина вмѣстѣ съ Западovýmъ, мы видѣли уже въ семинарскаго жизни А. И. Левитова. Если можно какимъ добромъ помянуть этотъ періодъ его жизни, то развѣ тѣмъ, что въ это время онъ серьезно приступилъ къ литературнымъ трудамъ, и уже въ Шенкурскѣ были начаты имъ «Степные Очерки», а, съ переездомъ въ Вологду, онъ въ состояніи былъ окончить нѣкоторые изъ начатыхъ работъ и послать въ Москву, въ редакцію одного журнала. «Въ 1861 году, повѣствуетъ Нефедовъ въ своемъ некрологѣ:—Левитовъ возвратился въ Москву. Возвращеніе это потребовало нѣсколькихъ мѣсяцевъ: онъ шелъ, по обыкновенію, пѣшкомъ и безъ гроша денегъ. Чтобы не умереть съ голоду и продолжать дальнѣйшее путешествіе, онъ принужденъ былъ останавливаться въ селеніяхъ, нанимался писать въ волостныхъ правленіяхъ и получалъ за свой трудъ по полтиннику въ недѣлю. Такъ онъ и дошелъ до Москвы».

Съ 1861 года начинается дѣятельное участіе въ литературѣ. Онъ поощряетъ свои очерки сначала въ журналахъ: «Зритель», «Развлеченія», «Русской рѣчи», потомъ во «Времени», «Современникѣ», «Библиотека для Чтенія», «Искрѣ», «Недѣлѣ» и многихъ другихъ періодическихъ изданій. Къ этому же времени относится между прочимъ и знакомство его съ разными литературными дѣятелями того времени, напримѣръ съ Ап. Григорьевымъ, который привѣтствовалъ его появленіе на литературное поприще и поощрилъ начинавшій талантъ. Вся дальнѣйшая жизнь А. И. Левитова носитъ довольно однообразный характеръ, такъ что, вмѣсто подробнаго перечисленія фактовъ ея по годамъ, что было бы и довольно затруднительно, вслѣдствіе неимѣнія обстоятельныхъ свѣдѣній для этого, я ограничусь одною общою характеристикой этой жизни.

Въ сущности, это была не жизнь въ истинномъ смыслѣ этого слова, а какое-то непрестанное маянье и постепенное угасаніе. Литературный трудъ очень плохо обезпечивалъ бѣднягу и, къ тому же, онъ поспѣшилъ обзавестись семьею, чѣмъ еще болѣе отягчилъ и безъ того нерадостную жизнь свою. Можно положительно сказать, что въ продолженіи всей жизни человѣкъ этотъ не зналъ, что значить имѣть свой домашній очагъ, мебель, обстановку, хотя бы самую убогую: онъ былъ вѣчнымъ безпріютнымъ странникомъ, вѣщавшимъ все свое добро въ маленькій чешоданчикъ, и съ этимъ чешоданчикомъ скитался по меблированнымъ комнатамъ, по столичнымъ чердакамъ и подваламъ. Къ тому же, онъ не могъ не только примкнуть къ одному какому-либо изданію и сдѣлаться его постояннымъ сотрудникомъ, но и укорениться въ одной изъ столицъ: поживетъ въ Москвѣ годикъ, другой, а то и нѣсколько мѣсяцевъ, и начинается тяготиться московскою жизнью: «здѣсь все начинается плесневѣть, говорить раздраженно своимъ близкимъ:—тутъ сдѣлаешься или пошлякомъ, или сопьемся...» Ыдетъ въ Петербургъ: тамъ, въ сущности—тоже самое: подвальные, чердачные, борьба съ нищетою, да еще къ тому и убійственный климатъ, подъ вліяніемъ котораго у Левитова ожесточается кашель, начинается кровохарканье, грудныя боли—

онъ ѣдетъ опять въ Москву—поправиться съ силами, отдохнуть, повидаться съ знакомыми. А въ Москвѣ опять ждетъ его все та же убогая, сырая, холодная комнатка гдѣ-нибудь въ захолустѣ, и тоскливое одиночество вмѣстѣ съ проклятіями сирадной, удушливой физической и нравственной атмосферы столичной жизни и тщетными порывами степняка въ родной край, на широкій и вольный просторъ благоухающихъ степей.

Такъ жестоко страдалъ, томился и вянулъ степной цвѣтокъ, оторванный отъ родной почвы и непригнѣтый въ суетѣ и срадѣ столичной жизни... Тоска по родинѣ и тщетныя порыванья въ родной край „на наследственную полосу“ проходить по всѣмъ сочиненіямъ А. И. Левитова; отражаются они и въ некрологѣ Нефедова.

— Я усталъ, говорилъ Александръ Ивановичъ Нефедову въ одну изъ бесѣдъ:—мнѣ необходимо отдохнуть. Здѣсь, въ Москвѣ, или въ Петербургѣ объ этомъ нечего и думать... Довольно, будетъ ужъ съ меня *столицей*-то: слава Богу, въ загромокъ-то достаточно-таки онѣ наклали мнѣ... Ахъ, братъ, на родину какъ тянетъ, если-бы ты зналъ!.. Стариковъ моихъ живыхъ ужъ вѣтъ—не хватило у нихъ силъ, мочи перенести горе; мой Шенкурскъ убилъ и отца, и мать. Такъ и не привелось видѣться съ стариками... Теперь остались только сестра и братъ. Хотѣли бы на нихъ взглянуть!..»

И вотъ, не въ силахъ, за немѣнѣишь средствъ, попасть на родину и желая быть къ ней хоть поближе, онъ начинаетъ хлопотать о мѣстѣ уѣзднаго учителя въ Рязскѣ. „Рязскъ, говоритъ онъ:—вѣдь это—ужъ почти что моя родина: отъ Рязска до Козлова по желѣзной дорогѣ, а тамъ—рукой подать, мое село“. Съ большими мытарствами и трудомъ досталъ себѣ это мѣсто А. И. Левитовъ, но не долго пробылъ на немъ: въ августѣ 1866 г. уѣхалъ изъ Москвы, а въ декабрѣ писалъ уже Нефедову: „много ошибокъ и безтактныхъ вещей дѣлалъ я на своемъ вѣку, но, говоря по всей совѣсти, онѣ положительно блѣднѣютъ передъ такой великой глупостью, какъ мое поступленіе учителемъ въ Рязскъ“, и на рождественскихъ праздникахъ Левитовъ снова былъ уже въ Москвѣ. Такъ-же неудачна была попытка его посѣтить родину и позже, въ 1870 году. Въ юнѣ этого года, онъ писалъ Нефедову: „Ѣду на родину. Проѣздомъ черезъ Москву, непремѣнно заверну къ тебѣ. Наконецъ-то сбылись мои давнишнія мечты и желанія: я увижу родину“!.. Но, пріѣхавъ въ Москву, онъ засѣлъ въ ней, и, вѣсто родины, ему пришлось остаться въ Москвѣ и поселиться близъ ваганьковского кладбища, въ коморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и лилъ сквозъ крышу дождь, и опять пошла жизнь, полная страданій и лишеній.

Впрочемъ, нужно замѣтить, что не одинъ недостатокъ въ средствахъ и дороговизна центральныхъ квартиръ загоняли его постоянно на городскія окраины, въ глушь, какъ онъ выражался, „*двѣственныя* улицы“. Эти двѣственные улицы привлекали его также и потому, что въ нихъ не было ненавистнаго ему городского шума, и онѣ напоминали ему своимъ полудеревенскимъ видомъ его родину, какъ объ этомъ самъ онъ говоритъ во многихъ мѣстахъ своихъ сочиненій.

Но не одна сельская обстановка и тишина двѣ-

ственныхъ улицъ, разгонявшія хандру городской суеты и успокоивавшія раздраженные нервы страдальца, манили его къ себѣ: любилъ онъ и скромныхъ, бѣдныхъ обитателей этихъ улицъ, безхитростно-простыхъ, радужныхъ, душевныхъ людей нищеты, мастеровыхъ мѣщанъ, отставныхъ солдатъ и т. п. Онъ бѣжалъ къ этимъ людямъ отъ нравственныхъ противорѣчій, искусственности, напускной гуманности и черстваго высокомерія интеллигентныхъ слоевъ общества и чувствовалъ себя у нихъ, какъ дома, отдыхалъ среди нихъ душою. Довѣріе, которое они питали къ нему, умѣнье стоять съ ними на равной ногѣ по-приятельски—составляли его нравственную гордость, которую онъ высказываетъ въ разныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій и которою тщеславится передъ своимъ интеллигентнымъ читателемъ.

Тщеславясь разницею отношеній простого люда къ нему и читателю, въ другомъ мѣстѣ онъ, наоборотъ, выставляетъ на видъ различіе своихъ личныхъ отношеній къ простому люду и къ интеллигентному слою. Изображая себя въ одномъ изъ очерковъ („Фигуры и тропы о московской жизни“) проснувшимся послѣ сильной попойки у знакомаго московскаго обывателя двѣственныхъ улицъ, Чижа, онъ восклицаетъ:

«Повторяю, въ концѣ концовъ, что я былъ очень радъ, что очутился у Чижа, потому что часто также приходится мнѣ трудить ошалѣлую голову надъ разгадкой, у кого именно изъ моихъ барственныхъ друзей встрѣчаю я извѣстное утро, тысячу невидныхъ и неслышныхъ для посторонняго глаза голосовъ и лицъ то безпощадно осуждающее меня бездомовнаго пьяницу, то словно жалѣющее и плачущее надо мною горячими слезами родныхъ людей, которыхъ я хочу выжить изъ моей памяти и никакъ не выживу?.. Съ ужасомъ думалъ я, разговаривая съ Чижихой: что-бы было со мной, ежели-бы я проснулся теперь не въ ея квартирѣ? Благовоспитанный другъ мой читалъ-бы мнѣ мораль, что необходимо и проч., отпавивъ-бы кофеемъ, говорилъ-бы со мною *по-мужички*, либеральничалъ; между тѣмъ, самъ я, въ каждомъ звукѣ, изъ какихъ состояли-бы его нескончаемыя рапсы, явственно разбиралъ-бы звонкій, нестерпимо-рѣжущій хохотъ уродливаго дьяволенка пьянства, который самымъ подлымъ образомъ выхлѣлся-бы передо мной въ синемъ пламени спиртовой лампы, варившей кофе, дразнилъ-бы меня и кричалъ другу моему и наставнику:

— Да что это ты ему разговоры разговариваешь? ха, ха, ха!—Ему погромче тебя въ милійонъ разъ говорили когда-то, да не послушалъ... ха, ха, ха!» («Горе село и дер.», стр. 420).

Въ Москвѣ у меня бездна литературныхъ и университетскихъ друзей, повѣствуетъ онъ въ другомъ мѣстѣ. (См. Ж. моск. закоул., стр. 296):—которые меня весьма терпятъ и у которыхъ, слѣдовательно, я удобно могъ-бы сложить свой странническій посохъ, но, пославъ ихъ въ души моей къ Богу въ рай, я, по прибытіи въ Москву, направился прямо въ двѣственную улицу, гдѣ жилъ мой старый другъ, старый отставной унтеръ-офицеръ, который былъ кумъ, т. е. у котораго. благодареніе Создателю, мнѣ довелось привести въ крещеную вѣру трехъ дѣтей».

Все это ясно показываетъ намъ въ лицѣ А. И. Левитова вовсе не интеллигентнаго наблюдателя народныхъ нравовъ со стороны, а человѣка, вполне сливавшагося съ народною жизнію и до конца своихъ дней не перестававшаго быть человѣкомъ народа. Не на народъ, а на интеллигентные слои онъ смотрѣлъ со стороны, и то презрѣніе къ ихъ напускной гуман-

ности, искусственности и нравственнымъ противорѣчіямъ, какое мы видѣли въ вышеприведенныхъ цитатахъ, доходить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его сочиненій до крайней нетерпимости. Такъ, въ очеркѣ „Крымъ“ (Жизнь моск. закоул.), онъ изливаетъ подобныя чувства именно на одного изъ элегантныхъ наблюдателей народныхъ нравовъ, затесавшагося въ кабаки и ломавшагося тамъ своими легковѣсными фразами въ либеральномъ духѣ:

«Между тѣмъ, говоритъ онъ:—великосвѣтскія манеры моего случайнаго знакомаго неизмѣнно бѣсили меня, потому что, чѣмъ дольше сидѣли мы съ нимъ въ зловонномъ трактирѣ, тѣмъ больше онъ пропитывалъ харчевную атмосферу своими тончайшими духами, такъ-что самыя нахальныя крымскіе глаза безъ какого-то смущенія и даже какъ будто бы страха не могли выносить блеска опала въ его золотой булавкѣ, а въ то время, когда, казалось, самыя стѣны подземелья хотѣли лопнуть отъ шумнаго скопища, тискавшагося въ немъ, около нашего стола, непонятнымъ образомъ, былъ нѣкоторый просторъ. «Чортъ его побери совсѣмъ! злобно думалъ я про моего элегантнаго друга:—угораздитъ-же чело-вѣка, одѣтаго въ такую изящную жакетку, въ галстукъ котораго блеститъ, наконецъ, такое сверкающее произведеніе Фульды, затесаться въ Крымъ! Кажется, мнѣ придется хорошенько раскровинить его!» И клянусь вамъ, раскровинить этого молодца непременно-бы слѣдовало, потому что его барство до крайности напугало присѣвшаго къ нашему столу стараго солдата. По его задумавшемуся лицу я очень хорошо видѣлъ, что солдатъ, такъ-же какъ и я, съ большимъ удовольствіемъ съѣздитъ-бы въ фивіонію къ баричу».

Въ этой цитатѣ А. И. Левитовъ—весь передъ вами, со всѣми его симпатіями и антипатіями и во всей наивной грубости степнаго дикаря. Хотя къ этому нужно замѣтить, что грубость эта была однимъ вѣншиимъ слоемъ грязи, наросшимъ на поэтѣ, вслѣдствіе обстановки жизни его, но въ сущности это была натура крайне нѣжная и деликатная, нисколько неспособная приводить въ дѣйствіе тѣ угрозы, которыми онъ разражался противъ элегантнаго друга, смутившаго его своимъ пребываніемъ въ „Крымѣ“. Объ этомъ мы можемъ судить по тѣмъ рефлексіямъ и насмѣшкамъ надъ собою, которыми ниже въ своей очеркѣ разражается поэтъ въ сознаніи неспособности къ выполнению грубой угрозы.

Послѣдніе годы жизни А. И. Левитова носятъ все тотъ-же мрачный колоритъ, что и вся его жизнь, если еще не мрачнѣе. Съ 1870 года до самой смерти, Левитовъ почти безвыѣздно жилъ въ Москвѣ; въ послѣдній разъ онъ посѣтилъ Петербургъ на короткое время въ 1871 году. Попржнему, зимою онъ жилъ гдѣ-нибудь у драгомиловскаго моста, въ подвалѣ, или у ваганьковскаго кладбища; потомъ переселялся въ какую-нибудь подгородную деревню или Петровско-Разумовское. Здоровье его медленно, но замѣтно уходило; кашель сталъ повторяться все чаще и чаще. Литературныя его работы шли тихо; лучшая вещь, написанная имъ за послѣдній періодъ, помѣщена въ журналѣ „Грамотѣй“, и носитъ заглавіе „Аховскій посадъ“. Главнымъ, если не единственнымъ средствомъ къ жизни служило ему въ эти годы изданіе его сочиненій. Съ начала 1875 года онъ началъ быстро худѣть, злобѣщій кашель мучилъ его, и онъ часто жаловался на боль въ груди.

И умереть пришлось ему, какъ умираютъ многіе такіе-же бездомовные и безпріютные странники, закинутые въ чуждальную сторону, какинъ былъ и онъ: въ казенно-черстовой обстановкѣ университетской клиники.

Я не знаю, какіе нужны комментаріи и нужны-ли какіе-бы то ни было, при видѣ этой столь безотрадно-прожитой жизни, для уясненія тѣхъ особенныхъ причинъ, которыя помѣшали молодымъ беллетристамъ, и А. И. Левитову въ томъ числѣ, возвыситься въ развитіи своихъ талантовъ до чего-либо великаго. Впрочемъ, что касается до читателей, не отличающихся особенною быстротою соображенія, я прошу ихъ представить только себѣ общій характеръ жизни всѣхъ предъидущихъ, дореформенныхъ нашихъ поэтовъ и беллетристовъ, и читатели поймутъ тогда, какую диаметрально противоположность представляютъ пореформенные беллетристы. Прежніе наши поэты и беллетристы съ самаго нѣжнаго возраста были окружены всѣми и матеріальными, и умственными благами, способствовавшими къ процвѣтанію и быстрому развитію ихъ талантовъ. Дѣтство ихъ проходило гдѣ-нибудь на лонѣ природы, подъ тѣнистыми садами родимыхъ усадебъ, въ холѣ и нѣгѣ со стороны не чающихъ въ нихъ души родителей, подъ попеченіемъ русскихъ и иностранныхъ пѣстуновъ, причеиъ будущіе украсители русскаго слова начинали свой младенецкій лепетъ по-французски или по-англійски. По большей части случалось такъ, что или отецъ, или мать имѣли большое пристрастіе къ литературѣ, и въ домѣ была масса книгъ, журналовъ, кипсековъ, или гдѣ-нибудь въ углу дома таилась дѣдовская бібліотека, въ которой мирно почивалъ, въ русскомъ заклостѣ, гордый царствомъ разума XVIII-й вѣкъ. Глядишь, мальчикъ шести лѣтъ уже становился къ классическія поэмы и декламировалъ передъ гостями изъ Расина или Корнеля, а 10-ти лѣтъ писалъ стихами цѣлыя поэмы. Затѣмъ, слѣдовали юношескіе годы, университетъ, отвлеченно-философскіе споры и шумныя студенческія попойки, на которыхъ торжественно варилась жонка и весело лилось шампанское... Потомъ начиналась настоящая жизнь, описаніе которой біографы относительно почти каждаго писателя, начинаютъ съ того, что „вырвавшись изъ подъ школьной феруры, NN или ZZ нѣсколько лѣтъ провелъ въ вихрѣ шумныхъ, свѣтскихъ развлеченій“... Затѣмъ, если литературное призваніе преодолевало страсть къ волокитству, кутежамъ и картамъ, то остепенѣвшійся поэтъ заирался въ кабинетъ и имѣлъ возможность предоставить полную волю своему вдохновенію. Ему ничто не мѣшало то или другое произведеніе по нѣскольку разъ переписывать, передѣлывать, работать надъ нимъ мѣсяцы и годы, пока, наконецъ, оно не возводилось въ его глазахъ въ „перлъ творенія“. Въ то-же время, онъ при-мыкалъ къ какому-нибудь литературному кружку, чему-нибудь въ родѣ „Бесѣды любителей русскаго слова“, „Арзамаса“, или позже къ кружку, группировавшемуся вокругъ Бѣлинскаго. И вотъ, не ограничиваясь уединенными бесѣдами съ музой, каждую написанную строчку подвергалъ онъ неоднократнымъ чтеніямъ авторитетнымъ и компетентнымъ друзьямъ, при чемъ слѣдовали взаимныя обсуждения и обсужде-

ніе этихъ обсужденій, совѣты и обсужденія этихъ совѣтовъ, передѣлки и новыя обсужденія этихъ передѣлокъ и т. д. Одинъ литературный ветеранъ добраго стараго времени недавно еще выражалъ по этому поводу удивленіе, сравнивая его время, когда каждая написанная страница чуть не наизусть выучивалась всѣми друзьями и почитателями поэта прежде, чѣмъ отправиться въ типографію, и наше время — когда авторы спѣшатъ сдавать наборщикамъ свои рукописи, не перечитывая ихъ и не дожидаясь даже, чтобы обсохли на нихъ чернила. Но пусть этотъ ветеранъ познакомится съ обстоятельствами жизни А. И. Левитова, и онъ убѣдится, имѣли-ли возможность, какъ онъ, такъ и многіе собраты его (Помяловскій, Рѣшетниковъ, Кусевскій), культивировать, развивать свои таланты и творить такъ, какъ это дѣлали ихъ предшественники? Мы видимъ, что въ самомъ пѣжномъ ихъ дѣтствѣ, подъ свѣтлою родительскихъ домовъ, успѣвали уже внѣдряться въ ихъ сердца задатки унынія и ожесточенія. Ихъ окружали со всѣхъ сторонъ и смущали младенческія души тяжкія хлопоты о насущномъ хлѣбѣ и развѣдающія дразниги нищеты. Случалось, что родители проклинали часъ и день ихъ рожденія, смотря на нихъ, какъ на лишніе, голодные рты, и съ тукманками совали въ эти голодные рты послѣднюю черствую корку хлѣба. Въ родительскихъ домахъ они не только не видѣли ни одной свѣтской книжонки, напротивъ того, встрѣчали ту подозрительность и нерасположеніе къ свѣтской литературѣ, которая до сихъ поръ замѣчается среди народа. Затѣмъ слѣдовала отупляющая семинарская долбня, сопровождаемая рядомъ самыхъ безчеловѣчныхъ истязаній. Затѣмъ, послѣ большихъ мытарствъ и съ громадною тратою молодыхъ силъ, добирался юноша до столицы, но тамъ его встрѣчали голодъ, холодъ и сырость убогихъ каморокъ „снѣбилю“, и безпомощный, не пригрѣтый ни чѣмъ участіемъ, юноша окончательно надламывался. Эта надломленность потомъ производила свое обратное дѣйствіе и парализовала всякую возможность къ дальнѣйшимъ шагамъ его на пути жизни. Являлись опущенность, апатія и полное равнодушіе къ окружающей обстановкѣ. Мало того: укоренялось что-то въ родѣ привычки къ скитальчеству и безпріютности, и послѣднее возводилось во что-то въ родѣ нравственнаго принципа. Такъ, когда юношѣ улыбался какой-либо успѣхъ, являлся хорошей зарплатой и нѣсколько лишнихъ копеекъ въ карманѣ, ему начинало казаться, что онъ сейчасъ-же разлѣзнется, ожирѣетъ, зазнается и забудетъ свое горе и горе тысячи подобныхъ ему; и вотъ, вмѣсто того, чтобы употребить зашедшую въ карманъ лишнюю копейку на улучшеніе своего положенія и средствъ къ дальнѣйшимъ успѣхамъ, онъ спѣшилъ поставить ее ребромъ, отдѣлаться отъ нея, словно она жгла его карманъ и какъ будто въ ней-то именно и лежало все зло и весь ядъ нравственной гибели. Такъ, А. И. Левитовъ, по словамъ многихъ его знавшихъ, начиналъ чувствовать себя словно будто отступникомъ и испытывать муки совѣсти, когда ему приходилось мѣсяцъ-другой проживать не въ какой-либо роскоши, а въ маломальски чистенькомъ номерѣ меблированныхъ комнатъ, которымъ едва удовлетворился-бы студентъ, но,

пожалуй, и побрезговалъ-бы средней руки чиновникъ. У меня вотъ лежитъ на конторкѣ одна ненапечатанная еще нигдѣ рукопись Левитова, поля которой исписаны выдержками изъ русскихъ поэтовъ, особенно приглянувшимися и поразившими Левитова, и на первомъ планѣ красуется слѣдующее мѣсто изъ Лермонтова:

Глушецы! Гдѣ посохъ твой дорожный?  
Возьми его, пускайся вдалѣ.  
Пойдешь-ли ты черезъ пустыню,  
Иль городъ пышный и большой,  
Не обожай ничью святыню,  
Нигдѣ пріютъ себѣ не строй...

Это было, такимъ образомъ, не одна вынужденная обстоятельствами нищета, но возведенная въ принципъ, своего рода подвижничество. Прибавьте ко всему этому, что всѣ беллетристы, о которыхъ мы говоримъ, изъ самаго ранняго возраста выносили пристрастіе къ вину и очень рано начинали пить горькую чашу, и пьянство ихъ представляло изъ себя не одинъ веселый загулъ молодости, а носило тотъ мрачный характеръ питья въ одиночку, какой представляетъ изъ себя такъ часто запой русскаго челоуѣка, и вамъ понятно станеть, можно-ли было и думать объ особенно тщательномъ культивированіи, о развиваніи ихъ поэтическихъ талантовъ. Однимъ словомъ, въ лицѣ этихъ беллетристовъ, представляется ничто иное, какъ нѣсколько выходцевъ изъ степей и различныхъ російскихъ захолустій, наивно-простодушныхъ самоучекъ, которые безхитростно выражали въ своихъ разсказахъ и очеркахъ все, что видѣли, слышали, сами испытывали, все, что волновало, поражало и ожесточало ихъ. Передъ вами самородное и самодѣльное русское искусство, естественно возросшее на чистомъ воздухѣ русской жизни, внѣ всякихъ теплицъ, искусственныхъ орошеній и подогреваній. Поэтому, произведенія этихъ писателей вдвое поучительны въ томъ смыслѣ, что показываютъ вамъ, какое искусство можетъ произростать на настоящей русской почвѣ, сообразно качеству ея и всѣхъ условій произрастанія.

Въ то же время, изъ всего вышеизложеннаго понятно станеть, почему произведенія этихъ беллетристовъ представляютъ изъ себя такой необработанный въ техническомъ отношеніи видъ и хаотическій характеръ. Имѣли-ли возможность эти писатели записывать тщательною обработкою своихъ произведеній и придаваніемъ имъ художественно-совершенныхъ и прекрасныхъ формъ, когда съ одной стороны — въ лицѣ ихъ мы видимъ самоучекъ, не успѣвшихъ даже и познакомиться иногда со всѣми таинствами традиціонной, художественной техники, не только что исполнѣ усвоить ихъ, а съ другой стороны — до того-ли было имъ возводить свои произведенія въ „перлъ созданія“, когда каждую едва написанную строчку приходилось поскорѣе торопиться сбывать на литературный рынокъ, изъ опасенія завтра остаться безъ объѣда! Имъ очень часто некогда было и оканчивать свои произведенія, не только что обрабатывать ихъ. Такъ мы видимъ, что весьма многіе разсказы А. И. Левитова представляются началами, отрывками, эпизодами изъ большихъ работъ, задуманныхъ, но оставшихся невыполненными. Чтобы читателямъ представлялись вполне наглядно причины подобной невыполнен-



ности работъ и отрывочности разсказовъ А. И. Левитова, я считаю нелишнимъ сдѣлать нижеслѣдующую выдержку изъ некролога Нсфедова. Когда въ 1870 году Левитовъ пріѣхалъ изъ Петербурга въ Москву съ цѣлію отправиться далѣе на родину, у него былъ задуманъ романъ подъ заглавіемъ „Сны и факты“ съ эпиграфомъ изъ Некрасова „Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ“, и онъ сообщилъ уже Нсфедову планъ этого романа.

— Первую главу я уже началъ писать, говоритъ Левитовъ. — Поѣду теперь на родину, проживу тамъ и буду продолжать.

«Но, продолжая Нсфедовъ:—видно ужъ такъ на роду было написано, чтобы желанія Левитова никогда не исполнились: злая судьба не переставала надъ нимъ тѣшитья... Въмѣсто родины, ему пришлось остаться въ Москвѣ и поселиться близъ ваганьковскаго кладбища, въ каморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и лилъ сквозъ крышу дождь. Опять жизнь, полная лишений и страданій... Одинъ изъ его друзей перетащилъ его на другую квартиру, на Остоженку. Здѣсь Левитовъ окончилъ первую главу своего романа. Здоровье его ухудшалось; видимо, онъ ужъ началъ сомнѣваться, что не въ силахъ будетъ осуществить планъ. Въмѣсто романа, Левитовъ хотѣлъ написать повѣсть, которая была бы эпизодомъ изъ романа; заглавіе повѣсти онъ далъ: «Говорящая обезьяна». Онъ не окончилъ и этой повѣсти; гнетущая нужда, необходимость дневнаго существованія вынуждали его искать денегъ. Написавши первую главу «Говорящей обезьяны», Левитовъ отослалъ ее въ одну изъ петербургскихъ редакцій и черезъ нѣсколько времени получилъ гонораръ до напечатанія; при этомъ была возвращена и рукопись, такъ какъ не найдено было возможнымъ печатать разсказъ въ такомъ несовершенномъ видѣ».

Вотъ, въ какомъ ужасномъ видѣ представлялось зачастую творчество нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Ну, не смѣшно-ли, въ виду всего этого, претендовать на законченность и совершенство художественныхъ формъ ихъ произведеній?

Вообще, обращая вниманіе на всѣ условія жизни А. И. Левитова, остается удивляться не тому, что онъ преждевременно сошелъ въ могилу, не усѣвъ возвыситься надъ своими первыми разсказами и создать что-либо выдающееся и великое, а напротивъ того, поразительно, какъ онъ могъ все-таки прожить 45 лѣтъ и остаться до своей смерти на высотѣ своихъ „Степныхъ очерковъ“, которые, при всѣхъ ихъ техническихъ недостаткахъ, во всякомъ случаѣ, обличаютъ въ немъ несомнѣнное и весьма недюжинное художественное дарованіе. Это, еще разъ повторяю я, заслуживаетъ большаго удивленія и показываетъ, какими мощными физическими, умственными и нравственными силами обладалъ покойный поэтъ.

#### V.

Познакомившись съ фактами жизни А. И. Левитова, теперь мы обратимся къ его сочиненіямъ. Эти факты жизни выяснили передъ нами обстоятельства и условія, которые дѣйствовали на творчество поэта подобно тому, какъ поздніе весенніе и лѣтніе морозы дѣйствуютъ на всходы хлѣбныхъ, особенно-же нѣжныхъ полуденныхъ растений, несвойственныхъ слишкомъ сѣвернымъ широтамъ, и помѣшали этому твор-

честву развернуться вполне роскошнымъ и богатымъ цвѣтомъ, во всей его красѣ. Теперь мы посмотримъ, какъ тѣ-же самыя обстоятельства обусловили собою характеръ и содержаніе произведеній А. И. Левитова, какъ вполне естественно и органически вытекли образы и мотивы творчества покойнаго поэта изъ фактовъ и условій его жизни. Мы увидимъ, такимъ образомъ, въ лицѣ А. И. Левитова вовсе не одного изъ тѣхъ искусственно-тенденціозныхъ писателей, какими привыкли у насъ представлять себя всѣхъ беллетристовъ этой школы. Подобное представленіе предполагаетъ обыкновенно отсутствіе всякой органической связи между жизнью поэта и образами его произведеній. Онъ можетъ быть богатъ и бѣденъ, счастливъ или несчастливъ, можетъ жить въ какой угодно средѣ общества, пожалуй, хоть въ полномъ затворничествѣ кабинетнаго труженичества, это — рѣшительно все равно: онъ искусственно нанизываетъ въ своихъ произведеніяхъ тѣ факты жизни, какіе внушаетъ ему тенденціозность. Его сердце, можетъ быть, переполнено счастьемъ и блаженствомъ только-что удовлетворенной любви, но долгъ велитъ ему изображать муки и слезы семейнаго раздора, и онъ долженъ во что-бы то ни стало настраивать свои нервы на скорбный ладъ и выжимать изъ глазъ непослушныя слезы; ему тепло и сытно послѣ какого-нибудь лукуловскаго обѣда передъ ярко-горящимъ каминомъ, а ему слѣдуетъ во что-бы то ни стало изображать муки голода и холода непокрытой нищеты. Сочиненія А. И. Левитова въ связи съ обстоятельствами его жизни показываютъ намъ совершенно противное. Мы видимъ, въ лицѣ А. И. Левитова, поэта въ истинномъ смыслѣ этого слова, — который въ каждой строкѣ выражалъ всего себя всецѣло, со всѣми внутренними тайниками своей души, каждая строка котораго была пережита, вымучена не однимъ задѣваніемъ симпатическихъ струнъ его сердца, но и личнымъ, тяжкимъ опытомъ. Однимъ словомъ, передъ нами — вовсе не поэзія гуманнаго сочувствія и состраданія, а поэзія личнаго горя. Въ этомъ отношеніи скорѣе можно усомниться относительно органической связи съ жизнью и непроизвольной непосредственности въ твореніяхъ весьма многихъ нашихъ поэтовъ, считающихся представителями „чистаго искусства“, въ родѣ, напримеръ, Ап. Майкова, Тютчева, Фета и проч., чѣмъ въ произведеніяхъ А. И. Левитова. Можно скорѣе подумать, что какой-нибудь „Клермонтскій соборъ“ Ап. Майкова или „Василій Шибановъ“ гр. А. Толстого суть произведенія искусственно вымышленныя, не имѣющія ни малѣйшей связи ни съ внутреннимъ міромъ поэтовъ, создавшихъ эти произведенія, ни съ внѣшними обстоятельствами ихъ жизни, чѣмъ предположить это относительно любого изъ очерковъ А. И. Левитова.

Стоитъ обратить вниманіе на одну вышность произведеній А. И. Левитова, на форму ихъ, языкъ, приемы автора, „физиономію“ поэзіи его, если можно такъ выразиться, чтобы убѣдиться въ этомъ. Произведенія эти, какъ уже было объ этомъ говорено нами выше, представляютъ рядъ отрывочныхъ, клочковатыхъ, нестройныхъ и по большей части неоконченныхъ очерковъ. Но, собственно говоря, названіе „очерковъ“ не совсѣмъ точно и можетъ дать нѣ-



Сколько ложное понятие о формѣ произведений А. И. Левитова. Подъ очеркомъ разумѣется произведение объективно-эпическое, изображающее тѣ или другія явленія жизни въ общихъ, наиболѣе крупныхъ чертахъ и притомъ касающееся преимущественно внѣшнихъ сторонъ, не заходя глубоко въ сущность изображаемыхъ явленій. Но А. И. Левитовъ былъ слишкомъ субъективный поэтъ для того, чтобы быть способнымъ писать подобнаго рода художественно-созерцательные или тенденціозно-поучительные очерки. Поэтому, если вы захотите въ точности опредѣлить форму произведений его, то вы не найдете иного термина, какъ развѣ „безформенныя лиро-эпическія импровизаціи“! Каждое произведение А. И. Левитова представляетъ изъ себя обыкновенно разноцвѣтный калейдоскопъ образовъ, воспоминаній, мыслей и волеи наболѣвшей души. Все это въ пестромъ хаосѣ тѣснится, словно спѣша и едва поспѣвая другъ за другомъ и смѣняясь съ такою-же капризною произвольностью, какъ смѣняются сны или грезы въ горячечной головѣ. Съ большими обиняками добирается обыкновенно авторъ до главнаго предмета своего повѣствованія, и много ему нужно сначала выпустить переполняющихъ голову образовъ и впечатлѣній, чтобы, наконецъ, добраться. И всѣ эти обиняки дѣлаются безъ всякой предвзятости, съ тою-же произвольностью, съ какою въ головѣ каждаго человѣка одни представленія смѣняются другими, занося его иногда не вѣсть въ какую область. Ему, наприимѣръ, хочется изобразить вамъ горе какого-нибудь сапожника или отставнаго солдата, но начинаетъ онъ рѣчь не иначе, какъ съ самого себя, изображая свою особу въ видѣ бездомнаго горемыки Ивана Сизаго, обычнаго своего псевдонима, и вотъ онъ рассказываетъ, какъ этотъ Иванъ Сизой идетъ поздно ночью по улицамъ какого-нибудь московскаго захолустья, тонетъ въ сугробахъ и разговариваетъ въ хмѣльномъ чаду съ едва мигающими фонарями. И вотъ развертывается передъ вами картина этого хмѣльнаго чада, проносятся образы одни другихъ мрачнѣе, цѣлый рядъ развѣдающихъ думъ, сѣтованій, и вдругъ среди этой страшнѣйшей мглы словно блеснетъ яркій лучъ солнца и развернется передъ вами, въ видѣ воспоминаній дѣтскихъ лѣтъ, степная картина, блестящая яркими красками и отраднымъ, теплымъ колоритомъ, а далѣе—опять мракъ, снѣжные сугробы, свинцовыя грезы бѣлой горячки, а на слѣдующей-же страницѣ передъ вами внезапно раздается молодой, бойкій, раскатистый хохотъ надъ какимъ-нибудь смѣшнымъ движеніемъ или выраженіемъ героя, и вся страница обливается мѣткими, сильнымъ и вѣстѣ съ тѣмъ простодушно-веселымъ юморомъ. Однимъ словомъ, видно, что авторъ никогда не заботился ни о строгомъ планѣ, ни о развѣрахъ и соотвѣтствіи частей своего произведенія, а отдавался всецѣло на волю своей прихотливой фантазіи, не зная заранее, куда она его занесетъ. Фантазія-же эта была живая, пламенная, и вообще можно сказать, что поэзія А. И. Левитова по яркости колорита, по страстности и лиричности, вполне представляетъ изъ себя южный типъ. Это отражается и въ языкѣ А. И. Левитова. Слогъ его своею музыкальностью, пѣвучестью, принимающею въ лирическихъ и патети-

ческихъ мѣстахъ почти стихотворные развѣры, напоминаетъ въ этомъ отношеніи слогъ Гоголя: рѣчь А. И. Левитова представляетъ собою рядъ періодовъ, такихъ-же длинныхъ и закрученныхъ, какъ у Гоголя, и точно также длиннота ихъ, главныхъ образовъ, происходитъ отъ массы картинныхъ и затѣйливыхъ эпитетовъ, метафоръ и уподобленій, которыми до излишества оснащена рѣчь поэта. Въ то же время одною изъ самыхъ рѣзкихъ, бросающихся въ глаза и весьма характеристическихъ особенностей поэзіи А. И. Левитова представляется страсть къ олицетвореніямъ мертвой природы: ни одного очерка не обходится у А. И. Левитова безъ того, чтобы у него не переговаривались между собою или съ героями стулья, столы, диваны, самовары и пр. Такъ, въ одномъ очеркѣ, онъ олицетворяетъ старое бревно, лежавшее у кабака въ одномъ степномъ селѣ, въ образѣ пропившагося, обнищалаго старичонки и заставляетъ это бревно произносить цѣлые монологи о кабаčnýchъ посѣтителяхъ, садившихся на него калѣкать между собою; а подъ конецъ бревно это, возмущившись сценами, происходившими возлѣ кабака, „приподнялось съ земли, гнѣвно засверкало впалыми глазами и заговорило столь грозно, что дорожная пыль отъ говора того яростно кружившимися столбами къ нему взвилась и всего его затуманила“. Въ другомъ-же мѣстѣ своихъ произведеній („Вѣрное средство отъ разоренія“) онъ заставляетъ разговаривать между собою мраморныя статуи на лѣстницѣ одного купеческаго дома въ Москвѣ, и статуи произносятъ цѣлые сатирическіе монологи о грубости и дикости купеческихъ нравовъ и пр. Эта страсть къ олицетвореніямъ, выходящая мѣстами изъ всѣхъ границъ и отягощающая излишними длиннотами рѣчь, и безъ того уже чрезвычайно образную и преисполненную яркихъ метафоръ и уподобленій, суть тоже свойства южнаго типа поэзіи А. И. Левитова.

Но довольно о внѣшней физіономіи поэзіи А. И. Левитова; обратимся теперь къ внутреннему ея характеру и содержанію. Но здѣсь на пути нашемъ стоитъ рядъ ходячихъ предразсудковъ, обойти которые нѣтъ никакой возможности и отъ которыхъ первымъ дѣломъ слѣдуетъ расчистить путь нашей характеристики. Предразсудки эти происходятъ вслѣдствіе отсутствія всякаго твердаго и опредѣленнаго критерія относительно беллетристики народнаго быта. Каждый руководствуется въ этомъ случаѣ своими личными требованіями и вкусами, смотря по тому, какими самъ глазами смотритъ на бытъ народа, насколько ему знакомъ или незнакомъ этотъ бытъ и что въ немъ онъ предполагаетъ или отрицаетъ. Такъ мы видимъ, что одни читатели и судьи вполне удовлетворяются вѣрностью изображенія народнаго быта съ одной внѣшней его стороны, въ духѣ грубаго натурализма. Для нихъ совершенно достаточно, чтобы изображаемые мужики говорили вполне вѣрно по-мужицки, чесали въ затылкѣ пятернею, когда слѣдуетъ, и просили на водку совершенно такъ же точно, какъ это происходитъ въ дѣйствительности. Затѣмъ, если писатель сумѣетъ описать довольно натурально базарный или праздничный день въ селѣ, знаетъ, гдѣ у мужика ле-

жать соха и борона, когда и какъ происходитъ сватовство, какія рѣчи ведутся и какія пѣсни поются на дѣвичникѣ, при этомъ съумѣетъ описать ухаживанье парня за дѣвкой такъ, что оно выйдетъ настоящимъ деревенскимъ ухаживаньемъ, а не облеченнымъ въ мужицкія рѣчи нѣжными изліяніями въ любви салонныхъ селадоновъ, да если еще ко всему этому съумѣетъ ловко ввернуть два-три мѣстныхъ словечка или особенности жаргона, то весьма многіе будутъ готовы видѣть въ авторѣ самаго тонкаго и глубокаго знатока народнаго быта. За то иные подходятъ къ этой беллетристикѣ съ такими страшными по своей необъятности и туманности требованіями, что невольный ужасъ беретъ за бѣдныхъ изобразителей народнаго быта. Людямъ этимъ постоянно мерещится, что гдѣ-то тамъ, въ нѣдрахъ народныхъ массъ, въ самой глубокой глубинѣ народной, словно на морѣ окіянтъ, на островѣ Буянѣ, за тридесатью замками, таится нѣкій кладъ, въ видѣ особеннаго какого-то народнаго міросозерцанія, народныхъ идеаловъ, постиженіе которыхъ и должно будто бы составлять задачу каждаго правоописателя народнаго быта. Народъ, по мнѣнію этихъ господъ, вовсе не проводитъ открыто въ самой жизни этихъ своихъ заветныхъ идеаловъ, а блюдетъ ихъ въ своей душѣ и особенно тщательно скрываетъ ихъ отъ каждаго человѣка, носящаго европейское платье, питая къ такимъ людямъ крайнее недоверіе. Поэтому, самую высшую заслугою и конечною, идеальною цѣлію правоописателя должно представляться умѣнье заслужить полное довѣріе народа, войти въ его душу и успѣть захватить тамъ за хвостъ искомую жаръ-птицу, для того, чтобы вывести ее на свѣтъ Божій въ очеркахъ, повѣстяхъ или романахъ. Такія рѣчи приходилось мнѣ не разъ слышать не отъ однихъ славянофиловъ, но и отъ людей, не имѣющихъ ничего общаго съ этимъ ученіемъ. Это — своего рода мистицизмъ, исканіе чего-то невѣдомаго, особеннаго, фантастически-чудеснаго и желаннаго, но чего именно — искатели сами не могутъ дать себѣ отчета.

Я не говорю, чтобы мы вполне знали народную жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ и разнообразныхъ отношеніяхъ, знали всѣ нужды, желанія народа, всѣ его симпатіи и антипатіи и пр., и чтобы намъ нечего было изучать въ этой области и нечему поучаться въ ней. Напротивъ того, я первый готовъ утверждать, что область эта мало изучена, что мы — большія невѣжды въ ней и что все, сдѣланное до сихъ поръ для этого изученія — капля въ морѣ нашего невѣжества. Но, въ то же время, мнѣ сдается, что изученіе это должно быть настоящимъ, реальнымъ изученіемъ различныхъ народныхъ отношеній, нуждъ и возникающихъ изъ нихъ требованій, а вовсе не мистическимъ исканіемъ нѣкоего клада, который можетъ быть въ одинъ прекрасный день найденъ и открытъ ключемъ довѣрія и проникновенія въ душу простаго человѣка, и затѣмъ должны будто бы послѣдовать сразу различные сліянія, просвѣтленія, возрожденія и т. п. Путемъ науки, рассматривающей жизнь народа въ ея собирательномъ цѣломъ, науки, вооруженной статистическими, экономическими, этнографическими, филологическими, историческими и пр., и пр. данными,

мы можемъ быть раньше или позже дойдемъ до болѣе обстоятельнаго и точнаго знанія народной жизни, чѣмъ какое имѣемъ въ настоящее время, но какими бы безконечнымъ довѣріемъ вы ни пользовались въ кругу простыхъ людей, и хотъ бы, пользуясь этимъ довѣріемъ, вы залѣзли въ души тысячъ мужиковъ на всемъ пространствѣ Россіи, повѣрьте, что, вмѣсто искомыхъ таинственныхъ идеаловъ, вы всегда будете наткнаться на массу конкретныхъ отношеній и дрязгъ жизни, въ хаосѣ которыхъ совсѣмъ потеряетесь, и какъ ни будете копаться въ испытываемыхъ душахъ, ничего въ нихъ не откроете, кромѣ мелочныхъ будничныхъ насущныхъ заботъ о кускѣ хлѣба, о томъ какъ бы свалить съ плечъ недоимку, выгодно сбыть съ рукъ негодную лошаденку, которую въ прошлую ярмарку надулъ барышникъ, прибрать къ рукамъ и поутюжить лѣнливую невѣстку и т. п. — и тщетны будутъ всѣ ваши исканія. Но подите, вразумите въ этомъ нашихъ мистиковъ по части народныхъ идеаловъ: повѣрьте, что какія бы новыя данныя и открытія ни представляла имъ наука въ своемъ изученіи народной жизни, они все будутъ оставаться недовольны; имъ все будетъ казаться, что за этими данными и открытіями таится нѣчто такое, что именно и составляетъ самую суть-то, такъ сказать, пульсъ земли.

Понятно, что подобные господа должны остаться неудовлетворенными и недовольными всѣми беллетристическими произведеніями изъ народнаго быта, какія только когда-либо появлялись въ нашей литературѣ, не исключая даже произведеній и такихъ знатоковъ народной жизни, какъ Рѣшетниковъ, Гл. Успенскій или Левитовъ. Имъ подавай такой рассказъ, въ которомъ на нѣсколькихъ печатныхъ листахъ народная жизнь была бы исчерпана вся до тла, со всѣхъ ея сторонъ, во всей ея глубинѣ и во всей сути народныхъ идеаловъ, и чтобы въ рассказѣ этомъ героями парадировали не какіе-либо Федоръ, Иванъ, Сидоръ, а нѣкій собирательный русскій человѣкъ, въ лицѣ котораго весь народъ предсталъ бы передъ ними, какъ онъ есть до самого нутра. Но замѣтите при этомъ, что еслибы появился такой чудо-рассказъ и сразу избавилъ-бы васъ отъ заботы изученія народнаго быта, предоставивъ вамъ только прочесть его и въ мигъ постигнуть всѣ таинства народныхъ идеаловъ, то мистики наши, все-таки, не удовлетворились бы, имъ все-таки казалось-бы что нѣтъ, это — не то, что народные идеалы, все-таки продолжаютъ скрываться гдѣ-то за тридесатью замками на морѣ-окіянтѣ, на островѣ Буянѣ.

Имѣя въ виду всѣ подобнаго рода требованія отъ рассказовъ изъ народнаго быта, — съ одной стороны, требованія слишкомъ поверхностныя и жалкія по своимъ результатамъ, съ другой — слишкомъ строгія и неисполнимыя, я впередъ заявляю, что произведенія А. И. Левитова стоятъ совершенно внѣ этихъ требованій, не имѣя съ ними ничего общаго. Во все не заботясь о тщательномъ изученіи жизни народной со стороны, А. И. Левитовъ ни мало не заботился и о томъ, чтобы изображать народный бытъ въ его внѣшнихъ проявленіяхъ со всѣхъ возможныхъ сторонъ, во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, и въ то же вре-

мы не имѣлъ онъ въ виду никакихъ мистическихъ проникновеній въ суть народныхъ идеаловъ. Какъ истинный, вполне наивно-непосредственный художникъ, будучи самъ человѣкомъ народа и жившій его жизнью до послѣднихъ своихъ дней, онъ изображалъ въ своихъ произведеніяхъ не всю народную жизнь всецѣло, а только тѣ ея стороны, которыя его занимали, поражали, соответствовали фактамъ его личной жизни и въ слѣдствіе этого наиболѣе возбуждали его творчество.

Такимъ образомъ, въ произведеніяхъ А. И. Левитова мы имѣемъ изображеніе народной жизни только съ нѣкоторыхъ сторонъ, наиболѣе авторомъ излюбленныхъ и заветныхъ, и, согласно законамъ художественнаго творчества, эти стороны народной жизни представляются въ произведеніяхъ А. И. Левитова въ гораздо болѣе рельефномъ, рѣзкомъ, поразительномъ цвѣтѣ, чѣмъ онъ существуетъ въ дѣйствительности, гдѣ онъ ступеньками въ массѣ разнородныхъ, конкретныхъ фактовъ.

## VI.

Какія-же именно стороны народной жизни наиболѣе отразились въ произведеніяхъ А. И. Левитова, и почему онъ именно, а не какія-либо другія? Отвѣтить на этотъ вопросъ было-бы очень легко даже а priori, не читая произведеній этихъ и будучи совсѣмъ съ ними незнакомымъ. Очевидно, что человѣкъ, прожившій жизнь такъ мрачно и безотраднo, какъ прожилъ ее А. И. Левитовъ, вынесшій изъ нея такъ много горя, слезъ и униженій, долженъ невольно обращать вниманіе преимущественно на мрачныя стороны окружающей его жизни, долженъ особенно близко принимать къ сердцу всяческое горе своихъ ближнихъ и чутко отзываться на каждый стонъ людскихъ страданій. И дѣйствительно, это мы и видимъ въ произведеніяхъ А. И. Левитова. Онъ вполне справедливо и весьма жѣтко озаглавилъ одно изъ изданій своихъ сочиненій „Горемъ селъ, деревень и городовъ“. Дѣйствительно, въ лицѣ А. И. Левитова мы видимъ пѣвца народнаго горя и, прибавимъ мы отъ себя, народнаго пьянства, вытекающаго изъ этого горя и сопровождающаго его. Подъ „народнымъ горемъ“, пѣвцомъ котораго является А. И. Левитовъ, слѣдуетъ разумѣть здѣсь не одно какое-либо тенденціозное горе, что-либо въ родѣ „гражданской скорби“ по случаю несправедливостей, исправника или несправедливыхъ поборовъ становаго, но горе вообще во всѣхъ его многообразныхъ видахъ: горе нищеты, семейнаго раздора, горе невѣжества, грубости нравовъ и суевѣрій, горе обманутыхъ ожиданій и неудавшейся жизни, горе безпомощнаго сиротства и безчеловѣчнаго надруганья, ломанья и помыканья всяческой силы надъ всяческой слабостью и пр., и пр. Однимъ словомъ, это—то самое „горе-злосчастіе“, которое народъ воспѣваетъ во множествѣ пѣсенъ и сказокъ, олицетворяя его въ видѣ чудовища, преслѣдующаго людей отъ колыбели до могилы и отъ котораго некуда скорониться добродушному молодцу, ни въ пескахъ сыпучихъ, ни въ лѣсахъ дремучихъ.

Уже „Степные очерки“, этотъ сборникъ первыхъ юношескихъ произведеній автора, являются передъ

нами преисполненными этого горя. Кстати здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что ничто такъ не говоритъ въ пользу полной органичности и непроизвольной естественности произведеній А. И. Левитова, какъ время и обстоятельства жизни, подъ влияніемъ которыхъ они являлись. Такъ, нѣтъ ничего естественнѣе, что наивный степнякъ, возросшій среди простора и раздолья заводскихъ луговъ, подъ теплыми лучами полуденнаго солнца и затѣмъ кинутый судьбою на дальній сѣверъ въ шенкурскую глушь, долженъ былъ, томясь тоскою по родинѣ, съ особенною отрадою и грустью вспоминать родную сторону. Всѣ ея краски должны были ярко воскресать въ его воображеніи, гораздо ярче, чѣмъ еслибы онъ оставался на родинѣ и не покидалъ ея; всѣ малѣйшія подробности ея быта должны были принять радужно-поэтическій, волшебный колоритъ. И, конечно, первыя произведенія поэта въ положеніи А. И. Левитова должны были отразить все это настроеніе и быть посвящены воспоминаніямъ о родномъ краѣ. Такъ, Гоголь, пріѣхавши изъ Малороссіи, во время первыхъ лѣтъ своего одинокаго скитальчества по Петербургу и всякихъ мытарствъ, писалъ „Вечера на хуторѣ близъ Диканки“; такъ и Левитовъ первыя свои произведенія посвятилъ изображенію жизни родного края и написалъ рядъ „Степныхъ очерковъ“. И дѣйствительно, „Степные очерки“, это лучшее произведеніе А. И. Левитова, блестяще особенно яркимъ, поэтическимъ колоритомъ: они изобилуютъ описаніями красотъ степной природы, всѣхъ малѣйшихъ подробностей жизни обитателей степей, всѣхъ ихъ заботъ, хлопотъ, обычаевъ, повѣрій и суевѣрій. Массы личныхъ воспоминаній дѣтства разстланы по всѣмъ очеркамъ. Рѣдкій очеркъ обходится безъ изображенія дѣтей, играющихъ по степнымъ лугамъ и лѣсамъ и живущихъ одною жизнью съ окружающею природою. И въ то же время, каждая мелкая черточка выведена съ горячею, нѣжною любовью и блещетъ слезами надрывающей тоски бобыля, заброшеннаго въ чуждадную сторону.

Но всѣ прелести степной природы и все поэтическое обаяніе воспоминаній беззаботнаго дѣтства не могли заглушить преобладающихъ струнъ поэзіи А. И. Левитова, и въ своихъ „Степныхъ очеркахъ“, какъ и во всѣхъ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ, А. И. Левитовъ является передъ нами все тѣмъ же пѣвцомъ народнаго горя: общее впечатлѣніе, какое выносите вы изъ „Очерковъ“, сводится все къ тому же всеобщему горю, которое одно только и видятъ поэтъ во всей окружающей его жизни.

„Истинно скажу, говоритъ онъ въ своемъ очеркѣ „Уличные картины.—Ребячьи учителя“ (см. „Степ. Очерки“, т. II, стр. 68):—что человѣкъ, которому приведетъ судьба не только что родиться на мягкой почвѣ нашихъ сельскихъ улицъ, но и помѣять много травы этой, бѣгаячи по ней дитей неразумнымъ до тѣхъ поръ, пока придется ему въ послѣдній разъ потягивать гробомъ своимъ ихъ родную ширину, такъ присмотрится къ нимъ человѣкъ этотъ, что и самъ непремѣнно сдѣлается такимъ же молчаливо-печальнымъ, такимъ же покорно-страдающимъ, какими кажутся улицы, потому что во всю его жизнь лишь одно только горе, какъ обозъ какой нескончаемый,

тянулось по нимъ. Родить горе степного человѣка и оно же его, по нашей пословицѣ, въ ранній гробъ кладетъ. Голова у него закружится и глаза ослѣпнутъ отъ слезъ при видѣ страданья, безсмысленно ползущаго по уличной пыли, при видѣ нищеты, пугливо, какъ напуганный звѣрь, сравнившейся съ этой пылью. Смотрить на все это степной человѣкъ каждый день Божій до того, что и на свѣтлое солнышко взглянуть ему некогда, да и нельзя никакъ проглянуть къ нему, потому что настолько заслоняютъ его отъ хорошихъ глазъ пыльные столбы, вздымаемые страданіемъ и нищетою, сколько тѣ громадные, все небо занимающіе клубы, которые вздымаются на нашихъ улицахъ глупая, чванливая, но богатая спѣсь, когда она съ крикливымъ хвастаньемъ, заглушающимъ всякій человѣческій голосъ, валитъ по посадку впереди и вслѣдъ за горемъ страдающимъ и горемъ нищенствующимъ...

Иногда авторъ до такой степени увлекается зрѣлищемъ всеобщаго горя, что ему кажется, будто сама природа, цвѣтущая и роскошная степная природа, въ свою очередь, преисполнена горя, и она выѣстъ съ людьми страдаетъ и стонетъ. Такъ, въ очеркѣ „Степная дорога днемъ“ на 115 страницъ онъ развиваетъ передъ нами слѣдующую картину страданія природы:

«Чувствую я, говорить онъ:—что голову мою начинастъ жечь палящій жаръ степной. Удрученная своею скорбною думою, съ каждымъ шагомъ развивавшаяся все печальнѣе и печальнѣе, она невыразимо страдала: какія-то проклятыя слогались въ ней, какая-то мука тяготѣла надъ нею и не давала ей возможности сообразить, лучъ-ли солнечный билъ въ нее этою мукой, или какое-то смертное томленіе, обыкновенно примѣчаемое въ пустынь, когда солнце заливаетъ ее потоками своего палящаго свѣта, заставляя ее страдать?

«И дѣйствительно, самое равнодушное сердце не могло не биться усиленно при видѣ этой картины одного общаго, всеобщаго, такъ сказать, страданія.

«И, казалось вамъ, тѣмъ тяжелѣе страдала природа, что не было слышно ни одного звука, обыкновеннаго въ этихъ случаяхъ; только одни глаза видѣли во всемъ какую-то удушающую, гнетущую полноту...

«Придорожныя вѣшки, какъ человѣкъ въ неожиданномъ несчастіи, распустили свои запыленные вѣтви и молчаливо стояли будто окаменѣлыя. Десятки птицъ унижали ихъ кривыми сучья. Идете вы и видите, какой-нибудь воронъ, въ другое время чуткій и пугливый, теперь и не думаетъ примѣчать васъ. Выѣхавъ острѣе когти въ древесную кору, раздвинувъ сѣрыя крылья и озадаченно смотреть на васъ, удивляясь, повидимому, вашей охотѣ шататься въ такую мучительную пору. Навстрѣчу вамъ, время отъ времени, пробѣжитъ тонкая, искалѣченная, съ перебитою ногой, собака, съ хвостомъ, волочащимся по землѣ. И въ глазахъ животнаго видна та-же мука. Такъ жалобно посмотрѣла на васъ собака, такъ выразительно замахала хвостомъ, что будто просила васъ помочь какъ-нибудь ей перебитой ногѣ.

«А по обѣимъ сторонамъ степной дороги изъ золотыхъ волнъ ржи мелькаютъ бѣлые рубахи на трудящихся спинахъ людей. Вамъ не видно красныхъ, изможденныхъ лицъ этихъ людей, покрытыхъ потомъ—и лучшемъ!

«И все это какъ-то несприятельно молчитъ молчаніемъ жертвеца, словно по чьему-нибудь строгому запрещенію... Но прихотливы бываютъ дорожныя

думы... Ёдете вы и думаете: что было-бы, если бы все это, не вынесши своей тяжкой боли, вскрикнуло вдругъ?...

Подобные тоскливые мотивы проходятъ сквозь всѣ „Степные очерки“ А. И. Левитова, и мотивамъ этимъ вполне соответствуютъ сюжеты рассказовъ и выводимыя сцены. Повсюду передъ вами, какъ я уже сказалъ выше, льются слезы непокрытой нищеты и горькаго покинутого сиротства, повсюду какая-нибудь безжалостная сила давитъ надъ беззащитной слабостью, и на каждомъ шагу гибнетъ чья-нибудь молодая, только-что разцвѣтающая жизнь. Такимъ образомъ, передъ вами проходитъ рядъ возмутительныхъ, иногда кровавыхъ драмъ, и болѣе всего ужасаетъ и леденитъ ваше сердце то обстоятельство, что далеко не всѣ эти драмы нѣютъ въ основѣ своей какую-бы то ни было роковую, систематическую борьбу: напротивъ того, передъ вами развертывается картина дикаго, чисто средневѣковаго неурядиства, въ которомъ главную роль играютъ то слѣпой и бессмысленный случай, то такіе неоспоримо невинные факторы, какъ суевѣріе, грубость нравовъ и культуры и т. п. При такихъ условіяхъ, вы видите, что въ этой средѣ ничья жизнь, ничье благосостояніе ни въ малѣйшей степени не обезпечены; никто не можетъ поручиться, что завтра-же не грянетъ гроза, если не со стороны злыхъ враговъ въ образѣ людей, то со стороны звѣрей, въ видѣ какого-нибудь волка, который съѣстъ ребенка, и что всего ужаснѣе, что гроза эта разразится неожиданно-негаданно, изъ-за самыхъ, повидимому, дустыхъ и ничтожныхъ поводовъ.

Такъ, прочтите, напримѣръ, очеркъ „Расправу“. Жила-была убогая вдова Козлиха, терпѣла самую горемычную бѣдность и беззащитность, но тянула свой сиротскій вѣкъ кое-какъ, такъ какъ была у нея и хатка, и кое-какое хозяйство, овечекъ даже имѣла. Такимъ образомъ, могла-бы скоротать весь вѣкъ, свыкнувшись съ своей горемычной долей, какъ вдругъ выпалъ такой ничтожный случай, какихъ ежедневно можетъ быть по нѣскольку въ каждой деревнѣ, и посмотрите, что изъ этого случая вышло:

По сосѣдству отъ ея убогой хатки, жилъ богатый и спѣсивый мужикъ Ѳедотъ, воротила всего сельскаго міра. Однажды, когда стадо возвращалось съ поля домой, Козлихина ярочка попала во дворъ Ѳедота. Козлиха обратилась тотчасъ-же къ Ѳедотовой старухѣ съ ласковою просьбою возвратить ей ярочку, но та не тутъ-то было. Слово за слово, поругались старухи, закипѣла брань, а тамъ за каменья, насили мужики розняли. Страя бабочка была прогнана въ три шеи сыновьями Ѳедотихи. Но этимъ не кончилось дѣло. Ѳедотъ созвалъ міръ и началъ щедро угощать его съ цѣлю учинить судъ надъ Козлихою. Упоенный щедростью Ѳедота, міръ мало того, что присудилъ горемычную Козлиху къ розгамъ, но и къ штрафу въ десять рублей, а такъ какъ десяти рублей у нея не было, то вышло вотъ какое окончательное рѣшеніе:

— Знаете вы, православные, обратился къ міру Ѳедотъ: убогая баба Козлиха, вдовая, ни роду, ни племени нѣтъ у нея. Такъ я теперича за избу ея даю пять рублей, за дворъ, и за животину, какая у нея есть, тоже пять рублей. Пусть на міру знаютъ, што

не притѣснитель я какой, не грабитель, а примѣромъ, на убожество ея взираючи, призрѣть хочу. За ее самое, ежели то-ишь присудить вамъ захочется эдакъ, даю десять рублей за посмертную кабалу.

Миръ на томъ и порѣшилъ. Продали Оедоту-же весь домашній скарбъ Козлихинъ и ее самое въ вѣчную ему кабалу, да еще и дивились ея счастію.

Вотъ передъ нами другая столь-же мрачная картина и такая-же ужасная драма, и опять-таки въ ней играетъ роль столь же слѣпой и непредвидѣнный случай (см. „Деревенскій Случай“, т. 2, стр. 28):

Горькая солдатка сидитъ передъ печкою у огня и горюетъ. Живетъ она, правда, въ своей отповской семьѣ, но не радостна жизнь ея: „Весь вѣкъ такъ-то гнусь,—говоритъ она сама съ собою:—а радости-то только и было, когда съ матерью въ дѣвкахъ жила. Да пожалуй, и тогда-то не очень плясала. Голодъ то съ холодомъ изъ избы отъ насъ, сиротъ, никогда не выхаживали. Смотрѣли мы только на другихъ отповскихъ ребятъ, да на ихъ счастье серчали... Вишь вонъ братецъ родимый раститъ себѣ сына-то—вѣтру вольному подуть на него не даетъ. Такъ онъ и всю свою жизнь проживетъ, а мой, горемычный, теперь-то всей семьѣ на потѣху данъ (исхитрились сиротѣ прозвище дать: Безбокинъ, вѣсто крещенаго имени, зовутъ!..); а какъ вырастетъ, на службу за нихъ ступай, по чужимъ сторонамъ свою молодость развѣивай... Какое это счастье людское чудное?—шепотомъ спрашиваетъ страпуха у избяной тишины. — Вонъ мальченка то мой: такъ, вѣдь, онъ тоже, какъ и я, до самой темной могилы не знаючи свѣтлыхъ дней, пойдетъ, потому безъ меня съ нимъ въ нашей избѣ и горевать бы некому было. Вонъ все какіе веселые люди въ этой избѣ безъ насъ-бы жили!“

Говоритъ это горькая солдатка, а сама съ великой досадой на сынишку старшаго брата глядитъ. И между тѣмъ, какъ мать, вся уйдя въ свои скорбныя думы, совсѣмъ упустила изъ виду игру мальчугановъ, вдругъ въ избѣ раздался болѣзненный крикъ:

„— Мамушка!— какъ будто вся эта большая изба закричала.— Онъ меня полыхнулъ...“

Опомнилась мать отъ этого крика, смотритъ, а ея послѣдняя радость лежитъ на полу, вся залитая горячею кровью. Мальчикъ въ красной рубахѣ равнодушно стоялъ надъ зарѣзаннымъ Безбокинъ съ новымъ хлѣбнымъ ножомъ и поучительно растягивалъ:

„— Я, вѣдь, тебѣ толкомъ сказывалъ, что полыхну, коль играть не станешь со мной. Тебѣ все въ медвѣдя хотѣлось!..“

Несчастная мать тотчасъ-же сошла съ ума, и на другой день ее увезли въ городъ, прикованною къ телегѣ.

Хотя въ этой трагедіи и играетъ роль непредвидѣнный случай въ видѣ ножа, подвернувагоса подъ руку ребенку, но не имъ однимъ обусловливается исходъ ея; за этимъ непредвидѣннымъ случаемъ, все-таки, таится здѣсь семейный раздоръ и притѣсненіе, а главное дѣло — сиротская беззащитность женщины, лишенной въ лицѣ взятаго въ солдаты мужа всякой опоры въ своей семьѣ. Но въ очеркахъ встрѣчаются и такого рода трагедіи, которыя лишены всякихъ побудительныхъ причинъ, въ которыхъ неожидан-

но-негаданно является на сцену тяжелый родительскій кулакъ, обрушивается на любимое и лелѣянное дѣтище и губить его, дѣлая на всю жизнь несчастнымъ. Такъ, наприимѣръ, въ очеркѣ „Блаженненькая“ авторъ рисуетъ передъ нами прелестную картину дѣтняго полудня въ степной деревнѣ; всѣ взрослые ушли на страду, остались дома одни дѣти. И вотъ передъ нами мажонькая дѣвочка, одна-одинехонькая, прокрадывается въ свою избу и начинаетъ въ ней хозяйничать. Съ большими трудомъ достаетъ она съ полокъ горшки съ съѣстнымъ, поставленные туда родителями, и начинаетъ уписывать говядину. А между тѣмъ, на сосѣдней завалинѣ какая-то старуха рассказывала дѣтямъ сказку про непослушнаго брата Аленушки, Ванюшу. Заслушался ребенокъ этой сказки и заблѣлъ про говядину.

Въ это время къ воротамъ подѣхала телега. Съ нея соскочилъ мужикъ и пошелъ въ избу. Это былъ отецъ дѣвочки, что-то забывшій дома. Его приѣзда не замѣтила очарованная сказкой шалунья. Только-что вошелъ въ избу сердитый хозяинъ, кошка безмятежно убиравшая украденную говядину, стремглавъ бросилась подъ печку, оставивъ на полу обличающія кости; мухи поднялись черною жужжащею тучей; отъ громкаго прихлопа дверью голуби слетѣли съ избяной пелены; но ничего этого не слыхала дѣвочка. Попржежнему уткнулась она въ окно и напряженно слушала сказку, которая съ каждымъ словомъ становилась все занимательнѣе, а передъ нею стоялъ опустошенный горшокъ, валялись объѣдки ужина уработавшейся семьи. Злость взяла отца.

„— Ахъ, ты каторжная!— крикнулъ онъ на дочь, и съ этимъ словомъ, захваченнымъ съ собою кнутомъ вытянулъ онъ ее вдоль спины.

„— А-а-ахъ! дико раздалось въ избѣ. По тѣлу бѣдняжки пробѣжала дрожь; она, какъ обожженная, вскочила съ лавки и бросилась въ сторону, противуположную той, съ которой постидалъ ударъ. Въ ея прыжкѣ было что-то такое, что болѣе походило на отчаянный прыжокъ подстрѣленного зайца, нежели на прыжокъ ребенка, сознательно увертывающагося отъ наказанія. Она прижалась въ уголъ и безъ обыкновенныхъ въ этомъ случаѣ слезъ и воплей смотрѣла на отца.

„— Што это ты надѣлала, озорница?— спрашивалъ ее отецъ, съ котораго спалъ первый припадокъ гнѣва. Сказывай, што?

Дѣвочка по прежнему молчала и все такъ же смутно, такъ же бессмысленно смотрѣла на него. И на отповскую ласку потомъ ни однимъ звукомъ, ни однимъ движеніемъ не отвѣтилъ бѣдный ребенокъ. Помертвѣвшее смуглое личико, посинѣвшія губы и потухшіе глазки ясно сказали отцу, что дочь его отнынѣ уже ничего разумно не услышитъ, ни на что разумно не отвѣтаетъ.

Такъ и остался ребенокъ на всю жизнь идиотомъ, „блаженненькою“, какъ ее прозвали, на свое собственное и родителей мученіе и на людское посмѣяніе.

Подобный фактъ нѣсколько разъ повторяется въ „Степныхъ очеркахъ“ А. И. Левитова: такъ, одинъ дьячекъ погубилъ сына своего Петрушу за то, что тотъ не удержалъ сдѣланный отцомъ змѣй: схватилъ

онъ его въ охапку, да объ дорогу его, какъ каменья тяжелыми телгами убитому, бросилъ. Оказался мальчикъ послѣ этого случая хромъ и горбатъ, и какъ онъ прежде того еще немножко раскосъ былъ, такъ глазо у него пуше, послѣ отцовскаго наказанія раскосились. Такъ, наконецъ, богатый купецъ на посадѣ Лука Петровичъ „однажды разсердился за что-то на своего единственнаго сына, да какъ паранетъ его по головѣ палкой, тотъ и ополоумѣлъ. А прежде этого несчастія хорошій былъ мальчикъ. Пятнадцать годовъ ему въ то время считали, и торгаша такого сметливаго по хлѣбной части, во всемъ угадѣ найти нельзя было, и грамотѣ зналъ не хуже приходскаго священника, а какъ отецъ паренка по головѣ ошарашилъ, не выдержалъ паренекъ и ополоумѣлъ: ополоумѣвши, блаженничать сталъ. Распустилъ слюни и въ глубокомъ безмолвіи сталъ бродить по селу“.

Вообще, описаніе несчастнаго, забитаго и запуганнаго дѣтства представляетъ одну изъ излюбленныхъ темъ А. И. Левитова, и весьма часто повторяется, какъ въ „Степныхъ очеркахъ“, такъ и во многихъ позднѣйшихъ его разсказахъ, что, безъ сомнѣнія, представляетъ глубокую связь съ его собственнымъ дѣтствомъ. Такъ, въ „Степныхъ очеркахъ“ мы находимъ цѣлый разсказъ „Горбунъ“, посвященный изображенію любви двухъ запуганныхъ дѣтей—Анюты, дочери купца Козакова, и того самаго Петруши, котораго отецъ сдѣлалъ на-вѣки горбатымъ изъ-за змѣя. Разсказъ этотъ принадлежитъ къ числу самыхъ удачныхъ, какъ по своему содержанію, такъ и по своей поэтичности; видно, что авторъ положилъ въ него всю душу. На первыхъ же страницахъ трогаетъ васъ до слезъ высокохудожественная картина забитой мужемъ-тираномъ матери, раздѣляющей съ маленькой своей дочерью общее ихъ горе.

Что касается типовъ, выведенныхъ въ „Степныхъ очеркахъ“, то всѣ они, горемы и печалью взлелѣанные, рѣзко распадаются на двѣ совершенно противоположныя категоріи. Одни изъ нихъ представляютъ людей загнанныхъ, забытыхъ, кроткихъ, терпѣливо выносящихъ всѣ невзгоды, обиды и поношенія. Обезличенные и обездоленные, они съ смиренною покорностью стараются вымолить себѣ у судьбы и у людей право не на счастье, а хоть-бы на самое горемычное существованіе, и одними лишь слезами горючими и стономъ протестуютъ противъ рушащихся на нихъ невзгодъ и поношеній. Таковы знакомые уже намъ Козлиха, солдатка, такова мать Анюты и сама она съ своимъ милымъ горбуномъ-музыкантомъ и пр. Въ противоположность этимъ кроткимъ страдальцамъ рисуется передъ нами рядъ личностей, которыя, подъ вліяніемъ того же горя и тѣхъ же обстоятельствъ, доходятъ до мрачнаго ожесточенія. Это — натуры страстныя, крутыя, хищныя, глубоко сосредоточенныя; за каждую обиду стараются они заплатить вдесятеро, возмущаются, наконецъ, не только противъ всѣхъ людскихъ неправдъ, но и вообще противъ всего человѣчества и падаютъ въ неравной борьбѣ или спиваются въ одиночествѣ понаго отчужденіемъ ото всѣхъ и вся. Наиболее рѣзко и осмысленно проведена параллель между двумя столь противоположными типами въ очеркѣ „Степные выселки“, самомъ обшир-

номъ изъ всѣхъ степныхъ очерковъ, наиболее глубоко задуманномъ и тщательно отдѣланномъ, хотя, къ сожалѣнію, тоже неконченномъ. Здѣсь представляются намъ на первомъ планѣ два типа: типъ Ивана и Петра Крутого, которые, при довольно схожихъ обстоятельствахъ ихъ дѣтства, развились въ два совершенно противоположные человѣка.

Въ „Степныхъ очеркахъ“ вы найдете нѣсколько такого рода гордыхъ и непокорливыхъ личностей, какъ Петръ Крутой. Таковы сапожникъ Шкурланъ со своими шестью сыновьями, защищавшій своихъ односельчанъ отъ обидъ властей и богатыхъ людей, недопускавшій бѣдныхъ парней сдавать неправильно въ рекруты и потомъ, во время войны, добровольно сдавшій въ солдаты всѣхъ своихъ шестерыхъ сыновей и самъ пошедшій съ ними. Таковъ Петруша-художникъ, дьячковъ сынъ (см. Ст. очерки, „Степная дорога ночью“, стр. 52), который не захотѣлъ покориться молодому барину и поклониться ему и захватилъ ему въ физиономію, за что былъ объявленъ сумасшедшимъ и засаженъ въ сумасшедшій домъ. Таковъ Теокритовъ (тамъ-же, „Степная дорога днемъ“, стр. 81), который, подобно автору, шелъ пѣшкомъ въ столицу искать счастья въ наукѣ, возмущенный самодурскими ломаньями и издѣваньями зятя надъ его горемычною сестрою, всадилъ этому зятю ножъ въ сердце и угодилъ, такимъ образомъ, подъ уголовщину. Такова бабушка Маслиха, уличная торговка, поражавшая дѣтей своимъ пѣніемъ псалмовъ и заступавшаяся за несчастныя семинаристовъ, готовая въ глаза вцѣпиться какому-нибудь слишкомъ ужъ безчеловѣчному изъ семинарскихъ воспитателей. Всѣ эти личности, ужьющая не только возмущаться и мстить за личныя обиды, но и стоять за други и братья, представляются передъ нами словно маяками, освѣщающими непроглядный мракъ неумѣщества, притѣсненій съ одной стороны, и приниженности—съ другой; они свидѣтельствуютъ своимъ присутствіемъ въ „Степныхъ очеркахъ“, что не все еще окончательно подавлено въ той средѣ, которая рисуется передъ нами въ очеркахъ А. И. Левитова и, слѣдовательно, не все еще окончательно погребено.

## VII.

Заплативши, такимъ образомъ, дань своей родинѣ и воспѣвши ее въ „Степныхъ очеркахъ“, А. И. Левитовъ выразилъ всѣ дальнѣйшія впечатлѣнія своей скитальческой жизни по меблированнымъ комнатамъ, чердакамъ и подваламъ обѣихъ столицъ въ рядѣ очерковъ, собранныхъ имъ въ изданіи 1875 года подъ заглавіемъ „Жизнь московскихъ закоулковъ“, и ранѣе въ изданіи 1874 года—„Горе сель, дорогъ и городовъ“ (таковы очерки этого изданія: „Безпечальный народъ“, „Петербургскій случай“, „Фигуры и тропы о московской жизни“, „Московскія уличныя картины“, „Шоссейный день“ и проч.). Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ другою категоріею сочиненій А. И. Левитова, рѣзко отличающеюся отъ первой категоріи степныхъ разсказовъ и не имѣющею съ ними ничего общаго. Какъ ни много мрачныхъ красокъ народнаго горя собрано въ „Степныхъ очеркахъ“, но эти мрач-



ныя краски, все-таки, смягчаются нѣсколько съ одной стороны обаяніемъ степной природы, съ другой—присутствіемъ цѣльныхъ, сильныхъ и благихъ характеровъ, на созерцаніи которыхъ отдыхаетъ сердце ваше, измученное зрѣлищемъ горя, слезъ, страданій и изнываній. Въ „Степныхъ очеркахъ“ вы найдете не мало, наконецъ, и такихъ страницъ, въ которыхъ авторъ какъ-бы на время совершенно забываетъ главный предметъ своей поэзіи — изображеніе народнаго горя, увлекаясь то какими-нибудь воспоминаніями о впечатлѣніяхъ дѣтства, то бытовыми подробностями или юмористическими сценами. Когда-же вы приметесь читать „Жизнь московскихъ закоулковъ“, вы должны проговорить про себя извѣстную вамъ надпись на вратахъ Дантова ада: „оставь за собою всякую надежду“. Начать съ того, что, вѣсто юноши, исполненнаго нѣжной тоски по родинѣ, изъ-за каждой страницы выглядываетъ на васъ съ злобной саркастической улыбкою и съ непрерывными проклятіями на устахъ окончательно ожесточенный голякъ, утратившій всякія надежды въ своей неудавшейся жизни. Онъ словно на зло вамъ съ зубовнымъ скрежетомъ спѣшитъ набрасывать картины одна другой мрачнѣе, чудовищнѣе и безнадежнѣе и въ то-же время какъ будто тщеславится передъ вами своею одинокою, безучастною нищетою, своими отрепеніями и своимъ безпробуднымъ пьянствомъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣдкій очеркъ этой категоріи обходится безъ того, чтобы авторъ на первомъ-же планѣ не выставилъ самого себя, голоднымъ, безпріютнымъ, шагающимъ по московскимъ или петербургскимъ улицамъ въ холодъ и непогоду, въ какомъ-нибудь рваномъ пальтишкѣ—и непрѣнно въ кабакъ или изъ кабака.

Какъ на наиболее рѣзкій примѣръ укажу на очеркъ „Грачевку“, начинающійся такимъ образомъ (См. Ж. моск. зах., стр. 146): «Начало весны для человѣка, необходимаго въ драповое пальто на легкой ватной подкладкѣ, необутаго въ крѣпкія калоши—вещь, по общему мнѣнію, далеко неублажающая. Такимъ образомъ было однажды начало весны, а у меня не было драповаго пальто на легкой ватной подкладкѣ и калошъ не было, потому собственно, можетъ быть, что были сапоги, которые, что называется, просили каши. Они, т. е. мои несчастные сапоженки, до того широко разинули свои рты, что какъ будто хотѣли вычерпать всю грязную воду, залившую грязныя улицы. Не знаю, какимъ образомъ не умеръ я въ описываемое время отъ холода первой весенней ночи, и какъ не отвалились у меня ноги, обваренныя рѣжущимъ кипяткомъ натаившей изъ снѣга воды. И такъ, было начало весны. На дворѣ стояла непроглядная ночь, именно та самая ночь, которой можно дать имя ночи любопытствующей, ночи всачески старающейся опредѣлить, что крѣпче на семь свѣтъ есть: дерево-ли фонарныхъ столбовъ, или лбы пѣшеходовъ, несчастные бѣдные лбы, осужденные во время любопытствующихъ ночей стукаться не только объ означенные столбы, но, пожалуй, даже, говоря возвышенною рѣчью, и о холодный гранитъ тротуаровъ. Можете себѣ представить, какъ я благословлялъ эту ночь, шлепая по ея лужамъ, утопая въ ея канавахъ и ежеминутно удовлетворяя ся любопытательностью насчетъ того, такъ сказать, насколько я мѣдно-любенъ. Весеннимъ страницамъ Фета, положительно докладываю, весьма было бы лестно украситься благословеніями, которыя я призывалъ на первую весеннюю ночь».

И далѣе авторъ описываетъ, какъ квартирный хо-

зяинъ выгналъ его за неплатежъ денегъ, какъ тщетно искалъ онъ ночлега у разныхъ своихъ пріятелей, и никто изъ нихъ не принялъ его, на томъ основаніи, что у всѣхъ у нихъ, по случаю рабочаго шабаша въ субботній день ночевали пріятельницы, какъ онъ встрѣтилъ, наконецъ, гдѣ-то на бульварѣ, знакомаго, такого же, какъ и онъ, безпріютнаго ночлежника подъ открытымъ небомъ, и тотъ потащилъ его въ Грачевку, въ какой-то ужасный мазурническій вертепъ.—Мы, сказалъ пріятель,—тамъ на гривенникъ хватимъ самой оглушающей водки и вдобавокъ просидимъ цѣлую ночь бездано, безпошлинно.

„Я, говоритъ авторъ при этомъ:—не буду ѣсть никакого меда, когда меня общають сводить въ какое-либо мѣсто, въ родѣ нехорошевскаго клуба, гдѣ обыкновенно гнѣздятся по ночамъ тѣ ночныя птицы человѣческаго рода, рѣдкое появленіе которыхъ на улицѣ среди бѣлаго дня колеетъ какъ будто свѣтлые глаза Божьему солнцу. Я быстро шагаю за моимъ руководителемъ въ нехорошевскій клубъ, куда меня тянетъ магнетическая надежда на возможное тепло, а въ темной дали яркой путеводною звѣздой блещетъ стаканъ водки, заглушающій человѣческое горе“.

Въ другихъ очеркахъ авторъ съ большими подробностями описываетъ свои возвращенія съ различныхъ попойекъ, какъ онъ брелъ по темнымъ, тускло освѣщеннымъ закоулкамъ московскихъ трущобъ, шатаясь и отуманенный виномъ, разговаривалъ съ фонарями и другими неодушевленными предметами, которые оживали и принимали фантастическія формы, подъ влияніемъ мрачныхъ и гнетущихъ грезъ бѣлой горячки.

Въ этой категоріи очерковъ мы имѣемъ дѣло тоже съ народнымъ горемъ, но куда горю „Степныхъ очерковъ“ сравнятся съ нимъ: это не то горе, которое идетъ размыкаться въ лѣсъ дремучій и тамъ успокоивается на лонѣ ласкающей природы—или разливается въ звучной пѣснѣ на все село, или, наконецъ, находитъ себѣ исходъ въ кельѣ Божьей невесты, послушницы. Это—горе, безвыходно и безучастно задыхающееся въ срадѣ столичныхъ заднихъ дворовъ и сырыхъ подваловъ, горе, стоны и вопли котораго бесслѣдно исчезаютъ, заглушаемые шумомъ и гамомъ столичной суеты, горе, наконецъ, находящее себѣ единственный исходъ въ рядѣ безобразныхъ оргій, сопровождаемыхъ неистовыми взвизгиваніями и бѣшеною пляскою трепака и общемою кровавою потасовкою въ мутномъ чаду похмѣлья. Поэтому, очерки этой категоріи, представляя нескончаемый рядъ мрачныхъ картинъ народныхъ попойекъ и потасовокъ, и являются какъ бы специально посвященными изображенію народнаго пьянства. Ни одного очерка, можно положительно сказать, не обходится безъ описанія какой-нибудь оргіи, въ которой непосредственнымъ участникомъ является и самъ авторъ. Созерцаніе этого пьянства вѣстѣ съ личнымъ участіемъ въ немъ, словно сдѣлалось главнымъ содержаніемъ его жизни и поэзіи. „Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизмъ, говоритъ онъ въ очеркѣ „Крымъ“ (см. Ж. моск. зах., стр. 128):—если вамъ это понравится; но, вѣдь, я зачѣмъ пришелъ въ Крымъ? Я пришелъ въ Крымъ съ тою цѣлью, чтобы смотрѣть цѣлую ночь многораз-



личные виды нашего русского горя; чтобы смотря на эти виды, провести всю ночь въ болѣзненномъ нѣтъ сердца, немогущаго не сочувствовать сценамъ людскаго паденія, чтобы скоротать эту ночь, молчаливо бѣснуясь больною душой, которая видитъ, что и она такъ же гибнетъ, какъ гибнетъ здѣсь столько народа“.

Что касается до выводимыхъ личностей въ этихъ очеркахъ второй категоріи, то въ нихъ вы не найдете уже тѣхъ непосредственныхъ, цѣльныхъ, народно-типическихъ характеровъ, какіе проходятъ передъ вами въ „Степныхъ очеркахъ“. Это все—личности надломленные, переломотыя и стертыя до полной безличности въ мытарствахъ столичной жизни, искаженные иногда до потери всякаго человѣческаго образа и опустившіяся до страшнаго, чудовищнаго разврата. Про А. И. Левитова нельзя въ этомъ отношеніи сказать, чтобы онъ льстилъ народу и идеализировалъ его: онъ изображалъ народъ вполне непосредственно въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представлялся ему, глубоко сочувствуя ему и скорбя за него въ его вынужденномъ обстоятельствами паденіи. Какъ на особенно замѣчательные очерки по изображенію наиболѣе страшныхъ трущобныхъ типовъ и самыхъ сокровенныхъ подонковъ столичныхъ омутовъ слѣдуетъ указать на очерки „Крымъ“, „Грачевка“, „Безпечальный народъ“, „Не съютъ, не жнутъ“, „Шосейный день“.—Всѣ эти очерки обличаютъ въ А. И. Левитовѣ знатока народной жизни въ такихъ ея непроницаемыхъ столичныхъ трущобахъ, куда кромѣ него, не приходилось заглянуть ни одному еще наблюдателю народныхъ нравовъ. Ничего подобнаго этимъ очеркамъ вы не найдете въ нашей литературѣ. Будь эти очерки болѣе тщательно обработаны въ техническомъ, формальномъ отношеніи и не столь растянуты, ихъ можно было-бы причислить къ числу первостепенныхъ произведеній русской литературы, хотя и въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся, они представляются вполне своеобразными и въ высшей степени замѣчательными явленіями ея.

Изъ всего вышеизложеннаго можно заключить, что субъективный элементъ въ очеркахъ второй категоріи присутствуетъ въ огромныхъ размѣрахъ, гораздо большихъ даже, чѣмъ въ „Степныхъ очеркахъ“. Но есть очерки, въ которыхъ этотъ элементъ преобладаетъ вполне и стоитъ на первомъ планѣ. Изъ этихъ вполне субъективныхъ очерковъ особенно замѣчательны тѣ, въ которыхъ авторъ не ограничивается однимъ изображеніемъ народнаго горя, а дѣлаетъ различныя сопоставленія нравовъ и понятій, господствующихъ въ народной средѣ съ разными гуманными и высокими идеалами, выработанными въ авторѣ высшимъ образованіемъ. Подобныя сопоставленія отличаются крайне болѣзненнымъ настроеніемъ, переходящимъ въ мрачное отчаяніе при видѣ того, какъ идеалы автора, такъ или иначе, разбиваются о грубую и грязную дѣйствительность, полную мрака невѣжества. Тоскливые, развѣдающіе мотивы проходятъ сквозъ всѣ очерки А. И. Левитова второй категоріи. Въ этихъ мотивахъ передъ нами ярко выступаетъ, въ лицѣ А. И. Левитова, типъ тѣхъ писателей народниковъ-реалистовъ, которые проявлялись въ нашей литературѣ въ прошлое десятилѣтіе: вы-

шедши изъ народа, вынеси на своихъ плечахъ его страданія и живя до конца своихъ дней непосредственно его жизнью, они не идеализировали народа, не возводили его на пьедесталъ, не искали въ немъ какихъ-либо особенныхъ, невѣдомыхъ міру идеаловъ и считали „неотразимымъ вздоромъ“ туманныя фантазіи народниковъ-мистиковъ предшествовавшаго періода въ родѣ Ап. Григорьева, олицетворенныхъ А. И. Левитовымъ въ типѣ учителя-народника. Это сознание „неотразимаго вздора“ происходило, конечно, изъ того реальнаго опыта, который открылъ имъ всѣ вѣковыя язвы, всю ту вѣковую грязь, которая вѣлѣсь въ народъ подъ вліяніемъ условій жизни его въ теченіи многихъ столѣтій!.. Но дорого стоило имъ это трезвое сознание: увидя народъ не такимъ, какимъ-бы имъ хотѣлось его видѣть и какимъ представляли его предшественники ихъ, они исполнились глубокою, безвыходною скорбью о всѣхъ его язвахъ и страданіяхъ, и, въ то же время, дѣйствительность, представившаяся имъ, совершенно ошеломила ихъ и обезкуражила. Въ уныніи и отчаяніи, опустили они руки, тоскливо восклицая: во что же послѣ этого вѣрить? Къ кому идти? Куда преклонить голову? Что дѣлать?.. И они окончательно спивались, находя единственное утѣшеніе въ забвеніи вина и смерти.

Сочиненія А. И. Левитова въ этомъ отношеніи полезны не тѣмъ только, что раскрываютъ намъ народную жизнь со стороны ея горя, страданій и всѣхъ наросшихъ на народѣ вѣковыхъ сыпей и язвъ. Они вдвойнѣ поучительны должны быть для нашихъ новѣйшихъ народниковъ-мистиковъ, которые снова, подобно ихъ отцамъ и дѣдамъ, подходятъ къ народу съ исканіями невѣдомыхъ міру идеаловъ.—Пусть эти народники-мистики читаютъ сочиненія А. И. Левитова и, съ одной стороны, извлекаютъ изъ нихъ представленіе о народѣ, хотя и одностороннее, но тѣмъ не менѣе, вполне реальное, представленіе челоѣка, который самъ былъ изъ народа и вынесъ на своихъ плечахъ его тяготу; а съ другой стороны, пусть они не забываютъ, что за періодомъ каждаго мечтательнаго и фантастическаго очарованія долженъ слѣдовать періодъ отрезвленія и разочарованія при видѣ суровой дѣйствительности, рушащей воздушные замки. Такъ мы и видимъ, что всѣ наши беллетристы-народники 60-хъ годовъ, Помяловскій, Рѣшетниковъ, А. И. Левитовъ выразили собою моментъ разочарованія въ мистическихъ грезахъ относительно народа ихъ предшественниковъ. Теперь спрашивается: что же дѣлаютъ наши новѣйшіе народники-мистики, снова начавшіе искать въ народѣ различныхъ несказанныхъ идеаловъ, въ родѣ новыхъ деревенскихъ словъ, долженствующихъ посрамить растлѣнный городъ и заткнуть за поясъ европейскую науку, какъ не начинаютъ сызнова пережитую уже нашими отцами исторію фантастическаго очарованія и грозятъ въ грядущемъ новымъ періодомъ разочарованія, унынія, отчаяннаго опусканія рукъ и восклицаній: во-что же вѣрить? куда же дѣться? къ кому идти? что дѣлать?...

Не было ли-бы въ милліонъ разъ благотворнѣе, если бы мы, вмѣсто подобнаго возвращенія къ заблужденіямъ отцовъ, вчитались и вдумались глубже въ сочиненія беллетристовъ-народниковъ 60-хъ годовъ

и взяли бы въ расчетъ дѣйствительность, открывшуюся намъ въ этихъ сочиненіяхъ? А затѣмъ, не останавливаясь на томъ уныніи и отчаяніи, на которомъ остановились эти беллетристы, ободрившись бы, собрались съ силами и занялись бы трезвымъ присканіемъ цѣлительныхъ средствъ для излеченія тѣхъ народныхъ язвъ, которыя намъ показали эти беллетристы. Только въ подобномъ ободреніи и трезвомъ исканіи цѣлительныхъ средствъ можетъ проявиться тотъ новый шагъ впередъ и то желанное „новое слово“, о которомъ мечтаютъ наши народники-мистики.

#### Моя полемика съ пріателемъ по поводу статьи о Левитовѣ.

Въ статьѣ о Левитовѣ я провелъ ту мысль, между прочимъ, что беллетристы-народники 60-хъ годовъ, каковы Левитовъ, Рѣшетниковъ и др., выразили трезвымъ отношеніемъ своимъ къ народу, изъ среды котораго сами они вышли, реакцію противъ той идеализаціи народа, которая была въ ходу въ 50-е годы. Левитовъ даже пересолитъ въ этомъ отношеніи, такъ какъ къ концу своей жизни дошелъ даже до скептицизма и отчаянья въ томъ самомъ народѣ, бытъ котораго изображалъ всю свою жизнь. Въ заключеніе я поставилъ въ примѣръ этихъ беллетристовъ 60-хъ годовъ тѣмъ нашимъ новѣйшимъ народникамъ-мистикамъ, которые снова начинаютъ подходить къ народу съ исканіемъ какихъ-то особенныхъ, невѣдомыхъ міру идеаловъ и рискуютъ снова впасть въ разочарованіе весьма прискорбное и нежелательное.

Пріятеля моего смутили всѣ эти высказанныя мною мысли. Онъ возразилъ мнѣ, что, по его мнѣнію, въ 50-е годы никакой идеализаціи народа не существовало; напротивъ того, на народъ смотрѣли свысока, какъ на чернь непросвѣщенную, и самое многое если пitalи гуманныя сожалѣнія къ его бѣдственнымъ положеніямъ; что беллетристы-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ внѣшней его стороны: это былъ или жанръ, представлявшій народъ въ разныхъ комическихъ проявленіяхъ его невѣжества и пьянства, или лирической вопль о его страданіяхъ—и что наконецъ, только нашему времени принадлежитъ болѣе глубокое и серьезное отношеніе къ народу, стремленіе проникнуть въ его душу и выяснитъ его идеалы. Вотъ противъ подобныхъ взглядовъ моего пріятеля я и желаю сдѣлать нѣсколько возраженій.

Буду возражать въ хронологическомъ порядкѣ, начиная съ 50-хъ годовъ. Я не спорю, что въ 50-е годы, вы можете найти весьма много людей, смотрѣвшихъ на народъ съ тѣмъ высокомерно-презрительнымъ или высокомерно-гуманнымъ взглядомъ, о которомъ говоритъ мой пріятель. Но вѣдь и въ наше время вы могли бы найти не менѣе, если не болѣе людей, продолжающихъ смотрѣть на народъ такимъ же взглядомъ. Я бы могъ представить многочисленныя примѣры отзывовъ о народѣ людей, даже принадлежащихъ къ народной средѣ, въ родѣ того что: „ну, да что вы хотите отъ мужичья“; „мужикъ—мужикомъ

и воняетъ“, и т. п. Но очевидно, что рѣчь идетъ у насъ не о массѣ публики, не о толпѣ, а о верхнихъ теченіяхъ передовой мысли, составляющихъ, такъ сказать, фарватеръ умственнаго движенія даннаго времени. И вотъ, обращаясь къ этому фарватеру, мы видимъ, что не одни славянофилы или народники-мистики въ родѣ Ап. Григорьева, не одни сердобольные ходоки ради собиранія народныхъ пѣсенъ, повѣрій и всевозможныхъ этнографическихъ данныхъ ставили въ 50-хъ годахъ на пьедесталъ народъ и молились ему, то суживая понятіе народа до людей податныхъ сословій, то расширяя его на всѣ сословія въ смыслѣ національныхъ преимуществъ русскаго народа сравнительно съ западными народностями. Вообще во всей литературѣ того времени различныхъ лагерей преобладалъ анализъ, противопоставлявшій нравственныя качества простаго народа качествамъ интеллигентнаго меньшинства: съ одной стороны порицались безхарактерная трапичность, развинченность, изнѣженность, искусственность, любовь къ фразѣ и внѣшней выставкѣ при пустотѣ содержанія интеллигентнаго меньшинства; съ другой—возвеличивались цѣльность, непосредственность, выносливость, простота и прочія качества людей народа. На почвѣ подобнаго анализа воспитались многіе писатели сороковыхъ годовъ—Некрасовъ, Л. Толстой, Ф. Достоевскій, Марко-Вовчокъ, Кохановская, наконецъ и у Островскаго вы найдете тоже стремленіе простотѣ и цѣльности людей народа противопоставить развинченность и искусственность интеллигентнаго слоя. Въ началѣ 50-хъ годовъ подобный анализъ былъ еще довольно смутенъ и неопредѣленъ, но въ концѣ—онъ успѣлъ уже прийти къ довольно яснымъ и опредѣленнымъ даннымъ. Такъ, возьмите вы Добролюбова: главная пружина всѣхъ его критическихъ и публицистическихъ взглядовъ постоянно заключалась въ скептическомъ отношеніи къ различнымъ нравственнымъ качествамъ интеллигентнаго меньшинства и въ сопоставленіи съ ними нравственныхъ качествъ народа. Но не одному Добролюбову принадлежали подобныя воззрѣнія. Въ то время они носились въ воздухѣ. На каждомъ перекресткѣ вы могли слышать фразы, что народъ и любить, и ненавидѣть умѣетъ глубже и сильнѣе чѣмъ мы, что ничего мы не сумѣемъ для него сдѣлать, а онъ самъ можетъ сдѣлать для себя все, что ему нужно.

Я не нахожу ничего худого въ подобныхъ воззрѣніяхъ и, напротивъ того, очень уважаю ихъ, но въ нихъ былъ одинъ недостатокъ: именно неопредѣленность самого понятія „народъ“, которому поклонялись въ то время. Поклонялись именно не столько народу въ его реальной сути, сколько отвлеченному понятію о народѣ, въ которое вкладывали свое собственное содержаніе, рядъ идеальныхъ нравственныхъ качествъ, противопоставляя ихъ недостаткамъ интеллигентныхъ слоевъ; но въ то же время ни мало не заботились объ анализѣ самого народа въ его различныхъ элементахъ,—анализѣ, который могъ бы привести къ убѣжденію, что далеко не всѣ элементы, скрывающіеся въ народѣ, заслуживаютъ поклоненія, а только нѣкоторые, и притомъ такіе, которые вовсе не составляютъ исключительной собственности

одного мужика. Недостатокъ подобнаго анализа и былъ причиною, что одни, какъ напримѣръ Островскій въ нѣкоторыхъ своихъ комедіяхъ („Не въ свои сани не садись“), расширяли понятіе „народъ“ до всѣхъ массъ, не носящихъ нѣмецкаго платья и не помазанныхъ лоскомъ европейской цивилизаціи, и готовы были выставить противъ нравственныхъ недостатковъ интеллигентнаго меньшинства нравственную доблесть московскаго кулака въ родѣ старика Русакова; другіе же суживали до *pes plus ultra* тоже самое понятіе, подразумѣвая подъ нимъ исключительно мужиковъ въ сермягахъ и лаптяхъ, и притомъ такихъ мужиковъ, которые никогда изъ своей деревни не выѣзжали, такъ что какъ попалъ мужикъ въ уѣздный или губернский городъ, — причисленіе его къ средѣ „народа“ дѣлалось уже сомнительнымъ въ ихъ глазахъ, а попалъ мужикъ въ столицу, — конечно: съ него стирались всѣ народныя клейма, и онъ совсѣмъ вычислялся изъ среды народа. Но за то каждая сермяга, не выѣзжавшая изъ своей деревни, была предметомъ слѣпаго и совершенно безразличнаго поклоненія.

Въ 60-е годы все это сразу принимаетъ совершенно иной видъ. На первый планъ выступаетъ писаревщина, которая вполнѣ игнорируетъ народъ, смотритъ на него свысока, какъ на тупое и безмозглое стадо барановъ, и видитъ все спасеніе въ трезвыхъ реалистахъ, Базаровыхъ, углубленныхъ съ сигарами въ зубахъ въ различныя естественнонаучныя изслѣдованія. Рядомъ съ этимъ развивается народная беллетристика, и въ этой беллетристикѣ мы не видимъ уже и слѣда какой-бы то ни было идеализаціи народа. Но было бы совершенно напрасно предполагать, какъ это дѣлаетъ мой пріятель, чтобы беллетристы-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ внѣшнихъ сторонъ, въ смыслѣ чистаго жанра. Правда, были и такіе беллетристы, каковы, напримѣръ, Н. Успенскій, В. Слѣпцовъ и пр., — но развѣ можно сказать это о Рѣшетниковѣ, о Левитовѣ, о Н. И. Наумовѣ и другихъ менѣе замѣчательныхъ и теперь уже забытыхъ? Правда, они не идеализировали народа и не искали въ немъ исключительно однихъ нравственныхъ совершенствъ, но отнюдь нельзя сказать, чтобы они обращали вниманіе на однѣ внѣшнія его стороны или смотрѣли на него свысока: они трезво анализировали народъ, разлагали его на различные элементы, представляли его въ различныхъ видахъ: пьянымъ и трезвымъ, важивающимся и проживающимся, ищущимъ, гдѣ лучше живется, и вѣшающимся съ отчаянія, принижающимся до послѣдней степени самоуниженія и обращающимся въ звѣря въ порывѣ накупившаго ожесточенія и пр., и пр. Этотъ анализъ доводилъ ихъ нерѣдко, какъ уже сказалъ я выше, до свентизма и отчаяннаго отношенія къ народу. У Рѣшетникова, какъ беллетриста непосредственно объективнаго, подобный скептицизмъ не замѣтенъ, но у Левитова, какъ у писателя крайне субъективнаго, онъ часто проявляется въ самомъ рѣзкомъ видѣ. Весьма многіе рассказы Левитова начинаются съ мотивовъ 50-хъ годовъ: авторъ жалуется на искусственность, раздвоенность и лабиринтъ нравственныхъ противорѣчій своихъ интеллигентныхъ пріятелей и бѣжитъ

въ среду народа, мечтая, что тамъ онъ найдетъ „обѣщанное царство благодати“, но при этомъ не забываетъ и себя протернуть въ качествѣ интеллигентнаго человѣка: „Ты куда? говоритъ онъ себѣ: — Зачѣмъ тебѣ къ нимъ? Ты ни любить такъ не умѣешь, какъ они, ни прощать“... Но далѣе затѣмъ это „обѣщанное царство благодати“ изображается въ такомъ ужасномъ видѣ, что, вылетая изъ него стремглавъ, авторъ восклицаетъ въ отчаяніи: „Господи! Куда же я пойду?.. Гдѣ и съ какими людьми я жить смогу?“ Неужели пріятель мой желаетъ во что бы то ни стало игнорировать подобные мотивы рассказовъ Левитова и, несмотря на всю ихъ назойливость, будетъ упорствовать въ своемъ предположеніи, что беллетристы-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ внѣшней стороны съ цѣлью юмора и жанра?

Перехожу теперь къ нашему времени. Въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ литературныхъ и нелитературныхъ слояхъ, снова появились побужденія къ идеализаціи народа, къ отысканію въ немъ различныхъ нравственныхъ идеаловъ въ противоположность недостаткамъ интеллигентныхъ слоевъ. Напрасно въ этомъ отношеніи пріятель мой упрекаетъ меня, что, упоминая въ своей статьѣ о публицистахъ „Недѣли“ съ ихъ пресловутымъ новымъ словомъ деревни, я стрѣляю по разлетѣвшимся воробьямъ, такъ какъ эти публицисты давно уже не появляются на столбахъ „Недѣли“, и журналъ этотъ, повидимому, пересталъ и думать о какихъ бы то ни было новыхъ словахъ. Дѣло тутъ совсѣмъ не въ „Недѣлѣ“ и не въ ея замолчавшихъ публицистахъ. Неужели пріятель мой думаетъ, что публицисты эти были исключительно, случайнымъ, эфемернымъ явленіемъ: появились ни съ того, ни съ сего, и скрылись безъ слѣда? Если бы это было такъ, то стоили ли они возраженія и въ то время, когда статьи ихъ печатались въ „Недѣлѣ“? Но мнѣ кажется, что это не такъ, что за публицистами „Недѣли“ чуетъ въ самой интеллигентной массѣ смутное движеніе въ духѣ тѣхъ идей, которыя публицисты „Недѣли“ высказали на страницахъ этой газеты. Это движеніе задѣло своимъ крыломъ и моего пріятеля, вслѣдствіе чего онъ и вздумалъ предписывать нашему времени проникновеніе въ народные идеалы. Такимъ образомъ, воробьи оказываются вовсе не разлетѣвшимися, и мой пріятель самъ находится въ ихъ стаѣ. Поговоримъ же объ этихъ воробьяхъ.

Подобно тому, какъ не вижу я ничего дурнаго въ поклоненіи народнымъ нравственнымъ идеаламъ въ пятидесятые годы, такъ-же точно я готовъ отнестись съ полнымъ уваженіемъ къ такому-же явленію и въ наше время. Но въ то-же время я не желалъ-бы, чтобы поклоненіе это пошло по той-же дорогѣ, по какой оно шло 20 лѣтъ тому назадъ и отличалось такою-же слѣпотою и неопредѣленностью. Начать съ того, что на первый планъ снова выступаютъ такіе темные и туманные термины какъ *народъ*, *народность* и противопоставляются націонализму. Въ контрастѣ съ націонализмомъ термины эти какъ будто и представляютъ нѣчто опредѣленное, но сами по себѣ они сильно хромаютъ туманностью и неопредѣленностью. Что вы подразумѣваете подъ словомъ *народъ*? Вы мнѣ отвѣ-

тите, конечно: рабочіе слои населенія, мужиковъ, и нарисуете при этомъ нравственный типъ трудового человѣка, прибавивъ къ этому, что онъ вездѣсущъ, не принадлежитъ ни одной какой-либо національности, но встрѣчается повсюду, гдѣ человѣкъ въ потѣ лица зарабатываетъ хлѣбъ свой. Прекрасно. Но вы посмотрите, сколько неточностей въ вашихъ опредѣленіяхъ: съ одной стороны, развѣ всѣ трудящіеся люди принадлежать исключительно къ числу мужиковъ, а съ другой стороны — можно-ли сказать, чтобы всѣ мужики представляли собою нравственные типы людей насущнаго труда? Дѣло въ томъ, что нравственный масштаб далеко не всегда сходится съ масштабомъ политико-экономическимъ или сословнымъ, потому что кромѣ экономическихъ и общественныхъ условій на образованіе нравственныхъ типовъ влияют многія пныя, болѣе частныя и случайныя. Съ политико-экономической точки зрѣнія на весьма многія отрасли труда слѣдуетъ смотрѣть, какъ на непродуцительныя и слѣдовательно вредныя, но люди, занимающіеся этими трудами, тѣмъ не менѣе все-таки могутъ представлять изъ себя вполне тотъ нравственный типъ людей труда, которому вы поклоняетесь, и при этомъ совершенно независимо отъ того, къ какому-бы классу общества они ни принадлежали. У иного мужика, всю жизнь шагающаго за плугомъ, вы найдете въ гораздо большей степени подленькую чиновничью душонку подъ его сержатой, чѣмъ въ иномъ мелкомъ чиновникѣ, который, въ свою очередь, можетъ вполне осуществлять собою нашъ нравственный типъ человѣка труда. Что мнѣ толку въ иномъ вашемъ мужикѣ, если при всей своей мужицкой внѣшности, капляхъ трудового пота на челѣ и рукахъ, покрытыхъ мозолями, онъ только и помышляетъ о томъ, какъ-бы подвернулся ему случай спалать какимъ-либо манеромъ кушникъ, обратиться потомъ въ Дерунова и начать драть шкуру съ своихъ-же братьевъ-сотоварищей по тяжкому труду? Да я грязнаго, развратнаго щеринскаго тапера готовъ уважать въ большей степени, чѣмъ подобнаго вашего мужика. Вообще мужикъ, народъ — это нѣчто весьма сложное и разнхарактерное, чтобы можно было съ нравственной точки зрѣнія подвести его подъ одинъ типъ. А потому не лучше-ли оставить эти неподходящіе термины и замѣнить ихъ болѣе точными и опредѣленными? Такъ, наприимѣръ, гораздо было-бы яснѣе и точнѣе сдѣлать вотъ какіе контрасты: противъ инстинктовъ наживы пусть парадируютъ инстинкты насущнаго труда, въ то-же время противъ инстинктовъ владычества (стремленія возвыситься въ какомъ-бы то ни было отношеніи надъ ближнимъ) — инстинкты братской любви и солидарности. Разъ вы сдѣлаете такіе контрасты и, принявъ ихъ въ соображеніе, взглянете на жизнь, — вы и увидите, что элементы эти борются не только въ такихъ обширныхъ группахъ, каковы обширные слои общества, но и въ самыхъ нѣдрахъ того, что вы называете народомъ, мужиками.

Мой пріятель скажетъ мнѣ, что я хлопочу о пустякахъ, что весь споръ сводится на споръ о терминахъ, о словахъ. Но не пренебрегайте терминами, не играйте словами: отъ нихъ иногда всецѣло зависитъ ясность и точность мысли. Особенно слѣдуетъ опасаться

вливанія новыхъ идей въ старые термины, подъ которыми мысль людей привыкла соединять нѣчто иное, не совсѣмъ подходящее къ вашимъ идеямъ; вы всегда рискуете, что это „нѣчто иное“ прилипнетъ къ вашей идее и потащится за нею ненужнымъ хвостомъ, запутывая и ваши собственные понятія, и понятія вашихъ ближнихъ. Для пріибра того, какъ неточные термины затуманиваютъ головы и ведутъ къ отвлеченнымъ умствованіямъ, повидимому, очень красивымъ и справедливымъ, но тѣмъ не менѣе вполне призрачнымъ, я приведу двѣ выдержки, взятая у двухъ совершенно различныхъ писателей, почти тождественныя по своему содержанию:

Въ повѣсти Златовратскаго „Золотыя сердца“, два молодые человѣка бесѣдуютъ слѣдующимъ образомъ о сближеніи съ народомъ.

— Скажи, Башкировъ, заговорилъ пріятель: — ты хорошо вѣдь знаешь простой народъ?

— Что я знаю? знаю я Петра да Сидора. Вотъ чаво я знаю.

— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучалъ же ты? Вотъ они съ тобой сходятся, тебѣ доверяютъ. Ты, значить, знаешь, чѣмъ можно добиться ихъ довѣренности, чѣмъ разрушить ту стѣну недоверія, которая существуетъ между нами и ими?

— Знаю, протянулъ Ванюшка, хитро улыбувшись.

— Въ чемъ же, въ чемъ штука-то? вскрикнулъ обрадовавшійся юноша: — трудно?

— Нѣтъ, ничего... легко!

— Легко?

— Не сумляйся... легко...

— Ну, такъ въ чемъ же штука-то?

— Штука-то?.. Быть несчастнымъ!

Пріятель отчего-то переконфузился, а Ванюшка сталъ хладнокровно переобувать сапоги и молчалъ.

Въ одномъ изъ фельетоновъ Темкина двое пріятелей бесѣдуютъ о томъ же предметѣ:

— Позвольте, однако, Сицкій; вѣдь вы начали съ того, что вы готовились къ познанію, такъ сказать, народа. А между тѣмъ вы, во-первыхъ, такъ говорите, какъ будто знаете его и теперь ужъ вдоль и поперекъ. А во-вторыхъ...

— Я составилъ себѣ понятіе, перебилъ Сицкій: — если увижу, что оно не полно или вздорно, такъ дополню или брошу...

— А, во-вторыхъ, продолжалъ я; — узнать народъ и учить его — это двѣ разныя вещи. И я все-таки думаю, что для того, чтобы узнать его, особенныхъ приготовленій не требуется. Это всякій можетъ при добромъ желаніи.

— Напрасно вы такъ думаете. Съ чего это мужикъ станетъ ради вашего добраго желанія душу предъ вами раскрывать? Вы должны его уваженіе пріобрѣсти, представиться ему прежде всего дѣльнымъ, стоящимъ человѣкомъ...

— Прежде всего! замѣтите, вы все это еще «во-первыхъ» говорите. Во-первыхъ, знаніе. Ну, хорошо. Значить есть и во-вторыхъ?

— Есть и во-вторыхъ, и въ-третьихъ. Во-вторыхъ, какой нибудь физическій трудъ, мастерство, что нибудь, вообще, какая нибудь умѣлость. Неумѣлость народъ только юродивымъ да блаженнымъ прощаетъ, а въ-третьихъ, подвигъ...

— Какой такой подвигъ?

— Какой подвигъ — это вы изъ исторій можете узнать... и проч.

Все это и справедливо, и несправедливо. Это справедливо по отношенію только къ тѣмъ нѣкоторымъ элементамъ среди народа, которые осуществляютъ со-

бою нравственный типъ инстинктовъ насущнаго труда плюсъ инстинкты братской любви. Но вѣдь не къ одному народу, мужикамъ, а ко всѣмъ людямъ, представляющимъ этотъ нравственный типъ, подходитъ слѣдуетъ такъ, какъ предписываютъ Башкировъ и Сицкій. Очень можетъ быть, чтобы заслужить довѣріе Златовратскаго или Темкина, тоже требуется и быть несчастнымъ, и быть умѣлымъ, и приобрести ихъ уваженіе, и подвигъ? Но вѣдь здѣсь говорится о народѣ вообще, о мужикахъ огуломъ. Позвольте же и поспорить: не ко всякому мужику подойдете вы съ такими качествами; иной, можетъ быть, надъ вашими несчастіемъ-то только посмѣется да поглумится, умѣлость въ васъ способенъ оцѣнить только въ качествѣ

ловкости въ кулачествѣ и хищничествѣ, а за подвигъ-то схватить васъ за шиворотъ, да потащить къ станковому...

Вотъ въ этой необходимости разборчивости, —необходимости, чтобы однородное стремилось къ однородному, соединялось съ подобнымъ и глядѣло въ оба, какъ бы не наскочить на враждебные элементы, —и заключается задача нашего времени. Наша же привычка разсуждать отвлеченными категоріями, употребляя ветхіе и никуда негодные термины, ведетъ только къ невообразимой путаницѣ мысли и горькимъ разочарованіямъ, а порою — и къ тяжкимъ опытамъ въ жизни.



1878—1880.

## НИКОЛАЙ АЛЕКСѢВИЧЪ НЕКРАСОВЪ.

### I.

Николай Алексѣвичъ Некрасовъ принадлежитъ къ помѣщичьему роду Ярославской губерніи, нѣкогда очень богатому, но впоследствии обѣдѣвшему. Отецъ поэта, Алексѣй Сергѣевичъ, служилъ въ арміи и не отличался, повидимому, особеннымъ образованіемъ, судя по слѣдующимъ стихамъ изъ поэмы „Мать“:

Безспорно, онъ приличенъ по манерамъ,  
Природный умъ я замѣчала въ немъ,  
Но нравъ его, привычки, воспитанье...  
Умѣсть-ли онъ имя подписать?

Большую часть своей службы онъ состоялъ въ адъютантскихъ должностяхъ, которыя соединялись съ постоянными разъездами, такъ что Алексѣй Сергѣевичъ очень часто бывалъ то въ Кіевѣ, то въ Одессѣ, то въ Варшавѣ. По однимъ извѣстіямъ, въ Варшавѣ, а по другимъ въ Херсонской губерніи, онъ случайно познакомился съ семействомъ богатаго польскаго магната Андрея Закревскаго и влюбился въ старшую дочь его, Александру Андреевну, которая и съ своей стороны отвѣчала склонности молодого русскаго офицера. Но о согласіи родителей, игравшихъ въ Варшавѣ видную роль, нечего было и думать. Что могло быть общаго между бѣднымъ, едва грамотнымъ армейскимъ офицеромъ и дочерью знатнаго польскаго богача, получившею изысканное образованіе, красавицею, окруженною поклонниками, по богатству и знатности не уступавшими ей родителямъ? Тогда, не долго думая, Алексѣй Сергѣевичъ увезъ свою возлюбленную прямо съ бала и обвѣнчался съ нею по дорогѣ въ свой полкъ. Разгнѣванный тестъ отвергъ свою дочь и не выдалъ ей капитала, назначеннаго ей въ приданое. И вотъ, жизнь изнѣженной и привыкшей къ роскоши польской паниі съ перваго-же дня потонула среди всякаго рода лишеній и дразгъ походной армейской жизни. Пространствовавъ еще нѣсколько лѣтъ съ полкомъ, дослужившись до чина капитана, Алексѣй Сергѣевичъ вышелъ въ отставку и поселился съ семействомъ въ родовомъ своемъ имѣніи

Ярославской губерніи и уѣзда, въ селѣ Грешневѣ, на почтовомъ тракѣ, по Владимірской дорогѣ.

Вотъ какія свѣдѣнія сообщаетъ сестра покойнаго поэта, Анна Алексѣевна Буткевичъ, о состояніи своихъ родителей:

«Сельцо Грешнево, начинавшееся и оканчивавшееся столбами съ надписью столько-то душъ, принадлежавшихъ гг. Некрасовымъ, составляло только небольшую часть родовыхъ нашихъ помѣстій, находившихся, кромѣ Ярославской, еще въ Рязанской, Орловской и Симбирской губерніяхъ. Въ одно время, довольно отдаленное, все имѣніе представляло въ цѣломъ нѣсколько тысячъ душъ. Изъ нихъ прадедъ нашъ (воевода) проигралъ половину; дѣдъ нашъ, штыкъ-юнкеръ въ отставкѣ, проигралъ вторую; отцу нашему проигрывать было нечего, а въ карты играть онъ тоже любилъ. Къ выходу его въ отставку, по случаю раздѣла имѣнія съ братьями, на всѣхъ, т. е. трехъ братьевъ и двухъ сестеръ, оставалось 400 душъ».

Изъ этого сообщенія мы можемъ заключить, что имѣніе родителей Н. А. Некрасова едва-ли превышало 100 душъ. Между тѣмъ семейство Алексѣя Сергѣевича было весьма многочисленно: всего было 13 братьевъ и сестеръ, изъ которыхъ въ живыхъ остались, по смерти поэта, лишь два брата его, Константинъ и Федоръ Алексѣевичи, и одна сестра Анна Алексѣевна. Алексѣй Сергѣевичъ, повидимому, не отличался скопидомствомъ, жизнь велъ разгульную, страстно любя охоту и карты; кромѣ того, имѣлъ какія-то тяжбы по имѣнію, что еще болѣе разстраивало благосостояніе семьи, и послѣдняя становилась не рѣдко въ затруднительное положеніе. Соображая все это, мы можемъ заключить, что если па долю Н. А. Некрасова и досталось кое-что родовое, то это могли быть лишь жалкія крохи.

«Сельцо Грешнево, — сообщаетъ дагѣ сестра поэта:— стоитъ на низовой ярославско-костромской дорогѣ. Трактъ этотъ назывался Владимірскимъ и Сибирскимъ. Барскій домъ выходилъ на самую дорогу, и все, что по ней ѣхало и было видно, начиная съ почтовыхъ троекъ и кончая арестантами, закованными въ цѣпи въ сопровожденіи конвойныхъ, было постоянной пицей нашего дѣтскаго любопыт-

ства. Во всемъ остальномъ Грешневская усадьба ничѣмъ не отличалась отъ обыкновеннаго типа тогдашнихъ помѣщичьихъ усадебъ. Мѣстность ровная, плоская, перерѣзываемая извилистою рѣчкою Самаркою. Передъ нею пастбища, луга, нивы, а позади безконечные дремучіе лѣса, сливающиеся съ горизонтомъ. Не вдалекѣ Волга. Въ самой усадьбѣ болѣе всего замѣчательнъ старый обширный садъ, обнесенный рѣшетчатымъ заборомъ, остатки котораго сохранились донинѣ. Ничего остальнаго нѣтъ и слѣда. Гдѣ стоялъ обширный домъ, тамъ теперь скромное зданіе съ надписью: «Распивночнѣ и на выносъ»—и ничего больше. Самый трактъ, по случаю сильныхъ весеннихъ разливовъ, давно упраздненъ; почтовая гоньба идетъ теперь по другому, высокому берегу Волги, гдѣ въ старое время почта ѣздила только весной, по случаю бездорожьи. Куда какъ глухо тамъ теперь стало. Не вѣрится, что 20 верстъ до Ярославля и 40 до Костромы.

## II.

Николай Алексѣвичъ родился еще во время походной жизни отца, въ 1821 году, 22 ноября, въ Подольской губерніи, въ Винницкомъ уѣздѣ, въ какомъ-то еврейскомъ мѣстечкѣ. Онъ очень рано началъ помнить себя. По крайней мѣрѣ, въ памяти его живо сохранился со всѣми подробностями эпизодъ вступленія въ наслѣдственный пріютъ, между тѣмъ, какъ ему было тогда всего три года.

«Я помню, рассказывалъ онъ впоследствии матери:—какъ мы подъѣхали къ дому, какъ меня взяли на руки; кто-то свѣтилъ, идя впереди, и внесли въ комнату, въ которой былъ на половину снятъ полъ и виднѣлись земля и поперечины. Въ слѣдующей комнатѣ я увидалъ двухъ старушекъ, сидѣвшихъ передъ нагорѣвшей свѣчей, другъ противъ друга, за большимъ столомъ (это были бабушка и тетуська Алексѣя Сергѣевича). Онѣ вязали чулки и обѣ были въ очкахъ.»

Хорошая память всю жизнь составляла одно изъ главныхъ качествъ ума Н. А. Некрасова.

Но не веселыя картины дѣтства сохранились въ этой, такъ рано пробудившейся памяти. Въ нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ Н. А. Некрасовъ даетъ намъ ясное представленіе о впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ имъ изъ родительскаго дома. Такъ, лирическое стихотвореніе: «Родина», всецѣло посвящено печальнымъ воспоминаніямъ дѣтства. Въ поэмѣ «Несчастные» подобныя-же дѣтскія воспоминанія рисуются еще въ болѣе подробныхъ и рѣзкихъ чертахъ.

Для дополненія всѣхъ такихъ нерадостныхъ картинъ слѣдуетъ представить себѣ, что тутъ-же, на глазахъ мальчика, плакала и увядала молодая прекрасная женщина, угнетенная, непригубтая и оскорбленная во всѣхъ своихъ самыхъ заветныхъ чувствахъ и эта женщина была мать несчастнаго ребенка. Вышедшая изъ болѣе цивилизованной среды и получившая блестящее образованіе, она, конечно, была лучомъ свѣта среди того непрогляднаго мрака, какой окружалъ дѣтство Н. А. Некрасова. Вліяніе ея на дѣтей было, конечно, громадно и нужно-ли прибавлять, въ высшей степени благотворно. Не даромъ Н. А. Некрасовъ такъ часто вспоминалъ ее въ своихъ стихотвореніяхъ и постоянно относился къ ней съ страстнымъ благоговѣніемъ, какъ къ своему ангелу-

хранителю, которому онъ обязанъ всѣмъ, что только было въ немъ святаго и хорошаго:

И если я легко страхнулъ съ годами  
Съ души моей тлетворные слѣды,  
Поправшей все разумное ногами,  
Гордившейся невѣжествомъ среды,  
И если я наполнилъ жизнь борьбою  
За идеалъ добра и красоты,  
И носить пѣснь, слагаемая мною,  
Живой любви глубокия черты,—  
О, мать моя, подвигнуть я тобою!  
Во мнѣ спасла живую душу ты!

Если мы возьмемъ въ расчетъ сильное, неотразимое нравственное вліяніе, какое оказывала мать на своего сына и которое, безъ сомнѣнія, еще болѣе усиливало привязанность его къ ней, то можно себѣ представить, что долженъ былъ чувствовать несчастный мальчикъ при видѣ слезъ и рыданій этого прекраснаго существа, всѣхъ тѣхъ униженій и оскорбленій, какія она безропотно переносила, наконецъ, холодности и измѣны со стороны общаго тирана. Какое мрачное, ѣдкое, непримиримое ожесточеніе на всю жизнь долженъ былъ вынести юноша изъ всего этого ада кровопития! А что слова поэта представляютъ въ поэмѣ: «Мать» не вымышленныя, а живыя черты, непосредственно относящіяся къ его личной жизни, въ этомъ можетъ убѣдить насъ свидѣтельство Ф. М. Достоевскаго, знавшаго Н. А. Некрасова въ эпоху его молодости и передающаго о немъ слѣдующее воспоминаніе («Дневникъ писателя», № 12, 1877 г.):

«Лично мы сходились мало и рѣдко,—говоритъ Достоевскій,—и лишь однажды вполнѣ съ беззавѣтнымъ, горячимъ чувствомъ, именно—въ самомъ началѣ нашего знакомства, въ сорокъ пятомъ году, въ эпоху «Вѣднхъ людей». Тогда было между нами нѣсколько мгновеній, въ которыя, разъ на всегда, обрисовался передо мною этотъ загадочный чело-вѣкъ самой существенной и самой затѣнной стороной своего духа. Это, именно, какъ мнѣ разомъ почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта-то никогда не зажившая рана его и была началомъ и источникомъ всей страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ жизнь. Онъ говорилъ мнѣ тогда со слезами о своемъ дѣтствѣ, о безобразной жизни, которая измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери—а то, какъ говорилъ онъ о своей матери, та сила умленія, съ которою онъ вспоминалъ о ней, рождали уже и тогда предчувствіе, что если будетъ что-нибудь святое въ его жизни, то такое, что могло бы спасти его и послужить ему маякомъ, путевой звѣздой даже въ самыя темныя и роковыя мгновенія судьбы его, то ужъ, конечно, лишь одно это первоначальное дѣтское впечатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій вмѣстѣ, обнявшись гдѣ-нибудь украдкой, чтобъ не видали (какъ рассказывалъ онъ мнѣ) съ мученицей-матерью, съ существомъ, столь любившимъ его. Я думаю, что ни одна потомъ привязанность въ жизни его не могла-бы такъ-же, какъ эта, повліять и властительно подѣйствовать на волю и на инныя темныя неудержимыя влеченія его духа, преслѣдовавшія его всю жизнь.»

Въ дореформенной помѣщичьей жизни мы встрѣчаемъ многочисленные примѣры, что дѣти, воспитавшіяся при такихъ обстоятельствахъ, при какихъ воспитывался Н. А. Некрасовъ, въ первые-же годы дѣтства получали стремленіе сближаться съ народомъ. Естественно, что ничто такъ не сближаетъ людей, какъ общій гнетъ или общее горе. Отъ шума и содо-



на грязныхъ оргіи и дикихъ порывовъ необузданнаго гнѣва—малютки убѣгали въ дѣвичьи, въ людскіе флигеля, а не то и въ деревню, если она была по близости отъ усадьбы. Тамъ они находили свои дѣтскія привязанности среди простаго народа, страдали за нихъ и съ ними, плакали и заступались за своихъ любимцевъ. То-же самое, безъ сомнѣнія, было и съ Н. А. Некрасовымъ, какъ онъ свидѣтельствуетъ объ этомъ въ своемъ стихотвореніи „Родина“:

Но помню я: адѣсь что-то всёхъ давило,  
Здѣсь въ маломъ и большомъ тоскливо сердце  
Я къ нянѣ убѣгалъ... нило,

«За нашимъ садомъ,—сообщаетъ объ этомъ предметѣ сестра покойнаго поэта,—непосредственно начинались крестьянскія избы. Я помню, что это со-сѣдство было постояннымъ огорченіемъ для нашей матери: толпа ребятишекъ, нарочно избивавшая для своихъ игръ мѣсто возлѣ рѣшетки усадебнаго сада, какъ магнитъ притягивала туда брата; никакія преслѣдованія не помогали. Впослѣдствіи онъ продѣлалъ лазейку и при каждомъ удобномъ случаѣ вы-лѣзалъ къ нимъ въ деревню, принималъ участіе въ ихъ играхъ, которыя нерѣдко оканчивались общей дракой. Иногда высмотрѣвъ, когда отецъ уходилъ въ мастерскую, гдѣ доморощенный столяръ Баталинъ изготовлялъ незатѣйливую мебель, братъ зазывалъ къ себѣ своихъ пріятелей. Бѣловолосыя головы одна за другою пролѣзали въ садъ, разсыпались по алле-ямъ и начинали безразличное опустошеніе отъ цвѣ-товъ до зеленой смородины и пр. Заслыша гамъ, старуха-нянька, приноровившаяся выжидать «по-стрѣловъ», трусила съ другаго конца сада крича: «баринъ, баринъ идетъ». Спугнутые ребята броса-лись опрометью къ своей лазейкѣ. Впослѣдствіи, когда братъ уже былъ въ гимназій и пріѣзжалъ въ деревню на каникулы, сношенія съ пріятелями воз-обновлялись: онъ пропадалъ по цѣлымъ днямъ, бро-дилъ съ ними по лѣсамъ или отправлялся на рѣку удить рыбу. Еще позднѣе, когда онъ пріѣзжалъ уже изъ Петербурга (съ 1844 г.), тѣ же пріятели возили его въ своихъ незатѣйливыхъ экипажахъ на охоту».

Въ то-же самое время, какъ было уже говорено выше, передъ окошками родительской усадьбы по-стоянно мелькали сцены изъ народной жизни весьма мрачнаго характера: бурлаки, охая и крехтя, тянули свои лямки, оглашая окрестность своими заунывными пѣснями; по дорогѣ проходили, звеня цѣпами, этапы съ картонщиками. Одно время отецъ Некрасова былъ исправникомъ и любилъ часто, скуки ради, брать сына въ разѣзды по дѣламъ службы. Такимъ обра-зомъ, мальчикъ 12—13 лѣтъ присутствовалъ при разныхъ сценахъ народной жизни, иногда очень пе-чальныхъ и раздирающихъ душу, при уголовныхъ слѣдствіяхъ, при вскрытіи труновъ и кулачныхъ рас-правахъ въ духъ прежняго времени. Все это и само по себѣ должно было тяжело дѣйствовать на воспри-имчивые нервы мальчика, но это дѣйствіе, конечно, было еще сильнѣе на ребенка несчастнаго и угнетенна-го, ребенка, который самъ дрожалъ, какъ осиноый листъ, смотря, какъ въ ногахъ у его отца валялся, прося помилованія, какой-нибудь провинившійся му-жикъ, весь въ грязи и крови. Понятно послѣ того, что въ то время, какъ заунывные пѣсни и жалобы бурлаковъ бесслѣдно пронеслись мимо ушей не одно-го изъ нашихъ поэтовъ, подобно Некрасову провед-шихъ дѣтство на Волгѣ, на послѣдняго они произве-ли потрясающее впечатлѣніе, о которомъ онъ свидѣ-тельствуетъ намъ въ другой своей поэзіи: „На Волгѣ“.

### III.

Началомъ своего умственнаго развитія Некрасовъ былъ обязанъ, опять-таки, конечно, матери:

Та блѣдная рука, ласкавшая меня,  
Когда у догорающаго огня  
Въ младенствѣ я сживалъ съ тобою,  
Мнѣ въ сумерки мерещилась порою,  
И голосъ твой мнѣ слышался въ потьмахъ,  
Неполненный мелодіи и ласки,  
Которымъ ты мнѣ сказывала сказки  
О рыцаряхъ, монахахъ, короляхъ.  
Потомъ, когда читалъ я Данта и Шекспира,  
Казалось, я встрѣчалъ знакомыя черты:  
То образы изъ ихъ живого міра  
Въ моемъ умѣ напечатлѣла ты.  
И сталъ я понимать, гдѣ мысль твоя блуждала,  
Гдѣ ты душой, страдалица, жила,  
Когда кругомъ насилье ликовало,  
И стая псовъ на псарнѣ завывала,  
И выюга въ окна била и мела!

Рано, съ семилѣтняго возраста, началъ мальчикъ писать стихи, и у матери его сохранялись первыя его безсвязныя младенческія вирши, начинавшіяся такъ:

Любезна маменька, примите  
Сей слабый трудъ  
И разсмотрите,  
Годится-ли куда нибудь.

Впослѣдствіи онъ читалъ все безъ разбора, что попадалось въ руки, и, по собственнымъ словамъ его, „что прочтаетъ, тому и подражаетъ“. Такимъ обра-зомъ, къ 15-ти годамъ составила у него уже цѣ-лая тетрадь, съ которой онъ и уѣхалъ въ Петербургъ.

Что-же касается первоначальнаго обученія, то имъ занимались съ дѣтми наемные учителя изъ яро-славскихъ семинаристовъ, а въ 1832 году Н. А. Не-красовъ былъ опредѣленъ въ ярославскую гимназію. Изъ подъ суроваго гнета родительскаго дома один-надцатилѣтній мальчикъ попалъ вдругъ на безгра-ничную свободу почти вполне самостоятельной жиз-ни: онъ поступилъ въ гимназію приходящимъ, а для жительства ему съ братомъ была нанята отдѣльная квартира въ городѣ, и къ нимъ приставленъ былъ для прислуживанія и надзора крѣпостной человѣкъ, причемъ, конечно, праздники и каникулы братья про-водили дома, въ деревнѣ.

Такой внезапный переходъ отъ строгости домаш-ней ферулы къ безграничной свободѣ, при отсутствіи всякаго разумнаго надзора и попеченія за дѣтми, самъ по себѣ не представлялъ ничего утѣшительнаго. Но зло еще увеличивалось недобросовѣстностью дядь-ки. Ему полагалось на содержаніе, какъ себя, такъ и дѣтей, по 50 копѣекъ въ сутки, и деньги сдава-лись ему на руки, но онъ 20 копѣекъ удерживалъ себѣ и тратилъ ихъ на выпивку, просиживая по цѣ-лымъ днямъ въ кабацѣ, а тридцать копѣекъ отдавалъ дѣтямъ, предоставляя имъ кормиться на нихъ, гдѣ и какъ угодно. Они не отставали отъ своего пестуна и въ свою очередь шатались по трактирамъ.

Квартира Некрасовыхъ сдѣлалась притономъ вся-каго рода гимназическихъ шалостей, сначала дѣт-скихъ, а потомъ уже и не дѣтскихъ. Ученіе шло при этомъ, разумѣется, не завидно. Особенно не дава-лись Н. А. Некрасову древніе языки. Однакожъ, все-

такъ въ теченіи шести лѣтъ онъ дотянулъ кое-какъ до 5-го класса. По всей вѣроятности, онъ прошелъ бы и весь курсъ, но, къ несчастію, пришлись весьма натянутыя отношенія къ начальству. Продолжая неуклонно писать стихи, Н. А. Некрасовъ, между прочимъ, написалъ нѣсколько шуточныхъ и скабрзныхъ сатиръ на товарищей и на гимназическое начальство. Сатиры эти съ восторгомъ читались и заучивались наизусть товарищами, но когда, наконецъ, дошли онъ до начальства, оставаться долѣе въ гимназій было немислимо.

## IV.

Въ одно время съ этимъ преждевременнымъ выходомъ изъ гимназій произошло событіе, произведшее на юношу не менѣе потрясающее впечатлѣніе: это была смерть любимого брата Андрея, первая потеря близкаго человѣка. По словамъ сестры Николая Алексѣевича, эта потеря произвела сильный нравственный переворотъ въ юношѣ; онъ словно очнулся отъ той распушенности, въ какой провелъ свои гимназическіе годы, впервые серьезно задумался о своей участи. Подобныя размышленія, конечно, еще болѣе обострились тѣмъ опальнымъ положеніемъ, какое испытываетъ въ родительскомъ домѣ юноша, исключенный изъ училища. Отецъ Некрасова, послѣ неудачи сына въ гимназій, рѣшился послать его доканчивать ученіе въ Петербургъ въ дворянскій полкъ (одинъ изъ тогдашнихъ корпусовъ, бывшій на Петербургской сторонѣ). Этимъ исполнялось всегдашнее желаніе его, чтобы сыръ шелъ по его пути въ военную службу. И вотъ, съ родительскимъ письмомъ отъ пріятеля отца, ярославскаго прокурора Полозова, къ начальнику III округа корпуса жандармовъ, генералу Полозову, и вмѣстѣ съ тѣмъ, съ тетрадкою стиховъ, отправился 15-ти-лѣтній мальчикъ одинъ одиноконекъ, скудно снабженный матеріальными средствами, изъ деревенской глуши въ омутъ столичной жизни. Въ которомъ это было году, объ этомъ существуютъ разнорѣчивыя извѣстія. Такъ, въ краткой біографіи, приложенной къ изданію стихотвореній Н. А. Некрасова, „Русская Библіотека“, вып. VII, и написанной со словъ Н. А. Некрасова, означенъ 1839 г. Между тѣмъ, по сообщенію сестры покойнаго, онъ отправился въ Петербургъ 20-го іюля 1838 года, полгода спустя послѣ смерти любимого брата, и везъ съ собою тетрадку стиховъ. Самъ-же Николай Алексѣевичъ, не разъ и при многихъ свидѣтеляхъ, говорилъ, что онъ прибылъ въ Петербургъ въ 1837 году, именно, въ годъ смерти Пушкина. Это послѣднее извѣстіе согласуется и съ разсказами Некрасова о первыхъ своихъ мытарствахъ въ Петербургѣ, причемъ онъ представлялъ себя во время этихъ мытарствъ 15-ти-лѣтнимъ мальчикомъ; въ 1839 же году ему было уже 17 лѣтъ.

## V.

Во всякомъ случаѣ, время, въ которое Н. А. Некрасовъ прибылъ въ столицу, принадлежитъ къ числу самыхъ печальныхъ, какъ въ русской жизни, вообще, такъ въ литературѣ въ особенности. Жизнь, ка-

залось, совершенно замерла и околѣбла. Ни малѣйшаго просвѣта въ будущемъ, ни тѣни какого-либо движенія въ настоящемъ. Разъединенность, мелкость интересовъ, скука и апатія безусловно царствовали во всѣхъ слояхъ общества. Только въ Москвѣ шевелилось въ тиши кое-что, похожее на нѣкоторое умственное броженіе, въ отвлеченныхъ сферахъ метафизики. Тамъ слагались новыя философско-литературныя партіи, готовыя лѣтъ черезъ пять выступить на состязаніе, воспитывались и развивались новыя, могучія силы. Петербургъ-же представлялъ изъ себя полнѣйшую „мерзость заустѣнія“, совершенно согласно съ слѣдующимъ началомъ одного малозвѣстнаго стихотворенія Н. А. Некрасова:

Въ то время пусто и мертво  
Въ литературѣ нашей было.  
Скончался Пушкинъ—безъ него  
Любовь къ ней въ публикѣ остыла.  
Ничья могучая рука  
Ея не направляла къ цѣли,  
Лишь два задорныхъ поляка  
На первомъ планѣ въ ней шумѣли.

Это была эпоха триумвирата Сенковского, Греча и Булгарина, которые безусловно царили въ петербургской прессѣ, раздавали вѣнки на славу и безсмертіе своимъ приверженцамъ и кліентамъ, и глумились свысока надъ такими дорогими русскими именами, какъ Гоголь и Лермонтовъ. Полевой въ это время не тревожилъ уже молодая сердца задоромъ романтическаго свободомыслія. „Телеграфъ“ давно былъ закрытъ, и издатель его мыкался по петербургскимъ редакціямъ и книжнымъ лавкамъ, унижаясь до кумовства съ вышепоименованными триумвирами, и подлаживаясь подъ господствующій въ литературѣ ихъ камертонъ, порицалъ Гоголя, ставилъ на сцену патріотическія драмы и издавалъ спекулятивныя книжонки, помышляя лишь о прокормленіи семейства. Вѣлинскій былъ извѣстенъ въ этой литературѣ, какъ недоучившійся мальчишка, задорный московскій крикунъ, раздражающійся гегелевскими цитатами съ чужого голоса, и надъ нимъ тоже глумились свысока. Его звѣзда только что восходила. Онъ сотрудничалъ еще въ жалкихъ, едва влчившихъ свое существованіе московскихъ журнальцахъ и къ тому же былъ увлеченъ въ то время правымъ лагеремъ гегелизма, что въ сильной степени затѣняло его природное, гениальное, критическое чутье. Литературныя свѣтила первой величины, Жуковский, Лермонтовъ — чуждались литературныхъ кружковъ и пребывали въ великосвѣтскихъ и придворныхъ сферахъ. Гоголь, только-что замышлявшій „Мертвыя души“, бѣжалъ за границу, смущенный и разочарованный тѣми враждебными толками, какіе возбудилъ въ полубразованномъ обществѣ его „Ревизоръ“; онъ былъ уже исполненъ мистицизма и объять той душевной болѣзью, которая разрушила его талантъ и свела его въ преждевременную могилу. Литературныя кружки состояли изъ посредственностей, вродѣ Кукольника, Воейкова, Р. Зотова, Тимофѣева, Бернета, Межевича и т. п., которые воображали себя гениями и, въ напыщенномъ самолюбіи, то ублажали другъ друга грубою лестью, то грызлись, осыпая другъ друга оскорбительными колкостями и бранью устно и печатно. Въ то же время, на

первою планъ въ литературѣ господствовала спекуляція. Это былъ вѣкъ необузданнаго литературнаго ажіотажа, когда впервые люди вполне ясно сознали, что литература не есть одно безкорыстное служеніе музамъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и коммерческое дѣло, при удачномъ веденіи котораго можно наживаться. И вотъ, различнаго рода литературныхъ дѣлъ мастера и лавочники, люди безъ всякихъ убѣжденій, безъ знанія дѣла, иногда и съ весьма покладливою совѣстью, съ алчностью ухватились за эту сторону литературной промышленности—и духъ спекуляціи всецѣло воцарился въ петербургской литературѣ, заразивъ даже и такія когда-то почтенныя личности, какъ Н. А. Полевой. Въ печати духъ этотъ выразился цѣлымъ рядомъ эфемерныхъ изданій, въ родѣ „Панорамы С.-Петербурга“ Башуцкаго, „Энциклопедическаго лексикона“ Плюшара, „Утренней зари“ Владиславева, массы всякаго рода альманаховъ, сборниковъ и лубочныхъ, на скорую руку состряпанныхъ изданій для полубразованнаго класса, исторій великихъ людей, сказокъ, иностранныхъ романовъ скабрзнаго содержанія и т. п. Еще болѣе усилился этотъ спекулятивный духъ, когда перестали разрѣшать основаніе новыхъ журналовъ; тогда существовавшіе журналы стали перепродаваться за значительныя суммы. Нѣкоторые изъ немногихъ, имѣвшихъ привилегіи на изданіе журналовъ, и кое-какъ издававшіе ихъ—довольно воспользовались этимъ и перепродавали ихъ, дѣлая, такимъ образомъ, очень хорошія спекуляціи. И въ этомъ-то омутѣ пришлось провести Н. А. Некрасову первые самые нѣжные и впечатлительные годы своей юности. Очень можетъ быть, что этой школою онъ былъ обязанъ и той литературно-промышленной практичностью, какая развилась въ немъ ко времени знакомства съ Бѣлинскимъ. Юный, 16-ти-лѣтній литературный работникъ, какъ волъ трудившійся ради скуднаго заработка, вмѣсто правильнаго развитія въ разумномъ кружкѣ, въ духѣ тѣхъ или другихъ идей, только и слышалъ, что одни спекулятивно-копѣчные расчеты; вокругъ него то и дѣло раздувались и лопались литературно-коммерческія предпріятія—и долгое время, цѣлые годы, литературное дѣло было обращено къ нему, преимущественно, своею матеріально-промышленною стороною.

## VI.

Въ первые дни по прибытіи въ Петербургъ, Некрасовъ не покидалъ еще намѣренія поступить въ дворянскій полкъ, явился къ Полозову съ рекомендательнымъ письмомъ, былъ имъ представленъ Я. И. Ростовцову, и дѣло было почти рѣшено. Но случайная встрѣча съ ярославскимъ товарищемъ, студентомъ Андреемъ Глушицкимъ, перерѣшила всю судьбу юноши. Глушицкій вмѣстѣ съ двумя другими студентами, Ильенковымъ и Коссовымъ (впослѣдствіи извѣстными учеными технологами и заслуженными профессорами) начали отговаривать Некрасова отъ поступленія въ корпусъ и развивать передъ нимъ всѣ преимущества университетскаго образованія, и такъ увлекли его, что Некрасовъ рѣшился во что-бы то ни стало идти въ университетъ. Остановка была за всту-

пительными экзаменами, такъ какъ Некрасовъ былъ слабъ въ древнихъ языкахъ и въ математикѣ, но Глушицкій познакомилъ своего товарища съ профессоромъ духовной семинаріи, Д. И. Успенскимъ, и они вдвоемъ взялись приготовить Некрасова въ университетъ. Тогда Некрасовъ сообщилъ Полозовымъ о своемъ намѣреніи промѣнять дворянскій полкъ на университетъ. Они одобрили это намѣреніе и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщили о томъ въ Ярославль своему родственнику. Когда, наконецъ, узналъ объ этомъ отецъ Некрасова, онъ воспылалъ сильнымъ гнѣвомъ на послушнаго сына и отписалъ ему, что если онъ не отложитъ своего намѣренія идти въ университетъ и не покорится родительской волѣ, то пусть онъ впредь не рассчитываетъ ни на одну копѣйку родительской помощи, а существуетъ—какъ и чѣмъ знаетъ.

Такимъ образомъ, шестнадцатилѣтній мальчикъ очутился безъ всякихъ средствъ къ жизни и безъ всякаго положенія съ 150 рублями въ карманѣ и съ паспортомъ „недоросля изъ дворян“, по которому Н. А. Некрасовъ жилъ до конца своихъ дней.

Онъ поселился съ какими-то неизвѣстнымъ товарищемъ по университету на Малой Охтѣ. Довольствоваться имъ приходилось очень немногимъ: у сожителя былъ еще крѣпостной мальчикъ, приставленный къ нему родителями—и они не могли тратить болѣе 15 коп. на трюхъ на обѣдъ, который брали изъ какой-то ужасающей кухмистерской. Пріятныя, должно быть, впечатлѣнія оставили по себѣ эти пятнадцатикопѣчные обѣды на трюхъ, когда Некрасовъ, будучи уже на смертномъ одрѣ, серьезно говорилъ, что именно этимъ обѣдамъ онъ былъ обязанъ зародышемъ той болѣзни, которая сводила его, 40 лѣтъ спустя, въ гробъ. Потомъ Некрасовъ перебрался къ профессору Успенскому, у котораго ему было все-таки немного помытѣе, хотя и довольно иногда безпокойно. Это былъ человекъ добрый и очень усердно занимался со своимъ ученикомъ классическими языками.

Пришелъ экзаменъ. Приготовленіе Успенскаго оказалось такимъ успѣшнымъ, что извѣстный тогда профессоръ руской словесности Фрейтагъ, очень требовательный латинистъ, поставилъ Некрасову на приемномъ экзаменѣ изъ латинскаго языка—5 „съ плюсомъ“; „новъ физическихъ наукахъ“,—читаетъ мы въ біографіи при „Русской Библіотекѣ“, т. VII, Стасюлевича, — самъ почтенный филологъ Успенскій былъ слабъ, и это отразилось роковымъ образомъ на его ученикѣ: Некрасовъ чувствовалъ, что изъ физики онъ не можетъ получить отѣтки выше единицы. Это-бы еще ничего, такъ какъ одна единица въ то время не была препятствіемъ къ поступленію въ университетъ; но бѣда заключалась въ томъ, что льготная единица была уже приобрѣтена на экзаменѣ изъ географіи у профессора Касторскаго.

„Въ виду такого печальнаго обстоятельства, Некрасовъ рѣшился явиться къ ректору П. А. Плетневу и откровенно высказать ему свое положеніе: онъ противъ воли отца поступаетъ въ университетъ—и теперь, если его не примутъ въ число студентовъ, его положеніе будетъ отчаянное. Плетневъ справился о прочихъ отѣткахъ, отлично рекомендовавшихъ юношу, желавшаго притомъ поступить на философскій

факультетъ (нынѣ—историко-филологическій), и обнадѣжилъ Некрасова общаніемъ ходатайствовать за него въ совѣтъ. На основаніи этого общанія, Некрасовъ совѣтъ не явился на экзаменъ изъ физики, и вслѣдствіе того въ совѣтъ о немъ не было и рѣчи. Поэтому-же и Плетневъ не вспомнилъ о немъ, но послѣ, при свиданіи, убѣждалъ его все-таки не оставлять университета и поступить вольнослушателемъ. Некрасовъ сначала не рѣшался. Нѣсколько дней спустя, на старомъ исаакіевскомъ мосту онъ видитъ, что кто-то догоняетъ и идетъ съ нимъ рядомъ, всматриваясь въ него. Это былъ Плетневъ. Онъ снова сталъ убѣждать его, и Некрасовъ подалъ прошеніе. Такъ началась университетская жпзнъ Некрасова, продолжавшаяся въ теченіи 1839—1841 годовъ“.

Матеріальное положеніе Некрасова во все это время было самое отчаянное: приходилось перебиваться кое-какъ грошовыми уроками и случайными журнальными работами, которыя не всегда были подъ рукою. „Ровно три года,—говорилъ Некрасовъ,—я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Приходилось ѣсть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ въ Морской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя-бы ничего не спросилъ себя. Возьмешь, бывало, для виду газету, а самъ пододвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь“... Силы Некрасова постоянно надрывались и, наконецъ, онъ сильно заболѣлъ. Доктора объяснили причину болѣзни продолжительнымъ голоданіемъ и приговорили уже его къ смерти. Однако-же, молодой и крѣпкій организмъ вынесъ болѣзнь, оставившую все-таки, по убѣжденію Некрасова, свои слѣды на всю жизнь его.

Нужно-ли говорить о томъ, что матеріальное положеніе, и безъ того незавидное, было окончательно подорвано этою болѣзнію. Приходилось пользоваться милостію квартирныхъ хозяевъ—какого-то отставнаго унтеръ-офицера и его жены, у которыхъ онъ нанималъ комнату на Разъѣзжей улицѣ. Задолжалъ имъ Некрасовъ во время болѣзни рублей сорокъ.

«Хозяинъ, рассказывать онъ,—еще ничего, но хозяйка сильно беспокоилась, что я умру и деньги пропадутъ. За перегородкою постоянно слышались разговоры по этому поводу. Наконецъ, въ одинъ прекрасный день, ко мнѣ явился хозяинъ, объяснилъ свои опасенія съ полною откровенностію и просилъ меня написать ему росписку въ томъ, что я оставляю ему за долгъ свой чемоданъ, книги и остальные вещишки. Я написалъ. Думаю: чего добраго, не стану и хоронить, да и люди они были дѣйствительно бѣдные. Черезъ нѣсколько времени мнѣ стало, однако, лучше, и вскорѣ я настолько уже оправился, что рѣшился пойти съ Разъѣзжей на Выборгскую сторону, къ одному знакомому студенту-медику. Добравшись кое-какъ до него, я тамъ засидѣлся до поздняго вечера. Возвращаясь ночью домой, сильно прозябъ, такъ какъ на мнѣ было холодное пальтишко, а дѣло было осенью, въ октябрѣ или въ ноябрѣ. Прихожу къ дверямъ, звоню разъ, другой... Не пускаютъ, говорить, что въ моей комнатѣ поселился уже другой жилецъ. Что-же касается до моего долга, то хозяева считаютъ себя вполне удовлетворенными моимъ имуществомъ, которое я имъ отдалъ за долгъ, въ чемъ и выдалъ росписку. Скверно стало мнѣ. Я остался одинъ на

улицѣ, остался безъ ничего, въ плохомъ пальтишкѣ, въ осеннюю холодную ночь. Побрелъ я, куда глаза глядятъ, не сознавая куда и зачѣмъ, пробрался на Невскій и сѣлъ тамъ на скамеечку, какія выставляются у ресторановъ для посѣтителей. Прозябъ. Чувствовалъ сильную усталость и упадокъ силъ. Наконецъ, уснулъ. Разбудилъ меня какой-то старикъ, оказавшійся нищимъ, который, проходя мимо, сжалился надо мною и пригласилъ меня съ собою куда-то ночевать. Я пошелъ. Пришли на Васильевскій островъ, въ 15-ю линію. Тамъ, въ самомъ концѣ улицы, стоялъ деревянный, полуразвалившійся домикъ, въ который мы и вошли. Въ домѣ оказалось много народу. Все это были нищие, которые собирались здѣсь ночевать. Не помню я всѣхъ разговоровъ, которые велись здѣсь, помню только, что я написалъ кому-то прошеніе и получилъ за это 15 копѣекъ.»

Замѣчательно, что тутъ же, почти рядомъ съ такою страшною нищетою, голодомъ и трущобными сценами притона нищеты, Н. А. Некрасовъ видѣлъ передъ собою картины сытой и праздної роскоши и даже самъ порою участвовалъ на ея утонченныхъ пирахъ.

«Въ тѣ времена,—читаемъ мы въ вышеупомянутой биографіи «Русской Библіотеки»,—преимущественно въ университетѣ сосредоточивалась молодежь изъ знати, и университетскіе товарищескіе кружки смѣшивали въ себѣ всѣ состоянія и званія. Бѣдный молодой человѣкъ, съ бюджетомъ чуть не въ нѣсколько копѣекъ въ день, легко сближался съ юношами высшихъ и богатыхъ классовъ,—и не только сближался, но, благодаря своимъ личнымъ талантамъ, способностямъ и веселому характеру, могъ даже первенствовать между ними; на студенческихъ собраніяхъ и пирушкахъ, устраиваемыхъ въ то время на подобіе нѣмецкихъ кнейповъ и коммершей, предводительствовалъ не тотъ, кто знатнѣе всѣхъ, но кто лучше дрался на эспадронахъ и рапирѣ, кто былъ мужественнѣе и физически ловче. Въ такихъ-то веселыхъ и разгульных товарищескихъ кружкахъ внезапно очутился провинціальный юноша, выросшій въ деревнѣ, и тутъ-то ознакомился впервые съ обывденною жизнію и нравами другихъ общественныхъ классовъ, которые безъ университетской жизни остались-бы ему извѣстными только по слухамъ. Эта новая обстановка, какъ и прежняя деревенская, не осталась безъ вліянія въ будущемъ на поэзію Некрасова и на самый его характеръ, а также и на условія дальнѣйшей жизни: завязанный имъ тогда связи сохранились и впоследствии; недостатки и слабая сторона жизни высшихъ общественныхъ слоевъ стали ему знакомы изъ первыхъ рукъ и хорошо знакомы».

## VII.

При такой тяжелой борьбѣ за существованіе, Некрасову, конечно, нечего было и думать о правильномъ развитіи таланта путемъ свободнаго и несрочнаго творчества. Онъ долженъ былъ приняться почти сразу по пріѣздѣ въ Петербургъ (15-ти лѣтъ) за черныя литературныя труды, въ видѣ разныхъ срочныхъ журнальных работъ, напертывавшихся ему случайно. Работалъ онъ такимъ образомъ и въ „Литературныхъ прибавленіяхъ“ къ „Инвалиду“, и въ „Литературной Газетѣ“ А. Краевского, и въ „Сынѣ Отечества“ Н. А. Полевого, съ которыми познакомилъ его какой-то профессоръ университета, и въ „Пантеонѣ“, и въ „Отечественныхъ Запискахъ“; писалъ водевили для Александринскаго театра; былъ поставщикомъ у кни-

гопродавца Полякова азбукъ и сказокъ по его заказу (такова, напримеръ, сказка „Баба-Яга“, лѣтъ черезъ тридцать вновь изданная по какому-то праву Печатнымъ съ громкимъ именемъ автора). Такимъ образомъ, по собственнымъ его словамъ, онъ написалъ въ своей жизни до 300 печатныхъ листовъ прозы. Отъ этой массы написаннаго особенно большая доля выпала на рецензій.

«Разбирать приходилось,—разсказывалъ Николай Алексѣевичъ,—всякія книги, какія только попадались подъ руки, не одні художественныя, но и частью и самыя ученныя. Собственныхъ-то благопріобрѣтенныхъ знаній на это, конечно, не хватало: за то выручала публичная бібліотека. Пойдешь туда, подымешь всю ученость по предмету книги, ну, и ничего, сходило съ рукъ».

Особенно помогъ ему встать на ноги и избавиться отъ крайностей нищеты Григорій Францовичъ Венецкій, бывшій тогда наставникомъ-наблюдателемъ въ пажескомъ корпусѣ и преподавателемъ въ дворянскомъ полку. Гдѣ и какъ познакомился съ нимъ Некрасовъ—неизвѣстно. Это былъ очень хорошій человекъ, судя по словамъ Некрасова, и послѣдній всегда вспоминалъ о немъ съ любовью и уваженіемъ. Онъ содержалъ что-то въ родѣ приготовительнаго пансіона для поступающихъ въ пажескій корпусъ или дворянскій полкъ и предоставилъ Н. А. Некрасову занятія при этомъ пансіонѣ по всѣмъ русскимъ предметамъ. Это избавило юношу, по крайней мѣрѣ, отъ прелестей ночлеговъ подъ открытымъ небомъ. Венецкому-же былъ обязанъ Некрасовъ и появленіемъ изданія своихъ дѣтскихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: „Мечты и Звуки“. Матеріальное положеніе его въ 1840 году вообще настолько уже улучшилось, что онъ могъ даже скопить нѣсколько деньжонокъ для этого изданія. Но онъ все-таки, по всей вѣроятности, не рѣшился-бы на это дѣло, если-бы его не склонили къ тому Венецкій, обязавшись продать по билетамъ заранее рублей на 500. Принявшись за изданіе, Некрасовъ все-таки колебался, и на него нашло однажды такое раздумье, что онъ готовъ былъ отказаться отъ дѣла; но было уже поздно: Венецкій успѣлъ продать до сотни билетовъ, и деньги были прожиты. Какъ тутъ быть? Въ раздумьи Н. А. Некрасовъ рѣшился пойти за совѣтомъ къ Жуковскому.

«Меня принялъ,—разсказывалъ Некрасовъ,—сѣденькій, согнутый старичекъ, взялъ книгу и велѣлъ придти черезъ нѣсколько дней. Когда я пришелъ, онъ похвалилъ одно изъ этихъ стихотвореній, сказалъ, что у меня есть талантъ, но къ этому прибавилъ:

— Вы потомъ пожалеете, если выпустите эту книгу. Я сказалъ ему на это, что теперь уже поздно, и объяснилъ почему.

— Тогда снимите съ книги ваше имя,—посоветовалъ Жуковский.

Некрасовъ послушался этого совѣта, и книжка вышла лишь съ заглавными буквами его фамиліи Н. Н. Это небольшая книжонка въ восьмую долю листа, напечатанная на сѣрой бумагѣ, въ 102 страницы, въ типографіи Егора Алипанова. На заглавной страницѣ выставленъ 1840 годъ, цензурная-же отмѣтка, съ надписью цензора А. Фрейганга, помѣчена 25-го іюня 1839 года. Книга наполнена небольшими лирическими стихотвореніями вполнѣ дѣтскаго характера. Въ

нихъ нѣтъ ни малѣйшаго проблеска позднѣйшаго Некрасовскаго таланта. Это рядъ несвязныхъ и безсодержательныхъ виршей, какія въ то время писались весьма многими четырнадцатилѣтними гимназистами подъ обаяніемъ блестящей плеяды предшествовавшихъ поэтовъ,—виршей въ родѣ нижеслѣдующихъ:

Я не сплю, не сплю,—не спится,  
Сердце грустію томится,  
Сердце плачетъ въ тишинѣ,  
Сердце рвется къ вышинѣ,  
Къ безмятежному эфиру,  
Гдѣ, одѣтая въ порфиру,  
Блещетъ яркая звѣзда.  
Ахъ, туда, туда, туда,  
Къ этой звѣздочкѣ унылой,  
Чародѣйственною силой  
Занеси меня мечта!.. и пр.

Одно стихотвореніе, замѣчательное тѣмъ, что оно было первое, появившееся въ печати въ „Сынѣ Отечества“ 1838 года, носило заглавіе „Мысль“:

Спать дряхлый міръ, спать старецъ-обветшалый,  
Подъ грустной тѣнію ночного покрывала,  
Едва согрѣтъ остатками огня  
Уже давно погаснувшего дня.  
Сни, старецъ, спи!.. отраднаго покоя  
Минуты уладятъ заботы сѣдины  
Воспоминаніемъ минувшей старины..  
И можетъ быть, въ тебѣ зажжется ретивое  
Огнемъ страстей, погаснувшихъ давно,  
И вспыхнетъ для тебя прекрасное былое!..  
И, можетъ быть, распухнетъ зерно  
Въ тебѣ давно угасшей жизни силы,  
И новой жизнью загложитъ могилы,  
Печальный міръ, повѣютъ надъ тобой!  
И снова ты проснешься отъ дремоты,  
И снова, юноша съ пылающей душой,  
Забудешь старые, утраченные годы,  
И будешь жить ты жизнью молодой,  
Какъ въ первый день созданія природы!..

Нѣтъ! тотъ-же все проснулся ты,  
Такой-же дряхлый, обветшалый,  
Еще дряхлѣй безъ покрывала..  
Скрой безобразье наготы  
Опять подъ мрачной ризой ночи!  
Поддѣльнымъ блескомъ красоты  
Ты не можешь обманешь очей!..

Изданіе Некрасова встрѣтило, какъ всѣмъ извѣстно, безпощадный отзывъ Бѣлинскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Это былъ одинъ изъ тѣхъ краткихъ отзывовъ, какіе можно встрѣтить въ каждой книжкѣ тогдашнихъ журналовъ по поводу безпрестанно появлявшихся въ то время изданій стихотвореній юныхъ поэтовъ, претендовавшихъ на славу Пушкина. Бѣлинскій въ своей рецензій не входитъ вовсе и въ разборъ стиховъ Некрасова, а ограничивается нѣсколькими бѣглыми мыслями о томъ, какой промахъ дѣлаютъ люди, не одаренные поэтическимъ талантомъ, выступая на литературное поприще со стихами. Проза для нихъ благодарнѣе стиховъ:

«Если въ прозѣ нѣтъ даже чувства и воображенія, то могутъ быть умъ, остроуміе, наблюдательность, или хоть гладкій языкъ... Если стихи пишетъ человекъ, лишенный отъ природы всякаго чувства, чуждый всякой мысли, не умѣющій владѣть стихомъ и рифмою, онъ, подъ веселой чашей, еще можетъ позабавить читателя своею бездарностью и ограниченностью: всякая крайность имѣетъ свою цѣну, а

потому В. К. Третьяковскій, «профессоръ злоквѣн-  
ный и паче хитростей поэтическихъ» — есть безсмерт-  
ный поэтъ; но прочесть цѣлую книгу стиховъ,  
встрѣтить все знакомыя и истертыя чувствованія,  
общія мѣста, гладкіе стишки, и много-много если  
наткнуться иногда на стихъ, вышедшій изъ души  
въ кучѣ рѣсмованныхъ строчекъ, воля ваша, это  
чтеніе, или, лучше сказать, работа для рецензен-  
товъ, а не для публики, для которой довольно про-  
честъ въ журналѣ извѣстіе въ родѣ: «Выѣхалъ въ  
Ростовъ». Посредственность въ стихахъ нестерпи-  
ма. Вотъ мысли, на которыя навели насъ «Мечты  
и Звуки» г-на Н. Н.»

Вотъ и вся рецензія Бѣлинскаго, тѣмъ болѣе же-  
стокая, чѣмъ короче и сжатѣе она. Впрочемъ, въ  
„Сѣверной Пчелѣ“, „Библіотекѣ для чтенія“ и „Со-  
временникѣ“ Плетнева Некрасовъ прочелъ болѣе  
лестныя для себя рецензіи, видѣвшія въ его стихахъ  
проблески таланта и возлагавшія на него надежды.  
Книга, розданная на комиссію въ разные магазины,  
конечно, не пошла, и впослѣдствіи Некрасовъ, какъ  
извѣстно, самъ ее скупалъ и истреблялъ, подобно  
Гоголю, истребившему такимъ образомъ своего „Ган-  
ца-Кюхельгартена“.

Неудача съ „Мечтами и Звуками“ имѣла, между  
прочимъ, прискорбное вліяніе на оставленіе Некра-  
совымъ университета, какъ объ этомъ свидѣтель-  
ствуетъ Николай Глушицкій со словъ своего покой-  
наго брата Андрея Глушицкаго. (См. письмо его въ  
„Петербургскомъ Листкѣ“ 1875 года).

„Некрасовъ, въ качествѣ вольнаго слушателя, по-  
сѣщалъ университетскія аудиторіи въ 1839, 1840  
и 1841 годахъ. Всего больше онъ любилъ посѣщать  
лекціи тогда еще молодого и краснорѣчиваго профес-  
сора русской словесности А. В. Никитенко, пока тотъ  
однажды, въ одной изъ своихъ лекцій о новѣйшей  
русской литературѣ, жестоко и безпощадно не по-  
острилъ и даже не поглумился надъ Николаемъ Алек-  
сѣевичемъ, какъ надъ начинающимъ поэтомъ. А. В.  
Никитенко было извѣстно, что въ числѣ его слуша-  
телей находится и ярославскій гимназистъ Некрасовъ,  
уволенный изъ 5-го класса гимназіи за свою сатиру  
на тамошнее начальство, и что этотъ недоучившійся  
гимназистъ, не пугаясь великихъ тѣней Пушкина и  
другихъ нашихъ знаменитыхъ поэтовъ, дерзко осмѣ-  
ливается выступить передъ публикою съ своимъ то-  
щимъ сборникомъ стихотвореній „Мечты и Звуки“,  
въ которыхъ, по мнѣнію А. В. Никитенко, — не было  
ни признака таланта, ни толку, ни ладу, а лишь одна  
вода, да дубовые стихи и одно пустое рѣсмовлетство,  
отъ которыхъ А. В. совѣтывалъ поскорѣе исцѣлиться  
автору. Таковъ, въ сущности, былъ приговоръ А. В.  
Никитенко надъ нашимъ начинающимъ поэтомъ.  
Честь и слава стойкости и увѣренности Некрасова въ  
своихъ поэтическихъ силахъ, что онъ подчинился не  
малодушно этому преждевременному приговору и смѣ-  
ло продолжалъ свою литературную дѣятельность.  
Опрометчивое и даже отчасти неумѣстное сужденіе о  
Некрасовѣ, какъ о молодомъ поэтѣ, произнесенное въ  
университетской аудиторіи, однако, имѣло нѣсколько  
и дурныя послѣдствія для Николая Алексѣевича: онъ  
тотчасъ-же распрощался съ аудиторіей суроваго  
профессора-словесника, а потомъ вскорѣ и вовсе по-  
кинулъ университетъ, не переставая, впрочемъ, под-

держивать и продолжать дружбу и сношенія съ сво-  
ими земляками и товарищами, оставшимися въ уни-  
верситетѣ“.

## VIII.

Съ 1841 по 1845-годъ, слѣдуетъ періодъ жизни  
Некрасова, — самый темный въ біографическомъ от-  
ношеніи. Это былъ важнѣйшій періодъ во всей его  
жизни, потому что въ продолженіи его окончательно  
сформировались всѣ его и умственные, и нравствен-  
ныя силы, и подъ конецъ его онъ является уже пе-  
редъ нами такимъ, какимъ оставался почти неизмѣн-  
но во всю свою послѣдующую жизнь. Въ то же время,  
въ этотъ періодъ, отъ стихотвореній, помѣщенныхъ  
въ „Мечтахъ и Звукахъ“, онъ перешелъ къ стихо-  
твореніямъ, напечатаннымъ въ началѣ перваго тома  
изданія его произведеній. Но какъ произошла эта  
сформировка и этотъ радикальный переворотъ, изъ  
посредственнаго рѣсмовслагателя сдѣлавшій первосте-  
пеннаго поэта, — это остается необъясненнымъ. Мы  
знаемъ только, что въ это время, продолжая жить ли-  
тературнымъ трудомъ, онъ вращался въ самыхъ раз-  
нообразныхъ кружкахъ, великосвѣтскихъ, чинов-  
ныхъ, литературныхъ, театральныхъ, студенческихъ  
и пр. Къ этому-же времени относится и знакомство  
его съ кружкомъ Бѣлинскаго, который, безъ сомнѣ-  
нія, и былъ главнымъ двигателемъ умственнаго раз-  
витія Некрасова и виновникомъ переворота, опредѣ-  
лившаго всю дальнѣйшую литературную дѣятельность  
его.

«Въ началѣ 40-хъ годовъ, — говоритъ объ этомъ  
Н. Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ, — къ числу  
сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» присоеди-  
нился Некрасовъ; нѣкоторыя его рецензіи обратили  
на него вниманіе Бѣлинскаго, и онъ познакомился  
съ нимъ. До этого Некрасовъ имѣлъ прямыя сно-  
шенія съ Краевскимъ. Я въ первый разъ встрѣтилъ  
Некрасова въ половинѣ 30-хъ годовъ (?) у одного  
моего пріятеля. Ему было тогда лѣтъ 17, онъ толь-  
ко-что издалъ небольшую книжечку своихъ стихо-  
твореній, подъ заглавіемъ: «Мечты и Звуки», кото-  
рую въ послѣдствіи онъ скупалъ и истреблялъ. Мы во-  
зобновили знакомство съ нимъ черезъ семь лѣтъ (?).  
Онъ, какъ и всѣ мы, очень увлекался въ это время  
Жоржъ-Зандомъ. Онъ былъ знакомъ съ нею только  
по русскимъ переводамъ. Я звалъ его къ себѣ и  
общалъ прочесть ему отрывки, переведенные мною  
изъ «Спиридона». Некрасовъ вскорѣ послѣ этого  
зашелъ ко мнѣ утромъ, и я тотчасъ же приступилъ  
къ исполненію своего обѣщанія.

«Съ этихъ поръ мы видались чаще и чаще. Онъ  
съ каждымъ днемъ болѣе сходилъ съ Бѣлинскимъ,  
разказывалъ намъ свои горькія литературныя по-  
хожденія, свои расчеты съ редакторами различныхъ  
журналовъ, и принесъ однажды Бѣлинскому свое  
стихотвореніе: «На дорогѣ».

«Некрасовъ произвелъ на Бѣлинскаго съ самаго  
начала очень пріятное впечатлѣніе. Онъ полюбилъ  
его за его рѣзкій, нѣсколько ожесточенный умъ, за  
тѣ страданія, которыя онъ испытывалъ такъ рано, до-  
биваясь куска насущнаго хлѣба, и за тотъ смѣлый,  
практическій взглядъ не по лѣтамъ, который вы-  
несъ онъ изъ своей труженической и страдальче-  
ской жизни — и которому Бѣлинскій всегда мучи-  
тельно завидывалъ.

«Некрасовъ пускался передъ этимъ въ изданіе  
разныхъ мелкихъ литературныхъ сборниковъ, кото-  
рыя постоянно приносили ему небольшой барышъ.



Но у него уже развивались въ головѣ болѣе обширныя литературныя предпріятія, которыя онъ сообщалъ Бѣлинскому.

«Слушая его, Бѣлинскій дивился его сообразительности и сметливости и восклицалъ обыкновенно: — Некрасовъ пойдетъ далеко... Это не то, что мы... Онъ наживетъ себѣ капиталецъ!

«Ни въ одномъ изъ своихъ пріятелей Бѣлинскій не находилъ ни малѣйшаго практическаго элемента и, преувеличивая его въ Некрасовѣ, онъ смотрѣлъ на него съ какимъ-то особеннымъ уваженіемъ.

«Литературная дѣятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особеннаго. Бѣлинскій полагалъ, что Некрасовъ навсегда останется не болѣе, какъ полезнымъ журнальнымъ сотрудникомъ, но когда онъ прочелъ ему свое стихотвореніе: «На дорогѣ», у Бѣлинскаго засверкали глаза, онъ бросился къ Некрасову, обнялъ его и сказалъ чуть не со слезами на глазахъ:

— Да знаете-ли вы, что вы поэтъ—и поэтъ истинный?

«Съ этой минуты Некрасовъ еще болѣе возвысился въ глазахъ его... Его стихотвореніе: «Къ Родинѣ», привело Бѣлинскаго въ восторгъ. Онъ выучилъ его наизусть и послалъ его въ Москву къ своимъ пріятелямъ... У Бѣлинскаго были эпохи, какъ я уже говорилъ, когда онъ особенно увлекался кѣмъ-нибудь изъ своихъ друзей... Въ эту эпоху онъ былъ увлеченъ Некрасовымъ и только и говорилъ о немъ. Некрасовъ съ этихъ поръ сдѣлался постояннымъ членомъ нашего кружка».

Къ этому періоду увлеченія Некрасовымъ относятся и тѣ строки письма Бѣлинскаго къ Тургеневу, которыя приводитъ А. Н. Пыпинъ въ своей биографіи Бѣлинскаго (см. 275 стр. Пясти): «Некрасовъ написалъ недавно страшно-хорошее стихотвореніе (дѣло идетъ о стих. «Нравственный человѣкъ», помѣщенномъ въ № 3, «Современника»). Если не попадетъ въ печать (а оно назначается въ № 3), то пришлю къ вамъ въ рукописи. Что за талантъ у этого человѣка! И что за топоръ его талантъ!»

Въ вышеприведенной выдержкѣ изъ воспоминаній И. Панаева проглядываетъ уже передъ нами то радикальное различіе въ складѣ воспитанія, которое сразу обнаружилось между Некрасовымъ и кружкомъ Бѣлинскаго. Съ одной стороны, передъ нами идеалисты, воспитывавшіеся преимущественно по книгамъ, судившіе обо всемъ съ различныхъ теоретическихъ, философскихъ точекъ зрѣнія, выработанныхъ западною наукою, но въ то-же время до дѣтской простоты и наивности чуждые практики жизни и того индуктивнаго знанія ея и народа, какое дается только непосредственнымъ опытомъ, путемъ всевозможныхъ столкновѣній съ различными житейскими дрязгами. Съ другой стороны, мы видимъ человѣка, несмотря на свои 23—24 года, прожженного практикою жизни, успѣвшаго ожесточиться подъ гнетомъ борьбы за существованіе и въ то-же время представлявшаго изъ себя непосредственную натуру, черноземную силу, чуждую какого-бы то ни было идейнаго развитія. Это различіе еще ярче обрисовывается передъ нами въ рассказахъ самого Некрасова о своихъ спорахъ и столкновѣніяхъ съ людьми, принадлежавшими къ кружку Бѣлинскаго.

«Тяжелое,—говорить онъ,—производили на меня впечатлѣніе всѣ эти люди: преобладала чисто фраза, диалектика, говорились общія мѣста, говорили больше о западной Европѣ, видно было незнаніе русской жизни и русскаго народа. Я сознавалъ, что все это

было не то, что намъ нужно, но въ то-же время спорить съ ними не могъ, потому что они знали гораздо больше меня, гораздо больше меня читали. Сознавая все больше и больше, что намъ нужно нѣчто иное, я началъ работать, учиться»...

Эти слова вдвойнѣ многозначительны: наглядно указывая намъ на то различіе, какое существовало между Некрасовымъ и его новыми друзьями, въ то-же время они свидѣтельствуютъ и о томъ сильномъ влияніи на умственное развитіе Некрасова, какое было произведено столкновѣніемъ его съ кружкомъ Бѣлинскаго. Въ нихъ такъ и сквозитъ пробудившееся сознание недостатка теоретическаго развитія, научныхъ знаній и необходимости восполнить этотъ пробѣлъ. Такое сознаніе естественно должно было развиваться въ Некрасовѣ вслѣдствіе соприкосновенія съ средою, болѣе его умственно развитою и обогащенною знаніями. Рядомъ съ этими и нравственные идеалы Некрасова должны были значительно возвыситься и расшириться. Онъ не могъ не проникнуться тѣмъ горячимъ энтузіазмомъ къ новымъ идеаламъ и требованіямъ отъ жизни, какой господствовалъ въ кружкѣ подъ влияніемъ Бѣлинскаго. По крайней мѣрѣ, въ томъ образѣ, въ какомъ рисуетъ намъ Некрасова Достоевскій въ своемъ «Дневникѣ писателя», рассказывая о знакомствѣ своемъ съ нимъ именно въ ту эпоху его жизни, мы видимъ достаточную долю того самого восторженнаго идеализма, съ которымъ Некрасовъ стоялъ, по своимъ словамъ, въ такой оппозиціи. Вотъ что рассказываетъ Достоевскій:

«Тогда (это тридцать лѣтъ тому назадъ!) произошло что-то такое молодое, свѣжее, хорошее — изъ того, что остается навсегда въ сердцѣ участвовавшихъ. Намъ тогда было по двадцати съ немногими лѣтъ. Я жилъ въ Петербургѣ, уже годъ какъ вышелъ въ отставку изъ инженеро-въ, самъ не зная зачѣмъ, съ самыми неясными и неопредѣленными цѣлями. Былъ май мѣсяцъ сорокъ-пятого года. Въ началѣ зимы, я началъ вдругъ «Бѣдныхъ людей», мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего не писавши. Кончивъ повѣсть, я не зналъ, какъ съ ней быть и кому отдать. Литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ совершенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В. Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего тогда не написалъ, кромѣ одной маленькой статейки «Петербургскіе шарманщики» въ одинъ сборникъ. Кажется, онъ тогда собирался уѣхать на лѣто къ себѣ въ деревню, а пока жилъ нѣкоторое время у Некрасова. Зайдя ко мнѣ, онъ сказалъ: «Принесите рукопись (самъ онъ еще не читалъ ея); Некрасовъ хочетъ къ будущему году сборникъ издать, я ему покажу». Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку, мы подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мысли, что пришелъ съ своимъ сочиненіемъ, и поскорѣй ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти ни слова...

«Вечеромъ того же дня, какъ я отдалъ рукопись, я пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о «Мертвыхъ Душахъ» и читали ихъ, въ который разъ, не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «а не почитать-ли намъ, господода, Гоголя!»—салятся и читаютъ, и, пожалуй, всю ночь. Воротился я домой уже въ четыре часа, въ бѣлую, свѣтлую, какъ день, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и сѣлъ у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба



чуть сами не плачутъ. Они наканунѣ вечеромъ воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: «съ десяти страницъ видно будетъ». Но прочтя десять страницъ, рѣшили прочесть еще десять, а затѣмъ, не отрываясь, просидѣли уже всю ночь до утра, читая вслухъ и чередуясь, когда одинъ уставалъ. «Читаешь онъ про смерть студента, — передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоровичъ: — и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отецъ за гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывается, разъ и другой, и вдругъ не выдержалъ, стукнулъ ладонью по рукописи: «Ахъ, чтобы его!» — это про васъ-то, и такъ мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатныхъ листовъ!), то въ одинъ голосъ рѣшили идти ко мнѣ немедленно: «Что-жъ такое, что спать, мы разбудимъ его, это выше сна!» Потомъ, приглядѣвшись къ характеру Некрасова, я часто удивлялся той минутѣ: характеръ его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Такъ, по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ всегда казался, такъ что та минута нашей первой встрѣчи была, во-истину, проявленіемъ самаго глубокаго чувства. Они пробыли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь; говорили о поэзии, и о правдѣ, и о «тогдашнемъ положеніи», разумѣется, и о Гоголѣ, цитируя изъ «Ревизора» и изъ «Мертвыхъ Душъ», но главное — о Бѣлинскомъ. «Я ему сегодня-же снесу вашу повѣсть, и вы увидите — да вѣдь человекъ-то, человекъ-то какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорилъ Некрасовъ, трясъ меня за плечи обѣими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!»...

«Некрасовъ снесъ рукопись Бѣлинскому въ тотъ же день. Онъ благоговѣлъ передъ Бѣлинскимъ и, кажется, всѣхъ больше любилъ его во всю жизнь свою. Тогда Некрасовъ ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, черезъ годъ потомъ. Некрасовъ очутился въ Петербургѣ, сколько мнѣ извѣстно, лѣтъ шестнадцать совершенно одинъ. Писалъ онъ тоже чуть не съ 16-ти лѣтъ. О знакомствѣ его съ Бѣлинскимъ я мало знаю, но Бѣлинскій его угадалъ съ самаго начала и, можетъ быть, сильно повлиялъ на настроеніе его поэзіи. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лѣтъ ихъ, между ними навѣрно ужъ и тогда бывали такія минуты, и уже сказаны были такія слова, которыя влияют на вѣкъ и связываютъ неразрывно... «Новый Гоголь явился!» — закричалъ Некрасовъ, входя къ нему съ «Вѣдными людьми». «У васъ Гоголя-то, какъ грибки растутъ», — строго замѣтилъ ему Бѣлинскій, но рукопись взялъ»...

Вотъ въ видѣ какого восторженнаго и увлекающагося романтика рисуется передъ нами Некрасовъ въ рассказѣ Достоевскаго. Что-же касается до сборниковъ, изданныхъ Некрасовымъ, о которыхъ говоритъ Панаевъ, то ихъ извѣстно намъ четыре: «Статейки въ стихахъ безъ картинокъ», изд. въ 1843 г.; «Физиологія Петербурга», изд. въ 1845 году; «Первое апрѣля», изд. въ 1846 г., и «Петербургскій сборникъ» — 1846 г.

«Статейки въ стихахъ безъ картинокъ» — этотъ сборникъ изданъ былъ въ двухъ томахъ, по 30 коп. каждый. Содержаніе сборника лирическо-сатирическое; здѣсь мы встрѣчаемъ «Говоруна», сатиру, явившуюся потомъ въ полномъ изданіи стихотвореній Некрасова.

«Физиологія Петербурга» вышла въ двухъ томахъ. Сборникъ этотъ носятъ еще на себѣ слѣды того спекулятивнаго духа петербургской прессы, въ школѣ которой Некрасовъ былъ воспитанъ. Даже самая мысль

изданія подобнаго сборника отзывается подражаніемъ другому, столь-же спекулятивному предпріятію — именно «Панорамѣ Петербурга» Башуцкаго, о чемъ можно судить и по предисловію, въ которомъ излагается цѣль изданія сборника:

«Во Франціи, — читаемъ мы въ предисловіи, — обо всякомъ уголкѣ ея, сколько-нибудь и въ какомъ-нибудь отношеніи замѣчательномъ, не одна книга написана, а сочиненія о Парижѣ образуютъ собою большую отдѣльную литературу. Правда, Петербургъ описанъ не разъ въ отношеніи топографическомъ, климатическомъ, медицинскомъ и т. п. Башуцкій, въ своей «Панорамѣ Петербурга», предпринялъ было описать не только внѣшность первой нашей столицы (улицы, зданія, дома, рѣки, каналы, мосты и т. д.), съ историческимъ обзоромъ построекъ и распространения города, но и бросить взглядъ на характеристическія отличія петербургскаго быта и нравовъ; но почему-то его предпріятію, весьма полезному и прекрасно начатому, не суждено было дойти до окончанія, не говоря уже о томъ, что, со времени его изданія, Петербургъ во многомъ уже измѣнился. Сверхъ того, книга Башуцкаго имѣетъ въ виду преимущественно описаніе, а не характеристику Петербурга, и ея типъ и характеръ болѣе officialный, нежели литературный. Содержаніе нашей книги, напротивъ, не описаніе Петербурга въ какомъ бы то ни было отношеніи, но его характеристика преимущественно со стороны нравовъ и особенностей его народонаселенія...

«Что касается лично до составителей этой книги, они совершенно чужды всякихъ притязаній на поэтическій или художественный талантъ; цѣль ихъ была самая скромная — составить книгу въ родѣ тѣхъ, которыя такъ часто появляются во французской литературѣ и, занявъ вниманіе публики, уступаютъ мѣсто новымъ книгамъ въ томъ-же родѣ. Все самолюбіе составителей этой книги ограничивается надеждою, что читатели найдутъ, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ, если не во всѣхъ изъ нашихъ очерковъ петербургской жизни болѣе или менѣе вѣрный взглядъ на предметъ, который взялись они изображать. Что-же касается до нѣсколькихъ статей, помѣщенныхъ въ нашей книгѣ и подписанныхъ извѣстными въ нашей литературѣ именами, эти имена сами отвѣчаютъ за ихъ достоинство, и мы предоставляемъ судить о нихъ публикѣ».

Такимъ образомъ: «Физиологія Петербурга» не есть безразличный литературный сборникъ или альманахъ, какіе часто выходили въ то время, но является приуроченнымъ къ опредѣленной специальной цѣли, сообразно которой подобраны и всѣ статьи. Такъ, въ первой части, тотчасъ-же послѣ вступленія, помѣщена статья Бѣлинскаго: «Петербургъ и Москва»; далѣе слѣдуетъ рассказъ В. И. Луганскаго — «Петербургскій дворникъ»; Д. В. Григоровича — «Петербургскіе шарманщики»; Е. П. Гребенки — «Петербургская Столона», и заканчивается первая часть рассказомъ самаго Некрасова: «Петербургскіе углы», отдѣльно отъ прочихъ рассказовъ почему-то процenzурованнымъ Никитенкою. Этотъ незатѣйливый рассказикъ Некрасова носитъ на себѣ яркое отраженіе его прежней литературной нищеты. Героемъ его является интеллигентный пролетарій, нанимающій уголь на заднемъ дворѣ у квартирной хозяйки и созерцающій изъ своего угла пьяную оргію прочихъ обитателей трущобы, справляющихъ новоселье новаго постояльца. Въ этомъ заключается все содержаніе рассказика, чуждаго какой-бы то ни было идеи и написаннаго вполне въ духѣ жанра или «натуральной школы», какъ тогда вы-

ражались. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ видно явное желаніе подражать гоголевскому комизму.

Во второй части сборника, среди ряда статей и разсказовъ, точно также трактующихъ о нравахъ и особенностяхъ петербургской жизни, Некрасовъ помѣстилъ большую свою сатиру — „Чиновникъ“, вошедшую потомъ въ приложение къ третьей части послѣдняго изданія его сочиненій.

Сборникъ былъ украшенъ рисунками Тима, Бернардского и Маслова. Издателемъ „Физиологіи Петербурга“ является книгопродавецъ Ивановъ, а Некрасовъ называется лишь редакторомъ сборника.

За этимъ сборникомъ, въ слѣдующемъ 1846 году, является альманахъ: „Первое апрѣля“. Полное его заглавіе слѣдующее: „Первое апрѣля, комическій иллюстрированный альманахъ, составленный изъ разсказовъ въ стихахъ и прозѣ, достопримѣчательныхъ писемъ, куплетовъ, пародій, анекдотовъ и пуфовъ“, С.-Петербургъ. 1846 г. Начинается сборникъ комическимъ вступленіемъ, въ которомъ авторъ, потѣшаясь надъ обычаемъ надувать другъ друга 1-го апрѣля, разсказываетъ, какъ надувають въ Петербургѣ въ этотъ день въ разныхъ слояхъ общества.

«Просимъ васъ, однако, любезнѣйшій читатель, говорится въ концѣ вступленія:—не думать, что все сказанное нами сколько-нибудь касается нашей книги; нѣтъ! оно такъ только къ слову пришлось. Мы не интриганы и, смѣемъ увѣрить, гордимся этимъ. Скажемъ болѣе, трудъ нашъ добросовѣстенъ, до того добросовѣстенъ, что мы рѣшились даже посвятить нѣсколько страницъ однимъ пуфамъ, разнымъ лживымъ анекдотамъ и совершенно невѣроятнымъ исторіямъ съ тою только цѣлію, чтобы заглавіе книги «Первое апрѣля» имѣло какое-нибудь значеніе, смыслъ; хоть сколько-нибудь относилось-бы къ содержанію и не показалось-бы публикѣ одною пустою обманчивою вывѣскою, выставленною такъ только для приманки. Если-же благосклонному читателю нѣкоторыя страницы, тѣ или другія, придется не по вкусу, то да простятъ онъ насъ великодушно, или—что еще лучше—пусть вырветъ ихъ вовсе вонъ изъ книги. Богъ съ ними, мимо ихъ! Пусть предастъ ихъ даже пламени, закурить ими трубку, обернетъ что-нибудь, словомъ—распорядится этою дрянью по благоусмотрѣнію. Мы заранѣе на все соглашаемся и утѣшаемся тѣмъ только, что вѣдь «одинъ Богъ безъ грѣха».

Послѣднія строки написаны не даромъ: онѣ имѣютъ то значеніе, что въ книжкѣ на каждомъ шагѣ вы встрѣтите личные намеки и обличенія. Такова статья о томъ, „какъ одинъ господинъ приобрѣлъ себѣ за безцѣнокъ домъ въ полтораста тысячъ“, обличающая нѣкоего Ведрина (Погодина), столь прославившагося своими путевыми записками. Такова „Портретная галлерея“, заключающая въ себѣ пять стихотворныхъ портретовъ разныхъ личностей того времени; изъ нихъ особенно замѣчательна всѣмъ извѣстная эпиграмма на Вулгарипа:

Онъ у насъ восьмое чудо.

У него завидный нравъ... И т. д.

Такой-же обличительный характеръ имѣютъ статьи: „Дядюшка и племянникъ“, „Пощечина“, а также и „Водевилистъ“.

Здѣсь-же помѣщена шутка Кульчицкаго, имѣющая отношеніе къ страсти Бѣлинскаго къ преферансу: „Какъ играютъ въ новѣйшее время въ преферансъ

образованнѣйшіе люди“. Книжка переполнена Некрасовскими куплетами. Между ними находится и приобретенная популярность извѣстная пародія на стихотвореніе Лермонтова: „И скучно, и грустно—и некого въ карты надуть“. Изъ вошедшихъ въ позднѣйшія изданія стихотвореній Некрасова здѣсь помѣщено только одно: „Передъ дождемъ“. Книга украшена массою каррикатурныхъ политипажей. Некрасовъ самъ уже является издателемъ ея, безъ участія какой-либо книгопродавческой фирмы.

Въ томъ-же 1846 году былъ изданъ Некрасовымъ и третій альманахъ, извѣстный подъ заглавіемъ: „Петербургскій сборникъ“.

Этотъ сборникъ не имѣетъ уже ничего общаго съ предыдущими, ни по своей внѣшности, ни по своему содержанію. Тутъ уже не бросается намъ въ глаза спекуляція, нѣтъ зазывающихъ предисловій. Почтенный по своимъ размѣрамъ сборникъ имѣетъ вполнѣ солидно-литературный видъ и напоминаетъ собою толстые нумера журнала, совершенно въ родѣ одного изъ номеровъ послѣдовавшаго за нимъ „Современника“. Здѣсь встрѣчается рядъ лучшихъ литературныхъ именъ того времени: Тургенева (Помѣщикъ), Искандера (Капризы и Раздумье), А. Майкова, Соллогуба, Кроненберга. Начинается сборникъ „Бѣдными людьми“ Достоевскаго, оканчивается „Мыслями и замѣтками о русской литературѣ“ Бѣлинскаго. Самъ издатель помѣстилъ въ немъ четыре своихъ стихотворенія: „Въ дорогѣ“, „Пьяница“, „Колыбельная пѣсня“ и „Отрадно видѣть“.

Практическіе совѣты Некрасова, а еще болѣе успѣхъ этихъ сборниковъ такъ подѣйствовали на Бѣлинскаго, что и самъ онъ увлекся было издательскою дѣятельностью и предпринялъ изданіе сборника подъ заглавіемъ: „Левизанъ“. Уже было собрано много матеріала для этого изданія, когда лѣтомъ 1846 года, во время путешествія Бѣлинскаго по Россіи, Некрасовъ съ Панаевымъ порѣшили купить у Плетнева Пушкинскій „Современникъ“, влачившій самое жалкое существованіе. По возвращеніи изъ путешествія, Бѣлинскій такъ былъ увлеченъ новымъ предпріятіемъ Некрасова, дававшимъ возможность всему кружку Бѣлинскаго имѣть свой самостоятельный органъ, что оставилъ тотчасъ-же свое намѣреніе издавать „Левизанъ“ и передалъ Некрасову для первыхъ номеровъ „Современника“ весь собранный для проектировавшагося сборника матеріалъ. Съ 1847 года „Современникъ“ началъ издаваться подъ новой редакціей.

Здѣсь мы приближаемся къ факту, всѣмъ извѣстному, но до-сихъ поръ мало разъясненному, — къ разрыву Некрасова съ Бѣлинскимъ и кружкомъ его изъ-за положенія Бѣлинскаго въ „Современникѣ“. Принимая въ расчетъ значеніе Бѣлинскаго, какъ вообще въ литературѣ, такъ и по отношенію его къ новому журналу, друзья Бѣлинскаго ожидали, что онъ войдетъ въ журналъ полнымъ хозяиномъ его, рядомъ съ Некрасовымъ и Панаевымъ, не только въ литературномъ, но и въ матеріальномъ отношеніи; но Бѣлинскій вошелъ въ журналъ лишь въ качествѣ постоянного сотрудника по критическому отдѣлу съ опредѣленною годовою платою сначала въ 7.000, а потомъ

10,000 руб. ассигн. Это положеніе показалось имъ слишкомъ второстепеннымъ для Бѣлинскаго: они охладѣли къ новому журналу и заявили, что они будутъ смотрѣть на него, какъ на новыя „Отечественныя Записки“, и будутъ посылать свои статьи безразлично въ оба журнала. Что касается до самого Бѣлинскаго, то сколько можно судить изъ обнаруженной до сихъ поръ переписки (см. „Бѣлинскій“, соч. А. Н. Пыпина, т. II, гл. 9), положеніе его во всемъ этомъ недоразумѣніи было между двухъ огней. Онъ то соглашался со своими друзьями относительно ненормальности своего положенія въ „Современникѣ“, писалъ рѣзкія письма о Некрасовѣ и вступалъ съ нимъ въ личныя объясненія, то становился на сторону послѣдняго и начиналъ укорять друзей въ неправильномъ пониманіи дѣла и въ совершенно неосновательномъ охлажденіи ихъ къ „Современнику“.

Для разъясненія этого обстоятельства мы сопоставимъ рядомъ взгляды на него двухъ главныхъ виновниковъ разлада — Бѣлинскаго, въ видѣ писемъ его къ Тургеневу, помѣщенныхъ въ „Воспоминаніяхъ Тургенева о Бѣлинскомъ“ (Вѣстникъ Европы, 1869 г., № 3), и двѣ записки Некрасова, написанныя имъ скорѣе по обнаруженіи Тургеневымъ этихъ писемъ. Вотъ письма Бѣлинскаго.

1) «С.-Петербургъ, 19-го февраля 1847 года.—Получилъ отъ К. ругательное письмо, но не показалъ Некрасову. Послѣдній ничего не знаетъ, но догадывается, а дѣлаетъ все-таки свое. При объясненіи со мною онъ былъ не хорошъ; кашлялъ, зикался, говорилъ, что на то, что я желаю, онъ, кажется, для моей-же пользы согласится никакъ не можетъ по причинамъ, которыя сейчасъ-же объяснить, и по причинамъ, которыхъ не можетъ мнѣ сказать. Я отвѣчалъ, что не хочу знать никакихъ причинъ—и сказалъ мои условія. Онъ повеселѣлъ и теперь при свиданіи протягиваетъ мнѣ обѣ руки; видно, что доволенъ мною вполне! По тону моего письма, вы можете ясно видѣть, что я не въ бѣшенствѣ и не въ преувеличеніи. Я любилъ его, такъ любилъ, что мнѣ и теперь иногда то жалко его, то досадно на него—за него, а не за себя. Мнѣ трудно переболѣть внутреннимъ разрывомъ съ человекомъ, а потомъ—ничего. Природа мало давала мнѣ способности ненавидѣть за лично нанесенныя мнѣ несправедливости; я скорѣе способенъ возненавидѣть человека за разность убѣжденій или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредныя. Я и теперь высоко цѣню Некрасова, и тѣмъ не менѣе онъ въ моихъ глазахъ—человѣкъ, у котораго будетъ капиталъ, который будетъ богатъ, а я знаю, какъ это дѣлается. Вотъ ужъ началъ съ меня. Но довольно объ этомъ.

...Скажу, какъ новость: я, можетъ быть, буду въ Силезіи. Б. дастъ мнѣ 2,500 руб. асс. Я было начисто отказался—ибо съ чѣмъ-же я бы оставилъ семейство—а просить, чтобы мнѣ выдали жалованье за время отсутствія—мнѣ не хотѣлось. Но послѣ объясненія съ Некрасовымъ я подумалъ, что церемониться глупо. Онъ очень былъ радъ, онъ готовъ былъ сдѣлать все, только-бы я... Я написалъ къ Б., и теперь отвѣтъ его рѣшить дѣло.»

2) «С.-Петербургъ, 1-го марта 1847 года.—Скажу вамъ, что я почти переѣхалъ мое мнѣніе насчетъ источника извѣстныхъ поступковъ Некрасова. Мнѣ теперь кажется, что онъ дѣйствовалъ добросовѣстно, основываясь на объективномъ правѣ—а до понятія о другомъ, высшемъ, онъ еще не досрѣлъ, а пріобрѣсти его не могъ, по причинѣ того, что выросъ въ грязной положительности и никогда не былъ ни идеалистомъ, ни романтикомъ на нашъ манеръ.

сочиненія А. СКАБЧЕВСКАГО—II.

Вижу—изъ его примѣра—какъ этотъ идеализмъ и романтизмъ можетъ быть полезенъ для иныхъ натуръ, предоставленныхъ самимъ себѣ. Гадки они—этотъ идеализмъ и романтизмъ; но что за дѣло человеку, что ему помогло дурное на вкусъ лекарство, даже и тогда, если, избавивъ его отъ смертельной болѣзни, привило къ его организму другія, но уже не смертельныя болѣзни; главное тутъ не то, что оно гадко, а то, что оно помогло».

Вотъ что написалъ Некрасовъ подъ главнымъ впечатлѣніемъ этихъ двухъ писемъ:

«Мнѣ попался здѣсь «Вѣстникъ Европы», и я прочелъ выдержки изъ писемъ Бѣлинскаго. Прямо беру ихъ на себя, ибо онъ для меня—не новость. Не такой былъ человекъ Бѣлинскій, чтобы долго молчать. Помолчавъ нѣсколько дней, онъ высказалъ мнѣ горячо и болѣе рѣзко, чѣмъ въ этихъ письмахъ, свое неудовольствіе и свои сожалѣнія о внутреннемъ разрывѣ со мною и съ Панаевымъ. Можетъ быть, плодомъ этихъ объясненій и было второе письмо къ Тургеневу, въ значительной долѣ уничтожающее первое. Сопоставивъ эти два письма, останется, что «Н. дѣйствовалъ добросовѣстно, но не перешелъ той черты, гдѣ начиналась его невыгода, изъ-за принципа, до котораго онъ не досрѣлъ». Кажется, такъ? Я останавливаюсь на этомъ. Я былъ очень бѣденъ и очень молодъ, восемь лѣтъ боролся съ нищетою, видѣлъ лицомъ къ лицу голодную смерть, въ 24 года я уже былъ надломленъ работой изъ-за куска хлѣба. Не до того мнѣ было, чтобы жертвовать своими интересами чужимъ. Бѣлинскій это понималъ, иначе не написалъ-бы въ томъ-же первомъ обвиняющемъ меня письмѣ, что онъ и теперь меня высоко цѣнитъ. А во второмъ письмѣ онъ говоритъ, что почти переѣхалъ свое мнѣніе и насчетъ источника моихъ поступковъ. Съ меня этого довольно. Я не знаю, исчезло-ли въ его воззрѣніи на меня вполнѣ это почти, но отношенія наши до самой его смерти были короткія и хорошия. Я не былъ точно идеалистъ (иначе прежде всего не взялся-бы за журналъ, требующій практическихъ качествъ), еще менѣе былъ я равенъ ему по развитію; ему могло быть скучно со мною, но помню, что онъ всегда былъ радъ моему приходу. Отношенія его ко мнѣ до самой смерти сохранили тотъ характеръ, какой имѣли въ началѣ. Бѣлинскій видѣлъ во мнѣ богато-одаренную натуру, которой недостаетъ развитія и образованія. И вотъ около этого-то держались его бесѣды со мною, имѣвшія для меня значеніе поученія<sup>1)</sup>. Не смотря на сильный по тому времени успѣхъ «Современника» въ первомъ году, мы понесли отъ перваго года 10,000 убытка (въ 1-мъ году «Современникъ» имѣлъ 2,000 подписчиковъ); денежные заботы, необходимость много работать—всѣ, такъ сказать, черныя работы по журналу: чтеніе и исправленіе рукописей, а также добываніе ихъ, чтеніе корректуръ, объясненіе съ цензорами, восстановленіе смысла и связи статей послѣ ихъ карандашей лежали на мнѣ, да и еще писалъ рецензіи и фельетоны,—все это, а также и послѣдовавшія съ февраля 1848 года цензурныя гоненія, сопровождавшіяся крайней шаткостью почвы подъ ногами каждаго причастнаго тогда къ литературѣ—довело здоровье мое до такого разстройства, что Бѣлинскій часто говаривалъ, что я немногимъ лучше его. Бѣлинскій вообще зналъ мою тогдашнюю жизнь до мельчайшей точности и строго говаривалъ мнѣ: «Что вы съ собой дѣлаете, Некрасовъ? смотрите! берегитесь, иначе съ вами то же будетъ, что со мною». При этомъ въ его умирающихъ глазахъ я уловилъ однажды выраженіе, кото-

<sup>1)</sup> Далѣе вычеркнуты Некрасовымъ слѣдующія строки: «онъ ловилъ меня часто на словахъ—и одно слово давало ему поводъ высказать мнѣ многое, что было для меня и ново, и полезно».

рое не умѣю иначе истолковать какъ тою любовью, о которой упоминается въ письмѣ къ Тургеневу, какъ о потерянной мною. Въ этомъ взглядѣ была еще глубокая скорбь. Вспослѣдствіи я узналъ отъ общихъ нашихъ друзей, что въ близкой моей смерти онъ былъ убѣжденъ положительно. Припоминая и тысячу разъ передумывая, я прихожу къ убѣжденію, что главная моя вина въ томъ, что я дѣйствительно не умеръ вскорѣ за нимъ, но за эту вину я готовъ выносить не только клеветы г-на А., но и тонкіе намеки г-на Т., которые онъ хитро старается скрѣпить авторитетомъ Бѣлинскаго.

Вотъ и другая записка подобнаго-же рода, открывающая намъ другую сторону дѣла, именно, отношеніе Некрасова къ Ив. Панаеву.

«Мнѣ попался здѣсь № 4 «Вѣсти. Европы» и я прочелъ намеки Тургенева и выдержки изъ писемъ Б. Прямо беру эти выдержки на себя, ибо онъ для меня не новость: все это, даже въ болѣе прямомъ и рѣзкомъ видѣ слышалъ я отъ самого Бѣлинскаго; онъ былъ не такой человекъ, чтобы молчать. Подушившись на меня нѣсколько дней, онъ самъ высказалъ мнѣ свои неудовольствія и свое сожалѣніе о послѣдовавшемъ въ немъ внутреннемъ разрывѣ со мною. Послѣдовали объясненія не со мною однимъ, но и съ Панаевымъ. Не надо думать, чтобы я имѣлъ тогда вліяніе на Панаева, какое приобрѣлъ впослѣдствіи. Онъ былъ десятью годами старше меня и находился въ эту эпоху на верху своей извѣстности. Я его, какъ и онъ меня — тогда зналъ мало: онъ былъ для меня авторитетъ; притомъ деньги на журналъ были его (моихъ было только 5 т. р. асс., которые незадолго до того дала мнѣ займы на неопредѣленный срокъ Наталья Александровна Герценъ). Даже контрактъ съ Плетневымъ былъ заключенъ на имя одного Панаева. Значитъ, въ сущности, онъ одинъ былъ хозяиномъ дѣла. Только впослѣдствіи, спустя нѣсколько лѣтъ, при перемѣнѣ контракта съ Плетневымъ, прибавлено было въ контрактъ мое имя, чѣмъ права мои уравнились съ правами Панаева. Не хочу этимъ сказать, что Панаевъ помѣшалъ мнѣ сдѣлать желаемое Бѣлинскому, но я не могъ-бы этого сдѣлать помимо его. А мнѣніе Панаева было то-же, что и мое, именно, что представленіе Бѣлинскому доли было-бы бесплодно для него и опасно для дѣла, въ виду неминуемо близкой смерти Бѣлинскаго, которая была рѣшена врачами, что не было тайной ни для кого изъ друзей его: пришлось-бы связать себя въ будущемъ, имѣя дѣло не съ нимъ, а съ его наслѣдниками... Это особенно пугало Панаева.

### IX.

Чтобы вполнѣ ясно представить себѣ нравственный міръ Некрасова въ эту эпоху, въ которую онъ является передъ нами окончательно сформированнымъ человекомъ, надо обратить вниманіе прежде всего на общее состояніе нравственныхъ идеаловъ въ это время, а потомъ мы увидимъ, какъ ярко эти общіе идеалы отразились въ одномъ изъ тогдашнихъ произведеній Некрасова, весьма важномъ въ этомъ отношеніи.

Въ эту эпоху на Западѣ бродили новыя политико-экономическія ученія, которыя представляли собой насущный вопросъ дня, обуславливая собою какъ общественные, такъ и индивидуально нравственные идеалы; но въ нашей жизни эти ученія, если и усвоивались нѣкоторыми наиболѣе передовыми и начитанными людьми, то оставались въ отвлеченной сферѣ науки, безъ малѣйшаго примѣненія не только къ общественнымъ интересамъ, но и къ личному поведенію.

Но этого мало. Люди, увлекавшіеся мечтами объ осуществленіи въ отдаленномъ будущемъ теорій всеобщаго благосостоянія, въ настоящемъ продолжали руководствоваться рутинною практикою жизни: передъ умственными очами ихъ носились такіе нравственные идеалы, которые, не имѣя ничего общаго съ новыми политико-экономическими ученіями, тѣмъ не менѣе увлекали людей, въ свою очередь, какъ нѣчто новое и прогрессивное. Это обуславливалось тѣмъ, что Россія въ эту эпоху доживала свой патріархально-крѣпостной складъ жизни. Съ каждымъ днемъ онъ чувствовался все болѣе и болѣе невыносимымъ. Въ оппозицію крѣпостной распущенности нравовъ, у насъ явились новыя буржуазныя идеалы бережливости, скопидомства, семейной чистоты и наживы путемъ индивидуальнаго труда или честной промышленности. Въ русскомъ обществѣ подобные идеалы развились тѣмъ быстрѣе, что передъ нашими глазами былъ уже готовый образецъ ихъ на Западѣ, гдѣ въ то время буржуазный строй достигъ апогея своего владычества и поражалъ насъ своими успѣхами промышленности, представляя бросающуюся въ глаза противоположность съ сонною неподвижностью и апатіею помѣщичьей жизни, день ото дня клонившейся къ полному разоренію. Въ силу этого, въ литературѣ нашей и начали появляться типы практическихъ Адуевыхъ, энергическихъ Штольцевъ, предприимчивыхъ помѣщиковъ и купцовъ на манеръ англійскихъ пропріетеровъ и негоціантовъ — въ противоположность изнѣженнымъ, распущеннымъ, непрактичнымъ и лѣниво соннымъ обитателямъ Обломовыхъ.

Нѣтъ никакихъ данныхъ, чтобы судить о томъ, успѣлъ-ли усвоить Некрасовъ въ то время, когда вращался въ кружкѣ Бѣлинскаго, тѣ новыя политико-экономическія идеи, которыми до нѣкоторой степени увлекался теоретически кружокъ, и насколько могъ онъ ихъ усвоить; но мы имѣемъ несомнѣнныя данныя, что онъ былъ въ это время всецѣло увлеченъ тѣми буржуазно-нравственными идеалами, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь. Объ этомъ мы можемъ судить по роману его «Три страны свѣта», который, въ цѣломъ своемъ составѣ, представляетъ изъ себя не что иное, какъ апофеозъ честной наживы путемъ энергической, практической предприимчивости. На первыхъ-же страницахъ этого романа рисуется передъ нами герой его Каютинъ въ видѣ интеллигентнаго пролетарія, въ образѣ котораго Некрасовъ вспоминаетъ свою молодость. Каютинъ, подобно автору, вышелъ изъ помѣщичьей среды.

«Отецъ его промотался; на послѣднія деньги отправилъ сына въ Петербургъ къ старому сослуживцу съ просьбою опредѣлить мальчика въ дворянскій полкъ. Съ тѣхъ поръ Каютинъ не видалъ своего отца и своей родины. Старикъ скоро умеръ. Его деревню, проданную съ публичнаго торга, купилъ родственникъ покойнаго, приходившійся дядею нашему герою по матери. Поступить въ дворянскій полкъ возможности не представилось, за что Каютинъ, не чувствовавшій призванія къ военной службѣ, впослѣдствіи горячо возблагодарилъ судьбу. Его отдали въ гимназію. За него платилъ дядя. Каютинъ никогда не отличался особеннымъ прилежаніемъ, но, начавъ понимать свое положеніе, учился настолько хорошо, что выдержалъ экзаменъ въ университетъ. Около того времени дядя, человекъ причудливый,

рѣшительно отказался давать ему содержаніе. Каютино сталъ жить уроками, причемъ имѣлъ удовольствіе убѣдиться собственнымъ опытомъ, какъ труденъ и подчасъ горекъ хлѣбъ, добываемый продажей своего времени въ томъ періодѣ жизни, который нуженъ человѣку на собственное образованіе. Кончивъ курсъ, онъ пробовалъ служить, но служба требуетъ труда упорнаго и непрерывнаго, а Каютину хотѣлось жить. Онъ не всегда являлся аккуратно къ своей должности и подвергался выговорамъ. Тутъ примѣшались дѣла, которыя называютъ сердечными—Каютинъ сошелся съ Поленькой (бѣдной швей-сиротой) и горячо полюбилъ ее: аккуратно ходить на службу не оказалось уже никакой возможности. Каютинъ вышелъ въ отставку и возвратился къ урокамъ, проводя все остальное время у своей невѣсты...

Въ началѣ романа мы находимъ его въ страшной нищетѣ, и вѣсть съ тѣмъ онъ вполне олицетворяетъ собою типъ, выросшій на почвѣ крѣпостного строя жизни. Онъ добръ, великодушенъ, никакая обида и непріятность долго не заставляютъ его въ немъ, и потому онъ вѣчно сохраняетъ веселое настроеніе, и вѣсть съ тѣмъ—онъ лѣнивъ, вѣтренъ, безпеченъ. Хозяинъ выставлялъ у него раму за неплатежъ квартирныхъ денегъ, а онъ возвращаясь поздно домой съ пьяной пирушки, не замѣчаетъ этого, ложится спать въ комнату, продуваемой осеннимъ вѣтромъ, и у него ночью крадутъ послѣднее платье. Отправляясь искать счастья по бѣлу свѣту на послѣднія трудовыя деньги, занятая у Поленьки, онъ проигрываетъ эти деньги въ карты на одной изъ станцій какому-то незнакомому совсѣмъ людямъ, и вслѣдъ за тѣмъ, самовольно завладѣвая ружьемъ смотрителя станціи, отправляется на озеро бить утокъ, затѣмъ попадаетъ на помѣщицью свадьбу и влюбляетъ въ себя невѣсту и т. д. Размышляя съ Поленькой о своемъ печальномъ положеніи, Каютинъ додумывается до слѣдующихъ мыслей, составляющихъ весь узелъ романа:

«— Въ Петербургѣ тебѣ нельзя работать, а въ провинціи дѣлать нечего, — сказала Поленька.

«— Нечего! — воскликнулъ Каютинъ. — Какъ—нечего? Напротивъ, тамъ-то и работа нашему брату! Недаромъ говорятъ, — продолжалъ онъ съ шутиливою торжественностью: — что отечество наше велико и обильно! Въ разнообразной производительности нашихъ лѣсовъ и горъ, земель и необятныхъ рѣкъ скрываются неисчерпаемые источники богатствъ, неразработанные, нетронутые! Нужно только умѣнье, да твердая, желѣзная воля... Бываютъ-же примѣры и у насъ, что человѣкъ, не имѣвшій гроша, черезъ десять, двадцать лѣтъ ворочаетъ сотнями тысячъ; а отчего? онъ отказываетъ себѣ во всемъ, отказывается отъ всего... обрекаетъ себя на безсрочную разлуку съ роднымъ угломъ, съ дѣтьми, со всѣмъ дорогимъ его сердцу... Съ опасностью жизни переплываетъ онъ огромныя пространства на плоту, на дрянной баркѣ, мерзнетъ, мокнетъ, пытается Богъ знаетъ чѣмъ, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну на рубль за доставку чужого хлѣба подкрѣпляетъ и одушевляетъ его въ долгомъ, скучномъ и опасномъ плаваніи. Только успѣлъ онъ вдохнуть спокойно, почувствовать подъ ногами твердую землю, какъ новый выгодный оборотъ увлекаетъ его часто на совершенно-противоположный конецъ нашего необятнаго царства. И вотъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ уже мчитъ на оленяхъ по унылой и однообразной тундрѣ, покупаетъ, вымѣниваетъ у дикарей звѣринныя шкуры, братается съ ними... А черезъ годъ, ему, можетъ быть, придется быть въ Сибири... Та-же опять борьба, лишенія, вѣчный страхъ

и вѣчная, неумирающая надежда... Вотъ какъ куются денюжки, Поленька! «Счастье!» говоримъ мы, когда такой человѣкъ воротится къ намъ съ миллиономъ. А многіе безъ дальнихъ справокъ просто пожалуютъ его въ плуты... Не всѣ наживаются плутнями и рѣшительно никто не наживался безъ долгаго, упорнаго, самоотверженнаго труда... Но мы—бѣлоручки: мы ждемъ, чтобы деньги сами пришли къ намъ, упали съ неба... о, тогда мы радехоньки... да притомъ всѣ мы большіе господа: если мы не служимъ, такъ намъ давай, по крайней мѣрѣ, занятіе профессора, литератора, артиста... Званіе артиста конекъ нашъ,—а купецъ, подрядчикъ, промышленникъ... намъ обидно и подумать! Какъ будто быть дѣятельнымъ купцомъ не почетнѣе и не полезнѣе, чѣмъ ничего недѣлающимъ гулякой, каковъ я, напримѣръ... А, не правда-ли, Поленька?

«— Ну, ты еще будешь дѣлать, — отвѣчала она. — Вѣдь ты годъ только какъ вышелъ изъ университета: когда-же тебѣ...

«— И еще надо взять въ разсчетъ, — началъ Каютинъ, увлеченный своею мыслию: — что люди, пускающіеся у насъ въ такіе отважные промыслы, всѣ они безъ образованія, даже часто безъ свѣдѣній, необходимыхъ въ томъ дѣлѣ, которому они посвящаютъ себя. Врожденный умъ, инстинктъ,—скорѣе: желѣзная настойчивость, постепенно приобретаемый опытъ, русская сметливость, да русское авось—вотъ единственные ихъ руководители... Что-же можетъ сдѣлать человѣкъ, у котораго при доброй волѣ, трудолюбіи, настойчивости и умѣ, разумѣется, есть еще свѣдѣнія?.. Я имѣю,—продолжалъ Каютинъ, одушевляясь болѣе и болѣе начиная скорыми шагами ходить по комнатѣ: — нѣкоторыя свѣдѣнія въ механикѣ, въ горномъ искусствѣ... водяные пути сообщенія были всегда предметомъ особенныхъ моихъ занятій...

«— Поѣзжай въ провинцію! — тихо и нерѣшительно сказала Поленька».

Вслѣдствіе этого разговора Каютинъ и отправился въ провинцію сколачивать копѣйку торговлею. Послѣ долгихъ странствій по тремъ странамъ свѣта, всевозможныхъ мытарствъ, неудачъ, опасностей и разнообразныхъ столкновеній со всевозможнаго рода людьми, Каютинъ прибылъ въ Петербургъ совершенно перерожденнымъ: изъ сонливаго шалопая и бѣлоручки онъ превратился въ предпріимчиваго, энергическаго и практическаго дѣльца и привезъ своей Поленькѣ нѣсколько сотенъ тысячъ, которыя сдѣлали ее счастливой.

Легчаніе подобнаго рода буржуазныхъ идеаловъ въ ту эпоху не только не мѣшало любви и сочувствію къ народу, но даже обѣ вещи казались вполне солидарными другъ съ другомъ и выходящими одна изъ другой. Подобно тому, какъ во Франціи, въ прошломъ столѣтіи, люди, глубоко проникнутые стремленіями улучшить участь народа, воображали, что стоитъ только справиться съ феодализмомъ, и народъ тотчасъ-же процвѣтетъ, вслѣдствіе одного того, что каждому будутъ дарованы право и свобода наживать-ся честнымъ трудомъ по тому или другому промыслу, такъ точно и у насъ разсуждало большинство интеллигентныхъ людей до крымской кампаніи: отрицалось одно заѣданіе крестьянскаго хлѣба на почвѣ крѣпостнаго права, и въ этомъ одномъ видѣлось все зло, при чемъ думали, что стоитъ только освободить народъ отъ крѣпостной зависимости, и ничто не помѣшаетъ ему наживаться въ волюшку, мирно эксплуатирова богатства роднаго края.

На такой точкѣ зрѣнія стоялъ и Некрасовъ, когда писалъ свои „Три страны свѣта“. Но было-бы совершенно ошибочно предполагать, чтобы однимъ идеаломъ узкаго практицизма весь исчерпывался этотъ человекъ. Въ тѣхъ-же „Трехъ странахъ свѣта“, во второмъ томѣ ихъ, въ дневникѣ Каютина, мы видимъ нѣсколько какъ-бы случайно брошенныхъ взглядовъ на русскаго крестьянина, взглядовъ, глубоко прочувствованныхъ и весьма многознаменательныхъ, которые совершенно выходятъ изъ рамокъ того времени, въ которое были высказаны, и не теряютъ своей современности до сегодня. Взгляды эти показываютъ намъ все богатство и многостороннюю сложность натуры Некрасова. Вотъ эти взгляды:

«Въ моихъ странствованияхъ, и несчастіяхъ, и трудахъ одна была у меня отрада, безъ которой, можетъ быть, я не вынесъ-бы своей тяжелой раны. Не зналъ я русскаго крестьянина; готовая истина была въ основѣ моего о немъ мнѣнія. Какъ всѣ мы, изъяснялъ я каждый поступокъ его по вѣщности факта, а еще чаще старался удалиться такихъ мыслей, также какъ и столкновений съ простымъ классомъ».

«Но необходимость свела меня съ нимъ, скука и общая доля сблизила; познакомился и породнился я съ русскимъ крестьяниномъ... среди моря, гдѣ равно каждому не разъ грозила смерть, въ снѣжныхъ степяхъ, гдѣ отогревали мы другъ друга рукопашной борьбой, а подъ-часъ и дыханьемъ, въ сырой и тѣсной избѣ, гдѣ голодные и холодные жалѣли мы другъ къ другу, шестьдесятъ дней не видя солнца Божьяго...

«Труденъ доступъ къ его сердцу. Онъ суровъ, неразговорчивъ, неохотно обнаруживаетъ свое чувство; глубоко запрятываетъ въ душу тяжелую кручину. Ошибается тотъ, кто иначе думаетъ, кто, побродивъ по базару въ праздничный день, увидавъ двѣ—три деревенскія сходки, поговоривъ, хотъ и за чаркой, съ нѣсколькими мужиками, думаетъ знать всю ихъ подноготную... Жалокъ такой наблюдатель! Нѣтъ, сердце его открывается не всякому и не вдругъ. Вотъ ужъ, кажется, ты довольно сблизился съ нимъ: онъ воленъ съ тобою въ обращеніи, и за словомъ въ карманъ не ходитъ; ты думаешь, говоритъ онъ тебѣ свою подноготную... Погоди, она у самого у него неясна, а ты не настолько расположилъ его къ себѣ и расшевелилъ, чтобы она у него выяснилась, облеклась въ слово... Ты самъ скоро убѣдишься, что не поймалъ еще истины, когда замѣтишь, что черезъ день онъ уже говоритъ не то, съ полнымъ равнодушіемъ, которое такъ часто тебя обманывало, приводя къ ложнымъ и неотраднымъ выводамъ! Будешь говорить ты съ нимъ еще разъ, узнаешь больше, услышишь много опять новаго, но и тутъ часто не то еще, чего ищешь... Будь простъ и добръ, а главное—будь искрененъ, спрячь подальше чувство собственного превосходства, умѣй отстранить всѣ порывы неизбежной надменности, которая невольно пробивается въ подобныхъ отношеніяхъ, да еще не показывая, что ты стараешься подъ него подладиться, и тогда только можешь ждать его искренности...

«И тогда увидишь ты, что въ немъ есть душа, чувство, энергія, а что главное, въ немъ много ироніи, ироніи дѣльной и мѣткой, которая уже, можетъ быть, давно твою собственную особу пустила ходячей притчей по всему околотку...

«Ни въ комъ, кромѣ русскаго крестьянина, не встрѣчалъ я такой удалы и находчивости, такой откровенности, при совершенномъ отсутствіи хвастовства (замѣтьте—черта важная!) и, опять повторяю, такой удивительной насмѣшливости. Эти черты ужели мало говорить въ пользу его?

«Я много люблю русскаго крестьянина, потому что хорошо его знаю. А кто, подобно многимъ на-

шимъ, послѣ обычной «жажды дѣлъ», впасть въ апатию и сидить, сложа руки, кого тревожатъ скептическія мысли, безотрадные, безвыходные, тому совѣтую я, подобно мнѣ, прокатиться по раздольному нашему царству, побывать среди всякихъ людей, посмотреть всякихъ видовъ».

«Въ столкновении съ народомъ, онъ увидитъ, что много жизни, здоровыхъ и свѣжихъ силъ въ нашемъ миломъ и дорогомъ отечествѣ, увидитъ, что все идетъ впередъ... можетъ быть иначе, чѣмъ думали кабинетные теоретики, но совершенно согласно съ характеромъ народнымъ, съ его судьбами, древними и настоящими, и съ неизмѣннымъ закономъ историческимъ... Увидитъ и устыдится своего бездѣйствія, своего скептицизма, и самъ, какъ русскій человекъ, разохотится, расхочется: откинеть лѣнь и положить посильный трудъ въ сокровищницу развитія, славы и процвѣтанія русскаго народа»...

• Вотъ что думалъ Некрасовъ въ моментъ смерти Бѣлинскаго и въ первые годы изданія „Современника“.

Здѣсь, кстати, не лишнимъ будетъ сказать нѣсколько словъ какъ о беллетристикѣ, такъ и вообще о прозѣ Некрасова. Изъ беллетристическихъ произведеній Некрасова наиболѣе извѣстны: „Опытная женщина“, повѣсть, напечатанная въ „Отечественныхъ Запискахъ“, 1841 г.; „Необыкновенный завтракъ“, „Отеч. Зап.“, 1843 г.; „Петербургскіе углы“ въ „Физиологіи Петербурга“ 1846 г.; „Три страны свѣта“, „Современникъ“ 1848—1849 г.; „Новоизобрѣтенная привилегированная краска Дирлинга и К<sup>о</sup>“, „Совр.“ 1850 г.; „Мертвое озеро“, „Совр.“ 1851 г.; „Тонкій человекъ“, „Совр.“ 1855 г. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ Некрасовъ является полнымъ приверженцемъ натуральной школы. Во многихъ мѣстахъ онъ впадаетъ въ явное подражаніе Гоголю, какъ относительно его юмора, такъ и манеры изображенія пошлости, преимущественно, въ мелочахъ обыденной жизни. Такъ, напримѣръ, „Новоизобрѣтенная привилегированная краска“ очень напоминаетъ собою „Невскій проспектъ“ Гоголя. Сюжетъ этой повѣсти заключается въ томъ, что петербургскій шалопай, въ родѣ поручика Пирогова, влюбится за женою красильщика Дирлинга, а тотъ подбѣгаетъ это и жестоко мститъ ему тѣмъ, что выкрашиваетъ его физиономію своей нелінійной краской и ставитъ его въ весьма непріятное положеніе передъ невѣстой, за которую герой сватается. Въ то-же время, въ беллетристикѣ Некрасова преобладаетъ конкретный, фотографическій элементъ. Большинство характеровъ и даже сюжетовъ взяты непосредственно изъ дѣйствительности. Изъ этого не исключается даже и такой сложный по составу и мѣстами сказочный романъ, какъ „Три страны свѣта“, написанный на манеръ французскихъ романовъ школы Евгенія Сю. Въ романѣ этомъ найдется не мало живыхъ чертъ тогдашней петербургской жизни. Такъ, напримѣръ, всѣ подробности о книгопродавческой фирмѣ Кирпичева и К<sup>о</sup> представляются фотографическими снимками съ одной изъ извѣстнѣйшихъ въ то время книгопродавческихъ фирмъ.

По свидѣтельству Авд. Як. Головачевой (бывшей Панаевой) писаніе „Трехъ странъ свѣта“ происходило такъ: сначала Н. А. Некрасовъ съ г-жею Панаевой составили общими совѣщаніями сюжетъ романа, а потомъ распредѣлилъ, какую кому изъ нихъ писать



главу, и у г-жи Головачевой есть томъ „Трехъ странъ свѣта“, въ которомъ обозначено, что было написано ею и что Некрасовымъ. Изъ этихъ отиѣтокъ видно, что все, касающееся интриги и вообще любовной части романа, принадлежитъ перу г-жи Панаевой; Некрасовъ-же на свою долю избралъ детальную, аксессуарную часть, комическія сцены, черты современной жизни и описаніе путешествій Каютина. Затѣмъ, если въ романѣ участвовало третье лицо, то оно пародируетъ въ видѣ какого-то купца, который разсказалъ Некрасову во всѣхъ подробностяхъ, какъ проводятъ барки черезъ боровицкіе пороги. Руководствуясь этимъ разсказомъ, Некрасовъ совсѣмъ переделалъ 6-ю главу 4-й части романа, такъ какъ онъ никогда не былъ на боровицкихъ порогахъ и описалъ-было несовсѣмъ вѣрно крушеніе барокъ Каютина.

Что-же касается „Мертваго озера“, то Некрасову принадлежатъ въ немъ лишь одинъ сюжетъ, въ составленіи котораго онъ принималъ участіе вмѣстѣ съ г-жею Панаевой, и много что двѣ-три главы. А затѣмъ Некрасовъ захворалъ, слегъ въ постель и рѣшительно отказался продолжать романъ. Такимъ образомъ, „Мертвое озеро“ почти всецѣло принадлежитъ перу г-жи Панаевой.

Что касается до прозы Некрасова въ истинномъ смыслѣ этого слова, то вся она состоитъ изъ критики, рецензій, журналистики, фельетоновъ, носившихъ въ то время характеристическое названіе „сѣси“ и т. п. Какъ на болѣе выдающіяся и позднѣйшія его критическія статьи, мы можемъ указать на „Журнальныя замѣтки“ въ „Современникѣ“ 1856 года, которыя онъ писалъ по случаю отъѣзда за границу И. Панаева, завѣдывавшаго этимъ отдѣломъ. Статьи эти можно легко отличить по тому, что всѣ онѣ начинаются со слова „читатель“ (на это отличіе есть письменное указаніе въ бумагахъ Некрасова).

Какъ критикъ, Некрасовъ является защитникомъ „натуральной школы“ отъ различныхъ нападокъ на нее какъ въ московской, такъ и въ петербургской прессѣ, и вообще, не вводя ничего новаго, онъ твердо придерживается идей Бѣлинскаго. Тонъ его рецензій и журнальныхъ обзорѣвъ отличается бросающеюся въ глаза благодушною мягкостью и отсутствіемъ всякаго полемическаго задора. Каждого писателя онъ, прежде чѣмъ выразить свое несогласіе съ нимъ, старается осыпать лестными похвалами, въ каждой разбираемой вещи старается открыть свои хорошія стороны и достоинства. Трудно объяснить причину подобнаго характера его критическихъ замѣтокъ: происходилъ-ли онъ вслѣдствіе цензурныхъ условій того времени, когда маломальски задорный, рѣзкій тонъ, хотя-бы не заключавшій въ себѣ ни малѣйшаго слѣда чего-либо политическаго, возбуждалъ уже подозрѣнія цензуры, какъ нѣчто нарушающее мирное настроеніе общества и благочиніе, — или это зависѣло оттого, что въ то время количество литературныхъ силъ было еще крайне ограничено, всѣ литераторы, болѣе или менѣе знакомые между собою, не раздѣлялись еще на такіе непримиримо враждебные лагеря, какъ впоследствии, а, напротивъ того, сближались общими тяжелыми условіями ихъ положенія, наконецъ, въ рѣдкомъ изъ нихъ Некрасовъ не подозрѣвалъ человѣка,

который завтра-же могъ пригодиться въ качествѣ сотрудника „Современника“; такъ что здѣсь руководилъ Некрасовымъ особенный тактъ журналиста, хотя, конечно, мягкость Некрасовской критики могла обуславливаться и благодушными чертами его характера. По крайней мѣрѣ, въ бумагахъ Некрасова находится слѣдующая замѣтка, записанная сестрою покойнаго съ его словъ. Дѣло идетъ о началѣ знакомства Некрасова съ Бѣлинскимъ, когда Некрасовъ не былъ еще издателемъ журнала. Онъ написалъ въ то время рецензію на романъ Загоскина въ какой-то газетѣ. Позже, когда Бѣлинскій познакомился съ Некрасовымъ, онъ сказалъ ему:

— Вы вѣрно смотрите, но зачѣмъ вы расхвалили Ольгу?

— Нельзя, говорятъ, ругать все сплошь, — отвѣчалъ Некрасовъ.

— Надо ругать все, что не хорошо, Некрасовъ, возразилъ Бѣлинскій: — нужна одна правда!

## Х.

Журнальную дѣятельность Некрасова, начиная съ основанія „Современника“, можно раздѣлить на три періода: первый періодъ — съ 1847 по 1855 годъ представляется самой мрачной эпохой, какъ въ его журнальной дѣятельности, такъ и вообще въ жизни. Бѣлинскій умеръ въ 1848 году. Наступилъ періодъ самой мрачной реакціи, ударившейся въ панику подъ впечатлѣніемъ европейскихъ событій 1848 года. Журналъ все это время висѣлъ на волоскѣ, безъ денегъ, безъ подписчиковъ, подъ непрестаннымъ Дамокловымъ мечомъ цензуры. До какой степени доходила въ то время строгость цензуры, можно судить по „Иллюстрированному Альманаху“, который издатели „Современника“ обѣщали выдать своимъ подписчикамъ въ приложеніи къ журналу въ 1848 году. Альманахъ этотъ предполагался въ видѣ увѣсистаго тома, въ родѣ „Петербургскаго Сборника“, но онъ таялъ, таялъ и достигъ до 7½ печатныхъ листовъ, но и въ такомъ тощесѣ видѣ разсылка его подписчикамъ „Современника“ была воспрещена, и подписчики были такимъ образомъ невольны обмануты. Между тѣмъ сборникъ заключалъ въ себѣ самыя невинныя вещи: „Семейство Тальниковыхъ“ Станицкаго, „Лола Монтезъ“, Дружинина, „Смотрины и рукобиты“ В. Даля, „Встрѣча на станціи“ И. Панаева, „Старушка“ Майкова, „Заборовъ“ Гребенки и проч. Вся бѣда была въ томъ, что большинство этихъ произведеній принадлежало къ натуральной школѣ, въ которой въ то время видѣли все зло и которую положили по возможности истребить съ корнемъ.

Съ 1853 года положеніе „Современника“ сдѣлалось еще болѣе критическимъ: началась война, которая убавила число подписчиковъ и безъ того довольно скудное. Однимъ было не до чтенія журналовъ въ это мрачное время, другіе предпочли журналу газету. Въ 1856 году Некрасовъ предпринялъ было изданіе своихъ стихотвореній, но изданіе это было безусловно запрещено. Ко всему этому присоединилась тяжелая болѣзнь, которая была слѣдствіемъ частію ненормальной жизни въ молодости, частію не-



устанной, изнурительной работы, такъ какъ въ это время весь журналъ лежалъ на его плечахъ. Это была упорная, неподдававшаяся никакимъ леченіямъ болѣзнь горловыхъ органовъ. Лучшіе доктора русскіе и иностранные опредѣлили горловую чахотку и присудили его къ неизбѣжной смерти. Видя передъ собою приближеніе могилы, поэтъ, какъ это было и впоследствии лѣтъ черезъ двадцать, началъ писать свои послѣднія пѣсни:

Душа мрачна, мечты мои унылы,  
Грядущее рисуется темно.  
Привычки, прежде милыя, постылы,  
И горекъ дымъ сигары. Рѣшено!  
Не ты горька, любимая подруга  
Ночныхъ трудовъ и одинокихъ думъ—  
Мой жребій горекъ. Жаднаго недуга  
Я не избѣгъ. Еще мой свѣтелъ умъ,  
Еще въ надеждѣ глупой и послушной  
Не ищетъ онъ отрады малодушной.  
Я вижу все... А рано смерть идетъ,  
И жизни жалъ мучительно. Я молодой,  
Теперь поменьше мелочныхъ заботъ,  
И рже въ дверь мою стучится голодъ:  
Теперь бы могъ я сдѣлать что нибудь.  
Но поздно!... И т. д.

Въ сущности же, было не только не поздно, но, напротивъ того, рано: настоящая дѣятельность Некрасова, наиболѣе благотворная и широкая, предстояла ему еще впереди. Какъ ни мрачны были тучи, со всѣхъ сторонъ сгустившіяся надъ его головою, и какъ ни казалось, что и конца имъ не будетъ, что его ждетъ впереди одна неминуемая гибель, но вдругъ повѣяло отраднымъ тепломъ, тучи разсѣялись, засіяло солнышко, бури какъ не бывало, и новою жизнью и энергіею преисполнился совсѣмъ было увядшій поэтъ. Во-первыхъ, болѣзнь вовсе не оказалось такою смертельною, какъ предрекли медики. Профессоръ медико-хирургической академіи Шипулинскій опредѣлилъ ее совсѣмъ иначе и предписалъ сообразно своему опредѣленію леченіе, шедшее въ полный разрѣзъ со всѣми мнѣніями знаменитостей, и выздоровленіе Некрасова, тщетно проводшаго передъ тѣмъ зиму въ Римѣ и забывшаго тамъ немилосердно въ холодныхъ отеляхъ, пошло такъ быстро, что вскорѣ отъ мнимой чахотки не осталось и слѣда, кромѣ нѣкоторой слабости голоса. А затѣмъ кончилась крымская война, началась эпоха либерализма и реформъ. „Современникъ“ ожилъ: къ нему начали приливать новыя могучія литературныя силы, и количество подписчиковъ съ каждымъ годомъ начало возрастать тысячами.

## XI.

Здѣсь начинается второй періодъ журнальной дѣятельности Некрасова, который слѣдуетъ считать съ 1856 по 1866 годъ. Это былъ періодъ наибольшаго развитія силъ и дѣятельности Некрасова.

Умственный и нравственный горизонтъ поэта значительно раздвинулся подъ вліяніемъ того сильнаго движенія, какое началось въ обществѣ, и тѣхъ новыхъ людей, которые окружили его. Прежніе идеалы оттѣсняются новыми, и подобно тому, какъ Вѣлинскій не любилъ, когда ему напоминали объ его прежнихъ статьяхъ, въ родѣ „Бородинской годовщины“

или „Менцеля“, такъ и Некрасовъ неохотно потомъ вспоминалъ о грѣхахъ своей молодости, въ родѣ „Трехъ странъ свѣта“. Это просвѣтленіе отразилось и въ творчествѣ поэта. Изъ прежняго горячаго, но крайне неопредѣленнаго протестанта противъ пошлости, рабства и всяческаго угнетенія, онъ теперь обращается въ пѣвца народнаго горя—въ широкомъ и глубокомъ, но вполне опредѣленномъ смыслѣ. Все лучшее и наиболѣе сильное написано имъ въ этотъ второй періодъ его журнальной дѣятельности: „Размышленія у параднаго подъѣзда“, „Морозъ Красный носъ“, „Коробейники“, „Желѣзная дорога“, „Крестьянскія дѣти“ и проч. Въ то же время не перестаетъ онъ принимать дѣятельное участіе и въ изданіи журнала: и своимъ руководствомъ, и своими практическими совѣтами, и связями, и, наконецъ, личными трудами. Такъ, между прочимъ, ему принадлежитъ мысль о приложеніи „Свистка“ къ „Современнику“. Мысль эта явилась у него еще во время пребыванія въ Римѣ въ 1856 году. Ему тамъ часто попадалась въ руки одна изъ мѣстныхъ сатирическихъ газетъ и, подъ впечатлѣніемъ ея, онъ вознамѣрился завести „Свистокъ“ при „Современникѣ“. Въ „Свисткѣ“ этомъ было помѣщено не мало его сатирическихъ куплетовъ, изъ которыхъ нѣкоторые вошли въ приложеніе ко 2-й части полнаго собранія его сочиненій. Между прочимъ, ему принадлежитъ „Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ“, приписанная Добролюбову и напечатанная въ IV томѣ сочиненій Добролюбова (см. стр. 518, изд. 1871 г.). Добролюбовъ написалъ лишь одни примѣчанія къ этимъ куплетамъ. Въ то же время, и матеріальное благосостояніе Некрасова окончательно упрочилось лишь въ этотъ второй періодъ его жизни. Кромѣ успѣха „Современника“, Некрасовъ не мало былъ обязанъ этимъ и изданію своихъ стихотвореній, которое было, наконецъ, ему разрѣшено въ 1860 году, вслѣдствіе ходатайства графа Александра Владиміровича Адлерберга. По этому поводу въ бумагахъ Некрасова находится слѣдующаго рода собственноручная его записка:

„Великая моя благодарность графу А. В. Адлербергу, онъ много сдѣлалъ для меня, выхлопотавъ въ 60 году позволеніе на изданіе моихъ стихотвореній, что запретилъ Норовъ въ 1856 году. Это дало мнѣ до 150,000. Желаю, чтобы это было напечатано послѣ моей смерти. Н. Некрасовъ“.

Прекращеніемъ „Современника“, въ 1866 году, кончается второй періодъ журнальной дѣятельности Некрасова, и затѣмъ слѣдуютъ два года переходнаго состоянія, весьма тяжелаго. Съ 1868 года начинается третій періодъ, въ которомъ Некрасовъ является уже во главѣ „Отечественныхъ Записокъ“, и періодъ этотъ длится до его смерти.

Въ эти послѣднія десять лѣтъ своей жизни, Некрасовъ былъ все также дѣятеленъ и бодръ духомъ, талантъ его стоялъ все на той-же высотѣ, и творчество его ознаменовалось рядомъ произведеній, не уступающихъ прежнимъ — каковы: „Русскія женщины“, „Кому на Руси жить хорошо“ и проч.; но въ то же время физическія силы начали измѣнять ему съ каждымъ годомъ, онъ замѣтно старѣлъ, хилѣлъ,

а въ послѣднія пять лѣтъ часто началъ и прихварывать.

Жизнь въ послѣдніе годы велъ онъ довольно однообразную. Зимы проводилъ въ своей городской квартирѣ, на Литейной, въ домѣ Краевского, въ которой онъ прожилъ лѣтъ двадцать. Зимой писалъ онъ весьма мало. Лѣтомъ уѣзжалъ или къ брату, въ ярославское имѣніе послѣдняго, или же въ Чудово, гдѣ онъ имѣлъ охотничью дачу. Тутъ-то обыкновенно, среди сельской обстановки и природы, и возбуждалось въ немъ поэтическое творчество, и рѣдка осень обходилась безъ того, чтобы, по возвращеніи въ городъ, онъ не привозилъ чего-либо новаго, что читалъ обыкновенно друзьямъ и обрабатывалъ для печати, пока столичная жизнь не втягивала его въ свое колесо. Большое вліяніе на его творчество имѣла врожденная и унаслѣдованная отъ отца страсть къ охотѣ. Объ этомъ предметѣ вотъ какія свѣдѣнія сообщаетъ сестра покойнаго:

«Братъ мой всю жизнь любилъ охоту съ ружьемъ и легкой собакой. Десяти лѣтъ, онъ убилъ утку на Пчельскомъ озерѣ. Былъ октябрь; окранны озеро уже заволокло льдомъ; собака не шла въ воду. Онъ поплылъ самъ за уткой и досталъ ее. Это стоило ему горячки, но отъ охоты не отвалило. Отецъ бралъ его на свою псовую охоту, но онъ не любилъ ее. Приучили его къ верховой ѣздѣ очень оригинально и не особенно нѣжно. Онъ самъ рассказывалъ, что однажды восемнадцать разъ въ день упалъ съ лошади. Дѣло было зимой—мягко. За то послѣ всю жизнь онъ не боялся никакой лошади и смѣло садился на клячу и на бѣшеннаго жеребца. Но ѣздить любилъ шагомъ и хорошо стрѣлялъ съ лошади.

«По мѣрѣ того, какъ средства его росли и онъ дѣлался самостоятельнымъ, онъ придавалъ охотѣ своей характеръ, по своему вкусу и своимъ планамъ. Охота была для него не одною забавою, но и средствомъ знакомиться съ народомъ. Каждое лѣто періодически повторялось одно и то же. Поработавъ нѣсколько дней, братъ начиналъ собираться. Это значило, подавали къ крыльцу простую телегу, которую нагружали провизіей и порохомъ. Затѣмъ, вечеромъ, или рано утромъ на другой день, братъ отправлялся самъ въ легкомъ экипажѣ съ любимой собакой, рѣдко съ товарищемъ. Товарища на охотѣ братъ не любилъ. Онъ пропадалъ на нѣсколько дней, иногда на недѣлю и болѣе. По рассказамъ, происходило вотъ что: въ разныхъ пунктахъ охоты у него были уже знакомцы — мужики-охотники. Онъ до каждаго добѣжалъ и охотился въ его мѣстности. Побѣдъ, сперва изъ двухъ троекъ, доходило до пяти, брались почтовые лошади, ибо братъ собиралъ своихъ провожатыхъ и уже не отпускалъ ихъ до известнаго пункта.

«По окончаніи утренней охоты, выбиралось удобное мѣсто; братъ со всей компаніей завтракалъ, говорилъ самъ мало или дремалъ. Компанія, которая получала не мало водки и сколько угодно мяса, была разговорчива—братъ слушалъ, или нѣтъ, это—его дѣло.

«Онъ говаривалъ, что самый талантливый процентъ изъ русскаго народа отдѣляется въ охотники; рѣдкій разъ не привозилъ онъ изъ своего странствованія какого-либо запаса для своихъ произведеній. Такъ, однажды, при мнѣ онъ вернулся и засѣлъ за «Коробейниковъ», которыхъ потомъ при мнѣ читалъ крестьянину Кузьмѣ. Въ другой разъ засѣлъ на два дня—и явились «Крестьянскія дѣти». Въ самомъ дѣлѣ, развѣ можно выдумать форму этой идилліи? этотъ сарай съ цвѣтными глазами:

Чу! шопотъ какой-то... а вотъ вереница  
Вдоль щели внимательныхъ глазъ!  
Все сѣрые, каріе, синіе глазаки—  
Смѣшались, какъ въ полѣ цвѣты... И т. д.

«Орина, мать солдатская, сама ему рассказывала свою ужасную жизнь. Онъ говорилъ, что нѣсколько разъ дѣлалъ крюкъ, чтобы поговорить съ нею; а то боялся сфальшивить. Одно стихотвореніе, о которомъ сожалѣлъ, что не написалъ его, это — эпиграмма. Съ однимъ изъ своихъ друзей—охотниковъ, онъ однажды переходилъ кладбище—Гаврило рассказывалъ ему о покойникахъ, могилы которыхъ обращали на себя вниманіе брата. Я помню только эпиграфъ:

Зимой игралъ въ картишки  
Въ уѣздномъ городишкѣ,  
А лѣтомъ жилъ на волгѣ,  
Травилъ зайчишекъ груды,  
И умеръ пьяный въ полѣ  
Отъ водки и простуды.

«На зимней охотѣ съ нимъ, однажды, былъ казусъ. Онъ набралъ до восьмидесяти человекъ и ѣхалъ на медвѣдя. Мужики шли впереди. Увидѣвъ братъ зарево пожара и всю свою команду повернувшую отъ медвѣдя туда. Деревню спасли, но охота на этотъ день пропала. Мужики не жалѣли медвѣдя, и убить его брату не пришлось, а деньги отдалъ. Надували его мужики много, но часто поступали съ нимъ честно. Кругъ его лѣтней охоты — луга смежныхъ губерній — Ярославской, Костромской, Владимирской. Онъ ихъ хорошо зналъ, и большая часть его типовъ принадлежитъ средней Россіи. Память у него была удивительная; онъ записывалъ однимъ словечкомъ цѣлый рассказъ и помнилъ его всю жизнь по одному записанному слову. При работѣ, тетради эти съ непонятными никому отиѣтками были передъ его глазами».

## ХП.

Первые признаки болѣзни, сведшей Некрасова въ могилу, появились уже въ началѣ 1875 года, но Некрасовъ перемогался больше года, продолжая вести прежнюю жизнь и не обращая особеннаго вниманія на болѣзнь, которую приписывалъ геморроидальнымъ припадкамъ, и былъ увѣренъ, что они не представляютъ никакой серьезной опасности. Но къ веснѣ 1876 года, болѣзнь начала заявлять себя такъ сильно и мучительно, что потребовала уже серьезнаго леченія. Лѣто провелъ Некрасовъ въ Гатчинѣ, въ упорной борьбѣ со своею болѣзнію, а осенью долженъ былъ ѣхать въ Крымъ, сильно уже ослабѣвшій и изнеможенный. Вернулся онъ изъ Крыма, гдѣ пользовался его докторъ Воткинъ, зимою въ Петербургъ—и уже почти не вставалъ съ постели, изрѣдка только прогуливаясь по комнатѣ. Жестокія нервныя боли, увеличиваясь день ото дня, къ веснѣ 1877 года, дошли до нестерпимыхъ, чисто адскихъ мукъ. Въ рѣдкія минуты успокоенія Некрасовъ не переставалъ слѣдить за литературою и жизнію, читалъ газеты, корректуры, писалъ свои послѣднія пѣсни. Такъ, во время пребыванія своего въ Крыму, онъ написалъ, по словамъ докт. Н. А. Бѣлоголова («Болѣзнь Н. А. Некрасова», «Отеч. Зап.» 1878 г., № 10), поэму въ 1800 стиховъ, посвятивъ ее лечащему его тогда С. П. Воткину. Препятствія, встрѣтившіяся къ напечатанію этой поэмы, были послѣдними литературными неприятностями Некрасова. Жестоко пораженный этимъ

неудачею, Некрасовъ встрѣтилъ однажды Бѣлоголоваго слѣдующими словами:

— Вотъ оно, наше ремесло — литература! Когда я началъ свою литературную дѣятельность и написалъ первую свою вещь, то тотчасъ-же встрѣтился съ ножницами; прошло съ тѣхъ поръ 37 лѣтъ, и вотъ я, умирая, пишу свое послѣднее произведение, и опять-таки сталкиваюсь съ тѣми-же ножницами!

Сознаніе близости смерти не покидало его еще съ осени 1876 года. Уже тогда, вспоминая свою прежнюю болѣзнь (50-хъ годовъ) и сравнивая его съ настоящей, онъ говорилъ:

— Тогда всѣ доктора въ одинъ голосъ приговорили меня къ смерти, а у меня внутри не переставало жить убѣжденіе, что я останусь жить, а теперь совсѣмъ наоборотъ: доктора все обнадеживаютъ, а я убѣжденъ, что мнѣ не встать...

Какое было положеніе Некрасова весной 1877 года, можно судить по слѣдующему листочку, сохранившемуся въ его бумагахъ:

«Мартъ, 77 г. — Худо мнѣ! Мой домъ — постель. Мой міръ — двѣ комнаты: пока освѣжаютъ одну — лежу въ другой. Поль-рюмки кипрекаго меня опьяняютъ; гранъ опіума дѣлаетъ меня идіотомъ, не всегда давая сонъ. Стиховъ уже писать не могу, но днями нападаетъ на меня самоубійствіе. На-дняхъ муза моя на прощанье пропѣла мнѣ такую пѣснь:

Пускай чуть слышенъ голосъ твой,  
Не громки тѣмъ пѣснопѣнья;  
Но ты восприняешь за чертой  
Неотразимаго забвенья!»

12-го апрѣля 1877 года, была сдѣлана надъ Некрасовымъ вѣнскимъ хирургомъ, Вильротомъ, операція, которая спасла его отъ неминуемо-угрожавшей смерти, въ нѣкоторой степени облегчила его страданія и продлила его существованіе на восемь съ половиною мѣсяцевъ.

Но незавидно было это — не столько существованіе, сколько постепенное угасаніе. Больной былъ такъ слабъ, что лѣтомъ, несмотря на всю необходимость для него сухого, здороваго и свѣжаго воздуха, его могли едва перевезти на Черную-Рѣчку, гдѣ онъ провелъ лѣто на дачѣ графа Строгонова. Какъ онъ страдалъ и что онъ чувствовалъ въ это время, объ этомъ можно судить по слѣдующему, сохранившемуся въ его бумагахъ, листочку его дневника, который онъ принялся-было писать во время своей дачной жизни:

«14-го іюня. — Буду писать, что приходитъ въ голову; надо же убивать время.

Онъ не былъ злобенъ и коваренъ,  
Но былъ мучительно ревнивъ,  
Но былъ въ любви неблагодаренъ  
И къ дружбѣ нерадивъ.»

«Сибиряки обнаружили особенную симпатію ко мнѣ со времени моей болѣзни. Много получаю стиховъ, писемъ и телеграммъ. Было двѣ съ двумя десятками подписей. Я хотѣлъ сдѣлать на это намекъ въ стихотвореніи «Баюшки-баю» — и было тамъ четыре стиха:

И ужъ нестись изъ дебрей снѣжныхъ  
На гробъ твой лавры и вѣнецъ  
Друзей невѣдомыхъ и нѣжныхъ  
Хранимый Богомъ посланецъ.

— да побоялся, не глухо-ли будетъ. А теперь этого вопроса рѣшить не могу и подавно.

«Вообще, изъ страха и нерѣшительности и за потерю памяти, я передъ операціей, испортилъ въ поэмѣ «Мать» много мѣстъ, замѣнилъ точками нѣныя строки.

«Очень тяжело растрвоживать мысли — сейчасъ боли, какъ и въ эту минуту.

15-е іюня за полдень.

16-го іюня — Любимое стихотвореніе Бѣлинскаго было:

Въ степи мірской, широкой и безбрежной  
(Пушкинъ).

«Я же когда-то очень любилъ стиховъ. Лермонтова «Бѣлѣтъ парусъ одинокій» и т. д. А теперь все повторяю:

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день.  
(Пушкинъ).

«16-го іюня, 7-й часъ.

«Хотѣлъ было анализировать свое положеніе и свои ощущенія, но слишкомъ это мрачная работа, прибавишь себѣ муки — а ся много!

«Не забыть отвѣтить Ир...ву (поэтъ-юноша грамотный, но дарованія не замѣтно); пишеть, что прибылъ въ Петербургъ на занятія деньги.

«Всего болѣе страшно, чтобы мое теперешнее положеніе не затянулось — или хоть немного-бы лучше, или поскорѣй-бы конецъ.

«Ничего не понимаю, что со мной дѣлается. Очень тяжело. Дождь! (Воскресенье).»

Такъ изнывалъ поэтъ, борясь со своею смертію, и единственнымъ отраднымъ утѣшеніемъ для него въ это время было скорбное участіе въ его болѣзни всего русскаго общества. Со всѣхъ концовъ Россіи, изъ самыхъ дальнихъ ея участковъ стекались къ нему письма, стихотворенія, телеграммы, выражавшія глубокое, искреннее сочувствіе къ нему, какъ къ поэту народной скорби, вмѣстѣ съ пожеланіями долголѣтней жизни и избавленія отъ болѣзни.

«При всей скрытности своего характера, — говорить д-ръ Бѣлоголовый, — и необыкновенномъ умѣннѣ владѣть собой, онъ не могъ не выражать ясно, какъ всѣ эти манифестаціи его трогали и возвышали въ собственныхъ глазахъ. Разъ какъ-то, показывая мнѣ двѣ телеграммы, полученныя имъ въ это утро изъ Ирбита, онъ сказалъ: «Часто намъ приходилось въ журналистикѣ говорить, что мы не знаемъ совсѣмъ нашего подписчика, и какого онъ мнѣнія о нашей дѣятельности, а вотъ онъ теперь для меня и открывается!» Возбужденный этими манифестаціями, онъ сдѣлался гораздо разговорчивѣе, охотно сталъ вспоминать и рассказывать различные эпизоды своей жизни, свои отношенія къ различнымъ нашимъ знаменитостямъ; подъ вліяніемъ наплыва этихъ воспоминаній, онъ остановился на мысли составить свою біографію и лихорадочно приступилъ къ этому такимъ образомъ: частью онъ диктовалъ самъ, пользуясь всякимъ свободнымъ отъ боли часомъ, то брату Константину Алексѣевичу, то сестрѣ Аннѣ Алексѣевнѣ, иногда даже ночью будилъ ихъ и заставлялъ писать подъ свою диктовку; частью же передавалъ устно тотъ или другой эпизодъ своей жизни кому-нибудь изъ друзей. Въ то же самое время онъ редактировалъ и выпустилъ въ свѣтъ отдѣльное изданіе своихъ «Послѣднихъ пѣсень»; наконецъ, онъ тогда же сочинилъ (впрочемъ, начало было имъ написано нѣсколько лѣтъ раньше) свою поэму «Мать» и стихотвореніе «Баюшки-баю», появившееся въ мартовской книжкѣ (1877 г.) «Отечественныхъ Записокъ», изъ котораго публика, какъ изъ бюллетеня, могла усмотрѣть, что здоровье поэта все плохо, и что опасность близкой смерти его не устранена. Оно такъ и было на самомъ дѣлѣ...

Дни поэта были сочтены.

«Около 20-го ноября — по словамъ доктора Бѣло-

головного («Новое Время», 1878 г., № 661.), — стали появляться приступы изнурительной лихорадки съ небольшими ознобами и потами, но настолько нерѣзкими, что больной не измѣнялъ обычный распорядокъ своего дня, хотя его крайнее исхуданіе и слабость еще замѣтно усилились за это время. Такъ продолжалось до 14-го декабря; въ этотъ день, въ седьмомъ часу вечера, онъ всталъ съ кровати и перешелъ въ столовую, чтобы посидѣть и пить чай, но съ первымъ же глоткомъ съ нимъ сдѣлался потрясающій ознобъ; его тотчасъ же перевели и уложили въ постель; ознобъ продолжался около четверти часа и подъ исходъ его началась рвота, во время которой, безъ видимой потери сознания, онъ сталъ несвязно говорить и затѣмъ лишился употребленія правой руки и ноги. Когда, черезъ полчаса, я пришелъ къ нему, то нашелъ его въ видимо возбужденномъ состояніи, какъ-бы подъ влияніемъ страха; тѣмъ не менѣе, онъ удивился, увидавъ меня въ неположное время, и прежде всего сказалъ: «Зачѣмъ это васъ тревожили?» Затѣмъ, мнѣ ясно стало жаловаться на чай съ лимономъ, который онъ пилъ, говорилъ, что было кисло и что это возбуждало въ немъ рвоту. Рвота при мнѣ была уже нѣсколько тише, а къ утру, подъ влияніемъ холодного шампанскаго, почти совсѣмъ прекратилась. Всю ночь онъ провелъ безпокойно, но не произнесъ ни одного слова, такъ что окружающіе думали, что онъ лишился совсѣмъ языка, но когда я пришелъ утромъ, то онъ сталъ просить, чтобы его подняли съ постели, надѣли на него сапоги и повели его по комнатѣ. Въ виду неотступныхъ просьбъ, ему помогли подняться, и, опираясь на двухъ чело-вѣкъ, онъ два раза прошелся по комнатѣ, волоча правую ногу и, очевидно, не понимая происшедшей съ нимъ перемѣны, и только постоянно повторяя одну и ту же фразу: «ну, что это?» — Затѣмъ его уложили, и съ этого времени онъ уже болѣе не вставалъ съ постели, хотя параличныя явленія обнару-жили быструю наклонность къ улучшенію: рѣчь стала гораздо чище, движеніе въ ногѣ возстановилось все болѣе и болѣе, только правая рука оставалась до конца жизни совершенно парализована. Съ этого же дня больной все ослабѣвалъ, очень мало ѣлъ, но много страдалъ отъ жажды и разныхъ бо-лей, преимущественно въ лѣвой ногѣ, на которой стали появляться ограниченные инфильтраты въ кѣлѣчаткѣ, особенно на бедрѣ. 26-го декабря сла-бость достигла крайнихъ предѣловъ, рѣчь стала менѣе внятной и односложной, глотанье затруднитель-нымъ; около 5 часовъ этого дня у больного явилось какъ-бы желаніе проститься съ окружающими: онъ каждого изъ нихъ подозвалъ къ себѣ и произнесъ какое-то односложное слово, какъ-бы «простите». Часа черезъ три послѣ этого, я нашелъ его уже въ начавшейся агоніи, которая развивалась въ теченіи всего 27-го числа. Эти послѣднія сутки тѣло его оставалось совершенно неподвижнымъ: мышцы лица не выражали никакого признака страданія и какъ-бы застыли, равно и самый взглядъ, не фиксирова-вшій уже предместовъ; работала только грудная кѣт-ка, и лѣвая рука все время находилась въ по-стоянномъ движеніи; онъ то поднималъ ее къ го-ловѣ, то подносилъ къ губамъ, то клалъ на грудь. Такъ было еще въ 5 часовъ вечера, но когда я при-ѣхалъ три часа спустя, то эти движенія руки уже прекратились, пульсъ почти исчезъ, дыханье стало нѣсколько рѣже и шумнѣе, и такъ продолжалось до самаго конца, передъ которымъ вылетѣлъ легкій, короткий хрипъ изъ груди — и въ 8 часовъ 50 ми-нутъ Некрасова не стало.»

Похороны происходили 30-го декабря въ Новодѣ-вичьемъ монастырѣ. День былъ ясный, но чрезвы-чайно морозный, и это, конечно, было главною при-чиною, что толпа, шедшая за гробомъ, не превышала четырехъ тысячъ чело-вѣкъ. Тѣмъ не менѣе, похороны

Некрасова, все-таки, представляли собою видъ тор-жественной и трогательной оваціи въ память почив-шаго поэта. Послѣ отпѣванія, въ церкви Новодѣ-вичьяго монастыря было произнесено протоіереемъ Горчаковымъ надгробное слово, съ глубокимъ чув-ствомъ и умомъ. Когда гробъ былъ опущенъ въ моги-лу и зарытъ, было произнесено еще нѣсколько теплыхъ словъ надъ могилою поэта, и затѣмъ толпа тихо раз-ошлась, унося въ сердцахъ глубокую скорбь и вѣч-ную память о своемъ дорогомъ поэтѣ.

### XIII.

Посмертныя изданія писателей, снабженные порт-ретами, факсимилиями, біографіями и разными бібліо-графическими работами, бываютъ обыкновенно по воз-можности полными изданіями, обнимающими всю дѣ-тельность автора и знакомящими васъ съ личностью писателя со всѣхъ ея сторонъ. Но, конечно, всего этого нельзя пока и требовать отъ посмертнаго изданія сочиненій Н. А. Некрасова. Личность покойнаго поэта играла слишкомъ выдающуюся и важную роль въ исторіи нашего прогресса въ послѣднія тридцать лѣтъ для того, чтобы тотчасъ-же послѣ смерти сдѣлаться вполне достояніемъ исторіи. Его разнообразныя отно-шенія къ тѣмъ или другимъ общественнымъ слоямъ, къ тѣмъ или другимъ личностямъ, какъ умершимъ, такъ и находящимся въ живыхъ, равно какъ и его произведенія до сихъ поръ еще продолжаютъ пред-ставлять злобу дня и возбуждаютъ весьма многихъ людей не столько къ спокойнымъ и безпристрастнымъ изслѣдованіямъ, сколько къ жаркимъ полемическимъ схваткамъ, въ которыхъ выражается ожесточенная борьба партій. Очень понятно, что при такихъ усло-віяхъ нечего и ждать отъ посмертнаго изданія поэта той полноты, какая присуща въ настоящее время лишь изданіямъ различныхъ корифеевъ дореформен-наго періода. Такъ мы видимъ, что хотя изданіе это, въ техническомъ отношеніи представляющее лучший образецъ современнаго типографскаго искусства, до-полнено произведеніями, которыя, какъ сказано въ предисловіи, были опущены авторомъ по забыв-чивости и на которыя онъ, однако, сдѣлалъ ука-заніе въ своихъ бумагахъ, и кромѣ того, приведены всѣ стихотворенія, появившіяся въ періодическихъ изданіяхъ непосредственно послѣ смерти Некрасова, въ теченіи всего 1878 года, но сюда не вошли нѣко-торыя замѣчательныя произведенія поэта, которыя не могли быть напечатаны и при жизни его. Какъ ни обстоятеленъ и почтененъ бібліографическій трудъ С. И. Пономарева, расположившаго произведенія по-эта въ строгомъ хронологическомъ порядкѣ и снаб-дившаго ихъ примѣчаніями, занимающими 200 стра-ницъ въ четвертомъ томѣ изданія, но, конечно, въ приведеніяхъ Некрасова, все-таки, много остается кое-чего неразъясненнаго и загадочнаго, что въ на-стоящее время и не можетъ быть разъяснено по мно-гимъ обстоятельствамъ. Наконецъ, что касается біо-графическихъ свѣдѣній, приложенныхъ къ первому тому изданія и извѣстныхъ читателямъ „Отечествен-ныхъ Записокъ“ (см. „Отеч. Зап.“, 1878 г., №№ 5-й и 6-й), то, издавая ихъ на страницахъ нашего

журнала, я имѣлъ уже случай заявить, что для полной характеристики Н. А. Некрасова, какъ поэта, журналиста и человѣка, необходимо, чтобы были изданы массы писемъ, воспоминаній, записокъ и всевозможныхъ документовъ, по которымъ можно было-бы судить о разнообразныхъ отношеніяхъ покойнаго къ массѣ людей всевозможныхъ слоевъ общества и лагерей, въ теченіи сорокалѣтней литературной дѣятельности его, и что, при такихъ условіяхъ, мало-мальски обстоятельная біографія Н. А. Некрасова возможна будетъ не ранѣе, какъ лѣтъ черезъ двадцать или тридцать.

Но тогда-же я замѣтилъ, что какъ ни скудны сами по себѣ эти біографическія свѣдѣнія для полной характеристики Некрасова, какъ общественнаго дѣятеля и человѣка, во всякомъ случаѣ, они достаточны для того, чтобы познакомить насъ, подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ жизни сложился талантъ Некрасова и въ какую сторону они направили его. И тогда-же я далъ обѣщаніе читателямъ заняться разсмотрѣніемъ поэтической дѣятельности Некрасова въ связи съ главными обстоятельствами его жизни, что я и спѣшу исполнить въ настоящее время, пользуясь выходомъ въ свѣтъ посмертнаго изданія произведеній Некрасова.

Какъ это ни прискорбно, но, въ виду массы не столько критическихъ, сколько полемическихъ статей, появившихся въ прошломъ году вслѣдъ за смертью Некрасова, приходится, прежде чѣмъ начать характеристику Некрасова, какъ поэта, предпослать этой характеристикѣ нѣсколько доказательствъ въ пользу того, что Некрасовъ вполне заслуживаетъ этого названія, что онъ былъ вовсе не холодный риторъ, искусственно приноравливавшійся ко вкусамъ своего времени, какъ о немъ думаютъ иные, а истинный лирикъ, непосредственно изъ жизни вынесшій свою поэзію, выстрадавшій ее, и притомъ не въ видѣ одного только сентиментально-гуманнаго сочувствія народному горю со стороны, но и путемъ тяжелыхъ опытовъ и страданій личной жизни.

При такихъ условіяхъ, моя статья естественно распадается на двѣ части. Въ первой будутъ приведены доказательства въ пользу неоспоримаго права Некрасова именоваться поэтомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова; а во второй я постараюсь разъяснить, чѣмъ былъ Некрасовъ въ качествѣ поэта.

Какъ первая, такъ и вторая части въ одинаковой степени будутъ опираться на біографическія данныя о жизни Некрасова, а потому, первымъ дѣломъ, мы обратимся къ нимъ и бросимъ общій взглядъ на характеръ жизни Некрасова для того, чтобы опредѣлить, какое вліяніе могла имѣть жизнь Некрасова на его поэзію и какъ она отразилась въ послѣдней.

#### XIV.

На первомъ планѣ представляется намъ дѣтство, проведенное въ глухую, безразсвѣтную пору крѣпостнаго права подъ тяжелымъ гнетомъ необузданнаго самодурства. Все, что стояло выше въ этой средѣ, сначала запугивало ребенка, а потомъ злило, возмущало и ожесточало, а что было пониже, все это рисо-

валось передъ дѣтскими глазами въ самыхъ мрачныхъ краскахъ, все это было задавлено, забыто, возбуждало участіе и жалость и невольно влекло къ себѣ сердце ребенка влеченіемъ общаго горя. Такимъ образомъ, уже въ самомъ нѣжномъ дѣтствѣ въ сердцѣ Некрасова должны были образоваться два противоположныя теченія: съ одной стороны, отвращеніе отъ всего угнетающаго и давящаго, отъ всего „ликующаго, праздно болтающаго, омывающаго руки въ крови“, и въ тоже время влеченіе ко всему обиженному и угнетенному. Оба эти теченія образовались, конечно, сами собою, невольно, инстинктивно, подъ вліяніемъ всей обстановки жизни ребенка, безъ всякихъ какихъ-либо постороннихъ, предвзятыхъ наущеній и настроеній. По крайней мѣрѣ, ни въ Некрасовѣ-гимназистѣ, ни даже въ Некрасовѣ—студентѣ мы не видимъ никакихъ опредѣленныхъ взглядовъ. Онъ является передъ нами вполне наивнымъ юношей—романтикомъ, увлекавшимся поэзіею Жуковского, Пушкина и Лермонтова и мечтавшимъ встать рядомъ съ ними, посредствомъ созданія стихотвореній въ ихъ родѣ и духѣ. Но тѣмъ не менѣе, въ мозгу юноши, безъ сомнѣнія, продолжали въ скрытомъ состояніи развиваться тѣ два теченія, какія были возбуждены въ немъ всѣми впечатлѣніями дѣтства—дальнѣйшіе-же факты его жизни еще болѣе усилили и углубили эти теченія.

Такъ мы видимъ, что 15-лѣтній мальчикъ, нигдѣ недоучившійся, не получившій никакихъ правъ и преимуществъ, былъ выброшенъ изъ родительскаго гнѣзда безъ всякой поддержки и участія. Въ настоящее время подобные случаи до такой степени многочисленны и такъ примелькались въ нашихъ глазахъ, что представляются однимъ изъ самыхъ обыденныхъ явленій жизни, никого не поражающихъ; но въ концѣ 30-хъ годовъ, въ той средѣ, къ которой принадлежалъ Некрасовъ, это былъ весьма рѣдкій, исключительный случай. Некрасовъ, гордо отвергнувъ всякую родительскую помощь, предлагавшуюся ему подъ условіемъ подчиненія, имѣлъ видъ человѣка, безпримѣрно пустившагося вплавъ въ открытое море, чисто на свой собственный страхъ и рискъ, не зная, что ему встрѣтится на пути и куда занесутъ его невѣдомыя волны. Началась борьба за существованіе въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Мы видѣли, что это была за борьба съ хроническимъ голодомъ, длившимся годы, при непосильномъ, дурно оплачиваемомъ трудѣ, всякаго рода униженіяхъ, оскорбленіяхъ и въ тоже время искушеніяхъ, представлявшихся страстному юношѣ на каждомъ шагѣ въ омутѣ столичной жизни. Надо удивляться богатству и физическимъ, и умственнымъ, и нравственнымъ силъ этого человѣка при зрѣлицѣ этой борьбы: какъ только удалось ему выкарабкаться и не умереть преждевременно отъ голода и истощенія, не спиться, не испиться и не измельчать послѣ трехсотъ листовъ журнальной прозы, написанной подъ гнетомъ самой строгой цензуры, единственно ради скуднаго заработка, или, наконецъ, не махнуть рукой на неблагодарное литературное поприще и не начать устраивать какую-нибудь служебную карьеру въ видѣ тепленькихъ и хлѣбныхъ мѣстечекъ, что ему не представляло особеннаго труда сдѣлать при врожденной практической сметкѣ и знакомствѣ

съ нѣкоторыми университетскими товарищами изъ высшихъ сферъ. Но онъ мужественно вышелъ изъ этой тяжелой борьбы, оставшись вѣрнымъ какъ своему литературному призванію, такъ и жаждѣ независимости, и вотъ мы видимъ, что въ концѣ сороковыхъ годовъ онъ стоитъ уже на видномъ мѣстѣ въ литературѣ, въ кружкѣ передовыхъ и лучшихъ въ то время литературныхъ дѣятелей, во главѣ журнала.

Здѣсь мы встречаемся съ влияніемъ на Некрасова Бѣлинскаго, которому Некрасовъ наиболѣе былъ обязанъ направленіемъ своей музы. Мы видѣли, что, когда Некрасовъ вошелъ въ кружокъ Бѣлинскаго, онъ былъ удивленъ отвлеченностью мысли въ людяхъ этого кружка. И это очень понятно: кружокъ Бѣлинскаго былъ чисто западнической, воспитанный на почвѣ германской философіи. Впослѣдствіи къ увлеченію Гегелемъ и Фейербахомъ присоединилось въ кружкѣ изученіе новыхъ политико-экономическихъ доктринъ. Но всѣ, какъ философскія, такъ и политическія идеи, какія вращались въ кружкѣ, разрабатывались преимущественно въ отвлеченной, международной, такъ сказать, сферѣ. Русская дѣятельность обсуждалась съ точки зрѣнія этихъ идей въ ея общихъ основахъ и порядкахъ; причѣмъ эти основы приурочивались къ западнымъ. Бѣлинскій могъ глубоко сочувствовать народному горю и страстно желать всяческаго утѣшенія его, но, какъ человѣкъ, всю жизнь вращавшійся въ городахъ, онъ не имѣлъ возможности присматриваться къ проявленіямъ народной жизни въ дѣйствительности и мало зналъ мужика: мужикъ былъ для него отвлеченною категоріею, сначала философскою, въ смыслѣ непосредственной стихіи народнаго духа, потомъ политическою, въ смыслѣ инертной массы, жаждущей освободителей въ лицѣ интеллигентныхъ людей, просвѣщенныхъ въ духѣ гуманныхъ идей. Натуральная школа была въ это время въ апогее своего развитія, но въ изображеніяхъ своихъ она не спускалась ниже мелкаго чиновника, за исключеніемъ развѣ одного казака Луганскаго, который, впрочемъ, изучалъ народъ болѣе со стороны этнографической и филологической, чѣмъ социальной. Мотивы реального народнаго горя являются въ нашей литературѣ съ появленіемъ новыхъ молодыхъ силъ, по большей части выходцевъ изъ провинцій, которые входятъ во вторую половину сороковыхъ годовъ въ кружокъ Бѣлинскаго и, оплодотворяясь идеями этого кружка, воплощаютъ эти идеи въ свои собственные реальные наблюденія. Таковы были сначала Кольцовъ, потомъ Тургеневъ, Григоровичъ и Некрасовъ.

● Можно положительно сказать, что только съ появленіемъ этихъ писателей вносится въ нашу литературу серія. И замѣчательно при этомъ, что мужикомъ одновременно занялись три молодые вышеупомянутые писателя, бывшіе въ то время въ большой дружбѣ между собой. Вліяніе Бѣлинскаго въ этомъ случаѣ могло быть только освѣщающее и осмысливающее тотъ матеріалъ, который лежалъ въ скрытомъ видѣ въ мозгу Некрасова и его друзей.

Судя по тому, въ какомъ видѣ представляетъ Некрасова Достоевскій, вспоминая о началѣ своего знакомства съ нимъ, можно полагать, что первая пора сближенія Некрасова съ Бѣлинскимъ была однимъ изъ

самыхъ свѣтлыхъ мгновеній въ жизни Некрасова. Но не долго продолжалось это восторженное состояніе. Едва только взялъ на свои плечи Некрасовъ „Современникъ“, какъ умираетъ Бѣлинскій, главная сила и опора изданія и въ тоже время дорогой учитель, которому былъ обязанъ Некрасовъ разцвѣтомъ своего таланта. Потянулись тѣ мрачныя годы, о которыхъ пережившіе ихъ до сихъ поръ вспоминаютъ съ ужасомъ. Въ эти годы тяжело было существовать въ сторонѣ отъ всего, ничѣмъ не занимаясь; каково-же было издавать журналъ, дрожать за каждый номеръ, съ каждымъ годомъ видѣть убыль подписчиковъ и не знать, что будетъ завтра. Сколько новой жолчи должно было ежедневно накапливать въ сердцѣ, и безъ того уже ожесточенномъ и изнеможенномъ всею предшествовавшею борьбою съ гнетущими обстоятельствами. Прибавьте еще къ этому тотъ мрачный колоритъ, который лежалъ въ то время на всей русской жизни, тѣ удручающія и раздражающія черныя тѣни, которыя, помимо серьезныхъ и крупныхъ невгодъ, ложились даже и на тѣ немногія утѣхи, какія были допущены мыслящему человѣку. А потомъ, когда общественный горизонтъ нѣсколько прояснился, когда журналъ упрочился и началъ процвѣтать, когда, по словамъ Некрасова, въ жизни его стало „поменьше мелочныхъ заботъ и рѣже въ дверь его сталъ стучаться голодъ“, привязалась опасная болѣзнь и начала угрожать ему преждевременною могилою.

Можно положительно сказать, что только въ концѣ пятидесятихъ годовъ Некрасовъ могъ вздохнуть нѣсколько свободнѣе болѣе полногрудью и если дальнѣйшая жизнь его была не безъ невгодъ и тяжкихъ утратъ, то, все-таки, по крайней мѣрѣ, онъ былъ матеріально обеспеченъ. Такимъ образомъ, только въ сорокалѣтнемъ возрастѣ Некрасовъ началъ вполнѣ пользоваться тѣмъ завиднымъ комфортомъ, который многіе ставятъ въ противорѣчіе съ мрачнымъ тономъ его поэзіи. Но въ сорокъ лѣтъ человѣкъ окончательно уже является сформированнымъ; начинается уже преклонный возрастъ, въ который черты характера и привычки являются уже прочно установившимися; человѣкъ уже мало измѣняется и пользуется плодами своей предъидущей жизни, тѣмъ накопленнымъ матеріаломъ опытовъ, знаній, впечатлѣній, какія онъ успѣлъ собрать въ болѣе молодые и цвѣтущіе годы. Естественно, трудно было ожидать, чтобы въ этомъ почтенномъ возрастѣ поэзія Некрасова вдругъ сразу измѣнила свой характеръ, какъ и содержаніе, и прониклась какими-нибудь бравурными, радостными и ликующими звуками.

## XV.

Если мы возьмемъ во вниманіе всѣ эти обстоятельства жизни Некрасова, то для насъ вполнѣ ясно откроется причина преобладанія въ поэзіи его мрачныхъ, скорбныхъ и желчныхъ звуковъ. Звуки эти прямо и непосредственно вытекаютъ изъ жизни поэта, изъ всего склада его нравственнаго характера, и скорѣе всего можно было-бы заподозрить поэзію Некрасова въ искусственности, если-бы онъ, при тѣхъ-же самыхъ обстоятельствахъ своей жизни, вздумалъ на-



страивать свою лиру, во что-бы то ни стало, на торжественный или эстетически-сентиментальный тонъ и

Въ годину горя  
Красу долинъ, небось и моря,  
И ласки милой воспѣвать...

Подобно большинству лириковъ, Некрасовъ посвятилъ нѣсколько своихъ стихотвореній опредѣленію своей музы, и ему, конечно, мы болѣе должны вѣрить, чѣмъ постороннимъ людямъ, плохо знавшимъ обстоятельства жизни поэта и еще менѣе — тѣ внутренніе творческіе процессы, которые таились въ душѣ его. Таково стихотвореніе „Муза“, въ которомъ поэтъ прямо говоритъ, что „музы ласково поющей и прекрасной не помнилъ надъ собою онъ пѣсни сладко-гласной“:

«Но рано надо мной отяготѣли узы  
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,  
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,  
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ и т. д.

Въ звукахъ этой музы, даже и разгульныхъ, поэту слышалось въ смятеніи безумномъ:

Разсчеты мелочной и жадной суеты,  
И юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты,  
Погибшая любовь, подавленные слезы,  
Проклятія, жалобы, безсмысленныя угрозы...

А въ заключеніе поэтъ говоритъ:

Такъ вѣчно плачущей и непонятной дѣвы  
Летѣли мой слухъ суровые напѣвы,  
Покуда, наконецъ, обычной чередой  
Я съ нею не вступилъ въ ожесточенный бой.  
Но съ дѣтства прочнаго и кровнаго союза  
Со мною разорвать не торопилась Муза:  
Черезъ бездны темныя насыла и зла,  
Труда и голода она меня вела,  
Почувствовать свои страданья научила  
И свѣту возвѣститъ о нихъ благословила...

Въ другомъ своемъ, подобномъ-же стихотвореніи Некрасовъ обуславливаетъ свое творчество прямо тѣми чувствами, какія возбудила въ немъ жизнь:

Праздникъ жизни—молодости годы—  
Я убилъ подъ бременемъ труда,  
И поэтомъ, баловнемъ свободы,  
Другомъ лѣни—не былъ никогда.  
Если долго сдержанныя муки,  
Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,  
Я пишу: риемованные звуки  
Нарушаютъ мой обычный трудъ.

Ниже въ этомъ стихотвореніи поэтъ обращается къ своему стиху съ слѣдующими словами:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,  
Мой суровый, неуклюжий стихъ,  
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства!..

Здѣсь, безъ сомнѣнія, подъ „творящимъ искусствомъ“ поэтъ подразумѣваетъ то объективно-спокойное, олимпійско-безстрастное творчество, идеаломъ котораго, въ глазахъ Некрасова, была поэзія Пушкина. Иными словами, Некрасовъ, обуславливая свое творчество исключительно накипѣвшими муками, подходящими подъ сердце, отрицаетъ въ себѣ именно то разсудочно-произвольное и вмѣстѣ съ тѣмъ холодно-дидактическое творчество, которое ему приписываютъ нѣкоторые критики.

## XVI.

Если мы бросимъ теперь общій взглядъ на составъ стихотвореній Некрасова, то мы еще болѣе убѣдимся въ полной естественности и органичности ихъ, въ

зависимости творчества Некрасова не столько отъ какихъ-либо разсчетовъ холоднаго разсудка, сколько отъ различныхъ вѣяній самой жизни. Такъ у Некрасова, какъ у всѣхъ лириковъ, мы видимъ значительное присутствіе личнаго элемента. Отъ сорока до пятидесяти пиесъ въ посмертномъ собраніи сочиненій Некрасова вы найдете такихъ, которыя или относятся непосредственно къ личности поэта, носятъ автобіографическій характеръ, или вообще отличаются крайнею субъективностью. Это составляетъ четверть всего, помѣщенного въ полное изданіе. Таковы стихотворенія: „Родина“, „Въ невѣдомой глуши“, „На Волгѣ“, „Рыцарь на часъ“, „Мать“ и проч., масса любовныхъ элегій, посланій къ друзьямъ. Уже если идти отъ той мысли, что Некрасовъ не былъ истиннымъ лирическимъ поэтомъ, а былъ лишь холоднымъ риторомъ, то придется и такія поэмы, какъ „О, письма женщины намъ милой!“ или „Бурю“ („Долго не сдавалась Любушка сосѣдка“) подводить, то что бы то ни стало, подъ какія-либо тенденціи, что было бы въ высшей степени наивно и курьезно.

Далѣе затѣмъ, вы видите рядъ стихотвореній, еще менѣе чѣмъ автобіографическія и субъективныя, имѣющія что-либо общее съ дидактикою въ духѣ той школы публицистовъ, въ угоду которымъ будто бы Некрасовъ писалъ. Таковы: „Ваня“, „Школьникъ“, „Похороны“, „Маша“, „Свадьба“, „Аукціонъ“, „Коробейники“, „Зеленый шумъ“, „Крестьянскія дѣти“, „Дядя Мазай“ и проч. Если предполагать тенденціозный дидактизмъ даже въ такихъ вещахъ, какъ граціозное изображеніе барыни, набавляющей неимовѣрныя дѣны на распродажу, потому что ей жалко разставаться съ своимъ насижаннымъ, семейнымъ гнѣздышкомъ, или сѣтованія о томъ, что безсердечная Маша толкаетъ въ гробъ труженика-мужа своимъ мотовствомъ и страстью къ нарядамъ, въ такомъ случаѣ, чтобы не навлечь подозрѣнія въ дидактизмъ, поэту только и остается, что изображать одни неодушевленные предметы, потому что нѣтъ такого случая въ жизни человѣческой, въ которомъ нельзя было бы усмотрѣть какой-либо тенденціи. Но въ томъ то именно и дѣло, что значеніе этихъ стихотвореній заключается въ ихъ полной непосредственности. Холодному дидактику они не могли бы прийти и въ голову и не имѣли бы онъ ни малѣйшаго повода писать ихъ. Но поэтъ могъ поразиться тою или другою чертою жизни при случайной встрѣчѣ съ нею, провести эту черту сквозь творческій процессъ, осмыслить и вывести ее во всей ея драматичности или поэтичности, ни мало не заботясь о томъ, какое дидактическое значеніе будетъ имѣть его стихотвореніе. А подобныхъ непосредственныхъ стихотвореній вы найдете тоже не мало въ изданіи; вмѣстѣ съ автобіографическими, они составляютъ почти половину всего написаннаго Некрасовымъ.

Но есть основаніе предполагать и относительно большинства вполне тенденціозныхъ стихотвореній, что Некрасовъ обязанъ былъ происхожденіемъ ихъ не столько какимъ-либо соображеніямъ холоднаго разсудка, сколько непосредственнымъ впечатлѣніямъ жизни, возбуждавшимъ творчество поэта. Такъ, мы видѣли изъ біографическихъ свѣдѣній о жизни Не-



красова, что Арина, мать солдатская, сама рассказывала ему о своемъ горѣ. Столь же непосредственному вѣянiю жизни былъ обязанъ Некрасовъ и своими „Размышленiями у параднаго подъѣзда“, этимъ наитенденціознѣйшимъ своимъ произведенiемъ. По разсказу г-жи Головачевой, Некрасовъ однажды утромъ пришелъ къ своему прiятелю Панаеву, не только безъ малѣйшихъ помышленiй объ этомъ произведенiи, но вообще жалуюсь, что фантазія его крайне оскудѣла и что ему совсѣмъ нечего писать. Какъ вдругъ вниманіе его привлекла именно та самая мужицкая сцена у параднаго подъѣзда знатнаго барина, жившаго противъ Панаева, которая описана въ вышеупомянутомъ стихотворенiи. Сцена эта такъ поразила и потрясла его, что въ тотъ же день по возвращенiи отъ Панаева онъ принялся за перо и написалъ свои „Размышленiя у параднаго подъѣзда“. Наконецъ, во многихъ тенденціозныхъ произведенiяхъ мы видимъ, въ свою очередь, немалое присутствіе личнаго элемента. Такъ, напримѣръ, вся первая часть обширной поэмы „Несчастные“ посвящена личнымъ воспоминанiямъ и имѣетъ чисто автобиографическій интересъ. Описывая дѣтство героя поэмы, поэтъ вспоминаетъ свое собственное дѣтство, а далѣе, въ сопоставленiи столицы съ провинціальнымъ городкомъ, вы чувствуете въ каждомъ стихѣ вѣяніе впечатлѣній, пережитыхъ самимъ поэтомъ въ своей жизни. Въ самомъ дѣлѣ, кто же, какъ не самъ Некрасовъ, этотъ юноша, только что прiѣхавшій изъ провинціи и восхищающійся пышностью столицы:

Ликуетъ сердце молодое—  
Въ восторгѣ юноша. Поймай—  
Ты будешь говорить другое,  
Родство постигнувъ роковое  
Межъ этимъ блескомъ и тобой!  
Пройдутъ года въ борьбѣ безумной,  
И на красивыя плиты,  
Какъ изъ машины винтъ негодный,  
Быть можетъ, брошенъ будешь ты!  
Счастливъ, кому мила дорога  
Стяжанья, кто ей вѣренъ былъ,  
И въ жизни ни однажды Бога  
Въ пустой груди не ощутилъ.  
Но если той тревоги смутной  
Не чуждо сердце—пропадеши!  
Въ глухую полночь, безпріютный,  
По стогнамъ города пойдешь;  
Громадный, строгий и суровый,  
Заснувъ подъ тучею свинцовой,  
Тогда предстанетъ онъ инымъ,  
И, опоясанный гробами,  
Своими пышными дворцами,  
Величьемъ царственнымъ своимъ—  
Не будетъ радовать. Невольно  
Припомнишь бѣдный городокъ,  
Гдѣ солнца каждому довольно, и пр.

Возьмите вы также сатирическую поэму „Судъ“,— сколько вы найдете въ ней стиховъ, вполнѣ субъективныхъ, прямо относящихся къ личности и жизни самого Некрасова. Кого же, какъ не самого себя, оплакиваетъ поэтъ, напримѣръ, въ слѣдующихъ стихахъ:

И такъ, любуйся: я плѣшивъ,  
И блѣденъ, нервень, и чуть живъ,  
И таковы почти мы всѣ.  
Но ты не думай, что тебя  
Хочу разжалобить: любя

Свой трудъ—я вовсе не ропщу.  
Я сожалѣнья не ищу;  
«Коварный рокъ», «жестокій рокъ»  
Не больше былъ ко мнѣ жестокъ,  
Какъ и къ любому бѣдняку.  
То правда: росъ я не въ шелку,  
Подъ бурей долго я стоялъ,  
Меня тиранила нужда,  
Гнѣла любовь, гнѣла вражда;  
Мнѣ N\* мораль читалъ  
И цензоръ слогъ мой исправлялъ,  
Но не отъ этихъ общихъ бѣдъ  
Я слабъ и хрупокъ, какъ скелетъ.  
Ты знаешь я—«любимецъ музъ»,  
А невозможно разсказать,  
Во что обходится союзъ  
Со иною музою; благодать  
Тому, чья муза не бойка:  
Горитъ онъ рѣдко и слегка;  
Но горе, ежели она  
Славолюбива и страстна.  
Съ желѣзной грудью надо быть,  
Чтобъ этимъ ласкамъ отвѣчать,  
Объяты эти выносить,  
Кипѣть, горѣть—и не сгорать,  
И вновь горѣть—и снова стять.  
Довольно! развѣ досказать,  
Удобный случай благо есть,  
Что я, когда начну писать—  
Перестану и ѣсть и спать...

Здѣсь вы, такимъ образомъ, видите еще одно откровеніе тайны творчества Некрасова и можете судить, на сколько характеръ этого творчества подходитъ къ разсудочно-холодному и дидактическому. Обратите, наконецъ, вниманіе еще на одно свойство поэзіи Некрасова, свойство, обличающее прямо поэта-лирика, а никакъ не дидактика: это именно готовность каждую минуту, по волѣ фантазіи, переходить отъ одного предмета къ другому, совершенно разнородному. Отъ поэта холоднаго, разсудочнаго творчества естественно было бы ожидать, что если онъ задался какою-нибудь темою, то онъ одну только эту тему и разовьетъ передъ вами, исчерпаетъ ее систематически всю до малѣйшихъ тонкостей, ничего не убавитъ, но ничего и не прибавитъ. Совсѣмъ не то вы видите у Некрасова: начавши читать иное стихотвореніе, вы не можете опредѣлить, что найдете въ серединѣ его и чѣмъ оно будетъ закончено, потому что, оставаясь вѣрнымъ лишь своему преобладающему настроенію, поэтъ свободно и нисколько не стѣняясь условіями цѣлостности произведенiя, переходитъ отъ одного предмета къ другому, не имѣющему ничего общаго съ первымъ. Возьмите для примѣра хотя бы его стихотвореніе „О погодѣ“. Чего вы только не найдете въ трехъ главахъ этой элегіи? Тутъ передъ вами и убогія похороны горемыки-чиновника, и замѣчанія сторожа о литературскихъ могилахъ, и картина уличной давки при переходѣ черезъ долину измоченныхъ дождемъ войскъ, и разговоръ съ разсильнымъ Минаемъ о литературныхъ преданiяхъ, и трогательная картина проводовъ рекрутъ, осипавшихъ снѣгомъ, и разсужденія о томъ, что выносить въ столичной сутолокѣ бѣдный промышленный людъ. Однимъ словомъ, тутъ такъ много набросано самыхъ разнородныхъ сценъ и чертъ жизни, что глаза разбѣгаются. На какую же такую предвзятую тему написано это стихотвореніе и какое можете вынести вы изъ него поученіе? Неужели же на ту мел-

ко обличительную тему, что не слѣдуетъ допускать бѣшеную ѣзду на рыскахъ по городу, способную доходить до такого кошунства, чтобы сбивать гробы съ дорогъ, или же, еще того лучше, съ цѣлю внушенія подлежащему начальству, какъ оно дурно распоряжается, допуская существованіе кладбищъ на такихъ низкихъ, болотистыхъ мѣстахъ, что могилы чуть не до верху заливаются водою? Но тогда приче́мъ же парадируетъ здѣсь Минай съ корректурами и все прочее? Въ томъ и дѣло, что стихотвореніе это чуждо какой бы то ни было предвзятой поучительной темы. Общій смыслъ его только тогда станетъ для васъ ясенъ, если вы взглянете на него, какъ на чисто субъективно-лирическое, написанное съ единственною цѣлю выразить въ немъ всю ту гнетущую хандру, которую способна навѣять на мыслящаго человѣка картина столичной жизни въ мрачный, ненастный осенній день.

Злость беретъ, сокрушаетъ хандра,  
Такъ и просятся слезы изъ глазъ—

вотъ единственная тема стихотворенія, если только можно назвать это темою, а затѣмъ поэту все равно, какіе предметы ни приводить въ своемъ стихотвореніи, лишь бы они гармонировали съ его хандрой, были бы именно тѣми самыми, которые способны еще болѣе омрачить сердце въ каждомъ, мало-мальски не зачерствѣломъ человѣкѣ, подъ сумракомъ осенняго неба, дождя и грязи. „И безъ того тошно смотрѣть на бѣлый свѣтъ, говорить намъ это стихотвореніе:— а тутъ еще куда ни обернешься, вездѣ какая нибудь мерзость, кто нибудь кого нибудь бьетъ, чьи нибудь льются слезы!“ У васъ у самихъ, при чтеніи стихотворенія, начинается разрываться сердце на части и слезы нависаютъ на глаза, а васъ стараются утѣрить, что передъ вами холодный дидактикъ распирается на какую-то заданную тему.

Вообще, нужно замѣтить, что ни объ одномъ писателѣ при жизни его не составилось столько одностороннихъ и предразсудочныхъ взглядовъ, какъ о Некрасовѣ. Брали какой-нибудь одинъ изъ элементовъ его поэзіи, да и то не въ цѣломъ его видѣ, а часть элемента, и по этой части судили обо всей его дѣятельности. Такъ, напримѣръ, конечно, въ массѣ его произведеній вы найдете нѣсколько и такихъ, которые написаны были не вълѣдствіе истиннаго и непосредственнаго поэтическаго вдохновенія, а съ предвзятыми тенденціозными цѣлями: таковы, напримѣръ, хотя бы разныя сатирическіе куплеты, напечатанные въ „Свисткѣ“ и другихъ изданіяхъ, но эти куплеты составляютъ такое незначительное меньшинство сравнительно со всѣмъ прочимъ, написаннымъ Некрасовымъ, что было бы въ высшей степени несправедливо по этимъ піесамъ судить обо всей дѣятельности поэта. А между тѣмъ, до сихъ поръ въ значительной массѣ публики сохраняется о Некрасовѣ мнѣніе, какъ о сатирикѣ-обличителѣ преимущественно, какъ о чѣмъ то въ родѣ русскаго Ювенала. Я не отрицаю, чтобы въ поэзіи Некрасова не было сатирическаго элемента. Въ значительной дозѣ входитъ онъ въ массу произведеній не въ примѣръ серьезнаго куплетоваго, въ родѣ „Говоруна“ или „Переписки Москвы съ Петербургомъ“, но, все-таки, это боль-

ше ничего, какъ элементъ, и въ половину не исчерпывающій всей поэзіи Некрасова.

Если-же вы, откинувъ всѣ эти предвзятые сужденія, будете перебирать подъ рядъ всѣ стихотворенія Некрасова, вы болѣе и болѣе будете убѣждаться, что передъ вами поэтъ-лирикъ въ истинномъ и буквальномъ смыслѣ этого слова, который, въ большинствѣ случаевъ, пѣлъ вполне безхитростно, повинуюсь лишь своей творческой фантазіи или накипающему чувству, мало заботясь при этомъ о строгой выдержкѣ и систематичности своихъ произведеній, или о томъ, въ какой степени они выйдутъ содержательны и какое произведутъ на читателя впечатлѣніе. Сегодня, напримѣръ, его поразили размысленія у параднаго подѣзда,—онъ пишетъ сатиру, исполненную гражданской скорби, а завтра онъ способенъ тѣмъ-же перомъ рассказывать вамъ о томъ, какъ „Долго не сдавалась Любушка-сосѣдка“. Сегодня, подъ гнетомъ суеты столичной жизни, онъ вамъ передастъ свои скорбныя впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ ненастнаго, осенняго дня, а завтра, подъ обаяніемъ сельскаго приволья, онъ васъ подаритъ трогательною буколическою идилліею, въ которой расскажетъ о крестьянскихъ дѣтяхъ, о дядѣ Мазаѣ съ зайцами или о своихъ впечатлѣніяхъ, навѣянныхъ ветхою, полуразрушенною сельскою церковью. Если большинство произведеній Некрасова однообразно по своему мрачному, тоскливому тону, за то, по формѣ и содержанію, они представляютъ самое пестрое разнообразіе. Подвести ихъ подъ какія-либо рубрики нѣтъ никакой возможности, безъ какихъ-либо крайнихъ натяжекъ. Нѣкоторые стихотворенія до того разнородны, какъ по содержанію, такъ и по стилю, что можно было бы приписать ихъ различнымъ поэтамъ. Такъ, напримѣръ, статочное-ли дѣло, чтобы одному и тому-же писателю могли принадлежать поэма „Русскія женщины“ и дума „Страна наша убогая“, элегантныя элегіи въ пушкинскомъ стилѣ, вродѣ „Да, наша жизнь текла мятенно“, и рядомъ съ ними пѣсня, въ родѣ „У людей-то въ дому—чистота, лѣпота“. Можно положительно сказать, что вся русская жизнь отразилась въ стихотвореніяхъ Некрасова, въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, начиная съ великосвѣтскихъ салоновъ и клубовъ и кончая чердачкомъ труженика, интеллигентнаго пролетарія, или подваломъ мастерового, начиная съ барской усадьбы и кончая полуразвалившеюся хатою тетюшки Ненилы. При такомъ разнородномъ, всеобъемлющемъ содержаніи своихъ произведений, Некрасовъ является отнюдь не пѣвцомъ какого-либо сословія, партіи, кружка,—а однимъ изъ тѣхъ собирательныхъ лириковъ, которые отражаютъ въ своихъ произведеніяхъ думы цѣлаго вѣка своей родной земли, которые выглакиваютъ въ своихъ звукахъ слезы всѣхъ своихъ современниковъ и соплеменниковъ. Въ этомъ заключается причина популярности Некрасова не только среди людей одного съ нимъ лагера, но и въ массѣ грамотнаго люда, чуждаго какихъ-либо партійныхъ увлеченій.

## XVII.

Такое широкое значеніе стихотвореній Некрасова и глубокая связь ихъ съ своимъ вѣкомъ сдѣлаются для

насъ вполне ясными, когда мы рассмотримъ, чѣмъ была лирика наша до Некрасова и чѣмъ стала она подъ его перомъ. Здѣсь я впередъ дѣлаю оговорку для избѣжанія всякихъ недоразумѣній, что я отнюдь не предполагаю дѣлать какія-либо сравненія Некрасова съ его славными предшественниками — Жуковскимъ, Пушкинымъ, Лермонтовымъ — относительно степени гениальности. Я считаю подобную оцѣнку дѣломъ совершенно празднымъ, излишнимъ и къ тому-же лишеннымъ всякой основательности, которая опиралась бы на какія-нибудь осязательно-положительныя данныя, а не на одинъ произволъ личнаго вкуса. Что же касается вопроса о большемъ или меньшемъ относительномъ достоинствѣ художественныхъ формъ Некрасова, то и на этомъ вопросѣ я долго останавливаться не намѣренъ. Я впередъ готовъ уступить нашимъ эстетикамъ ихъ приговоры относительно того, что художественныя формы Некрасова менѣе стройны, выработаны и выдержаны, чѣмъ у его предшественниковъ, что стихъ его менѣе легокъ и гладокъ, что языкъ менѣе гибокъ, блестящъ и изященъ. Я, съ своей стороны, не только допускаю это, но готовъ, не останавливаясь на одномъ критеріи эстетическаго чувства, еще болѣе утвердить эти приговоры, осмысливши ихъ слѣдующаго рода соображеніемъ: въ исторіи мы видимъ нѣсколько весьма вѣскихъ примѣровъ, что изящныя формы, выработанныя до послѣдней степени совершенства на почвѣ даннаго содержанія жизни и мысли, не выдерживаютъ въ послѣдствіи, едва только это содержаніе расширится и обогатится. Случается иногда, что ребенокъ начинаетъ учиться говорить мало искаженными, почти цѣльными словами и правильными предложеніями, и потомъ вдругъ, при какомъ-нибудь слишкомъ быстромъ наплывѣ новыхъ впечатлѣній, заговариваетъ такимъ неправильнымъ языкомъ, что самые близкіе люди съ трудомъ его понимаютъ. Тоже бываетъ и со взрослыми людьми: иной человѣкъ, обладающій довольно сноснымъ даромъ слова, вдругъ теряетъ его при какомъ-либо быстромъ скачкѣ въ своемъ развитіи, начинаетъ путаться въ своей рѣчи, не въ силахъ будучи ни подобрать словъ для своей мысли, ни уложить ихъ въ мало-мальски стройную рѣчь. Тоже наблюдаемъ мы и въ исторіи искусствъ. Изящныя формы и языкъ, выработанные при бѣдномъ содержаніи мысли и жизни, словно не выдерживаютъ наплыва болѣе богатаго содержанія, гнутся, ломаются, и начинается періодъ кажущагося паденія и формъ, и самаго языка, но это, въ сущности, есть періодъ медленной выработки новыхъ формъ, соотвѣствующихъ новому содержанію. Этимъ только и можно объяснить, почему многія прекрасныя формы, доведенныя искусствомъ до высшей степени совершенства, представляются навсегда утраченными для человѣчества, каковы, напримѣръ, формы древняго искусства и преимущественно скульптуры.

Очень возможно, что тоже самое произошло и на нашихъ глазахъ, сказавшись, между прочимъ, и въ лирикѣ Некрасова. Художественныя формы его поэзіи оказываются ниже формъ его предшественниковъ не потому, чтобы онъ не въ силахъ былъ усвоить ихъ въ полномъ ихъ совершенствѣ или пренебрегалъ ими, а потому, что сами формы эти, выработанныя во вре-

мя болѣе бѣднаго содержанія нашей общественной жизни и мысли, оказались недостаточными для нашего времени. Это предположеніе еще въ большей степени побуждаетъ насъ сосредоточить все вниманіе на сравненіи Некрасова съ предшествовавшими его лириками по отношенію къ содержанію. Однимъ словомъ, минуя всякіе эстетическіе вопросы о томъ, кто былъ выше, кто былъ ниже въ художественномъ отношеніи, мы займемся лишь вопросомъ о томъ, какъ различныя вѣка отразились въ нашей лирикѣ — дореформенной и по-реформенной.

Помимо несомнѣнной выработки художественныхъ формъ, раздѣляющей непроходимую пропасть звучный, легкій и прозрачный стихъ Пушкина отъ тяжеловѣсныхъ и неуклюжихъ виршей Кантемира и Тредьяковского, помимо, съ другой стороны, перехода отъ холудности и искусственности ложнаго классицизма на почвѣ искренности и естественности реализма, мы видимъ въ нашей лирикѣ особеннаго рода движеніе, зависящее чисто отъ хода общественнаго развитія нашего общества въ связи съ различными западными вліяніями. Такъ, въ первую половину 18-го столѣтія, въ лирикѣ Ломоносова мы замѣчаемъ полное отсутствіе личности. Предметами пѣснопѣній являются исключительно восторги или по поводу величія Божія выражающагося въ какомъ-нибудь грандіозномъ явленіи природы, или по поводу государственной славы, по случаю какого-нибудь всероссійскаго торжества. Личность является, такимъ образомъ, непрестанно тонущою въ лучахъ чьей-нибудь славы, не иначе какъ колѣнопреклоненною, повергающеюся ницъ и славословящею. Если она и вспоминаетъ порою о самой себѣ, то ради только того, чтобы выразить удивленіе по поводу своего жалкаго ничтожества и бренности передъ какимъ-нибудь величіемъ и плюнуть при этомъ лишній разъ на себя. Не только о заявленіи правъ на свое личное человѣческое достоинство или на самостоятельное существованіе тутъ не могло быть и рѣчи, но мы видимъ, что личность не дерзала посвящать читателей во внутренній міръ своихъ частныхъ интересовъ, радостей или страданій; она словно старалась утѣрить всѣхъ и вся, что она совсѣмъ не живетъ сама по себѣ или для себя, и способна приходить въ восторгъ или заливаясь слезами единственно лишь сообразно тому, усиливается или ослабляется блескъ славы отечества.

Подобный характеръ лирики соотвѣтствовалъ вполне общественнымъ условіямъ того времени. Это былъ вѣкъ полнаго развитія крѣпостнаго строя, когда не одни крестьяне были закрѣпощены помѣщикамъ, но и всѣ классы общества, самые привилегированные, были, въ свою очередь, закрѣпощены государству, которое требовало, чтобы вся жизнь ихъ была посвящена ему, строго опредѣляло весь ихъ жизненный путь и нещадно карало за малѣйшій самостоятельный шагъ противъ обычной рутинѣ. Въ это время немалое было дѣло — существованіе поэта, который былъ бы только поэтомъ, не будучи въ тоже время вѣрнымъ и неутомимымъ служакой до сѣдыхъ волосъ: исполняя же долгъ государственной службы въ канцеляріи или на плацъ-парадѣ, онъ и въ кабинетѣ своемъ, въ бесѣдѣ съ музами, долженъ былъ не забывать того же самого

долга, потому что государство управляло самими его досугами и требовало, чтобы и они были посвящены его цѣлямъ: ассамблеи и куртаги, балы, маскарады, народныя гулянья и спектакли, — все это возникало не само по себѣ, по частной инициативѣ, а предписывалось, устанавливалось подъ угрозой штрафовъ и опалы за отклоненіе отъ предписанія и посвященіе своихъ досуговъ какому либо постороннему развлеченію, не имѣющимъ прямого отношенія къ государственной пользѣ или славѣ. Къ тому же, воспѣваніе какихъ либо личныхъ чувствъ поэта казалось тѣмъ болѣе неумѣстнымъ, что слушатели и читатели его были преимущественно высоко поставленные, государственные люди, которые могли бы посмотреть, какъ на величайшую дерзость, на претензію поэта посвятить ихъ въ интересныя своего интимнаго мірка.

Указъ о вольности дворянства былъ первою брешью, нанесенною крѣпостному строю нашего общества. Онъ эмансипировалъ отъ прикрѣпленія къ государству личность хотя бы въ средѣ одного дворянскаго сословія. Русскій дворянинъ получилъ право свободно располагать своею особою, посвящая ее государственной службѣ, или же ограничиваясь личными интересами. Это не замедлило отзываться, между прочимъ, и на лирикѣ: освобожденная личность скромно подняла свою голову и начала заявлять о своемъ существованіи. Вторженіе личности въ лирику произошло не вдругъ, а исподволь, съ постепенностью нѣсколькихъ десятилѣтій. Сначала, въ эпоху Екатерины, когда, несмотря на указъ о вольности дворянства, большинство дворянъ все еще продолжало большую часть своей жизни посвящать государству и поэты, всѣ поголовно, состояли на государственной службѣ — въ лирикѣ все еще продолжало преобладать славословіе. Но рядомъ съ нимъ начали допускаться и выраженія личныхъ чувствъ частной жизни, въ видѣ какого нибудь сентиментальнаго романа, идилліи, посланія и т. п., причемъ выражаемыя чувства не имѣли еще индивидуально-конкретной окраски; поэты словно будто не дерзали еще выражать свои собственные личныя чувства, непосредственно относящіяся къ тому или другому факту ихъ жизни, а обобщали выражаемыя чувства, воспѣвая любовь, дружбу, тягость разлуки или скорбь утраты и т. п. — въ общемъ, отвлеченномъ ихъ видѣ. Такое отвлеченно-безплотное выраженіе чувствъ продолжалось вплоть до Пушкина, который первый придалъ своимъ лирическимъ стихотвореніямъ вполне индивидуально-конкретный характеръ.

По мѣрѣ того, какъ личность все болѣе и болѣе вторгалась въ лирику, славословіе отступало на задній планъ и мало-по-малу сходило со сцены, и это обусловливалось не одними только западными вліяніями, въ видѣ разныхъ либеральныхъ идей или увлеченія европейскими литературными школами, а вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣло глубокую связь съ внутреннимъ ходомъ дѣлъ. Со смертью Екатерины кончилась эпоха военной славы, когда всѣ силы общества и народа были крайне напряжены и сосредоточены во внѣшнихъ походахъ и завоеваніяхъ; 12-й годъ былъ послѣднею славною военною эпопеею, вдохновившею нашихъ отечественныхъ бардовъ. Послѣ него вдохновляться сколько-ни-

будь искренно на торжественный ладъ было уже положительно нечѣмъ. Пушкинъ заплатилъ, правда, обильную дань славословію, но, исключая оды „Клеветникамъ Россіи“, всѣ его прочія славословія имѣютъ уже чисто ретроспективный характеръ; онъ славитъ Петра, Екатерину, славитъ все тотъ-же 12-й годъ съ его героями. А за Пушкинымъ слѣдуетъ Лермонтовъ, который посвятилъ славословію всего на все три стихотворенія: „Два великана“, „Бородино“ и „Споръ“. Но и въ этихъ трехъ произведеніяхъ струна славословія звучитъ очень слабо: такъ, въ „Двухъ великанахъ“ западный великанъ, въ образѣ Наполеона, прославляется нисколько не менѣе „старого русскаго великана“, и стихотвореніе оканчивается апоэозомъ трагической судьбы Наполеона. Въ „Бородинѣ“ поэтъ заставляеть славословить стараго ветерана-солдата, который начинаетъ свою рѣчь съ того, что бросаетъ тѣнь на настоящее во имя славнаго прошедшаго:

Да, были люди въ наше время,  
Богатыри — не вы!.

Въ „Спорѣ“ славословіе выражается въ видѣ разговора двухъ кавказскихъ горъ, которыя прославляютъ уже не одни бранные подвиги, а вмѣстѣ съ тѣмъ и лопату, которая

Въ каменную грудь,  
Добывая мѣдъ и золото,  
Врѣжетъ страшный путь.

Однимъ словомъ, съ эпохи Лермонтова начинается въ лирикѣ нашей полное господство личнаго элемента. Героемъ лирики является уже не государство, не храбрые Россы и всякаго рода звѣздоносцы, а интеллигентный человѣкъ средней руки, съ его личными радостями и печальми, не только не имѣющими ничего общаго съ официальными міромъ, но идущими наперѣкъ въ разрѣзъ съ нимъ.

Но что-же внесла освободившаяся отъ государственныхъ узъ личность въ лирику, какими новыми звуками она насъ подарила и какія тайны повѣдала она намъ? — Увы! она раздѣлила общую судьбу всѣхъ тѣхъ освобожденныхъ, которые выходятъ на свободу въ полной наготѣ и безпріютности, не зная, что съ собой дѣлать и куда дѣться. Не оказалось у нея за душою ни одного мѣднаго пятака: никакихъ заветныхъ (своихъ, внѣгосударственныхъ) традицій сзиди, никакихъ сознательныхъ, опредѣленныхъ стремленій вперед: наивно-дѣтское міросозерцаніе при полномъ отсутствіи какихъ-либо знаній и непривычка къ мало-мальски самостоятельному шагу въ жизни безъ постороннихъ помочей. Къ тому-же предоставленная ей свобода была чисто отрицательнаго свойства; ее только всего и освободили, что отъ обязанности не премѣнно, во что-бы то ни стало, служить (хотя всѣтаки продолжали коситься на нее, если она слишкомъ пользовалась этою свободою), и предоставили ей скромный, узкій кругъ частной жизни, въ видѣ свѣтскихъ развлеченій, созерцанія красотъ природы и наслажденій дарами Вакха, Эрота и Гименея въ мирномъ кругу друзей. Очень понятно, что, при такихъ условіяхъ жизни, она не могла наполнить лирику особенно разнообразными мотивами и богатымъ содержаніемъ. И дѣйствительно, бѣдность и содержанія, и мо-

тивовъ дореформенной лирики поразительна. Всю ее можно подвести подъ слѣдующія рубрики: 1) самыя элементарныя и рутинныя разсужденія о превратности судьбы и бренности человѣческой жизни, 2) воспѣваніе красотъ природы, преимущественно временъ года съ ихъ обычными смѣнами, 3) выраженіе разныхъ любовныхъ экстазовъ при встрѣчахъ, разлукахъ, излѣнахъ и утратахъ, 4) изъясненіе вакхическихъ и эротическихъ восторговъ и, наконецъ, 5) какъ естественный результатъ крайней безсодержательности жизни — вѣчныя жалобы на скуку, тоску и душевную пустоту, которую нечѣмъ наполнить. Минуты всѣ прочія рубрики, мотивы которыхъ можно встрѣтить, между прочими, въ лирикѣ всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ, можно сказать, что только въ пятой рубрикѣ дореформенная интеллигентная личность выразила нѣчто въ родѣ дѣйствительной своей заветной тайны:

Цѣли нѣтъ передо мною,  
Сердце пусто, празденъ умъ,  
И томить меня тоскою  
Однозвучной жизни шумъ.

Или:

Я пережилъ свои желанья,  
Я разлюбилъ свои мечты,  
Остались мнѣ одни страданья,  
Плоды сердечной пустоты.

И такъ, сердечная пустота, праздность ума, отсутствіе всякой разумной цѣли и томительная тоска однообразной жизни — таково было единственное горькое сознаніе, которое вынесла интеллигентная личность изъ всѣхъ своихъ встрѣчъ, разлукъ, утратъ, вакхическихъ восторговъ и созерцаній, какъ зима смѣняется весною, а весна лѣтомъ. Впрочемъ, и до этого трезваго сознанія интеллигентный человѣкъ дошелъ не вдругъ, а съ постепенностью десятилѣтій. По крайней мѣрѣ, до 30-хъ годовъ существовало лишь одно темное, неопредѣленное чувство, выражавшееся въ сентиментальной, романтической, безпредметной меланхолиі эпохи Карамзина и Жуковского. Только подъ перомъ Пушкина промелькнуло дѣйствительно нѣчто въ родѣ опредѣленнаго сознанія — въ вышеприведенныхъ стихотвореніяхъ. Но и въ вѣкѣ Пушкина, это сознаніе не было слишкомъ назойливо и далеко еще не составляло преобладающаго мотива лирики. Вѣкѣ Пушкина былъ вѣкомъ легкомысленнымъ, веселымъ, жуированнымъ напродалу, на послѣдніе деньги. Это былъ вѣкъ послѣднихъ яркихъ лучей заката старыхъ порядковъ жизни, послѣ чего старые порядки начали меркнуть и выказывать всю свою дряньность. Крестьянинъ въ то время не былъ еще разоренъ, и потому помѣщикъ, жившій на его счетъ, былъ богатъ, жизнь была дешева; страна пользовалась такимъ политическимъ могуществомъ, при которомъ она могла предписывать Европѣ законы. Преданія послѣдней бравной славы были слишкомъ еще свѣжи и наполняли сердца патристическою гордостью. Люди жили еще большею частью внѣ себя, если можно такъ выразиться, мало углубляясь въ свой внутренний, душевный міръ и рѣдко отдавая себѣ отчетъ относительно цѣлей и содержанія жизни. Поэтому и лирика Пушкина, въ общемъ, носитъ характеръ спокойный и бодрый, порою торжественно гордый, порою

сочиненія А. СКАВИЧЕВСКАГО. — II.

веселый и эротически-игривый, или легкомысленно-безпечный, и только изрѣдка проскальзываетъ въ ней та тоскливая нота, которую мы обозначили выше, представляя собою словно моменты тревожнаго отрезвленія отъ непрестанной оргіи.

Совѣсть не то мы видимъ въ эпоху Лермонтова. Въ то время, какъ славословіе совѣсти почти исчезаетъ изъ лирики, сознаніе душевной пустоты и безцѣльности жизни становится на первый планъ, дѣлается преобладающимъ мотивомъ, принимаетъ острый характеръ. Интеллигентный человѣкъ мечется въ гнетущей тоскѣ и нигдѣ не можетъ найти себѣ мѣста, ничѣмъ не можетъ утѣшиться. Всѣ вышеупомянутыя пять рубрикъ лирики смѣшиваются въ это время въ одну: идетъ-ли дѣло о красотахъ природы, о любви, о свѣтскихъ развлеченияхъ или вакхическихъ пиришестввахъ, повсюду слышатся однѣ и тѣ-же скорбныя ноты пресыщенія и отчаянія.

Но таково въ то-же время все еще продолжалось и умственное, и нравственное убожество интеллигентнаго человѣка, что, при всей его отчаянной скорби, въ немъ не пробуждалось еще ни тѣни сознанія относительно основныхъ причинъ этой скорби, ни стремленій искать изъ нея какого-либо разумнаго выхода. Совѣсть его въ то-же время безпробудно спала: миллионы народа стонали подъ игомъ этого самаго интеллигентнаго человѣка, а онъ не только не замѣчалъ этихъ стоновъ, но продолжалъ легкомысленно жуировать, стараясь заглушить свое отчаяніе въ забвеніи всякаго рода чувственныхъ излишествъ и пестрячая на эти излишества послѣдніе крохи отцовскихъ наслѣдствъ. Пресмыкаясь въ ничтожествѣ, онъ не только не стыдился этого ничтожества, но рисовался имъ, приравнивая свое разочарованіе и пресыщеніе къ величавымъ, мировымъ стонамъ байроновскаго силлина.

## XVIII.

Вѣкѣ Некрасова былъ вѣкомъ рѣшительнаго кризиса, когда всѣ старые порядки оказались вполне несостоятельными и начали быстро разрушаться. Интеллигентная личность въ это время окончательно освободилась отъ всѣхъ своихъ романтическихъ иллюзій и ей сразу открылась самая печальная дѣйствительность; она увидѣла себя на краю мрачной пропасти. Умственные и нравственные горизонты ея успѣли къ этому времени значительно расшириться, жизнь и наука даровали ей новыя и общественныя, и личныя идеалы. Идеалы эти пробудили въ дремавшую совѣсть; она исполнилась горячаго стремленія выйти изъ своего постыднаго положенія на новый путь добра и славы, но въ то же время сознала, что надъ нею продолжаетъ тяготѣть печальное прошлое, парализуя всѣ ея благія начинанія и обращая въ нигуда негодные плевалы разсѣиваемыя ею смѣна прогресса.

Тотъ періодъ рефлексій, мучительнаго раздвоенія какъ слова и дѣла, такъ и самой мысли, который характеризуетъ собою 40-е и 50-е года, обуславливается не однимъ только переходнымъ мыслительнымъ процессомъ, но глубоко коренится и въ самыхъ соци-

альныхъ отношенійхъ. Онъ прямо завистѣлъ отъ того, что интеллигентная личность, едва пробудилась ея совѣсть, сразу почувствовала себя въ одно и то же время и жертвою, и палачемъ, исполнилась страстного желанія слиянія съ народомъ во имя общаго блага, и въ то же время сознавала, что между нею и народомъ продолжаетъ зиять непроходимая бездна, выражала скорбные и горькіе протесты противъ постыднаго ничтожества своего соціального положенія, раздражалась отважными призывами выйти изъ него, и въ то же время чувствовала себя немошною, дряблою, малодушно-трусливою и неумѣлою сдѣлать хоть одинъ отважный и самостоятельный шагъ къ выходу.

Я не знаю, долго-ли продлился бы этотъ рефлексивный періодъ и чѣмъ бы онъ разрѣшился, представленный самому себѣ, еслибы въ среду интеллигенціи не вторгнулся новый элементъ, до сей поры не парадировавшій на сценѣ нашей исторіи—въ лицѣ разночинца. Разночинецъ явился примирителемъ всѣхъ противорѣчій, мостомъ, перекинувшимся черезъ пропасть, раздѣлявшую интеллигенцію отъ всѣхъ ея завѣтныхъ стремленій. Для него не существовало этой пропасти, потому что, не говоря уже о томъ, что по соціальному положенію онъ стоялъ ближе къ народу и лучше зналъ его, но и дѣлилъ съ нимъ одну общую участь, такъ что для него вопросъ о сближеніяхъ и слияніяхъ не былъ, собственно говоря, вопросомъ. Новые идеалы пришли ему совершенно по плечу, точно нарочно для него были спиты, нигдѣ его не тѣснили, не были ни узки, ни широки, такъ какъ ему не пришлось наследовать отъ предковъ такой структуры, которая бы шла совершенно въ разрѣзъ съ этими идеалами. Въ то же время, онъ оказывался болѣе состоятельнымъ для борьбы въ видахъ осуществленія этихъ идеаловъ, такъ какъ былъ закаленъ борьбою за личное существованіе и явился на полѣ брани опытнымъ, обстрѣленнымъ борцомъ, успѣвшимъ нанюхаться всякаго пороха и, наконецъ, каждый новый шагъ, завоеванный въ этой борьбѣ, былъ для него не великодушнымъ лишеніемъ, а, напротивъ,—прямымъ приобретеніемъ, между тѣмъ, какъ, при пораженіи, онъ ничего не терялъ, такъ какъ ему положительно нечего было терять.

Войдя въ среду интеллигенціи, разночинецъ естественно долженъ былъ обогатить лирику совершенно новыми, до той поры несслыханными мотивами. Во первыхъ, стоя ближе къ народу, присматриваясь и прислушиваясь къ его страдѣ, онъ долженъ былъ внести въ лирику мотивы его скорбной жизни. Затѣмъ онъ долженъ былъ обогатить лирику мотивами своей собственной борьбы за существованіе, звуками скудныхъ радостей и обильнаго горя своей жизни, наконецъ, то рефлексивно-унылое отношеніе къ новымъ идеаламъ, на которомъ остановилась интеллигенція 50-хъ годовъ, онъ долженъ былъ замѣнить звуками восторженнаго энтузіазма людей, для которыхъ не существуетъ никакихъ колебаній и сомнѣній и которые каждую минуту готовы животь свой положить за эти идеалы.

## XIX.

Широкое и многостороннее значеніе музы Некрасова, какъ выразителя всѣхъ мотивовъ своего вѣка, въ томъ именно и заключается, что онъ отразилъ въ своихъ стихотвореніяхъ всѣ тѣ элементы, броженіе которыхъ и составляетъ сущность современнаго намъ кризиса. Напрасно стали бы вы подводить его подъ одинъ какой нибудь опредѣленный, исключительный типъ. Какъ лирикъ переходной эпохи, отразившій въ своихъ стихахъ самые разнохарактерные мотивы своего времени, онъ далеко не представляетъ той цѣльности и одноформенности, какія замѣчаемъ мы въ поэтахъ, выразителяхъ духа и мотивовъ того тѣснаго интеллигентнаго слоя, къ которому они принадлежатъ, или, съ другой стороны, чѣмъ бы могъ отличаться поэтъ, вышедшій прямо изъ народа и мало соприкасавшійся съ высшими слоями общества, въ родѣ Кошкова. Въ лирикѣ Некрасова вы постоянно замѣчаете присутствіе двухъ человѣкъ, которые, при всемъ своемъ тѣсномъ соприкосновеніи другъ съ другомъ, однакоже, представляютъ значительную разнородность и порою даже чуть-что не противорѣчіе. Такъ, мы видимъ, что, съ одной стороны, лирика Некрасова, повинувая духу времени, выражаетъ собою то пробужденіе совѣсти въ интеллигентномъ человѣкѣ, которое послѣдовало, какъ было сказано выше, въ концѣ 40-хъ и началѣ 50-хъ годовъ, тѣ отрицанія обветшалыхъ формъ жизни во имя новыхъ идеаловъ, горячіе порывы къ этимъ новымъ идеаламъ, протесты во имя ихъ, при горькомъ сознаніи надломленности, дряблости и безсилія сдѣлать хоть одинъ шагъ къ осуществленію этихъ идеаловъ. Но еслибы лирика Некрасова ограничивалась этими рефлексивными мотивами умственной, нравственной и соціальной раздвоенности, онъ далеко не имѣлъ бы того широкаго значенія, какое приобрѣлъ. Онъ только и былъ-бы что лирикомъ рефлексивнаго періода 40-хъ и 50-хъ годовъ. Правда, что и въ этомъ отношеніи слово его было бы новымъ и онъ обогатилъ бы лирику мотивами и звуками, о которыхъ и помину не было въ вѣкѣ Пушкина и Лермонтова, но все таки пѣсенка его была бы давно уже спѣтою, мы отнеслись бы къ ней, какъ къ явленію историческому, подобно тому, какъ въ беллетристикѣ мы относимся къ типамъ Рудина или Обломова, и ждали бы новыхъ пѣвцовъ, которые выразили бы мотивы тѣхъ новыхъ элементовъ жизни, которые успѣли войти въ жизнь нашу послѣ 50-хъ годовъ.

Но поэзія Некрасова не исчерпывается одними рефлексивными мотивами 40-хъ и 50-хъ годовъ. Взлѣбавши въ нѣдрахъ помѣщичьей среды, судьба, словно нарочно, выкинула его потомъ изъ нея и заставила его протянуть лямку разночинца въ самомъ тяжеломъ ея видѣ—борьбы съ голодомъ изъ-за черствого куска хлѣба, и изъ его лицъ полились совершенно особенные, невѣдомые звуки, съ которыми ничего не имѣетъ общаго ни лирика дореформеннаго періода, ни рефлексивная лирика 40-хъ и 50-хъ годовъ. Эти-то звуки и довершили значеніе Некрасова, какъ всеобъемлющаго пѣвца своего народа и вѣка.

## XX.

По порядку элементовъ, обратимъ сначала вниманіе на тѣ мотивы его лирики, въ которыхъ выражается рефлексивный духъ 40-хъ и 50-хъ годовъ. Здѣсь мы видимъ въ лицѣ Некрасова мрачнаго пессимиста, и муза его вполне соответствуетъ тѣмъ эпитетамъ, которые онъ самъ къ ней приложилъ; она является, дѣйствительно, музою мести и печали. Безпоощадно бичуя всевозможные общественные пороки, гнѣвующая на почвѣ старыхъ порядковъ, онъ ни въ чемъ въ то же время не находитъ утѣшенія, потому что не видитъ никакого выхода изъ мрачнаго положенія вещей. Печально глядитъ онъ на свое поколѣніе и, замѣчая въ немъ полный разладъ словъ и дѣлъ, одни радужныя мечты, при полной драблости и бесилии къ осуществленію ихъ, онъ восклицаетъ:

Покорись—о ничтожное племя!  
Неизбѣжной и горькой судьбѣ:  
Захватило васъ трудное время  
Неготовыми къ трудной борьбѣ;  
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,  
Но для дѣла вы жертвы давно;  
Суждены вамъ благіе порывы,  
Но свершить ничего не дано.

Подобный мотивъ часто мелькаетъ во многихъ его стихотвореніяхъ. Въ поэмѣ „Сама“ онъ развивается въ цѣлый типъ, въ родѣ Рудина, и въ этомъ типѣ болѣе всего карается авторомъ именно все та же раздвоенность его поколѣнія, заключающаяся въ томъ, что

Все, что высоко, разумно, свободно,  
Сердцу его и доступно, и сродно,  
Только дающая силу и власть  
Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсть!  
Любить онъ сильно, сильнѣй ненавидитъ,  
А доведись—комара не обидитъ!  
Да говорить, что ему и любовь  
Голову больше волнуешь—не кровь!

Эти качества своего поколѣнія поэтъ принимаетъ нерѣдко и къ себѣ самому, говоря:

Я за то глубоко презираю себя,  
Что живу, день за днемъ безпоощадно губя;  
Что я, силы своей не пытавъ ни на чемъ,  
Осудилъ самъ себя безпоощаднымъ судомъ,  
И, глѣзливо твердя: я ничтоженъ и слабъ!  
Добровольно всю жизнь пресмыкался, какъ рабъ;  
Что, доживши кой-какъ до тридцатой весны,  
Не скопилъ я себѣ хоть богатой казны,  
Чтобъ глупцы у моихъ пресмыкалися ногъ,  
Да и умникъ подъ часъ позавидовать могъ!  
Я за то глубоко презираю себя,  
Что потратилъ свой вѣкъ, никого не любя,  
Что любить я хочу, что люблю я весь міръ,  
А брожу дикаремъ—безпріютенъ и сирѣ,  
И что злоба во мнѣ и сильна, и дика,  
А до дѣла дойдешь—замираетъ рука!

Подобныя качества поэтъ прямо приписываетъ наслѣдственности и влиянію среды:

И прежде, чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,  
Ребенокъ, могъ я что-нибудь,  
Проникъ уже порокъ дыханьемъ ядовитымъ  
Въ мою младенческую грудь...

Или въ другомъ мѣстѣ:

Но все, что жизнь мою опутавъ съ первыхъ лѣтъ,  
Проклятемъ на меня легло неотразимымъ,  
Всему начало адъсь, въ краю моемъ родимомъ!..

Съ такою же скептическою ироніею относится онъ и къ своей музѣ. Сначала, по его словамъ, куда ретивѣе былъ его Пегасъ:

Безъ отвращенія, безъ боязни  
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни,  
Въ суды, въ больницы я входилъ...

Но не долго продолжалась эта смѣлость:

И что-жь?.. мои послышавъ звуки,  
Сочли ихъ черной клеветой;  
Пришлось сложить смиренно руки,  
Иль поплатиться головой,

а поэту было всего двадцать лѣтъ тогда:

Лукаво жизнь впередъ манила,  
Какъ моря вольныя струи,  
И ласково любовь сулила  
Мнѣ блага лучшія свои—  
Душа пугливо отступила...

Съ тѣхъ поръ, по словамъ поэта, не часты были его встрѣчи съ музою:

Украдкой, бѣдная, придетъ,  
И шепчетъ пламенные рѣчи.  
И пѣсни гордыя поетъ,  
Зоветь то въ города, то въ степи,  
Завѣтнымъ умисломъ полна,  
Но загореть внезапно пѣни  
И нигомъ скроется она...  
Не вовсе я ее чуждался,  
Но какъ боялся! какъ боялся!  
Когда мой ближній утопалъ  
Въ волнахъ существеннаго горя,—  
То громъ небесъ, то ярость моря  
Я благодушно воспѣвалъ.  
Бичуя маленькихъ ворюшекъ  
Для удовольствія большихъ,  
Дивилъ я дерзостью мальчишекъ  
И похвалою гордился ихъ.  
Подъ игомъ лѣтъ душа погнулась,  
Остыла ко всему она,  
И муза вовсе отвернулась,  
Презрѣнья гордаго полна.

Это рефлексивно-скептическое отношеніе къ жизни доходитъ порою до такихъ предѣловъ, что та благодушно-простая, страстная любовь къ народу и вѣра въ его силы, которая проникаетъ многія стихотворенія Некрасова, словно будто покидаетъ его, и онъ восклицаетъ въ сокрушеніи:

Но и крестьяне съ унылыми лицами  
Не улаживаютъ очей.  
Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрное  
Только досаду рождаетъ...  
Что-же ты любишь, дитя маловѣрное,  
Гдѣ-же твой идолъ стоять?

Остается одна лишь природа, и лишь на ее лонѣ ищетъ отдыха и утѣшенія измученное, истерзанное сердце поэта:

Мать природа! Иду къ тебѣ снова  
Со всегдашнимъ желаньемъ моимъ —  
Заглуши эту музыку злости!  
Чтобъ душа ощущала покой,  
И прозрѣвшее око могло-бы;  
Насладиться твоей красотой!...

Но особенное преимущество отдавалъ поэтъ природѣ своей родины. Она производила на него наиболѣе испѣляющее и умиротворяющее влияніе, и во многихъ стихотвореніяхъ онъ относится къ ней съ особенно-страстнымъ любовью и нѣжностью. Такъ, въ стихотвореніи „Тишина“ онъ прямо выражаетъ свое пристрастіе къ родной природѣ передъ иноземной:



Все рождь кругомъ, какъ степь живая,  
 Ни замковъ, ни морей, ни горъ....  
 Спасибо, сторона родная,  
 За твой врачующий просторъ!  
 За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,  
 Подъ небомъ ярче твоего,  
 Искать я примиренья съ горемъ  
 И не нашелъ я ничего!  
 Я тамъ не свой: хандрю, нѣмѣю,  
 Не одолѣвъ свою судьбу,  
 Я тамъ погнулся передъ нею,  
 Но тыдохнула — и съумѣю,  
 Быть можетъ, выдержать борьбу!  
 Я твой. Пусть ропотъ укоризны  
 За мною по пятамъ бѣжалъ,  
 Не небесамъ чужой отчизны —  
 Я пѣсни родинѣ сагалъ!

Припомнимъ также начало поэмы „Саша“, гдѣ отношеніе поэта къ родной природѣ выражается въ еще болѣе страстномъ порывѣ, исполненномъ любви и сокрушенія:

Словно какъ мать надъ сыновней могилой,  
 Стонетъ куликъ надъ равниной унылой,  
 Пахарь ли пѣсню вдали запоетъ —  
 Долгая пѣсня за сердце беретъ;  
 Лѣсъ ли начнется — сосна да осина...  
 Не весела — ты, родная картина!  
 Что же молчитъ мой озлобленный умъ?..  
 Сладокъ мнѣ лѣса знакомаго шумъ;  
 Любо мнѣ видѣть знакомую ниву —  
 Дамъ же я волю благому порыву  
 И на родимую землю мою  
 Всѣ накупѣвшія слезы пролью!  
 Злобою сердце питаться устало —  
 Много въ ней правды, да радости мало;  
 Спящихъ въ могилахъ виновныхъ тѣней  
 Не разбужу я враждою моею.  
 Родина мать! Я душою смирился,  
 Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился.  
 Сколько-бъ на нивахъ бесплодныхъ твоихъ  
 Даромъ ни сгинуло силъ молодыхъ,  
 Сколько-бъ ранней тоски и печали  
 Вѣчныя бури твои ни нагнали  
 На боязливую душу мою —  
 Я побѣжденъ предъ тобою стою!  
 Силу сломили могучи страсти,  
 Гордую волю погнули напасти,  
 И про убитую музу мою  
 Я похоронная пѣсня пою.  
 Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,  
 Ласку твою мнѣ принять не обидно —  
 Дай мнѣ отраду объятий родныхъ,  
 Дай мнѣ забвенье страданій моихъ!  
 Жизнью измать я... и скоро я сгину....  
 Мать не враждебна и къ блудному сыну:  
 Только-что ей я объятія раскрылъ —  
 Хлынули слезы, прибавилось силъ.  
 Чудо свершилось: убогая нива  
 Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива;  
 Ласковый машетъ вершинами лѣсъ,  
 Солнце привѣтливѣй смотритъ съ небесъ.

Всѣ вышеприведенные мотивы вполне приравниваютъ Некрасова къ его сверстникамъ, въ родѣ поэта Огарева или въ беллетристикѣ — Тургенева: та же раздвоенность, тотъ же мрачный и безотрадный пессимизмъ, наконецъ, и та же страстная любовь къ сельской природѣ, русскому ландшафту, сказавшаяся у Некрасова въ вышеприведенныхъ лирическихъ порывахъ, а у беллетристовъ 40-хъ годовъ въ страсти къ изображенію умиротворяющихъ сельскихъ пейзажей, которыхъ, между прочимъ, не мало вы найдете и въ стихотвореніяхъ Некрасова.

## XXI.

Но мы сказали уже выше, что одними мотивами 40—50 годовъ не исчерпывается поэзія Некрасова. Радость съ ними вы найдете въ ней массу иныхъ звуковъ, остающихся совершенно чуждыми и непонятными для его сверстниковъ, но дѣлающихъ поэзію его особенно дорогою для людей младшихъ поколѣній. Въ этихъ звукахъ вы не увидите и слѣда того мрачнаго и унылаго пессимизма, какими преисполнены стихотворенія его, проникнутыя мотивами 40-хъ и 50-хъ годовъ. Здѣсь, напротивъ того, Некрасовъ является горячимъ энтузіастомъ, исполненнымъ ободряющей вѣры въ могучія силы народа и въ неизбежность побѣды свѣта надъ тьмою и правды надъ кривдою. Въ порывѣ подобнаго энтузіазма онъ восклицаетъ въ стихотвореніи „Школьникъ“:

Не бездарна та природа,  
 Не погибъ еще тотъ край,  
 Что выводитъ изъ народа  
 Столько славныхъ — то и знай —  
 Столько добрыхъ, благородныхъ,  
 Сильныхъ любящей душой,  
 Посреди тупыхъ, холодныхъ  
 И напыщенныхъ собой!

Припомнимъ также въ „Пѣснѣ Еремушки“ хотябы слѣдующіе стихи, проникнутые не менѣе искреннимъ и горячимъ энтузіазмомъ:

Въ пошлой лѣни усыпляющій  
 Пошлыхъ жизни мудрецовъ,  
 Будь онъ проклятъ, растлѣвающимъ,  
 Пошлый опытъ — умъ глупцовъ!  
 Въ насъ подъ кровлею отеческой  
 Не заглохло ни одно  
 Жизни чистой, человѣческой  
 Плодотворное зерно.  
 Будь счастливей! Силу новую  
 Благородныхъ юныхъ дней  
 Въ форму старую, готовую  
 Необдуманно не лей!  
 Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ,  
 Душу вольную отдай,  
 Человѣческимъ стремленіямъ  
 Въ ней проснуться не жѣлай.  
 Съ ними ты рожденья природою,  
 Возлелѣй ихъ, сохрани!  
 Братствомъ, истиной, свободою  
 Называются они.  
 Возлюби ихъ! на служеніе  
 Имъ отдайся до конца!  
 Нѣтъ прекраснѣй назначенія,  
 Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца.  
 Будешь рѣдкое явленіе,  
 Чудо родины своей;  
 Не холопское терпѣніе,  
 Принесешь ты въ жертву ей  
 Необузданную, дику  
 Къ лютой подлости вражду  
 И довѣренность великую  
 Къ безкорыстному труду.  
 Съ этой ненавистью правою,  
 Съ этой вѣрою святой  
 Надъ неправдою лукавою  
 Грянешь Божіей грозой...  
 И тогда-то...

Подобныхъ мотивовъ вы не встрѣтите ни въ легко-вѣсно-свѣтской лирикѣ дореформеннаго періода, ни въ рефлексивной поэзіи 40-хъ — 50-хъ годовъ. Это — мотивы новаго, выступившаго на сцену человѣка въ лицѣ разночинца, и въ вышеприведенныхъ стихахъ

выражается вся, если можно такъ выразиться, святая святыхъ этого новаго человѣка, всё его отношенія къ окружающей жизни и заветныя упованія...

Конечно, одними бравурными мотивами необузданной, дикой вражды къ лютой подлости и жажды во имя безкорыстнаго труда и святой вѣры грануть божьей грозой надъ лукавою неправдой, не исчерпывается еще все, чѣмъ живетъ этотъ новый человѣкъ. Въ жизни его вы найдете еще болѣе горя, а подъ часъ и отчаянья, сравнительно съ интеллигентными людьми 40-хъ—50-хъ годовъ. Но это горе носитъ совершенно иной характеръ и обуславливается другими причинами. Тамъ вы видите тяжкіе укоры проснувшейся совѣсти, при горькомъ сознаніи безсилія возстать духомъ и загладить вины отцовъ и свои собственныя. Здѣсь, напротивъ того, все зло лежитъ не внутри человѣка, а вѣдь его, въ гнетущихъ обстоятельствахъ, борьбу съ которыми не выдерживаютъ силы, какъ-бы онѣ ни были могучи. Интеллигентный человѣкъ 40-хъ—50-хъ годовъ, со своею проснувшейся совѣстью, при всѣхъ своихъ гамлетовскихъ рефлексіяхъ, все-таки оставался тѣмъ-же изнѣженнымъ и празднымъ барининомъ и продолжалъ пользоваться всѣми благами жизни; разночинецъ-же, подъ гнетомъ борьбы съ нищетою, обыкновенно заливается. Онъ опускается въ это время, повидимому, до послѣдней степени самоуничиженія:

Запуганный, задавленный,  
Съ поникшей головой,  
Идешь какъ обезславенный,  
Гнушаешься самъ собой,  
Стараешься злобой тайною...  
На скудный твой нарядъ  
Съ насмѣшкой не случайною  
Всѣ, кажется, глядятъ.

Но при всѣмъ этомъ самоуничиженіи, внушаемомъ жалкимъ внѣшнимъ видомъ его, онъ все-таки далекъ въ душѣ своей отъ какихъ-либо гамлетовскихъ самоубицествъ и того растлѣвающего пессимизма, который, внушая, что не стоитъ ни за что приниматься, такъ какъ ничто ни къ чему не приведетъ, незамѣтнымъ образомъ оправдываетъ и узаконяетъ привычную лѣнь и апатію. Напротивъ того, на самой послѣдней точкѣ паденія въ немъ не перестаютъ кипѣть силы, жаждущія благой дѣятельности: едва только протрезвится онъ,

И хочется тогда  
То славы соблазнительной,  
То страсти, то труда.

Онъ сознаетъ въ тоже время, что если онъ не въ силахъ достигнуть ни того, ни другого, то виною этого не собственная внутренняя дряблость, а слишкомъ ужъ безвыходное внѣшнее положеніе, нищета, которая заставляетъ его, во чтобы-то ни стало, гнуть спину надъ каторжнымъ, забивающимъ трудомъ, не давая ему возможности выбиться и приняться за любимое дѣло:

Ахъ! еслибъ часть ничтожную!  
Старушку полечить,  
Сестрамъ-бы нероскошную  
Обновку подарить!  
Страхнуть ярмо тяжелаго,  
Гнетущаго труда—  
Быть можетъ, буйну голову

Сносишь-бы я тогда.  
Покинувъ путь губительный,  
Нашелъ-бы путь иной,  
И въ трудъ иной—свѣжительный—  
Поникъ-бы всей душой.

Вы видите, что на самой послѣдней ступени безвыходнаго отчаянья въ немъ продолжаетъ жить все тотъ-же разночинецъ съ его энтузіазмомъ святаго, свѣжительнаго труда на общую пользу. Забудьте, въ тоже время, глубоко и вѣрно подмѣченную черту новаго человѣка: онъ, идущій, какъ обезславенный, гнушающій самъ собой, при видѣ своего скуднаго наряда, на который, какъ ему кажется, всѣ пальцами показываютъ, онъ, при мечтѣ о ничтожной части, прежде всего заботится не о себѣ, а о своей старушкѣ, какъ бы хорошо было ее полечить, о сестрахъ, которыхъ слѣдовало бы пріодѣть, а потомъ уже о себѣ. Строгіе моралисты, конечно, замѣтятъ при этомъ, что если онъ такъ заботится о своихъ родныхъ, такъ зачѣмъ же пьянствуетъ?

Но мгла отвсюду черная  
На встрѣчу бѣдняку,  
Одна открыта торная  
Дорога къ кабаку,—

отвѣчаетъ на подобное замѣчаніе конецъ стихотворенія.

Найдите во всей предыдущей поэзіи хоть блѣдный намекъ на подобный мотивъ, а между тѣмъ, онъ открываетъ вамъ душевный міръ миллионовъ людей, живущихъ на Руси и гибнущихъ нѣкогда въ полномъ безучастіи, не находя ни малѣйшаго отклика ихъ трагической доли въ области поэзіи. Люди самодовольные пробѣгутъ, конечно, мелькомъ подобное стихотвореніе, и оно не оставитъ ни малѣйшаго слѣда въ ихъ сердцахъ, какъ нѣчто совершенно постороннее и чуждое имъ, способное возбудить въ нихъ самое большее, что отвлеченное сочувствіе свысока, и понятно, что они способны будутъ заподозрить искренность поэта, задѣвающаго подобныя темы. Нѣкоторые изъ нихъ находятъ неумѣстнымъ, что поэзія тратится на такіе мизерности вмѣсто того, чтобы возвышать сердца горѣ, въ область „звуковъ сладкихъ и молитвъ“. Но тѣ, которые увидятъ въ этомъ стихотвореніи самихъ себя, должны совершенно иначе отнестись къ нему. Отъ ихъ вниманія не скроется ни та теплая задумчивость, ни тѣ горькія слезы, какими проникнуто это стихотвореніе: вѣдь это—ихъ собственная задумчивость, ихъ слезы. Понятно, что, въ концѣ концовъ, подобное стихотвореніе должно быть для нихъ ближе, роднѣе, чѣмъ всѣ великолѣпныя изображенія, какъ поэтъ лежалъ въ долині Даргестана или какъ онъ видѣлъ дѣву на скалѣ и т. п.

Къ числу подобныхъ-же стихотвореній разночиннаго типа относятся „Буря“, „Застѣнчивость“, „Будли ночью по улицѣ темной“.

„Буря“ и „Застѣнчивость“ представляютъ два противоположные полюса въ жизни разночинца. Въ первомъ стихотвореніи вы видите восторгъ восторжествовавшей страсти, но страсть эта носитъ совершенно иной характеръ и колоритъ, чѣмъ мы привыкли встрѣчать въ различныхъ любовныхъ элегіяхъ предшествующей лирики и даже въ Некрасовскихъ элегіяхъ пушкинскаго стиля. Тамъ, въ самомъ разгарѣ

страсти, не перестаетъ преобладать разлагающій анализъ, унылая рефлексія, которая во всё перипетіи страсти вноситъ ѣдкую горечь то взаимныхъ попрековъ, то меланхолическихъ предчувствій непрочности земнаго счастья и т. п. Здѣсь-же, напротивъ того, вы видите полную и беззавѣтную отдачу страсти безъ всякихъ колебаній и заботъ о завтрашнемъ днѣ. Единственнымъ препятствующимъ элементомъ является, опять-таки, чисто-внѣшнее обстоятельство, представляющееся, въ настоящемъ случаѣ, въ видѣ бури, которая грозитъ помѣшать свиданію; но и буря оказывается ни по чемъ, потому что Любушка сосѣдка, въ свою очередь, не отступитъ передъ препятствіями, въ виду счастья любви, и, вопреки подозрѣніямъ счастливаго любовника, вовсе не такая пугливая нѣженка, чтобы въ бурю за ворота было ей выйти за диво.

Вообще, по своей своеобразности и бравурному, страстному тону, стихотвореніе это напоминаетъ собою многія пѣсни Кольцова, выражающія такую-же беззавѣтную удачу страсти здороваго и не искалѣченнаго русскаго простаго человѣка.

Совершенно противоположный характеръ носитъ стихотвореніе „Застѣнчивость“. Здѣсь воспѣвается одна изъ самыхъ общераспространенныхъ и роковыхъ слабостей разночинца. Здѣсь вы не видите уже удали, торжествующей страсти, а, напротивъ того, — унылое отчаяніе. вслѣдствіе невозможности избавиться отъ проклятой слабости:

На ногахъ словно гири желѣзныя,  
Какъ свинцомъ налита голова,  
Странно руки торчать безполезныя,  
На губахъ замираютъ слова.  
Улыбнусь — непропорная, жесткая,  
Не въ улыбку улыбка моя,  
Попутать захочу — шутка плоская:  
Покраснѣю мучительно я.

Но и здѣсь несчастливца не покидаетъ сознаніе, что въ сущности онъ — совсѣмъ не такой жалкій и ничтожный, какимъ представляется въ обществѣ, что въ душѣ его не мало таятся могучихъ силъ:

Нѣтъ! мнѣ въ божьихъ дарахъ не отказано.  
И лицомъ я не хуже людей.  
Милoduше пустое и дѣтское,  
Не хочу тебя знать съ этихъ поръ!  
Я пойду въ ея общество свѣтское,  
Я тамъ буду уменъ и остеръ!  
Пусть пойметъ, что свободно и молодо  
Въ этомъ сердцѣ волнуется кровь,  
Что подъ маской наружнаго холода  
Безконечная скрыта любовь...

И здѣсь, наконецъ, источникъ зла таятся не внутри, а во внѣшнихъ обстоятельствахъ:

Придавила меня бѣдность грозная,  
Запугала меня съ дѣтства отецъ,  
Безталанная долюшка слезная  
Извела, доканала въ концѣ!..

Что касается до стихотворенія „Буду ли ночью по улицѣ темной“, то оно представляетъ собою ту крайнюю степень мрачнаго, трагическаго пафоса, до котораго доводитъ бѣдняковъ-разночинцевъ непосходная борьба съ нищетою. Я не знаю ужъ, какую нужно обладать деревянностью и черствостью, чтобы рѣшиться утверждать, что подобное стихотвореніе, въ которомъ каждый стихъ рыдаетъ передъ вами, могло быть холодно, дидактически составлено искус-

ственнымъ подборомъ мрачныхъ чертъ жизни, какъ это утверждаютъ наши критики, въ родѣ Евг. Маркова. Подобное предположеніе доказываетъ только, что они даже и близко не видали той жизни столичныхъ угловъ и подваловъ, эпизодъ которой развитъ въ этомъ стихотвореніи. Люди же, выдавшіе эту жизнь, а тѣмъ болѣе сами испытывшіе ее, поймутъ, что это стихотвореніе могло быть написано только человѣкомъ, который, если не самъ лично, фактически пережилъ подобный эпизодъ, то, во всякомъ случаѣ, бывалъ въ аналогическихъ положеніяхъ и видалъ такіе виды. Въ этомъ болѣе всего можетъ убѣдить не столько самый эпизодъ, изображенный довольно общими чертами, сколько та надрывающая скорбь, которымъ проникнуто стихотвореніе. Люди, желающіе умалить талантъ Некрасова сомнѣніемъ въ искренности его лиризма, не подозреваютъ, какое сверхъестественное, лежащее внѣ предѣловъ человѣческой природы могущество приписываютъ они ему, воображая, что поэтъ въ состояніи поддѣлаться, притвориться до такой поразительной близости къ естественному чувству. Есть особеннаго рода нравственная высота, постигать величіе которой не дано въ удѣлъ благодушнымъ Маниловымъ, пресмыкающимся въ низменной сферѣ мѣщанской, пошлой морали.

Ничему иному, какъ тому-же разночинному духу, сабдуется приписать особенное свойство некрасовской лирики, на которое мало обращала вниманіе критика при жизни поэта. Между тѣмъ какъ, если серьезно и обстоятельно взвѣситъ это обстоятельство, то поэзія Некрасова, въ цѣломъ своемъ, можетъ представиться обладающею совершенно противоположнымъ духомъ и характеромъ, чѣмъ принято ее считать. Оказывается, что ни одинъ изъ русскихъ современныхъ поэтовъ не любилъ такъ часто обращать вниманіе на свѣтлыя стороны нашей жизни, ни одинъ не изображалъ такъ много положительныхъ, идеальныхъ, доблестныхъ типовъ, съ такимъ горячимъ, чисто-шиллеровскимъ энтузіазмомъ, какъ именно этотъ самый поэтъ, котораго привыкли считать мрачнымъ пессимистомъ и жолчнымъ отрицателемъ, который, будто бы, нарочно искусственно подбиралъ и нанизывалъ однѣ темныя стороны жизни. И что всего замѣчательнѣе — положительные, идеальные типы и образы Некрасова отнюдь не носятъ фантастически отвлеченнаго характера, внѣ всякихъ предѣловъ времени и пространства, и, съ другой стороны, тѣмъ менѣе рисуются они въ какомъ-либо одномъ субъективномъ типѣ, повторяющемся въ различныхъ вариантахъ, какъ это мы видимъ, напримѣръ, у Байрона и его подражателей. Ни чуть не бывало. Какъ у истаго реалиста, идеальные типы Некрасова являются передъ вами облеченными въ плоть и кровь своего времени и той среды, къ которой они принадлежатъ. Они поражаютъ васъ разнообразіемъ конкретныхъ особенностей; ни одинъ не похожъ на другого. Въ то-же время, они отнюдь не принадлежатъ къ одному какому-нибудь слою общества. Некрасовъ искалъ и находилъ ихъ всюду, въ самыхъ разнородныхъ общественныхъ слояхъ, и можно положительно сказать, что ни одного слоя не обидѣлъ въ этомъ отношеніи.

Такъ, на самомъ верху общественной іерархіи, въ

великосвѣтскомъ кругу, рисуются передъ нами княгини Т—ая и М. Н. В—ская, съ ихъ мужьями-страдальцами. Въ этихъ доблестныхъ фигурахъ, исполненныхъ граціозно-нѣжной любви и въ то же время гордаго и непоколебимаго, какъ сталь, самоотверженія — открывается передъ вами словно античный, классическій міръ величаваго героизма. А между тѣмъ, въ каждомъ ихъ душевномъ движеніи и помышленіи, въ каждомъ шагѣ, словѣ, позѣ — вы видите русскую жизнь, русскую природу, русскихъ великосвѣтскихъ барынь, мирно и безопасно нѣкогда порхавшихъ по баламъ и маскарадамъ, и вдругъ, силою обстоятельствъ, превратившихся въ какихъ-то римскихъ матронъ эпохи Коріолана и Тарквинія Гордаго. Въ этомъ контрастѣ простыхъ и незатѣйливыхъ типичныхъ чертъ русской жизни съ античною величавостью доблестныхъ русскихъ женщинъ заключается главная иллюзія поэмы Некрасова. Въ то же время, чтобы представить своихъ героинь во всемъ ихъ идеальномъ свѣтѣ, чтобы показать всю цѣну ихъ самопожертвованія, поэтъ съ гениальнымъ художественнымъ тактомъ, въ особенно обольстительномъ свѣтѣ умѣлъ представить ихъ прошлую жизнь: всѣ эти волшебныя воспоминанія среди суровыхъ и безбрежныхъ сибирскихъ снѣговъ, при наводящемъ уныніи и ужасѣ завываній вьюги, о минувшихъ годахъ любви и счастья, роскоши и нѣги повергаютъ читателя въ тотъ невольный трепетъ, какой способны производить только величайшія созданія искусства. Припомните также сцену борьбы съ родительской властью и съ администраціей, въ лицѣ губернатора, — это пробужденіе въ суровомъ администраторѣ человѣка, эти невольныя слезы его:

«Нѣтъ! вы пойдете!..» вскричалъ  
Нежданно старый генералъ,  
Закрывъ рукой глаза:  
«Какъ я васъ мучилъ... Боже мой!..»  
(Нашъ подъ руки на усь сѣдой  
Скатилася слеза).  
«Простите! да, я мучилъ васъ,  
Но мучился и самъ,  
Но строгій я имѣлъ приказъ  
Преграды ставить вамъ!  
И развѣ ихъ не ставилъ я?  
Я дѣлалъ все, что могъ,  
Передъ судомъ душа моя  
Чиста — свидѣтель Богъ!  
Острожнымъ жесткимъ сухаремъ  
И жизнью взаперти,  
Позоромъ, ужасомъ, трудомъ  
Этапнаго пути  
Я васъ старался испугать.  
Не испугались вы!  
И хоть-бы мнѣ не удержать  
На плечахъ головы,  
Я не могу, я не хочу  
Тиранить больше васъ...  
Я васъ въ три дня туда домчу...  
(отворяя дверь, кричить)  
Эй! запрягать сейчасъ!..»

Художественнѣе, глубже, ныне всѣхъ этихъ сценъ, можно положительно сказать, ничего еще не было въ русской литературѣ. А главное дѣло: гдѣ-же тутъ передъ вами исключительный отрицатель и жолчный пессимистъ? Неужели этотъ самый поэтъ, который даже въ суровомъ лицѣ непреклоннаго исполнителя воли начальства съумѣлъ открыть вамъ свѣтлый лучъ человѣческаго образа?

Идя затѣмъ по нисходящей линіи общественной іерархіи, мы видимъ рядъ тихихъ и скромныхъ тружениковъ русской науки и мысли, мужественно и неустанно борющихся въ тиши невѣжества и сходящихся въ преждевременныя, безвѣстныя могилы, оплакиваемыхъ небольшою горстью друзей, которые одни только понимали, чего лишается Россія въ этихъ сподвижникахъ и мученикахъ нашего времени. Таковы были Бѣлинскій, Влад. Милютинъ, Добролюбовъ, Писаревъ, и всѣхъ ихъ воспѣлъ Некрасовъ въ восторженныхъ гимнахъ. Наибольшая доля этихъ гимновъ пришлось естественно на долю Бѣлинскаго, передъ которымъ Некрасовъ, въ продолженіи всей своей жизни, не переставалъ благоговѣть не только какъ передъ великимъ человѣкомъ своей родины, но и какъ передъ своимъ учителемъ, которому былъ обязанъ своею славой. Кромѣ поэмы, воспѣвающей Бѣлинскаго и напечатанной въ одномъ изъ заграничныхъ изданій, кромѣ «Памяти пріятеля», мы находимъ въ отрывкахъ изъ «Медвѣжьей охоты» нѣсколько глубоко и горячо прочувствованныхъ строфъ, посвященныхъ памяти Бѣлинскаго, которыя я и привожу, какъ лучший образецъ некрасовскаго описанія:

Бѣлинскій былъ особенно любимъ...  
Молясь твоей многострадальной тѣни,  
Учитель! предъ именемъ твоимъ  
Позволь смиренно преклонить колѣни!  
Въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси,  
Дремля и раболопствуя позорно,  
Твой умъ кипѣлъ — и новыя стези  
Прокладывалъ, работая упорно.  
Ты не гнушался никакимъ трудомъ.  
«Чернорабочій я — не бѣлоручка»,  
Говаривалъ ты намъ — и напроломъ  
Шелъ къ истинѣ, великій самоучка!  
Ты насъ гуманно мыслятъ научилъ,  
Едва-ль не первый ты вспомнилъ о народѣ,  
Едва-ль не первый ты заговорилъ  
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ...  
Не даромъ ты, мужая по часамъ,  
На взглядъ глупцовъ казался перемѣнчивъ,  
Но предъ врагомъ заносчивъ и упрямъ,  
Съ друзьями былъ ты кротокъ и застѣнчивъ.  
Не думалъ ты, что стоишь ты вѣнца,  
И разумъ твой горѣлъ, не угасая,  
Самимъ собой и жизнью до конца  
Святое недовольство сохраняя —  
То недовольство, при которомъ нѣтъ  
Ни самообольщенія, ни застоя,  
Съ которымъ и на склонѣ нашихъ лѣтъ  
Постыдно мы не убѣжимъ изъ строя —  
То недовольство, что душѣ живой  
Не дастъ возстать противу новой силы  
За то, что заслоняетъ насъ собой  
И старцамъ говорить: «пора въ могилы!»

Такимъ образомъ, въ поэзіи Некрасова снова воскресло славословіе, совсѣмъ было замершее въ эпоху Лермонтова, но это славословіе направилось совсѣмъ въ противоположную сторону, сбросило съ себя официальную маску раболопства и лести, сошло съ риторическихкихъ ходовъ ложнаго классицизма на реальную почву и начало воспѣвать то, что было на Руси истинно доблестнаго и великаго.

Но наиболѣе свѣтлые и положительные типы находилъ Некрасовъ, конечно, въ народной средѣ, и вотъ передъ нами проходитъ рядъ образовъ благодушныхъ, любвеобильныхъ, исполненныхъ могучей

удали, но чуждыхъ всякой гордой кичливости въ сознаниі своихъ богатыхъ силъ, добродушно смиренныхъ въ рѣдкихъ удачахъ и терпѣливо-кроткихъ въ своемъ неисходномъ горѣ.

## XXIV.

Въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ народу, какъ и во всѣхъ прочихъ, мы видимъ тѣ же два разнородные элемента. Такъ, въ однихъ изъ нихъ Некрасовъ является, въ свою очередь, исключительно поэтомъ 40—50 годовъ. Отношеніе его къ народу въ этихъ стихотвореніяхъ вполне гуманное, исполненное горячаго участія къ народнымъ бѣдствіямъ, подъ влияніемъ новыхъ освободительныхъ идей, но въ то же время рефлексивное, отрицательное, пессимистическое. Поэтъ смотритъ здѣсь на народъ со стороны и нѣсколько даже съ интеллигентнаго высока; народъ представляется ему подавленнымъ, забитымъ, обнищавшимъ, въ то же время полудикимъ, исполненнымъ всевозможныхъ предрасудковъ, бредущимъ по житейской дорогѣ

Въ безразсвѣтной, глубокой ночи,  
Безъ понятія о правѣ, о Богѣ,  
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи...

Вы жалѣете вмѣстѣ съ поэтомъ этотъ народъ, оплакиваете его во всѣхъ этихъ жалкихъ и убогихъ тетушкахъ Ненилахъ, Ванькахъ, топящихъ въ винѣ всѣ свои бурныя страсти и горе, ямщикахъ, насильно ожененныхъ на барышняхъ-крестьянкахъ и бьющихъ ихъ подъ пьяную руку, но вы тщетно стали-бы искать чего-нибудь свѣтлаго, положительнаго, отраднаго, что могло-бы возбудить въ васъ не одно состраданіе къ нимъ, но и глубокое сочувствіе. Не найдете вы здѣсь также и той ободряющей вѣры, которая открыла-бы вамъ всю ширь и глубину могучаго народнаго духа, таящагося въ этихъ людяхъ, показала-бы вамъ, какіе трезвые и здоровые идеалы у нихъ, и заставила-бы васъ, въ концѣ концовъ, видѣть въ нихъ залогъ свѣтлаго будущаго. Напротивъ того, читая эти стихотворенія, вы, вмѣстѣ съ поэтомъ, способны прийти въ окончательное отчаяніе и воскликнуть: если и эти люди таковы, то гдѣ-же послѣ того выходъ и на что-же надѣяться? Однимъ словомъ:

Что-же ты любишь, дитя маловѣрное,  
Гдѣ-же твой идолъ стоитъ?

И все это происходитъ отъ того, что въ подобныхъ стихотвореніяхъ поэтъ стоитъ за пропастью, которая отдѣляетъ народъ отъ интеллигенціи, является вполне чуждъ того глубокаго проникновенія въ душу и жизнь народа, которое могло-бы придавать стихотвореніямъ характеръ непосредственно-народный. Многія изъ нихъ проникнуты страстнымъ лиризмомъ, но лиризмъ этотъ является выраженіемъ не столько тѣхъ чувствъ, которыя переживаютъ изображаемая личности изъ народа, сколько личнаго скорбнаго чувства самого поэта, который и стоитъ передъ вами на первомъ планѣ со своею проснувшейся совѣстью и душевнымъ разладомъ интеллигентнаго человѣка 40-хъ годовъ. Таковы стихотворенія: „Въ дорогѣ“, „Тройка“, „Извозчикъ“, „На улицѣ“ (Воръ, Проводы, Гри-

бокъ, Ванька), „Вино“, „Такъ, служба“, „Забятая деревня“, „Деревенскія новости“, „На полѣ“ и другія.

Но, рядомъ со всѣми подобными стихотвореніями, вы найдете другія, въ которыхъ поэтъ совершенно отрѣшается отъ себя, личность его исчезаетъ, сливается съ выводимыми на сцену народными личностями, словно самъ народъ устами поэта выражаетъ свои заветныя думы и чувства. Самый стихъ поэта, не теряя своеобразности, принимаетъ характеръ народныхъ пѣсенъ, и языкъ его пріобрѣтаетъ такую богатую пластичность, образность, игривость и мѣткость, какія свойственны нашей народной рѣчи. Таковы изъ крупныхъ вещей: „Морозъ красный носъ“, „Коробейники“, „Кому на Руси жить хорошо“; изъ мелкихъ— „Сторона наша убогая“, „Пахарь“, „Съ работы“, „Пѣсни“ и пр. Въ подобныхъ вещахъ вы видите уже не одно отрицательное, обличительное отношеніе къ народу, въ видѣ пессимистическаго соболѣзнованія о его бѣдствіяхъ, изъ которыхъ не предвидится никакого выхода. Напротивъ того: народъ рисуется здѣсь прежде всего въ своихъ положительныхъ чертахъ, какъ могучій богатырь, который своимъ непреклоннымъ терпѣніемъ въ многолѣтнихъ страданіяхъ возбуждаетъ въ поэтѣ восторженное обаяніе и ободряющую вѣру въ его великое будущее.

Такъ, напримѣръ, обратите вниманіе хотя-бы на „Думу“, которая начинается горькими сѣтованіями на бѣдность и недостатокъ въ заработкахъ, а кончается апоэозомъ труда совершенно въ русско-народномъ духѣ, исполненномъ все той-же лихой удалы:

Эй! возьми меня въ работники,  
Поработать руки чешутся!  
Повели ты въ лѣто жаркое  
Мнѣ пахать пески сыпучіе,  
Повели ты въ зиму лютую  
Вырубать лѣса дремучіе—  
Только трескъ стоялъ-бы до неба,  
Какъ деревья-бы валялися:  
Вмѣсто шапки, бѣлымъ инеемъ  
Волоса-бы серебрилися!

Чтобы понять вполне наглядно и ясно все діаметральное различіе двухъ вышеозначенныхъ типовъ народныхъ стихотвореній Некрасова, вы сравните стихотвореніе „Тройку“ съ поэмою „Морозъ красный носъ“. Въ обоихъ произведеніяхъ содержаніе, повидимому, вполне аналогично и тамъ, и здѣсь оплакивается слезная доля русской крестьянки. А между тѣмъ, какая неизмѣримая пропасть лежитъ между обоими произведеніями. Въ стихотвореніи „Тройка“, представивши плѣнительный образъ деревенской дѣвушки, бѣгущей за тройкой съ проѣзжимъ корнетомъ, авторъ обращается къ ней съ слѣдующими сѣтованіями:

Поживешь и попразднуешь въ волю,  
Будетъ жизнь и полна, и легка...  
Да не то тебѣ выпало въ долю:  
За нерику пойдешь мужика.  
Завязавши подъ мышки передникъ,  
Перетанешь уродливо грудь,  
Будетъ бить тебя мужъ привередникъ  
И свекровь въ три погубила гнуть.  
Отъ работы и черной, и трудной  
Отвѣтешь, не успѣя расцвѣсть,  
Погрузишься ты въ сонъ непробудный,  
Будешь нянчить, работать и ѣсть

И въ лицѣ твоёмъ, полномъ движенія,  
 Полномъ жизни—появится вдругъ  
 Выраженіе тупого терпѣнья  
 И бессмысленный вѣчный испугъ;  
 И скоронять въ сырую могилу,  
 Какъ пройдешь ты свой жизненный путь,  
 Безполезно угасшую силу  
 И ничѣмъ не согрѣтую грудь.

Вы видите здѣсь, правда, глубокое искреннее сочувствіе къ судьбѣ крестьянки, но сочувствіе это не имѣетъ ничего общаго съ народными взглядами на жизнь и его трезвыми идеалами. Совершенно не такъ бы сталъ въ этомъ случаѣ сочувствовать самъ народъ. Въ самомъ дѣлѣ: развѣ вы не видите на первомъ-же планѣ эстетика, который прежде всего и болѣе всего оплакиваетъ потерю крестьянкой внѣшней красоты, которая скоро пропадетъ отъ тяжелаго труда? Ему досадно, зачѣмъ не проживетъ она въ праздной нѣгѣ, при которой красота, конечно, сохранилась бы до сорока и болѣе лѣтъ, зачѣмъ выйдетъ замужъ за грязнаго мужика, который окажется непременно ужъ злымъ привередникомъ и только и будетъ, что колотить ее взапуски со своею матерью, а главное дѣло, зачѣмъ она только и будетъ, что нянчить, работать и, можете себѣ представить — ѣсть! Но этого всего мало: всю-то жизнь проработавши, въ концѣ-концовъ, она окажется почему-то бесполезно угасшею силою, такъ что невольно навертывается у васъ вопросъ: ну, а какимъ-же способомъ она могла-бы оказаться не бесполезною силою? Неужели въ такомъ случаѣ, еслибы удалось ей догнать тройку съ проѣзжимъ корнетомъ и съ нимъ „попраздновать въ волю“?

Совсѣмъ не то видимъ мы въ поэмѣ „Морозъ красный носъ“. На первомъ-же планѣ рисуется здѣсь передъ вами величавый типъ славянки, который, по словамъ поэта, и до сихъ поръ не успѣлъ еще измелчать и часто встрѣчается въ русскихъ селеніяхъ:

Есть женщины въ русскихъ селеніяхъ  
 Съ спокойною важностью лицъ,  
 Съ красивою силой въ движеніяхъ,  
 Съ походкой, со взглядомъ царицъ —  
 Ихъ развѣ слѣпой не замѣтить,  
 А зрячій о нихъ говорить:  
 «Пройдетъ—словно солнце освѣтитъ!  
 «Посмотритъ—рублемъ подаритъ».

Этотъ богатырскій образъ Дарьи своею величавостію придастъ высокій трагическій пафосъ всѣмъ ей горькимъ страданіямъ по случаю смерти мужа. Передъ вами не робкія слезы жалкаго безсилія, подавленности, загнанности, а могучіе стоны словно будто какой-то эпической героини, до послѣднихъ своихъ титаническихъ силъ борющейся съ злою судьбою. Въ семьѣ своей она — не бессмысленный манекенъ для всеобщихъ побоевъ, а равноправный членъ, несущій свою скорбную долю:

Лѣто онъ жилъ работаючи,  
 Зиму не видѣлъ дѣтей,  
 Ночи о немъ помышляючи,  
 Я не смыкала очей.  
 Ыдетъ онъ, зябнеть... а я-то, печальная,  
 Изъ волокнистаго льну,  
 Словно дорога его чудедалная,  
 Долгую нитку таяу.  
 Веретено мое прыгаетъ, вертится.  
 Въ полъ ударяется...  
 Проклушка пѣшь идетъ, въ рывинѣ крестится,

Къ возу на горочкѣ самъ припрыгается.  
 Лѣто за лѣтомъ, зима за зимой —  
 Этакъ-то мы раздобылись казною!  
 Милостивъ буди къ крестьянину бѣдному,  
 Господи! все отдаемъ,  
 Что по копѣйкѣ, по грошику мѣдному,  
 Мы сколотили трудомъ!

Въ этихъ немногихъ стихахъ передъ вами обрисовывается вся доля крестьянской семьи, доля, правда, горькая, слезная, но исполненная высокой нравственной красоты, и въ особенности эпически-величаво рисуется здѣсь передъ нами эта женщина, которая, какъ вѣрная Пенелопа, ожидаетъ съ своимъ веретеномъ возвращенія мужа изъ его дальнихъ и трудныхъ странствій и въ то же время, словно Парка, прядетъ свою нитку, такую же длинную, какъ дорога ея милаго. Сколько здѣсь глубокой, своеобразной, потрясающей поэзіи! Таковою же остается героиня и до конца поэмы, когда, по смерти мужа, ей приходится исполнять мужичье дѣло, рубить дрова для своихъ горькихъ сиротокъ, и въ страшной истомѣ, въ приливѣ неутѣшнаго горя, она величественно замерзаетъ среди грознаго лѣснаго уединенія. Согласитесь, что поэма эта въ половину потеряла бы свое чарующее, хватающее за душу и потрясающее обаяніе, еслибы поэтъ не сумѣлъ представить свою героиню въ томъ величаво-идеальномъ свѣтѣ, въ какомъ она рисуется передъ нами, еслибы она хоть чуточку вышла бы пошлѣе, зауряднѣе, однимъ словомъ, — одною изъ тѣхъ тупыхъ, полоумныхъ крестьянокъ съ „выраженіемъ тупого терпѣнья и бессмысленнаго вѣчнаго испуга“, какая рисуется передъ вами въ „Тройкѣ“. Но подумайте, въ чемъ же заключаются эти идеальныя черты Дарьи? Въ какихъ такихъ особенныхъ подвигахъ, которые выдѣляли бы ее изъ всѣхъ ее окружающихъ? Въ томъ то и дѣло, что никакихъ особенныхъ подвиговъ вы не видите: совершенно согласно съ народными идеалами та самая работа и нянченье дѣтей, къ которымъ авторъ въ „Тройкѣ“ относится съ такою эстетическою безразличностію, здѣсь, напротивъ того, представлены во всемъ своемъ поэтическомъ апогеозѣ; они-то и дѣлаютъ Дарью героиней, обнаруживая въ ней могучую силу трудовой женщины, чарующую васъ не только на верху безпечнаго счастья, но и въ трагической гибели подъ ударами лихой судьбы.

Здѣсь, въ заключеніе, я долженъ сдѣлать необходимую оговорку. что, говоря о двухъ различныхъ элементахъ творчества Некрасова и обозначая различныя стихотворенія, въ которыхъ преобладаетъ тотъ или другой элементъ, я, въ то же время, далека отъ дѣленія всѣхъ стихотвореній Некрасова на двѣ рубрики и рѣшительнаго распредѣленія ихъ — одесную или ошую. Слово элементы я употребляю здѣсь въ истинномъ и точномъ значеніи этого слова. Они оба въ одно и то же время сидѣли въ мозгу Некрасова, и когда дѣйствовалъ одинъ, другой не отсутствовалъ всецѣло, а тоже оказывалъ свое влияние, и оставлялъ свои слѣды. Поэтому, въ томъ или другомъ стихотвореніи, можно видѣть только преобладаніе одного изъ элементовъ, а не полное, исключительное его господство. Есть, правда, и такіа произведенія, въ которыхъ одинъ изъ элементовъ вполне господствуетъ, какъ,

напримѣръ, та же „Дума“ (Сторона наша убогая), вся проникнутая элементомъ народнымъ, или, съ другой стороны, „Рыцарь на часть“, въ которой рефлексивный элементъ составляетъ всю суть. Но такихъ чистыхъ произведеній мало. Въ большинствѣ же, оба элемента находятся въ смѣшанномъ состояніи, при преобладаніи одного. Такъ, въ поэмѣ „Морозъ красный носъ“, хотя и преобладаетъ народный элементъ, но въ началѣ ея вы найдете кое-какіе слѣды и рефлексивнаго. Въ „Тройкѣ“, наоборотъ: вся первая половина стихотворенія, представляющая плѣнительный образъ крестьянской дѣвушки, подходитъ болѣе къ народному элементу. Принимая же въ соображеніе всю массу стихотвореній Некрасова во всей совокупности и въ хронологическомъ ихъ порядкѣ, можно положительно сказать, что преобладаніе рефлексивнаго элемента относится къ первой половинѣ дѣятельности Некрасова, что соответствуетъ въ самомъ обществѣ господству этого элемента въ 40-ые—50-ые годы. По мѣрѣ же того, какъ различно-народный элементъ началъ вытѣснять рефлексивный, и въ стихотвореніяхъ Некрасова начинается преобладаніе этого элемента, который все болѣе и болѣе овладѣваетъ имъ къ концу литературной дѣятельности. Его послѣднее неоконченное стихотвореніе „Кому на Руси жить хорошо“ преисполнено народнаго элемента. Это произведеніе общало быть широкою и всеобъемлющею эпопеею народной жизни въ самыхъ ея многообразныхъ проявленіяхъ, не только въ однихъ мрачныхъ ея чертахъ, но и въ самыхъ свѣтлыхъ и радостныхъ моментахъ, что мы отчасти и видимъ въ напечатанныхъ главахъ.

Эти соображенія перевертываютъ вверхъ ногами всѣ приговоры относительно Некрасова со стороны критиковъ, въ родѣ Евг. Маркова и tutti quanti. Они обыкновенно говорятъ, что Некрасовъ, подпавши подъ вліяніе литературныхъ кружковъ 60-хъ годовъ, подчинился ихъ требованіямъ отрицательно-тенденціознаго отношенія къ жизни и народу и началъ ломать свой талантъ во исполненіе этихъ требованій. На дѣлѣ же мы видимъ нѣчто совершенно обратное. Именно, подъ вліяніемъ рефлексивныхъ кружковъ 40-хъ годовъ въ немъ преобладало отрицательное, пессимистическое отношеніе ко всему окружающему, въ томъ числѣ и къ народу. Кружки же 60-хъ годовъ, въ которыхъ преобладали различинцы, дѣйствовали на него совершенно обратно: они будили въ немъ задремавшія струны сочувствія къ народу и борьбѣ съ тяжелыми условіями жизни, напоминая ему его собственную горемычную юность, возбуждали въ немъ восторженное отношеніе къ новымъ положительнымъ идеаламъ, любовь къ народу, вѣру въ его могучія силы, скопленные неустаннымъ трудомъ и не сложенные вѣковыми страданіями, раскрывали ему положительные, идеальныя стороны народа, не имѣющія ничего общаго съ прежними его идеалами. И вотъ мы видимъ, что взгляды Некрасова на народъ значительно просвѣтлѣли и расширились: въ стихотвореніяхъ его начали встрѣчаться не однѣ убогія тетушки Ненилы и пьяные Ваньки, а Проклы, дѣдушки Савельи, Мазай, Яковы, Дарьи, Катерины и проч. Однимъ словомъ—

изъ скорбнаго поэта интеллигентнаго меньшинства рефлексивнаго періода онъ обратился въ общенароднаго пѣвца въ самомъ обширномъ и глубокомъ смыслѣ этого слова.

Послѣ всего вышесказаннаго я не знаю, нужно-ли отвѣчать на вопросъ, который часто встрѣчается и въ литературѣ, и въ обществѣ въ позднѣйшее время, который мелькаетъ и въ послѣднихъ стихотвореніяхъ Некрасова, именно: какъ могутъ быть долговѣчны стихотворенія Некрасова, скоро ли они могутъ, утративши всякое современное и живое значеніе, сдѣлаться явленіемъ вполнѣ историческаго прошлаго, и главное дѣло, проторять-ли къ нимъ дорогу народныя лапти, поймуть-ли ихъ народъ и отнесется-ли къ нимъ съ тѣмъ же восторгомъ, съ какими мы къ нимъ относимся, назовемъ ли ихъ своими народными пѣснями?

Очевидно, что весь Некрасовъ, во всемъ своемъ составѣ, не можетъ дойти ни до потомства, ни до народа, что, между прочимъ сказать, въ сущности, одно и то же. Такъ, многія стихотворенія съ преобладаніемъ рефлексивнаго духа 40-хъ—50-хъ годовъ и теперь уже начинаютъ утрачивать свое современное значеніе, а когда мы совсѣмъ покончимъ съ историческимъ періодомъ, начавшимся пробужденіемъ совѣсти въ интеллигентномъ чловѣкѣ и рефлексіями и ознаменованнымъ появленіемъ различинца, тогда и подавно всѣ подобныя стихотворенія сдѣлаются достояніемъ исторіи. Такъ, напримѣръ, кромѣ историческаго интереса, какое будетъ дѣло народу до того, какъ нѣкогда Некрасовъ оплакивалъ въ „Рыцарѣ на часть“ свое безпутное поколѣніе, жаловался на стѣснительность цензуры въ поэмѣ „Судъ“ или воспѣвалъ разныя свои разиолвки и недомолвки съ женщинами въ своихъ любовныхъ явленіяхъ. Не узнаетъ или, лучше сказать, забудетъ себя народъ и въ этихъ ямщикахъ, насильно ожененныхъ на дворовыхъ дѣвушкахъ, воспитанныхъ на барскую ногу, огороженкахъ, сосланныхъ въ Сибирь за любовь къ помещичьимъ барышнямъ, и проч. А что касается до филантроповъ, Киселей, клубныхъ типовъ, чиновниковъ и проч., и проч., то нечего и говорить о томъ, что все это и для насъ не сегодня-завтра утратитъ всякое современное значеніе, а о народѣ и говорить нечего, чтобы всѣ эти переходящія, временныя явленія нашего безпутства могли его занимать, когда они давно уже успѣютъ сойти съ исторической сцены и покрыться мглою общаго забвенія. Но такія вещи, какъ „Морозъ красный носъ“, „Коробейники“, „Кому на Руси жить хорошо“ и подобныя имъ произведенія, навѣрное, останутся вѣковыми памятниками Некрасова. Ихъ нельзя не понять и не полюбить народу, потому что въ нихъ онъ увидитъ самого себя, вѣковѣчныя черты своего существа. Пусть совсѣмъ измѣнится быть народа, не будетъ ни Прокловъ, припрягающихся къ своимъ лошадямъ-кормилицамъ на косогорахъ, ни Дарій, сукащихъ, въ ожиданіи труженника-мужа, свою нитку, такую же длинную, какъ его дорога — и все таки останется народъ съ тѣми же вѣковыми идеалами святого, неустаннаго труда и любвеобильнаго благодущія, а пока останется живъ народъ, не умретъ и пѣвецъ его—Некрасовъ.



# РАЗЛАДЪ ХУДОЖНИКА И МЫСЛИТЕЛЯ.

(По поводу романа гр. Л. Толстого „Анна Каренина“).

А вы, друзья, как ни садитесь,  
Все в музыканты не годитесь.

Вслѣдствіе того, что романъ тянулся очень долго, печатался съ большими промежутками, причемъ крайнее обиліе художественныхъ картинъ, сценъ, всякаго рода деталей и нюансовъ, всецѣло поглощало вниманіе читателя, — произошелъ немалый скандалъ: большинство рецензентовъ, усердно трактовавшихъ о романѣ съ появленія первыхъ страницъ его въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и до выхода послѣдней части, впало въ просакъ, не замѣтивши громаднаго слона въ видѣ основной идеи произведенія. На романъ смотрѣли не иначе, какъ на рядъ художественныхъ картинъ изъ великосвѣтской жизни, связанныхъ лишь двумя параллельно плущими любовными сюжетами, но не имѣющихъ ни малѣйшей идейной подкладки, того высшаго философскаго синтеза, который осмыслилъ бы все изображенное въ произведеніи. Раздѣляясь на два лагеря, поклонники и порицатели романа спорили между собою лишь о томъ, законна или незаконна идейная бесодержательность его. Порицатели ворчали на то, что авторъ только и дѣлаетъ, что водить читателя изъ одного салона въ другой, знакомя его до мельчайшихъ подробностей, какъ великосвѣтскіе люди обѣдаютъ, танцуютъ, ведутъ прихода-расходные счета, женятся, рожаютъ, купаютъ дѣтей, совершаютъ вольныя и невольныя предлюбодѣнія, стрѣляютъ дупелей, — и не мало не заботится о раскрытіи внутренняго смысла всего этого. Поклонники-же, въ свою очередь, тѣмъ именно и восхищались, что авторъ является чуждымъ всякихъ тенденцій, безхитростнымъ бытописателемъ и сердцевѣдомъ, совершеннымъ протоколистомъ по рецепту Золя. Восхищались тѣмъ или другими мѣстами, типами, глубиною психическаго анализа различныхъ сценъ, — и далѣе этого не шли въ восхищенія. Я въ жизнь свою не забуду, какъ одному изъ поклонниковъ болѣе всего понравилось въ романѣ изображеніе сердечныхъ тайнъ великосвѣтской барыни, и онъ печатно заявилъ свой восторгъ по поводу того, что гр. Толстой, будто-бы, „возвысился до общечеловѣчности, съумѣвши изыскать даму, лучшую изъ всѣхъ по уму, образованію, честности, представить такую-же плотоядную, вадорную, эгоистичную и грубую, какъ крестьянская баба“ — и ничего выше этого не нашелъ онъ въ романѣ. Только когда вышла послѣдняя часть, и въ ней съ особенною рельефностью, почти что въ голомъ, отвлеченномъ видѣ выступила идея романа, рецензенты ухватились за нее, но высказали о ней лишь нѣсколько незначительныхъ словъ и то лишь въ приложеніи къ одной послѣдней части, а не ко всему роману въ его цѣломъ составѣ.

Я воображаю, въ какое уныніе должны были привести гр. Л. Толстого всѣ эти толки рецензентовъ и въ особенности поклонниковъ, ничего не прозрѣвшихъ,

въ концѣ-концовъ, въ романѣ его, какъ лишь стремленіе унизить — я ужъ не знаю что: деревенскую-ли бабу насчетъ Анны Карениной, или наоборотъ. Помните, авторъ изъ силъ выбился, чтобы отъ первой страницы до послѣдней черезъ весь романъ провести свою заветную идею, которая, можетъ быть, составляетъ продуктъ всей его жизни, и вдругъ читатели ничего не усматриваютъ, кромѣ мастерскаго изображенія грѣхопаденія Анны! Это болѣе, чѣмъ обидно, это, въ своемъ родѣ, — трагично. Разъясненіе этого трагическаго казуса и будетъ составлять предметъ настоящей статьи, и къ этому разъясненію я приступаю безъ всякихъ околичностей.

Кромѣ вышеупомянутыхъ причинъ, — растянутости печатанія и обилія деталей, — трагическій казусъ, о которомъ мы говорили, имѣетъ еще и другую болѣе существенную причину. Дѣло въ томъ, что я не помню другого такого произведенія, въ которомъ художникъ находился-бы въ подобномъ-же антагонизмѣ съ мыслителемъ, какъ романъ гр. Л. Толстого. Онъ представляетъ изъ себя вполне тотъ знаменитый возъ басни Крылова, который лебедь тащитъ въ облака, ракъ пятитъ назадъ, а мука тянетъ въ воду. Мыслитель говоритъ одно, а художникъ представляетъ вамъ совсѣмъ другое; мыслитель требуетъ, чтобы художникъ такъ вотъ и такъ иллюстрировалъ его идею, а художникъ беретъ, да и мажетъ кистью совершенно наперекоръ мыслителю. Но такъ какъ художникъ въ тысячу разъ и сильнѣе, и правдивѣе мыслителя, то онъ кладетъ его въ лоскъ. Несчастный мыслитель низверженъ, затертъ, онъ тонетъ, задыхается въ разбушевавшихся стихіяхъ художественнаго творчества, изрѣдка онъ напоминаетъ вамъ о своей гибели, протягивая вамъ руки и испуская неистовые вопли. Эти вопли дико поражаютъ вашъ слухъ среди художественнаго пиршества, но тотчасъ-же и заглушаются новыми приливами поэтическихъ волнъ, и только въ послѣдней части мыслитель выносятся передъ вами въ голомъ, обезображенномъ видѣ, — но это уже лишь истерзанный трупъ, выкинутый на берегъ враждебными волнами, какъ не имѣющій ничего съ ними общаго.

Для того, чтобы вполне разъяснить это странное, ненормальное и болѣзненное явленіе, мы займемся сначала анатоміей выброшеннаго трупа, изслѣдуемъ, что хотѣлъ сказать намъ авторъ, какъ мыслитель, а затѣмъ посмотримъ, что сказалъ онъ намъ, какъ художникъ.

Объ основныхъ воззрѣніяхъ гр. Л. Толстого было такъ много рѣчей въ послѣднее время, что я не считаю нужнымъ много распространяться объ этомъ. Всѣмъ и каждому нынѣ извѣстно, что воззрѣнія эти представляютъ не малую путаницу, въ безиредѣльномъ хаосѣ которой вы найдете частичку мистициз-

на, частичку особеннаго рода московскаго культурнаго абсентеизма, частичку, наконецъ, чего-то туманнаго, неопредѣленнаго, безыменнаго, въ чемъ слышится не то вліяніе новѣйшаго народолюбства, не то отрывка сентиментализма въ духѣ Ж. Ж. Руссо. Слѣдуетъ только отдать справедливость, что несчастный мыслитель, разгромляемый художникомъ, является въ послѣднемъ романѣ болѣе послѣдовательнымъ и опредѣленнымъ, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ. Здѣсь преобладаетъ передъ нами московско-культурный абсентизмъ, на подкладкѣ мистицизма, народолюбства же почти незамѣтно. Оттого и основная идея романа довольно ясна и проста. Ее можно даже выразить нѣсколькими словами. Вся суть заключается въ томъ, что единственное спасеніе для русскаго человѣка — быть самимъ собою, жить безхитростно и непосредственно, какъ создала его природа, твердо держась основныхъ культурныхъ началъ; малѣйшее же отклоненіе отъ этихъ началъ куда-либо въ сторону — тотчасъ-же поселяетъ разладъ и во внутренней, и во внѣшней жизни русскаго человѣка; и чѣмъ болѣе это отклоненіе, тѣмъ и разладъ больше, такъ что люди, которые совсѣмъ уже сошли съ культурной почвы, обезличились и обезцвѣтились, — представляютъ изъ себя не что иное, какъ среду полного нравственнаго разложенія: здѣсь начинается область душевной агоніи, отчаянія, скорби и скрежета зубовъ; здѣсь гнѣзятся всѣ адскіе пороки и отсюда истекаютъ всѣ страшныя преступленія. Такова основная идея романа, взятая въ общей отвлеченной формулѣ. Формула эта имѣетъ, повидимому, славянофильскій характеръ. Но по ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что для того, чтобы твердо стоять на почвѣ и обрѣсти тѣмъ душевный миръ, спасеніе и правдоность, далеко недостаточно держаться различныхъ славянофильскихъ принциповъ, т. е. принадлежать къ православной церкви и исповѣдывать всѣ ея догматы, любить братьевъ-славянъ и желать имъ въ будущемъ всякихъ благъ, но не иначе, конечно, какъ подъ гегемоніею Россіи, ненавидѣть гнилой Западъ и въ особенности нѣмцевъ, и не вдаваться ни въ какія умствованія и разсужденія, а быть ниже воды и тише травы, терпѣливо и безропотно перенося всякое иго, потому что, какъ размышлялъ Левинъ, еще при Рюрикѣ народъ сказалъ варягамъ: „княжите и владѣйте нами. Мы радостно обѣщаемъ полную покорность. Весь трудъ, всѣ униженія, всѣ жертвы мы беремъ на себя; но не судить и не рѣшаемъ“. Нѣтъ, этого всего оказывается еще недостаточно: нужно быть, кромѣ того, еще особеннаго рода избранникомъ; необходимо *родиться на почвѣ* и возрасти на ней. А это возможно лишь въ двухъ положеніяхъ: въ положеніи мужика-крестьянина, или столбоваго дворянина-помѣщика, всю жизнь прожившаго въ своемъ имѣніи и ничѣмъ болѣе не занимающагося, какъ лишь сельскимъ хозяйствомъ. Да, первое условіе, чтобы кромѣ сельскаго хозяйства ничѣмъ болѣе не заниматься, потому что всякое постороннее занятіе является уже отклоненіемъ отъ культурной почвы на томъ основаніи, что все остальное оказывается заимствованнымъ нами съ Запада: не говоря уже о бюрократизмѣ, о формахъ городской свѣтской жизни,

о судахъ, о наукѣ, о литературѣ, но даже и земскія учрежденія, народныя школы и больницы, фабрики и желѣзныя дороги и пр. и пр. Все это, какъ заимствованное съ Запада и не приросшее къ русской жизни, не вошедшее въ ея плоть и кровь, — есть искусственность, натяжка, заключаетъ въ себѣ болѣе или меньшій процентъ лжи и такъ или иначе поселяетъ разладъ во внутренней и внѣшней жизни русскаго человѣка. Повидимому такой взглядъ на вещи коренится на славянофильской почвѣ, но въ сущности онъ идетъ нѣсколько дальше: это тотъ послѣдній, крайній выводъ, который обыкновенно кончаетъ тѣмъ, что отрицаетъ всякую возможность практическаго осуществленія того ученія, изъ котораго онъ выходитъ. И дѣйствительно, разъ гр. Л. Толстой становится на такую исключительную точки зрѣнія, онъ необходимо долженъ отвергнуть и славянофильство въ томъ видѣ, въ какомъ оно осуществляется на практикѣ. Славянофильство — есть явленіе жизни городской, ложной въ самыхъ своихъ основаніяхъ, оно возникло на почвѣ науки и философіи, заимствованныхъ съ Запада, оно допускаетъ разныя умствованія и разсужденія, обнаруживающія своего рода гордость разума, оно не ограничивается однимъ пассивнымъ готовностью полной покорности и принятія на себя всѣхъ жертвъ и униженій, а изъявляетъ претензію судить и рѣшать и допускаетъ активное внимательство въ вопросы о судьбахъ славянъ. Наконецъ, къ славянофильству принадлежатъ не одни только столбовые дворяне, ни о чемъ не помышляющіе, какъ лишь о сельскомъ хозяйствѣ, но и свѣтскіе шаркуны, и чиновники, и профессора, и газетчики, люди безпочвенные, исполненные всевозможной лжи и полного разлада съ самимъ собою. Гр. Толстой не остановился и передъ этимъ послѣднимъ выводомъ изъ своей точки зрѣнія: онъ не замедлил поразить и самое славянофильство, отнесся отрицательно къ самому дорогому и излюбленному моменту его проявленія — тому общественному движенію въ пользу славянъ, какимъ ознаменовался 1876 годъ. Онъ прямо называетъ славянскій вопросъ однимъ изъ тѣхъ модныхъ увлеченій, которыя всегда, смѣняя одно другое, служатъ обществу предметомъ занятія, признаетъ, что много было людей, занимавшихся этимъ дѣломъ съ корыстными, тщеславными цѣлями, что газеты печатали много ненужнаго и преувеличеннаго, съ одною цѣлю обратить на себя вниманіе и перекричать другихъ, что при этомъ обществѣ подъемились всѣ неудавшіеся и обиженные: главнокомандующіе безъ армій, министры безъ министерствъ, журналисты безъ журналовъ, начальники партій безъ партизановъ. Что же касается до народа, то гр. Толстой отрицаетъ всякую народность этого движенія. Тѣ сотни, тысячи добровольцевъ, которые шли въ Сербію воевать съ турками, по его мнѣнію, значили только, что въ восьми-десяти милліонномъ народѣ всегда найдутся не сотни, какъ теперь, а десятки тысячъ людей, потерявшихъ общественное положеніе, безшабашныхъ людей, которые всегда готовы — въ шайку Пугачева, въ Хиву, въ Сербію... Писаря волостные, учителя и изъ мужиковъ одинъ на тысячу, можетъ быть, знаютъ, о чемъ идетъ дѣло. Остальные же 80 милліоновъ, не только

не выражаютъ своей воли, но не имѣютъ ни малѣйшаго понятія, о чемъ имъ надо-бы выражать свою волю. Какое-же мы имѣемъ право говорить, что это воля народа?

Это и есть то, что я не могу никакъ иначе назвать, какъ московско-культурный абсентизмъ. Это своего рода феодализмъ, но не тотъ средневѣковой феодализмъ, который замыкался въ замки, окружалъ себя вассалами и отстаивалъ право чеканить монету и грабить по дорогѣ проезжихъ купцовъ, а нашъ доморощенный феодализмъ самоновѣйшей чеканки, обходящійся безъ замковъ и вассаловъ и не предъявляющій претензій ни на какія инныя права, какъ лишь на право восклицать: моя хата съ краю, ничего не знаю, и мнѣ на все наплевать.

«Я считаю аристократомъ себя и людей подобныхъ мнѣ,—говорилъ Левинъ Облонскому:—которые въ прошедшемъ могутъ указать на три-четыре честныя поколѣнія семей, находившихся на высшей степени образованія, и которые никогда ни предъ кѣмъ не подличали, никогда ни въ комъ не нуждались, какъ жили мой отецъ, мой дѣдъ. Мы—аристократы, а не тѣ, которые могутъ существовать только подачками отъ сильныхъ мира сего, и кого купить можно за двугривенный».

«Я думаю,—говоритъ въ другомъ мѣстѣ Левинъ:—что двигатель всѣхъ нашихъ дѣйствій есть все-таки личное счастье. Теперь, въ земскихъ учрежденіяхъ, я, какъ дворянинъ, не вижу ничего, что-бы содѣйствовало моему благосостоянію. Дороги не лучше и не могутъ быть лучше; лошади мои везутъ меня и по дурнымъ. Доктора и пункта (медицинскаго) мнѣ не нужно. Мировой судья мнѣ не нуженъ,—я никогда не обращаюсь къ нему и не обращаюсь. Школы мнѣ не только не нужны, но даже вредны. Для меня земскія учрежденія—просто повинность: платить все-надавать копѣекъ съ десятины, ѣздить въ городъ, ночевать съ клопами и слушать всякій вздоръ и гадости,—а личный интересъ меня не побуждаетъ».

Представляю читателю еще одну выписку, чтобы передать нами вполне рельефно очертился тотъ идеалъ московско-культурнаго абсентизма, въ которомъ гр. Л. Толстой полагаетъ все спасеніе для русскаго челоѣка.

«Прежде (это началось почти съ дѣтства и все росло до полной возмужалости), когда Левинъ старался сдѣлать что-нибудь такое, что сдѣлало-бы добро для всѣхъ, для челоѣчества, для Россіи, для всей деревни, онъ замѣчалъ, что мысли объ этомъ были пріятны, но сама дѣятельность всегда бывала нескладная, не было полной увѣренности въ томъ, что дѣло необходимо нужно, и сама дѣятельность, казавшаяся сначала столь большою, все уменьшаясь и уменьшаясь, сходилась на нѣтъ; теперь-же, когда онъ, послѣ женитьбы, сталъ болѣе и болѣе ограничиваться жизнью для себя,—онъ, хотя не испытывать болѣе никакой радости при мысли о своей дѣятельности, чувствовалъ увѣренность, что дѣло его необходимо, видѣлъ, что оно спорится гораздо лучше, чѣмъ прежде, и что оно становится больше и больше. Теперь онъ, точно противъ воли, все глубже и глубже вѣшывался въ землю, какъ плугъ, такъ что ужъ и не могъ выбраться, не отворотивъ борода».

«Жить семьѣ такъ, какъ привыкли жить отцы и дѣды, то-есть, въ тѣхъ-же условіяхъ образованія, и въ тѣхъ-же воспитывать дѣтей,—было непременно нужно. Это было такъ-же нужно, какъ ѣбдаться, когда ѣсть хочется; а для этого такъ-же нужно знать, какъ приготовить ѣбдъ, нужно было вести хозяйственную машину въ Покровскомъ такъ, чтобы были доходы. Такъ-же несомнѣнно, какъ нужно от-

дать долги, нужно было держать родовую землю въ такомъ положеніи, чтобы сынъ, получивъ ее въ наследство, сказалъ такъ-же спасибо отцу, какъ Левинъ говорилъ спасибо дѣду за все то, что онъ построилъ и насадилъ. И для этого нужно было не отдавать землю въ наймы, а самому хозяйничать, держать скотину, навозить поля, сажать дѣса».

Вотъ вамъ единственный рецептъ душевнаго мира, праведности и счастья. Другаго пути никакого гр. Л. Толстой не признаетъ; въ его все—искусственность и ложь, и какъ слѣдствіе искусственности и лжи—уныніе, разочарованіе, зубовный скрежетъ угрызений и отчаянья.

Сообразно этой идеи и дѣйствующія лица романа распределены одесную и ошую по большей или меньшей ихъ культурности и почвенности. Крайнюю правую представляетъ собою, конечно ужъ, Константинъ Дмитріевичъ Левинъ, устами котораго глаголетъ самъ авторъ. Это главный герой романа, воплощенный идеалъ автора, челоѣкъ мало того, что твердо стоящій на почвѣ, но, какъ мы сейчасъ видѣли, вѣшывающійся въ нее, какъ плугъ. Далѣе за Левинимъ слѣдуетъ семья князей Щербацкихъ, такой-же старый дворянскій московскій домъ, какъ и домъ Левиныхъ, и всегда бывшій въ близкихъ и дружескихъ отношеніяхъ съ послѣднимъ. Въ этой семьѣ культурнѣе всѣхъ оказывается самъ старый князь, всѣ симпатіи и антипатіи котораго являются постоянно вполне солидарными съ Левинимъ. За тѣмъ слѣдуютъ княжны Кити и Долли. Что же касается до старой княгини, то хотя по своему типу и характеру она и много заключаетъ въ себѣ культурныхъ свойствъ, но зараженная свѣтскимъ тщеславіемъ и суетностью, она значительно уступаетъ князю и прочимъ членамъ семьи, за что и платится: устраиваетъ несчастный бракъ своей дочери Долли за князя Облонскаго и чуть не губитъ младшую дочь Кити сватовствомъ за графа Вронскаго, увлекшись блестящимъ мундиромъ, сваями и петербургскимъ свѣтскимъ доскомъ графа.

За князьями Щербацкими можно поставить дворянина Свѣжскаго, предводителя дворянства въ томъ уѣздѣ, гдѣ было имѣніе Левина. Хотя этотъ Свѣжскій и зараженъ былъ либерализмомъ и всякими новѣйшими заимствованными съ Запада идеями, но въ тоже время изъ тѣхъ людей, «разсужденіе которыхъ, очень послѣдовательное, идетъ само по себѣ, а жизнь, чрезвычайно опредѣленная и твердая въ своемъ направленіи, идетъ сама по себѣ, совершенно независимо и почти всегда въ разрѣзъ съ разсужденіемъ»,—и по своей жизни онъ, что-бы тамъ ни разсуждалъ, твердо держался почвы; а посему его тоже слѣдуетъ поставить одесную, и пожалуй даже мѣстомъ выше тщеславной княгини Щербацкой.

Затѣмъ идетъ уже лѣвая сторона, въ которой фигурируютъ всѣ прочія дѣйствующія лица романа: здѣсь мы видимъ такого писателя, какъ Сергій Ивановичъ Кознышевъ, который горечью неудачи шестилѣтняго труда «Опыта обзора основъ и формъ государственности въ Европѣ и Россіи», топится въ искусственномъ увлеченіи славянскимъ вопросомъ, здѣсь такой патентованный ученый, какъ Метровъ, который слѣпо мѣрять русскую жизнь на аршинъ западно-европейскихъ экономическихъ теорій; здѣсь такой

докторъ, какъ московская знаменитость на консилиумѣ у князей Щербачскихъ, который, потребовавши осмотра больной Кити, „съ особеннымъ удовольствіемъ, казалось, настаивалъ на томъ, что дѣвчья стыдливость есть только остатокъ варварства, и что нѣтъ ничего естественнѣе, какъ то, чтобы еще нестарый мужчина ощупывалъ молодую обнаженную дѣвушку“; здѣсь знаменитый петербургскій адвокатъ, который вмѣсто участія и скорби исполняется злобною радостью, когда къ нему приходитъ совѣщаться о разводѣ мужъ, обманутый женою, въ лицѣ Алексѣя Александровича Каренина, и глаза адвоката преисполняются торжествомъ, восторгомъ, блескомъ, похожимъ на тотъ злобщій блескъ, который несчастный Каренинъ видалъ въ глазахъ жены. Здѣсь-же и самъ онъ—Алексѣй Александровичъ Каренинъ, бюрократическая машина, съ безцвѣтными оловянными глазами и съ длинными хрящеватыми ушами, свидѣтельствующими объ ограниченности умственныхъ способностей. Здѣсь и набожная графиня Лидія Ивановна, великосвѣтская сектантка, религиозное увлеченіе которой, вмѣсто того чтобы смягчить ея сердце, сдѣлало его еще болѣе черствымъ и безчеловѣчнымъ; здѣсь и княгиня Ветси Тверская со своимъ свѣтскимъ кругомъ, который, по словамъ автора, „былъ собственно свѣтъ,—свѣтъ баловъ, обѣдовъ, блестящихъ туалетовъ, свѣтъ, держащійся одною рукою за дворъ, чтобы не спуститься до полусвѣта, который члены этого круга думали, что презирали, но съ которымъ вкусы у него были не только сходные, но одни и тѣ же“. Здѣсь и князь Степанъ Аркадьевичъ Облонскій—эпикуреецъ и сластолюбецъ съ ногъ до головы, раззоряющій семейство своимъ мотовствомъ и оскорбляющій жену невѣрностью.

На самомъ-же такъ сказать низу этого адскаго винта красуются люди, окончательно отрѣшившіеся ото всего культурнаго, обезличившіеся вполне и потерявшіе всякую почву подъ ногами. Таковъ Николай Левинъ, который въ университетѣ и годъ послѣ университета, не смотря на насмѣшки товарищей, жилъ, какъ монахъ, въ строгости исполняя всѣ обряды религіи, службы, посты, и избѣгая всякихъ удовольствій, въ особенности женщинъ; и потомъ, вдругъ его какъ прорвало: онъ сблизился съ самыми гадкими людьми, и пустился въ самый безпутный развратъ, взялъ изъ деревни мальчика воспитывать, и въ припадкѣ злости такъ избилъ, что началось дѣло по обвиненію въ причиненіи увѣчья; проигралъ деньги шулеру, далъ ему вексель и самъ подалъ на него жалобу, доказывая, что тотъ его обманулъ; ночевалъ почъ въ части за буйство; поѣхалъ служить въ западный край, и тамъ попалъ подъ судъ за побой, нанесенные старшинѣ; въ концѣ концовъ вступилъ въ сожитіе съ вѣткой Марей Николаевной, которую взялъ изъ распутнаго дома, и вошелъ въ какія-то темныя сношенія съ социалистами. Послѣ такого ужаснаго господина остаются только преступный осквернитель чужого ложа графъ Алексѣй Кирилловичъ Вронскій и сообщница его по предубѣжденію Анна Аркадьевна Каренина, о которыхъ намъ предстоитъ еще много рѣчей впереди.

Но гр. Л. Толстой не ограничивается только тѣмъ,

что дѣлать свои дѣйствующія лица на два лагера,—правыхъ и лѣвыхъ, для того чтобы однихъ похвалить и поставить имъ хорошій баллъ за поведение, а другихъ наказать выговоромъ и дурнымъ аттестатомъ. Не ограничивается онъ также однимъ раскрытіемъ различныхъ естественныхъ, историческихъ или социологическихъ причинъ, по которымъ культурные люди преуспѣваютъ и обрѣтаютъ душевный миръ, нравственное совершенство и счастье, а некультурные—душевный разладъ, угрызеніе преступной совѣсти и отчаянье. Нѣтъ, кромѣ того онъ изъясняетъ еще претензію раскрыть намъ нѣкіе таинственные пути Провидѣнія. Онъ поставилъ эпиграфомъ своего романа евангельскій текстъ: „Мнѣ отщепеніе, и Азъ воздамъ“, и этимъ онъ какъ-бы хотѣлъ выразить, что само Небо заботится, чтобы люди твердо стояли на культурной почвѣ, и если они отрѣшаются отъ культурности, то оно вооружается противъ нихъ своимъ страшнымъ гнѣвомъ. Николай Левинъ, графъ Вронскій и Анна Каренина, какъ наиболѣе сошедшіе съ почвы, являются въ романѣ преступными жертвами небеснаго отщепенія.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется намъ графъ Л. Толстой, какъ мыслитель. И если-бы этотъ мыслитель преобладалъ надъ художникомъ, т. е. если-бы онъ былъ послѣдователенъ, тверже, фанатичнѣе, а художникъ былъ-бы менѣе вѣрнъ своимъ творческимъ инстинктамъ, менѣе чутокъ, менѣе искрененъ и правдивъ,—тогда автору очень легко было-бы провести свою тенденцію самымъ убѣдительнымъ образомъ для читателя. Стоило только иначе освѣтить и слегка подтасовать изображенные факты, прибавить болѣе черныхъ красокъ съ одной стороны, болѣе свѣтлыхъ—съ другой, такъ чтобы Анна Каренина, Вронскій и Николай Левинъ—ничего-бы не возбуждали въ читателѣ, кромѣ нравственнаго омерзенія и ужаса передъ чернотой ихъ душъ, а К. Левинъ и князя Щербачкіе рисовались въ самомъ обольстительномъ сіяніи,—и дѣло было-бы въ шляпѣ. Такъ обыкновенно и поступаютъ плохіе тенденціозные художники въ родѣ напримѣръ Бол. Маркевича: они ужъ если нарисуютъ передъ вами излюбленнаго имъ культурнаго героя, то такимъ красавцемъ, такимъ умнымъ, такимъ храбрымъ, честнымъ, великодушнымъ, что у васъ въ глазахъ рябитъ, глядя на него; за то вокругъ героя, куда ни оглянитесь—одно нравственное и физическое уродство, малодушіе, низость, подлость, распутство. Вотъ что называется—быть непоколебимо твердымъ въ заданной тенденціи и вѣрнымъ ей. Но въ романѣ гр. Л. Толстаго художникъ, какъ мы выше сказали, презрѣлъ мыслителя, возмущался противъ него, пошелъ своею дорогою и привелъ читателя къ выводамъ, которые можно назвать, пожалуй, диаметрально-противоположными тенденціи романа. Посмотримъ же, что намъ сказалъ художникъ вопреки мыслителю.

А художникъ первымъ дѣломъ взялъ, да и уничтожилъ всѣ тѣ перегородки, которыя наставлялъ мыслитель, и перемѣшалъ всѣ дѣйствующія лица, поставивъ передъ нами въ одинъ рядъ, какъ правыхъ, такъ и лѣвыхъ, предоставивъ любоваться всѣми ими безразлично. Изобразивши хотя и мрачными красками,

но далеко не такими, какъ-бы слѣдовало по рецепту мыслителя, лѣвую сторону, онъ въ то же время не пощадилъ и правую, и выдалъ намъ съ головою своихъ культурныхъ героев. Онъ поступилъ въ этомъ отношеніи совершенно такъ, какъ поступаютъ правдивые, но тѣмъ не менѣе ужасные свидѣтели, которыхъ призываютъ въ судъ защитники для оправданія кліентовъ, а они вдругъ начинаютъ свидѣтельствовать къ еще большему обвиненію подсудимыхъ. Въ результатѣ вышла грустная, безнадежно мрачная картина, на темномъ фонѣ которой люди, претендующіе быть лучшими представителями своей среды, оказываются вдругъ чуть-что не хуже худшихъ. Это была-бы гениальная и злѣйшая иронія, если бы только художникъ сознавалъ, что онъ дѣлаетъ, и пронизывалъ бы на самомъ дѣлѣ.

Гр. Толстой, въ своемъ романѣ, вводитъ васъ въ яркій земной рай, въ который раскрыты двери лишь немногимъ избранныкамъ, и знакомитъ насъ съ нѣсколькими такими счастливицами, которымъ, повидимому, можно отъ всей души позавидовать. Они живутъ въ своемъ раю, какъ птицы небесныя, не сѣютъ, не жнутъ и въ житницы не собираютъ, а только срываютъ цвѣты удовольствій, да и какихъ еще удовольствій: все, что только есть на земномъ шарѣ наиболее красиваго, рѣдкаго, цѣннаго и улаждающаго чувства, — все это стекается со всѣхъ концовъ міра въ ихъ роскошныя и благоухающіе чертоги. Стоить только пожелать имъ чего-либо въ предѣлахъ земного, и тотчасъ же это является къ ихъ услугамъ съ возможною поспѣшностью. Стоитъ захворать имъ насморкомъ, и ничего не стоитъ имъ собрать вокругъ одра больного первѣйшихъ знаменитостей со всей Европы. Для нихъ не существуетъ ни буйства стихій, ни усталости путешествій, потому что по дорогамъ, въ морѣ или по улицамъ города — они повсюду продолжаютъ быть окружены такимъ же комфортомъ, какъ и дома: ни вѣтеръ не пахнетъ, ни одна капля дождя не упадетъ на нихъ. А когда они сходятся праздновать свой радостный праздникъ жизни, когда при блескѣ тысячи огней, среди тропическихъ растений, подъ чарующіе звуки музыки, смѣшивающіеся съ пѣвучими, нѣжными звуками лучшаго въ мірѣ языка, мелькаютъ и кружатся ихъ разодѣтыя, раздушенныя пары, когда лица ихъ сияютъ радостью и взаимнымъ радушіемъ, когда вы видите, что самыя ихъ веселыя, игривыя рѣчи направлены умышленно къ тому, чтобы лишь развлекать и улаждать чувства, а отнюдь не смущать сердца и не отягощать вниманія какою-нибудь головоломною и серьезною темою, — вамъ невольно приходитъ въ голову: вотъ оно, наконецъ, осуществленіе земнаго эдема, вотъ оно — передъ вами во очію царство гармоніи различныхъ западныхъ утопистовъ или Новый Сіонъ нашихъ раскольниковъ. И еще бы! мы возьмите хоть то во вниманіе, что здѣсь люди дошли до такой утонченности нравовъ, какая только мыслима на землѣ, здѣсь невозможно никакое излишество: не только какая-нибудь безобразная пьяная спена и громкій разговоръ, но даже малѣйшій грубый жестъ или тривиальное слово; здѣсь о нѣкоторыхъ принадлежностяхъ туалета не позволяютъ себѣ даже и думать, не только что говорить. Однимъ

словомъ, каждое малѣйшее движеніе головою или ногою, каждый звукъ голоса доведены здѣсь до полного изящества съ цѣлію свидѣтельствовать о красотѣ и достоинствѣ царя земли — человѣка.

А между тѣмъ оказывается, что трудно представить себѣ людей, болѣе несчастныхъ и жалкихъ, чѣмъ эти завидные счастливыя. По крайней мѣрѣ такими изображаетъ ихъ гр. Л. Толстой. Весь романъ отъ первой страницы до послѣдней исполненъ какими то нравственными судорогами. Передъ нами словно нѣсколько темныхъ дикарей, которые сбились съ пути въ поискахъ обѣтованной земли и блуждаютъ въ блатѣхъ и дебряхъ, забывши откуда они пришли и куда идутъ. У каждого изъ нихъ невообразимая путаница въ головѣ, и когда они бесѣдуютъ, они такъ мало понимаютъ другъ друга, какъ будто съ ними только что случилось нѣчто въ родѣ вавилонскаго столпотворенія и у нихъ смѣшались языки. Каждый изъ нихъ по своему ищетъ счастья, но въ концѣ концовъ оказывается, что если кто изъ нихъ пользуется хоть относительнымъ спокойствіемъ и довольствомъ, такъ это лишь тѣ „счастливыя, ума недалёкаго лѣнныя“, которымъ удалось развѣ навсегда заглушить въ себѣ все человѣческое и, не поднимая никакихъ вопросовъ, не задавая себѣ никакихъ задачъ, поплыть по теченію, беззавѣтно отдавшись однимъ чисто свинскимъ инстинктамъ, памятуя лишь одно, что *après nous le déluge*. Но и изъ этихъ блаженныхъ людей ненарушимымъ счастьемъ пользуются лишь тѣ, которые усвоили себѣ мудрость наслаждаться благами чревоугодія, не дѣлая выбора изъ этихъ благъ, не устремляя всю свою алчность непремѣнно на одно какое-нибудь благо, а безразлично срывая каждый цвѣтокъ удовольствія, попадающійся подъ руку: ананасы такъ ананасы, огурцы такъ огурцы, вчера фленбургскія устрицы, а сегодня — кислая капуста съ лучкомъ, — ничего, — подавай намъ и капустицы. Но такихъ лицъ въ романѣ немного: Стива Облонскій, Васенька Весловскій, княжна Бетси — и только. Для этого безмятежнаго пользованія жизнію во всѣхъ ея формахъ и видахъ необходимъ особеннаго рода темпераментъ, который не каждому дается. Большинство же дѣйствующихъ лицъ романа выбираютъ какой-нибудь особенный свой излюбленный лакомый кусокъ и всѣ свои душевныя силы употребляютъ на снисканіе именно этого куска; всякій другой кажется имъ и солонъ, и горекъ, и безвкусенъ. Но такъ какъ избранный лакомый кусокъ не всегда тотчасъ же попадаетъ въ ротъ алчущему: то кто-нибудь другой его перебьетъ, то самъ по себѣ кусокъ оказывается почему-либо недоступнымъ, и вотъ — начинаются муки неудовлетворенной страсти, оскорбленнаго самолюбія, разочарованія, отчаянія. И замѣчательно, что только въ подобныя горькія минуты жизни въ этихъ людяхъ пробуждаются высшіе человѣческіе инстинкты. Они вдругъ словно прозрѣваютъ, что кромѣ ихъ, несчастныхъ лишеніемъ одного желаннаго лакомаго куска, есть еще тысячи, миллионы еще болѣе несчастныхъ, которые можетъ быть въ продолженіи всей жизни не видѣли даже и вдали-то чего-либо похожаго на лакомство. Сердца ихъ, которыя до того времени были глухи и слѣпы ко всему, что выходило изъ предѣловъ

ихъ личныхъ, чревоугодныхъ вожделѣній, смятчаются вдругъ, исполняются разными нѣжными и гуманными стремленіями; у нихъ является жажда кормить алчущихъ, поить жаждущихъ и врачевать недугующихъ. Но это просвѣтлѣніе длится обыкновенно очень недолго. Имъ становится и жутко, и неловко; они чувствуютъ себя сейчасъ же не въ своей тарелкѣ и затѣмъ, словно устыдившись своей слабости, дѣлаются еще черствѣе, жесточе и безчеловѣчнѣе.

Въ самомъ дѣлѣ, гр. Л. Толстой съ такою систематичностью провелъ черезъ всѣ почти главныя дѣйствующія лица романа это явленіе, что мы можемъ разсматривать его въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Такъ Вронскій, когда лакомый кусокъ въ видѣ Анны Карениной, оказался вдругъ далеко не столь сладкимъ, какъ онъ ожидалъ, и сердце его наполнилось горечью и мракомъ, началъ поощрять бѣдныхъ тружениковъ искусства, а потомъ вздумалъ строить въ своей усадьбѣ больницу для крестьянъ по всѣмъ правиламъ современной науки, не упустивши завести при этомъ даже особенное кресло съ машинкой въ тѣхъ видахъ, „что больной не можетъ ходить—слабъ еще, или болѣзнь ногъ, но ему нуженъ воздухъ—и онъ ѣздитъ, катается“... Анна Каренина, въ свою очередь, когда адъ, наполнившій ея сердце, дошелъ до самаго страшнаго разгара, тоже бросилась въ своего рода филантропію, взяла на свои руки семейство спившагося англичанина, бывшаго тренеромъ у Вронскаго, сама начала готовить мальчиковъ по-русски въ гимназію, а дѣвочку взяла къ себѣ. Левинъ, когда лакомый кусочекъ, въ видѣ Кити, пронесся мимо его рта, увлекся, какъ мы увидимъ ниже, разными проектами улучшенія быта крестьянъ, и даже у самого у него явилось минутное поползновеніе войти въ шкуру мужика. М-ше Варенька, воспитанница нѣкоей ш-ше Шталь, послѣ неудачной любви бросается въ религиозный экстазъ и наполняетъ свою жизнь разными христіанскими подвигами въ родѣ ухаживанія за больными и чтенія евангелія преступникамъ. Даже Кити, добродушно наивная Кити, съ птичьимъ умишкомъ и инстинктами наслѣдки, ни о чемъ не помышлявшая, какъ лишь о томъ, кого-бы осчастливить законнымъ предоставленіемъ своихъ прелестей, даже эта самая Кити, когда ей не удалось осчастливить Вронскаго, и ея душевный міръ, равно какъ и физическое здоровье, пошатнулись, тоже увлеклась примѣромъ Вареньки, прониклась жаждою христіанскихъ подвиговъ и начала ухаживать на водахъ за больнымъ художникомъ Петровымъ. Но когда послѣдній принялъ ухаживанія ея не въ религиозномъ, а совсѣмъ въ иномъ смыслѣ и влюбился въ нее, къ ужасу своей жены, Кити „какъ будто очнувшись, почувствовала всю трудность безъ притворства и хвастовства удержаться на той высотѣ, на которую она хотѣла подняться; кромѣ того, она почувствовала всю тяжесть этого міра горя, болѣзней, умирающихъ, въ которомъ она жила; ей мучительно показались тѣ усилія, которыя она дѣлала надъ собой, чтобы любить это, и поскорѣй захотѣлось на свѣжій воздухъ, въ Россію, въ Покровское“.

Наконецъ, даже самъ Алексѣй Александровичъ Каренинъ, чуть не съ пеленокъ обратившійся въ бюрократическую машину, въ которомъ все человѣче-

ское совсѣмъ окостенѣло до такой степени, что онъ каждый разъ приходилъ чуть не въ неистовство, когда осмѣливались передъ нимъ плакать, котораго ничто въ жизни такъ не радовало, какъ красота симметрически расположенныхъ на его столѣ письменныхъ принадлежностей, который до такой степени не привыкъ къ какимъ-либо душевнымъ движеніямъ, что запутался, произнося слово *перестрадалъ* и у него вышло *теле-неде-страдалъ*,—даже и этотъ административный манекенъ, въ самую трудную минуту жизни, у постели тяжело больной жены, испыталъ нѣчто въ родѣ нравственнаго просвѣтлѣнія и умигненія и оказался способнымъ протянуть братскую руку примиренія счастливому сопернику.

На первомъ планѣ романа разыгрывается передъ нами трагедія страсти Анны Карениной и Вронскаго. Къ этой-то трагедіи гр. Л. Толстой, въ качествѣ мыслителя, и отнесъ грозный эпиграфъ: „Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ“. Но художникъ и пальцемъ не пошевелилъ, чтобы оправдать этотъ эпиграфъ; напротивъ того, когда вы слѣдите за всѣми перипетіями этой драмы, то сначала вамъ дѣлается нѣсколько смѣшно при видѣ высокопарнаго приложенія такого грознаго изрѣченія къ банальной великосвѣтской комедіи, а потомъ вы приходите въ полное недоумѣніе: неужели же, думаете вы, въ этой средѣ, можетъ быть въ жизни и дѣятельности самого Алексѣя Александровича Каренина, не нашлось-бы ничего, въ неизмѣримо большей степени достойнаго отмщенія и воздаянія, чѣмъ этотъ любовный пантомимъ, разыгранный двумя праздными существами съ одной стороны отъ скуки, а съ другой—изъ самой естественной жажды любви и счастья?

Оба они, и Вронскій и Анна, сходились въ томъ отношеніи, что ни въ дѣтствѣ, ни въ юности не испытывали ни капли ничего согрѣвающего душу.

«Вронскій, говоритъ авторъ, никогда не зналъ семейной жизни. Мать его была въ молодости блестящая, свѣтская женщина, имѣвшая во время замужества, и въ особенности послѣ, много романовъ, извѣстныхъ всему свѣту. Отца своего онъ почти не помнилъ и былъ воспитанъ въ Пажескомъ корпусѣ. Выйдя очень молодымъ, блестящимъ офицеромъ изъ школы, онъ сразу попалъ въ колею богатыхъ петербургскихъ военныхъ. Хотя онъ и ѣздилъ изрѣдка въ петербургскій свѣтъ, всѣ любовные интересы его были внѣ свѣта. Въ Москвѣ въ первый разъ онъ испыталъ, послѣ роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближенія со свѣтскою, милою и невинною дѣвушкой (Кити), которая полюбила его».

Правда, что ухаживаніе за Кити Вронскаго имѣло нѣсколько дурной и предосудительный характеръ празднаго свѣтскаго волокитства безъ намѣренія жениться, но во всякомъ случаѣ близость первой неиспорченной женщины начала будить въ сердцѣ свѣтскаго шалопая кое-какіе и человѣческіе инстинкты. „Я самъ себя чувствую лучше, чище, говорилъ онъ себѣ: я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мнѣ много хорошаго“. А когда онъ вышелъ отъ Щербачкихъ, онъ прикинулъ воображеніемъ мѣсто, куда онъ могъ-бы ѣхать. Клубъ? партія безика, шапанское съ Игнатовымъ? Нѣтъ, не поѣду. Chateau des Fleurs, тамъ найду Облонскаго, куплеты, сапсан? Нѣтъ, надоѣло. Вотъ именно за то и люблю Щербач-



кихъ, что самъ лучше дѣлаюсь. Поѣду домой". Онъ прошелъ прямо въ свой номеръ у Дюссо, велѣлъ подать себѣ ужинать, и потомъ, раздѣвшись, только успѣлъ положить голову на подушку, заснулъ крѣпкимъ сномъ".

Какъ ни безцѣльно было ухаживаніе Вронскаго за Кити, но очень возможно, что дѣло кончилось-бы серьезнымъ увлеченіемъ и женитьбою. Но чувство не успѣло еще созрѣть, какъ появленіе Анны въ Москву дало совсѣмъ иной оборотъ дѣлу. Блестящая и обаятельная Анна, женщина въ полномъ разцвѣтѣ, сразу затмила простенькую и наивную Кити, и къ тому же у нея, какъ мы сказали выше, было болѣе духовнаго сродства съ Вронскимъ. Дѣтства ея авторъ не описываетъ, но даетъ понять, что и ея сердце было такъ же мало согрѣто, какъ и Вронскаго. Въ замужествѣ ея за Каренинымъ не было и слѣда любви: это была такая то дрянная интрига ея тетки, какая именно—авторъ почти не даетъ ни малѣйшаго разъясненія. Но зато въ одномъ мѣстѣ романа онъ заставляетъ Анну очень обстоятельно и краснорѣчиво признаться, какова была жизнь ея въ теченіи восьми лѣтъ замужества.

— Правъ! правъ! проговорила она: разумѣется, онъ всегда правъ, онъ христіанинъ, онъ великодушнѣе! Да, низкій, гадкій человѣкъ! И этого никто, кромѣ меня, не понимаетъ и не пойметъ, и я не могу растолковать. Они говорятъ: религіозный, нравственный, честный, умный человѣкъ; но они не видятъ, что я видѣла. Они не знаютъ, какъ онъ восемь лѣтъ душилъ мою жизнь, душилъ все, что было во мнѣ живого,—что онъ ни разу и не подумалъ о томъ, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знаютъ, какъ на каждомъ шагѣ онъ оскорблялъ меня и оставался доволенъ собою. Я-ли не старалась, всѣми силами старалась, найти оправданіе своей жизни? Я-ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но прошло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Богъ меня сдѣлалъ такою, что мнѣ нужно любить и жить...

Однимъ словомъ, какъ Вронскій, такъ и Анна бросились въ объятія другъ къ другу просто потому, что обоимъ въ одинаковой степени было такъ-же холодно и безпріютно на свѣтѣ, какъ какимъ-нибудь бѣднякамъ, которые гдѣ-нибудь на холодномъ чердачкѣ жмутся другъ къ другу, чтобы взаимно согрѣть свои окоченѣлые члены. И въ этомъ вся ихъ вина, и за это авторъ, въ качествѣ мыслителя, ниспосылаетъ на нихъ отищеніе и воздаяніе. Но курьезнѣе всего то, что по ходу драмы отищеніе и воздаяніе обрушивается на героевъ вовсе не за самый ихъ грѣхъ. Въ свѣтѣ, и не такъ еще грѣшатъ разныя княжны Бетси и Стивы Облонскіе,—и все это имъ сходитъ, какъ съ гуся вода. И герои наши могли грѣшить, сколько душѣ угодно, лишь бы все было шито и крыто. Праздные люди судачили бы о нихъ гдѣ-нибудь за уголкомъ, но продолжали-бы принимать ихъ у себя, бывать у нихъ, и разсыпаться передъ ними въ любезностяхъ и всякихъ душевныхъ пожеланіяхъ. Алексѣй Александровичъ пеле-пеле—страдалъ-бы себѣ въ тихомолку, но въ концѣ концовъ остался-бы доволенъ, что жена его съумѣла поддержать достоинство его дома и утѣшился-бы новымъ повышеніемъ по службѣ. Но вино-

вники вздумали вдругъ отнестись къ своей любви гораздо честнѣе, чѣмъ другіе: ослѣпились любить другъ друга открыто передъ всѣмъ свѣтомъ, не остановились передъ тѣмъ, чтобы пожертвовать своей любви положеніемъ въ свѣтѣ, связями, карьерой. За эту дерзость и безумство и послѣдовало, собственно говоря, отищеніе и воздаяніе. Свѣтъ не могъ простить ослушникамъ, преступившимъ вѣковѣчный и существенный законъ его, требующій сохраненія блестящей внѣшности и порядочности во чтобы то ни стало, хотя-бы цѣною самаго возмутительнаго лицемерія и самой постыдной лжи. Началась положительная травля со стороны людей, которые въ тысячу разъ были преступнѣе и во всѣхъ отношеніяхъ ниже и гаже. Аннѣ нельзя было носу показать даже въ театрѣ, чтобы не испытать скандала со стороны какой-нибудь чопорной охранительницы нравственности, которая можетъ быть изъ этого-же театра готовилась отправиться на свиданіе съ любовникомъ. Даже та самая мать Вронскаго, которая въ юности только и дѣлала, что падала, сначала поощряла блестящую свѣтскую связь сына, потомъ возсталла на нее, когда увидѣла, что это не шуточная свѣтская шалость, а роковая страсть, грозящая повредить карьерѣ сына. Но самое дѣлательное и безчеловѣчное участіе въ травлѣ принадлежитъ, въ качествѣ обманутаго мужа, Алексѣю Александровичу. У этой бюрократической деревяшки хватило однако же на столько іезуитскаго ехидства, чтобы облечь свои преслѣдованія въ личину религіозно-христіанскихъ обязанностей, и сначала онъ пытался было во имя этихъ обязанностей притвориться виновною супругу къ своему ложу силою своихъ супружескихъ правъ, а потому, когда это ему не удалось, и послѣ минутнаго смятенія у постели больной, онъ удвоилъ свою месть, отлично понявши, чѣмъ дойти несчастную женщину: онъ отнялъ у нея сына и запретилъ ей видѣться съ нимъ. Сцена тайнаго свиданія Анны съ сыномъ представляетъ верхъ трагическаго пафоса; это одна изъ лучшихъ сценъ въ романѣ, одна изъ лучшихъ сценъ въ нашей литературѣ. Въ ней художникъ окончательно топчетъ въ грязь мыслителя. Здѣсь передъ нами вся, какъ на ладони, судьба этой несчастной женщины, судьба русской женщины вообще,—и сердце ваше наполняется глубокой жалостью къ ней и безпощаднымъ негодованіемъ къ ея мучителямъ. Не согрѣтая материнскою любовью, воспитанная лишь на показъ для продажи на свѣтскомъ базарѣ, навязанная безсердечному идиоту обманомъ и хитростью, въ родѣ того, какъ цыгане сбываютъ на ярмаркѣ лошадей, униженная и оскорбленная во всѣхъ своихъ заветныхъ чувствахъ, она пьетъ послѣднюю страшную чашу униженія: ее заставляютъ тайкомъ въ родѣ воровки красться для того, чтобы только мелькомъ взглянуть на своего ребенка...

Да пусть эта самая Анна Каренина была-бы въ тысячу разъ потеряннѣе, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ, пусть-бы она шаталась по Невскому, вытаскивала-бы платки изъ кармановъ, ночевала на Сѣнной въ домѣ Вяземскаго,—но есть преступленіе, которое превышаетъ всѣ возможныя преступленія на земномъ шарѣ: это — отнять ребенка у матери, и изверги, которые отравляются на это безчеловѣчіе, заслуживаютъ



въ тысячу разъ страшнѣйшаго воздаянія и отищенія, чѣмъ эта самая мать, будь она наимпотеряннѣйшая женщина!

Но этимъ еще не исчерпываются всѣ испытанія, какими люди истерзали женщину за то, что она осмѣлилась открыто отдаться своей страсти безъ всякой лжи и притворства. Когда въ новомъ семейномъ гнѣздышкѣ, свитомъ Анною и Вронскимъ, вкрался прахъ, хаосъ и разладъ, зависѣвшіе единственно оттого, что гнѣздышко это было свито на воздухъ и не имѣло никакой твердой почвы подъ собою, когда оба обитателя этого воздушнаго гнѣздышка убѣдились, что для ихъ примиренія и успокоенія необходимъ формальный разводъ Анны съ своимъ мужемъ, оказалось вдругъ, что этотъ разводъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и судьба двухъ любящихся людей всецѣло зависятъ отъ какого-то проходивца, парижскаго коми, ясновидящаго Жюль Ландо. Дѣло въ томъ, что Алексѣй Александровичъ, разставшись съ женою, кинулся въ религиозное великосвѣтское сектаторство подъ влияніемъ той самой графини Лидіи Ивановны, которую онъ въ прежнія времена называлъ самоваромъ, а Лидія Ивановна свела его съ этимъ самымъ Ландо, обратившимся въ графа Беззубова. Алексѣй Александровичъ до такой степени подчинился сомнамбулическимъ вѣщаніямъ французскаго приказчика, что нѣсколькихъ безсвязныхъ словъ послѣдняго совершенно было достаточно ему, чтобы изречь свое *verdict* относительно развода. Это была послѣдняя капля, переполнившая чашу. Послѣ этого послѣдняго посрамленія, нѣтъ ничего мудренаго, что измученнымъ, истерзаннымъ нервами Анны въ каждомъ взглядѣ Вронскаго, въ каждомъ его невинномъ шагѣ и движеніи начали грезиться охлажденіе, измѣна и желаніе избавиться отъ нея. Въ концѣ концовъ только и оставалось ей, что броситься подъ колеса, а ему — искать смерти въ Сербіи.

Я не спорю, ничего нѣтъ особенно высокаго и блестящаго въ исключительной отдачѣ такой низменной страсти, какъ половая, и люди, которыхъ ничто не интересуетъ въ жизни, какъ лишь эта страсть, и которые считаютъ все для себя потеряннымъ, если имъ не удастся полное удовлетвореніе ея, сами по себѣ очень жалкіе люди. Я готовъ въ то-же время согласиться, что Анна и Вронскій отчасти и сами виноваты въ своей гибели: они возросли въ свѣтской обстановкѣ и до такой степени свыклись и сжились съ нею, что она сдѣлалась такою-же неотъемлемою стихіею ихъ, какъ воздухъ. Поэтому, если у нихъ и хватило мужества разорвать со свѣтомъ, они были не въ состояніи обойтись безъ него и какъ нибудь иначе устроить свою жизнь, въ какой-нибудь другой стихіи, въ которой для нихъ недоступна была-бы вся та трагедія, которую воздвигъ на нихъ свѣтъ. Они погибли, какъ погибаетъ рыба, выкинутая на песокъ, или матежный матросъ, выброшенный за бортъ корабля за своеволие и буйство.

Но не станемъ требовать отъ нихъ того, чего они не могли дать, и будемъ разсматривать ихъ относительно, въ предѣлахъ условій ихъ среды и жизни. Въ такомъ случаѣ вы должны будете отдать имъ полную справедливость, что въ тѣхъ узкихъ рамкахъ, въ которыхъ вращается ихъ жизнь и ихъ интересы, они

являются людьми въ своемъ родѣ цѣльными, отдавая своей страсти безъ всякихъ колебаній и сомнѣній, съ героическою готовностью пожертвовать ей и самую жизнь. Очень жалко, что на сценѣ является такая низменная страсть, какъ половая, но тѣмъ не менѣе остается несомнѣннымъ, что люди, способные съ такою непосредственною полнотою отдаться любви, съ неменьшею цѣльностью пожертвовали-бы собою и всякой другой, болѣе высокой страсти, если-бы они могли увлечься ею при иныхъ условіяхъ жизни и среды. Важно не одно содержаніе жизни тѣхъ или другихъ людей, но и самые люди, представляющіеся тѣми, носящими это содержаніе. И если желательно, чтобы содержаніе было дѣльное, то не менѣе необходимо, чтобы и тѣми были хорошіе, крѣпкіе и твердые. Если жалко бываетъ видѣть плохое содержаніе въ здоровыхъ, крѣпкихъ тѣлахъ, то еще въ большей степени жалко, если прекрасное содержаніе вливается въ дрянные, ветхіе, кругомъ продырявленные тѣми. А въ жизни на каждомъ шагѣ мы встречаемъ такъ, что и содержаніе-то выѣденнаго яйца не стоитъ, да и тѣми то являются чортъ знаетъ какіе. Особенно въ нашей русской жизни мы такъ не избалованы цѣльными характерами и могучими страстями, что насъ невольно радуетъ, словно вѣсть на насъ какимъ-то свѣжимъ, ободряющимъ воздухомъ изъ иныхъ странъ, при видѣ каждаго такого проявленія, хотя-бы и не Богъ вѣсть какого высокаго свойства. Понятно, что 30—40 лѣтъ тому назадъ, въ эпоху Лермонтова, Анна и Вронскій были-бы вознесены на пьедесталъ, какъ избранные люди, цѣлою головою выше всѣхъ окружающихъ, и за то непонятые, опозоренные и погубленные „пошлою толпою“. Для насъ конечно они не могутъ уже быть въ такой степени героями, какъ для нашихъ дѣдовъ и отцовъ, потому что потребности наши возвысились и разширились, и насъ не можетъ удовлетворить героизмъ любви; мы жаждемъ иного, болѣе содержательнаго героизма. Оттого графу Л. Толстому въ качествѣ художника ничего не стоило развѣнчать своихъ героевъ и представить ихъ во всемъ ихъ реальномъ убожествѣ. Но и развѣнчанные, они значительно выигрываютъ по сравненію съ прочими дѣйствующими лицами и особенно съ героемъ россійской культурности Константиномъ Левинымъ, котораго гр. Л. Толстой, въ качествѣ мыслителя, преподноситъ намъ, какъ положительный типъ для примѣра и поученія. Они мѣднаго пятака не имѣютъ за душою, да хоть въ любви-то мужественны, тверды и идутъ до конца, не оглядываясь по сторонамъ. Приступивши-же къ Левину, вы сразу проваливаетесь въ мутныя и бездонныя хляби россійской культурности. Передъ вами тотчасъ-же раскрываются всѣ тѣ прекрасныя качества, которыя дѣлаютъ изъ россійскаго культурнаго человѣка жалкое ничтожество и нигуда негодную тряпку: распылчатость, рыхлость, неопредѣленность, шаткость, легковѣсная увлекательность каждымъ минутнымъ вѣяніемъ и отсутствіе всякаго упорства въ преслѣдуемой цѣли; разомъ нѣсколько самыхъ разнородныхъ стремленій, взаимно исключających другъ друга, причемъ любовь всегда ужъ является препятствіемъ для общественныхъ стремленій или послѣднія становятся на дорогѣ люб-

ви, и въ то-же время человекъ и самъ не можетъ отдать себѣ отчета, любить онъ или не любить, вѣруеть во что или не вѣруеть, стремится къ чему-либо, или такъ только ему кажется. Мыслитель преподноситъ намъ этотъ студень, какъ образецъ человечности, какъ якорь спасенія, какъ единственный залогъ душевнаго мира и счастья. Посмотрите-же, какъ зло и безпощадно художникъ смѣется надъ мыслителемъ.

На первыхъ же страницахъ романа Левинъ является передъ нами прїѣхавшимъ изъ деревни въ Москву свататься за Кити, и тутъ же сейчасъ начинаются передъ вами его нескончаемыя сомнѣнія и колебанія. Ему кажется, что Кити такое совершенство во всѣхъ отношеніяхъ, такое существо превыше всего земного, а онъ такое жалкое, низменное существо, что не могло быть и мысли о томъ, чтобы другіе и она сама признали его достойнымъ ея. Въ глазахъ родныхъ Кити онъ не имѣлъ никакой привычной, опредѣленной дѣятельности и положенія въ свѣтѣ, былъ помѣщикъ, занимающійся разведеніемъ коровъ, стрѣляніемъ дупелей и постройками, то-есть бездарный малый, изъ котораго ничего не вышло, и дѣлающій, по понятіямъ общества, то самое, что дѣлаютъ нигде негодившіеся люди. Сама же таинственная, прелестная Кити, думаетъ онъ, не могла любить такого некрасиваго, какимъ онъ считалъ себя, и главное, такого простого, ничѣмъ не выдающагося человека.

И вотъ, вмѣсто того, чтобы ухаживать за любимой барышней, онъ упалъ духомъ и уѣхалъ въ деревню. Но пробывъ два мѣсяца одинъ въ деревнѣ, онъ убѣдился, что это не было одно изъ тѣхъ влюбленій, которыя онъ испытывалъ въ первой молодости; что чувство это не давало ему покоя; что онъ не могъ жить, не рѣшивъ вопроса: будетъ или не будетъ она его женой; и что его отчаянье происходило только отъ его воображенія, что онъ не имѣетъ никакихъ доказательствъ того, что ему будетъ отказано. И онъ опять поѣхалъ въ Москву, теперь уже съ твердымъ рѣшеніемъ сдѣлать предложеніе и жениться, если его примутъ. Или... онъ не могъ думать о томъ, что съ нимъ будетъ, если откажутъ.

А ему взяли да и отказали. Простодушная Кити, жаждущая любви и гименея, не стала дожидаться, когда обожатель ея признаетъ себя достойнымъ ея, въ отсутствіе его успѣла влюбиться въ прїѣхавшаго въ Москву блестящаго Вронскаго и дала полную отставку своему прежнему суженному. Левинъ впалъ въ окончательное уныніе.

«Да, размышлялъ онъ: что-то есть во мнѣ противное, отталкивающее, и не гошусь я для другихъ людей. Гордость, говорятъ. Нѣтъ, у меня нѣтъ и гордости. Если бы была гордость, я не поставилъ бы себя въ такое положеніе. Да, она должна была выбрать его (Вронскаго). Такъ надо, и жаловаться не на кого и не за что. Виновать я самъ. Какое право имѣлъ я думать, что она захочетъ соединить свою жизнь съ моею? Кто я? И что я? На что живу? человекъ, ни кому и на для чего ненужный».

Съ этими мрачными мыслями онъ снова поѣхалъ въ деревню. Но дорожныя и деревенскія впечатлѣнія разсѣяли мракъ его души, ободрили его.

«Онъ чувствовалъ себя собой, говоритъ авторъ—и другимъ не хотѣлъ быть. Онъ хотѣлъ теперь быть только лучше, чѣмъ онъ былъ прежде. Во первыхъ,

съ этого дня онъ рѣшилъ, что не будетъ больше надѣяться на необыкновенное счастье, какое ему должна была дать женитьба, и вслѣдствіе этого не будетъ такъ пренебрегать настоящимъ. Во вторыхъ, онъ уже никогда не позволитъ себѣ увлечься гадкою страстью, воспоминаніе о которой такъ мучило его, когда онъ собирался сдѣлать предложеніе. Потомъ и разговоръ брата о коммунизмѣ, къ которому тогда онъ такъ легко отнесся, теперь заставилъ его задуматься. Онъ считалъ передѣлку экономическихъ условій вздоромъ, но онъ всегда чувствовалъ несправедливость своего набитка въ сравненіи съ бѣдностью народа, и теперь рѣшилъ про себя, что для того, чтобы чувствовать себя вполнѣ правымъ, онъ, хотя и прежде много работалъ и не роскошно жилъ, теперь будетъ еще больше работать и еще меньше будетъ позволять себѣ роскоши. И все это казалось ему такъ легко сдѣлать надъ собой, что всю дорогу онъ провелъ въ самыхъ пріятныхъ мечтаніяхъ. Съ бодрымъ чувствомъ надежды на новую, лучшую жизнь, онъ въ девятomъ часу ночи подъѣхалъ къ своему дому».

Однимъ словомъ, и съ нимъ произошло то-же, что и со всѣми прочими дѣйствующими лицами романа: отпустили его съ носомъ, не солоно хлебавши, отъ лакомаго блюда,—и онъ тотчасъ же исполнился разными гуманными чувствами, состраданіемъ къ низшей братии и стремленіемъ начать новую и лучшую жизнь. Это стремленіе, ничѣмъ особеннымъ не осуществляясь, не покидало Левина ни зимою, ни весною, ни лѣтомъ. Оно жило въ немъ и въ то время, когда онъ стрѣлялъ дупелей съ прїѣхавшимъ къ нему Облонскимъ, и въ то время, когда косилъ сѣно съ мужиками. На одномъ же изъ сѣнокосовъ мысли его о новой жизни приняли самый опредѣленный характеръ, и притомъ такой важный и роковой, что, казалось, судьба его должна была тотчасъ же рѣшиться. Я не могу удержаться, чтобы не выписать цѣликомъ это замѣчательное мѣсто романа:

«Возъ былъ увязанъ. Иванъ спрыгнулъ и повелъ за поводъ добрую, ситую лошадь. Баба вскинула на возъ грабли, и бодрымъ шагомъ, размахивая руками, пошла къ собравшимся хороводомъ бабамъ. Иванъ выѣхалъ на дорогу, вступилъ въ обозъ съ другими возами. Бабы съ граблями на плечахъ, блестя яркими цвѣтами и треща звонкими, веселыми голосами, шли позади возовъ. Одинъ грубый, дикій бабій голосъ затапулъ пѣсню и допѣлъ ее до повторенья, и дружно, въ разъ, подхватили опять сначала ту же пѣсню полсотни разныхъ, грубыхъ и тонкихъ, здоровыхъ голосовъ.

«Бабы съ пѣсню приближались къ Левину, и ему казалось, что туча съ громомъ веселья подвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его,—и копна, на которой онъ лежалъ, и другія копы, и воза, и весь лугъ съ дальнимъ полемъ—все заходило и заходило подъ размѣры этой дикой, развеселой пѣсни съ криками, присвистами и еканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотѣлось принять участіе въ выраженіи этой радости жизни. Но онъ ничего не могъ сдѣлать, и долженъ былъ лежать и смотрѣть, и слушать. Когда народъ съ пѣсню скрылся изъ вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою тѣлесную праздность, за свою враждебность къ этому міру охватило Левина.

«Нѣкоторые изъ тѣхъ самыхъ мужиковъ, которые больше всѣхъ съ нимъ спорили за сѣно, тѣ, которыхъ онъ обидѣлъ, или тѣ, которые хотѣли обмануть его, эти самые мужики всемо кланялись ему, и очевидно не имѣли и не могли имѣть къ нему никакого зла, и никакого—не только раскаянія, но и воспоминанія о томъ, что они хотѣли обмануть его.

Все это потонуло въ морѣ всеелаго общаго труда. Богъ далъ день, Богъ далъ силы. И день, и силы посвящены труду, а въ немъ самомъ награда. А для кого трудъ? Какіе будутъ плоды труда? Это соображенія постороннія и ничтожныя.

«Левинъ часто любовался на эту жизнь, часто испытывалъ чувство зависти къ людямъ, живущимъ этою жизнью, но нынче въ первый разъ, въ особенности подъ впечатлѣніемъ того, что онъ видѣлъ въ отношеніяхъ Ивана Парменова къ его молодой женѣ, Левину въ первый разъ ясно пришла мысль о томъ, что отъ него зависить переимѣнить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которую онъ жилъ, на эту трудовую, чистую и общую, прелестную жизнь.

«Старикъ, сидѣвшій съ нимъ, уже давно ушелъ домой; народъ весь разбрелся. Ближніе уѣхали домой, а дальніе собрались къ ужину и ночлегу въ лугу. Левинъ, не замѣчаемый народомъ, продолжалъ лежать на кониѣ и смотрѣть, слушать и думать. Народъ, оставшійся ночевать въ лугу, не спалъ почти всю короткую лѣтнюю ночь. Сначала слышался общій веселый говоръ и хохотъ за ужиномъ, потомъ опять пѣсни и смѣхъ.

«Весь длинный, трудовой день не оставилъ въ нихъ другого слѣда, кромѣ веселости. Передъ утреннею зарей все затихло. Слышались только ночные звуки неумолкаемыхъ въ болотѣ лягушекъ и лошадей, фыркавшихъ по лугу въ поднимавшемся передъ утромъ туманѣ. Очнувшись, Левинъ всталъ съ кони, и, оглядѣвъ звѣзды, понялъ, что прошла ночь.

«Ну такъ что же я сдѣлаю? Какъ я сдѣлаю это? сказалъ онъ себѣ, стараясь выразить для самого себя все то, что онъ передумалъ и перечувствовалъ въ эту короткую ночь. Все, что онъ передумалъ и перечувствовалъ, раздѣлялось на три отдѣльные хода мысли. Одинъ, это было отреченіе отъ своей старой жизни, отъ своего ни къ чему не нужнаго образованія. Это отреченіе доставляло ему наслажденіе и было для него легко и просто. Другія мысли и представленія касались той жизни, которую онъ желалъ жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой жизни онъ ясно чувствовалъ, и былъ убѣжденъ, что онъ найдетъ въ ней то удовлетвореніе, успокоеніе и достоинство, отсутствіе которыхъ онъ такъ болѣзненно чувствовалъ. Но третій рядъ мыслей вертѣлся на вопросѣ о томъ, какъ сдѣлать этотъ переходъ отъ старой жизни къ новой. И тутъ ничего яснаго ему не представлялось. «Имѣть жену.—Имѣть работу и необходимость работы. Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться въ общество? Жениться на крестьянкѣ? Какъ-же я сдѣлаю это?» опять спрашивалъ онъ себя, и не находилъ отвѣта. «Впрочемъ, я не спалъ всю ночь, и я не могу дать себѣ яснаго отчета», сказалъ онъ себѣ. «И уясню послѣ. Одно вѣрно, что эта ночь рѣшила мою судьбу. Всѣ мои прежнія мечты семейной жизни вздоръ, не то», сказалъ онъ себѣ. «Все это гораздо проще и лучше».

Читаете вы это мѣсто и думаете: вотъ, вотъ сейчасъ въ жизни героя нашего произойдетъ великій переломъ, всѣ высокія стремленія его осуществляются не громкимъ, но, тѣмъ не менѣе, очень почтеннымъ способомъ: праздный струбокъ дупелей и унылый вздыхатель по коварной измѣнницѣ Кити обратится передъ нами въ честнаго и скромнаго труженика. Но надо-же было случиться, чтобы какъ нарочно въ эту самую минуту проѣхала мимо эта самая Кити на пути въ усадьбу къ своей сестрѣ Долли. А Левинъ незадолго передъ тѣмъ услышалъ отъ Облонскаго, что Кити разочаровалась въ измѣнившемъ ей Вронскомъ и сдѣлалась снова свободна. Узрѣвъ Левинъ „правдивыя очи“ своей Кити, блеснувшія удивленно ра-

достью при видѣ его,—и все пошло кругомъ въ головъ его: и мечты о припискѣ въ общество, о женитьбѣ на крестьянкѣ, о трудовой, простой жизни,—разомъ разсыпались прахомъ. „Нѣтъ“, сказалъ онъ себѣ: „какъ ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться къ ней. Я люблю ее“.

Правда, что и послѣ этой неожиданной встрѣчи онъ нѣкоторое время все еще занимался вопросомъ о своихъ отношеніяхъ къ мужикамъ: хозяйство, которое онъ велъ, опротивѣло ему и потеряло для него всякій интересъ, онъ не могъ не видѣть теперь того непріятнаго отношенія своего къ работникамъ, которое было основой всего дѣла; напротивъ того, онъ ясно видѣлъ, что то хозяйство, которое онъ велъ, была только жестокая и упорная борьба между нимъ и работниками, въ которой на его сторонѣ было постоянное напряженное стремленіе передѣлать все на считаеый лучшимъ образецъ, на другой-же сторонѣ естественный порядокъ вещей. И въ этой борьбѣ, онъ видѣлъ, что при величайшемъ напряженіи силъ съ его стороны и безо всякихъ усилій и даже намѣреній съ другой, достигалось только то, что хозяйство шло ни въ чью, и совершенно напрасно портились прекрасныя орудія, прекрасная скотина и земля. Правда, что вслѣдствіи всѣхъ этихъ мыслей и соображеній у Левина образовался планъ какихъ-то новыхъ и особенныхъ отношеній къ мужикамъ, какихъ, именно, трудно понять изъ изложенія его мыслей. Все дѣло, повидимому, заключалось въ томъ, чтобы спустить уровень своего хозяйства до средняго уровня хозяйства крестьянъ и заинтересовать работниковъ въ успѣхъ дѣла дѣлаемъ пополамъ добываемыхъ продуктовъ. Правда, что Левинъ въ такой восторгъ пришелъ отъ этого плана, что вообразилъ даже себя чѣмъ-то въ родѣ Франклина.

Но все это было больше ничего, какъ уже послѣднія тучи разсыпанной бури. По пріѣздѣ больного брата къ нему въ усадьбу, онъ прочелъ про себя нѣсколько гамлетовскихъ монологовъ о тщетѣ всего земного и о неизбежности смерти, поломался еще немножко передъ Кити, не пожелавши ѣхать къ Долли и встрѣтиться у нея съ Кити, поѣхалъ затѣмъ за границу, все еще въ видахъ своихъ сельско-хозяйственныхъ плановъ, но когда воротился изъ-за границы въ Москву,—всѣ планы и мысли объ отношеніяхъ къ мужикамъ окончательно были сданы въ архивъ. Тутъ онъ снова встрѣтился съ Кити, тотчасъ же они помирились, объяснились,—и начались восторги неземнаго счастья. До мужиковъ-ли тутъ было?

Но и тутъ дѣло не обошлось безъ сомнѣній и колебаній. Уже въ самый день свадьбы на Левина вдругъ напалъ страхъ:

«Что какъ она не любитъ меня? Что какъ она выходитъ за меня только для того, чтобы выйти замужъ? Что если она сама не знаетъ того, что дѣлаетъ? спрашивалъ онъ себя. Она можетъ опомниться, и только выйдя замужъ, пойметъ, что не любить и не могла любить меня». И страшныя, самыя дурныя мысли о ней стали приходить ему. Онъ ревновалъ ее къ Вронскому, какъ годъ тому назадъ, какъ-будто этотъ вечеръ, когда онъ видѣлъ ее съ Вронскимъ, былъ вчера. Онъ быстро вскочилъ. «Нѣтъ, это такъ нельзя!» сказалъ онъ себѣ съ отчаяніемъ: «пойду къ ней, спрошу, скажу послѣдній

разъ: мы свободны, и не лучше-ли остановиться? Все лучше, чѣмъ вѣчное несчастье, позоръ, невѣрность! Съ отчаяніемъ въ сердцѣ и со злобой на всѣхъ людей, на себя, на насъ, онъ вышелъ изъ гостиницы и поѣхалъ къ ней.

Кити онъ, конечно, очень удивилъ своими подозрѣніями, заставилъ ее плакать, утѣшать и снова увѣрять въ любви къ нему.

Но и женившись на Кити, онъ не переставалъ при всякомъ удобномъ случаѣ подвергаться разнымъ сомнѣніямъ и разочарованіямъ. То ему вдругъ не нравится, зачѣмъ Кити тотчасъ-же по прїѣздѣ въ усадьбу передалась разнымъ хозяйственнымъ мелочнымъ заботамъ. Онъ, вотъ видите, представлялъ себѣ семейную жизнь совсѣмъ иначе, воображалъ ее „только какъ наслажденіе любви, которой ничто не должно было препятствовать и отъ которой не должны были отвлекать мелкія заботы; онъ долженъ былъ, по его понятію, работать свою работу и отдыхать отъ нея въ счастіи любви, она должна быть любима и только“. То наоборотъ, ему казалось, что Кити слишкомъ мало трудится, „что не то, что она сама виновата (виновато она ни въ чемъ не могла быть), но виновато ея воспитаніе, слишкомъ поверхностное и фривольное, что кромѣ интереса къ дому, кромѣ своего туалета, и кромѣ *broderie anglaise*, у нея нѣтъ серьезныхъ интересовъ: ни интереса къ дѣлу мужа, къ хозяйству, къ мужикамъ, ни къ музыкѣ, въ которой она довольно сильна, ни къ чтенію; она ничего не дѣлаетъ и совершенно удовлетворена“.

Но этими сомнѣніями и разочарованіями дѣло не ограничивается. Приходить лѣто, начали къ Левину въ Покровское съѣзжаться разные родные и знакомые, а въ томъ числѣ прїѣхалъ Васенька Весловскій. И вдругъ въ первый-же день прїѣзда послѣдняго оказалось, что Левинъ такъ мало знаетъ свою жену Кити, такъ мало довѣряетъ ей и цѣнитъ ее, и слѣдовательно, такъ мало любитъ ее, что невинное ухаживанье Весловскаго за молодою хозяйкою тотчасъ-же выводитъ его изъ себя: ему начинаютъ мерещиться какія-то особенныя безстыжныя улыбки, которыми жена его отвѣчала будто-бы на улыбки Васеньки, и онъ тотчасъ-же воображаетъ себя обманутымъ мужемъ, въ которомъ нуждаются жена и любовникъ только для того, чтобы доставлять имъ удобства жизни и удовольствія. И кончается дѣло тѣмъ, что на третій день онъ самымъ безцеремоннымъ и грубымъ образомъ выпроваживаетъ Васеньку изъ усадьбы. Хорошо, что у прощальной Кити мозгъ и сердце были курячы, и она тотчасъ-же простила, но вообразите себѣ, какъ-бы все это должно было жестоко оскорбить женщину мало-мальски умную и съ характеромъ. Вслѣдъ за тѣмъ онъ до такой степени подчиняется женскому элементу своей семьи въ видѣ жены и тещи, что ѣдетъ съ Кити на зиму въ Москву въ видахъ разрѣшенія ея отъ бремени и тамъ втягивается въ роскошную и разорительную свѣтскую жизнь съ годовою, забывши окончательно всѣ свои сельскохозяйственные мечтанія.

«Только въ самое первое время въ Москвѣ, читася мы въ романѣ:—тѣ страшные деревенскому жителю, непроизводительные, но неизбежные расходы, которые требовались отъ него со всѣхъ сторонъ, поражали Левина. Но теперь онъ уже привыкъ

къ нимъ. Съ нимъ случилось въ этомъ отношеніи то, что, говорятъ, случается съ пьяницами: первая рюмка—коломъ, вторая—соколомъ, а послѣ третьей—мелкими пташечками. Когда Левинъ размѣнялъ первую сторублевую бумажку на покупку ливрей лакею и швейцару, онъ невольно сообразилъ, что эти никому не нужныя ливреи,—но неизбежно необходимы, судя по тому, какъ удивились княгиня и Кити при намекѣ, что безъ ливрей можно обойтись,—что эти ливреи будутъ стоить двухъ лѣтнихъ работниковъ, то-есть около трехсотъ рабочихъ дней отъ Святой до заговенья, и каждый день тяжелой работы съ ранняго утра до поздняго вечера,—и эта сторублевая бумажка еще шла коломъ. Но слѣдующая, размѣненная на покупку провизіи къ обѣду для родныхъ, стоившей двадцать восемь рублей, хотя и вызвала въ Левинѣ воспоминаніе о томъ, что двадцать восемь рублей—это девять четвертей овса, который, потѣя и крахтя, косили, вязали, молотили, вѣяли, подсывали и подсыпали,—эта слѣдующая пошла все-таки легче. А теперь размѣняемая бумажка уже давно не вызывала такихъ соображеній и лѣтели мелкими пташечками. Соотвѣтствуетъ-ли трудъ, накопленный на приобрѣтеніе денегъ, тому удовольствію, которое доставляетъ накупаемое на нихъ, это соображеніе уже давно было потеряно. Разсчетъ хозяйственный о томъ, что есть извѣстная цѣна, ниже которой нельзя продать извѣстный хлѣбъ, тоже былъ забытъ. Рожь, цѣну на которую онъ такъ долго выдерживалъ, была продана пятьюдесятью копейками на четверть дешевле, чѣмъ за нее давали мѣсяцъ тому назадъ. Даже и разсчетъ, что при такихъ расходахъ невозможно будетъ прожить весь годъ безъ долга, и этотъ разсчетъ уже не имѣлъ никакого значенія. Только одно требовалось: имѣть деньги въ банкѣ, не спрашивая, откуда онъ, такъ чтобы знать всегда, на что завтра купить говядины. И этотъ разсчетъ до сихъ поръ у него соблюдался: у него всегда были деньги въ банкѣ. Но теперь деньги въ банкѣ вышли, и онъ не зналъ хорошенько, откуда взять ихъ. И это-то на минуту, когда Кити напомнила о деньгахъ, разстроило его; но ему некогда было думать объ этомъ».

И еще бы: до того ли было думать ему о такихъ пустякахъ, когда у малаго голова совсѣмъ пошла кругомъ отъ московской жизни. Онъ обѣдалъ въ клубѣ, сблизился тамъ съ Вронскимъ, на котораго до тѣхъ поръ глядѣлъ зѣврьемъ, пилъ съ нимъ шампанское, проигралъ на билліардѣ 40 рублей и въ концѣ концовъ отправился съ Облонскимъ знакомиться съ Анной Карениной,—и такъ плѣнился ею, что Кити, слушая его восхищенія, какія онъ расточалъ по возвращеніи отъ Анны, не въ шутку подумала, что онъ влюбился въ эту женщину и отъ ревности зарыдала.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется передъ нами этотъ культурный герой, возросшій непосредственно на русской почвѣ. Не правда ли, что-то знакомое, много разъ встрѣчавшееся въ нашей литературѣ? Напоминаетъ онъ? И даже очень знакомое: вѣдь это все тотъ же нашъ старый пріятель Нехлюдовъ, съ которымъ знакомили насъ гр. Л. Толстой въ своей прежней художественной дѣятельности. Это новый вариантъ все того же почти уже отжившаго типа. Вы можете быть думали, что типъ этотъ давно уже выродился; нѣтъ, онъ все еще пока существуетъ, но во всякомъ случаѣ часть его близокъ. Возросшій на почвѣ крѣпостного права, онъ не въ состояніи долго бороться съ новыми условіями жизни, и Левинъ является однимъ изъ послѣднихъ его могикианъ. Я убѣжденъ, что самъ онъ, этотъ Левинъ, не въ состояніи долго

удержаться въ томъ видѣ, въ какомъ онъ парадируетъ передъ нами въ романѣ, и непремѣнно переродится со временемъ во что нибудь совсѣмъ иное: или въ Дерунова, или въ Облонскаго. Правда, въ концѣ романа онъ мирится на путаницѣ какихъ-то туманныхъ компромиссовъ. Послѣ цѣлаго ряда гамлетическихъ разсужденій въ религіозномъ духѣ относительно того, вѣрить ему или не вѣрить и во что вѣрить и какъ вѣрить, послѣ тщетныхъ попытокъ найти отвѣтъ на свои тревожные вопросы у различныхъ философовъ, Левинъ вдругъ натолкнулся на одно банальное изреченіе нѣкоего мужа Федора. „Да, такъ, значитъ—сказалъ этотъ Федоръ—люди разные: одинъ человекъ только для нужды своей живетъ, хотъ бы Митюха, только брюхо набиваетъ,—а Фоканычъ—правдивый старикъ. Онъ для души живетъ, Бога помнитъ“. У Левина отъ этихъ словъ вдругъ произошло просіяніе. Слова эти сразу разрѣшили ему—и что такое Богъ, и что такое вѣра въ Бога, и какъ ему жить въ этой вѣрѣ, и сейчасъ же у него составила самая успокоительная программа жизни.

«Такъ-же, размышлялъ онъ, буду сердиться на Ивана кучера, также буду спорить, буду нехотѣ высказывать свои мысли, также будетъ стѣна между святой святыхъ моей души и другими, даже женой моей, также буду обвинять ее за свой страхъ и раскаяваться въ этомъ, также буду не понимать разумомъ, зачѣмъ я молюсь, и буду молиться,—но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо отъ всего, что можетъ случиться со мной, каждая минута ея—не только не безсмысленна, какъ была прежде, но имѣетъ несомнѣнный смыслъ добра, который я властенъ вложить въ нее!»

Но вы не вѣрьте ни успокоенію Левина, ни его словамъ о томъ, что до сихъ поръ жизнь его была безсмысленна, а теперь она получить смыслъ добра, который онъ въ нее вложитъ. Во первыхъ, мы уже видѣли неоднократно, что при каждомъ новомъ оборотѣ мыслей Левину казалось, что вотъ, вотъ начнется онъ новую жизнь, исполненную всякихъ благъ, а дѣло всегда кончалось или правдивыми глазками Кити, или бутылками шампанскаго въ клубѣ. А во-вторыхъ самая сила вещей влечетъ Левина по пути, от-

рицающему всякую возможность того, „смысла добра“, о которомъ онъ мечтаетъ. Вѣдь вы подумайте, что, по собственному сознанію Левина, хозяйство его при всѣхъ усиліяхъ сводится на нѣтъ и даже приноситъ ему убытокъ. А между тѣмъ не разъ—не два придется ему возить въ Москву Кити изъ-за прибавленія новыхъ и новыхъ членовъ семейства, и каждый разъ онъ будетъ вынужденъ тратиться на ливреи, клубные проигрыши и разнаго рода столичные шалѣнья. Каждое лѣто усадьба его будетъ наполняться столичными гостями. А тамъ начнутъ подростать дѣти, нужно будетъ заботиться о ихъ воспитаніи и пристроиваніи. Для удовлетворенія всѣхъ этихъ нуждъ придется удваивать, утроивать доходы съ имѣнья. Кто знаетъ, до чего при такихъ условіяхъ дойдетъ дѣло? Можетъ быть не достаточно окажется нанимать рабочихъ какъ можно дешевле и заботиться о томъ, чтобы они дѣлали какъ можно больше; понадобится и кабакъ, и постоянный дворъ окажется не лишнимъ. А не то придется вѣхать въ городъ и подобно Облонскому дежурить въ переднихъ у евреевъ, выклинивая какого нибудь банковскаго мѣстечка съ кругленькимъ окладомъ. Очень возможно, что именно только тогда Левинъ найдетъ полное душевное успокоеніе отъ всѣхъ тревожащихъ его вопросовъ, хотя много-ли будетъ тогда въ жизни его „несомнѣннаго смысла добра“—объ этомъ предоставляю судить читателямъ.

Итакъ, вотъ что намъ нарисовалъ художникъ,—не правда-ли, совершенно вопреки мыслителю и точно будто нарочно ради опроверженія всѣхъ его идей? Излюбленный культурный человекъ оказался вдругъ хуже всѣхъ прочихъ дѣйствующихъ лицъ романа, никуда негодною тряпичною, а вмѣсто спасительной почвы представилась нашимъ глазамъ какая-то мутная трясина. На этомъ основаніи я отъ души посоветывалъ бы графу Л. Толстому при слѣдующемъ изданіи романа переимѣнить эпиграфъ, и вмѣсто него напечатать тотъ самый, который поставленъ мною въ началѣ статьи. Эпиграфъ этотъ, правда, не будетъ такъ картиненъ и эффектенъ, какъ прежній, но за то гораздо болѣе будетъ подходить ко всѣмъ героямъ романа.

## ЭПИДЕМИЯ ЛЕГКОМЫСЛІЯ.

(«Литературный вечеръ», очеркъ И. Гончарова, «Русская Рѣчь» № 1).

Я не говорю уже о достоинствахъ критической статьи, но для того лишь, чтобы она была, необходимо, чтобы разбираемое сочиненіе произвело на критика какое-бы то ни было впечатлѣніе. Пусть произведеніе будетъ и бездарно, и нелѣпо, но лишь бы оно чѣмъ нибудъ поражало, хотя бы своими отрицательными качествами. Но нѣтъ ничего болѣе неблагоприятнаго для критики произведеній скучныхъ. Извѣстно вѣдь, что скука именно и есть ничто иное, какъ отсутствіе всякихъ впечатлѣній. Можно ли ожидать отъ критика чего-либо живого, если разбираемое произ-

веденіе наводитъ лишь зѣвоту, дремоту, непреодолимое побужденіе уснуть и забыться отъ всякихъ мыслей.

Произведеніе-же Гончарова, нашего почтеннаго и маститаго беллетриста, такъ неожиданно прервавшего свое десятилѣтнее молчаніе, мало того, что скучновато, оно поражаетъ васъ своею эфемерностью.

Когда я прочелъ его, оно произвело на меня такое впечатлѣніе, какъ будто передо мной прошла полоса безцвѣтнаго, безформеннаго дыма и разсыпалась безъ всякаго слѣда. Такъ какъ я не причисляю себя къ числу присяжныхъ критиковъ, и не имѣю несчастія

быть обязаннымъ, во чтобы то ни стало, отдавать отчетъ относительно каждаго новаго произведенія литературнаго корифея, то весьма понятно, что у меня не могло явиться ни малѣйшаго побужденія не только писать объ очеркѣ Гончарова, но даже и говорить о немъ въ пріятельской бесѣдѣ.

Я и отложилъ о немъ всякія попеченія. Но странно, не смотря на то, что я и въ головѣ не держалъ его, и многія подробности и частности успѣли уже испариться изъ памяти, невольно какъ-то, сама собою, словно въ силу тѣхъ невѣдомыхъ процессовъ, какіе порою безсознательно совершаются въ нашей головѣ, у меня явилась мысль, которая, какъ мнѣ показалось, открыла мнѣ секретъ эфемерности произведенія Гончарова. Вотъ этою то мыслью я и хочу по-дѣлиться съ читателями, тѣмъ болѣе, что я сомнѣваюсь, чтобы кто нибудь взглянулъ на произведение Гончарова именно съ этой стороны, какъ мнѣ представляется, весьма существенной.

Скажу вамъ прямо, что меня болѣе всего поразило въ произведеніи этомъ: именно—крайнее легкомысліе, какъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ очерка, такъ еще въ большей степени—легкомысліе самого автора. Гончаровъ, маститый беллетристъ, почтенный авторъ Обыкновенной исторіи, Обломова, Обрыва; Гончаровъ, по цѣлымъ десятилѣтіямъ творящій свои увѣсистыя произведенія, тщательно обдумывающій и отдѣлывающій каждую сценку, каждый штришокъ,—и вдругъ легкомысліе: неправда ли,—два понятія трудно соединимыя? А между тѣмъ на самомъ дѣлѣ легкомысліе, проявившееся вдругъ въ лицѣ такого почтеннаго беллетриста, какъ Гончаровъ, дѣлаетъ это явленіе крайне замѣчательнымъ. Это показываетъ, что легкомысліе перестаетъ быть случайнымъ удѣломъ лишь нѣкоторыхъ личностей, по природѣ расположенныхъ къ нему, а принимаетъ эпидемическій характеръ. Сила эпидеміи главнымъ образомъ познается по тому, на сколько болѣзнь способна бываетъ захватывать такія атлетическія и поставленныя въ самыя благоприятныя условія натуры, которыя, повидимому, наиболѣе застрахованы отъ заразы. Поэтому мы вполне вправе сказать, что если даже такіе писатели, какъ Гончаровъ, проявляютъ вдругъ крайнее легкомысліе, то значитъ эта болѣзнь приняла столь широкіе размѣры, что не щадитъ уже, что называется, ни пола, ни возраста. Однимъ словомъ—это уже не тотъ или другой частный случай, а признакъ времени.

А вы не шутите съ легкомысліемъ. У насъ ни на что не смотрятъ такъ легкомысленно, какъ на легкомысліе. Многіе не считаютъ его даже порокомъ, а видятъ въ немъ, равно какъ и во многихъ другихъ слабостяхъ, присущихъ великосвѣтскимъ кругамъ, своего рода украшеніе человѣка. На легкомысліе, равно какъ и на расточительность, необходимо имѣть особенное привилегированное право, болѣе всего конечно присущее прекрасному полу. Если великосвѣтская красавица не легкомысленна, то она представляется многимъ лишенною половины всѣхъ тѣхъ прелестей, какія соединены въ понятіи о великосвѣтской красавицѣ. А между тѣмъ, само по себѣ легкомысліе—болѣе, чѣмъ слабость и порокъ:—оно есть особеннаго рода душевная болѣзнь, первая ступень къ слабо-

умію. Я убѣжденъ, что физиологія откроетъ не сегодня, завтра, въ легкомысленномъ человѣкѣ то начало ослабленія нервныхъ центровъ, которое въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи ведетъ къ разнымъ родамъ помѣшательства. Въ самомъ дѣлѣ, что такое легкомысліе? Видь это есть такое притупленіе мысли, при которомъ человѣкъ перестаетъ различать вещи въ ихъ взаимномъ соотношеніи и цѣнности, пустяки возводитъ на степень первой важности, и въ важныхъ вещахъ ничего не находитъ кромя пустяковъ, руководится въ своихъ дѣйствіяхъ первыми мимолетными впечатлѣніями, теряя всякое сознаніе о послѣдовательности вещей, путая причины съ слѣдствіями, а иногда и совсѣмъ упуская изъ вида неминуемость послѣдствій. Я, по крайней мѣрѣ, не могу смотрѣть иначе, какъ на своего рода помѣшанныхъ, на тѣхъ легкомысленныхъ опустошителей казенныхъ сундуковъ, какіе нынѣ парадируютъ по всѣмъ городамъ и всякъ Россійской имперіи. Я бы понималъ логику этихъ людей, если-бы въ ихъ преступленіяхъ былъ злостный расчетъ въ родѣ быстрого обогащенія посредствомъ кражи и бѣгства отъ судейскихъ преслѣдованій, хотя бы въ Америку. Въ большей же части случаевъ ничего этого не замѣчается: человѣкъ опустошаетъ казенный сундукъ единственно ради сегодняшнихъ развлеченій, совершенно какъ бы потерявъ всякое сознаніе о различіи своихъ денегъ отъ чужихъ и забывъ о томъ, что завтра же придетъ ревизоръ и притянетъ хищника къ суду. Является ревизоръ, хищникъ и не думаетъ скрываться, а тотчасъ же, иногда за тѣмъ же пиршественнымъ столомъ, за которымъ минуто тому назадъ ему было море по колѣно, пускаетъ себѣ пулю въ лобъ, или же отправляется на скамью подсудимыхъ съ самою безпечною и блаженною улыбкою. Что же это, какъ не тотъ же сумасшедшій, который зря зажигаетъ домъ, въ которомъ находится, ни мало не помышляя о томъ, что самъ же первый въ немъ сгоритъ, или бросается въ окно съ четвертаго этажа, мечтая прогуляться по тротуару?

Но легкомысліе не ограничивается одними спорадическими случаями. Это такая душевная болѣзнь, которая на ряду съ нѣкоторыми видами умопомѣшательства въ родѣ, напримѣръ, религіозной маніи, эпилепсиса, клякушества и т. п., можетъ принимать эпидемическій характеръ, разомъ проявляясь въ цѣлыхъ слояхъ общества или массахъ населенія. Исторія представляетъ намъ цѣлый рядъ вѣковъ, въ которыхъ легкомысліе овладѣвало цѣлыми народами и представлялось существенною чертою времени. И замѣчательно, что подобное развитіе эпидемическаго легкомыслія постоянно являлось предвѣстіемъ великихъ событій или страшныхъ катастрофъ. Таково было легкомысліе безпечныхъ жителей Содома и Гоморры, легкомысліе пировъ Вальтасара наканунѣ разрушенія Вавилона, легкомысліе римлянъ время имперіи, римской куріи въ эпоху реформации, версальскаго двора при Людовикѣ XV и пр.

Какъ я сказалъ уже выше, легкомысленнѣе всѣхъ въ очеркѣ Гончарова является самъ авторъ его. Въ самомъ дѣлѣ, вы посмотрите только, что онъ дѣлаетъ. Онъ написалъ свой очеркъ не спроста, а имѣлъ серьезную цѣль—свести въ одно людей разныхъ на-



правлений и заставить их высказаться въ горячемъ спорѣ о всѣхъ злобахъ дня. Но этого мало: кромѣ того онъ пожелалъ представить вамъ всю ту разногласицу взаимнаго непониманія и озлобленія, которая дѣлитъ людей нашего времени на различные враждебные лагеря, вслѣдствіе чего нашъ русскій прогрессъ, подобно Крыловскому возу, остается на одномъ мѣстѣ. На этомъ основаніи, авторъ поставилъ и эпиграфомъ къ своему очерку извѣстные стихи басни: „Лебедь рвется въ облака, ракъ пятится назадъ, а щука тянетъ въ воду“.

Сообразно этой цѣли Гончаровъ ведетъ своихъ читателей на великосвѣтскій литературный вечеръ, на которомъ читается одинъ изъ тѣхъ великосвѣтскихъ романовъ, которыхъ, съ легкой руки гр. Л. Толстого, особенно много расплодилось, по словамъ Гончарова, въ великосвѣтскихъ слояхъ общества. По всѣмъ признакамъ романъ этотъ былъ очень слабъ и плохъ; объ этомъ можно судить какъ по длинному описанію его, которому посвящена первая часть очерка, такъ и по тому обстоятельству, что романъ этотъ, по словамъ автора, былъ сколкомъ съ тѣхъ великосвѣтскихъ романовъ, имена авторовъ которыхъ не появлялись въ печати. Такъ что даже и „Русскій Вѣстникъ“, столь надкій и снисходительный къ подобнымъ романамъ, не поспѣлъ на него. Значитъ онъ былъ слабѣе даже и тѣхъ романовъ Марквичи и Авсѣнки, какіе парадируютъ на страницахъ этого журнала.

Одно это обстоятельство значительно уже ослабляетъ иллюзію очерка. Авторъ не могъ придумать для чтенія на своемъ воображаемомъ литературномъ вечерѣ болѣе удачнаго предмета, какъ подобнаго рода романъ. Вѣдь для того, чтобы сообразно цѣли очерка дѣйствующія лица его, люди различныхъ лагерей, собравшіеся на литературномъ вечерѣ, могли горячо и ожесточенно поспорить и высказать свои взгляды на различные животрепещущіе вопросы времени, необходимо, чтобы они были возбуждены чѣмъ нибудь. Другое дѣло совсѣмъ, когда въ среду общества, какъ камень въ муравейникъ, ниспадаетъ вдругъ такое произведеніе, какъ „Горе отъ ума“, „Ревизоръ“, „Мертвые души“, „Обломовъ“. Тогда это общество сразу все закопошится, какъ муравьи; повсюду начинаютъ литься и горячія рѣчи, и ожесточенные споры; люди самые молчаливые раскрываютъ уста и самые сдержанные — высказываются. Я не могу понять иначе гоголевскій „Разъѣздъ“, какъ именно въ смыслѣ разъѣзда послѣ перваго представленія „Ревизора“. Будь это первое представленіе комедіи Николая Потѣхина, то „Разъѣздъ“ теряетъ уже всякій смыслъ. Но вы представьте себѣ, что дирекція вздумала-бы поставить на сцену одну изъ тѣхъ піесъ, которымъ никогда не суждено бываетъ увидать свѣтъ ни на страницахъ журналовъ, ни на сценѣ. Мыслимо-ли чтобы публика, толпясь въ сѣняхъ театра послѣ такого спектакля, высказывала всѣ свои заветныя убѣжденія съ такимъ жаромъ и ожесточеніемъ, какъ въ гоголевскомъ „Разъѣздѣ“? Очевидно, что еслибы тутъ лились рѣчи, то совсѣмъ другаго рода и содержанія. А между тѣмъ романъ, прочитанный на литературномъ вечерѣ „Очерка“, принадлежитъ именно къ послѣдней категоріи рукописей, которыя послѣ

прочтенія сдаются редакторами обыкновенно въ конторы для возвращенія авторамъ. Можно-ли ожидать послѣ прочтенія подобнаго хлама какихъ-либо серьезныхъ и оживленныхъ преній? А между тѣмъ, на литературный вечеръ собрались не одни только „счастливицы, ума недалняго лѣнницы, которымъ жизнь куда легка“ и которые въ литературѣ понимаютъ столько же, сколько и въ дифференціальныхъ исчисленіяхъ, въ родѣ княгини Тецкой, графини Синявской, графа Пестова, Лелиной, Бибикова, Фертова и т. п. Всѣмъ этимъ легкомыслѣннѣйшимъ смертнымъ было сполна-гора разсыпаться передъ авторомъ въ свѣтскихъ восхищеніяхъ въ родѣ того что: *comme c'est beau, comme c'est joli, c'est divin, c'est Homère, doublé de Tasse; vous me donnerez un exemplaire; je le mettrai à côté de J. J. Rousseau* и т. п. Но за то всѣ подобные цѣнители дальше этихъ восклицаній и не пошли, ни въ какія пренія не пустились и разѣхались по домамъ тотчасъ-же послѣ окончанія чтенія. Оставшіеся-же ужинать были по большей части люди образованные, эксперты по части литературы и всѣхъ прочихъ искусствъ, и знающіе цѣну вещей. Казалось естественнѣе всего можно было-бы ожидать, что у нихъ, какъ это всегда бываетъ послѣ скучныхъ чтеній, явится побужденіе, забыться отъ скуки, нагнанной на нихъ романомъ, въ веселыхъ разговорахъ о разнообразныхъ, но совершенно постороннихъ роману разговорахъ, а они пустились вдругъ въ серьезъ обсуждать романъ и спорить о его достоинствахъ.

Въ томъ-то и дѣло, что въ сочиненіяхъ съ тѣмъ литературнымъ приемомъ, который въ настоящемъ случаѣ употребилъ Гончаровъ, предметомъ обсужденій и споровъ должна быть непременно избрана такая вещь, которая возбуждала бы спорящихъ къ высказыванью своихъ мнѣній. Несоблюденіе этого существеннаго правила представляетъ первый пунктъ легкомыслія Гончарова.

Но авторъ не ограничился однимъ этимъ пунктомъ. Какъ уже выше было сказано, онъ вывелъ представителей разныхъ лагерей. Такъ крайнюю правую представляетъ изъ себя Красноперовъ, сослуживецъ хозяина, бывший нѣкогда пріятелемъ Греча и Булгарина. Правый центръ олицетворяется въ лицѣ старика Чешнева, человѣка сороковыхъ годовъ съ славянофильскимъ оттѣнкомъ мыслей. Въ самомъ центрѣ парадируетъ профессоръ словесности, написавшій много книгъ о литературѣ. Въ лѣвомъ центрѣ слѣдуетъ помѣститъ редактора журнала, приглашеннаго племянникомъ хозяина — студентомъ, и наконецъ, крайнюю лѣвую представляетъ газетный критикъ по беллетристикѣ Кряковъ, приглашенный племянникомъ-же.

Какъ только гости садятся за ужиномъ послѣ чтенія романа, такъ сейчасъ-же у нихъ возникаетъ споръ по поводу прочитаннаго произведенія (авторъ котораго не присутствуетъ за ужиномъ), но это, собственно говоря, выходитъ не столько споръ, сколько турниръ, на которомъ представители различныхъ направлений, словно по заранѣ установленной очереди, начиная съ крайней правой, выходятъ преломить копье съ рыцаремъ крайней лѣвой въ лицѣ Крякова. Что же касается до этого Крякова, то, какъ и подо-



басет рыцарю крайней лѣвой, онъ отличается всѣми тѣми стереотипными атрибутами, какими обыкновенно рисуются въ романахъ нашихъ представители этого направления: онъ ѣстъ и пьетъ за четверыхъ, говоритъ всѣмъ гостямъ въ глаза, не исключая и дамъ, рѣзкія грубости, употребляетъ, не краснѣя, тривіальныя выраженія, и вообще своимъ поведеніемъ возбуждаетъ такой ужасъ въ фешенебельныхъ гостяхъ, что они только и дѣлаютъ, что раздражаются восклицаніями въ родѣ: „mais c'est une horreur! c'est une peste! L'ours mal lâché!... а нѣкій bon-vivant Суховъ, хотя и въ шутку, но не безъ тенденціозности совѣтуетъ хозяину послать за полиціей.

Первый открываетъ турниръ Красноперовъ, заявляя, что при Гречѣ и Булгаринѣ не смѣли-бы такъ вольничать: бывало, сочинители по стрункѣ ходили, и тѣ изъ нихъ только и выходили въ люди, которые побывали въ ихъ школѣ. Сколько ихъ, бывало, являлось въ Николаю Ивановичу на поклонъ и выслушивали отъ него благе совѣты, да слѣдовали имъ.

— Который вамъ годокъ? вдругъ просилъ Кряковъ Красноперова.

Общій смѣхъ покрылъ его вопросъ. Тотъ сердито молчалъ.

— А что?—спросилъ Суховъ, которому очевидно правился задоръ въ противникахъ.

— Да ужъ очень отзывается добрымъ старымъ временемъ!—отвѣчалъ тотъ безцеремонно. Вы, я думаю, родились при «старомъ и новомъ слоgѣ?»

— А чтожъ, худо было, что-ли, тогда, при Александрѣ Семеновичѣ Шишковѣ?—сердито возразилъ Красноперовъ.—Тогда умѣли слушаться старшихъ—и былъ порядокъ. Отъ Греча и Булгарина доставалось не мало и Александру Сергѣевичу, когда онъ былъ молодъ и вольничалъ! А прочіе ходили тише воды, ниже травы.

— Какъ не ходить, когда ихъ, бывало, сѣкли, а Булгаринъ и Гречъ приговаривали! вдругъ провозгласилъ Кряковъ при общемъ смѣхѣ.

— Такъ и надо! не худо-бы и теперь! ворчалъ Красноперовъ ближайшимъ сосѣдямъ:—а то ужъ очень расходился! Я бы всѣмъ сочинителямъ при полиціи списки завелъ, да выдавалъ-бы имъ желтые билеты на жительство.

Кругомъ его всѣ смѣялись.

— За что-же такъ немедленно? спросилъ съ добродушнымъ смѣхомъ профессоръ.—Вѣдь ужъ это почти все было прежде; если не желтые билеты, такъ была, кажется, какая-то особая книга, куда записывали литераторовъ... но и это не помогло; сами-же вы говорите, что сочинители ушли изъ подъ фюрлы...

— А зачѣмъ выпускали? правительство ослабѣло, строгости нѣтъ! горячился Красноперовъ:—вотъ и порядка нѣтъ! Страху-бы намъ, страху! вотъ что нужно, а не свободу печати! Даль-бы я имъ свободу! Сколько зла отъ этого! Боже мой сколько зла!

— Какое-же зло? и будто все зло? спросилъ, тоже смѣясь, журналистъ.

— Какое! Вы еще спрашиваете! Развѣ не видите! Все колеблется, разсыпается врозь, ни у кого нѣтъ ничего святого!

Въ заключеніе-же Красноперовъ расходился до того, что обозвалъ всѣхъ ужинавшихъ огуломъ нигилистами.

— Вы всѣ сами нигилисты, вотъ что! брякнулъ онъ.

— C'est trop fort! замѣтили на другомъ концѣ стола.

— Какъ такъ! Богъ съ тобою! говорилъ Урановъ. Объяснясь, пожалуйста!

— Да такъ! вы сами за одно съ этими новыми.

Кто больше, кто меньше... но всѣ, всѣ! Напримѣръ, иные изъ васъ—и я знаю кто—вѣруютъ въ Бога по своему, разсуждаютъ... а не такъ, какъ указывать православная церковь; ходить разъ въ годъ на исповѣдь, «для примѣра»—говорятъ; другіе исповѣдуютъ противный господствующему строю правительственнаго образа мыслей и разсуждаютъ объ этомъ подъ рукою съ пріятелями, а сынки слушаютъ да на усь мотаютъ! Что мудренаго послѣ того, что они не признаютъ и не уважаютъ ничего и никого!

Понятно, что послѣ всѣхъ подобныхъ репликъ Кряковъ заявилъ Красноперову, что его стоило-бы посадить въ кунсткамеру вѣстѣ со всѣми его умершими корифеями.

Затѣмъ выступилъ на арену профессоръ, который долго ораторствовалъ въ духѣ „нельзя не сознаться, но должно признаться“ о свободѣ искусства, при чемъ мнѣнія его точка въ точку совпадали съ тѣми мыслями, какія высказываетъ Евг. Марковъ въ своихъ критическихъ статьяхъ.

— Прежде всего, я требую свободы для искусства, говорилъ онъ: а на него въ новое время хотятъ наложить оковы; оно не потерпитъ этого! Высокій талантъ не выкинуть, конечно, изъ своей картины страданій, бѣдъ, золь, тягостей и нуждъ человѣческихъ,—но кисть его при этомъ не обойдетъ и свѣтлыхъ сторонъ жизни; только тогда и возможна художественная правда, когда и то, и другое будетъ уравниваемо, какъ оно есть и въ самой жизни. А новая школа уже сдѣлала себѣ специальность, можно сказать, ремесло, служить только утилитарнымъ цѣлямъ, заставить искусство искать только всякихъ золь, подъ святымъ предлогомъ любви и состраданія къ ближнему.

Послѣ этихъ споровъ и отстаиваній тенденціознаго искусства, Кряковъ закончилъ свои состязанія съ профессоромъ слѣдующимъ заключившимъ бой ударомъ:

— Знаете-ли что, господинъ профессоръ; вѣдь этотъ ужинъ тонкій, дорогой, сказалъ онъ, куда вамъ нашимъ краснорѣчіемъ заплатить за него!

— Что это вы говорите, съ вѣжливой строгостью замѣтилъ хозяинъ:—къ чему тутъ ужинъ! какъ вамъ не стыдно придавать такое значеніе дружеской бесѣдѣ!

— Не оспаривайте этого, возразилъ Кряковъ:—ни профессору, ни мнѣ такъ ужинать часто не приходится; ужинать сами мы васъ не позволимъ; а заплатить за гостепріимство хочется: это хотя не поэтическая, а житейская правда! Такъ-ли, господинъ профессоръ?

«Но профессоръ съ достоинствомъ молчалъ».

Затѣмъ бросаетъ перчатку рыцарь сороковыхъ годовъ Чешневъ.

— Народность, говоритъ онъ, или, скажемъ лучше, національность—не въ одномъ языкѣ выражается: она въ духѣ единенія мысли, чувствъ, въ совокупности всѣхъ силъ русской жизни! Пусть космополиты мечтаютъ о будущемъ сліяннн всѣхъ племенъ и національностей въ одну человѣческую семью, пусть этому суждено когда-нибудь и исполниться, но до тѣхъ поръ, и даже для этой самой цѣли, — еслибъ такова была, въ самомъ дѣлѣ, конечная цѣль людскаго бытія,—необходимо каждому народу переработать всѣ соки своей жизни, извлечь изъ нея всѣ силы, весь смыслъ, всѣ качества и дары, какими онъ надѣленъ, и принести эти національные дары въ общечеловѣческой капиталъ! Чѣмъ сильнѣе народъ, тѣмъ богаче будетъ этотъ вкладъ и тѣмъ глубже и замѣтнѣе будетъ та черта, которую онъ прибавитъ къ всемірному образу человѣческаго бытія.

— Затѣйливо нечего сказать; ну, такъ чтоже? сказалъ Кряковъ:—что вы хотѣли этимъ сказать?

— То, что русскій народъ исполняетъ эту свою великую національную и человѣческую задачу, и что въ ней ровно и дружно работаютъ всѣ силы великаго народа, отъ царя до пахаря и солдата! Когда все тихо, покойно, всѣ, какъ муравьи, живутъ, работаютъ, какъ будто въ разбродъ; думаютъ, чувствуютъ про себя; говорятъ, пожалуй, и на разныхъ языкахъ; но лишь только явится туча на горизонтѣ, загремѣтъ война, постигнетъ Россію зараза, голодъ — смотрите, какъ соединяются всѣ нравственныя и вещественныя силы, какъ все сливается въ одно чувство, въ одну мысль, въ одну волю — и какъ вдругъ всѣ, будто подъ напѣиѣмъ Св. Духа, мгновенно поймутъ другъ друга и заговорятъ однимъ языкомъ и одною силою! Баринъ, мужикъ, купецъ — всѣ идутъ на одну общую работу, на одно дѣло, на одинъ трудъ, несутъ милліоны и копѣйки... и умираютъ, если нужно — и какъ умираютъ! Передъ вами уже не графы, князья, военные или статскіе, не мѣшани или мужики — а одна великая, будто изъ несокрушимой мѣди вылитая статуя — Россія!

— Bravo! C'est sublime! отлично! закричали всѣ. — За здоровье Дмитрія Ивановича! человекъ, наливай шампанское! приказывалъ Урановъ.

— За что? Вы всѣ это думаете и чувствуете! говоритъ онъ, отвѣчая чоканьемъ на чоканье: — это общій отвѣтъ нашему собесѣднику г. Крякову!

— Да! да! подхватили всѣ.

Кряковъ всталъ со стула, готовясь уходить, но вдругъ опять сѣлъ.

— До сихъ поръ я былъ хорошаго мнѣнія о васъ, началъ онъ, обращаясь къ Чешневу, но не договорилъ: его заглушилъ общій хохотъ. — А вы просто на просто шовинистъ! выпалилъ онъ, когда всѣ утихли.

Въ такомъ родѣ и духѣ ведутся всѣ состязанія. Мы привели главные ихъ пункты и положенія; они-же простираются на цѣлыя пятьдесятъ страницъ, достаточно утомляя читателя своею растянутостью. И вдругъ что-же оказывается въ концѣ-концовъ: оказывается, что этотъ самый озорникъ Кряковъ, былъ вовсе не газетный критикъ радикальнаго направленія, а актеръ императорскихъ театровъ, явившійся на ужинъ по приглашенію племянника хозяина нарочно для того, чтобы разыграть роль радикальнаго критика.

Можете себѣ представить разочарованіе! И такъ оказывается, что это былъ вовсе не турниръ, а лишь одна комедія турнира!.. Одинъ изъ самыхъ существенныхъ общественныхъ элементовъ, противъ котораго, главнымъ образомъ, велись всѣ дебаты ужина, именно и отсутствовалъ, а мѣсто его занималъ актеръ императорскихъ театровъ, которому пришлось, импровизируя свою роль, врать, что только пришло въ голову, да еще при этомъ постоянно быть насторожѣ, какъ-бы его не узнали. Но какое-же значеніе, въ такомъ случаѣ, имѣютъ всѣ его возраженія и возраженія гостей противъ его возраженій? Они оказываются такими-же фальшивыми, какъ и борода съ усами, въ которой актеръ императорскихъ театровъ разыгрывалъ роль Крякова. Я не знаю, съ какою цѣлю устроилъ Гончаровъ подобнаго рода мистификацію? Для того-ли, чтобы придать болѣе игривости своему очерку, или, можетъ быть, имъ руководила особеннаго рода хитроумная уклончивость, желаніе остаться въ сторонѣ и омытъ руки передъ читателями относительно Крякова, такъ что если-бы одинъ изъ критиковъ вломился въ амбицію, зачѣмъ Гончаровъ изобразилъ Крякова въ такихъ стереотипно безобразныхъ краскахъ,

бросающихъ тѣнь на представителей этого лагеря, то Гончаровъ могъ-бы ловко отговориться тѣмъ, что вѣдь онъ тутъ ни въ чемъ не виноватъ, такъ, какъ это не онъ изобразилъ Крякова въ подобномъ безобразіи, а актеръ императорскихъ театровъ, отъ котораго и требовать нельзя было чего-либо другого, а если-бы иные критики нашли, что авторъ отнесся къ Крякову слишкомъ снисходительно и не достаточно напустилъ черныхъ красокъ, представилъ его и умнѣе, и скромнѣе, и практичнѣе, чѣмъ бываютъ въ дѣйствительности подобные люди, то отдувался-бы опять-таки актеръ: что-же дѣлать, если импровизируя свою роль, онъ не съумѣлъ вполне войти въ нее и представилъ отчасти самого себя, не въ силахъ будучи довести грубость, неприличіе и безуміе мыслей до степени дѣйствительнаго Крякова.

Какъ-бы то ни было, но подобная неожиданная мистификація окончательно лишаетъ очеркъ всякаго серьезнаго значенія, и довершаетъ легкомысліе автора. Въмѣсто дѣйствительнаго столкновенія мнѣній различныхъ лагерей выходитъ какой-то водевилъ съ переодѣваніями, нѣчто въ родѣ извѣстной оперетки Оффенбаха „Званный вечеръ съ итальянцами“, въ которой бойкая хозяйская дочь съ ухарскимъ jeune première морочитъ гостей, разыгрывая роли разныхъ пѣвцовъ итальянской оперы, совершенно подобно тому какъ и актеръ императорскихъ театровъ морочитъ своихъ собесѣдниковъ, разыгрывая роль Крякова.

А если здѣсь не серьезное столкновеніе мнѣній, а лишь мистификація актера, то при чемъ же тутъ лебедь, ракъ и щука? вправдѣ спросить читатель. Мало сказать, что не причеѣмъ, а совершенно напротивъ: если вы внимательно всмотритесь въ очеркъ Гончарова, вы увидите, что всѣ дѣйствующія лица его вѣстѣ съ ихъ авторомъ не только не тянутъ врозь, а выказываютъ поразительное единодушіе въ томъ смыслѣ, что всѣ они поголовно сходятся въ легкомысленнѣйшемъ отношеніи ко всему ихъ окружающему и въ общей всѣхъ ихъ въ одинаковой степени обуревающей жаждѣ веселья и веселья.

Начать съ того, что какимъ образомъ сострипался этотъ литературный вечеръ? Вы подумаете, что устроителемъ его, Урановымъ, руководилъ здѣсь какой-нибудь серьезный интересъ къ литературѣ вообще и въ частности къ тому роману, который предназначался для чтенія? Ни чуть не бывало. Это былъ пустой и праздный малый, одинокій вдовецъ, посвящавшій лишь три дня въ недѣлю службѣ въ какомъ-то совѣтѣ, который онъ именовалъ утреннимъ клубомъ въ отличіе отъ вечерняго, остальное же время онъ тратилъ на визиты, обѣды, балы, карты и прочія свѣтскія удовольствія. Наступилъ май, всѣ начали разѣзжаться, кто на дачу, кто въ деревню, и Уранову пришлось умирать отъ скуки, не досчитываясь, то соѣзда за столомъ въ совѣтѣ или клубѣ, то партнера въ вистѣ — и всякое утро вставать съ вопросами: „Кто изъ знакомыхъ уѣзжаетъ сегодня? У кого закрылись пріемные дни? Куда потратить онъ утро, съ кѣмъ будетъ обѣдать, какъ убьетъ вечеръ?“

И вдругъ, какая находка: авторъ романа, сослуживецъ Уранова, предложилъ ему прочесть романъ у него въ домѣ, въ кружкѣ знакомыхъ!

«Хорошъ или дуренъ романъ, будутъ довольны слушатели авторомъ и авторъ слушателями — дѣло для него совсѣмъ не въ томъ, а въ томъ, что вся эта процедура займетъ у него цѣлую недѣлю: разбѣды, приглашенія, и, наконецъ, желанный вечеръ, проведенный по зимнему, далеко за полночь, потомъ ужинъ до утра! Кромѣ того, послѣ долго будутъ говорить, что авторъ читалъ первый разъ, почти публично, у него, у Уранова!»

И такъ вотъ какія эфемерныя цѣли руководили хозяиномъ въ устройствѣ у себя на дому литературнаго вечера. Затѣмъ, созывая своихъ свѣтскихъ знакомыхъ и желая, чтобы на литературномъ вечерѣ присутствовалъ и учено-литературный элементъ, онъ пригласилъ профессора и своего сослуживца Красноперова, предположивши вдругъ въ немъ знатока литературы, потому что онъ былъ когда-то пріятелемъ съ Гречемъ и Булгарынымъ; приглашеніе же совершенно чуждаго ему либеральнаго элемента легкомысленно поручилъ племяннику-студенту, а тотъ взялъ и подстроилъ ему актера императорскихъ театровъ въ качествѣ радикальнаго критика. Какъ студентъ, такъ и актеръ поступили въ настоящемъ случаѣ съ одинаковымъ легкомысліемъ, не зная, къ чему все это приведетъ и что изъ всего этого выйдетъ; объ этомъ можно заключить изъ того уже, что актеръ съ самаго начала вечера покушался дать тягу. Такъ, во время перваго же перерыва чтенія, онъ обратился къ студенту, косаясь на звѣзды мужчинъ:

— Пусти меня, или пойдѣмъ къ тебѣ на верхъ! Еще пожалуй, проврѣшься—вонъ отъ тѣхъ бѣды наживешь! Онъ указалъ на сановныхъ стариковъ.

Студентъ засмѣялся.—Вздоръ какой! сказалъ онъ. Пойдѣмъ лучше въ буфетъ!

И дѣйствительно, опасенія актера оказались вздоромъ. Легкомысленнѣйшіе гости пустились за ужиномъ въ легкомысленнѣйшія пренія о „Байронѣ и о матеряхъ важныхъ“, но какъ ни казались важны, оживленны и даже ожесточенны всѣ эти пренія, во всѣхъ нихъ чувствовался одинъ преобладающій нервъ: какъ-бы повеселѣе было за ужиномъ, а на остальное на все наплевать. Какъ мало занимали гостей и задѣвали за живое разбираемые вопросы, можно судить потому, что наускивая другъ на друга состязавшихся, они слѣдили за ихъ преніями, какъ за пѣтушинымъ боемъ, и покатывались со смѣху, восклицая безпрестанно: ахъ, какой удачный ужинъ! Ахъ, какъ сегодня весело! Что касается до актера, то набравшись предварительно въ хозяйскомъ буфетѣ смѣлости и вдохновенія, онъ сыгралъ роль Крякова безъ запинки по всѣмъ нотамъ своей беззавтѣной пошлости и привелъ въ восторгъ всю компанію. Я не знаю, что было-бы, если-бы на пиру оказался вдругъ не мнимый, а настоящій Кряковъ? Можетъ быть онъ и одѣтъ былъ-бы, и ѣлъ, и пилъ, какъ и всѣ прочіе, не говорилъ-бы никакихъ грубостей и рѣзкостей и ничѣмъ не выдавался-бы изъ среды прочихъ гостей по внѣшней порядочности и благочинію, но чего добраго гостямъ не только не показалось-бы такъ весело, а совершенно напротивъ: его тихія и сдержанныя рѣчи покоробили-бы и взволновали пожалуй многихъ изъ присутствовавшихъ въ гораздо большей степени, чѣмъ ругательства мнимаго Крякова; онъ невольно

заставили-бы задуматься безпечнѣйшихъ смертныхъ, упорно открепивающихся отъ всякой тѣни заботы о завтрашнемъ днѣ, и все собраніе можетъ быть онѣмѣло-бы отъ тоски и ужаса, словно при видѣ огненной надписи: „жани, факель, фаресь!“ И ушелъ-бы настоящій Кряковъ отъ нихъ, сопровождаемый раздраженіемъ общей неприязни; пожалуй, никто ему и руки не подаль-бы, и ужинъ всѣми единогласно былъ признанъ-бы испорченнымъ присутствіемъ этого гостя, ненавистнаго хуже татарина.

Актеръ-же императорскихъ театровъ, ловкій паренъ, побывавшій во всевозможныхъ передѣлкахъ, зналъ отлично, на какихъ струнахъ ему слѣдуетъ сыграть, чтобы еще болѣе развеселить ликующую компанію. Онъ понималъ, что этимъ людямъ до крайности надоѣлъ чопорный этикетъ свѣтскихъ приличій и пріѣлись всѣ тѣ прѣсныя любезности и комплименты, которыми они привыкли осыпять другъ друга. Чтобы занять, развлечь и оживить этихъ пресыщенныхъ людей, требовалось что-либо выходящее изъ обыденной нормы, острое, пикантное, разнузданное. И вотъ онъ началъ, пользуясь своею ролью радикальнаго критика, бросать всѣмъ гостямъ прямо въ глаза самыя обидныя рѣзкости, подобно тѣмъ шутамъ добраго стараго времени, которые чѣмъ болѣе грубыми и наглými остротами щекотали нервы изнѣженныхъ лестью придворныхъ, тѣмъ болѣе имѣли успѣха. Эффектъ дѣйствительно удался какъ нельзя болѣе: чѣмъ грубѣе, тривиальнѣе и обиднѣе выражался мнимый Кряковъ, тѣмъ болѣе хохотъ возбуждалъ онъ въ восторженной и отуманенной виномъ публикѣ, и, въ концѣ концовъ, всѣ остались довольны другъ другомъ и проводили его чуть не съ объятіями, а вслѣдъ ему посыпались восклицанія: Каково! а! Помилуйте, прелесть!.. Какой уминый, образованный!... и пр. и пр.

Вотъ и весь результатъ преній, столкновения враждебныхъ мнѣній; неправда-ли, какой веселый результатъ? Послѣ того, невольно отдашь справедливость, что послѣдовательнѣе и искреннѣе всѣхъ на этомъ литературномъ вечерѣ выказалъ себя нѣкій престарѣлый беллетристъ Скудельниковъ; онъ во время чтенія и преній упорно молчалъ и апатично скидывалъ порою глазами на все окружающее, такъ что лишь въ концѣ вечера вспомнили о немъ.

— А вы, Матвѣй Ивановичъ, провозгласилъ вдругъ хозяинъ, обращаясь къ нему:—что молчите? ни слова не сказали?

— Я давно хотѣлъ сказать, да не дали....

— Ну, говорите теперь: что такое?

— А вотъ дыню и ананасъ забыли, такъ и остались неразрѣзанными! сказалъ онъ.

Всѣ засмѣялись.

Кончается Гончаровъ свой очеркъ бенгальскими огнями еще большей веселости: по уходѣ Крякова гости узнаютъ наконецъ отъ студента, кто былъ на самомъ дѣлѣ мнимый критикъ, и раздражаются еще большимъ хохотомъ. Дядюшка бросается на шею племяннику, который своей хитрой выдумкой такъ оживилъ ужинъ и затѣмъ, черезъ нѣсколько дней, всѣ отправляются въ Павловскъ на спектакль въ пользу герцеговичевъ и осыпаютъ потѣшившаго ихъ актера всевозможными оваціями и подарками.

Но я кончилъ-бы не такъ на мѣстѣ Гончарова; въ заключеніи устроилъ-бы еще болѣе блестящій апофеозъ легкомыслія: пусть-бы вся компанія, вмѣстѣ съ Кряковымъ, пустилась-бы въ плясъ, хороводомъ вокругъ прішественнаго стола, а впереди всѣхъ, въ этомъ вихрѣ легкомыслія, пусть-бы выступалъ самъ престарѣлый беллетристъ Скудельниковъ, въ

роли короля легкомыслія съ дынею вмѣсто державы въ одной рукѣ и съ ананасомъ вмѣсто скипетра въ другой, и пѣли-бы они всѣ хоромъ, въ этомъ вихрѣ веселья, что-нибудь въ родѣ:

Давайте пѣть, любить, плясать!  
Что будетъ завтра,—напѣсать!

## ЖЕНСКИЙ ВОПРОСЪ

СЪ ТОЧКИ ЗРѢНІЯ ПАРИЖСКАГО БУЛЬВАРНАГО ПУБЛИЦИСТА.

(«Les Femmes qui tuent et les Femmes qui votent»; par Al. Dumas-fils. Sixième édition. Paris, 1880).

Извѣстный всей Европѣ Александръ Дюма-филс — или le Petit-Dumas, какъ называли его при жизни отца — принадлежитъ къ числу тѣхъ остроумныхъ, блестящихъ и плодотворныхъ фразеровъ и бульварныхъ крикуновъ, къ которымъ вполне можно примѣнить пословицу, что они за словомъ въ карманъ не полѣзутъ, несмотря на то, что у нихъ нѣтъ царька въ головѣ, и они не понимаютъ никакого родства. Это послѣднее обстоятельство, т. е. отсутствіе всякаго foi и loi, не только не мѣшаетъ, напротивъ того — способствуетъ ихъ успѣху, составляющему существенную цѣль всей ихъ жизни и дѣятельности. Если-бы они вздумали прямо и безповоротливо пойти въ одну какую-нибудь сторону, успѣхъ ихъ былъ-бы сомнителенъ, завися отъ судьбы ихъ партіи, отъ вытѣсненія ихъ идей какими-нибудь иными, болѣе новыми и болѣе основательными; въ то время, какъ одни изъ современниковъ носили-бы ихъ на рукахъ, другіе-бы ихъ порицали и всячески обижали. Но ни одна партія, ни одно ученіе, ни одна идея не дождутся никогда, чтобы эти люди всецѣло посвятили себя служенію имъ. Казалось-бы, что всѣ партіи, всѣ ученія, всѣ идеи должны были-бы вслѣдствіе этого возстать на нихъ и отвергнуть ихъ; а между тѣмъ выходитъ совершенно наоборотъ: въ итогѣ получается всеобщая популярность, доходящая порою до общеевропейской.

Подобная популярность достигается очень легко и просто. Во-первыхъ, тутъ не малую роль играетъ темпераментъ. Когда къ вамъ въ комнату входитъ пышавшій здоровьемъ весельчакъ и раздражается цѣлыми каскадами блестящихъ любезностей, каламбуровъ, шутокъ и анекдотовъ, заставляющихъ васъ хохотать до упаду, вы легко забываете нѣкоторую рознь его убѣжденій съ вашими, прощаете ему даже кое-какіе предосудительные поступки, ради того, что онъ пріятно гладитъ васъ по шерсти и забавляетъ. Но тутъ вромѣ темперамента есть и кое-что другое. Всмотритесь во всѣ произведенія Ал. Дюма-филса, и вы увидите вотъ что. Съ одной стороны, передъ вами человекъ, находящійся au courant прогресса своего времени: всѣ самыя передовыя изъ передовыхъ идей онъ держитъ вѣромъ въ рукахъ и разсыпаетъ ихъ передъ вами блестящими фейерверкомъ; порою онъ за поясъ затыкаетъ самыхъ сильныхъ и рѣшительныхъ

мыслителей своего вѣка и такимъ отчаянно-крайнимъ парадоксомъ ударить васъ вдругъ по нервамъ, что у васъ духъ займетъ и голова кругомъ пойдетъ, а потомъ, глядите, въ той-же самой книгѣ, черезъ двѣ-три страницы, посредствомъ различныхъ сладкопѣвныхъ руладъ и неизъяснимыхъ соловьиныхъ трелей, авторъ переходитъ совсѣмъ въ иной тонъ и выглядываетъ самымъ степеннымъ и разсудительнымъ столпомъ консерватизма. И все это дѣлается такъ мелодично, съ такимъ умомъ, тактомъ и хитросплетенною логикою, что изъ всего изъ этого получается удивительная симфонія, которою съ одинаковымъ восторгомъ заслушиваются и самыя передовыя люди вѣка, и самыя отсталые рутинеры.

Передовые люди говорятъ при этомъ: — правда, онъ не совсѣмъ еще выработался и додумался, порою впадаетъ въ рутину и пошлость, но все-таки онъ славный малый, — посмотрите, какъ горячо стоитъ за наше дѣло, какъ далеко шагаетъ, высказывая такіа смѣлыя вещи, на какія не каждый изъ насъ отважился-бы.

А сѣдовласый буржуа съ брюшкомъ и съ высокими положеніемъ, въ свою очередь, похваливаетъ:

— Правда, говоритъ, — иногда онъ и завирается, но все-таки, въ обществѣ, разсуждаетъ солидно и основательно; да и завирается-то съ умомъ и не безъ хитрости. Опровергнуть всѣ эти новыя бредни трудъ не большой, и на это найдется у насъ мастеровъ не мало. А вотъ взять ихъ во всей ихъ соблазнительности, довести до абсурда и свести къ нулю, — это дѣло не простое, а онъ ловко его мастерить, — шалунъ!..

Такимъ образомъ автора расхваливаютъ направо, расхваливаютъ палѣво, расхваливаютъ впереди, расхваливаютъ позади, — и книгу раскупаютъ; она выдерживаетъ десятки изданій, а автору только это и нужно: онъ наполняетъ свои карманы златомъ и спѣшитъ срывать цвѣты удовольствій подъ сѣбно бульварныхъ каштановъ. И главное дѣло, — это умѣнье угодить и нашимъ, и вашимъ достигается вовсе не какою-либо преднамѣренною тактикою, путемъ разныхъ сдѣлокъ со своею совѣстью и честью, а вполне непосредственно и невинно. Авторъ искрененъ до мозга костей: что у него на умѣ, то и на языкѣ, и вы не сомнѣваетесь ни на минуту, что онъ выкладываетъ

передъ вами всю душу. Въ этомъ отношеніи онъ можетъ подать примѣръ нашимъ квази-откровеннымъ писателямъ, у которыхъ вся откровенность заключается въ томъ, чтобы безъ всякаго зазрѣнія совѣсти выказывать себя передъ вами лакейшками, да и лакейшками-то самыми грязненькими, отъ которыхъ вѣчно разитъ запахомъ лука и постнаго масла. Нѣтъ, это откровенность чисто европейская, утонченная, изящная, гуманная, не чужающаяся всѣхъ самыхъ передовыхъ и возвышенныхъ идей, но только понимающая ихъ особеннымъ, бульварнымъ способомъ, низводящимъ эти идеи до веселой, игривой и, въ тоже время, совершенно пустой и праздно-салонной болтовни.

Таковъ передъ нами Дюма-фистъ, какъ во всѣхъ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ, посвященныхъ женскому вопросу, такъ и въ предстоящей нашему разбору новой брошюрѣ, обратившей на себя такое поразительное вниманіе всей Европы, что въ какой-нибудь мѣсяцъ разошлось шесть изданій. Начинаетъ онъ свою рѣчь очень высокимъ тономъ, тѣмъ самымъ высокимъ тономъ, какой обыкновенно употребляетъ В. Гюго, когда пророчествуетъ о судьбахъ Франціи, Европы и человѣчества.

«Въ мірѣ нравственномъ,—говоритъ онъ,—такъ-же какъ и физическомъ—законы тѣсно сдѣланы другъ съ другомъ и непоколебимы. Въ ту минуту, какъ я пишу, морской вѣтеръ бьетъ въ стекла моей комнаты, поднимаетъ волны и надуваетъ паруса тѣхъ, которые умѣютъ пользоваться этимъ кажущимся гнѣвомъ. Онъ гонитъ на материкъ пары, ниспадающія росой или дождемъ; и разноситъ по полямъ невидимые зародыши, плодотворные или сорные, смотря потому, на какую они упадутъ почву; онъ укрѣпляетъ одни изъ нихъ, убиваетъ другіе; ничто не въ силахъ остановить его или отворотить; онъ творитъ, что должно, ускоряя смерть того, чему суждено погнѣтуть, и развивая жизнь того, чему суждено жить. То-же самое и съ идеями. Онѣ надвигаются изъ-за горизонта и идутъ прямо впередъ, оплодотворяя общества, готовые ихъ принять, и умерщвляя тѣ, которыя ихъ отвергаютъ или искажаютъ. Откуда происходятъ онѣ? Куда онѣ стремятся? Откуда беретъ ся вѣтеръ? Куда онъ стремится?..»

Развивая далѣе подобную аналогію и не заботясь особенно много о строгой ея послѣдовательности, причѣмъ идеи сравниваются въ ней то съ вѣтрами, несущими зародыши, то съ самими зародышами, Дюма-фистъ находитъ, что подобно тому, какъ зародыши развиваются въ растеніи, такъ и идеи воплощаются въ живые факты. Въ этомъ, по его мнѣнію, и заключается тайна воплощенія.

«Люди, пожимающіе плечами или помирающіе со смѣху, пока идея остается въ области теоріи, приходятъ въ ужасъ, когда видятъ ее во плоти, шествующею къ опредѣленной цѣли. Сначала клеймятъ поворотомъ ея послѣдователя, апостола, пророка; часто умерщвляютъ его; но онъ немедленно приобрѣтаетъ учениковъ, вѣрующихъ, помощниковъ, мстителей, и начинается борьба. Идея постоянно торжествуетъ, и когда, наконецъ, спустя долгое время, она принимается, утверждается, дѣлается официальною и банальною, она стремится къ еще болѣшему развитію сообразно новымъ потребностямъ. Очень часто видать нововведеніе въ томъ, что есть не что иное, какъ логическая дедукція и фатальный выводъ изъ первобытной идеи. И вотъ начинается новое сопротивленіе инертныхъ массъ; новое воплощеніе, новая борьба, новый прогрессъ. Пока идея

не создаетъ своего человѣка, она остается безплодною; а если идея перестала создавать своихъ людей,—она умерла. Религіи, философіи, науки, политическія теоріи создаются неизбѣжно этимъ путемъ. Все вниманіе ваше въ этомъ отношеніи должно быть устремлено на то, происходить-ли воплощеніе: если нѣтъ, то это вѣрный признакъ близкой смерти идеи».

Я полагаю, что изъ изъ этой тирады достаточно ясно видно, что именно разумѣетъ авторъ подъ воплощеніемъ идеи,—именно людей идеи, ея проповѣдниковъ и борцовъ; онъ самъ подчеркиваетъ это слово. Въ отсутствіи подобнаго рода воплощенія онъ видитъ, что идея или еще не начала жить, или она близка къ смерти. И это совершенно справедливо. Дѣйствительно, возьмемъ какую угодно идею, существовавшую уже въ жизни, ну, хоть освобожденіе американскихъ негровъ. Когда начала эта идея осуществляться? Только тогда, когда явились проповѣдники и партизаны свободы негровъ и начали проповѣдывать и распространять свое ученіе. Въ этомъ отношеніи строго нужно различать подобнаго рода истинное воплощеніе идеи отъ тѣхъ отрицательныхъ явленій жизни, которыя вызываются какими-нибудь ненормальными условіями жизни; такія явленія могутъ въ концѣ концовъ привести къ новой идеѣ, но сами по себѣ они не заключаютъ въ себѣ ея и было бы совершенно ложно видѣть въ нихъ какія-либо воплощенія идеи. Такъ, въ нашемъ примѣрѣ негры задолго до появленія идеи объ ихъ освобожденіи и бѣгали отъ своихъ плантаторовъ, и убивали ихъ. Но можно ли въ подобныхъ фактахъ видѣть воплощеніе идеи эмансипаціи негровъ? Ни чуть не бывало: подобные факты могли повторяться ежедневно въ теченіи сотенъ и тысячъ лѣтъ и проходить совершенно безслѣдно, оставаясь изолированными явленіями, ничего не внушающими законодателямъ, какъ лишь заботу объ усиленіи судебныхъ преслѣдованій и карательныхъ мѣръ за такіе дѣянія. Очевидно, что только съ той минуты, когда появились первые люди, которые сгруппировали эти факты, освѣтили ихъ новымъ свѣтомъ, показали ихъ значеніе и, въ противовѣсъ старой доктринѣ рабовладѣльчества, поставили новую доктрину освобожденія,—только съ этого момента и начинается воплощеніе идеи эмансипаціи негровъ.

То же самое, конечно, и относительно женскаго вопроса. Во всѣ вѣка, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ только помнитъ себя человѣчество, во всѣхъ странахъ земного шара, не исключая Востока, вы можете встрѣтить не мало всякаго рода семейныхъ трагедій, въ которыхъ женщина является мстительницею, то за свою попоранную честь, то за свое невыносимое угнетеніе, и очень можетъ быть, что именно на Востокѣ, гдѣ женщина и наименѣе умственно-развита, и наиболѣе угнетена, чаще, чѣмъ гдѣ-нибудь, практикуются убійства коварныхъ любовниковъ и жестокосердыхъ мужей. Понятно, что всѣ подобные факты очень драгоцѣнны для женскаго вопроса, какъ наглядное доказательство ненормальности положенія женщины и необходимости реформъ въ пользу женщинъ. Но видѣть въ нихъ самихъ воплощеніе идеи женской свободы было бы очень рискованно. Сообразно такому взгляду, можно было бы предположить, что женскій вопросъ долженъ возникнуть

именно на Востокѣ, гдѣ онъ наиболѣе воплощается такимъ образомъ. Но мы видимъ совершенно наоборотъ: женскій вопросъ возникаетъ въ Европѣ и Америкѣ—странахъ, гдѣ женщина угнетена въ неизмѣримо меньшей степени, чѣмъ на Востокѣ, и гдѣ случаи кровавыхъ расправъ со стороны женщинъ гораздо рѣже.

Я полагаю, что читатель вполне согласится со мною, что все только-что сказанное мною прямо вытекаетъ изъ вышеприведенныхъ словъ Дюма-фиса, и это заставляетъ насъ ждать, что дальнѣйшія страницы брошюры будутъ заключать въ себѣ лишь послѣдовательное развитіе этого основного взгляда.

Но авторъ брошюры на слѣдующихъ же страницахъ разрушаетъ всѣ эти наши ожиданія. Такъ, на первомъ планѣ онъ ставитъ три скандальные процесса, надѣлавшіе не мало шума въ нынѣшнемъ же году въ Парижѣ,—процессы: Маріи Бьеръ, Виргиніи Дюмеръ и Тилли. Марія Бьеръ—служанка и Виргинія Дюмеръ—актриса обвинялись въ убійствѣ своихъ любовниковъ, которые бросили ихъ, приживши съ ними дѣтей, а мадамъ Тилли, женщина порядочнаго общества, попала на скамью подсудимыхъ за то, что обидѣла кислотой лицо любовницы своего мужа. Эти три процесса надѣлали шума не столько вслѣдствіе характера преступленій, не представляющихъ ничего особенно выдающагося и необыкновеннаго, сколько потому что всѣ три обвиненныя были оправданы присяжными, несмотря на сознаніе виновныхъ въ своемъ преступленіи.

Вотъ въ этихъ-то трехъ процессахъ и видитъ Дюма прежде всего воплощеніе идеи женской свободы!!

«Не отвѣщаясь приводить здѣсь—говоритъ онъ—великихъ историческихъ примѣровъ, которые читатели могутъ представить себѣ и безъ насъ, мы обратимъ вниманіе на три личности, вчера еще неизвѣстныя, но сегодня прославленныя недавними процессами,—на m-lle Марію Бьеръ, m-lle Виргинію Дюмеръ и m-me Тилли. Что представляютъ изъ себя эти личности? Можно-ли смотрѣть на нихъ, какъ на существа изолированныя, выдѣлившіяся изъ средняго уровня жизни по своему темпераменту, нравамъ и преступленіямъ, выходящимъ изъ ряду вонъ? Ни чуть не бывало. Это—живыя, непосредственныя воплощенія идей, проповѣдуемыхъ мыслителями, моралистами, политиками, писателями, философами,—идей справедливыхъ, логическихъ, плодотворныхъ, которымъ, по мнѣнію этихъ мыслящихъ людей, пришло время осуществиться.

«Какъ относилось французское общество къ этимъ идеямъ, пока онѣ представлялись исключительно въ теоретическихъ и невещественныхъ формахъ? Оно смотрѣло на представителей ихъ, какъ на сумасшедшихъ и опасныхъ мечтателей и утопистовъ. Эти люди, однако же, указывали на очевидную опасность, предлагали неизбежныя реформы; они говорили законодателямъ:

«Вы должны создать законы, которые защищали бы невинность дѣвушекъ, достоинство женщинъ, жизнь дѣтей, права супруговъ и наказывали бы виновныхъ, вмѣсто того чтобы карать невинныхъ». Но законодатели не удостоивали ихъ даже и отвѣтомъ. Тогда среди наблюдений однихъ и полнаго индифферентизма другихъ, вдругъ возсталъ грубый фактъ—совершилось преступленіе, пала жертва, явился убійца,—и безъ всякаго видимаго повода передъ глазами всѣхъ проявилось извращеніе всѣхъ социальныхъ плановъ, всѣхъ законовъ юридическихъ и моральныхъ: жертва возбуждаетъ ненависть, убійца сочув-

ствіе, сорѣсть присяжныхъ смущается, члены суда становятся въ тупикъ, законъ колеблется, официальная справедливость обезоруживается передъ толпою, которая подавляетъ собою все, словно на народномъ собраніи или въ театрѣ.

«Вотъ это и есть воплощеніе идеи, которая внезапно становится лицомъ къ лицу со старыми преданіями, несостоятельными, но упорными, и стремится посредствомъ огня и крови занять мѣсто законовъ, когда-то бывшихъ прекрасными, но сдѣлавшихся несправедливыми и варварскими вслѣдствіе измѣненія нравовъ.

«Размышлялъ-ли убійца объ этихъ вопросахъ, какъ мы это теперь дѣлаемъ? Читалъ-ли онъ, прежде чѣмъ совершить преступленіе, все, что было написано объ этомъ предметѣ? Ни чуть не бывало. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ слѣпо повиновался своей страсти. Но его удовлетворенная страсть сама собою явилась передъ трибуналомъ заявленіемъ естественнаго, ненарушимаго человѣческаго права, которое общество должно было бы утвердить, но о которомъ оно не позаботилось.

«Можно-ли назвать справедливымъ оправданіе виновныхъ, произнесенное судомъ и подтвержденное общественнымъ мнѣніемъ? Ни чуть не бывало. Это оправданіе показываетъ только, что законъ не можетъ дѣйствовать противъ настоящихъ виновниковъ, которыхъ онъ съ давняго времени укрываетъ, и что, будучи не въ силахъ удовлетворить абсолютной справедливости, онъ, законъ, осужденъ исполнять требованія справедливости относительной, граничащей съ несправедливостью».

Итакъ, мы видимъ, что Дюма-фисъ сначала говоритъ, что идея воплощается исключительно въ людяхъ, которые ее проповѣдуютъ, и если не имѣетъ своихъ людей, то она или еще не родилась, или уже умерла; что если эти люди и подвергаются насмѣшкамъ или гоненіямъ, то это ничего не значитъ: на мѣсто однихъ павшихъ—явятся другіе, ученики, послѣдователи, и идея въ концѣ-концовъ должна восторжествовать. Но, потомъ, вдругъ оказывается, что и эти свои люди ничего не значатъ, такъ какъ законодатели не удостоиваютъ ихъ даже отвѣта, а что истинное воплощеніе заключается въ грубыхъ, вопіющихъ фактахъ въ родѣ вышеприведенныхъ. Но позволюте, спросить читатель:—что же вы видите въ этихъ фактахъ? Они повторялись съ испоконъ вѣковъ. Значитъ, и идея ваша всегда всегда воплощалась? Отчего же она до сихъ поръ не восторжествовала? Не оттого ли, что не было людей идеи, которые бы обращали вниманіе на эти факты и освѣщали ихъ? Не оттого ли и самые эти обиденные факты сдѣлались вдругъ такими вопіющими, не оттого ли и присяжные оправдали ихъ, и публика аплодировала имъ, и Дюма-фисъ закричалъ о нихъ,—что явились люди, формулировавшіе идею женской свободы и начавшіе ее проповѣдывать и распространять?

Но простимъ, пока, Дюма-фису эту маленькую неслѣдовательность. Должно-быть, она у него въ крови. Какъ на первыхъ страницахъ, развивая свою риторическую аналогію, онъ сравнивалъ идеи то съ вѣтромъ, несущимъ зародыши, то съ зародышами, несомыми вѣтромъ, такъ теперь онъ путаетъ относительно воплощенія идеи, то находя его въ людяхъ, носящихъ идеи, то въ грубыхъ и стихійныхъ явленіяхъ жизни. Но еще разъ повторяю, не будемъ вѣнчать въ большую вину автору подобнаго рода путаницу понятій; по крайней мѣрѣ, подождемъ, что



онъ дальше намъ скажетъ. Какъ бы мы ни были далеки отъ того, чтобы вмѣстѣ съ авторомъ считать главнымъ и существеннымъ воплощеніемъ женскаго вопроса—умертвление коварныхъ любовниковъ или обливаніе кислотою физиономій счастливыхъ соперницъ, но воздержимся пока слишкомъ нападать на него за это: очень можетъ быть, что это болѣе ничего, какъ увлеченіе публициста подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ тѣхъ процессовъ, на которыхъ онъ присутствовалъ. Процессы эти такъ поразили его, что онъ невольно придалъ значеніе фактамъ, парадировавшимъ на нихъ, гораздо большее значеніе, чѣмъ они того заслуживаютъ. Факты эти онъ и принялъ за исходную точку; но, конечно, онъ не остановится на нихъ, а пойдетъ далѣе и найдетъ въ жизни воплощенія идеи женской свободы гораздо болѣе почтенныя, разумныя и истинныя. Въ ожиданіи этого, посмотримъ, что авторъ непосредственно извлекаетъ изъ поразившихъ его процессовъ, къ какимъ мыслямъ они его приводятъ. Это намъ пригодится для дальнѣйшаго изложенія взглядовъ автора.

На 73-й страницѣ, для большей наглядности, онъ представляетъ слѣдующій разговоръ между юстиціею и преступницами:

*Юстиція* (обращаясь къ m-lle Біеръ). Зачѣмъ вы убили этого человѣка?

*Біеръ*. Потому что ребенокъ, котораго я имѣла отъ него, умеръ черезъ него, и такъ какъ отецъ его бросилъ меня, я хотѣла, чтобы этотъ человѣкъ умеръ.

*Юстиція*. Зачѣмъ, имѣя такія мысли, вы возобновили свои сношенія съ нимъ?

*Біеръ*. Потому что мнѣ хотѣлось имѣть другого ребенка.

*Юстиція*. Объясните намъ это.

*Біеръ*. Я не могу. Но каждая мать пойметъ меня.

«Послѣ словъ Маріи Антуанетты—восклицаетъ Дюма-фисъ—передъ революціоннымъ трибуналомъ, ни одна женщина, возмущенная жестокостію мужчины, не произносила слова болѣе глубокаго, трогательнаго, истиннаго!» Но перейдемъ къ m-lle Виргиніи Дюмеръ.

*Юстиція*. Вы убили вашего любовника?

*Дюмеръ*. Да.

*Юстиція*. Вы сожалѣете объ этомъ?

*Дюмеръ*. Нисколько. Если-бы во второй разъ повторилось то-же, я опять поступила-бы такъ-же.

*Юстиція*. Зачѣмъ-же вы убили?

*Дюмеръ*. Потому что я имѣла ребенка отъ него; хотѣла, чтобы онъ призналъ и не покидалъ его.

*Юстиція*. Но вы имѣли уже ребенка отъ другого человѣка?

*Дюмеръ*. Да, но тотъ умеръ.

*Юстиція*. Такимъ образомъ, вы принадлежали уже другому человѣку?

*Дюмеръ*. Да, но я имѣла живого ребенка отъ этого.

«Перейдемъ къ m-me Тилли.

*Юстиція*. Вы облили кислотою лицо m-lle Марешаль?

*Тилли*. Да.

*Юстиція*. Потому что она была любовницею вашего мужа?

*Тилли*. Нѣтъ. Если-бы была одна эта причина, я-бы простила.

*Юстиція*. За что-же тогда?

*Тилли*. За то, что у меня дѣти, а мой мужъ, отецъ ихъ, ожидалъ только смерти моей, чтобы дать моимъ дѣтямъ новую мать въ лицѣ этой женщины; онъ мнѣ самъ сказалъ объ этомъ; а я не хо-

тѣла, чтобы мои дѣти имѣли другую мать, кромѣ меня, даже хотя-бы и послѣ моей смерти.

«Итакъ,—говоритъ Дюма-фисъ,—дѣло идетъ о дѣтяхъ, или, лучше сказать, о ребенкѣ. Женщина—мать, въ лицѣ комедіантки, служанки, велико-свѣтской дамы, въ стыдѣ и въ славѣ, подъ секретомъ и открыто—произвела на свѣтъ этого ребенка среди мукъ и пытокъ, стонувъ и криковъ, и ребенокъ этотъ, законный или незаконный, живой или мертвый, изъ утробы матери, изъ колыбели или могилы, вопіетъ и беретъ подъ защиту свою мать, которую вы хотите осудить, противъ отца, ускользающаго отъ каръ закона,—и поправленный законъ отступаетъ. Не ясно-ли это?

«Что-бы вы ни дѣлали, что-бы вы ни говорили,—законы природы всегда останутся сильнѣе всѣхъ вашихъ кодексовъ и даже нравственныхъ правилъ; всегда они, въ концѣ-концовъ, будутъ одождать васъ, и вы до тѣхъ поръ не будете знать покоя, пока не согласуете ваши законы и мораль съ природою. Безспорно, вы поступаете вполне нравственно и ничего вамъ это не стоитъ, когда вы говорите: дѣти природы не имѣютъ правъ отыскивать своего отца, и мы признаемъ права лишь за законными дѣтьми. Мы удостоиваемъ уваженія и покровительства только замужнюю женщину. Женщина-же, начиная съ 15 лѣтъ и 3 мѣсяцевъ, уступившая мужчине, и если при этомъ не произошло никакого акта насилія, не имѣетъ права ничего требовать отъ насъ, если этотъ мужчина сдѣлаетъ ее матерью и броситъ. Произвольное-же убійство наказывается тюрьмою, галерами и смертю, если будетъ доказано, что оно преднамѣренно, и пр.

«Все это вполне нравственно, просто, ясно, прекрасно, если угодно, но это не имѣетъ никакого соотношенія съ инстинктами, нуждами и потребностями всеобщаго творчества природы. Все это безполезныя угрозы, не имѣющія ни малѣйшаго вліянія на процессы этого творчества. И вотъ, когда великая борьба мужчины и женщины вторгается въ запертыя двери суда, женщина, продолженіе вѣковъ преданная на жертву вашимъ социальнымъ комбинаціямъ, какъ дѣвушка, какъ супруга, какъ мать, возмущается и говоритъ вамъ въ лицо:

— Ну, что-жъ! Ну, да, я любила; я то, что вы называете, пала, т. е. уступила природѣ; я отдалась мужчине, и даже нѣсколько разъ. Да, я потомъ совершила преднамѣренное убійство, упражнялась даже для этого во владѣніи мужскимъ оружіемъ. Да, я поджидала этого человѣка и поразила его изъ засады постыднымъ образомъ, въ спину, среди улицы. Да, я попросила у него послѣдняго поцѣлуя, и когда онъ сжалъ меня въ своихъ объятіяхъ и не могъ вывернуться отъ меня, я ему прострѣлила черепъ. Да, я наложивъ клеймо невѣрности своего мужа на лицо его сообщницы, молодой дѣвушки, противъ которой лично и ничего не имѣла и которая не считала меня, уважаемую женщину порядочнаго общества, способною на подобное безобразіе. Все это правда; но я мать, священная особа, если я никогда не падала, и женщина, достойная прощенія, если я люблю ребенка, рожденнаго отъ моего грѣха. То, что я сдѣлала,—я сдѣлала во имя своего невиннаго ребенка, которому вы обязаны покровительствовать, но вы не покровительствуете. Вы позволили мужчине обольстить меня, сдѣлать матерью, бросить меня потомъ обезаченною, безъ средствъ и съ ребенкомъ на рукахъ. Вы позволили ему также, когда онъ женится на мнѣ, замѣнять мнѣ, имѣть любовницъ, противъ которыхъ вы не можете и не хотите меня ни защитить, ни позволить мнѣ взять состояніе, свое и дѣтей моихъ, и передать его другому; вы обрекли меня вѣчно принадлежать одному мужчине, какъ-бы онъ ни былъ прорзвненъ,—что-жъ мнѣ остается дѣлать, какъ не убивать? Вы допустили, чтобы мой ребенокъ, законный или незаконный,—могъ не имѣть отца. За-



ключите-же его въ тюрьму или убейте его мать; вамъ только это и остается. Ну, что-жь, къ дѣлу!

«Что вы можете отвѣтить на это?—Что, во всякомъ случаѣ, никто не въ правѣ творить произвольный судъ? Что предумышленное убійство по такой-то и такой-то статьѣ кодекса должно быть наказуемо такъ-то? Но развѣ мы говоримъ, что преступницы имѣли право? Нисколько. Онѣ показали лишь вамъ, что мужчина неправъ, что законъ неправъ, и тогда толпа,—т. е. инстинктъ природы, обратилась въ третейскаго судью и принудила васъ постановить вердиктъ вашъ во имя невиннаго, т. е. ребенка, и это естественное чувство дошло до такой степени, что когда государственный прокуроръ, защитникъ вашихъ законовъ, покровитель нравственности, органъ правосудія, потребовалъ дальнѣйшаго слѣдствія, чтобы лучше узнать истину,—публика закричала, какъ въ театральномъ залѣ, общественное мнѣніе заволновалось, печать пришла въ негодованіе. Вслѣдствіе того, что не отпустили тотчасъ-же на свободу женщину-убійцу, которая не только не раскалась въ своемъ преступленіи, но объявила, что она готова снова повторить его,—обвинитель въ глазахъ всѣхъ сдѣлался какъ-бы судимымъ.

«И всѣ эти безпорядки, всѣ эти преступленія, всѣ эти скандалы и беззаконія происходятъ не изъ чего иного, какъ изъ того, что вы не имѣете храбрости создать законы, которые обезпечивали-бы честь дѣвушекъ такими-же гарантіями, какими обезпечено у васъ самое грубое торговое дѣло, отнеслись-бы съ равной справедливостью ко всѣмъ дѣтямъ безъ различія и допускали-бы члену семейнаго союза—въ случаѣ если онъ обезпеченъ, покинуть или раззорить другимъ членомъ—возстановить свою честь, свободу и благосостояніе, не прибѣгая для этого къ прелюбодѣянью, аскетизму, самоубійству или убійству. Такъ какъ подобныя предупреждающихъ узаконеній у васъ нѣтъ, то у васъ мужья душатъ женъ, дѣвушки убиваютъ любовниковъ, жены обезображиваютъ соперницъ, толпа апплодируетъ всему этому,—и такимъ образомъ торжествуетъ идея».

Допустимъ, что хотя все это нѣсколько старо, но отчасти и справедливо. Дѣйствительно, законы не гарантируютъ ни чести дѣвушекъ, ни правъ женъ,—и отъ этого происходятъ прискорбныя преступленія. Но какъ въ этихъ прискорбныхъ преступленіяхъ можетъ торжествовать идея,—объ этомъ нужно спросить у автора, да и при чемъ тутъ вообще идея, т. е. женскій вопросъ въ настоящемъ смыслѣ? Неужели этотъ вопросъ весь можетъ быть исчерпанъ законами о разводѣ и правахъ незаконныхъ дѣтей?

Въ томъ-то и дѣло, что не только эти законы не исчерпываютъ женскаго вопроса, но составляютъ лишь преддверіе къ нему. Не отъ нихъ зависитъ рѣшеніе женскаго вопроса, а, напротивъ того, они сами зависятъ отъ рѣшенія послѣдняго. Женскій вопросъ, если взять его ядро и очистить отъ скорлупы всѣхъ тѣхъ нравственныхъ, юридическихъ и сословныхъ аксессуаровъ, съ какими онъ обыкновенно соединяется,—есть вопросъ чисто экономической: о матеріальномъ обезпеченіи женщины путемъ самостоятельнаго труда. Разъ съ этимъ вопросомъ когда-либо будетъ покончено, всѣ остальные, второстепенные, рѣшатся сами собою, безъ большого труда, потому что всѣ они всецѣло зависятъ отъ этого основного вопроса. А безъ разрѣшенія его, какіе законы, гарантирующіе права женщины, вы-бы ни постановляли, всѣ они будутъ тщетны, всѣ они тотчасъ-же разо-

бьются о скалу экономической необезпеченности женщины. Въ самомъ дѣлѣ: къ чему можетъ послужить право развода для женщины, не приученной ни къ какому труду, да и, въ случаѣ способности трудиться, не обезпеченной своимъ трудомъ? Если она, къ тому-же, не имѣетъ состоянія, то разводъ ставитъ ее въ безысходную нищету, обрекаетъ чуть что не на голодную смерть,—положеніе, изъ котораго представляются лишь два выхода: или покориться и терпѣть тиранію перваго мужа, или подвергнуться риску новой тираніи. А если женщина имѣетъ состояніе, то и въ такомъ случаѣ законъ можетъ гарантировать это состояніе лишь отъ насильственнаго захвата со стороны мужа. Мы въ этомъ отношеніи счастливы Франціи, и у насъ, какъ извѣстно, нищество женщины, въ какомъ-бы семейномъ положеніи она ни находилась,—неприкосновенно. Но что-же въ томъ? Это ничего не значитъ: разъ мы имѣемъ дѣло съ воздушнымъ, мнимымъ созданіемъ, способнымъ лишь порхать по паркету, но исполнѣ чуждымъ всякаго знанія практической жизни,—подобное воздушное созданіе ничего не стоитъ провести, отобрать нищество его самымъ легальнымъ путемъ купчихъ крѣпостей, дутыхъ векселей или дарственныхъ записей, и затѣмъ пустить барыню въ трубу и еще, пожалуй, съ ребенкомъ на рукахъ. И что-же въ такомъ случаѣ останется барынь, какъ не снова приняться за револьверъ или сѣрную кислоту, потому что законъ и на этотъ разъ останется безсиленъ со всѣми своими гарантіями? Барыню могутъ и тогда оправдать присяжные при апплодисментахъ публики и чувственныхъ статьяхъ прессы. Но развѣ ей станетъ отъ этого легче и улучшится участь ея хоть сколько-нибудь?

Что-же касается до гарантій бросаемыхъ отцами дѣтей, то здѣсь законъ еще болѣе безсиленъ, если вдуматься въ этотъ предметъ построже. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, какими путемъ можетъ законъ обезпечить покинутыхъ дѣтей? Принудить отца къ платѣ, въ видѣ оптовой или ежегодной денежной суммы, въ разнѣ, необходимомъ для содержанія и воспитанія ребенка? Но какъ вы обезпечите ребенка на рукахъ необезпеченной матери? Въ результатѣ должно получиться взаимное голоданіе и матери, и дитяти, при которомъ нечего и мечтать о какомъ-бы то ни было воспитаніи. Или законъ потребуетъ, чтобы виновный отецъ обезпечилъ не только ребенка, но и воспитательницу? Но въ такомъ случаѣ законъ станетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою: съ одной стороны въ его кодексѣ будетъ красоваться право свободного развода, естественно уничтожающее обязанность мужчины содержать женщину, разъ она перестала быть его законною женою, а съ другой стороны — неразрывныя денежные узы, въ родѣ супружескихъ, связующія людей, совершенно чуждыхъ другъ другу. Для избѣжанія подобнаго противорѣчія придется и для случаевъ разводовъ законныхъ браковъ учредить тотъ-же законъ, обязывающій мужа содержать разведенную жену; въ противномъ-же случаѣ любители клубнички могутъ создать особеннаго рода легальный адюльтеръ, т. е. обольщать дѣвушекъ, проводя ихъ сквозъ женитбу и поканчивая съ ними разводомъ, избавляю-

щимъ довела совѣтъ отъ тѣхъ обязательствъ, съ которыми соединялся-бы незаконный адюльтеръ. Наконецъ, законъ можетъ потребовать, чтобы отецъ бралъ на свое попеченіе прижитаго ребенка и самъ заботился о содержаніи и воспитаніи его. Но это было-бы всего нелѣпѣе. Потому что, нечего сказать, хорошо будетъ воспитаніе ребенка, силою закона навязаннаго родителю, не только равнодушному къ своему дѣтищу, но, зачастую, въ подобныхъ случаяхъ, ненавидящему его; и каковы должны быть чувства матери при сознаніи, что ребенокъ ея отданъ на попеченіе чужака, въ которомъ она разочаровалась, къ которому потеряла всякое уваженіе, а порою—дошла до ненависти къ нему. У меня на глазахъ совершается въ настоящее время драма подобнаго рода. Одинъ презрѣнный негодяй много лѣтъ тому назадъ женился и, приживъ съ женой нѣсколько человѣкъ дѣтей, бросилъ ее на произволъ судьбы со всѣми ея дѣтьми. Потомъ онъ сошелся съ одной очень юной и совершенно неопытной дѣвушкой, и съ нею, въ свою очередь, прижилъ двоихъ дѣтей. Но и съ нею онъ въ настоящее время расходится. Однако-же, несмотря на то, что въ настоящемъ случаѣ ему гораздо легче отказаться отъ незаконныхъ дѣтей, чѣмъ, когда онъ расходился съ законною женою, онъ не рѣшается этого сдѣлать вслѣдствіе особенныхъ обстоятельствъ. Онъ изъявляетъ полную готовность взять дѣтей подъ свое покровительство, но съ однимъ только условіемъ: чтобы мать оставила дѣтей на полное его попеченіе и, съ своей стороны, чтобы онъ съ ними ни дѣлалъ, не позволяла себѣ ни малѣйшаго вмѣшательства въ воспитаніе ихъ. И вотъ несчастная мать борется въ настоящее время сама съ собою, не зная, что ей дѣлать: отказаться отъ предложенія негодяя и оставить дѣтей у себя? Но въ такомъ случаѣ она рискуетъ умереть съ ними съ голоду; согласиться—значитъ оставить дѣтей на жертву изверга, въ звѣрскомъ характерѣ котораго и полной деморализаціи она успѣла убѣдиться, проживши съ нимъ нѣсколько лѣтъ. Будь она обезпечена трудомъ настолько, насколько бываетъ обезпеченъ итъ мужчина,—тогда, конечно, и думать ей было-бы не о чемъ. Въ томъ и дѣло, что лишь при трудовой обезпеченности всѣ эти законы, о которыхъ мечтаетъ Дюма-фисъ, и могутъ имѣть свою силу: только обезпеченная трудомъ женщина можетъ безъ всякаго риска пользоваться разводомъ, только для нея существуютъ гарантіи дѣтей, прижитыхъ ею незаконно. Въ-же этого вопроса о кускѣ хлѣба, какія-бы пламенные рѣчи ни расточали Дюма-фисы о поправкахъ правахъ женщины, всѣ эти рѣчи будутъ не чѣмъ инымъ, какъ мѣдью звенящею и кимвалами браважничьями.

Но опять-таки, повторяю, можетъ быть, все то, что мы до сихъ поръ встрѣтили въ книгѣ Дюма-фиса, было однимъ лишь вступленіемъ къ рѣчи о женскомъ вопросѣ въ его сути. Правда, женскій вопросъ имѣетъ много входовъ и выходовъ, и очень жалко, что Дюма-фисъ ведетъ не прямою и парадною лѣстницею, а съ чернаго хода, разными грязнышками закоулочками; но не все-ли равно, откуда-бы ни войти, лишь-бы войти. Итакъ, пойдете далѣе за Дюма-фисомъ, и посмотрите, куда онъ насъ приведетъ.

СОЧИНЕНІЯ А. СКАВЧЕВСКАГО—II.

А далѣе затѣмъ онъ, повидимому, имѣетъ намѣреніе ввести насъ прямо въ свѣтлыя и парадныя комнаты. Отъ женщинъ, которыя убиваютъ, онъ рѣзко переходитъ къ женщинамъ, которыя вотируютъ. „Это воплощеніе новой идеи—говоритъ онъ—не исчерпывается женщинами, которыя убиваютъ; въ туманныхъ сумеркахъ восходящаго солнца мы видимъ и другое воплощеніе, родственное первому“.

И вотъ, онъ приводитъ изъ какого-то журнала воззваніе къ женщинамъ Франціи. Мы не станемъ вслѣдъ за Дюма приводить цѣликомъ это воззваніе, со всѣми его восклицаніями, а ограничимся только его сущью. Вотъ чего требуютъ поборники женскаго вопроса, обращаясь ко всѣмъ французскимъ женщинамъ:

„Для осуществленія свободы, возможности учиться и жить независимымъ трудомъ намъ необходимо: 1) допущеніе женщинъ ко всѣмъ карьерамъ, къ какимъ только онѣ по природѣ способны; 2) ассоціація, а не подчиненіе въ нѣдрахъ брака; 3) допущеніе женщинъ къ судейскимъ должностямъ и въ составъ присяжныхъ и 4) право быть избирательницами и избираемыми, какъ въ общинѣ, такъ и въ государствѣ“.

Вотъ и всѣ требованія воззванія. Вы видите ясно изъ этихъ требованій, что дѣло идетъ здѣсь о самой сути женскаго вопроса. Женщины требуютъ допущенія къ разнымъ отраслямъ труда или политическихъ правъ, не ради одного тщеславнаго доказательства, что онѣ не менѣе мужчинъ способны быть судьями, чиновниками, медиками и т. п., а ради возможности жить независимымъ трудомъ, для чего естественно является первоею необходимою не только возвышеніе платы женскаго труда, но и расширеніе самой области женскихъ профессій. Нужно-ли и говорить о томъ, что лишь въ женщинахъ, заявляющихъ подобнаго рода требованія, слѣдуетъ видѣть то истинное и существенное воплощеніе идеи, о которомъ говоритъ Дюма въ началѣ своей книги? Онъ-то и есть тѣ апостолы, пророки, ученики, послѣдователи, безъ появленія которыхъ идея или еще не родилась, или уже умерла. И посмотрите, какъ относится Дюма къ этимъ истиннымъ воплощеніямъ идеи.

Прежде всего онъ пророчитъ этимъ женщинамъ полный неуспѣхъ вслѣдствіе того, что никто изъ французскихъ женщинъ не прочтетъ ихъ воззванія. Для доказательства этого онъ раздѣляетъ женщинъ всего земного шара на нѣсколько категорій. Въ первомъ ряду идутъ женщины вполне счастливыя и довольныя своимъ положеніемъ. Онѣ не только не требуютъ какихъ-либо реформъ, но боятся ихъ и считаютъ несчастиемъ каждую женщину, заявляющую о какой-либо реформѣ. Затѣмъ слѣдуютъ хитрыя и ловкія женщины, которыя тщеславятся тѣмъ, что онѣ не только не подчинены мужчинамъ, но, напротивъ, властвуютъ надъ ними и царятъ, ловко пользуясь всѣми условіями своего мнимаго рабства. На такихъ женщинъ, конечно, нечего и разсчитывать.

Затѣмъ идутъ женщины народа и деревень, спускающія въ потъ лица хлѣбъ свой насущный, живущія по преданію матерей и свято передающія эти преданія дочерямъ. Сгибающіяся подъ тяжестью труда, вѣчно потупляющія взоръ свой въ землю, угнетенныя нуждою, поработанные привычкою, эти со-

зданіи въ образѣ женщины не въ состояніи и мыслить объ измѣненіи своей участи. Онѣ не имѣютъ ни времени, ни способности обсудить и сообразить. Да къ тому, онѣ и неграмотны; онѣ не только не въ состояніи прочесть подобное воззваніе къ нимъ, но не узнаютъ о существованіи его.

Далѣе слѣдуютъ благочестивыя женщины. Религія учитъ ихъ нести крестъ свой и страдать. Онѣ не только не жалуются на свою участь, но видятъ въ ней залогъ награды въ будущей жизни. Онѣ смотрятъ, какъ на великій грѣхъ, на чтеніе какихъ-либо свѣтскихъ книгъ, журналовъ или газетъ. Если-бы онѣ случайно узнали, что существуютъ женщины, заявляющія о какихъ-либо правахъ, онѣ пришли-бы въ ужасъ и увидѣли-бы въ этомъ наводненіе злого духа.

Затѣмъ выступаютъ женщины не счастливыя, не ловкія, не угнетенныя нищетою, не благочестивыя, у которыхъ достаточно развитъ умъ, чтобы сойтись съ какимъ угодно мужчиной или устроить себѣ самостоятельно какую угодно карьеру; онѣ не имѣютъ недостатка ни въ волѣ, ни въ терпѣніи, ни въ энергіи, ни въ честности. Онѣ обладаютъ идеальностью, нѣжностью и самоотверженіемъ въ достаточной мѣрѣ, чтобы быть хорошими женами и матерями, въ достаточной мѣрѣ чувствомъ достоинства и самоуваженія, чтобы не грѣшиться; но именно вслѣдствіе того, что онѣ женщины, и притомъ женщины и не столь красивыя, и не столь снѣжныя, и не столь богатыя, какъ другія, — онѣ лишены не только чувствъ и радостей, но и того матеріальнаго благосостоянія, на которое онѣ имѣютъ право. Казалось-бы, что на нихъ-то болѣе всего могло-бы разсчитывать воззваніе. Но нечего надѣяться и на подобныхъ женщинъ. Ихъ умъ, образованіе, невзгоды и испытанія, какія онѣ постоянно терпятъ, все имъ говоритъ о томъ, что положеніе ихъ требуетъ коренной реформы. Но ихъ скромность, привычка видѣть безплодными всѣ ихъ усилія, страхъ шума и скандала позволяютъ имъ лишь про себя, тайно сочувствовать женскому вопросу. Онѣ страдаютъ, сомнѣваются, молчатъ, а потомъ, при наступленіи извѣстнаго возраста, ни на что болѣе не надѣются.

Наконецъ, есть женщины умныя, просвѣщенныя, избавленныя отъ необходимости быть хитрыми, благодаря своей обеспеченности. Эти женщины смотрятъ на себя не какъ лишь на игрушку для удовольствія мужчинъ: онѣ интересуются всѣми великими общечеловѣческими вопросами и живутъ въ сообществѣ съ передовыми умами, не впадая, однако, въ тотъ педантизмъ, который бичуетъ Мольеръ. Эти женщины не сомнѣваются, что онѣ равны во всемъ мужчинамъ и вслѣдствіи получаютъ одинаковыя съ ними права. Но онѣ въ то же время убѣждены, что этого шага невозможно добиться однимъ скачкомъ съ ихъ стороны, что начинъ долженъ быть положенъ самими мужчинами, всякая же съ ихъ стороны рискованная поспѣшность можетъ лишь повредить дѣлу. Къ тому же, этихъ женщинъ очень немного и разсчитывать на нихъ нѣтъ никакого основанія. Вопросъ — для нихъ слишкомъ серьезенъ, сложенъ и деликатенъ, чтобы предать его на публичное обсужденіе, гдѣ онъ можетъ попасть въ руки всякихъ нетерпѣливыхъ и экзальтированныхъ утопистовъ; подобныя союзницы, если

онъ станетъ ихъ вербовать, скомпрометируютъ его въ концѣхъ.

Я ужъ не говорю о вопіющемъ противорѣчіи, тащемся во всей этой тирадѣ, которая начинается со счастливыхъ женщинъ, не нуждающихся въ реформахъ, а кончается тѣми же счастливыми женщинами, въ которыхъ, какъ оказывается вдругъ, сосредоточивается все сочувствіе къ женскому вопросу. Спрашивается: для чего говорить все это авторъ? Не самъ ли онъ утверждалъ въ началѣ книги, что такова судьба каждой новой идеи при первыхъ ея воплощеніяхъ, что инертная толпа съ ужасомъ и отвращеніемъ встрѣчаетъ ее, гонитъ, преслѣдуетъ, но на это не слѣдуетъ обращать вниманія, потому что каждый разъ, въ концѣ концовъ, идея торжествуетъ? Что жъ въ томъ, что сегодня приверженцамъ женскаго вопроса способна внимать лишь горсть женщинъ, и притомъ такихъ, которыя менѣе всего нуждаются въ реформахъ? Вѣдь это повторяется съ каждой новой идеей! Когда впервые возникла идея освобожденія негровъ, друзьямъ этой идеи внимала, въ свою очередь, небольшая кучка людей, не имѣвшихъ ни малѣйшаго личнаго интереса въ этой реформѣ. И что, если бы къ этимъ друзьямъ обратиться съ подобною же рѣчью: „Безумцы, къ кому вы вызываете, кого вы хотите увлечь за собою, кто будетъ васъ слушать? Тѣ негры, у которыхъ господа добрые, и которые, поэтому, сыты и обеспечены, не нуждаются ни въ какихъ реформахъ. Негры, обладающіе умомъ, хитростью и ловкостью, сдѣлавшіеся прикащиками и старостами, управляющіе самими господами, еще менѣе нуждаются въ освобожденіи отъ рабства, изъ котораго извлекаютъ всѣ выгоды. Негры, наиболѣе угнетенные, согбенные подъ бременемъ труда и побоевъ, не имѣютъ ни времени, ни способности и помыслить объ измѣненіи своей участи; они не прочтутъ вашихъ воззваній, не узнаютъ о ихъ существованіи. Благочестивые негры смотрятъ на свои страданія, какъ на залогъ будущихъ наградъ. Негры средняго положенія, въ видѣ массы честныхъ и добродушныхъ тружениковъ, можетъ быть, втайнѣ и желали бы перемены своей участи, но они слишкомъ скромны, слишкомъ боятся шума и скандала и такъ разочарованы въ успѣхъ, что нечего и ждать, чтобы они къ вамъ пристали. Наконецъ, если и есть горсть негровъ, которымъ счастливая случайность позволила развить свой умъ и встать на соуправленіе общечеловѣческихъ интересовъ, то для нихъ вопросъ объ ихъ освобожденіи слишкомъ деликатенъ, чтобы предавать его публичному обсужденію; они убѣждены, что рискованнымъ скачкомъ можно только повредить дѣлу; по ихъ мнѣнію, инициатива рѣшенія вопроса должна быть предоставлена плантаторамъ, иначе дѣло можетъ попасть въ руки утопистовъ, и тѣ его только скомпрометируютъ“.

Не правда-ли, что при ретроспективномъ взглядѣ на ходъ эмансипаціи негровъ, какъ на идею давно уже осуществившуюся, наглядно представляется вся нелѣпость подобныхъ рѣчей къ первымъ пионерамъ освобожденія невольниковъ? Но развѣ не то же самое говорить и Дюма пионерамъ женскаго вопроса? Погодите, онъ не то еще говоритъ имъ: „Откуда идутъ, — спрашиваетъ онъ, — нетерпѣливость, преувеличенія и

внѣшняя экзальтація всѣхъ этихъ опасныхъ партизанокъ? Мы не сомнѣваемся, что изъ искреннихъ убѣжденій; но страданія, разочарованія, личные промахи играютъ въ нихъ роль въ гораздо большей степени, чѣмъ безпристрастныя наблюденія. Кто страдаетъ, тотъ и кричитъ,—скажутъ намъ эти женщины. Нѣтъ сомнѣнія въ этомъ, но сами по себѣ страданія, равно какъ и наслажденія, не составляютъ неоспоримаго аргумента. Они могутъ быть логическимъ слѣдствіемъ, фатальною карою разнузданности воображенія, безразсуднаго своеволия, несбывшихся иллюзій, чрезмерной гордости, недостатка энергіи и воли\*.

Сѣдовласый буржуа, читая эти строки, радостно потираетъ руками, а либеральный защитникъ женскаго пола продолжаетъ съ тѣмъ же апломбомъ. По его мнѣнію, существуетъ на свѣтѣ только два рода несчастій, въ которыхъ человекъ не воленъ,—нищета и болѣзнь. Всѣ же прочія несчастія зависятъ вполнѣ отъ насъ самихъ; всѣ они происходятъ изъ того, что человекъ гонится за личнымъ счастьемъ, рискуетъ, играетъ ради осуществленія своихъ фантазій, и когда эти фантазіи не осуществляются, признаетъ себя несчастнымъ. Поэтому, чтобы избѣгать подобныхъ несчастій, человеку остается не пытаться никакими иллюзіями и не рисковать, гоняясь за осуществленіемъ ихъ. Вы, напримѣръ, мечтаете о супружескомъ счастьи,—не рискуйте, т. е. не женитесь, и вы избѣгнете скуки, опасностей и невзгодъ, соединенныхъ съ бракомъ; вы ищете счастья въ дѣтяхъ,—не имѣйте дѣтей, и вы избавитесь отъ риска потерять ихъ и претерпѣть отъ нихъ неблагодарность; довольствуйтесь малымъ и не стремитесь быть милліонеромъ, и вы не рискуете потерять все разомъ; не имѣйте любовницы, и никто вамъ не измѣнитъ, и т. д. И вотъ съ этою сумбурною теоріею счастья онъ обращается къ женщинамъ.

«Когда женщина—говоритъ онъ,—требуетъ освобожденія отъ рабства мужчинъ и въ то же время вѣрить, что она можетъ быть независима отъ него, она глубоко заблуждается. Во-первыхъ, женщина дѣлается рабою мужчины только тогда, когда хочетъ этого, т. е. когда выходитъ замужъ, а вѣдь никто не заставляетъ ее выходить замужъ. Съ другой стороны, она не можетъ быть независима отъ него, потому что мужчина исполняетъ разныя матеріальныя работы, которыя она не можетъ исполнять, но безъ которыхъ ея независимая жизнь немислима: такъ, мужчина въ качествѣ солдата защищаетъ ея очагъ, не только семейный, но и дѣятельный. Чтоже касается ея рабства, то еще разъ повторяемъ, оно вполнѣ добровольное. По закону женщина не только свободна въ равной степени съ мужчиной, но болѣе его. Такъ, женщина 21 года можетъ вступать въ бракъ безъ согласія родныхъ, а мужчина—только съ 25-лѣтняго возраста. Мужчина несетъ воинскую повинность, женщина свободна отъ нея. Эта повинность чего-нибудь да стоитъ, и если вы требуете судейскихъ правъ, то несите за нихъ и обязанности. Мужчина подобныя права оплачиваетъ воинскою повинностью; пусть въ такомъ случаѣ и женщина дѣлаетъ то же.

«Женщина, поэтому, не имѣетъ никакого основанія требовать себѣ правъ равныхъ съ мужчиною: она ихъ имѣетъ. Совершеннолѣтняя женщина нисколько не менѣе свободна, чѣмъ и совершеннолѣтній мужчина: она точно также можетъ оставить семью, гдѣ угодно жить, куда угодно ѣздить, покупать, продавать, торговать и устраивать какую угодно

карьеру сообразно своимъ способностямъ, образованію и полу. Домашнюю обстановку она можетъ устроить, какую ей вздумается, и имѣть столько дѣтей, сколько ихъ ей пошлетъ природа. Вы возразите, что женщина, живущая по своей фантазіи и свободно рожаящая дѣтей, сколько ей угодно,—считается безчестною и презираемою. Кѣмъ? Законами? Нисколько.—Нравами. Но обязанность каждой женщины—выйти замужъ, имѣть законнаго супруга и законныхъ дѣтей! Гдѣ вы это видите? Въ нравахъ—такъ, но въ законахъ ничего объ этомъ не сказано; законы регулируютъ бракъ, но не предписываютъ и даже не совѣтуютъ.

«Но—возразятъ женщины—любовь нашъ идеалъ; материнство—наше призваніе; не только идеалъ и призваніе, но право и обязанность. И мы требуемъ осуществленія этого права.

— Бракъ и установленъ съ этою цѣлью, отвѣтитъ на это общество.

— Но мужчины ищутъ приданыхъ и избѣгаютъ жениться на бѣдныхъ, а бѣдныхъ большинство. Можете вы принудить ихъ жениться на васъ?

— Нѣтъ.

— Прекрасно. Мужчина ищетъ свободы; онъ уклоняется не отъ любви, а отъ брака. Допустите въ такомъ случаѣ свободный союзъ. Мы только требуемъ права заключать его по контракту, во избѣжаніе измѣнъ со стороны свободнаго мужчины.

— Вы имѣете право, никто этого не запрещаетъ; одна только мораль.

— А кто основалъ эту мораль?

— Религіозные и политическіе законодатели.

— Значитъ, мужчины?

— Да.

— А звали они женщинъ на совѣщанія, прежде чѣмъ утвердить эту мораль?

— Нѣтъ.

— Однако же женщины составляютъ половину человѣческаго рода и онѣ сильно заинтересованы въ этомъ вопросѣ.

— Мужчины постановили всѣ эти рѣшенія сами».

Мы не будемъ выписывать всѣхъ этихъ репликъ, которыя тянутся нѣсколько страницъ и, отклоняясь отъ сути женскаго вопроса, трактуютъ все о той же канители, т. е. о необходимости брачныхъ разводовъ, свободныхъ любовныхъ союзовъ и гарантіи незаконныхъ дѣтей. „Въ этомъ одномъ,—говоритъ авторъ въ заключеніе этихъ репликъ,—а отнюдь не въ занятіи общественныхъ должностей лежитъ истинная и вѣчная задача женскаго вопроса. На этой лишь почвѣ женщина имѣетъ на своей сторонѣ и природу, и справедливость, и всѣхъ тѣхъ, у кого есть сердце и совѣсть. Вотъ почему, когда, доведенная до крайности безстыдствомъ мужчины и варварствомъ закона, она дошла до остервенѣнія, начала убивать и калѣчить, правосудіе оказалось принужденнымъ молчать, а общественное мнѣніе возопило“.

Вотъ онъ передъ вами, бульварный публицистъ, во всей своей красотѣ. Другого рода дѣло, когда передъ нимъ разыгрываются скандальныя процессики; въ глазахъ его мерещатся любовныя пантомимы всякаго рода—и тутъ онъ на своей почвѣ, тутъ онъ собаку съѣлъ; а какъ только дѣло касается до истиннаго и серьезнаго рѣшенія женскаго вопроса на той экономической почвѣ, на которой онъ только и можетъ быть рѣшенъ, какъ только передъ нимъ встанутъ истинныя защитницы женщинъ и говорятъ не о быствіи отъ надѣвшаго мужа, а о товариществѣ въ бракѣ, не о прелестяхъ свободной любви, а о трудѣ, не о вымогательствѣ гарантирующихъ подачекъ отъ

безсердечныхъ и безстыжныхъ бульварныхъ ловеласовъ, а о возможности посредствомъ обеспеченнаго благосостоянія, путемъ занятія мужскихъ профессій самостоятельно воспитывать своихъ дѣтей,—онъ сейчасъ же впадаетъ въ ужасъ, начинаетъ вопить о нетерпѣливости, о чрезвѣрной требовательности, о разнузданности воображенія, о несбыточныхъ иллюзіяхъ, личныхъ промахахъ и т. п. Это онъ-то, Александръ-то Дюма, укоряетъ вдругъ скромныхъ партизанокъ женскаго вопроса въ разнузданности воображенія, можете себѣ представить: онъ, который весь женскій вопросъ сводитъ на вопросъ о клубничкѣ, о свободѣ удовлетворенія половыхъ потребностей подъ гарантіею закона.

Послѣ этого Дюма-фису оставалось сдѣлать лишь одинъ блистательный шагъ: опикавши истинныхъ партизанокъ, ищущихъ рѣшенія женскаго вопроса на разумной почвѣ, въ то же время возвелчить своихъ бульварныхъ подругъ — парижскихъ проститутокъ, какъ наиболѣе благотворное олицетвореніе идеи женской свободы. И Дюма-фисъ этотъ шагъ дѣлаетъ.

Не всѣ-же женщины, по словамъ Дюма, покинутыя любовниками или оскорбленныя мужьями, способны стрѣлять или брызгать кислотой. И вотъ является проституція, какъ великій социальный фактъ:

«То, чего нѣкогда стыдились и страшились, дѣлается карьерою, средою, историческимъ фактомъ, съ которымъ цивилизація должна будетъ считаться и который поведетъ къ непредвидимымъ измѣненіямъ въ нравахъ и законахъ. Эта карьера, представленная во всякое время бѣднымъ дѣвушкамъ, одареннымъ молодостью, красотою и умомъ, эта среда чувственности и наслажденій, постоянно открытая юношамъ и старикамъ, одареннымъ желаніями и деньгами, этотъ странный міръ, въ которомъ нѣтъ ни правъ, ни обязанностей, по мѣрѣ того, какъ будетъ развиваться, будетъ получать все большее и большее значеніе, подобно другимъ мірамъ современнаго социальнаго строя,—аристократіи, буржуазіи, демократіи.

«Подобно тому, какъ острова, выдвигаемыя изъ морей геологическими переворотами, покрываются сначала лѣсами, а потомъ городами, такъ и этотъ міръ будетъ имѣть въ скоромъ времени свою автономію, свои учрежденія, свои общіе интересы, свою солидарность, свой идеалъ и даже свою нравственность. Это достоверно. Придетъ время, когда эта новая общественная сила будетъ заключать договоры съ правительствами. И теперь уже знатные люди, миллионеры, принцы порою женятся на гражданкахъ этого царства, а дочки этихъ гражданокъ, ни мало не краснѣя за ремесло матери и не имѣя нужды продолжать его, вступаютъ въ брачные союзы, на первыхъ порахъ яко-бы законные, и своими приданными содѣйствуютъ промышленности, торговлѣ, а иногда и позлащаютъ и восстанавливаютъ древніе гербы. Но этого мало. Женщины эти не имѣютъ угрызений совѣсти, онѣ не сожалеютъ о своей участи: ихъ слишкомъ много, онѣ слишкомъ организованы, богаты и славны, чтобы заниматься этимъ. И къ тому-же свѣтъ, который ихъ изгналъ и который часто завидуетъ имъ, вовсе не недоступенъ для нихъ. Онѣ не только держатъ въ своихъ рукахъ мужчинъ, но вербуютъ въ свои полки и женщинъ этого свѣта. А подѣ старость онѣ становятся филантропками, расточаютъ милостыню, дѣлаются благотѣльницами околота; администрація при этомъ почтительно обслуживаетъ ихъ, церковь ихъ прославляетъ»...

Такимъ образомъ вовсе не съ какими-то тамъ безумными партизанками женскаго вопроса, а вотъ съ

какимъ великимъ социальнымъ фактомъ придется считаться цивилизація—съ проститутками!.. Такъ!..

Правда, Дюма-фисъ далѣе въ своемъ трактатѣ допускаетъ и другой, болѣе благородный выходъ для женщинъ, ищущихъ свободы внѣ брачныхъ узъ, — именно: на поприщѣ науки. Казалось-бы, что здѣсь менѣе всего было-бы мѣста для какихъ-либо эротическихъ предположеній. Но представьте себѣ, что нашъ бульварный сластолюбецъ даже и на этой сухой и строгой почвѣ не могъ обойтись безъ сладострастныхъ представленій, да и какихъ еще представленій! Такихъ, что тутъ, можно сказать, онъ и самого себя заткнулъ за поясъ. Оказывается, вотъ видите, что подобно тому, какъ женщина на религіозной почвѣ проявляла всегда гораздо болѣе фанатизма и страсти къ мученичеству за идею, чѣмъ мужчина, такъ это будетъ и на научной почвѣ.

«Она пойдетъ на самые тяжкіе труды ради науки, на самые мучительные и необыкновенные опыты для разрѣшенія задачи. Ей ничего не будетъ стоить вырѣзать у себя груди, подобно св. Агаѣи, для раскрытія тайны образованія молока; она передастъ своего ребенка сосѣдкѣ, подобно св. Фелиситѣ, для того, чтобы отдаться звѣрамъ и проверить такимъ образомъ теорію Дарвина».

И тутъ Дюма приходитъ вдругъ въ такой неистовый паэосъ, что восклицаетъ внѣ себя:

«Пятнадцатилѣтніе юноши, вы, которые читаете тайкомъ эти страницы! Вы, можете быть, проживете на свѣтѣ еще шестьдесятъ лѣтъ, и я вамъ этого отъ души желаю, потому что дѣлается все труднѣе и труднѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ интереснѣе дожидать до 75-лѣтняго возраста. Вы, можете быть, услышите еще при жизни вашей, что кто-нибудь изъ моихъ будущихъ собратьевъ будетъ рекламировать въ пользу обезпеченія участи дѣтей, рожденныхъ отъ женщинъ и обезьянъ, какъ это я теперь дѣлаю въ пользу дѣтей, рожденныхъ отъ женщины и человѣка. И какъ только вы услышите подобную защиту, ступайте на мою могилу, постучите въ нее вашей тростью и скажите: «совершилось!» Нѣкоторые прохожіе спросятъ у васъ, въ чемъ дѣло; вы объясните имъ, если только въ то время будутъ еще существовать кладбища и могилы».

Спрашивается: къ чему все это говорить Дюма? Для чего эта бездна отвратительнаго цинизма? Въ серьезъ развиваетъ онъ подобныя необузданно-дикія фантазіи, или и здѣсь, какъ и во многихъ мѣстахъ книги, подѣ наружнымъ паэосомъ скрывается ядовитая иронія надъ скромными усиліями женщинъ выбиться изъ ихъ вѣковаго ярма, стремленіе довести до смѣшнаго и нелѣпаго абсурда женскій вопросъ и поглумиться надъ нимъ? А скорѣе всего, подобныя вещи говорятся съ единственною цѣлію побалагурить, и, угодя скоромнымъ вкусамъ парижской публики, придать болѣе пикантный и пріянный характеръ книгѣ; и ни о чемъ при этомъ не помышлялъ Дюма-фисъ, ни о какихъ женскихъ вопросахъ, какъ лишь о томъ, какъ пятнадцатилѣтніе мальчики, а можетъ быть и дѣвочки, будутъ тайкомъ читать его интересную, по части клубнички, брошюрку.

Но за то, въ концѣ книги, Дюма-фисъ раздражается вдругъ такимъ неожиданнымъ и блестящимъ фейерверкомъ и подноситъ вамъ такой роскошный букетъ свободомыслія, что многія, даже серьезныя читательницы забудутъ, конечно, всѣ тѣ униженія и глумле-

нія, которыя дѣлалъ онъ имъ на предыдущихъ страницахъ книги, прохаживаясь вокругъ да около интимныхъ сторонъ ихъ жизни, — и, пожалуй, поднесутъ ему лавровый вѣнокъ, какъ истинному поборнику женскаго вопроса.

Нѣсколько страницъ назадъ, какъ мы видѣли, Дюма отрицалъ не только политическую, но и гражданскую правоспособность женщинъ. „Какое основаніе — говорилъ онъ — имѣють женщины добиваться правъ на занятіе разныхъ общественныхъ должностей и профессій? Каждое право должно оплачиваться обязанностью; мужчина за подобныя права несетъ ярмо воинской повинности; женщина избавлена отъ нея, за то она не должна претендовать и на мужскія права. Совершенно достаточно, чтобы были учреждены законы для свободныхъ любовныхъ союзовъ, и тогда одні женщины пойдутъ замужъ, другія въ великое сословіе цѣституттокъ, третьи на подмостки театра, четвертыя будутъ дѣлать научные опыты по части скотоложства, и женскій вопросъ будетъ такимъ образомъ порѣшенъ, — все пойдетъ, какъ по маслу“. И вдругъ Дюма-фисъ забываетъ все это, сказанное имъ въ той-же книгѣ, нѣсколько страницъ назадъ, и является готовымъ преподнести женщинамъ не только гражданскія, но даже и политическія права!

Вы, конечно, и слышали, и читали, и хорошо вамъ извѣстно о недавнемъ процессѣ Юбертины Оклеръ. Эта дѣвушка, Юбертина Оклеръ, не убила изъ револювера ни одного любовника, не обидла кислотой лица ни одной соперницы, а принадлежитъ именно къ тѣмъ партизанкамъ женскаго вопроса, которыхъ обвиняетъ Дюма-фисъ въ излишней нетерпѣливости, разнузданности воображенія и т. п. Она одна изъ первыхъ представительницъ общества „Право женщинъ“ и одна изъ главныхъ сотрудницъ газеты этого общества, носящей то же названіе. Очень можетъ быть, что никто другой, какъ именно она сочинила и то воззваніе, къ которому отнесся Дюма такъ отрицательно. По крайней мѣрѣ, вотъ что говоритъ объ этой интересной личности Людовикъ въ „Хроникѣ парижской жизни“, въ № 9 „Отечественныхъ Записокъ“:

«Въ началѣ настоящаго года, эта Оклеръ потребовала отъ мэра того парижскаго округа, гдѣ она живетъ, внесенія ея имени въ списки муниципальных и парламентскихъ избирателей. Когда ей въ этомъ было отказано, она потребовала составленія объ этомъ отказѣ протокола. Черезъ нѣсколько времени, присутствуя въ мэріи на заключеніи гражданскаго брака, она произнесла цѣлую рѣчь о несправедливости, относительно женщинъ, статей гражданскаго кодекса, касающихся брака. Неожиданная эта манифестація обусловила появленіе циркуляра сенскаго префекта, которымъ запрещалось впредь при заключеніи брака говорить кому-бы то ни было, кромѣ мэра. Нѣсколько недѣль тому назадъ, Оклеръ устроила, при пособіи своего общества, митингъ въ залѣ улицы Левисъ, для котораго залъ былъ особеннымъ образомъ убранъ. Съ кафедръ развѣвалась широкая красная лента съ напечатаннымъ на ней именемъ Луизы Мишель, участницы коммуны, отказавшейся отъ своего помилованія до тѣхъ поръ, пока въ сѣмкѣ останется хотя-бы одинъ коммунаръ. Программа вечера была напечатана крупными буквами и такъ, чтобы всѣ присутствующіе могли ее прочесть. На программѣ этой, между прочимъ, напечатаны были слѣдующія фразы: «Нѣтъ обязанностей безъ правъ, и нѣтъ правъ безъ обя-

занностей», и слова Кондорсэ: «Или никто изъ людей не имѣетъ правъ, или права всѣхъ людей одинаковы; и тотъ, кто подаетъ голосъ противъ правъ другого, какой-бы религіи онъ ни придерживался, къ какому-бы полу ни принадлежалъ, какого-бы племени по цвѣту своей кожи ни былъ, — тѣмъ самымъ отказывается отъ своихъ правъ». Что касается до самого предмета чтенія, то г-жа Оклеръ съ полнѣйшимъ мастерствомъ говорила о всѣхъ сторонахъ и особенностяхъ женскаго вопроса, и такъ основательно и горячо, что увлекла своими доводами самыхъ отчаянныхъ скептиковъ, какъ, напримеръ, репортера газеты «Темпс», котораго рѣшительно очаровала до того, что онъ печатно назвалъ ее «Сарою Бернаръ женскаго вопроса».

«Главнѣйшимъ орудіемъ, которымъ женщины могутъ воспользоваться для своего освобожденія, долженъ быть, по мнѣнію Оклеръ, отказъ въ уплатѣ налоговъ, такъ какъ, если у женщинъ отняты права, то у нихъ не можетъ быть и обязанностей. Подавая собою примѣръ, она отказалась платить существующій въ Парижѣ налогъ на квартиру и меблировку, и когда у нея за это была описана мебель, отправила въ различныя газеты слѣдующее заявленіе: «Я, представляющая собою ничто, когда дѣло идетъ о голосованіи, составляю нѣчто, какъ платежная единица. Сегодня описана моя мебель. Фискъ налагаетъ руку на мое имущество за то, что я требую пользованія своимъ правомъ, взаимнаго получаемого съ меня налога, за то, что я не хочу платить суммы, за сборы которой я не подавала своего голоса и употребленія которой я не могу контролировать. Я протестую противъ такого захвата моего имущества. Я протестую противъ подобныхъ дѣйствій правительства, состоящаго исключительно изъ мужчинъ, которое отрицаетъ мои права и, тѣмъ не менѣе, беретъ мои деньги. Я заявляю, что въ этой борьбѣ одной противъ всѣхъ я не уступаю, а подчинюсь насилію. Юбертина Оклеръ».

«И вотъ, Юбертина Оклеръ обратилась съ жалобой къ суду совѣта сенскаго префектуры. Защищала свои требованія она сама. Совѣтъ слушать ее сначала съ простымъ любопытствомъ, а потомъ и съ весьма серьезнымъ вниманіемъ, такъ какъ слова ея были исполнены логики и увлекательнаго краснорѣчія. Явилась въ судъ она настоящей свѣтской дамой, въ очень изящномъ туалетѣ. Поддерживалъ ея требованія адвокатъ Антонень Леврисъ, секретарь общества «Право женщинъ». При этомъ онъ ссылался на авторитетъ знаменитаго французскаго философа Кондорсэ, «именемъ науки и сознанія поставившаго вопросъ о равенствѣ обоихъ половъ», и ссылался такъ-же на Гладстона, который уже добился нѣкоторыхъ избирательныхъ муниципальных правъ для женщинъ Великобританіи и который вполне сочувствуетъ ихъ стремленію къ полученію и избирательныхъ политическихъ правъ. Правительственный коммисаръ отвѣчалъ Леврисъ, утверждавшему, что противъ требованій его клиентки не существуетъ опредѣленныхъ законовъ, прочтеніемъ тѣхъ статей кодекса, которыя относятся до податей и налоговъ и обязываютъ къ ихъ уплатѣ всѣхъ обывателей: холостыхъ молодыхъ людей и дѣвушекъ совершеннолѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ, имѣющихъ средства къ существованію. Затѣмъ онъ прибавилъ, обращаясь къ г-жѣ Оклеръ: «Вы, сударыня, ошиблись дверью. Вамъ слѣдовало обратиться съ вашей жалобой не въ совѣтъ префектуры, который не имѣетъ законодательной власти, а въ палату депутатовъ или сенатъ». Тогда г-жа Оклеръ составила петицію въ парламентъ, а общество «Право женщинъ» стало собирать для нея подписи, чтобы представить потомъ въ парламентъ».

И вотъ, подъ впечатлѣніемъ этого процесса Оклеръ, на Дюма-фисъ внезапно нашло словно нѣкое просіаніе. Онъ вдругъ уразумѣлъ, что свобода жен-



щинъ отъ воинской повинности вовсе не составляетъ резона для лишенія ихъ гражданскихъ и политическихъ правъ; что, во-первыхъ, далеко не всѣ мужчины поголовно несутъ на себѣ воинскую повинность, однако-же правами пользуются не одни солдаты, а вторыхъ—нельзя сказать, чтобы женщины вовсе не участвовали въ воинской повинности, потому что онѣ оплачиваютъ содержаніе войска наравнѣ съ мужчинами. И вотъ, Дюма-фисъ, не позаботившись хотябы зачеркнуть все то, что онъ говорилъ объ этомъ предметѣ на предыдущихъ страницахъ, беретъ подъ свою защиту Юбертину Оклеръ и начинаетъ ораторствовать въ защиту дарованія женщинамъ политическихъ правъ. Послушаемъ же, что говорить объ этомъ нашъ бульварный публицистъ:

«Въ 1847 году—говоритъ онъ—политическіе дѣтели, по правдѣ, слишкомъ требовательные, просили у правительства пониженія избирательнаго ценза и присоединенія къ нему всѣхъ правоспособныхъ. Но правительство отказало безъ всякихъ основательныхъ поводовъ, и я не знаю, представило-ли оно оно какіе-либо резоны, хотя бы неосновательные. Этотъ отказъ повелъ за собою революцію 1848 года, которая, естественно, не ограничилась первоначальнымъ проектомъ,—это было ея право, какъ революція,—а ввела всеобщую подачу голосовъ, т. е. уничтожила всякій цензъ и допустила къ выборамъ не только всѣхъ правоспособныхъ, но и неспособныхъ мужскаго пола. Въ настоящее время всеобщая подача голосовъ существуетъ для всѣхъ мужчинъ безъ всякихъ ограниченій. И вотъ являются женщины и въ свою очередь говорятъ: «А мы, что-жь? Мы требуемъ присоединенія правоспособныхъ и съ нашей стороны!» Можеть ли быть что-либо послѣдовательнѣе, разумнѣе и справедливѣе? Какое различіе предположите вы между мужчиной и женщиной, чтобы отказать послѣдней въ правѣ вотировать, когда вы даровали это право мужчинамъ? Никакого различія.

— А пользъ?

— Какой пользъ?

— Женскій пользъ.

— Но какую же тутъ роль играть пользъ? Ни малѣйшей. Женщина не имѣетъ бороды, мужчина—длинныхъ волосъ. А что касается до другихъ различій, то они представляютъ такое преимущество женщинамъ, что мы лучше объ этомъ и толковать не станемъ.

— Будемъ говорить серьезно.

— Сдѣлайте одолженіе.

— Тутъ идетъ дѣло не о физическомъ, а о моральномъ половомъ различіи.

— Я васъ не понимаю.

— А между тѣмъ, это ясно. По своему полу женщина слабѣе мужчины, и доказательствомъ этого служить то, что мы принуждены постоянно защищать ее.

— Мы защищаемъ ее такъ мало, что она принуждена защищаться сама выстрѣлами изъ револьвера, и мы такъ мало позаботились о предупредительныхъ мѣрахъ въ этомъ отношеніи, что принуждены оправдывать ее.

— Но это исключительные случаи. Известно, однако же, что женщина въ умственномъ отношеніи ниже мужчины. Вы сами объ этомъ писали.

— Если я это писалъ, то написалъ глупость, и сегодня я измѣняю свое мнѣніе. Не я первый, писавшій глупости, и не я послѣдній, измѣняющій мнѣніе, вотъ и все. Но я никогда не говорилъ подобной глупости. Мнѣ ее приписали; это не все равно, хотя и очень удобно въ спорѣ.

— Если вы не говорили подобной не глупости, а правды,—очень жаль, потому что она написана во

всѣхъ книгахъ религіозныхъ, философскихъ и медицинскихъ.

— Наши религіозныя книги говорятъ намъ, что женщина привела мужчину къ потерѣ рая, значитъ—она была выше его, если могла заставить сдѣлать, что ей было угодно. Можеть быть потому мы и не хотимъ предоставить ей вотировать, что боитесь, чтобы она снова не заставила васъ потерять рай, который вы возобновили и въ которомъ живете? Индѣйскія же религіозныя книги, которыя древнѣе нашихъ на семь или на восемь тысячъ лѣтъ, говорятъ, что Адамъ потерялъ рай потому, что не послушался Евы, которая совѣтовала ему не переступать установленныхъ Богомъ границъ рая. Во всякомъ случаѣ, мужчина въ религіозныхъ книгахъ представляется ниже женщины. Что касается философскихъ книгъ, то онѣ совѣтуютъ намъ избѣгать, сколь возможно, сношеній съ женщинами, потому что эти обольстительныя созданія способны отвлечь мужчину отъ высокихъ помысловъ и ввергнуть его въ чувственность. Философы, такимъ образомъ, констатируютъ слабость не женщины, а мужчины. Медицинскія же книги только и говорятъ о томъ, что мужчина и женщина имѣютъ различныя отравленія и снабжены силами, сообразными этимъ отравленіямъ. Затѣмъ онѣ учатъ насъ, что если мужчина одаренъ болѣею мускульною силою, за то женщина превосходитъ его нервною силой, что если разумъ зависитъ отъ развитія и тяжести мозга, то женскій мозгъ долженъ быть совершеннѣе мужского, такъ какъ самый обширный и тяжелый изъ всѣхъ взвѣшенныхъ наукою мозговъ принадлежалъ женщинамъ,—всѣхъ 2,200 граммъ, т. е. 460 граммами тяжеле мозга Кювье. Правда, что эта женщина не написала книги, подобной трактату Кювье объ ископаемыхъ, но для того, чтобы положить голосъ въ урну, вовсе не требуется ни изобрѣтенія пороха, какъ это достаточно доказываютъ 7,000,000 избирателей, которыхъ мы имѣемъ во Франціи, ни способности носить на плечахъ по 500 кило, такъ что я не понимаю, почему мускульная слабость женщины, исключая при этомъ рыночныхъ торговекъ, акробатокъ и проч., препятствовала бы имъ вотировать. Почему мадамъ Де-Севинье, если бы она была жива до сего дня и, конечно, не могла бы на народномъ празднествѣ ударить по головѣ турка съ силою 500 кило, не могла бы вотировать наравнѣ съ своими садовниками Павломъ?

— Но мадамъ де-Севинье исключеніе. Идеи же, обычаи и законы никогда не утверждаются совершенно исключеніемъ.

— Какъ, и ея бабушка Шанталь тоже исключеніе? И Лафайетъ, и Ментеонъ, и Дасис, и Гюнонъ, и Лонгевиль, и Шателъ, и Сталь, и Ролландъ, и Зандъ?

— Все исключенія.

— Во всякомъ случаѣ, пользъ, который представляетъ подобныя исключенія, завоевалъ полнѣе право выражать свои мнѣнія не только при выборѣ мэра или муниципальныхъ совѣтниковъ, но и депутатовъ. Но исключенія на этомъ не останавливаются. А Клотильда, обратившая французовъ въ католичество, развѣ не имѣла вліянія на Хлодвигъ и на судьбу всей нашей страны? А Анна Боже, а королева Анна, а Бланка Кастильская, а Елизавета Венгерская, а Екатерина Великая, а Марія-Терезія?

— То были королевы!

— Но это не измѣняетъ ихъ пола, а показываетъ только, что женщины способны царствовать съ такимъ же умомъ и энергіею, какъ и мужчины. И никто мнѣ не докажетъ, почему пользъ, не имѣющій женщинамъ быть подобными королевами, мѣшаетъ имъ вотировать?

— Но дѣло идетъ здѣсь не объ однихъ только подобныхъ женщинахъ, а о массѣ, не имѣющей никакого понятія и смысла въ политикѣ.

— Смыслъ этотъ вовсе не трудно приобрести,

если судить по мужчинамъ, претендующимъ на него. Развѣ мало, въ самомъ дѣлѣ, женщинъ, о которыхъ замѣчательные люди говорятъ: «моя мать была умнѣйшая и честнѣйшая женщина; я ей всѣмъ обязанъ». И я не понимаю, почему всѣ эти преобладающія въ неизвѣстности умнѣйшія и честнѣйшія женщины не имѣютъ права вотировать наравнѣ съ негодями и идиотами мужскаго пола?

— Но не вы же ли сами сейчасъ, 200 строкъ назадъ, говорили, что права должны окупаться обязанностями и что женщины не могутъ ходить на войну подобно мужчинамъ?

— А Іоанна Французская, Іоанна Фландрская, Іоанна Блуасская, Іоанна Гашетъ, по поводу которой Людовикъ XI далъ преимущество женщинамъ передъ мужчинами на праздникъ въ Бове, который она защищала во главѣ прочихъ женщинъ города противъ Карла Смѣлаго? А Іоанна д'Аркъ, наконецъ? Въ такомъ случаѣ, если бы въ настоящее время какая-нибудь женщина сдѣлала то же, она все-таки не была бы допущена выбирать представителей страны, которую спасла? Это было бы комично.

— Всѣ эти женщины, безъ сомнѣнія, необыкновенныя и дѣлаютъ великую честь своему полу; но онѣ составляютъ исключенія, и необыкновенность ихъ доказываетъ, что онѣ стояли выше своего пола. Нѣсколько женщинъ могутъ быть храбры и героичны подобно мужчинамъ, женщины же всею массою не могутъ быть солдатами, а мужчины могутъ.

— Гдѣ же вы это видѣли? А тѣ, которые ниже опредѣленнаго роста, а хромые, а кривоногіе, а близорукіе, а чахоточные, а льготные, а дѣти семидесятилѣтнихъ стариковъ, а вынужденные счастливымъ жребіемъ, а 150,000 священниковъ? — Развѣ всѣ эти мужчины носятъ ружье? А, между тѣмъ, они вотируютъ. Женщина избавлена отъ обязанности быть солдатомъ, потому что несетъ еще большую обязанность: она воспитываетъ солдата. И когда является завоеватель въ родѣ Наполеона, который лишаетъ ее 1.800,000 дѣтей, то, неимѣющая права вотировать противъ подобной государственной формы, развѣ она не завоевала себѣ этого права своимъ плодородіемъ, страданіями и печальми? Нѣтъ, что хотите, всѣ возраженія, какія дѣлаютъ противъ права, требуемаго Юбертиною Оклеръ, — представляются чистою фантазіею.

— И вы серьезно требуете, чтобы женщины вотировали?

— Непремѣнно.

— Но вы хотите, чтобы онѣ потеряли всю свою грацію, женственность...

— Ну, вотъ, мы дошли и до пошлостей! Будьте спокойны. Онѣ будутъ вотировать съ граціей. Сначала будетъ много смѣха, такъ какъ у насъ ничего не начинается безъ смѣха. Ну что жъ, пусть посмѣются. Женщины введутъ въ моду шляпки а l'urne, корсажи au suffrage universel, юбки au scrutin secret. А потомъ? Потомъ—это войдетъ въ привычку, сдѣлается обязанностью, благомъ. Нѣкоторыя прекрасныя дамы въ городахъ, нѣкоторыя богатыя собственницы въ провинціяхъ, нѣкоторыя толстыя фермерши въ деревняхъ подадутъ примѣръ; прочія имъ послѣдуютъ. У нихъ будутъ свои собранія, сходки, клубы, какъ и у насъ. Подобно намъ, онѣ будутъ говорить глупости, платиться за нихъ и выпутываться изъ нихъ. Болѣе занятая государственною политикою, онѣ менѣе будутъ уделять времени клерикальной пропагандѣ, а это будетъ не дурно.

«Мы слышимъ каждый день жалобы, и иногда не лишеныя основанія, на всеобщую подачу голосовъ, что нѣкоторые избиратели не въ состояніи читать именъ, за которые они вотируютъ, въ рукописномъ видѣ,—необходимо, чтобы эти имена были для нихъ напечатаны. Поэтому требуютъ двухсте-

пеннаго голосованія. Прекрасно; вотъ отличный поводъ испытать подобный способъ голосованія, приложивъ его для начала къ женщинамъ. Наконецъ, доказательство, что женское вотированіе возможно, уже существуетъ на практикѣ. Я прочелъ въ одной газетѣ слѣдующее:

«Новый законъ въ Нью-Йоркѣ даровалъ женщинамъ право участвовать въ выборѣ директоровъ и администраторовъ общественныхъ школъ. Партизаны женскихъ правъ ведутъ дѣятельную пропаганду, въ тѣхъ видахъ, чтобы 12 октября новыя избирательницы приняли участіе въ выборахъ 11,000 школьныхъ округовъ нью-йоркскаго штата. Первый опытъ былъ сдѣланъ наканунѣ въ четырехъ мѣстностяхъ, и особенно въ Staten-Island, въ окрестности Нью-Йорка, онъ далъ самые блистательные результаты. Обыкновенно думаютъ, говоритъ Геральдъ, что женщины, вотируя, слѣдуютъ всегда за своими мужьями, если только дѣло не касается общаго ихъ врага—мужчины. Но это предположеніе совершенно опровергается выборами въ Staten-Island. Исключая случаевъ, когда выборы были единогласны, женскіе голоса были исполнѣ независимы. Былъ даже одинъ моментъ, возбудившій общій смѣхъ, когда одна женщина вотировала отрицательно сейчасъ же послѣ мужа, который далъ положительный голосъ, и мужъ поздравилъ свою прекрасную половину за храбрость имѣть свое мнѣніе».

«Вы можете учредить—говоритъ далѣе Дюма—новый законъ вотированія женщинъ сначала со всѣми предосторожностями и предусмотрительностями, необходимыми въ странѣ, которая такъ дорожитъ рутинною; устройте двухстепенные, трехстепенные выборы, но введите этотъ законъ. Необходимо, чтобы въ палатѣ были депутаты отъ женщинъ. Франція должна подать цивилизованному міру примѣръ этой великой инициативы. Пусть она торопится: Америка готова предупредить ее.

«Я согласенъ, что эти первые депутаты отъ женщинъ въ національномъ собраніи не могутъ и не должны быть многочисленны, но они будутъ имѣть то великое преимущество передъ своими товарищами, что будутъ знать, что имъ дѣлать. Республиканскихъ депутатовъ въ 1854 году было тоже немного, всего пять. Но нынѣ они составляютъ большинство. При этомъ нужно еще замѣтить, что большинство ничего не доказываетъ, когда меньшинство твердо въ своихъ убѣжденіяхъ и хорошо организовано. Большинство показываетъ лишь то, что есть: меньшинство же часто представляетъ зародышъ того, что должно быть и что будетъ. Десяти лѣтъ не пройдетъ, какъ женщины будутъ такими же избирателями, какъ и мужчины. А что касается до права быть избираемыми, то объ этомъ мы подумаемъ послѣ, сообразно тому, какъ онѣ будутъ себя вести».

Все это прекрасно, но какъ же согласить то вопиющее противорѣчіе, на которое намекаетъ безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти самъ авторъ устами воображаемаго противника женскаго вопроса, напоминающаго автору: «не вы же ли 200 строкъ назадъ говорили, что права должны окупаться обязанностями, а женщины не ходятъ на войну подобно мужчинамъ?»

Но если мы обратимъ вниманіе не на самыя рѣчи, произносимыя Дюма въ разныхъ мѣстахъ книги, а на то, къ чему онѣ относятся, то мы, пожалуй, не увидимъ, здѣсь никакого противорѣчія. Вѣдь вы не забудьте, что въ обоихъ мѣстахъ книги дѣло идетъ о совершенно различныхъ предметахъ. Тамъ передъ Дюма стояла женщина и требовала расширенія жен-

скихъ профессій, т. е. права на трудъ, а здѣсь дѣло идетъ о политическихъ правахъ. Повидимому, въ послѣднемъ случаѣ требованія женщинъ, въ значительной степени, превышаютъ первыя, въ сущности же совершенно наоборотъ, и очень понятно, почему Дюма употребляетъ тѣ самые доводы противъ расширенія женскихъ профессій, которые потомъ опровергаетъ, когда дѣло идетъ о политическихъ правахъ. Онъ является въ этомъ отношеніи самымъ послѣдовательнымъ представителемъ той праздно и сытой парижской толпы, которая въ настоящее время, по отношенію не къ одному женскому, а и ко всѣмъ прочимъ вопросамъ, держится одной и той же надувательной системы. Толпа эта настолько уже привыкла не питать ни малѣйшаго страха передъ разными политическими требованіями, что готова разсыпать политическія права горстями, и направо, и налево, вполне увѣренная, что отъ этого ничего, въ сущности, не измѣнится и все пойдетъ по-старому. Такъ всеобщая подача голосовъ существуетъ не день, не два, а тридцать слишкомъ лѣтъ; но, не говоря ужъ о соответствии парламентскаго большинства съ большинствомъ избирателей, увеличивается ли хоть сколько нибудь въ національномъ собраніи количество членовъ, которые являлись бы истинными защитниками интересовъ большинства населенія? Ничуть не бывало. Кого же выбираютъ тѣ 7.000.000 избирателей, которые тѣснятся вокругъ урнъ? Людей, отъ которыхъ находятся въ полной экономической зависимости. Переизмѣнится ли дѣло, если къ 7 милліонамъ избирателей присоединятся еще столько же? Не представляются ли французскія избирательныя урны своего рода бочками данаидъ, въ которыя опускайте — не 7, не 14 милліоновъ голосовъ, а хоть въ десять разъ болѣе, — и всѣ эти голоса провалятся въ эти бездонныя урны, какъ въ бездну, а въ результатъ получится избраніе все тѣхъ же вседовольныхъ и всеблаженныхъ говоруновъ, о которыхъ Дюма самъ выражается, что для нихъ дороже всего рутинѣ. Если ничтожная горсть женщинъ образованныхъ и стоящихъ *au courant* прогресса и пожелала бы выбрать защитниковъ своихъ интересовъ, то голоса ихъ безслѣдно пропадутъ въ темной, невѣжественной массѣ голосовъ существъ ихъ пола, лишенныхъ всякаго разумнаго сознанія и всякой самостоятельности, и которыя въ своемъ вотированіи будутъ руководство-

ваться не какими-либо женскими интересами, а обѣщаніями неизреченныхъ наградъ въ будущей жизни со стороны священника или угрозою зѣра лишиться мужа мѣста и обречь, такимъ образомъ, кучу дѣтей на голодную смерть.

О, повѣрьте, все это Дюма-фисъ знаетъ и отлично предугадываетъ, и именно въ этихъ соображеніяхъ онъ и готовъ даровать женщинамъ какія угодно политическія права!

Но какъ же, по вашему, — спросить меня иная читательница, увлеченная брошюркою бульварнаго защитника женскаго пола, — значить: даровать женщинамъ политическія права во Франціи — дѣло совершенно излишнее, и ничего этого не нужно?

Нѣтъ, отчего же излишнее? Но политическія права женщинъ должны имѣть свою почву, свое основаніе, иначе они будутъ мнимыми правами, безплодными и безслѣдными. Основаніе же это можетъ быть не иное, какъ въ видѣ самостоятельнаго женскаго труда, поставленнаго на правильную экономическую почву. Вотъ этимъ именно и отличается Юбертина Оклеръ отъ бульварныхъ публицистовъ въ родѣ Дюма: она тоже хлопочетъ о политическихъ правахъ женщинъ, но она считаетъ не менѣе важнымъ и экономическую сторону вопроса; она стремится къ тому, чтобы обѣ стороны поддерживали одна другую и взаимно помогали другъ другу. Дюма же фисъ готовъ даровать женщинамъ и всевозможныя гарантіи, и всевозможныя права, а какъ только дѣло коснется до того, чтобы эти гарантіи и права были основаны на твердой экономической почвѣ, — онъ и на попятный дворъ. Ну, что жъ, милыя читательницы, увѣнчивайте вашего защитника лаврами, прославляйте его, пропагандируйте, переводите на всѣ языки, — это будетъ показывать лишь, что вы понимаете женскій вопросъ такъ же узко, пошло и легкомысленно-канканно, какъ и вашъ герой, и что если васъ интересуетъ судьба женщинъ, то исключительно однѣхъ женщинъ салона, а что касается до тѣхъ милліоновъ существъ вашего пола, по отношенію къ которымъ женскій вопросъ лишь и имѣетъ свое истинное и глубокое основаніе, то интересы и права этихъ существъ, для васъ не существуютъ, подобно тому, какъ не существуютъ они и для бульварныхъ публицистовъ въ родѣ Дюма-фиса, съ чѣмъ я васъ и поздравляю.



1882.

## ЖИЗНЬ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ И ЛИТЕРАТУРА ВЪ ЖИЗНИ.

(ПИСЬМА КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ).

### I.

Благосклонные читатели, я намѣренъ время отъ времени писать къ вамъ открытыя письма о томъ, что творится въ нашей текущей литературѣ. Но простите великодушно, если волею неволею мои письма подчасъ будутъ далеко выходить изъ рамокъ литературныхъ обзорѣній. Давно прошли тѣ блаженные времена, когда все умственное движеніе нашего отечества сосредоточивалось исключительно въ одной литературѣ, а въ жизни была такая тишь, гладь и божія благодать, что можно было судить и рядить о ней, нисколько не заботясь заглядывать въ нее помимо того, какъ она отражается въ литературѣ. Выйдутъ бывало въ свѣтъ „Мертвыя души“, и всѣмъ и каждому было извѣстно, что куда ни кинь свой взоръ, въ Тамбовъ, Рязань, Пензу, Смоленскъ, — вездѣ обрѣтешь однихъ и тѣхъ же неизмѣнныхъ Чичикова, Ноздрева, Манилова, Коробочку и пр. безъ малѣйшихъ вариантовъ и видоизмѣненій. Вы помните, я полагаю, когда появился романъ Гончарова „Обломовъ“, критика именно такъ и отнеслась къ нему, что повсюду на Руси, въ каждомъ градѣ и веси, спитъ Обломовъ, что и въ прошломъ мы видимъ рядъ Обломовыхъ, такъ что и Евгений Онегинъ, и Печоринъ, и Рудинъ, и Бельтовъ, — все это Обломовы, и въ настоящемъ — каждый дышащій смертнымъ есть Обломовъ, и вся Русь есть ничто иное, какъ спящій Обломовъ, безмятежно-раскинувшійся на широкомъ ложѣ, занимающемъ чуть что не половину земнаго шара. И критика въ то время была, совершенно права.

Теперь совсѣмъ не то. Жизнь наша до такой степени осложнилась, перепуталась, а главное дѣло вышла изъ своей колеи, что разобратся въ этомъ хаосѣ не въ состояніи была бы никакая литература, хотя бы она состояла сплошь изъ однихъ Шекспировъ. Мы видимъ передъ собою пеструю и безформенную картину броженія, въ которой все кружится и

мечется въ вихрѣ кипѣнія; едва вы обратили вниманіе на какую нибудь фигуру въ этомъ калейдоскопѣ, какъ ужъ ея нѣтъ въ вашихъ глазахъ, и вы не можете себѣ отдать отчета, куда она дѣвалась, погрузилась ли въ кипящую массу или лопнула пузыремъ. Зола съ пола-горя проповѣдывать свой протокольный романъ и создавать своихъ Макаровъ и Ругоновъ, имѣя дѣло съ такимъ густымъ и неподвижнымъ устоемъ, какъ современная французская буржуазія, а у насъ... Я чувствую какъ ко мнѣ протягивается редакторская рука, чтобъ схватить меня за фалду или зажать ротъ, въ опасеніи, что я произведу немалый скандалъ: въ первомъ же номерѣ журнала, называющагося „Устоями“, начну вдругъ доказывать, что никакихъ устоевъ у насъ не имѣется. Спѣшу поэтому оговориться, что я не имѣю ни малѣйшаго намѣренія какъ бы то ни было скомпрометировать почтенный журналъ, удѣлившій мѣсто для моихъ бесѣдъ съ его читателями. Я не отрицаю существованія у насъ очень твердыхъ и незыблемыхъ устоевъ; не надо и говорить о томъ, что устои эти слѣдуетъ искать въ народѣ, т. е. не въ томъ абстрактномъ народѣ, который только и существуетъ на страницахъ „Руси“, но въ реальномъ народѣ въ смыслѣ массы крестьянъ-земледѣльцевъ, которыми все держится на Руси, и на которыхъ, какъ на столбахъ гранитныхъ, держится и сама Русь. Но нельзя въ тоже время упускать изъ вниманія, что и въ народѣ замѣчается въ свою очередь хаотическое броженіе, исхода котораго никто не можетъ предвидѣть. Не доказываютъ ли намъ всѣ наши лучшіе изслѣдователи народнаго быта, что патріархальной общинѣ грозитъ распаденіе; новая община на рациональныхъ началахъ находится въ состояніи совершенно еще не опредѣлившемся; семейный бытъ распадается; религиозныя вѣрованія представляютъ новое и сложное явленіе цѣлаго ряда сектаторскихъ движеній; одна часть народа бросаетъ землю и бѣжитъ въ города, наполняя ихъ массами голоднаго

пролетариата, другая часть готова сейчасъ же забрать весь свой скарбъ и, покинувъ родныя пепелища, идти за тридевять земель искать благодатныхъ странъ съ медовыми рѣками и кисельными берегами. Если-же этотъ единственно прочный устой, основаніе всей земли, обнаруживаетъ въ настоящее время всѣ признаки переходнаго состоянія, и соединеннаго съ нимъ хаотическаго броженія, то гдѣ же кромѣ него искать устоевъ? Не въ дворянствѣ-ли? Но не доказывала ли намъ московская пресса въ лицѣ своихъ столповъ — „Московскихъ Вѣдомостей“ и „Русскаго Вѣстника“, въ продолженіи 20-ти лѣтъ, и доказывала, по моему мнѣнію, вполне основательно и правильно, что дворянство, чтобы быть не однимъ пустымъ звукомъ, а дѣйствительнымъ устоемъ, должно основываться, если не на крѣпостномъ правѣ, то на крупномъ землевладѣніи по примѣру Англіи? Но такъ какъ наше дворянство съ однимъ своимъ основаніемъ, именно крѣпостнымъ правомъ, распростилось на вѣки, что же касается другого основанія, т. е. крупнаго землевладѣнія, то всѣ мечты его объ этомъ предметѣ до сихъ разбивались прахомъ, и попытки къ осуществленію ихъ ничего не оставляли послѣ себя, кромѣ крупныхъ скандаловъ, въ общемъ же этотъ устой представлялъ собой въ послѣдніе двадцать лѣтъ одну сплошную картину разоренія и запустѣнія, — извольте послѣ того положиться на него! Затѣмъ остается буржуазія... Но стоитъ только подумать о томъ, что послѣ двухсотлѣтнихъ усилій создать у насъ буржуазію, въ настоящее время возможно появленіе вполне компетентныхъ публицистовъ, которые на основаніи весьма вѣскихъ данныхъ доказываютъ, что крупное капиталистическое производство у насъ немислимо, что все оно поддерживается искусственными подпорками въ видѣ субсидій, гарантій, концессій, монополій; что стоитъ только отнять эти подпорки, и все зданіе, построенное на пескѣ, неминуемо рухнетъ и рассыплется прахомъ. Хорошъ устой, о которомъ до сихъ поръ идетъ споръ, существуетъ онъ или нѣтъ, и есть ли какіе нибудь шансы для его развитія!

При такихъ условіяхъ литература теряетъ точно такъ-же, какъ потерялся въ послѣднее время и всѣ русскіе люди. Она не въ силахъ услѣдить за всѣмъ круговращеніемъ совершающагося броженія. Передъ нею ежедневно совершаются такіе непредвидимыя событія, поднимаются такіе неожиданные вопросы, что она то застываетъ въ распλοхъ и становится въ тупикъ, то принуждена бываетъ отражать въ себѣ эти событія и вопросы въ видѣ слабаго эха или совсѣмъ упускать изъ вниманія многое такое, что должно было бы составлять главный и существенный предметъ ея обсужденій. Даже и тѣ вещи, которыя не ускользаютъ отъ ея взоровъ, представляются ей крайне преходящими, эфемерными, призрачными. Она не видитъ вокругъ себя ни одного явленія, на которое могла бы положиться, какъ на нѣчто прочное, установившееся, составившее обыденную норму жизни. Если только можно примѣнить въ нашей современной литературѣ научный терминъ статики и динамики, то современная наша литература исключительно динамическая, тѣмъ она и отличается отъ литературы предшествовавшихъ періодовъ 40-хъ и 60-хъ годовъ, т. е. она разсма-

тривается не столько самыя явленія жизни въ ихъ сути, сколько непрестанныя измѣненія и всяческія пертурбаціи ихъ въ современномъ строѣ жизни. Но такъ какъ всѣ эти измѣненія представляются крайне хаотичными, неизученными, непредвидѣнными, непредставляющими часто никакой возможности прослѣдить за ихъ началами и концами, — это отражается и въ литературѣ крайнею шаткостью, неопредѣленностью, подъ часъ какою-то болѣзненною двойственностью взглядовъ, отрывочностью картинъ, недосказанностью, или же голословіемъ и бѣдностью аргументовъ при всѣхъ признакахъ глубокой убѣжденности. Вы обратите вниманіе, что въ одномъ и томъ же лагерѣ объ однихъ и тѣхъ же предметахъ вы встрѣтите самыя разнорѣчивыя мнѣнія и толки, и о какихъ еще существенныхъ предметахъ: о томъ, что такое деревня, сельская община, интеллигенція, отношеніе ея къ народу и пр. Люди вполне солидарные очень часто расходятся во взглядахъ на эти предметы до полнаго взаимнаго антагонизма; но замѣчательнѣе всего то, что, вглядываясь въ этотъ антагонизмъ, вы не можете себѣ отдать отчета, въ чемъ же именно эти люди не согласны между собою, гдѣ таится главный корень ихъ разлада? Виѣстъ съ этимъ мы видимъ и еще одно явленіе, обусловливаемое тѣми же причинами, явленіе, на которое успѣла уже обратить вниманіе критика: именно, перевѣсъ въ современныхъ беллетристическихъ произведеніяхъ публицистическаго элемента надъ художественнымъ, разсужденій и размышленій надъ образами. И вы обратите вниманіе, что эта особенность замѣчается у наиболѣе выдающихся и руководящихъ талантовъ, каковы — гр. Л. Толстой, Салтыковъ, Гл. Успенскій и Златовратскій. И это очень понятно: беллетристамъ прежнихъ эпохъ ничего не стоило оставаться въ предѣлахъ художественнаго творчества, исключая изъ своихъ произведеній всякій анализъ изображаемыхъ предметовъ и представляя этотъ анализъ критикамъ и публицистамъ; они постоянно имѣли дѣло съ явленіями установившимися, хорошо всѣмъ извѣстными, издавна успѣвшими намолотить глаза; имъ достаточно было сдѣлать иногда легкій намекъ, маленький штришокъ, чтобы всѣ сейчасъ же догадались, о чемъ идетъ рѣчь и чтобы читатели сами сейчасъ же безъ труда дополнили недоговоренное. Совершенно въ иномъ положеніи современный беллетристъ: онъ постоянно имѣетъ дѣло съ такими новыми и невѣдомыми явленіями, которыя не только читателямъ неизвѣстны, но и для самого его представляютъ рядъ загадокъ. Вслѣдствіе этого онъ пребываетъ въ непрестанномъ страхѣ, что его не поймутъ или не повѣрятъ ему; для него недостаточно лишь показывать, а необходимо кромѣ того разъяснять, разговывать. Въ тоже время онъ не только изображаетъ, — а изучаетъ предметы, о которыхъ пишетъ, и замѣтите при этомъ, что не столько самыя предметы, сколько ихъ измѣненія и различныя движенія въ современномъ строѣ жизни, — и это не одно объективно спокойное олимпийское изученіе со стороны, а при непосредственномъ личномъ участіи въ изучаемомъ, участіи и умомъ, и сердцемъ, и нервами, и всѣмъ существомъ. Читая любое изъ выдающихся беллетристическихъ произведеній, вы видите передъ собою весь

этотъ скорбный и мучительный процессъ изученія и непрестаннаго пытатія; иной разъ все произведеніе, вмѣсто того, чтобы давать вамъ какіе-либо положительные отвѣты, является наполненнымъ одними вопросительными знаками, и Боже, сколько душевной муки слышится вамъ въ этихъ вопросительныхъ крючкахъ, какъ леденѣть въ васъ все, и сердце обливается кровью, когда вы читаете подобное произведеніе.

Понятно, что литературный обозрѣватель въ свою очередь является сбивымъ со всѣхъ прежнихъ прочныхъ позицій и точно также растерявшимся, какъ растерялись всѣ русскіе люди. Что ему дѣлать и какъ ему быть въ безформенномъ хаосѣ, который его окружаетъ? Слѣдовать примѣру прежнихъ обозрѣвателей, т. е. отмѣчать наиболѣе выдающіяся литературныя произведенія и анализировать изображаемую въ нихъ жизнь? Ну, а если обозрѣватель замѣчаетъ, что въ литературѣ и въ десятой долѣ не отражается того, что всѣхъ тревожитъ и волнуетъ, чѣмъ и онъ, обозрѣватель, скорбитъ и болѣетъ до нестерпимой боли, а что и отражается порою въ видѣ отдѣльных намековъ и темныхъ экивоковъ,—не представляется никакой возможности притрагиваться къ этому, хоть слегка? А затѣмъ, принимая въ расчетъ, что въ наиболѣе выдающихся произведеніяхъ передъ вами не столько образы, сколько разсужденія и размышленія, опять задача: какъ вы станете въ качествѣ критика анализировать анализъ; будетъ-ли какой смыслъ въ томъ, что вы, подхватывая разсужденія беллетриста, начнете имъ поддакивать или оспаривать ихъ, если для васъ также мало ясенъ результатъ всѣхъ этихъ разсужденій, какъ и для самого беллетриста? Прочтя въ иномъ произведеніи рядъ мучительныхъ вопросовъ, что вы будете дѣлать съ ними, если вы убѣждены, что вы не въ состояніи ничѣмъ утѣшить ни беллетриста, ни его читателей, такъ какъ рѣшить эти проклятые вопросы не въ силахъ все ваше поколѣніе въ лицѣ лучшихъ его представителей, а отвѣтить на нихъ вся русская жизнь въ своемъ неизбѣжномъ теченіи, Богъ вѣсть, когда и какъ?...

Въ силу всего этого я принужденъ напередъ заявить, что находясь, въ качествѣ литературнаго обозрѣвателя, и самъ въ такомъ-же недоумѣніи, въ какомъ въ настоящее время пребываетъ все на Руси, я не могу опредѣлить никакихъ рамокъ для своихъ писемъ къ читателямъ. Я могу сказать лишь одно: будемъ, читатель бесѣдовать о томъ, чѣмъ у насъ наиболѣе болитъ душа, и тогда, когда у насъ накопится эта боль до невозможности молчаливо сносить ее. Но придется-ли намъ разсуждать по поводу того или другаго новаго беллетристическаго произведенія, ученаго трактата, передовой газетной статьи или литературнаго скандала,—это какъ Богъ на душу положитъ. Я, по крайней мѣрѣ, до такой степени не могу поручиться ни за форму, ни за содержаніе своихъ писемъ, что напередъ попрошу читателей не удивляться, если въ одинъ прекрасный день, вмѣсто ожидаемаго письма, появится вдругъ поэма въ стихахъ, или трагедія, хотя ничего подобнаго у меня въ виду не имѣется.

Такъ, напримѣръ, и на этотъ разъ, казалось бы, чего естественнѣе начать свои литературныя обозрѣ-

нія съ подведенія итоговъ если не всей нашей современной литературы, то хоть за прошлый годъ. И это было бы такъ просто и легко: составить списокъ всего, что вышло въ прошломъ году наиболѣе выдающагося, затѣмъ разсортировать всѣ эти произведенія по степени ихъ талантливости или сообразно предметамъ, о которыхъ они трактуютъ, о каждомъ произведеніи сказать нѣсколько одобрительныхъ или неодобрительныхъ словъ, затѣмъ сдѣлать нѣсколько общихъ замѣчаній о процвѣтаніи или паденіи беллетристики,—и дѣло было бы въ шляпѣ. Но былъ-ли бы какой толкъ въ подобномъ инспекторскомъ смотрѣ беллетристовъ, когда въ послѣднее время передъ нами грознымъ призракомъ всталъ радикальный вопросъ не о какихъ либо достоинствахъ, направленіи или процвѣтаніи беллетристики, а о самомъ ея существованіи, ни болѣе ни менѣе, какъ о томъ, слѣдуетъ-ли ей продолжать свое развитіе, или гораздо будетъ правильнѣе, если мы совсѣмъ вычеркнемъ ее изъ русской жизни, истребимъ ее всю до тла, такъ чтобы и слѣда отъ нея никакого не осталось,—было бы только немножко мокренько. Ни у кого, правда, не хватило благородной смѣлости прямо поставить вопросъ объ уничтоженіи въ русской жизни Тургеневыхъ, Гончаровыхъ, Салтыковыхъ и гр. Толстыхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ конечно ужъ за одно о разрытіи священныхъ могилъ и развѣянніи по воздуху праховъ великихъ мучениковъ и сподвижниковъ русской мысли, начиная съ Пушкина и Лермонтова и кончая Бѣлинскимъ и Добролюбовымъ. Главная особенность фантастическаго мракобѣсія, равно какъ пресмыкающагося передъ нимъ, поддакивающаго угодничества, заключается въ томъ, что они словно стыдятся договариваться до конца и ограничиваются тѣмъ, что высказываются на одну четверть, предоставляя вамъ объ остальныхъ трехъ четвертяхъ самимъ догадываться. Такъ и въ настоящемъ случаѣ: ни у кого, конечно, не хватило на столько честной прямоты, чтобы прямо заявить: долой Тургенева, Гончарова, гр. Толстаго, Салтыкова,—мы обойдемся и безъ нихъ; но это не мѣшаетъ массѣ людей, которые продолжаютъ восхищаться всѣми этими свѣтилами русской беллетристики и прославлять ихъ, въ то же время глумиться надъ русской интеллигенціей и кричать объ ея уничтоженіи, въ видахъ отстраненія всякаго вреднаго средостѣнія. Но что же такое всѣ эти писатели, равно какъ и вообще вся наша литература, какъ не исключительный продуктъ интеллигенціи? И изъ отрицанія послѣдней не вытекаетъ-ли логически отрицаніе чуть что не всего, что только есть на Руси печатнаго, кромѣ развѣ одного полнаго собранія Свода Законовъ?

Въ виду подобнаго роковаго вопроса, поставленнаго, я и самъ не могу понять чѣмъ—временемъ или сошедшими съ ума съ одной стороны и исподличавшимися съ другой — публицистами, конечно, не до инспекторскихъ смотровъ беллетристики. До того-ли тутъ, чтобы разсматривать, хороши или дурны обои въ вашей квартирѣ, когда передъ вами поставленъ вопросъ о срытіи до основанія всего того дома, въ которомъ вы живете? Очевидно, что оставляя въ сторонѣ все остальное, приходится прежде всего вѣдаться съ вопросомъ о судьбахъ и значеніи интеллиген-



цій въ нашей жизни. Вопросъ этотъ въ продолженіи всего прошлаго года стоялъ впереди и наиболѣе занималъ и волновалъ всѣ умы. Изъ-за него въ журналистикѣ нашей не мало было споровъ и всяческихъ пререканій. Поставимъ и мы его впереди и посвятимъ ему первую нашу бесѣду. Я не буду входить здѣсь въ разборъ всѣхъ тѣхъ мнѣній и сужденій, какія были высказаны въ прошломъ году по этому поводу; я на мѣренъ ограничиться тѣмъ, что подамъ свое отдѣльное мнѣніе и предоставлю читателямъ самимъ рѣшить, на сколько это мнѣніе подвинетъ рѣшеніе спора и выяснитъ предметъ его. Но мнѣ сдается, что вопросъ въ значительной мѣрѣ перестанетъ быть вопросомъ, разъ мы его поставимъ на почву исторіи, что я тотчасъ-же и сдѣлаю. И такъ, какъ видите въ первомъ своемъ письмѣ вмѣсто того, чтобы толковать о тѣхъ или другихъ современныхъ намъ писателяхъ, намъ приходится нитѣ дѣло съ исторіею. Но что-же вы будете дѣлать, если мы ея не знаемъ, или забыли?

Въ послѣднія четыреста лѣтъ европейской жизни, мы видимъ два колоссальныя умственныя движенія, весьма богатыя своими результатами не только въ смыслѣ развитія просвѣщенія въ привилегированныхъ, культурныхъ классахъ европейскихъ обществъ, но и улучшенія быта народныхъ массъ. Таковы—эпохи гегѣнзапсе и энциклопедистовъ. И та и другая имѣютъ совершенно различныя точки исхода и результаты, совершенно различныя области жизни, именно одна въ духовно-религіозной сферѣ, другая въ свѣтско-политической; тѣмъ не менѣе обѣ эти эпохи имѣютъ чрезвычайно много общихъ чертъ въ характерѣ и ходѣ движенія. Вотъ на эти-то черты мы и обратимъ наше вниманіе, потому что они служатъ характеристическими признаками всякаго стихійнаго и массоваго умственнаго движенія; эти самыя черты мы найдемъ и въ нашей современной жизни за послѣдніи 20 лѣтъ.

Первый существенный признакъ обоихъ движеній заключается въ томъ, что оба они начались сверху, въ высшихъ правящихъ и культурныхъ классахъ, которые въ обоихъ случаяхъ представляли изъ себя одну и ту же картину одряхлѣнія, отсутствія всякихъ высшихъ общественныхъ и нравственныхъ идеаловъ и цѣлей, празднаго тунеядства при громадномъ скопленіи богатствъ и крайняго разложенія нравовъ, напоминавшаго времена паденія римской имперіи. И вдругъ эта праздная, извращенная, растлѣнная до мозга костей среда, сосущая соки изъ всѣхъ классовъ общества, внезапно озарилась яркими лучами новыхъ идей, раскрывавшихъ всю ея жерзость запустѣнія. Откуда-же являлись эти лучи? Не въ этой-же средѣ могли они возникнуть и, съ другой стороны, не изъ задавленныхъ, обобранныхъ и одичалыхъ народныхъ массъ, едва влачившихъ свое существованіе. А дѣло заключалось въ томъ, что въ обоихъ случаяхъ подъ высшимъ культурнымъ слоемъ изъ подъ земли струился совершенно особеннаго рода источникъ живой воды въ видѣ умственнаго движенія вѣка, развитія наукъ, искусствъ и всякаго рода идеаловъ религіозныхъ, общественныхъ и нравственныхъ. Источникъ этотъ находился порою въ полномъ пренебреженіи, забрасывался всякимъ мусоромъ и за-

рывался повидимому совсѣмъ подъ землю. Но въ самыя мрачныя эпохи всеобщаго одичанія и полнаго равнодушія къ умственнымъ и духовнымъ интересамъ, онъ не изсякалъ и продолжалъ журчать въ тиши хоть по капелькѣ. Вы спросите, къ какому слою общества принадлежала эта струйка? Въ томъ-то и дѣло, что рѣшительно ни къ какому, или лучше сказать, это былъ свой особенный слой, но отнюдь не такой традиціонный, какъ всѣ прочія сословія. Сюда попададалъ и членъ знатнаго рода, и дворянинъ средней руки, и монахъ, и купеческій первенецъ, и сынъ какого-нибудь ремесленника, а иногда и земледѣльца. Но главная особенность этого ручья заключалась въ томъ, что если человѣкъ не ограничивался тѣмъ, что мочилъ въ него только пальчики, а погружался въ него съ головою, онъ сейчасъ-же былъ неудержимо увлекаемъ силою теченія,—и тогда онъ переставалъ уже быть дворяниномъ, монахомъ, купцомъ и пр., а дѣлался лишь членомъ этого особеннаго слоя. То есть, если хотите, по метрицѣ онъ продолжалъ числиться приписаннымъ къ тому сословію, изъ котораго вышелъ, но никто объ этомъ не думалъ, это совсѣмъ забывалось, помнили только, что онъ былъ ученый, химикъ или медикъ, профессоръ, драматургъ, скульпторъ, композиторъ и пр. Обратите вниманіе, что въ біографіяхъ большинства подобныхъ людей мы встречаемъ такую особенность, что родители, видя въ своемъ сынѣ наклонность къ той или другой умственной профессіи, возставали обыкновенно противъ этой наклонности, старались всячески подавить ее, а если это не удавалось, они проклинали своего сына, лишали его наслѣдства, смотрѣли на него, какъ на отщепенца и погибшаго человѣка. И это было естественно: дѣйствительно, человѣкъ, погружившійся въ источникъ, о которомъ мы говоримъ, дѣлался отщепенцемъ отъ своего сословія. Въ качествѣ дворянина онъ былъ обязанъ воевать, блистать и добиваться высшихъ почестей для поддержанія чести своего рода; какъ купецъ, онъ долженъ былъ торговать и увеличивать отцовскіе капиталы; какъ монахъ, онъ всего себя долженъ былъ отдать на служеніе курінъ; будучи сыномъ ремесленника, онъ принадлежалъ къ извѣстному цеху и наслѣдовалъ ремесло отца. Но разъ онъ погружался въ источникъ живой воды, онъ не хотѣлъ ни воевать, ни торговать, ни дѣлать часовъ, онъ весь отдавался наукѣ или искусству, а порою жертвовалъ какой-нибудь идеѣ всѣми интересами того сословія, изъ котораго выходилъ.

Вотъ этотъ-то совершенно особенный, отдѣльный, междусословный слой людей, исключительно работающихъ мозгомъ, и составляетъ то, что мы можемъ называть въ истинномъ и точномъ смыслѣ слова интеллигенціей страны.

Я уже говорилъ выше, что этотъ интеллигентный слой доходитъ порою до едва пробирающагося среди всякаго мусора по капелькѣ ручейка, но за то порою онъ вдругъ превращается въ необъятное море, затопляющее собою цѣлыя страны, и мчитъ бурными и бѣшенными волнами, увлекая все встречаемое на пути въ свои пѣнящіяся пучины. Такъ это и было въ эпохи тѣхъ двухъ умственныхъ движеній, о которыхъ мы говоримъ. Тотъ свѣтъ, который внезапно озарилъ жер-

зость всеобщаго общественнаго запустѣнія, просіялъ изъ интеллигентнаго слоя: въ первомъ случаѣ въ видѣ возрожденія классической образованности, во второмъ—въ видѣ философскаго движенія XVIII вѣка. Мы не станемъ распространяться о томъ, какимъ путемъ и вслѣдствіе какихъ обстоятельствъ въ нѣдрахъ интеллигентнаго слоя возникло то и другое движеніе; это завело-бы насъ очень далеко, да и не въ этомъ наше дѣло. Для насъ важно то, что въ обоихъ случаяхъ тотъ могучій энтузіазмъ, который скоплялся въ нѣдрахъ интеллигентнаго слоя, первымъ дѣломъ увлекалъ за собою тѣ самые разложившіеся культурные слои, которые грозили смертью всему европейскому міру. Конечно, это происходило потому, что вслѣдствіе безсодержательной пустоты жизни этихъ слоевъ и крайней нервной тряпичности и дряблости, они представляли собою самый удобоподвижный матеріалъ для увлеченія куда угодно. По крайней мѣрѣ, въ обоихъ движеніяхъ мы видимъ одно и то-же явленіе: въ эпоху *renaissance* наиболѣе ревностными поборниками классицизма были папы, кардиналы, прелаты, аббаты; въ эпоху XVIII вѣка первыми поклонниками энциклопедистовъ были придворные версальскаго двора и вообще парижская знать.—Въ обоихъ случаяхъ люди умственныхъ профессій, до того времени находившіеся въ крайнемъ пренебреженіи, входили вдругъ въ моду, ихъ начинали сажать всюду на первое мѣсто, знакомства съ ними добивались, какъ высочайшей чести; деньги сыпались рѣкою на поощреніе наукъ и искусствъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ среда интеллигентнаго слоя начинала быстро расширяться. Это уже были теперь не одни междусословные отщепенцы, а, можно сказать, культурное общество всею своею массою вливалось въ берега интеллигентнаго источника, и послѣдній наводнялъ собою всю Европу. Каждый плюгавенькій аббатикъ, въ XV вѣкѣ, каждый истасканный петиметрикъ въ XVIII в., мнили себя новыми людьми, поощряли, покровительствовали, ораторствовали, философствовали, кошунствовали и мечтали о близкомъ наступленіи золотого вѣка. Правда, это всеобщее наводненіе очень вредило чистотѣ струй интеллигентнаго источника; очень понятно, что онъ увлекалъ за собою всякую грязь, и весь уносимый имъ навозъ мнилъ себя передовою интеллигенціею; но это не мѣшало среди мутнаго и пѣнящагося потока оставаться прежнему фарватеру, наполняемому все тѣми-же чистыми и прозрачными струями, изъ которыхъ всякій могъ пить живительную влагу безъ малѣйшаго вреда для здоровья.

Къ тому-же увлеченіе новыми идеями не обходилось дешево разложившимся слоямъ общества: они не только никого не обманывали своею мнимой интеллигентностью, но напротивъ того сразу обнаруживали все вопіющее противорѣчіе склада своей жизни съ новыми идеями и всю свою несостоятельность прийтись къ новымъ требованіямъ. Такъ, напримѣръ, никого не поражало, когда профессора разныхъ итальянскихъ университетовъ, художники или поэты увлекались произведеніями древнихъ классиковъ и въ діалогахъ Платона искали разрѣшенія всѣхъ своихъ философскихъ вопросовъ; но когда папы, прелаты и вообще все католическое духовенство ударилось въ

классицизмъ, это произвело впечатлѣніе скандала. Когда въ устахъ священнослужителей имена древнихъ боговъ начали преобладать надъ именами христіанскихъ святыхъ, когда нѣкоторые изъ нихъ открыто заявляли, что для нихъ авторитеты Цицерона или Аристотеля гораздо важнѣе, чѣмъ авторитеты не только отцовъ церкви, но и самаго Евангелія, когда на святѣйшемъ престолѣ появились папы, тщеславившіеся атеизмомъ, въ это время, (естественно, современникамъ могло казаться, что не только католичество, но и самое христіанство близко къ концу, и что происходитъ возвращеніе къ древнему язычеству.

Совершенно въ такой-же степени были нелѣпы всѣ эти изношенные и раздвоенные маркизы и герцоги XVIII вѣка, когда они, зачитываясь энциклопедистовъ и Ж. Ж. Руссо, ораторствовали о свободѣ, равенствѣ и братствѣ, мечтали объ идиллической сельской жизни подъ соломенной крышей на лонѣ природы и среди всего своего безумнаго жотства, кутежей и оргій проливали въ своихъ раззолоченныхъ чертогахъ сентиментальныя слезы о несчастномъ голодающемъ народѣ. Суворину, Вагнеру и кн. Демидову Сень-Донатъ представляется, можетъ быть, что они открыли и нивѣсть какую Америку—въ видѣ сердобольнаго плача о несчастныхъ обитателяхъ дома Вяземскаго и воззваній къ пожертвованіямъ для облегченія ихъ участи. Но, между тѣмъ, куда какъ превосходили ихъ въ этомъ отношеніи развратные парижскіе селадоны XVIII вѣка. У Суворина оказывается такъ мало воображенія, что онъ, проживая въ Петербургѣ не одинъ уже десятокъ лѣтъ и отлично зная, что на Сѣнной есть домъ Вяземскаго и что такое этотъ домъ Вяземскаго (да и одинъ-ли, полно, у насъ такой домъ въ Петербургѣ!), до сихъ поръ не могъ себѣ представить, какъ живутъ обитатели этого дома, ни на минуту не задумывался объ этомъ предметѣ и впредь, конечно, не позаботился-бы остановиться на подобныхъ размышленіяхъ, если-бы случайно не подвернулась статистика городского населенія, и ему не пришлось-бы во-очію увидѣть, что творится въ домѣ Вяземскаго; тутъ только онъ ужаснулся и расплакался. А въ Парижѣ, въ XVIII столѣтіи, не одни газетные публицисты случайно, а маркизы, герцоги, придворныя дамы самостоятельно и нарочно лазили по чердакамъ, подваламъ и всякимъ вертепамъ нищеты и проливали тамъ не такія еще горькія слезы. Князь Демидовъ Сень-Донатъ, пожертвовавши 5,000 рублей, обѣщалъ ежегодно жертвовать такую-же сумму, и редакція „Новаго Времени“ тотчасъ-же капитализировала это обѣщаніе и оцѣнила его въ 100,000. Во Франціи-же въ концѣ прошлаго столѣтія дѣло ограничивалось не одними капитализаціями обѣщаній, а на провинціальныхъ собраніяхъ и въ парижскихъ салонахъ собирались дѣйствительныя капиталы въ сотни тысячъ и миллионы, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить участь той страшной нищеты, до какой въ то время дошли низшіе классы страны. И при всемъ томъ, не только потомкамъ, но и современникамъ этихъ маркизовъ и герцоговъ во всѣхъ ихъ сентиментальныхъ возгласахъ и благотворительной щедрости чувствовалась бездна лицемерія и лжи.

Далѣе затѣмъ мы видимъ, что оба разсматриваемыя

нами движенія вдругъ словно переломляются. Первыми дѣломъ, высшіе культурные классы быстро охладѣваютъ отъ того увлеченія, которому они первые поддались, и сторонятся отъ движенія, но за то оно все болѣе и болѣе развивается въ среднихъ классахъ и, наконецъ, въ народѣ. Виѣстъ съ тѣмъ оно совершенно измѣняетъ свой характеръ. Въ первый періодъ, въ обоихъ случаяхъ оно имѣло обще-философскій, абстрактный характеръ. Дѣло шло о перерѣшеніи всѣхъ вопросовъ жизни и религіозныхъ, и нравственныхъ, и политическихъ, и художественныхъ, и культурныхъ; все перевертывалось наизпанику съ цѣлю не оставить на прежнемъ мѣстѣ ни одного камушка въ общественномъ строѣ; но все это производилось а priori, и дѣло ограничивалось одними разсужденіями, или-же предпринимались повидимому широкія и радикальныя реформы, по сводились къ нулю, и все шло по старому. Такъ, въ 15-мъ вѣкѣ передъ реформациею сколько и говорилось, и писалось о необходимости перестроить церковь на совершенно новыхъ основаніяхъ, объ отрѣшеніи отъ всѣхъ прежнихъ злоупотребленій и заблужденій; издавались съ этою цѣлю буллы за буллами, собирались соборы. Но все оставалось по старому, и тѣ самые просвѣщенные папы, въ родѣ Льва X, которые зачитывались Цицеронами и Демосфенами и украшали свой Ватиканъ произведеніями классической древности, оставались все тѣми-же вавилонскими блудницами, стягивавшими въ свой всемогущій Римъ лучшіе соки со всей Европы. Также точно и всѣ реформы XVIII вѣка во Франціи, несмотря на широкія философскія пден, на которыхъ онѣ основывались, и при всемъ искреннемъ желаніи спасти разлагающееся общество, ни на юту не подвигали дѣла: оставались все тѣ-же разстроенные финансы, тотъ-же своевластный бюрократизмъ, тѣ-же феодальныя поборы безъ конца. Во второмъ періодѣ движенія мы видимъ совсѣтъ иной порядокъ вещей. Правда, золотой вѣкъ литературы и философіи кончается. Эразмы и Рейхлины, Вольтеры и Руссо сходятъ одинъ за другимъ со сцены. Въ литературѣ и въ мірѣ искусствъ наблюдается замѣтный упадокъ. Прежній широкій полетъ мысли значительно суживается. Но за то мысль пзъ метафизическихъ высотъ спускается на землю, на реальную почву насущныхъ вопросовъ жизни.

Виѣстъ съ этимъ переходомъ умственного движенія на практическую почву, тѣ культурные классы, которые прежде стояли во главѣ движенія, привѣтствовали его и поощряли, теперь напротивъ того становятся къ нему въ самыя враждебныя отношенія. И это очень понятно: дѣло теперь заключается не въ какихъ-либо отвлеченныхъ умствованіяхъ, а приходится платиться кое-чѣмъ реальнымъ; такъ въ XV вѣкѣ папы видѣли, какъ ускользало пзъ ихъ рукъ всемірное владычество надъ народами и королями; такъ французскому дворянству XVIII вѣка предстояло разстаться съ феодальными привилегіями. Тогда приверженцы старины и statu-quo начинаютъ приписывать опасность подобныхъ жертвъ не какимъ-либо реальнымъ причинамъ, политическимъ и экономическимъ, а исключительно тому умственному движенію, которое яко-бы смутило умы вредными теоріями. Исключо-

чительными виновниками движенія являются тѣ самыя философы, публицисты и поэты, которымъ такъ недавно еще чуть что не воздвигали алтари. Оказывается, что они, по совершенно произвольному злоумышленію, разорвали всѣ связи съ спасительными традиціями и заварили всю кашу. И вотъ борьба выходитъ изъ своей специальной сферы, — религіозной въ первомъ случаѣ, политической во второмъ; она дѣлается чисто культурною борьбою цивилизаціи съ варварствомъ, просвѣщенія съ невѣжествомъ. Такъ, мы видимъ, въ XVI и XVII вѣкахъ инквизиція жгла на своихъ кострахъ не однихъ еретиковъ и всякаго рода церковныхъ отщепенцевъ, но и ученыхъ, философовъ, вообще всѣхъ интеллигентныхъ людей, державшихъ мыслить свободно и самостоятельно, не сообразуясь съ католическими традиціями, въ которыхъ снова начали полагать все спасеніе. Точно также и Вандея, — если-бы восторжествовала, она конечно не ограничилась-бы одними своими политическими врагами, а набросилась-бы на всю интеллигенцію страны, увлеченную умственнымъ движеніемъ вѣка. Объ этомъ мы можемъ судить по ужасамъ бѣлаго террора въ эпоху реставраціи и по тенденціямъ такихъ реакціонеровъ-изувѣровъ, какъ Де-Местеръ или Меттернихъ, которые возставали не противъ однихъ только политическихъ враговъ, а вообще противъ свободнаго и самостоятельнаго движенія идей въ интеллигентныхъ сферахъ; въ своихъ крестовыхъ походахъ противъ интеллигенціи они точно также опирались на здоровыя инстинкты народныхъ массъ, которымъ яко-бы врождены ихъ излюбленные традиціонные принципы, какъ нѣкогда и инквизиція въ своихъ гоненіяхъ, воздвигаемыхъ противъ Галлеевъ или Бруно, льстила себя убѣжденіемъ, что она дѣйствуетъ за одно съ народомъ, который яко-бы по самому своему существу является строгимъ приверженцемъ католической ортодоксіи и ненавидитъ всякія еретическія умствованія.

Если мы теперь обратимся къ нашему отечеству, то и у насъ вы найдете такое-же умственное движеніе, совершающееся по тѣмъ-же самымъ законамъ, какъ и тѣ два колоссальныя европейскія движенія, которыя мы только что разсмотрѣли. Толчкомъ къ нашему движенію послужило все то-же развитіе философскихъ и гуманныхъ идей XVIII-го вѣка, которое не замедлило оказать свое вліяніе и на культурные слои нашего отечества. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что до императрицы Екатерины въ обществѣ нашемъ было полное отсутствіе всякой умственной жизни, не замѣчалось ни малѣйшей самостоятельной мысли или какой-бы то ни было самодѣтельности. Вся интеллигенція сосредоточивалась въ правительствѣ до такой степени, что интеллигенція и правительство совершенно отождествлялись. Если являлся въ то время человекъ, выдѣлявшійся пзъ темной полуграмотной массы и увлекался какими-нибудь высшими умственными интересами (Ломоносовъ, Тредьяковскій), онъ сейчасъ-же вступалъ въ ряды правительства, дѣлался чиновникомъ. Совершенно не то мы видимъ въ концѣ XVIII-го вѣка. Къ этому времени и у насъ является самостоятельный интеллигентный слой людей, выдѣлившихся пзъ общественной, пнертной массы и посвятившихъ всю свою жизнь служенію чисто ум-

ственнымъ и нравственнымъ интересамъ. Правда, весь этотъ интеллигентный слой принадлежалъ къ дворянскому сословію; но ни Новиковъ, Радищевъ или Фонвизинъ, ни литературные кружки 20-хъ и 30-хъ годовъ, ни такъ называемые люди 40-хъ годовъ,— по своимъ стремленіямъ, не имѣли ничего общаго съ тѣмъ сословіемъ, къ которому они принадлежали. Напротивъ того, мы видимъ, что всѣ тѣ идеи, которыя они проповѣдывали, и цѣли, къ которымъ стремились, шли совершенно въ разрѣзъ съ узко-дворянскими принципами и интересами. Въ той общественной средѣ, въ которой они вращались, они постоянно играли роль отщепенцевъ, людей лишнихъ и безпокойныхъ. Извѣстно, чѣмъ кончилась дѣятельность Новикова. Фамусовъ говорилъ про Чацкаго, что такихъ людей не слѣдуетъ и на выстрѣлъ подпускать къ столицамъ. Пушкинъ и Лермонтовъ всю жизнь владели въ изгнаніи и умерли преждевременно насильственной смертью, которой они искали, разочарованные, оскорбленные, ожесточенные окружающею ихъ пошлостью. Рудины и Бельтовы бѣжали изъ отечества въ надеждѣ на чужбинѣ найти дѣло, котораго тщетно искали на родинѣ...

Наконецъ, въ 60-е годы мы видимъ, что движеніе, которое до того времени струилось въ тѣсныхъ (калитыхъ берегахъ), едва пробиваясь среди мусора и навоза нашей жизни, вдругъ овладѣло цѣлыми массами людей изъ всѣхъ классовъ общества, а главное дѣло изъ дворянскихъ слоевъ спустилось въ средніе и мѣщанскіе классы. И у насъ мы видимъ то-же философское броженіе, то-же стремленіе перерѣшить всѣ вопросы жизни, и религіозные, и нравственные, в литературные, и общественные; и точно также подобное перерѣшеніе вращалось болѣе въ отвлеченныхъ, умозрительныхъ сферахъ, а на практикѣ хотя предпринимался рядъ широкихъ реформъ, но жизнь продолжала поконяться все на тѣхъ-же старыхъ, рутинныхъ основаніяхъ.

Конецъ 60-хъ и 70-е годы представляются у насъ началомъ того перелома движенія, о которомъ была рѣчь выше. И у насъ мы видимъ что тѣ культурные слои, которые въ 60-е годы увлекались движеніемъ, не только охлаждаются къ нему, но и становятся такъ или иначе во враждебныя отношенія. Въ то-же время кончается золотой вѣкъ литературы. Дѣятели 40-хъ и 60-хъ годовъ или совсѣмъ сходятъ со сцены, или доживаютъ свои годы, успѣвши совершить всю свою кипучую дѣятельность и ограничиваются теперь повтореніемъ стараго; но это старое никого не увлекаетъ такъ, какъ прежде, не удовлетворяетъ, не имѣетъ и тѣни прежняго обаянія. По своему содержанію движеніе значительно стуживается: вы не видите уже прежнихъ полетовъ мысли, стремившейся перерѣшить всѣ вопросы жизни, не опустивши изъ виду ни одной ея стороны, общественной или индивидуально-нравственной. Теперь все поглощается однимъ вопросомъ— народнымъ, вопросомъ вполне практическимъ; оказывается, что ранѣе разрѣшенія этого рокового вопроса жизни о всѣхъ прочихъ вопросахъ нечего и думать въ серьезъ: они сами собою рѣшатся, какъ только будетъ покончено съ основнымъ вопросомъ жизни.

Въ то-же время прежніе философы, публицисты-теоретики, критики и художники-созерцатели сдѣлаются практически дѣятелями. Это мы видимъ даже и на беллетристикѣ. Въ послѣднее время не мало было толковъ о томъ, отчего нынѣ является такъ мало художественныхъ талантовъ изъ молодежи, отчего и тѣ, которые появились въ 60-ые годы (Гл. Успенскій, Н. Златовратскій, Н. Наумовъ и пр.), ограничиваются мелкими очерками и разсказами полубеллетристическаго, полупублицистическаго характера, а не создаютъ ничего такого увѣсистой, высокохудожественнаго, какое создавалось въ 40-ые и 60-ые годы. Это вполне объясняется вышеприведенною причиною. Неговоря уже о томъ, что очень многіе талантливые люди, вѣсто того, чтобы подвизаться на литературномъ поприщѣ, увлекаются практическою дѣятельностью, но и тѣ, которые предпочитаютъ литературную арену, являются на ней все тѣми-же борцами. Не такое теперь время, чтобы возсѣдать на Олимпѣ и съ облачной высоты созерцать жизнь съ олимпийскимъ безпристрастіемъ. Каждое являющееся нынѣ художественное произведеніе, къ какому-бы лагерю оно ни принадлежало, носитъ характеръ борьбы, преслѣдуетъ непосредственныя, практическія цѣли, и это дѣлается вовсе не вслѣдствіе какихъ-нибудь предвзятыхъ эстетическихъ теорій, требующихъ непремѣнно тенденціозной беллетристики. Тенденціозная беллетристика принадлежала къ философскимъ 60-мъ годамъ и отжила вмѣстѣ съ ними. Тенденціозная беллетристика поучала, развивала идеи, обличала. Современная-же беллетристика—или задаетъ вопросы для практическаго рѣшенія ихъ, или непосредственно дѣйствуетъ, увлекая людей въ ту или другую сторону.

Наконецъ, какъ послѣдній и яркій признакъ времени, мы видимъ и возникшіе въ настоящее время толки объ устраниніи интеллигенціи, интересы которой яко-бы расходятся съ интересами народа, которая прервала будто-бы съ народомъ всякія живыя связи и стоитъ поперекъ правильнаго рѣшенія народнаго вопроса. Но вопросъ, господа, что вы разумѣете подъ интеллигенціею? Если тѣ культурные слои, которые нѣкогда увлечены были энтузіазмомъ движенія, но теперь все болѣе и болѣе отстаютъ отъ него, устраняются и выказываютъ всю свою дряблость, всѣ элементы полнаго разложенія и вырожденія, наконецъ все свое лицемеріе скрываютъ подъ громкими фразами стремленій самаго узко-эгоистическаго и низменнаго характера, въ такомъ случаѣ намъ ничего не остается, какъ протянуть вамъ руку полной съ вами солидарности относительно этого предмета. Но если вы сами такіе-же лицемеры, если вы сами играете громкими словами слитія съ народомъ и служенія его интересамъ, прикрывая подъ этими фразами побужденія самаго антинароднаго свойства, если въ лицѣ интеллигенціи вы мечтаете уничтожить то самое умственное движеніе, которое съ самаго начала своего, со временъ Новикова и Радищева и до сего дня, не только ни разу не пзмѣняло народныхъ интересовъ, а все болѣе и болѣе проникается ими... Въ такомъ случаѣ, милостивые государи, не слишкомъ-ли ужъ вы опоздали въ своемъ благородномъ стремленіи? Легко было отстранить сразу всѣхъ людей 30-хъ и 40-хъ годовъ и сна-

сти Русь отъ Пушкина и Лермонтова, Бѣлинскаго и Гоголя, но теперь это довольно уже трудно, господа.

## II.

Въ прошломъ письмѣ я говорилъ, между прочимъ, о раздѣленіи каждаго умственного движенія на два рѣзкіе періода: первый—абстрактно-философскій и второй, періодъ—практически-дѣятельный. Теперь я хочу доказать фактами нашей современной беллетристики, что мы вступаемъ въ настоящее время во второй практическій періодъ умственного движенія. Для этого я избираю Гл. Успенскаго, въ произведеніяхъ котораго послѣднихъ пяти лѣтъ наиболѣе ярко отражается именно то, о чемъ идетъ у насъ рѣчь.

Абстрактный періодъ умственного движенія постоянно отличается тѣмъ, что создаетъ цѣлый рядъ миражей, въ которыхъ приходится разочаровываться второму періоду. Это происходитъ потому, что въ первомъ періодѣ преобладаетъ отвлеченное мышленіе; вмѣсто того, чтобы анализировать факты живой дѣйствительности и изъ этого анализа дѣлать общіе выводы, люди, увлекающіеся новыми идеями, подводятъ факты подъ эти идеи, или-же путемъ логическихъ умозаключеній создаютъ такіе воображаемые факты, никакого подобія которымъ нѣтъ въ дѣйствительности. Таковы были, напримѣръ, въ XVIII вѣкѣ всѣ представленія о народѣ. Всѣмъ и каждому мало-мальски мыслящему и читающему челоуку было отлично въ то время извѣстно, что въ противоположность искусственнымъ нравамъ растлѣнной цивилизаціи, отъ которой слѣдовало во чтобы то ни стало освободиться, народная среда представляетъ собою именно тѣ самые естественные, неиспорченные, первобытные нравы золотого вѣка, о которыхъ мечталъ Руссо. Народъ не иначе рисовался въ воображеніи философовъ XVIII вѣка, какъ въ видѣ трудолюбивыхъ, добрыхъ, благодущныхъ и незлобивыхъ поселянъ, чуждыхъ всякихъ честолюбивыхъ и любостажательныхъ страстей, зависти или истительности, способныхъ довольствоваться самымъ малымъ и наслаждаться мирнымъ счастьемъ подъ соломенною кровлею, трогательно благодарныхъ за каждый проблескъ участія къ нимъ, терпѣливыхъ, кроткихъ и преисполненныхъ подобострастной покорности. Правда, они немного обнищали, голодаютъ, бѣдны, и вымираютъ чуть что не цѣлыми провинціями, безропотно подчиняясь своей судьбѣ, но стоитъ протянуть имъ руку братской помощи, вывести ихъ изъ бѣдственнаго положенія, и отечество тотчасъ же процвѣтетъ, повсюду воцарятся тѣ буколическіе нравы золотого вѣка, какіе господствуютъ въ народной средѣ, и на благодѣтелей со стороны благодѣтельствованныхъ польются цѣлые потоки умиленныхъ благословеній.

И каково-же было всеобщее разочарованіе, когда, вмѣсто всѣхъ этихъ воображаемыхъ идиллическихъ пастушковъ и пастушекъ, испуганнымъ взорамъ людей XVIII вѣка предстала вдругъ толпа побросавшихъ свои истощенныя поля, свирѣпыхъ, одичалыхъ браконьеровъ, принявшихъ разорать помѣщичьи замки съ жестокостью гунновъ, или голодныхъ обор-

ванныхъ городскихъ пролетаріевъ, начавшихъ устраивать кровавыя оргіи по улицамъ Парижа. Земледѣльцы же захолустныхъ мѣстностей, какова была Вандея, наиболѣе сохранившіе первобытный типъ французскаго крестьянина и подходившіе къ идиллическимъ фантазіямъ философовъ, вмѣсто благословеній за оказываемыя имъ благодѣянія, вздумали вдругъ ополчиться на своихъ благодѣтелей во имя сохраненія именно тѣхъ самыхъ феодальныхъ порядковъ, при которыхъ имъ такъ скверно жилось.

Историческій фактъ, приведенный нами, представляетъ собою безспорно крайнюю степень, до какой когда либо доходило обольщеніе иллюзіей; можно положительно сказать, что никогда, ни до того времени, ни послѣ него люди такъ глупо не обманывались въ дѣйствительности и такъ радикально, такъ прискорбно не разочаровывались въ ней. Особенно-же трудно представить себѣ подобнаго рода иллюзіи въ нашъ практическій XIX вѣкъ реальнаго мышленія и трезваго анализа. Но нельзя сказать, чтобы и мы были совершенно застрахованы отъ всякихъ иллюзіи. Люди могутъ руководствоваться идеями, добытыми вполне реальнымъ путемъ, но обращаться съ ними нисколько не реально. Это бываетъ каждый разъ, когда идея, сама по себѣ реальная, обращается для насъ въ готовую абстрактную формулу, которую мы прилагаемъ къ фактамъ зря, ни мало не заботясь о провѣркѣ соотвѣстствія послѣднихъ съ этою идеею. Можетъ быть, факты эти, если-бы мы начали анализировать ихъ самостоятельно, привели бы насъ совсѣмъ къ инымъ выводамъ, а мы нисколько о такомъ анализѣ не заботимся, а подходимъ къ фактамъ съ предвзятыми о нихъ мнѣніями. Это ведетъ къ новымъ иллюзіямъ, правда, не такимъ грубымъ, какъ вышеприведенная, но тѣмъ болѣе обольстительнымъ и поэтому вреднымъ, что они опираются на данныя, заслуживающія полного уваженія.

И вотъ мы видимъ, что 60-е годы, этотъ абстрактный періодъ нашего умственного движенія, не смотря на свой реализмъ, въ свою очередь завѣщали намъ рядъ обольстительныхъ иллюзіи, съ которыми намъ приходится нынѣ раздѣляться при вступленіи въ новую, практическую фазу нашего умственного движенія.

И замѣчательно, что эти новыя иллюзіи, хотя далеко не столь грубы, какъ иллюзіи XVIII вѣка, тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы въ нихъ не было нѣкоторыхъ аналогическихъ чертъ. Въ настоящемъ случаѣ во главѣ стоятъ нѣсколько азбучныхъ истинъ, въ неоспоримости которыхъ не можетъ быть ни малѣйшихъ сомнѣній. Такъ, напримѣръ, кому пришлось въ голову усомниться въ томъ, что праздность и тунеядство разслабляютъ всѣ силы челоука и ведутъ къ нравственному растлѣнію, а физическій трудъ напротивъ того, укрѣпляетъ мускулы и нервы и создаетъ богатей, какъ въ физическомъ, такъ и въ психическомъ отношеніяхъ. Далѣе затѣмъ, кому неизвѣстно, что и трудъ труда рознь; что только сельскій, земледѣльческій трудъ на лонѣ природы, на свѣжемъ, здоровомъ воздухѣ, при разностороннемъ упражненіи мускуловъ представляетъ собою идеалъ труда, городской же фабричный или ремесленный трудъ, въ помѣ-

щеніяхъ, наполненныхъ всякими ядовитыми испареніями, при крайне одностороннемъ упражненіи мускуловъ, не только не укрѣпляетъ человѣка, а напротивъ калѣчитъ его и физически, и нравственно. Согласитесь сами, что все это такія идеи, передъ которыми только и остается, что снять шляпу и отвѣсить въ знакъ уваженія глубокой поклонъ. Затѣмъ изъ этихъ идей логически проистекаетъ раздѣленіе всѣхъ обитателей страны на два противоположные міра, во многомъ напоминающее собою такое же раздѣленіе XVIII вѣка: съ одной стороны развращенный цивилизаціей городъ, съ другой святая деревня во всей своей первобытной простотѣ; тамъ индивидуализмъ, конкуренція, ожесточенная борьба за существованіе, здѣсь община, братство, справедливость, все „по равенію и по правдѣ“; тамъ люди такъ и наровятъ, какъ бы уклониться отъ письменныхъ, нотаріальныхъ актовъ, припечатанныхъ седью печатями, здѣсь-же свято держать разъ данное слово, не скрѣпленное никакими бумагами или свидѣтельскими удостовѣреніями; однимъ словомъ—тамъ адъ крошечный, здѣсь—рай земной. И опять таки, принимая подобное дѣленіе, какъ прямой, логическій выводъ изъ совершенно справедливыхъ идей, какъ широкую абстракцію, нельзя отказать этой абстракціи въ глубокой правдѣ. Но если мы начнемъ смотрѣть на эту истину, не какъ на абстракцію, вѣрную лишь въ массовомъ, собирательномъ смыслѣ, съ птичьяго полета и при разсмотрѣніи вѣковыхъ историческихъ судебъ, а отнесемся къ ней, какъ къ чему-то конкретному, приложимому къ каждому данному факту окружающей насъ жизни, если мы въ каждой деревнѣ, въ которую входимъ, будемъ предполагать рай земной, а въ каждомъ встрѣчномъ мужикѣ или бабѣ прозрѣвать непремѣнно идеальныхъ представителей деревенскихъ началъ, мы не замедлимъ впасть въ міръ фантастическихъ иллюзій. Дѣло въ томъ, что логика жизни далеко отличается отъ логики нашего мышленія: въ то время, какъ мы выводимъ наши умозаключенія изъ двухъ трехъ посылокъ, жизнь выводитъ свои факты изъ неисчислимаго количества причинъ; мы создаемъ нашего идеальнаго мужика, соображая лишь оздоравлиющія условія сельскаго труда, въ дѣйствительности же мужикъ является созданіемъ равнодѣйствующей силы самыхъ разнообразныхъ и противурѣчащихъ факторовъ, въ число которыхъ на каждомъ шагу входитъ и тотъ самый городъ, вліяніе котораго мы въ настоящемъ случаѣ совершенно игнорируемъ. Въ нашемъ мышленіи противоположности такъ и остаются противоположностями, враждебно обращенными другъ къ другу спинами, въ жизни же противоположности непрестанно вліяютъ другъ на друга, стремятся слиться во единое. Такъ и въ данномъ случаѣ, городъ и деревня могли-бы оставаться въ вѣчной своей противоположности, если-бы были отдѣлены другъ отъ друга китайскою стѣною; но они не только не отдѣлены, а напротивъ того тѣсно связаны другъ съ другомъ до такой степени, что ни городъ безъ деревни, ни деревня безъ города существовать не могутъ. А при такой связи они непрестанно вліяютъ другъ на друга и производятъ рядъ фактовъ и явленій совершенно особеннаго, специфиче-

сочиненія А. СКАВИЧЕВСКАГО.—II.

скаго свойства, не имѣющихъ ничего общаго съ тѣми прямолинейными выводами, которые мы дѣлаемъ изъ нашихъ излюбленныхъ абстракцій.

Пока наше умственное движеніе пребывало въ первомъ абстрактномъ своемъ періодѣ, намъ ничего не значило вполне игнорировать всю эту игру жизни и довольствоваться своими азбучными абстракціями. Мы были убѣждены, что стоимъ на реальнѣйшей почвѣ, когда въ дѣлѣ изученія народнаго быта ограничивались тѣмъ, что въ лирическихъ стихотвореніяхъ или беллетристическихъ разсказахъ оплакивали золотую тѣдушность, трапичность и извращенность городского интеллигентнаго человѣка и противопоставляли ему богатейшей труда, гуманныхъ въ своей первобытной простотѣ, выносливыхъ, незлобиво-кроткихъ, безропотно покорныхъ своей участи. Подобно людямъ XVIII вѣка, мы проливали горькія слезы о томъ, что эти деревенскіе богатыри, которымъ несомнѣнно принадлежитъ будущее, терпятъ голодъ, холодъ и всякія неудобства жизни, и воображали, что стоимъ намъ протянуть имъ руку братской помощи, и наша ручка будетъ сейчасъ-же облобызана съ чувствомъ горячей благодарности. Въ каждомъ мужикѣ и бабѣ мы предполагали полную солидарность со всѣми нашими дорогими убѣжденіями, и были увѣрены, что стоимъ намъ появиться въ народной средѣ и произнести тамъ нѣсколько словъ, какъ сейчасъ-же всѣ таящіяся въ глубинѣ народной души неосознанные инстинкты тотчасъ-же всплывутъ наружу, получатъ опредѣленную формулировку, насъ, конечно, тотчасъ-же съ восторгомъ подхватятъ на руки и понесутъ, какъ какихъ-нибудь Прометеевъ.

Но первое практическое столкновеніе съ народною средою, первое ознакомленіе съ конкретными фактами народнаго быта должны были неминуемо поставить изучателей и наблюдателей въ полное недоумѣніе. Передъ ними сразу открылся цѣлый міръ фактовъ, управляющихся своими особенными законами и не только не имѣющихъ ничего общаго съ привычными абстракціями, но подъ частъ идущихъ съ ними совершенно въ разрѣзъ. Мы не будемъ распространяться о томъ, какой невообразимый сумбуръ и смятеніе произвело въ умахъ массы мыслящихъ людей это неожиданное столкновеніе прекрасныхъ иллюзій съ печальною дѣйствительностью, сколько при этомъ было изломанныхъ и погибшихъ существованій, сколько малодушныхъ и слабыхъ людей впадо въ постыдное уныніе, скороспѣлое разочарованіе, повѣсило голову, и сложило руки въ бесплодномъ отчаяніи. Обратимся прямо къ Гл. Успенскому, который намъ тотчасъ-же все это разскажетъ съ полною обстоятельностью, такъ какъ этотъ писатель является въ настоящее время наиболѣе яркимъ и полнымъ выразителемъ именно того паденія иллюзій, о которомъ идетъ у насъ рѣчь. Если гдѣ въ настоящее время таится новое слово, то вотъ гдѣ слѣдуетъ искать его: въ произведеніяхъ Гл. Успенскаго послѣднихъ лѣтъ, потому что эти произведенія вполне выражаютъ собою именно тотъ важный историческій моментъ, который мы переживаемъ.

И вы замѣтите, что это новое слово принадлежитъ далеко не всей дѣятельности Гл. Успенскаго. Прежде



Гл. Успенскій былъ совсѣмъ не тотъ, чѣмъ онъ представляется нынѣ. Прежде, онъ ограничивался въ своихъ разсказахъ очерками быта городскихъ мѣщанскихъ слоевъ и такъ называемыхъ разночинцевъ; онъ только и дѣлалъ, что повѣствовалъ намъ о всѣхъ ихъ нравственныхъ, умственныхъ и экономическихъ недугахъ, порою весьма талантливо смѣялся надъ ними, порою не менѣе талантливо оплакивалъ ихъ, плакалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и надъ самимъ собою, такъ какъ во всѣхъ его произведеніяхъ сильно проглядывалъ чисто субъективный элементъ, и иногда авторъ вполне сливался со своими героями. Но въ концѣ 70-хъ годовъ въ дѣятельности его мы видимъ рѣзкій поворотъ: онъ обращается къ деревнѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ во всѣхъ его послѣдующихъ произведеніяхъ начинается проглядывать чисто прудоновскій приемъ. Совершенно подобно тому, какъ Прудонъ постоянно занимался тѣмъ, что бралъ различныя, освященныя вѣками истины, давно обратившіяся въ неоспоримыя аксіомы, и раскрывалъ въ этихъ истинахъ массу логическихъ противорѣчій, точно также поступаетъ Гл. Успенскій и съ излюбленными нашими иллюзіями. Разница заключается въ томъ, что Прудонъ совершалъ свои операціи путемъ метафизической діалектики, Гл. Успенскій же дѣлаетъ тоже самое художественными средствами представленія конкретных фактовъ жизни народа, стоящихъ въ полномъ противорѣчій съ прежними иллюзіями. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе, что передъ вами не холодный, безстрастный анатомъ, полосующій живое мясо съ улыбкою удалства и глухой къ страданіямъ жертвы. Не нужно забывать, что иллюзіи, съ которыми имѣетъ дѣло авторъ, составляютъ существенный элементъ жизни цѣлаго поколѣнія. Онъ самъ, авторъ, всю жизнь прожилъ съ этими иллюзіями, и они были для него не менѣе дороги, чѣмъ и для любого читателя его произведеній. Поэтому ему приходится рѣзать по кускамъ не только сердце читателя, но и свое собственное, и каждое изъ послѣднихъ произведеній его производитъ такое впечатлѣніе, какъ будто авторъ отрываетъ отъ себя по куску мяса съ нестерпимою болью и обливаясь кровью. И хотя подобное впечатлѣніе должно было-бы еще болѣе придавать цѣны всѣмъ мучительнымъ операціямъ Гл. Успенскаго, тѣмъ не менѣе каждое произведение его производитъ сенсацию чуть что не скандала. Люди, сжившіеся съ своими иллюзіями, привыкшіе дорожить ими, какъ альфой и омегой знанія народной жизни, постоянно набрасываются на Гл. Успенскаго, обвиняя его то въ безтактности, на томъ основаніи, что будто-бы онъ, подчеркивая однѣ мрачныя стороны народной жизни, мирволитъ крѣпостникамъ и реакціонерамъ, то въ недостаткѣ правильнаго логическаго мышленія, такъ какъ онъ будто-бы спѣшитъ дѣлать самыя широкія обобщенія на основаніи двухъ-трехъ фактивовъ. Авторъ настоящаго письма считаетъ своимъ долгомъ признаться, что и самъ онъ такъ былъ пораженъ рѣшительнымъ выступленіемъ Гл. Успенскаго на это новое поприще въ его разсказѣ „Черная работа“ (От. Зап., 1879 г., № 5), что не могъ сразу оцѣнить значенія этого переворота въ дѣятельности автора, и въ свою очередь, дорожа все тѣми-же пресловутыми иллюзіями,

напалъ нѣкогда на Гл. Успенскаго съ тѣми же обвиненіями въ скороспѣлости обобщеній. Только радъ послѣдующихъ произведеній Гл. Успенскаго такого же характера, въ связи съ обстоятельствами и событіями жизни, могъ уяснить для автора важное значеніе новой дѣятельности Гл. Успенскаго, и онъ спѣшитъ заглазить свою вину настоящимъ письмомъ, посвятивъ его опредѣленію этой новой дѣятельности Гл. Успенскаго въ ея истинномъ свѣтѣ и значеніи.

Начнемъ именно съ той самой „Черной работы“, въ которой, какъ мы сказали выше, Гл. Успенскій впервые рѣшительно и рѣзко выступилъ на свое новое поприще. Повѣсть эта замѣчательна, между прочимъ, и тѣмъ, что здѣсь авторъ высказываетъ опредѣленно и ясно тѣ мотивы, которые побудили его идти по новой дорогѣ. Начинается повѣсть тѣмъ, что авторъ представляетъ себя измученнымъ „тоскою, доходящею до физической боли“. Эта тоска заставила его бѣжать изъ деревни „если не навсегда, то на нѣкоторое время“, а въ послѣдній день эта жажда не думать о деревнѣ, освободиться хотя на время отъ этой безплодной муки, достигла такой степени, что онъ вмѣсто трехъ часовъ ночи, какъ-бы слѣдовало, уѣхалъ на станцію въ одиннадцать часовъ вечера, „рѣшаясь сидѣть болѣе шести часовъ безъ всякаго дѣла въ ожиданіи поѣзда“ и не смотря на страшный буранъ, который ему пришлось вынести дорогою. Что же причинило эту тоску до физической боли и заставило автора такъ послѣдно бѣжать изъ деревни? Оказывается, что именно разладъ между азбучными истинами, съ которыми пріѣхалъ авторъ въ деревню и тѣми конкретными фактами, которые обстучали его въ деревенской жизни. „Адское душевное состояніе, говоритъ авторъ—долженъ пережить всякій, кто только, повинувшись даже инстинктивному влеченію къ деревнѣ, только чувствуя, что между нимъ и ею существуетъ какая-то трудно опредѣлимая, но несомнѣнно кровная связь, попробуетъ.... ну, просто хоть только „пожить въ деревнѣ“.... Слагается оно, во-первыхъ, изъ такого рода ежедневно предъявляемыхъ деревнею фактовъ, въ которыхъ, по вашему мнѣнію (мнѣнію человѣка, выросшаго въ другой средѣ), непостижимымъ для васъ образомъ оказываются нарушенными самыя непоколебимыя, самыя истинныя истины. Что можетъ быть неизбѣжнѣе тѣхъ цифирныхъ истинъ, какиихъ учить васъ таблица умноженія? Два, умноженное на два, развѣ можетъ дать въ результатѣ что-нибудь кромѣ четырехъ? Ежедневный деревенскій опытъ доказываетъ вамъ, что не только можетъ, но постоянно, аккуратно изо дня въ день даетъ нѣчто такое, чего даже нѣтъ возможности ни понять, ни объяснить, къ объясненію чего нѣтъ ни дороги, ни пути, ни самоалѣйшей нити. Ниже читатель на приѣбрѣхъ увидитъ эти изумительные результаты деревенской таблицы умноженія; теперь-же я только прошу его представить себѣ положеніе человѣка, который по сту разъ въ день надѣется, что вотъ-вотъ получится четыре, и по сту разъ въ день видитъ во-очію, что получается то стеариновая свѣчка, то свиная морда, словомъ, нѣчто неожиданное и невозможное. Представивъ себѣ все это, онъ только до нѣкоторой степени пойметъ, что за безнадежно-отупляющее состояніе долженъ переживать

всякій, кто смотритъ на деревню такъ, „какъ должно“, по его мнѣнію, смотрѣть на нее“.

И вотъ далѣе въ повѣсти передъ вами раскрывается такое вопіющее противорѣчіе фактовъ деревенской жизни съ привычною вамъ табличкою умноженія, какое естественно можетъ поставить въ тупикъ cadaго свѣжаго наблюдателя. Подобный наблюдатель подходитъ къ народу конечно ужъ съ рядомъ неоспоримыхъ истинъ въ родѣ того, что крѣпостное право, малоземеліе и чрезмѣрность налоговъ дѣйствуютъ на народъ деморализующимъ образомъ; его мужики господскихъ деревень должны быть во всѣхъ отношеніяхъ хуже мужиковъ государственныхъ, а изъ господскихъ самую высшую степень деморализаціи должны представлять крестьяне, бывшіе подъ властію наиболѣе строгихъ, жестокихъ и жадныхъ помѣщиковъ. И каково-же должно быть болѣзненное недоумѣніе наблюдателя, когда вдругъ, въ дѣйствительности, онъ встрѣчается съ фактами какъ разъ совершенно противоположными. Передъ нимъ три рядомъ стоящія деревни: Солдатская, Разладинская и Барская, изъ которыхъ первая казенная, пользующаяся обиліемъ земель и всякихъ угодій и наименѣе обложенная податями, представляетъ собою высшую степень деморализаціи; мало уступаютъ имъ разладинцы, бывшіе нѣкогда подъ властію доброй помѣщицы; лучше-же всѣхъ живетъ и умѣе всѣхъ выглядеть крестьянинъ деревни Барской, бывшей подъ властію строгихъ и жестокихъ помѣщиковъ. „Словомъ, говоритъ авторъ,—крестьянинъ, болѣе другихъ претерпѣвшій на своемъ вѣку, слѣдовательно, какъ вамъ думается, болѣе угнетенный (онъ пережилъ крѣпостное право), надѣленный плохую землей, обремененный налогами, вопреки всѣмъ смысламъ, вопреки всѣмъ таблицамъ умноженія всѣхъ частей свѣта, оказывается порядочнѣе, положителнѣе, умнѣе, даровитѣе, зажиточнѣе и честнѣе того крестьянина, который, имѣя доходы, покрывающіе всѣ посторонніе платежи, или платя сущую бездѣлицу и, слѣдовательно, имѣя всѣ условія для того, чтобы собственная его домашняя, личная жизнь была лучше, достаточнѣе, вольнѣе, чтобы забота его о мірскомъ благѣ была шире, и т. д., и т. д., оказывается, что такой крестьянинъ ничего не выдумалъ, кромѣ кабака, живетъ бѣдно, пьяно, фальшиво, къ ближнему равнодушенъ, равнодушенъ къ міру, къ себѣ, къ семьѣ!... Мало того, вы видите, что отлично обставленная въ матеріальномъ отношеніи деревня какъ бы лишена даровитыхъ людей; есть міровѣды и міроопивалы, а умиаго, характернаго мужика нѣтъ, но напротивъ, обиліе фальшивыхъ мужичонковъ, которые за рубль продадутъ отца роднаго и наобѣщаютъ въ три короба, а ничего не дѣлаютъ, не дорого возьмутъ соврать, надутъ и т. д. Что же означаетъ эта непонятная тайна непонятной деревенской таблицы умноженія?“

Естественно, первое, что придетъ вамъ въ голову, когда вы прочтаете подобную характеристику трехъ деревень, будетъ то утѣшеніе, что конечно авторъ имѣетъ здѣсь дѣло съ какими нибудь одними исключительнымъ случаемъ, и развѣ можно дѣлать какіе либо выводы изъ двухъ-трехъ фактиковъ? Но постойте, господа: во первыхъ вы не знаете, имѣете-ли вы

дѣло съ тремя исключительными фактами, или ихъ много на Руси, а во вторыхъ, если-бы фактъ, представляющійся вамъ, существовалъ и дѣйствительно въ единственномъ числѣ, то развѣ и этотъ единственный фактъ не разрушаетъ вашей таблички умноженія съ такой-же легкостью, какъ и тысяча ему подобныхъ? Вѣдь для того, чтобы вы потеряли право говорить, что всѣ люди смертны, достаточно чтобы оказался бессмертнымъ хоть одинъ изъ всѣхъ людей. Такъ и въ настоящемъ случаѣ: совершенно достаточно, чтобы существовало на Руси въ единственномъ числѣ село Барское рядомъ съ Солдатскимъ и Разладинскимъ, чтобы привести васъ въ ужасъ и исполнить сердце ваше тоскою до физической боли. Спрашивается только одно: слѣдуетъ-ли, ради сохраненія дорогихъ намъ истинъ, закрывать глаза на подобнаго рода страшные факты и правъ-ли авторъ, выставляющій ихъ на показъ? По моему мнѣнію, онъ не только правъ, онъ выступаетъ въ настоящемъ случаѣ по-истинѣ героемъ: онъ глядитъ прямо въ глаза истинѣ, не страшась плыть противъ теченія и прослыть союзникомъ реакціонеровъ, которые на подобныхъ фактахъ, конечно, могли-бы воздвигнуть цѣлое зданіе, если-бы оставить послѣдніе безъ освѣщенія.

Но авторъ не ограничивается тѣмъ только, что голословно выставляетъ страшный фактъ, онъ его освѣщаетъ, и освѣщаетъ, по моему мнѣнію, совершенно справедливо, устранивъ возможность всякихъ ложныхъ выводовъ изъ него въ пользу какихъ-либо реакціонныхъ поползновеній. Чтобы уяснить и представить рельефнѣе объясненія автора, мы, не ограничиваясь выписками изъ разсказа, присовокупляемъ нѣкоторые собственные замѣчанія. Дѣло вотъ въ чемъ: каждый строй жизни, порядокъ имѣетъ свои идеалы, и понятно, что идеалы эти осуществляются полнѣе тамъ, гдѣ порядокъ этотъ строже примѣняется. Естественное дѣло, что и крѣпостное право имѣло свой идеалъ крестьянина. На мужика смотрѣли въ то время, не какъ на человѣка, а какъ на скотъ, необходимый въ дѣлѣ хозяйства на ряду съ прочими домашними животными. Сообразно этому взгляду выработался и идеалъ мужика, представляющій въ себѣ одну безустанную работу на господина при полномъ обезличеніи. „Идеалъ, говоритъ авторъ: требовать, во 1-хъ, безпрекословнаго исполненія чужихъ требованій, во 2-хъ требовать, чтобы у исполнителя было глубоко вкоренено убѣжденіе въ томъ, что все остальное, все его житишко со всѣми животнѣшками, составляютъ дѣла, не стоящія вниманія“.

„Такъ какъ такой идеалъ, говоритъ далѣе авторъ:—тяготѣлъ надъ всѣмъ почти русскимъ крестьянскимъ людомъ, тяготѣлъ неумолимо сотни лѣтъ, то сообразно съ нимъ и выработался типъ крестьянина—населяющаго громадное большинство русскихъ деревень. Такой оставленный намъ барщиной въ наслѣдство крестьянинъ, во-первыхъ, неустанный работникъ. Въ потѣ лица, изо дня въ день онъ бѣтается надъ работою; во-вторыхъ, аккуратная уплата податей для него первая забота, передъ которой меркнуть всѣ личныя заботы; въ третьихъ, это человѣкъ, который отвыкъ разсуждать объ чемъ-бы то ни было: онъ только спрашиваетъ: „сколько требуется“, „по чѣмъ сойдеть съ души“. Раскладка всѣхъ этихъ душевыхъ рублей и копѣекъ составляетъ почти единственный предметъ общественныхъ деревенскихъ

сходокъ. «Своихъ» деревенскихъ предметовъ для разговоровъ на сходкахъ нѣтъ—отучены. И въ четвертыхъ, наконецъ, онъ неуспѣшный работникъ: работать, «биться на работѣ»—вотъ цѣль жизни, нить, связующая дни и годы въ цѣлую жизнь человѣческую. Онъ покоенъ, устаетъ и измучившись на работѣ, потому что сдѣлано то, что именно требовалось; онъ сына женить насильно, потому что «беретъ работницу хорошую», а остальное ничего не стоитъ. Мало устаетъ на работѣ, надо просто изматываться, спастись съ тѣла, превратиться въ тѣнь; тотъ хорошій работникъ, кто не знаетъ «устали», у кого «горитъ огнемъ», кто «лютъ», и еще лучше, «золъ» на работу. Вотъ во имя этого-то идеала и продолжаетъ жить крестьянинъ, какъ жилъ при барщинѣ. Тамъ, гдѣ барщина царяла вполне, тамъ мужикъ, въ буквальный смыслъ, остался такимъ-же, какимъ былъ и при крѣпостномъ правѣ: такъ-же до свѣта вытѣсается въ поле, такъ-же бьется изъ-за податей, такъ-же молча, съ незадумывающимся равнодушіемъ, исполняетъ все, что ему прочтаетъ староста, и, исполнивъ, вновь продолжаетъ маяться надъ работою, самъ перебиваясь кое-какъ и припрятавая достатокъ. Въ такихъ деревняхъ у крестьянъ есть совершенно опредѣленный взглядъ на себя и на божій свѣтъ, и, благодаря этому, они знаютъ, что дѣлаютъ, изъ-за чего бьются. Вотъ, почему оказывается, что бѣдная, заваленная работою и налогами деревня, не имѣющая никакихъ постороннихъ доходовъ, надѣленная сравнительно худшей, чѣмъ у сосѣдей, землею и, притомъ, въ маломъ количествѣ, живетъ лучше, аккуратнѣе, умнѣе и благообразнѣе той деревни, гдѣ идеалъ барщины почему-либо ослабленъ».

Изъ всего этого вы можете ясно усмотрѣть, что крестьянинъ села Барскаго, при всей своей видимой порядочности и аккуратности, вовсе не представляетъ собою идеала мужика въ безусловномъ смыслѣ; это идеалъ относительный, выработанный крѣпостнымъ правомъ; чтобы быть безусловнымъ, такому идеалу недостаетъ самаго главнаго и, смѣемъ думать, существеннаго: человѣка. Крестьянинъ села Барскаго, въ которомъ задавлены всѣ человѣческія чувства и потребности и который обращенъ въ живую земледѣльческую машину на двухъ ногахъ, очевидно типъ отжившаго прошлаго. Это Вандеецъ, не только какъ историческая аналогія, но въ тождественномъ смыслѣ. Вѣдь и въ Вандеѣ XVIII вѣка крестьянинъ выгляделъ, правда, тупѣе, суевѣрнѣе, диче, приниженнѣе, но въ тоже время былъ зажиточнѣе и порядочнѣе, чѣмъ крестьяне прочихъ мѣстностей Франціи; онъ въ свою очередь наиболѣе сохранялъ типъ крестьянина стараго режима, и именно опять-таки потому, что въ Вандеѣ феодальный режимъ былъ строже выдержанъ и наиболѣе сохранился. Вандеецъ и противъ революціи ополчился конечно потому, что будучи зажиточнымъ и довольнымъ своей участью, не нуждался ни въ какихъ реформахъ.

Но разъ старый порядокъ рушился, разъ крѣпостное право отошло въ вѣчность, можно-ли ожидать, чтобы типы, выработанные идеалами отжившаго порядка, могли-бы долго просуществовать? Очевидно, что если и остаются до сихъ поръ села Барскія, если ихъ еще и много на Руси, во всякомъ случаѣ, они доживаютъ послѣдніе годы. Только трехсотлѣтнюю каторгою крѣпостного права можно было парализовать въ такихъ крестьянахъ всякое развитіе человѣческихъ потребностей и сдерживать ихъ въ состояніи рабочаго

скота. Но разъ эта дрессирующая школа закрыта, то какія же силы могутъ остановить проявленіе въ людяхъ людей, какихъ-бы то ни было, хотя-бы и самыхъ безобразныхъ, но все таки людей, — и при такихъ условіяхъ крестьяне села Барскаго не замедлятъ обратиться въ тѣхъ же Солдатскихъ и Разладинцевъ. Читатель спроситъ конечно при этомъ, — что-же въ этомъ отраднаго, и что хорошаго можетъ обѣщать подобное превращеніе? Отвѣчать на такой вопросъ очень затруднительно. Сколько изъ этого выйдетъ хорошаго и дурного, это покажетъ намъ исторія. Слѣдуетъ только принять во вниманіе, что когда сходитъ со сцены какой нибудь отжившій порядокъ (въ настоящемъ случаѣ крѣпостное право) и уноситъ съ собою свои старые идеалы, подобные моменты всегда отличаются большею или меньшею распушенностью, деморализаціею, которая продолжается до тѣхъ поръ, пока не устанавливаются новые порядки и не приносятся съ собою новыхъ идеаловъ вмѣстѣ съ новыми способами ихъ осуществленія. Что народъ нашъ находится именно въ подобномъ переходномъ состояніи, объ этомъ свидѣтельствуетъ его собственное сознаніе; по крайней мѣрѣ повсемѣстно вы слышите изъ его устъ одинъ и тотъ-же говоръ, что народъ нынѣ ослабъ, извольничался, излѣнился, со всѣмъ скрутился, и все это потому, что нѣтъ надъ нимъ прежняго страха.

Изъ всего изъ этого, въ концѣ концовъ, слѣдуетъ тотъ выводъ, что табличка униженія, которая повиному поколебалась представленными авторомъ фактами, въ сущности вовсе не поколебалась, а осталась во всей своей вѣрности; вѣдь и въ самомъ дѣлѣ въ результатъ крѣпостнаго права мы видимъ всеобщую деморализацію: съ одной стороны деморализацію крестьянъ села Барскаго, обезличенныхъ и обращенныхъ въ рабочій скотъ, съ другой—деморализацію Разладинцевъ и Солдатскихъ, остающихся безъ всякихъ общественныхъ и личныхъ идеаловъ, которые руководили-бы ихъ въ жизни; съ одной стороны — каторжная работа на почвѣ рабскаго альтруизма, съ другой — кабакъ. Если что поколебалось, то лишь тѣ иллюзіи, которыми мы до сихъ поръ плѣнялись: вмѣсто земнаго рая, обусловливаемого оздоравливающимъ вліяніемъ сельскаго труда, авторъ нашелъ въ деревнѣ адъ кромѣшный, заставившій его бѣжать изъ деревни съ тоскою, доходящею до физической боли. Для народниковъ-идилликовъ, продолжающихъ косить въ своихъ буколическихъ иллюзіяхъ, подобное бѣгство можетъ казаться чуть что не святотатствомъ, но еще разъ воздадимъ честь автору, который ради святой истины не остановился передъ кровавою операціею вырыванья кусковъ живаго мяса изъ любвеобильныхъ сердецъ своихъ читателей и не пожалѣлъ прекрасныхъ иллюзій, жить съ которыми во всякомъ случаѣ и легче, и теплѣе, чѣмъ съ тѣми страшными истинами, которыя онъ намъ раскрываетъ.

Далѣе за этимъ первымъ громогласнымъ выстрѣломъ, до настоящей минуты идетъ непрерывная пальба со стороны Гл. Успенскаго все въ тѣ же излюбленные иллюзіи. Мы отиѣтимъ только главные и наиболѣе яркіе его очерки подобнаго рода.

Таковы „Малые ребята“, рассказъ, составляющій

безъ малаго половину книги, изданной г. Успенскимъ въ прошломъ году подъ общимъ, весьма характеристичнымъ заглавіемъ „Деревенская неурядица“. Въ этихъ „Малыхъ ребятахъ“, въ лицѣ петербургскаго интеллигентнаго чиновника Ивана Ивановича Полумракова, авторъ изображаетъ именно типъ человѣка, проникнутаго иллюзіями относительно деревенской жизни самаго букволическаго свойства, не уступающимъ пастушескимъ идеаліямъ XVIII вѣка. Задавшись благородною цѣлію создать изъ своихъ дѣтей идеальныхъ людей и перепробовавъ безъ всякой пользы всевозможныя педагогическія средства, Полумраковъ остановился на оздоровляющемъ вліаніи деревни.

«Всѣ нравственныя муки, читаемъ мы въ рассказѣ: всѣ неразрѣшимыя нравственныя загадки для него оканчивались съ поселеніемъ въ деревнѣ. Она, эта самая деревня, должна дать дѣтямъ Ивана Ивановича, во-первыхъ, физическое здоровье, котораго не дадутъ ни гимнастики, ни прогулки въ скверахъ, ни дорогіе доктора. Деревня дастъ все это такъ, задоромъ. Во-вторыхъ, она дастъ необходимыя прочныя начала нравственности. Въ то время, какъ ни педагогія, ни тѣмъ менѣе самъ Иванъ Ивановичъ, не могутъ просто и ясно познакомить дѣтей съ причинностью явленій и человѣческихъ отношеній, деревня дастъ все это, простосердечно передавъ дѣтямъ теплую вѣру въ Бога и зародивъ, такимъ образомъ, зачатокъ связной мысли, пробудить искренность чувства и дастъ ему пищу въ простотѣ и деревенской откровенности человѣческихъ отношеній. Въ третьихъ, она же, эта самая деревня, уничтожитъ ненужное и гибельное въ дѣтяхъ сознание неравенства между людьми, котораго нельзя никакимъ образомъ избѣжать въ столицѣ. Дѣти будутъ въ толпѣ крестьянскихъ дѣтей, приучатся жить въ обществѣ человѣческомъ, начнутъ понимать, что такое жизнь» и т. д.

И вотъ Полумраковъ переселился со всѣмъ семействомъ въ деревню. Но деревня не замедлила представить предъ нимъ во всей своей трезвой правдѣ, не имѣющей ничего общаго съ букволическими фантазіями барина. Начать съ того, что Полумраковъ никакъ не могъ добиться мало-мальски искреннихъ, человѣческихъ отношеній между нимъ и мужиками. Едва поселился онъ въ деревнѣ, какъ послѣдняя поняла, что за ея долготерпѣніе Господь послалъ ей доходную статью въ видѣ барина, живущаго на готовыхъ деньгахъ, и ни одинъ человѣкъ не приближался къ усадьбѣ безъ своекорыстныхъ цѣлей. Дѣти Ивана Ивановича ежедневно находились въ обществѣ крестьянскихъ дѣтей, играли въ ихъ игры, но и тутъ Иванъ Ивановичъ видѣлъ, что въ расчетахъ своихъ ошибся. Дѣти крестьянскія были чисты духомъ и сердцемъ, но въ этой крестьянской чистотѣ отражалась только голая дѣйствительность, которая къ тому-же отражалась съ безошибочной фотографической вѣрностью. Дѣтскій умъ и душа принимали все, что эта дѣйствительность предлагала имъ, а она предлагала въ большинствѣ случаевъ матеріалъ далеко не кристальнаго достоинства. Игры заключались въ представленіяхъ поминки вора или деревенскихъ пьяныхъ празднествъ въ родѣ „пропиванія невѣсты“, при чемъ дѣтямъ Полумракова, какъ барчатамъ, давались самыя деморализирующія роли станovýchъ и всякаго рода господъ. Въ общихъ чертахъ въ деревнѣ дѣти Ивана Ивановича узнали, что они не мужики, а господа, и имѣютъ поэтому пра-

во карать, прощать и не прощать; получили нѣкоторую крѣпость нервовъ, приучившихся быть нечувствительными во многихъ, весьма драматическихъ случаяхъ; затѣмъ, получили какую-то сыпь, требующую серьезнаго леченія, и, наконецъ, приобрѣли самое обстоятельное, всестороннее знакомство съ чортомъ. Однимъ словомъ, деревня оказалась вовсе не педагогической панацеей, какъ о ней мечталъ Полумраковъ, а именно тою самою убогою русскою деревней, какою онъ безсознательно создалъ ее вмѣстѣ съ своими отцами и дѣдами. И кончилось дѣло все тѣмъ-же ужасомъ и тѣмъ-же бѣгствомъ къ своимъ, въ богоспасаемый городъ, гдѣ и свѣтло, и тепло, и въ чорта не вѣрять, и сифилисъ не пользуется такимъ потомственнымъ правомъ гражданства. Безпощадная, злая ironia, проникающая весь этотъ рассказъ, говоритъ сама за себя, не требуя никакихъ комментаріевъ.

Такою-же ironieю отличается рассказъ „Не въ привычку дѣло“, герой котораго Михаилъ Михайловичъ отправляется въ деревенскую глушь не съ одними уже педагогическими цѣлями, какъ Полумраковъ, а съ чисто практическими замыслами — слиться съ народомъ на почвѣ труда, завести даже сообща съ мужиками, употребивъ въ дѣло свои наслѣдственные капиталы, нѣчто въ родѣ сельско-хозяйственной коммуны. Но голова его была наполнена все тѣми-же обольстительными иллюзіями.

«Онъ пришелъ, читаемъ мы въ рассказѣ, трудиться наравнѣ со всѣми, какъ равный въ правахъ и обязанностяхъ, спать вмѣстѣ съ другими на соломѣ, ѣсть изъ одного котла, а деньги, какъ нажитыя общимъ трудомъ (какъ былъ М. М. въ этомъ глубоко увѣренъ въ то время юношескихъ фантазій), должны быть достояніемъ той кучки людей, которая должна была образоваться, какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ искренно разорвавшихся съ прошлымъ интеллигентныхъ людей. Что среди крестьянъ онъ непремѣнно отыщетъ людей, которые всецѣло не только поймутъ, но еще и разовьютъ его мысли,—въ этомъ онъ былъ совершенно увѣренъ. Крестьянинъ — это одѣтый въ полушубокъ живой памятникъ всего, что не упишешь въ 26-ти томахъ исторіи Соловьева. Мало того: въ то прекрасное время, къ фигурѣ крестьянина какъ-то невольнo примыкало, кромѣ 26-ти томовъ Соловьева, еще все мучительно передуманное и перенатое европейскою жизнью. Сообразивъ все это и соединивъ все, такъ безобразно трудно пережитое человѣчествомъ, въ лицѣ крестьянина, которому настало время вздохнуть свободно, Михаилъ Михайловичъ не могъ не подозревать, что такое существо, какъ крестьянинъ, бѣдный, измученный, забытый, испытавшій и перенявшій, Богъ знаетъ, какія невзгоды, несущій на своихъ плечахъ опытъ тысячелѣтнихъ трудовъ, долженъ, непремѣнно, долженъ питать ненасытную жажду устроить жизнь по новому; у его въ горлѣ пересохло отъ этой жажды, онъ ждетъ не дожидается, онъ страстно хочетъ вздохнуть полной грудью. Передъ этимъ величіемъ Михаилъ Михайловичъ — пигмей; онъ ничего не имѣетъ права желать, какъ только отдать этому гиганту все, что у него есть: деньги, знаніе, трудъ. Большие Михайлу Михайловичу ничего не нужно. Онъ пришелъ униженнымъ и смиреннымъ работникомъ. Такъ Михайлу Михайловичу казалось... Онъ готовъ былъ простить всякую грубость, невѣжество, всякую непріятность со стороны его народныхъ сотоварищей; онъ зналъ, что иначе не можетъ быть, что не изъ чего выработаться было тонкостямъ и деликатностямъ, онъ былъ готовъ все простить и все перетерпѣть... Но, увы! народъ никакимъ образомъ не

могъ простить Михаилу Михайловичу ни капли изъ прошлаго, потому что прошлое было крѣпостное—какъ не могъ забыть и своего крѣпостнаго прошлаго. Этого крѣпостной опытъ крестьянъ съ одной стороны, и съ другой—то, что Михаилъ Михайловичъ былъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ баринъ, и сокрушило и планы, и деньги Михаила Михайловича безъ остатка.

Съ самаго перваго шага Михаилъ Михайловичъ всталъ съ мужиками въ самыя неискреннія и фальшивыя отношенія: онъ преклонялся передъ ними и панибратствовалъ, желая встать съ ними на вполнѣ равную ногу: а они во всемъ ему поддакивали и старались всячески потрафлять, видя въ его дѣлѣ лишь барскую фантазію и въ то же время смотря на него, какъ на дойную корову. Онъ убѣдился наконецъ, что лишь „примѣръ, результатъ видимый, осязательный“ доступенъ будетъ пониманію теперешняго крестьянина и научить его лучше всякихъ многословныхъ разсужденій, стало быть, надо не разглагольствовать, а взять дѣло на себя, на свою отвѣтственность“, — и началъ приказывать дѣлать то или другое безъ всякихъ разсужденій. Тогда роли окончательно опредѣлились.

«Полагая, что онъ только временно, такъ сказать, нацѣл на себя шкуру барина, Михаилъ Михайловичъ незамѣтно, въ силу того-же, что онъ баринъ, въ самомъ дѣлѣ сталъ сбиваться съ равноправной ноги и воспитанное долготѣніемъ прошлымъ барство стало, сначала понемногу, выступать въ его умѣ и сердцѣ, и душѣ, а потомъ, и очень скоро, вылилось во всей своей прелести. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мѣрѣ того, какъ въ Михаилѣ Михайловичѣ сталъ проступать уже неприкрашенный баринъ, въ крестьянинѣ (который, просимъ не забывать, только-что вышелъ изъ крѣпости) сталъ навстрѣчу барину выступать неприкрашенный рабъ. Баринъ началъ повелѣвать, а крестьянинъ принялся его надувать. Началась самая утонченная борьба двухъ естественныхъ враговъ, и надо отдать мужикамъ справедливость, молодцы они въ этой борьбѣ. Лаской, угожденьемъ, потрафленьемъ, предупрежденьемъ еще неродившихся, но имѣющихъ рано-ли, поздно-ли, родиться желаній, вотъ какъ они, и самые талантливые изъ нихъ, принялись дѣйствовать... У Михаила Михайловича стало образовываться все больше и больше празднаго времени, ему становилось все легче и беззаботнѣе, точно кто поматерински заботился о немъ. Онъ даже лѣсть сталъ слушать, какъ должное, поддался на похвалу, на удивленіе его уму, знанію. Невѣдомо какъ и откуда взялась какая-то бабенка востроглазая, которая стала все тутъ вокругъ да около лебезить. И другая, и третья...»

Дѣло кончилось тѣмъ, что Михаилъ Михайловичъ убилъ всѣ свои капиталы въ своемъ неудавшемся предпріятіи и въ концѣ концовъ впалъ въ полное разочарованіе, уныніе и спился. Михаилъ Михайловичъ является такимъ образомъ однимъ изъ представителей тѣхъ первыхъ пѣнеровъ-неудачниковъ, которые стремились слиться съ народомъ, не только что не зная его, но и сами неподготовленные къ тому дѣлу, за которое принимались, не успѣвшіе вполнѣ отрѣшиться отъ того наслѣдственнаго праха, который накопился на ихъ существѣ вѣками. — Поэтому здѣсь схваченъ авторомъ вопросъ гораздо глубже: тутъ дѣло идетъ не объ однихъ иллюзіяхъ, а о тѣхъ существенныхъ, вѣковыхъ складахъ жизни, которые отдѣляютъ глубокою пропастью отъ народа даже и такихъ благосмыслящихъ господъ, какъ Михаилъ Михайловичъ.

Неудача послѣдняго произошла не только потому, что онъ не зналъ народа и нѣтъ о немъ самыя фантастическія представленія, но и потому, что во всѣхъ своихъ привычкахъ, и такихъ притомъ мелочныхъ, на которыя онъ не обращалъ никакого вниманія, онъ оставался все тѣмъ-же баринкомъ, съ которымъ надо держать ухо востро. Довольно было того, что онъ прѣхалъ въ деревню со станціи въ тарантасѣ, а не пришелъ пѣшкомъ съ котомкой за плечами и босыми ногами, не попросилъ Христа ради испить, щедро далъ на водку столько мелочи, сколько попало въ руку въ карманѣ, и карьера его была рѣшена, его разсужденій не только не понимали, но и не пожелали понимать. Изъ этого всего вы видите, что иллюзіи иллюзіями, но избавленіе отъ нихъ однихъ еще не поможетъ дѣлу: это лишь первый шагъ, за которымъ долженъ послѣдовать цѣлый историческій процессъ, можетъ быть очень долгій и, во всякомъ случаѣ, чрезвычайно мучительный, путемъ котораго и народъ, и интеллигенція должны совершенно преобразоваться до самаго своего, что называется, нутра, для того чтобы они могли понять другъ друга и сблизиться на какихъ-либо общихъ интересахъ.

Далѣе затѣхъ, въ рядѣ очерковъ, напечатанныхъ въ послѣдніе три года въ „Отечественныхъ Запискахъ“ и частію изданныхъ отдѣльно, мы встречаемъ микроскопическій анализъ, развертывающій передъ нами весьма мрачную картину деревенской жизни. Такъ мы видимъ, что восхваляемые общинные порядки, въ которыхъ все будто-бы совершается по правдѣ и по равенію, допускаютъ непризнанныхъ стариковъ, вдовъ и воспитываютъ въ своихъ нѣдрахъ, изъ брошенных на произволъ судьбы сиротъ, деревенскихъ злодѣевъ, которые потомъ обращаются въ конокрадовъ или поджигателей, и сельскій міръ, допустившій развитіе на свою голову подобныхъ чудовищъ, затѣмъ обрушается на нихъ подъ чась съ какии-нибудь безпощадно жестокии кровавыи самосудомъ. Крестьянское самоуправленіе въ свою очередь оказывается иражемъ: взглядываясь въ инструкціи его можно подумать, что деревня въ самомъ дѣлѣ живетъ общественными интересами, но всматриваясь въ практическое примѣненіе этихъ инструкцій, видишь, что никакой общественной силы тутъ нѣтъ и проявить и практиковать ее не на чемъ. Какіе-бы вопросы или проекты „оздоровленія“, „образованія“, „поднятія народной нравственности“, „оживленія народа“, ни подымались въ обществѣ, — въ деревнѣ изъ нихъ образуются другія, уже грустные слова: „по гривеннику“, „по двугривенному“, „по полтинѣ“, и вся умственная дѣятельность крестьянина занята такимъ образомъ почти только одной работой: достать денегъ.

«Обведя, говоритъ авторъ (см. „Люди и нравы современной деревни“, стр. 51), вокругъ Москвы кругъ радиусомъ верстъ въ четыреста, мы получимъ мѣстность, въ которой положеніе крестьянина и направленіе его мысли, въ общихъ чертахъ, опредѣляются именно этимъ стремленіемъ—„добыть денегъ“, только денегъ, больше ничего. Къ этому направленію крестьянской мысли начало присоединяться, къ крайнему огорченію людей, идеализирующихъ прочность деревенской общины, плохо опредѣляемое, но сильно чувствуемое крестьяниномъ желаніе — уйти

куда нибудь, желаніе какъ нибудь полегче добывать то, что теперь добывается съ такимъ трудомъ, и это стремленіе уйти изъ сухихъ и жесткихъ условий крестьянской среды объясняется все тою-же необходимостью добывать все больше и больше денегъ».

Но страшнѣе всего, какъ для настоящаго, такъ и въ видахъ будущаго то, что въ то время какъ дѣйствительная интеллигентная сила, которая могла-бы оживить и раздвинуть умственный кругозоръ деревни, отвергается ею въ лицѣ Михайловъ Михайловичей, отчасти вслѣдствіе слѣпотаго вѣковаго недовѣрія, отчасти отъ неумѣлости самихъ Михайловъ Михайловичей подойти къ народу и заставить слушать себя, и послѣдніе обращаются въ глазахъ крестьянъ въ какихъ-то гороховыхъ шутовъ и дойныхъ коровъ, а иногда во что нибудь и похуже,—въ это время единственнымъ умственнымъ руководителемъ народа является кулакъ. И вотъ опять передъ нами рушится цѣлый рядъ иллюзій и ходячихъ, рутинныхъ мнѣній относительно значенія въ деревнѣ кулака. Уже не говоря о томъ, что община, въ которой все „по правдѣ и по равенію“, въ достаточной степени оскандализована однимъ появленіемъ въ деревенской жизни кулака, съ его стремленіемъ водворить въ деревнѣ новое крѣпостное право на экономическихъ началахъ,—самая роль кулака въ деревнѣ оказывается совсѣмъ не такою, какою она представляется въ глазахъ нашихъ питающихся иллюзіями теоретиковъ. Они смотрятъ на кулака, какъ на нѣчто выдѣлившееся изъ народной среды и разорвавшее съ нею живую органическую связь. Кулакъ является въ ихъ глазахъ паразитомъ, сосущимъ всѣ соки деревни и не имѣющимъ никакихъ иныхъ отношеній къ ней. Какъ представитель индивидуализма, онъ по одному этому уже долженъ стоять въ антагонизмѣ съ общиннымъ сельскимъ миромъ, а какъ эксплуататоръ и ароднаго труда, конечно ничего болѣе не способенъ возбуждать въ каждомъ мужикѣ, кромя ожесточенной ненависти. И вдругъ въ дѣйствительности оказывается, что не только общинная деревня не находится ни въ малѣйшемъ антагонизмѣ съ кулакомъ, а напротивъ того, кулакъ является единственною умственною силою, воспитывающею деревню; онъ играетъ роль руководителя, совѣтника и чуть не благодѣтеля деревни, какъ человекъ и съ деньгами, и со связями; имъ любуются и подъ часъ гордятся, какъ передовымъ талантливымъ представителемъ сельскаго міра.

«Мы охотно вѣримъ, говоритъ Гл. Успенскій (см. «Деревенская неурядица», т. I, стр. 130), въ дурное вліяніе на деревню массы пришлыхъ элементовъ, но никакимъ образомъ не можемъ ими объяснить деревенскаго кулачества, то есть выдѣленія среди деревенской массы личностей, эксплуатирующихъ эту массу. Бѣда именно въ томъ и состоитъ, что кулачество—явленіе не наносное, а внутреннее, что это не пятно, которое можно стереть, а язва, органической недугъ. Но самая горькая и обидная черта этого явленія заключается не собственно въ хищничество, а въ томъ, что ничего другаго, хотя мало-малыски равнозначущаго, по разработкѣ и техники, деревенская жизнь за послѣднее время не представляетъ. Есть-ли что-либо хотя приблизительно такъ прочно уцѣлѣвшее и усовершенствованное въ отношеніи, положимъ, самопомощи, какъ усовершенствовано кулачество? Суще-

ствуетъ-ли, словомъ, какое-нибудь явленіе, прямо противоположное и имѣющее какое-нибудь значеніе, пользующееся какимъ-нибудь успѣхомъ? Говоря безпристрастно и не боясь нападокъ, мы должны сказать, что ничего подобнаго нѣтъ; напротивъ, что всего ужаснѣе, такъ это то, что въ кулачествѣ вы видите несомнѣнное присутствіе ума, дарованія, таланта. Посмотрите, сколько человеку, вылившемуся въ кулака, надо передумать, сколько ему надо внимательности къ себѣ, къ другимъ, чтобы съ успѣхомъ дѣлать свое дѣло, какъ надо много знанія людей, характеровъ, вообще жизни. Подумавши объ этомъ серьезно, вы убѣдитесь, что для кулачества необходимо быть очень умнымъ и очень талантливымъ человекомъ. Иногда блещутъ въ дѣятельности кулаковъ подлинно гениальныя способности, и въ тоже время вы не можете не убѣдиться, что равносильнаго таланта, ума, наблюдательности, вообще даровитости ни въ чемъ другомъ, ни въ мірскихъ общинныхъ дѣлахъ, ни въ семейныхъ отношеніяхъ — не выразилось. Что же значить это явленіе? Отчего умъ и талантъ на первыхъ порахъ (что будетъ дальше, мы не предсказываемъ, такъ какъ говоримъ только о настоящей минутѣ деревенской жизни) пошли такимъ недобрымъ, непригляднымъ и разорительнымъ для самого народа путемъ?»

«Замѣчательна, говоритъ авторъ ниже въ томъ-же очеркѣ—въ биографіи всякаго такого человека еще слѣдующая безъинтересная черта. Человекъ, какъ видите, вышелъ изъ ненавистничества какъ къ барину, такъ и къ мужику. Кажется, и тому, и другому прямой разсчетъ сокрушитъ этого ненавистника, но на дѣлѣ-же выходитъ иное. Баринъ, обитатель господской усадьбы, не сокрушаетъ его по тѣмъ соображеніямъ, по которымъ онъ не безъ заорательства иной разъ говоритъ себѣ: «По-о-смотри! Какъ-то вы на волѣ-то поживаете! Какъ заберете въ руки какая-нибудь кулацкая морда — узнаете барина, да поздно будетъ!» Иной даже радуется, что такой-то нажалъ мужиковъ: «Такъ ихъ и надо! Отлично! Право, молодецъ!» И невольно чувствуетъ симпатію, конечно, все-таки считая нагрѣвателя канальею. Канальей его считаютъ и мужики, но развѣ они могутъ не поставить ему въ заслугу ловкости, съ которою онъ, напримѣръ, ожегъ чемадуrowsкаго и балабасовскаго барина? «Ужъ и развязная-же только башка у шельмы!» Такимъ образомъ, при кличкахъ нарицательныхъ: «шельма», «плутъ», «пройдоха», «каналья» и т. д., тому-же человеку сопутствуютъ — и ничуть не въ меньшемъ количествѣ — и похвалы: «ловко!» «отлично!» «гениально опелѣ!» «молодчина!» и т. д.—похвалы, основанныя, какъ видите, уже на уваженіи къ уму, таланту, дарованію. Это-то послѣднее уваженіе и есть кулацкая сила, въ ней-то и заключается гибельность кулацкаго вліянія: онъ держится настолько-же хищничествомъ, насколько и нравственнымъ вліяніемъ на общественное сознаніе, которое, по множеству причинъ, не можетъ не считать его правымъ, умнымъ, а пожалуй и почетнымъ... Какая другая дорога для деревенскаго умнаго, энергическаго человека теперь? спрошу я и подожду отвѣта. Именно во имя сочувствія и даже, пожалуй, невозможности несочувствія кулацкой морали (имѣющей, какъ мы твердо вѣримъ, въ недалекомъ будущемъ пропитать рѣшительно всѣ сферы общества), сила кулака велика и у мужиковъ, и у баръ, и у начальства. Онъ всѣхъ знаетъ, онъ понимаетъ всѣ деревенскія отношенія, онъ можетъ отвѣчать всѣмъ и обо всемъ. Онъ поэтому и столпъ, и совѣтникъ. Ему-же принадлежитъ первенствующая роль и въ деревенской дѣятельности. Дѣянія кулака—самыя крупныя и замѣтныя на деревенской улицѣ. Самая видная, самая понятная, самая новая мораль, выглядывающая изъ явленій современной деревенской улицы—мораль кулацкая. А такъ какъ



подростающее деревенское поколѣніе, какъ и то, которое отживаетъ, учиться жить и думать такъ, какъ учить дѣйствительность, улица, и такъ какъ противъ кулацкой морали ни откуда на деревенскую улицу не проникаетъ ничего, противодѣйствующаго ей, то мы, положи руку на сердце, рѣшительно не можемъ не сказать, что это поколѣніе воспитывается, главнымъ образомъ, только кулацкою моралью. Чистая дѣтская душа деревенскаго ребенка въ изобиліи принимаетъ впечатлѣнія, даваемые кулацкою дѣйствительностью, и невольно, безъ протеста подчиняется ея морали».

Однимъ словомъ, интеллигенція мало того, что не пользуется среди народа никакимъ довѣріемъ, и является совершенно отъ него отстраненною, сверхъ того она принуждена созерцать въ нѣмощъ отчаяніи, какъ народъ воспитывается въ духѣ кулачества Колупаевыми и Разуваевыми, обирающими его до ниточки и тѣмъ не менѣе являющимися въ глазахъ его свѣтилами ума и таланта. Вотъ какой ужасъ раскрывается передъ нами при выходѣ нашемъ изъ абстрактнаго періода умственнаго движенія и при первомъ столкновеніи съ суровою дѣйствительностью. Это такой ужасъ, передъ которымъ блѣднѣютъ всѣ тѣ страхи, какихъ натерпѣлись люди прошлаго столѣтія, когда отрѣшились отъ своихъ буколическихъ фантазій. Эта трагедія, отъ исхода которой зависитъ существованіе не только интеллигенціи, но и самого народа.

Наконецъ, въ нынѣшнемъ году Гл. Успенскій выпустилъ съ очеркомъ „Власть земли“ (От. Зап., № 1), въ которомъ съ новою энергіею набросился все на тѣ же иллюзіи. По силѣ, яркости и глубинѣ захвата этотъ очеркъ нисколько не уступаетъ „Черной работѣ“, „Не впривычку дѣло“ и „Малымъ ребятамъ“, и не мудрено, что онъ возбудилъ сенсацию, ни чуть не меньшую, чѣмъ нѣкогда произвела „Черная работа“. Опять слышались негодующія рѣчи, что Гл. Успенскій тянетъ въ руку реакціонерамъ, что его очеркъ ведетъ къ такому печальному выводу, будто чѣмъ хуже положеніе крестьянина, т. е. чѣмъ меньшимъ количествомъ земли онъ владѣетъ и большими налогами является обложенъ, тѣмъ онъ не только нравственнѣе, порядочнѣе, но и въ матеріальномъ отношеніи оказывается зажиточнѣе, и наоборотъ малѣйшее улучшеніе благосостоянія ведетъ его къ лѣности, пьянству и полной деморализаціи. Посмотримъ-же, на сколько подобный скандальный выводъ вытекаетъ изъ очерка Гл. Успенскаго.

На первый взглядъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ фактомъ, который въ свою очередь идетъ вопреки всѣмъ нашимъ табличкамъ умноженія. Героимъ очерка является крестьянинъ Иванъ Петровъ, который былъ нѣкогда трудолюбивымъ, нравственнымъ и зажиточнымъ мужикомъ, но потомъ вдругъ ни съ того, ни съ сего излѣнился, спился и обнищалъ до послѣдней степени. Послѣ долгихъ разспросовъ автора, какъ это могло случиться, онъ добился отъ Ивана Петрова лишь одного объясненія, поставившаго автора въ полное недоумѣніе: именно, оказалось, что Иванъ Петровъ обнищалъ и спился ни отъ чего иного, какъ отъ „воли“, „отъ свободной жизни“.

„Такъ какъ, говорить авторъ—отвѣтъ этотъ ставитъ меня въ недоумѣніе и я рѣшительно не могу понять, почему «воля» можетъ губить человѣка, то Иванъ,

чтобы разсѣять мое недоумѣніе и объясниться обстоятельнѣе, прибавляетъ:

— Отъ жизни отъ свободной... вотъ отъ чего!

— Что-же это значитъ? спрашиваю я въ полномъ недоумѣніи.

— А то значитъ, какъ жилъ я на вокзалѣ, получалъ я тридцать пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, народу имѣлъ подъ начальствомъ десять человѣкъ, доходу имѣлъ каждый Божій день съ вагона ужъ безпримѣрно рубъ серебра, а сочтите-ко сколько въ зиму-то вагоновъ отправимъ? Ну, вотъ тутъ-то я значитъ и забаловалъ...

«Слово «забаловалъ» до такой степени не подходитъ къ сорокалѣтнему мужественному, бородатому мужику, что не понимаешь даже, какъ онъ можетъ въ объясненіе своего поведенія употреблять такіа выраженія, приличныя только развѣ малому ребенку. Но Иванъ не находилъ другого, болѣе точнаго выраженія.

— Вотъ и сталъ баловаться... При покойникѣ тятенькѣ, бывало, капли въ ротъ не бралъ. Убьетъ, если узнаетъ, на смерть уколотитъ своими руками... Да и послѣ тятеньки, когда ужъ оженился, своимъ хозяйствомъ сталъ жить, и то дозволялъ себѣ, когда отослать, да на праздникахъ, да иной разъ со склянками стаканчикъ... Все опасался, и покуда чего было, берегся... Ну, а ужъ тутъ, на вокзалѣ, какъ стала мнѣ воля, стало мнѣ значитъ раздолье, сталъ я, однимъ словомъ, коротко сказать—баринъ, тутъ-то я и пошелъ... Жрешь бывало цѣлыя сутки, и все доверху не хватаетъ... Я какъ сейчасъ помню съ чего началъ: у дорожнаго мастера Ивана Родіонча именины были на Ивана Постнаго... Ну, онъ мнѣ и налилъ винограднаго стаканъ, портвинъ прозывается... Я какъ двинулъ его, понравилось... Я и давай!.. А тамъ и коньякъ, лимонадъ... Вотъ съ тѣхъ самыхъ поръ и завелъ въ себѣ язву. А отчего? Все отъ вина!.. Все отъ непривычки... Отъ легкой жизни... Вотъ отчего!.. Бывало, денегъ полны карманы набью... Ну, и сталъ черезъ это самое вродѣ послѣдней свиньи»...

Такимъ образомъ, говорить авторъ—оказывается, что «воля, свобода, легкое житіе, обиліе денегъ», т. е. все то, что необходимо человѣку для того, чтобы устроиться, причиняетъ ему, напротивъ, крайнее разстройство, до того, что онъ дѣлается «въ родѣ свиньи».

Подобную несообразность со всѣми табличками умноженія авторъ и объясняетъ тѣмъ, что онъ называетъ „властью земли“.

«Тайна эта, говорить онъ—по истинѣ, огромная, и думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ терпѣлива и мочу въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душою, мужественно сильна и дѣтски кротка, словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за исцѣленіемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ паритъ власть земли, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ невозможность ослушанія ея повелѣній, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ его существованіе. У актера, который играетъ Мефистофеля или Демона, до тѣхъ поръ лицо будетъ казаться огненнымъ, покуда будетъ освѣщено огненнымъ свѣтомъ; нашъ народъ до тѣхъ поръ будетъ казаться такимъ, каковъ онъ есть, до тѣхъ поръ будетъ обладать тѣми драгоцѣнными качествами ума и сердца, словомъ, до тѣхъ поръ будетъ имѣть тотъ типъ и даже видъ, какой имѣетъ, пока онъ весь, съ головы до ногъ и съ наружи до самаго нутра, проникнутъ и освѣщенъ тепломъ и свѣтомъ, влѣющими на него отъ матери сырой земли. Погасите красивый фонарь—и лицо Демона перестало быть красивымъ. Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ

заботы, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуется крестьянина, добейтесь, чтобы онъ забылъ «крестьянство» — и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустаго человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь... «Иди, куда хошь...».

Такимъ образомъ, вы видите, что не увеличеніе благосостоянія въ предѣлахъ крестьянскаго труда, т. е. не прибавленіе земли или уменьшеніе налоговъ сбило съ толку Ивана Петрова; его погубило то, что онъ отрѣшился отъ крестьянскаго труда, сошелъ съ земли на почву почти что дарового наживы. Но тутъ можете представить въ какое возраженіе. Хотя Иванъ Петровъ и отрѣшился отъ крестьянскаго труда, но не на всю-же жизнь, вѣдь онъ не порвалъ всѣхъ связей съ землею, продолжалъ принадлежать своему міру, за нимъ оставался прежній надѣлъ, и жена его, оставшаяся въ деревнѣ, поддерживала его хозяйство, — такъ что мѣсто на вокзалѣ имѣло характеръ временнаго отхожаго промысла, ничего въ сущности не измѣняя въ его жизни. Спрашивается теперь, отчего Иванъ Петровъ не воспользовался открывшеюся ему возможностью нажить не одну сотнягу денегъ для того, чтобы потомъ на скопленный избытокъ расширить свое хозяйство и зажить припѣваючи? Отчего не хватило у него на столько силы воли, чтобы удержаться отъ всякихъ искушеній и подумать о завтрашнемъ днѣ, вмѣсто того, чтобы ставить каждую копейку ребромъ? Вѣдь вотъ еврейчикъ Шнапъ, котораго авторъ ставитъ въ параллель Ивану Петрову, тотъ поступилъ совсѣмъ не такъ со своими заработками:

«Все онъ толкался въ разныхъ мѣстахъ и все на пустомъ наровилъ рублишко нажить. Тамъ барынь провожаетъ, тамъ мужику укажетъ, какъ и куда пройти... Ну, и дадутъ кто рубль, кто гривенникъ... А онъ все прячетъ... все копить. — «На что, спрашиваютъ, копишь?» — «Карьеръ хочу дѣлать». — «Какой такой?» — «Деньги наживать!» — «Зачѣмъ?» — «Лавку открывать». — «А какъ откроешь?» — «Опять деньги наживать!» — «А какъ наживешь?» — «Еще больше буду наживать!» — «А какъ совсѣмъ уже много будетъ?» — «Опять буду еще больше стараться...» Вотъ и гляди на него. — «Пойдемъ выпьемъ!» Нейдетъ! копейки не истратить».

Какъ ни предосудительно направлена энергія еврейчика Шнапа, во всякомъ случаѣ, мы видимъ здѣсь своего рода нравственный закалъ, силу воли, неуклонно направляющую человѣка къ заданной цѣли. Отъ чего-же у Ивана Петрова ничего подобнаго мы не замѣчаемъ? Что за фатальная, мистическая сила пригвождаетъ его непремѣнно къ землѣ, и если земля не заставляетъ его тянуть неуклонную лямку, недобывать, недосыпать, изнуряться до послѣднихъ силъ, онъ сейчасъ же зазнается и теряетъ подъ ногами всякую нравственную почву? Или это не homo sapiens, а особенной породы животное, которое не въ состояніи существовать, не корня надъ землею, подобно тому, какъ рыбадохнетъ, какъ только вы ее вынете изъ воды? Или это зависитъ отъ особенной рыхлости натуры славянскаго племени? И при чемъ же опять-таки остаются всѣ наши дорогія иллюзіи? Не мы ли въ противоположность тщедушному интеллигентному

человѣку ставили этого богатыря, и физически, и нравственно закаленного въ борьбѣ со стихіями, и воображали, что для этого богатыря не существуетъ никакихъ такихъ искушеній, которыя свертываютъ съ пути нашего брата, слабонервнаго, изнѣженнаго; гдѣ-же и искать нравственной стойкости, предусмотрительности, желѣзнаго стоицизма, — какъ не въ этой натурѣ, скованной морозами трескучими и бѣдами лютыми? И вдругъ этотъ самый богатырь оказывается такою рваною тряпкою, что стоитъ только, чтобы ему перепалъ въ карманъ лишній гривенникъ, и онъ сейчасъ обращается въ какого-то забубеннаго бонъ-вивана, затыкается за поясъ любого аристократа безумствомъ кутежей и мотовства и кончаетъ тѣмъ, что совсѣмъ сбивается со всякаго круга! Что сей сонъ значить?

Въ сущности-же все это оттого именно и происходитъ, что вы имѣете здѣсь дѣло съ богатыремъ, не съ прямолинейнымъ абстрактнымъ богатыремъ нашихъ фантазій, а съ реальнымъ богатыремъ — человѣкомъ. Вамъ ничего не стоитъ въ вашихъ иллюзіяхъ вообразить мужика такимъ героемъ, что сунете его въ огонь, онъ и въ огнѣ не сгоритъ, бросите въ воду — онъ въ водѣ не потонетъ. Въ дѣйствительности-же, какой-бы онъ ни былъ богатырь, а онъ все-таки человѣкъ, которой и въ огнѣ горитъ, и въ водѣ тонетъ, и вообще подчиняется всѣмъ законамъ своей человѣческой природы. А между этими законами есть одинъ всемірный законъ, на который, къ сожалѣнію, обращаютъ очень мало вниманія, а между тѣмъ этотъ законъ участвуетъ во многихъ какъ частныхъ и незначительныхъ случаяхъ жизни, такъ и историческихъ событіяхъ первой важности. Закономъ этимъ объясняется и настоящій загадочный случай.

Дѣло вотъ въ чемъ: жизнь каждаго организма зависитъ отъ приспособленія къ окружающей средѣ. Это приспособленіе выражается въ борьбѣ съ различными внѣшними вліяніями. Успѣхъ или неуспѣхъ борьбы обусловлены тѣмъ, удастся-ли организму накопить въ себѣ столько мускульныхъ и нервныхъ силъ, чтобы быть въ состояніи выдерживать борьбу. Если количество этихъ силъ уравнивается съ силами внѣшнихъ вліяній или превышаетъ послѣднія, тогда мы и говоримъ про такой организмъ, что онъ приспособился, жизнь его обеспечена. Представьте-же себѣ такой случай, что данный организмъ вполне приспособился къ выдерживаемой имъ борьбѣ, накопилъ въ себѣ столько силъ, сколько ихъ нужно для этого, и силы эти содержатся въ одномъ и томъ-же количествѣ, какъ вдругъ борьба эта сразу прекращается. Что тогда должно произойти? Очевидно, въ организмѣ получится избытокъ силъ, не находящихъ никакого приложенія. Если-бы нашъ организмъ имѣлъ способность внезапно измѣняться во всѣхъ своихъ какъ формахъ, такъ и функціяхъ, тогда, конечно, ничего не стоило-бы ему тотчасъ-же уменьшить выработку силъ, теперь совсѣмъ излишнихъ и, такимъ образомъ, приспособиться къ новымъ условіямъ жизни. Но, къ сожалѣнію, организмъ нашъ лишенъ подобной возможности быстрыхъ превращеній; онъ подчиняется силѣ привычки, своего рода инерціи во всѣхъ своихъ отправленіяхъ; къ тому-же выработка извѣстнаго

количества силъ въ продолжительное время на столько развиваются органы, что они не могутъ по самой своей конструкціи уменьшить выработку. И вотъ мы видимъ, что эти излишнія силы, накапливаясь въ организмѣ, производятъ въ немъ различныя и матеріальныя, и нравственныя пертурбаціи. Смотри по темпераменту и условіямъ жизни организма, ему въ такомъ случаѣ угрожаютъ ожиреніе, различнаго рода гипертрофіи, или душевные недуги, въ родѣ сплина, запоя, жажды широкаго и необузданнаго разгула, противъ которой безсильна оказывается самая желѣзная воля. Этимъ только и можно объяснить многіе загадочные случаи и въ частной, и въ общественной жизни. Не однимъ только Иванамъ Петровымъ, находящимся подъ властію земли, а людямъ всѣхъ слоевъ общества и всякихъ профессій угрожаетъ одно и тоже мы часто, по крайней мѣрѣ, встрѣчаемъ, что живетъ какой-нибудь труженикъ воздержно, аккуратно, но стоитъ ему сойти съ почвы привычнаго труда и окунуться въ сферу легкой наживы или внезапно получить наслѣдство, у него закруживается, что называется, голова и онъ теряетъ всякую власть надъ собою. Вотъ почему люди, внезапно обогатившіеся, гораздо чаще прокучиваютъ свои капиталы, чѣмъ тѣ, которые съ этими капиталами родились. И въ этомъ отношеніи естественно, что чѣмъ упорнѣе была предшествовавшая борьба съ условіями жизни и чѣмъ большаго напряженія силъ требовалъ трудъ, тѣмъ сильнѣе долженъ быть размахъ освободившихся силъ. Если даже и Акакію Акакіевичу, при томъ ничтожномъ напряженіи нервовъ, съ которыми соединяется механическая канцелярская работа, не обходится даромъ внезапное опочиваніе на лаврахъ, то чего-же мы можемъ ожидать отъ Ивана Петрова, при той гигантской борьбѣ со всѣми силами природы, какою обуславливается крестьянская жизнь?

Я уже сказалъ выше, что тотъ-же самый законъ присутствуетъ и во многихъ крупныхъ историческихъ фактахъ. И действительно, чѣмъ-же, какъ не этимъ закономъ, можно объяснить, что аристократическія сословія Западной Европы, отличавшіяся суровыми и строгими нравами въ средніе вѣка, когда значительное количество мускульных и нервныхъ силъ этихъ сословій тратилось на непрестанныя войны, вдругъ сразу деморализовались и предались необузданному разгулу послѣ того, какъ изъ воинственныхъ феодаловъ они превратились въ праздныхъ придворныхъ? Тоже самое мы встрѣчаемъ во многихъ религиозныхъ сектахъ, которымъ изъ воинственныхъ, гонимыхъ, удавалось сдѣлаться господствующими: весь тотъ нравственный закалъ, доходящій до аскетическаго энтузіазма, который составлялъ ихъ главное достоинство, сразу исчезалъ и замѣнялся полною деморализаціей. Но не всегда „освободившіяся силы“ ведутъ къ деморализаціи. Онѣ могутъ имѣть иные исходы, еще болѣе роковые и грозные. Ивану Петрову легко было предаться разгулу, потому что онъ былъ выведенъ изъ-подъ власти земли на поле даровой наживы. Представьте-же вы теперь, что онъ былъ-бы только устраненъ съ своей земли и затѣмъ предоставленъ на жертву бездомнаго скитанія: „иди, куда хошь!“... и предположите, что такой участи былъ-

бы предоставленъ не одинъ Иванъ Петровъ, а цѣлые ихъ тысячи и миллионы. Подумайте, какой исходъ могъ-бы имѣть этотъ цѣлый океанъ „освободившихся силъ“, и что могло-бы остановить и сдержать въ предѣлахъ этотъ страшный океанъ? Вотъ эти-то только и можно объяснить, почему рабочія массы, какъ на-примѣръ, на Западѣ фабричный пролетаріатъ, не смотря на всѣ экономическіе тиски, по цѣлымъ десяти-камъ и сотнямъ лѣтъ безропотно переносятъ самое ужасное существованіе. Но вдругъ разражается какой-нибудь экономическій или политическій кризисъ, сразу огромное количество силъ, до того времени занятыхъ ежедневною работою, освобождается, и происходитъ тогда стихійный взрывъ, сдержатъ который не въ состояніи оказываются вооруженныя арміи, какъ это было на-примѣръ въ 1848 г. въ Парижѣ. Вотъ въ этомъ отношеніи мы можемъ смѣло завѣрять публицистовъ, которые толкуютъ нынѣ о „разнузданіи звѣря“: пусть они успокоятся и будутъ увѣрены, что никакіе патріотическіе кличи мракобѣснующихся газетъ съ одной стороны, никакія пропаганды съ другой — не въ состояніи „разнуздать звѣря“, если къ нимъ не придутъ на помощь тѣ мудрые ревнители народнаго блага, которые мечтаютъ основать благосостояніе и могущество Россіи на быстромъ обезземеленіи крестьянъ. Только это обезземеленіе, если не будетъ принято противъ него самыхъ энергическихъ мѣръ, и можетъ произвести то, чего совершенно справедливо опасаются господа публицисты, произвести неминуемо, неудержимо, не смотря ни на какія предупредительныя мѣры.

Теперь въ концѣ концовъ и подумайте, слѣдуетъ-ли изъ очерка Гл. Успенскаго такой выводъ, что, будто-бы, чѣмъ крестьянамъ хуже живется, т. е. чѣмъ у нихъ меньше земли и большими налогами они обложены, — тѣмъ они нравственнѣе и порядочнѣе? Напротивъ того, что же и ведетъ къ тому, что Ивана Петровы бросаютъ свои земли и хозяйства и идутъ искать на вокзалахъ легкаго заработка, какъ не малоземеліе и излишнее обремененіе налогами? Развѣ ушелъ-бы Иванъ Петровъ на вокзалъ, если-бы земли у него было вдоволь и домъ его былъ-бы полною чашею? Отъ добра добра не ищутъ. И очеркъ Гл. Успенскаго представляетъ совершенно противоположное доказательство: именно, что деморализація Ивановъ Петровыхъ зависитъ отъ неустройства и скудости деревенской жизни. Власть земли перестаетъ быть властью, разъ этой земли такъ мало и такъ она скудна, что ею нельзя прокормиться. Вотъ къ какому сурово-трезвому, но глубоко-истиннымъ взглядамъ ведетъ прямой взглядъ на дѣло безъ всякихъ предвзятыхъ иллюзій. И нѣтъ никакихъ сомнѣній, что въ этихъ взглядахъ, хотя и не льстящихъ народу, таится гораздо болѣе любви къ мужику, чѣмъ во всѣхъ идеализированіяхъ его, а что взгляды эти могутъ принести неизмѣримо большую пользу и для народа, и для интеллигенціи — объ этомъ не можетъ быть и рѣчи.

### III.

Въ лицѣ Андрея Осиповича Новодворскаго (А. Осиповича) русская жизнь потеряла одного изъ своихъ

литературныхъ младенцевъ. Правда, младенецъ этотъ появился на свѣтъ въ 1877 году, 24 лѣтъ отъ роду, и существовалъ затѣмъ пять лѣтъ безъ малаго, но печатался онъ такъ рѣдко, и талантъ его, хотя и обратилъ на себя вниманіе съ первой повѣсти, все таки такъ мало еще опредѣлился, что до конца дней онъ оставался младенцемъ, главная дѣятельность, значеніе и слава котораго скрывались еще въ будущемъ. Но онъ—не расцвѣлъ и отцвѣлъ въ утрѣ пасмурныхъ дней. А случилось это потому, что онъ родился не въ сорочкѣ и былъ младенцемъ не какимъ либо государственнымъ, а именно литературнымъ. Известно вѣдь, что русская жизнь далеко не ко всѣмъ своимъ дѣтищамъ чадолубивая мать; къ инымъ она относится какъ самая суровая мачиха; у ней есть свои любимцы, которыхъ она сама кормитъ, поитъ, не жалѣя молока, сама целеназетъ, обмываетъ, и пѣсенки надъ колыбелькою распѣваетъ, въ родѣ того, что „будешь въ золотѣ ходить, чисто серебро носить“; но за то другихъ она только и надѣляетъ, что одними шлепками,—и къ числу самыхъ нелюбимыхъ, самыхъ заброшенныхъ, безспорно, принадлежатъ младенцы литературные. „Ахъ, чтобъ васъ черти забрали; принесла васъ нелегкая на свѣтъ!“ Подобною фразою вполне опредѣляются всѣ отношенія суровой мачихи къ своимъ нежеланнымъ и негаданнымъ пасынкамъ. Одна часть русской жизни, представителями которой являются Катковы, Суворины, Буренины и тому подобный гадъ, при naroжденіи каждаго новаго литературнаго младенца приходитъ обыкновенно въ такое остервенѣніе, что такъ вамъ и кажется, что она его сейчасъ-же схватитъ за ноги, да головою объ уголъ. Другая часть русской жизни, правда, очень сочувствуетъ naroжденію новыхъ литературныхъ чадъ и очень хлопочетъ о томъ, чтобы ихъ нарождалось какъ можно больше, но въ свою очередь все это болѣе на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ. По крайней мѣрѣ прочтите коротенькій некрологъ Новодворскаго, Ясинскаго, напечатанный въ мартовской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“, и вы увидите, что вся жизнь сошедшаго въ преждевременную могилу литературнаго младенца ничѣмъ не отличалась отъ жизни тѣхъ покинутыхъ птенцовъ, которые отдаются въ воспитательный домъ, и затѣмъ умерщвляются въ глуши чухонскихъ дѣревень. До вступленія на литературное поприще, пока Новодворскій еще не народился на свѣтъ въ качествѣ литературнаго младенца, а находился еще въ эмбриональномъ состояніи, онъ существовалъ въ качествѣ молодого разnochинца, борющагося за свое существованіе; это существованіе, вполне соответствующее эмбриональному періоду, представляло собою чистый мракъ кромѣшныи безпріютнаго скитальчества, голода, холода или учительской каторги, исполненной всякаго рода униженій, въ нѣдрахъ барскихъ семей. Изъ этого мрака только и долетаютъ до насъ одни раздирающіе душу стоны въ родѣ слѣдующихъ:

«Скверно! Когда это все кончится? Такъ какъ я обязался быть религіознымъ, то на дняхъ былъ къ церкви. Бѣдная деревенская церковь, обычный священникъ, поучающій наставу, усердствующій народный учитель, завывающій съ своимъ хоромъ на клиросъ и приводящій въ восторгъ поселянъ, все это, при холодной погодѣ и пасмурномъ днѣ, произвело

на меня впечатлѣніе чего-то очень безпріютнаго, горемычнаго, сѣраго... Крестьянки причащали грудныхъ и годовалыхъ ребятъ и кормили ихъ посѣбъ черемоніи краюхой хлѣба. Мнѣ стало какъ-то очень тяжело. Я ясно почувствовалъ, что я теперь дальше отъ народа, чѣмъ когда бы то ни было; что я теперь не только не могу быть чернорабочимъ, какъ мечталъ когда-то, но что даже положеніе народнаго учителя едва-ли было бы мнѣ подъ силу... А между тѣмъ почти всѣ крестьяне и крестьянки были въ шубахъ, тогда какъ на мнѣ было пухленькое пальтишко—единственное мое теплое одѣяніе; между тѣмъ какъ девять десятыхъ всѣхъ этихъ мужиковъ никогда не голодали такъ, какъ голодалъ я, и ни одинъ такъ, какъ постоянно голодаютъ мать и сестренки... Дѣло, значить, ясно: мнѣ опротивѣла та обстановка безпріютности, которою пахнетъ при словѣ мужикъ, опротивѣла потому, что я слабѣю, тогда какъ онъ не перемѣняется, что я измучился, усталъ отъ нравственныхъ мученій (каковы бы они ни были, они всегда бываютъ глупы), которыя ему меньше знакомы... А между тѣмъ я себя воспитываю, чтобы слиться съ народомъ! Да это просто насмѣшка! Насмѣшка надъ логикой съ моей стороны и горькая иронія обстоятельствъ надо мной!»

Или еще того проще, и тѣмъ ужаснѣе:

«Голодъ! Когда ты оставишь меня? Вѣчный физическій или душевный голодъ... Да будь хоть семи пядей во лбу, а если тебя бросить въ бездонное болото, ты также прекрасно потонешь, какъ самый слабый смертный! Вши также преспокойно могутъ забѣсть нищаго рабочаго, какъ заѣли бы Гого, если бы у него не было бѣлья, платья и жратвы... Грязь! «Это злѣйшій врагъ моей жизни!» Это моя фраза, но она произнесена въ другое время; она вырвалась у меня, какъ стонъ больной души, а потому я поставилъ ее въ кавычки, какъ изреченіе. Это было шесть лѣтъ тому назадъ. Я путешествовалъ изъ Москвы; не ѣлъ двое сутокъ, и въ такомъ видѣ пріѣхалъ въ Винницу. До дому оставалось 45 верстъ, которая надлежало пройти пѣшкомъ. Дѣло было въ октябрѣ. Дождь, грязь, слякоть. Со мной не было вещей, но за то, можно сказать, и штановъ не было, потому что тѣ жалчайшія лѣтнія панталоны, что были на мнѣ, въ смыслѣ удобства, смѣло можно было признать равными нулю; кромѣ того, ботинки (тоненькія, помню, ботинки), шинелишка и башлыкъ. Безъ отдыха, по этой дорогѣ я прошелъ тридцать верстъ, а за то потомъ чуть не падалъ на каждой верстѣ...»

Насколько улучшилось его положеніе послѣ рожденія въ качествѣ литературнаго младенца и какъ русская жизнь въ роли нѣжной матери пѣствовала свое талантливое и многообещающее чадо, вотъ что по повѣствуетъ объ этомъ Ясинскій:

«1878—1880 гг. были особенно гибельны для здоровья Андрея Осиповича. Онъ перенесъ два тифа и сталъ кашлять. Жилъ онъ въ послѣднее время «роскошно», какъ онъ выражался. Уроками онъ добывалъ рублей 36—40 въ мѣсяцъ, которые и надерживалъ на себя, а литературный заработокъ отсылалъ роднымъ. Комната у него была крошечная (отъ 10 до 15 р. въ мѣсяцъ), и онъ часто перемѣнялъ квартиру, въ надеждѣ найти что-нибудь поудобнѣе, обѣдалъ въ кухмистерскихъ, за 40 коп., одѣвался «весьма прилично», такъ что, по вѣщности, производилъ впечатлѣніе чловѣка «благодѣствующаго». Бѣдность научила его относиться къ каждой заработанной копѣйкѣ съ уваженіемъ и жить съ изумительной аккуратностью...»

«Зловѣщіе признаки исхода незамѣтной болѣзни Андрея Осиповича, которую онъ считалъ «легонькимъ бронхитомъ», появились въ срединѣ лѣта прошлаго года, когда онъ поѣхалъ на дачѣ въ крошечной комнаткѣ съ сквозными вѣтрами и течею. Онъ поѣхалъ на югъ, въ Винницу, но тамъ дождь (дикурирующій въ предсмертномъ разсказѣ его: «Ис-

торія») промочилъ его до костей, и онъ уже серьезно простудился, такъ что, снова появившись, въ августѣ, въ Петербургѣ, испугалъ меня своимъ чахоточнымъ видомъ. Въ ноябрѣ онъ уѣхалъ за границу, уви съ тѣмъ, чтобы не возвращаться на родину, которую такъ страстно любилъ и муками которой болѣлъ и терзался...

Къ этому всему остается только прибавить, что онъ умеръ въ крайней нищетѣ въ казенной больницѣ, и это было не въ какомъ-нибудь захолустьѣ, а въ Ниццѣ, гдѣ такъ много русскихъ, и притомъ среди массы нашихъ соотечественниковъ, конечно, были такіе, которые знали, что такое былъ Новодворскій, читали его, можетъ быть хвалили и питали, относительно его, благія надежды... Скажи мнѣ, читатель, возможное-ли дѣло, чтобы въ Петербургѣ умеръ какой-нибудь нѣмецъ съ самымъ маленькимъ литературнымъ именемъ, и чтобы его соотечественники, нѣмцы, нанбуржуазнѣйшіе булочники и колбасники, оставили-бы его умирать безъ всякихъ средствъ гдѣнибудь въ Обуховской больницѣ!.. У тебя не стынетъ кровь въ жилахъ, читатель?

А между тѣмъ этотъ ненакормленный, непритѣтый и загубленный литературный младенецъ, какъ ни мало существовалъ онъ, успѣлъ оставить замѣтный слѣдокъ въ литературѣ. Очень можетъ быть, что его младенческій лепетъ и не дойдетъ до потомства, будетъ заглушенъ иными рѣчами, болѣе мужественными, громкими и блестящими, но современники его не забудутъ, такъ какъ рассказы его въ свое время произвели на нихъ глубокое впечатлѣніе и кое-что освѣтили имъ въ пониманіи окружающей ихъ низменной сутолоки, заставили ихъ кое-о-чемъ задуматься и кое-чѣмъ встревожиться такими, что они безъ этихъ произведеній пропустили-бы безъ всякаго вниманія. Уже одно то обратило всеобщее вниманіе, что въ лицѣ Новодворскаго выступила на литературное поприще первая художественная сила изъ рядовъ молодого поколѣнія 70-хъ годовъ, и надо отдать справедливость, выступила блестятельно. Отъ перваго произведенія Новодворскаго „Ни пава, ни ворона“ сразу повѣяло на всѣхъ чѣмъ-то молодымъ, свѣжимъ, и, главное дѣло, совершенно новымъ. Самая форма произведенія этого поражала своею оригинальностью и полнымъ разрывомъ съ заѣзжавшими традиціями; по крайней мѣрѣ, она настолько-же отступала отъ прилизанной, прикрашенной и припомаженной беллетристической формы, созданной 40-ми годами, насколько произведенія новыхъ французскихъ романтиковъ 20-хъ годовъ разнились отъ ложно-классической рутинны. Бездна южно-русскаго юмора, смѣлое введеніе въ рассказы не только классическихъ литературныхъ типовъ (Печорина, Рудина, Базарова и проч.); но и самого Тургенева, котораго авторъ заставилъ разговаривать съ героемъ его „Нови“, Соломинимъ, безпрестанныя то лирическія, то юмористическія отступленія, и необузданное, прихотливое изложенье, слѣдующее болѣе полету фантазіи и игрѣ сфланирующихъ мыслей, чѣмъ внѣшнему развитію сюжета, все это напоминаетъ гейневскую прозу, и читатель отдыхалъ отъ монотонной рутинны пріѣвшагося ему стараго беллетристическаго изложенія, расположеннаго, обыкновенно, по разъ установленному

порядку: глава I—встрѣча героя съ героиней, глава II—біографія героя съ рожденія до встрѣчи съ героиней, глава III—біографія героини съ рожденія до встрѣчи съ героемъ, глава IV—объясненіе въ любви, глава V—паденіе, глава VI—начало измѣнъ, разлукъ и всякихъ мукъ и т. д. Здѣсь ничего этого не было; начиная читать страницу, читатель не зналъ, что встрѣтитъ неожиданно въ концѣ ея, и ему было весело.

Но форма формой, а главное, что всѣхъ интриговало, это содержаніе: всѣмъ и каждому было интересно узнать, что думаетъ, чувствуетъ и чѣмъ живетъ юная формация людей 70-хъ годовъ. До той поры эта юная формация изображалась или съ предвзятою каррикатурностью и съ зубовнымъ скрежетомъ Авсѣенками и Незлобинными, или-же, если и съ желаніемъ отнестись безпристрастно и правдиво, то людьми зрѣлаго и даже болѣе, чѣмъ зрѣлаго возраста, которымъ приходилось ограничиваться наблюденіями со стороны и которые волею неволею примѣшивали къ своимъ наблюденіямъ воспоминанія своей собственной юности, протекшей въ иную эпоху, при иныхъ обстоятельствахъ и вѣяніяхъ. Здѣсь-же къ наблюденіямъ присоединялся опытъ, и само юное поколѣніе, устами лучшаго своего представителя вѣщало намъ, чѣмъ оно живетъ и къ чему стремится.

Къ величайшему сожалѣнію, какъ преждевременная смерть, такъ и различныя внѣшнія обстоятельства, независѣвшія отъ автора, конечно, мѣшали ему развѣрнуть полную картину жизни современной намъ молодежи и представить послѣднюю во всѣхъ ея разнородныхъ типахъ. Ему удалось отдернуть передъ нами лишь одинъ кончикъ занавѣски, но и то, что показалъ онъ за этимъ кончикомъ, во всякомъ случаѣ заслуживаетъ полнаго вниманія, и мы остановимся на этомъ, для того, чтобы опредѣлить значеніе того слѣдка, который оставилъ въ нашей литературѣ покойный писатель.

Повѣсти Новодворскаго очень рѣзко раздѣляются на два рода. Къ первому роду принадлежатъ: „Ни пава, ни ворона“, „Карьера“, „Романъ“, а затѣмъ слѣдуютъ рассказы въ родѣ „Мечтатели“ и „Исторія“. Въ послѣднихъ рассказахъ авторъ нѣсколько отступилъ отъ того пути, по которому шелъ сначала; вмѣсто обрисовки типовъ людей молодого поколѣнія и раскрытія передъ нами внутренней ихъ жизни, что только и возможно въ нашей современной литературѣ при всѣхъ ея тягостныхъ условіяхъ, онъ увлекся тою особеннаго сорта беллетристикою, которая, въ два, три послѣдніе года создалась подъ вліяніемъ событій, и время отъ времени причиняетъ не мало тревожныхъ мукъ многимъ редакторамъ, которые обыкновенно только руками разводять, не зная, что имъ дѣлать и какъ быть при вопросѣ о помѣщеніи того или другаго рассказа въ этотъ родъ. Я признаю всю неизбежность подобной беллетристики и очень хорошо понимаю всю естественность того факта, что злоба дня, волнующая и угнетающая всѣ сердца, не можетъ не употреблять всѣхъ усилій, чтобы такъ или иначе не вторгнуться въ литературу. Но надо сказать правду,—не извѣстно къ чему приведутъ всѣ эти усилія въ будущемъ, въ настоящемъ-же они представляютъ собою

ничего болѣе, какъ „шопотъ, робкое дыханье“. Это — беллетристика, не въ какомъ-либо метафизическомъ, но въ буквальномъ смыслѣ — призрачная, потому что здѣсь вы не найдете ни типовъ, ни характеровъ, ни объясненій мотивовъ, поступковъ, ни психическаго анализа, а одни призраки, мелькающіе передъ вами въ густомъ, непроницаемомъ туманѣ. Герои этихъ разсказовъ, мало того, что совершаютъ свои главные поступки гдѣ-то за кулисами и авторъ ни словечка не молвитъ о томъ, что они тамъ такое дѣлаютъ, но иногда они и совсѣмъ не выходятъ на сцену (какъ напримѣръ въ „Мечтателяхъ“ Новодворскаго главный герой Псевдонимовъ).

Совсѣмъ другое дѣло первые три разсказа Новодворскаго. Въ нихъ повѣствуется не о какихъ-либо внѣшнихъ событіяхъ съ героями и такихъ происшествій, о которыхъ писатель предоставлялъ-бы вамъ самимъ догадываться, какъ знаете; конечно, и здѣсь неизбежно встрѣчается кое-гдѣ нѣчто подобное; но суть здѣсь не въ этомъ, а въ самомъ путѣ героевъ, въ ихъ нравственной конструкціи и типическихъ особенностяхъ. Этими разсказами мы и ограничимся.

Въ двухъ первыхъ разсказахъ, въ „Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны“, и въ „Карьерѣ“, передъ нами рисуется одинъ и тотъ-же герой, отъ лица котораго ведутся оба разсказа. Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что во второмъ разсказѣ герой этотъ мало того, что въ художественномъ отношеніи обрисованъ гораздо рельефнѣе, но въ тоже время и освѣщенъ гораздо правильнѣе и сознательнѣе. Видно, что когда Новодворскій писалъ „Эпизодъ“, онъ хотя и вѣрно представлялъ себѣ типъ своего героя, какъ художникъ, но, какъ мыслитель, не успѣлъ еще осмыслить его вполне и неясно сознавалъ, какое мѣсто занимаетъ герой его въ нашей жизни. Вслѣдствіе этой смутности сознанія онъ создалъ цѣлую теорію „ни-павства—ни-воронства“, подъ которую подвелъ всѣхъ и вся, и своего героя, и самого себя, и другого героя изъ народа — Печерицу, и даже самаго Бѣлинскаго.

«Что такое Бѣлинскій, какъ типъ?» заставляетъ авторъ Соломина объяснять Тургеневу, съ которымъ онъ разговариваетъ въ Баденъ-Баденѣ: «это — «алчущая правда», вѣчно страдающая, вѣчно рвущаяся къ свѣту ни павы, ни ворона... Онъ родился между воронами, въ вороньей обстановкѣ; родился впечатлительнымъ, сердечнымъ, добрымъ и сразу сталъ чувствовать себя не ладно въ вороньей средѣ. Онъ задыхается, ищетъ воздуха. А тамъ, у подножья божества, спокойно расположились павы... Неотъемлемая особенность его характера — неудовлетворимость и стремленіе къ идеалу. Ни вороны, ни павы этого не испытываютъ. У первыхъ ничего подобнаго не зарождалось въ головахъ, а вторые успокоились на лонѣ какой-нибудь до того широкой (или узкой) идеи или на такомъ громадномъ запасѣ силы, что предъ нею всѣ сомнѣнія, всѣ терзанія — нуль! Бѣлинскому завидно это олимпийское спокойствіе. Онъ такъ энергично рвется къ богинѣ, что, наконецъ, можетъ достать до нея рукой и съ восторгомъ смотреть внизъ, на громадный вороній міръ, копошащійся тамъ, далеко. Но тутъ-то оказывается, что павой ему никогда не быть, не потому, чтобы его ошпарили, а просто потому, что въ немъ самомъ много вороньяго; онъ страстно любитъ воронь... Вотъ и начинаешь чудить Бѣлинскій. Онъ протягиваетъ руку внизъ, зоветъ воронъ, не смотря на то,

что павамъ это, можетъ быть, вовсе нежелательно; потомъ, видя, что вороны не обнаруживаютъ ни малѣйшаго поползновенія летѣть такъ высоко, онъ схватываетъ богиню за подолю платья и тянетъ ее внизъ, къ воронамъ; когда и эти желанія ни къ чему не приводятъ, онъ, больной, измученный, проклинаетъ и божество, и воронъ, и умираетъ... ни павой, ни вороной».

Все это очень и художественно, и остроумно; подобнаго рода аллегоріи можно развивать до безконечности, нагромождая одну на другую, и изъ нихъ могутъ нѣкоторыя блистать не только остроуміемъ, но и глубокомысліемъ. Но если вы, отрѣшившись на время отъ этихъ аллегорій, взглянете на знакомыя вамъ черты Бѣлинскаго, какъ онѣ рисуются передъ вами въ его статьяхъ, письмахъ, фактахъ жизни, и затѣмъ сравните съ ними типическія черты героя разсказа Новодворскаго, сообразно тому, какъ эти черты рисуются въ его дѣйствіяхъ и помыслахъ, вы немедленно же убѣдитесь, что между Бѣлинскимъ и героемъ Новодворскаго ничего нѣтъ общаго, что если „ни-павство—ни-воронство“ понимать въ томъ смыслѣ, какъ авторъ прилагаетъ это къ Бѣлинскому, то герой разсказа его къ подобному понятію совсѣмъ не подходитъ, и наоборотъ, если ни-павство—ни-воронство олицетворяется въ типическихъ чертахъ героя, то Бѣлинскій тутъ останется совсѣмъ въ сторонѣ, или, если хотите правильнѣе сказать, Бѣлинскій по отношенію къ герою долженъ парадировать чистокровною павой.

Все это недоразумѣніе произошло изъ того, что авторъ, когда задумалъ писать свой эпизодъ, хотя художественно и вѣрно постигалъ своего героя, но такъ мало еще понималъ его, что вообразилъ его и въ самомъ дѣлѣ заправскимъ героемъ; вслѣдствіе этого поставилъ его на пьедесталъ, и мало того, что приравнялъ его къ Бѣлинскому, но сверхъ того присвоилъ ему очень лестную генеалогію, по которой вышло, что дѣдъ его былъ демонъ, отецъ Почоринъ, а Рудинъ и Базаровъ — старшіе братья. Въ концѣ концовъ, Новодворскій приравнялъ своего героя и къ себѣ самому въ своемъ дневникѣ, а за нимъ и биографъ его, Ясинскій, въ свою очередь, отождествляетъ покойнаго писателя съ его героемъ. Я никогда не видалъ Новодворскаго и не знаю его; Ясинскому, конечно, лучше судить объ этомъ. Но во всякомъ случаѣ подобное тождество, если-бы оно существовало, было-бы очень прискорбно, хотя мнѣ сдается, что если Новодворскій и находилъ въ себѣ черты, сходныя съ его героемъ, то конечно на самомъ дѣлѣ подобное сходство простиралось до такой лишь степени, въ какой Пушкинъ походилъ на Владиміра Ленскаго или Лермонтовъ на Грушницкаго. Вѣдь увѣрялъ-же Гоголь, что, сѣясь надъ своими героями, онъ въ нихъ (не исключая Хлестакова и Плюшкина) осмѣиваетъ свои собственные недостатки.

Чтоже такое представляетъ собою герой разсказовъ Новодворскаго, если мы отстранимъ всѣ аллегоріи и авторскія объясненія, а посмотримъ на него непосредственно, какъ онъ проявляетъ себя въ жизни? А вотъ что:

Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ литература наша начала изображать такъ называемыхъ героевъ своего



времени, она постоянно изображала ихъ въ парномъ видѣ, т. е. вмѣсто одного выводила параллельно двухъ героевъ. Оба эти героя являлись, обыкновенно, помазанными однимъ и тѣмъ же елеемъ и поклоняющимися одному и тому-же богу ихъ эпохи, но въ тоже время между ними замѣчалась существенная разница. Одинъ изъ нихъ представлялъ изъ себя настоящаго героя, служилъ дѣйствительнымъ и полнымъ воплощеніемъ духа своего времени. Натура не только воспримчивая, но и глубокая, страстная энергія, незнающая покоя, желѣзная воля—являлись постоянно главными качествами этого героя. Иногда, подъ вліяніемъ какой-нибудь мрачной эпохи, въ подобномъ героѣ отрицательные элементы развивались насчетъ положительныхъ, и тогда онъ рисовался въ видѣ демона, въ которомъ преобладали хищническіе и разрушительные элементы; но и въ такомъ печальномъ видѣ герой заключалъ въ себѣ чарующее и обаятельное, что влекло къ нему всѣхъ мало-мальски увлеченныхъ движеніемъ вѣка.

Что-же касается второго героя, то онъ былъ или отраженіемъ перваго, или его блѣдною тѣнью и жалкою пародіею. Въ то время, какъ первый представлялъ собою силу, второй былъ олицетвореніемъ слабости: безхарактерность, нерѣшительность, апатія, слабодушіе были преобладающими качествами его. Онъ и увлекался—то духомъ времени совсѣмъ иначе: идеи вѣка отражались въ немъ плоско, мелко; онъ придавалъ большее значеніе формальной сторонѣ ихъ, чѣмъ углублялся въ ихъ суть. Въ то время, какъ первый былъ отрицаніемъ пороковъ и недуговъ своего вѣка, второй, напротивъ, былъ весь проникнутъ ими. Это не шло ему порою быть очень симпатичнымъ своею кротостью, прямодушіемъ и голубинымъ незлобіемъ,—но тѣмъ не менѣе онъ носилъ на себѣ всѣ грѣхи отцовъ и дѣдовъ, былъ до мозга костей зараженъ разными наслѣдственными худосочіями и подъ блестящей внѣшностью передовика скрывалъ въ себѣ воплотившаго ветхаго человѣка, полагаться на котораго было опасно. Различіе его отъ пошлой толпы въ этомъ отношеніи заключалось лишь въ томъ, что онъ сознавалъ мѣзмы и язвы, которыя разъѣдали его организмъ, но избавиться отъ нихъ не имѣлъ ни силъ, ни воли и ограничивался лишь тѣмъ, что стучалъ до боли себѣ въ грудь и разражался самообличительными тирадами.

И дѣйствительно, вы не назовете мнѣ ни одного изъ выдающихся героевъ времени, рядомъ съ которыми не стоялъ-бы его антиподъ: такъ рядомъ съ Чацкимъ парадируетъ передъ нами произведеніе того-же духа времени—Репетиловъ, рядомъ съ Онѣгинымъ—Владиміръ Ленскій, рядомъ съ Печоринымъ—Грушницкій, рядомъ съ Руднымъ и Бельтовымъ рисуются Круциферскіе, Чулкатурины и разныя Гамлеты Щигровскаго уѣзда, рядомъ съ Базаровымъ—Николай Кирсановъ, рядомъ съ Рязановымъ (герой повѣсти Слѣпцова „Трудное время“) —Щетининъ. Если мы теперь спросимъ, къ какому-же разряду относится герой рассказовъ Новодворскаго, то я полагаю, что каждый безъ малѣйшихъ колебаній скажетъ намъ, что конечно ко второму, а никакъ не къ первому. Такимъ образомъ генеалогія нашего героя со-

вершенно измѣняется: прадѣдушкой его является Репетиловъ, дѣдушкой Владиміръ Ленскій со своею „душою чистогеттингенской“, отцомъ—Чулкатуринъ, а Кирсановъ и Щетининъ—старшими братьями. Взглянемъ на нравственныя черты нашего героя, и мы въ этомъ убѣдимся.

Репетиловъ—и вдругъ герой рассказовъ Новодворскаго, что можетъ быть тутъ общаго, помяните! Репетиловъ—богачъ, строящій каменные дома съ колоннами на Фонтанкѣ, кутила, игрокъ, волокита, шатающійся ночи на пролетъ то по великосвѣтскимъ баламъ и раутамъ, то по разнымъ вертепамъ разврата, Репетиловъ, который

... бредилъ цѣлый вѣкъ объѣдомъ или баломъ;  
Объ дѣтахъ забывалъ, обманывалъ жену;  
Игралъ, проигрывалъ, въ опску взявъ указомъ,  
Танцовщицу держалъ, да не одну—  
Трехъ разомъ;

Пилъ мертвую, не спалъ ночей по девяти;  
Все отвергалъ: законы, совѣсти, вѣру...

и вдругъ—тщедушный, иситой отъ голода и нищеты юноша, весь оборванный, почти безъ штановъ, шлепающій въ бурю и дождь по грязи въ тоненькихъ ботиночкахъ безъ подошвъ и пробирающійся на пристань работать вмѣстѣ съ мужиками, таскать бревна. Есть-ли тутъ хоть тѣнь какого-либо подобія?

Но вѣдь и ты—читатель, каковъ бы ты ни былъ и чтобы изъ себя ни представлялъ, навѣрное не имѣешь ни малѣйшаго подобія со своимъ прадѣдомъ, несмотря на то, что навѣрное многое отъ него наслѣдовалъ и кровь у тебя въ жилахъ течетъ зараженная тѣми же мѣзмами. Репетилову съ пола горя было строить дома на Фонтанкѣ, держать танцовщицъ, задавать роскошныя обѣды и проигрывать десятки тысячъ, такъ какъ ему досталась отъ родителей масса населенныхъ имѣній, и къ тому же, вмѣстѣ съ несмѣтными богатствами, онъ наслѣдовалъ отъ предковъ остатокъ богатырскихъ физическихъ силъ: дѣдъ его ломалъ подковы какъ бисвиты, и одинъ выходилъ чуть не на трехъ сразу медвѣдей; не мудрено, что и Репетилову ни почему сходили и бессонныя ночи, и безумные кутежи. Но сынокъ Репетилова—Владиміръ Ленскій былъ далеко уже не то; онъ могъ еще считаться въ деревенскомъ захолустѣ богатымъ женихомъ, но уже ни домовъ каменныхъ съ колоннами, ни несмѣтныхъ тысячъ въ банкѣ, ни необозримыхъ земель, ничего этого уже не было: все бабюшка успѣлъ спустить на цыганочекъ, да въ карты. Да и физическими силами Ленскій былъ уже не то. Здоровье его только и сохранялось, что при умѣренной жизни среди деревенскаго воздуха. Его „геттингенская душа“ не жаждала уже того широкаго разгула и размаха, какъ безпардонная душа папеньки: онъ всю жизнь свою наполнялъ единственно тѣмъ, что писалъ стишки въ альбомы провинціальныхъ барышень и воспѣвалъ Ольгу Ларину, и былъ этимъ вполне доволенъ. А сынъ его Чулкатуринъ опустился еще ниже. Онъ является мелкопомѣстнымъ, ничтожнымъ дворянчикомъ. Жалкій остатокъ дѣдовскихъ богатствъ уже не прокармливалъ его, и онъ, чтобы не умереть съ голоду, принужденъ приняться за мелкую службу или учительство. Маленькое дѣло

за которое онъ беретъ единственно ради прокормленія, его не занимаетъ, бѣдность и униженное положеніе его гнетутъ, а вырваться изъ „заѣдающей среды“ у него нѣтъ ни силъ, ни воли. На сердцѣ у него скребутся кошки сознанія своей дряхлости и дряблости; зараженный грѣхами отцовъ и развинченный безпутствомъ организмъ носить въ себѣ зародыши всевозможныхъ хроническихъ недуговъ, — и онъ сходитъ въ преждевременную могилу, сгнѣдаемый злѣю чахоткою.

А далѣе, — пошло еще того хуже: крестьянъ отобрали; послѣднія крохи въ видѣ выкупныхъ свидѣтельствъ были скоро прожиты; поля начали заростать бѣлоусомъ, усадьба ветшать, службы разваливаться, сады обратились въ непролазные чащи; наконецъ, всѣмъ этимъ завладѣлъ Деруновъ, — и семья Чулкатуринныхъ быстро дошла до послѣдней степени нищеты. „Мы, повѣствуетъ герой „Карьеры“, прожили послѣднія крохи, оставшіяся послѣ отца, и быстро скатились по наклонной плоскости разоренія. Новая квартира обходилась намъ по рублю въ мѣсяцъ. Это была половина избы какого-то отставнаго ундера, представлявшая двѣ крошечныя горницы, соединенныя не дверью, а промежуткомъ между кухонною печью и выступомъ противоположной стѣны. Первая отъ входа поступила въ мое владѣніе, вторую заняли мать съ сестрами. У меня было оконце, и у нихъ оконце“...

И это была нищета гораздо горше и ужаснѣе той нищеты, которую терпятъ обыкновенно люди низшихъ слоевъ общества. Тѣ хоть чтонибудь умѣютъ, на что-нибудь годны, и потому для нихъ больше представляется возможности найти хоть какой-нибудь кусокъ хлѣба. А здѣсь вы видите полную растерянность, неумѣнье ни за что взяться, ни въ чемъ найтись, и въ концѣ-концовъ безвыходное отчаяніе. Люди простаго класса способны хоть съ собою-то распорядиться самимъ, обшты, обмыты и т. п., а здѣсь привыкли, чтобы за нихъ все дѣлали другіе, и потому теперь по шею тонутъ въ грязь, не въ состояніи будучи палецъ о палецъ ударить, чтобы хоть соръ-то вымести съ половъ, или вещи привести въ порядокъ. Но за то попадетъ имъ случайно въ руки лишній грошъ, въ видѣ какой-нибудь подачки или заложенной у еврея оставшейся еще отъ Ольги Лариной брилліантовой брошки, сейчасъ-же этотъ послѣдній грошъ ставится ребромъ, и въ то время, какъ забывается о томъ, что необходимо было-бы заштопать безобразную и бросающуюся въ глаза прорѣху, на столѣ являются конфеты и всякія финтифлюшки...

А что-же дѣлаетъ въ это время представитель рода Репетилловыхъ-Чулкатуринныхъ? Онъ занимается въ это время благороднымъ дѣломъ: лежитъ на диванѣ и мечтаетъ о широкой дѣятельности. Замѣчательно, что несмотря на то, что малый кончилъ уже курсъ гимназіи, онъ не чувствуетъ ни малѣйшаго призванія къ какому-нибудь дѣлу, и для него рѣшительно все равно, за что-бы ни приняться, и въ тоже время въ мечтахъ о какомъ-нибудь дѣлѣ его занимаетъ не самое дѣло, а его собственная фигура, блистающая на героическомъ пьедесталѣ. Но послушаемъ, что самъ онъ говоритъ объ этомъ предметѣ:

«Въ инженеры... «на медицинскій... куда, въ самомъ дѣлѣ, дѣваться? Ну, хорошо—инженеръ. Ну, построилъ дорогу, шестъ построилъ... Развѣ трудно построить дорогу, когда деньги есть? Но, положимъ, трудно. Еще чтонибудь построилъ; наконецъ, все, все построилъ, что только возможно. Что-же потомъ? Чинить и поддерживать старое? Гм... Или вотъ: медикъ. Прописалъ одному лекарство, другому лекарство, а черезъ мѣсяцъ они снова заболѣли. А умирать надо, — такъ ужъ ни одинъ медикъ не поможетъ. Развѣ вылечили моего отца? Умеръ въѣдъ... А сестренка Вѣра? Коли башмаки дырявыя, такъ никакое лекарство не поможетъ. Чиновникъ? Но мой отецъ былъ чиновникомъ. Пріѣдетъ какой-нибудь ревизоръ, такъ жалъ смотрѣть: суетится, ничего не помнитъ, дрожитъ... Эхъ-ма!»

«А между тѣмъ, меня такъ и подмывало, такъ и тянуло «куда-то». Замѣчательно, что для меня не существовало математики, юриспруденціи, медицины и т. д., а былъ учитель математики, задающій задачи и пускающій ученикамъ пыль въ глаза; былъ инженеръ; былъ чиновникъ, пишущій за номерами какія-то бумаги страннымъ языкомъ, играющій въ карты, ѣдающій съ колокольчикомъ и бокальцемъ ревизора; былъ медикъ, прописывающій рициновое масло и совѣтующій остерегаться его собрата, другаго медика, тоже прописывающаго рициновое масло.

«Я началъ подробнѣе представлять себѣ всевозможнаго рода дѣятельности, потомъ соединялъ ихъ вмѣстѣ, и тогда получалось нѣчто гармоническое. Непріятные представители разныхъ профессій замѣнились, мало-по-малу, пылкими молодыми людьми, съ благородными порывами въ сердцѣ, съ огнемъ въ глазахъ, съ жаркимъ румянцемъ оживленія на щекахъ. Между прочимъ, было много женщинъ. Взошло яркое солнце, зашумѣли роши, заструились прозрачные ручьи, явились тучныя нивы, деревья погнулись подъ тяжестью плодовъ, словомъ, вышла такая прелестная картина, я такъ увлекся обработкою подробностей, что не замѣтилъ, какъ наступилъ вечеръ, и въ комнатѣ стемнѣло. Легкій ударъ по плечу вывелъ меня изъ области грезы.

— О чемъ ты задумался, голубчикъ?

«То была моя старшая сестра и любимица Надя. Она присѣла ко мнѣ, склонила на плечо голову, и мы нѣсколько минутъ молчали. Я не отвѣтилъ на ея вопросъ: она сама приблизительно знала, о чемъ я задумался.

— А у насъ почти совсѣмъ денегъ нѣтъ... ты знаешь? спросила она, словно отвѣчая на новое направление моихъ мыслей.

«Я кивнулъ головою.

— Право, это ужасно! Я не знаю, что съ нами будетъ... Когда у насъ еще было триста рублей, я взяла тихонько двѣсти и спрятала. Они у мамы подъ подушкой лежали. Думаю, тебѣ дамъ; она вѣдь все равно растратитъ. Но она такъ убивалась, плакала, что я назадъ положила. Теперь очень жалѣю, что не выдержала характера.

«Мы снова помолчали, и т. д.

Что представляютъ собою подобныя мечты, въ которыхъ на первомъ планѣ стоитъ, обыкновенно, не самое дѣло въ его сути и благихъ послѣдствіяхъ, а герой на пьедесталѣ? А это ничто иное, какъ одинъ изъ существенныхъ міазмовъ, которые бродятъ по завѣщанію отъ отцовъ и дѣдовъ въ крови всѣхъ Репетилловыхъ, Чулкатуринныхъ. Въ „Эпизодѣ“ подобное отношеніе къ дѣлу выставлено еще рельефнѣе, во всемъ его циническомъ безобразіи. Героиня обозвала нашего героя филистеромъ:

«А! филистеръ! воскликнулъ онъ: такъ вотъ же тебѣ!». Подъ покровительствомъ сильнаго баса, съ аккомпаниментомъ самоотверженнаго *tenore dolce*, я сразу погружаюсь въ грязь по колѣни и начинаю что-то расчищать, во главѣ цѣлой арміи рабочихъ...

«Филистеръ? Смотри же теперь: видишь эти мозолистыя руки? видишь, какъ моему голосу повинуются тысячи народа? Да какого народа! Всѣ мрачны, и силачи, словно изъ бронзы вылиты; а какъ говорятъ! Хочешь, любой изъ нихъ заговорить такимъ образцовымъ мужицкимъ нарѣчіемъ, что какую угодно книжку за поясъ заткнешь?... А я расчищаю, команду, работаю... Каждая изъ этихъ бронзовыхъ фигуръ обладаетъ бабой, которая не упрекаетъ, а только любитъ его, а я одинокъ... Ничего; мнѣ это, можно сказать, незамѣтно: другая идея у меня въ головѣ... И все команду, команду; покурю и снова команду».

Да, подобнаго рода герои никакъ не могутъ себя вообразить ни такого порядка вещей, ни такого дѣла, чтобы собралась людъ изъ любви къ самому дѣлу, а не къ педесталу, чтобы они затѣмъ уважали и любили другъ въ другѣ товарищей, братьевъ, а не пресмыкающихся передъ ними рабовъ, чтобы дѣйствовали любовно, сообща, по взаимному совѣту, настолько же подчиняя своей волѣ товарища брата, на сколько сами подчиняясь ему.

Имъ и въ голову не приходитъ ничего подобнаго. Для нихъ непремѣнно нужно, чтобы они гордо возвышались надъ толпой и тысячи народа повиновались ихъ голосу, а на нихъ съ восторгомъ, въ это время, любовались женскія очи. Вы представьте себѣ, что все человечество заразилось бы тѣмъ же, и каждый смертный только о томъ и мечталъ бы, чтобы командовать и командовать, покурить и командовать? Что бы могло изъ этого выйти иного, какъ не то, что всѣ поголовно взаимно другъ друга переѣли бы, и родъ человѣчскій долженъ былъ бы прекратиться. Оттого же у насъ и рушатся многія хорошія дѣла раньше своего возникновенія, что соберется пять шесть Репетиловыхъ-Чулкатуриныхъ, и не столько занимаетъ ихъ дѣло, сколько стремленіе во что бы ни стало преобладать надъ компаньонами и командовать, и въ результатъ получается рядъ интригъ, пререканій, и, перегрызшись другъ съ другомъ, люди расходятся заклатыми врагами... Да будь ты на вѣки вѣчные проклять, старозавѣтный идеалъ командованія!...

Но одною этою гангреною не ограничивается дѣло. Репетиловъ завѣщать своимъ потомкамъ еще одинъ міазмъ, преобладающій въ ихъ организмѣ и съѣдающій ихъ, а именно: необузданное сластолюбіе и чревоугодіе. Есть люди, у которыхъ главнымъ стимуломъ всѣхъ мыслей и дѣлъ является юбка. Куда бы ни забросила ихъ судьба, они тотчасъ же первымъ дѣломъ оглядываются вокругъ себя, нѣтъ ли гдѣ поблизу подходящаго сюжетца для романа, если возможно, то и для нѣсколькихъ романовъ. Что-бы они ни предприняли, повидимому совершенно постороннее и нейтральное, въ концѣ концовъ оказывается, что или это дѣлается ради побѣды надъ какимъ-нибудь непреклоннымъ сердцемъ, или же роковымъ путемъ сводится все къ той же неизмѣнной любовной интрижкѣ. Такъ, напримѣръ, герой «Эпизода», сознавши наконецъ всю неблаговидность лежанія на диванѣ и мечтаній о широкой дѣятельности въ то время, какъ родные его чуть не умираютъ съ голоду, пошелъ на уроки, приготовить мальчика въ заведеніе. У насъ съ вами, конечно, подобнаго рода

дѣло такъ бы и ограничилось вполне прозаическимъ учительствомъ ради снисканія куска хлѣба. У героя же сейчасъ же распрѣлзъ цѣлый романъ, героиней котораго сдѣлалась сама хозяйка дома, — дама лѣтъ 30, но не безъ пикантности; и какая еще любовь, самая возвышенная! Это у насъ съ тобой, читатель, можетъ быть, выходитъ такъ, что дѣло, такъ дѣло, а любовь, такъ любовь, каждому необходимому элементу мы опредѣляемъ свое мѣсто въ жизни и повторяемъ вслѣдъ за Чацкимъ:

Когда дѣла, я отъ веселья прячусь,  
Когда дурачиться—дурачусь,  
Но смѣшивать два эти ремесла  
Есть тѣмъ искусниковъ,—я не изъ ихъ числа.

У этихъ же людей все выходитъ какъ-то наоборотъ: у нихъ дѣло, какъ мы уже говорили выше, представляется только повидимому дѣломъ, а подъ этою видимостью непремѣнно скрывается какая-нибудь клубничка; такъ и наоборотъ — любовь принимаетъ въ ихъ глазахъ характеръ какого-то, мало сказать — возвышеннаго дѣла, священнодѣйствія. Благородная героиня никогда не спустится до того, чтобы признаться вамъ, что она жаждетъ ничего болѣе, какъ любви; нѣтъ, она жаждетъ дѣла, жертвы. А у героя, конечно, и помышленія нѣтъ о томъ, чтобы срывать цвѣты удовольствія: о нѣтъ, онъ подвиговъ, подвиговъ жаждетъ!

«Она склонилась ко мнѣ на грудь,—говоритъ герой «Эпизода»—и тихонько всхлипывала... Она не можетъ жить такъ; она мечтала о дѣятельности, о самоотверженіи и рѣшила посвятить себя человѣку, казавшемуся ей великимъ; она ошиблась... Т. е. онъ, конечно, прекрасный, добрый, благородный... но она ему не нужна... а онъ такъ привѣтливъ, предупредителенъ къ ней... Ей это не по силамъ, она пойдетъ за мною. Такое мелодическое жужжаніе, прерываемое слезами и ласками. Я нѣжно поддерживалъ ее, не прерывалъ, далъ выплакаться въволю. Наконецъ, она успокоилась, выпрямилась и проговорила, улыбаясь юмористически, т. е. сквозь слезы:

— Не правда ли, какая я слабая?.. О, отчего у меня нѣтъ твоей силы! Но вѣдь ты—скала! прибавила она черезъ минуту. Какъ она на меня посмотрѣла!..

Послѣ подобной риторики чувства, выступаетъ на сцену обыкновенно риторика дѣла. Надо же героямъ показать другъ другу, что они въ самомъ дѣлѣ жаждутъ не однихъ только срываній цвѣтовъ удовольствія, а подвиговъ, жертвъ... и вотъ въ какомъ видѣ являются эти подвиги:

«Мы нарядились очень мило и просто. Я надѣла красную рубаху и смазные сапоги; Анна Михайловна — сарафанъ съ пышными рукавами, заплела въ двѣ тяжелыхъ косы свои прекрасные волосы, воткнула какой-то простенькій цвѣтокъ и даже не взглянула въ зеркало; въ моихъ глазахъ она видѣла, что восхитительнѣе этого костюма ничего и выдумать невозможно. Мы вышли въ поле — не вечеромъ и не гулять, а въ жаркій полдень — «валить тяжелые снопы». У воротъ намъ встрѣтилась Марья Андреевна (племянница героини). Не знаю почему, я покраснѣлъ. На этотъ разъ не было никакого сомнѣнія: она вся превратилась въ насмѣшливый взглядъ; но интересно, что я покраснѣлъ еще до этого взгляда. Замѣтно было, что Анна Михайловна тоже какъ будто сконфузилась.

— Что это за маскарадъ?

«Это было сказано про себя, но какъ ядовито сказано! Таково было начало; конецъ вышелъ еще хуже. Противный маскарадъ!

«Въ полѣ кипѣла работа. Бабы въ однихъ рубахахъ, какъ бѣлые грибы, выглядывали изъ высокой ржи; парни и мужики съ потными, загорѣлыми лицами, клали снопы за снопомъ и куда-то ужасно торопились. На живѣ стояла тетѣга, подъ которою, въ тѣни, лежала мохнатая собака, высунувъ языкъ и ребенокъ съ соскою въ рукѣ и пѣлымъ роємъ мухъ на глазахъ. Тошная лошаденка, со спутанными ногами, паслась тутъ-же.

«Понятно, что пейзажи приняли насъ съ распростертыми объятиями. Нужно было видѣть ихъ улыбки! Анна Михайловна жала богѣ граціозно, чѣмъ хорошо, я — ни граціозно, ни хорошо; мы съ удовольствіемъ оставили серпы, чтобы присоединиться къ пейзажамъ, которые скоро расположились поднимать. Милый, простодушный народъ! Какъ они уставились на насъ, въ особенности бабы и дѣвки на Анну Михайловну! Какъ они вслушивались въ каждое наше слово! Не помню, о чемъ мы говорили, но очень хорошо и пріятно говорили».

Маскарадъ, — какое это глубокое и мѣткое слово для выраженія не только вышеприведенной комической сцены, но и всей жизни этихъ героевъ: да, вся жизнь ихъ есть нечто иное, какъ маскарадъ, и до гробовой доски приходится имъ парадировать шутами въ разныхъ дурацкихъ костюмахъ.

Но до какой степени подо всею этою риторикою словъ и маскарадомъ дѣла у этихъ господъ развращено и изгажено обыкновенно бываетъ воображеніе, объ этомъ мы можемъ судить по герою „Карьеры“. Онъ былъ въ Петербургѣ, куда пріѣхалъ учиться, голодалъ и искалъ уроковъ. Случайно на улицѣ онъ познакомился съ дѣвушкой, которая была въ такомъ-же положеніи, какъ и онъ: тоже пріѣхала учиться, голодала и тщетно искала уроковъ. Бѣдняжка нѣсколько дней уже не ѣла и находилась въ такомъ изнеможеніи, что герой съ трудомъ дотащилъ ее до своей комнаты и уложилъ на свою постель. Она начала метаться, бредить, и у нея, очевидно, начался голодный тифъ. И вотъ мы читаемъ: „Она забормотала какую-то бессмыслицу, стала метаться на постели и рвать платье. Я разстегнулъ ей юбку, снялъ башмаки, чулки, сильно заштопанные на пяткахъ и съ влажными, желтыми пятнами на подошвахъ, вытеръ до суха худыя, почти дѣтскія ноги и прикрылъ ихъ одѣяломъ“... Ну и что-жъ далѣе? Далѣе мы съ тобою читатель поставили-бы, конечно, точку. Сдѣлалъ герой то, что былъ обязанъ сдѣлать каждый человекъ, у котораго сердце не обратилось еще въ камень, ну и честь ему, что-жъ можетъ быть далѣе? Но герой и тутъ, у постели умирающей, не забылъ своихъ клубничныхъ грезъ, и заключивъ вдругъ вышеприведенную фразу запятою, прибавилъ къ ней слѣдующія слова: „т. е. продолжалъ все то, что, при другихъ обстоятельствахъ, могло-бы составить весьма пикантную страницу романа“.

Какъ тебѣ нравится это, читатель? Вѣдь это уже, мало сказать, — цинизмъ, а чистое кощунство. Послѣ этого отъ героя можно ожидать, что онъ въ такихъ-же выраженіяхъ сталъ-бы надругиваться и надъ тругою этой самой дѣвушки, вздумалъ-бы описывать, напримѣръ, какъ онъ обмывалъ похолодѣвшіе члены только-что скончавшейся, и вдругъ-бы разразился чѣмъ-нибудь въ такомъ-же родѣ: „т. е. продолжалъ все то“ и т. д. О, Репетиловъ, Репетиловъ, что ты за вѣщаль своихъ потопкамъ!..

И вотъ этотъ-то испакощенный всяческими и физическими, и нравственными мiazмами, завѣщанными отъ отцовъ и дѣдовъ, выродившійся правнукъ Репетилова, рѣшается, наконецъ, повинуюсь духу времени, отъ риторики перейти къ самому дѣлу, и даже не какому-нибудь хитрому дѣлу, а лишь азбукѣ дѣла, держаетъ въпрягаться въ трудовую лямку рабочаго человека. Но тутъ комедія превращается въ трагедію. Здѣсь подводится передъ нами роковой, окончательный итогъ всей жизни героя со всѣмъ его настоящимъ и прошлымъ. Какъ герой, онъ не могъ избрать какую-нибудь легкую и сообразную его истощеннымъ силамъ работу, а сразу рѣшился взяться за самую тяжелую, пошелъ на пристань таскать бревна... Но послушаемъ, какъ самъ онъ описываетъ свое горестное бѣство:

«Въ какомъ-то сладострастномъ опьяненіи подошелъ и я къ полѣну, но... въ этой минутѣ, казалось, сосредоточились, какъ въ фокусѣ, всѣ предшествовавшіе, разрозненные элементы скандала: полѣно было очень тяжело, такъ что, при попыткѣ поднять его, меня всего бросило въ жаръ.

«Задержанное движеніе всегда превращается въ теплоту, плаксиво притворился я, якобы хладнокровно размышляя, но собственно никакихъ мыслей въ головѣ не было: было только одно чувство...

«Ахъ какое это было чувство, «прекрасная читательница!.. Если-бы съ молодой дѣвушки, въ первый разъ выѣхавшей въ свѣтъ, въ самый разгаръ бала свалилось платье; если-бы только что обѣнчавшійся, страстно влюбленный юноша, выводя изъ церкви новобрачную, вдругъ почувствовалъ, что на ласки любимой женщины можетъ отвѣчать только слезами отчаянія—ни та, ни другой, навѣрное, не испытали-бы такого жгучаго стыда, такого пламеннаго желанія провалиться сквозь землю.

— Ну, ну!.. раздавались ободрятельные голоса. Я употребилъ нечеловѣческое усиліе и поднялъ. Въ спинѣ что-то хрустнуло. Согнувшись въ три погибели, едва не провалившись съ доски, дотащилъ я бревно до берега и принялся за другое. Оно, это другое, было еще тяжелѣе. У меня не хватило силъ донести его; я пошатнулся, выпустилъ свою ношу и самъ повалился на скользкія доски барки...

— Э, да что ты!..

— Ха! ха! Не сладко? слышались голоса товарищей.

«Я смутно сознавалъ все, происходившее вокругъ. Миѣ было невыносимо жутко.

— Ну, парень, серьезно проговорилъ старикъ-рабочій, тотъ самый сѣденькій мужичекъ, въ красной рубахѣ, что сидѣлъ у мачты:—это, видно—не твое дѣло; тебѣ-бы сюда не соваться... Дай помогу, что-ли!

«Но миѣ не нужна была его помощь. Я всталъ, молча поднялъ упавшую съ головы шапку и тихо, шатаясь, пошелъ прочь...

— Утикъ, хлопцы, ей Богу... ха, ха, ха! слышалось сзади.

— Ишь, шелкоперы!

— Чего зубы скалишь? Ну, извѣстно, парень хворый... Изъ лакеевъ, должно быть.

«Полнѣйшій хаосъ въ головѣ. Я брелъ на удачу, едва различая предметы: въ глазахъ дрожали слезы, въ ушахъ раздавалось: «хворый, хворый...» «Бѣдный, несчастный, тряпка!» Мною вдругъ овладѣло бѣшенство. «Отдайте же миѣ мое здоровье, варвары!» крикнулъ я, сжавъ кулаки. Къ кому я обращался? Кого винилъ? Я самъ не сознавалъ. Голосъ мой, т. е. не мой, а какое-то тончайшее сопрано, прозвучалъ весьма минорно и заставилъ меня опомниться. Проходившая мимо баба съ корзиною въ рукахъ остановилась и сосредоточенно уставилась на меня удивленными глазами; нецельный салонъ, сѣрый пла-

токъ, вся какая-то сѣрая, лицо морщинистое, доброе, съ выраженіемъ: «хворый, бѣдняжка!»... Пробѣжала купая собака, съ глазами, говорившими какъ нельзя болѣе ясно: «проходи, знай, проходи, не трону: найдемъ и получше, если зубы почистить захочется». Проѣхалъ ломовой извозчикъ; у лошади уда была мочалкой перевязана—надо полагать, колючку потерять; какая-то кокарда, какой-то красный кушакъ, шляпка...

«Я очутился на мосту, оперся о перила и сталъ глядѣть внизъ. «Ты—скажи... придешь за мною? Я вѣдь ничего не боюсь... Нѣтъ, лучше не приходи, несчастный: куда тебѣ!»

«Пронеслась лодка, проплыла доска, отъ барки должно быть: гвозди торчали, щепка какая-то... Я туло смотрѣлъ на все это. «А что, ежели-бъ этакъ шарахнуться?» Какая-то сладострастная судорога, послѣднее ясное ощущение и послѣдняя ясная мысль»...

Вотъ она передъ вами, разгадка столь многихъ уединенныхъ выстрѣловъ, такъ часто раздававшихся въ послѣднее время. Выстрѣлы эти объясняются обыкновенно тяжкими условіями и смутными обстоятельствами нашего времени. Но сильные и цѣльные люди борются съ этими условіями и обстоятельствами. Другое дѣло Репетиловы-Чулкатурины: здѣсь послѣднимъ словомъ жизни является отрезвленіе отъ самообольщенія пьедесталомъ, отчаянное сознаніе полной несостоятельности. Герой успѣлъ ностыдно убѣжать отъ всего, что призывало его: убѣжалъ отъ родныхъ, которые взывали къ нему о помощи, убѣжалъ отъ женщины, которая полюбила его, убѣжалъ отъ ученыхъ, убѣжалъ и отъ дѣла, которое оказалось ему не по силамъ, и что же ему остается, какъ не убѣжать и отъ самой жизни? Такъ скажи мнѣ теперь, читатель, что же тутъ общаго съ Вѣлинскимъ, этимъ, въ своемъ родѣ, цѣльнымъ и сильнымъ человѣкомъ, который всю жизнь стремился къ одной благой и высокой цѣли и палъ вовсе не вслѣдствіе своей несостоятельности, а напротивъ, однимъ изъ самыхъ мужественныхъ и непреклонныхъ борцовъ русской мысли?.. Вотъ въ этомъ отношеніи „Карьера“ и отличается отъ „Эпизода“, что здѣсь тотъ-же самый герой не ставится ни на какой пьедесталъ, а является въ своемъ настоящемъ видѣ, во всемъ своемъ нравственномъ убожествѣ, съ кличкою кислотины, вполне къ нему подходящей. А главное дѣло въ томъ, что здѣсь герой этотъ отбѣняется выведеннымъ рядомъ съ нимъ типомъ совсѣмъ иного закала. Таковъ Стремилінъ, съ его характерною кличкою злючки. Но, къ сожалѣнію, типъ этотъ далеко не такъ всесторонне развитъ и очерченъ, какъ его товарищъ. Онъ выясняется нѣсколько лишь въ концѣ разсказа, и тамъ вы видите вполне опредѣленно всю ту разницу, какая существуетъ между нимъ и героемъ разсказа. Когда герой, послѣ всѣхъ своихъ мытарствъ и постыдныхъ пьасовъ, возвращается снова домой, онъ вдругъ съ ужасомъ узнаетъ, что нищета семьи его дошла до такой крайней степени, что младшая сестра его, Катя, дошла до проституціи.

«Нѣтъ, рассказываетъ онъ: не могу передать въ точности безобразной драмы этого дня. Катя была, представьте себѣ... у офицера!.. То есть, она прежде была у офицера, а потомъ узнала, что я пріѣду, и пропала... Что было дальше, представляется мнѣ теперь, какъ во снѣ. Я выбѣжалъ, помню, безъ шапки, и направился прямо къ квартирѣ «офицера». Небольшая комната, табачный дымъ, нѣсколько мужчинъ безъ сюртуковъ—за карточнымъ столомъ. Я

дрожалъ, задыхался; я не могъ произнести ясно ни одного слова... Недоумѣвающіе взгляды, потомъ громкій смѣхъ и—«пошелъ вонъ!» Я вышелъ на улицу и наткнулся на злючку. Въ первый разъ, послѣ дѣтства, я ему обрадовался; въ первый разъ онъ встрѣтилъ меня безъ насмѣшки. Онъ былъ блѣдный и страшный.

— Отдай мнѣ эту дѣвушку! Я ее любилъ.. Онъ схватилъ меня за плечо, но сейчасъ-же опомнился. — Ты его убилъ.

«Онъ не получилъ отвѣта, взялъ меня, какъ ребенка, за руку и мы вошли въ его комнату. Не помню, рѣшительно не помню... Это былъ какой-то тяжелый кошмаръ. Крикъ и гамъ—все покрывалъ голосъ злючки. Онъ разломалъ стулъ и махалъ имъ во всѣ стороны. Что-то потомъ блеснуло... Кто-то крикнулъ: «кровь!... доктора!»»

Въ разсказѣ „Романъ“ подобный-же типъ въ лицѣ Алешки очерченъ болѣе полно; въ то время, какъ злючка представленъ въ одномъ отрицательномъ видѣ истителя, здѣсь тотъ-же герой является передъ вами и съ положительной стороны, въ качествѣ спасителя молодой и неопытной дѣвушки отъ губельнаго увлеченія пошлякомъ. Но и здѣсь этотъ типъ лишь отмѣченъ и далеко не является передъ вами во весь ростъ, въ полномъ и всестороннемъ изображеніи, подобно тому какъ рисуются передъ вами, словно до сихъ поръ живые—Чапкинъ, Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Базаровъ. Смерть погѣшала Новодворскому исполнить эту задачу и оставила на его долю лишь Репетиловыхъ-Чулкатуриныхъ. Впрочемъ, вообще нужно замѣтить, что до сихъ поръ и вся наша современная беллетристика страдаетъ тѣмъ-же весьма существеннымъ пробѣломъ. Въ „Запискахъ Темкина“, въ „Золотыхъ сердцахъ“ Златовратскаго, въ нѣкоторыхъ разсказахъ Гл. Успенскаго (напр. „Три письма“), вы встрѣтите много отдѣльныхъ чертъ и намековъ на типъ героя нашего времени, но до сихъ поръ еще полного образа беллетристика наша не представила. Возможно-ли въ настоящее время выполненіе этой важной и трудной задачи, когда и къ ней она будетъ выполнена, и будетъ-ли,—это покрыто мракомъ неизвѣстности.

#### IV.

Разсказы Вс. Гаршина, изданные отдѣльнымъ изданіемъ, были уже разобраны разными рецензентами, и всѣ въ одинъ голосъ признали, что Гаршинъ обладаетъ выдающимся и очень симпатичнымъ талантомъ. При этомъ были кое-гдѣ заявлены сожалѣнія, что Гаршинъ стоитъ на почвѣ мрачнаго гамлетизма, что очень прискорбно и странно для писателя изъ молодого поколѣнія, въ наше мрачное и тяжелое время, когда всѣ силы должны употребляться на борьбу, а отнюдь не на какія-бы то ни было гамлетовскія рефлексіи.

Прискорбно это или не прискорбно,—дѣло личнаго вкуса. Что же касается до того, пристало-ли молодому писателю предаваться гамлетовскимъ рефлексіямъ, это вопросъ вовсе не такой легкій, чтобы рѣшить его однимъ почеркомъ пера, и я его не то чтобы рѣшительно отстраняю, но желаю подойти къ нему со всѣмъ съ другой стороны: т. е. не съ той стороны—слѣдуетъ или не слѣдуетъ быть такому странному явленію, а со стороны самого явленія. Какъ бы то ни

было, а оно на лицо: молодой писатель, съ выдающимися и симпатичнымъ талантомъ, вмѣсто того, чтобы вдохновлять въ насъ мужество, выступаетъ передъ нами съ цѣлымъ рядомъ гамлетовскихъ сѣтованій на тщету всего земнаго. Что сей сонъ значить? Разъ фактъ существуетъ, онъ, конечно, имѣетъ свои причины, вызвавшія его. Конечно, причины могутъ быть какія-нибудь случайныя, исключительныя, лежащія въ частной жизни автора и его натурѣ. Но не говоря уже о вопіющемъ содержаніи разсказовъ Гаршина, — напередъ, а ригіи можно заключить, что здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ такими причинами: вѣдь если бы это было такъ, въ такомъ случаѣ Гаршинъ представлялъ бы собою явленіе исключительное, стоящее внѣ общаго теченія, и въ такомъ случаѣ онъ не производилъ бы впечатлѣніе таланта симпатичнаго, затрогивающаго сердца и волнующаго читателей своихъ. Да и вопросъ еще, существуютъ-ли такіе единичныя явленія, которыя, вызываясь своими особенными, исключительно имъ принадлежащими причинами, стояли бы особняками внѣ духа времени и среды, какъ какіе-нибудь аэролиты, занесенные изъ другой планеты?

А разъ мы имѣемъ дѣло съ явленіемъ, хотя бы и не съ всеобщимъ и преобладающимъ въ наше время, но во всякомъ случаѣ выдающимся и принадлежащимъ обширной категоріи, то вопросъ о причинахъ его становится на первомъ планѣ; и лишь, по изслѣдованіи этихъ причинъ, и по ближайшемъ знакомствѣ съ самымъ явленіемъ, мы можемъ придти къ заключенію, какое подлежитъ ему отвѣсти мѣсто въ нашей жизни, и если это явленіе прискорбно, то имѣемъ-ли мы возможность отъ него избавиться.

Но прежде всего, позвольте мнѣ вамъ задать такой вопросъ: имѣете-ли вы вполне ясное и правильное понятіе о томъ, что такое гамлетизмъ? Понятіе это образовалось въ эпоху полнаго господства метафизики, и я сильно сомнѣваюсь въ томъ, пробовали-ли вы это понятіе пересадить съ метафизической почвы на реальную, или оно остается въ вашей головѣ все въ томъ же неизмѣнномъ видѣ, въ какомъ вы его получили отъ отцовъ и дѣдовъ? Въ метафизическую же эпоху на гамлетизмъ смотрѣли чуть что не какъ на особенную субстанцію, какъ на природный темпераментъ особеннаго рода, предполагая, что люди отъ рожденія являются Гамлетами или Донкихотами, совершенно подобно тому, какъ они рождаются блондинами или брюнетами. Но нынѣ достаточно самаго элементарнаго знанія физиологій и психологій, чтобы понять всю нелѣпость подобнаго представленія гамлетизма. Достаточно двухъ, трехъ фактовъ историческихъ, двухъ трехъ фактовъ изъ окружающей васъ жизни или личнаго опыта, чтобы понять, что гамлетизмъ есть не что иное, какъ извѣстное психологическое настроеніе, и что, подобно всѣмъ прочимъ психологическимъ настроеніямъ, онъ можетъ быть мимолетнымъ или хроническимъ; можно, пожалуй, родиться Гамлетомъ, но это не значитъ родиться съ какой-то неизмѣнной психической субстанціей, а все равно, какъ родятся золотупшными, съ наклонностью къ чихотѣ, какому-нибудь виду сумасшествія и даже къ пьянству. Но этого мало, что гамлетизмъ, какъ извѣстное психическое настроеніе или, пожалуй, если

хотите, болѣзнь, есть явленіе преходящее, которому каждый смертный можетъ подвергнуться, можетъ отъ него и избавиться, — происходитъ это настроеніе отъ самыхъ разнообразныхъ жизненныхъ комбинацій и иногда отъ причинъ диаметрально противоположныхъ, вслѣдствіе чего и характеръ каждаго случая гамлетизма является совершенно особенный, специфическій и своеобразный, такъ что подъ словомъ гамлетизмъ разумѣется понятіе крайне сложное. Общаго во всѣхъ сортахъ гамлетизма только и есть, что извѣстное психическое настроеніе со всѣми его симптомами, какъ-то: угнетеннымъ, мрачнымъ настроеніемъ духа, упадкомъ энергій и активности, развитіемъ скептическаго и пессимистическаго взгляда сначала на свою собственную особу, а потомъ и на весь людской родъ, а въ концѣ концовъ, наклонность къ помѣшательству, пьянству или самоубійству. Но ведутъ къ этому болѣзненному состоянію духа тысячи путей самыхъ разнообразныхъ и достаточно перечислить нѣсколько изъ нихъ, наиболѣе существенныя, чтобы убѣдиться, отъ какихъ иногда совершенно противоположныхъ причинъ происходитъ гамлетизмъ.

Представьте себѣ, что масса образованныхъ, передовыхъ людей, а за ними и все общество, въ продолженіи многихъ десятковъ лѣтъ, стремились къ прекрасной и благой, намѣченной впереди цѣли. Много было принесено страшныхъ жертвъ, пролиты моря крови, чтобы достигнуть этой цѣли. Нѣсколько разъ казалось уже, что цѣль близка, почти въ рукахъ. Но, въ концѣ концовъ, она оказалась вдругъ также далека, какъ была въ началѣ. Массы охладѣли къ тщетнымъ усиліямъ, устали, махнули на все руками и предались безпробудной спячкѣ. Но среди этихъ массъ осталось нѣсколько неутомимыхъ борцовъ, неуспявшихъ стражей среди общаго сна, которые никакъ не могутъ упустить изъ вида все ту же благую цѣль. Они продолжаютъ рваться къ ней, продолжаютъ будить окружающихъ и звать къ нимъ. Но тщетны всѣ ихъ старанія разбудить кого-либо. Вмѣсто сочувствія, они встрѣчаютъ одинъ ропотъ недовольства, какъ безпокойные люди, мѣшающіе спать, ихъ начинаютъ гнать и всячески преслѣдовать. Видя что ничего не беретъ и что безсильны они вдохнуть въ общество прежнюю энергію, бодрствующіе борцы сами опускаютъ руки, энергія ихъ гаснетъ, они впадаютъ въ мрачное разочарованіе, въ нихъ начинается развиваться скептическое настроеніе по отношенію и къ окружающимъ людямъ, и къ самимъ себѣ, — однимъ словомъ изъ нихъ дѣлаются Гамлеты. Въ такого рода гамлетизмъ впадали идеалисты начала нынѣшняго столѣтія, выразителемъ котораго послужилъ лордъ Байронъ.

Но можетъ случиться и такъ, что опять-таки нѣсколько передовыхъ людей увлекутся цѣлью вовсе не какою-нибудь утопическою, вѣковой, а напротивъ того, самую простую и элементарною, и къ тому-же такую, которая давно уже осуществлена болѣе зрѣлыми обществами и это осуществленіе успѣло принести несомнѣнно прекрасные плоды; но, къ сожалѣнію, среда до такой степени невѣжественна, что не въ состояніи возвыситься до пониманія даже и этой простой и элементарной цѣли, и немногіе люди, сознавшіе



ее, являются отдѣльными свѣтлыми точками, теряющимися въ глухомъ и непробудномъ мракѣ. Такъ этихъ людей еще мало и такъ они разрозненны, что освѣтить имъ этотъ мракъ, каждый своимъ отдѣльнымъ свѣточкомъ, нѣтъ никакой возможности, — и вотъ является сознание одиночества, безсилія, лишности, ненужности, а затѣмъ опять-таки скептицизмъ личный и общій, — и пошла писать губернія. Нужно-ли и прибавлять, что такого рода гамлетизмъ въ обилии развивался въ 40-е годы на почвѣ нашей русской жизни.

А вотъ и третій случай гамлетизма: человекъ стремится къ цѣли, въ сознании его вполне осуществимой; вѣсть съ тѣмъ, онъ сознаетъ, что у него нѣтъ ни малѣйшихъ силъ для осуществленія, чувствуетъ себя полнымъ банкротомъ. Но въ тоже время онъ настолько субъективенъ (опять-таки вслѣдствіе слабости своихъ психическихъ силъ), что онъ не въ состояніи сознать, что это банкротство лишь его личное качество или можетъ быть двухъ-трехъ подобныхъ ему субъектовъ; ему представляется, что вся среда, все современное поколѣніе, племя и чуть что не все человечество раздѣляетъ съ нимъ это банкротство; — и въ результатъ развивается гамлетизмъ опять-таки своего особеннаго рода — гамлетизмъ современныхъ намъ героев въ родѣ „Ни павы ни вороны“ Новодворскаго (см. мое предыдущее письмо).

Въ четвертыхъ, совершенно наоборотъ, гамлетизмъ можетъ развиваться при обилии психическихъ силъ вѣсть съ полнымъ отсутствіемъ какой-бы то ни было цѣли, къ достиженію которой силы эти могли-бы быть приложены. Таковъ гамлетизмъ Печорина. Въ пятыхъ, независимо отъ количества силъ, гамлетизмъ можетъ развиваться, когда человека преслѣдуютъ двѣ цѣли, одинаково необходимы, но въ тоже время совершенно противоположныя, исключая другъ друга и по-этому парализующія энергію человека. Таковъ, гамлетизмъ шекспировскаго Гамлета. Въ шестыхъ, гамлетизмъ развивается очень часто въ-высшихъ слояхъ общества, какъ истощеніе психическихъ силъ, вслѣдствіе пресыщенія земными благами; человекъ, въ такомъ случаѣ, приходитъ къ убѣжденію, что все на свѣтѣ суета суетъ и всяческая суета, потому что онъ все испыталъ, всѣмъ наслаждался и пришелъ къ заключенію, что все это выгнѣннаго яйца не стоитъ. Наконецъ, въ седьмыхъ, опять-таки совершенно наоборотъ — особеннаго рода гамлетизмъ развивается на чердакахъ и въ подвалахъ отъ истощенія психическихъ силъ, вслѣдствіе голода.

Вотъ сколько видовъ гамлетизма мы насчитали, — цѣлыхъ семь, — а далеко не исчерпали всѣхъ ихъ, взяли только попавшіеся подъ руку; но если порыться въ исторіи, въ художественныхъ произведеніяхъ, въ жизни, можно очень легко насчитать и семью семь, и все-таки не дойти до конца счета, потому что жизнь въ своихъ комбинаціяхъ безконечна; каждый-же диссонансъ ея, все, что насъ давитъ, терзаетъ, мучаетъ — все это можетъ привести къ гамлетизму, разъ мы поколебались духомъ въ борьбѣ, обезсилѣли, или какимъ-нибудь путемъ потерялся въ нашихъ глазахъ самый смыслъ борьбы.

Въ виду всего этого сказать, что такой-то писа-

тель имѣетъ наклонность къ гамлетизму, еще не значитъ опредѣлить его. Слѣдуетъ показать, какой характеръ имѣетъ гамлетизмъ и въ какомъ отношеніи находится онъ къ своему вѣку. Вотъ объ этомъ-то мы и потолкуемъ по отношенію къ Гаршину.

Выше я уже замѣтилъ, что гамлетизмъ шекспировскаго Гамлета заключается въ томъ, что человекъ преслѣдуетъ разомъ двѣ противоположныя цѣли, которыя тянутъ его каждая въ свою сторону и тѣмъ самымъ парализуютъ его энергію. Подобнаго рода гамлетизмъ особенно сильно развивается въ переходные періоды, на рубежѣ двухъ эпохъ, когда старые идеалы, понятія и предразсудки всякаго рода мало того, что не успѣли еще вполне утратить своего обаянія, но, покоясь на старыхъ порядкахъ, продолжаютъ еще быть обязательными, какъ основной нравственный долгъ человека и гражданина; а между тѣмъ явились уже новые идеалы, которые раскрываютъ передъ человекомъ всю несостоятельность старыхъ и влекутъ его совершенно въ противоположную сторону. Такимъ, именно, и является шекспировскій Гамлетъ. Онъ вполне олицетворяетъ въ своемъ лицѣ героя эпохи гонимъ, когда средневѣковой мракъ едва успѣлъ разсѣяться, а солнце новой цивилизаціи едва озарило европейскій горизонтъ пурпуромъ восхода. Воспитанный Виттенбергскаго университета, философъ, Гамлетъ успѣлъ уже приобщиться новаго духа гуманности. Характеръ его смягчился, утратилъ феодальную суровость; кровь ему начала претить, и онъ не въ состояніи уже былъ проливать ее съ такимъ равнодушіемъ, какъ Лаэртъ, — этотъ человекъ вполне вѣрный всѣмъ преданіямъ старины, не тронутый и потому въ своемъ родѣ цѣльный. Гамлетъ былъ бы вполне на своемъ мѣстѣ въ качествѣ распространителя просвѣщенія въ своемъ отечествѣ, въ обществѣ такихъ-же, какъ онъ, философовъ, въ роли гуманнаго покровителя художниковъ и ученыхъ. Судьба-же его повлекла вдругъ совсѣмъ въ другую сторону, бросила въ грубую, полудикую среду и поставила лицомъ къ лицу съ звѣрскимъ преступленіемъ, противъ котораго возмущалась вся его природа. Средневѣковая традиція личной кровавой мести обязывала его за кровь платить кровью-же; онъ оставался вѣренъ этой традиціи, но мечъ колебался въ его рукахъ, привыкшихъ держать книги, и онъ не въ состояніи уже былъ отдаться жаждѣ мести съ такой-же беззаветностью, съ какою отдался ей Лаэртъ. Оттуда и произошли всѣ колебанія, отсрочки, рефлексіи и пр.

Буквально въ такомъ-же положеніи мы видимъ героев перваго и третьяго рассказовъ Гаршина. Рассказы эти „Четыре дня“ и „Трусъ“ были написаны, очевидно, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ послѣдней войны. Въ послѣдней же войнѣ была такая особенность, которую мы почти не встрѣчаемъ во всѣхъ предыдущихъ нашихъ войнахъ. Въ прежнія времена наши войска состояли изъ массы рядовыхъ, по большаго части безграмотныхъ и темныхъ, которые, правда, насильственно отрывались отъ родины, семьи и плуга, но разъ этотъ болѣзненный процессъ выносился новобранцемъ, онъ потомъ вполне входилъ въ роль солдата и смотрѣлъ на войну, какъ на свою священную обязанность безъ разсужденій и какихъ-либо со-

мнѣній. Интеллигентная же часть войска (исключая рѣдкихъ случаевъ насильственной отдачи въ солдаты въ видѣ административной кары) состояла почти вся изъ добровольцевъ, смотрѣвшихъ на войну, какъ на свое единственное призваніе и притомъ считавшихъ это призваніе выше всѣхъ прочихъ государственныхъ и общественныхъ функций. Все войско, такимъ образомъ, состояло изъ ревностныхъ поклонниковъ Марса, которые скучали во время мира и только на войнѣ чувствовали себя въ своей сферѣ, не только отправляли казенную службу, но священнодѣйствовали. Введеніе же всеобщей воинской повинности внесло въ ряды нашей арміи совершенно новый и до сихъ поръ невѣдомый элементъ—новобранцевъ, отрываемыхъ не отъ одного плуга, верстака, выручки и т. п., — но и отъ книги. Представьте себѣ юношу, который въ 20 лѣтъ своей только что расцвѣтающей жизни успѣлъ уже выработать дорогое призваніе, полюбилъ какую-нибудь науку или искусство или увлекся высоко цѣлью общественнаго характера, которая сдѣлалась для него дорожее жизни. И вдругъ роковымъ, неизбѣжнымъ путемъ онъ долженъ все это бросить и обратиться въ пушечное мясо, отданное въ полное, безпрекословное распоряженіе людей, которыхъ онъ считаетъ ниже себя по образованію. Прибавьте еще къ этому рядъ гуманныхъ идей и всевозможныхъ философскихъ взглядовъ, которые, съ одной стороны, заставляютъ его содрогаться при одной мысли, что ему придется убивать ближнихъ, такихъ-же несчастныхъ людей, какъ и онъ, къ которымъ онъ не питаетъ ни малѣйшей злобы и съ которыми готовъ былъ бы обняться побратски, встрѣтаться съ ними не на полѣ брани; съ другой же стороны—онъ скептически смотритъ на самую цѣлесообразность войны—для рѣшенія какихъ бы то ни было вопросовъ. Что-жъ ему въ такомъ случаѣ остается дѣлать? Употребить какія-нибудь окольные лазейки, чтобы избавиться отъ военной повинности? Но тысячи соображеній заставляютъ его смотрѣть на этотъ шагъ, какъ на крайне неблагоприятный. Онъ видитъ во всеобщей воинской повинности круговую обязанность всѣхъ и каждого защищать родину, и уклоненіе отъ этой обязанности, во всякомъ случаѣ, принимаетъ видъ эгоистическаго слабодушія, выступленія на почву привилегированнаго положенія и измѣны демократическому знамени. Въ то же время, онъ не сознаетъ еще себя настолько полезнымъ родинѣ на излюбленномъ поприщѣ, чтобы ради этой пользы, съ спокойною совѣстью, предоставить свой рекрутскій жребій другому несчастливцу, можетъ быть въ тысячу разъ болѣе полезному члену общества или своей семьи. Наконецъ, въ немъ продолжаетъ сидѣть и традиціонный предразсудокъ: какъ ни скептически смотритъ онъ на служеніе Марсу, однако-жъ, основную добродѣтель, предписываемую этимъ культомъ, храбрость онъ считаетъ однимъ изъ обязательныхъ достоинствъ своей особы и боится, какъ-бы уклоненіе его отъ воинской повинности не было принято окружающими его людьми и въ особенности, конечно, прекраснымъ попомъ за трусость. И вотъ въ то время, какъ всѣ симпатіи, всѣ влеченія и убѣжденія влекутъ юношу въ одну сторону, — судьба тащитъ совсѣмъ въ противоположную, — и онъ вноситъ въ ря-

ды войскъ новый, неслыханный тамъ элементъ гамлетовскихъ рефлексій. Изъ него могъ бы выработаться вполне Донъ-Кихоть, если бы жизнь его сложилась иначе и онъ былъ-бы въ состояніи весь отдать служенію своей идеи, — теперь же онъ истый Гамлетъ, и любой прапорщикъ съ птичьими мозгами является передъ нимъ самымъ безукоризненнымъ Лаертомъ. Нужно-ли говорить о томъ, что подобныхъ юношей въ нашихъ полкахъ въ настоящее время не десятки, а можетъ быть тысячи, и Гаршинъ, изобразившій передъ нами подобныхъ героевъ, вывелъ на сцену отнюдь не какое-нибудь исключительное явленіе, а такое, которое съ каждымъ днемъ дѣлается все болѣе и болѣе зауряднымъ.

Впрочемъ, между героями двухъ вышеупомянутыхъ рассказовъ есть нѣкоторая разница. Герой „Четырехъ дней“, когда шелъ на войну, хотя по своему общему развитію и былъ уже готовъ превратиться въ Гамлета, но въ немъ все еще преобладалъ Лаертъ за вѣстовъ временъ Очаковскихъ и покоренія Крыма. Онъ шелъ на войну не по одному велѣнію рока, а сознательно и добровольно, увлеченный идеею. Онъ не понималъ даже, въ силу чего окружавшіе его люди смѣялись надъ его военнымъ задоромъ и называли его „юродивымъ“.

«Когда я затѣялъ идти драться, говорить онъ: мать и Мама не отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Ослѣпленный идеей, я не видѣлъ этихъ слезъ. Я не понималъ (теперь я понимаю), что я дѣлалъ съ близкими мнѣ существами. Да вспоминать-ли? Прошлаго не воротить. А какое странное отношеніе къ моему поступку авилось у многихъ знакомыхъ. «Ну, юродивый. Лѣзетъ, самъ не зная чего!» Какъ могли они говорить это? Какъ вяжутся такіе слова съ ихъ представленіями о геройствѣ, любви къ родинѣ и прочихъ такихъ вещахъ? Вѣдь въ ихъ глазахъ я представлялъ гдѣ-то эти доблести. И тѣмъ не менѣе, я—юродивый».

Но до чего не успѣлъ онъ додуматься въ мирныя времена, то самое онъ постигъ опытомъ военныхъ дѣйствій. Вотъ онъ лежитъ передъ вами гдѣ-то въ кустахъ, раненный, забытый, рядомъ съ трупомъ турка, котораго онъ передъ тѣмъ убилъ, и тутъ, среди мукъ нестерпимой боли отъ ранъ, пожирающей жажды и отчаянья, его начинаетъ преслѣдовать цѣлый рядъ скептическихъ рефлексій:

«Преодо мною, говоритъ онъ, лежитъ убитый мною человекъ. За что я его убилъ? Онъ лежитъ здѣсь, мертвый, окровавленный. Зачѣмъ судьба пригнала его сюда? Кто онъ? Быть можетъ, и у него, какъ у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у дверей своей убогой мазанки, да поглядывать на далекій сѣверъ: не идетъ-ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ. А я? И я также... Я-бы даже помялся съ нимъ. Какъ онъ счастливъ: онъ не слышитъ ничего, не чувствуетъ ни боли отъ ранъ, ни смертельной тоски, ни жажды. Штыкъ вошелъ ему прямо въ сердце... Вотъ на мундирѣ большая черная дыра; вокругъ нея кровь. Это сдѣлалъ — я. Я не хотѣлъ этого. Я не хотѣлъ ала никому, когда шелъ драться. Мысль о томъ, что и мнѣ придется убивать людей, какъ-то уходила отъ меня. Я представлялъ себѣ только, какъ я буду подставлять свою грудь подъ пули. И я пошелъ и подставлялъ. Ну, и что-же? Глупецъ, глупецъ! А этотъ несчастный феллахъ (на немъ египетскій мундиръ), — онъ виноватъ еще меньше. Прежде, чѣмъ ихъ посадили, какъ сельдей въ бочку, на пароходъ и повезли въ Константинополь, онъ и не слышалъ ни о

Россіи, ни о Болгаріи. Ему велѣли идти, онъ и пошелъ. Если-бы онъ не пошелъ, его стали-бы бить палками, а то, быть можетъ, какой-нибудь паша всадылъ-бы въ него пулю изъ револьвера. Онъ шелъ длиннымъ, труднымъ походомъ отъ Стамбула до Рущука. Мы напали, онъ защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной англійской винтовки Пибоди и Мартини, все лѣземъ и лѣземъ впередъ, онъ пришелъ въ ужасъ. Когда онъ хотѣлъ уйти, какой-то маленький человекъ, котораго онъ могъ-бы убить однимъ ударомъ своего чернаго кулака, подскочилъ и воткнулъ ему штыкъ въ сердце. Чѣмъ-же онъ виноватъ? И чѣмъ виноватъ я, хотя я и убилъ его? Чѣмъ я виноватъ? За что меня мучаетъ жажда?

«Я не могу не думать о немъ, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ: неужели я бросилъ все милое, дорогое, шелъ сюда тысячеверстнымъ походомъ, голодалъ, холодалъ, мучался отъ зноя; неужели, наконецъ, я лежу теперь въ этихъ мукахъ ради того, чтобы этотъ несчастный пересталъ жить? А вѣдь развѣ я сдѣлалъ что-нибудь полезное для военныхъ цѣлей, кромѣ этого убійства? Убійство, убійца... И кто-же? Я!..»

Здѣсь гамлетизмъ представляется только что на-родившимся. Это первые проблески скептицизма; всѣ вышеприведенныя мысли являются передъ нами не столько мыслями, сколько ощущеніями, и нужно было герою испытать то фантастически страшное положеніе, въ какомъ онъ находился, брошенный на полѣ битвы, рядомъ съ гниющимъ трупомъ, и мучаясь чуть что не муками агоніи, — чтобы онъ постигъ весь ужасъ и всю тщету человѣческой бойни, называемой войною. Совершенно не то представляетъ герой „Труса“.

Еще ранѣе, чѣмъ его взяли въ ополченіе, онъ уже является передъ нами вполне сформировавшимся Гамлетомъ. Извѣстія съ поля войны производятъ на него потрясающее впечатлѣніе.

«Нервы, спрашиваетъ онъ себя, что-ли, у меня такъ устроены, только военныя телеграммы, съ обозначеніемъ числа убитыхъ и раненыхъ, производятъ на меня дѣйствіе, гораздо болѣе сильное, чѣмъ на окружающихъ. Другой спокойно читаетъ: «потери наши незначительны, ранены такіе-то офицеры, нижнихъ чиновъ убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало, а у меня при чтеніи такого извѣстія тотчасъ появляется передъ глазами цѣлая кровавая картина. Пятьдесятъ мертвыхъ, сто изувѣченныхъ — это незначительная вещь! Отчего-же мы такъ возмущаемся, когда газеты приносятъ извѣстія о какомъ-нибудь убійствѣ, когда жертвами являются нѣсколько человекъ? Отчего видъ пронизанныхъ пулями труповъ, лежащихъ на полѣ битвы, не поражаетъ насъ такимъ ужасомъ, какъ видъ внутренности дома, разграбленнаго убійцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нѣсколькимъ десяткамъ человекъ, заставила кричать о себѣ всю Россію, а на аванпостныхъ дѣлахъ, съ «незначительными» потерями, тоже въ нѣсколько десятковъ человекъ, никто не обращаетъ вниманія?»

Отъ подобныхъ общихъ соображеній, онъ переходитъ къ своей личности.

«Куда-же дѣнется твое «я»? спрашивалъ онъ: мы всѣмъ существомъ протестуемъ противъ войны, а все-таки война заставитъ тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нѣтъ, это невозможно! Я, смиренный, добродушный молодой человекъ, знавшій до сихъ поръ только свои книги, да аудиторію, да семью и еще нѣсколько близкихъ людей, думавшій черезъ годъ-два начать новую работу, трудъ любви и правды; я, наконецъ, привыкшій смотрѣть

на міръ объективно, привыкшій ставить его передъ собою, думавшій, что всюду я понимаю въ немъ зло и тѣмъ самымъ избегаю этого зла—я вижу все мое заданіе спокойствія разрушеннымъ, а самого себя напавшимъ на плечи то самое рубище, дыры и пятна котораго я сейчасъ только разсматривалъ. И никакое развитіе, никакое познаніе себя и міра, никакая духовная свобода не дадутъ мнѣ жалкой физической свободы располагать своимъ тѣломъ».

Далѣе затѣмъ приходятъ ему вдругъ въ голову сомнѣнія въ своей храбрости.

«Быть можетъ, думаетъ онъ: всѣ мои возмущенія противъ того, что всѣ считаютъ великимъ дѣломъ, исходятъ изъ страха за собственную кожу? Стоить-ли, дѣйствительно заботиться объ какой-нибудь одной, неважной жизни, въ виду великаго дѣла? И въ силахъ-ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дѣла?» Но герой началъ припоминать всю свою жизнь, всѣ тѣ случаи—правда, немногіе—въ которыхъ ему приходилось стоять лицомъ къ лицу съ опасностью, и не могъ обвинить себя въ трусости. «Тогда, говоритъ онъ: я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугаетъ меня».

Но уклониться отъ предстоящей участи, воспользовавшись кое-какими вліятельными знакомствами, и остаться въ Петербургѣ, состоя въ то-же время на службѣ, герой не былъ въ состояніи, его претило прибѣгать къ подобнымъ средствамъ, а во-вторыхъ, что, не подчиняющееся опредѣленію, сидѣло у него внутри, обсуждало его положеніе и запрещало ему уклоняться отъ войны. „Не хорошо“,—говорилъ ему внутренний голосъ.

Этотъ внутренний голосъ потомъ ясно сформировался передъ нимъ устами одной знакомой барышни, Марьи Петровны: „Они (т. е. другіе), сказала она: тоже не попли-бы, если-бы могли, но они не могутъ, а вы можете... Они идутъ воевать, а вы останетесь въ Петербургѣ, живой, здоровый, счастливый, только потому, что у васъ есть знакомые, которые пожалеютъ послать знакомаго человека на войну. Я не беру на себя рѣшать, можетъ быть, это и извинительно, но мнѣ не нравится, нѣтъ!“

И онъ пошелъ, своего рода „невольникъ чести“, умирать подъ непріятельскими пулями безъ малѣйшаго энтузіазма и съ полнымъ отвращеніемъ къ дѣлу ненавистной ему войны.

Велика или мала доля подобнаго рода гамлетизма въ нашей жизни (кто ее можетъ измѣрить?), но можно навѣрно сказать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ такого рода гамлетизмомъ, который представляетъ отнюдь не мимолетное явленіе, а напротивъ того, явленіе это должно съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе разрастаться. Съ каждымъ новымъ лучемъ свѣта знаній, съ каждою молодою силою, увлекаемою въ потокъ теченія передовыхъ идей, съ каждою мало-мальски искреннею и успѣшною попыткою распространить просвѣщеніе въ массы, число подобнаго рода Гамлетовъ должно возрастать въ геометрической прогрессіи. Къ какимъ-бы горячимъ воззваніямъ ни прибѣгали шовинисты, когда бываетъ на ихъ улицѣ праздникъ, какія-бы великія и передовыя идеи ни выставляли они на знаменахъ войны, можно положительно сказать, что съ появленіемъ перваго Гамлета на ихъ улицѣ—дѣло ихъ рѣшительно проигранно въ буду-

щемъ. Я не отрицаю, что много еще можетъ встрѣтиться таковыя моменты въ исторіи, въ которыхъ идеальныя, патріотическія или какія-нибудь нныя массовыя увлеченія будутъ настолько сильны, что самыя сознательныя Гамлеты забудутъ всѣ свои рефлексіи и на время подѣлаются самыми, повидимому, беззавѣтными Лаертами, но что подобные моменты будутъ встрѣчаться все рѣже и рѣже, — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Самый этотъ укоренившійся въ нынѣшнемъ столѣтіи обычай придавать войнамъ непремѣнно какую-нибудь либеральную, освободительную цѣль, которая привлекала-бы людей, вдохновляла-бы ихъ и оправдывала всѣ отвратительныя ужасы войны, свидетельствуетъ о томъ, что чистый военный задоръ все болѣе и болѣе изсякаетъ въ массахъ, и все менѣе становится такихъ мѣдлобыхъ Лаертовъ, для которыхъ въ кровавомъ боѣ, все равно изъ-за чего-бы то ни было, заключается единственное наслажденіе — колоть, рубить, крошить.

Съ поля войны Гаршинъ ведетъ насъ въ художественныя студіи, въ своемъ разсказѣ „Художники“, но и здѣсь мы находимъ такое-же развитіе гамлетизма, отвлекающаго самыхъ талантливыхъ художниковъ отъ искусства, совершенно подобно тому, какъ вполне мужественные люди получаютъ отвращеніе отъ войны. — Дѣдовъ и Рябининъ, — это тѣ-же Лаертъ и Гамлетъ. Дѣдовъ въ своемъ родѣ цѣльный человекъ; онъ весь до мозга костей преданъ своему искусству, и кромя того, въ самомъ искусствѣ исключительно пейзажной живописи; внѣ этого конька ничего для него не существуетъ, онъ живетъ и дышетъ восходами, заходами, лѣсными просѣками, нвами надъ прудами и т. п. Онъ понять не въ силахъ, какъ это можно сомнѣваться и задавать себѣ какіе-бы то ни было вопросы относительно значенія и цѣлей искусства. Для него искусство само въ себѣ и само по себѣ составляетъ цѣлый міръ, въ которомъ заключены свои начало и конецъ, исходъ и цѣль. Этому служенію чистому искусству способствуетъ во многихъ отношеніяхъ то обстоятельство, что Дѣдовъ — человекъ обезпеченный, получившій наслѣдство отъ тетки; дѣло извѣстное, что подобнаго рода чистое искусство всегда родилось и родится на почвѣ паразитизма, и въ этомъ отношеніи Гаршинъ вполне вѣрно опредѣлилъ ему мѣсто. Не менѣе вѣрно постигъ авторъ и тотъ фактъ, что Дѣдовы непремѣнно должны быть Сальери, т. е. люди съ крайне ограниченными талантами и достигающими чего нибудь въ искусствѣ лишь потѣмъ усидчиваго труда. Дѣдовъ, такимъ образомъ, не только Лаертъ, но и Сальери, и это нисколько не исключаетъ одного и другого и вполне совмѣстно: Лаертъ, какъ человекъ, слѣпо и безъ разсужденій преданный своему традиціонному дѣлу, въ свою очередь, блещетъ передъ нами во всей красѣ своего узколобья. И въ самомъ дѣлѣ, Дѣдовъ относится къ своему товарищу Рябинину совершенно, какъ и Сальери къ Моцарту въ драмѣ Пушкина. „Чертовски, говорить онъ: талантливая натура, но за то лѣнтяй ужасный!“ — И Сальери почти тѣми-же словами сътуетъ, что „геній озаряетъ голову безумца, гуляки празднаго“. Но Дѣдовъ не завидуетъ Рябинину, во первыхъ, такъ какъ у него другой жанръ въ искусствѣ, и онъ извѣстенъ отъ со-

перничества съ нимъ, а главное дѣло, — Дѣдовъ не знаетъ никакихъ рефлексій, не понимаетъ даже возможности ихъ, считаетъ себя поэтому недосыгаемо выше Рябинина и ликуетъ въ самодовольствѣ.

Рябининъ-же весь изъѣденъ рефлексіями. Для него мало искусства въ самомъ себѣ, онъ безпрестанно спрашиваетъ себя, какое значеніе имѣетъ оно въ жизни и имѣетъ-ли какое-нибудь значеніе:

«Когда я хожу по выставкѣ, — говоритъ онъ, — и смотрю на картины, что я вижу въ нихъ? Хоться, на который напали краски, расположенныя такимъ образомъ, что они образуютъ впечатлѣнія, подобныя впечатлѣніямъ отъ различныхъ предметовъ. Люди ходятъ и удивляются: какъ это онѣ, краски, такъ хитро расположены! И больше ничего. Написаны цѣлыя книги, цѣлыя горы книгъ объ этомъ предметѣ: многія изъ нихъ я читалъ. Но изъ Тэноровъ, Карьеровъ, Куглеровъ и всѣхъ, писавшихъ объ искусствѣ, до Прудона включительно, не явствуетъ ничего. Они все толкуютъ о томъ, какое значеніе имѣетъ искусство, а въ моей головѣ, при чтеніи ихъ, непремѣнно шевелится мысль: если оно имѣетъ его. Я не видѣлъ хорошаго вліянія картины на человека; зачѣмъ же мнѣ вѣрить, что оно есть? Зачѣмъ вѣрить? Вѣрить-то мнѣ нужно, необходимо нужно; но какъ повѣрить? Какъ убѣдиться въ томъ, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы (и хорошо еще, если только любопытству, а не чему-нибудь иному — возбужденію скверныхъ инстинктовъ, напримѣръ, и тщеславію какого-нибудь разбогатѣвшаго жемудра на ногахъ, который не спѣша подойдетъ къ моей пережитой, выстрадавшей, дорогой картинѣ, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчить: «ми... ничего себѣ», сунетъ руку въ отпорывшійся карманъ, броситъ мнѣ нѣсколько сотъ рублей и унесетъ ее отъ меня. Унесетъ вмѣстѣ съ волненіемъ, съ бессонными ночами, съ огорченіями и радостями, съ обольщеніями и разочарованіями. И снова ходишь одинокой среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечеромъ, машинально пишешь его утромъ, возбуждая удивленіе профессоровъ и товарищей быстрыми успѣхами. Зачѣмъ дѣлаешь все это, куда идешь?»

Откуда же являются подобнаго рода рефлексіи, гдѣ рождаются эти тревожные вопросы, нарушающіе творчество художника и возмущающіе весь его внутренній міръ? А все это происходитъ изъ той причины, что истинные художественные таланты, въ родѣ Рябинина, — люди съ крайне чуткими, впечатлительными нервами, и какъ бы они ни старались устраниваться отъ жизни, — жизнь со всѣми своими ужасами, всѣми своими гадостями и грязью — непрестанно волнуется ихъ, бѣситъ, терзаетъ, вызываетъ ихъ на страшный бой. Нужно имѣть желѣзные, лаертовскіе нервы Дѣдова, чтобы смотрѣть и не видѣть, слышать и не содрагаться, и при видѣ возмущающихъ зрѣлищъ ни о чемъ не думать, какъ лишь о красотѣ тоновъ неба, раскинушагося надъ людскими безобразіями. Рябининъ этого не можетъ, — а вотъ въ немъ происходитъ мучительное, опять-таки чисто гамлетовское раздвоеніе: жизнь тянетъ его въ одну сторону, искусство — въ другую. Онъ пытается помирить этотъ разладъ, посвятивши искусство жизни, пишетъ картину, на которой изображаетъ весь испытанный имъ ужасъ при видѣ адской каторги рабочаго-котельщика, собственною грудью поддерживающаго на днѣ котла страшные удары молотомъ при утвержденіи заклепокъ. Картина выходитъ поразительная по своему

страшному впечатлѣнію. Но ожидаемаго приниженія, все-таки, она художнику не приноситъ. Онъ представляетъ себѣ свою картину на выставкѣ.

«Нельзя сказать,—думаетъ онъ, чтобы на нее не смотрѣли: будутъ смотрѣть и даже хвалить. Художники начнутъ разбирать рисунокъ, рецензенты, прислушиваясь къ нимъ, будутъ чиркать карандашиками въ своихъ записныхъ книжкахъ. Публика... публика проходить мимо безстрастно или съ неприятной гримасой: дамы—тѣ только скажутъ: «ah, comme il est laid, глухарь», и поплывутъ къ слѣдующей картинѣ, къ «дѣвочкѣ съ кошкой», смотря на которую, скажутъ: «очень, очень мило», или чтонибудь подобное. Солидные господа съ бычачьими глазами поглазятъ, потупятъ взоры въ каталогъ, испустятъ не то мычанье, не то сопѣнье и благополучно прослѣдуютъ далѣе. И развѣ только какой-нибудь юноша или молодая дѣвушка остановятся со вниманіемъ и прочтутъ въ измученныхъ глазахъ, страдальчески смотрящихъ съ полотна, вопль, вложенный мною въ нихъ... Ну, а дальше? Картина выставлена, куплена, увезена. Что же будетъ со мною? То, что я пережилъ въ послѣдніе дни, погибнетъ ли безслѣдно? Кончатся-ли все только однимъ волненіемъ, послѣ котораго наступитъ отдыхъ съ исканіемъ невинныхъ сюжетовъ?...» и т. д.

А дальше будетъ то, что какое-бы вопиющее содержание ни заключила въ себѣ картина Рябинина, все равно неизбежная участь ея затеряться въ покаяхъ какого-нибудь Саламатова или Утробина, гдѣ она будетъ играть совершенно такую-же роль эфемерныхъ украшеній праздной роскоши, какъ и стоящія тутъ-же возлѣ нея бронзовые канделябры. Чтобы выйти изъ этого ада сомнѣній, Рябинину остается одно: бѣжать отъ искусства, не смотря на всю свою любовь къ нему и могущественный талантъ,—и онъ кончаетъ тѣмъ, что отдается непосредственному дѣлу борьбы съ безобразіями жизни.

И опять-таки мы имѣемъ здѣсь дѣло отнюдь не съ какинъ-нибудь исключительнымъ и необыкновеннымъ явленіемъ жизни. Гамлетовъ-Рябининовыхъ нисколько не меньше, если не болѣе, чѣмъ и Гамлетовъ-Трусовъ. Что во всѣхъ отрасляхъ искусства заключается нынѣ преобладаніе труженнической и ремесленной посредственности дѣловскаго пошпа и отсутствіе сильныхъ и гениальныхъ талантовъ,—это сдѣлалось ходячимъ трюизмомъ. Не разъ въ прессѣ было заявляемо, что это зависитъ, по всей вѣроятности, отъ того, что слишкомъ навойлившия тревоги жизни нашей смутной эпохи отвлекаютъ наиболѣе талантливыя и чуткія натуры отъ мирныхъ бесѣдъ съ музами и втягиваютъ ихъ въ свои мрачныя пучины. И это совершенная правда. Искусству, такимъ образомъ, угрожаетъ печальная участь мало по малу и незамѣтно обратиться въ мертвое ремесло въ угоду тщеславной роскоши, и къ этому могутъ привести его не какія-либо эстетическія теоріи, а сама жизнь своимъ неизбежнымъ теченіемъ. Многія отрасли искусства успѣли уже достигнуть такой печальной окаменѣлости; таковы, наприимѣръ, ваяніе и скульптура, имѣющія нынѣ значеніе скорѣе шаблонной промышленности, чѣмъ художественнаго творчества, въ экстазѣ котораго нѣкогда такіе гени, какъ Бенвенуто Челлини, вкладывали всю душу въ украшеніе какого-нибудь золотого кубка. Близко, можетъ быть, и такое время, когда чудеса кисти Айвазовскаго или Куинджи будутъ производиться паровыми машинами, подъ управленіемъ законченныхъ механиковъ и кочегаровъ, органы у Пашкина въ своемъ симфоническомъ творчествѣ заткнутъ за поясъ не только Вагнера, но и самаго Кюи. А беллетристика... она и теперь уже принимаетъ зачастую характеръ фабрично-коллективнаго производства. И вотъ, когда все это окончательно сформируется такимъ образомъ, тогда только Рябининныхъ-Гамлетовъ болѣе не будетъ, а останутся одни Лазарты-Дѣдовы, совершенно подобно тому, какъ и въ настоящее время на свеклосахарномъ заводѣ можно задумываться насчетъ заработной платы, насчетъ дурнаго воздуха фабрики, но, конечно, ни одному рабочему не придется въ голову пуститься въ рефлексіи о тѣстѣ самого производства сахара.

Совершенно иного рода гамлетизмъ представляетъ собою герой разсказа „Ночь“. Въ разсказѣ этомъ авторъ, къ сожалѣнію, не выяснилъ, со всѣми подробностями, что именно привело героя его къ самоубійству; онъ представилъ намъ одинъ только моментъ самой попытки раздѣлаться съ жизнью. Но по тѣмъ мыслямъ, какія бродятъ въ героѣ въ этотъ страшный моментъ, мы можемъ судить съ достаточнымъ основаніемъ, что за типъ мы имѣемъ передъ собою. Здѣсь, очевидно, передъ нами рисуется опять все тотъ-же слабодушный и выродившійся потомокъ Репетиловыхъ-Чулкатуриныхъ, котораго мы видѣли въ разсказахъ Новодворскаго или у Гл. Успенскаго въ его Михаилѣ Михайловичѣ. Высокомеріе, тщеславіе и черствый барскій эгоизмъ подъ личиною высокихъ цѣлей и громкихъ фразъ,—таковы, какъ мы видѣли, существенныя качества этого типа. Гамлетизмъ является здѣсь въ видѣ мрачнаго сознанія своей жалкой несостоятельности. Жизнь подноситъ человѣку цѣлый рядъ горькихъ опытовъ и разочарованій, вслѣдствіе которыхъ онъ трезвѣетъ отъ всѣхъ своихъ самообольщеній и, вмѣсто величественнаго полубога, видитъ въ себѣ ничтожнѣйшаго, пресмыкающагося червя и къ тому-же обманщика, шулера.

«Въ прошломъ нѣтъ опоры, говорить онъ себѣ, потому что все ложь, обманъ. И лгалъ, и обманывалъ я самъ и самого себя, не оглядываясь. Такъ обманываетъ другихъ мошенникъ, притворяющійся богачемъ, рассказывающій о своихъ богатствахъ, которыя гдѣ-то «тамъ», «не получены», но которыя есть, и занимающій деньги направо и налѣво. Я всю жизнь долженъ самому себѣ. Теперь насталъ срокъ расчета—и я банкротъ, злостный, завѣдомый...»

Но само по себѣ это сознаніе не излечиваетъ еще героя отъ недуга самообожанія. У него, все-таки, не хватаетъ еще настолько мужества (да и откуда ему взять его), чтобы, честно сознавшись передъ собою въ своей несостоятельности, въ тоже время смириться душою и подавить въ себѣ всякую гордыню. Ни чуть ни бывало: даже сознавая себя ничтожнѣйшимъ изъ ничтожнѣйшихъ, онъ, тѣмъ не менѣе, продолжаетъ красоваться передъ собою въ гордомъ величіи; изъ самого своего самоуниженія онъ устраиваетъ себѣ пышную мантию, въ которую драпируется. Даже падая съ пьедестала, онъ и не помышляетъ о томъ, что ударить въ грязь лицомъ передъ людьми. Прав-

да, онъ банкротъ, но изъ этого, конечно, вовсе не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ хуже другихъ; ничуть ни было: это показываетъ только, что всѣ безъ исключенія банкроты, но онъ, во всякомъ случаѣ, цѣлою головою выше человѣческаго рода, потому что люди, состоя банкротами, не сознаютъ этого и продолжаютъ пресмыкаться, а онъ созналъ и желаетъ честно отдѣлаться отъ жизни. И вотъ, на прощанье съ жалкимъ человѣческимъ родомъ, онъ пишетъ передъ смертью письмо, въ которомъ излагаетъ, „что умираетъ спокойно, потому что жалѣтъ нечего: жизнь есть сплошная ложь; что люди, которыхъ онъ любилъ — если только онъ, дѣйствительно, любилъ кого-нибудь, а не притворялся передъ самимъ собою, что любитъ, — не въ состоянн удержать его жизнь, потому что „выдохлись“. Да и не выдохлись, „нечему было выдыхаться“, а просто потеряли для него интересъ, разъ онъ понялъ ихъ. Что онъ понялъ и себя, понялъ, что и въ немъ, кромѣ лжи, ничего нѣтъ и не было; что если онъ сдѣлалъ что-нибудь въ своей жизни, то не изъ желанія добра, а изъ тщеславія; что онъ не дѣлалъ злыхъ и нечестныхъ поступковъ не по неимѣнн злыхъ качествъ, а изъ малодушнаго страха передъ людьми. Что, тѣмъ не менѣе, онъ не считаетъ себя хуже „васъ, остающихся лгать до конца дней своихъ“, и не проситъ у нихъ прощенія, а умираетъ съ презрѣннмъ къ людямъ, не меньшимъ, чѣмъ къ самому себѣ. И жестокая, бессмысленная фраза сорвалась въ концѣ письма: — „Прощайте, люди! прощайте кровожадныхъ, кривляющихся обезьянъ!“

Но пустить себѣ пулю въ лобъ ему не удалось. Давно, конечно, всѣмъ извѣстно, что подобнаго рода Гамлетамъ хотя и вполне свойственно приходитъ къ мысли о самоубійствѣ, но осуществлять эту мысль всегда бываетъ очень трудно. Онъ и не замѣтилъ, какъ просидѣлъ въ своей комнатѣ, въ креслѣ, собираясь раздѣлаться съ жизнью, всю ночь до разсвѣта. Наконецъ, начали уже звонить къ заутрени. Звукъ колокола пробудилъ его отъ мрачнаго раздумья. „Колоколъ сдѣлалъ свое дѣло: онъ напомнилъ запутавшемуся человѣку, что есть еще что-то, кромѣ своего собственнаго, узкаго мірка, который его измучилъ и довелъ до самоубійства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминанія, отрывочныя, безсвязныя, и всѣ какъ будто совершенно новыя для него. Въ эту ночь онъ многое уже передумалъ и многое вспомнилъ, и воображалъ, что ясно видѣлъ самого себя. Теперь же почувствовалъ, что въ немъ есть и другая сторона, та самая, о которой говорилъ ему робкій голосъ его души“.

Однимъ словомъ, воспоминанія дѣтства воскресили въ немъ совершенно иной строй души, простой, безхитростный, чуждый всякихъ развѣдающихъ рефлексій, но чуждый, вѣстѣ съ тѣмъ, и узкаго эгоизма, когда „онъ думалъ именно то, что думалъ, любилъ отца и зналъ, что любить“.

Вѣдь есть-же міръ, воскликнулъ онъ подъ обаяннмъ всѣхъ этихъ воспоминаній: колоколъ напомнилъ мнѣ про него. Когда онъ провучалъ, а вспомнилъ церковь, вспомнилъ огромную человѣческую массу, вспомнилъ настоящую жизнь. Вотъ куда нужно уйти отъ себя и вотъ гдѣ нужно любить. И такъ любить, какъ любятъ дѣти... Обра-

тятся и сдѣлаются какъ дѣти!.. Это значить, не ставить во всемъ на первое мѣсто себя! Вырвать изъ сердца этого сквернаго божка, уродца съ огромнымъ брюхомъ, это отвратительное Я, которое, какъ глисть, сосетъ душу и требуетъ себѣ все новой и новой нищи“.

Это были, однимъ словомъ, тѣ старыя, но вѣчно новыя, народныя демократическія идеалы, которые были чужды ему до сей поры, но которые теперь наполнили сердце его невѣдомымъ восторгомъ. „Онъ почувствовалъ, что не все еще пожрано идоломъ, которому онъ столько лѣтъ поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотверженіе, что стоитъ жить для того, чтобы излить этотъ остатокъ. Куда, на какое дѣло — онъ не зналъ, да въ ту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Онъ вспомнилъ горе и страданіе, какое довелось ему видѣть въ жизни, настоящее, житейское горе, передъ которымъ всѣ его мученія въ одиночку ничего не значили, и понялъ, что ему нужно идти туда, въ это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда въ душѣ его настанетъ миръ“.

Но, къ сожалѣнн, это великое сознаніе, что слѣдуетъ жить не для себя, а для другихъ, эта святая готовность принять на себя хоть частицу мірскихъ страданій, — явились къ нему слишкомъ поздно. Не говоря о томъ, что запасъ нравственныхъ силъ его былъ уже истощенъ, но и физическія силы были до такой степени надломлены, что гдѣ уже было думать ему о страданіяхъ за другихъ, когда онъ не въ состоянн былъ вынести и того восторга, которымъ преспопнился: съ нимъ произошло нѣчто въ родѣ разрыва сердца, и онъ тутъ-же и умеръ, не доживя до утра. Однимъ словомъ, новое вино не удержалось въ старыхъ мѣхахъ. Для этого новаго вина оказалось мало одного нравственнаго возрожденія со стороны старыхъ людей, а необходимы новыя люди съ новымъ запасомъ не только нравственныхъ, но и физическихъ силъ.

Нужно ли и говорить о томъ, что и здѣсь мы имѣемъ дѣло, отнюдь, не съ какимъ-нибудь исключительнымъ и необыкновеннымъ явленнмъ. Хорошо исключительное явленіе, когда о немъ приходится намъ бесѣдовать съ читателями въ каждомъ письмѣ, имѣя дѣло съ такими разнообразными вариантами этого типа, какъ Михайлъ Михайловичъ Гл. Успенскаго, „Ни пава, ни ворона“ Новодворскаго, герой „Ночи“ Гаршина; а стоитъ еще копнуть героевъ разсказовъ М. Бѣлинскаго (что отъ насъ еще не уйдетъ), такъ мы не оберемся подобнаго рода Гамлетовъ. Очевидно, это одно изъ крупныхъ и выдающихся явленій нашей современной жизни. Это обычный историческій фактъ, который постоянно повторяется, когда какой-нибудь слой общества окончательно, что называется, изживется, выдохнется, дойдетъ до полнаго истощенія всѣхъ и психическихъ, и физическихъ силъ.

Именно на почвѣ подобнаго вырожденія и является этого рода гамлетизмъ. Онъ рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ видовъ гамлетизма, какъ самый антипатичный; и еще бы: однимъ тѣмъ уже отвращаетъ онъ отъ себя, что отъ него разитъ запахомъ тлѣнія, угрожающимъ заразить все живое. По счастью, подобнаго рода гамлетизмъ недолговѣченъ: въ то время, какъ разсмотрѣнные нами выше виды,



имѣютъ, какъ мы видѣли, всѣ шансы на развитіе и распространеніе въ будущемъ (конечно, пока условія жизни, вызывающія ихъ, не измѣнятся),—этотъ, напротивъ того, обуславливается лишь явленіемъ, вполне уже отжившимъ, именно крѣпостнымъ правомъ; онъ является лишь отрывкомъ дореформенныхъ порядковъ, царствовавшихъ на Руси до крымскаго погрома. Гамлеты этого рода—ничто иное, какъ послѣдніе могикане того извращенія, какому подверглась человѣческая природа на почвѣ рабства. Вскорѣ послѣ паденія феодальнаго режима и Западная Европа была знакома съ этого рода Гамлетами въ образѣ Вертеровъ, Рене и т. п. Но нынѣ они представляются лишь достояніемъ исторіи. Вскорѣ простятся съ ними и мы.

Наконецъ, въ послѣднихъ двухъ разсказахъ „Attalea princeps“ и „То, чего не было“,—является передъ нами гамлетизмъ самого автора, и это обстоятельство дѣлаетъ разсказы эти вдвое любопытнѣе. Мы обратимъ вниманіе на „Attalea princeps“, какъ на болѣе цѣльную и къ тому же спорную.

На „Attalea princeps“ многіе критики (и изустно, и печатно) взглянули крайне косо и заподозрили въ этой сказочкѣ даже нѣчто ретроградное. Помилуйте: росла пальма въ оранжереѣ, представляющая собою, очевидно, эмблему свободомыслія. По крайней мѣрѣ, она одна тяготилась спертымъ воздухомъ оранжереи и низкими ея сводами: ей хотѣлось свѣжаго воздуха и небеснаго простора. И вотъ она вздумала перерости всѣ прочія растенія и одна, своими силами, разрушить стеклянный куполъ тюрьмы. Сказано, сдѣлано.

Но когда Attalea princeps достигла своей цѣли, и стекла оранжереи посыпались подъ напоромъ ея вѣтвей, она горько разочаровалась:

„Только-то? думала она.—И это все, изъ-за чего я томила и страдала такъ долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшею цѣлью?“

„Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину въ пробитое отверстіе. Моросилъ мелкій дождикъ пополамъ съ снѣгомъ; вѣтеръ низко гналъ сѣрыя клочковатые тучи. Ей казалось, что онѣ окхватываютъ ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснахъ, да еляхъ стояли темнозеленые хвоя. Угрюмо смотрѣли деревья на пальму. „Замерзнешь! какъ будто говорили они ей.—Ты не знаешь, что такое морозъ. Ты не умѣешь терпѣть. Зачѣмъ ты вышла изъ своей теплицы?“

„И Attalea поняла, что для нея все было кончено. Она застывала. Вернуться снова подъ крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодномъ вѣтрѣ, чувствовать его порывы и острое прикосновеніе снѣжинокъ, смотрѣть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задній дворъ ботаническаго сада, на скучный огромный городъ, видѣвшійся въ туманѣ, и ждать, пока люди, тамъ внизу, въ теплицѣ, не рѣшатъ, что дѣлать съ нею“.

А люди порѣшили сплести ее, такъ какъ не сто-

ить дѣлать надъ нею новаго купола: она опять вырастетъ и все сломастъ.

Вотъ въ этомъ-то во всемъ мудрые критики и провидѣли своего рода ретроградство, заключающееся, будто бы, въ слѣдующемъ нравоученіи, проистекающемъ изъ судьбы пальмы: не старайтесь переростать вашихъ ближнихъ гордымъ разумомъ, не стремитесь къ свободомыслію, ибо такое стремленіе ни къ чему не приводитъ, какъ лишь къ горестному разочарованію и къ пагубѣ.

Но подобнаго рода выводъ, отъ котораго, дѣйствительно, вѣетъ духомъ Фаустова и Молчалина, смѣю думать, принадлежитъ самимъ господамъ критикамъ, которые совершенно напрасно навязываютъ его разсказу Гаршина изъ особенной архангелской привычки предполагать, что въ каждой баснѣ непременно должна заключаться моральная сентенція. Вѣдь, если захотѣть отыскивать въ художественныхъ произведеніяхъ моральныя сентенціи, то любую повѣсть, въ которой изображается порядочный человѣкъ, терпящій трагическій исходъ, можно подвести подъ что нибудь подобное: не будьте порядочнымъ человѣкомъ, ибо вамъ угрожаетъ презрѣніе и ненависть пошляковъ, гоненія и преждевременная смерть. Попробуемъ же взглянуть на сказку Гаршина, помимо всякихъ сентенцій, вполне объективно, и тогда намъ откроется въ ней совершенно иной смыслъ.

Attalea princeps, съ ея стремленіемъ къ чистому воздуху и небесному простору, съ ея призывомъ ко всѣмъ прочимъ растеніямъ „рости“ выше и шире—очевидно, олицетворяетъ собою передовую и лучшую часть нашей интеллигенціи. Интеллигенція эта, по своимъ идеямъ, представляющимъ продуктъ иной, высшей цивилизаціи, дѣйствительно, является среди насъ словно какими-то заморскимъ растеніемъ, хирѣющимъ въ тѣсныхъ оранжерейныхъ рамкахъ нашей жизни. Напрасно взымаетъ она, чтобы окружающія ее растенія стремились на просторъ воздуха и свѣта. Никто ей не внемлетъ или отвѣчаютъ ей одними презрительными восклицаніями: „несбыточная мечта! вздоръ! нелѣпость!“ и т. п. Когда же она одна рѣшается выступить изъ затхлыхъ сводовъ оранжереи на просторъ полей и луговъ,—дѣйствительно, что-жъ до сихъ поръ встрѣчало и встрѣчаетъ ее, какъ не горькое разочарованіе? Вмѣсто тепла и свѣта, т. е. вмѣсто того восторженнаго привѣта, который она надѣется встрѣтить за предѣлами оранжерейныхъ стѣнъ, на нее начинается дуть со всѣхъ сторонъ морозный вѣтеръ нашего самобытнаго невѣжества; мгла и сырость нашихъ отечественныхъ болотъ прохватываютъ ее до костей... Вспомните, обходилось ли хоть одно свѣтлое мгновеніе, хоть одинъ восторженный и смѣлый порывъ нашей интеллигенціи (напр. шестидесятые годы) безъ того, чтобы дѣло не кончилось все однимъ и тѣмъ же восклицаніемъ: „только-то? И это все, изъ-за чего томились и страдали мы такъ долго?“ Съ этимъ восклицаніемъ уходитъ у насъ въ могилу чуть ли не каждый истинно-интеллигентный человѣкъ, чуть ли не каждое поколѣніе.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ гамлетизмомъ совершенно особеннаго рода, вызываемымъ не тѣми или другими частными обстоятельствами, а

суммою всѣхъ условій нашей жизни. Это гамлетизмъ нашего вѣка, лежащій въ основахъ всѣхъ нашихъ общественныхъ отношеній. Сердитесь сколько угодно на Гаршина, зачѣмъ онъ раскрываетъ передъ вами эту горькую скорбь своего вѣка и бередитъ раны, проникающія глубоко въ ваши сердца, но, согласитесь, что онъ тысячу разъ правъ въ своемъ гамлетизмѣ, и что гамлетизмъ этотъ, отнюдь, не случайное, личное качество автора и не пустой капризъ больной фантазіи, а болѣзнь, общая всѣмъ намъ.

### V.

Нынѣшній годъ ознаменовалъ себя цѣлою облавою, воздвигнутою противъ сѣренскихъ, миролюбивыхъ, пугливыхъ и кроткихъ зайчиковъ нашей интеллигенціи, именующихся либералами, или чаще всего „лже-либералами“ съ прибавленіемъ всякаго рода забористыхъ эпитетовъ. На этихъ невинныхъ звѣрковъ съ длинными, подвижными ушами, кроткими глазами и пушистыми мордочками напустилась цѣлая стая бѣшеныхъ псовъ съ лаемъ, визгомъ, пѣною вокругъ разинутыхъ пастей и хвостами, загнутыми вверхъ съ самымъ рѣшительнымъ воинственнымъ пафосомъ. Уже не говоря о „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, и „Новое Время“, и „Минута“, и даже „Недѣля“ и пр., и пр. такъ взапуски и летѣли пожрать несчастныхъ зайчиковъ, и я такъ и ждалъ, что вотъ, вотъ сейчасъ отъ нихъ не останется ни одного клочка.

Но дни шли за днями, а картина оставалась одною и тою-же: все также летали пугливые зайчики, загнувши ушки назадъ, а за ними, по прежнему, гнались разсвирѣпѣвшіе псы съ разинутыми пастьми, и все это въ тоже время какъ бы не двигалось съ мѣста, словно нарисованное на холстѣ. По неволѣ, начало мнѣ, наконецъ, приходитъ въ голову, что это одинъ миражъ. и что, какъ зайчики, такъ и псы въ сущности звѣри одного рода и вида, а только перерядились въ разные костюмы, что они вовсе не въ серьезъ преслѣдуютъ другъ друга; а такъ только забавляются, какъ школьники.

Въ этомъ убѣдило меня еще и вотъ какое обстоятельство. За неимѣніемъ никакой такой газеты, которая вполнѣ бы соотвѣтствовала моимъ убѣжденіямъ и вкусамъ, я подписываюсь на „Голосъ“, ну а „Голосъ“, дѣло извѣстное, считается у насъ представителемъ либерализма и органомъ, наиболѣе излюбленнымъ всѣми либералами, и на газету эту въ большей степени, чѣмъ на всѣ прочіе либеральные органы, устремляется травля вышеозначенныхъ псовъ. Ну такъ вотъ, читая „Голосъ“ изо дня въ день, я замѣтилъ странное явленіе, поставившее меня положительно въ тупикъ: каждый разъ, когда „Голосъ“ начинается полемизировать съ „Московскими Вѣдомостями“, или-же, какъ онъ обыкновенно съ брезгливостью выражается, „съ иною газетою, имя которой неприлично называть въ печати“, вы видите, что „Голосъ“ противъ московскихъ тенденцій и нападеній выставляетъ и защищаетъ какъ будто и въ самомъ дѣлѣ различные либеральные принципы, и является, такимъ образомъ, на высотѣ своего призванія. Но, какъ только тотъ-же самый „Голосъ“ заговоритъ самъ по се-

бѣ безъ всякихъ полемическихъ цѣлей, а особенно если рѣчь зайдетъ о той или о другой крупной и вопіющей злобѣ дня, глядишь иной разъ и очамъ своимъ не вѣришь: да вѣдь это совершенно тоже самое, что говорить и „Московскія Вѣдомости“, это мало того, что тѣ-же тенденціи, но и выраженія, фразы, слова буквально одни и тѣ же. Изъ-за чего-же „Голосъ“ встаетъ на дыбы и мечетъ такіе громы противъ „Московскихъ Вѣдомостей“, изъ-за чего противъ „Голоса“ учиняется такая бѣшеная травля? Стоять-ли огородъ городить, стоять-ли капусту сажать? Не лучше-ли милымъ друзьямъ и братьямъ, вмѣсто того, чтобы грызться не на животь, а на смерть, — помириться, поцѣловаться и затѣмъ, рука въ ручку и обнявшись, бодро шествовать по одному и тому-же прогрессивному пути всероссійскаго недомыслия?

Это явленіе привело меня къ еще большому сомнѣнію въ дѣйствительности всей этой буйной распри между консервативными и либеральными органами. Что нибудь тутъ да не такъ, думалось мнѣ; это чистое недоразумѣніе и если не обѣ стороны, то одна ужъ навѣрное тутъ лишь прикидывается и напускаетъ на себя, можетъ быть и сама того не признавая. Но кому же напускать на себя и играть роль? Если и предположить, что органы, въ родѣ „Новаго Времени“ или „Минуты“ способны пѣть съ чужого голоса, не имѣя никакого своего, то ужъ никакъ вы не заподозрите, чтобы главный запѣвало хора, „Московскія Вѣдомости“, искусственно играли какую-нибудь роль. Рѣчь ихъ постоянно такъ опредѣлена, тверда, послѣдовательна, какъ дай Богъ всякому органу. Съ самаго начала своего существованія они, не сворачивая ни направо, ни налѣво, твердо, неуклонно, и по истинѣ сказать, побѣдоносно, шествовали по одному и тому же пути. Да къ тому же и тенденціи „Московскихъ Вѣдомостей“ все такого рода, что лишь имѣя глубокую и непоколебимую вѣру въ нихъ, можно рѣшиться проповѣдывать ихъ такъ открыто и рѣзко, какъ это дѣлаютъ „Московскія Вѣдомости“, и не ими прикрывать что либо иное, а скорѣе всего отъ нихъ свойственно прикрываться въ какую-нибудь овечью шкуру. Остается, слѣдовательно, предположить, что все недоразумѣніе, въ настоящемъ случаѣ, коренится на столбцахъ „Голоса“, что играніе роли и прикидываніе принадлежитъ именно этой газетѣ, что размахивая знаменемъ либерализма, она вовсе не серьезно дѣлаетъ это, а только играетъ роль, причѣмъ сотрудникамъ ея приходится волей-неволей облекаться въ костюмы, совершенно несвойственные имъ, и бѣднать, имъ такъ не по себѣ въ этихъ костюмахъ, такъ трудно выдерживать свои роли, что, волей-неволей, они безпрестанно сбиваются въ своихъ репликахъ и впадаютъ въ тонъ своихъ противниковъ. Оттого-то, конечно, и выходитъ, что лишь въ полемическомъ задорѣ, когда имъ приходится говорить въ пику „Московскимъ Вѣдомостямъ“, и они имѣютъ передъ своими глазами тенденціи своихъ противниковъ, противъ которыхъ ратуютъ, имъ легко выставлять знамя либерализма и вертѣть имъ передъ носомъ Каткова и Суворина, а когда приходится самостоятельно обсуждать какое-нибудь явленіе жизни или вопросъ и вѣтъ передъ ними имѣніи противниковъ, которыхъ

указывали-бы имъ, какую принять позицію, они невольно впадаютъ въ тонъ этихъ самыхъ противниковъ, потому что по своей натурѣ, по своему нутру, на самомъ дѣлѣ они ничѣмъ почти отъ нихъ не отличаются.

Какъ же объяснить это странное явленіе? Отчего же это выходитъ такъ, что органъ, стоящій во главѣ либеральныхъ тенденцій, имѣющій самый обширный кругъ читателей и почитателей и пользующійся немалымъ авторитетомъ и у насъ, и въ Европѣ, именно какъ выразитель русскаго либерализма, такъ странно колеблется, такъ плохо выдерживаетъ свою роль и такъ часто впадаетъ въ тонъ, не имѣющій ничего общаго съ какинъ-либо самымъ скромнымъ либерализмомъ? Или противники „Голоса“—выходятъ правы, когда утверждаютъ, что либерализмъ въ нашей жизни есть явленіе наносное, беспочвенное, не имѣющее ничего соответственнаго условіямъ нашей жизни, поэтому, молъ, если и ничего не стоитъ проводить его à priori, въ видѣ отвлеченныхъ тенденцій, то въ отношеніи къ тому или другому реальному факту, онъ оказывается положительно непримѣнимъ?

Это недоразумѣніе на-дняхъ разрѣшилъ намъ Кошелевъ въ своемъ фельетонѣ, напечатанномъ въ № 337 „Голоса“, и, надо ему отдать справедливость, разрѣшилъ блистательнымъ образомъ. Но произошелъ при этомъ не малый скандалъ: можете себѣ представить, на страницахъ органа, имѣющаго претензію ратовать за либерализмъ во чтобы то ни стало, вдругъ появилась статья, которая совершенно въ униссонъ съ противниками либерализма доказываетъ намъ, какъ дважды два, что либерализмъ, не какъ одна политическая тенденція, а въ практическомъ примѣненіи, въ настоящее время дѣло положительно немислимое. И что замѣчательно—доказываетъ это намъ человекъ, который отъ первой страницы до послѣдней самъ является истиннымъ либераломъ, и доказательства свои строитъ на такихъ основаніяхъ, которыя куда далеко оставляютъ за собою всѣ доказательства въ этомъ родѣ противниковъ. Тѣ основываются обыкновенно на такихъ темныхъ и туманныхъ мистическихъ данныхъ, которыя вамъ приходится брать на вѣру, сомнѣваясь, чтобы и сами господа публицисты имѣли объ этихъ данныхъ какое либо ясное понятіе: то вы имѣете дѣло съ разными самобытностями и принуждены на слово вѣрить господамъ публицистамъ, что они собаку съѣли въ этихъ самобытностяхъ, не допускающихъ либерализма на русской почвѣ, то дѣло идетъ о народномъ міросозерцаніи, и опять таки вамъ предоставляется вѣрить господамъ публицистамъ, что они такъ хорошо знаютъ народъ и его отвращеніе отъ либерализма, что имѣютъ полное право говорить отъ лица народа. Кошелевъ имѣетъ дѣло съ реальными и осязаемыми условіями нашей жизни, и несостоятельность либерализма въ настоящее время основывается именно на этихъ данныхъ.

Только въ началѣ статьи Кошелевъ нѣсколько сбивается съ прямого пути своей аргументаціи и высказываетъ нѣсколько такихъ обветшалыхъ и банальныхъ взглядовъ, которые совершенно не вяжутся съ концомъ статьи и кромѣ того имѣютъ такой общій двусмысленный характеръ, что могутъ быть употреб-

лены противъ какихъ угодно воззрѣній, существующихъ на Руси. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ:

«Отчего-же мы, такъ называемая интеллигенція, хотя тоже русскіе, такъ склонны къ крайностямъ, такъ падши въ нихъ вдаваться? Отчего на пути либерализма мы легко впадаемъ въ утопизмъ, въ западные социализмъ и коммунизмъ, даже въ безсмысленный нигилизмъ? Отчего на пути консерватизма мы считаемъ возможнымъ какъ бы приостановить теченіе солнца, стараемся не только удержать, что есть, но и воскресить умершее; чаемъ даже восстановить крѣпостное право, если и не въ прежнихъ, то въ иныхъ, нѣсколько измѣненныхъ образахъ, упуская изъ вида, что разъ отошедшее въ вѣчность уже не возвращается къ жизни и что власть сильна, только вооруженная современными средствами? Отчего все это такъ происходитъ?»

«Оттого, что мы шли не естественнымъ, постепеннымъ путемъ развитія, соблазнившись плодами уже выработанной на Западѣ цивилизаціи, схватили ея верхушки, сами не положили на нее достаточно своего труда, не вникли въ глубь собственныхъ потребностей, и, ослабленные яркимъ, но чужимъ свѣтомъ, блуждаемъ умомъ, чувствомъ и волею по поверхности обширной области человѣческой дѣятельности, не имѣя, притомъ, возможности откровенно высказывать свои мнѣнія и чувства и умѣрять ихъ прозою жизненнаго опыта. Какъ, при такихъ обстоятельствахъ, не впасть въ крайности и не увлекаться мечтами, даже нелѣпостями?»

Все это давно уже очень и очень многими говорилось, повторялось и навозило глаза, и главное дѣло совершенно напрасно. Не говоримъ уже о томъ, что если послѣдовательно проводить до конца подобнаго рода теоріи, то можно придти къ отрицанію всякаго воспитанія и къ закрытію даже школъ грамотности на томъ основаніи, что статочное-ли дѣло, что въ то время какъ человѣчество цѣлыя тысячелѣтія употребило, чтобы додуматься до азбуки и таблички умноженія, дѣтямъ нашимъ сразу все это дается въ какіе-нибудь два три года; не правильнѣе-ли каждому изъ нихъ предоставить самимъ самостоятельно и постепенно продѣлывать всю эту вѣковую работу человечества. Но, главное дѣло, здѣсь отрицаются не однѣ только крайности, но и самый умѣренный либерализмъ: вѣдь онъ составляетъ продуктъ Запада и дался намъ безъ всякаго вѣковаго труда. Но мы оставимъ въ сторонѣ эти обветшалыя отрывки 40-хъ годовъ,—тѣмъ болѣе, что далѣе въ своей статьѣ авторъ выходитъ на прямую дорогу, и оказывается, что не одна легкость усвоенія продуктовъ западной цивилизаціи, а и самыя условія нашей русской жизни роковымъ путемъ ведутъ русскихъ людей къ тѣмъ или другимъ крайностямъ.

И въ самомъ дѣлѣ, что такое тотъ умѣренный либерализмъ, о которомъ идетъ въ настоящемъ случаѣ рѣчь? Какую опору долженъ онъ имѣть въ жизни и какія условія могутъ способствовать его процвѣтанію?

Возьмемъ Францію 30 и 40-хъ годовъ, именно такую эпоху, когда либерализмъ мало того что процвѣталъ, но и былъ господствующею партіею въ государствѣ. Что такое были всѣ эти либералы, составлявшіе большинство палатъ, занимавшіе министерскія мѣста и царствовавшіе на биржахъ?

Прежде всего—это были люди, имѣвшіе всѣ шансы быть вполне довольными современнымъ положеніемъ.

нѣмъ страны и не желать ничего лучшаго. Свобода эксплуатировать богатства страны въ какія-нибудь 20 лѣтъ сдѣлала то, что и земледѣліе, и промышленность достигли такихъ колоссальныхъ успѣховъ, о какихъ не снилось отцамъ и дѣдамъ. Изъ обнищавшей, запустѣлой и обанкротившейся страны, Франція обратилась въ богатѣйшее государство въ мірѣ. Очень понятно, что люди, въ рукахъ которыхъ находились всѣ эти богатства, начали дорожить тѣми учрежденіями, подъ охраною которыхъ богатства эти такъ быстро создались. Не было поэтому ни малѣйшаго противорѣчія въ томъ, что либералы эти проявлялись въ тоже время самыми рьяными консерваторами: они охраняли то, чѣмъ пользовались, что было въ ихъ рукахъ, охраняли настоящее, или лучше сказать — свою, набитую золотомъ, кошелю. Эта кошелю и была точкою ихъ опоры во всѣхъ аргументаціяхъ: легитимисты могли только краснѣть отъ стыда, когда они показывали имъ на современное процвѣтаніе страны въ сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ была Франція прежде; радикаламъ они возражали, что отъ добра добра не ищутъ, и пугали, что господство ихъ поведетъ къ анархіи, къ паденію цивилизаціи и, вѣстѣ съ тѣмъ, къ новому варварству и обнищанію. Если они стремились все болѣе и болѣе подчинить своей власти правительству, то дѣлали это вовсе не на основаніи какихъ-либо отвлеченныхъ политическихъ теорій, а чисто изъ личнаго эгоизма, единственно заботясь о томъ, чтобы правительство не могло преслѣдовать никакихъ такихъ цѣлей, которыя мѣшали бы имъ еще болѣе накоплять богатства.

Если бы у насъ либерализмъ могъ имѣть подобнаго же рода точку опоры, то Кошелевъ, конечно, не замедлилъ бы публицистамъ Москвы представить рядъ доводовъ совершенно въ такомъ-же родѣ, въ какомъ западные либералы представляли своимъ де-Местрамъ, т. е. вотъ что мы были прежде при крѣпостномъ правѣ, закрытыхъ судахъ, откупахъ и т. п., и вотъ что мы стали теперь. Посмотрите-же, какую картину современнаго положенія дѣлъ развертываетъ передъ нами Кошелевъ.

«Вездѣ застои и уныніе. Замѣчательно, что не чужды такого настроенія люди даже въ тѣхъ сферахъ, гдѣ всего болѣе отстаиваютъ существующіе сдѣлы и не порядки, то способы дѣйствія: и тутъ сознаютъ необходимость исправить, измѣнить и то, и другое, и третье—почти все.

«Крестьянское самоуправленіе идетъ какъ нельзя хуже. Въ первые годы по освобожденіи крестьянъ, они было взялись за это дѣло недурно; но теперь крестьянское «самоуправленіе» стало словомъ почти безсмысленнымъ. Къ этому присоединились неурожай, истощеніе почвы, участившіеся, вслѣдствіе большаго движенія людей, скотскіе падежи, умножившіеся пожары, поджоги, всякаго рода воровства, полицейскія взысканія податей; наконецъ, съ горя посѣщаемые кабаки—окончательно ввергли крестьянство въ страшную бѣдность, безнравственность, почти въ отчаяніе.

«Дворяне-землевладѣльцы находятся въ положеніи, немного лучшемъ, чѣмъ крестьяне. Земли ихъ почти всѣ въ залогѣ въ разныхъ земельныхъ банкахъ; неурожай, скотскіе падежи, пожары, поджоги, воровства и проч. не минуютъ и этого отдѣла сельскаго населенія; хищенія со стороны управляющихъ и неисполненіе условій рабочими — факты ежедневные. Вдобавокъ ко всему этому, те-

перь съ особеннымъ усердіемъ занимаются розыскомъ людей «неблагонадежныхъ». Стоитъ вамъ выписывать много газетъ и журналовъ, посвящать время чтенію и не ве-ти общаго провинціальнаго образа жизни—вы непременно становитесь предметомъ «бдительности». Понятно, что, при такихъ обстоятельствахъ, бывшіе помѣщики бѣгутъ изъ деревни и ищутъ гдѣ-нибудь пріютиться на казенной, компанейской и, по необходимости, даже на земской службѣ. Въ послѣднія пятнадцать лѣтъ, интеллигентное деревенское населеніе значительно уменьшилось, — едва половина, едва треть изъ него теперь осталась въ уѣздахъ. Вслѣдствіе этого, и земское самоуправленіе, и мировой судъ значительно ухудшились; собранія избирателей стали очень малочисленны; избранные гласные едва собираются въ законномъ числѣ на земскія, даже очередныя, собранія; а если и собираются, то черезъ нѣсколько дней разбѣгаются, и дѣла откладываются. Да и къ чему съѣзжаться, работать и тѣмъ, пожалуй, навлекать на себя подозрѣніе въ «неблагонадежности»? Смиѣты къмъ и какъ-нибудь утвердятся, дѣла управомъ разрѣшатся, а обсуждать, вырабатывать и отправлять... ходатайства о мѣстныхъ нуждахъ — это трудъ бесполезный, совершенно непроизводительный... Что же касается мирового суда, то въ послѣдніе годы, по недостатку лицъ, живущихъ въ деревнѣ и имѣющихъ установленный, весьма высокій имущественный цензъ, онъ едва замѣщается и отправляетъ дѣла съ явнымъ, все болѣе и болѣе усиливающеюся небрежностью.

«Въ городахъ уѣздныхъ, губернскихъ и даже столичныхъ житье-бытье обставлено немного лучше: каждый изъ нихъ имѣетъ свои неудобства и неприятности. Уѣздные города пусты, безжизненны, и одинъ служащій по необходимости обитаетъ въ нихъ; даже купцы и мѣщане, если только могутъ, переселяются въ города высшаго ранга; на родинѣ нѣсколько удерживаетъ ихъ только возможность кулачествовать и въ мутной водѣ рыбу ловить. Губернскіе города, кромѣ университетскихъ, немногимъ чѣмъ лучше уѣздныхъ: конечно, клубы нѣсколько многочисленнѣе; бываютъ спектакли и концерты; но общественной жизни вообще такъ мало, и ее нѣсколько оживляетъ развѣ одинъ разъ въ годъ состоявшееся очередное земское собраніе. Пребываніе въ городѣ начальника губерніи бываетъ обыкновенно въ двухъ видахъ. Если губернаторъ человѣкъ энергичный, не сдерживающій своего произвола, врагъ земства и новыхъ судовъ, дѣйствующій по рецептамъ проповѣдниковъ «сильной власти»—бѣги изъ губернскаго города и изъ губерніи, потому что все, несогласное съ мнѣніями, желаніями и требованіями начальства, истолковывается, какъ дѣйствія человѣка «неблагонадежнаго», и подвергается ихъ виновника разнымъ неприятностямъ со стороны полиціи. Къ счастью, такихъ губернаторовъ немного, и даже тѣ, которые пріѣзжаютъ съ такими «похвальными намѣреніями и правилами», очеловѣчиваются и потомъ остаются только исправными бюрократами. Если же губернаторы, какъ большая часть изъ нихъ, суть обыкновенные чиновники—они хлопчатъ объ очисткѣ бумажныхъ нумеровъ и о томъ, чтобы была возможность доносить, что «все обстоитъ благополучно». Но въ этомъ случаѣ бѣги изъ губерніи, потому что тогда начальства ограничиваютъ свою дѣятельность полученіемъ и отправкою бумагъ, а воровства, грабежи и проч. не знаютъ границъ, и безтолочь и неурядица въ дѣлахъ полная. О столицахъ много говорить нѣтъ надобности: нынѣшнія въ нихъ жизни всѣмъ слишкомъ извѣстна или по личному опыту, или по словамъ людей, въ нихъ живущихъ. Слухи «о разныхъ государственныхъ комбинаціяхъ», съ большою быстротою и рвеніемъ распространяемые въ обществѣ; самыя разнообразныя, часто другъ другу противорѣчащія сужденія о дневныхъ собы-

тіяхъ, странныя, даже нехѣпныя ожиданія и опасенія; скука, тоска и общее уныніе—вотъ отличительныя черты нынѣшняго житія-бытія въ столицахъ. Выгодно ли такое положеніе вообще для Россіи, для власти и для гражданъ? Не толкаетъ ли, не гонитъ ли оно людей въ крайности...

Вотъ какими красками рисуетъ Кошелевъ современное положеніе дѣлѣ. Мы не будемъ говорить о томъ, что по прочтеніи подобной картины, — и „Московскія Вѣдомости“, и „Новое Время“, и „Минута“, и даже, пожалуй, „Недѣля“ могли-бы однимъ залпомъ выпасть: „вотъ до чего, о джелибералы, довели насъ ваши излюбленные реформы по западнымъ образцамъ!“ Допустимъ, что они этого не вскричатъ, потому что имѣютъ наклонность видѣть современное положеніе вещей болѣе въ розовомъ свѣтѣ, чѣмъ въ такомъ мрачномъ, въ какомъ представляетъ намъ его Кошелевъ. Но, во всякомъ случаѣ, что-же дѣлать нашимъ либераламъ при такомъ положеніи вещей? И оказывается, по словамъ Кошелева, что рѣшительно нечего дѣлать, что нѣтъ имъ возможности оставаться даже скромными и разсудительно-трезвыми людьми какого-нибудь маленькаго дѣльца.

«Знавали мы, говоритъ онъ, людей крайнихъ мнѣній, пылкаго характера, алкавшихъ все преобразовательной дѣятельности; но какъ скоро они посвящали себя какому-нибудь положительному занятію—сельскому хозяйству, должности мирового судьи или члена земской управы, государственной или даже компанейской службѣ и проч.—тотчасъ они измѣнялись и становились болѣе или менѣе умѣренными и разсудительными. Если нѣкоторые изъ нихъ впоследствии возвращались къ прежнимъ мнѣніямъ и стремленіямъ, причины тому были разныя, отъ нихъ независяшія обстоятельства—или совершенная невозможность спокойно и безопасно жить въ деревнѣ, или несправедливости по службѣ, или какія-нибудь другія причины. Дѣльное и производительное занятіе всего вѣрнѣе и дѣйствительнѣе осаживаетъ и успокаиваетъ людей; а мы такого именно занятія и лишены. Мечемся туда и сюда, съ жаромъ ухватываемся за дѣло, но встрѣчаемъ затрудненія, не изъ него прямо исходящія, а совершенно дѣлу постороннія и, притомъ такія, которыя требуютъ не усиленной дѣятельности, не особенныхъ какихъ-нибудь нравственныхъ напряженій, а, напротивъ, или подчиненія незаконнымъ требованіямъ, или угожденія, или обхода существующихъ законовъ, или другихъ, достоинство человека роняющихъ уступокъ».

И такъ, оказывается, по словамъ Кошелева, что даже сельскимъ хозяйствомъ или компанейской службой (даже, какъ говоритъ Кошелевъ въ другомъ мѣстѣ своего фельетона, пушкой въ винтъ и пожарищемъ кулебяки съ осетриной) нельзя нынѣ заниматься, не утрачивая своего человѣческаго достоинства и невольно, въ силу обстоятельствъ, не пересаливая и не ударяясь въ какую-либо крайность. Что-же остается дѣлать нашимъ разсудительнымъ либераламъ? Надѣяться, что въ одинъ прекрасный день вдругъ къ намъ съ неба свалится какое-то мистическое и мнѣческое оживленіе, котораго чаесть Кошелевъ въ концѣ статьи? Но нынѣ не вѣкъ чудесъ, и ничего не снидетъ съ небесныхъ высотъ на голову Кошелева, кроме дождя или снѣга.

Въ томъ-то и дѣло, что бываютъ въ исторіи такіе моменты, въ которые, въ силу фатальныхъ обстоятельствъ и неумолимой логики событій, возможны бываютъ лишь двѣ партіи, два противныя и борющіяся между собою теченія, какъ два полюса магнита, какъ тезъ и антитезъ гегелевской философіи, и между ними немислимо никакое среднее, промежуточное направленіе. И это зависитъ вовсе не отъ легкости усвоенія нами западныхъ продуктовъ, какъ думаетъ Кошелевъ въ началѣ своей статьи, а отъ тѣхъ роковыхъ условій, какія онъ выставляетъ въ концѣ. И въ жизни западныхъ народовъ, которымъ, по словамъ Кошелева, давалось все не иначе, какъ вѣковыми опытами, мы могли-бы указать подобныя-же моменты, въ которые вся жизненная борьба сосредоточивалась въ какихъ-либо двухъ крайнихъ историческихъ теченіяхъ; средняя, промежуточная направленія мысли играли въ такіе моменты самую жалкую роль, и люди, проповѣдывавшіе ихъ, представляли собою плясуну, балансирующую по канату безъ всякой надежной точки опоры и баланса и тщетно старающихся удержаться прямо, въ то время, какъ сила тяжести такъ и тянетъ ихъ то вправо, то влево.

Послѣ этого понятны и всѣ тѣ противорѣчія, вся та вопіющая несплѣдовательность мысли, обнаруживаемыя нашими либеральными органами. Кошелевъ произнесъ приговоръ тому самому „Голосу“, на страницахъ котораго напечатанъ его фельетонъ. Конечно, ничего не стоитъ содрудникамъ этой почтенной газеты въ своихъ ежедневныхъ передовыхъ статьяхъ, пишущихся среди полного затишья и одуряющей скуки, царящей повсюду, жевать и пережевывать тертые и перетертые либеральные трюизмы, но вдругъ жизнь нарушается какими-нибудь выдающимися скандаломъ, и каждый разъ приходится терять голову: „Голосъ“ въ такихъ случаяхъ то вдругъ краснѣетъ, и тогда на него сыпется цѣлый градъ московскихъ перуновъ, инсинуаций, каръ; московская пресса торжествуетъ, доказывая, что либеральная надпольная пресса ничѣмъ не отличается отъ радикальной подпольной. То наоборотъ, „Голосъ“ блѣднѣетъ, самъ впадаетъ въ тонъ московской прессы, глядитъ на обсуждаемый фактъ совершенно такими-же глазами, какъ и всѣ московскіе публицисты, взятые вмѣстѣ, и тогда полемика съ почвы принциповъ, переходитъ на почву взаимныхъ киваній другъ на друга: „Московскія Вѣдомости“ говорятъ: „это вы, либералы, расплодили подобныя мерзости“, а „Голосъ“ отвѣчаетъ имъ: „нѣтъ, эти мерзости печальный плодъ вашего мракобѣсія!“

Да, Кошелевъ тысячу разъ правъ, и не въ бровь, а въ самый глазъ колетъ всѣхъ своихъ единомышленниковъ, когда говоритъ: „Мы и страшные прогрессисты, и такіе-же ретрограды; мы и братолюбивы до самозабвенія, и своекорыстны до жестокости, и вслѣдствіе того, у насъ въ людяхъ, въ обществѣ и въ учрежденіяхъ (слѣдовало-бы прибавить: и въ либеральныхъ органахъ нашихъ въ родѣ „Голоса“) — ужасная разногласица, безтолочь, безурядица, чистый сумбуръ“.

Этими словами Кошелева я могу покончить, какъ нельзя лучше, свою настоящую бесѣду съ читателями.

# НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКЪ ДЕРЕВНИ.

«Власть земли», очерки Гл. Успенского.—Сочинения Златовратского, т. II: «Устой, история одной деревни», повесть въ четырехъ частяхъ.

## I.

Съ тѣхъ поръ, какъ Гл. Успенскій и Н. Златовратскій обратили на себя всеобщее вниманіе, какъ двѣ крупнѣйшія силы въ беллетристику 60-хъ годовъ, между ними постоянно усматривался взаимный антагонизмъ, какъ-бы два противоположные полюса воззрѣній на народъ, отрицательный — съ одной стороны, положительный — съ другой. Во многихъ мѣстахъ произведеній этихъ писателей подозрѣвали даже тайную, замаскированную полемику, которую будто-бы они вели между собою, не рѣшаясь по разнымъ обстоятельствамъ открыто выступать другъ противъ друга. Даже и читатели ихъ раздѣлились на два лагеря: поклонниковъ Гл. Успенскаго и Н. Златовратскаго, при чемъ первые обвиняли Златовратскаго въ идеализаціи народа и сентиментальности, а вторые заподозрѣвали Гл. Успенскаго въ чемъ-то въ родѣ скрытаго крѣпостничества.

Правда, писатели эти рѣзко отличаются одинъ отъ другого. Но различіе это далеко не такъ существенно, какъ это кажется. Оно не простирается далѣе художественныхъ фizioномій этихъ двухъ писателей. Въ то время, какъ преобладающею силою таланта Гл. Успенскаго является юморъ, смѣхъ, безпощадно разбивающій всѣ ваши иллюзіи, Н. Златовратскій хотѣ бы разъ улыбнулся: скорбитъ или радуется, онъ постоянно находится въ одномъ и томъ-же нѣсколько восторженномъ настроеніи, которое порою доходитъ у него до эпического пафоса, такъ что даже и слогъ его принимаетъ стихотворный размѣръ, что-то какъ будто въ родѣ гексаметра. Художественный элементъ преобладаетъ у Н. Златовратскаго. Онъ рѣдко впадаетъ въ разсужденія, говоритъ и доказываетъ преимущественно образами; любитъ при этомъ изображать деревенскую природу и въ своихъ ландшафтахъ отличается не малымъ мастерствомъ. Гл. Успенскій является постоянно критикомъ своихъ собственныхъ произведеній, и на полстранички художественныхъ изображеній вы навѣрно найдете у него страницъ пять, а то и десять публицистическихъ разсужденій по поводу этихъ изображеній. Въ то-же время какихъ-либо ландшафтовъ и художественныхъ аксессуаровъ у Гл. Успенскаго вы не ищите; въ этомъ отношеніи онъ самый строгій ригористъ, какіе когда-либо бывали въ беллетристикѣ.

Все это различіа безъ сомнѣнія не маловажныя, и рѣзко бросающіяся въ глаза, они именно и придаютъ этимъ писателямъ видъ двухъ противоположностей. Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ, если вы взглянете пристальнѣе въ содержаніе ихъ произведеній, отъ всего этого антагонизма не останется въ вашемъ представленіи почти ни малѣйшаго слѣда, и вы придете къ убѣжденію, что и представляемые этими писателями

факты народной жизни, и воззрѣнія ихъ на эти факты почти тождественны. И это очень понятно. Какъ-бы ни были различны Гл. Успенскій и Златовратскій по своимъ художественнымъ темпераментамъ, оба они представляются одинаково добросовѣстными наблюдателями и оба наблюдаютъ одинъ и тотъ-же предметъ — народную деревенскую жизнь; понятно, что и видѣть въ этой народной жизни они должны одни и тѣ же явленія. А такъ какъ оба они люди одного вѣка, одного образованія, то и воззрѣнія ихъ на эти явленія не могутъ представлять существенной разницы.

Чтобы вполне удостовѣриться въ этомъ, возьмемъ „Власть земли“ Гл. Успенскаго и нѣкоторые другіе соприкасающіеся съ нею очерки его, а съ другой стороны „Устой“ Н. Златовратскаго, какъ произведеніе, наиболѣе полно и всесторонне выражающее воззрѣнія автора на народную жизнь.

## II.

По мнѣнію Гл. Успенскаго, бытъ и нравственность крестьянина опредѣляются не какими-либо отвлеченными идеями, выработанными разумомъ и сознательно проводимыми въ жизни, а стихійными силами природы, таготеющими надъ крестьянскимъ трудомъ и опредѣляющими всю его жизнь и все его міросозерцаніе. Это и есть то, что называетъ Гл. Успенскій *властью земли*.

«Тайна эта, — говоритъ Гл. Успенскій, — по истинѣ огромная, и думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ и терпѣлива, и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душою, мужественно сильна и дѣтски кротка, словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за искупленіемъ душевныхъ мукъ — до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ царитъ *власть земли*, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ *невозможность* ослушанія ея *повелѣній*, покуда они напояняютъ его существованіе... Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ крестьянина, добейтесь, чтобы онъ забылъ «крестьянство», и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустаго человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь. «Иди, куда хошь»...»

«У земледѣльца, — говоритъ ниже Гл. Успенскій, — нѣтъ шага, нѣтъ поступка, нѣтъ совѣсти, которые бы принадлежали не землѣ. Онъ весь въ кабалѣ у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону изъ-подъ этого ига власти, что когда ему говорятъ: «Чего ты хочешь — тюрьмы или розогъ?», то онъ всегда предпочитаетъ быть высѣченнымъ, предпочитаетъ перенести физическую муку, чтобы только сейчасъ же быть свободнымъ, потому что хозяинъ его, земля,



не дожидается: нужно косить, сѣно нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вотъ въ этой-то ежеминутной зависимости, въ этой-то массѣ тяготы, подъ которой человекъ самъ по себѣ не можетъ и пошевелиться,—тутъ-то и лежитъ та необыкновенная *ленивость* существованія, благодаря которой Селяниновичъ могъ сказать: «меня любить мать сыра земля». И точно любить: она забрала его въ руки безъ остатка, всего цѣликомъ, но за то онъ и не *отстаетъ* ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ *велитъ* его хозяйка-земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человека, который увелъ у него лошадь—и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступить къ землѣ; у него перемерли всѣ дѣти—онъ опять невиноватъ: не родила земля, нечѣмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену—невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, черезъ нее стало дѣло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, не ждетъ. Словомъ, если только онъ слушаетъ того, что велитъ ему земля, онъ ни въ чемъ невиновенъ; а главное, какое счастье не выдумывать себѣ жизни, не разыскивать себѣ интересовъ и ощущений, когда они сами приходятъ къ тебѣ каждый день, едва только открылъ глаза! Дождь на дворѣ—долженъ сидѣть дома, ведро—долженъ идти косить, жать и т. д. Ни за что не *отстаетъ*, ничего не *придумывая*, человекъ живетъ только *слушая*, и это ежеминутное, ежесекундное послушаніе, превращенное въ ежеминутный трудъ, и образуетъ *жизнь*, не имѣющую, повидимому, никакого результата (что выработаютъ, то и съядятъ), но имѣющую результатъ, именно, въ самой себѣ. Для чего растеть этотъ дубъ? какая ему польза сто лѣтъ тянуть изъ земли соки? Что ему за интересъ каждый годъ покрываться листьями, потомъ терять ихъ и, въ концѣ концовъ, кормить желудками свиней? Вся польза и интересъ жизни этого дуба именно въ томъ и заключается, что онъ *просто растетъ*, просто зеленеетъ, такъ, самъ не зная, зачѣмъ. Тоже самое и жизнь крестьянина-земледѣльца: вѣковѣчный трудъ—это и есть жизнь и интересъ жизни, а результатъ—*ноль*.

Но не только крестьянинъ въ своей личной, семейной жизни приравнивается Гл. Успенскимъ къ типу чисто растительной жизни, но и общественная жизнь его оказывается созданною не имъ самимъ, а той-же властью земли.

«Если вы поймаете галку, говорить Пигасовъ въ разсказѣ «Безъ своей воли»,—и рассмотрите всю ея организацію, то вы поразитесь, какъ она удивительно умно устроена, какъ много ума положено въ ея организацію, какъ все соразмѣрено, пригнано одно къ одному, нѣтъ нигдѣ ни лишняго пера, ни угла, ни линіи ненужной, негармоничной и не строго обдуманной. Но чей тутъ дѣйствовалъ умъ? Чья воля? Неужели вы все это припишете галкѣ? Вѣдь тогда любая галка—геніальнѣйшее существо, необъятный умъ? Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, въ высшей степени гармоническія явленія народного быта приписываютъ народному уму, и тогда онъ кажется необъятнымъ.... А между тѣмъ, эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человекъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ.... Несподвижными путями предудказано, чтобы кобыленка по веснѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаютъ «пучить», и, въ концѣ концовъ, получается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ миллионы разъ умнѣе и лучше, и талантливѣе выдуманнаго человекомъ локомотива, но появляется безъ собственной воли, устраивается и принимаетъ формы и строеніе безъ собственного ума, а такъ.... И народная жизнь, въ огромномъ большинствѣ са-

мыхъ величественнѣйшихъ явленій, удивительна, гармонична, красива, *просто такъ*».

Общественные порядки, поражающіе изслѣдователей въ крестьянскомъ быту, Гл. Успенскій усматриваетъ и въ рыбьемъ царствѣ:

«Даже у стерлядей,—говоритъ онъ во «Власти земли»,—по свидѣтельству рыболововъ, существуютъ «десятники», которые посылаются стерлядинымъ обществомъ искать мѣста для метанія икры. Волжская рыба—сазанъ, тоже живущая своими сельскими обществами, имѣетъ выборныхъ, и ходяковъ, и депутатовъ; они обыкновенно идутъ впереди «общества», и, подойдя къ заколу, которые ставятъ рыбники поперекъ рѣкъ, начинаютъ пробовать крѣпость его носомъ, потомъ налегаютъ бокомъ, потомъ пробуютъ перепрыгнуть; когда все это не удается, то депутаты возвращаются и докладываютъ обществу; мирской сазанъ сходитъ съ страшной стремительностью устремляется на заколѣ и ударяетъ въ него своимъ коллективнымъ рыломъ. Многие погибаютъ на смерть, а другіе проскальзываютъ въ брешь и спасаются....»

Одинъ словомъ, и въ общественномъ отношеніи крестьянскій миръ, то, что называется «община», представляетъ собою чисто зоологическій типъ, нѣчто въ родѣ пчелинаго улья или муравейника.

Безъ сомнѣнія подобное отрицаніе сознанія, воли, ума въ крестьянской жизни должно быть принято условно. Слѣпое повиновеніе власти земли не отрицаетъ, конечно, и дѣйствія ума въ извѣстномъ районѣ. Выборъ въ жены хорошей работницы, равно какъ и выборъ хорошаго дерева для рубки, удачная покупка, ловкій торговый оборотъ при продажѣ овса и т. п.—все это требуетъ соображенія, воли. Наконецъ, для того, чтобы подчиниться власти земли, необходимо было и самую землю подчинить своей власти: выдунать соху, борону, топоръ, приручить животныхъ и т. п. Но и во всѣхъ этихъ несомнѣнныхъ дѣйствіяхъ человѣческаго разума мы видимъ все-таки два обстоятельства: во-первыхъ, работа крестьянскаго ума и возбуждается, и направляется исключительно властью земли, поглощается ею до такой степени, что внѣ района земледѣльческаго труда, умъ совершенно отказывается отъ всякой работы, и здѣсь для крестьянина наступаетъ царство мрака и безсознательности. А во-вторыхъ, что самое главное, въ крестьянскомъ мирѣ традиціонный умъ рѣшительно преобладаетъ надъ личнымъ. Не говоря уже о сложныхъ отношеніяхъ общественныхъ порядковъ, даже и такія элементарныя орудія земледѣльческаго труда, какъ соха, борона, топоръ были изобрѣтены не творческимъ умомъ отдѣльныхъ личностей, а въ теченіе многихъ вѣковъ традиціонной работой тысячъ поколѣній. Традиціонный умъ стремится подчинить въ сельскомъ мирѣ умъ личный не только въ общемъ строѣ быта, но и въ отдѣльныхъ случаяхъ жизни, въ родѣ, напримѣръ, эпидеміи, падежа, пожара и т. п. Пріѣзжаетъ въ село новое начальство съ новыми требованіями, проводится по сосѣдству чугунокъ,—и тутъ крестьянинъ, прежде, чѣмъ пустить въ ходъ творчество личнаго ума, ищетъ указаній въ традиціяхъ, въ какомъ-либо аналогическомъ примѣрѣ отцовъ и дѣдовъ.

Вотъ это-то преобладаніе традиціоннаго ума и сбиваетъ съ толку наблюдателей народной жизни. Вѣдь традиціонный умъ все-таки тотъ же человѣческій ра-

зумъ, да еще собирательный, массовый, непрестанно дѣйствовавшій въ теченіе вѣковъ. Умъ этотъ отражается въ сознаниі каждомъ крестьянина. Мужикъ *сознаетъ, разсуждаетъ*, что поступать такъ, а не иначе, дѣлать, наприимѣръ, поля по равненію, пристроить сироту въ чужую семью, идти міромъ на помощь ко вдовѣ—значить поступать по-Божески, какъ съ поконъ вѣковъ поступали отцы и дѣды, но признавать не значить творить, выдумывать что-либо новое, а сознание крестьянина не идетъ далѣе слѣпago повиновенія традиціи. Традиція же рядомъ съ такими прекрасными вещами, какъ равеніе, помощи и т. п. внушаетъ крестьянину и звѣрскіе поступки, въ родѣ убійства конокрада, насильственного брака по хозяйственнымъ разсчетамъ и т. п. Въ концѣ-концовъ и выходитъ, что крестьянинъ какъ будто и разсуждаетъ, а какъ будто и совѣтъ не разсуждаетъ, а только слѣпо повинуется. Подобное же преобладаніе традиціоннаго ума дѣлаетъ крестьянскій міръ еще болѣе похожимъ на улей или муравейникъ, гдѣ производятся поразительныя вещи, въ свою очередь однимъ слѣпымъ повиновеніемъ традиціоннымъ инстинктамъ.

И нельзя сказать, чтобы, констатируя подобные факты, Гл. Успенскій открывалъ намъ новую Америку. Вѣдь что такое представляетъ собою наша крестьянская община? Это сохранившійся типъ первобытнаго общества. Исторія свидѣтельствуетъ намъ, что всѣ народы начинали съ общиннаго быта. Но этого мало: у всѣхъ народовъ, въ началѣ ихъ исторіи, мы видимъ преобладаніе традиціоннаго ума надъ личнымъ. У всѣхъ народовъ сохраняются мѣны о золотомъ вѣкѣ, когда человекъ былъ чистъ и невиненъ душою, ни о чемъ не заботился, а только слѣпо и кротко повиновался заветамъ отцовъ и дѣдовъ; не было тогда на землѣ ни ссоръ, ни кровопролитій; всѣ люди соединялись въ обществѣ союзъ мира, любви и гармоническаго согласія. Замѣчательно, что рядомъ съ такими преданіями существуютъ другія, совершенно противоположныя, которыя рисуютъ намъ этихъ самыхъ ангеловъ золотаго вѣка хищными, звѣроподобными, кровожадными титанами, окруженными легендарными чудовищами, и въ свою очередь похожими на этихъ чудовищъ. При всей своей противоположности, подобные мѣны одинаково справедливы, основываясь на памяти народовъ о тѣхъ временахъ, когда человекъ, слѣпо повинаясь велѣніямъ природы и традиціи, подобно крестьянину Гл. Успенскаго совершалъ въ одно и тоже время и высокіе подвиги любви и братства, и безчеловѣчныя злодѣйства, былъ и ангеломъ золотого вѣка, и звѣремъ эпохи титановъ.

Освобожденіе личнаго ума изъ-подъ ига традиціи, появленіе на сцену героя и своевольнаго человека,—и есть то, что въ мѣнахъ представляется въ видѣ паденія золотого вѣка. Какъ только дерзкій умъ человека возмущается противъ заветовъ старины, первобытная гармонія золотого вѣка рушится, начинаются смуты, кровопролитія, порабощенія. Однимъ словомъ, началась исторія, но вмѣстѣ съ тѣмъ началось и смилженіе нравовъ—*цивилизациа*; люди перестали быть ангелами золотого вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ перестаютъ быть и звѣрями.

СОЧИНЕНІЯ А. СКАВЧИВОВАГО.—II

### III.

Теперь обратимся къ „Устоямъ“ Златовратскаго. Здѣсь передъ нами исторія одной крестьянской общины— „Волчьего поселка“. Основателемъ ея является Мосей Волкъ, мужикъ, по словамъ автора „идейный“, у котораго вся жизнь была осуществленіемъ „идеи“, и пока онъ ее не выполнялъ, онъ не успокоился. Что же это была за идея? А заключалась она въ томъ, что влюбился Мосей въ молодую, веселую, березовую барскую рошу на спускѣ рѣчки и упрямил барина поставить его въ сторожа къ рошѣ. Когда же онъ „узналъ, что баринъ хочетъ продать рошу, загрузилъ, упалъ на колѣни передъ барининомъ и сталъ просить отпустить его на сторону“, съ тѣмъ, что черезъ пять лѣтъ онъ вернется и купить рошу. Черезъ пять лѣтъ вернулся: сапоги кувшинные, на плечахъ сибирка, бурмистръ его въ передній уголъ сажать. Гдѣ пропадалъ, откуда и какъ нажилъ денегъ, чтобы заплатить барину за рошу, Мосей не любилъ разсказывать.

Безспорно это была „идея“, но идея вполне крестьянская, въ духѣ все той-же „власти земли“. Сколько было потрачено энергіи, принято грѣха на душу,—и все это изъ-за березовой рошцы. Развѣ это не тотъ-же мужикъ Гл. Успенскаго, готовый съ мужествомъ Муція Сцеволы перенести всяческое изнѣзаченіе, лишь-бы сѣно было во время скошено? Это идея пчелиной матки, которая въ выборѣ излюбленнаго мѣстечка для улья, безъ сомнѣнія, въ свою очередь руководствуется своими утилитарными и эстетическими соображеніями. Движимыя наслѣдственными инстинктами, животныя выютъ гнѣзда, ни мало не размышляя, что мѣсто поселенія можетъ быть эксплуатировано другимъ существомъ въ иныхъ цѣляхъ; пчелы устраиваютъ въ дуплѣ стараго дерева улей, не подозревая, что придетъ лѣсникъ и срубитъ это самое дерево. Не лучше поступилъ и Мосей съ своей излюбленной рошцей. Онъ заплатилъ за нее барину деньги и вообразилъ, что этимъ дѣло и покончено; ему и въ голову не пришло, что при крѣпостномъ правѣ крестьянинъ не имѣлъ права купить ни пяди земли у своего барина, такъ какъ и самъ онъ, и вся земля принадлежали помѣщику. Понятно, что послѣ воли излюбленная рошца снова оказалась барскою. Положимъ, что старый баринъ былъ человекъ честный и добрый, помнилъ совершенную продажу и не хотѣлъ обижать мужика, но иная музыка пошла, когда пріѣхала въ имѣніе барыня совѣтъ другаго закала.

Въ незапамятные времена, когда много земли, никому не принадлежавшей, лежало впустѣ, общины выдѣлялись одна изъ другой такимъ-же естественнымъ путемъ, какъ и пчелиныя рои. Переполнится община отъ нароста населенія, сдѣлается тѣсно, являются выселки, и изъ нихъ образуются новыя общины. Такъ образовался и „Волчій поселокъ“. Купивши у барина землю, Мосей ушелъ въ свою излюбленную рошцу, построилъ въ ней малую избу; близъ этой малой избы заустилъ улья, пригласилъ къ себѣ ходить за пчелами старую бабылку „Деклушу“ и „ушелъ отъ жизни“, „отрѣшился“. Семью-же свою,

состоявшую изъ трехъ женатыхъ сыновей и дочери, оставилъ въ „Дергачахъ“ на прежнемъ положеніи, сдѣлавши своимъ сыновьямъ заказъ „не только проситься, ниже помышлять объ отходѣ въ столицы, пока Господь Богъ грѣхамъ терпитъ и голодомъ не гонитъ“, потому что въ столицахъ „грѣха много“. Затѣмъ Мосей, вѣрный своимъ общиннымъ инстинктамъ, явился въ Дергачи на сходъ и заявилъ, что часть прибрѣтенной имъ, вѣстѣ съ рошей, въ пустошахъ пустопорожней земли, прилегавшей къ деревнѣ, онъ отдаетъ въ пользованіе міру, который въ землѣ нуждается, а ему съ ней дѣлать нечего, — и при первомъ же передѣлѣ Мосей самъ сдѣлалъ на свою землю жеребьи и вѣстѣ съ другими вынулъ жеребій для своихъ сыновей.

Но вотъ, въ настоящемъ случаѣ не путемъ естественнаго прироста населенія, а вслѣдствіе внѣшнихъ обстоятельствъ, дергачевская община оказалась въ стѣсненномъ положеніи. Пріѣхала, какъ мы выше говорили, барыня, затѣмъ землемѣръ и, при помощи исправника, ввели въ отношеніяхъ мужиковъ къ баринѣ „порядокъ“ и опредѣленность, которые сразу заявили себя передъ дергачевцами повышеніемъ податей и урѣзаніемъ пользованія землею до 1½ дес. надѣла, въ который оказался врѣзаннымъ даже одинъ клочекъ земли, уступленный Мосеемъ общинѣ. Когда дергачевцы протестовали противъ послѣдняго обстоятельства, имъ сказали, что земля эта барская, такъ какъ Мосей, во время крѣпостнаго права, не смѣлъ покупать землю на свое имя. Дергачевцы только крикнули, а Мосей и совсѣмъ боялся слово пикнуть, чтобы и послѣднюю землю съ рошей не взяли. Между тѣмъ къ этому времени семья Мосей Волка „набрала въ себя большую силу“: съ самимъ Мосеемъ она считала уже 10 душъ, — 5 мужскаго и 5 женскаго пола. Такая огромная семья должна была, конечно, поглощать значительную долю общественныхъ земельныхъ жеребьевъ. Такъ или иначе, нужно было выселиться. Первымъ дѣломъ предстояла настоятельная необходимость поскорѣ „осѣсть“ на свою землю, чтобы хотя фактомъ заселенія укрѣпить ее за собой; а вторымъ дѣломъ, односельцы прямо заявили Мосею, что „какъ-никакъ, а тебѣ съ семьей въ собственники идтить надоть, потому у васъ земля есть своя, а у міра и безъ васъ дѣлать нечего, — разсуди по-божьи“.

И вотъ переселился Мосей въ свою излюбленную рошцу со всѣми своими чадами и домочадцами. Вокругъ этой семьи, поселившейся въ четырехъ избахъ, какъ вокругъ ядра или сердцевины, и начала мало-по-малу наростать новая община, подобно тому, какъ наростали подобныя общины и въ стародавнія времена. Первымъ дѣломъ дергачевскій міръ упростилъ Мосею дозволить переселить на его землю мужика Сатирова Кривого.

За Сатиromъ Кривымъ, и полгода не прошло, дергачевскій міръ опять билъ челомъ Мосею, чтобы онъ взялъ на свою землю вдову-солдатку Сиклетей со безчисленнымъ количествомъ дѣтей. За солдаткой Сиклетеей такимъ-же порядкомъ былъ переселенъ въ Волчій поселокъ старый, сгорбленный заштатный пономарь Θεотимычъ. Затѣмъ самъ-собою пришелъ и поселился неизвѣстный, безродный человекъ, Иванъ

Забутый. И вотъ такимъ образомъ создавалась община, и потекла въ ней та тихая, спокойная, зоологическая жизнь, какая испоконъ вѣковъ текла въ деревенскихъ общинахъ. Началась идиллія золотого вѣка, заставившая дергачевского старосту воскликнуть:

— О, дуй васъ горой! Что это у васъ за жизнь въ выселкѣ! Ей-Богу! Кажись, только денекъ пожилъ бы, тутъ бы и умеръ отъ удовольствія!.. Да ежели здѣсь недовольство можетъ быть, такъ ужъ это, выходитъ, Господа Бога въ конецъ изобличать!.. Да тутъ, други мои, до скончанія вѣка, надъ вами благодать Господня ненарушимо будетъ!..

Но, увы, эпоха золотого вѣка давно миновала, и аркадская идиллія, въ родѣ той, какую представлялъ собою „Волчій поселокъ“, возможна нынѣ лишь какъ мимолетный призракъ, какъ мелькнувшее на одно мгновеніе воспоминаніе о временахъ давно минувшихъ и безвозвратно канувшихъ въ вѣчность. „Какъ ни привлекательна была, — говоритъ Златовратскій, — фантазія Макридія Софроневича, тѣмъ не менѣе, когда прошелъ порывъ всеобщаго „благодушія“, всѣ какъ-то еще яснѣе почувствовали, что на мирную жизнь поселка наплываетъ что-то „новое“, что-то „чуждое“. Въ чемъ состоитъ это „новое“, опредѣлительно сказать никто бы не могъ; только чувствовалось, что въ жизни мужика не бываетъ идилліи, что суровая мужицкая судьба не преминетъ заявить о себѣ.“

#### IV.

Это „новое“, „чуждое“, начавшее наплывать на мирную жизнь поселка, является ни чѣмъ инымъ, какъ именно пробужденіемъ личности человѣческой, стремленіемъ ея освободиться отъ традиціонно-стихійнаго прозябанія, однимъ словомъ, здѣсь мы видимъ то-же самое явленіе, какое характеризуетъ собою паденіе всѣхъ золотыхъ вѣковъ, какіе только бывали въ исторіи.

Начать съ того, что вся эта идиллія только и могла имѣть мѣсто въ тѣ незапамятныя времена, когда земли было много, а людей мало, и дергачевцамъ ничего не стоило выселять на новыя мѣста всѣхъ несостоятельныхъ членовъ общества въ родѣ Сатировъ кривыхъ или Сиклетей. Но и въ тѣ времена, стоило произойти какой-нибудь неурядицѣ, бѣдствію въ родѣ болѣзни и смерти большака въ страдную пору, — и гармонія нарушалась — являлось неравенство, — съ одной стороны голытьба, обнищавшіе, отбившіеся отъ ржаного поля бобыли, съ другой — богачи-мірофды. Правда, въ то время люди богатѣли и бѣднѣли только отъ земли и землею, какъ выражается Гл. Успенскій въ своей „Власти земли“. Счастье, такая то удача, равно и неудача были земледѣльческія; понятно было богатство, понятна бѣдность, и никто ни передъ кѣмъ не былъ виноватъ. Но и тогда уже люди разбогатѣвшіе выдѣлялись изъ темной массы, какъ представители умственной силы, старались жить своимъ умомъ, не только не подчиняясь міру съ его зоологической традиціей, но сами при случаѣ пытались подчинить міръ своей непреклонной волѣ; и тогда уже они порою совсѣмъ отрѣшались отъ міра и уходили въ города.

Но нарушение традиционной гармонии и выделение личности получили еще больше места в последнее время, послѣ освобождения крестьянъ, когда всѣ стародавнія условія земледѣльческаго быта нарушились, и выѣстъ съ тѣмъ въ крестьянскій міръ нахлынула масса новыхъ, чуждыхъ элементовъ въ видѣ даровыхъ наживъ всякаго рода, городскихъ нравовъ и воззрѣній. Въ то время, какъ дергачевцы получили въ надѣлъ всего по полъ-десятины, въ среду этихъ нищенскихъ надѣловъ затесались новые собственники, пошла черезполосица, поземельныя отношенія достигли страшной, невообразимой путаницы, начались переделы, „судьбища“, все это, само по себѣ разорявшее дергачевскій міръ, сопровождалось потоками мірскихъ попокъ, приводившихъ къ еще большему разоренію да еще спивавую другъ друга. При такихъ условіяхъ мірское дѣло со всѣмъ его традиционнымъ ритуаломъ перестало внушать къ себѣ въ дергачевцахъ священное уваженіе; напротивъ того, оно сдѣлалось тяжестью, на него начали посматривать съ презрѣніемъ и враждебностью, какъ на агломератъ общественной неурядицы и отсутствіе всякой правды. Люди „умственные“ начали сторониться отъ него, повторяя слова Св. Писанія: „блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ“. Понятно, что тутъ-то и началось выделение личнаго элемента уже не спорадическими случаями, а какъ эпидемія.

Н. Н. Златовратскій приводитъ намъ нѣсколько формъ выделения личнаго начала. Таковъ, напримеръ, типъ Сысоя Строгаго. У Строгаго была здоровая, „желѣзная“ натура и здоровый мозгъ. Этотъ мозгъ, во-первыхъ, хотѣлъ мыслить, во-вторыхъ—мыслить самостоятельно. Онъ былъ одиночка и женился на дочери богатаго мужика. Когда тестъ умеръ, къ нему перешла мельница. Они были бездѣтны, для полевыхъ работъ по лѣтамъ они держали или работника, или работницу. Мельница давала имъ такое обезпеченіе, что ни самъ Строгій, ни его жена никогда не чувствовали необходимости „тянуть изъ себя жилы“, а работали столько, сколько требовалось это общимъ складомъ деревенскаго труда. Самъ Строгій постоянно былъ на мельницѣ, въ особенности по осени; помощниковъ себѣ въ этомъ дѣлѣ онъ не любилъ. Напротивъ, онъ любилъ даже хвалиться тѣмъ, что одинъ всю мельницу правилъ. За-то по зимамъ и весной онъ пользовался извѣстнымъ досугомъ. Въ это время его начинали одолевать разные вопросы—и вотъ онъ пускался за поисками „умственного человека и умственной бесѣды“, ѣхалъ къ попу, дякону, писарю, учителю, раскольничьему начетчику, а въ городѣ у него завелось знакомство съ однимъ казеннымъ, некрупнымъ чиновникомъ. Впрочемъ, во всѣмъ этимъ лицамъ Строгій не выказывалъ ни особой любви, ни особаго довѣрія. Всѣхъ ихъ опредѣлялъ онъ однимъ словомъ: „труха“. Въ этомъ понятіи соединялъ онъ всѣ качества этихъ людей: легковѣсность, непостоянство, разладъ дѣла и слова и крайнюю умственную ишманину. Въ свою очередь, всѣ эти „умственные“ люди звали Строгаго „меланхолей“, хотя въ немъ похожаго на настоящую меланхолію и слѣда не было. „Меланхолей“, по ихъ мнѣнію, была та умственная „блажь“, которая одолевала Строгаго. А

эта „блажь“ имѣла результатомъ то, что Строгій неожиданно пришелъ къ слѣдующему выводу: „надо быть справедливымъ, потому—всѣ виноваты. А всему причиной вино: и тотъ виноватъ, кто пьетъ, и тотъ, кто пить даетъ“. И вотъ, когда пришли къ Строгому о Рождествѣ и причтѣ, и писарь, и учитель, то водки нѣтъ, къ изумленію гостей, онъ не подалъ, а сталъ говорить о возвышенныхъ предметахъ. Затѣмъ, послѣдовательно развивая свою „меланхолію“ и подъ ея давленіемъ, онъ выработалъ совершенно своеобразныя взгляды на весь деревенскій обиходъ. Прежде всего онъ вдругъ пересталъ ходить въ церковь: когда начиналась служба, онъ надѣвалъ свой новый синий кафтанъ, выходилъ на задъ своей избы, становился на холмъ, и здѣсь, молясь на сверкавшій на солнцѣ крестъ колокольни, выстанывалъ всю обѣдню.

Затѣмъ началъ Строгій отрѣшаться и отъ мірскихъ дѣлъ и пересталъ участвовать въ „мірскихъ чаяхъ“, въ „мірскихъ четвертяхъ и полуведрахъ“. „Не товарищъ,—говорилъ онъ,—пушай безъ меня опаиваютъ народъ—то, съ вами здѣсь не споешься, а споешься“ и т. п. Тогда родные начали совѣтовать ему уходить въ городъ или въ монастырь; онъ и самъ началъ думать объ отъѣздѣ въ городъ. „Меланхолія“ его развивалась въ какой-то тупой индифферентизмъ ко всему. Чѣмъ больше обѣдствовали дергачевцы, чѣмъ больше запутывались они въ какія-то клейкія, но не уловимыя и тонкія паутины „мірскихъ дѣлъ“, тѣмъ Строгій все больше и больше уходилъ отъ „міра“.

„Замежуетесь и не размежуетесь во вѣки вѣковъ“, говорилъ онъ и бросилъ обрабатывать свой надѣлъ, передалъ его въ аренду своему сосѣду, чтобы окончательно отойти отъ міра. Мужики на это совѣтъ осердились и стали Строгаго донимать систематически, начали навязывать ему различныя общественныя должности. Тогда онъ совсѣмъ рѣшился уѣхать въ городъ и записаться тамъ въ вѣщане.

Рядомъ съ типомъ Строгаго стоитъ передъ нами другой типъ отрѣшенія отъ міра въ видѣ сына Пимана, Бориса. Еще при крѣпостномъ правѣ, когда Борисъ былъ мальчикомъ, отцу-Пиману какинь-то образомъ удалось научить своего сына грамотѣ, и вотъ онъ билъ челомъ барину, желая избавить сына отъ очереди, чтобы баринъ взялъ Бориса въ контору. Баринъ согласился, паренѣ ему понравился; и въ деревнѣ составилось тогда-же мнѣніе, что Борисъ „пойдетъ теперь далеко“, что онъ при своемъ умѣ „барина самаго завертитъ“, и пророчество это сбылось: умный, но не столько пронычательный, сколько талантливый и бойкій, Пимановъ сынъ „пошелъ далеко“: черезъ два года онъ уже вполне сдѣлался довѣреннымъ доброго барина, а еще черезъ два года, едва ему минуло двадцать семь лѣтъ, вся Вальковщина была въ его рукахъ; и не только Вальковщина трепетала передъ нимъ, передъ нимъ трепеталъ самъ управляющій и даже управляющіе и бурмистры сосѣднихъ помѣстій. Онъ не былъ ни на сторонѣ богатыхъ, ни на сторонѣ бѣдныхъ, не грабилъ ни мужиковъ, ни барина; если былъ иногда суровъ, то былъ также неограниченно и щедръ, милостивъ и справедливъ. Вальковщина стала приносить барину неслыханные прежде доходы. Борисъ вдругъ поднялъ на ноги всю тысяче-

душную, мирно прозябавшую цѣлый вѣкъ Вальковщину. Цѣлыми сотнями, не разбирая богатыхъ и бѣдныхъ, гонялъ Борисъ народъ на работы: то заведетъ по всѣмъ деревнямъ общественныя запашки, — и въ одинъ въ два дня громадные стоги сѣна и скирды хлѣба уже стояли на поляхъ; то согонитъ народъ въ лѣсъ, и цѣлыя вереницы воевъ потянутся изъ него съ хворостомъ, буреломомъ, сучьями, прежде гнившими безъ толку; то цѣлые мѣсяцы заставлялъ всю Вальковщину стоять по поясъ въ водѣ, въ болотѣ, копая канавы на протяженіи пяти верстъ, заставляя тоже дѣлать всѣ сосѣднія помѣстья, грозя затопить ихъ луга и поля, спустивши воду съ своихъ болотъ. Вѣчно веселый, бодрый, Борисъ съ какими-то запоемъ отдавался этой дѣятельности. Онъ страстно любилъ смотрѣть, какъ эти толпы, покорныя одному его слову, поднимали невѣроятныя труды и въ одинъ-два дня совершали такіе дѣла, какихъ хватилъ-бы на цѣлые десятки лѣтъ. Онъ чувствовалъ одно, что отданная въ его руки тысячедушная масса сама выносила его на какую-то высоту, гдѣ закруживалась голова. Онъ самъ весь захлебывался этой массовой поэзіей. Денегъ — не грабилъ, не припрятывалъ, — онъ не зналъ ниъ счета: послѣ каждого новаго предпріятія скоплялось у него ихъ столько; что онъ могъ отдавать ихъ также безъ счета барину, какъ безъ счета бралъ себѣ самъ. Борисъ завелъ любовницъ, тройку лошадей, тарантасъ, посадилъ на козлы ящика съ павлиньимъ перомъ въ плисовой безрукавкѣ и рыскалъ по сосѣднимъ селамъ и городамъ, ухорскій, беззавѣтный, встрѣчаемый всюду съ изумленіемъ и невольнымъ страхомъ и уваженіемъ. Добрый баринъ гордился даже хвалился на дворянскихъ выборахъ „своимъ министромъ“ ... Вся Вальковщина все больше и больше начинала ощущать одно — ужасъ, страхъ непонятный, гнетущій передъ какой-то силой, перепутавшей всѣ вѣками установленныя, опредѣленныя отношенія. Наконецъ Вальковщина рѣшилась бить барину челомъ: „Убери, ваша милость, убери его отъ насъ!.. Боялись мы его... Жить не стало отъ страха!..“ взмолились всѣ въ одинъ голосъ.

— Чѣмъ-же мы виноваты?.. Коли бояться, значитъ есть за что, проговорилъ на спросъ барина Борисъ и улынулся.

Баринъ внимательно взглянулъ ему въ лицо. — А! Теперь я знаю... въ чѣмъ ты виноватъ! сказалъ онъ, и къ изумленію всей Вальковщины и даже сосѣднихъ помѣщиковъ и крестьянъ, добрый баринъ, ратовавшій за освобожденіе, выскъ своего собственного бурмистра... Говорили, что баринъ на другой-же день раскаялся за невольный порывъ гнѣва и думалъ-было наградить Бориса, но Бориса уже не было въ Дергачахъ: онъ бѣжалъ изъ нихъ съ женою и дѣтьми.

«Спусти лѣтъ пять или шесть, когда уже не было въ живыхъ ни стараго барина, ни прежнихъ порядковъ, Борисъ вернулся въ Дергачи въ красной рубахѣ, въ плисовой поддевкѣ и штанахъ, сдѣлавшійся старше, серьезнѣе. Отдѣлился отъ родныхъ, выстроилъ избу на удивленіе всей Вальковщинѣ, но крестьянскаго хозяйства не заводилъ, а къ Рождеству неожиданно забилъ окна избы тесинами, — и снова исчезъ изъ Дергачей съ женою и съ сыномъ. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе десяти лѣтъ, онъ разъ пять по прежнему неожиданно являлся въ свою

запѣсневѣлую избу, — то съ женою и сыномъ, то съ однимъ сыномъ, — расколачивалъ окна, — и вотъ вся изба вдругъ наполнялась шумомъ, весельемъ и гамомъ. Отецъ и сынъ въ плисовыхъ шароварахъ, казакиныхъ и кумачевыхъ рубахахъ ходили по деревенскимъ улицамъ, грязя орѣхи, угощаясь и угощая народъ по кабакамъ и у себя въ избѣ; если дѣло было зимой, они закупали статнаго жеребца со всей сбруей и санями; рыскали по всей Вальковщинѣ, изумляя ея мирныхъ обывателей, и пускали, что называется, пыль въ глаза всей дергачевской знати. Послѣ мѣсячнаго кутежа, лошадей и сбрую спускались опять за безпѣнокъ, — и странная семья исчезала года на два. Много, конечно, ходило о Борисѣ разсказовъ по Вальковщинѣ, иногда невѣроятныхъ; болѣе правдоподобны были тѣ, которые повѣствовало о томъ, что встрѣчали Бориса то въ Астрахани, откупавшимъ огромные рыбныя участки, собиравшаго артель до 200—300 человекъ рыбаковъ; то видѣли его подъ Самарой, вытаскивавшего потонувшій пароходъ; то сплавляваго цѣлые «караваны» съ хлѣбомъ, и все это непрѣменно во главѣ огромной массы рабочаго народа, — который опять стогнали въ лапы отца съ сыномъ словно какія-то невидимыя силы... А отецъ съ сыномъ ухорски и беззавѣтно царилъ надъ нею... Часто послѣ одной изъ такихъ «операций» въ ихъ рукахъ скоплялись огромныя суммы денегъ. Тогда Борисъ распускалъ эти массы, пропойвъ на нихъ чуть не половину денегъ и возвращаясь доканчивать съ другою половиною въ родные Дергачи».

Оба эти типа, какъ Строгій, такъ и Борисъ, не представляютъ въ сущности ничего новаго собою; это — два вида порвоначальнаго, элементарнаго, такъ сказать, выдѣленія личнаго начала, и вы можете встрѣтить ихъ во всѣ времена русской исторіи. Строгіе населили русскіе города и были родоначальники всѣхъ купеческихъ родовъ, какіе только существуютъ на Руси, Борисы породили массу удалыхъ головъ, начиная съ новгородскихъ ушкуйниковъ и понизовой вольницы и кончая атаманами разбойничьихъ шаекъ и героями „Мертваго дома“ Достоевскаго.

Совершенно въ иномъ видѣ представляется третій типъ выдѣленія личнаго начала, представителемъ котораго является Петръ Вонифатьевичъ Волкъ, внукъ Мосея, главный герой „Устоевъ“ Н. Златовратскаго. Это типъ совершенно уже новый, небывалый доселѣ въ дергачевской жизни. Онъ не отрѣшается отъ „міра“, не дѣлается чуждымъ элементомъ, а стремится встать во главѣ своихъ односельчанъ, внести въ жизнь ихъ новыя начала „умственности“, сознанія своего человѣческаго достоинства. Это въ своемъ родѣ герой времени, которымъ дергачевцы гордятся, отъ котораго ждутъ спасенія, и онъ сознаетъ свое призваніе спасти дергачевскій міръ и весь живетъ этимъ сознаніемъ. Вотъ этими-то героями мы теперь и займемся.

## V.

Когда Петръ былъ еще мальчикомъ и жилъ у отца въ Волчьемъ поселкѣ, у него былъ другъ Филаретка, мальчикъ грамотный и большой любитель книгъ, получившій изъ разсказовъ своего отца, стараго дворянина, очень радужное представление о нравахъ ученыхъ и благородныхъ людей. Оболбистельно рисовалъ онъ Петру всю прелесть „пинжака“ и знанія законовъ, которые непрѣменно защитятъ ихъ и ихъ отцовъ, и братьевъ, и дядьевъ отъ всякихъ „прижи-

моекъ", колотушекъ, обидъ. Но Филаретка былъ натура увлекающаяся, легко мѣнялъ предметы своего увлеченія и скоро утѣшался въ несбыточныхъ мечтахъ. Не то былъ Петръ. Онъ слушалъ Филаретку и молчалъ, смотря на него изподлобья своими пытливыми карими глазами. Самолюбивый и недовѣрчивый, онъ рѣдко дѣлился своими мыслями даже съ Филареткой. Но что разъ западало въ его душу, то утрамбовывалось въ ней плнтою. И въ отношеніи къ ближнимъ они были различны: Филаретка былъ вообще добродушный, любящій; когда обижали деревню—ему было *жалеко*, Петру—было *стыдно*. Филаретка соболѣзновалъ и плакалъ объ обиженныхъ и негодовалъ противъ притѣснителей, грозя имъ въ будущемъ „пинжакомъ“ и „законами“. Петръ негодовалъ и на тѣхъ, и на другихъ, — и на притѣсняемыхъ, пожалуй, больше, чѣмъ на притѣснителей; за притѣсняемыхъ онъ *стыдился*, краснѣлъ за ихъ „рукосуиство“, безотвѣтность, приниженность и за этого *стыдъ* онъ платилъ имъ почти презрѣніемъ, хотя и готовъ былъ выгнать обиду за нихъ на притѣснителей.

Впослѣдствіи Петръ подпалъ подъ вліяніе своего крестнаго отца Строгаго, который взялъ крестника къ себѣ въ городъ и потомъ 16-ти лѣтъ отвезъ его въ Москву, гдѣ пристроилъ подручнымъ мальчикомъ при фирмѣ торговаго дома Башмаковыхъ и К°. И вотъ, живя въ Москвѣ, въ подвальномъ этажѣ, въ артели своихъ земляковъ, съ длинными нарами, съ тараканами, съ запахомъ капусты, прѣли, чернаго хлѣба и полусубковъ, съ коренастыми и горластыми мужиками въ сятцевыхъ рубахахъ и посконныхъ штанахъ, нѣкогда мечтавшій въ деревнѣ о прелестяхъ столичнаго „благороднаго обхожденія“, съ завистью смотрѣлъ Петръ на тѣхъ изъ своихъ сослуживцевъ, которые успѣли завестись „отдѣльными помѣщеніями съ небелью“, жили по одному или по двое, въ тихой, благородной бесѣдѣ распивали собственные чаи изъ собственныхъ сервизовъ. И какъ было пріятно ему, когда приглашали его въ свою „тихую, степенную, благородную бесѣду за собственными сервизами“ его сослуживцы, когда чистота, опрятность маленькаго „отдѣльнаго помѣщенія“ съ цвѣтами на окнахъ, съ гитарой, съ платаннымъ шкафомъ, съ стариннымъ маленькимъ диваномъ, съ половиками у двери, съ вымытымъ на-чисто поломъ, охватывали все его существо...

Но вотъ прикопилъ онъ деньжонокъ и получилъ возможность нанять „отдѣльную комнатку съ небелью“. Съ большою все-таки нерѣшительностью остановился онъ у подъѣзда квартиры, гдѣ отдавалась такая комнатка въ „благородномъ семействѣ“. — Не жирно ли будетъ? — повторилъ онъ про себя, смущенный этою надписью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ припомнились ему и часто повторявшіяся слова его крестнаго, Еремея Строгаго: „Не люди мы, что ли!“ и онъ рѣшился позвонить къ „благородному семейству“.

Благородное семейство Ивана Степановича Дрекалова, въ которое попалъ Петръ, было, по словамъ автора, „одною изъ тѣхъ широко распространенныхъ на Руси современныхъ семей, отличительной чертой которыхъ является полнѣйшая эфемерность существованія: ни назадъ, ни впередъ, ни въ настоящемъ нѣтъ

у этихъ семей ничего такого, про что они могли бы сказать: „да вотъ это *наше* было — и будетъ; за это *свое* мы дажемъ костями; это *свое* не уступимъ, не продадимъ во вѣки, хоть бы пришлось изъ-за этого страдать“. Одно, только одно у нихъ есть *свое*, это — страшная жажда бездѣятельнаго покоя и созерцательной лѣни, за которую они готовы кривить душой, пять разъ продать себя, унижаться, плутовать, лишь бы гарантировать себѣ это право безпечальнаго индифферентнаго существованія“.

Тѣмъ не менѣе люди эти были нѣсколько обвѣяны новымъ духомъ времени. Вокругъ двухъ дочерей Дрекалова группировалась молодежь въ видѣ денежныхъ студентовъ, сибиряковъ и грузинскихъ князей, молодыхъ актеровъ, писателей и т. п. На вечеринкахъ у нихъ то раздавались „возвышенныя“, полныя благороднаго, молодого увлеченія рѣчи, то слышался шопотъ, искренній и умоляющій, зовущій куда-то въ золотую страну высокихъ помысловъ и думъ, то пѣлись „Дубинushка“, „Gaudeamus“.

Петра вся эта молодежь встрѣтила съ распростертыми объятіями, какъ „любопытный экземпляръ“, „сына народа“, „дѣтя деревни“, „непосредственную натуру“ и т. п. Начались развиванія, лекціи. Петръ, не смотря на свою замкнутость, скоро сблизился съ молодыми друзьями. „Онъ вдругъ почувствовалъ какую-то свободу, какъ будто его выпустили изъ какой-то клѣтки, или онъ самъ прозрѣлъ, что клѣтка вовсе не была такъ неразрушима, какъ ему казалось... Всѣ эти „баре“, „ученые“ — какіе простые, добрые люди! И отчего это прежде онъ чувствовалъ къ нимъ такое недовѣріе, даже страхъ, отчего „слияніе“ съ ними прежде казалось ему такъ невозможнымъ? И что же въ нихъ такого, чего бы стоило бояться? Это все деревня виновата, невѣжественная деревня, которая наболтала про нихъ Богъ знаетъ что“. И Петръ дошелъ до такого довѣрія къ новымъ друзьямъ, что отдалъ Дрекалову на сохраненіе скопленные 200 рублей.

Друзья же, не довольствуясь одними своими легковѣсными лекціями, свели Петра къ нѣкому Пугаеву, полоумному сектанту, создавшему какую-то „новую религію нравственнаго возрожденія человечества“, и при всѣхъ своихъ разглагольствованіяхъ объ этомъ „нравственномъ возрожденіи“, о „просіяніи“, отличавшемся большою нечистоплотностью и разгильдяйствомъ въ своей личной жизни. Пугаевъ сначала затуманилъ Петра своими мистико-философскими и историческими параллелями, а затѣмъ, когда послѣ очень шумно проведенныхъ Святотѣхъ, онъ пришелъ къ философу, чтобы разсѣять туманъ сомнѣній и услышать „хорошее слово“, Пугаевъ оgoroшилъ его слѣдующими рѣчами:

— Юноша, что васъ привело сюда, въ городъ? Что отняло васъ отъ родной земли, отъ благодатной почвы, отъ сохи и бороны? Чья святотатственная рука бросила васъ въ эту коптильню разврата, лжи, лицемерія? Я знаю, я знаю, что мнѣ отвѣтить. Мнѣ отвѣтить: здѣсь умъ, знаніе, богатство, сила, цивилизація, право... Пустыня, громкія слова! Печальное, горькое заблужденіе! Это несчастнѣйшіе, безумнѣйшіе люди! Ихъ терзаетъ вѣчная жажда неудовлетворенія, тоски, и чѣмъ больше стараются они залить въ себѣ огонь этой жажды, тѣмъ сильнѣе и



сильнѣе она загорается... Знаешь ли, юноша, что вотъ мы,—мы ученые, образованные, богатые, сильные, мы проклинаемъ свою жизнь, мы мученики нашего ума, мы несчастные страдальцы, бѣжимъ изъ городовъ къ *самъ*, туда къ твоимъ терпѣливымъ, смиреннымъ и сильнымъ отцамъ и дѣдамъ. Да, вотъ гдѣ мы хотимъ найти нравственное успокоеніе для себя, миръ для своей души, любовь для сердца и истинныхъ воспитателей нашихъ дѣтей» и т. п.

Эти рѣчи Пугаева были до такой степени неожиданны для Петра, что произвели впечатлѣніе испуга. Онъ вдругъ почувствовалъ, что у него изъ-подъ ногъ начинаетъ исчезать почва. „Что это такое?.. Вдругъ на все, что съ самыхъ юныхъ лѣтъ онъ понималъ ясно, опредѣленно, во что вѣрилъ беззаветно, на чемъ покоились его смутныя, но возвышавшія и оживлявшія его надежды и упованія, вдругъ на этотъ свѣточъ, такъ ярко озарившій его собственную душу, на этотъ свѣтильникъ, осмысливавшій передъ нимъ всю сложную жизненную процедуру и освѣщавшій ему твердый, прямой путь, вдругъ на этотъ свѣточъ дунули—и онъ потухъ“...

Петръ бросился было въ дергачевскую артель, но тамъ наткнулся на безобразнѣйшую сцену пьяной потасовки и полицейской расправы. Кинулся онъ къ Дрекаловымъ, но и тамъ было не до него: онъ встрѣтилъ пошлѣйшее сватовство одной изъ барышень съ господиномъ сомнительной репутаціи, когда-то сброшеннымъ съ лѣстницы торговаго дома Башмаковыхъ. Онъ сразу почувствовалъ себя чужимъ, лишнимъ, въ которомъ болѣе не нуждались и поспѣшили указать ему надлежащее мѣсто въ „благородномъ семействѣ“. Онъ захворалъ послѣ всѣхъ этихъ потрясеній, и Θεодось было строго наказано не подавать барской посуды Петру: боялись заразы отъ больного мужика, „который могъ, Богъ знаетъ что, принести съ собою“. Онъ потребовалъ своихъ денегъ, и послѣдовала дикая сцена, закончившаяся тѣмъ, что Петръ подрался съ женихомъ, попалъ въ кутузку и былъ приговоренъ къ тремъ днямъ ареста при полиціи за буйство... Смирено, не говоря ни слова въ оправданіе, выслушалъ онъ постановленіе, но подъ видимымъ смиреніемъ за тайл въ душѣ своей тайную, глубокую злобу ко всѣмъ, ко всѣмъ имъ...

И вотъ послѣ всѣхъ этихъ мытарствъ возвратился онъ въ Волчій поселокъ, совершенно переродившимся, новымъ человекомъ деревни, не имѣвшимъ ничего общаго съ своими земляками, рѣзко отличавшимся отъ нихъ по самой своей внѣшности.

Едва показался онъ въ деревнѣ, какъ уже успѣлъ съ достоинствомъ обрѣзавъ высокомерную наглость мѣстнаго кулака Маркова, на благородную дистанцію поставить отъ себя мѣстнаго землевладѣльца и адвоката Кораната Львовича съ его фамильярнымъ залѣзаниемъ въ душу мужика и отдалить отъ себя Филаретушку съ его наивною болтливостью и простоватостью. Идеалы, которые принесъ онъ съ собою въ деревню, были весьма немногочисленны: это было поставленіе выше всего, съ одной стороны, „умственности“ въ отличіе отъ пассивнаго разгильдяйства и темноты людей традиціонной рутинѣ, съ другой—сознанія личнаго достоинства въ противность смиренію и приниженію. На каждомъ шагѣ у него такъ и

срывались съ языка фразы въ родѣ: „Умному человеку вездѣ хорошо, а дуракамъ и въ столицѣ плохо!“ „Умному человеку вездѣ ходъ!..“ Въ то-же время, на слова тетюшки Ульяны, которой онъ привезъ въ подарокъ шаль, что „куда намъ, старикамъ эти формсы“, онъ отвѣчалъ:

— Я такъ полагаю, тетенька, что пора бросить смиренство-то да приниженіе... Тоже и мы люди! Чѣмъ мы другихъ хуже! Нужно тоже и свою гордость имѣть!...—и сказавши это, Петръ весь вспыхнулъ.

Но съ особенною ясностью высказались эти идеалы въ его разговорѣ съ двумя дергачевцами, которые пришли въ Волчій поселокъ посмотрѣть на пріѣзжаго изъ столицы паренька, облекшись, по осеннему времени, въ валеные сапоги и полшубки, и забавлялись тѣмъ, что, какъ малыя ребята, „баловались“, сидя на землѣ и перетягивая другъ друга за палку.

«Петръ давно ужъ замѣтилъ мирную компанію, но когда онъ разглядѣлъ, чѣмъ эта мирная компанія занималась, ему вдругъ стало ужасно стыдно. Ему хотѣлось обойти ихъ, отвести мимо и своего пріятеля, москвича, но обойти было нельзя. Притомъ-же его примѣтилъ и таявшійся за палку бородатый дергачевецъ, бывшій замѣтно навеселѣ.

— Петру Вонифантычу! Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались! закричалъ онъ ему на встрѣчу.— А мы вотъ не утерпѣли... Самы явились. Полюбопытствовать, выходить,—прибавилъ онъ,—когда подошелъ Петръ.

— Интереснаго мало, проворчалъ Петръ.

— Помилуйте... Какъ, можно-съ! Вѣдь у насъ такіе люди на рѣдкость! Столичное поведеніе, такъ скажемъ... Совсѣмъ, значить, особая статья...

— На палкѣ не тагаемся—это вѣрно! опять отрывисто замѣтилъ Петръ.

— Ну, вотъ, вотъ! Какъ есть! Вѣдь это наше дурацкое поведеніе. Почему что какъ лѣсовые дураки, выходить! заговорилъ задѣтый за живое дергачевецъ.

— А онъ, братцы, у насъ изъ дѣловыхъ, иронически замѣтилъ другой дергачевецъ:—не даромъ съ москвичемъ-то друженъ... не успѣлъ роднымъ честь сдѣлать, да ужъ и за дѣло.

— Въ дѣлѣ грѣха нѣтъ...

— По коммерческой части, продолжалъ рыжебородый дергачевецъ:—смотрите, какъ-бы и васъ заживо не запродали, подмигнувъ онъ дядькамъ.

— Ни о чемъ не думая, скорѣй себя запродашь, а умный человекъ еще другихъ закупитъ, отвѣчалъ Петръ, лихорадочно постукивая себя пальцами по борту кафтана и стоя въ полъ-оборота къ присутствовавшимъ.

— Такъ, такъ... Неравно продавать будете, такъ спросить не забудьте. Можетъ кто и не согласится еще!

— Отъ счастья люди не отказываются.

— Какъ знать? Мы вѣдь деревенскіе дураки! Можемъ, по глупости и счастья не признаемъ...

— Случается. Подъ носомъ не видать. До старости по боямъ ходятъ, на палкахъ таянутся, на птицу охотятся. А тѣмъ временемъ на спинахъ-то горбы вырастаютъ, а на этихъ горбахъ только лѣнивый не катается. Други да пріятели послѣ самими-же въ глаза нахохочутъ! А тамъ, малое время года, фиглярить начнемъ! За рюмку водки хоть наплой въ ликъ-то Божій...

«Петръ говорилъ, ни на кого не смотря, и только блескъ его глядѣвшихъ сердито изъ подлбья глазъ, да порывистыя движенія руки по борту кафтана давали его волненіе.

— Такъ, такъ! подтвердилъ дергачевецъ: это, братъ, что вѣрно, то вѣрно! Эту самую нашу судьбу рас-

писалъ ты чудесно... А съ прїѣздомъ, братъ, поправляться надо-бы! прибавилъ онъ, утеревъ бороду.  
— Этой безхарактерностью мы не занимаемся! круто закончилъ Петръ и, замѣтивъ подходящихъ отца и москвича, зашагалъ къ своей избѣ.

## VI.

Не правда-ли, въ какомъ непривлекательномъ видѣ рисуется передъ нами фигура этого новаго человека деревни? Тѣмъ не менѣе, Петръ является однимъ изъ героев, которыхъ можно немало встрѣтить въ европейской исторіи. Постоянно, когда въ темныхъ массахъ являлось стремленіе къ освобожденію личности изъ-подъ ига традицій и пробуждалось чувство человѣческаго достоинства, являлись на сцену подобные мрачные, надменные герои, равно озлобленные и противъ возвысившейся культуры, и противъ приниженныхъ массъ, во имя идеала „умственности“ готовые отрицать и своихъ, и чужихъ. Но хуже всего было въ этихъ герояхъ то, что одностороннее стремленіе освободить личность и даровать ей безграничный просторъ приводило ихъ къ отрицанію въ старыхъ порядкахъ не только отжившаго и гнилого, но и живого, здороваго, составлявшаго корни самого существованія. Этимъ именно людямъ Европа обязана тѣмъ, что въ продолженіе послѣднихъ 200 лѣтъ, во имя царства разума и освобожденія личности отъ средне-вѣковыхъ традицій были искоренены послѣдніе остатки общиннаго быта въ земледѣльческихъ классахъ.

Такимъ-же прямолинейнымъ, одностороннимъ и слѣпымъ отрицателемъ является и Петръ по отношенію къ своей деревнѣ. Ему-то и обязанъ былъ Волчій поселокъ уничтоженіемъ своей идилліи. Первымъ дѣломъ его „умственности“ было поправить ошибку Мосея и закрѣпить за собою купчею крѣпостью Волчій поселокъ. Купивши его снова у законной владѣлицы и сдѣлавшись настоящимъ владѣльцемъ дѣдовскихъ земель, Петръ потребовалъ, чтобы поселкомъ владѣли одни его родные, а всѣхъ чужихъ и пришлыхъ, начиная съ Сатиры и кончая Иваномъ Забытымъ, чтобы и духу не было. „Какія земли-то вокругъ насъ, — развивалъ онъ картину новой жизни въ Волчьемъ поселкѣ передъ Строгимъ, — приволье! А ежели-бы Господь далъ собрать ихъ въ однѣ-то руки, къ одному мѣсту—это-ли-бы разоренье было? Въ барскомъ-бы домѣ всѣ сообща поселились, фундаменты подъ него подвели-бы, крыши желѣзомъ вывели, скотные дворы-бы открыли... А тамъ, глядишь, пошли бы по Окѣ наши барки... Сами-бы провожать ихъ стали, вплоть до Рыбинска! Флаги распустишь! Каюты съ рѣзбой! Лоцмана въ кумачевыхъ рубахахъ! А дядя-бы дома были, каждый при своей части. А тетки на скотномъ дворѣ пусть хозяйничаютъ съ сестренкой. Зятя умственного въ домъ введемъ“.

Но дядя и тетки, вѣрные своимъ традиціоннымъ, общиннымъ порядкамъ, всѣ возстали противъ такихъ „умственныхъ“ нововведеній Петра, потребовали раздѣла, началась разорительная тяжба, которая кончилась тѣмъ, что Петръ одинъ съ отцомъ сдѣлался владѣльцемъ Волчьяго поселка, а всѣ родные его вновь поселились въ Дергачахъ, отказавшись отъ всѣхъ его предложеній и проклявши его.

Но не смотря на то, что вѣрные хранители дѣдовскихъ устоевъ отшатнулись отъ Петра, слава и популярность его все болѣе и болѣе росли въ дергачевскомъ мірѣ. Послѣ-же того, какъ онъ приобрѣлъ заброшенную барскую усадьбу, обзавелся хозяйствомъ, сошелся съ „хозяйственными“ мужиками и женился на дочери Пимана, Аннушкѣ, онъ забралъ такую силу, что тестя его Пимана избрали волостнымъ старшиною; но настоящимъ заправителемъ волости сдѣлался Петръ въ качествѣ волостнаго писаря. И тутъ онъ далъ разгуляться своей „умственности“ на полной волюшкѣ. Во имя своего прямолинейнаго идеала, онъ оказался необузданнымъ и безжалостнымъ деспотомъ, какого не видали мужики со времени барства. Несчастнымъ, свихнувшимся бѣднякамъ, запьянствовавшимъ и разорившимся, не было отъ него никакой пощады; по слухамъ, онъ даже сбѣгъ ихъ. Онъ дошелъ до такой дерзости, что землю, которую онъ „высудилъ“ для міра при помощи непремѣннаго члена Валентина Петровича, онъ не далъ дѣлить по прежнему и дѣлать равненіе, а захотѣлъ разбить ее на участки, давать во временное пользованіе только „настоящимъ“ хозяйственнымъ мужикамъ. Тогда въ Вальковщинѣ поднялось волненіе: противъ Петра встала чернота и бѣднота подъ предводительствомъ Бориса. Къ чернотѣ присоединились всѣ старинные люди-общинники. Прежніе кулаки-грабители, сначала было сробѣвшіе, теперь подняли голову и черезъ Бориса вошли въ союзъ съ чернотой, начали поить ее водкою. Строгость Петра перешла тогда всѣ границы. Набросился онъ съ кулаками даже на отца, когда тотъ заявилъ что хочетъ жениться на бѣдной солдаткѣ, у которой трое дѣтей и съ которой онъ живетъ уже давно. Его не могли при этомъ остановить ни жена, ни Пиманъ, ни его работникъ — и только, когда бѣдная солдатка крикнула: „Ахъ ты безстыжій, безстыжій... Мы думали, онъ человекъ, а онъ какъ мужикъ дерется!“ — Петръ умирислся.

Наконецъ, возмущенный „продажной“, какъ онъ называлъ, чернотой, вошедшей въ союзъ съ грабителями, Петръ присталъ къ Пиману съ требованіемъ, чтобы тотъ выхлопоталъ мірской приговоръ о ссылкѣ сына своего Бориса въ Сибирь. Собравшійся волостной сходъ вызвалъ на объясненіе Пимана и Петра; Пимана обругали „старымъ дуракомъ“, но ничего отъ него не добились. Петръ-же, когда ему передали вызовъ на мірской судъ, сказалъ, что еще не было видно, чтобы судъ дураковъ умныхъ людей судилъ. Сходъ жаловался въ уѣздное присутствіе. Услыхавъ объ этомъ, Петръ обозвалъ весь міръ „дураками“, и пораженный поднявшейся общей безтолочью, въ которой онъ не понималъ, какъ разобраться, отказался отъ дѣла и самовольно уѣхалъ въ Москву...

## VII.

Если-бы наша жизнь шла тѣми-же путями, какъ и жизнь Европы, то впередъ можно было-бы предугадать, къ какимъ печальнымъ результатамъ могли-бы привести ее „умственные люди“ въ родѣ Петра. Освободивши личность отъ средне-вѣковыхъ традицій во имя царства разума, т. е. той-же „умственности“

Петра, западно-европейскіе герои оставили ее одинокою и безпомощною въ омутѣ жизни, лишенною какихъ-бы то ни было нравственныхъ и матеріальныхъ устоевъ. Въ концѣ-концовъ, удививши міръ чудесами умственности и хозяйственности, разнузданная и потерянная личность тщетно ищетъ опоры и съ отчаяніемъ оглядывается на тѣ золотые вѣка, когда она была сыта и нравственно дисциплинирована подъ властью земли. И вотъ, на сцену односторонней, черствой правды надменныхъ героев „умственности“, выступаетъ опять на сцену старая, здоровая правда власти земли, но уже не въ прежнемъ зоологическо-традиціонномъ видѣ, а освѣщенная свѣтомъ разума, — и разнузданная личность жаждетъ вновь подчиниться авторитету этой правды, подобно тому, какъ блудный сынъ ищетъ пути къ родительскому дому.

Наши культурные классы представляютъ собою совершенно такое-же явленіе разнузданной и потерявшейся личности, какъ и въ Западной Европѣ, съ тою еще разницею, что тамъ освободившаяся личность все-таки можетъ указать на тѣ успѣхи цивилизации и промышленности, какими ознаменовалось XIX столѣтіе, а у насъ и этого нѣтъ. Съ уничтоженіемъ крѣпостного права, которое одно только доставляло культурной личности матеріальную поддержку и видѣтъ съ тѣмъ вкладывало жизнь ея въ извѣстныя традиціонныя рамки, — личность увидала себя въ состояніи полного банкротства и матеріальнаго, и нравственнаго. Что такое Дрекаловы съ ихъ страшнымъ эфемернымъ существованіемъ сегодня на 200 р., данныхъ имъ на сохраненіе мужикомъ-жильцомъ, завтра чуть-что не на фальшивые векселя, — какъ не наглядный примѣръ, до какого отчаяннаго положенія дошла культурная личность. Этихъ и объясняются всѣ тѣ хаотическія безалаберныя шатанія, какія-только замѣчались въ последнее время въ интеллигентной средѣ: и мистическое сектаторство въ великосвѣтскихъ кругахъ, и попытка заняться земледѣльческимъ трудомъ, все, вплоть до эпидеміи самоубійствъ, являющихся прямымъ результатомъ отчаянія, вслѣдствіе потерянности и безпомощности культурной личности. А съ другой стороны, изъ этого-же вытекаетъ и то чуть-ли не религіозное поклоненіе, которое не одни Пугаевы, а вся наша литература высказываетъ по отношенію къ деревенской общинѣ. Возьмите вы хотя бы того-же самого Златовратскаго съ его „Устоями“. Чѣмъ-же объяснить этотъ восторженный пафосъ, эти гекзаметры, какъ не скорбью души по утраченному раю? Изъ подъ каждой строки Н. Златовратскаго проглядываетъ томительная, скорбная зависть безпомощной личности, одинокой и потерянной въ толпѣ подобныхъ-же личностей, разнузданныхъ и несвязанныхъ никакою солидарностью интересовъ. Такихъ об-

разомъ, въ нашей жизни мы видимъ два совершенно противоположныхъ теченія: въ средѣ народа — стремленіе къ обособленію личности и возвышенію ея надъ зоологическою непосредственностью, въ интеллигентной средѣ, наоборотъ, стремленіе къ обузданію личности и новому разумному дисциплинированію ея. Въ то время, какъ Петръ въ своемъ „умственномъ“ протестѣ противъ зоологической глупости и рутинности дергачевцевъ готовъ всю цѣпь дергачевского міра разбейти на отдѣльныя звенья, при чемъ выбросить и, если можно, совсѣмъ искоренить половину негодныхъ звеньевъ, Пугаевы, наоборотъ, только и мечтаютъ о томъ, какъ-бы связать эту цѣпь навѣки нерушимо разумною связью, да и самимъ какъ-нибудь прицѣпиться къ этой цѣпи. Которое изъ этихъ двухъ теченій побѣдитъ, отъ этого конечно зависить все наше будущее. Въ „Устояхъ“ Н. Златовратскаго побѣждаетъ пока узкая правда Петра. Лиза Дрекалова, сдѣлавшись учительницей сельской школы въ Дергачахъ, встрѣчается съ Петромъ въ качествѣ попечителя школы, и напрасно старается она уничтожить обаяніе, какое Петръ производитъ на ея учениковъ: они чуть не молятся на Петра, какъ на новаго героя деревни.

«Вы вѣроятно ожидали, что встрѣча моя съ Петромъ, — пишетъ она къ Пугаеву, — не обошлась безъ какого-нибудь чрезвычайнаго столкновенія... Нѣтъ, ничего больше не было; ни я, ни онъ мы не сказали другъ другу ни слова, не глядѣли одинъ на другого... И тѣмъ не менѣе, добрый мой, состояніе совершилось. И бѣдное сердце вашей бѣдной Лизы разбито и развѣяно по вѣтру, какъ дымъ, все, во имя чего она пришла сюда. И побѣдилъ ее здѣсь тотъ «смѣшной волченокъ», тотъ «хорошій паренекъ», которымъ она когда-то такъ игриво играла и забавлялась. И ничто не спасло ея здѣсь. Что такое она, со своей любовью, со своей жертвой, со своими больными и тревожными думами передъ этимъ смиреннымъ, добродушнымъ, робкимъ старикомъ, попавшимъ за «міръ» въ острогъ, и передъ этимъ низенькимъ, худощавымъ, полуграмотнымъ молодымъ «умственнымъ» мужикомъ, который до чего-то самъ дошелъ своимъ умомъ? За ними стоитъ все, а за мною?..»

Положимъ, что по одной Лизѣ съ ея тщедушною, хилою, чахоточной натурою и эфемернымъ воспитаніемъ трудно судить о побѣдѣ той или другой правды. Положимъ, что и черствая, односторонняя правда Петра во многомъ зависить отъ того, что въ своемъ соприкосновеніи съ интеллигентною средою онъ не встрѣтилъ никого лучше и состоятельнѣе Дрекаловыхъ и Пугаева. Если-бы вся интеллигенція поголовно исчерпывалась подобными личностями, конечно, Петру только и оставалось, что, дѣйствуя своимъ умомъ, идти по старой европейской дорогѣ. Но такъ-ли это?



1885—1887.

## МЫСЛИ И ЗАМѢТКИ ПО ПОВОДУ НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИХЪ ИДЕЙ

гр. Л. Толстого.

### I.

ПО ПОВОДУ КНИГИ М. С. ГРОМЕКИ.

„Послѣднія произведенія гр. Л. Н. Толстого, критическіе этюды М. С. Громеки; Москва 1885 года“.

### I.

Книга эта распадается на двѣ части, отличающіяся одна отъ другой и по содержанію, и по формѣ. Первая часть заключаетъ въ себѣ критическій разборъ романа „Анна Каренина“. Во второй—въ диалогической формѣ бесѣды Громеки съ Левинымъ—излагаются философскія воззрѣнія гр. Л. Толстого послѣдняго времени. Понятно, что главный интересъ книги заключается во второй ея части. Что-же касается до первой, то критика „Анны Карениной“, представляя нѣсколько хорошихъ мѣстъ въ видѣ характеристикъ разныхъ дѣйствующихъ лицъ, въ цѣломъ стоитъ на ложныхъ основаніяхъ, и мы не можемъ согласиться съ нею.

По нашему мнѣнію, при разборѣ „Анны Карениной“, надо строго разграничивать художественную и философскую стороны романа. Въ художественномъ отношеніи онъ представляется, безспорно, однимъ изъ тѣхъ великихъ произведеній, которыя, подобно трагедіямъ Шекспира, каждый вѣкъ будетъ по своему анализировать, толковать и открывать въ нихъ новыя, невидимыя нами стороны и перспективы. Философская-же сторона романа—самая слабая, потому что гр. Толстой находился во время писанія своего произведенія въ переходномъ состояніи, не успѣвши уяснить себѣ многое, что ему удалось уяснить впоследствии.

Поэтому, во взглядахъ автора, выразившихся въ романѣ, встрѣчается масса противорѣчій и туманныхъ неопредѣленностей, и понятно, что самъ гр. Л. Толстой впоследствии высказывалъ недовольство своимъ романомъ.

Между тѣмъ Громека буквально придерживается туманныхъ воззрѣній романа и при томъ весь свой анализъ основываетъ на эпитафій его: „Мнѣ отищеніе и Азъ воздамъ“, и это придаетъ критикѣ несвойственный ей теологическій характеръ, да къ тому-же еще нѣчто ветхозавѣтное, жестокосердое. Громека смѣется надъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ (стр. 61), который, сіяя звѣздами и яснымъ лицомъ, кроткимъ голосомъ возражалъ ему и говорилъ, что безнравственная, испорченная женщина непременно должна была принять заслуженную казнь, и что казнившій ее художникъ есть „добрый сынъ отечества и благонравный гражданинъ“, но вѣдь и самъ онъ строитъ свою критику на тѣхъ-же основаніяхъ и только выражается языкомъ болѣе философскимъ, чѣмъ простой и топорный языкъ генерала. Понятно, что какъ ни изощряется критикъ, онъ никакъ не можетъ избавить насъ отъ неотразимаго впечатлѣнія, какое мы выносимъ изъ романа въ связи съ вышеозначеннымъ эпитафіемъ: выходитъ все-таки, что можно ежедневно грѣшить такъ порочно и грязно, какъ грѣшили Стива и княгиня Бетси, и за это не потерпѣть никакого воздаянія; отищеніе-же слѣдуетъ за такой грѣхъ, какой языкъ вашъ не поворачивается и грѣхомъ назвать,—за серьезную страсть двухъ существъ, стремившихся соединиться навѣки. Является здѣсь нѣчто въ родѣ древняго фатума, который изъ зависти боговъ къ смертнымъ обрушивался на людей, богато одаренныхъ и сильныхъ, слабыхъ-же и ничтожныхъ допускалъ творить всякія

пакости, сколько душъ угодно. Въ томъ и дѣло, что драма, развиваемая въ романѣ, требуетъ для анализа ея нныхъ, болѣе глубокихъ и сложныхъ воззрѣній, и никакимъ образомъ не объясните вы ея средневековой теоріей грозного и немилосерднаго возмездія.

Но фельетонъ мой предназначенъ вовсе не для опроверженія критики М. С. Громеки. Это завело-бы насъ далеко и отвлекло-бы отъ главной и наиболѣе интересной цѣли—знакомства съ новыми воззрѣніями гр. Л. Толстого. Къ этому мы теперь и приступимъ.

## II.

Въ жизни какъ отдѣльныхъ людей, такъ и общества мы видимъ два рода настроеній: вѣры и скептицизма. Здѣсь я долженъ прежде всего оговориться, что подъ *вѣрою* я разумѣю вовсе не какія-либо религіозныя воззрѣнія, а подъ *скептицизмомъ* отнюдь не отрицаніе религіи, а совѣтъ иное, нѣчто въ родѣ того, что Тургеневъ подразумевалъ подъ *донкихотствомъ* и *гамлетизмомъ*. Ни философія, ни наука до сихъ поръ не открыли намъ конечной цѣли существованія какъ всего міра, такъ и въ этомъ мірѣ маленькой козявки, называемой человѣкомъ, да и врядъ-ли когда-нибудь умъ человѣческій дойдетъ до открытія этой тайны. Тѣмъ не менѣе, бываютъ періоды, когда человѣкъ *вѣритъ*, что все существующее не есть игра безцѣльнаго случая, а неудержимо стремится къ какой-то разумной и благой цѣли. Такая вѣра постоянно совпадаетъ съ вѣрою человѣка въ самого себя, въ то, что жизнь его, въ свою очередь, исполнена разумнаго и благого содержанія. Мало того, что обѣ эти вѣры совпадаютъ, но первая зависитъ отъ второй, т. е. человѣкъ до тѣхъ только поръ и вѣритъ въ цѣлесообразность вселенной, пока въ своей личной жизни онъ видитъ разумное и цѣлесообразное содержаніе. Но лишь только въ душу человѣка закрадывается сомнѣніе въ разумности содержанія его личной жизни, онъ тотчасъ-же переноситъ свои сомнѣнія и на всю вселенную: ему начинаетъ казаться, что и все существующее не имѣетъ ни смысла, ни цѣли. И вотъ тогда-то наступаетъ періодъ скептицизма, характеризующійся въ личной жизни глубокою меланхоліей, пессимизмомъ, разлагающими рефлексіями, наклонностью къ умопомѣшательству или самоубійству, а въ общественной жизни—появленіемъ такихъ идей и ученій, какія мы встрѣчаемъ въ экклезіастѣ царя Соломона, въ поэмахъ Байрона, въ философскихъ системахъ Шопенгауера и Гартмана и пр.

А такъ какъ главная причина наступленія періода скептицизма заключается прежде всего въ недовольствѣ человѣка содержаніемъ личной или общественной жизни, то и выходъ изъ этого періода возможенъ только въ томъ случаѣ, если человѣкъ наполнитъ жизнь свою новымъ содержаніемъ, въ разумность котораго увѣруетъ. И дѣйствительно, періоды скептицизма постоянно ведутъ за собою выработку новыхъ идеаловъ, новой вѣры. Бываютъ при этомъ попытки возвращенія и къ старымъ вѣрамъ, но всѣ подобныя реставраціи терпятъ фiasco по той простой причинѣ, что какъ же убѣдите вы людей снова увѣровать въ то, въ чемъ они разувѣрились, что собственно и при-

вело ихъ въ пропасть скептицизма? Вотъ въ этомъ отношеніи глубокую ошибку дѣлаетъ Громека на 5-й стр. своей книги, ставя въ одинъ уровень Гартмана, Вл. Соловьева и Л. Толстого, а я знаю людей, которые, къ этимъ именамъ пристегиваютъ еще Ө. Достоевскаго. Но что общего между Гартманомъ, этимъ полнымъ олицетвореніемъ пессимизма и скептицизма нашего времени, Вл. Соловьевымъ и Ө. Достоевскимъ съ ихъ бесплодными попытками въ реставраціонномъ духѣ, и гр. Л. Толстымъ, стремящимся къ единственному возможному и разумному выходу изъ скептицизма,—къ пополненію своей жизни новымъ содержаніемъ, новою вѣрою?

## III.

Сущность новой вѣры гр. Л. Толстого заключается отнюдь не въ одномъ лишь измѣненіи какихъ-бы то ни было теоретическихъ умозвзрѣній, а въ стремленіи измѣнить самое содержаніе жизни, весь ея складъ, такъ какъ и скептицизмъ, къ которому пришелъ гр. Л. Толстой, заключался главнымъ образомъ въ сознаніи пустоты содержанія его жизни.

Такъ, мы видимъ, что воспитался онъ на почвѣ старыхъ и отживающихъ основъ обособленности и нравственной распушенности личности, предоставленной самой себѣ на жертву дарвиновской теоріи борьбы за существованіе и безграничной, эгоистической конкуренціи съ ихъ богомъ—„богомъ силы, наслѣдія, казней, убійства, мести, съ его аггелами—властью, оружіемъ, умомъ, красотою, талантомъ, обманомъ“. Эти начала имѣютъ свою вѣру—въ совершенствованіе, въ прогрессъ, при чемъ предполагается, что это совершенствованіе для каждой личности имѣетъ одну существенную цѣль: возвыситься надъ всѣми другими личностями и покорить ихъ своей власти. Въ духѣ этой вѣры былъ воспитанъ и гр. Л. Толстой.

„Я старался,—говоритъ онъ (стр. 161),—совершенствовать свою волю, составлялъ себѣ правила, которымъ старался слѣдовать. Совершенствовалъ себя физически всякими упражненіями, изощряя силу и ловкость и всякими лишеніями приучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствомъ въ примѣненіи къ себѣ. Началомъ всего было, разумѣется, нравственное самосовершенствованіе; но скоро оно подмѣнилось желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими людьми. И очень скоро это стремленіе быть лучше передъ людьми подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣе другихъ. Гадко вспомнить даже объ этомъ. Честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть—всѣ эти проявленія индивидуальной силы уважались людьми, и я, проявляя эти отвратительныя страсти, становился похожъ на другихъ взрослыхъ людей и этимъ вызывалъ въ нихъ одобреніе“.

Въ самомъ своемъ поэтическомъ творествѣ гр. Л. Толстой усматриваетъ все тѣ-же ветхія начала:

„Побужденіе къ творчеству,—говоритъ онъ (стр. 163),—было у меня, дѣйствительно, искреннее. Но я желалъ также и славы. И нѣтъ сомнѣнія, что желаніе авторской славы есть желаніе суетное. Значитъ, я тоже писалъ изъ тщеславія, или по крайней мѣрѣ, примѣшивалъ къ своему писанію это жалкое побужденіе. Потому, развѣ я былъ равно-

душень къ тѣмъ огромнымъ деньгамъ, которыя мнѣ платили за то только, что я, слѣдуя своему же побужденію писалъ безъ всякаго почти напряженія повѣсточки разныя и романцы? Я даже торговался; я не только поправилъ, но я увеличилъ свое состояніе на эти деньги. И, значить, я былъ не чуждъ въ этомъ дѣлѣ и корыстолюбію. Гордость,—я тутъ всего болѣе было,—гордость силы, которой я долго не зналъ къ чему примѣнить, которой ничтожество и глупость долго не признавали и тѣмъ радовали меня, гордость—мой первый грѣхъ, съ которымъ я долго, очень долго упорно боролся. Я часто боюсь, не было-ли гордости въ томъ, что я открыто передъ всѣми приносилъ въ ней покаяніе. Какъ въ жизни, слѣдуя по теченію, я, какъ и большинство, поклонялся силѣ и красотѣ силы, такъ и въ произведеніяхъ своихъ я болѣе всего воспеивалъ всѣ красивые проявленія индивидуальной силы. И еще говорилъ, и еще хвастался, что люблю правду. А на дѣлѣ я любилъ только силу, и когда находилъ ее безъ примѣси притворства и ничтожества, то принималъ за правду, когда въ дѣйствительности это было только силой—силой въ чистомъ, безпримѣсномъ ея состояніи»...

#### IV.

«Мнѣ было 26 лѣтъ,—говорить далѣе гр. Л. Толстой (стр. 164),—когда я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли, какъ своего, ласкали мнѣ даже. И не успѣлъ я оглянуться, какъ сословныя писательскія взгляды на жизнь усвоились мною и уже совершенно изгладили во мнѣ всѣ мои прежнія попытки сдѣлаться лучше. Взгляды эти подъ распушенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь, и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаютъ мы, люди мысли, а изъ людей мысли главное влияние имѣемъ мы — художники, поэты. Наше призваніе—учить людей, но зная чему: художники—де и поэты учатъ безсознательно. Я считался чудеснымъ художникомъ и поэтомъ, и потому мнѣ очень естественно было усвоить эту теорію. И вотъ я, художникъ, поэтъ, писалъ и училъ, самъ не зная чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартира, женщины, общество; у меня была слава: значить, то, чему я училъ, было очень хорошо».

Но вотъ на второй и особенно на третій годъ таковой жизни гр. Л. Толстой сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собою: они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали другъ противъ друга. Много было между ними и не заботящихся о томъ, кто правъ, кто неправъ, а просто достигающихъ своихъ корыстныхъ цѣлей съ помощью писательской дѣятельности.

«Все это,—говорить Л. Толстой (стр. 165),—запустило меня усомниться въ истинности самой нашей писательской вѣры. Усомнившись въ ней, я сталъ внимательно наблюдать жрецовъ ея и убѣдился, что почти всѣ жрецы эти, писатели, были люди безнравственные и въ большинствѣ—люди плохіе, ничтожныя по характерамъ, много ниже тѣхъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней разгульной и веселой жизни, но самоувѣренныя и совершенно довольныя собою. Люди мнѣ опротивѣли, и самъ я себѣ опротивѣлъ».

Но разуверившись въ средѣ и въ самомъ себѣ, гр. Л. Толстой все-таки продолжалъ еще сохранять вѣру въ прогрессъ, и вѣру эту еще болѣе поддержало пу-

тешество за границу, сближеніе съ передовыми и учеными европейскими людьми.

«Только изрѣдка,—говорить онъ (стр. 166),—не разумъ, а чувство возмущалось противъ этого общаго въ наше время суевѣрія, которымъ люди заслоняютъ отъ себя свое непониманіе жизни. Но это были только рѣдкіе случаи сомнѣній; въ сущности-же я жилъ, продолжая исповѣдывать только вѣру въ прогрессъ...» «Все развивается, и я тоже развиваюсь, а зачѣмъ это я развиваюсь вмѣстѣ со всѣми—это видно будетъ. Такъ бы я долженъ былъ тогда формулировать свою вѣру...»

Вернувшись изъ-за границы, гр. Л. Толстой поселился въ деревнѣ и попалъ на занятіе крестьянскими школами.

«Здѣсь,—говорить онъ (стр. 166),—я тоже дѣйствовалъ во имя прогресса. Но я уже относился критически къ самому прогрессу. Я говорилъ себѣ, что прогрессъ въ нѣкоторыхъ явленіяхъ своихъ совершался неправильно и что вотъ надо отнестись къ первобытнымъ людямъ, крестьянскимъ дѣтямъ, совершенно свободно, предлагая имъ избрать тотъ путь прогресса, который они захотятъ... Истинникъ говорилъ мнѣ вѣрно: дѣти, мужики лучше насъ, ученыхъ людей, знали смыслъ жизни, чему нужно учить людей. Но глупость моя и вяленіе мое въ томъ и заключаются, что я, все это чувствуя въ глубинѣ души своей, вмѣсто того, чтобы идти у нихъ учиться, я самъ, ничего не зная и зная, что ничего не знаю, на ходули становился, чтобы исполнить свою похоть учительства, за границу ѣздили, школы тамъ изучалъ, посредникомъ сдѣлался мировымъ, школу завелъ и журналъ, и важничалъ, и оскорблялся, и всѣхъ училъ, не зная, чему я учу, не зная того, чему нужно учить...»

«Снаружи все гладко выходило, какъ будто, но въ душѣ я чувствовалъ, что я не совсѣмъ умственно здоровъ. Я заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирамъ—дышать воздухомъ, пить кумысъ и жить животною жизнью... Вернувшись отъ башкиръ, я женился. Новая, счастливая условія семейной жизни уже совершенно отвлекали меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ, и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ къ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, къ прогрессу теперь подмѣнилось стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше. Такъ прошло еще пятнадцать лѣтъ. Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками, тогда я, все-таки, продолжалъ писать. Я вкусилъ уже отъ соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предавался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей...»

#### V.

Но вотъ въ жизни гр. Л. Толстого начало происходить что-то очень странное: на него стали находить минуты недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто онъ не знаетъ, какъ ему жить, что дѣлать, терялся и впадалъ въ уныніе. Чаше и чаше стали повторяться вопросы: зачѣмъ?.. ну, а потомъ? настоятельныя и настоятельныя требовались отвѣты и, какъ точки, падая все на одно мѣсто, сплотились въ одно черное пятно.

«Я нашелъ,—говорить Л. Толстой (стр. 169),—что это не случайное недомоганіе, а что-то очень важное; и что если повторяются все тѣ же вопросы, то надо и отвѣтить на нихъ. Но только-что я тронулъ



ихъ и попытался разрѣшить эти казавшіеся мнѣ дѣтскими и простыми вопросы, я тотчасъ же убѣдился, что эти вопросы—самые глубокіе и важныя въ жизни вопросы, и что сколько бы я ни думалъ, я не могу разрѣшить ихъ. Прежде, чѣмъ заняться самарскимъ имѣніемъ, воспитаніемъ сына, писаніемъ, надо знать, зачѣмъ я это буду дѣлать. Пока я не знаю—зачѣмъ, я не могу ничего дѣлать. Ну, хорошо, у тебя будетъ 6 тыс. дес., 300 головъ лошадей, а потомъ?.. И я совершенно опѣшивалъ и не зналъ, что думать дальше. Или, начиная думать о томъ, какъ воспитывать дѣтей, я говорилъ себѣ: *зачѣмъ?* Или, рассуждая о томъ, какъ народъ можетъ достигнуть благосостоянія, я вдругъ говорилъ себѣ: а мнѣ что за дѣло? Или, думая о славіи, которую приобретутъ мои сочиненія, я говорилъ себѣ: «Ну, хорошо, ты будешь славѣе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ,—*ну и что-жъ?* И я ничего не могъ отвѣтить».

И вотъ, такимъ образомъ, наступилъ для гр. Л. Толстого періодъ мрачнаго скептицизма, разочарованія въ себѣ, въ людяхъ, во всемъ существующемъ. Напрасно онъ обращался къ философіи, къ наукѣ, ища разъясненія смысла жизни, — философія давала ему одни мертвыя, искусственно-логическія уопостроенія, въ которыхъ умъ человѣческій вертѣлся, какъ бѣлка въ колесѣ, тщетно отыскивая начало всѣхъ началъ; наука внушала одни относительныя знанія и прямо заявляла, что за предѣлами ихъ она ни на что отвѣтить не въ состояніи. Дошло дѣло до мысли о самоубійствѣ, какъ единственномъ избавленіи отъ безмысленной и безцѣльной жизни. Мы не будемъ много распространяться объ этомъ періодѣ скептицизма, такъ какъ самъ по себѣ онъ представляетъ мало интереснаго; всѣ подобныя гамлетовскія настроенія человѣческаго духа слишкомъ однообразны и похожи одинъ на другой всѣми своими симптомами, различаясь лишь сообразно темпераментамъ, возрастахъ, умственнымъ силамъ и развитію тѣхъ или другихъ людей. Обратимъ лучше вниманіе на тотъ выходъ изъ скептицизма, къ которому, въ концѣ концовъ, пришелъ гр. Л. Толстой.

## VI.

Послѣ тщетныхъ поисковъ разъясненія смысла жизни въ книгахъ, гр. Л. Толстой обратился непосредственно къ самой жизни, началъ приглядываться къ людямъ и притомъ не къ однимъ избраннымъ людямъ его круга, а къ массамъ всякаго народа; тутъ только впервые созналъ онъ ту крайнюю замкнутость, въ которой до той поры онъ жилъ.

«Я зналъ,—говоритъ онъ (стр. 179),—только тотъ тѣсный кружокъ ученыхъ, богатыхъ и досужихъ людей, къ которому я принадлежалъ, и думалъ, что онъ и составляетъ все человѣчество, и что тѣ милліарды живущихъ и живыхъ—это *тамъ*, какіе-то скоты, не люди. Какъ ни странно, неизмѣнно непонятно кажется мнѣ теперь то, что я могъ до такой степени нелѣпо заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя—жизнь Соломоновъ и Шопенгауэровъ, есть настоящая нормальная жизнь, а жизнь милліардовъ—есть не стоящее вниманія обстоятельство,—какъ ни странно это мнѣ теперь, я вижу, что это было такъ... Я долго жилъ въ этомъ сумасшедствѣ, свойственнымъ именно самымъ либеральнымъ и ученымъ людямъ. Но, благодаря какой-то странной физической любви къ настоящей

му рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что онъ не такъ глупъ, какъ мы думаемъ, или благодаря искренности моего убѣжденія въ томъ, что лучшее, что я могу сдѣлать—это повѣситься,—я чувствую, что если я хочу жить и понимать смыслъ жизни, то *искать этого смысла жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые потеряли смыслъ жизни и хотятъ убить себя, и у тѣхъ милліардовъ отжившихъ и живущихъ людей, которые дѣлаютъ и на себя несутъ свою и нашу жизнь.*

Люди, которые *дѣлаютъ жизнь*, которые *на себя несутъ свою и нашу жизнь*,—какія это великія слова!.. Вотъ гдѣ, въ концѣ концовъ, оказалось, таится весь смыслъ жизни, вотъ гдѣ источникъ всяческой *свѣты*,—вѣры въ самого себя, въ чело-вѣчество вообще и во всю вселенную!..

«Не найдя,—говоритъ гр. Л. Толстой (стр. 196),—удовлетворенія въ вѣрѣ людей моего круга, я сталъ сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ, неученыхъ людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вѣроученіе этихъ людей изъ народа было тоже христіанское, какъ вѣроученіе мною вѣрующихъ изъ нашего круга. Но многое въ жизни вѣрующихъ нашего круга было противорѣчіемъ ихъ вѣрѣ, а вся жизнь людей вѣрующихъ и трудящихся была подтвержденіемъ того смысла жизни, который давало знаніе вѣры. И я сталъ вглядываться въ жизнь и вѣрованіе людей, и чѣмъ болѣе вглядывался, тѣмъ болѣе убѣждался, что у нихъ была настоящая вѣра, что вѣра ихъ необходима для нихъ и одна даетъ имъ смыслъ и возможность жизни. Въ противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишенія и страданія, эти люди принимали болѣзнь и горести безъ всякаго недоумѣнія и противленія, а съ спокойною и твердою увѣренностью въ томъ, что все это должно быть и не можетъ быть иначе, что все это—добро. Въ противоположность тому, что чѣмъ мы умнѣе, тѣмъ менѣе понимаемъ смыслъ жизни и видимъ какую-то злую насмѣшку въ томъ, что мы страдаемъ и умираемъ, эти люди живутъ, страдаютъ и приближаются къ смерти съ спокойствіемъ, чаще-же всего съ радостью. И я оглянулся тоже вокругъ себя. Я вглядѣлся въ жизнь прошедшихъ и современныхъ огромныхъ массъ людей. И я увидалъ такихъ понявшихъ смыслъ жизни, умирающихъ умирать—не двухъ, трехъ, десятъ, а сотни, тысячи, милліоны. И всѣ они, безконечно различные по своему нраву, уму, образованію, положенію, всѣ одинаково и совершенно противоположно моему невѣдѣнію знали смыслъ жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишенія и страданія, жили и умирали, видя въ этомъ не суету, а добро. И я полюбилъ этихъ людей... И чѣмъ больше я вникалъ въ ихъ жизнь, тѣмъ больше я любилъ ихъ и тѣмъ легче мнѣ самому становилось жить. Я жилъ такъ два года, и со мной случился переворотъ, который давно готовился во мнѣ и зачатки котораго всегда во мнѣ были. Жизнь нашего круга не только опровергла мнѣ, но потеряла всякій смыслъ. Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, науки и искусство—все это представилось мнѣ однимъ баловствомъ. Я понялъ, что искать смысла жизни въ этомъ нельзя. Дѣйствія-же трудящагося народа, творящаго жизнь, представились мнѣ единственнымъ настоящимъ дѣломъ. И я понялъ, что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть истина, и принялъ его... Я понялъ (стр. 199), что для того, чтобы понять смыслъ жизни и увидеть въ ней добро, надо прежде всего, чтобы твоя собственная жизнь была не безсмысленна и зла, а потому уже разумъ, чтобы назвать свое пониманіе словомъ. Если думаешь и говоришь о жизни чело-вѣческой, то надо говорить и думать о жизни всего чело-вѣчества, а не о жизни нѣсколькихъ паразитовъ жизни. Возненавидѣть себя, забывать о себѣ,

не думать о себѣ, любить другихъ,—это одно средство, «чтобы жить и понимать жизнь, любить ее и считать добромъ»... Птица существуетъ такъ, что она должна летать, собирать пишу, строить гнѣздо, и когда я вижу, что птица дѣлаетъ это, я радуюсь ея радостью. Коза, заяцъ, волкъ существуютъ такъ, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они дѣлаютъ это, у меня есть твердое сознаніе, что они счастливы и жизнь ихъ разумна. И человекъ точно также долженъ добывать жизнь, какъ и животныя, съ тою огромною разницею, что онъ погибнетъ, добывая ее одинъ: онъ долженъ добывать ее не для себя, а для всѣхъ. И когда онъ дѣлаетъ это, у меня есть твердое сознаніе, что онъ счастливъ и жизнь его разумна. Если смыслъ человеческой жизни въ томъ, чтобы добывать ее, то какъ-же я, проживъ паразитомъ тридцать лѣтъ сознательной жизни, могъ получить другой отвѣтъ, какъ тотъ, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она была бессмыслица и зло»...

Я полагаю, что изъ всего вышеприведеннаго вполне ясно для каждого непредубѣжденнаго человека, что разумѣть гр. Л. Толстой подъ выходомъ своимъ изъ періода скептицизма и тѣмъ переворотомъ, какой онъ пережилъ. Здѣсь прямо и безъ всякихъ обиняковъ вѣра становится въ полную зависимость отъ жизни, и говорится не о томъ, какъ мыслить, а какъ жить, чтобы жизнь не казалась бессмыслицею и зломъ, и въ примѣръ ставятся тѣ милліарды народа, которые дѣлаютъ жизнь и отсюда почерпаютъ всю свою вѣру. Между тѣмъ, Громека клонитъ къ тому болѣе, что весь переворотъ гр. Л. Толстого заключается будто-бы въ томъ, что онъ отвергъ разсудочный путь мышленія и обратился къ наивному вѣрованію народа, и такимъ образомъ, переворотъ ставится на чисто умственную почву.—Но въ такомъ случаѣ, чѣмъ-же отличается г. Л. Толстой отъ тѣхъ людей своего круга, которые вѣруютъ такъ, а живутъ иначе, и къ чему-же сводится переворотъ гр. Л. Толстого, какъ не къ тѣмъ-же безъисходнымъ противорѣчіямъ, которыя въ прежнее время довели его чуть не до самоубійства?

## II.

Графъ Л. Толстой въ своихъ статьяхъ „Изъ воспоминаній о переписи“.

### I.

Въ сентябрьской и октябрьской книжкахъ „Русскаго Богатства“ 1885 г. обращаютъ на себя вниманіе статьи гр. Л. Толстого „Изъ воспоминаній о переписи“. Статьи эти любопытны въ двухъ отношеніяхъ. Онѣ представляютъ въ себѣ нѣсколько не лишенныхъ интереса наблюденій надъ нравами московской „Ржановской крѣпости“, играющей такую-же роль въ Москвѣ, какъ дома кн. Вяземскаго въ Петербургѣ, и, кромѣ того, служатъ къ немалому разъясненію того нравственнаго переворота, который переживаетъ гр. Л. Толстой.

Прежде всего надо разъяснить, что гр. Л. Толстой, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, принялъ участіе въ однодневной переписи жителей Москвы—не спроста,

не ради одного только артистическаго желанія изучать нравы московскихъ трущобъ, а съ особеннаго рода нравственною цѣлью. Передъ тѣмъ онъ составилъ филантропическій кружокъ изъ нѣсколькихъ очень богатыхъ лицъ въ Москвѣ, общавшихъ со дѣйствовать въ оказываніи помощи бѣднымъ, и отправился вмѣстѣ со студентами, занимавшимися переписью, въ ржановскую крѣпость со специальною цѣлью облагодѣтельствовать обитателей этой трущобы нравственно и матеріально.

И вотъ, при первомъ-же вступленіи въ ржановскую крѣпость графъ обнаружилъ наивность, поразительную для такого гениальнаго художника, какимъ онъ извѣстенъ намъ, хотя въ то-же время и весьма понятную для человека, у котораго большая часть жизни протекла въ уровнѣ бель-этажей и которому никогда прежде не приходилось ни спускаться этажемъ ниже, ни подыматься на этажъ вверхъ. Представьте себѣ: онъ воображалъ, что обитатели ржановской крѣпости всѣ подрядъ только и дѣлаютъ, что, словно какія-то тѣни дантова ада, бродятъ въ страшныхъ рубищахъ и въ мукахъ голода и холода ежеминутно стонутъ, простирая длани и вызывая о помощи къ безчувственному человечеству.

И судите объ удивленіи графа, когда оказалось вдругъ, что они, какъ и всѣ смертные, горюютъ и радуются, скучаютъ и веселятся, ссорятся и мирятся, и не чужды даже амурныхъ развлеченій. Такъ, едва графъ вошелъ во дворъ ржановской крѣпости, какъ онъ услышалъ налѣво, наверху, на деревянной галлереѣ, топотъ шаговъ идущихъ людей, сначала по доскамъ галлерей, а потомъ по ступенямъ лѣстницы. Прежде выбѣжала худая женщина съ засученными рукавами, въ слинявшемъ розовомъ платьѣ и ботинкахъ на босу ногу. Вслѣдъ за ней выбѣжалъ лохматый мужчина, въ красной рубахѣ и очень широкихъ, какъ юбка, портахъ, въ галошахъ. Мужчина подъ лѣстницей схватилъ женщину. „Не уйдешь“,—проговорилъ онъ, сѣясь.—„Вишь, косоглазый чортъ“,—начала женщина, очевидно, польщенная этимъ преслѣдованіемъ, но увидѣла графа и злобно крикнула: „Кого надо?“ Такъ какъ графу никого не надо было, то онъ смутился и ушелъ... И тотчасъ-же послѣдовало наивнѣйшее открытіе:

„Я,—говоритъ гр. Толстой,—понялъ тутъ въ первый разъ, что у всѣхъ тѣхъ несчастныхъ, которыхъ я хотѣлъ благодѣтельствовать, кромѣ того времени, когда они, страдая отъ холода и голода, ждутъ впуска въ домъ, есть еще время, которое они на что нибудь да употребляютъ, есть еще 24 часа каждыя сутки, есть еще и цѣлая жизнь, о которой я прежде не думалъ. Я понялъ здѣсь въ первый разъ (!), что есть эти люди, кромѣ желанія укрыться отъ холода и насытиться, должны еще жить какъ нибудь двѣнадцать четыре часа каждыя сутки, которыя имъ приходится прожить такъ-же, какъ и всякимъ другимъ. Я понялъ, что люди эти должны и сердиться, и скучать, и храбриться, и тосковать, и веселиться. Я, какъ ни странно это сказать, въ первый разъ ясно понялъ, что дѣло, которое я затѣвалъ, не можетъ состоять въ томъ только, чтобы накормить и загнать подъ крышу 1,000 барановъ, а должно состоять въ томъ, чтобы сдѣлать доброе людямъ. И когда я понялъ, что каждый изъ этихъ тысячъ людей такой-же точно человекъ, съ такимъ-же прошлымъ, съ такими-же страстями, соблазнами, за-

блужденіями, съ такими-же мыслями, такими-же вопросами, такой-же человекъ, какъ и я, то затѣянное мною дѣло вдругъ представилось мнѣ такъ трудно, что я почувствовалъ свое безсиліе; но дѣло было начато, и я продолжалъ его...

Однимъ словомъ, остается только диву даваться при мысли о томъ, что гр. Толстому, съ такою гениальностью проникшему въ тайники сердецъ Анны Карениной и Вронскаго, не приходило никогда до сихъ поръ въ голову такихъ элементарныхъ вещей, что на каждой улицѣ существуетъ по одному или по нѣскольکو кабаковъ, что въ праздники бѣдные люди ходятъ пошатываясь по улицамъ съ гармониками, а дома пьютъ чай, играютъ въ орлянку и т. п. Понятно, что жизнь, доходившая до такой изолированности и исключительности, должна была разразиться ~~какимъ~~ - нибудь тяжелымъ нравственнымъ кризисомъ при одномъ открытіи, столь удивительномъ, что, представьте себѣ, въ самомъ дѣлѣ, — 24 часа существуютъ не для однихъ обитателей бель-этажей, а и для всѣхъ прочихъ смертныхъ!

## II.

Но вотъ гр. Л. Толстой вошелъ въ предѣлы ржановской крѣпости и вынесъ онъ изъ всѣхъ своихъ наблюденій такой выводъ, что жители этихъ трущобъ раздѣляются на два разряда: одни люди, дѣйствительно, беспомощные, но помогать имъ рѣшительно не стоитъ, потому что, сколько имъ ни помогай, никакого толку изъ этого не выйдетъ, и они останутся въ столь-же беспомощномъ положеніи, въ какомъ находились и прежде; другіе-же ни въ какой помощи не нуждаются, потому что, по своему, живутъ припеваючи, безъ всякихъ благодѣтелей.

Къ первому разряду принадлежать всѣ люди, не приученные и неспособные ни къ какому труду и привыкшіе снискивать пропитаніе какимъ-нибудь легкимъ и дешевымъ способомъ. — Таковы оказались всѣ обитатели ржановскаго дома изъ дворянъ. Тамъ была даже квартира, сплошь занятая дворянами; ихъ тамъ было человекъ сорокъ.

«Болѣе падшихъ, говорить гр. Л. Толстой, несчастныхъ, и старыхъ, обрюзгшихъ, и молодыхъ, блѣдныхъ, растерянныхъ лицъ не было во всемъ домѣ. Я поговорилъ съ нѣкоторыми изъ нихъ. Почти все одна и та-же исторія, только въ разныхъ степеняхъ развитія. Каждый изъ нихъ былъ богатъ, или отецъ, или братъ, или дядя его были или теперь еще богаты; или отецъ его, или самъ онъ имѣли прекрасное мѣсто. Потомъ случилось несчастіе, въ которомъ виноваты или завистники, или собственная доброта, или особенный случай, и вотъ онъ потерялъ все и долженъ погибать въ несвойственной, ненавистной ему обстановкѣ — во вшахъ, оборванный, съ пьяницами и развратниками, питаясь печенкой и хлѣбомъ и протягивая руку. Всѣ мысли, желанія, воспоминанія этихъ людей обращены только къ прошедшему. Настоящее представляется имъ чѣмъ-то неестественнымъ, отвратительнымъ и не заслуживающимъ вниманія. У каждого изъ нихъ нѣтъ настоящаго. Есть только воспоминанія прошедшаго и ожиданія будущаго, которыя могутъ всякую минуту осуществиться, и для осуществленія которыхъ нужно очень мало, но этого-то мало и нѣтъ, негдѣ взять, и вотъ погибаетъ напрасно жизнь у одного первый годъ, у другого пятый, у третьяго трид-

цатый... Они всѣ говорятъ, что имъ нужно только что-то внѣшнее для того, чтобы снова стать въ то положеніе, которое они считаютъ для себя естественнымъ и счастливымъ»...

«Если-бы я не былъ, — продолжаетъ гр. Л. Толстой, — отуманенъ своею гордостью добродѣтели, мнѣ стоило-бы только немножко взглянуть въ ихъ молодыя и старыя, большую частію, слабыя, чувственные, но добрыя лица, чтобы понять, что несчастныхъ не поправивъ внѣшними средствами, что они ни въ какомъ положеніи не могутъ быть счастливы, если взгляды ихъ на жизнь останутся тотъ-же — что они не какіе нибудь особенные люди въ особенно несчастныхъ условіяхъ, а они тѣ самые люди, которыми мы окружены со всѣхъ сторонъ, какіе мы сами. Я понялъ, что разница только въ степени и времени... Хотя этимъ я забѣгаю и впередъ, но скажу здѣсь, что изъ всѣхъ этихъ людей, которыхъ я записалъ, я дѣйствительно не помогъ никому, несмотря на то, что для нѣкоторыхъ изъ нихъ было сдѣлано то, чего они желали, и то, что, казалось, могло-бы поднять ихъ»...

## III.

Къ этому-же разряду относились и проститутки. Гр. Л. Толстому стоило поговорить съ двумя-тремя изъ нихъ, чтобы убѣдиться, что оказать имъ дѣйствительную, а не фиктивную помощь, вывести ихъ изъ ихъ ужаснаго положенія не было никакой возможности. Здѣсь авторъ сдѣлалъ нѣсколько сближеній между проститутками и дамами боннда, поражающихъ своею глубиною и неожиданностью. Такъ, одной изъ проститутокъ онъ предложилъ найти мѣсто кухарки.

— Кухарки? да я не умѣю хлѣбы-то печь, — сказала она и засмѣялась. «Она сказала, что не умѣетъ, продолжаетъ гр. Л. Толстой, но я видѣлъ по выраженію ея лица, что она не хочетъ быть кухаркой, что она считаетъ положеніе и званіе кухарки низкимъ. Женщина эта, самымъ простымъ образомъ пожертвовавшая, какъ евангельская вдова, всѣмъ, что у ней было, для больной, вибѣтъ съ тѣмъ такъ-же, какъ и другія ея товарки, считаетъ положеніе рабочаго человека низкимъ и достойнымъ презрѣнія. Она воспиталась такъ, чтобы жить не работая, а той жизнью, которая считается для нея естественной ея окружающими. Въ этомъ ея несчастіе. И этимъ несчастіемъ она попала и удерживается въ этомъ положеніи. Это привело ее къ необходимости сидѣть въ трактирѣ. Кто-же изъ насъ — мужчинъ или женщинъ — будетъ исправлять ее отъ ея ложнаго взгляда на жизнь? Гдѣ среди насъ тѣ люди, которые убѣждены въ томъ, что всякая трудовая жизнь уважительнѣе праздной, — убѣждены въ этомъ, и живуть сообразно этому убѣжденію, и сообразно этому убѣжденію цѣнятъ и уважаютъ людей? Если-бы я подумалъ объ этомъ, я-бы могъ понять, что ни я и никто изъ тѣхъ, кого я знаю, не можетъ лечить отъ этой болѣзни».

Показали автору на другую проститутку, торгующую своею 13-лѣтнею дочерью. Но и здѣсь онъ пришелъ къ тому-же сознанию невозможности спасти ни мать, ни дочь.

«Отнять, — говорить онъ — насильно можно эту дочь отъ матери; но убѣдить мать, что она дѣлаетъ дурное, продавая свою дочь, нельзя. Если ужъ спасать, то спасать надо было эту женщину-мать гораздо прежде, спасать отъ того взгляда на жизнь, одобримаго всѣми, при которомъ женщина можетъ жить безъ брака, т. е. безъ рожденія дѣтей и безъ работы, служа только удовлетворенію чувственности. Если-бы я подумалъ объ этомъ, то я-бы понималъ,

что большинство тѣхъ дамъ, которыхъ я хотѣлъ прислать сюда для спасенія этой дѣвочки, не только сами живутъ безъ рожденія дѣтей и безъ работы, служа только удовлетворенію чувственности, но и сознательно воспитываютъ своихъ дѣвочекъ для этой самой жизни: одна мать ведетъ дочь въ трактиръ, другая на балы. Но у той и другой матери міросозерцаніе одно и то-же, и именно, что женщина должна удовлетворять похоть мужчины, и за то ее должны кормить, одѣвать и жалѣть. Такъ какъ-же наши дамы будутъ исправлять эту женщину и ея дочь?..»

Точно къ такому-же безотрадному выводу привели автора и дѣти-сироты ржановской крѣпости, не учаемыя ни къ какому труду, и которыхъ ждетъ страшная будущность. Одного изъ такихъ дѣтей, 12-тилѣтняго мальчика Сережу, оставшагося безъ пріюта, потому что хозяинъ его попалъ въ острогъ, гр. Л. Толстой взялъ къ себѣ въ домъ и помѣстилъ на кухнѣ.

«Нельзя-же—говорить онъ—было вшиваго мальчика изъ вертепа разврата взять къ своимъ дѣтямъ. Я и за то, что онъ стѣснялъ—не меня, а нашу прислугу на кухнѣ,—и за то, что кормилъ его тоже не я, а наша кухарка, и за то, что я отдалъ ему какіе-то обноски надѣть, считалъ себя очень добрымъ и хорошимъ... Мальчикъ пробылъ недѣлю въ графской кухнѣ, и когда гостившій у автора мужикъ сталъ звать его въ деревню, въ работники, въ семью, онъ отказался и исчезъ. И затѣмъ оказалось, что онъ на Прѣсененскихъ прудахъ нанялся по 30 коп. въ день въ процессію какихъ-то дикарей въ костюмахъ, водившихъ слона. «Если-бы я вдумался тогда въ жизнь этого мальчика,—говоритъ авторъ:—и въ свою, я-бы понималъ, что мальчикъ испорченъ тѣмъ, что онъ узналъ возможность веселой жизни безъ труда, что отвыкъ работать. А я, чтобы облагодѣтельствовать и исправить его, взялъ его въ свой домъ, гдѣ онъ видѣлъ... что-же? Моихъ дѣтей — и старше его, и моложе, и ровесниковъ,—которые никогда ничего для себя не только не работали, но своими средствами доставляли работу другимъ. Онъ и понималъ это, и не пошелъ къ мужику убирать скотину и ѣсть съ нимъ картошку съ квасомъ, а ушелъ въ Зоологическій садъ, въ костюмѣ дикаго водить слона за 30 копѣекъ»...

#### IV.

Итакъ, для перваго разряда обитателей ржановской крѣпости, усилія гр. Л. Толстого облагодѣтельствовать родъ человѣческій потерпѣли полное фiasco; хотя руки тутъ такъ со всѣхъ сторонъ и протягивались, довольствуясь хоть мѣдными пятаками, но изъ раздачи безъ всякаго разбора не пятаковъ, а рублей, ничего не вышло, кромѣ унижительной и безобразной сцены, изъ которой авторъ вынесъ одинъ стыдъ передъ окружавшими его людьми, при сознаніи съ своей стороны какой-то крайне глупой и даже безнравственной роли. Относительно-же людей втораго разряда, т. е. живущихъ своимъ трудомъ и не нуждавшихся въ великоблѣтскихъ подачкахъ, графъ еще болѣе убѣдился, что тутъ ему рѣшительно нечего дѣлать.

«Первое впечатлѣніе, говоритъ онъ, было то, что большинство живущихъ здѣсь все рабочіе люди и очень добрые люди. Большую половину жителей мы заставляли за работой: прачекъ надъ корытами, столяровъ за верстаками, сапожниковъ на своихъ стульяхъ. Тѣсныя квартиры были полны народомъ и шла энергическая, веселая работа. Пахло рабочимъ по-

томъ и у сапожника кожей, у столяра стружками, слышалась часто пѣсня и видѣлись засученныя мужикулисты руки, быстро и ловко дѣлавшія привычныя движенія. Многихъ мы заставляли за обѣдомъ или чаемъ и всякій разъ на привѣтъ нашъ: «хлѣбъ да соль» или «чай да сахаръ» они отвѣчали: «просимъ милости» и даже сторонились, давая намъ мѣсто. Въмѣсто того притона постоянно перемѣняющагося населенія, которое мы думали найти здѣсь, оказалось, что въ этомъ домѣ было много квартиръ, въ которыхъ живутъ подолгу. Одинъ столяръ съ рабочими и сапожникъ съ мастерами живутъ по десяти лѣтъ. У сапожника было очень грязно и тѣсно, но народъ весь за работой былъ очень веселый.

«Я попытался поговорить съ однимъ изъ рабочихъ, желая выпытать отъ него воображаемую мною бѣдственность его положенія, задолжанія хозяину, но рабочій не понималъ меня и съ самой хорошей стороны отоваривался о хозяинѣ и о своей жизни. На одной квартирѣ жили старичокъ со старушкой. Они торгуютъ яблоками. Комнатка ихъ теплая, чистая и полна добромъ. На полу постланы соломенные щиты (плетенки); они берутъ ихъ въ яблочномъ складѣ. Сундуки, шкафъ, самоваръ, посуда. Въ углу образъ много, теплятся двѣ лампы; на стѣнѣ завѣшаны простыней крытыя шубы. Старушка съ звѣздообразными морщинками, ласковая, говорливая, очевидно, сама радуется на свое тихое, благообразное житье».

Однимъ словомъ, авторъ испыталъ полное разочарованіе. Онъ мечталъ встрѣтить въ ржановской крѣпости нѣчто ужасное,—и не только не нашелъ ничего подобнаго, но ему представилось нѣчто хорошее, такое, которое невольно вызывало уваженіе. И этихъ хорошихъ людей было такъ много, что оборванные, погибшіе, праздные люди, которые изрѣдка попадались среди нихъ, не нарушали главнаго впечатлѣнія. Когда-же графъ встрѣчалъ нужду, онъ всегда находилъ, что она была уже покрыта, уже была подана та помощь, которую онъ хотѣлъ подать, — и подана кѣмъ-же! — тѣми самыми несчастными, развращенными созданіями, которыхъ онъ собирался спасти, и подана такъ, какъ онъ-бы не могъ подать.

#### V.

И оставалось, такимъ образомъ, нашему благодѣтелю рода человѣческаго сложить на груди ненужныя руки. Какъ, неужели? — спроситъ читатель. Неужели тѣ самые труженики, такіе хорошіе и такіе, повидимому, довольные своимъ положеніемъ, — такъ-таки и не нуждались ни въ малѣйшей помощи? Да не самъ-ли графъ Л. Толстой описываетъ тотъ ужасъ, который онъ испыталъ, когда переходилъ только черезъ дворъ ржановской крѣпости. «Изъ сѣней, говоритъ онъ, мы спустились на покатый дворъ, весь застроенный деревянными, на каменныхъ нижнихъ этажахъ, постройками. *Вонъ на всемъ дворѣ была очень сильная. Центромъ этой вонн было отхожее мѣсто.* Мальчикъ, оберегая свои бѣлые панталоны, осторожно провелъ меня мимо этого мѣста *по замерзшимъ и намерзшимъ нечистотамъ*». Затѣмъ, когда авторъ вошелъ въ жилые, на него пахнуло *мыльными парами, подкижъ запахомъ дурной пды и табаку*... И вотъ этихъ сирадомъ дышутъ изо-дня въ день всѣ эти хорошіе люди, вполне довольные своимъ положеніемъ. Положимъ, что они настолько при-

нюхались ко всѣмъ окружающимъ ихъ зловоніямъ, что совсѣмъ не замѣчаютъ ихъ и зловоніе нисколько не мѣшаетъ имъ энергично работать и даже веселиться на заработанные гроши. А, между тѣмъ, подумать только, какъ не прочно ихъ кажущееся благосостояніе. Вѣдь, достаточно одного вздоха, наполненного тифозными микробами въ этомъ гниломъ и срадномъ воздухѣ, чтобы глава семьи отправился въ елисейскія, а жена и дѣти его остались безпомощными и голодными...

Но, конечно, что-же вы тутъ подѣлаете грошовыми великосвѣтскими подачками или, еще того лучше, душевспасительными глаголами? Правда, тутъ могла-бы большую помощь оказать хотя, напримѣръ, наука, которая внушаетъ, какъ должны строиться жилища для того, чтобы въ нихъ было достаточно тепла, свѣта и свѣжаго воздуха, необходимыхъ для человѣка, изобрѣтаетъ всякія ассенизирующія средства, борется съ эпидеміями, стремится къ наибольшему удешевленію всѣхъ необходимыхъ питательныхъ или согревательныхъ продуктовъ, и напротивъ, къ возрастанію цѣнности труда и пр., и пр. Но въ томъ-то и дѣло, что гр. Л. Толстой проклялъ эту самую науку, такъ какъ она не могла отвѣтить ему на тѣ трансцендентальные вопросы, разрѣшенія которыхъ онъ требовалъ отъ нея, а тогъ скромный свѣтъ и тепло, какіе льются отъ нея на человѣчество, показали ему слишкомъ жалкими и презрительными въ его великосвѣтскомъ разочарованіи... Подождемъ-же, когда душевспасительные глаголы „новой вѣры“ гр. Л. Толстого въ такой-же степени способны окажутся уничтожить зловоніе и миазмы ржановскихъ клоакъ, какъ это можетъ сдѣлать изобрѣтенная все тою-же презираемою наукою карбодовая кислота.

### III.

По поводу статьи гр. Л. Толстого „Въ чемъ счастье“.

#### I.

Въ послѣднее время въ литературѣ нашей утвердилось мнѣніе, что философскія статьи гр. Л. Толстого наиболѣе сильны и вліятельны своими отрипательнымъ анализомъ условій жизни современнаго человѣчества; съ положительной-же своей стороны онъ представляютъ рядъ идеаловъ, слишкомъ элементарныхъ и наивныхъ, чтобы онѣ могли оказать какое-либо существенное вліяніе на разрѣшеніе сложныхъ и роковыхъ вопросовъ нашего времени. Статья: „Въ чемъ счастье“, помѣщенная въ январской книжкѣ „Русскаго Богатства“ 1886 г., какъ нельзя болѣе подтверждаетъ это мнѣніе, и мы займемся ею въ видахъ разъясненія и подтвержденія его.

Прежде всего спѣшу оговориться, что если я считаю идеалы гр. Л. Толстого слишкомъ элементарными и наивными, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы я ихъ отрицалъ; я только отрицаю ихъ исключительную компетентность въ разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ нашей нравственной жизни. Я сравниваю гр. Л. Тол-

стого съ математикомъ, который вдругъ увлекся-бы табличкою умноженія, и на томъ основаніи, что она заключаетъ въ себѣ рядъ математическихъ аксіомъ, самыхъ простыхъ, общедоступныхъ, вѣчныхъ, неоспоримыхъ и предшествовавшихъ съ испоконъ вѣковъ всѣмъ послѣдующимъ математическимъ открытіямъ, началъ-бы отрицать и биномъ Ньютона, и логарифмы, и дифференціальныя вычисленія, и предлагалъ-бы во всѣхъ изслѣдованіяхъ ограничиваться одною табличкою умноженія, потому что могутъ-ли сравняться всѣ тѣ запутанныя, хитроумныя формулы, которыми адепты науки исписываютъ цѣлыя листы, съ такою ясною, простою, для всѣхъ равно доступною и неизблещимо вѣчною истиною, какъ  $2 \times 2 = 4$ . Такъ, вотъ, я и говорю, что, положимъ,  $2 \times 2 = 4$  великая и неоспоримая истина, и въ ней вполне выражается та вѣковѣчная и непостижимая нашему разуму премудрость, которая движетъ міромъ и которою живетъ и дышетъ вся вселенная; но почему-же эту самую премудрость не могу я видѣть и въ логарифмахъ, и въ биномѣ Ньютона, и дифференціалахъ?

#### II.

Въ самомъ дѣлѣ, обратите вниманіе на пять пунктовъ *счастья*, которые предлагаетъ гр. Л. Толстой людямъ, взамѣнъ того мнимаго, призрачнаго счастья, къ которому они стремятся, и вы вполне убѣдитесь, что гр. Л. Толстой ищетъ дѣло всего-на-всего съ табличкою умноженія, съ которою и носится вотъ ужъ нѣсколько лѣтъ, какъ съ единственнымъ волшебнымъ талисманомъ, способнымъ спасти человѣчество. Вотъ эти пять пунктовъ:

1) «Одно изъ первыхъ и всѣми признаваемыхъ условій счастья—есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человѣка съ природою, т. е. жизнь подъ открытымъ небомъ, при свѣтѣ солнца, при свѣжемъ воздухѣ, общеніе съ землею, растениями, животными. Всегда всѣ люди считали лишеніе этого большимъ несчастіемъ. Заключенные въ тюрьмахъ сильнѣе всего чувствуютъ это лишеніе. Посмотрите-же на жизнь людей, живущихъ по ученію міра. Чѣмъ большаго они достигли успѣха по ученію міра, тѣмъ больше они лишены этого условія счастья. Чѣмъ выше то мірское счастье, котораго они достигли, тѣмъ меньше они видятъ свѣтъ солнца, поля и лѣса, дѣвкихъ и домашнихъ животныхъ».

2) «Другое несомнѣнное условіе счастья—есть трудъ, во-первыхъ, любимый и свободный трудъ, во-вторыхъ, трудъ физическій, дающій аппетитъ и крѣпкій, успокоивающій сонъ. Опять, чѣмъ большаго, по своему, счастья достигли люди по ученію міра, тѣмъ больше они лишены и этого другого условія счастья. Всѣ счастливыцы міра, чиновники и богачи, или какъ заключенные, вовсе лишены труда и безустанно борются съ болѣзнями, происходящими отъ отсутствія физическаго труда и еще болѣе безуспѣшно со скукой, одолевашей ихъ, или работаютъ ненавистную имъ работу, какъ банкиры, прокуроры и тому подобныя...

3) «Третье, несомнѣнное условіе счастья—есть семья. И опять, чѣмъ больше ушли люди въ мірскомъ успѣхѣ, тѣмъ меньше имъ доступно это счастье. Большинство—прелюбодѣи и сознательно отказываются отъ радостей семьи, подчиняясь только ея неудобствамъ. Если-же они и не прелюбодѣи, то дѣти для нихъ не радость, а обуза. Если-же у нихъ есть дѣти, они лишены радости общенія съ

ними (отдавая ихъ на руки чужимъ воспитателямъ).

4) «Четвертое условіе счастья—есть свободное, любовное общеніе со всѣми разнообразными людьми міра. И опять, чѣмъ высшей ступени достигли люди въ мірѣ, тѣмъ больше они лишены этого главнаго условія счастья, тѣмъ выше, тѣмъ уже, тѣснѣе тотъ кружокъ людей, съ которыми возможно общеніе, и тѣмъ ниже по своему умственному и нравственному развитію тѣ нѣсколько людей, составляющие этотъ закодированный кругъ, изъ котораго нѣтъ выхода...

5) «Наконецъ, пятое условіе счастья—есть здоровье и безболѣзненная смерть. И опять, чѣмъ выше люди на общественной лѣстницѣ, тѣмъ болѣе они лишены этого условія счастья. Возьмите средняго богача и его жену и средняго крестьянина и его жену, не смотря на весь голодъ и непомерный трудъ, который несетъ крестьянинъ, и сравните ихъ. И вы увидите, что, чѣмъ ниже, тѣмъ здоровье и чѣмъ выше, тѣмъ болѣзненнѣе мужчины и женщины».

### III.

Все это рядъ истинъ, такихъ-же неоспоримыхъ, какъ  $2 \times 2 = 4$ . Но суть не въ томъ, что истины эти не представляютъ ни малѣйшихъ сомнѣній, а въ вопросѣ,—что мѣшаетъ человѣчеству идти по пути этихъ неоспоримыхъ истинъ? Вѣдь не одинъ десятокъ или сотня лѣтъ существуютъ онѣ, а цѣлыя тысячелѣтія, и проповѣдывались онѣ людьми, можетъ быть, въ десять разъ и геніальнѣйшими, и краснорѣчивѣйшими, чѣмъ самъ графъ Л. Толстой; тѣмъ не менѣе, мы и до сегодня видимъ одно и то-же: несомнѣнныя истины тянутъ въ одну сторону, а человѣчество стремится, повидимому, совершенно въ другую, вслѣдъ за своими мечтами призрачнаго мірскаго счастья. Въ чемъ-же заключается причина и когда будетъ конецъ этой раздвоенности?

И вотъ, пока мы будемъ стремиться рѣшить этотъ вопросъ однимъ апіорнымъ путемъ, не заглядывая ни въ исторію, ни въ нынѣ науки,—мы вѣчно будемъ путаться съ нашей великою табличкою умноженія въ безвыходныхъ противорѣчіяхъ и дилеммахъ. Одни будутъ говорить вамъ, что законы святы, но исполнители лихіе сушестаты, что вѣковѣчныя истины прекрасны, но люди такъ низко пали, такъ тонутъ въ своей грѣховной суетности, такъ нравственно растлѣнны, что остаются глухи и слѣпы къ истинамъ, въ которыхъ заключается все ихъ спасеніе. Другіе-же, напротивъ того, говорятъ, что истины эти обветшали, что человѣчество потому остается равнодушнымъ къ нимъ, что выросло изъ нихъ, и для него требуется иная нравственный кодексъ, болѣе соответствующій высотѣ и сложности современной цивилизаціи. Одни говорятъ: нужно, прежде всего, поднять нравственность каждаго отдѣльнаго человѣка, убѣдить его слѣдовать вѣковѣчнымъ истинамъ, а затѣмъ, общественныя отношенія между людьми сами собою примѣняются къ лучшему и сдѣлаются вполне гармоничными все съ тѣмъ-же пресловутыми истинами. Другіе-же говорятъ: сколько ни проповѣдуйте, ничего не подѣлаете; нравственность отдѣльныхъ людей зависить отъ общихъ условій общественной жизни. Прилагайте всѣ заботы къ улучшенію этихъ условій и повѣрьте, что

сочиненія А. СКАВИЧЕВСКАГО.—II.

нравственный уровень самъ собою возвысится по мѣрѣ этого улучшения.

Однимъ словомъ, повторяется все тотъ-же дѣтскій вопросъ о томъ, что прежде произошло на свѣтъ—молотъ или наковальня. И вѣчно онъ будетъ повторяться, пока мы не отбросимъ нашу невѣжественную гордыню передъ наукою, и не обратимся къ ней, къ ея скромнымъ, но безпристрастнымъ, точнымъ указаніямъ. Что-же намъ гласить на этотъ счетъ наука? А вотъ что:

### IV.

Обратимъ вниманіе на основной догматъ ученія графа Л. Толстого, на непротивленіе злу насиліемъ. Графъ Л. Толстой противоположностью этому догмату ставитъ ветхозавѣтное *око за око, зубъ за зубъ*. И вотъ, на первыхъ-же порахъ, наука возмущается намъ, что подобное противопоставленіе далеко не исчерпываетъ всего историческаго хода развитія нравственныхъ понятій въ человѣчествѣ. Дѣло въ томъ, что ветхозавѣтный догматъ равномернаго отищенія представляетъ собою довольно уже высокую ступень нравственнаго развитія человѣчества, большой шагъ впередъ въ исторіи цивилизаціи. Первоначально-же, можетъ быть, цѣлыя тысячи лѣтъ, человѣчество руководствовалось инымъ принципомъ, еще болѣе звѣрскаго характера. Дикарь не ограничивался вырываніемъ ока за око и зуба за зубъ, а за самое ничтожное пораненіе и мелкую обиду онъ поджаривалъ врага на огнѣ, сдиравъ съ него съ живого кожу, отрубая голову и черепъ его вѣшалъ въ своей хижинѣ, какъ трофей—знакъ того, что онъ умѣетъ постоять за себя. Первобытные люди за одного украденнаго барана истребляли до тла цѣлыя сосѣднія племена.

Въ чемъ-же заключается причина какъ самого побужденія къ отищенію, такъ и чрезвычайности этого побужденія въ дикаряхъ? И вотъ, другая наука или, лучше сказать, цѣлый рядъ наукъ указываетъ, что главная причина заключается здѣсь въ психическихъ основахъ низшаго порядка, въ такъ-называемыхъ, нервныхъ рефлексахъ, побуждающихъ всякое животное, въ томъ числѣ и человѣка, отражать полученныя впечатлѣнія въ тѣхъ или другихъ соответствующихъ движеніяхъ и дѣйствіяхъ. Далѣе наука показываетъ, что чѣмъ ниже стоитъ человѣкъ по своему умственному развитію, тѣмъ болѣе преобладаютъ въ немъ рефлекторныя движенія, тѣмъ они необузданнѣе и тѣмъ менѣе способенъ онъ сдерживать ихъ. Ребенокъ и дикарь, какъ извѣстно, въ одинаковой степени отличаются тѣмъ, что самое ничтожное впечатлѣніе способно вызвать въ нихъ массу рефлекторныхъ движеній, совершенно выходящихъ изъ всѣхъ предѣловъ.

Съ развитіемъ высшихъ мозговыхъ центровъ, люди дѣлались все сдержаннѣе и сдержаннѣе въ своихъ рефлексахъ, болѣе и болѣе привыкали подчинять ихъ высшимъ нравственнымъ требованіямъ. И вотъ, подумайте, какой былъ великій прогрессъ, когда человѣчество дожило, наконецъ, до ока за око, т. е. до того, что перестали самовольно сдирать кожи съ живыхъ людей за малѣйшее недоразумѣніе, а вмѣсто этого условились въ такомъ уравнищеніи возмездія, чтобы



за содѣянное зло платилось ровно столько, ни на юту болѣе или менѣе, чѣмъ это зло стоитъ. Люди навѣрное смотрѣли на это уравниженіе, какъ на высшій нравственный законъ, кони въправѣ гордиться человечествомъ, и дѣйствительно, съ вояреніемъ этого закона въ человѣческую среду хлынуло разомъ столько обезпеченности и благосостоянія, о которыхъ до того времени трудно было и помышлять.

Уравниженіе возмездія повело за собою учрежденіе судовъ. И вотъ опять-таки гр. Л. Толстому очень легко съ точки зрѣнія своихъ высокихъ идеаловъ провозглашать: „не судите, да не судимы будете!“ Но подумайте только, сколько добра, свѣта, нравственной и общественной дисциплины внесли суды въ полудикія массы, которыя до того времени руководствовались одними звѣринными, необузданными рефлексами, приводящими къ поголовному взаимному истребленію, потокамъ крови и самымъ чудовищнымъ звѣрствамъ.

#### V.

Обратите вниманіе на другое проявленіе возмездія — войну. Противъ войны много писали и говорили задолго до графа Л. Толстого. Но до сихъ поръ всѣ эти проповѣди остаются гласомъ вопіющаго въ пустынь. Между тѣмъ, что-же мы видимъ на самомъ дѣлѣ: помимо этихъ проповѣдей и здѣсь совершается то-же постепенное подчиненіе низшихъ рефлексовъ разумнымъ требованіямъ. Какъ ни часты и кровопролитны нынѣшнія войны, а все-таки жизнь современной Европы представляетъ собою картину завиднаго мира сравнительно съ тѣмъ, что было тысячу или двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ. Тогда война была ежедневнымъ, будничнымъ явленіемъ жизни, и воевали не только государства съ государствами или племена съ племенами, но и городъ съ городомъ, деревня съ сѣднимъ селомъ, воевали изъ-за самыхъ ничтожныхъ пустяковъ, иногда и безъ всякаго повода, чтобы только выказать молодечество, дать просторъ кипучей крови. Съ теченіемъ вѣковъ районъ мира становился все шире, и вытѣснялъ изъ своихъ предѣловъ знамя войны. Такъ въ Россіи образовались сначала нѣсколько маленькихъ центровъ, — княжествъ, въ предѣлахъ которыхъ люди обязывались жить другъ съ другомъ мирно, разрѣшая свои несогласія не мечемъ, а судомъ; воевать имѣли теперь возможность только княжества между собою, а никакъ уже не сѣднія селенія. Затѣмъ, княжества начали соединяться въ крупныя областныя массы и, наконецъ, образовалось одно сплошное московское царство, въ предѣлахъ котораго мирнымъ обывателямъ могло угрожать лишь нашествіе иноземныхъ народовъ.

#### VI.

Изъ всего этого вотъ что слѣдуетъ. Ваши прекрасныя идеалы, гр. Л. Толстой, существующіе безъ малаго двѣ тысячи лѣтъ, остаются до сихъ поръ въ однихъ отвлеченныхъ предѣлахъ сознанія и не могутъ воплотиться, по той-же причинѣ, по какой и не менѣе неоспоримая математическая истина, что  $2 \times 2 = 4$ , остается въ области одной нашей фанта-

зіи, пока мы въ дѣйствительности не имѣемъ двухъ и двухъ, чтобы изъ нихъ вышло четыре. Сколько-бы вы ни убѣждали людей не сопротивляться злу насиліемъ, вы ихъ до тѣхъ поръ не убѣдите, пока рефлексъ ихъ будутъ настолько еще сильны, чтобы, заглушая всѣ внушенія разума, неудержимо побуждать ихъ ко всякаго рода возмездіямъ. Подчиненіе-же рефлексовъ разумной волѣ совершается не сразу однимъ мановеніемъ волшебнаго жезла, а вырабатывается постепенно отъ поколѣнія къ поколѣнію; какъ между первобытнымъ звѣрствомъ и ветхозавѣтнымъ принципомъ уравниженнаго возмездія, такъ равно между послѣднимъ и вашимъ принципомъ непротивленія злу насиліемъ существуетъ цѣлый рядъ промежуточныхъ станцій, миновать которыя нѣтъ никакой возможности. Такъ, напримѣръ, вы, вотъ, отрицаете судъ даже и въ тѣхъ мягкихъ и гуманныхъ формахъ, до какихъ онъ дошелъ въ послѣднее время, а подумайте, давно-ли человечество избавилось отъ ужасовъ инквизиціи и пытокъ, и какой большой шагъ въ смягченіи нравовъ и подчиненіи животныхъ рефлексовъ — представляло собою хотя-бы только появленіе Беккариа съ его отрицаніемъ пристрастнаго допроса. Я вполне согласенъ съ тѣмъ, что весь этотъ прогрессъ смягченія нравовъ и медленнаго приближенія къ вѣковѣчнымъ нравственнымъ идеаламъ, завѣщаннымъ намъ древнимъ Востокомъ, совершается отнюдь не путемъ сопротивленія злу насиліемъ, а есть результатъ совершенно особеннаго великаго и всеобщаго біологическаго процесса. Изъ всего выше сказаннаго достаточно явствуетъ, что я вовсе не стою за принципъ противленія злу насиліемъ; я объясняю его, какъ варварское состояніе человечества, какъ недостатокъ полнаго подчиненія низшихъ рефлексовъ высшимъ разумнымъ требованіямъ. Но что-же вы подѣлаете съ человечествомъ, если рефлексъ его все еще бунтуютъ, преобладаютъ и до сихъ поръ еще онѣ ихъ не упорядочило? Впадать вслѣдствіе этого въ отчаяніе, въ пессимизмъ, роптать на глухоту и слѣпоту людей, неспособныхъ сразу обратиться на путь спасенія, — не есть-ли самая высокомерная гордыня, какую только можно представить себѣ, не есть-ли это преступная и малодушная хула противъ вѣковѣчной премудрости, установившей неизбѣжныя законы, по которымъ совершаются всѣ процессы развитія во всей вселенной?

#### IV.

Графъ Л. Н. Толстой о женскомъ вопросѣ.

#### I.

Я знаю молодую чету, которою я всегда люблю, какъ однимъ изъ лучшихъ украшеній нашего средняго интеллигентнаго круга. Мужъ — учитель и воспитатель въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній; жена, кончивъ медицинскіе курсы нѣсколько лѣтъ тому назадъ, занимаетъ мѣсто думскаго врача и, сверхъ того, имѣетъ кое-какую практику. Въ общей

сложности мужъ и жена зарабатываютъ тысячь до трехъ, причѣмъ на женскую долю приходится рублей до тысячи заработка, т.-е. треть семейнаго бюджета. Конечно, для людей, привыкшихъ жить на проценты съ полумилліоннаго состоянія, для людей, соображающихъ, что пропорціонально трѣмъ копѣйкамъ, отданнымъ нищему мужику, имъ слѣдовало-бы давать этому самому нищему по три тысячи рублей, — что значитъ заработокъ въ какую-нибудь тысячу рублей! Стоило изъ-за такихъ пустяковъ на курсы ходить и жертвовать рѣзать! Но каждый, кто не а ргіогі, а на практикѣ испыталъ, что такое значитъ проживать съ семьею среднему интеллигентному человѣку въ столицѣ 2,000 руб., тотъ пойметъ, какое великое подспорье составляетъ въ настоящемъ случаѣ каждая лишняя тысяча.

Они держатъ всего двѣ прислуги: кухарку и няньку; между тѣмъ, чистота и опрятность царятъ въ ихъ квартирѣ ненарушимыя, образцовыя. У нихъ трое дѣтей, — и всѣ такіе здоровяки, съ пухлыми, румяными щечками. Цѣлый день оба заняты своими профессіями, какъ они успѣваютъ въ то-же время содержать свое хозяйство въ такомъ образцовомъ порядкѣ, — объ этомъ я не могу вамъ подробно сообщить, такъ какъ не слѣдилъ за каждымъ шагомъ ихъ повседневной, будничной жизни, но я это вполне понимаю. Главный секретъ въ томъ, именно, и заключается здѣсь, что оба они — люди занятые. Обратите вниманіе, въ какомъ кабинетѣ найдете вы болѣе порядка, чистоты и опрятности? Вы думаете, что у человѣка болѣе свободного, нѣющаго много досуда заниматься разстановкою своихъ вещей? Совершенно наоборотъ: чѣмъ болѣе человѣкъ занятъ, тѣмъ оказывается болѣе порядка вокругъ него во всей его обстановкѣ. Ничего тутъ нѣтъ удивительнаго: усиленный трудъ такъ нравственно дисциплинируетъ, подтягиваетъ человѣка, что у него является неудержимая потребность и во всѣ мелочи своего обихода вносить ту гармонию, ту порядочность, которая онъ ощущаетъ въ своемъ нравственномъ мірѣ. И наоборотъ, — праздность, разслабляя нервы, приводитъ людей къ особаго рода душевному недугу, называемому распушенностью, а разъ этотъ недугъ завязался у человѣка, онъ проявляется, опять-таки, во всѣхъ мелочахъ его жизни: подобно тому, какъ лѣнь приняться ему за дѣло, такъ-же точно лѣнь ему и убрать за собою.

Что-же касается до времени, необходимаго для упорядоченія домашней жизни и всего, что касается, такъ называемаго, *хозяйства*, то, надо сказать по правдѣ, у насъ сильно раздуваютъ этотъ предметъ, воображая, что для маленькаго хозяйства семьи, проживающей отъ трехъ до пяти тысячъ, — необходимо посвященіе цѣликомъ нѣсколькихъ женскихъ жизней. Въ результатъ такого предрасудка выходитъ то, что праздныя барыни, воображающія себя образцовыми хозяйками, нарочно растягиваютъ на цѣлый день дѣло, которое можно все передѣлать въ четверть часа, приписываютъ искусственнымъ и совершенно ненужнымъ занятіямъ, лишь-бы только убить время и успокоить совесть. По крайней мѣрѣ, въ той семьѣ, о которой я говорю, нѣтъ ни одной такой женщины, которая весь день суетилась-бы и бѣгала изъ комнаты въ комнату

по пустякамъ, воображая, что она совершаетъ какое-то священнодѣйствіе, домашній очагъ соблюдаетъ: мужъ весь поглощенъ своею педагогіею; жена — медициною; кухарка знаетъ только свою кухню; нянька — дѣтей; и въ то-же время всѣ члены семьи между дѣломъ успѣваютъ вполне соблюдать домъ въ чинномъ порядкѣ.

Да не подумаетъ читатель, что я изобразилъ что-нибудь необыкновенное и исключительное. Въ настоящее время вы можете встрѣтить не одну уже семью, въ которой жена является такимъ-же труженицею, какъ и мужъ, и это нисколько не мѣшаетъ тому, чтобы и щи подавались во-время на столъ, и дѣти родились, выкармливались и выращивались правильно.

## II.

Скромная труженица, съ утра до ночи занятая своимъ дѣломъ, всегда чисто и опрятно одѣтая, а иногда даже щеголевато принаряженная, знакомая моя вовсе не выглядитъ синимъ чулкомъ, не произноситъ никакихъ рѣчей въ пользу женской эмансипаціи, не громитъ мужчинъ и не найдете вы въ ней ничего ухарскаго и напускнаго. Но, конечно, она очень близко принимаетъ къ сердцу женскій вопросъ, сама на своемъ собственномъ опытѣ убѣдившись, сколько и нравственнаго удовлетворенія, и матеріальной обеспеченности принесло ей то обстоятельство, что вотъ, она кончила курсъ медицинскихъ наукъ нисколько не менѣе успѣшно, чѣмъ кончаютъ его мужчины, приносить свою лепту пользы и обществу, и своей семьѣ, и что осталась она вдовою, она, хоть и скромно, а, все-таки, поддержитъ свою семью, и не придется ей кланяться о милостивыхъ подачкахъ и искать благодѣтелей.

Зная такой образъ мыслей и настроеніе моей пріятельницы, я ожидалъ, что ее въ большое негодованіе приведетъ дрянная книжонка о женщинахъ съ вопросительными знаками, изданная Суворинимъ, съ ея скабрёзно-циничнымъ содержаніемъ, съ ея взглядами на женщинъ исключительно съ точки зрѣнія особыхъ примѣтъ, съ ея призывомъ, наконецъ, запретить снова женщинъ въ терема, ради болѣе удобнаго созерцанія и пользованія этими особыми примѣтами. Но представьте, я былъ очень удивленъ, когда пріятельница моя не только ничѣмъ не возмущилась въ вышеозначенной книгѣ, а лишь прониклась глубокою жалостью къ автору ея. Даже слезы показались на ея глазахъ, когда она произнесла слѣдующія слова: — «Бѣдный, бѣдный! должно быть не было у него ни доброй матери, которую-бы онъ страстно обожалъ и любилъ, ни сестры, за честь которой онъ стоялъ-бы горю, и не видѣлъ онъ въ теченіи всей жизни своей ни одной маломальски порядочной женщины!.. Бѣдный!.. Гдѣ онъ родился? Гдѣ онъ прожилъ всю свою жизнь?»...

При этихъ послѣднихъ словахъ мнѣ сдѣлалось даже страшно. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ онъ родился? Гдѣ прожилъ всю жизнь? Представьте себѣ (я говорю не объ авторѣ книги, не зная, что за личность скрывается подъ вопросительнымъ знакомъ, а такъ, вообще), представьте, что человѣкъ родился-бы въ пансіонѣ извѣстнаго сорта, провелъ-бы все дѣтство и часть

юности въ такомъ богоугодномъ заведеніи, — имѣли-бы мы право требовать, чтобы господинъ этотъ глядѣлъ на женщинъ и на женскій вопросъ съ какой либо иной точки зрѣнія, какъ не съ той, съ какой этотъ предметъ представляется въ его *alma mater*? Только и оставалось-бы вмѣстѣ съ моею пріятельницей восклицать: бѣдный, бѣдный!

### III.

Но совершенно иное впечатлѣніе произвели на ту же самую барыню рѣчи гр. Толстого по поводу женскаго вопроса, которыя привелось ей слышать изъ его устъ, въ бытность ея въ Москвѣ. Надо замѣтить, что гр. Л. Толстой былъ до сихъ поръ большой любитель моей пріятельницы, и послѣднія сочиненія его она читала съ увлеченіемъ, и это очень понятно. Скромная и усердная труженица, она къ себѣ самой примѣняла весь тотъ апофеозъ труда который находила въ сочиненіяхъ гр. Л. Толстого; она смѣло причисляла себя къ тѣмъ людямъ, которые, по выраженію гр. Л. Толстого, *дѣлаютъ жизнь* и изъ этого почерпаютъ всю свою *тпру въ нее*. Подобно гр. Л. Толстому, она осуждала роскошь и чуждалась ея; если-же и имѣла двѣ прислуги, то это совсѣмъ было не то, что графскіе слуги; это были лишь помощники ея, не мѣшавшіе ей своими руками совершать положивъ своего семейнаго обихода. Симпатизировала она даже и ученію гр. Л. Толстого о непротивленіи злу насиліемъ, что совершенно гармонировало съ ея мирнымъ существованіемъ, исполненнымъ труда, равно необходимаго для добрыхъ и злыхъ, строптивыхъ и кроткихъ. Ей некогда было и думать о какихъ-либо противленіяхъ, и только иногда возмущалась въ ней женщина и она говорила:

— „Я готова, пожалуй, уступить гр. Л. Толстому не только обѣ ланиты, но и шею; но если кто вздумаетъ тронуть моего ребенка, тутъ ужъ извините, я не ручаюсь, что не обращусь въ тигрицу, и чувствую, что никакая сила воли не удержитъ меня... Гр. Л. Толстой — мужчина, и ему никогда этого не понять!“

Нынѣ, на Рождествѣ, пришлось моею пріятельницѣ проѣхаться въ Москву, и тамъ она гдѣ-то встрѣтилась съ гр. Л. Толстымъ. По пріѣздѣ оттуда, при первомъ-же моемъ визитѣ къ нимъ, она почти сразу заговорила о своемъ свиданіи съ авторомъ „Войны и мира“, — и, можете себя представить, я ея не узналъ: щеки ея пылали, глаза метали искры и были полны слезъ. Она имѣла видъ женщины, глубоко кѣмъ-либо оскорбленной.

— Представьте себя, восклицала она съ негодованіемъ, — графъ-то Левъ Николаевичъ, святой человѣкъ не отъ міра сего, что мнѣ наговорилъ насчетъ нашей братіи, учащихъ женщинъ!... Да никто еще въ жизни моей не нанесъ мнѣ такого кроваваго оскорбленія, не поправилъ всѣхъ моихъ идеаловъ такъ безчеловѣчно и черство, не насмѣялся такъ надъ всѣми моими самыми лучшими инстинктами. И все это такъ бездоказательно, хотя въ тоже время, на основаніи, яко-бы, ученія любви и милосердія... Это возмутительно!... ужасно!... Я ничего подобнаго не встрѣчала и не ожидала, и отъ кого-же!...

Я просилъ пріятельницу успокоиться и рассказать толкомъ, въ чемъ дѣло. Долго горячилась барыня и ограничивалась одними восклицаніями, въ родѣ вышеприведенныхъ; наконецъ, изливъ все свое негодованіе, она передала во всѣхъ подробностяхъ отъ слова до слова свое свиданіе съ гр. Л. Толстымъ. Оказалось, что почтенный авторъ „Войны и мира“ затронулъ въ разговорѣ съ пріятельницей женскій вопросъ и отнесся къ нему весьма неблагоприятно. По счастью, не надѣясь на свою память, барыня записала все, что говорилъ ей гр. Л. Толстой по этому поводу. И я, съ своей стороны, считаю не лишнимъ подѣлиться этимъ съ моими читателями. За то, что барыня совершенно вѣрно передала мысли гр. Толстого и ничего не прибавила отъ себя, я могу поручиться. Такъ вотъ, какъ смотритъ гр. Л. Толстой на женскій вопросъ:

### IV.

«Какъ сказано въ библии — объяснилъ онъ моею пріятельницѣ, — мужчинъ и женщинъ данъ законъ — мужчинъ законъ труда, женщинъ — законъ рожденія дѣтей. Хотя мы по нашей наукѣ и *posons avous changé tout ça*, но законъ мужчины, какъ и женщины, остается неизмѣннымъ, какъ печень на своемъ мѣстѣ, и отступленіе отъ него казнится все также неизбѣжно смертью. Разница только въ томъ, что для мужчины отступленіе отъ закона казнится смертью въ такомъ близкомъ будущемъ, что оно можетъ быть названо настоящимъ, для женщины же отступленіе отъ закона казнится въ болѣе далекомъ будущемъ. Отступленіе общее всѣхъ мужчинъ отъ закона уничтожаетъ людей тотчасъ-же; отступленіе всѣхъ женщинъ уничтожаетъ людей слѣдующаго поколѣнія. Отступленіе-же нѣкоторыхъ мужчинъ и женщинъ не уничтожаетъ рода человѣческаго, а лишаетъ только отступившихъ разумной природы человѣка. Отступленіе мужчинъ отъ закона началось давно въ тѣхъ классахъ, которые могли насиловать другихъ, и, все распространяясь, продолжалось до нашего времени, а въ наше время дошло до безумія, до идеала, состоящаго въ отступленіи отъ закона, до идеала, выраженнаго княземъ Блохинымъ и раздѣляемаго Ренаномъ и всѣмъ образованнымъ міромъ: будутъ работать машины, а люди будутъ наслаждающіеся кожей нервовъ. Отступленія отъ закона женщинъ почти не было. Оно выражалось только въ проституціи и въ частныхъ преступленіяхъ убиванія плода. Женщины круга людей богатыхъ исполняли свой законъ, тогда какъ мужчины не исполняли своего закона, и потому женщины стали сильнѣе и продолжаютъ властвовать и должны властвовать надъ людьми, отступившими отъ закона и потому потерявшими разумъ. Говорятъ обыкновенно, что женщина (парижская женщина преимущественно, бездѣтная) такъ стала обворожительна, пользуясь всѣми средствами цивилизаціи, что она этимъ своимъ обаяніемъ овладѣла мужчиной. Это не только несправедливо, но какъ разъ на-оборотъ. Овладѣла мужчиной не бездѣтная женщина, а мать, — та, которая исполняла свой законъ, тогда какъ мужчина не исполнялъ своего. Та-же женщина, которая искусственно дѣлается бездѣтною и плѣняетъ мужчину своими плечами и локонами, это — не властвующая надъ мужчиной женщина, а развращенная мужчиной, опустившаяся до него, до развращеннаго мужчины, женщина, сама, такъ-же, какъ и онъ, отступающая отъ закона и теряющая всякій разумный смыслъ жизни. Изъ этой ошибки вытекаетъ и та удивительная глупость, которая называется правами женщинъ. Формула этихъ правъ женщинъ такая: «А! ты,

мужчина,—говорить женщина,—отступилъ отъ своего закона настоящаго труда, а хочешь, чтобы мы несли тяжесть нашего настоящаго труда? Нѣтъ, если такъ, то мы, также, какъ и ты, сумѣемъ дѣлать то подобіе труда, которое ты дѣлаешь въ банкахъ, министерствахъ, университетахъ, академіяхъ; мы хотимъ, также, какъ и ты, подъ видомъ раздѣленія труда, пользоваться трудами другихъ и жить, удовлетворяя одной похоти». Онъ говоритъ это и на дѣлѣ показываютъ, что онъ никакъ не хуже, еще лучше мужчинъ умѣютъ дѣлать это подобіе труда. Такъ называемый, женскій вопросъ возникъ и могъ возникнуть только среди мужчинъ, отступившихъ отъ закона настоящаго труда. Стоитъ только вернуться къ нему, и вопроса этого быть не можетъ. Женщина, имѣя свой особенный, незаменимый трудъ, никогда не потребуетъ участія въ трудѣ мужчины,—въ рудникахъ, на пашнѣ. Она могла потребовать участія только въ мнимомъ трудѣ мужчинъ богатаго класса.

«Если-бы только женщины поняли свое значеніе, свою силу и употребляли ее на дѣло спасенія своихъ мужей, братьевъ и дѣтей, на спасеніе всѣхъ людей! Жены—матери богатыхъ классовъ, спасеніе людей нашего міра отъ тѣхъ волъ, которыми онъ страдаетъ, въ вашихъ рукахъ. Не тѣ—женщины, которыя заняты своими тайнами, турнирами, прическами и плѣнительностью для мужчинъ и, противъ своей воли, по недогадкѣ, съ отчаяніемъ рожаютъ дѣтей и отдають ихъ кормилицамъ; и не тѣ тоже, которыя ходятъ на разные курсы и говорятъ о психомоторныхъ центрахъ и дифференціаціи и тоже стараются избавиться отъ рожденія дѣтей съ тѣмъ, чтобы не препятствовать своему одурмѣнію, которое они называютъ развитіемъ, а тѣ—женщины и матери, которыя, имѣя возможность забыть отъ рожденія дѣтей, прямо, сознательно подчиняются этому вѣчному, неизмѣнному закону, зная, что тягость и трудъ этого подчиненія есть назначеніе ихъ жизни, вотъ эти-то женщины и матери нашихъ богатыхъ классовъ—тѣ, въ рукахъ которыхъ, больше чѣмъ въ чьихъ-нибудь другихъ, лежитъ спасеніе людей нашего міра отъ удручающихъ ихъ бѣдствій. Вы, женщины и матери, сознательно подчиняющіяся закону Бога, вы одни знаете, въ нашемъ несчастномъ, изуродованномъ, потерявшемъ образъ человѣческой круги, вы одни знаете весь настоящій смыслъ жизни, по закону Бога, и вы одни своимъ примѣромъ можете показать людямъ то счастье жизни въ подчиненія воли Бога, котораго они лишаютъ себя. Вы одни знаете тѣ восторги и радости, захватывающія все существо, то блаженство, которое предназначено человѣку, не отступающему отъ закона Бога. Вы знаете счастье любви къ мужу—счастье, не кончающееся, не обрывающееся, какъ всѣ другія, а составляющее начало новаго счастья, любви къ ребенку. Вы одни, когда вы просты и покорны волѣ Бога, знаете не тотъ шуточный парадный трудъ, въ мундирахъ и въ освѣщенныхъ залахъ, который мужчины нашего круга называютъ трудомъ, а знаете тотъ истинный, Богомъ положенный людямъ трудъ и знаете истинныя награды за него, то блаженство, которое онъ даетъ».

## V.

Но тутъ барыня вырвала у меня изъ рукъ записку свою, которую я читалъ громко и вскричала:

— «Нѣтъ, ради Христа, будетъ, будетъ, я не въ силахъ слушать болѣе, я боюсь, что сейчасъ разрываюсь!.. Ну, положижь, пусть гр. Л. Толстой, уткнувшись въ свой затхлый и темный уголъ, просматривалъ тотъ общій и дружный отпоръ, какой сдѣлало наше интеллигентное общество ученію Мальтуса, въ лицѣ

лучшихъ своихъ литературныхъ и ученыхъ представителей, такъ что увлеклись этимъ ученіемъ развѣ только одни мутные подонки этого общества, нѣсколько растлѣнныхъ и распушенныхъ сластолюбцевъ, вышедшихъ изъ крѣпостныхъ сералей. Допустимъ, что мы, посѣщающіе курсы и дерзающіе говорить о психомоторныхъ центрахъ, и въ самомъ дѣлѣ проклятыя отродья, которыхъ графъ, съ высоты своей святости, имѣетъ полное право ставить въ одинъ рядъ съ француженками-кокотками и проститутками, хотя я, все-таки, никакъ не могу понять, чѣмъ я не жена своему мужу, чѣмъ я не мать своимъ дѣтямъ, и какъ это медицина можетъ помѣшать мнѣ честно исполнять семейныя обязанности мои!... Но допустимъ... Какъ-же графъ упустилъ изъ вида тѣ самыя трудящіяся массы, которыя, по его мнѣнію, дѣлають жизнь, и которыя онъ ставитъ, поэтому, въ основѣ жизни?.. По его мнѣнію, вся жизнь женщины, все ея время должно быть поглощено однимъ дѣтороженіемъ со всѣми его заботами?.. Ну, а крестьянка, которая, сверхъ этого, является помощницею своего мужа во всѣхъ его трудахъ, крестьянка, которая жнетъ, убираетъ сѣно, молотитъ, ходитъ за скотомъ, сажаетъ овощи въ огородахъ, полетъ грады, мочитъ ленъ, дѣлаетъ изъ него пряжу и проч., и проч., — значитъ, она тоже отступаетъ отъ основнаго закона своей природы и искажаетъ свой человѣческій образъ?.. Моя подруга провела надъ книгами нѣсколько лѣтъ самаго упорнаго труда для того, чтобы сдѣлаться образцовою учительницею. Вотъ уже три года, какъ она, завѣдуя сельскою школою, работаетъ, не жалѣя своихъ молодыхъ силъ, стремясь разливать вокругъ себя свѣтъ грамотности и науки! И она обречена проклятію, потому только, что судьба не послала ей до сихъ поръ мужа, который помогъ-бы ей исполнить вѣковѣчный законъ, хотя она вовсе не прочь отъ этого! И отъ кого-же остается намъ вдругъ ожидать спасенія? Отъ женщинъ, которыя, правда, никогда и не слыхали о Мальтусѣ, но которыя бессознательно, въ силу однихъ условий своей жизни, очень часто доходятъ до полнаго безплодія. Развѣ не показываетъ намъ статистика, что плодородіе чаще имѣетъ мѣсто, именно, среди трудящихся классовъ, тамъ, гдѣ женщина сверхъ дѣтороженія несетъ на себѣ массу мужскаго труда. Въ классахъ-же, гдѣ женщина имѣетъ возможность заниматься однимъ только дѣтопроизводствомъ, напротивъ того, мы встрѣчаемъ на каждомъ шагѣ барынь, приводящихъ своимъ безплодіемъ цѣлые роды къ вымиранию»...

Долго, возмущаясь и кипятясь, возражала моя знакомая, приводя массу и изъ современной, и изъ исторической жизни примѣровъ женщинъ, во всѣхъ отношеніяхъ святыхъ и пользующихся всеобщимъ почетомъ не за одно только дѣтороженіе и плодородіе. Если-бы я захотѣлъ привести всѣ эти доводы, то ихъ хватило-бы на цѣлую книгу. Тщетно старался я успокоить свою пріятельницу и заставить ее взглянуть на дѣло болѣе хладнокровно. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ-же, главнымъ образомъ, заключался источникъ всего ея раздраженія, какъ не въ ней-же самой? Вольно-же было ей возводить графа Л. Толстого въ какой-то кумиръ и авторитетъ для того, чтобы потомъ такъ жестоко разочароваться въ немъ! Давно

слѣдовало ей понять, что разъ человѣкъ отвергнулъ и науку, и искусство, и вмѣстѣ съ гнилыми плодами цивилизаціи, всѣ тѣ свѣжіе и питательные плоды ея, произростаніе которыхъ стоило человечеству тысячеклѣтнаго упорнаго и кроваваго труда, отвернулся отъ жизни и весь ушелъ въ буквѣдство, въ схоластическую премудрость сличенія текстовъ, то что-же мудренаго, если онъ и не до такихъ нелѣпостей договорится еще!

## V.

## Мой отвѣтъ Оболенскому.

## I.

Въ апрѣльской книжкѣ „Русскаго Богатства“ Оболенскій, или я ужъ не знаю кто изъ его сотрудниковъ (статья не подписана),—представилъ нѣсколько возраженій на мою замѣтку объ отношеніи гр. Л. Толстого къ женскому вопросу. Начинаетъ мой оппонентъ съ того, что я неправильно приписываю графу Л. Толстому отрицаніе науки и искусства, и въ доказательство приводитъ слѣдующую выписку изъ того-же самаго трактата графа Л. Толстого, изъ котораго цитировалъ и я.

«Наука и искусство,—говоритъ графъ Л. Толстой,—такъ-же необходимы для людей, какъ пища, питье и одежда, даже необходимыѣ; но они дѣлаются таковыми не потому, что мы рѣшимъ, что то, что мы называемъ наукою и искусствомъ,—необходимо, а только потому, что они дѣйствительно необходимы. Вѣдь, если для тѣлесной пищи людей будутъ готовить сѣно, то мое убѣжденіе въ томъ, что сѣно есть пища людей, не сдѣлаетъ того, что сѣно станетъ пищею людей. Я, вѣдь, не могу сказать: «что-жъ ты не ѣшь сѣна, когда оно—необходимая пища». Пища необходима, но можетъ случиться, что то, что я предлагаю,—вовсе не пища. Вотъ это самое и случилось съ нашею наукою и искусствомъ. Сколько-бы мы ни говорили,—*дѣло, которымъ мы занимаемся, считая козявкою и изсядуя химически (?) составъ млечнаго пути, рисуя русалокъ и историческія картины, сочиняя повѣсти и симфоніи,—наше дѣло не станетъ ни наукою, ни искусствомъ до тѣхъ поръ, пока оно не будетъ охотно приниматься тѣми людьми, для которыхъ оно дѣлается. А до сихъ поръ не принимается».*

Итакъ, повидимому, графъ Л. Толстой считаетъ науку и искусства столь-же необходимыми для людей, какъ пища, питье и одежда,—чего-же, казалось-бы, убѣдительноѣ, что онъ ихъ не отрицаетъ? Да, но это только *повидимому*, и напрасно оппонентъ мой возражаетъ мнѣ далѣе, что графъ Л. Толстой считаетъ наши науки и искусства фиктивными только потому, что они сосредоточены въ рукахъ немногихъ лицъ, которыя, занимаясь ими, присваиваютъ себѣ привилегію отклоняться отъ физическаго труда. Смѣшно было-бы отрицать пользу и достоинство какой-нибудь вещи только потому, что вещь эта, сама по себѣ драгоцѣнная, лежитъ запертою въ коммодѣ, а не предоставляется во всеобщее употребленіе. Да гр. Л. Толстой этого и не дѣлаетъ. Правда, въ приведенной выпискѣ онъ говоритъ, что наше

дѣло (козявки, млечный путь, повѣсти, симфоніи) не станетъ ни наукою, ни искусствомъ до тѣхъ поръ, *пока не будетъ приниматься охотно тѣми, для кого дѣлается*; но на одной этой фразѣ нельзя еще строить весь взглядъ гр. Л. Толстого на значеніе наукъ и искусствъ, какъ это дѣлаетъ мой почтенный оппонентъ. Слѣдуетъ взять во вниманіе весь трактатъ гр. Л. Толстого объ этомъ предметѣ, и тогда мы увидимъ, что въ подчеркнутой нами фразѣ таится совершенно особенный смыслъ, и что нельзя понимать ее такъ, какъ понимаетъ мой почтенный оппонентъ.

## II.

Вѣдь, если-бы въ трактатѣ гр. Л. Толстого все дѣло сводилось къ тому горячему когда-то, но давно сданному въ архивъ спору о чистой наукѣ и чистомъ искусствѣ, который въ концѣ 50-хъ годовъ стоялъ на первомъ планѣ въ нашей литературѣ, то стояло-ли гр. Л. Толстому огорождать городить и капусту садить? Для кого-же теперь не ясно, какъ божій день, что ученый не долженъ быть архивною крысою и, уткнувшись въ какую-нибудь узенькую спеціальность, всю жизнь проводить въ томъ, чтобы изучать бугорокъ на какой-нибудь микроскопической козявкѣ, а обязанъ охватывать всю науку и всѣ прилегающія къ ней отрасли знанія и стремиться прилагать свои свѣдѣнія къ пользѣ своего народа и всего человечества; что и художникъ, въ свою очередь, долженъ творить не для одного личнаго самоуслажденія и эстетическихъ восторговъ небольшой кучки знатоковъ, а для массъ, съ цѣлью поднятія умственнаго и нравственнаго ихъ уровня. Если-бы весь трактатъ гр. Л. Толстого сводился къ подобнымъ трюизмамъ, то это было-бы безцѣльное повтореніе задовъ и новое открытіе Америкъ.

Но въ томъ-то и дѣло, что гр. Л. Толстой отрицаетъ науки и искусства отнюдь не въ томъ смыслѣ, какъ это полагаетъ мой оппонентъ, т. е. что они, молъ, существуя на народныхъ деньги, стоютъ народу очень дорого, а ничего ему не даютъ. Нѣтъ, нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Во многихъ мѣстахъ своего трактата Л. Толстой очень прямо и ясно даетъ понять, что науки и искусства, въ томъ видѣ, какъ они существуютъ, по самому существу своему фиктивны и не способны дать что-либо народу, что, если-бы они ничего народу не стоили, а предлагались-бы ему даромъ, если-бы, затѣмъ, ученые, между прочимъ, занимались какими ни на есть каторжными физическими трудами, то и въ такомъ случаѣ народъ не принялъ-бы нашихъ наукъ, а презрительно отвергъ-бы, потому что для народа необходимы совсѣмъ иныя науки и искусства... Какія-же именно?..

## III.

Объ искусствѣ мы спорить не будемъ. Относительно его критика не одинъ уже десятокъ лѣтъ твердитъ, что для того, чтобы искусство встало вполнѣ на народную почву и удовлетворяло массы, оно должно подвергнуться полному перевороту, причежъ, конечно, переворотъ этотъ зависить не отъ личнаго произво-

да художниковъ, а отъ естественнаго и органическаго хода вещей. Объ искусствѣ тѣмъ болѣе бесплодно намъ спорить, что дѣятельность на половину непронзвольная, обуславливаемая и духомъ времени, и духомъ среды, и личными особенностями тѣхъ или другихъ художниковъ, — искусство, дѣйствительно, подъ вліяніемъ ненормальныхъ условій можетъ всецѣло стоять на ложной дорогѣ и быть фиктивнымъ, каковы, напримѣръ, и были произведенія ложно-классическія, романтическія и масса другихъ, имѣющихъ нынѣ одно историческое значеніе, и которыми если и продолжаютъ восторгаться, то по рутинѣ, утвердившейся вѣками, словно по какой-то, хотя и скучной, но, все-таки, священной обязанности.

Но другое дѣло — наука, стоящая на отвлеченной, международной и междувременной почвѣ врожденной человѣку любознательности. Разъ истина есть несомнѣнная истина, то какъ можетъ быть она фиктивна или не фиктивна, полезна или бесполезна? Какъ сказать уму: вотъ этимъ ты, умъ, интересуйся, это изслѣдуй, а сюда и заглядывать не смѣй. Я очень былъ бы радъ, чтобы Оболенскій, именно никто иной, какъ Оболенскій, издающій научно-популярный журналъ, на страницахъ котораго очень часто вы встрѣчаете рѣчи и о козявкахъ, и о млечномъ пути, далъ мнѣ списочекъ, какими предметами науки я имѣю право интересоваться и какими не имѣю.

Вѣдь, вотъ я въ своей душевной простотѣ наивно думалъ, что заниматься козявками не только интересно, но и полезно для самого того народа, о которомъ такъ заботятся гр. Л. Толстой и Оболенскій. Мнѣ, когда я вспоминалъ Дженнера съ его вакцинаціей, приходило на память, что, когда у насъ вводилась вакцинація, народъ сильно сопротивлялся этому и подозрѣвалъ въ оспопрививаніи наложеніе антихристовыхъ печатей. Теперь Оболенскій, дѣлая выписку изъ трактата Л. Толстого о фиктивности занятія козявками, пока народъ не будетъ съ *охотою* принимать научныя истины и, соглашаясь съ этою выпискою, предлагаетъ мнѣ этимъ самымъ считать фиктивными и Дженнера, и ту несомнѣнную пользу, которую принесла народу вакцинація, избавивъ въ теченіи ста лѣтъ не одинъ десятокъ тысячъ людей отъ преждевременной смерти.

О пользѣ-же изученія состава млечнаго пути, далеко не представляющей такой очевидности, какъ изслѣдованія Дженнера и Пастера, — и говорить, конечно, нечего. Долой всю астрономію безъ всякихъ возраженій, — для чего она народу!..

Да, Оболенскій, я жду отъ васъ, какъ манны небесной, осчастливьте меня списочкомъ наукъ нужныхъ и ненужныхъ. Особенно дорого мнѣ получить отъ васъ такой списочекъ потому именно, что изъ вашего журнала я извлекъ убѣжденіе, что всѣ науки, всѣ отрасли знанія находятся въ тѣсной и неразрывной связи между собою, что нѣтъ возможности вынуть хоть одинъ кирпичикъ и надѣяться, что дѣло можетъ обойтись безъ него и чтобы все зданіе не рухнуло. Связь эта не только не уменьшается, а напротивъ того, растетъ, и можетъ быть близко время, когда всѣ науки сольются въ одну единую и нераздѣльную. На этомъ основаніи я полагалъ, что если одну

науку мы станемъ считать несомнѣнно полезною для народа, то полезны и всѣ прочія, потому что нѣтъ возможности изучать одну безъ посредства другихъ. Такъ, напримѣръ, положимъ, что знаніе состава млечнаго пути можетъ казаться совершенно бесплоднымъ и празднымъ; но, вѣдь, это часть астрономіи. Безъ изученія-же астрономіи, немыслима метеорологія, — наука, пользу которой для народа, даже и въ настоящемъ ея несовершенномъ видѣ, отрицать болѣе тѣмъ курьезно.

Въ томъ-то и дѣло, что, увы, никогда Оболенскій не дастъ мнѣ списочка, о которомъ я прошу, потому что заняться составленіемъ такого списочка, значило бы для него отказаться отъ всего своего прошедшаго и настоящаго, и поставить и самого себя, и журналъ, который онъ издаетъ, въ невообразимый и невозможный абсурдъ!

#### IV.

А вотъ гр. Л. Толстой, если мы обратимся къ его трактату, тотчасъ-же безъ малѣйшаго замедленія и затрудненія отвѣтитъ на нашъ вопросъ съ тою смѣлостью и категоричностью, съ которыми онъ трактуетъ обо всѣхъ вещахъ. Ко всѣмъ, безъ исключенія, наукамъ, изъ которыхъ многія не перестаетъ уважать Оболенскій и до сегодня, гр. Л. Толстой относится съ открытымъ презрѣніемъ и ненавистью. Самия слова: „положительное знаніе“, „точная наука“ и т. п. въ глазахъ его имѣютъ, словно, какое-то бранное значеніе и онъ въ трактатѣ своемъ не иначе употребляетъ эти слова, какъ прибавляя къ нимъ различныя унизительныя выраженія, въ родѣ „такъ-называемыя“ и „съ позволенія сказать“. Всѣ науки, преподаваемыя въ университетахъ, — и астрономію, и фізіологію, и химію, и фізику, и медицину, и пр., — онъ считаетъ въ одинаковой степени не стоящими выѣденнаго яйца, и, опять-таки, не потому, чтобы науки эти были для народа дороги и существовали для немногихъ, а потому, что народъ по существу не нуждается въ нихъ. Для народа необходима совсѣмъ иная наука, которая учила-бы не тому, что такое млечный путь, или какое-то тамъ, прахъ его возьми, тяготѣніе, а какъ человѣку жить праведно, чтобы спастись. Вотъ это-то и есть, по мнѣнію графа Л. Толстого, наука истинная въ отличіе отъ всѣхъ прочихъ, фиктивныхъ; ея-то, именно, народъ и жаждетъ; ея-то только и способенъ онъ принимать охотно. Гр. Л. Толстой приводитъ въ своемъ трактатѣ списокъ тѣхъ истинныхъ мудрецовъ, которые учили людей не млечнымъ путямъ и козявкамъ, а какъ жить праведно; таковы были Будда, Конфуцій, Магометъ и прочіе проповѣдники въ такомъ-же родѣ. Эти провозгласители вѣковѣчныхъ истинъ, по мнѣнію гр. Л. Толстого, одни только могутъ быть признаны истинными мудрецами и учеными; они одни только доступны и необходимы народу. Это разъясняетъ намъ и тотъ сокровенный смыслъ, который таится въ приведенной имомъ почтеннымъ оппонентомъ цитатѣ, — смыслъ, который совершенно напрасно оппонентъ мой утаиваетъ. Да, совершенно справедливо, что гр. Л. Толстой считаетъ науку необходимѣе пищи, платья,



одежды, — но какую науку? Именно науку Будды, Магомета, Конфуція и пр., учащую народъ, какъ ему праведно жить; а прочія всѣ науки представляются гр. Л. Толстому тѣмъ самымъ сѣноиъ, которое мы предлагаемъ народу подъ видомъ пищи. Когда-же гр. Л. Толстой говоритъ, что наши науки до тѣхъ поръ не будутъ науками, пока не станутъ охотно приниматься народомъ, онъ не безъ лукавства подразумеваетъ здѣсь, что онъ и никогда не способен охотно приниматься народомъ; поэтому онъ и заканчиваетъ свою рѣчь ироническимъ восклицаніемъ: „а до сихъ поръ не принимается!...“ Оппонентъ мой этого слона-то, именно, и не примѣтилъ. Читалъ-ли онъ весь трактатъ сполна?

## V.

Теперь обратимся къ возраженіямъ оппонента моего относительно женскаго вопроса. Возраженія эти оппонентъ мой начинаетъ съ того, что обвиняетъ меня въ искаженіи одного мѣста цитаты, приведенной мною изъ трактата графа Л. Толстого. У меня было приведено такъ: „Женщина, имѣя свой особенный, неизбѣжный трудъ, никогда не потребуетъ участія въ трудѣ мужчины: въ рудникахъ, на пашнѣ. Она могла потребовать участія только въ мнимомъ трудѣ мужчины богатаго класса“. Слѣдуетъ же читать такъ: „Женщина, имѣя свой особенный несомнѣнный, неизбѣжный трудъ, никогда не можетъ требовать еще лишняго фальшиваго труда мужчины богатыхъ классовъ. Ни одна жена истинно рабочаго человѣка не потребуетъ права участія въ его трудѣ: въ рудникахъ, на пашнѣ“.

Если Оболенскій предполагаетъ здѣсь какое-нибудь умышленное искаженіе съ моей стороны, то онъ очень ошибается. Я дословно привелъ цитату изъ бывшаго въ моихъ рукахъ текста, и не моя вина, если въ текстѣ оказался пропускъ, хотя нужно взять еще тутъ во вниманіе и вотъ какое обстоятельство. Извѣстно ли Оболенскому, что глава изъ трактата гр. Л. Толстого о женщинахъ существуетъ въ двухъ редакціяхъ: первоначальной, наиболѣе рѣзкой и переполненной непечатными словами, и позднѣйшей, въ которой гр. Л. Толстой многое измѣнилъ, сократилъ, выпустилъ. Я имѣлъ дѣло съ послѣдней редакціей, первоначальной-же не видалъ, и очень возможно, что разница, замѣченная Оболенскимъ, происходитъ отъ этого обстоятельства, а, можетъ быть, и отъ какого-либо иного, — я не знаю; да, къ тому-же, и разница эта далеко не такъ важна, и нисколько она не измѣняетъ дѣла, чтобы на ней особенно долго останавливаться. Обратимся къ самому дѣлу.

Возраженія моего оппонента заключаются въ томъ, что я будто-бы не замѣтилъ, что гр. Л. Толстой отрицаетъ стремленіе женщинъ не къ тому труду, который онъ считаетъ необходимымъ, полезнымъ, а къ тому, который онъ отрицаетъ и у мужчинъ. Гр. Л. Толстой видятъ, что есть женщины, которыя понимаютъ „женскій вопросъ“ въ томъ смыслѣ, что надо добиваться правъ на тотъ самый трудъ, который и для мужчинъ гр. Л. Толстой признаетъ безнравственнымъ;

какъ-же онъ можетъ отнестись иначе къ этому стремленію, какъ не отрицательно?

Далѣе оппонентъ мой утверждаетъ, что вотъ и нашъ знаменитый сатирикъ, Щедринъ, говоря о женскомъ вопросѣ, поставилъ, будто-бы, дѣло совершенно сходно; онъ указалъ на тѣ отдѣлы интеллигентнаго мужского труда, которые ему, по его убѣжденію, казались особенно несимпатичными, и спрашивалъ: „неужели женщина будетъ добиваться правъ и на эти роды мужского труда?“ Въ свою очередь, и Михайловскій, обсуждая женскій вопросъ, писалъ въ 70-хъ годахъ, что онъ не понимаетъ отдѣльнаго женскаго вопроса, что есть одинъ вопросъ — „рабочій“, и въ этотъ-то вопросъ входитъ, какъ часть, вопросъ женскій, но именно только какъ „рабочій“ женскій вопросъ. И только такому женскому вопросу можно сочувствовать, а вовсе не тому женскому вопросу, который имѣетъ въ виду тѣ права и привилегіи женщинъ, которыя нежелательны и у мужчинъ...

## VI.

И опять-таки осмѣливаюсь заявить моему почтенному оппоненту, что онъ имѣетъ дѣло не съ подлиннымъ гр. Л. Толстымъ, а съ фиктивнымъ, имъ самимъ, моимъ оппонентомъ, сочиненнымъ. Подлинный гр. Л. Толстой вовсе не ограничивается однимъ отрицаніемъ стремленій женщинъ къ такимъ интеллигентнымъ трудамъ, которые онъ считаетъ ложными и безнравственными у мужчинъ, а категорично утверждаетъ, что у женщинъ искони вѣковъ существуетъ уже свой специальный женскій трудъ рожденія и воспитанія дѣтей, что этотъ трудъ есть единственный истинный и вѣковѣчный женскій трудъ; — другихъ-же женскихъ трудовъ нѣтъ и быть не можетъ. Изъ этого прямо слѣдуетъ, что женскій вопросъ — фиктивенъ, въ свою очередь, по существу, что если-бы интеллигентный мужской трудъ сдѣлался истиннымъ, нравственнымъ, полезнымъ, женщина и въ такомъ случаѣ не должна была-бы добиваться его. Зачѣмъ-же это ей, когда она имѣетъ уже свой собственный трудъ, опредѣленный ей вѣковѣчнымъ закономъ? Судите сами, что же тутъ общаго со взглядами на женскій вопросъ Щедрина и Михайловскаго? Имъ только и остается отрещиваться отъ моего оппонента, который воображаетъ, что и они, подобно гр. Л. Толстому, держатся того мнѣнія, что женщины только и опредѣлено рожать и кормить, кормить и рожать.

До какой прямой и крайней послѣдовательности доходитъ въ этомъ отношеніи гр. Л. Толстой, мы можемъ судить изъ того, что, ради отстаиванія своего положенія о вѣковѣчномъ законѣ женскаго труда, онъ совершенно перевернулъ весь центръ тяжести своего міровоззрѣнія послѣднихъ лѣтъ. Обыкновенно въ міровоззрѣніи этомъ онъ опирался на народъ, на тѣ массы, которыя дѣлаютъ жизнь; отъ этихъ массъ онъ учился и ихъ непосредственной вѣрѣ, и происходящей изъ нея жизнерадостности, и упорству въ каторжномъ трудѣ, и незлобію, и спокойному отношенію къ болѣзнямъ, страданіямъ и самой смерти. Но дошло до женскаго вопроса, — и массы, творящія жизнь, оказались матеріаломъ совершенно неподхо-

дающимъ. Правда, *ни одна жена истинно рабочаю челоука не потребуеъ права участія въ его трудѣ: въ рудникахъ, пашихъ*, но не требуетъ просто потому, что нѣтъ никакой надобности и требовать того, что и безъ всякихъ требованій исполняется на практикѣ само собою: если имѣется нужда, то жена мужа и поле вспашетъ, и коней напоитъ, и въ лѣсъ съѣздитъ за дровами. А развѣ не встрѣчается большачихъ, которыя, въ качествѣ представительницъ душевыхъ надѣловъ, исправляютъ въ свой чередъ должность сотскихъ? А развѣ не случается, что иная большачиха, стоя во главѣ многочисленной семьи, ведетъ обширную торговлю?

Нѣтъ, массы, дѣлающія жизнь, оказываются здѣсь ни къ чему непригодными, и вдругъ, отвращаясь отъ нихъ, графъ Л. Толстой обращается внезапно въ другую сторону и восклицаетъ: „Жены—матери богатыхъ классовъ, спасеніе людей нашего міра отъ тѣхъ золъ, которыми онъ страдаетъ, въ вашихъ рукахъ“ и т. д. Это какъ нельзя болѣе понятно и въ высшей степени послѣдовательно: дѣйствительно, гдѣ же мы можемъ найти женщинъ, наиболѣе подходящихъ къ идеалу гр. Л. Толстого—исключительнаго исполненія вѣковѣчнаго закона дѣторожденія, какъ не въ тѣхъ классахъ, гдѣ женщина настолько обезпечена, что ничто не можетъ побудить ее заниматься несвойственными ей занятіями и она способна отдать-ся всецѣло своимъ дѣтямъ?

А мой почтенный оппонентъ разсыпается вдругъ въ увѣщаніяхъ гр. Л. Толстому обратить вниманіе на средніе классы и уразумѣть, что для нихъ курсы составляютъ вовсе не одну забаву и побрякушку моды, а существенную необходимость, и при этомъ исчисляются всѣ пункты этой необходимости. Но неужели моему почтенному оппоненту неизвѣстно, что гр. Л. Толстой искони признавалъ достойнымъ вниманія, какъ основы и края русской земли, только два класса: богатыхъ дворянъ и крестьянъ; на средніе-же классы онъ всегда смотрѣлъ презрительно, какъ на пеструю и безхарактерную толпу безпочвенныхъ проходимцевъ, какъ на нѣчто межеумочное, ублюдочное, какъ на клоаку, въ которую стекаетъ все выродившееся и потому обѣднѣвшее изъ высшихъ классовъ и все растлѣнное и оторвавшееся отъ крестьянскаго міра. Такъ сейчасъ, по указанію редакціи „Русскаго Богатства“, гр. Л. Толстой и обратитъ свое благосклонное вниманіе на средніе классы,—дожидайтесь!...

## VI.

„Трудъ мужчинъ и женщинъ“ гр. Л. Толстого и новыя возраженія мои на мнѣнія гр. Толстого о женскихъ обязанностяхъ.

### I.

Въ №№ 5—6 „Русскаго Богатства“ мы встрѣчаемъ два возраженія противъ тѣхъ изъ моихъ замѣтокъ, въ которыхъ я оспаривалъ идеи гр. Л. Толстого относительно женскаго вопроса и науки вообще:

возраженіе гр. Л. Толстого въ маленькой статейкѣ „Трудъ мужчинъ и женщинъ“ и самого издателя „Русскаго Богатства“, Оболенскаго, въ статьѣ: „Л. Н. Толстой и О. Контъ о наукѣ“. Вотъ, этими возраженіями теперь мы и займемся.

Игнорируя совершенно историческіе факты, свидѣтельствующіе о томъ, какъ различно было положеніе женщинъ и взглядъ на ихъ обязанности у различныхъ народовъ, и какое въ этомъ отношеніи пестрое разнообразіе видимъ мы и въ настоящее время на поверхности земного шара, гр. Л. Толстой категорически утверждаетъ, какъ нѣчто непреложное, что подобно тому, какъ солнце съ незапамятныхъ вѣковъ всегда восходило на востокѣ, а заходило на западѣ, такъ и женщина самою природою вещей предназначена только рожать и воспитывать дѣтей и всегда повсюду только этимъ и занималась и только сообразно этому и оцѣнивалась. „Таково,—говоритъ онъ,— всегда было общее мнѣніе и таково оно всегда будетъ, потому что такова сущность дѣла“.

При этомъ, подобно тому, какъ и въ первоначальномъ своемъ трактатѣ о женскомъ трудѣ, и въ своихъ настоящихъ возраженіяхъ гр. Л. Толстой совершенно игнорируетъ положеніе женщины въ томъ классѣ, который, сообразно всѣмъ его основнымъ идеямъ, сохраняетъ вполнѣ нормальную, разумно-естественную жизнь, долженствующую служить нашимъ идеаломъ, именно въ земледѣльческомъ классѣ. Гр. Л. Толстому не можетъ быть неизвѣстнымъ, что мужикъ оцѣниваетъ въ женщинѣ прежде всего работницу, въ качествѣ помощницы его въ земледѣльческомъ трудѣ, а потомъ уже самку. Онъ и при выборѣ себѣ жены руководствуется не тѣмъ, чтобы жена побольше дѣтей ему рожала, да была-бы хорошею кормилицею, а, чтобы она именно была *расторопною работницею*. Гр. Л. Толстому, вѣроятно, кромѣ того, хорошо извѣстно, что, кромѣ пахоты и косьбы, баба участвуетъ во всѣхъ прочихъ земледѣльческихъ работахъ, безъ исключенія. И неужели-же гр. Л. Толстому неизвѣстно, что совершенно вопреки его мнѣнію, будто нравственность женщины всегда и вездѣ оцѣнивается лишь по тому, насколько она правильно и честно исполняетъ свое исключительное призваніе, въ земледѣльческомъ классѣ выходитъ совершенно наоборотъ: если женщина обладаетъ дюжею силою, проворствомъ и неустанною энергіею въ земледѣльческомъ трудѣ, то и родные, и міряне обыкновенно сквозъ пальцы смотрятъ и на ея безплодіе, и на болѣе тяжкіе грѣшки по части вѣрности семейному долгу и не перестаютъ относиться къ ней съ уваженіемъ; крестьянка же, которая только и оказывается способною рожать и вскармливать, является несчастнымъ существомъ, терпящимъ всеобщее презрѣніе и даже побои отъ мужа и его родныхъ.

Я указываю на этотъ фактъ, какъ на основное опроверженіе взглядовъ гр. Л. Толстого на обязанности женщинъ, опроверженіе тѣмъ болѣе вѣское, что оно основывается на существенныхъ началахъ его-же собственнаго ученія, указывающаго намъ на *массы, оплачивающія жизнь*, призывающаго насъ идти изъ города въ деревни, на лоно природы и учиться жить у мужиковъ. Гр. Л. Толстой могъ въ первоначаль-

номъ трактатѣ о женщинахъ упустить изъ вида этотъ фактъ по неосмотрительности, по недомыслию, или просто потому, что онъ не успѣлъ еще отдѣлаться отъ нѣкоторыхъ своихъ ветхихъ и узкословныхъ предразсудковъ, но разъ ему указано было на такой колоссальный размѣровъ фактъ, и онъ въ своихъ возраженіяхъ, все-таки, продолжаетъ оспаривать его, то это выходитъ уже болѣе чѣмъ странно...

## II.

Но разъ гр. Л. Толстой, призывающій насъ учиться у мужика, извлекаетъ свои непреложные догматы женскихъ обязанностей изъ быта привилегированныхъ классовъ общества, жизнь которыхъ онъ самъ же считаетъ ненормальною, то этимъ онъ и намъ развязываетъ руки обратиться къ этимъ классамъ и посмотреть, дѣйствительно-ли здѣсь мы видимъ тотъ порядокъ въ распредѣленіи мужскихъ и женскихъ обязанностей, который гр. Л. Толстой считаетъ непреложнымъ, вездѣсущимъ и вѣчнымъ закономъ, его же не преидеши.

Но и здѣсь мы находимъ со стороны гр. Л. Толстого какое-то странное, слѣбое упорство въ искаженіи фактовъ, самыхъ очевидныхъ и общезвѣстныхъ. Въ земледѣльческихъ классахъ мы видѣли, что, вопреки взглядамъ гр. Л. Толстого, женщина оцѣнивается не только какъ самка, но и какъ участница наравнѣ съ мужемъ во всѣхъ почти работахъ. Здѣсь же, наоборотъ, намъ приходится отстаивать мужчину и доказывать, что совершенно напрасно полагаетъ гр. Л. Толстой, будто обязанности продолженія человеческого рода принадлежать исключительно женщинамъ, а мужчина совсѣмъ ихъ не раздѣляетъ и не участвуетъ въ нихъ. Вы только обратите вниманіе на большинство труженниковъ всякаго рода, живущихъ на зарабатываемыя деньги, чуждыхъ всякихъ новыхъ идей и вполне сохраняющихъ установленную вѣками норму семейной жизни; однимъ словомъ, мужъ занимается тою или другою профессіею, жена рождаетъ, вскармливаетъ дѣтей, хозяйничаетъ и только.

На первый поверхностный взглядъ вамъ кажется, что такая семья вполне соотвѣтствуетъ идеалу гр. Л. Толстого относительно распредѣленія обязанностей. Но это можетъ показаться, именно, только на первый взглядъ, самый поверхностный и легкомысленный. А если вглядимся въ подобный семейный строй глубже, что же мы увидимъ? Мы увидимъ, что дѣйствительно женскія обязанности по отношенію къ дѣтямъ являются передъ нами гораздо интенсивнѣе, чѣмъ мужскія: женщина несетъ на себѣ иго беременности, родитъ въ страшныхъ мукахъ, ежеминутно угрожающихъ ей смертію, кормитъ ребенка своею грудью (не всегда, правда, но мы беремъ вполне нормальную, идеальную семью), ходитъ за нимъ, нянчить, обмываетъ, любить его страстище и нѣжнѣе, чѣмъ отецъ... Но мы не говоримъ уже, что и во всѣхъ этихъ первоначальныхъ процессахъ продолженія человеческого рода роль мужа не маловажная, не говоримъ также и обо всѣхъ аксессуарахъ дѣторожденія, созданныхъ жизнью (акушеркахъ, крестинахъ, дѣтскихъ игрушкахъ и т. п.),—для того уже, чтобы вполне правильно и

гигіенично совершился актъ беременности и родовъ и чтобы женщина оказалась хорошею кормилицею, т. е., чтобы продолженіе человеческого рода не было одною комедіею, а, дѣйствительно, имѣло мѣсто, мужъ *обязанъ* принять въ этомъ участіе, окруживъ жену такою обстановкою, чтобы она могла быть здоровою роженицею и кормилицею. Обстановка же эта дается не даромъ труженнику, не имѣющему готовыхъ капиталовъ; средства на нее необходимо заработать; и вотъ является излишекъ труда, въ которомъ человекъ не нуждался бы, если бы былъ одинъ со своею головою, а теперь приходится впрягаться въ лишніе оглобли и нести дань тому же продолженію рода. Женщина, отбывши свою повинность, покоится на лаврахъ; а для мужчины тутъ только и начинается страданія, которая съ каждымъ годомъ растетъ, какъ комъ снѣга, скатывающійся съ горъ, и экстенсивно разстилается порою на всю жизнь до гробовой доски. И если бы еще страданія ограничивались одними материальными средствами, которыми мужъ снабжалъ бы жену, предоставляя ей всецѣло заботиться о возрощеніи дѣтей. А то нѣтъ: мужъ обязанъ участвовать въ воспитаніи дѣтей наравнѣ съ женою. Плохой тотъ отецъ, который не печется о нравственномъ и умственномъ воспитаніи дѣтей, не учитъ ихъ, чему можетъ, не заботится о помѣщеніи ихъ въ учебное заведеніе, не слѣдитъ за ихъ успѣхами и нравственностью. Тутъ нѣтъ физическихъ болей, но сколько здѣсь зато нравственныхъ мукъ, пытокъ, не ограничивающихся какими-нибудь девятимѣсячными сроками, а изъ года въ годъ тянущихся непрерывно.

## III.

Противники женскаго труда говорятъ, обыкновенно, что разъ женщина несетъ и безъ того очень тяжелыя обязанности по дѣтороженію и хозяйству, жестоко было бы налагать на нее новыя еще тяжести. Но, главнымъ образомъ, опираются они на то, что семейныя обязанности совершенно прерываются, когда женщина занята чѣмъ-либо постороннимъ: представьте себѣ, говорятъ,—что назначено засѣданіе суда, а предсѣдатель или прокуроръ въ юбкѣ вдругъ приходитъ время рожать. Но не будемъ долго останавливаться на опроверженіи подобныхъ абсурдовъ и достаточно будетъ привести намъ тотъ доводъ, что женщина можетъ рожать только разъ въ годъ, предсѣдатель же, мужчина, можетъ разъ десять въ годъ внезапно захворать, и никому не приходится въ голову опровергать на подобныхъ шаткихъ основаніяхъ компетентность мужчинъ на занятіе судейскихъ должностей.

Обратимъ лучше вниманіе вотъ на какое обстоятельство. Если не только внимательство женщины въ мужскіе труды, но самое образованіе ея, мало-мальски превышающее элементарную грамотность, гр. Л. Толстой считаетъ уже щепнемъ, засыпающимъ драгоценный черноземъ, который весь исключительно долженъ быть употребленъ на жатву человеческого рода, то, по закону раздѣленія труда, совершенно логически и послѣдовательно, мы должны и мужчинъ, обрекая исключительно на труды увеличенія блага въ

существующемъ человечествѣ, освободить отъ всѣхъ дѣтопроизводительныхъ заботъ и считать эти заботы тоже своего рода щербнемъ, засоряющимъ черноземъ. Помилюйте, содержаніе ребенка, вмѣстѣ съ воспитаніемъ, самое скромное, нищенское, никакъ не можетъ обойтись дешевле 200 р. въ годъ. Если дѣтей въ семействѣ шестеро (а графъ Л. Толстой о томъ только и хлопочетъ, чтобы ихъ было побольше), то дѣтопроизводительный бюджетъ долженъ простирается до 1,200 рублей. Предполагая затѣмъ, что поставленіе ребенка на ноги простирается не менѣе 20 лѣтъ, мы имѣемъ капиталъ въ 24,000, который чадолубивый отецъ обязанъ затратить на своихъ дѣтей въ продолженіе своей жизни. Теперь подумайте, сколько на этотъ капиталъ могъ сдѣлать бы мужчина затратъ, необходимыхъ для улучшенія своего труда, если бы, сообразно предположеніямъ гр. Л. Толстого, онъ былъ преданъ исключительно своимъ мужскимъ обязанностямъ, т. е., въ свою очередь, представлялъ бы изъ себя дѣвственный черноземъ, не засоряемый никакимъ постороннимъ мусоромъ? Но вы мало того что допускаете, — вы требуете, чтобы мужчина часть своего времени и зарабатываемыхъ денегъ употреблялъ на продолженіе человечества; вы смотрите, какъ на человека въ высшей степени безправственнаго, какъ на презрѣннаго негодая, на мужчину, который, производя дѣтей, бросаетъ ихъ на руки женщины и не тратится на нихъ, не заботится о нихъ, какъ подобаетъ отцу. На какомъ же основаніи, заботясь о томъ, чтобы съ женщины не сдирали двухъ шкуръ, вы хотите сдирать по двѣ шкуры съ мужчины?

Понимаете-ли вы, какая кроется здѣсь вопиющая несправедливость и отсутствіе всякой логики? И никогда мы не выберемся изъ этого лабиринта противорѣчій, если мы не признаемъ, что единственный, вполне логичный, справедливый и разумный идеалъ семейной жизни заключается въ томъ, чтобы какъ на мужа, такъ и на жену, въ равной степени, смотря, конечно, по особенностямъ мужской и женской природы, были возлагаемы обязанности какъ продолженія человечества, такъ и увеличенія блага въ средѣ его. Это мы и видимъ въ крестьянской семьѣ. Гр. Л. Толстой-же отворачивается отъ крестьянской семьи, а ищетъ идеала семейной жизни въ богатыхъ слояхъ общества, гдѣ масса всякаго рода извращеній и лжи ослѣпляютъ его и приводятъ къ извращеннымъ и ложнымъ выводамъ.

#### IV.

Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, откуда могъ взять гр. Л. Толстой тотъ законъ распредѣленія мужскихъ и женскихъ обязанностей, который онъ считаетъ чѣмъ-то всегда существовавшимъ, существующимъ и на вѣки вѣковъ непреложнымъ? Изъ той прародительской заповѣди, которую онъ ставитъ во главѣ своего трактата? Но прародительская заповѣдь, заповѣдующая мужчинамъ въ потѣ лица зарабатывать хлѣбъ свой, а женщинамъ — въ мукахъ рожать чада, не заключаетъ въ себѣ и тѣни какого-либо отрицательнаго смысла въ видѣ запрещенія мужчинамъ заботиться о дѣтяхъ

своихъ, а женщинамъ — вмѣшиваться въ зарабатываніе хлѣба. Въ крестьянскомъ быту, въ свою очередь, гр. Л. Толстой не могъ найти ничего подобнаго. Даже и въ городскомъ извращенномъ быту, въ трудящихся классахъ, какъ мы видимъ, не существуетъ такого правильнаго распредѣленія: правда, женщина здѣсь рѣдко и мало участвуетъ въ мужскихъ трудахъ, зато мужчина, относительно дѣтей, только что не рождаетъ, да грудью не вскармливаетъ, а всѣ остальные заботы и хлопоты о чадахъ въ большей степени лежатъ на его плечахъ, чѣмъ жены его. Гдѣ-же, наконецъ, это *всегда и вездѣ* гр. Л. Толстого? А вотъ гдѣ: тамъ, гдѣ люди не трудятся, а ѣдятъ даровой хлѣбъ, гдѣ, дѣйствительно, женщины, если она помнитъ о своихъ человеческихъ обязанностяхъ, только и остается, что рожать дѣтей и воспитывать ихъ, а мужчина можетъ отложить о дѣтяхъ всякія попеченія, такъ какъ даровой хлѣбъ и безъ его заботъ прокормитъ ихъ, и ему только и остается, что предаваться различнымъ общественнымъ обязанностямъ, если онъ не желаетъ помереть со скуки.

Такимъ образомъ, вотъ откуда ведутъ свои начала тѣ идеи о распредѣленіи мужскихъ и женскихъ обязанностей, съ которыми выступаетъ нынѣ гр. Л. Толстой такъ догматически и категорически. Это сидитъ въ почтенномъ авторѣ „Войны и мира“ весьма ветхая закваска крѣпостнаго права. Я весьма далеко отъ какихъ-либо изысканій и пытаній относительно того, насколько гр. Л. Толстой въ своей личной жизни вѣренъ своимъ идеямъ и насколько противорѣчить имъ, — представляю это дѣло его совѣсти и не беру на себя права судить его, какъ человека, тѣмъ болѣе, что и не знаю его жизни и поведенія. Но другое совѣсть дѣло, когда мы читаемъ его напечатанныя строки, и онъ передъ нами является какъ публицистъ и проповѣдникъ; въ предѣлахъ его писательской дѣятельности мы имѣемъ право не только указать на каждое противорѣчіе однихъ словъ съ другими, но и опредѣлять источники этого противорѣчія. — И вотъ въ настоящемъ случаѣ мы имъ мало не желаемъ унизить въ гр. Л. Толстомъ человека, когда говоримъ, что источникъ его дикихъ взглядовъ на мужскія и женскія обязанности лежитъ въ старой закваскѣ крѣпостнаго права. Изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы гр. Л. Толстой былъ сознательнымъ крѣпостникомъ. Очень часто, помимо нашего сознанія и воли и совершенно вопреки всѣмъ нашимъ убѣжденіямъ, выработаннымъ жизненнымъ опытомъ и многолѣтними размышленіями, въ насъ заявляютъ о себѣ осадки разныхъ ветхихъ предрасудковъ, въ духѣ которыхъ мы были воспитаны или которые унаследовали въ крови отъ предковъ нашихъ. Мы съ дѣтства привыкаемъ думать, что тотъ семейный строй, въ нѣдрахъ котораго мы находимся, существуетъ вездѣ и всегда, какъ нѣчто непреложное, и что тѣ понятія, которыя высказываютъ намъ старшіе, раздѣляются всѣмъ человечествомъ и господствуютъ во всѣхъ слояхъ общества; и, съ другой стороны, большихъ усилій стоитъ намъ усвоивать себѣ тѣ мысли и чувства, которыя волнуютъ людей иной среды и строя. Я очень хорошо понимаю, что, не испытавши на себѣ и десятой доли той семейной ноши и всѣхъ тѣхъ мучи-

тельныхъ заботъ и тревогъ о дѣтяхъ, какія испыты-  
ваютъ городскіе труженики, гр. Л. Толстой можетъ  
легко вообразить, будто мужинѣ только и представле-  
ны однѣ общественныя обязанности, въ дѣлѣ-же  
продолженія человечества онъ и въ усь не дуетъ; по-  
нимаю я также, какъ трудно ему войти въ душу му-  
жика и вполне ясно представить себѣ, какъ это му-  
жикъ можетъ до такой степени цѣнить въ бабѣ ра-  
ботницу, чтобы изъ-за этой оцѣнки быть готову по-  
давить въ себѣ ревность или помириться со скорбною  
долею бездѣтной семьи. До такой степени все это труд-  
но гр. Л. Толстому, что, повидимому, ему и въ голову  
до сихъ поръ ничего подобнаго не приходило; онъ  
ездѣ и всегда предполагалъ тѣ самыя семейныя на-  
чала, какія привыкъ видѣть вблизи себя...

### VIII.

Нужны-ли для народа особенныя науки и иску-  
ства?

#### I.

Ни въ чемъ не проявляется такъ ясно и наглядно  
наше дикое невѣжество, скрывающее иногда изъ-подъ  
самого блестящаго лоска поверхностной образованно-  
сти, какъ въ рабскомъ поверганіи лицъ передъ каж-  
дымъ мало-мальски прославившимся человѣкомъ, въ  
безпрекословномъ подчиненіи передъ его авторитетомъ,  
доходящемъ порою до полного самоуничтоженія нумо-  
помраченія. На Западѣ великіе люди почитаются, мо-  
жетъ быть, болѣе еще, чѣмъ у насъ, но каждый изъ  
нихъ цѣнится не иначе, какъ лишь въ предѣлахъ сво-  
его величія, именно за то, чѣмъ человѣкъ великъ. Ни-  
кому въ голову не придетъ, на томъ основаніи, что Гете  
создалъ Фауста, назначить его вдругъ предводителемъ  
войска или отъ него-же ожидать разрѣшенія какого-  
нибудь философскаго вопроса. Поэтому и великіе лю-  
ди на Западѣ скромнѣе, подвизаются на своихъ спе-  
ціальныхъ поприщахъ, не изъясняютъ ни малѣйшихъ  
претензій на всезнایство и всемогущество и не яв-  
ляются готовыми съ апломбомъ непогрѣшимаго божес-  
тва съ легкостью серны порхать по всѣмъ вопросамъ  
науки и жизни.

У насъ-же это дѣлается не такъ. У насъ стоитъ  
человѣку приобрести популярность за что нибудь одно,  
и сейчасъ на него начинаютъ смотрѣть, какъ на все-  
объемлющее божество, способное сегодня написать  
гениальное произведеніе, завтра одержать морскую по-  
бѣду, послѣ завтра создать новую религію, а главное  
дѣло — каждое слово его принимается съ благоговѣніемъ,  
въ каждомъ изреченіи его видятъ непреложную исти-  
ну и бездонную глубину премудрости. Зато и великіе  
люди у насъ, въ свою очередь, суются со своими ге-  
ниальными носами, куда имъ вздумается, и рады при-  
няться за что угодно. За примѣрами ходить недалеко.  
Стоило, напримѣръ, одному нашему великому чело-  
вѣку прославиться, какъ хорошему хирургу, и затѣмъ  
въ счастливый моментъ подъема общественнаго духа  
написать маленькую статейку, въ которой обмол-

виться нѣсколькими тепленькими, но крайне общими  
и неопредѣленными фразами относительно пользы про-  
свѣщенія, — и вотъ его, отъ роду никогда не зани-  
мавшагося педагогіею, кромѣ развѣ обычныхъ деше-  
выхъ уроковъ въ студенческіе годы, дѣлаютъ вдругъ  
попечителемъ учебнаго округа, подобострастные рос-  
сіяне начинаютъ повергаться ницъ передъ каждымъ  
его педагогическимъ изреченіемъ, и не малаго труда  
стоило литературѣ разубѣдить ихъ въ непогрѣши-  
мости этого педагогическаго кумира, когда онъ на-  
чалъ доказывать нѣчто въ родѣ, если не пользы, то,  
во всякомъ случаѣ, неизбежности розогъ. — Возьмите  
вы другой примѣръ — генерала Скобелева. — Стоило  
приобрѣсти ему популярность въ качествѣ побѣдоно-  
снаго полководца и храбраго ѹсача, и подобострастные  
россіяне начали уже благоговѣнно внимать каждому  
его сужденію о разныхъ политическихъ и социаль-  
ныхъ вопросахъ, и еслибы судьба продлила его годы,  
я не сомнѣваюсь, что онъ додумался-бы до какого-  
нибудь собственнаго своего мирообъемлющаго ученія и  
навѣрное имѣлъ-бы тысячи адептовъ и поклонни-  
ковъ. Но чего не успѣлъ Скобелевъ по случаю своей  
преждевременной смерти, то съ большимъ успѣхомъ  
совершилъ гр. Л. Толстой, которому стоило только на-  
писать „Войну и миръ“ и „Анну Каренину“ для того,  
чтобы приобрести право на безапелляціонное рѣшеніе  
всѣхъ вопросовъ жизни и смерти, и я ни мало не буду  
удивленъ, если въ одинъ прекрасный день гр. Л. Тол-  
стой вдругъ объявитъ себя непогрѣшимымъ діагно-  
стомъ по всѣмъ внутреннимъ и наружнымъ болѣзнямъ;  
повѣрьте, что сначала вся Москва, а за нею и вся  
Россія, покинувъ и Боткина, и Захарьина, и прочія  
медицинскія свѣтила, бросятся къ этому новоявлен-  
ному цѣлителю недуговъ. — „Помилюйте, — ска-  
жутъ, — у кого-же и лечиться, если не у гр. Л. Тол-  
стого?“.

#### II.

Избалованные подобнымъ поклоненіемъ, наши ве-  
ликіе люди поневолѣ дѣлаются такими самодурами,  
подобныхъ которымъ вы не сыщете на всемъ бѣломъ  
свѣтѣ. Можно положительно сказать, что для нихъ  
не существуетъ никакихъ законовъ — ни божескихъ,  
ни человѣческихъ; они сочиняютъ свои собственные  
законы; на то они великіе люди, а ваше дѣло внимать  
имъ и подчиняться. Вы, напримѣръ, думаете, что рѣ-  
ки текутъ сверху внизъ, а великому человѣку придетъ  
вдругъ въ голову, что онѣ текутъ снизу вверхъ, — и,  
не смотря на всю очевидность, не смотря на всѣ до-  
воды разума и доказательства науки, великій чело-  
вѣкъ съ упрямствомъ Кита Китыча будетъ твердить,  
не переставая: — „рѣки текутъ вверхъ, рѣки текутъ  
вверхъ!“ и не только массы простыхъ смертныхъ,  
но и патентованныя свѣтила науки начнутъ сомнѣ-  
ваться: „А что какъ и въ самомъ дѣлѣ рѣки-то те-  
кутъ вверхъ? На какомъ-нибудь основаніи да на-  
чалъ-же утверждать эту истину столь великій умъ!“

Оттого и случается обыкновенно такъ, что у на-  
шего великаго человѣка хватаетъ гениальности лишь  
на то, чтобы прославиться и сдѣлаться популярнымъ,  
а затѣмъ онъ начинаетъ съ каждымъ годомъ все бо-

лѣе и болѣе совершать нѣчто совершенно несообразное, стараясь, въ качествѣ генія, ходить на головѣ, ѣсть ногами, слушать глазами, смотрѣть носомъ; да и къ чему сталъ-бы онъ поддерживать свое величіе новыми усиліями и трудами, когда онъ увѣренъ, что что-бы онъ такое ни сморозилъ, хотя бы и совершенно безсмысленное, всему этому будутъ аплодировать и ахать.

Вотъ, напримеръ, гр. Л. Толстой: мы нисколько не удивимся, если завтра-же изъ-за своего высокомернаго презрѣнія къ „научной наукѣ“ онъ начнетъ доказывать намъ, что солнце ходитъ вокругъ земли и дважды два — стеариновая свѣчка; и отчего-же ему не доказывать этого, если не только какія-нибудь слезливыя барыни съ идеальными воздыханіями тотчасъ-же повѣрятъ ему на слово, но и Оболенскій въ своемъ научномъ журналѣ начнетъ тотчасъ расписываться, подтверждая, что дѣйствительно солнце ходитъ вокругъ земли и дважды два-стеариновая свѣчка. Вѣдь вотъ посмотрите, до чего дошелъ сей несусынный стражъ наукъ въ своемъ пресмыканіи передъ гр. Л. Толстымъ. Казалось-бы, что развѣ не такая-же очевидная для каждаго ребенка и вѣковѣчная аксіома, какъ дважды два четыре, слѣдующее хотя-бы положеніе, высказанное впервые Кондорсе и затѣмъ подтверждаемое Контомъ — что не стремленіе къ тѣмъ или другимъ полезнымъ изобрѣтеніямъ приводить ученыхъ къ изслѣдованію законовъ природы, а, напротивъ того, изученіе этихъ законовъ ведетъ за собою изобрѣтенія? Возьмемъ хотя-бы всѣ тѣ многочисленныя примѣненія, которыя въ послѣдніе годы сдѣланы на счетъ электричества. — Очевидно, что всѣ эти примѣненія только тогда и сдѣлались возможны, когда наука настолько изслѣдовала законы этой силы, что доставила людямъ возможность извлекать ее изъ природы, возбуждать и направлять сообразно своимъ цѣлямъ. Раньше-же этого наука не могла и предвидѣть, къ чему приведутъ ея изслѣдованія. Могли-ли Вольтъ или Гальвани, дѣлая свои опыты, напередъ знать, что эти опыты въ результатѣ своимъ дѣтъ черезъ 50, черезъ 100 поведутъ за собою изобрѣтеніе телеграфовъ, телефоновъ и т. п. Очевидно, имъ и не снилось ничего подобнаго да и не могло сниться; дальше громоотводовъ они не шли въ своихъ предположеніяхъ о пользѣ электричества; но это не мѣшало имъ сдѣлать массу изслѣдованій и опытовъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ громоотводами и въ то-же время не заключавшихъ въ себѣ никакихъ сознательныхъ и предвзятыхъ утилитарныхъ цѣлей, изслѣдованій вполне въ духѣ чистой науки, но которыя, тѣмъ не менѣе, привели къ самымъ богатымъ и совершенно неожиданнымъ результатамъ въ техническомъ отношеніи. Такъ точно и въ настоящее время можемъ-ли мы стремиться изобрѣсти что-либо, если мы не знаемъ тѣхъ законовъ, изъ которыхъ вытекло-бы это изобрѣтеніе? Очевидно, что мы не только не можемъ стремиться, но и представить себѣ не въ состояніи, какого рода будетъ это изобрѣтеніе. Думать иначе — все равно, что стараться поцѣловать себя въ спину или заказать себѣ увидѣть тотъ или другой сонъ. На этомъ основаніи Кондорсе и сказалъ, что „наука только тогда можетъ быть полезна жизни, когда она

совсѣмъ о ней забываетъ, и, наоборотъ, едва она начинаетъ заботиться о жизни, она гибнетъ не только какъ наука теоретическая, но и какъ практическая“. Контъ-же подтвердилъ эту мысль Кондорсе, говоря, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ наука приносила практическую пользу только тогда, когда о ней совершенно не заботились, а увлекались только теоретическими умозрѣніями.

Если эти утвержденія Кондорсе и Конта мы можемъ признать не совсѣмъ вѣрными, то развѣ въ одномъ только отношеніи: невѣрно здѣсь то, что будто наука, задающаяся предвзатыми утилитарными цѣлями, гибнетъ и какъ теоретическая наука, и какъ техника. Нѣтъ, она не гибнетъ, но путь отъ теоріи къ практикѣ, все-таки, остается до такой степени единственнымъ и неизбѣжнымъ, что даже когда люди мечтаютъ идти по иному пути, они, все-таки, сами того не сознавая, идутъ все по той-же дорогѣ. Задаваясь предвзатыми утилитарными цѣлями, они начинаютъ изслѣдовать законы природы сообразно этимъ цѣлямъ, увлекаются затѣмъ изслѣдованіями совершенно уже безкорыстно и приходятъ вдругъ къ результатамъ совершенно неожиданнымъ; является не одно, а нѣсколько изобрѣтеній, о которыхъ прежде и не мечтали. Такъ, въ средніе вѣка наука имѣла строго утилитарный характеръ; занимались ею исключительно для того, чтобы научиться дѣлать золото или эликсиръ безсмертія; но на пути къ этимъ предвзатымъ цѣлямъ наткнулись на массу открытій, которыя повели къ драгоценнымъ изобрѣтеніямъ, не имѣвшимъ ничего общаго съ первоначальными цѣлями, и увидѣли такимъ образомъ, что шли совсѣмъ не тѣмъ путемъ, какимъ воображали идти, а все тѣмъ-же переходомъ отъ неожиданныхъ открытій къ непредвидѣннымъ изобрѣтеніямъ.

### III.

И вотъ, можете себѣ представить, противъ этой-то, именно азбучной аксіомы и вооружается вдругъ Оболенскій, преклоняясь передъ идеями гр. Л. Толстого. Въ этой аксіомѣ ему мерещатся отрѣшеніе науки отъ жизни и увлеченіе ея отвѣченно-умозрительными цѣлями. Наука, по его мнѣнію, должна непосредственно служить жизни, а такъ какъ науки бываютъ разныя и не каждая изъ нихъ можетъ сейчасъ-же въ одинъ мигъ преподнести вамъ лапотъ или калячку, то опять таки мы приходимъ все къ тому же вопросу, какими науками намъ заниматься, а какія презрѣть? По крайней мѣрѣ, иначе мы никакъ не можемъ понять слѣдующей хотя-бы выдержки изъ трактата гр. Л. Толстого, приводимой Оболенскимъ въ подтвержденіе своихъ мыслей:

«Область знанія вообще всего человѣчества такъ многообразна — отъ знанія, какъ добывать желѣзо, до знанія движенія свѣтила, — что человѣкъ теряется въ этой многочисленности существующихъ знаній и въ безконечности возможныхъ знаній, если у него нѣтъ руководящей нити, по которой-бы онъ могъ располагать эти знанія, распредѣлять ихъ по степени ихъ значенія и важности. Прежде, чѣмъ человѣкъ познаетъ что-бы то ни было, онъ долженъ рѣшить, что этотъ предметъ познанія важенъ для него и важнѣе, и нужнѣе, чѣмъ тѣ другіе безчи-



сленные предметы познания, которыми онъ окруженъ. Прежде, чѣмъ изучить что нибудь, человекъ рѣшаетъ, для чего онъ изучаетъ этотъ предметъ, а не остальные. Изучать же все, какъ проповѣдуютъ въ наше время люди научной науки, безъ соображенія о томъ, что выйдетъ изъ этого изученія, прямо невозможно, потому что число предметовъ изученія бесконечно...

И такъ, какъ видите, число предметовъ изученія бесконечно, изучать все невозможно, нужно выбрать, что поважить и понужить; ну, а прочее все, конечно, отбросить. И опять-таки мы спрашиваемъ у Оболенскаго, какія науки прикажетъ онъ намъ выкинуть за бортъ? Можно-ли, напримѣръ, изучать намъ астрономію, съ ея химическимъ (!) излѣдованіемъ млечнаго пути, или-же не прикажетъ-ли намъ Оболенскій, въ компаніи съ гр. Л. Толстымъ, раздѣлять вѣрованія народа о трехъ китахъ?

Впрочемъ, по нѣкоторымъ выдержкамъ изъ гр. Л. Толстого мы можемъ до нѣкоторой степени составить понятіе о томъ, какого рода науки допускаетъ графъ, а за ними и Оболенскій, и что вообще они подразумеваютъ подъ тѣмъ научнымъ утилитаризмомъ, какой они проповѣдуютъ.

«Всѣ вопросы о томъ,—говоритъ гр. Л. Толстой на 309 стр. т. XII своихъ Сочиненій:—какъ лучше раздѣлять время труда, какъ лучше питаться, чѣмъ, въ какомъ видѣ, когда, какъ лучше одѣваться, обуваться, противодѣйствовать холоду, какъ лучше мыться, кормить дѣтей, пеленать, *именно, въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ находится рабочій народъ*,—всѣ такіе вопросы еще и не поставлены...». Далѣе (тамъ-же, стр. 307): «Техникъ умѣть вычислить высшей математикой дугу моста, вычислить силу и передачу двигателя и т. п., но передъ простыми запросами народнаго труда онъ становится въ тупикъ: какъ улучшить соху, телѣгу, какъ сдѣлать пробнымъ ручей, *все это въ тѣхъ условіяхъ жизни, въ которыхъ находится рабочій*,—онъ ничего этого не знаетъ и не понимаетъ. Дайте ему мастерскую, народу всякаго въ волю, выписку машинъ изъ-за границы, тогда онъ распорядится. *А при данныхъ условіяхъ труда миллионы людей* найти средства облегчить этотъ трудъ,—этого онъ ничего не знаетъ и не можетъ, и по своимъ знаніямъ, и привычкамъ, и требованіямъ отъ жизни не годится для этого дѣла». Далѣе, на 308 стр.: «Наука вся пристроилась къ богатымъ классамъ и своей задачей ставитъ, какъ лечить тѣхъ людей, которые все могутъ достать себѣ, а потомъ посылаетъ лечить тѣхъ, у которыхъ нѣтъ ничего лишняго—тѣмъ-же средствами». И, наконецъ, на стр. 312 гр. Л. Толстой говоритъ: «Служеніе народу науками и искусствами будетъ только тогда, когда люди живутъ среди народа, и, какъ народъ, *не заявляя никакихъ притѣ*, будутъ предлагать ему свои научныя и художественныя услуги, принять или не принять которыя будетъ зависѣть отъ воли народа».

Я нарочно привелъ всѣ тѣ мѣста, на которыя, главнымъ образомъ, опирается Оболенскій. Что-же мы здѣсь видимъ? Мы видимъ порицаніе науки, повидимому, на такихъ почтенныхъ и высокихъ основаніяхъ, какъ народное благо и польза; наука отрицается на томъ основаніи, что она пристроилась къ богатымъ классамъ; истинный ученый, другъ народа, долженъ идти въ его среду и работать непосредственно въ видахъ его насущныхъ нуждъ. Но вдумайтесь пристальнѣе во всѣ приведенныя нами мѣста и вы увидите, какая бездна возмутительнаго лицемерія скры-

вается здѣсь подъ высокими и сердобольными фразами о народномъ благѣ.

Гигіена, напримѣръ, доказываетъ, что для здоровья необходимо, чтобы на каждого человека приходилось столько-то кубическихъ футовъ воздуха. Но такъ какъ только одни богатые могутъ пользоваться этими благами, то оказывается, что наука служитъ для однихъ богатыхъ классовъ; что-же касается до бѣдныхъ классовъ, то вмѣсто того, чтобы позаботиться о томъ, чтобы и ихъ снабдить, согласно указаніямъ гигіены, необходимымъ количествомъ воздуха, мы начинаемъ возмущаться на гигіену, зачѣмъ она не служитъ народу, не сообразуется съ настоящими условіями его жизни, а пребываетъ въ отвлеченныхъ сферахъ; чтобы сдѣлаться вполне утилитарной, она должна снизойти къ народу и, вмѣсто того, чтобы внушать ему чрезмѣрные требованія о правахъ на такое-же количество кубическихъ футовъ воздуха, какими пользуется гр. Л. Толстой, должна научить его обходиться совсѣмъ безъ воздуха. Наука создала рядъ полезнѣйшихъ земледѣльческихъ машинъ, которыя и въ Америкѣ, и въ Европѣ значительно облегчаютъ тяжесть сельскихъ трудовъ. Казалось-бы, что и при нынѣшнемъ, далеко не блистательномъ экономическомъ положеніи, народъ, еслибы былъ вооруженъ самыми небольшими знаніями, могъ-бы уже пользоваться этими машинами, покупая ихъ въ складчину цѣлыми волостями. Но оказывается, что и машины эти приобрѣтены не для народа, а для гр. Л. Толстого. Ревнуя-же о народномъ благѣ, ученый поступитъ какъ нельзя лучше, если забудетъ всѣ механическія премудрости, а пойдетъ въ деревню и тамъ займется кое-какимъ усовершенствованіемъ патріархальной прародительской сохи или приладитъ какой-нибудь лишній винтикъ къ телѣгѣ: для мужика и этого довольно... Для насъ съ вами хина и карлсбадскія воды, а мужикъ и отъ ивовой коры выздоровѣетъ, зачѣмъ ему Мариенбадъ!

Понимаете-ли теперь, почему наши ревнители народнаго блага такъ не любятъ науки? Потому, что наука ставитъ свои вопросы ребромъ; ея указанія обязательны для всѣхъ людей безъ различія, ея изобрѣтенія направлены къ тому, чтобы осчастливить все человѣчество. Наши-же ревнители народнаго блага хотятъ, чтобы ученые ломали головы надъ тѣмъ, какъ бы создать такую науку, чтобы она служила народу непременно при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ онъ существуетъ, не смѣя и думать о какихъ-либо измѣненіяхъ этихъ условій, однимъ словомъ — помогала мужику дышать безъ воздуха въ затхлой дымовкѣ, питаться безъ хлѣба, работать непременно первобытными орудіями временъ Микулы Селяниновича и никакими другими. Однимъ словомъ, гр. Л. Толстой предписываетъ наукѣ идти той-же дорогою, какою онъ самъ идетъ на поприщѣ искусства. Онъ рѣшилъ, что художникъ, въ свою очередь, долженъ служить исключительно народу. Что можетъ быть выше такого рѣшенія? Но на практикѣ оказалось вдругъ, что изъ столь благороднаго рѣшенія вовсе не послѣдовало, чтобы для народа началъ создавать гр. Л. Толстой произведенія, равносильныя, по своему художественному значенію, прежнимъ его твореніямъ. Нѣтъ, и здѣсь

оказалось, что для насъ съ вами — „Война и миръ“, „Анна Каренина“, а для мужика, о — для него за глаза довольно нѣсколькихъ наскоро состряпанныхъ побасенокъ съ чудесами, чертамии грошевою моралью.

#### IV.

Всѣ подобныя радѣнія о народномъ благѣ весьма напоминаютъ намъ помѣщичьи проекты освобожденія крестьянъ, во множествѣ предлагавшіеся правительству въ 40-е и 50-е годы. В. И. Семевскій въ XV главѣ своего трактата „Крестьянскій вопросъ въ царствованіе Императора Николая“ приводитъ нѣсколько такихъ проектовъ. Всѣ они имѣютъ одинъ и тотъ же характеръ. Повсюду разсыпаны такія высокія и громкія фразы о необходимости великихъ жертвъ, объ избавленіи народа, стонущаго подъ ненавистнымъ игомъ рабства, отъ его вѣковыхъ цѣпей, повсюду радѣнія о его счастья и благосостояніи, — и въ концѣ концовъ, все сводится къ нулю и остается то-же крѣпостное право, только нѣсколько замаскированное, или предлагаются такія мѣры къ его постепенному уничтоженію, при которыхъ эмансипація могла-бы совершиться не менѣе, какъ въ тысячу лѣтъ.

Кстати, В. И. Семевскій сообщаетъ въ своей статьѣ весьма любопытныя свѣдѣнія о положеніи крестьянъ передъ освобожденіемъ въ имѣніяхъ гр. Л. Толстого. Мы не имѣемъ охоты судить гр. Л. Толстого, какъ человѣка, но не можемъ на этотъ разъ воздержаться и не привести выдержки изъ статьи В. И. Севекаго, такъ какъ, по нашему мнѣнію, выдержка эта даетъ намъ отличный ключъ къ уразумѣнію взглядовъ гр. Л. Толстого на науку и искусство въ связи съ народнымъ благомъ. Вотъ это мѣсто въ статьѣ В. И. Севекаго.

Приводя содержаніе гр. Л. Толстого „Утро помѣщика“, В. И. Семевскій говоритъ:

«Мы не считаемъ себя вправѣ придавать этому разсказу гр. Л. Н. Толстого автобіографическаго значенія \*), но данныя изъ жизни знаменитаго автора этой повѣсти приводятъ къ печальному выводу о несостоятельности той части интеллигенціи, которая сознала неправильность своихъ отношеній къ крестьянамъ, но думала исправить зло не освобожденіемъ своихъ крестьянъ на такихъ условіяхъ, чтобы имъ не приходилось жаловаться на малоземелье, а лишь нѣкоторымъ улучшеніемъ ихъ быта. Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ сочиненій («Такъ что-жъ намъ дѣлать»?) гр. Л. Н. Толстой говоритъ: «Когда я былъ рабовладѣльцемъ и понялъ безнравственность своего положенія, я старался избавиться отъ него. Избавленіе-же мое состояло въ томъ, что я старался какъ можно менѣе предъявлять своихъ правъ рабовладѣльца, а жить и оставлять людей жить такъ, какъ будто этихъ правъ не существовало». — Сравнимъ это заявленіе автора съ показаніями, данными въ 1859 г. имъ самимъ

или, быть можетъ, его управляющимъ, по требованію ревизіонныхъ комиссій.

«Въ извѣстномъ имѣніи гр. Л. Н. Толстого, сельцѣ Ясной Полянѣ съ деревнями, крапивненскаго уѣзда, тульской губерніи, было въ то время 204 души кр. мужск. пола, 41 душа мужского пола дворовыхъ. Крестьяне были на оброкѣ и платили по 30 р. съ тягла; удобной земли на душу они имѣли по 2,82 дес. Оказывается, что по размѣру надѣла имѣніе гр. Л. Толстого принадлежало къ среднимъ, но по величинѣ оброка было выше средняго уровня: изъ 25 имѣній этого уѣзда, вполнѣ или частью бывшихъ на оброкѣ и въ которыхъ намъ извѣстенъ его размѣръ, въ 17 оброкѣ былъ ниже, а именно, отъ 13 до 25 р. съ тягла, въ двухъ онъ измѣнялся отъ 20 до 30 р. съ тягла, въ четырехъ (въ томъ числѣ и Ясной Полянѣ) равнялся 30 р. и только въ двухъ былъ выше (33 и 35 р.). Не слѣдуетъ думать, что низшіе оброки всегда совпадаютъ съ меньшимъ размѣромъ надѣла; въ одномъ изъ имѣній, гдѣ крестьяне платили всего по 13 р. съ тягла, они имѣли по 3,04 дес. на душу, т. е. болѣе, чѣмъ у гр. Л. Толстого, въ другомъ, гдѣ платили по 14 р. 30 к. съ тягла, имъ было отведено даже по 4,58 дес. на душу. Такимъ образомъ, огромный оброкъ въ имѣніи гр. Л. Толстого не можетъ быть извиняемъ размѣрами надѣла, а прибавить земли было изъ чего, такъ какъ за помѣщикомъ оставалось ея столько, что при отводѣ всей ея крестьянамъ пришлось-бы еще по 3,55 дес. на душу. Въ другомъ имѣніи гр. Л. Н. Толстого, суджанскаго уѣзда, курской губерніи, которымъ онъ владѣлъ не одинъ, а вмѣстѣ съ двумя братьями, мы также не видимъ особыхъ стараній объ улучшеніи положенія крѣпостныхъ: здѣсь крестьяне состояли на барщинѣ и при томъ имѣли всего по 1,26 дес. удобной земли на душу и еще по 3 воза сѣна на тягло, въ томъ числѣ пахатной земли числилось всего по 1,09 дес. на душу, что было значительно ниже средняго уровня остальныхъ имѣній этого уѣзда».

В. И. Семевскій очень ядовито относится къ этому факту жизни гр. Л. Н. Толстого и видитъ здѣсь противорѣчіе между дѣломъ и словомъ, особенно-же современными словами гр. Л. Толстого. Я-же никакого противорѣчія здѣсь не нахожу, а, напротивъ, вижу строгую послѣдовательность: подобно тому, какъ нынѣ гр. Л. Толстой проповѣдуетъ, что служить народу, помогать ему мы должны ухитряться такъ, чтобы это было въ предѣлахъ условій его быта безъ малѣйшихъ покушеній на улучшеніе этихъ условій, такъ и прежде онъ держался того правила, чтобы отнюдь не облегчать условій жизни народа, — и не облегчалъ.

#### VIII.

Нападки Оболенскаго на критиковъ гр. Л. Толстого и достоинство его собственныхъ полемическихъ пріемовъ.

#### I.

Есть полемика и полемика. Есть полемика честная, заключающаяся въ открытой борьбѣ мнѣній, причемъ противники не касаются личностей другъ друга, не залѣзаютъ никуда въ сторону и не употребляютъ никакихъ дрянныхъ пріемовъ, имѣющихъ цѣлью дискредитировать противника, обходя

\*) Выйдя со второго курса юридическаго факультета, гр. Л. Н. Толстой прожилъ вторую половину сороковыхъ годовъ въ доставшейся ему, по раздѣлу, деревнѣ Ясной-Полянѣ (отецъ его умеръ въ 1837 году, и съ того времени до раздѣла имѣніе находилось въ опекуновомъ управленіи). Въ 1851 г. гр. Л. Н. Толстой уѣхалъ на Кавказъ и тамъ, въ 1859 г., написалъ „Утро помѣщика“.

его сзади, а ограничиваются тѣмъ, что каждый отстаиваетъ свое мнѣніе исключительно одними научными или діалектическими способами. И есть полемика столь-же предосудительная, какъ и та школьная борьба, въ которой борцы стараются повалить другъ друга не одною силою мышцъ, а разными злоухищреніями, въ родѣ такъ называемыхъ „подножекъ“ и т. п.

Вы, напримѣръ, спорите съ кѣмъ-нибудь объ Александрѣ Баттенбергѣ, доказывая, что онъ ничтожный проходивецъ, желавшій лишь наловить рыбки въ мутной водѣ. И вдругъ на всѣ ваши доводы противникъ вашъ, съ пѣною у рта доказывающій, что Ал. Баттенбергъ—герой,—возражаетъ вамъ, что вы совсѣмъ некомпетентны въ этомъ спорѣ, что онъ и спорить съ вами не намѣренъ, такъ какъ вы не знаете грамматики. Послѣ такого страннаго возраженія противника вамъ остается только вытаращить глаза и спросить его, что онъ хочетъ сказать этимъ?

— Да какъ-же,—отвѣчаетъ вашъ противникъ: можете-ли вы имѣть основательныя данныя для утвержденія, что за человѣкъ—Александръ Баттенбергъ, если вы настолько невѣжественны, что слово Баттенбергъ произносите черезъ одно *т*.

— Положимъ, вы ошибаетесь,—возражаете вы: я произношу слово Баттенбергъ черезъ два *т*,—но какое-же отношеніе имѣетъ это къ нашему спору?

— А такое, что я самъ своими ушами слышалъ, какъ вы все время произносили Батенбергъ, а не Баттенбергъ, и только послѣ моего уже указанія въ послѣдній разъ изволили произнести—Баттенбергъ, и это показываетъ въ васъ не только невѣжественность, а и недобросовѣстность, такъ какъ вы, воспользовавшись моимъ указаніемъ на вашу грамматическую ошибку, отрекаетесь отъ нея. А разъ добросовѣстность и честность на моей сторонѣ, а не на вашей, то, слѣдовательно, на моей сторонѣ и правда; ergo, Ал. Баттенбергъ—герой.

Извольте спорить съ кѣмъ либо на такой почвѣ. Къ сожалѣнію, у насъ всѣ полемики постоянно принимаютъ, въ концѣ-концовъ, подобный оборотъ.

## II.

Вотъ и Оболенскій идетъ по тому-же доблестному пути. Въ августовской книжкѣ своего „Русскаго Богатства“ 1886 г., онъ снова полемизируетъ со мною по поводу идей гр. Л. Толстого, имѣя въ виду мой фельетонъ въ № 180 „Новостей“. Въ фельетонѣ этомъ, я, между прочимъ, занялся защитой мнѣнія Кондорсе и Конта объ отношеніи чистыхъ наукъ къ прикладнымъ, противъ нападокъ на эти мнѣнія Оболенскаго. Съ цѣлью этой защиты я привелъ сначала мнѣнія Кондорсе, а потомъ и говорю: „и вотъ, можете себѣ представить, *противъ этой-то, именно, избученной аксіомы вооружается вдругъ Оболенскій, преклоняясь передъ идеями гр. Л. Толстого*“. Уже изъ однихъ этихъ словъ, казалось-бы, ясно можно заключить, что дѣло идетъ здѣсь ни о чемъ иномъ, какъ о мнѣніи Кондорсе, противъ котораго Оболенскій вооружается.

И вдругъ Оболенскій возражаетъ мнѣ на это, буд-

то, вотъ я какой безчестный и недобросовѣстный чело-вѣкъ: „*взявъ изъ его-же статьи единственный аргументъ (мнѣніе Кондорсе), не упомянувъ даже объ этомъ!*“.

Какое-же тутъ еще вы хотите упоминаніе, когда все дѣло идетъ именно о мнѣніи Кондорсе, которое Оболенскій опровергаетъ, замѣняя его своимъ собственнымъ, а я стараюсь его защитить и опровергнуть мнѣніе Оболенскаго,—и вдругъ я попалъ въ какіе-то воры. И выходитъ, что вашъ противникъ утверждаетъ, будто Баттенбергъ герой. Вы ему возражаете: „Баттенбергъ герой? это отчего?“ А вашъ противникъ въ отвѣтъ на это вамъ вдругъ сыплетъ: — „Вы повторяете мои слова, не упоминая, что они мои? Какой-же вы послѣ этого воръ!“

Съ чѣмъ-же можно сравнить подобную полемику, какъ не съ стараніемъ повалить противника „подножкой“?

## III.

А главное дѣло въ томъ, что я до сихъ поръ никакъ не могу понять, противъ чего спорить Оболенскій, изъ-за чего онъ такъ рьяно копыя ломаетъ? Вѣдь, если вдуматься внимательно во всѣ доводы и возраженія его и всмотрѣться во всѣ перипетіи спора, то окажется, что между нимъ и его противниками вовсе нѣтъ какого-либо такого радикальнаго разногласія, которое оправдывало-бы полемику, что, въ сущности, спорить ему вовсе не изъ чего, а онъ вотъ что дѣлаетъ: приписываетъ своимъ противникамъ такія мнѣнія и такія побужденія, о которыхъ имъ и не снилось, да потомъ возражаетъ противъ этихъ мнимыхъ заблужденій доводами, которые беретъ изъ арсенала своихъ-же противниковъ. Въ концѣ концовъ, бѣднымъ противникамъ, прибитымъ къ стѣнѣ, только и остается, что, отрещиваясь отъ тѣхъ обвиненій, которыя Оболенскій на нихъ возводитъ, обѣими руками подписываться подъ весьма многими изъ его горячихъ возраженій. Спрашивается, къ чему-же онъ все это дѣлаетъ?

Такъ, напримѣръ, на стр. 127, въ № VIII „Р. В.“ онъ говоритъ:

„Нѣкоторые критики по поводу Толстого распространяются о другомъ противоположномъ злѣ, объ излишнемъ ханжествѣ публики передъ гениями. Такъ, Скабичевскій говоритъ: „у насъ Скобелева, за то, что онъ великій воинъ, считали способнымъ быть и великимъ политикомъ, а Толстого за то, что онъ великій художникъ, считаютъ способнымъ быть и великимъ философомъ“. Да, скажемъ мы, это большое зло, и слѣдуетъ разсматривать идеи человѣка по существу, а не потому, что онъ гений. Но, однако, на такое предубѣжденіе въ пользу гениевъ-художниковъ есть и основанія: напримѣръ, тотъ-же Скабичевскій (черезъ два фельетона послѣ того, что выше написано, и, вѣроятно, забывъ, что онъ писалъ о неслѣпости ожиданія отъ гениальныхъ художниковъ хорошей философіи), пишетъ въ „Новостяхъ“ отъ 9-го августа: „Нельзя быть гениальнымъ художникомъ, не будучи широко образованнымъ и мыслящимъ человекомъ“. Но отсюда прямой выводъ, что отъ каждаго гениальнаго художника можно ожидать по меньшей мѣрѣ интересныхъ идей, разъ онъ въ то-же время не можетъ не быть широко мыслящимъ и образованнымъ человекомъ. Подобныя противорѣчія у

Скабичевского, когда дѣло идетъ о Толстомъ, представляютъ любопытное психологическое значеніе: относительно гениевъ умственное рабство сказывается въ двухъ противоположныхъ формахъ: одни рабѣствуютъ, а другіе, наоборотъ, стараются дѣлать видъ, что вовсе имъ не увлечены, что у нихъ достаточно собственнаго ума, чтобы къ гению относиться критически, и они лѣзутъ изъ кожи вонъ, чтобы уловить у него какую-нибудь ошибку, противорѣчіе и при этомъ часто впадаютъ въ невозможныя нелѣпости и т. д.

Надо замѣтить, что въ связи съ этимъ, нѣсколько выше, Оболенскій не одного меня, а и всю русскую критику обвиняетъ въ особеннаго рода мыслелюбязи, заключающейся въ томъ, что мы до такой степени не привыкли къ возникновенію у насъ оригинальныхъ мыслителей, теоретиковъ, творцовъ философскихъ и моральныхъ системъ, до такой степени привыкли жить мыслию массовою, стадной или-же заимствованной, что появленіе малѣйшей оригинальности, малѣйшаго отступленія отъ шаблоннаго цикла либеральныхъ или консервативныхъ идей, къ которымъ мы привыкли, кажется намъ чуть не свѣтопреставленіемъ...

«Отъ этого, — говоритъ Оболенскій (стр. 123), — наша критика представляетъ совершенную противоположность европейской: тамъ знаютъ цѣну плодамъ оригинальнаго творчества и умѣютъ мириться съ странностями и даже абсурдами гениевъ, выбирая полезное и цѣнное, что они даютъ человѣчеству; тамъ понимаютъ, что безъ творческой оригинальности прогрессъ остановился-бы, и мысль обратилась-бы въ китайскій застой, а потому и не пугаются экстравагантностей, присущихъ всякой оригинальности. У насъ критика понимала это лишь въ моментъ подъема нашей мысли, въ 60-хъ годахъ, когда имѣла въ литературѣ людей глубоко и всесторонне-образованныхъ. Одинъ изъ нихъ въ своемъ знаменитомъ публицистическомъ романѣ выразилъ устами героя слѣдующую мысль: «гораздо полезнѣе и интереснѣе прочесть толкованіе помѣшавшагося, но гениальнаго Ньютона на Апокалипсисъ, чѣмъ сотни книгъ, пережевывающихъ чужія мысли». Теперешняя наша критика, вмѣсто того, чтобы идти по стопамъ европейской и умѣть являть пользу изъ гениальнаго творчества, умѣетъ исполнять лишь одну роль, — роль критики средневѣковой Европы, такой критики, какой подвергли Джордано Бруно, Галилея, т.-е. она стремится только показать, въ чемъ писатель отступилъ отъ шаблона (либеральнаго или консервативнаго), и затѣмъ сыплетъ на него прокурорскіе громы отъ имени либерализма или консерватизма, смотря по своей принадлежности къ тому или другому лагерю».

#### IV.

Но, во-первыхъ, подумайте, есть-ли хотя какое-нибудь противорѣчіе между двумя моими фельетонами, на которые указываетъ Оболенскій: въ одномъ изъ нихъ говорится о томъ, что смѣшно предполагать, будто великій художникъ долженъ быть мастеръ на всѣ руки и ожидать отъ него, чтобы онъ былъ такимъ-же великимъ полководцемъ или основателемъ новой религіи, а въ другомъ утверждается, что какой-бы ни былъ талантъ у художника, онъ никогда не сдѣлается великимъ, если не будетъ заботиться о своемъ образованіи. Я полагаю, что эти двѣ одинаково справедливыя истины могутъ преспокойно ужиться рядомъ, нисколько одна другую не опровергая, тѣмъ болѣе, что между ними нѣтъ ничего общаго, никакихъ

сочиненія А. СКАБИЧЕВСКАГО. — 12.

точекъ соприкосновенія. Не имѣя между собою разногласія по существу, обѣ эти истины могутъ въ равной степени быть отнесены къ гр. Л. Толстому опять-таки безъ малѣйшаго противорѣчія. Такъ, мы имѣемъ полное право сказать, что изъ гр. Л. Толстого никогда не выработался-бы великій художникъ, если-бы онъ не позаботился о своемъ образованіи, а что онъ о немъ заботился и продолжаетъ заботиться, это мы можемъ заключить и изъ его художественныхъ произведеній, и изъ его исповѣди, и изъ его трактатовъ послѣдняго времени. Но разъ мы признаемъ гр. Л. Толстого образованнѣйшимъ челоѣкомъ нашего времени, то развѣ слѣдуетъ изъ этого, чтобы отъ него мы должны были-бы ждать и славы полководца, и мудрости основателя новой религіи? Что идеи его, во всякомъ случаѣ, интересны, что онѣ заслуживаютъ полнаго вниманія, кто-же обѣ этомъ станетъ спорить и изъ чего Оболенскій въ правѣ заключить, что идеями гр. Л. Толстого не интересуются? Вотъ, если-бы критика замалчивала эти идеи, относилась къ нимъ съ полнымъ индифферентизмомъ, это было-бы другое дѣло, и Оболенскій тогда въ полномъ правѣ былъ-бы упрекнуть критику, что *«отъ каждаго гениальнаго художника можно ожидать по меньшей мѣрѣ интересныхъ идей, разъ онъ въ то-же время не можетъ не быть широко-мыслящимъ и образованнымъ челоѣкомъ»*. Между тѣмъ, мы видимъ совершенно наоборотъ: критика въ продолженіи безъ малаго двухъ лѣтъ только и дѣлаетъ, что возится съ идеями гр. Л. Толстого; значить, она ихъ цѣнитъ и придаетъ имъ свое значеніе. Чего-же еще нужно Оболенскому?

И если-бы еще изъ-за двухъ-трехъ спорныхъ положеній критика отрицала идеи гр. Л. Толстого всецѣло, ставила-бы крестъ надъ всею его дѣятельностью послѣднихъ лѣтъ и ограничивалась одними глумленіями надъ авторомъ «Войны и мира». Но и этого мы не видимъ. Напротивъ того, до послѣдняго времени критика относилась къ идеямъ гр. Л. Толстого весьма благосклонно. Правда, она не благоговѣла и не становилась передъ ними на колѣни, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые слѣпые поклонники гр. Л. Толстого, но она поступала съ ними именно такъ, какъ относится къ замѣчательнымъ явленіямъ слова та европейская критика, которую Оболенскій ставитъ намъ въ примѣръ: т. е. все цѣнное она подчеркивала и отдавала ему справедливость, а все ложное отметала, да мало того, что отметала, но и старалась показать источники этого ложнаго. Такъ, наприимѣръ, Оболенскій или не читалъ, или совсѣмъ забылъ мои первые фельетоны о гр. Л. Толстомъ. Онъ не обратилъ вниманія, что и извѣстный догматъ противленія злу насиліемъ я условно принялъ, какъ прекрасный идеалъ будущаго челоѣчества, замѣтивъ только, что осуществленіе этого идеала зависитъ не отъ теоретическаго установленія этой формулы, а отъ того смягченія нравовъ, которое постепенно вырабатывается въ ками. Оболенскій, не знаю ужъ, умышленно или неумышленно, игнорируетъ всѣ эти мои прежніе фельетоны и вдругъ набрасывается на меня послѣ того, какъ я отнесся отрицательно къ мнѣніямъ гр. Л. Толстого о женщинахъ и о наукѣ. Допустимъ, что Обо-

ленскій не согласенъ съ моими возраженіями относительно этихъ предметовъ, что онъ болѣе склоненъ въ пользу идей гр. Л. Толстого, какъ относительно распределенія обязанностей и занятій между обоими полами, такъ и относительно существованія двухъ наукъ, одной—для господъ, другой—для мужиковъ. Ну, и возражай онъ противъ меня, доказывай, что правъ не я, а гр. Л. Толстой, какъ онъ это дѣлаетъ въ выноскѣ на стр. 144. Къ чему-же выставляетъ Оболенскій примѣръ европейской критики? Вѣдь не преклонилась-же эта самая европейская критика передъ толкованіемъ „Апокалипсиса“ Ньютона изъ-за того только, что Ньютонъ открылъ великій законъ тяготѣнія? Или еще того лучше, вѣдь не приняла-же она дословно мнѣнія Прудона о призваніи женщинъ (кстати, очень близко подходящихъ къ мнѣніямъ гр. Л. Толстого), на томъ только основаніи, что Прудонъ былъ замѣчательный политико-экономъ? Однимъ словомъ, всѣ эти ссылки на примѣры европейской критики — ничто иное какъ одно пустословіе, въ которомъ ничего болѣе не усматривается, какъ именно желаніе дискредитировать противника, подойдя къ нему сзади.

## V.

Очень негодуетъ, между прочимъ, Оболенскій на критиковъ за то, что они упрекали гр. Л. Толстого въ противорѣчіяхъ между словомъ и дѣломъ, относительно, напр., 600,000, 12-го тома и т. п. Оболенскій видитъ въ этомъ нѣкое злорадовство: у критиковъ, видите, пробудилась совѣсть вслѣдствіе проповѣди гр. Л. Толстого, отъ старыхъ-же дурныхъ привычекъ отстать имъ трудно, и вотъ въ нихъ является страстная потребность доказать, что моралистъ самъ не исполняетъ своихъ неисполнимыхъ идей. И опять-таки, это не болѣе, какъ одно пустословіе и подставленіе противникамъ „подножекъ“.

Если смотрѣть на этотъ предметъ съ общей, философской точки зрѣнія, то противорѣчія между словомъ и дѣломъ являются фактами неизбѣжными въ человеческой природѣ и вытекаютъ прямо изъ того, что наша мысль опережаетъ практику жизни: создавать прекрасные идеалы гораздо легче, чѣмъ исполнять ихъ, и къ тому-же очень часто случается, что для исполненія прекраснаго идеала необходимо предварительно измѣнить такую массу условій жизни, что борьба съ этими условіями становится не подъ силу одной личности. Но, тѣмъ не менѣе, противорѣчія противорѣчіямъ розъ. Представьте себѣ труженика, у котораго каждый грошъ въ карманѣ является не иначе, какъ результатомъ упорнаго труда, и рядомъ поставьте господина, существованіе котораго безъ всякаго труда обезпечено 20,000 годового дохода; но между ними та разница, что труженикъ каждый свой грошъ ставитъ ребромъ и пропиваетъ, да еще не на какой-нибудь водкѣ, а въ лучшемъ ресторанѣ на шампанскомъ; рентьеръ-же, освобожденный отъ всякаго насущнаго труда, проводитъ свое время въ томъ, что отъ скуки проповѣдуетъ людямъ прелесть бѣдности, необходимость въ потѣ лица снискивать хлѣбъ свой и т. п. Оба эти господина представляютъ, каждый въ своемъ

родѣ, противорѣчіе между словомъ и дѣломъ; ничего нѣтъ идеальнаго ни въ томъ, что труженикъ каждый свой заработанный грошъ несетъ къ Борелю, ни въ томъ, что рентьеръ проповѣдуетъ о прелести бѣдности, а самъ преспокойно кладетъ въ карманъ по 20,000 въ годъ. Но невольно, неотразимо, инстинктивно вы отнесетесь къ этимъ двумъ разладамъ словъ и дѣлъ совершенно различно; кутающій не по средствамъ труженикъ вызоветъ въ васъ глубокую жалость къ себѣ; рентьеръ-же, распространяющійся о прелести труда и бѣдности, приведетъ васъ въ негодованіе, и не потому только, что онъ рентьеръ, зачѣмъ онъ, молъ, получаетъ 20,000; мимо десяти рентьеровъ, получающихъ по 200,000 въ годъ, вы пройдете совершенно равнодушно; здѣсь-же васъ выведутъ изъ себя, именно, рѣчи его; онъ невольно должны произвести на васъ впечатлѣніе словно какого-то кощунства надъ тѣми прекрасными евангельскими истинами, которыя идутъ совершенно въ разрѣзъ съ практикою жизни этого господина. Оболенскій-же толкуетъ вдругъ о какой-то пробужденной совѣсти въ убогихъ критикахъ, едва сводящихъ концы съ концами, и для оправданія гр. Л. Толстого употребляетъ слѣдующій фортель.

Потому, вотъ, видите, гр. Л. Толстой не можетъ осуществлять своихъ идей въ жизни, что въ кругъ его идей, между прочимъ, входитъ отрицаніе деспотическаго насилія для проведенія своихъ идей какъ въ семьѣ, такъ и въ обществѣ.

«Когда я былъ у Толстого прошлою осенью,—говоритъ Оболенскій,—онъ былъ очень увлеченъ вегетаріанизмомъ, т.-е. питаніемъ одною растительною пищею, чтобы не мучить и не убивать животныхъ. Посмотрите-же, какъ онъ проводилъ и какъ могъ проводить свои идеи въ своей-же семьѣ. А проводилъ онъ свои идеи такъ: прежде всего самъ не сталъ ѣсть мяса, а затѣмъ, старался убѣждать свою семью отказаться отъ него, и я слышалъ, что два члена семьи уже не ѣли мяса. Скажутъ, что это очень малые результаты, что этимъ онъ спасалъ въ годъ какую-нибудь сотню курицъ, десятка два быковъ, полсотни барановъ отъ насильственной смерти, что это капля въ морѣ. Согласенъ, но теперь посмотримъ, какой-же другой способъ могъ употребить Толстой? Какъ глава семьи, онъ могъ распорядиться деспотически, т.-е. просто запретить своимъ дѣтямъ и женѣ ѣсть мясо, а въ случаѣ сопротивленія прибѣгнуть къ силѣ; повару-же долженъ былъ запретить готовить мясо. Такъ-ли? Сдѣлалъ-ли-бы это кто-либо изъ васъ, господа, упрекающіе Толстого въ томъ, что онъ, будто-бы, непослѣдователенъ своими идеямъ только потому, что отрицая что-либо, не запрещаетъ своей семьѣ этимъ пользоваться, пока сама семья не убѣдится. Если-бы онъ распорядился деспотически, то развѣ вы, господа, не закричали-бы на него первые, что это—величайшій деспотизмъ, что онъ не смѣетъ заставлять насильно другихъ ѣсть и дѣлать не то, что они хотятъ, что онъ долженъ въ семьѣ дѣйствовать убѣжденіемъ, а не насиліемъ?»

## VI.

Но скажите, пожалуйста, гдѣ и когда-же это критики требовали, чтобы гр. Л. Толстой что-бы то ни было навязывалъ своимъ домочадцамъ? Рѣчь шла и идетъ постоянно о немъ самомъ лично. Если-же безразсудно и дико навязывать что-бы то ни было деспотично своей семьѣ, то не менѣе безразсудно и дико,

чтобы семья что-либо деспотично навязывала своему главу, вопреки его убѣжденіямъ. Никто и не думаетъ поэтому требовать, чтобы графъ Л. Толстой, въ угоду своимъ ученіямъ, роздалъ все свое имущество и насильно навязалъ семьѣ, хотя-бы, напримѣръ, ту крестьянскую долю, которую онъ считаетъ идеаломъ жизни. Но развѣ не бывало примѣровъ, что люди, вообще не занимающіеся проповѣдью какой-либо цѣльной моральной системы, изъ одной только страсти къ какой-нибудь профессіи, да изъ желанія существовать своимъ трудомъ, предоставляли роднымъ жить, какъ имъ угодно, а сами устраивали свою жизнь тоже, какъ имъ нравилось? Я полагаю, что, если-бы гр. Л. Толстой это сдѣлалъ, то самое то нравственное вліяніе его на членовъ своей семьи, о которомъ говоритъ Оболенскій, сдѣлалось-бы и сильнѣе, и благотворнѣе.

Вотъ также и исторія съ 12-мъ томомъ. На-дняхъ, какъ извѣстно, она разрѣшилась какъ разъ въ пользу критиковъ, нападавшихъ на этотъ фактъ: 12-й томъ появился въ продажѣ отдѣльно, и это обстоятельство какъ нельзя болѣе подтверждаетъ, что критики имѣли свои основанія нападать. Вѣдь, дѣйствительно, помимо ученія гр. Л. Толстого и какихъ-бы то ни было идей его, фактъ этотъ самъ по себѣ былъ настолько некрасивъ, что не могъ не возбудить противъ себя негодованія и въ публикѣ, и въ печати. Публика не могла не быть поражена, видя, что обыкновенные книгопродавцы и издатели, не ревнуящіе ни о какихъ евангельскихъ идеяхъ, не поступаютъ такъ, какъ поступилъ гр. Л. Толстой, т.-е. допускаютъ продажу отдѣльныхъ томовъ сочиненій авторовъ, а не навязываютъ покупку непременно цѣлаго изданія. Ходятъ слухи о какихъ-то стороннихъ обстоятельствахъ, имѣвшихъ мѣсто въ настоящемъ случаѣ. Но я не знаю, какія такіе обстоятельства могли-бы заставить меня, напримѣръ, выпустить книжку въ 10 листовъ подъ единственнымъ условіемъ назначенія за нее сторулевой платы? Въ крайнемъ случаѣ, если это противно моей совѣсти, никто не могъ-бы воспрепятствовать мнѣ положить преспокойно рукопись въ столъ и отказать отъ ея изданія.

Но оставимъ мы Оболенскаго съ его пустословіемъ. А сдѣлаемъ мы лучше вотъ что: отложивши въ сторону разборъ ученія гр. Л. Толстого въ его частностяхъ, отдѣльныхъ положеніяхъ и внутреннихъ противорѣчій, возьмемъ его въ цѣломъ его видѣ, какъ историческій фактъ, и постараемся показать, изъ какихъ общественныхъ потребностей вытекло это ученіе, насколько оно удовлетворяетъ этимъ потребностямъ и если не удовлетворяетъ, то что намъ нужно вѣсто него.

### ІХ.

Идеалы гр. Л. Толстого въ связи съ общественнымъ настроеніемъ, нравственными нумдами и недугами нашего времени.

#### І.

Давно уже замѣченъ тотъ фактъ, что увлеченія общественными вопросами и реформами сгѣняются

увлеченіями вопросами моральными, и что, подобно тому, какъ въ первомъ случаѣ господствуетъ та идея, что нравственность отдѣльныхъ лицъ вполне зависитъ отъ общихъ условій жизни и что она несправедлива безъ общественныхъ реформъ, такъ во второмъ случаѣ люди болѣе дѣлаются склонны предполагать, что никакія реформы не помогутъ, никакія прекрасныя учрежденія не спасутъ, если люди будутъ нравственно несостоятельны. Гизо, какъ извѣстно, дѣлитъ даже всеобщую исторію на разитренныя періоды, усматривая въ ней періодически правильныя сгѣны эпохъ общественныхъ реформъ и выработки индивидуально-нравственныхъ идеаловъ. — Но, и не соглашаясь съ Гизо относительно этой кристалической правильности въ сгѣнахъ эпохъ, все-таки мы не можемъ отрицать, что дѣйствительно бываютъ моменты сильныхъ увлеченій всего общества исключительно вопросами общественного характера, бываютъ и такіе времена, въ которыхъ преобладаютъ вопросы чисто моральные. Въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ явленіемъ стихійнымъ, движеніемъ, эпидемически увлекающимъ массы.

Нужно ли говорить о томъ, что общественныя движенія являются всегда какъ результатъ добытаго путемъ науки или ряда горькихъ опытовъ сознанія какого-либо общественного недуга, грозящаго распаденіемъ всего общественного строя. Это есть ничто иное, какъ обострившееся стремленіе устранить то, что мѣшаетъ людямъ жить и благоденствовать, или-же завестись то, что по всеобщему сознанію должно увеличить это благоденствіе. Моральныя-же движенія являются по большей части тогда, когда всѣмъ обществомъ овладѣваетъ горькое разочарованіе въ предшествовавшихъ увлеченіяхъ общественными вопросами, когда оказывается, что предпринятые реформы или не доставили того, чего отъ нихъ ожидали, или-же не удалась, и не удалась, повидимому, потому, что какъ люди, исполнявшіе ихъ, такъ и пользовавшіеся ими, оказались ниже своего призванія. И вотъ, среди всеобщаго изнеможенія, унынія, апатія, тоски, является томительное стремленіе оглянуться вокругъ себя и рѣшить, почему-же это люди или не сумѣли совершить того, что хотѣли, или оказались неспособными пользоваться этимъ? Стремленіе это ведетъ прямо къ индивидуально-нравственному анализу; являются сатирики, моралисты, проповѣдники, по косточкамъ разбирающіе поведение современныхъ имъ людей и указующіе лучшіе пути для нравственного совершенства, выставляющіе новые идеалы, которые противопоставляются установившейся практикѣ жизни.

### II.

Несомнѣнно, что такую именно эпоху моральнаго движенія переживаемъ мы въ настоящее время. Уже нѣсколько лѣтъ, какъ вопросы о личной нравственности, сѣтованія объ отсутствіи нравственныхъ идеаловъ, вопросы о томъ, какъ жить, во что вѣрить, къ чему стремиться отдѣльному человѣку, у всѣхъ стоятъ на первомъ планѣ, висятъ, такъ сказать, въ воздухѣ. Этимъ объясняется и та наклонность, которую мы замѣчаемъ въ последнее время въ нашемъ интел-



лигентномъ обществѣ къ сектантству, къ увлеченіямъ разными заѣзжими и отечественными религіозными проповѣдниками и моралистами. Этотъ же чисто моральный характеръ носятъ и всѣ появляющіеся въ печати народническіе толки о растлѣвающемъ вліяніи города, о преимуществахъ деревенской жизни, объ общинной нравственности въ противоположность индивидуальной, о нравственной цѣльности мужика сравнительно съ шатаніями и нравственнымъ банкротствомъ интеллигентнаго человѣка, вопросы, наконецъ, о пессимизмѣ и оптимизмѣ и пр. Все это обнаруживаетъ неоспоримое моральное движеніе, которое на нашихъ глазахъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе охватываетъ наше общество. И вотъ, среди всѣхъ этихъ моральныхъ исканій и порываній, ученіе гр. Л. Толстого занимаетъ самое импонирующее положеніе. На него обращено наибольшее вниманіе, чѣмъ на всѣ прочія моральные ученія, оно наиболѣе возбуждаетъ общество, пріобрѣтаетъ массу адептовъ и грозитъ если не всецѣло завладѣть мыслью современнаго общества, то, во всякомъ случаѣ, стать во главѣ моральнаго движенія, совершающагося передъ нашими глазами, направивъ его въ свою сторону.

Въ видахъ этого обстоятельства, ученіе гр. Л. Толстого пріобрѣтаетъ особенную важность въ глазахъ каждаго мыслящаго человѣка, способнаго проникать въ глубины жизни, не ограничиваясь однимъ созерцаніемъ поверхностной игры свѣта и тѣней. — Если это ученіе представляетъ собою рядъ заблужденій, то это отнюдь не случайная ошибка большого ума, а удѣлъ массы интеллигентныхъ людей, способныхъ заблуждаться такъ же, какъ заблуждается и гр. Л. Толстой, и идти по стопамъ его.

Дѣло въ томъ, что, признавая общественныя и моральныя движенія, какъ нѣчто стихійное, роковое, съ чѣмъ слѣдуетъ считаться, мы въ то же время отнюдь не можемъ утверждать, чтобы каждое такое движеніе было непременно плодотворно и вело къ благимъ результатамъ. Развѣ мы не видимъ въ исторіи, что иногда весьма сильныя общественныя движенія или разбиваются прахомъ о массу неодолимыхъ препятствій, или принимаютъ совершенно ложное направленіе и ничего не оставляютъ послѣ себя, кромѣ напрасныхъ жертвъ и всеобщаго разочарованія. Тоже самое происходитъ иногда и съ моральными движеніями; они, въ свою очередь, могутъ разрѣшиться мыльнымъ пузыремъ и, не принеся съ собою никакого нравственнаго обновленія, лопнуть въ воздухъ, не оставивъ послѣ себя ни одной брызги. Тутъ все зависитъ отъ того, какой характеръ приметъ моральное движеніе, отправится ли оно отъ какихъ-либо опредѣленныхъ и ясно сознанныхъ моральныхъ недостатковъ своего времени и будетъ стремиться къ борьбѣ съ этими недостатками на реальной почвѣ возможнаго и осуществимаго сегодня, или же оно сразу задастся такими утопическими мечтаніями, осуществленіе которыхъ возможно лишь въ перспективѣ вѣковъ.

### III.

Хотя гр. Л. Толстой опирается главнымъ образомъ на Евангеліе и воображаетъ, что все свое ученіе онъ извлекаетъ изъ единственнаго этого источника, но

это далеко несправедливо. Каждый, кто внимательно читалъ хоть одинъ трактатъ гр. Л. Толстого, можетъ въ достаточной мѣрѣ убѣдиться, что въ ученіи его, кромѣ евангельскихъ истинъ, отражается масса всякаго рода политико-экономическихъ идей, бродившихъ въ послѣдніе годы въ нашемъ обществѣ. Такъ, напримеръ, конечно, не Евангелію обязанъ гр. Л. Толстой тѣмъ ратованіямъ противъ раздѣленія труда, какія мы у него находимъ, или чисто народническимъ отрицаніемъ городской жизни и выставленіемъ преимуществъ сельскаго, земледѣльческаго быта. Въ Евангеліи вы не найдете ничего подобнаго; что же касается до требованія гр. Л. Толстого, чтобы каждый служилъ самъ себѣ, собственноручно исполняя около себя всѣ грязныя работы, то это требованіе, по моему мнѣнію, противорѣчитъ даже духу евангельскаго ученія: мы видимъ въ немъ скорѣе духъ американскаго демократизма, обособляющаго личность и замыкающаго ее въ самое себя, чѣмъ ученіе, требующее, чтобы мы служили другъ другу и были готовы исполнить другъ для друга что-бы то ни было, ничѣмъ не брезгая. Наконецъ, самое то отрицаніе разныхъ общественныхъ функцій, какое выводитъ гр. Л. Толстой изъ Евангелія, путемъ произвольнаго толкованія нѣкоторыхъ словъ, которыя можно перевести съ греческаго такъ или иначе, — развѣ не представляется отголоскомъ не столько Евангелія, сколько тѣхъ новѣйшихъ теорій, которыя точно также предполагаютъ, что различныя общественныя функція теряютъ свое значеніе въ будущемъ человѣчествѣ?

Однимъ словомъ, я хочу сказать, что ученіе гр. Л. Толстого отнюдь нельзя выводить изъ одного какого-нибудь источника. Оно имѣетъ характеръ собирательный, эклектическій. Въ этомъ его сила, его значеніе, но и въ этомъ же его слабость, заключающаяся въ отсутствіи строгой послѣдовательности и систематичности, въ массѣ противорѣчій, неизбежныхъ при соединеніи несоединимаго. Но мы не будемъ касаться этихъ слабостей, такъ какъ это опять привело-бы насъ къ разбору частныхъ, а этого мы въ настоящее время избѣгаемъ. Обратимъ лучше вниманіе на то, къ чему ведетъ это ученіе въ его цѣломъ, что оно представляетъ и насколько его предписанія жизненны, т. е. реальны и исполнимы.

Предположимъ, что вы вполне прониклись тѣмъ идеаломъ, который рисуетъ передъ вами гр. Л. Толстой: вы убѣдились, что въ основѣ вашей нравственности должны стоять любовь не къ отвлеченному человечеству, а къ вашему ближнему, брату, желаніе быть всѣмъ ему полезнымъ, чѣмъ только можете, снисходительность ко всѣмъ его слабостямъ, стремленіе заглянуть къ нему въ душу и пробудить въ немъ человѣка. Въ то-же время вы отрицаете исполнѣ всякое насиліе надъ ближнимъ, вы ни за что никогда не подымете на него руки, не вызовете его въ судъ; если онъ отниметъ все ваше достояніе, вы будете оглядываться вокругъ себя, нельзя-ли отдать ему еще что нибудь сверхъ этого. Но этого всего мало: вы должны все дѣлать сами для себя; въ потѣ лица зарабатывать хлѣбъ свой, но не однимъ физическимъ трудомъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ вы изъ человѣка превращаетесь въ мертвую машину въ рукахъ

другихъ, и тѣмъ болѣе не однимъ интеллигентнымъ трудомъ, такъ какъ тогда вы обращаетесь въ высокоумнаго паразита, за котораго дѣлаютъ все другіе для того, чтобы онъ величался своимъ умственнымъ превосходствомъ и замыкался въ интеллигентный кругъ, ничѣмъ не вознаграждая физическіе труды на него ближнихъ. Физическій и умственный труды должны тѣсно переплетаться въ вашей жизни и оба должны быть направлены на общую пользу; при этомъ подъ физическими трудами подразумѣваются преимущественно труды сельскіе, земледѣльскіе, на чистомъ воздухѣ, среди обаятельной природы, чтобы вокругъ птички пѣли и ручейки журчали...

#### IV.

Я нисколько не спору, что подобный идеалъ имѣетъ въ себѣ много привлекательнаго, что мы должны имѣть его въ виду, какъ конечную цѣль, къ которой обязано стремиться человѣчество, что, сообразно этой цѣли, должны производиться какъ всѣ общественныя реформы, такъ равно и всѣ нравственныя совершенствованія; но иное дѣло — конечная цѣль, осуществленіе которой будетъ возможно, можетъ быть, дѣтъ черезъ тысячу, иное дѣло — моральные идеалы, которые требуются людьми для руководства въ повседневной жизни теперь, сегодня. И вотъ скажемъ прямо и категорически, что идеалы, развиваемые гр. Л. Толстымъ, при всей кажущейся ихъ простотѣ, являются совершенно неосуществимыми утопіями. Можно сдѣлать въ этомъ отношеніи вотъ какое сравненіе: представить себѣ, что являлся-бы человѣкъ, который задумалъ-бы росписывать передъ нами волшебный край, лежащій за тысячу верстъ отъ насъ; тамъ изобиліе всего, нѣтъ ни холоду, ни жару, рѣки медвяныя, берега кисельные, а на деревьяхъ, отягченныхъ плодами, день и ночь распѣваютъ райскія птицы. Не угодно-ли пожаловать туда? Но васъ отдѣляютъ отъ этого края тысячи верстъ лѣсовъ дремучихъ, болотъ бездонныхъ. Казалось-бы, что первымъ дѣломъ надо было-бы позаботиться о томъ, чтобы проложить дороги къ заветной цѣли, вырубить лѣса, наложить мосты. Но господинъ увѣряетъ насъ, что ничего этого не нужно. Стоитъ только захотѣть, нарисовать лодку на стѣнѣ, да на ней и перенестись въ мгновеніе ока въ волшебный край.

Вотъ въ этой-то лодкѣ, нарисованной на стѣнѣ, и заключается вся ахиллессова пята ученія гр. Л. Толстого. Возьмите вы, напримѣръ, не какого-нибудь разбойника и тати, а средняго, весьма порядочнаго человѣка, того-же, напримѣръ, Ивана Ильича, смерть котораго изобразилъ гр. Л. Толстой такъ гениально. Представьте себѣ, что этотъ Иванъ Ильичъ вдругъ проникся-бы ученіемъ гр. Л. Толстого. Что-же ему слѣдовало-бы въ такомъ случаѣ дѣлать? Перестать, конечно, судить, выйти въ отставку, выучиться какому-нибудь ремеслу, напримѣръ, шитью сапоговъ, и начать въ потѣ лица зарабатывать хлѣбъ свой. Все это, казалось-бы, такъ просто и удобоисполнимо, а

на самомъ дѣлѣ это далеко не такъ просто. Начать съ того, что пока онъ выучился-бы сапожному ремеслу на столько, чтобы быть сыту самому и съ семействомъ, онъ рисковалъ-бы десять разъ умереть съ голоду, и все-таки сомнительно, вышелъ-ли бы изъ него сколько-нибудь способный сапожникъ, такъ какъ мускулы его преемственно въ ряду нѣсколькихъ поколѣній успѣли настолько атрофироваться, что неспособны уже къ упорному физическому труду. Если бы и оказалось въ нихъ на столько ловкости, чтобы усвоить приемы мастерства, то все-таки не хватило-бы настолько энергіи, чтобы изо дня въ день, часовъ по десяти, безъ усталости тачать и тачать, какъ работаютъ сапожники. Но положимъ, что и это преодолѣлъ-бы Иванъ Ильичъ, — куда же дѣвалъ-бы онъ свои изнѣженные нервы, въ свою очередь, выхоленные и доведенные до крайней раздражительности безпутною жизнью нѣсколькихъ поколѣній? Мы видимъ, что и у заправскихъ сапожниковъ, имѣющихъ желѣзные нервы, они иногда пошаливаютъ: работаетъ человѣкъ упорно до перваго праздника, а тамъ вдругъ его словно прорветъ, душа его требуетъ мало того, что водки, но какого-нибудь широкаго, дикаго безобразія, и это явленіе вырвавшейся на волю души — совершенно естественное, стихійное, непреодолимое. Не знаемъ также, насколько хватитъ нервовъ у Ивана Ильича, чтобы ласково улыбаться, когда какой-нибудь капризный заказчикъ сунетъ ему сапогъ въ носъ. Вѣдь это на отвлеченной почвѣ легко разсуждать о подставленіи щекъ, на самомъ же дѣлѣ необходимо имѣть очень сильныя нервы, чтобы каждый разъ сдерживать возбужденные рефлексы. А у Ивана Ильича навѣрное такіа возбужденія будутъ на каждомъ шагѣ, онъ будетъ окруженъ ими со всѣхъ сторонъ. Одна Прасковья Федоровна чего стоитъ: она, конечно, начнетъ поѣдомъ его ѣсть съ самой его отставки. Кстати, ее-то мы и забыли: какъ-же она-то, горемычная, помирится съ новымъ своимъ званіемъ сапожницы? Ивану Ильичу сполгору, такъ какъ онъ завѣтъ Льва Николаевича исполняетъ, ну, а ей за что приходится принимать въ чужомъ паре похмѣлье? Въ самомъ дѣлѣ, что прикажете дѣлать съ нею Ивану Ильичу, особенно принимая во вниманіе, во-первыхъ, нерасторжимость браковъ, предписываемую гр. Л. Толстымъ, а во-вторыхъ, отрицаніе какого-бы то ни было насилія надъ семьей въ проведеніи своихъ убѣжденій?

Если-бы еще Иванъ Ильичъ имѣлъ лишній достатокъ, тогда проклятыя деньги, къ которымъ прилипли потъ и кровь тысячъ тружениковъ, работавшихъ для накопленія въ рукахъ Ивана Ильича этого достатка, помогли-бы ему осуществить свои безсребренныя идеалы: онъ предоставилъ-бы Прасковью Федоровну жить, какъ ей угодно, на эти средства, а самъ поселился-бы тутъ-же въ каморочкѣ и началъ-бы свое безконечное постукиванье молоточкомъ. Но представьте себѣ, что у Ивана Ильича ни одной лишней копейки за душою не имѣется: жить онъ до той поры исключительно однимъ жалованьемъ. Какъ же ему теперь быть, чтобы соблюсти идеалъ, ничего въ то же время семьѣ не навязывая? Оболенскій, подумайте-ка объ этомъ и дайте совѣтъ.

## V.

Мы только слегка, немного коснулись одного Ивана Ильича, но жизнь, со всѣмъ ея пестрымъ разнообразіемъ, сложными и удивительными комбинаціями, безъ сомнѣнія, на каждомъ шагу представитъ вамъ и не такія еще пропасти между идеалами гр. Л. Толстого и дѣйствительностью, которую, какъ ни верти, ничего съ нею не подѣлаешь. И еще бы: мы имѣемъ дѣло здѣсь, во-первыхъ, съ массою учреждений, которыя измѣнить мы не властны, да и не имѣемъ и права сообразно идеаламъ, запрещающимъ всякое активное вѣдѣніе въ жизнь, и вотъ мы видимъ, что гр. Л. Толстой отстраняетъ отъ себя обязанность присяжнаго засѣдателя, чтобы не судить и не быть судимымъ, а самъ, въ видѣ косвенныхъ налоговъ, оплачиваетъ содержаніе тѣхъ самыхъ судовъ, къ которымъ относится столь отрицательно. Во-вторыхъ, мы видимъ массу привычекъ, наклонностей, слабостей, пороковъ, укоренившихся вѣками, вошедшихъ въ плоть и кровь людей, сдѣлавшихся ихъ второю природою. Чтобы поборотъ эти привычки или пороки, требуется, въ свою очередь, работа вѣковъ. Иному человеку для того, чтобы хоть сколько-нибудь приблизиться къ идеалу гр. Толстого, необходимо, чтобы отъ всего состава его порченной крови не осталось ни одной капли, другой—родился уже съ непреодолимую наклонностью къ пьянству, у третьяго похотливость развита до такого болѣзненного состоянія, что никакая сила воли не можетъ сдерживать его чувственныхъ порывовъ, и происходитъ это оттого, что и матушка, и бабушка, и прабабушка его очень много на своемъ вѣку грѣшили. Мы видимъ, наконецъ, что цѣлыя сословія слагаются въ опредѣленные типы, имѣютъ свои характеристическіе недостатки, которые упрочно удерживаются въ продолженіе сотенъ лѣтъ въ странахъ, въ которыхъ давно уже рушились всѣ сословныя перегородки и жизнь приняла совершенно иной характеръ. Для гр. Л. Толстого ничего подобнаго не существуетъ. Онъ воображаетъ, что идеалы его такъ просты и удобоисполнимы, что стоятъ только захотѣть и сейчасъ же вы ихъ и осуществите. Онъ даже выставляетъ на видъ, подчеркиваетъ именно легкость ихъ исполненія. Однимъ словомъ, онъ держится въ этомъ отношеніи средневѣковаго ученія безусловной свободы воли, и это существенная ошибка его ученія.

И къ чему-же это ведетъ? А ведетъ именно къ тѣмъ, подчасъ крайне смѣшнымъ, а иногда и весьма прискорбнымъ противорѣчіямъ, въ какія на каждомъ шагу впадаютъ люди, проникающіеся идеалами гр. Л. Толстого. Поставить человека передъ собою свой возвышенный идеалъ и молится на него, а самъ въ своей практической жизни волею-неволею вступаетъ въ рядъ компромиссовъ, которыхъ или не сознаетъ, не замѣчаетъ, или старается помирить со своимъ идеаломъ путемъ самыхъ хитросплетенныхъ и чисто иезуитскихъ софизмовъ. Одинъ оставляетъ жизнь свою въ прежнемъ ненарушномъ порядкѣ на томъ, видите ли, основаніи, что онъ не желаетъ ничего навязывать своимъ роднымъ, и весь нравственный переворотъ его будетъ заключаться въ томъ лишь, что отъ такого-то и до такого-то часа онъ будетъ строгать на столѣ-

номъ станкѣ или пойдетъ въ крестьянскую избу вдовѣ печку сложить, причѣмъ ему и въ голову не приходитъ, что эта починка печи есть только видоизмѣненная форма той-же самой тщеславной рисовки, которая сидитъ у него въ крови и съ которою онъ въ юности лихо отхватывалъ шазурку на удивленіе все бальной залы. Другой ограничится тѣмъ, что будетъ издавать убогія книжончки, которыя должны замѣнить народу и науку, и искусство, словомъ, всю человѣческую мудрость. Третій пойдетъ на какіе-нибудь Аркадіскіе острова основывать земледѣльческую колонію: помотришь на нихъ,—всѣ такіе прекрасные, развитые, гуманные, добрые, всѣ въ одинаковой степени такъ глубоко и искренно проникнуты идеалами гр. Л. Толстого,—и, тѣмъ не менѣе, будьте увѣрены, что черезъ два, три года переругаются самымъ прозаическимъ образомъ и разойдутся съ ненавистью другъ къ другу, ко всеобщему скандалу. И еще-бы: одинъ окажется лѣнтяй-лѣнтяемъ, только и заботящимся о томъ, какъ-бы свернуть дѣло на другого; другой и радъ бы стараться, да окажется такимъ и неуклюжимъ, и неловкимъ, и безтолковымъ, что дѣло само будетъ валиться у него изъ рукъ; одна барыня проявитъ вдругъ неудержимое стремленіе надъ всѣми властвовать и всѣхъ держать подъ башмакомъ, другая будетъ ежедневно терзать колонію мелочными капризами и истериками, а третья, при всей готовности быть цѣломудренно-вѣрной женой, вдругъ согрѣшитъ съ пріятелемъ мужа и сама будетъ недоумѣвать, какъ это случилось.

## VI.

И вотъ, такимъ образомъ, можетъ произойти, въ концѣ-концовъ, что, при всей прелести идеаловъ гр. Л. Толстого, ничего не получится отъ нихъ въ результатъ, кромѣ все того-же нравственнаго шатанія, неудовлетворенности, разочарованія, отчаянія. При этомъ я весьма далекъ отъ того, чтобы всю вину въ этомъ отношеніи слагать на одного гр. Л. Толстого, зачѣмъ онъ преподнесъ намъ такой идеалъ, а не какой-нибудь другой. Онъ дѣлитъ вѣстѣ съ нами недостатокъ, свойственный всѣмъ намъ, лежащій въ духѣ нашего времени.

Мы всѣ страдаемъ тѣмъ, что отрываемся постоянно отъ земли и летаемъ въ какихъ-то надзвѣздныхъ пространствахъ, въ области всеобъемлющихъ и туманныхъ идеаловъ. И не въ томъ собственно бѣда, что мы носимся съ подобными идеалами, но въ нашемъ отношеніи къ нимъ. Пусть-бы мы, разъ поставивъ передъ собою идеалы эти, какъ конечную цѣль чело-вѣческой жизни, оглянулись затѣмъ вокругъ себя и приняли во имя этихъ идеаловъ за ту расчистку пути, ведущаго въ волшебный край, о которой я говорилъ выше,—это было бы совсѣмъ другого рода дѣло, это было-бы чисто реальное дѣло, которое наполнило бы нашу жизнь такъ, что не было бы въ ней мѣста ни для скуки, ни для отчаянія.

Прежде всего намъ слѣдуетъ опереться на тотъ горькій опытъ, какой мы вынесли изъ нашего недалекаго прошлаго,—сознать тѣ тяжкіе нравственные недуги, которыми мы преимущественно страдаемъ, и всѣ усилія воли употребить на излеченіе именно

этихъ недуговъ. Недуги же эти у всѣхъ передъ глазами и они ни отъ кого не скрыты: нравственная распущенность, заключающаяся въ привычкѣ беззавѣтно отдаваться каждому чувству и каждой похоти, какъ бы онѣ ни были низменны, мерзки, предосудительны и гибельны, небрежное, халатное отношеніе къ дѣлу, отсутствіе малѣйшей усидчивости въ трудѣ и хотѣ капли упорства въ достиженіи цѣли, вѣчная безалаберная смѣна увлеченій, обуславливающая безпрепятственные переходы отъ одного занятія къ другому, періодическія смѣны выходящихъ изъ всѣхъ границъ экстазовъ или полного отчаянія послѣ первой ничтожной неудачи, — таковы нравственные болѣзни, свойственныя большинству нашей интеллигенціи. Въ виду этихъ недуговъ, должны быть поставлены не одинъ всеобъемлющій, а нѣсколько нравственныхъ идеаловъ, правда, маленькихъ, относительныхъ, но дай

Богъ, чтобы мы сѣмѣли хотѣ ихъ-то достигнуть, — какой бы это былъ шагъ впередъ. А то выходитъ подчасъ очень смѣшно и печально: носится иной человекъ съ широкимъ, всеобъемлющимъ идеаломъ въ духѣ гр. Л. Толстого, разливается потоками празднаго пустословія и резонерства, а самъ, глядишь, не способенъ оказывается честно и гуманно отнестись къ женщинѣ, которою поигралъ и бросилъ, забываетъ платить долги не по неимѣнію средствъ, а изъ одной небрежности, зачитываетъ чужія книги и живетъ по уши въ грязи, какъ свинья. Все это, видите, мелочи, на которыя не стоитъ обращать вниманія людямъ, рѣшающимъ судьбы міра!

Однимъ словомъ, какъ ни хороши идеалы гр. Л. Толстого, а съ ними одними мы вѣчно будемъ топтаться на одномъ мѣстѣ.

## В Л А С Т Ъ Т Ы М Ы.

«Власть тьмы» или «Ноготокъ увязъ — всей птичкѣ пропасть», драма гр. Л. Толстого.

### I.

Ни одно произведеніе гр. Л. Толстого не раздѣлило до такой степени публику нашу на два лагеря, какъ это. Тутъ мы имѣемъ дѣло не съ одними рьяными поклонниками нравственно-философскаго ученія гр. Л. Толстого, противъ которыхъ стоитъ масса публики, ученія этого не раздѣляющая. Нѣтъ, безразлично отъ этого дѣленія, вся публика сама по себѣ раздѣлилась на людей, считающихъ драму гр. Л. Толстого однимъ изъ лучшихъ перловъ его творчества, и людей, отрицающихъ ее всецѣло, говорящихъ даже, что если бы подъ нею не стояло имя автора «Войны и мира», то никто не обратилъ бы на нее вниманія.

Поклонники драмы прежде всего увлекаются универсальностью гр. Л. Толстого въ знаніи русской жизни въ самыхъ ея разнообразныхъ слояхъ. Ихъ естественно удивляетъ, что какъ это писатель, который до сихъ поръ болѣе всего изображалъ великосвѣтскую жизнь, изучивши ее до изумительныхъ тонкостей, въ то же время оказывается такимъ же компетентнымъ и въ сферѣ деревенской мужицкой жизни. И здѣсь опять-таки оказывается, что авторъ изучилъ изображаемую жизнь до такихъ же изумительныхъ тонкостей, какъ и великосвѣтскую.

Обратите въ самомъ дѣлѣ вниманіе на языкъ, какимъ выражаются дѣйствующія лица: вѣдь мало сказать, что это до фотографической точности тотъ самый языкъ, какимъ говорятъ крестьяне; вы видите, что у каждого дѣйствующаго лица онъ принимаетъ особенный индивидуальный характеръ; у каждого свой собственный языкъ, соотвѣтственный его типу, не исключая даже маленькой Анютки. Возьмите вы, напримеръ, языкъ Акимъ: не говоря уже о томъ, что онъ на каждомъ словѣ тянетъ, словно пріскивая слова

и выраженія, вслѣдствіе чего и является у него частое повтореніе частицы *тае*, но замѣчательно въ то же время его словосочиненіе; онъ говоритъ отдѣльными, отрывочными словами, почти не связывая ихъ въ предложенія: то у него вы встрѣтите рядъ существительныхъ безъ глаголовъ, то наоборотъ; напримеръ: — «Такъ и угадывалъ, значитъ, женю, значитъ, малаго отъ грѣха, значитъ; онъ дома, значитъ, тае, какъ должно по закону, а ужъ я, значитъ тае, въ городу похлопочу». Вѣдь это, какъ есть языкъ дикаря, языкъ труженика, весь вѣкъ копающагося въ землѣ, привыкшаго болѣе думать, чѣмъ говорить, а если и говорить, то по большей части со скотомъ или предметами неодушевленными. — Поставьте вы рядомъ съ языкомъ Акимъ языкъ Никиты, и васъ сразу поразитъ неизмѣримая разница. Въ драмѣ ни однимъ словомъ не упоминается, что Никита былъ въ Питерѣ, но вы сразу догадываетесь объ этомъ по одному его языку, испещренному такими словами, какъ рассчитываю, окончательно, правда, исторія, скандаль и т. п.

Вмѣстѣ съ характернымъ языкомъ поражаетъ васъ и та рельефная типичность, съ какою рисуются передъ вами дѣйствующія лица драмы. Они какъ живые стоятъ передъ вами, не расплываются, не ступиваются въ стереотипныя представленія деревенскихъ мужиковъ и бабъ, парней и дѣвокъ, а каждое вырисовывается передъ вами со всѣми своими достоинствами и недостатками и мельчайшими индивидуальными особенностями и врѣзывается въ вашу память навсегда.

Не менѣе замѣчательно знаніе деревенскаго быта до такихъ поразительныхъ мелочей, какъ, напримеръ, та, что Анютка, въ четвертомъ дѣйствіи, нѣсколько разъ обзываетъ Анисю нянькой. Иной читатель сразу

и не догадается, о какой такой нянькѣ идетъ здѣсь рѣчь. Суть же въ томъ, что не только дѣти, но и взрослые въ деревняхъ называютъ няньками тѣхъ своихъ сестеръ или тетокъ, которые ихъ нѣкогда нянчили. Авторъ не упустилъ и подобную микроскопическую подробность.

Наконецъ не мало подкупаетъ поклонниковъ драмы и то обстоятельство, что они ожидали отъ гр. Л. Толстого совсѣмъ иного отношенія къ народному быту. Они привыкли къ тому, что гр. Л. Толстой постоянно указывалъ въ послѣднихъ своихъ сочиненіяхъ на народные массы, какъ на носителей тѣхъ идеаловъ, къ которымъ онъ предлагалъ стремиться людямъ своей среды, вспоминали типъ Каратаева, внушившій Пьеру Безухому просіяніе, и естественно ждали фальшивой идеализаціи народнаго быта, въ угоду излюбленнымъ тенденціямъ графа, и вдругъ нашли нѣчто совершенно противоположное: оказалось какъ нельзя болѣе неожиданно, что народная деревенская жизнь изображена въ драмѣ съ той же фотографической точностью и глубокой реальной правдивостью, съ какою изображается она въ послѣднее время у такихъ ея знатоковъ, какъ Гл. Успенскій. Какъ же было не увлечься такимъ обстоятельствомъ?

Порицателямъ же драмы болѣе всего не понравилось въ ней слишкомъ ужъ безцеремонная и, въ тоже время, какъ будто предвзятая и совершенно излишняя грубость реализма. Зачѣмъ это на каждомъ шагѣ грязные онучи, сортиры, вонь, бранныя слова, выходящая изъ всѣхъ предѣловъ приличія, и въ концѣ концовъ убійство ребенка чуть что не на самой сценѣ, и съ такими циническими подробностями, что у васъ морозъ подираетъ по кожѣ. Реализмъ—реализмомъ, говорить порицатели, но все таки не надо забывать, что искусство имѣетъ свои предѣлы, передъ которыми оно обязано останавливаться во имя традиціонныхъ, тысячелѣтними выработанныхъ законовъ изящнаго. Цѣль искусства заключается не въ томъ, чтобы терзать ваши нервы и доводить женщинъ до истерикъ; оно имѣетъ свои эстетико-нравственные задачи, выполняемыя безъ подобныхъ излишествъ и которыми эти излишества даже вредятъ. Иначе во имя реализма остается допустить такія вещи, какъ сцены повѣшенія, отрубленія головы со всѣми ужасающими подробностями, потоками крови, предсмертными корчами, допустить, наконецъ, и Богъ вѣсть какія непотребства. Но такимъ путемъ легко дойти до древняго римскаго цирка и вмѣсто тѣхъ высоконравственныхъ и просвѣтительныхъ вліяній, какія мы требуемъ отъ сцены, обратить ее въ школу одичанія нравовъ и развитія въ толпѣ кровожадныхъ инстинктовъ.

Далѣе затѣмъ порицатели указываютъ на мистическую тенденцію, лежащую въ основѣ драмы и на массу несообразностей (о нихъ рѣчь будетъ впереди), которыя прямо вытекаютъ изъ стремленія автора провести во что-бы то ни стало свою тенденцію.

Всѣ это столь разнорѣчивые толки зависятъ, по моему мнѣнію, отъ тѣхъ элементовъ, которые мы найдемъ въ самой драмѣ гр. Л. Толстого. Она происходитъ все отъ того же разлада художника и мыслителя, который мы видѣли въ романѣ „Анна Каренина“

и который здѣсь повторяется въ томъ же самомъ видѣ и съ тѣми же результатами. Какъ тамъ, такъ и здѣсь мыслитель тянетъ насъ въ одну сторону, а художникъ совсѣмъ въ другую. Мыслитель проводитъ излюбленную свою тенденцію и дѣйствительно допускаетъ нѣкоторыя изъ ненужныхъ излишествъ, искажаетъ нѣкоторые факты; художникъ-же, въ концѣ концовъ, посрамляетъ мыслителя, торжествуетъ надъ нимъ и приводитъ читателя совершенно къ инымъ результатамъ.

Отсюда и вытекаетъ все разнорѣчіе въ сужденіяхъ о драмѣ гр. Л. Толстого. Тѣ, которые отправляются отъ тенденціи автора и смотрятъ, на сколько эта тенденція вѣрно проведена, истинна-ли она сама и къ какимъ прискорбнымъ излишествамъ приводитъ она автора,—конечно, приходятъ къ отрицательнымъ выводамъ. Тѣ же, которые отстраняютъ тенденцію, какъ ненужную примѣсь и къ тому-же примѣсь, совершенно посрамленную художникомъ, а обращаютъ вниманіе на торжествующее начало драмы, на ту поразительную картину, которую нарисовалъ намъ художникъ, помни своей воли и желанія, силою своего непосредственнаго творчества,—тѣ приходятъ отъ драмы въ восторгъ. Сообразно всему этому мы примемъ для нашего разбора драмы гр. Л. Толстого совершенно такой же планъ, какому мы слѣдовали при разборѣ „Анны Карениной“. Сначала мы рассмотримъ, что хотѣлъ гр. Л. Толстой изобразить, а затѣмъ обратимъ вниманіе на то, что онъ изобразилъ.

## II.

Не можетъ быть и сомнѣнія, что когда гр. Л. Толстой писалъ свою драму, онъ имѣлъ въ виду, ни болѣе, ни менѣе, какъ провести въ ней все тѣ же излюбленные идеи, которыя проводятся во всѣхъ его трактатахъ послѣдняго времени, начиная съ „Исповѣди“ и кончая „Въ чемъ моя вѣра?“. Объ этомъ можетъ свидѣтельствовать и самое заглавіе драмы, отъ котораго вѣетъ на васъ такимъ-же мистико-трагическимъ ужасомъ, какъ и отъ известнаго эпитафа въ „Аннѣ Карениной“: „Мнѣ отпущеніе, и азъ воздамъ“.

Драма завязывается гораздо ранѣе перваго дѣйствія, въ которомъ она уже является передъ нами во всемъ разгарѣ. Она коренится въ томъ обстоятельстве, что мужикъ Петръ дѣлается настолько богатъ, что, во-первыхъ, онъ можетъ обходиться безъ труда, держа работника и пользуясь чужими руками, а во-вторыхъ, ему ничего не стоитъ купить за деньги не только чужой трудъ, но и супружеское ложе. Такъ послѣ смерти первой жены Петръ женится на молодой дѣвушкѣ Анисѣ, которую выдали за него, конечно, насильно, единственно ради того, что женихъ онъ очень выгодный, богатый. Неравный бракъ не замедлил истощить послѣднія силы человѣка уже пожилого, и вотъ, въ началѣ перваго дѣйствія, мы видимъ его болѣзненнымъ, раздражительнымъ, угасающимъ. Онъ сознаетъ ненормальность всего строя своей жизни. „Ужъ эти работники! говоритъ онъ: будь-бы здоровъ, ни въ жизнь бы не сталъ ихъ держать. Одинъ грѣхъ съ ними!“—но это сознание было уже и позднимъ, и празднымъ. Грѣхъ и болѣзнь до такой

степени опутали уже его, что не было никакой возможности возвращаться къ праведной жизни насущнаго труда; оставалось только слѣпо идти по скользкому пути гибели, по какому велъ его поселившійся въ домъ его демонъ въ видѣ денегъ.

Анисья, между тѣмъ, женщина молодая, что называется, въ соку, всего 32 лѣтъ, легкомысленная щеголиха, любящая повеселиться и пожить, естественно ничего не можетъ питать къ старому, больному и капризному мужу, кромѣ ненависти; она обходится съ нимъ грубо, зубъ за зубъ, называетъ его не иначе, какъ „гнилой чортъ носастый“, и вступаетъ въ связь съ работникомъ, живущимъ въ ихъ домѣ, 25-ти лѣтнимъ парнемъ Никитой.

Никита, какъ мы уже говорили объ этомъ, питерщикъ, щеголяющій своею умственностью и отборными столичными словечками. Въ то же время онъ деревенскій сердцедѣль и бабникъ. Онъ, конечно, уже въ Питерѣ привыкъ ухаживать за кухарченками, и въ деревнѣ не упускаетъ изъ вида ни одной бабенки или дѣвки. „Люблю, говоритъ онъ, я этихъ бабъ, какъ сахаръ, а что меня бабы любятъ, я въ этомъ не причиненъ“.

Не довольствуясь Анисьею, онъ обольщаетъ бѣдную дѣвушку, сироту Марину. Отецъ его, трудящійся, какъ волъ, и богобоязненный крестьянинъ старыхъ заѣтовъ, требуетъ, чтобы сынъ прикрылъ грѣхъ свой бракомъ. Никита, при всемъ своемъ стасотлюбинѣ, парень вовсе не жестокосердый, не особенно противится желанію отца. Съ одной стороны, Анисья, очевидно, успѣла ему понадобѣсть, а съ другой стороны, онъ по своей подленькой и малодушной натурѣ вполне оправдывалъ извѣстную поговорку: „блудливъ, какъ кошка, трусливъ, какъ заяцъ“, и ему не особенно пріятно улыбалась перспектива науки въ волостномъ въ случаѣ его сопротивленія. — „Уперся одинъ такой-то, говоритъ онъ Анисѣ въ свое оправданіе: такъ его въ волостной такъ вспрыснули... Очень просто. Тоже не хочется. Сказываютъ—щекотно“...

Но Анисья змѣей обвилась вокругъ своего возлюбленнаго и грозилась лишитъ себя жизни, если онъ женится на Маринѣ; если-же онъ останется въ домѣ ихъ при ней, общала выйти за него замужъ и сдѣлать его хозяиномъ богатаго дома. Въ то же время мать Никиты—Матрена, женщина хитрая, вкрадчивая, не останавливающаяся ни передъ какими средствами для достиженія цѣли и играющая въ пьесѣ роль Мефистофеля, склонительница на всѣ преступления и пособница, является сторонницей Анисьи, желая, чтобы сынъ женился въ послѣдствіи на богатой вдовѣ,—и чтобы ускорить этотъ бракъ, она передаетъ Анисѣ ядъ для отравленія больного мужа, говоря, при этомъ, что „это такое снадобье, что если давать пить—никакого духа нѣтъ, а сила большая: на семь разовъ, по щепотки на разъ. До семи разовъ давай. И слобода тебѣ скоро откроется“.

Порицатели драмы гр. Л. Толстого находятъ здѣсь первую несообразность. „Зачѣмъ было, говорятъ они, Матренѣ предлагать Анисѣ ядъ для отравленія Петра, а Анисѣ принимать его, когда очевидно было, что Петру, при его крайней болѣзненности, не долго оставалось коротать на бѣломъ свѣтѣ?“

Но по моему мнѣнію, настоящій моментъ драмы обдуманъ гр. Л. Толстымъ въ надлежащей мѣрѣ. Дѣла стояли въ этотъ моментъ въ такомъ положеніи, что ни за одинъ день нельзя было ручаться. Съ одной стороны Акимъ, сегодня соглашаясь оставить Никиту попрежнему у Петра, завтра могъ передумать и снова настаивать на женитьбѣ сына; съ другой стороны и Анисья, да и сама Матрена не могли разсчитывать на вѣтреную и шальную голову Никиты. Надо было спѣшить укрѣпить его въ домѣ Петра болѣе прочными узами. Между тѣмъ, какъ ни былъ болѣзненъ Петръ, все таки не настолько, чтобы смерть его предвидѣлась въ близкомъ будущемъ: онъ могъ протянуть и годъ, и два, и болѣе, а въ это время Богъ знаетъ что могло случиться. Надо было ковать желѣзо, пока оно было горячо, и ядъ являлся здѣсь какъ нельзя болѣе кстати.

### III.

Второе дѣйствіе заключается именно въ отравленіи Петра. Сначала Анисья колеблется, даетъ ядъ самыми малыми дозами; ей непривычны, жутки, страшны эти первые шаги по преступной стезѣ.

— „О-о, головушка моя бѣдная! говоритъ она Матренѣ: И что дѣлать теперь, сама не знаю, и жутость беретъ,—помиралъ-бы ужъ лучше самъ. Тоже на душу брать не хочется“.

Но Матрена и тутъ является злою искушительницею, продолжая играть роль Мефистофеля въ юбкѣ. Опять на сцену выступаютъ деньги, которые оказываются главными адскими пружинами во всѣхъ преступленияхъ. —Прежде чѣмъ Петръ умретъ, оказывается дѣломъ первой важности овладѣть его капиталами, которые онъ неизвѣстно куда прачетъ. Тщетно обыскиваетъ Анисья всѣ углы. Между тѣмъ Петръ, чувствуя приближеніе смерти, посылаетъ за своею сестрою Марею и является опасность, что онъ передастъ деньги ей. Тогда дѣло обостряется въ такой степени, что Анисѣ только и остается, что или закатить Петру такую дозу яду, чтобы онъ сразу скончался до прихода Мары, или-же проститься навсегда и съ деньгами Петра, и съ перспективою замужества за Никиту. Анисья рѣшается, наконецъ, на ужасное дѣло.

Въ третьемъ дѣйствіи Анисья является уже женою Петра, но бракъ этотъ, конечно ужъ, не приноситъ счастья любовникамъ, и надъ домомъ ихъ тяготѣетъ проклятіе. Никита, послѣ брака узнавшій отъ матери о преступленіи Анисьи, сразу охладѣваетъ къ ней. „И опостылѣла-же она мнѣ, — говоритъ онъ, — съ этого разу. Какъ мнѣ мать сказала тогда, опостылѣла она мнѣ, не смотрѣли-бы на нее глаза...“ Онъ началъ пить и въ то-же время связался съ Акулиной, дочерью покойнаго Петра отъ перваго брака.

Анисья знаетъ объ этой связи, но молчитъ и смотритъ сквозь пальцы. Какъ преступница, она совершенно оказывается въ рукахъ своего сообщника, который куражится надъ нею, какъ ему вздумается, а она безропотно все это переноситъ, въ страхъ, конечно, какъ-бы не раздражить его и какъ-бы въ гнѣвъ онъ не проговорился. Глубокою психологическою вѣр-



ностью отличается слѣдующая сцена прїѣзда пьяного Никиты изъ города, куда онъ ѣздилъ съ Акулиной за получениемъ процентовъ изъ банка, накупивши своей новой любовницѣ дорогихъ обновъ.

Никита. Анисья, жена, кто прїѣхалъ? *(Анисья, взглядываетъ и, отворачиваясь, молчитъ).*

Никита *(грозою)*. Кто прїѣхалъ? Аль забыла?

Анисья. Будетъ форсить-то. Иди.

Никита *(еще грознее)*. Кто прїѣхалъ?

Анисья *(подходитъ и беретъ за руку)*. Ну, мужъ прїѣхалъ. Иди въ избу-то.

Никита *(упирается)*. То-то. Мужъ, а какъ звать мужа-то? Говори правильно.

Анисья. Да, ну тебя—Микитой.

Никита. То-то! Невѣжа—по отчеству говори.

Анисья. Акимъчъ. Ну!

Никита *(все въ дверяхъ)*. То-то. Нѣтъ, ты скажи фамилія какъ?

Анисья *(смыкаетъ и тянетъ за руку)*. Чиликинъ. Эка надудся.

Никита. То-то. *(Удерживается за косякъ)*. Нѣтъ, ты скажи, какой ногой Чиликинъ въ избу ступаетъ?

Анисья. Ну, будо—настудишь.

Никита. Говори, какой ногой ступаетъ? Обязательно сказать должна.

Анисья *(про себя)*. Надоѣсть теперь. Ну, лѣвой. Иди, что-ль.

Никита. То-то.

Вслѣдъ за тѣмъ слѣдуетъ сцена перебранки Анисьи съ Акулиной, не менѣе значительная, какъ тонкнпшъ психическимъ анализомъ, такъ и поразительнымъ знаніемъ народной жизни. Анисья подходитъ къ столу, чтобы приготовить чай, и видитъ разложенныя на немъ обновки Акулины.

Анисья. Ну васъ, разложили.

Никита. Ты глянь-ка сюда.

Анисья. Что мнѣ глядѣть! Не видала я, что-ль? Убери ты. *(Смакиваетъ рукой на полъ полушалочикъ).*

Акулина. Ты что швыряешься? Ты своимъ швыряй. *(Поднимаетъ).*

Никита. Анисья! Мотри.

Анисья. Чего смотрѣть-то?

Никита. Ты думаешь, я тебя забылъ. Гляди сюда. *(Показываетъ свертокъ и садится на него)*. Тебѣ гостиница. Только заслужи. Жена, гдѣ я сижу?

Анисья. Будетъ куражиться-то. Не боюсь я тебя. Что-жъ ты на чьи деньги гуляешь, да своей жирехъ гостиницы купляешь? На мои.

Акулина. Какже твои! Украсть хотѣла, да не пришлость. Уйди ты. *(Хочетъ пройти, толкается).*

Анисья. Ты что толкаешься-то? Я-те толкону.

Акулина. Ну-ка сунься. *(Напираетъ на нее).*

Никита. Ну, бабы, бабы. Буде. *(Становится между ними).*

Акулина. Тоже лѣзетъ. Молчала-бы, про себя-бы знала. Тоже лѣзетъ. Ты думаешь, не знаютъ?

Анисья. Что знаютъ? сказывай, сказывай, что знаютъ?

Акулина. Дѣло про тебя знаю.

Анисья. Шлюха ты, съ чужимъ мужемъ живешь.

Акулина. А ты своего извела.

Анисья *(бросается на Акулину)*. Брешешь.

Никита *(удерживаетъ)*. Анисья! Забыла?

Анисья. Чего страшась? Не боюсь я тебя.

Никита. Вонъ! *(Поворачиваетъ Анисью и выталкиваетъ).*

Анисья. Куда я пойду? Не пойду я изъ своего дома.

Никита. Вонъ, говорю. И ходить не смѣй.

Анисья. Не пойду. *(Никита толкаетъ, Анисья плачетъ и кричитъ, цѣпляясь за дверь)*. Что-жъ это, изъ своего дома въ зашей гонать? Что-жъ ты, зло-

дѣй, дѣлаешь? Думаешь, на тебя и суда нѣтъ. По-годи-же ты!

Никита. Ну, ну!

Анисья. Къ старостѣ, къ уряднику пойду!

Никита. Вонъ, говорю *(выталкиваетъ)*.

Анисья *(изъ-за двери)*. Удавлось!

Однимъ словомъ передъ вами развертывается самая мрачная картина полного семейнаго разлада. Отецъ Никиты, Акимъ, который навѣдался къ сыну какъ разъ въ эту минуту съ просьбою помочь въ нуждѣ, пришелъ въ такой ужасъ при видѣ всѣхъ этихъ возмутительныхъ сценъ, что отказался отъ предлагаемыхъ денегъ и не захотѣлъ оставаться у него пить чай и ночевать.

Акимъ *(смыкаетъ и надвигаетъ шубу. Подходитъ къ столу, кладетъ на него бумажку)*. На—деньги твои. Прибери.

Никита *(не видитъ бумажки)*. Куда ѣ брался одѣвши-то?

Акимъ. А пойду, пойду я, значить, простите, Христа ради. *(Беретъ шапку и кушакъ)*.

Никита. Вотъ-те на. Куда пойдешь-то ночнымъ дѣломъ?

Акимъ. Не могу я, значить тас, въ вашемъ домѣ, тас, не могу значить быть, быть не могу, простите.

Никита. Да куда-же ты отъ чаю-то?

Акимъ *(подползывается)*. Уйду потому, значить, не хорошо у тебя значить, тас, нехорошо, Микишка, въ домѣ, тас, нехорошо. Значить, плохо ты живешь, Микишка, плохо. Уйду я.

Никита. Ну, буде толковать, садись чай пить.

Анисья. Что-жъ это батюшка, передъ людьми стыдно будетъ. На что-жъ ты обижаешься?

Акимъ. Обиды мнѣ, тас, никакой нѣтъ, обиды нѣтъ, значить, а только что, тас, вижу я, значить, что къ погнѣли, значить, сынъ мой, къ погнѣли сынъ, значить.

Никита. Да какая погнѣль? ты докажь.

Акимъ. Погнѣль-то, погнѣль, весь ты въ погнѣли. Я тебѣ лѣтось что говорилъ?

Никита. Да мало ты что говорилъ.

Акимъ. Говорилъ я тебѣ, тас, про сироту, что обидѣлъ ты сироту Марину, значить обидѣлъ.

Никита. Экъ поминулъ. Про старыя дрожжи не поминать дважды, то дѣло прошло...

Акимъ *(разоряясь)*. Прошло? Нѣ, братъ, это не прошло. Грѣхъ значить за грѣхъ цѣпляется, за собою тянется, и завязъ ты, Микишка, въ грѣхъ. Завязъ ты, смотрю, въ грѣхъ. Завязъ ты, погрузъ ты, значить.

Никита. Садись чай пить и разговоръ весь.

Акимъ. Не могу я, значить, тас, чай пить. Потому отъ скверны отъ твоей значить, тас, гнусно мнѣ, даже гнусно. Не могу я, тас, съ тобой чай пить.

Никита. И... канителить. Иди къ столу-то.

Акимъ. Ты въ богатствѣ, тас, какъ въ сѣтихъ, въ сѣтихъ ты, значить. Ахъ, Микишка, душа надобна.

Никита. Какую ты имѣешь полную праву въ моемъ домѣ меня упрекать? Да что ты въ самомъ дѣлѣ пристаешь? Что я тебѣ, мальчикъ дался за виски драть? Нынче ужъ это оставили.

Акимъ. Это точно, слыхалъ я нынче, что и тас, что и отцовъ за бороды трясутъ, значить, да на погнѣль это, на погнѣль, значить.

Никита *(сердито)*. Живемъ, у тебя не просимъ, а ты-жъ къ намъ пришелъ съ нуждой.

Акимъ. Деньги? Деньги твои вонъ онѣ. Побираться, значить, пойду, а не тас, не возмю, значить.

Никита. Да буде. И что серчаешь, компанію разстраиваешь. (*Удерживает за руку*).

А к и м ъ (*вызывается*). Пусти, не останусь. Лучше подь забором переночую, чѣмъ въ пакости въ твоей. Тыфу, прости Господи. (*Уходитъ*).

#### IV.

Мы нарочно такъ долго остановились на третьемъ дѣйствіи и привели изъ него такъ много выписокъ, что это дѣйствіе представляется самымъ лучшимъ во всей драмѣ, наиболѣе естественнымъ, характернымъ и художественно-обработаннымъ. Далѣе-же затѣмъ мы вступаемъ въ мрачную область преувеличеній, натяжекъ и полныхъ искаженій дѣйствительности ради того, чтобы подогнать ее къ проводимой тенденціи.

Такъ, напримѣръ, въ четвертомъ дѣйствіи развертывается передъ вами рядъ ужасающихъ сценъ новаго преступленія героевъ драмы, — именно убійства ребенка Акулины, прижитаго ею съ Никитою. Здѣсь приходится выдать гр. Л. Толстого порицателямъ его драмы съ головою и нѣтъ никакой возможности защититъ его отъ ихъ нападокъ. Дѣйствительно, здѣсь одна несообразность ведетъ за собою другую, и надуманность, искусственность всѣхъ этихъ несообразностей мечутся вамъ въ глаза. Такъ, для васъ совершенно непонятно, какъ это — въ то время, какъ вся деревня знала о беремености Акулины, да и не могла не знать, такъ какъ въ деревнѣ, гдѣ не носятъ ни корсетовъ, ни кринолиновъ, ни турнировъ, трудно скрыть беременность дѣвушки, — и вдругъ одни сваты, пріѣхавшіе сватать Акулину ничего объ этомъ не знали. А если знали, и все-таки сватали, имѣя въ виду богатое приданое Акулины, то какой смыслъ имѣетъ слѣдующая сцена:

С в а т ь (*одинъ выходитъ изъ снѣгъ икаетъ*). Упирился. Жарко страсть. Простудился маленько. (*Стоитъ отдувается*). И Богъ е знаетъ какъ... что-то не того, не радуется... Ну, да какъ старуха...

М а т р е н а (*выходитъ изъ снѣгъ-же*). А я смотрю: гдѣ свать? гдѣ свать? А ты, родной, во гдѣ... Ну что-жъ, родимый, слава тѣ Господи, все честь честию. Сватать не хвастать. А я хвастать и не училась. А какъ пришли вы за добрымъ дѣломъ, такъ, дастъ Богъ, и вѣкъ благодарить будете. А новѣста-то, вѣдаешь, на рѣдкость. Такой дѣвки въ округѣ поискать.

С в а т ь. Оно такъ, да насчетъ денегъ не сморгать-бы?

М а т р е н а. А насчетъ денегъ не толкуй. Что ей отъ родителей награжденіе было, все при ней. По нынѣшнему времени, легко ли: три полета.

С в а т ь. Мы и не обижаемся, а свое все дѣтище. Какъ получше хочется.

М а т р е н а. Я тебѣ, свать, истинно говорю: кабы не я, въ жизнь бы тебѣ не найти. У нихъ отъ Кормилиныхъ тоже засылка была, ужъ я застояла. А насчетъ денегъ — вѣрно сказываю, какъ покойный, царство небесное, помиралъ, такъ и приказывалъ, чтобъ въ домъ вдова Микиту приняла, потому мнѣ чрезъ сына все извѣстно, а денежки, значить, Акулинѣ. Вѣдь другой бы покорывствовался, а Микита всѣ до чиста отдастъ. Легко ли, деньжищи какія.

С в а т ь. Народъ болтасть, денегъ больше за ней приказано. Малый-то тоже проворъ.

М а т р е н а. И... голубчики бѣлые. Въ чужихъ рукахъ ломоть великъ; что было, то и даютъ. Я тебѣ сказываю, ты всѣ четки брось. Закрѣплай тверже. Дѣвка-то какая, какъ бобочекъ хорошая.

С в а т ь. Оно такъ. Мы одно съ бабой мокаемъ насчетъ дѣвки-то: — что-жъ не вышла? Думаемъ, что-жъ какъ хвора?!

М а т р е н а. И-и... Она-то хвора? Да противъ ней въ округѣ нѣтъ. Дѣвка какъ литая — не ущипнешь. Да вѣдь ты намедни видѣлъ. А работать — страсть! Съ глушиной она, это точно. Ну, да червоточинка красному яблочку не покорь. А что не вышла-то, это, вѣдашь, съ глазу. Сдѣлано надъ ней. И знаю, чья сука смастерила. Знали, вѣдашь, что сговоръ, ну и напушено. Да я отговоръ знаю. Завтра встанетъ дѣвка. Ты насчетъ дѣвки не сумлевайся.

С в а т ь. Да что же — дѣло полагено.

М а т р е н а. То-то, ты ужъ того, и не пьтйся. Да меня не забудь. Хлопотала я тоже. Ужъ ты не оставь...

А затѣмъ надо-же было случиться, чтобы Акулинѣ пришлось рожать какъ разъ въ тотъ моментъ, какъ пріѣхалъ сватать свать.

Но допустимъ это, какъ случайное совпаденіе. Далѣе затѣмъ, къ чему понадобилось героямъ нашимъ новое преступленіе въ видѣ убійства ребенка? Что помѣшало имъ снести младенца въ городъ въ воспитательный, что и предлагалъ Никита? Ну, а если бабы рѣшились на это страшное дѣло, чтобы поскорѣй, не откладывая въ долгій ящикъ, спрятать концы въ воду, то развѣ не было въ ихъ рукахъ совершить убійство гораздо проще, чѣмъ они это сдѣлали? Вѣдь бабкѣ ничего не стоитъ только-что рожденнаго младенца не допустить даже и вскрикнуть, и вынести-бы онѣ Никитѣ трупикъ, заявивши, что младенецъ родился мертвымъ. Нѣтъ, гр. Л. Толстому непремѣнно захотѣлось, чтобы Никита чуть что не передъ глазами публики нажалъ живаго младенца доскою и сѣлъ на нее, чтобы косточки захрустѣли. Очень понятно, для чего гр. Л. Толстому понадобились эти отвратительныя по своимъ подробностямъ, мучительныя сцены. — Необходимо было, чтобы послѣднее преступленіе героевъ производило самое ужасающее впечатлѣніе и чтобы такимъ образомъ вполнѣ оправдывалось заглавіе драмы, что увязъ ноготокъ и вся птичка попала. Необходимо было, чтобы Никита этимъ преступленіемъ былъ окончательно подавленъ, чтобы хрустѣнье косточекъ и предсмертный пискъ младенца мерещились ему днемъ и ночью, не давали ему житья, чтобы совѣсть его до такой степени истерзала, что-бы онъ готовъ былъ на самой свадьбѣ Акулины, при многочисленномъ собраніи чуть не всей деревни, встать на колѣни и каяться во всѣхъ содѣянныхъ преступленіяхъ.

Вообще, трудно себѣ представить болѣе искусственного, дѣланнаго и мелодраматичнаго, какъ все пятое дѣйствіе, написанное какъ разъ въ угоду проводимой тенденціи; въ балаганной-же сценѣ покаянія не достаетъ только звона колоколовъ и какой-нибудь херувимской пѣсни въ воздухѣ, или чтобы невидимо присутствующая власть тьмы, при видѣ покаянія грѣшника, съ зубнымъ скрежетомъ провалилась-бы сквозь полъ, сопровождаемая адскимъ пламенемъ.

Я нисколько не удивляюсь, что простые люди, которые, по рассказамъ, была прочтена драма, замѣтили, что въ сценѣ публичнаго покаянія Никита какъ будто „сбрендилъ“. Это мнѣніе вытекаетъ вовсе не изъ какой-либо нравственной тупости и неразвито-

сти не понижающих, какъ это можно признаваться въ судѣнномъ преступленіи и подвергаться уголовнымъ карамъ добровольно. Здѣсь мы видимъ скорѣе всего инстинктивное чутье, что вся эта сцена неестественна, что въ жизни такъ не бываетъ. И дѣйствительно, начать съ того, что совершенно не въ характерѣ русскаго человѣка, при его скромности и застѣнчивости, публичнымъ манифестаціи въ родѣ покаяній на колѣняхъ передъ всѣмъ міромъ. Онъ если и рѣшится на что-нибудь подобное, то попросту пойдетъ въ волостное правленіе и тамъ признается первому попавшемуся, старостѣ или сотскому. Въ особенности-же трудно ожидать покаянія отъ Никиты: это — натура слишкомъ малодушная, трусливая и дрянная, чтобы быть способною на подобный, во всякомъ случаѣ, подвигъ. Совсѣмъ иначе долженъ онъ проявлять себя послѣ всѣхъ совершенныхъ имъ преступленій, и совсѣмъ въ иномъ родѣ представляется естественный финалъ драмы, финалъ вполне ясно раскрывающійся передъ нами въ третьемъ дѣйствіи. Уже тогда, какъ мы видѣли, Никита сталъ покушаться, охладѣлъ къ Анисѣ и началъ куражиться надъ нею. Послѣ новаго преступленія жена окончательно должна была ему опротивѣть; въ то-же время Никитѣ, терзаемому совѣстью и жаждущему забыться, только и оставалось, что начать пить мертвую чашу, все таща изъ дому. Начались-бы ежедневныя сцены семейнаго раздора, еще болѣе ужасающія, чѣмъ въ третьемъ дѣйствіи, сцены кровавыхъ потасовокъ, — и кончилось-бы дѣло тѣмъ, что или въ одну изъ такихъ потасовокъ Никита совершилъ-бы свои преступленія, исколотивши Анисью до смерти, или она, не въ силахъ будучи выносить долѣе подобной жизни, пошла-бы въ волостное жаловаться на мужа, — и тутъ въ дикомъ озлобленіи другъ на друга они открыли-бы всѣ свои преступленія. — Деревенскія семейныя драмы, по большей части, кончаются именно такимъ образомъ: запоемъ, разореніемъ, побоищами на смерть и волостнымъ судомъ, на которомъ разомъ всплываютъ такіе ужасы, что волосы встаютъ дыбомъ у слушателей.

Къ числу такихъ-же предвзятыхъ, надуманныхъ частныхъ, занимающихъ въ драмѣ мѣсто единственно ради проведенія излюбленныхъ тенденцій гр. Л. Толстого, принадлежатъ и такіе вещи, какъ наивные разговоры Акима съ Митричемъ о банкахъ или о городскихъ ватерклозетахъ, возбуждающіе въ читателяхъ невольную улыбку. Наконецъ, къ чему понадобились гр. Л. Толстому всѣ эти грязныя онучи, ковырянья мозолей на ногахъ и оснащенье рѣчей дѣйствующихъ лицъ почти что непечатными словами? Это тоже неспроста. Гр. Л. Толстой выражаетъ въ этомъ свой протестъ противъ того *изыскаго* искусства, которое существуетъ для изысканнаго меньшинства, 'улаживаетъ изысканныя чувства одними прекрасными образами, избѣгая всего, что могло-бы, какъ бы то ни было, покоробить или оскорбить чопорныхъ любителей эстетическихъ наслажденій, и въ то-же время ни къ чему не ведетъ, какъ лишь къ развитію чувственности. — Въ противоположность этому искусству для меньшинства, гр. Л. Толстой создаетъ новое искусство для народа, не боящееся глядѣть правдѣ жизни

прямо въ глаза, не прикрашивающее жизнь, а изображающее ее во всей ея грязи, съ вонью, онучами, мозолями и непечатными словами.

Если хотите, это имѣетъ свою долю основанія, но лишь тогда, когда художникъ изображаетъ правду жизни безхитростно, не задаваясь при этомъ никакими стремленіями удивить читателей пахучимъ букетомъ этой правды. Въ такомъ случаѣ непосредственное художественное чутье подскажетъ автору мѣру, переходя которую правда перестаетъ быть правдою. Въ самомъ дѣлѣ, какая-же правда, въ томъ, что авторъ начнетъ нагромождать сальность на сальность нарочно для того, чтобы рисоваться передъ нами свободою отъ великосвѣтской щепетильности? Это крайность противъ крайности — и больше ничего.

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ предвзятыхъ излишностей, равно какъ искусственности и надуманности сюжета, драма не производитъ на васъ и тѣни того впечатлѣнія, на которое рассчитывалъ авторъ. — Зрители нисколько не убѣждаются въ томъ, чтобы, дѣйствительно, стоило увязнуть ноготку — и всей птичкѣ пропасть, и проникаются подобною азбучною сентенціею въ гораздо меньшей степени, чѣмъ слушая старинныя французскія мелодрамы, въ родѣ „Тридцать лѣтъ или жизнь игрока“, гдѣ подобныя-же сентенціи проведены съ большимъ блескомъ, трескомъ, и раздражительными эффектами. Въ концѣ концовъ, драма гр. Л. Толстого производитъ на насъ такое впечатлѣніе, что какъ будто авторъ самъ не особенно глубоко вѣрится въ то, что берется доказать намъ и относится къ своей задачѣ съ непобѣдимомъ холодною, напоминая тѣхъ художниковъ новѣйшихъ временъ, которые берутся за религиозные сюжеты, не въ силахъ будучи внести въ свои картины ни одной капли того религіознаго энтузіазма и той сердечной теплоты, которыми проникнуты были безхитростно, но глубоко вѣрующіе художники прежняго времени.

При всѣхъ этихъ условіяхъ драма гр. Л. Толстого была-бы произведеніемъ, лишеннымъ всякаго смысла, если-бы не нашелся въ ней иной смыслъ, который высказался самъ собой, помимо сознанія автора, въ силу глубокой реальной правды образовъ пьесы, и этотъ смыслъ совершенно заслоняетъ собою азбучную мораль драмы, заставляетъ васъ забыть о ней. Драма, дѣйствительно, производитъ на васъ потрясающее впечатлѣніе, но совсѣмъ не тѣмъ, на что рассчитывалъ авторъ.

## V.

„Власть тьмы“! Думалъ-ли гр. Л. Толстой, когда далъ такое заглавіе своей пьесѣ, что этимъ заглавіемъ онъ исчерпываетъ весь глубокий и таинственный смыслъ своей драмы? Судя по всѣмъ его идеямъ послѣдняго времени, можно думать, что подъ властью тьмы авторъ разумѣетъ власть сатаны, ада; между тѣмъ, вся драма отъ первой страницы до послѣдней словно вопіетъ передъ вами: смотрите, какая тьма непроглядная вокругъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ драмы; они совсѣмъ во власти этой тьмы; они бродятъ въ ней, совершенно растерянные, словно не люди, а ночные лѣсные звѣри. Свѣту, свѣту побольше, званія,

иначе они кончатъ тѣмъ, что взаимно переѣдутъ другъ друга!“

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ только жизнь, лишенную всякихъ духовныхъ радостей и наслаждений, какихъ-бы ни было, религиозныхъ, умственныхъ, эстетическихъ: церковь верстъ за пятнадцать, а вблизи ни душеспасительнаго слова, ни книги, которая наставляла-бы, какъ жить, и научала; или каторжная страда, или кабакъ. Прибавьте къ этому жизнь въ тѣсныхъ, душныхъ помѣщеніяхъ съ телятами и овцами, причѣмъ всѣ члены семьи спятъ чуть не въ повалку въ одной избѣ, что само по себѣ располагаетъ ко всякаго рода грѣховнымъ сближеніямъ и кровосмѣшеніямъ. А далѣе, затѣмъ, вы видите рабскую зависимость отъ первой непогоды, градобитія, падежа: не во время станетъ зима или весна запоздаетъ, — и разомъ можетъ рушиться благосостояніе, нажитое годами кроваваго труда. Отсюда какъ нельзя болѣе понятна жадность мужика къ деньгамъ: не къ богатству, а именно къ деньгамъ, къ грошамъ, къ каждой копейкѣ. Въ деньгахъ мало-мальски умственный мужикъ видитъ единственное спасеніе и обезпеченіе отъ всѣхъ градобитій и неурожаевъ, и вотъ ради снисканія денегъ, если представляется случай, умственные крестьяне готовы на все: женить сына на развратной дѣвкѣ, ограбить на дорогѣ купца, отравить стараго мужа, чтобы воспользоваться благосклонностью молодой вдовы, зарыть живымъ младенца, если онъ стоитъ на пути хозяйственныхъ расчетовъ — все это ни почемъ оказывается, лишь-бы хотя часокъ вздохнуть сознаніемъ обезпеченности.

Глубокая иронія скрывается въ драмѣ гр. Л. Толстого въ томъ обстоятельствѣ, что единственная вполнѣ добродѣтельная личность въ пьесѣ, богобоязненный мужикъ Акимъ, — является въ то-же время какимъ-то полудиотомъ, который едва можетъ связать два-три слова, и то черезъ каждое слово повторяя: *тае да тае*. Вы такъ и видите въ этомъ Акимѣ явнаго вола, непрекословно подчиненнаго *власти земли*, и изъ этого слѣпота, бессмысленнаго подчиненія, совершенно согласно теоріи Гл. Успенскаго, проистекаетъ вся добродѣтель Акима, вся вѣрность священнымъ дѣдовскимъ традиціямъ. Всѣ-же остальные дѣйствующие лица — люди умственные, но вся ихъ умственность проявляется исключительно въ щегольствѣ городскими нарядами, гармоникахъ, хересахъ и необузданной страсти къ наживѣ какими-бы то ни было средствами.

Замѣтите къ тому-же вотъ еще какое обстоятельство: вы видите въ драмѣ гр. Л. Толстого, что преобладающую роль во всѣхъ поступкахъ дѣйствующихъ лицъ играютъ женщины: отъ нихъ идетъ инициатива всѣхъ преступленій, и онѣ по своей волѣ распоряжаются всѣмъ мужскимъ персоналомъ драмы. Даже добродѣтельный Акимъ находится подъ башмакомъ у своей Матрены, и не только не въ силахъ помѣшать ей сѣять зло, но вполнѣ подчиняется ея злой волѣ, и Матрена даже бахвалится въ первомъ дѣйствіи передъ Анисей: „Ихъ, дураковъ, ягода, все такъ-то манить надо. Все въ согласн, какъ будто. А до чего

дѣло дойдетъ, сей часъ на свое и повернешь. Баба, вѣдаешь, съ печи летитъ, семьдесятъ семь думъ пере-думаетъ“...

Такимъ образомъ, вѣсто „власть тѣмъ“ можно было-бы вполнѣ вѣрно озаглавить драму „власть бабъ“. Но въ томъ-то и дѣло, что эта власть бабъ является сугубо властью тѣмъ, потому что если деревенскіе мужики бродятъ въ потемкахъ, то бабы, помыкающія ими, еще того болѣе, и въ четвертомъ дѣйствіи вы встрѣчаете замѣчательный діалогъ бывалаго солдата Митрича съ дѣвочкою-подросткомъ Анюткой, діалогъ, бросающій яркій свѣтъ на внутренній смыслъ драмы.

А н ю т к а. До десяти годовъ все младенецъ, душа къ Богу може еще пойдеть, а то, вѣдь, изгадишься.

М и т р и ч ѣ. Еще какъ изгадишься-то! Вашей сестрѣ какъ не изгадиться? Кто васъ учитъ? Чего ты увидишь? Чего услышишь? Только гнусность одну. Я хоть немного учень, а кое-что да знаю, не твердо, а все не какъ деревенская баба. Деревенская баба что? Слякотъ одна. Вашей сестры въ Россіи большіе миллионы, а всѣ какъ кроты сонные, — ничего не знаетъ. Какъ коровью смерть опаживать, привороты всякіе, да какъ подъ насѣсть ребятъ носить къ курамъ — это знаютъ.

А н ю т к а. Матушка и то носила.

М и т р и ч ѣ. А то-то и оно-то. Милліоновъ васъ сколько бабъ да дѣвокъ, а всѣ какъ звѣри лѣсные. Какъ выросла, такъ и помереть. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужикъ, тотъ хоть въ кабакъ, а то и въ замѣтъ, случасъ, али въ солдатствѣ, какъ я, узнаетъ кое-что. А баба что? Она не то, что про Бога, она и про пятницу-то не знаетъ толкомъ, какая такая? Пятница, пятница, а спроси, какая — она и не знаетъ. Такъ, какъ щенята слѣпые ползають, головами въ навозъ тычутся... Только и знаютъ пѣсни свои дурацкія: го-го, го-го... А что го-го? — сами не знаютъ...

А н ю т к а. А я, дѣдушка, Вотчу до половины знаю.

М и т р и ч ѣ. Знаешь ты много! Да и спросить съ васъ тоже нельзя. Кто васъ учитъ? Только пьяный мужикъ поучить когда возжами. Только и ученья. Ужъ и не знаю, кто за васъ отвѣчать будетъ. За рекрутовъ, такъ съ дядьки или старшаго спросить. А за вашу сестру и спросить не съ ко-го. Такъ, безпастушная скотина озорная самая, бабы эти — самое глупое ваше сословіе. Пустое самое ваше сословіе.

А н ю т к а. А какъ-же быть-то?

М и т р и ч ѣ. А такъ и быть... Завернись съ головой и спи. О, Господи!..

Однимъ словомъ, драма гр. Л. Толстого производитъ на васъ ужасающее и потрясающее впечатлѣніе, но вовсе не въ силу творящихся въ ней грѣховъ и преступленій. Тутъ нѣтъ злодѣевъ и негодяевъ, которые возмущали-бы васъ и приводили въ негодованіе; передъ вами просто рядъ дикарей, которые руководятся одними слѣпыми инстинктами и стихійною игрою неосмысленныхъ страстей и похотей, которые и въ самыхъ своихъ добродѣтеляхъ, равно какъ и въ порокахъ повинуются импульсамъ чисто зоологическаго характера и дѣйствуютъ въ потемкахъ, не вѣдая, что творять. И если подумать, что такихъ дикарей десятки миллионъ, живущихъ совершенно такою-же жизнью, какою жили предки ихъ при Гостымыслѣ, морозъ по кожѣ подеретъ.

# ПѢСНИ О ЖЕНСКОЙ НЕВОЛѢ.

Полное собраніе сочиненій Ю. В. Жадовской, посмертное изданіе въ 3 томахъ. Спб. 1885.

## I.

Въ произведеніяхъ Ю. В. Жадовской, конечно, нельзя найти такого яркаго таланта, какъ у ея младшихъ современницъ—В. Крестовскаго (псевдонима) и Марко-Вовчка; скромное имя ея отступаетъ передъ этими видными литературными именами. Многимъ покажется даже, что отъ произведеній ея вѣетъ какою-то стародавнею стариною. И дѣйствительно, хотя Жадовская умерла лишь въ 1883 году, имя ея напоминаетъ намъ что-то очень давнишнее, тѣ до-стопамятные времена, когда по всей Руси скакали еще ухарскія тройки, а на тройкахъ красовались трехъ-аршинные фельдъегери, когда богатые помѣ-щики задавали еще волшебныя празднества, на кото-рыхъ съѣзжались цѣлыя уѣзды, когда ни о какихъ вопросахъ никому и не снилось, и дѣвушки шли не на курсы, а прямо замужъ, да и то не шли, а выда-вались.

Но какъ-бы ни уступала по размѣру таланта Жа-довская своимъ знаменитымъ современникамъ, имя ея не будетъ забыто, и произведенія ея, въ связи съ жизнію писательницы, всегда будутъ имѣть свой особенный интересъ, какъ весьма характерный па-мятникъ вѣка. Дѣло въ томъ, что упомянутыя име-нитыя современницы Жадовской шли вмѣстѣ съ про-чими выдающимися беллетристами 40-хъ и 50-хъ годовъ впередъ своего вѣка, вели за собою молодыхъ поколѣнія, учили ихъ, и уже этимъ однимъ занимали совершенно исключительное положеніе въ ряду куль-турныхъ женщинъ своего времени. Отъ изображали судьбу этихъ женщинъ съ точки зрѣнія самыхъ пере-довыхъ идей, какъ нѣчто давно ими пережитое и для нихъ совершенно постороннее. Не такова была Жа-довская. Она стояла на уровнѣ массы образованныхъ обыкновенныхъ женщинъ своего времени, отличаясь отъ нихъ лишь нѣсколько большею начитанностью и литературною способностью. Раздѣляя судьбу этихъ женщинъ, она испытала и всѣ тѣ горькія превратно-сти, какія висѣли дамокловымъ мечемъ надъ ихъ го-ловами, и къ тому-же превратности эти пришлось испытать ей въ самомъ рѣзкомъ и остромъ видѣ. А такъ какъ, при крайней субъективности своего та-ланта, во всѣхъ своихъ произведеніяхъ она изобра-жала одну и ту-же героиню,—самое себя, то произ-веденія эти и любопытны, именно, какъ непосред-ственное и наивное изображеніе судьбы средней куль-турной женщины до-реформеннаго времени. Но этого мало сказать—изображеніе,—такъ какъ передъ на-ми не поэтическіе вымыслы, болѣе или менѣе близкіе къ дѣйствительности, а какъ есть, сама дѣйстви-тельность, которую мы осязаемъ въ лицѣ сочинитель-ницы, составляющей нѣчто одно нераздѣльное съ своими произведеніями.

Въ то-же время, читая эти произведенія, мы ви-димъ, какими медленными, тяжелыми шагами и съ какими тяжкими усиліями женщина выбивалась изъ той трясины зависимости, безличности, въ которой она тонула, какъ трудно было бороться ей не только съ окружающими ее условіями, но и съ самой собою, съ тѣми предрасудками, въ духѣ которыхъ она была воспитана вѣками. И въ самомъ дѣлѣ: въ лицѣ Жа-довской, съ ея скромными произведеніями, передъ ва-ми является весьма умная, талантливая и въ то-же время глубоко несчастная женщина; вся жизнь ея бы-ла задавлена и загублена самымъ грубымъ и безче-ловѣчнымъ образомъ, и лишь цѣною этого горькаго опыта подъ-конецъ уже жизни она додумалась до первыхъ элементарныхъ понятій женской свободы, хотя-бы только въ выборѣ мужа. Такимъ образомъ, передъ нами развертывается картина постепеннаго, органическаго нарастанія такъ-называемаго женска-го вопроса, и мы убѣждаемся, что вопросъ этотъ во-все не явился сразу и ех abrupto, навѣянный со сто-роны, а логически и неизбежно вытекъ изъ самой на-шей жизни, вмѣстѣ съ другими насущными вопроса-ми 60-хъ годовъ.

## II.

По происхожденію своему, Ю. В. Жадовская при-надлежала къ среднему дворянскому сословію. Отецъ ея служилъ сначала во флотѣ, потомъ состоялъ чи-новникомъ особыхъ порученій при ярославскомъ гу-бернаторѣ и, наконецъ, предсѣдателемъ ярославской гражданской палаты. Мать, Александра Ивановна Готовцева, тоже дворянскаго происхожденія, прожи-ла въ замужествѣ всего три года и оставила по себѣ двухъ дѣтей—дочь Юлію и сына Павла. Юлія роди-лась 29 іюня 1824 года, въ родовомъ имѣніи отца, селѣ Субботинѣ, любинскаго уѣзда, ярославской губерніи. Отъ самаго рожденія на ней лежала печаль-горя. Дѣвочка родилась калѣкою и, къ довершенію всего, осиротѣла, лишившись матери, когда ей не бы-ло еще и двухъ лѣтъ.

Оставшись вдовцомъ, отецъ Жадовской посиѣ-шилъ, повидимому, отдѣлаться отъ дѣтей. По край-ней мѣрѣ, мы видимъ, что сынъ Павелъ былъ отве-зенъ въ Москву, въ первый кадетскій корпусъ (это двухлѣтній-то ребенокъ!); трехъ-лѣтняя-же дѣвочка Юлія была взята на попеченіе родною бабкою съ ма-теринской стороны, Настасьей Петровною Готовце-вою, которая и перевезла внучку въ свое родовое по-иѣстье, село Полежаново, находящееся въ двадцати верстахъ отъ уѣзднаго городка Бузъ.

Въ своемъ романѣ: „Въ сторонѣ отъ большого свѣ-та“, имѣющемъ автобиографическій характеръ, Жа-довская такими чертами характеризуетъ свою обо-

жаемую бабушку, добрую и простодушную захолустную помѣщицу начала нынѣшняго столѣтія:

«Она до старости сохранила въ душѣ чувствительность и заливалась слезами надъ произведеніями Августа Лафонтена и другихъ чувствительныхъ писателей, и съ трепетомъ слѣдила за ужасами «Удольфскихъ Тайнствъ». Но эта чувствительность не распространилась у ней на все безъ разбора, кстати и не кстати. Въ практической жизни бабушка была добрая хозяйка, любившая хорошо покушать и напитокъ кофею по утру. Она не была тѣмъ, что называютъ образованною, и не имѣла на это никакихъ претензій; воспитываясь у своей бабушки, она одна изъ всего семейства не знала французскаго языка; но во многихъ случаяхъ обнаруживала умъ ясный и практический. Она не любила задавать тону, то есть, казаться выше того, что есть, но любила, чтобы все у нея было хорошо, чтобы сосѣдка, уѣзжая съ ея обѣда, говорила: «Какой прекрасный столъ у Авдотьи Петровны! Когда ни заѣзжай, голодна не будешь»...

«Какъ теперь гляжу на эту добрую старушку: темный капотъ и бѣлая косынка на головѣ, повязанная «маленькой головкой», составляли ея будничныя наряды. Чепцовъ она не любила, потому что они закрывали ей уши и усиливали глухоту, и оттого чепецъ являлся на ея головѣ только по воскресеньямъ или по случаю какого-нибудь рѣдкаго визита дальнѣйшей, богатой сосѣдки. Въ воскресенье и праздники старушка облакалась какою-то торжественностью и особеннымъ достоинствомъ, но эта торжественность продолжалась только до обѣда; послѣ обѣда которая-нибудь изъ сосѣдокъ говорила: «Что это вы, родная, не изволите снять чепчикъ?» Старушка всегда съ радостью принимала подобное предложеніе, и голова ея снова красовалась въ бѣлой косынкѣ»...

«Появленіе мое въ домѣ бабушки, говорить даѣе Жадовская, принесло ей большую радость. Я была новымъ звеномъ, привязывавшимъ ее къ землѣ. Она теперь имѣла право, несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, желать продолженія жизни, потому что эта жизнь нужна была маленькому существу, отданному ея покровительству. Воспитаніе мое... но у меня не было того, что называется воспитаніемъ. Я не знала гувернантокъ, бабушка терпѣть ихъ не могла. Русской грамотѣ я выучилась еще на пятомъ году, съ пяти лѣтъ пристрастилась къ чтенію и до пятнадцати ничему больше не училась. Въ то-же время я выучилась и писать самымъ оригинальнымъ образомъ. Малюткой я копировала сперва печатныя буквы, потомъ стала подражать почерку нѣсколькихъ старинныхъ писемъ и бумагъ, хранившихся въ незапертомъ сундукѣ, въ углу диванной; мнѣ было позволено разбирать ихъ, съ тѣмъ, чтобы, насмотрѣвшись, я снова уложила ихъ въ прежнемъ порядкѣ. Если удавалось мнѣ написать нѣсколько уродливыхъ строчекъ, я съ восторгомъ показывала ихъ бабушкѣ, которая иногда замѣчала, что «азы» у меня точно пьяные, покачивались на-бокъ, или «червь» похожъ на крючокъ; но тутъ-же цѣловала меня и прибавляла, что если я буду стараться, то выучусь писать скоро и хорошо.

«Я ѣла съ бабушкой по средамъ и пятницамъ постное; вставала съ ней къ заутрени и вообще восхищала всѣхъ тѣмъ, что была «какъ большая». Такъ какъ я была слабый, худенькій ребенокъ, то бабушка всю зиму держала меня безвыходно въ комнатѣ, какъ говорятъ, въ хлопкахъ, что не мѣшало мнѣ простужаться и хворать. Тогда заботамъ и огорченіямъ доброй старушки не было конца: поднималась вся домашняя анкета; мнѣ обкладывали голову листьями соленой капусты, поили митой, и только въ крайнихъ случаяхъ давали огурчанаго рассола. Бабушка не вѣрила докторамъ, да, правда, въ деревнѣ по-неволѣ обходилось дѣло безъ доктора: гу-

бернскій городъ былъ за 200 сляшкми верстъ, а уѣздный врачъ находился, большею частью, или на слѣдствіи, или гдѣ-нибудь у помѣщиковъ.

«Въ сумерки бабушка сажала меня передъ собой на столъ, спуска ноги мои къ себѣ на колѣни, и, поглаживъ меня по головѣ, начинала рассказывать, по моей просьбѣ, сказку. Сперва рассказывала мнѣ о «хитрой лисицѣ и волкѣ», о «Стрессовой дочкѣ». Съ какимъ наслажденіемъ я слушала бабушку! Однажды бабушка вдругъ припомнила сказку изъ «Тысячи одной ночи». Купцы, принцы, принцессы, волшебницы потянулись передо мной пестрою вереницей. Весь вечеръ я была въ какомъ-то обаяніи. Легши въ постель, я стала припоминать сказку и, — странное дѣло! — передо мной явился рядъ новыхъ образовъ, новыхъ приключеній, о которыхъ не рассказывала бабушка, но которые родились въ моемъ, сильно потрясенномъ, воображеніи. Съ этихъ поръ являлась у меня странная способность рассказывать, мысленно, самой себѣ, сказки, созданныя моимъ-же собственнымъ воображеніемъ. Сперва это были сказки, послѣ — цѣлые романы. Эта способность, которую нѣтъ возможности объяснить тѣмъ, кто не имѣлъ ея, была для меня источникомъ невыразимой отрады. Бывало, по цѣлымъ часамъ хожу я задумчиво взадъ и впередъ по комнатѣ, и если-бы былъ при мнѣ какой-нибудь опытный наблюдатель, то вѣрно-бы удивился, увидѣвъ на дѣтскомъ лицѣ моемъ то слезы, то радость, то ужасъ, то испугъ. Этихъ долгихъ путешествій по комнатѣ не могла не замѣтить и бабушка; и въ самомъ дѣлѣ, странно было видѣть маленькую дѣвочку, рассказывающую съ самымъ глубокомысленнымъ видомъ. На всѣ вопросы бабушки, о чемъ я думаю — я отвѣчала неопредѣленнымъ «такъ»... и она переставала спрашивать меня, сказавъ:

— Ну, Христосъ съ ней: она что-нибудь да думаетъ.

Замѣтательно, что буквально подобное-же первое проявленіе творчества, въ видѣ рассказыванія самой себѣ сказокъ собственнаго изобрѣтенія, мы видимъ въ дѣтствѣ Жоржъ-Зандъ въ ея «Histoire de ma vie» (т. II, гл. XI).

### III.

Когда дѣвушкѣ минуло пятнадцать лѣтъ, бабушка, не смотря на всю привязанность къ внучкѣ, рѣшилась разстаться съ ней, такъ какъ барышнѣ пора было поучиться нѣсколько посерьезнѣе, и вотъ бабушка отвезла ее въ Кострому, къ ея родной теткѣ, Аннѣ Ивановнѣ Корниловой, урожденной Готовцевой.

«Тетка эта, — говорить біографъ Жадовской, — была женщина свѣтская, весьма образованная для своего времени, страстно любила литературу и сама участвовала въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ конца двадцатыхъ годовъ: въ «Московскомъ Телеграфѣ», «Сынѣ Отечества», «Галатѣ» С. Е. Раича и друг., помѣщая статьи и стихотворенія. Анна Ивановна дѣятельно принялась за образованіе своей племянницы; сама преподавала ей языки, географію и исторію, а сельскій священникъ училъ ее закону Божію. Потомъ, по желанію отца, Юлія Валеріановна поступила въ костромской пансіонъ Прибытковой, гдѣ училась прекрасно, но особенные успѣхи оказывала въ русской словесности. Предметъ этотъ преподавалъ въ пансіонѣ молодой талантливый педагогъ, Петръ Мироновичъ Перевѣтскій, кандидатъ московскаго университета, впоследствии профессоръ александровскаго лицея, извѣстный своими трудами по филологіи и исторіи словесности. Онъ обратилъ особенное вниманіе на Юлію Валеріановну, сталъ руководить ея занятіями, выбиралъ



еи книги для чтенія и способствовали развитію ея эстетическаго вкуса. Кончилось тѣмъ, что учитель влюбился въ свою ученицу, которая отвѣчала ему взаимностью»...

Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ весьма характернымъ романомъ добраго стараго времени, на тѣму котораго написано очень много всякаго рода повѣствованій. Тѣма эта, конечно, извѣстна и переизвѣстна каждому, кто читалъ старыя русскіе романы 30-хъ и 40-хъ годовъ: она была дочь богатыхъ и знатныхъ родителей, онъ—тѣмный бѣднякъ. Они полюбили другъ друга. Но родители и слышать не хотѣли о такомъ неравномъ союзѣ и на вѣки разлучили молодыхъ сердца.

Нынѣ подобныя драмы возможны только или въ очень высокомъ кругу, или въ купеческомъ и крестьянскомъ. Но въ старину и въ средѣ небогатаго дворянства онѣ были не въ рѣдкость и какъ нельзя болѣе характеризовали то вполнѣ подневольное положеніе полной безличности, въ какомъ находились въ то время барышни. Не далеко уходы отъ дворовыхъ своихъ прислужницъ, Машекъ и Дашекъ, по умственному развитію и образованію, барышни дѣлили съ ними и одну и ту-же горькую чашу своего рода крѣпостной зависимости. Совершенно подобно тому, какъ Машки и Дашки выходили замужъ не иначе, какъ по приказанію господъ, за кого тѣ ихъ предназначутъ, такъ точно поступали родители и съ барышнями, располагая ихъ судьбою по собственнымъ своимъ практическимъ соображеніямъ, и нисколько не принимая при этомъ въ расчетъ ихъ сердечныхъ влеченій. Разница заключалась только въ томъ, что Машки и Дашки и послѣ замужества продолжали служить прежнимъ господамъ, барышни-же дѣлались безпрекословными рабами своихъ мужей.

Но не всегда при этомъ родители руководствовались вполнѣ разумными практическими соображеніями, и здѣсь мы видимъ новое сходство судьбы барышень съ судьбами Дашекъ и Машекъ. Господа очень часто отказывали своимъ дворовымъ въ бракъ по одному самодурству, безъ всякихъ сколько-нибудь разумныхъ основаній; точно также поступали они и по отношенію къ дѣтямъ, разлучая любящихся, изъ одного безпричиннаго каприза или досады, какъ смѣли ихъ дочери помыслить о бракѣ самостоятельно и безъ ихъ вѣдома. Подобное проявленіе родственнаго самодурства имѣемъ мы и въ настоящемъ случаѣ, и притомъ въ самомъ рѣзкомъ и характерномъ видѣ. Вѣдь не Богъ знаетъ, какое знатное лицо представлялъ собою отставной капитанъ-лейтенантъ и предсѣдатель гражданской палаты, и, конечно, молодой учитель, имѣвшій ученую степень, стоялъ выше его не только по своему умственному развитію, но и по болѣе свѣтлому будущему. Въ то-же время надо взять во вниманіе и то, что дочь этого предсѣдателя гражданской палаты, не блестя красотою и будучи даже калѣкою, не имѣя за собою особенно приманчиваго приданаго, рисковала остаться на вѣки старою дѣвою. Казалось, сама судьба сжалилась надъ обиженною природою сиротою и послала ей счастье въ видѣ достойнаго человѣка, который ее полюбилъ. И вотъ, когда этотъ человѣкъ обратился къ отцу Жадовской,

прося ея руки, старикъ изрекъ свое рѣшительное уѣто. „Зараженный старыми предрассудками,—говорить біографъ,—онъ никакъ не могъ помириться съ мыслию, что дочь его, дворянка, выйдетъ замужъ за бывшаго семинариста“.

И такова была въ то время сила патріархальной власти, что кроткая Юлія Валеріановна безпрекословно повиновалась и рѣшилась разстаться на вѣки съ любимымъ человѣкомъ, воспѣвъ свою первую любовь въ слѣдующемъ стихотвореніи, носящемъ заглавіе „Короткая повѣсть“.

«Они оба такъ молоды были  
И другъ друга такъ нѣжно любили!  
Мало счастья дано имъ въ удѣлъ—  
Имъ разсудокъ разстаться вѣдѣлъ.  
Они, бѣдные, плакали много,  
И пошли въ жизни разной дорогой...»

Перевлѣтскій былъ переведенъ въ Москву на службу, а Юлія Валеріановна перѣехала жить къ отцу въ Ярославль.

#### IV.

И вотъ потянулись въ жизни Жадовской долгіе годы тяжелой неволи въ домѣ отца подъ игомъ суроваго деспотизма. Что эта была за жизнь, на которую промѣняла дѣвушка свое счастье, объ этомъ можно судить по тому портрету ея отца, который, по свидѣтельству ея біографа, мы встрѣчаемъ въ томъ-же ея романѣ: „Въ сторонѣ отъ большаго свѣта“. Вотъ этотъ самый портретъ:

«Особенность этого характера заключалась не въ главныхъ правилахъ и убѣжденіяхъ;—объясненіе и разъясненіе этихъ правилъ и убѣжденій указало бы только на одну сторону его и сдѣлало бы его похожимъ на многихъ и многихъ, тогда какъ это сходство не довершало бы и въ половину портрета. Нѣтъ, —у него въ характерѣ было нѣсколько физіономій, если можно такъ выразиться, и всѣ онѣ сливались въ одну, подъ однимъ господствующимъ суровымъ колоритомъ. Духъ неудержимаго противорѣчія царствовалъ въ душѣ этого человѣка; онъ противорѣчилъ всѣмъ и каждому; противорѣчилъ даже самому себѣ, если слышалъ собственныя свои мнѣнія въ устахъ другихъ, особенно въ устахъ тѣхъ, кому онъ хотѣлъ доказать, что они глупѣе его и что у него на все свой взглядъ. Онъ даже до того увлекался этою страстію имѣть свой взглядъ, что, будучи человѣкъ умнымъ отъ природы, говорилъ иногда несообразности. Эти противорѣчія лились страннымъ потокомъ особенно тогда, когда дѣло доходило до предметовъ, выходящихъ изъ круга его понятій; искажать эти предметы, налагать на нихъ печать своего страстнаго сужденія—было для него какимъ-то особеннымъ наслажденіемъ.

«Но когда онъ встрѣчался съ людьми практическими, когда дѣло шло о какой-нибудь матеріальной общественной пользѣ или общественномъ учрежденіи, или рѣшался такъ, между собой, какой-нибудь административный вопросъ, тогда онъ выказывалъ мудрость прямую, опытную, здравую. Честность и правдивость его признавались всѣми. Этотъ человѣкъ, за порогомъ своей домашней жизни и за порогомъ интересовъ души и сердца, искусства и науки, былъ человѣкъ полезный и дѣльный.

«Въ домашней жизни онъ создалъ себѣ желѣзный тронъ, и воля его близкихъ, нравственная самостоятельность ихъ личности разбивались объ этотъ тронъ. Онъ преслѣдовалъ ихъ даже въ самыхъ намѣреніяхъ,

онъ подозрѣвалъ, угадывалъ эти намѣренія, это значить, что онъ все таки понималъ человѣческую природу, и громилъ, душилъ, давилъ ихъ своими грозными, раздражающими сентенціями. Онъ неутомимо преслѣдовалъ одну цѣль: заставить своихъ близкихъ, а хорошо бы и всѣхъ, думать, чувствовать, глядѣть на Божій свѣтъ и людей такъ, какъ онъ самъ думаетъ, чувствуетъ и глядитъ. Никакого отступленія отъ этихъ требованій онъ не допускалъ, самую натуру хотѣлъ бы онъ передѣлать».

Такимъ же капризнымъ и непреклоннымъ деспотомъ былъ онъ и во всѣхъ мелочахъ своей жизни. «Старый морякъ, по словамъ біографа, привыкшій къ служебной дисциплинѣ, завелъ у себя въ домѣ строгіе порядки на военный манеръ. Къ чаю, обѣду и ужину всѣ домашніе обязанности были собраны въ назначенные часы—и минута въ минуту. Къ одиннадцати часамъ ночи, по его приказанію, огни въ домѣ гасились, и все погружалось въ глубокой сонъ».

Не спала одна Юлія Валеріановна. Втихомолку, крадучись и скрываясь, какъ раба, отъ зоркихъ очей своего грознаго повелителя, она писала ночи напролетъ свои стихотворенія, мечтая о любимомъ человѣкѣ и оплакивая свою несчастную любовь. Только двоюродная сестра, дѣвушка-сиротка, которая, по желанію Юліи Валеріановны, была съ девяти лѣтъ взята въ домъ Жадовскихъ и дѣлила съ нею одинокую, невеселую жизнь, была единственною повѣренною этихъ тайныхъ поэтическихъ восторговъ и единственною читательницею стихотвореній молодой поэтессы.

Но трудно было долго скрываться отъ бдительнаго родительскаго надзора. Старикъ скоро провѣдалъ о поэтическихъ занятіяхъ своей дочери, и уже не знаетъ, какъ это объяснить, отъ того-ли, что онъ желалъ хоть чѣмъ-нибудь вознаградить ее за попорченное счастье, или-же попалъ на него такой „стихъ“ по прихотливому капризу самодурнаго нрава, — онъ не только не сталъ преслѣдовать поэтическихъ порывовъ дѣвушки, но принялъ участіе въ нихъ и даже, чтобы дать ходъ ея дарованію, повезъ ее въ Москву и Петербургъ.

Это было въ 1844 году, когда Юліи Валеріановнѣ было 20 лѣтъ. Въ Москвѣ, черезъ знакомаго своего отца, знавшаго ее маленькой дѣвочкой, она познакомилась съ М. П. Погодинымъ, который обладалъ ее, привѣтствовалъ въ ней задатки несомнѣннаго таланта и напечаталъ въ „Москвитянинѣ“ ея стихотвореніе „Водяной“, а затѣмъ и нѣсколько другихъ ея пьесъ. Въ Петербургѣ она посѣщала вечера извѣстнаго любителя искусства и владѣльца знаменитой картинной галлерей, Фед. Ив. Прянишникова, у котораго собиралось самое лучшее общество—художники, артисты, литераторы. Здѣсь, между прочимъ, она познакомилась съ извѣстнымъ переводчикомъ Гетеваго „Фауста“, М. П. Вронченко, который принялъ въ ней большое участіе, ввелъ ее въ разные литературные кружки, познакомилъ съ Тургеневымъ, Дружининымъ, кн. Вяземскимъ, Розенгеймомъ, Губеромъ и друг.

Въ 1846 году, Жадовская собрала всѣ свои стихотворенія, печатавшіяся преимущественно въ „Москвитянинѣ“, и, добавивъ нѣсколько новыхъ, издала ихъ отдѣльной книгой, въ количествѣ пятидесяти-восьми пьесъ. Книга была встрѣчена сочувственными отзывами во всей печати того времени, и имя Жадовской получило всеобщую извѣстность. Послѣ этого она

СОЧИНЕНІЯ А. СКАВИЧЕВСКАГО.—II.

еще разъ посѣтила обѣ столицы и затѣмъ, вернувшись въ Ярославль, снова возвратилась къ своей затворнической и подневольной жизни и, въ продолженіе десяти лѣтъ, прожила безвыѣздно въ домѣ отца, постоянно переписываясь со своими литературными друзьями и написавъ въ этотъ періодъ почти всѣ свои оставшіяся послѣ нея произведенія.

Для большей полноты ея нравственнаго образа приводимъ изъ біографіи еще двѣ черты, весьма характеристическія. Такъ, проведя большую часть жизни въ провинціи, да еще подъ игомъ суроваго, патриархальнаго деспотизма, она до сѣдыхъ волосъ сохранила типъ провинціальной нелюдимки, страстной любительницы сельской природы и уединенія, теряющейся въ большомъ и шумномъ обществѣ. Хотя въ Петербургѣ, говоритъ ея біографъ, Юлія Валеріановна встрѣтила радужный пріемъ и часто выслушивала похвалы своему таланту, но жизнь столицы тяготила ее. Она чувствовала себя, какъ на чужбинѣ, и ее влекло къ роднымъ мѣстамъ, на лоно природы, которую она такъ чисто и неизмѣнно любила. Робкая, застѣнчивая дѣвушка не была создана для шумной жизни; она предпочитала тишину, спокойствіе, уединеніе глуши, гдѣ любила уходить въ себя и мирно отдаваться занятіямъ поэзіей. Петербургъ ей вообще не понравился; онъ подавлялъ ее своимъ мрачнымъ великолѣпіемъ, своими гранитными сооруженіями; комплименты и похвалы нѣсколько льстили ея авторскому самолюбію, но не туманили ей головы, и она безъ сожалѣнія покинула невскую столицу, откуда переселилась въ Москву. Москва, эта громадная деревня, пришла ей болѣе по сердцу; здѣсь пробыла она довольно продолжительное время, познакомилась съ Хомяковымъ, Загоскинымъ, Глинкой, И. С. Аксаковымъ и т. д. Замѣчательно при этомъ, что это нерасположеніе къ Петербургу, пристрастіе къ Москвѣ и знакомство съ московскими славянофилами не сдѣлали ее славянофилкою. Впрочемъ, она въ равной степени оставалась чужда всѣмъ существовавшимъ въ ея время ученіямъ литературныхъ кружковъ и партій. Она жила исключительно однимъ сердцемъ.

Въ связи съ этою исключительною жизнію сердцемъ, является и другая черта, характеризующая ее: именно, она до смерти сохранила чистоту и неприкосновенность своихъ религиозныхъ вѣрованій. Это отнюдь не была та нервная, мистическая экзальтація, доходящая до фанатизма, какую мы видимъ у нѣкоторыхъ изъ ея современниковъ мужескаго и женскаго пола (Гоголь, Кохановская), а простая и безхитростная вѣра, какая встрѣчается въ массахъ. „Вотъ я опять въ Ярославлѣ — пишетъ Жадовская своему другу, Ю. В. Бартеневу: послѣ пятидневнаго томленія, ужаснѣйшей дороги, я захворала, потомъ говѣла и пріобщалась, а теперь не успѣла оглянуться, какъ ужъ и праздникъ на дворѣ, и поздравленіе не будетъ не кстати. Пусть письмо скажетъ вамъ за меня отрадное: Христосъ воскрес!“

## V.

Послѣ всего вышесказаннаго понятнымъ становится то преобладаніе тоски, печали, унынія, вообще минорныхъ тоновъ, какое мы видимъ въ стихотворе-

нѣхъ Жадовской. На всѣхъ на нихъ лежить печать попораннаго счастья и долгихъ годовъ тяжелой неволи. Это стоны женскаго рабства со всѣми его муками, чувствомъ безпомощности, одинокости, горькаго униженія, стыда передъ собственнымъ своимъ безсиліемъ и тщетными стремленіями утѣшиться, забыться—то въ религиозныхъ порывахъ, то въ созерцаніяхъ красоты природы.

Оплакиваніе первой любви, такъ безжалостно задушенной въ самомъ ея яркомъ разцвѣтѣ, занимаетъ наиболѣе видное мѣсто среди этихъ пѣсней женской неволи... Стоитъ только представить себѣ дѣвушку, похоронившую безвозвратно свое молодое счастье и влачащую долгіе и безконечные годы однообразной жизни подъ игомъ суроваго и ворчливаго старика, безъ всякой надежды впереди; стоитъ представить себѣ ее среди ночной тишины и безсонницы, когда съ особенною яркостью воскресаютъ всѣ дорогія воспоминанія,—чтобы понять мрачный трагизмъ такихъ хотя-бы обращеній къ своему заснувшему сердцу:

Ну, слушай-же—еще воспоминанье,—  
И если отъ него ты не проснешься—  
Тогда ужъ спи, тогда ужъ вѣчно спи!..  
Ты помнишь ли тяжелый часъ разлуки,  
Разлуки съ тѣмъ, кого такъ безгранично,  
Довѣрчиво, восторженно люблю,  
Чье имя было для тебя святыней,  
О комъ и мысль казалась молитвой?..  
Ты помнишь-ли послѣднее свиданье,  
Въ печальной комнатѣ, гдѣ все такъ бѣдно,  
Гдѣ по стѣнамъ лоскутками обои  
Висѣли; гдѣ все украшеніе было—  
Въ углу съ блестящей ризой икона,  
Да передъ ней хрустальная лампада?  
Ты помнишь-ли, какъ весь онъ былъ взволнованъ,  
Какъ онъ мечталъ о томъ завѣтномъ счастьи,  
Которому не сбыться суждено?  
Ты помнишь-ли, какъ онъ, мужчина, плакалъ?  
Ахъ, съ той поры на бѣдную меня  
Обрушилось такъ много, много горя,—  
Забвеніе, холодъ, боль пренебреженія,  
Глубокое, нѣмое оскорбленіе,  
На дно души упавшее какъ камень  
Тяжелый,—все навѣдано глубоко!  
Судьба однимъ безжалостнымъ ударомъ  
Убила всѣ мои святыя упованья,  
Прошедшее на вѣки отравила;  
О будущемъ и думать я боюсь...  
Мнѣ кажется, что я плыву безъ цѣли  
Бездоннымъ моремъ: берега не видно,  
А небо скрыто тучами густыми,  
И море то зовется безнадежностью...  
Но, Боже мой, что это? плачу я?!  
А! Ты проснулось, чувствую я, сердце!..  
Стѣснилась грудь... въ глазахъ тѣмнѣть... душно...  
Нѣтъ, больно мнѣ!.. усни, усни опять!..

Еще въ болѣе патетическихъ звукахъ выражается воспоминаніе о той же пережитой катастрофѣ въ стихотвореніи— „Тяжелый часъ“:

Что чувствовала я въ минуту роковую,  
И сколько я въ тотъ часъ перестрадала—  
То знаетъ Богъ, то знаетъ это сердце!  
Казалось, все во мнѣ убито было;  
Способность лишь страдать одна мнѣ оставалась—  
Способность жалка! Я все перенесла...  
Я думаю, что самый смерти часъ  
Не можетъ быть труднѣе и ужаснѣе.  
Смерть—что она? Покой, забвеніе, сонъ,  
Блаженство, можетъ быть,—а въ ту минуту  
Ни умереть и ни уснуть я не могла!

Но какъ бы то ни было, катастрофа была пережита; молодыя силы вынесли страшный ударъ, но за то все въ сердцѣ дѣвушки было разбито, и вѣсто того, чтобы прожить съ милымъ всю жизнь, дѣла вѣстѣ съ нимъ всѣ радости и невзгоды, ей пришлось ограничиваться тѣмъ, что носить въ душѣ любимый образъ, постоянно вызывая его въ памяти при каждомъ случаѣ:

Ты всюду предо мной: повѣстѣ ли весна,  
Я чувствую тебя въ ея отрадѣ тайной;  
Любуюсь ли цвѣткомъ, я ужъ тоски полна,—  
Я мыслю о тебѣ; забросить ли случайно  
Холодная луна свой блѣдный лучъ ко мнѣ,  
Иль кроткая звѣзда вечерняя сияетъ,—  
Все это мнѣ тебя, мой другъ, напоминаетъ;  
Я плачу о тебѣ въ печальной тишинѣ.  
Тоской, любовью, разлукою томима,  
Вся жизнь моя—безсильная борьба...  
Меня гнететъ недугъ неисцѣлимый  
И неизбежный какъ судьба.

Эти жгучія муки завѣтныхъ воспоминаній, конечно, были еще тяжелѣе и мучительнѣе, при горькомъ сознаніи своего рабскаго безсилія бороться съ жестокою судьбою. По крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ мы видимъ словно какой-то стыдъ передъ собою, нѣчто въ родѣ укоровъ совѣсти, за свое смиреніе и рабство. Таково, напримѣръ, стихотвореніе— „Невыдержанная борьба“:

Боролась я долго съ суровой судьбой—  
Душа утомилась неравной борьбой!  
Всей силой надежду я въ сердцѣ хранила;  
Но силы не стало—судьба ихъ убила;  
И я, съ затаенной глубокой тоской,  
Склонилась смиренно предъ мощной судьбой.  
Что дѣлать? Мнѣ стыдно и грустно, и больно...  
И лью я горячія слезы невольно...

Этотъ стыдъ, эти угрызения совѣсти при сознаніи своего безсилія въ борьбѣ и смиреннаго склоненія передъ мощной судьбой должны были съ особенною силою воскресать и обостряться въ нѣкоторыя минуты жизни, и при томъ, замѣтнѣе, повидимому, самыя неподходящія къ такимъ чувствамъ. Такъ, напримѣръ, на шумномъ балу, въ разгаръ всеобщаго веселья, подъ рѣзвые звуки вальса, вдругъ посѣщала ее странная мысль, что въ то время, какъ она, отказавшаяся отъ борьбы, веселится, порхаешь, пользуясь всѣми благами жизни, ея покинутый милый, быть можетъ, умираетъ отъ голоду:

Чѣмъ ярче шумный пиръ, бесѣда веселѣй,  
Тѣмъ на душѣ моей печальнѣй и темнѣй,  
Язвительнѣе боль сердечнаго недуга,  
И голосъ дальняго, оставленнаго друга  
Мнѣ внятнѣй слышится... Ахъ, блѣдный и худой,  
Я вижу образъ твой, измученный нуждой!  
Среди довольныхъ лицъ, средь гула ликования,  
Онъ мнѣ является съ печатію страданья,  
Оставленной на немъ безплодной борьбой  
Съ врагами, бѣдностью и самою судьбой! [ный  
Быть можетъ, въ этотъ часъ, когда за ужиномъ пыш-  
Иду я средь другихъ своей стопой неслышной,  
Ты голоденъ и слабъ—въ отчаяннѣйшемъ.  
Лежишь одинъ, въ слезахъ, на чердакѣ глухомъ,—  
И я тебѣ помочь не въ силахъ и не властна!  
И, полная тоски, глубокой и безгласной,  
Я никну головой, не слышу ничего  
Подъ гнетомъ тайнаго унынья моего,  
Средь этой вѣтряной, себялюбивой знати  
Готова я рыдать неловко и некстати!..

Но въ томъ и дѣло, что „зарыдать недовко и нехстати—среди вѣтряной, себялюбивой знати“ легко только на словахъ; на дѣлѣ же, она сознаетъ себя принужденною затаивать свое горе, улыбаться, казаться веселою среди людей, чуждыхъ ей и ненавистныхъ, въ которыхъ къ тому же она усматриваетъ, можетъ быть, главныхъ виновниковъ всего своего горя:

Я въ душѣ огорчена глубоко,  
Я готова горько зарыдать.  
Но сейчасъ ко мнѣ придутъ чужіе,—  
Я должна съ улыбкой ихъ встрѣчать.  
Не сказать же имъ, что душу мучить,  
Не сказать, какъ я оскорблена!  
Я должна предъ ними улыбаться,  
Я при нихъ веселой быть должна.  
Какъ мнѣ быть веселой, улыбаться,  
Если грудь моя тоски полна,  
Если ловко, тонко и прилично,  
Но глубоко я оскорблена?  
Если все во всемъ мнѣ измѣняется,  
Всюду вижу пошлость и обманъ?..  
О, какъ трудно, грустно и обидно  
Мнѣ скрывать всю боль сердечныхъ ранъ!  
Какъ-то справлюсь я съ моею ролью?  
Какъ-то слезы, горе утаю?  
Какъ-то скрою отъ людей и свѣта  
Я печаль душевную мою?  
Ничего,—немножко только воли,  
И исчезнуть слезы на глазахъ;  
Ничего... еще одно усилье,—  
И мелькнетъ улыбка на устахъ!..

Какая страшная трагедія таится во всѣхъ этихъ приведенныхъ нами выдержкахъ, и какое глубокое откровеніе сердца женщины дореформеннаго періода! —Этотъ смѣхъ сквозь затаенныя слезы, эти веселыя, улыбающіяся, ласковыя личики, скрывающія за собою цѣлый адъ невыносимыхъ страданій, обиды, стыда, ненависти, отчаянья, — здѣсь дореформенная женщина передъ нами вся, какъ на ладони, со всѣмъ ея нравственнымъ міромъ.

Къ сожалѣнію, эти минуты горькаго и страшнаго сознанія своего рабства и стыда передъ нимъ рѣдко посѣщали дореформенную женщину и были дѣйствительно только одними минутами. По большей-же части она безропотно и пассивно склонялась передъ своею жалкою долею и апатично влачила безцвѣтную жизнь, во всемъ обвиняя не себя и не людей, а какую-то мистическую всеильную судьбу:

Никто изъ насъ, никто не виноватъ:  
Ни ты, ни я,—судьба ужъ такъ рѣшила!..  
Судьба страшна, всеильна, говорятъ,—  
Она и насъ съ тобою разлучила...

Разъ женщина рѣшила, что виновата во всемъ всеильная судьба, то, конечно, ей только и оставалось, что сложить на груди безильныя и никому ненужныя руки и искать утѣшенія... прежде всего, конечно, въ созерцаніи всепроникающей природы; и вотъ передъ нами цѣлый рядъ стихотвореній, въ родѣ ниже-слѣдующаго:

Вѣетъ тихо, вѣетъ сладостно  
Мнѣ дыханье вѣтерка;  
Свѣтятся звѣзды въ небѣ радостно,  
Отражаетъ ихъ рѣка;  
И въ раздумьи, наклонились  
Вѣтви гибкія деревъ;  
И, какъ звѣзды, засвѣтились

Свѣтляки среди кустовъ.  
Дышетъ все святой отрадою  
На землѣ и въ вышинѣ;  
Ночь весенняя прохладною  
Освѣжаетъ сердце мнѣ.  
Что-то въ душу чудно просится,  
Проникаетъ въ глубину,  
И невольно мысль уносится  
Все туда, все въ вышину!  
Вѣетъ тихо, вѣетъ сладостно  
Мнѣ дыханье вѣтерка;  
Свѣтятся звѣзды въ небѣ радостно...  
Спать на днѣ души тоска!

Но природа не всегда усыпляетъ и умиротворяетъ. Напротивъ того, очень часто она будитъ воспоминанія и растрываетъ старыя раны; къ тому-же она прискучиваетъ, и разъ въ душѣ поселяются апатія и равнодушіе ко всему, то и природа утрачиваетъ для насъ всю свою прелесть:

Да, дѣнь мнѣ жить! Пускай, пускай весна  
Цвѣты и счастье всюду щедро сѣетъ,—  
Я равнодушнѣе и скукою больна,—  
Мнѣ радость и весна ужъ не навѣетъ!  
Тяжеле мнѣ, когда придетъ она,  
Когда покровъ полей зазеленѣетъ:—  
Тяжеле мнѣ—воспоминаній рой  
Меня гнететъ безсильемъ и тоской!

Остается послѣ этого всего, отчаявшись въ земномъ счастьи, искать счастья небеснаго, возноситься горе и въ небесахъ находить успокоеніе отъ всѣхъ соблазновъ и мукъ жизни:

Не на землѣ ищи ты вдохновенія,  
Не въ этой жизни бѣдной, мелочной,  
Но чаще ты, въ часы уединенія,  
Гляди на небо съ мыслию благой.  
И думы свѣтлыя въ умѣ твоёмъ родятся,  
Забьется сердце чаще и сильнѣй,  
И чувства всѣ надеждой озарятся:  
Душою станешь ты и лучше, и свѣтлѣй.

Но эти минуты религіозныхъ созерцаній и порывовъ не могутъ наполнить цѣлой жизни. Онѣ минуютны; онѣ лишь на мгновенье одно позволяютъ забыть все земное; смертному и думать суждено о смертномъ, и вотъ, послѣ молитвенныхъ восторговъ, это смертное еще назойливѣе врывается въ душу и слова молитвы дѣлаются холодны и мертвы:

Все спитъ вокругъ меня спокойнымъ, сладкимъ сномъ;

Не сплю лишь я одна въ безмолвіи nocturno!  
Полна томительныхъ съ самой собою битвъ,  
Напрасно я ищу спасительныхъ молитвъ,  
Напрасно ихъ зову на грѣшныя уста—  
Душа моя земнымъ, ничтожнымъ занята!  
Ей грустно, тяжело! Есть слезы на очахъ,  
Но я ихъ лью... не о грѣхахъ!..

Есть еще одно утѣшеніе, — что время, всеуничтожающее и приводящее къ одному знаменателю—забвенію, погаситъ всѣ горячія страсти, изгладитъ изъ памяти всѣ жгучія воспоминанія и уврачуеетъ раны сердца. Такъ, обращаясь къ своему неугомонному сердцу съ вопросомъ: долго-ли будетъ оно томиться и въ нѣмощь страданій о любви молиться, — Жадовская въ заключеніе общаетъ ему слѣдующую перспективу:

Погоди: придавить  
Этой жизни бремя...  
Не умаетъ горе,  
Такъ осилитъ время...

Но къ какому полному охлажденію и очерственію ни привело-бы время, не изгладить оно одного: горькаго сознанія пустоты жизни, прожитой безцвѣтно и безплодно, сознанія угасанія и охлажденія всѣхъ силъ, лишаящаго человѣка какихъ-бы то ни было надеждъ впереди, а между тѣмъ и позади не оказывается ничего отраднаго, и въ результатѣ остаются слезы горькаго разочарованія при подведеніи всѣхъ итоговъ прошлаго:

Я плачу все о томъ, что сердце увядаетъ,  
Что леденитъ его холодный свѣтъ,  
И что его ничто, ничто не оживляетъ,  
Что радости исчезнулъ легкій слѣдъ.  
Я плачу и о томъ, что сладостной надеждъ,  
По прежнему, предаться не могу,  
Что не могу мечтать и плакать такъ, какъ прежде..  
И плачу я, и слезъ не берегу!  
Я плачу и о томъ, что грустно и ничтожно  
Проходить быстро молодость моя;  
Что ранняя тоска души моей тревожной  
Мнѣ отравила прелесть бытія.  
Я плачу и о томъ, что, скучною машиной,  
Между людей я тихо прохожу;  
Я плачу и о томъ, что въ мірѣ ни единой  
Родной души себѣ не нахожу!

Мы исчерпали почти всѣ главные мотивы музыки Жадовской. Есть, правда, и другіе; таковы, напримеръ, два-три подражанія Кольцову и Никитину, въ родѣ: „Грустная картина“ (102) и „Нива моя, нива“ (170); стихотворенія эти прелестны, но ихъ такъ мало, что, по пословицѣ — одна ласточка не дѣлаетъ весны — не ими опредѣляется духъ и характеръ поэзіи Жадовской. По большинству произведеній, все-таки ея поэзія остается скорбною пѣснью женской неволи.

## VI.

Прозаическія произведенія Жадовской значительно уступаютъ ея стихотвореніямъ. Та крайняя субъективность, которая составляетъ неотъемлемую принадлежность лирики, въ романѣ и повѣсти является недостаткомъ; мы ждемъ здѣсь характеровъ, типовъ, нравовъ, и разочаровываемся, находя всюду одного только автора среди блѣдныхъ и стереотипныхъ персонажей. — Тѣмъ не менѣе, для насъ романы Жадовской представляютъ особенный интересъ. Читая ихъ одинъ за другимъ, мы видимъ, какъ постепенно, подъ вліяніемъ движенія времени, освобождалась Жадовская отъ своихъ патріархальныхъ понятій.

Первое, что каждого поражаетъ въ этихъ романахъ, это — то, что повсюду въ нихъ, если не въ главномъ сюжетѣ, то въ побочныхъ эпизодахъ, мы встречаемся все съ той-же самой драмой, которую пережилъ авторъ. Такъ, въ первой-же повѣсти, написанной въ 1847 году: „Простой случай“, изображена несчастная любовь молодой дѣвушки дворянскаго рода и бѣднаго гувернера, служащаго въ домѣ ея отца. Молодые люди, снѣдаемые страстью, не смѣли и помыслить о соединеніи. „Жениться безъ имени, безъ состоянія... о, никогда, никогда! въ отчаяніи восклицалъ молодой учитель: — отравить жизнь ея своимъ ничтожествомъ; заставить ее краснѣть при имени мужа... это хуже смерти! Дядя ея выгонитъ меня изъ дому при одномъ намекѣ объ этомъ. Богатая наслѣд-

ница — и выйти за бѣднаго безыменнаго гувернера!.. Эта мысль недоступна ея гордымъ родственникамъ!..“

Изъ этой тирады видно, что не одни „гордые родственники“, но и самъ молодой человѣкъ считалъ себя жалкимъ ничтожествомъ и предполагалъ, что дѣвушка, которую онъ полюбилъ, будетъ почему-то краснѣть при его имени. А она, въ свою очередь, положила руку къ нему на плечо и тожно закативъ назадъ головку, тихо говорила: — „Мой другъ, такъ Богу угодно!..“

Этимъ возвышеніемъ воли „гордыхъ родственниковъ“ до высоты Божіей воли, и предположеніемъ, что само Небо заботится о томъ, чтобы богатые наслѣдницы не выходили замужъ за ничтожныхъ гувернеровъ, исчерпывается вся философія романа. Мы видимъ со стороны обоихъ молодыхъ людей безпрекословное преклоненіе передъ святостью патріархально-сословныхъ понятій, безъ малѣйшаго дерзновенія на какую-либо борьбу съ ними... Однимъ словомъ, — „такъ Богу угодно“, и нечего тутъ разсуждать, не на что надѣяться. Затѣмъ только и остается барышнѣ — ухъать съ растерзаннымъ сердцемъ.

Въ романѣ: „Въ сторонѣ отъ большого свѣта“, написанномъ во второй половинѣ 50-хъ годовъ и помѣщенномъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1857 года, сюжетъ основанъ на той-же коллизіи. Опять передъ вами молодая дѣвушка изъ помѣщичьей семьи влюбляется въ бѣднаго учителя изъ семинаристовъ, и опять-таки молодые люди разстаются, не смѣя и помыслить о бракѣ. Стоило имъ устроить тайное *partie de plaisir* въ лѣсъ за грибами, чтобы родственницы дѣвушки, тетуски, пришли въ ужасъ:

— Знаешь-ли, Геничка, что ты стоишь на краю пропасти? — сказала тетуска № 1-й.

— Ахъ, Геничка! ахъ, другъ мой, что было ты надѣлала! — произнесла съ ужасомъ другая тетуска.

— Да, ты стоишь на краю пропасти, и видно еще молитвы матери твоей услышаны, что Богъ послалъ тебѣ во мнѣ ангела-хранителя!.. — продолжала тетуска № 1.

Отъ дерзновеннаго учителя на другой-же день, конечно, и слѣдъ простылъ. Молодая дѣвушка только и видѣла изъ окна, какъ онъ шагаль съ узломъ за плечами по дорогѣ къ лѣсу и вскорѣ скрылся за лѣсъ, оставивъ своей возлюбленной на память записку слѣдующаго содержанія: „Я ухожу; меня нашли опаснымъ для васъ и выгнали. Прощайте! да хранитъ васъ Богъ... Уходя, я плачу о васъ. Помолитесь за преданнаго вамъ“...

Но этимъ романъ не кончается. Напротивъ, онъ тянется очень долго, занимая цѣлый томъ, причемъ описывается жизнь героини чуть-что не день за днемъ, со всѣми искушеніями, которыя встрѣчались ей на пути. Такъ, между прочимъ, мы встрѣчаемъ здѣсь эпизодъ ея любви къ нѣкому обольстительному Динарову. Онъ оказывается женатымъ, но не живущимъ съ женою, и предлагаетъ дѣвушкѣ увести ее: „Пусть, говоритъ онъ, о насъ забудутъ, какъ мы забудемъ обо всѣхъ. Мы устроимъ чудную жизнь, мы окружимъ себя полнымъ счастіемъ... Уѣдемъ, моя милая! Не разсуждай, если любишь! Намъ нельзя такъ разстаться! На зло судьбѣ мы будемъ счастливы... Не такъ-ли?..

Сегодня вечеромъ все будетъ готово. Я снова буду ждать тебя здѣсь, счастливый выше всякаго выраженія—я приму тебя въ мои объятія, чтобы никогда, никогда не разставаться!..“

Но молодая дѣвушка отвергла подобную незаконную любовь, и несмотря на всѣ укоры милаго, несмотря на то, что захворала вслѣдствіе нравственнаго потрясенія, она осталась вѣрна своему долгу и прежнимъ патріархальнымъ понятіямъ, въ духѣ которыхъ была воспитана. Въ вознагражденіе за это, судьба сочетала ее законнымъ бракомъ съ предметомъ ея первой любви, тѣмъ самымъ семинаристомъ, который былъ изгнанъ изъ дому за прогулку съ нею въ лѣсъ за грибами. Но и на этотъ разъ дѣвушка была обязана своему счастью не какой-либо активной борьбѣ съ своей стороны, а благоприятно сложившимся обстоятельствамъ: она была безприданница, круглая сирота, и не было у нея отца, который защищалъ-бы честь своего дворянскаго рода отъ брака дочери съ семинаристомъ; тетка № 1 умерла, а тетка № 2, въ домъ которой дѣвушка поселилась, сама занялась „амурами“, племянница ей мѣшала, и она рада была сбыть ее съ рукъ за кого-бы то ни было.

## VII.

Затѣмъ появилась: „Женская исторія“—въ 1861 году, въ журналѣ „Время“; здѣсь мы видимъ значительное уже измѣненіе въ мировоззрѣніи автора на женскую долю. Такъ, героиня этого романа является не просто барышней, выдающей въ замужество единственное назначеніе своей жизни, а дѣвушкой, ищущей самостоятельнаго труда. Правда, героиня обязана этимъ тому обстоятельству, что она дочь не помѣщика, а, всего на все, управляющаго, по смерти отца остается круглою сиротой, и ей представляется что нибудь изъ двухъ—или самостоятельный трудъ, или прожизваніе въ чужомъ богатомъ помѣщичьемъ домѣ въ униженной роли приживалки: правда, что трудъ фигурируетъ здѣсь въ рутинной формѣ гувернантской лямки; правда, что въ продолженіе всего романа героиня все только собирается трудиться, когда-же ей предлагается руку и сердце богатый помѣщикъ, то трудъ дѣлается излишнимъ; но во всякомъ случаѣ и въ томъ уже былъ большой шагъ впередъ, что здѣсь не является прежней роковой дилеммы—или любовь, или смерть: между любовью и смертью ставится трудъ, хотя-бы и въ самой рутинной формѣ. Но этого мало: въ романѣ этомъ впервые является новый идеалъ женщины, не мѣняющей ничего общаго со всѣми прежними героинями, хотя и онъ въ свое время имѣли претензіи на идеальность. Такова Ольга Васильевна Мартова. Это—дѣвушка, отстранившаяся отъ всѣхъ свѣтскихъ предрассудковъ, поставившая жизнь свою на вполне самостоятельную почву и приводящая въ ужасъ своихъ чопорныхъ родныхъ.

— Я не отнимаю отъ нея нѣкоторыхъ достоинствъ и ума,—говорила одна изъ ея родственницъ, Прасковья Александровна,—но, признаюсь, свобода ея мнѣній и поступковъ ужасаетъ меня.

— Да объясни пожалуйста, какіе собственно поступки осуждаешь ты? — спросилъ Михаилъ Александровичъ.

— Во первыхъ, то, что она живетъ одна, уѣзжаетъ одна, куда вздумаетъ, не отдавая никому отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, не прибѣгая за совѣтами къ старшимъ. Постоянно въ мужскомъ обществѣ; знакома со всякимъ сбродомъ. Говорить и проповѣдуетъ о такихъ вещахъ, о которыхъ дѣвушка и судить неприлично; напримѣръ, ты знаешь эту скандальную исторію съ Казановой,—что же? Она третьяго дня, при гостяхъ, стала ее жарко оправдывать и неясными софизмами доказывать, что она невиновата. Женщина бѣжала отъ мужа—и невиновата! Положимъ, что мужъ ея—mauvais sujet; да мало ли женщины живутъ и терпятъ все. Я говорю, что можно бы было Казановой все устроить и сохранить приличія... А твоя Ольга, забывъ всякую вѣжливость, стала со мною спорить,—со мною, которая и старѣе, и опытнѣе, и не глупѣе ея,—что Казанова не должна была обманывать, по чувству,—извольте ли видѣть,—высокой нравственности, ни себя, ни мужа... И вообще то ей не слѣдовало бы вступать въ такой разговоръ. Я дочерей принуждена была удалить изъ комнаты.

— Ольга не дорожитъ пустыми толками. Она имѣетъ только уваженія тѣхъ, кого она знаетъ и любитъ. И ее любятъ всѣ, кто ее знаетъ,—сказалъ Михаилъ Александровичъ съ твердостью.

— Я бы давно прекратила съ нею всякія сношенія, если-бы не родство.

— Полно, не это только... Ты боишься ея рѣзкости, ея гнѣва.

— Я? а, впрочемъ, можетъ быть. Я не хочу раздражать такую сумасшедшую, вспыльчивую дѣвчонку, готовую наговорить дерзостей, не стѣсняясь ни мнѣствомъ, ни временемъ.

Ниже героиня описываетъ, какъ эта самая Ольга Мартова проводитъ свой день:

«До самаго обѣда,—говоритъ она,—хозяйка была постоянно занята. То больной, то погорѣлый мужикъ являлся, кто за помощью, кто за совѣтомъ. Меня удивляли ея знаніе нуждъ, потребностей, интересовъ простаго народа, ея терпѣніе, простота рѣчи, довѣріе, съ которымъ къ ней обращались; удивляла эта ясная дѣятельность, это умѣнье и легкость, съ которыми переходила она отъ труда кабинетнаго къ простымъ домашнимъ занятіямъ. Видно было, что больше всего она старалась достигнуть той независимости, того умѣнья не потеряться нигдѣ и ни при какихъ обстоятельствахъ, о которыхъ она всегда говорила съ уваженіемъ; что она больше всего избѣгала приторной изнѣженности свѣтскихъ женщинъ. Она все умѣла дѣлать; мнѣ кажется, коса и серпъ ловко заходили бы въ ея маленькихъ, гибкихъ ручкахъ... Обращеніе ея съ домашними было кротко и любезно».

Конечно, ужъ такая дѣвушка не только не позволила-бы кому-бы то ни было распоряжаться ея судьбою, но со всею своею энергіею помогла своей кузинѣ Лидіи, богатой невѣстѣ, выйти замужъ за бѣднаго Дарельскаго, несмотря на то, что родные, по обыкновенію, сопротивлялись этому браку; здѣсь и вопроса уже не представлялось о томъ, что „такъ Богу угодно“, или что не будетъ-ли невѣста краснѣть, нося скромное имя жениха.

## VIII.

Наконецъ, повѣсть: „Отсталая“, послѣднее произведеніе Жадовской, является еще болѣе проникнутою новымъ духомъ времени. Здѣсь Жадовская уже съ полнымъ отрицаніемъ относится къ тѣмъ чопорнымъ барышнямъ—недотрогамъ, какія воспитывались тогда въ глуши и на почвѣ „барскихъ“



предрасудковъ и патриархальныхъ понятій. Такъ, она показываетъ намъ все безсердечіе, скрывавшееся подъ мнимыми цѣломудріемъ и нравственною гордостью въ героинѣ повѣсти, Машѣ, когда дворовая дѣвушка Матрена, подруга Маши, наивно рассказываетъ ей о своей любви.

Выслушавъ рассказъ Матрени, барышня быстро подняла голову и обратила къ своей собесѣдницѣ пылающее гнѣвомъ и гордостью лицо:

— Какъ ты смѣла мнѣ это рассказывать?—крикнула она:—какъ ты могла дойти до того, чтобъ мнѣ говорить это? Ты забыла, кто я и кто ты!

Когда-же Матреша, впоследствии, по обнаруженіи ея грѣха, была изгнана изъ дома своимъ господомъ, матерью Маши, и, бросаясь съ громкими рыданіями къ ногамъ подруги своей, проговорила прерывистымъ, задыхающимся голосомъ:— „Матушка-барышня! простите!“—причемъ съ любовью и отчаяніемъ ловила полу ея платья, Маша поднялась съ своего мѣста, гордая и безпощадная. Она сознавала себя безгрѣшной и потому считала себя не только въ правѣ, но какъ-бы обязанной поднять камень...

— Прочь!—крикнула она такъ, что сдѣлала-бы честь трагической актрисѣ. —Прочь! не трогивайся до меня! Я тебя знать не хочу и видѣть не хочу!..

Но впоследствии эта самая гордая своею нравственною чистотою героиня сдѣлала то же самое, что и Матреша. Отправленная матерью въ городъ къ знакомой ея, Ненилѣ Павловнѣ, развлечься отъ деревенской скуки, Маша попала въ салонъ Ненилы Павловны въ кружокъ молодыхъ развивателей, которые произвели въ ней такой и нравственный, и умственный переворотъ, что она, въ концѣ-концовъ, бѣжала съ однимъ изъ нихъ изъ дому матери, и воротившись черезъ нѣсколько лѣтъ совершенно другимъ человѣкомъ, на колѣняхъ вымаливала прощенья у Матрени за прошлое оскорбленіе.

Замѣчательно, что въ этой повѣсти въ послѣдній разъ произвела Жадовская судъ надъ драмою своей жизни, но этотъ судъ былъ совсѣмъ уже въ другомъ родѣ, чѣмъ прежде. Тутъ уже не говорится о томъ, „что намъ разстаться разсудокъ велѣлъ“, или, что „судьба страшна, всеисильна, говорятъ, —она и насъ съ тобою разлучила“, а представляется дѣло въ его настоящемъ видѣ, причемъ младшее поколѣніе въ лицѣ Маши произноситъ безпощадный приговоръ надъ старшимъ—въ лицѣ Ненилы Павловны.

— Сама была молода,—говорила Ненила Павловна, вызывая Машу на откровенность,—сама любила. Ахъ, Маша, чего мнѣ стоило съ нимъ разстаться, выйти замужъ противъ сердца!

— Зачѣмъ же вы выходили? Зачѣмъ принесли себя въ жертву разсчета или эгоизма?

— Ахъ, другъ мой, какъ можно такъ говорить!.. Что могла я сдѣлать, бѣдная, молоденькая, запуганная дѣвочка? Всѣ родные были противъ. Конечно, еслибъ тогда у меня была теперешняя опытность, не сгубила бы я своего счастья... Онъ тогда былъ очень незначительный человѣкъ, а послѣ такъ далеко пошелъ, Маша! Голова-то у него свѣтлая.

— Вы такъ и разстались? Вы не видались съ нимъ?

— Нѣтъ. Ужъ онъ давно женатъ на другой, давно позабылъ обо мнѣ. Онъ—мнѣ сказалъ одинъ знакомый—сперва былъ въ отчаяніи, потомъ сталъ называть меня пустой, безхарактерной, говорить, что у меня неостало силъ принести жертву, что я не любила его, а такъ только—увлекалась... Мнѣ! это было очень горько—такая несправедливость! Ахъ, еслибъ онъ зналъ, сколько слезъ пролила я, какіе тяжкіе дни и ночи проводила! Сколько разъ проклинала жизнь... однажды отравиться—было хотѣла, но какъ-то страшно стало, не рѣшилась...

— Бѣдная Ненила Павловна!—сказала Маша, устремивши на нее полный состраданія взоръ:—вы были сами виноваты; вамъ бы бѣжать съ нимъ.

— Не рѣшилась, мой ангелъ; шутка—бѣжать!

— Но если вы такъ любили? кому вы принесли пользу, что измучили себя?

— Конечно, глупа была, характеру не достало.

«Маша глубоко задумалась».

Вообще такъ былъ силенъ духъ того времени, что, увлекши автора, онъ отразился не только въ послѣднихъ произведеніяхъ ея, но и въ самой жизни. Такъ, въ 1862 году, 38 лѣтъ уже отъ роду, она рѣшилась, наконецъ, сдѣлать такой шагъ, на который не хватило у нея характера въ 18 лѣтъ, именно освободиться отъ тягостной опеки отца, выйдя замужъ за старика доктора К. Б. Севена. „По собственному признанію Юліи Валеріановны,—говоритъ биографъ,—она рѣшилась на такой шагъ единственно ради того, чтобы стать, наконецъ, свободной и выйти изъ—подъ матеріальной и нравственной опеки отца, котораго характеръ дѣлался съ каждымъ днемъ тяжелѣе, и который писательница не въ состояніи была выносить въ послѣднее время“.

Конечно, лучше поздно, чѣмъ никогда, но все-таки невольно беретъ каждого тяжелое раздумье, что вотъ, почти 60 лѣтъ прожила на свѣтѣ женщина, талантливая, хорошая, и лишь двадцать лѣтъ она пользовалась полною самостоятельностью, да и то это были послѣдніе годы, когда и думается, и чувствуется не такъ уже, какъ въ молодые годы. Положимъ,—суровый отецъ не препятствовалъ своей дочери предаваться поэтическимъ восторгамъ, но деспотизмъ его, во всякомъ случаѣ, лежалъ тяжкимъ гнетомъ на духѣ дѣвушки и мѣшалъ развиваться ея таланту такъ, какъ бы онъ могъ развиваться на полной свободѣ. Когда-же она, наконецъ, вырвалась изъ—подъ своего ига, было уже поздно,—литературная дѣятельность ея завершилась. Послѣднія ея произведенія: „Женская исторія“ и „Отсталая“, долго не находили себѣ пріюта въ печати, и, лишь благодаря хлопотамъ одного изъ постоянныхъ сотрудниковъ, появились въ 1861 году во „Времени“. Публика отнеслась съ полнымъ равнодушіемъ къ этимъ произведеніямъ, и критика не обмолвилась о нихъ ни однимъ словомъ. Это такъ огорчило Юлію Валеріановну, что она рѣшилась совсѣмъ прекратить свое литературное поприще. Это и было, конечно, причиною, что въ послѣдніе годы жизни имя ея, нигдѣ не встрѣчавшееся въ печати, имѣло болѣе историческій, чѣмъ современный интересъ.

# НАШЪ ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ ВЪ ЕГО ПРОШЛОМЪ И НАСТОЯЩЕМЪ.

## I.

Историческія повѣсти Карамзина: «Наталя, боярская дочь» и «Марфа Посадница». Безцеремонное отношеніе къ исторіи Нарѣжнаго въ его романѣ «Бурсакъ» и его же «Словенскіе вечера».

Родоначальникомъ беллетристики считается у насъ Карамзинъ. Это не совсѣмъ вѣрно, такъ какъ и до Карамзина не мало было у насъ беллетристики, но вся она была до такой степени лубочна и лишена какихъ бы то ни было литературныхъ достоинствъ, и до такой степени нынѣ она забыта, что за Карамзинымъ все-таки остается званіе родоначальника, такъ какъ, упростиши литературный языкъ и дерзнувши впервые *писать, какъ говорятъ*, онъ первый началъ писать повѣсти легко и удобочитаемыя. Ему же принадлежатъ и первыя попытки историческихъ повѣстей. Но къ сожалѣнію историческія повѣсти, какъ Карамзина, такъ и современника его Нарѣжнаго, показываютъ только намъ, до какой крайней степени люди того времени были чужды какого бы то ни было чувства исторической дѣйствительности.

Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Какъ Карамзинъ, такъ и Нарѣжный воспитались на ложномъ классицизмѣ. Въ молодости они зачитывались Сумарокова, Хераскова, Озерова, Княжнина и проч. Ложный классицизмъ очень часто прибѣгалъ къ нашему историческому прошлому и любилъ выставять героями то Гостомысла и Вадима, то Рюрика, Ярополка, Дмитрія Донскаго или Дмитрія Самозванца, — но во всѣхъ поэмахъ и трагедіяхъ изъ старой русской жизни не было и слѣда ни исторической правды, ни хотя какого-нибудь историческаго колорита. Передъ вами проходятъ рядъ отвлеченныхъ, ходульных олицетвореній различныхъ страстей, добродѣтелей и пороковъ, то необыкновенные по своей доблести герои, то злодѣи такіе страшные, что морозъ подираетъ по кожѣ при одномъ взглядѣ на нихъ, однимъ словомъ — злодѣи, которые такъ прямо и говорятъ о самихъ себѣ:

Я вѣдаю, что я нежалостный зла зритель,  
И всѣхъ на свѣтѣ семъ безстудныхъ дѣлъ творитель.  
(Сумарокова «Дмитрій Самозванецъ»).

Рюрики и Гостомыслы произносятъ длинныя, напыченныя рѣчи, которыя оказываются цѣликомъ переведенными изъ различныхъ трагедій Корнеля и Расина. Вообще, нужно замѣтить, что нашъ ложный классицизмъ, при всемъ своемъ рабскомъ подчиненіи французскимъ образцамъ, имѣлъ и свою особенность, заключающуюся въ томъ, что въ то время, какъ классическіе герои французской трагедіи смахивали на современныхъ французовъ, у насъ они ни на что не смахивали, положительно, можно сказать, не имѣли никакого образа и подобія человѣческаго.

Понятно, что для развитія историческаго романа

школа эта была весьма плохая. Не много помогъ и тотъ сентиментализмъ, который внесъ въ нашу литературу Карамзинъ. Правда, что съ появленіемъ сентиментализма превыспренная кровавая трагедія была замѣнена слезною драмою, а ходульный герой съ вулканическими страстями — обыкновеннымъ простымъ смертнымъ, но только этотъ простой смертный оказался черезъ-чуръ ужъ чувствителенъ и плаксивъ, и если въ повѣсти изъ современной жизни, какова напримѣръ «Вѣдная Лиза», избытокъ чувствительности и плаксивости поражаетъ насъ, какъ нѣчто крайне приторное и неестественное, то въ исторической обстановкѣ эти необходимые атрибуты сентиментализма представляютъ рядъ невообразимыхъ курьезовъ. Такое именно впечатлѣніе крайней несообразности сентиментализма съ допетровскою стариною производитъ первая историческая повѣсть Карамзина — «Наталя, боярская дочь», написанная имъ въ 1793 году.

Въ началѣ повѣсти Карамзинъ предпосылаетъ своему разсказу вступленіе, въ которомъ онъ высказываетъ свое умиленіе передъ старою Русью и любовь къ давнопрошедшимъ временамъ.

«Кто изъ насъ, говорить онъ, не любитъ тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими; когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ, по своему сердцу, то есть говорили, какъ думали? По крайней мѣрѣ я люблю сіи времена, люблю на быстрыхъ крыльяхъ воображенія летать въ ихъ отдаленную мрачность, подъ сѣнію давно истлѣвшихъ вязовъ искать брадатыхъ моихъ предковъ, бесѣдовать съ ними о приключеніяхъ древности, о характерѣ славнаго народа русскаго, и съ нѣжностью цѣловать ручки у моихъ прабабушекъ, которыя не могутъ насмотрѣться на своего почтительнаго правнука, не могутъ наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, разсуждая съ ними о старыхъ и новыхъ модахъ, всегда отдаю преимущество ихъ подкапкамъ и шубейкамъ предъ нынѣшними *bonnets à la...* и всѣми галло-альбионскими нарядами, блистающими на московскихъ красавицахъ въ концѣ осьмагодесяти вѣка... и т. д.

Но иное дѣло умиляться передъ русскою стариною, иное дѣло знать и понимать ее, и хотя далѣе Карамзинъ и говоритъ, что старая Русь извѣстна ему болѣе, нежели многимъ изъ его согражданъ, но на дѣлѣ показываетъ только, какое смутное представленіе имѣли въ то время объ этой старинѣ даже такіе люди, какъ Карамзинъ, воспитавшійся подъ влияніемъ Новикова, который, какъ извѣстно, всю жизнь возился съ русскою стариною.

Такъ мы видимъ, что на первомъ планѣ въ повѣсти парадируетъ московскій бояринъ Матвій Андреевъ, «человѣкъ богатый, уминый, важный слуга царскій и по обычаю русскихъ великій хлѣбосоль». — Желая охарактеризовать его гражданскія доблести,

Карамзинъ говоритъ, что „когда царю надлежало разбирать важную тяжбу, онъ призывалъ себя въ помощь боярина Матвѣя, и бояринъ Матвѣй, кладя чистую руку на чистое сердце, говорилъ: *сей правъ* не по такому-то указу, состоявшемуся въ такомъ-то году, но *по моей совѣсти; сей виноватъ по моей совѣсти*—и совѣсть его была всегда согласна съ правдою и совѣстью царскою. Дѣло рѣшалось безъ замедленія: правый подымалъ на небо слезащее око благодарности, указывая рукою на добраго Государя и добраго боярина; а виноватый бѣжалъ въ густые лѣса, сокрыть стыдъ свой отъ человѣковъ“.

Для характеристики же хлѣбосольтства боярина Матвѣя, Карамзинъ говоритъ, что въ каждый двенадцатый праздникъ поставлялись длинные столы въ его горницахъ, чистыми скатертями накрытые, и бояринъ, сидя на лавкѣ подлѣ высокихъ воротъ своихъ, звалъ къ себѣ обѣдать всѣхъ мимоходящихъ бѣдныхъ людей, сколько ихъ могло помѣститься въ жилищѣ боярскомъ. „Послѣ обѣда всѣ немущіе братья, наполнивъ виномъ свои чарки, восклицали въ одинъ голосъ: „Добрый, добрый бояринъ и отецъ нашъ! мы пьемъ за твое здоровье! Сколько капель въ нашихъ чаркахъ, столько лѣтъ живи благополучно!“ Они пили и благодарныя слезы ихъ капали на бѣлую скатерть“.

У боярина Матвѣя была дочь, любезная Наталья, составлявшая „внѣсь его счастья и радости“; описывая красоту ея, Карамзинъ предоставляетъ читателю „вообразить себѣ бѣлизну итальянскаго моря и кавказскаго снѣга; онъ все еще не вообразить бѣлизны лица ея—и представя себѣ цвѣтъ Зафировой любовницы, все еще не будетъ имѣть совершеннаго понятія объ алоści щекъ Натальиныхъ“. Когда Наталья минуло семнадцать лѣтъ или, выражаясь языкомъ Карамзина,

„Семнадцатая весна жизни ея наступила; травка зазеленѣла, цвѣты разцвѣли въ полѣ, жаворонки запѣли—и Наталья, сидя поутру въ свѣтлицѣ своей подлѣ окномъ, смотрѣла въ садъ, гдѣ съ кусточка на кусточекъ порхали птички, и нѣжно лобызаясь своими маленькими носиками, притались въ густоту листьевъ, красавица въ первый разъ замѣтила, что онѣ летали парами—сидѣли парами и скрывались парами. Сердце ея какъ будто-бы вдрогнуло—какъ будто-бы какой-нибудь чародѣй дотронулся до него волшебнымъ жезломъ своимъ! Она вдохнула—вдохнула въ другой и въ третій разъ—посмотрѣла вокругъ себя—увидѣла, что съ нею никого не было, никого, кромѣ старой няни (которая дремала въ углу горницы на красномъ весеннемъ солнышкѣ)—опять вдохнула, и вдругъ брилліантовая слеза сверкнула въ правомъ глазу ея, потомъ и въ лѣвомъ, и онѣ выкатились, одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щекѣ, въ маленькой нѣжной ямкѣ, которая у милыхъ дѣвушекъ бываетъ знакомъ того, что купидонъ цѣловалъ ихъ при рожденіи“...

Однимъ словомъ, случилось съ любезною Натальею вотъ что:

„Съ небеснаго лазореваго свода, а можетъ быть откуда-нибудь и повыше, слетѣла, какъ маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетѣла въ Натальино нѣжное сердце—*потребность любить, любить, любить!!!*... Вотъ вся загадка; вотъ причина красавицыной грусти—и есть-ли она покажется кому-нибудь изъ читателей

не совсѣмъ понятною, то пусть требуетъ онъ подробнѣйшаго изъясненія отъ любезнѣйшей ему осьмнадцатилѣтней дѣвушки“...

Изъ всѣхъ этихъ выдержекъ читатель можетъ въ достаточной мѣрѣ уразумѣть, при чемъ тутъ старая русская жизнь и древность. — Единственный хотъ сколько нибудь историческія черты заключаются развѣ въ томъ, что сентиментальная барышня въ духѣ современницъ Карамзина живетъ въ терему, встрѣчается со своимъ любезнымъ не иначе, какъ въ церкви, и затѣмъ этотъ любезный, Алексѣй Любославскій, подкупивши нянюшку, проникаетъ въ теремъ для того, чтобы объясниться ей въ любви опять-таки вполне во вкусѣ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Далѣе оказывается, что прекрасный молодой человѣкъ въ голубомъ кафтанѣ съ золотыми пуговицами, сынъ опальнаго боярина, находитъ въ нѣкоторомъ отношеніи на нелегальномъ положеніи и живетъ въ дремучемъ лѣсу, куда онъ и привозитъ Наталью, похитивъ ее и обвинявшійся съ нею тайно. — И опять-таки, какъ это нелегальное положеніе, такъ и похищеніе понадобились Карамзину вовсе не ради соблюденія историческаго колорита, а единственно для того, чтобы изобразить излюбленное сентиментализмомъ счастье съ милымъ въ лѣсу въ бѣдной хижинѣ подлѣ соломенной кровлею. Однимъ словомъ, вся суть разсказа заключается въ слѣдующей сценѣ:

„Такимъ образомъ прошла зима; снѣгъ растаялъ; рѣки и ручьи зашумѣли, земля опушилась травкою и зеленые почечки распустились на деревьяхъ. Алексѣй выбѣжалъ изъ своего домика, сорвалъ первый цвѣточекъ и принесъ его Натальѣ. Она улыбнулась, поцѣловала своего друга—и въ самую сію минуту запѣли въ лѣсу весеннія птички. *Ахъ! какая радость! какое веселье!* сказала красавица: *мой другъ! пойдемъ гулять!*—Они пошли и сѣли на берегу рѣки. „Знаешь-ли, сказала Наталья супругу своему—знаешь-ли, что прошедшей весною не могла я безъ грусти слушать птичекъ? Теперь мнѣ кажется, будто я ихъ разумѣю и одно съ ними думаю. Посмотри! здѣсь на кусточкѣ поютъ двѣ птички—кажется, малиновки—посмотри, какъ онѣ обнимаются крылышками, онѣ любятъ другъ друга такъ, какъ я люблю тебя, мой другъ, и какъ ты меня любишь! Не правда-ли? Всякій можетъ вообразить себѣ отвѣтъ Алексѣевъ и разныя удовольствія, которыя весна принесла съ собою для нашихъ пустынножителей“.

Но если до сихъ поръ разсказъ очень мало имѣлъ точекъ соприкосновенія съ допетровскою стариною, то далѣе онъ совершенно выходитъ изъ историческихъ рамокъ. Возгорается война съ литовцами и мужъ Натальи, Алексѣй, спѣшитъ на войну, чтобы загладить и грѣхъ своего отца передъ царемъ, и свою собственную вину передъ бояриномъ Матвѣемъ. — Наталья же, переодѣвшись въ мужское платье, слѣдуетъ за своимъ мужемъ на поле брани и тамъ, выдавая себя за младшаго брата Алексѣя, закрываетъ его щитомъ своимъ отъ вражескихъ ударовъ. Въ концѣ концовъ, русскіе побѣждаютъ и побѣдою своею оказываются обязанными исключительно Алексѣю. Онъ съ триумфомъ въѣзжаетъ въ Москву и затѣмъ слѣдуетъ трогательная сцена всеобщаго примиренія и прощенія.

Какъ ни кажется намъ все это курьезно, но до какой степени въ свое время эта первая историческая повѣсть на Руси производила въ продолженіи, по край-

ней шѣрь, тридцати лѣтъ глубокое и обаятельное впечатлѣніе, — это мы можемъ судить по роману Загоскина „Юрій Милославскій“. Мы видимъ, что Загоскинъ завязалъ любовную интригу въ своемъ романѣ совершенно также, какъ завязана она у Карамзина, т. е. встрѣчею героя съ героиней въ церкви, назвалъ своего героя почти также, какъ и Карамзинъ, а затѣмъ закончилъ свой романъ еще съ большимъ сходствомъ. Карамзинъ рассказываетъ, что за нѣсколько лѣтъ передъ симъ, прогуливаясь осенью по берегу Москвы рѣки, близъ темной сосновой рощи, онъ нашелъ надгробный камень, заросшій зеленымъ мохомъ и разломленный рукою времени, и съ великимъ трудомъ могъ прочесть на немъ слѣдующую надпись: „здесь погребенъ Алексѣй Любославскій съ своею супругою“. Точно также и романъ Загоскина оканчивается описаніемъ плиты съ надписью: „мѣста 7130-го октября въ десятый день, преставился рабъ Божій, бояринъ Юрій Милославскій и супруга его Анастасія“.

Затѣмъ десять лѣтъ спустя, въ 1803 году, Карамзинъ написалъ вторую свою историческую повѣсть „Марѳа Посадица или покореніе Новгорода“. Въ это время Карамзинъ собирался уже писать свою исторію, подготовлялъ для нея матеріалы, рылся въ архивахъ, читалъ лѣтописи, — и былъ болѣе знакомъ съ историческими фактами и допетровскою стариною, чѣмъ десять лѣтъ тому назадъ. И дѣйствительно вы видите, что съ фактической стороны пельза отказать Карамзину въ знакомствѣ съ эпохою паденія Новгорода, и въ этомъ отношеніи повѣсть можно назвать вполне историческою. Но въ тоже время и здѣсь вы не видите ни малѣйшаго слѣда чутія исторической дѣйствительности, тѣхъ красокъ и колорита, которые заставили бы насъ всецѣло перенестись въ эпоху Іоанна III и признать дѣйствующихъ лицъ повѣсти людьми вполне живыми и принадлежавшими своему времени. — Напротивъ того, здѣсь мы видимъ словно будто шагъ назадъ со стороны Карамзина, т. е. отступленіе изъ области сентиментализма снова на почву классицизма. Самый языкъ повѣсти уже не тотъ простой, легкій, разговорный языкъ, которымъ писалъ Карамзинъ десять лѣтъ тому назадъ: своимъ торжественнымъ пѣвучимъ тономъ, высокопарными эпитетами и славянизмами онъ вполне соответствуетъ тому, что называлось у ложноклассиковъ *высокимъ слоюзомъ*. Соответственно съ этимъ высокимъ слоюзомъ и все дѣйствіе разсказа поставлено на ложно-классическія ходули. Передъ вами словно будто не Новгородъ, а какая-то древняя республика, и читая цитированное краснорѣчіе московскаго боярина князя Холмскаго и затѣмъ Марфы, вы совершенно забываете, что такіа великолѣпныя рѣчи говорились на новгородскомъ вѣчѣ, а не въ Капитоліи.

«Народы дикіе любятъ независимость, ораторствуютъ князь Холмскій, народы мудрые любятъ порядокъ: и нѣтъ порядка безъ власти самодержавной. Ваши предки хотѣли править сами собою и были жертвою лютыхъ сосѣдовъ или еще лютѣйшихъ внутреннихъ междоусобій. Старецъ добродѣтельный, стоя на прагѣ вѣчности, заклиналъ ихъ избрать владѣтеля. Они повѣрили ему, ибо человекъ при дверяхъ гроба можетъ говорить только истину»...

Марѳа-же въ свою очередь домогается вѣнчанья:

«Знай Новгородъ, что съ утратою вольности насюхнеть и самый источникъ твоего богатства: она оживляетъ трудолюбіе, изощряетъ серпы и златитъ нивы; она привлекаетъ иностранцевъ въ наши стѣны съ сокровищами торговли; она-же окрыляетъ суда Новгородскія, когда они съ богатымъ грузомъ по волнамъ несутся... Бѣдность, бѣдность накажетъ недостойныхъ гражданъ, не умѣвшихъ сохранить наслѣдія отцовъ своихъ! Померкнетъ слава твоя, градъ Великій, опустѣютъ многолюдныя концы твои; широкія улицы заростутъ травой, и великолѣпіе твое, исчезнувъ навѣки, будетъ баснею народовъ. Напрасно любопытный странникъ среди печальныхъ развалинъ захочетъ искать того мѣста, гдѣ собиралось Рѣче, гдѣ стоялъ дворецъ Ярославовъ и мраморный образъ Вадима: никто ему не укажетъ ихъ. Онъ задумается горестно и скажетъ только: «здѣсь былъ Новгородъ»...»

И вотъ, чтобы еще болѣе воспалить умы, Марѳа показываетъ цѣпь, гремитъ ею въ рукѣ своей и бросаетъ на землю; народъ въ изступленіи гнѣва топчетъ оковы ногами, взывая: „Новгородъ Государя нашихъ! война Іоанну“!...

Всего этого вполне достаточно, чтобы читатель могъ судить, насколько все это похоже на историческую дѣйствительность эпохи паденія Новгорода. Что касается до общаго взгляда на изображаемое историческое событіе, то надо отдать справедливость Карамзину, онъ старается сохранять полное безпристрастіе. „Мудрый Іоаннъ, говоритъ онъ въ предисловіи, долженъ былъ для славы и силы отечества присоединить область Новгородскую къ своей Державѣ; хвала ему! Однако-жъ, сопротивленіе Новгородцевъ не есть бунтъ какихъ-нибудь яковинцевъ; они сражались за древніе свои уставы и права, данные имъ отчасти самими Великими князьями, напирѣмъ Ярославомъ, утвердителемъ ихъ вольности. Они поступили только безразсудно: они должны были предвидѣть, что сопротивленіе обратится въ гибель Новгороду, и благоразуміе требовало отъ нихъ добровольной жертвы“.

Въ силу этого взгляда на относительную правоту Новгородцевъ, личность Марфы Посадицы въ продолженіи всей повѣсти рисуется въ весьма величественномъ и симпатичномъ видѣ, и особенно обаятельное впечатлѣніе производитъ она, когда спокойно и величаво кладетъ голову на плаху, громко заявляя народу: „подданные Іоанна! умираю гражданкою Новгородскою“...

Нарѣжный, родившійся въ 1780 г., а умершій въ 1825 г., представляется такимъ образомъ младшимъ современникомъ Карамзина, и его можно назвать писателемъ несчастнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Начать съ того, что рѣдко кто не знаетъ Нарѣжнаго хоть по имени, и между тѣмъ вы не найдете ни одной хоть сколько-нибудь обстоятельной біографіи этого писателя, кромѣ самыхъ краткихъ свѣдѣній о его жизни, въ родѣ послужнаго списка о его успѣхахъ по полученію чиновъ и орденовъ.

Писатель онъ былъ очень плодовитый, и послѣ смерти сочиненія его были изданы въ 10 томахъ, куда вошло далеко не все, что онъ успѣлъ написать въ теченіи своей 45 лѣтней жизни... И представьте себѣ, что изъ всего имъ написаннаго сохранился въ

памяти потомства всего на всего одинъ пресловутый романъ его „Бурсакъ“, и то благодаря тому, что въ первыхъ главахъ этого романа описаніе жизни кievскихъ бурсаковъ напоминаетъ подобное-же описаніе въ гоголевскомъ „Віѣ“. Между тѣмъ самъ по себѣ „Бурсакъ“ далеко не изъ лучшихъ произведеній „Нарѣжнаго“ и очень мало даетъ понятія о талантѣ автора. Если смотрѣть на Нарѣжнаго только какъ на прототипъ Гоголя, то и въ такомъ случаѣ слѣдовало бы обратить вниманіе прежде всего не на „Бурсака“, а на „Двухъ Ивановъ или страсть къ тяжбамъ“, гдѣ вы находите прототипъ „Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“; на „Аристона“, — гдѣ вы встрѣчаете типъ помѣщика, весьма напоминающаго вамъ Плюшкина. Наконецъ, не надо забывать, что Нарѣжный написалъ замѣчательный романъ „Русскій Жильблязъ“, до сихъ поръ не изданный еще въ цѣломъ видѣ. И есть еще у Нарѣжнаго романъ „Черный годъ“ или „Горскіе Князья“, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ котораго сатира его, по своимъ смѣлымъ штрихамъ, выходитъ уже изъ рамокъ правоописательной и является прототипомъ уже не гоголевской, а скорѣе педринской соли. Но все это забыто, исключая одного несчастнаго „Бурсака“, о которомъ намъ приходится сказать нѣсколько словъ ради нѣкоторыхъ соприкосновеній этого романа съ исторіей.

Впрочемъ, „Бурсака“ нельзя назвать романомъ историческимъ не только въ строгомъ, но и снисходительномъ смыслѣ. Собственно говоря, это романъ сказочнаго характера; главная суть его заключается въ хитросплетенной любовной интригѣ и въ фантастическихъ романтическихъ приключеніяхъ героя Неона Хлопотинскаго, который изъ мнимаго сына дѣяча превращается въ концѣ романа во внука малороссійскаго гетмана. Мы могли-бы совѣтъ оставить въ сторонѣ этотъ романъ, если бы онъ не служилъ намъ весьма нагляднымъ примѣромъ, какъ безпереронно относились еще у насъ къ исторіи недалѣе, какъ въ 20-е годы. Такъ мы видимъ, что дѣйствіе романа все развивается на почвѣ малороссійской старины; тутъ вы встрѣчаете не однихъ кievскихъ бурсаковъ, но и запорожскую сѣчу, и дворъ гетмана. Изъ нѣкоторыхъ мѣстъ романа видно, что дѣло происходитъ въ половинѣ XVII столѣтія, какъ разъ въ эпоху присоединенія Малороссіи къ Великороссіи. Тутъ даже изображается война казаковъ съ поляками въ союзѣ съ великороссами, кончающаяся миромъ, по которому, какъ говорится въ романѣ, „король польскій отказался навсегда отъ господства надъ Малороссією, а рѣка Днѣпръ поставлена границею обоихъ владѣній. Гетманъ обязался царя русскаго почитать верховнымъ повелителемъ, помогать ему въ военное время ратными людьми и платить ту же самую подать, какая доселѣ платима была Польшѣ“... Кто-же могъ быть этотъ Гетманъ? Конечно, Богданъ Хмѣльницкій. И вдругъ онъ оказывается Никодимомъ, отцемъ преступной дочери Евгеніи и дѣдомъ героя романа Неона. Однимъ словомъ, въ то время ничего не стоило не только измѣнять имена историческихъ лицъ, но и приписывать имъ по произволу своей фантазіи какія угодно романическія происшествія.

Но у Нарѣжнаго есть нѣсколько повѣстей спе-

ціально-историческаго содержанія, такъ называемые, „Словенскіе вечера“. Сочиненія эти, очевидно, относятся къ юшопескнмъ годамъ Нарѣжнаго, такъ какъ впервые они были напечатаны въ 1809 году. Любопытно эти „Словенскіе вечера“ въ томъ отношеніи, что показываютъ намъ, какъ писатели конца XVIII и начала XIX вѣковъ, воспитавшіеся на ложномъ классицизмѣ, не могли въ серьезъ коснуться ничего историческаго безъ того, чтобы не встать на дыбы: и тонъ ихъ рѣчи дѣлается тотчасъ-же высокаторжественнымъ и восторженнымъ, и слогъ витиевато высокимъ. Такъ, люди, знакомые съ Нарѣжнымъ лишь по его „Бурсаку“, могутъ не повѣрить, что авторъ „Словенскихъ вечеровъ“ все тотъ-же Нарѣжный. Обратите вниманіе на самое предисловіе его къ „Словенскимъ вечерамъ“:

«На величественныхъ берегахъ моря Варяжскаго, тамъ, гдѣ вѣчно-юныя сосны смотрятся въ струи Невы кроткія, въ отдаленіи отъ пышнаго града Петрова и вѣчнаго грохота, по стогнамъ его звучащаго,—при склоненіи солнца багрянаго съ неба свѣтлаго въ волны румяныя, часто люблю я наслаждаться красотой земли и неба великолѣпнѣе, склонясь подъ тѣнь деревъ высокихъ и обращая въ мысляхъ времена протекшія.

«Тамъ иногда сонмъ друзей моихъ и прелестныхъ дѣвъ земли Русскія окружаетъ меня. Кроткое пѣніе ихъ разливается по берегу, и журча вдали среди кустовъ зеленыхъ, терится въ пространствѣ воздуха. Иногда берутъ они звонкія орудія и свѣтлыми звуками ихъ прославляютъ величіе добродѣтели и вѣрныхъ друзей ея. Потомъ гласы ихъ смягчаются, звоны орудій едва примѣтны. Они поютъ любовь невинную и ея пріятности. Въ кроткомъ уношеніи души я вѣщаю имъ:

«Видѣлъ я страны чуждыя и красоты земель отдаленныхъ; видѣлъ весну цвѣтнѣе, видѣлъ осень обильнѣе благословеніями полей и вертоградовъ, нежели въ странѣ нашей; но нигдѣ не видѣлъ я старцевъ почтеннѣе, мужей величественнѣе, юношей любезнѣе и дѣвъ прекраснѣе, какъ въ землѣ Словеновой.

«Воспой намъ, вѣщали они мнѣ, «воспой намъ пѣсни о доблестяхъ витязей и прелестяхъ дѣвъ земли Русскія во времена давно протекшія!»

«Исполню желаніе ваше», отвѣтствовалъ я. «При закатѣ солнца лѣтнаго въ воды тихія приходите сюда внимать моему пѣнію. Повѣдаю вамъ о подвигахъ ратныхъ предковъ нашихъ и любезности дѣвъ земли Словеновой».

И вотъ слѣдуютъ одинъ за другимъ четырнадцать вечеровъ въ слѣдующемъ порядкѣ: первый вечеръ содержитъ разсказъ о Кіѣ и Дулебѣ, второй—о Словенѣ, третій—о Рогдѣ, четвертый—о Велесилѣ, пятый и шестой—о Громобѣ, седьмой—объ Ирени, восьмой—о Мирославѣ, девятый—о Михаилѣ (черниговскомъ), десятый, одиннадцатый и двѣнадцатый—о Любославѣ, тринадцатый—объ Игорѣ и, наконецъ, четырнадцатый, подъ заглавіемъ „Александръ“, переноситъ читателей во времена самого автора и слово-словитъ войну 12-го года.—Всѣ эти вечера, кромѣ послѣдняго, представляются рядомъ небольшихъ полуфантастическихъ, полунисторическихъ повѣстей, въ которыхъ не малую роль играетъ любовь. Для того, чтобы познакомить читателей какъ съ характеромъ, такъ и съ языкомъ этихъ разсказовъ, мы выбираемъ разсказъ о Велесилѣ, какъ не очень большой, но тѣмъ не менѣе вполне романическій. Вотъ его содержаніе.

Начинается рассказъ съ того, что одинъ изъ витязей двора Владимірова, Велесиль, коему могли противоборствовать Рогдай и Добрыня, мужи непобѣдимые, вмѣстѣ съ Бориполкомъ, своимъ оруженосцемъ, „стоялъ у подножія холма высокаго, и слезы струились по сѣдой бородѣ мужа великаго“.

„На вершинѣ холма того,—читаемъ мы далѣе,—стоялъ кипарисъ возвышенный; на вѣтвяхъ его висѣли доспѣхи ратные, булава и мечъ великій. Съ другой стороны низменный древесный крестъ, къ дерну склонившійся. Мрачный витязъ хранилъ безмолвіе свое. Наконецъ, онъ поднимаетъ тяжкую десницу свою, опускаетъ ее со стремленіемъ на широкую грудь;—глухой стонъ раздался вокругъ холма; Велесиль вѣшалъ, указывая перстомъ на холмъ могильный:

„Тамо, Бориполкъ, тамъ подъ полустлѣвшимъ крестомъ сокрыто все, что было въ мірѣ семъ прекраснѣйшаго и драгоцѣннѣйшаго для моего сердца. Се любовь моя,—безмѣрная, безпредѣльная любовь дней пылкой юности, повергла несчастную въ обитель вѣчнаго мрака.—Боже! Обладателю земли! Кто воззоветъ ее отголѣ?“

„Умолкъ; горестная тишина носилась по челу его. Се есть печать тоски неутолимая“.

Наконецъ на вопросъ Бориполка, Велесиль прерываетъ молчаніе и рассказываетъ своему оруженосцу романъ своей юности. Оказывается, что когда Владиміръ воевалъ съ Греціею, и грозные полки его, подобно тучѣ, носящей въ нѣдрахъ своихъ грома ревущіе,—протекали черезъ области Греческія, на берегу свѣтлаго Иллиса обитали пастыри дружелюбные. Глава ихъ вышелъ ко Владиміру во срѣтеніе и предложилъ дары сельскіе.

— Не раззоряй жилищъ нашихъ, князь непобѣдимый!—сказалъ онъ Владиміру, простершись во прахѣ ногъ его: мы не имѣемъ оружія,—не знаемъ битвъ поражающихъ. Если нужно тебѣ успокоеніе,—хитрыны наши отверзты; плоды древесные и млеко стадъ нашихъ утолять жажду и алчбу твою.

Князь склонился на слова старца, и ни одинъ пастырь не пролилъ слезы горестной. У старца была дочь Софія. „Прекрасна была она, подобно цвѣту нѣжному, едва возникшему. Плѣнительны были взоры ея, и возвышенная грудь обѣщала эдемъ небесный счастливому смертному, который возбудитъ въ ней о себѣ вздохи“. И Владиміръ, и витязь его Велесиль, оба разомъ влюбидись въ такую красавицу, и князь поручилъ Велесилу похитить ее и отвезти въ Кіевъ: „хочу, да по прибытіи моемъ въ Кіевъ, когда сердца народныхъ упиваться будутъ радостію,—хочу, да первый, кто поздравитъ меня съ побѣдой,—будетъ прекрасная Софія“.

Велесиль исполнилъ приказаніе Владиміра, похитилъ Софію, но вмѣсто того, чтобы отвезти ее въ Кіевъ, поселилъ ее въ особую пещеру, окружилъ роскошью и приставилъ своего оруженосца Блистара стеречь ее. Владиміру-же сказалъ, что она умерла. Но тщетно старался онъ склонить къ любви сердце ея. На всѣ его признанія она отвѣчала:

„Я равнодушна! Владиміръ-ли, князь Кіевскій—или Велесиль, витязь и другъ его;—ни того, ни дру-

гого не будетъ любить сердце мое. Поклонники идоловъ бездушныхъ презрѣнны въ душѣ моей! Кроваваго убійцы не найдутъ мѣста въ сердцѣ моемъ!“

Непреклонна оставалась она и послѣ того, какъ Велесиль вернулся къ ней по окончаніи войны.

— Чудовище!—были первыя слова ея, обгащенный кровію, облитый слезами, покрытый проклятіемъ моихъ соотчичей,—ты дерзаешь предстать глазамъ моимъ?

— Удостой меня любви своей, Софія, и все излѣчится,—отвѣчалъ Велесиль, простершись передъ нею.

— Никогда!—сказала она, и отвратила взоры свои.

„Такъ прошли лѣта многія,—продолжалъ Велесиль:—я обращался въ битвахъ, и отчаяніе, водившее моею рукою, дѣлало всегда меня побѣдителемъ. Я погружался въ веселіяхъ, и самый Владиміръ удивлялся неумѣренности моей и благодарственнымъ дарамъ небесъ, оградившимъ меня неизмѣнною крѣпостью. Все испыталъ я, дабы погасить пламень, поѣдающій мою внутренность,—и опыты мои были тщетны. Часть отъ часу я дѣлался злополучнѣе и недовольнѣе своимъ существованіемъ; всякую весну навѣщалъ я непреклонную гречанку и всякій разъ находилъ ее блѣднѣе, мрачнѣе и непреклоннѣе. Подобно догорающей былинкѣ, едва-едва мерцала жизнь въ полуугасшихъ взорахъ ея“.

Но вотъ, наконецъ, Владиміръ принялъ христіанскую вѣру и крестилъ весь народъ свой. „Съ чувствомъ неизъяснимаго восторга, повѣствуетъ Велесиль, погрузился я въ купель священную, и, казалось, грозное бремя, меня тяготившее, пало съ ramenъ моихъ“. И вотъ онъ поспѣшилъ къ своей возлюбленной, мечтая, что теперь-то она, наконецъ, смирится, но увы, вошедши въ пещеру, онъ увидѣлъ слѣдующее зрѣлище:

„На возвышенномъ одрѣ лежала Софія, блѣдная, подобно мѣсяцу въ осень глубокую. Закрыты были уста ея и взоры. Цвѣтныи вѣнецъ лежалъ на главѣ страдальцы, и малый крестъ въ рукахъ ея. Вокругъ одра стояли возженные свѣтильники. Сѣдый Блистаръ сидѣлъ у ногъ ея, и горькія слезы старца лились по щекамъ его.

— Ея нѣтъ уже, витязь!—сказалъ онъ, обратясь къ Велесилу,—и Велесиль палъ, подобно дубу высокому, громомъ пораженному.

Лишь на третій день очнулся Велесиль. Тогда онъ приказалъ Блистару вырыть могилу. „Тутъ, говорилъ онъ, предали мы землѣ прекраснѣйшее созданіе природы. Мы насыпали холмъ возвышенный, и я водрузилъ крестъ древесный“. „Подобно скитающейся тѣни отверженнаго небомъ грѣшника, повѣствуетъ далѣе Велесиль, блуждалъ я по граду Кіеву. Видѣлъ богатство и великолѣпіе, видѣлъ пиршества и веселіе,—но ничто уже въ мірѣ не могло занять пустоты души моей. Тако правосудіе горней власти грозно отпущаетъ старцу за преступленіе юноши...“

Когда вы читаете подобныя вещи, стоящія всецѣло на ложно-классической почвѣ, совершенно отвлеченныя, чуждыя всякой жизни и историческихъ красокъ, написанныя такимъ высокопарнымъ, высокимъ, тяжелымъ, чисто-шишковскимъ слогомъ, еще разъ по-



вторую, вы не вѣрите, чтобы это были произведения того-же самаго Нарѣжнаго, который впоследствии шагнул куда впередъ отъ Карамзина въ своихъ разсказахъ и повѣстяхъ изъ современной ему жизни.

## II.

Романтическое движеніе, національный вопросъ и успѣхи историографіи, возбуждавшіе въ литературѣ и обществѣ интересъ къ изученію русской старины. — Экскурсія Пушкина и Гоголя въ область исторіи. — Арапъ Петра Великаго. — Капитанская дочка. — Страшная мѣсть. — Ночь на Рождество. — Вій. — Тарасъ Бульба.

Если теперь мы отъ такихъ произведеній, какъ „Словенскіе вечера“ Нарѣжнаго, перенесемся черезъ 25 лѣтъ, къ концу 20-хъ годовъ, то можно подумать, что прошло не 25 лѣтъ, а добрая сотня, или что въ этотъ періодъ общество пережило какой-нибудь крутой переворотъ, въ продолженіи котораго каждый годъ шелъ за пять — до такой степени радикально измѣнились и литературный языкъ, и художественныя формы, и эстетическіе вкусы. Не только отъ ложнаго классицизма, но и отъ карамзинскаго сентиментализма не осталось и слѣда. Языкъ окончательно очистился отъ всѣхъ славянизмовъ и барбаризмовъ и блисталъ въ звучныхъ, музыкальныхъ стихахъ Пушкина и въ воздушно-легкой прозѣ его-же созданія. Высокій слогъ оплакивалъ одинъ Шишковъ, доживавшій свои послѣдніе годы. Даже и романтизмъ, переводимый на русскій языкъ Жуковскимъ, колебался уже, и съ каждымъ годомъ въ литературѣ замѣчалось все болѣе и болѣе реальныхъ струй. О прежнемъ историческомъ индифферентизмѣ, подводившемъ историческія личности всѣхъ народовъ и временъ подъ одинъ общій знаменатель классическихъ героевъ съ античными поэмами и вулканическими страстями, не было теперь и помину. Напротивъ того, въ теченіи 20-хъ годовъ постоянно развивалось стремленіе къ изученію народности въ смыслѣ племенныхъ и культурныхъ особенностей каждаго народа въ его настоящей и прошедшей жизни. Это стремленіе принесъ съ собою романтизмъ. Вѣдь что-же такое и былъ самъ по себѣ романтизмъ, какъ не протестъ противъ отвлеченности и универсальности классицизма, какъ не стремленіе пересадить поэзію на народную почву? Во всѣхъ странахъ Европы въ это время создавалась своя національная литература, при чемъ особенное вниманіе обращалось на историческое прошлое, такъ какъ понятно, что въ этомъ прошломъ національныя особенности, не сглаженные еще позднѣйшимъ сближеніемъ народовъ и влияніемъ ихъ другъ на друга, выступали наиболѣе рѣзко. Не ограничиваясь одною чисто литературною областью, идея націонализма проникла, какъ извѣстно, въ то время и въ философскія системы, и въ политику. Во имя идеи націонализма вся Европа была покрыта въ то время сѣтью тайныхъ обществъ, и производились такія возстанія, какъ въ Греціи въ 20-е годы и Польшѣ въ 1830 году.

У насъ, въ свою очередь, уже во время войны 12-го

года возникаетъ протестъ противъ рабской подражательности всему иностранному и въ особенности французскому и стремленіе къ національной самостоятельности. Это движеніе, первоначально чисто патриотическое и вызванное ожесточеніемъ противъ французовъ, послѣ войны мало-по-малу переносится на литературную почву. Въ 20-е годы уже всѣ передовые люди были немножко славянофилы и порицали „духъ пустого рабскаго слѣпago подражанія“ подобно Чапкову на балу у Фамусова. Къ концу-же 20-хъ годовъ образуется въ Москвѣ кружокъ шелингистовъ, и въ ихъ журналахъ идея націонализма является уже обоснованною философскими идеями. Вся суть существованія каждаго народа и вся его историческая миссія начинаютъ обуславливаться ничѣмъ инымъ, какъ національными способностями его. „Мы должны взирать на каждый народъ, говоритъ Веневитиновъ въ программѣ „Московского Вѣстника“, какъ на лицо отдѣльное, которое къ самопознанію направляетъ всѣ свои нравственные усилія, ознаменованныя печатью особеннаго характера. Развѣтіе сихъ усилій составляетъ просвѣщеніе; цѣль просвѣщенія или самопознанія народа есть та степень, на которой онъ отдаетъ себѣ отчетъ въ своихъ дѣлахъ и опредѣляетъ сферу своего дѣйствія“...

И вотъ, во имя этого самосознанія всѣ огуломъ бросились изучать, такъ называемую, *народность*, подразумевая подъ этимъ именемъ тѣ племенные особенности, которыя русскій народъ выразилъ въ своемъ настоящемъ и прошломъ, особенно-же въ своихъ историческихъ письменныхъ и устныхъ памятникахъ. Такому изученію много содѣйствовали успѣхи историографіи, которые особенно обнаружились въ періодъ царствованія Александра I. Такъ мы видимъ, что къ началу царствованія Николая вышли уже всѣ 12 томовъ исторіи Карамзина. Одновременно съ тѣмъ, какъ Карамзинъ выпускалъ томъ за томомъ своей исторіи, графъ Румянцевъ занимался основаніемъ русской палеографіи и археологій, и множество изслѣдователей группировалось вокругъ него. Это было время плодотворной дѣятельности К. Θ. Кайдаловича, положившаго начало истинно-научнаго изданія и толкованія памятниковъ. Къ этому-же времени относятся труды П. С. Строева: его описаніе многихъ библиотекъ и археографическія путешествія по Россіи, положившія начало археографической комиссіи. Рядомъ съ Строевымъ, археологическими путешествіями и розысканіями занимались тогда и такіе почтенные ученые, какъ А. Н. Оленинъ, К. Н. Бороздинъ и А. И. Ермолаевъ, причемъ труды ихъ печатались не въ какихъ-либо специальныхъ и недоступныхъ публикѣ изданіяхъ, а напротивъ, — въ общихъ литературныхъ журналахъ того времени — „Отечественныхъ Запискахъ“, „Сѣверномъ Архивѣ“, „Телеграфѣ“, „Вѣстникѣ Европы“. Значительно въ то время подвинулось знакомство съ народною поэзіею. Такъ въ 1804 были изданы Якубовичемъ былины Кириши Данилова, выпущенныя затѣмъ въ 1818 г. Калайдовичемъ вторымъ изданіемъ. Въ 1819 году появилось изданіе кн. Цертелева, „Полное собраніе малороссійскихъ пѣсенъ“. Въ 1827 г. М. А. Максимовичъ, въ свою очередь, издалъ сборникъ малороссійскихъ пѣсенъ. И вотъ мы видимъ, что къ

концу 20-хъ годовъ увлеченіе историческимъ прошлымъ дѣлается всеобщимъ, овладѣваетъ всѣмъ литературнымъ міромъ. Такъ, первѣйшій поэтъ того времени Пушкинъ уже въ половинѣ 20-хъ годовъ, будучи еще въ ссылкѣ въ селѣ Михайловскомъ, обратился къ историческому прошлому и написалъ драму „Борисъ Годуновъ“. Въ 30-хъ-же годахъ подъ конецъ своей жизни онъ все болѣе и болѣе склонялся, какъ извѣстно, къ исторіи, получивши оставшееся послѣ смерти Карамзина вакантное мѣсто придворнаго историографа и вмѣстѣ съ тѣмъ доступъ въ государственные архивы, и занялся сначала исторіею пугачевского бунта, а затѣмъ собраніемъ матеріаловъ для исторіи царствованія Петра I.

Гоголь, едва пріѣхавши въ Петербургъ въ концѣ 20-хъ годовъ, былъ до такой степени охваченъ атмосферой историческихъ интересовъ, что тотчасъ-же въ письмахъ къ роднымъ и знакомымъ началъ умолять ихъ присылать ему всевозможныя историческія свѣдѣнія о Малороссіи, описаніе нравовъ, обычаевъ, костюмовъ, игръ, пѣсенъ, легендъ и проч. „Это мнѣ очень, очень нужно“, пишетъ онъ при этомъ. „Принося чувствительнѣйшую благодарность, пишетъ онъ къ матери (27-го іюля 1828 г.)—за ваши драгоценныя извѣстія о малороссіянахъ, прошу васъ убѣдительно не оставлять и впредь таковыми письмами. Въ тиши уединенія готовлю запасъ, котораго, порядочно не обработавши, не пушу въ свѣтъ; я не люблю спѣшить, а тѣмъ болѣе заниматься поверхностно“.

Передовой журналистъ и критикъ того времени, Н. Ал. Полевой, въ свою очередь, бросается въ историческія изслѣдованія, пишетъ свою „Исторію русскаго народа“, а впоследствии рядъ историческихъ монографій, драмъ и романовъ.

Прямимъ результатомъ всего этого общаго увлеченія исторіею и древностями и было появленіе въ 30 и 40 годахъ несмѣтной массы историческихъ романовъ. Первый историческій романъ, появившійся въ свѣтъ, былъ, какъ извѣстно, „Юрій Милославскій“ Загоскина, изданный въ 1829 году. Съ Загоскина намъ и слѣдовало-бы, по настоящему, начинать наше обзорнѣе историческихъ романовъ 30 годовъ. Но нѣкоторое обстоятельство заставляетъ насъ на первый разъ отступить отъ строгаго хронологическаго порядка. Дѣло въ томъ, что мы имѣемъ нѣсколько историческихъ романовъ Пушкина и Гоголя, которые представляютъ собою нѣчто совершенно особенное, не имѣющее ничего общаго со всѣми прочими историческими романами 30 годовъ, отличающееся отъ нихъ, какъ небо отъ земли. Ставить ихъ въ одинъ рядъ съ романами Загоскина или Лажечникова, по этой причинѣ, не представляется никакой возможности. Они непремѣнно должны быть выдѣлены и поставлены на первый планъ, чтобы служить маяками для нашихъ дальнѣйшихъ обзорнѣй. Ихъ высокое, гениальное достоинство будетъ освѣщать и отбѣивать передъ нами слабыя стороны и недостатки исторической беллетристики 30 годовъ. Съ нихъ мы поэтому и начинаемъ.

Пушкинъ, какъ мы выше говорили, обратился къ исторіи уже въ первой половинѣ 20 годовъ, живши въ селѣ Михайловскомъ. Въ то время онъ былъ еще подъ сильнымъ вліяніемъ Карамзина, сказавшемся въ

его драмѣ „Борисъ Годуновъ“. Но во второй половинѣ 20 годовъ, онъ совершенно освободился отъ этого вліянія до такой степени, что въ 1830 г., въ своей „Лѣтописи села Горохина“, онъ пародируетъ высокопарный языкъ и нѣкоторые даже взгляды Карамзина, представляя ихъ въ самомъ комическомъ видѣ. Въ это время въ портфель его лежало уже начало первой его исторической повѣсти „Арапъ Петра Великаго“, написанное имъ въ 1827 году.

Въ повѣсти этой впервые вполне обнаружилось тонкое и гениальное историческое чутье Пушкина. Первое, что васъ поражаетъ здѣсь, это идеальная объективность разсказа. Ничего тутъ ни преувеличено, ни преуменьшено. Не встрѣтите вы ни какой-либо идеализаціи съ одной стороны, ни излишнихъ черныхъ красокъ съ другой, а только одну трезвую, реальную и безпристрастную историческую правду. — Петербургская жизнь эпохи Петра такъ живо и рельефно рисуется передъ вами, что вы совершенно переноситесь въ ея сферу до такой степени, что васъ нисколько не поражаютъ рѣзкія особенности этой жизни, какъ нѣчто совершенно отличное отъ настоящаго времени, что трудно было-бы себѣ и представить; напротивъ того, вы сразу осваиваетесь съ изображаемою средою, совершенно какъ будто переживаете изображаемое время, точно будто имѣете дѣло съ какими-то вашими собственными воспоминаніями.

Но главное достоинство повѣсти заключается въ гениальномъ умѣнѣи уловить духъ времени въ различныхъ мелкихъ нюансахъ быденной жизни. Такъ, напримѣръ всѣмъ извѣстно, что въ то время существовала цѣлая масса оппозиціоннаго дворянства, очень неблагоприятно относившагося къ нѣмецкимъ нововведеніямъ Петра и дорожившаго всѣми обычаями до-петровской старины. Романистъ съ мелкимъ талантомъ и плохимъ историческимъ чутьемъ, если-бы вздумалъ вывести семью подобнаго дворянина-консерватора, непремѣнно изобразилъ-бы его въ видѣ боярина XVII вѣка, въ древне-русскомъ костюмѣ, съ бородою, съ женою и дочерью, запертыми въ теремѣ, съ хозяйкою, обходящею полушубныхъ гостей съ чаркою и поцѣлуемъ и т. п. Но Пушкинъ очень хорошо понималъ, что въ то время нравы не только сподвижниковъ Петра, но и оппозиціоннаго дворянства значительно уже отошли отъ старины XVII вѣка и измѣнились. Вся оппозиція выражалась въ одной воркотнѣ, въ однихъ жалкихъ вздохахъ по старинѣ, которой сами приверженцы на каждомъ шагѣ измѣняли. И вотъ въ четвертой главѣ повѣсти рисуется передъ вами великолѣпная картина праздничнаго обѣда оппозиціонной дворянской семьи, и картина эта до такой степени во всѣхъ своихъ подробностяхъ вѣрна своей эпохѣ, что вы сразу чувствуете, что именно такъ обѣдали въ Петербургѣ знатные бары только при Петрѣ, и никакой нѣтъ возможности перенести эту картину на полстолѣтіе раньше или позже.

Такъ, мы видимъ, что какъ ни старается Гаврила Аеоноасевичъ слѣдовать старинѣ и воспитывать дочь свою по старинному, окружаетъ ее мамушками, нянюшками, подружками и сѣнными дѣвушками, заставляетъ шить золотомъ и не учить грамотѣ,—но нельзя же не выводить ее ко двору, на ассамблеи. Къ этому

побуждаетъ не одна воля царя и страхъ его грознаго гнѣва, но и собственное тщеславіе и честолюбіе, боязнь быть оттерту назадъ, забыту. Въ то-же время и дочь, которую, естественно, тянетъ ко всему новому и модному, вліяетъ на старика. И вотъ волею неволею сбрасываетъ онъ свою бороду, облачается въ нѣмецкій кафтанъ, не можетъ противиться желанію дочери учиться пляскамъ нѣмецкимъ у плѣннаго шведскаго офицера, который специально для этой цѣли поселяется въ домъ его.

На праздничный обѣдъ гости съѣзжаются уже по новому обычаю съ женами и дѣтьми. Правда, дочь Гаврилы Аеонасьевича, Наталья Гавриловна, по старинѣ подноситъ каждому гостю серебряный подносокъ, уставленный золотыми чарочками, но поцѣлуй, получаемый въ старину при такомъ случаѣ, оказывается уже вышедшимъ изъ обыкновенія. Гости садятся за столъ по чинамъ, наблюдая старшинство рода, мужчины по одну сторону, а женщины по другую, но въ этомъ смутномъ отголоскѣ нѣстничества только и выражается память о старинѣ. А затѣмъ является на сцену дура Екимовна, старуха набѣленная и нарумяненная, убранная цвѣтами и мишурою, въ штофномъ роброндѣ, съ открытой шеею и грудью, и, припѣвая и подплясывая, объявляетъ, что она „наряжалась для дорогихъ гостей, для Божія праздника, по Царскому наказу, по боярскому приказу, на смѣхъ всему міру, по нѣмецкому маніру“. Гости злорадно хохочутъ при видѣ этой живой каррикатуры на новые нѣмецкіе обычаи, и затѣмъ начинается обычная въ то время воркотня, въ сущности самаго невиннаго свойства, вся сводящаяся на мелочную экономическую почву, въ родѣ слѣдующей рѣчи бывшаго рязанскаго воеводы: „Охъ матушка, Татьяна Аеонасьевна! по мнѣ жена какъ хочешь одѣвайся, хоть кутафьей, хоть болдыханомъ, только-бы не каждый мѣсяцъ заказывала себѣ новыя платья, а прежнія — бросала новехонькія. Бывало, внучкѣ въ приданое доставался бабушкинъ сарафанъ, а нынѣшнія робронды — поглядишь, сегодня на барынь, а завтра на холопѣ. Что дѣлать? Разореніе русскому дворянству! Вѣда да и только“.

Но для болѣе яснаго представленія всей ничтожности и эфемерности подобной оппозиціи, Пушкинъ изобразилъ далѣе внезапное появленіе Петра на этомъ самомъ обѣдѣ. — Тотчасъ-же отъ всей этой оппозиціи не осталось ни слѣдочка. Сдѣлалась суматоха. Хозяинъ бросился на встрѣчу Петра; слуги разбѣгались, какъ одурѣлые; гости перетрусили; иные даже думали, какъ-бы убраться поскорѣе домой. Вдругъ въ передней раздался громозвучный голосъ Петра; все утихло, и Царь вошелъ въ сопровожденіи хозяина, *оторопѣла отъ радости*. „Здорово господа!“ сказалъ Петръ съ веселымъ лицомъ. Всѣ низко поклонились. Быстрые взоры Царя отыскивали въ толпѣ молодую хозяйскую дочь; онъ подозвалъ ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смѣло, но покраснѣвъ не только по уши, а даже по плечи. „Ты часть отъ часу хорошеешь“, сказалъ ей Государь и, по своему обыкновенію, поцѣловалъ ее въ голову; потомъ, обратясь къ гостямъ: „что-же? я вамъ помѣшалъ? вы обѣдали; прошу садиться опять, а мнѣ, Гаврила Аеонасьевичъ, дай-ка анисовой водки“. Хо-

зяинъ бросился къ величавому дворецкому, выхватилъ изъ рукъ у него подносокъ, самъ налилъ золотую чарку и подаль ее съ поклономъ Государю. Петръ выпилъ, закусилъ кренделекъ и вторично пригласилъ гостей продолжать обѣдать. Всѣ заняли свои прежнія мѣста, кромѣ карлицы и барской барыни, которая не смѣла оставаться за столомъ, удостоеннымъ царскимъ присутствіемъ. Петръ сѣлъ подлѣ хозяина и спросилъ себѣ щей. Государевъ деньщикъ подаль ему деревянную ложку, оправленную слоновію костью, ножикъ и вилку съ зелеными костяными черенками, ибо Петръ никогда не употреблялъ другаго прибора, кромѣ своего. *Обѣдъ, за минуту передъ симъ шумно оживленный весельемъ и юмористическою, продолжался въ тишинѣ и принужденности. Хозяинъ, изъ почтенія и радости, ничемъ не пилъ; гости также чинились и съ благоговѣніемъ слушали, какъ Государь по нѣмецки разговаривалъ съ плѣннымъ шведомъ о походѣ 1701 года.*

Обратите вниманіе, какъ здѣсь нѣсколькими могучими чертами обрисовывается вполне передъ нами и политическое, и нравственное состояніе цѣлаго сословія въ эпоху Петра, со всѣми его и рабскимъ страхомъ, и подобострастнымъ ничтожествомъ передъ необъятною силою грознаго реформатора, который шутить не любилъ. Но далѣе все это выступаетъ еще ярче. Оказывается, что Петръ пріѣзжалъ не спроста, а сватать дочь хозяина за своего любимца Арапа Ибрагима. Подобнымъ сватовствомъ нарушались всѣ гордыя традиции стараго дворянскаго рода. Гаврила Аеонасьевичъ не могъ не чувствовать глубокаго униженія при мысли, что дочь его сватаютъ за купленнаго невольника, да къ тому-же и чернаго. Но объ изъясненіи какого-либо протеста не приходилось и помышлять.

— Батюшка—братецъ!—сказала старуха (сестра Гаврилы Аеонасьевича) слезливымъ голосомъ: не погуби ты своего родимаго дитяти, не дай ты Наташеньки въ когти черному дьяволу.

— Но какъ-же, — возразилъ Гаврила Аеонасьевичъ, отказать Государю, который за то обѣщаетъ намъ свою милость, мнѣ и всему нашему роду?

— Какъ!—воскликнулъ старый князь (тесть), у котораго сонъ совсѣмъ прошелъ: Наташу, внучку мою, выдать за купленнаго Арапа?

— Онъ роду не простого, — сказалъ Гаврила Аеонасьевичъ, онъ сынъ Анапскаго султана. Басурмане взяли его въ плѣнъ и продали въ Царьградъ, а нашъ посланникъ выручилъ и подарилъ его Царю. Старшій братъ Арапа пріѣзжалъ въ Россію съ знатнымъ выкупомъ и...

— Слыхали мы сказку про Бову Королевича да Еруслана Лазаревича!

— Батюшка Гаврила Аеонасьевичъ — прервала старуха: расскажи-тко намъ лучше, какъ отвѣчалъ Государю на его сватанье.

— Я сказалъ, что власть его съ нами, а наше холопье дѣло повиноваться ему во всемъ.

Въ эту минуту раздавался за дверью шумъ. Гаврила Аеонасьевичъ пошелъ открыть ее, но почувствовалъ сопротивленіе. Онъ сильно ее толкнулъ, — дверь отворилась, и онъ увидѣлъ Наташу въ обморокѣ, простертую на окровавленномъ полу.

Такъ завязывается узелъ драмы. Въ приведенной нами сценѣ, что ни слово, то драгоцѣнный перлъ. — Положительно не знаешь, что тутъ выше, что лучше

обрисовываетъ всю неприглядную психическую нищету выведенныхъ дѣйствующихъ лицъ: надеждали на милости, ради которыхъ люди эти готовы не только забыть всю обожаемую старину, но и поступиться судьбою любимой дочери, или-же жалкое утѣшеніе униженной гордости, что Ибрагимъ не простой черный невольникъ, а чуть не изъ царскаго рода. Эти спѣсивые и гордые люди поражаютъ васъ въ то же время рабской приниженностью своей, и Петръ со своею непреклонною волею тяготѣетъ грознымъ рокомъ надъ всѣми дѣйствующими лицами романа. Въ-стѣ съ тѣмъ открывается передъ вами и вотъ какая историческая черта въ личности Петра. Въ то время, какъ оппозиціонные дворяне, при всей приверженности къ старинѣ, на каждомъ шагу вольно и невольно измѣняли ей, Петръ, не смотря на любовь ко всему иностранному и при всемъ стремленіи совершенно отрѣшиться Россію отъ всѣхъ традицій старины, въ самомъ себѣ невольно и бессознательно носилъ не мало этихъ традицій. Таково, между прочимъ, было произвольное вѣдѣтельство его въ частныя, семейныя дѣла своихъ приближенныхъ, что носило характеръ чего-то стародавняго, патріархальнаго, вотчиннаго.

Такое же историческое безпристрастіе, полное отсутствіе какихъ-либо патріотическихъ славословій и трезвый реализмъ видите вы и въ „Камитанской дочкѣ“ Пушкина. Начать съ того, что здѣсь нѣтъ героя въ томъ пошломъ видѣ безукоризненно идеальнаго молодого человѣка, блестящаго всѣми и матеріальными, и умственными доблестями, въ какомъ подобный герой подвизался въ то время во всѣхъ романахъ, какъ изъ исторической, такъ и изъ современной жизни. Гриневъ, отъ лица котораго ведется разсказъ, не имѣетъ ничего общаго съ такими героями. Это самый заурядный помѣщичій сыночекъ 18-го вѣка, не особенно далекій, не Богъ вѣсть какъ образованный, отличающійся всего на всего доброю душою и нѣжнымъ сердцемъ. Дѣтство его описано не безъ юмора, именно того добродушнаго, тонкаго и чисто народнаго пушкинскаго юмора, который, къ сожалѣнію, до сихъ поръ еще не оцѣненъ въ должной мѣрѣ, хотя, по моему мнѣнію, онъ нисколько не уступаетъ гоголевскому юмору. Такъ мы видимъ, что съ рожденія барчука былъ записанъ въ Семеновскій полкъ сержантомъ по милости маіора князя Б., близкаго родственника Гриневыхъ, и считался въ отпуску до окончанія наукъ. Научами-же занимался съ мальчикомъ стремянной Савельичъ, пожалованный въ дядьки за трезвое поведение.

Подъ его надзоромъ герой на двѣнадцатомъ году выучился русской грамотѣ и могъ очень здраво судить о свойствахъ борзого кобеля. Въ это время наняли для него француза, мосье Вопре, котораго выписали изъ Москвы вмѣстѣ съ годовымъ запасомъ вина и прованскаго масла. Мосье Вопре былъ добрый малый, но вѣтренъ и безпутенъ до крайности. Главной его слабостью была страсть къ прекрасному полу, но любилъ онъ и хлебнуть лишнее, привыкнувъ къ русской настойкѣ и предпочитая ее винамъ своего отечества, какъ не въ примѣръ болѣе полезную для желудка. „Мы, говоритъ Гриневъ, тотчасъ поладили, и

хотя по контракту обязанъ онъ былъ учить меня *по французски, по нѣмецки и вѣсть наукамъ*, но онъ предпочелъ на скоро выучиться отъ меня кое-какъ болтать по русски, и потомъ каждый изъ насъ занимался своимъ дѣломъ...“ Но когда прачка Палашка, толстая и рабая дѣвка, и кривая коровница Акулька разомъ кинулись въ ноги своей баринѣ, вынясь въ своей преступной слабости и съ плачемъ жалуюсь на мосье, обольстившаго ихъ неопытностью, и когда старикъ Гриневъ пошелъ на расправу въ комнату сына и засталъ тамъ мосье жертвецки пьянымъ и спавшимъ глубокимъ сномъ, а сына дѣлающимъ змѣй изъ географической карты и привязывавшимъ хвостъ къ мысу Доброй Надежды, мосье Вопре былъ тотчасъ же изгнанъ изъ дома. „Тѣмъ и кончилось, говоритъ Гриневъ, мое воспитаніе. Я жилъ недорослемъ, гоняя голубей и играя въ чехарду съ дворовыми мальчишками“. Когда же мальчику минуло 16 лѣтъ, отецъ надумалъ отправить его прямо на службу, конечно, военную. Мальчикъ былъ этому очень радъ, но не какія-либо идеальныя мечты о принесеніи пользы отечеству, о пораженіи враговъ отечества волновали его при этомъ, а какъ и надо было ожидать „мысли о службѣ, говоритъ онъ, сливались во мнѣ съ мыслями о свободѣ, объ удовольствіяхъ петербургской жизни. Я воображалъ себя офицеромъ гвардіи, что по мнѣнію моему, было верхомъ благополучія человѣческаго“. Но практическій и умный старикъ-отецъ рѣшилъ иначе: „Петрушка въ Петербургъ не поѣдетъ. Чему научится онъ, служа въ Петербургѣ? Мотать да повѣсничать? Нѣтъ, пускай послужитъ онъ въ арміи, да потянетъ лямку, да понюхаетъ пороку, да будетъ солдатъ, а не шемагонъ въ гвардіи!“—И онъ послалъ сына къ старинному товарищу и другу служить подъ его начальствомъ въ арміи въ Оренбургѣ.

„И такъ, говоритъ Гриневъ, въѣхъ мои блестящія надежды рушились! Вмѣсто веселой петербургской жизни ожидала меня скука въ сторонѣ глухой, отдаленной. Служба, о которой за минуту думалъ я съ такимъ восторгомъ, показалась мнѣ тяжкимъ несчастьемъ...“

Но дѣлать было нечего, поѣхалъ молодой недоросль по батюшкину приказанію, невѣдомо куда и зачѣмъ. Средній романистъ того времени не преминулъ бы заставить героя на дорогѣ кого-нибудь спасти отъ неминуемой смерти и вообще оказать какія-нибудь чудеса храбрости. Гриневъ не только никакихъ чудесъ не оказываетъ, но, какъ и надо было ожидать, 16-ти-лѣтняго мальчугана въ Симбирскѣ нѣкій шатающійся шулеръ самымъ прозаическимъ образомъ обыгрываетъ на билліардѣ. Спасителемъ же отъ смерти оказывается не Гриневъ, а его самого спасаетъ отъ опасности замерзнуть во время мятежа какой-то бѣглый казакъ, оказавшійся потомъ Пугачевымъ, и за это молодой добрый баринъ весьма естественно и просто поитъ казака водкой и даритъ ему лишній овчинный тулупъ, изъ котораго онъ самъ уже давно выросъ и который поэтому раздѣвается по всѣмъ швамъ на плечахъ дюжаго казака...

Но вотъ мы и въ Вѣлгорской крѣпости, описаніе которой, равно какъ и комическихъ обитателей ея—

добродушнаго капитана Милонова изъ выслужившихся солдатъ, его энергической жены, Василисы Егоровны, которая, держа своего мужа подъ башмакомъ, на дѣла службы смотрѣла, какъ на свои хозяйскія и управляла крѣпостью такъ точно, какъ и своимъ домомъ, кривого гарнизоннаго поручика Ивана Игнатьевича, коварнаго деморализованнаго брегера Швабрина, — все это наизусть почти извѣстно каждому грамотному русскому человѣку изъ любой дѣтской христоматіи и не требуетъ особенныхъ комментариевъ. Не требуетъ комментариевъ и романъ, который завязывается въ этой захолустной средѣ; такъ незатѣйливъ и простъ этотъ заурядный романъ прапорщика, который пописываетъ стихи въ духѣ Сумарокова въ честь своей любезной и вызываетъ на дуэль дерзкаго оскорбителя чести ея Швабрина, за то, что тотъ посовѣтовалъ вмѣсто поднесенія плохихъ стихонковъ купить лучше дѣвушкѣ пару серегъ. Героиня этого романа въ свою очередь не прельщаетъ васъ какою-нибудь неземною красотой, не сверкаетъ солнце у нея во лбу и глаза ея не мечутъ всепожирающаго пламени. Она именно въ такомъ родѣ, въ какомъ можно себя представить дочь гарнизоннаго капитана Бѣлогорской крѣпости, выросшую въ глухой и безлюдной глуши: застѣнчивая дикарка, которая съ перваго знакомства можетъ показаться даже весьма недалекую, такая трусиха, что по словамъ матери „до сихъ поръ не можетъ слышать выстрѣла изъ ружья — такъ и затрепещется, а какъ тому два года Иванъ Кузьмичъ выдумалъ въ мои именины палить изъ нашей пушки, такъ она, моя голубушка, чуть со страха на тотъ свѣтъ не отправилась. Съ тѣхъ поръ ужъ и не палимъ изъ проклятой пушки“. Помышляютъ онѣ вмѣстѣ съ маменькой только о томъ, какъ бы найти добраго человѣка и выйти замужъ. — Когда Гриневъ дѣлаетъ ей предложеніе, она безъ всякаго жеманства говоритъ, что ея родители, конечно, рады будутъ ея счастью, „но подумай хорошенько, со стороны твоихъ родныхъ не будетъ-ли препятствій?“ Когда-же отецъ Гринева написалъ грозное письмо своему сыну за его одновременное сватовство, она возвратила это письмо своему милому дрожащею рукою и сказала дрожащимъ голосомъ:

— Видно мнѣ не судьба... Родные ваши не хотятъ меня въ свою семью. Буди во всемъ воля Господня! Богъ лучше насъ знаетъ, что намъ надобно. Дѣлать нечего, Петръ Андреичъ, будьте хоть вы счастливы!.. На готовность-же Гринева жениться на ней помимо воли родителей, она отвѣчаетъ:

— „Вѣтъ, Петръ Андреевичъ, я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ ихъ благословенія не будетъ тебѣ счастья. Покоримся волѣ Божіей. Коли найдешь себя суженую, коли полюбишь другую — Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ, а я за васъ обоихъ“...

Она заплакала и ушла отъ Гринева. — „Съ той поры, говорятъ онъ, положеніе мое переѣнилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избѣгать меня“.

Однимъ словомъ, передъ вами, какъ живой, стоитъ типъ простой, заурядной, захолустной дѣвушки изъ средняго круга, 18-го вѣка, дѣвушки безъ всякой

аффектаціи и сентиментальности, у которой любовь и замужество соединяются въ одно неразрывное понятіе и которая видитъ въ этомъ не плѣнительные и усладительные амурсы, а серьезное и, можно даже сказать, религиозное дѣло всей жизни.

Такимъ образомъ и здѣсь подобно тому, какъ и въ „Арапѣ Петра Великаго“, Пушкинъ является передъ нами не только реалистомъ вообще, но и натуралистомъ въ томъ смыслѣ, что въ обоихъ произведеніяхъ передъ вами разворачивается картина жизни не какихъ-либо идеальныхъ и эксцентрическихъ личностей, а самыхъ заурядныхъ людей; вы переноситесь въ обыденную массовую жизнь восемнадцатаго вѣка и видите, какъ эта жизнь текла день за день со всѣми своими мелкими будничными интересами. Этимъ и отличаются историческіе романы Пушкина отъ всѣхъ послѣдующихъ изображеній жизни восемнадцатаго вѣка, въ которыхъ жизнь, отстоящая отъ насъ не болѣе какъ на сто или полтора столѣтія, рисуется передъ нами въ какомъ-то мистическомъ волшебномъ туманѣ, причѣмъ изображаемымъ личностямъ придаются необыкновенно титаническіе размѣры: все это оказываются широкія, размашистыя натуры, то поражающія міръ своею роскошью и необузданнымъ мотовствомъ и разгуломъ, то приводящія въ ужасъ демоническимъ хищничествомъ, коварствомъ и эксцентричностью своихъ преступленій въ родѣ замуровыванія въ стѣны живыхъ людей или срытія цѣлыхъ усадебъ. Я не говорю, чтобы ничего подобнаго не было въ 18-мъ вѣкѣ; но отнюдь не изъ такихъ баснословныхъ характеровъ и ужасовъ слагалась ежедневная, будничная жизнь того времени. Они были лишь выдающимися точками, исключеніями изъ уровня ея. А чтобы понять этотъ уровень, слѣдуетъ обратиться къ Пушкину. Перенесясь за сто лѣтъ назадъ въ его „Капитанской дочкѣ“, вы отнюдь не попадаете въ какой-то сказочный міръ, а видите все ту-же самую жизнь, которая, катясь годъ за годъ, докатилась и до сего дня. И дѣйствительно, вѣдь эта жизнь все та же самая, а не другая какая, особенно въ провинціальной глуши. Одно простое соображеніе должно внушить вамъ, что если и въ настоящее время провинціальная глушь представляетъ собою мертвое царство непробуднаго сна и полнаго застоя, то сто лѣтъ тому назадъ она должна была быть еще однообразнѣе, монотоннѣе и неподвижнѣе. И дѣйствительно, вы видите передъ собою въ разсказѣ такое стоячее болото, что даже столь грозная буря, какъ пугачевскій погромъ, могла покрыть поверхность этого болота лишь едва замѣтною зыбью. Обитатели Бѣлогорской крѣпости, жившіе въ самомъ очагѣ бунта, въ своей буколической невинности до такой степени не знали, что дѣлается вокругъ нихъ, что когда бунтъ уже начался и герой сообщилъ коменданту, что онъ слышалъ въ Оренбургѣ, будто на Бѣлогорскую крѣпость собираются напасть башкиры, комендантъ отвѣчалъ:

— Пустяки! У насъ давно ничего не слыхать. Башкиры — народъ напуганный, да и киргизы проучены. Небось на насъ не сунутся; а насунутся, такъ я такую задамъ острастку, что лѣтъ на десять угомоню.

И нужно было, чтобы Пугачевъ пришелъ къ крѣпости и взялъ ее безъ малѣйшихъ усилій, и лишь тогда, когда на площади воздвиглись висѣльницы, обитатели поняли, наконецъ, значеніе и ужасъ пугачевского бунта.

Но верхъ художественнаго совершенства по строгой, трезвой реальности, историческому безпристрастію и глубинѣ пониманія бесспорно представляетъ собою образъ самого Пугачева. Можно смѣло сказать, что во всей нашей литературѣ другого такого Пугачева вы не найдете. Изобразить вѣрно и въ настоящемъ свѣтѣ подобнаго рода личность тѣмъ труднѣе, чѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ она на воображеніе и невольно влечетъ художника къ какимъ-нибудь преувеличеніямъ. Стоило Пушкину немножко болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, перепустить густыхъ черныхъ красокъ, что было такъ легко сдѣлать сообразно тому ужасу и отвращенію, какое возбуждалъ Пугачевъ въ современникахъ Пушкина, и вышелъ-бы мелодраматическій злодѣй, ни съ чѣмъ несообразное нравственное чудовище; стоило-бы отъ живой дѣйствительности хотъ на одинъ шагъ вступить въ область эффектныхъ романтическихъ образовъ, и вышло-бы нѣчто въ родѣ Карла Моора, образъ очень красивый самъ по себѣ, но чуждый исторической правды. Пушкинъ гениально избѣгъ и того, и другаго. Ему и Пугачева удалось свести на почву осязательной и будничной дѣйствительности. Правда, является онъ на сцену романа не безъ поэтичности: словно какой-то мнѣнскій духъ грозы и бури онъ внезапно вырисовывается передъ читателемъ изъ мутной мглы бурана, но вырисовывается вовсе не для того, чтобы сразу поразить васъ, какъ нѣчто выдающееся и необыкновенное. Является онъ простымъ бѣглымъ казакомъ, полурасдѣтымъ бродягомъ, только что пропившимъ въ кабацѣ послѣдній свой тулупъ. Онъ поражаетъ проважнихъ своею сметливостью и тонкостью чутья, по едва уловимому запаху дыма указавъ на близость селенія; но это вовсе не какая-либо особенность Пугачева, какъ Пугачева, а общая черта, свойственная всѣмъ степнымъ бродягамъ. Наружность его показалаъ Гриневу замѣчательна. Онъ былъ лѣтъ сорока, росту средняго, худощавъ и широкоплечъ. На черной бородѣ его показывалась простѣды: живые большіе глаза такъ и бѣгали. Лицо его носило выраженіе довольно пріятное, но плутовское. Спрашивается теперь что же такое могло быть пріятнаго въ лицѣ Пугачева? Очевидно, это было выраженіе того особеннаго рода добродушія, смѣшаннаго съ юморомъ и ироніею, какое вы встрѣтите въ лицѣ массы русскихъ людей, порою самыхъ хитрыхъ и плутоватыхъ. Развѣ вы не встрѣчали такихъ людей: съ одной стороны, глаза у нихъ такъ подозрительно бѣгаютъ, что трудно имъ въ чѣмъ-либо довѣриться, а съ другой—такъ и влечетъ васъ къ нимъ выраженіе въ ихъ глазахъ чего-то такого мягкаго и обаятельнаго. Такимъ является передъ вами и Пугачевъ въ первой сценѣ, ничѣмъ особенно не выдающійся и до конца главы остающійся самымъ зауряднымъ степнымъ бродягомъ, столь довольнымъ подаркомъ заячьяго тулупа съ барскаго плеча, что онъ провожаетъ барина до кибитки и говоритъ ему на прощаніе съ низкими поклономъ: „Спасибо, ваше благородіе! На-

гради васъ Господь за вашу добродѣтель. Вѣкъ не забуду вашихъ милостей“. Вы подумайте только, сколько здѣсь глубокой вѣрности дѣйствительности и поразительной простоты.

Такимъ-же является Пугачевъ и въ дальнѣйшемъ развитіи романа. — Это вовсе не злодѣй и не герой, вовсе не человѣкъ, устрашающій и увлекающій толпу обаяніемъ какой-нибудь грозной и бездонной мрачности своей титанической природы, и тѣмъ болѣе отнюдь не фанатикъ, сознательно стремившійся къ развѣ намѣченной цѣли. До самаго конца романа онъ остается все тѣмъ-же случайнымъ степнымъ бродягомъ и добродушнымъ плутомъ. При иныхъ обстоятельствахъ изъ него вышелъ-бы самый заурядный конокрадъ; но историческія обстоятельства внезапно сдѣлали изъ него совершенно неожиданно для него самого самозванца, и онъ слѣпо влечется силою этихъ обстоятельствъ, причемъ вовсе не онъ ведетъ за собою толпу, а толпа влечетъ его, совершенно подобно тому, какъ въ разсказѣ Гл. Успенскаго бавинская чернь обратила внезапно въ Скобелева отставнаго солдата, за минуту передъ тѣмъ и не подозревавшего ничего подобнаго. Натура его, въ сущности, вовсе не хищная и не кровожадная; онъ радъ-бы и прощать; добродушіе, не покидающее его до конца романа, заставляетъ его помнить мелочную дорожную услугу, оказанную ему Гриневымъ; онъ готовъ казнить Швабрину, защищая отъ его козней сироту; но всѣ эти добрые порывы идутъ совершенно въ разрѣзъ съ настроеніемъ окружающей его толпы, возбуждаютъ въ ней протесты, и, отдаваясь имъ урывками, онъ поневолѣ долженъ напускать на себя грозное величіе и безпощадность. До какой степени онъ весь отдался влекущему его теченію, не преслѣдуя никакой сознательной личной цѣли, и былъ вполнѣ въ рукахъ толпы, это отлично обнаруживается передъ нами въ слѣдующемъ разговорѣ его съ героемъ:

— А ты полагаешь идти на Москву?—спросилъ его Гриневъ.

Самозванецъ нѣсколько задумался и сказалъ вполголоса: *«Богъ вѣсть. Улица моя тѣсна; воли мнѣ мало. Ребята мои умничаютъ. Они воры. Мнѣ должно держать ухо востро; при первой неудачѣ они свою шею выкупятъ моею головою»*.

— То-то,—сказалъ Гриневъ Пугачеву.—Не лучше-ли тебѣ отстать отъ нихъ самому заблаговременно, да прибѣгнуть къ милосердію Государыни?

Пугачевъ горько усмѣхнулся.—«Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ,—поздно мнѣ каяться. Для меня не будетъ помилованія. Буду продолжать, какъ началъ. Какъ знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ вѣдь царствовалъ-же надъ Москвою».

— А знаешь ты, чѣмъ онъ кончилъ! Его выбросили изъ окна, зарѣзали, сожгли, зарядили его пеломъ пушку и выпалили!

— Слушай,—сказалъ Пугачевъ съ какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ,—разскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ мнѣ разсказывала старая калмычка. Однажды орелъ спрашивалъ у ворона: скажи, воронъ-птица, отчего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, а я всего на всего только тридцать-три года?—«Оттого, батюшка, отвѣчалъ ему воронъ, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной». Орелъ подумалъ: давай попробуемъ и мы питаться тѣмъ-же. Хорошо! Полетѣли орелъ да воронъ. Вотъ завидѣли падающую лошадь, спустились и сѣли. Воронъ сталъ клевать, да похваливать. Орелъ клоннулъ разъ, клоннулъ другой, мах-



нулъ крыломъ и сказалъ ворону: «нѣтъ, братъ воронъ: чѣмъ триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напиться живой кровью; а тамъ что Богъ дастъ!» Какова калмыцкая сказка?

— Затѣйлива,—отвѣчалъ ему Гриневъ.—Но жить убійствомъ и разбоемъ, значить по мнѣ клеветать мертвечину. Пугачевъ посмотрѣлъ на Гринева съ удивленіемъ и ничего не отвѣтилъ».

Не отвѣтилъ онъ ничего и не могъ отвѣтить, потому что и мечтательный походъ на Москву, и дикая разбойническая сказка,—все это было у Пугачева напускное, совершенно не вяжущееся съ его натурою, и барину ничего не стоило сбить его однимъ словомъ съ пьедестала, на который онъ громоздился.

Но верхъ совершенства слѣдующая нѣмая сцена въ Бѣлогорской крѣпости послѣ казни и прощенія Гринева. «Мы, говоритъ Гриневъ, остались глазъ на глазъ. Нѣсколько минутъ продолжалось обоюдное наше молчаніе. Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, изрѣдка прищуривая лѣвый глазъ съ удивительнымъ выраженіемъ плутовства и насмѣшливости. Наконецъ, онъ засмѣялся, и съ такою непритворною веселостію, что и я, глядя на него, сталъ смѣяться, самъ не знаю, чему». Здѣсь Пугачевъ рисуется передъ вами весь, каковъ онъ былъ, до самаго нутра, безъ малѣйшей рисовки и притворства.

Наконецъ, слѣдуетъ обратить вниманіе въ свою очередь и на то историческое безпристрастіе и геніальную иронію, какія обнаружилъ Пушкинъ въ самомъ развитіи сюжета романа, заставивши Пугачева быть добрымъ геніемъ и устроителемъ судьбы героя романа, и въ концѣ концовъ—Гринева придти къ слѣдующему сознанию: «Но между тѣмъ, говоритъ онъ, странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодѣѣ, обрызганномъ кровью столькожъ невинныхъ жертвъ, о казни, его ожидающей, тревожила меня поневолѣ: „Емеля, Емеля! — думалъ я съ досадою—зачѣмъ не наткнулся ты на штыкъ, или не подвернулся подъ картечь. Лучше ничего не могъ-бы ты придумать“. Что прикажете дѣлать! Мысль о немъ неразлучна была во мнѣ съ мыслию о пощадѣ, данной мнѣ имъ въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни, и объ избавленіи моей невѣсты изъ рукъ гнуснаго Швабрина».

У Пушкина есть еще одинъ отрывокъ историческаго романа, подъ заглавіемъ „Рославлевъ“; но этотъ отрывокъ имѣетъ такое тѣсное отношеніе къ роману Загоскина подъ тѣмъ-же заглавіемъ, что мы будемъ его разбирать въ свое время, въ связи съ романомъ Загоскина. Теперь-же обратимся къ Гоголю.

Уже въ „Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки“ у Гоголя проглядываетъ кое-гдѣ историческій элементъ. Такъ, въ разсказѣ „Ночь на Рождество“ Гоголь переноситъ насъ вмѣстѣ съ своимъ героемъ кузнецомъ Вакулою изъ захолустной малороссійской деревеньки въ Петербургъ ко двору Екатерины. Кромѣ самой императрицы здѣсь выступаютъ на сцену Потемкинъ и Фонвизинъ. Правда, все это очерчено крупными красками и мелькомъ, но нельзя сказать, чтобы тутъ вовсе не было и кое-какихъ историческихъ чертъ. У насъ сохранилось отъ того времени не мало анекдотовъ о простодушномъ-наивныхъ и грубоватыхъ отвѣтахъ казаковъ на вопросы Екатерины, поражающихъ

чопорный дворъ во время приѣма запорожскихъ пословъ. Просьба Вакулы о черевикахъ и благосклонное вниманіе императрицы къ его простодушію какъ нельзя болѣе передаетъ характеръ этихъ аудіенцій.

Затѣмъ разсказъ „Страшная мѣсть“—весь построенъ на исторической почвѣ войнъ казаковъ съ ляхами, хотя надо признаться, что при всей художественности разсказа, при всей прелести отдѣльных мѣстъ его въ родѣ знаменитаго описанія Днѣпра, въ историческомъ отношеніи разсказъ представляетъ рядъ общихъ стереотипныхъ мѣстъ, не обнаруживающихъ еще въ молодомъ авторѣ особенно глубокаго знанія малороссійской старины. Обратите вниманіе, напримѣръ, на восьмую главу, въ которой описывается польскій пиръ:

«На пограничной дорогѣ, въ корчмѣ, собрались ляхи и пируютъ уже два дни. *Что-то не мало всей сволочи.* Сошлись вѣрно на какой-нибудь наѣздъ: у иныхъ и мушкеты есть; чокаются шпоры; брякаютъ сабли; *паны веселятся и хвастаются, юворятъ про небывалыя дѣла свои, насмѣхаются надъ православіемъ; зовутъ народъ украинскій своими голопыми, и важно крутятъ усы, и важно, задравивъ головы, разваливаются на лавкахъ.* Съ ними и ксендзъ вмѣстѣ; только и ксендзъ у нихъ на ихъ-же статѣ; и съ виду даже не похожъ на христіанскаго попа; *пьетъ и куляетъ съ ними и юворитъ нечестивымъ языкомъ своимъ срамныя рчи.* Ни въ чемъ не уступаетъ даже и челядь: *позакладали назадъ рукава оборванныя жувановъ своихъ и ходятъ козыремъ, какъ будто-бы что путное.* Играютъ въ карты, бьютъ картами одинъ другого по носамъ; набрали съ собою чужихъ женъ: крикъ, драка! Паны бѣснуются и отпускаютъ шутки: хватаютъ за бороду жида, малюютъ ему на нечестивомъ лбу крестъ; стрѣляютъ въ бабъ холостыми зарядами и *танцуютъ краковскіе съ нечестивымъ попомъ своимъ.* Небывало такого соблазна на русской землѣ и отъ татаръ: видно ужъ ей Богъ опредѣлилъ за грѣхи терпѣть такое посрамленіе!..»

Грубость и глубочность такихъ красокъ слишкомъ бросается въ глаза, чтобы требовать какихъ-бы то ни было комментаріевъ.

Къ числу такихъ-же фантастически-легендарныхъ разсказовъ изъ малороссійской старины относится и повѣсть Гоголя „Вій“; но здѣсь вы встрѣчаете несравненно болѣе чертъ реальныхъ и исторически-вѣрныхъ, чѣмъ въ „Страшной мѣсти“. Вмѣсто того высокопарно-эпическаго тона, какимъ написанъ вышеозначенный разсказъ, здѣсь вы видите простую рѣчь, исполненную съ самой первой страницы того геніальнаго юмора, которымъ Гоголь обратилъ на себя вниманіе всей Россіи съ первыхъ-же своихъ произведеній. Авторъ переноситъ васъ всецѣло въ малороссійскую казацкую старину съ ея простотою и широкими разгульными нравами. Рядомъ съ жизнію кievскихъ бурсаковъ съ ихъ классическими зубреніемъ, кулачными боями, мистеріями и кантами, распѣваемыми ими подъ окнами хуторовъ, рисуется передъ вами усадебная жизнь богатаго пана сотника съ ея широкимъ разгуломъ. Отъ одной сцены совершенно въ теньеровскомъ вкусѣ, вы переноситесь къ другой не менѣе характерной и комической; передъ вами развертывается то картина пирушки дорожныхъ казаковъ въ грязной жиновской корчмѣ, то ужинъ многочисленной дворни богатаго пана. Этотъ рядъ бытовыхъ картинъ со-

ставляетъ главное достоинство разсказа и его историческое значеніе. Понятно, что историческая беллетристика заключается не въ одномъ только выставленіи крупныхъ историческихъ личностей и событій; изобразить вѣрно и рельефно картину нравовъ той или другой эпохи до мельчайшихъ ихъ подробностей и во всей ихъ обыденности, въ свою очередь, можетъ составить задачу исторической повѣсти, которая въ такомъ случаѣ имѣетъ полное право обойтись совершенно безъ всякаго упоминанія о какихъ-либо историческихъ фактахъ изображаемой эпохи. Фантастическій-же элементъ не только не нарушаетъ гармоніи, напротивъ того, еще болѣе усиливаетъ историческій колоритъ повѣсти, совершенно переноситъ васъ въ XVII вѣкъ со всѣми его суевѣріями. Мнѣ кажется даже, что безъ вѣды и Віа картина украинскаго быта XVII вѣка не была-бы такъ полна и характерна.

Но уже въ самомъ началѣ 30-хъ годовъ, когда Гоголь писалъ еще свои „Вечера на Хуторѣ“, онъ рядомъ съ этимъ дѣлалъ свои первые попытки написать историческій романъ изъ малороссійской старины въ полномъ смыслѣ этого слова. Таковы были оставшіеся послѣ него черновые наброски нѣсколькихъ главъ романа „Острица“ и „Плѣнникъ“. Но всѣ эти попытки были лишь предварительными пробами пера, тѣми ручейками, которые сливаясь образуютъ мощную рѣку. Рѣкою этою и была знаменитая историческая эпопея Гоголя „Тарасъ Бульба“, появившаяся въ печати въ 1834 г. Пересказывать содержаніе этой эпопеи и вообще входить въ подробную характеристику произведенія, которое каждому образованному человеку на Руси извѣстно во всѣхъ подробностяхъ, подобно тому, какъ каждому древнему греку была извѣстна Илліада, я считаю совершенно излишнимъ.

Мы обратимъ лучше всего вниманіе вотъ на какое обстоятельство: на то впечатлѣніе, какое производитъ романъ Гоголя, когда вы его начнете читать непосредственно тотчасъ-же послѣ историческихъ повѣстей Пушкина. Передъ вами сейчасъ-же во всей ясности предстанетъ все то громадное различіе, которое существуетъ между южнымъ типомъ малороссійской и сѣвернымъ — великороссійской. Это различіе особенно ярко выступаетъ въ произведеніяхъ такихъ великихъ представителей обоихъ типовъ, каковы были Пушкинъ и Гоголь; оно простирается не только на содержаніе этихъ произведеній, характеръ образовъ, но и на форму, слогъ и языкъ.

У Пушкина васъ поражаетъ прежде всего языкъ, доведенный до послѣдней степени простоты, ясный, прозрачный, съ законическою сжатостію передающій лишь то, что нужно, остерегающійся сказать хоть одно лишнее слово и съ пуританскою строгостію чуждающійся какого-бы то ни было поднятія тона. Все это какъ нельзя болѣе соответствуетъ тому свойству сѣвернаго русскаго человека, что онъ словно стыдится выражать свои чувства громко и цѣтливо и любить, напротивъ того, блистать сдержанностію и неизмѣнно-ровнымъ, холоднымъ, объективнымъ безпристрастіемъ.

Совершенно не таковъ языкъ Гоголя. Творецъ „Тараса Бульбы“, напротивъ того, блистаетъ крайне-цѣтистымъ языкомъ, оснащеннымъ на каждомъ шагу

самыми рискованными эпитетами и метафорами, что еще болѣе удлинняетъ и безъ того длинные періоды, при чемъ слова въ этихъ періодахъ всегда расположены бывають такъ, что слогъ принимаетъ совершенно пѣвучій, словно размѣренный тонъ. Замѣчательно въ этомъ отношеніи, что читая нѣкоторые стихи Пушкина (особенно, напримѣръ, въ Евгеніи Онѣгинѣ), вы встрѣчаете такую простую разговорную рѣчь, что забываете совсѣмъ, что это стихи, и только одни рѣчи напоминаютъ вамъ объ этомъ. Читая-же ную прозу Гоголя, особенно его описанія природы, напротивъ того, вы забываете, что это проза, а не стихи. Музыка рѣчи до такой степени порою увлекаетъ Гоголя, что изъ-за нея онъ забываетъ дѣйствительность и далеко переходитъ за предѣлы реальности. Такъ, напримѣръ, обратите вниманіе, какъ въ „Тарасѣ Бульбѣ“ Андрей объясняется въ любви панночкѣ:

— Царица, — воскликнулъ Андрей, полный сердечныхъ, и душевныхъ, и всякихъ избытковъ: — что тебѣ нужно, чего ты хочешь? прикажи мнѣ! задай мнѣ службу самую невозможную, какая только есть на свѣтѣ — я побѣгу исполнить ее! Скажи мнѣ сдѣлать то, чего не въ силахъ сдѣлать ни одинъ человекъ, — я исполню, погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святымъ крестомъ, мнѣ такъ сладко... но нѣтъ, нельзя сказать того!... У меня три хутора, половина табуновъ отцовскихъ — мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже отъ него скрываетъ она — все мое! Нѣтъ ни у кого теперь изъ казаковъ нашихъ такого оружія, какъ у меня; за одну рукоятъ моей сабли даютъ мнѣ лучшій табунокъ и три тысячи овецъ. И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово, или хотя только шевельнешь своею тонкою, черною бровью! Но знаю, что, можетъ быть, несю глупая рѣчь, и не встаетъ, и нейдетъ все это сюда; что не мнѣ, прошедшему жизнь въ бурсѣ и на Запарожѣ, говорить такъ, какъ въ обычаѣ говорить тамъ, гдѣ бывають короли, князья и все, что ни есть лучшаго въ вѣломомъ рыцарствѣ. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели всѣ мы, и далеко передъ тобою другія боярскія жены и дочери-дѣвы».

Рѣчь панночки, въ свою очередь занимающая около страницы, отличается не меньшею витѣватостію и напыщенностію. Уже не говоря о томъ, что и нынѣ никто не говоритъ подобными кудреватыми, длинными и пѣвучими періодами, подумайте только, что такъ изъясняются между собою люди XV вѣка, — и вы поймете, насколько это естественно. Между тѣмъ таковъ Гоголь вездѣ въ своемъ романѣ, гдѣ онъ заставляетъ говорить дѣйствующихъ лицъ; повсюду онъ самъ говоритъ за нихъ, увлекаясь музыкою своихъ собственныхъ рѣчей.

Тоже самое слѣдуетъ сказать о содержаніи историческихъ произведеній Пушкина и Гоголя.

Въ то время, какъ Пушкинъ все необычайное и выдающееся старается свести къ будничному, показать намъ, что необычайнымъ оно кажется только издали, а на самомъ дѣлѣ тонетъ въ уровнѣ повседневной жизни; Гоголь, наоборотъ, всѣ образы въ своемъ романѣ освѣщаетъ бенгальскимъ огнемъ, и они рисуются передъ нами въ дивномъ, волшебномъ сіяніи. Пестрота красокъ и яркость колорита слѣпятъ ваши глаза на каждой страницѣ, и въ то-же время вы не оберетесь здѣсь самыхъ рѣзкихъ преувеличеній. Обратите для примѣра вниманіе хотя-бы на изоб-

раженіе Запорожской Сѣчи. Общія черты бесспорно исторически-вѣрны, но въ частностяхъ на каждомъ шагу вы встрѣтите вопіющія преувеличенія.

«Вся Сѣчь, говоритъ Гоголь, представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то непрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами или держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, если въ карманахъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Оно не было сборищемъ бражниковъ, напившихся съ горя; но было просто бѣшенное разгулье веселости. Всякій приходящій сюда позабывалъ и бросалъ все, что до толѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и беззаботно предавался волѣ и товариществу такихъ-же, какъ самъ, гулякъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это производило ту бѣшенную веселость, которая не могла-бы родиться не изъ какого другого источника... Разказы и болтовня, среди собравшейся толпы, дѣлively отдыхавшей на землѣ, часто такъ были смѣшны и дышали такою силою живого разказа, что нужно было имѣть всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранить неподвижное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ,—рѣкая черта, которою отличается до нынѣ отъ другихъ братьевъ своихъ южный россиянинъ. Веселость была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не былъ черныи кабакъ, гдѣ мрачно искажающимъ весельемъ забывается человѣкъ; это былъ тѣсный кругъ школьныхъ товарищей» и т. д.

Все это очень картинно, очень эффектно, но во всемъ этомъ, безъ сомнѣнія, одна десятая доля трезвой правды. Такое зрѣлище, бесспорно, представляла Сѣчь во время какихъ-нибудь праздниковъ, которые могли длиться недѣлями, но все-таки должны были кончаться просто потому, что нервы человѣческіе устаютъ праздновать подобно тому, какъ устаютъ они и отъ долгаго непрерывнаго труда. Ну, а разъ праздникъ утомился, что-же наступало тогда въ Сѣчи?—Уже потому представленіе непрерывнаго пиршества, бала, начавшагося шумно и потерявшаго конецъ свой, неестественно, что если-бы это было такъ, казаки не могли-бы быть такими богатырями, какими они рисуются въ романѣ, и были-бы всѣ подъ рядъ одержимыми бѣлою горячкою, пропойцами съ трясущимися руками и ногами, и знаменитая Сѣчь скоро прекратила-бы свое существованіе. Интересно было-бы знать, въ какомъ видѣ представилась-бы намъ эта самая Сѣчь, если-бы вздумалъ изобразить ее Пушкинъ. Нечего и сомнѣваться въ томъ, что никакого непрерывнаго бала мы не увидѣли-бы передъ собою, а напротивъ того, Сѣчь показала-бы намъ гораздо прозаичнѣе, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ. Раскинулось-бы передъ нашими глазами заурядно-станичное, казачье поселеніе, съ бѣлыми мазанками съ соломенными крышами, все тонущее въ непролазной грязи и навозѣ. «Неужели это тѣ самые прогремѣвшіе въ исторіи запорожцы?», воскликнули-бы мы въ удивленіи, увидя передъ собою мирныхъ пахарей, рыбаковъ, кузнецовъ, столяровъ, сапожниковъ и т. п., усердно работающихъ, чтобы въ праздники снести заработанный пятакъ шинкарю-жиду, въ ежедневныхъ рукахъ котораго всѣ эти храбрые рыцари, конечно, неизмѣнно пребывали вплоть отъ одного еврейскаго по-

громадодругого. А затѣмъ намъ представился-бы рядъ стѣренскихъ, будничныхъ сценъ въ родѣ переругиванья двухъ казаковъ изъ-за мѣшка овса, а въ праздникъ вмѣсто „околдовывающаго пиршества“ мы только и увидѣли-бы, что „пьяный топотъ трепака передъ порогомъ кабака...“

Однимъ словомъ, сравненіе историческихъ повѣстей Пушкина и Гоголя, написанныхъ почти въ одно время, приводитъ насъ къ слѣдующему соображенію. Обыкновенно Гоголя считаютъ у насъ родоначальникомъ натурализма въ Россіи. Но это большое заблужденіе. Инициатива истиннаго натурализма, этого сѣвернаго типа поэзіи, бесспорно, принадлежитъ Пушкину (конечно, въ послѣднемъ періодѣ его литературной дѣятельности, въ 30-хъ годахъ и особенно въ его прозаическихъ произведеніяхъ). Гоголь-же, выступившій вполне на поприще натурализма только въ половинѣ 30-хъ годовъ, съ изданія „Мірогорода“,—является уже не инициаторомъ, а послѣдователемъ Пушкина, его ученикомъ, воспитавшимся при томъ не надъ одними твореніями своего великаго учителя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и его личными, устными наставленіями. Пушкинъ, какъ извѣстно, внушилъ Гоголю всѣ лучшіе сюжеты его послѣдующихъ произведеній—и „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“; онъ-же, конечно, и направилъ его на путь изображенія обыденной дѣятельности. Однимъ словомъ, въ лицѣ Пушкина сѣверный геній покорилъ своему неотразимо-энергическому мужескому вліянію блестяще-яркій, но женственно-мягкій, южный геній, олицетвореніемъ котораго представляется Гоголь.

Въ своемъ „Тарасѣ Бульбѣ“ Гоголь, такъ сказать, заплатилъ послѣднюю дань и своей родинѣ, воспѣвши ея историческую славу, и южно-русскому типу поэзіи со всѣми ея особенностями.

Впрочемъ, надо отдать справедливость Гоголю: при всѣхъ преувеличеніяхъ, какія вы встрѣчаете въ его романѣ-поэмѣ, вы не находите уже въ ней тѣхъ грубодубочныхъ и стереотипныхъ чертъ, какія поражаютъ насъ въ его „Страшной мести“. Все-таки здѣсь видно гораздо болѣе близкое изученіе быта и нравовъ вѣка, и историческое безпристрастіе. Такъ, мы видимъ, что съ одной стороны, поляки далеко уже не рисуются передъ нами всѣ подъ рядъ какими-то каррикатурными хвастунами и извергами. А съ другой стороны и казаки представляются не въ одномъ только картинно-героическомъ видѣ великодушныхъ богатырей. Авторъ не скрываетъ и дикихъ чертъ вѣка въ ихъ грубыхъ нравахъ. Такъ, описывая хищные набѣги казаковъ, онъ говоритъ: „часто въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ менѣе всего могли ожидать ихъ, они появлялись вдругъ—и все тогда прощалось съ жизнію: пожары обхватывали деревни; скотъ и лошади, которые не угонялись за войскою, были избиваемы тутъ-же на мѣстѣ. Казалось, больше пировали они, чѣмъ совершали походъ свой. Дыбомъ стоялъ-бы нынѣ волосъ отъ тѣхъ страшныхъ знаковъ свирѣпства полудикаго вѣка, которые приносили вѣздъ запорожцы. Избитые младенцы, обрѣзанные груди у женщинъ, содранная кожа съ ногъ по колѣна у выпущенныхъ на свободу,—словомъ, крупною монетою оплачивали казаки прежніе долги“...

Въ заключеніе укажемъ еще на одну характери-

стичечку черту историческихъ повѣстей Гоголя и въ томъ числѣ „Тараса Бульбы“. Именно, въ нихъ особенно ярко высказался оригинальный взглядъ Гоголя на женщину и половую любовь, взглядъ, если хотите, вполне арханчскій, допетровский, принадлежащій къ тѣмъ вѣкамъ, когда въ женщинѣ видѣли сосудъ діавола, а въ плотской любви гибельное сатанинское прельщеніе.

Правда, въ „Тарасѣ Бульбѣ“ вы встрѣтите патетическое мѣсто, въ которомъ Гоголь оплакиваетъ трагическую участь женщины въ Запорожѣ, при видѣ жены Тараса, расстающейся съ сыновьями. „Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ онъ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалого вѣка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видѣла мужа въ годъ два-три дня, а потомъ нѣсколько лѣтъ о немъ не было слуха. Да и когда видѣлась съ нимъ, когда они жили вмѣстѣ, что за жизнь ея была? Она терпѣла оскорбленія, даже побои; она видѣла ласки, оказываемыя только изъ милости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой“ и т. д.

Но такое трогательное участіе оказываетъ Гоголь только по отношенію лишь къ престарѣлой казачкѣ, при взглядѣ на всю ея уже прожитую жизнь. Совершенно въ иномъ видѣ является у него дѣвушка, чтобы она ни была,—полька или малоросска. Повсюду она является началомъ обольстительнымъ, гибельнымъ, отвлекающимъ казака отъ его и общественныхъ, и нравственныхъ обязанностей, и влекущимъ его въ пропасть. Поэтому самая любовь является чѣмъ-то крайне преступнымъ и предосудительнымъ. И такова не только любовь Андрія къ польской паннѣ, заставляющая Тараса воскликнуть: „велика власть слабой женщины, многихъ сильныхъ погубила она!“ но и любовь Острицы къ своей соотечественницѣ, къ Галѣ, въ свою очередь, заставляющая его бросить своихъ сотоварищей на полѣ битвы и быть готовымъ даже предаться полякамъ, лишь-бы соединиться съ нею. „Увидѣлъ хорошую дивчину—и все позабылъ, все къ чорту, разсуждаетъ самъ съ собою Острица: охъ, очи, черныя очи!.. Захотѣлъ Богъ погубить людей за беззаконья и послалъ васъ!“ Въ „Страшной мести“, въ свою очередь, славнаго казака, пана Данилу, губитъ жена его, Катерина. Наконецъ, въ Вѣѣ дѣвушка со своею губительною страстью прямо уже олицетворена въ видѣ вѣдьмы, вступающей въ союзъ со всѣми чертами, чтобы погубить несчастнаго философа.

Въ этомъ арханчскомъ взглядѣ Гоголя на женщину сказались его исключительная натура, съ одной стороны—казацкая, съ другой—религіозно-аскетическая. Ничего подобнаго во всей исторической беллетристикѣ мы не найдемъ. Гоголь является въ этомъ отношеніи не только объективнымъ бытописателемъ быта и нравовъ своихъ предковъ, но какъ-бы самъ уходитъ въ историческія рамки и, усвоивъ міросозерцаніе и нравственныя воззрѣнія людей XV вѣка,

слагаетъ сюжеты своихъ повѣствованій такъ, какъ-бы стали слагать ихъ эти стародавніе люди.

### III.

Умственное состояніе массъ въ началѣ 30-хъ годовъ; ихъ міросозерцаніе и литературные вкусы. Біографическія свѣдѣнія о Загоскинѣ, характеристика его «Юрія Милославскаго» и причины необыкновеннаго успѣха этого романа.

Чтобы отъ Пушкина и Гоголя перейти къ современнѣмъ имъ беллетристамъ по части историческаго романа, намъ приходится дѣлать отчаянный скачекъ черезъ весьма глубокую пропасть. Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ такимъ явленіемъ нашей жизни, которое неизбѣжно присутствуетъ въ нашей исторіи, начиная съ Петра I, если не раньше. Явленіе это заключается въ томъ, что въ каждый вѣкъ мы замѣчаемъ дварѣзко отличающіеся другъ отъ друга слоя умственнаго движенія: слой небольшой горсти наиболѣе передовыхъ дѣятелей литературы и науки, и слой интеллигентной массы. — Каждый слой обыкновенно по своему смотритъ на вещи и имѣетъ свои собственныя симпатіи и антипатіи. Передовые верхи, особенно въ моменты сильныхъ подъёмовъ духа, обгоняютъ массу иной разъ лѣтъ на пятьдесятъ, если не болѣе. Масса увлекается ими, покланяется имъ, старается слѣпо слѣдовать за ними, но по уровню своего образованія и міровоззрѣнія не можетъ поспѣть за ихъ быстрымъ ходомъ, начинаетъ отставать, начинаетъ все менѣе и менѣе понимать ихъ и, наконецъ, совсѣмъ теряетъ ихъ изъ виду, и тогда заводитъ своихъ собственныхъ представителей и выразителей въ литературѣ, стоящихъ на одномъ съ нею уровнѣ, льстящихъ всѣмъ ея незатѣйливымъ и низменнымъ вкусамъ и потребностямъ.

Такъ было и въ 30-ые годы. Въ то время, какъ Пушкинъ и Гоголь полагали основаніе русскаго натурализма и смѣло поворачивали нашу литературу на этотъ путь, толпа продолжала еще упиваться и сентиментализмомъ Карамзина, и романтизмомъ Жуковскаго. Въ изображеніи обыденной дѣйствительности она не видѣла ничего интереснаго; подъ поэтическимъ она подразумѣвала не иное что-либо, какъ выходящее изъ будничной нормы жизни, эффектное, чувствительное, бьющее по всѣмъ нервамъ. Поэтъ или беллетристъ непременно должны были то приводить своихъ читателей въ такой ужасъ, чтобы волосы у нихъ встали дыбомъ и мурашки поползли по спинѣ, то заставлять ихъ рыдать и впадать въ истерики, и непременно при этомъ приводить ихъ къ забвенію всего окружающаго, увлекать въ какойнибудь волшебный міръ. Понятно, что эта толпа изъ произведеній Пушкина выше всего цѣнила первыя его поэмы въ байроновскомъ духѣ, холодно относилась къ его „Евгенію Онѣгину“, цѣня въ немъ только звучные стихи, и совсѣмъ не понимала его позднѣйшихъ произведеній, особенно беллетристическихъ. Гораздо выше ихъ ставила она романы и повѣсти Марлинскаго, которыми зачитывалась именно потому, что авторъ

ихъ умѣлъ угодить ей эффектною своего риторическаго слога и содержанія. На романъ смотрѣла она исключительно какъ на сказку, которая должна всецѣло поглощать читателей сложностью интриги и рядомъ необыкновенныхъ и трогательныхъ приключеній героевъ. Однимъ словомъ, толпа жаждала романа какъ есть средневѣковаго рыцарскаго, и не ставила въ грошъ вѣрность дѣйствительности, все равно какой-бы то ни было, современной или исторической. Повинуясь этому требованію толпы, обусловливаемому уровнемъ образованности, романъ и долженъ былъ, прежде чѣмъ пойти по тому новому пути, который пролагали великіе представители литературы, пережить всѣ прешествовавшія фазы своего развитія, начиная со сказочно-рыцарской.

Также точно отставала толпа и въ своемъ общемъ міросозерцаніи отъ наиболѣе передовыхъ дѣятелей литературы. Она, въ свою очередь, была возбуждена и выведена изъ своей летаргіи тѣмъ могучимъ толчкомъ, какимъ ознаменовался 1812-й годъ; въ свою очередь, преисполнилась патріотизма, начала мечтать о самосознаніи, стремиться къ народности. Но все это выразилось у нея совершенно иначе. Въ передовыхъ кружкахъ движеніе это имѣло научно-философскій характеръ. Предполагали, что самосознаніе должно являться не сразу, а какъ результатъ самостоятельной цивилизаціи, какъ послѣднее слово и вѣнецъ исторической жизни народа, при чемъ одни думали, что русскій народъ, прежде чѣмъ сказать свое историческое слово, долженъ воспринять въ свои нѣдра всю западную цивилизацію и затѣмъ повести ее далѣе, другіе мечтали объ очищеніи современной жизни отъ всѣхъ чужеземныхъ наростовъ и о возвращеніи къ основнымъ началамъ нашей народности, лежащимъ въ общинныхъ и вѣчевыхъ порядкахъ древней Руси. Но и тѣ, и другіе сходились въ одномъ: именно, что самосознаніе и самобытность вовсе не есть нѣчто дающееся сразу; это искомый иксъ, опредѣленіе котораго должно составлять работу многихъ поколѣній въ теченіе вѣковъ.

Совершенно иначе смотрѣла на это интеллигентная масса. Извѣстно, что люди полуобразованные отличаются очень быстрымъ и легкимъ рѣшеніемъ такихъ вопросовъ, надъ которыми философскіе и ученые умы мучаются годами. Такъ и въ настоящемъ случаѣ, то самое, что передовыми людьми было предположено, какъ путь для грядущихъ поколѣній, интеллигентная масса порѣшила сразу, какъ нѣчто несомнѣнное, съ испоконъ-вѣковъ лежащее въ жизни всѣхъ и каждого и чѣмъ каждому можно пользоваться, сколько душа пожелаетъ. — Оказалось, что для самосознанія вполне достаточно прочесть 12 томовъ исторіи Карамзина и узнать изъ нихъ, что вся наша исторія заключалась въ одномъ твердомъ, неизмѣнномъ и неуклонномъ развитіи государственности; для опредѣленія самобытности достаточно взглянуть съ Воробьевыхъ горъ на матушку Москву съ ея сорока-сороками церквей и пролить слезы умиленія, слушая музыку колокольнаго звона въ пасхальную ночь; а объ народности и говорить нечего: ею ничего не стоило упиваться и восторгаться на каждомъ шагѣ, и при видѣ зипуна, поддевки и лаптей, и при звукахъ балаалайки

или какой нибудь разухабистой ямщицкой пѣсни, или вкушая поросенка подъ хвѣномъ и запивая его квасомъ и т. п. Такимъ образомъ и произошелъ тотъ всѣмъ извѣстный и странный фактъ, что въ 30-хъ годахъ образовалось вдругъ два совершенно различныхъ стремленія къ народности: рядомъ съ высшимъ, философски-утонченнымъ изученіемъ народныхъ основъ жизни нѣкоторыми передовыми людьми или такими гениальными писателями, какъ Пушкинъ и Гоголь, — то грубое упоеніе дубочною народностью, принявшее въ послѣдствіи officialный характеръ, которое тогда-же было окрещено Н. А. Полевымъ *кваснымъ патріотизмомъ*.

И вотъ мы видимъ, что историческій романъ, не въ силахъ будучи удержаться на той высотѣ, на которую пытались поставить его Пушкинъ и Гоголь, сразу опустился въ ту низменную струю, которая соотвѣтствовала уровню образованности интеллигентныхъ массъ, началъ согласоваться съ ея требованіями, вкусами, міросозерцаніемъ; опредѣленно сказать — принялъ сказочный характеръ средневѣковыхъ рыцарскихъ романовъ и проникся дубочною народностью кваснаго патріотизма.

Творцомъ историческаго романа считается Михаилъ Николаевичъ Загоскинъ; романы его пользовались наибольшою популярностію и славой; ими зачитывались до самозабвенія и старые, и малые; и до настоящаго времени вы не найдете грамотнаго человѣка на Руси, который не прочелъ хотя бы „Юрія Милославскаго“. И вотъ этою самою популярностію Загоскинъ былъ обязанъ, по моему мнѣнію, не столько какому-нибудь необыкновенному таланту, знаніямъ, сколько именно тому, что былъ непосредственный, наивный человѣкъ толпы, и потому инстинктивно чувствовалъ, чего этой толпѣ было нужно.

Начать съ того, что М. Н. Загоскинъ не получилъ ровно никакого образованія. Родившись 14 іюня 1789 г., Пензенской губерніи и уѣзда, въ селѣ Рамзѣ, онъ до 14 лѣтъ жилъ безвыѣздно въ деревнѣ въ усадьбѣ отца. — Правда, біографъ его говоритъ, что онъ очень много читалъ въ своемъ дѣтствѣ и одиннадцати лѣтъ написалъ уже повѣсть „Пустынникъ“; но что могъ онъ читать въ пензенской глуши въ послѣднихъ годахъ прошедшаго и въ первыхъ нынѣшняго столѣтія? Это были, конечно, какія-нибудь и въ то время уже обветшалыя поэмы и трагедіи въ ложно классическомъ духѣ, переводные романы Радклифъ, и лучшимъ чтеніемъ были сентиментальныя повѣсти Карамзина. Онѣ, по всей вѣроятности, произвели самое сильное впечатлѣніе на мальчика; не даромъ вліяніе ихъ отражается на первомъ романѣ Загоскина, какъ мы выше объ этомъ говорили. И вотъ въ 1802 году, когда мальчику не было еще и полныхъ 14 лѣтъ, отецъ отправилъ его въ Петербургъ, и тамъ юноша опредѣлился прямо на службу въ канцелярію государственнаго казначея, и въ теченіе 10 лѣтъ продолжалъ онъ свою службу въ низшихъ канцелярскихъ чинахъ по различнымъ вѣдомствамъ, терпя въ Петербургѣ порою горькую нужду. Затѣмъ въ 1812 году, уже 24-лѣтній юноша, вступилъ офицеромъ въ ряды петербургскаго ополченія, въ корпусъ графа Витгенштейна. Въ сраженіи подъ Полоцкомъ онъ

былъ раненъ въ ногу и получилъ за храбрость орденъ Анны 3-ей степени на шпагу. По излеченіи раны, онъ возвратился къ своему полку и, по желанію графа Левиса, былъ назначенъ къ нему адъютантомъ; въ этой должности находился онъ до сдачи Данцига, то есть до окончанія войны. „Съ прекрасной наружностью, говоритъ біографъ его С. Аксаковъ, внушавшей расположеніе и довѣрчивость, вспыльчивый, живой, открытый, добрый и постоянно веселый, Загоскинъ былъ любимъ товарищами и всѣми его окружавшими. Истинный русакъ, исполненный добродушнаго комизма, онъ имѣлъ множество самыхъ смѣшныхъ столкновеній съ нѣмцами въ продолженіи долгой осады Данцига. Онъ любилъ объ этомъ рассказывать даже въ немолодыхъ своихъ годахъ, и рассказывалъ такъ оригинально, живо и забавно, что увлекалъ всѣхъ своихъ слушателей, и громкимъ смѣхомъ выражалась общая, искренняя веселость. Нѣкоторые происшествія, описанныя Загоскинымъ въ четвертомъ томѣ Росславлева, дѣйствительно, случились съ нимъ самимъ, или съ другими его сослуживцами, при осадѣ Данцига“.

По окончаніи войны и распушеніи ополченія, Загоскинъ снова опредѣлился на службу по гражданскому вѣдомству, и гдѣ только ни служилъ онъ: и въ департаментѣ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, и въ дирекціи Императорскихъ театровъ, и въ Императ. публичн. бібліотекѣ, и опять потомъ въ дирекціи театровъ и т. д. Съ 1815 года онъ началъ пописывать комедіи и въ томъ же году дебютировалъ на петербургской сценѣ комедіею „Проказникъ“, о которой кн. Шаховской отозвался, что „онъ былъ пріятно изумленъ, когда между десятками бездарныхъ произведеній, попала въ руки эта небольшая комедія, въ которой онъ замѣтилъ много живости и неподдѣльной веселости“. Сойдясь послѣ того съ кн. Шаховскимъ, Загоскинъ написалъ массу комедій въ его духѣ и родѣ. Всѣ онѣ давались на сценѣ и имѣли болѣе или меньшій успѣхъ. Особенно понравилась публикѣ комедія въ стихахъ „Урокъ холостымъ или наслѣдники“, которая въ 1822 г., 4 мая, была сыграна на московскомъ театрѣ и тогда же напечатана.

Сблизившись съ Шаховскимъ, Загоскинъ естественно подчинился его вліянію, найдя въ немъ чловѣка, стоявшаго гораздо выше его по образованію.—Кн. Шаховской же былъ, былъ, какъ извѣстно, шипковецъ (тогда еще не было славянофиловъ въ позднѣйшемъ смыслѣ этого слова), онъ осмѣивалъ въ своихъ комедіяхъ и Карамзина, и Жуковского и вообще возставалъ на подражательность всему иностранному. Примѣру этому слѣдовалъ и Загоскинъ, и, въ свою очередь, дѣлалъ тоже самое въ своихъ пьесахъ. Такимъ образомъ уже съ самаго начала своего литературнаго поприща, съ 1815 года, въ немъ поселились зародыши того кваснаго патріотизма, который потомъ вполне развился въ его историческихъ романахъ.

Наиболѣе дѣятельная работа для театра продолжалась у Загоскина до 1823 г., а затѣмъ до 1828 года онъ ничего не печаталъ. „Литературная дѣятельность его, говоритъ біографъ, какъ будто пріостановилась; на это были слѣдующія причины: во-первыхъ, онъ усердно занялся своей хлопотливой

должностью (въ конторѣ дирекціи Московскаго театра въ качествѣ члена по хозяйственной части); во вторыхъ, ему очень не нравилась служебная перспектива въ чинѣ вѣчнаго титулярнаго совѣтника, потому что, не воспитавшись ни въ одномъ казенномъ заведеніи, онъ не могъ быть произведенъ въ слѣдующій чинъ, и Загоскинъ рѣшился выдержать экзаменъ для полученія чина коллежскаго ассесора.

Къ экзамену надо было приготовиться, и Загоскинъ посвящалъ на это все свободное отъ службы время; въ продолженіи полтора года онъ трудился съ такою добросовѣстностью, что даже вытвердилъ наизусть „Римское право“. Наконецъ, онъ выдержалъ испытаніе блистательно, и самъ требовалъ отъ профессоровъ, чтобы его экзаменовали какъ можно строже. Въ письмѣ къ С. Аксакову Загоскинъ очень забавно описываетъ свои экзамены и, между прочимъ сердится на одного изъ профессоровъ, который предложилъ ему вопросъ: кто такой былъ Ломоносовъ?—„Ну, можно-ли объ этомъ спрашивать (пишетъ Загоскинъ) не мальчика, а литератора, уже давно получившаго нѣкоторую извѣстность? Я хотѣлъ было отвѣчать ему, что Ломоносовъ былъ сапожникъ“. Сваливъ съ плечъ экзаменъ, Загоскинъ, давно ничего не писавши, принялся за большую комедію въ стихахъ, которую ему и прежде хотѣлось написать; онъ писалъ долго,—и наконецъ, въ 1828 году, „Благородный театръ“, комедія въ 4-хъ актахъ, была сыграна на московской сценѣ. Эта пьеса имѣла самый полный успѣхъ: зрители задыхались отъ смѣха, хохотъ мѣшалъ хлопать, и громъ рукоплесканій вырывался только по временамъ, особенно по окончаніи каждаго акта; только въ послѣдующія представленія неумолкаемыя рукоплесканія раздавались вѣстѣ со смѣхомъ.

Надо прибавить ко всему этому, что біографъ не даромъ говоритъ, что Загоскинъ *писалъ свою комедію долго*. Вы не забудьте, что она была въ стихахъ; стихи-же давались Загоскину очень трудно.

«До 1821 года—говоритъ біографъ:—Загоскинъ не писалъ стиховъ; онъ не чувствовалъ паденія и мѣры стиха, и самъ признавался, что это не его дѣло. Одинъ разъ въ кругу короткихъ пріятелей разсердили его тѣмъ, что не хотѣли даже выслушать какихъ-то его замѣчаній на какіе-то стихи, основываясь на томъ, что онъ въ стихотворствѣ ничего не понимаетъ. Загоскинъ вспылилъ и сказалъ, что онъ докажетъ всѣмъ, какъ понимаетъ это дѣло, и черезъ два мѣсяца прочелъ прекрасное, довольно длинное посланіе къ Н. И. Гнѣдичу, написанное шестистопными ямбами съ рѣзкими. Оно стоило Загоскину неимоверныхъ трудовъ: не имѣя уха, каждый стихъ онъ раздѣлялъ черточками на слоги и стопы, и надъ каждымъ слогомъ ставилъ удареніе; въ иной день ему не удавалось выковать болѣе четырехъ стиховъ, и изъ такой египетской, тяжелой работы стихи вышли легки, свѣжи, звучны и естественны! Всѣ были изумлены. Тутъ проявилась вполнѣ настоящая русская, разумеется, талантливая натура Загоскина: сказалъ—сдѣлаю—и сдѣлалъ, да еще едва-ли не лучше учителей».

Все это прекрасно, но какъ-бы ни была талантлива русская натура Загоскина, но написать комедію не то, что посланіе, и если посланіе стоило Загоскину два мѣсяца египетской работы, то понятно, что на комедію ему приходилось тратить годы.



И такъ что-же видимъ мы изъ всѣхъ этихъ біографическихъ данныхъ: мы видимъ самоучку, обладавшаго кое-какимъ талантомъ, преимущественно комическаго свойства, талантомъ вполне достаточнымъ, чтобы съ успѣхомъ идти по стопамъ своего учителя кн. Шаховскаго; но далеко не настолько сильнымъ, чтобы создать что либо новое и свое. Занятый большую часть дня службою довольно хлопотливою, онъ могъ посвящать литературѣ только по нѣскольку часовъ досуга, при чемъ вплоть до 1828 года эти досужные часы употреблялись имъ исключительно на создание комедій, и при томъ при такомъ египетскомъ трудѣ, какъ писаніе стихами, не имѣя врожденнаго дарованія къ этому. Понятно, что тутъ нѣтъ никакой возможности предположить, чтобы Загоскинъ сверхъ всего этого занимался еще русскою исторіею и подготавливалъ матеріалы для своихъ будущихъ романовъ, настолько серьезно изучая различныя эпохи, чтобы быть въ состояніи художественно воспроизводить ихъ. Ничего этого и не было, иначе біографъ не упустилъ бы выставить этотъ фактъ, какъ весьма важный для писателя историческихъ романовъ. Напротивъ того, судя по словамъ С. Аксакова, мысль написать историческій романъ явилась у Загоскина внезапно, не болѣе какъ за годъ до появленія въ свѣтъ „Юрія Милославскаго“.

«Еще до окончанія комедіи «Благородный театр»,—говоритъ Аксаковъ, овладѣла Загоскинымъ мысль написать русскій историческій романъ. Ему до смерти, надобно, какъ онъ самъ мнѣ часто говорилъ, «таскать кандалы условныхъ, противоречивыхъ законовъ, которые носятъ сочинитель, пишущій комедіи, да еще шестистопными стихами съ проклятыми рифмами». Вспомнивъ трудность, съ какою Загоскинъ писалъ стихи, и охоту щеголять мудреными рифмами,—легко понять, что онъ говорилъ очень искренно; впрочемъ Загоскинъ, иначе и говорить не умѣлъ. Романъ казался ему «открытымъ полемъ, идти можно свободно разгуляться воображенію писателя». Немедленно послѣ первыхъ представленій «Благороднаго театра», вполне удовлетворившихъ самолюбію Загоскина, принялся онъ готовиться къ сочиненію историческаго романа. Онъ былъ весь погруженъ въ эту мысль, охваченъ ею совершенно; его всегдашняя разсѣянность, къ которой давно привыкли и которую уже не замѣчали, до того усилилась, что всѣ ее замѣтили, и всѣ спрашивали другъ друга, что сдѣлалось съ Загоскинымъ? Онъ не видитъ, съ кѣмъ говорить, и не знаетъ, что говорить. Встрѣчаясь на улицѣ съ короткими пріятелями, онъ не узнавалъ никого, не отвѣчалъ на поклоны и не слышалъ привѣтствій: онъ читалъ въ это время историческіе документы и жилъ въ 1612 году. Наконецъ, обдумавъ содержаніе, выбравъ эпоху, прочтя добросовѣстно все къ ней относящееся, съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ принялся онъ писать, и въ 1829 году напечаталъ свой первый романъ «Юрій Милославскій, или Русскіе въ 1612 году, въ 3-хъ томахъ».

Мало-мальски знающій читатель можетъ судить, насколько возможно человѣку, не занимавшемуся до той поры совсѣмъ исторіею и имѣвшему въ день очень немного часовъ, свободныхъ отъ службы, въ нѣсколько мѣсяцевъ вполне добросовѣстно изучить такую бурную и смутную эпоху, какъ междоусобица. Тѣмъ не менѣе романъ имѣлъ успѣхъ, небывалый еще на Руси, не испытанный и самимъ Пушкинымъ. „Появленіе этого романа, говоритъ Аксаковъ, составляетъ

эпоху въ жизни Загоскина, въ литературномъ и общественномъ отношеніи. Восхищеніе было общее, единодушное: немного находилось людей, которые его не вполне раздѣляли. Публика обѣихъ столицъ, и вслѣдъ за нею, или почти вмѣстѣ съ нею, публика провинціальная, пришли въ совершенный восторгъ. Всѣ обрадовались „Юрію Милословскому“, какъ общественному пріятному событію; всѣ обратились къ Загоскину: знакомые и незнакомые, знать, власти, дворянство и купечество, ученые и литераторы,—обратились со всѣми знаками уваженія, съ восторженными похвалами, всѣ, кто жили или пріѣзжали въ Москву, ѣхали къ Загоскину; кто былъ въ отсутствіи — писалъ къ нему. Всякій день получалъ онъ новыя письма, лестныя для авторскаго самолюбія. Жуковский писалъ: „Вотъ что со мной случилось: получивъ вашу книгу, я раскрылъ ее съ нѣкоторою къ ней недоувѣрчивостію, съ тѣмъ только, чтобы заглянуть въ нѣкоторыя страницы, получить какое-нибудь понятіе о слоgѣ вообще, но съ первой страницы перешелъ я на вторую, вторая заманила меня на третью, и вышло, наконецъ, что я всѣ три томъика прочиталъ въ одинъ присѣсть, не покидая книги до поздней ночи. Это для меня рѣшительное доказательство достоинства вашего романа“.

Пушкинъ выразился почти также въ своемъ письмѣ: „М. г. Михаилъ Николаевичъ. Прерываю увлекательное чтеніе вашего романа, чтобы сердечно благодарить васъ за присылку „Юрія Милославскаго“,—лестный знакъ вашего ко мнѣ благорасположенія. Поздравляю васъ съ успѣхомъ полнымъ и вполне заслуженнымъ, а публику съ однимъ изъ лучшихъ романовъ нынѣшней эпохи. Всѣ читаютъ его. Жуковский провелъ за нимъ цѣлую ночь. Дамы отъ него въ восхищеніи. Въ „Литературной Газетѣ“ будетъ о немъ статья Погорѣльскаго (псевдонимъ Ал. Ал. Перовскаго). Если въ ней не все будетъ высказано, то постараюсь досказать. Простите. Дай Богъ вамъ многія лѣта, т. е., дай Богъ намъ многіе романы и пр. Янв. 11, 1830“.

Въ одно изъ писемъ кн. Шаховскаго, писанномъ прежде писемъ Жуковскаго и Пушкина, интересно слѣдующее описаніе литературнаго обѣда у гр. Ѳ. П. Толстого, которое показываетъ впечатлѣніе, произведенное „Юріемъ Милославскимъ“, при первомъ его появленіи въ печати: „Я уже совсѣмъ одѣлся, чтобъ ѣхать на свиданіе съ нашими первоклассными писателями, какъ вдругъ принесли мнѣ твой романъ; я ему обрадовался и повезъ съ собою мою радость къ гр. Толстому. Но тамъ меня его уже встрѣтили. Первое дѣйствующее лицо авторскаго обѣда, явившееся на сцену, былъ Пушкинъ, и тотчасъ заговорилъ о тебѣ; Пушкинъ восхищался отрывками твоего романа, которые онъ читалъ въ журналѣ; входитъ Крыловъ изъ дворца: разспросы о тебѣ и улыбательныя одобренія твоему роману; входитъ Гнѣдичъ—въ восхищеніи отъ прекраснаго твоего романа; наконецъ, является Жуковский и, сказавъ два слова, объявляетъ, что не спалъ вчера всю ночь,—отъ чего-же? Все-таки отъ твоего романа, который онъ получилъ, развернулъ, хотѣлъ прочесть кое-что и, не сходя съ мѣста и не ложась спать, не могъ не прочесть всѣхъ трехъ томовъ: и это самая лучшая по-

хвала, какую онъ могъ сдѣлать твоему сочиненію; онъ просилъ меня тотчасъ къ тебѣ написать о дѣйствіи, которое ты надъ нимъ произвелъ, о своей благодарности и о томъ, что хотя онъ еще не успѣлъ поднести твоего романа Императрицѣ, но предварилъ ее, что она увидитъ диво на нашемъ языкѣ“.

„Многое измѣнилось, продолжаетъ Аксаковъ, вокругъ Загоскина: недоброжелатели сдѣлались друзьями, порицатели комика—хвалителями романиста, съ важностью прибавляя, что, наконецъ, Загоскинъ попалъ на настоящую дорогу. Женщины не остались равнодушными въ общемъ дѣлѣ, и много прекрасныхъ писемъ получилъ Загоскинъ отъ женщинъ, совершенно ему незнакомыхъ: однимъ словомъ, онъ сдѣлался знаменитостью, моднымъ человѣкомъ, необходимою обѣдовъ, баловъ, раутовъ и бесѣдъ съ литературнымъ направлениемъ, львомъ тогдашняго времени. Вниманіе и одобреніе Государя довершили торжество Загоскина“.

Въ продолженіи 30-хъ и 40-хъ годовъ „Юрій Милославскій“ имѣлъ восемь изданій, онъ былъ переведенъ на французскій, нѣмецкій, итальянскій, голландскій, англійскій, а впослѣдствіи и на чешскій языки, и вездѣ былъ принятъ съ большими похвалами; на французскій языкъ было сдѣлано вдругъ четыре перевода въ Москвѣ и Петербургѣ. „Я видѣлъ, говоритъ Аксаковъ, у Загоскина много писемъ отъ разныхъ европейскихъ литературныхъ знаменитостей, писемъ, наполненныхъ лестными отзывами; было даже одно или два письма отъ Вальтеръ-Скотта“.

Чему же былъ обязанъ романъ такимъ необыкновеннымъ успѣхомъ? И вотъ, если мы вздумаемъ подойти къ нему съ тѣми идеальными требованіями, какія мы вправѣ предъявлять каждому художественному произведенію вообще и въ частности историческому роману въ истинномъ значеніи этого слова,—мы увидимъ, что романъ стоитъ ниже всякой критики.

Не забудьте, что романъ озаглавленъ: „Юрій Милославскій или русскіе въ 1612 году“. Сообразно этому заглавію вы ожидаете, конечно, что авторъ развернетъ передъ вами картину смутной эпохи во всей ея ширинѣ и глубинѣ, покажетъ духъ времени и тѣ внутреннія историческія пружины, которыя управляли всѣми событіями того времени. Вѣдь шутка-ли сказать: *Русскіе въ 1612 году*. Здѣсь, конечно, слѣдуетъ подразумевать не однихъ только Мининыхъ, Пожарскихъ, Юріевъ Милославскихъ, бояръ въ родѣ Кручины и т. п., а русскихъ вообще во всѣхъ слояхъ общества, и прежде всего и болѣе всего—*народъ*. Я полагаю, что нынѣ каждому, кто мало-мальски знакомъ съ этою эпохою, извѣстно, что это было броженіе, отнюдь не сосредоточивавшееся исключительно въ верхнихъ слояхъ государства, въ боярскихъ смутахъ и крамолахъ, а напротивъ того,—всенародное, поднявшее и помутившее океанъ народной жизни до самаго дна. Оно было вызвано не одними только случайными историческими фактами въ родѣ прекращенія рюриковой династіи или таинственнаго убійства царевича Дмитрія,—а всѣми условіями народной жизни того времени—и экономическими, и юридическими. Не говоря уже о такомъ крупномъ фактѣ, какъ уничтоженіе знаменитаго юрьева дна,—тотъ хроническій

голодъ, который изъ года въ годъ повторялся въ то время по всѣмъ мѣстностямъ Руси, свидѣтельствуетъ о томъ экономическомъ кризисѣ, какой переживалъ въ то время народъ. Принимая все это въ соображеніе, понятно, мы вправѣ требовать отъ романиста, чтобы онъ не ограничивался одними боярскими палатами, но показалъ намъ, какъ въ то время жили подъ соломенными кровлями люди посадскіе и сельскіе, чтобы мы могли понять самое главное: что заставляло въ то время людей такъ легкомысленно принимать каждаго отважнаго проходимца за спасагося Дмитрія, бросать свой насущный трудъ, домъ, семью и идти, невѣдомо куда и зачѣмъ, на вѣрную гибель.

Ничего подобнаго не найдете въ романѣ Загоскина и слѣда; онъ, повидимому, и не подозрѣвалъ этого. Если-бы кто-нибудь прочелъ романъ Загоскина, не имѣя предварительно буквально никакихъ свѣдѣній о смутной эпохѣ, тотъ могъ-бы подумать, что все дѣло заключалось въ нашествіи поляковъ—съ цѣлью поработить Русь, пользуясь ея безначаліемъ, причиненнымъ прекращеніемъ династіи, и навязавши ей царя въ видѣ сына Сигизмунда—Владислава, затѣмъ обративъ ее въ католичество. Но если цѣль поляковъ представляется ясною и опредѣленною, за то чѣмъ руководились бояре польской партіи, этого вы изъ романа ни за что не поймете, и вамъ будетъ казаться, что они дѣйствовали такъ, зря, по совершенно безпричинному капризу. Народъ-же представляется въ романѣ тупымъ, инертнымъ стадомъ, которое, не принимая никакого активнаго участія въ совершившихся историческихъ событіяхъ, подвергалось только одиѣмъ неприяностямъ анархіи смутнаго времени, какъ это явствуетъ, хотя-бы изъ слѣдующей сцены романа:

«Путешественники вѣхали на постоялый дворъ. Юрій легъ отдохнуть, а Алексѣй, убравъ лошадей, подселъ къ хозяйкѣ, которая въ одномъ углу избы трудилась за пряжею и спросилъ ее: «Не слышно-ли чего-нибудь о полякахъ?»

— И родимый! наше дѣло крестьянское,—отвѣчала хозяйка, поправивъ надъ собою донце;—мы ничего не вѣдаемъ.

— А что, развѣ поляки никогда не бывали въ вашемъ селѣ?

— Какъ не бывать!

— Ну что, голубушка, чай, они вамъ памятны?

— Вѣстимо, кормилецъ.

— Ужь нечего сказать, знатные ребята! не такъ-ли? Хозяйка взглянула недоувѣрчиво на Алексѣя и не отвѣчала ни слова.

— Куда, чай, съ ними весело хлѣбъ-соль водить,—продолжалъ Алексѣй;—не правда-ли?

— Вѣстимо, батюшка,—промолвила въ полголоса хозяйка.—Дай Богъ имъ здоровья—люди добрые.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Какъ-же! такіе привѣтливые.

— Что ты, шутишь что-ли?

— И, родимый, до шутокъ-ли намъ!

— Неужели въ самомъ дѣлѣ?.. Кого-же ты больше любишь: своихъ или поляковъ?.. Ну что-жъ ты молчишь, лебедка? или языкъ отнялся?.. Ну сказывай, кого?

— Кого прикажешь, батюшка.

— Не о приказѣ рѣчь, я толкомъ тебѣ говорю: кого любишь, насъ или поляковъ?

— Васъ, батюшка, васъ! А вы за кого стоите, господа честные?

— Чего тутъ спрашивать: за матушку святую Русь.

— Полно, такъ-ли, родимый?

— Видить Богъ, такъ. Мы идемъ подъ Москву биться съ поляками не на животь, а на смерть.

— Ой-ли! Помогите вамъ Господи!.. Разбойники! Въ раззоръ насъ раззорили! Прошлой зимой такъ всю и одежку-то у насъ обобрали. Чтoby имъ самимъ ни дна, ни покрывки! Передохнуть-бы всѣмъ, какъ въ чадной изъ тараканамъ... Еретикъ, душегубы!.. нехристь проклятая!

— Ба, ба, ба! что ты, молодца? Кого ты это изволишь честить?

— Кого?.. какъ кого?.. вѣстимо кого!.. Кого ты, родимый, того и я.

— Да что ты переминаешь? Чего ты боишься? или не видишь, что мы православные?

— О, охъ батюшки! неравны православные! Этакъ съ часъ мѣста останавливались у насъ двое проѣзжихъ бояръ, съ ними человекъ сорокъ холопей. Вотъ стали меня такъ же, какъ твоя милость, изъ ума выводить; а я съ дуру-то и выболтай все, что на душенькѣ было; и лишь только вымолвила, что мы денно и нощно молимъ Бога, чтобы вся эта нищенская сволочь убралась во свояси, вдругъ одинъ изъ бояръ, мужчина такой ражій, Богъ съ нимъ! какъ заоретъ въ источной голосъ, да ну меня изъ своихъ рукъ плетью! Ужъ онъ каталъ, каталъ меня! Кабы не молодая боярыня, дочка что-ль его, не знаю, такъ онъ-бы заporолъ меня до смерти! Дай Богъ ей доброе здоровье и жениха по сердцу! вступилась за меня горемычную и, когда господа стали съѣзжать со двора, потихоньку сунула мнѣ въ руку серебряную копѣечку. То-то добрая душа! Изъ себя не такъ, чтобы очень красива, не породна, взглянуть не на что... Ахти я дура!—промолвила хозяйка, вскочивъ торопливо со скамьи, заболталась съ тобой, кормилецъ!.. Чай, у меня хлѣбъ-то переѣдѣли...

Я не скажу, чтобы подобный разговоръ съ крестьянкою былъ неестественъ и невозможенъ въ смутное время. Наивно-добродушная хитрость слабой умомъ деревенской бабы, вся исчерпываемая словами: „за кого ты, батюшка, за того и я“,—конечно, должна въ однихъ и тѣхъ-же стереотипныхъ формахъ обнаруживаться при каждой смутѣ, и сцену въ родѣ вышеприведенной можно цѣлкомъ помѣстить въ любой романъ, чтобы онъ ни изображалъ: эпоху-ли междоусобицы, пугачевщину или нашествіе французовъ въ 1812 г. Но неужели этою сценою вполнѣ исчерпывается все-состояніе народа и духъ его въ 1612 году? Неужели во всю эпоху междоусобицы народъ только и дѣлалъ, что мирно сидѣлъ по деревнямъ, а когда къ нему приходили поляки или казаки, полчища самозванцевъ или ватаги крамольныхъ бояръ, у него всѣмъ былъ одинъ отвѣтъ: „за кого, батюшка вы, за того и мы?..“ И затѣмъ онъ безпрекословно подвергался всевозможнымъ грабежамъ и обидамъ?

Историческій романистъ, мало-мальски заботящійся о томъ, чтобы обстоятельно познакомить насъ съ эпохою, конечно, сводилъ-бы насъ и въ тушинскій лагерь, и къ полякамъ, показавъ-бы изъ какихъ людей состояли полчища самозванцевъ, что эти люди думали и говорили, къ чему стремились поляки старшіе и младшіе, что побуждало русскихъ бояръ однихъ держать сторону Владислава, другихъ—Минина и Пожарскаго. Ничего подобного не найдете вы въ романѣ и слѣда. Такъ, поляки, которые являются въ ро-

манѣ главными и чуть что не исключительными дѣятелями эпохи междоусобицы, изображены Загоскинымъ въ двухъ противоположныхъ типахъ: каррикатурной фигурѣ пана Копычнскаго и благородной личности пана Тишкевича. Эта параллель показываетъ, что Загоскинъ желалъ выказать по отношенію къ полякамъ полное безпристрастіе, весьма естественное въ концѣ 20-хъ годовъ, когда польское возстаніе не успѣло еще разразиться, и русскому романисту ничто не мѣшало еще играть на какихъ угодно безпристрастныхъ струнахъ. Но съ одной стороны, въ фигурѣ Копычнскаго Загоскинъ переселилъ, и она вышла у него каррикатурна до грубого лубочнаго шаржа, и къ тому-же, по словамъ С. Аксакова, оказывается, что въ пресловутой сценѣ угощенія гусемъ, Загоскинъ перенесъ въ 17 столѣтіе ходячій анекдотъ его времени, замѣнивши только рябчики гусемъ. Съ другой стороны, и великодушно честная личность Тишкевича, съ презрѣніемъ относящагося къ тому, что бояринъ Кручина повѣсилъ портретъ короля Сигизмунда въ своихъ хоромахъ, Тишкевича, готового воздать должную справедливость истинной храбрости, кто-бы ее ни оказалъ, русскій или полякъ,—въ свою очередь, вышла стереотипною фигурою храбреца, такою-же блѣдною и безцвѣтною, какъ и всѣ положительные типы Загоскина; полякомъ, и при томъ именно полякомъ 17-го столѣтія тутъ и не пахнетъ.

Но и въ русскихъ нижегородскаго лагеря, вмѣсто живыхъ историческихъ типовъ, вы видите все тѣ-же стереотипные манекены, произносящіе длинные, напыщенно-риторическія тирады въ карамзинскомъ стилѣ и въ духѣ кваснаго патриотизма 30-хъ годовъ. Особенною въ этомъ отношеніи лубочностью отличается пресловутая сцена воззванія Минина къ народу на нижегородской площади. Рѣчи Минина очень напоминаютъ подобныя-же напыщенные тирады Маремъ Посадницы въ повѣсти Карамзина.

Но болѣе всего не удался Загоскину главный герой романа, самъ Юрій Милославскій. Авторъ нѣтъ надѣленіе сдѣлать его романическимъ героемъ въ полномъ смыслѣ этого слова, надѣлить его всѣми и физическими, и умственными, и нравственными совершенствами, чтобы онъ, какъ сказочный Иванъ Царевичъ и въ водѣ не тонулъ, и въ огнѣ не сгоралъ, не престанно удивлялъ читателей своими необыкновенными подвигами и въ концѣ романа поймалъ за хвостъ жаръ-птицу. Но мало того, что ничего этого не вышло, что герой вышелъ и блѣденъ, и безцвѣтенъ,—на каждой страницѣ онъ возбуждаетъ въ читателѣ противъ себя положительно ожесточеніе. Пушкинъ не въ бровь, а въ самый глазъ въ своемъ „Арапъ Петра Великаго“ заставилъ одно дѣйствующее лицо, при упоминаніи имени Милославскаго, замѣтить, что онъ „богатъ и глупъ“. Правда, это было сказано о потомкѣ Милославскаго, современникѣ Петра, и къ тому-же повѣсть Пушкина была написана раньше романа Загоскина, но тѣмъ не менѣе Пушкинъ словно предугадалъ, что глупость составляетъ потомственное качество рода Милославскихъ, хотя можно думать, что онъ ранѣе появленія въ свѣтъ романа Загоскина зналъ уже о глупости главнаго героя его,

или, можетъ статья, впоследствии вставилъ выше-означенную фразу.

Какъ-бы то ни было, но глупость Милославскаго бросается въ глаза, преслѣдуетъ васъ черезъ весь романъ. Представьте себѣ въ самомъ дѣлѣ человека, который постоянно находится подъ давленіемъ какой-нибудь клятвы, данной имъ невпопадъ, и которая заставляетъ его дѣйствовать совершенно вопреки совѣсти, здраваго смысла, и природнаго влеченія, и тѣмъ не менѣе онъ съ упорствомъ педанта старается быть, во чтобы то ни стало, вѣрнѣе разъ данной клятвѣ. Такъ, и завѣтъ отца, и всѣ личныя симпатіи влекутъ его въ русскій лагерь подъ знамя Пожарскаго, но онъ имѣлъ несчастіе присягнуть Владиславу вмѣстѣ съ жителями Москвы и считаетъ своимъ долгомъ оставаться подъ польскими знаменами. Жителямъ Москвы вынужденная клятва нисколько не помѣшала широко отворить ворота войскамъ Пожарскаго;—несчастный-же герой нашъ только и дѣлаетъ, что терзается и проклинаетъ свою злосчастную судьбу. На нижегородской площади происходитъ сильное народное движеніе, созывается ополченіе, дѣлаются пожертвованія, энтузіазмъ охватилъ весь городъ, а нашъ несчастный герой въ отчаяніи бѣжить, слома голову, не зная куда и зачѣмъ: „какъ громомъ пораженный послѣдними словами старика, читаетъ мы, Юрій, не видя ничего передъ собою, не зная самъ, что дѣлаетъ, пустился бѣжать по узкой улицѣ, ведущей къ Волгѣ. Въ ушахъ его раздавались слова умирающаго отца; ему казалось, что его преслѣдуютъ, что кто-то называетъ его по имени: что множество голосовъ повторяютъ: „вотъ онъ! вотъ Милославскій“... Вся кровь застыла въ его жилахъ. Вдругъ ему послышалось, что вслѣдъ за нимъ прогремѣлъ ужасный голосъ: „да вздыметъ вѣчная клятва на главу измѣнника!“ Волосы его стали дыбомъ, смертный холодъ пробѣжалъ по всѣмъ членамъ, въ глазахъ потемнѣло, и онъ упалъ безъ чувствъ въ двухъ шагахъ отъ Волги, на краю утесистаго берега, застроеннаго обширными сараями“.

Только давши слово посвятить себя Богу и вступить въ иноческій санъ, Юрій, въ качествѣ уже послушника Авраама Палицына, разрѣшившаго ему присягу Владиславу, могъ отправиться съ чистою совѣстью въ станъ Пожарскаго. Но и эта новая клятва оказалась данною невпопадъ. Едва только онъ далъ ее, какъ вдругъ случай заставилъ его обвинчаться съ любимую дѣвушкою для того, чтобы спасти ее отъ грозящей ей смерти: если-бы онъ не обвинчался съ нею, ее растерзали-бы пиши. И опять злосчастная жертва своихъ безразсудныхъ клятвъ терзается разладомъ долга и сердечнаго влеченія. Супруга его, едва спасаясь отъ вѣрной смерти и обвинчанная, наконецъ со своимъ милымъ послѣ всевозможныхъ злоключеній, понятно, чувствуетъ себя на седьмомъ небѣ и говорить:—„Безцѣнный мой!.. избавитель мой!.. О какъ снова мнѣ жизнь становится мила!.. Она твой даръ, мой возлюбленный!.. она вся принадлежитъ тебѣ!.. Ахъ!.. повтори еще разъ, что ты меня любишь“!..—А онъ въ отвѣтъ на эти восторженные рѣчи огорчиваетъ ее вдругъ слѣдующими словами:

— Но знаешь-ли ты, сирота злполучная?... Такъ!

къ чему откладывать!.. для чего томить тебя медленной смертью!.. Анастасья!.. я не супругъ твой!

— Ты не супругъ мой?... Но не ты-ли сейчасъ обошелъ со мною наложъ церковный? Не съ тобою-ли я помѣнялась этимъ перстнемъ?..

— Чтобы спасти тебя, я долженъ былъ это сдѣлать; но я не могу быть ничѣмъ супругомъ.

— Не можешь?

— Да, Анастасья! Вчера, надъ гробомъ преподобнаго Сергія, я клялся оставить свѣтъ и произнести обѣтъ, по окончаніи брани, возложить на себя одежду инока.

И опять-таки все тому-же Авраамію Палицыну стоило не малыхъ усилій, чтобы вразумить безумца, показать ему всю безразсудность его скороспѣлыхъ клятвъ и соединить его вновь съ его супругою Анастасією.

Вообще нужно сказать, что вся драматическая и патетическая часть романа вышла ниже всякой критики и обнаруживаетъ въ Загоскинѣ полное отсутствіе этого рода таланта. Авторъ комедій въ романѣ своемъ остался все тѣмъ-же комикомъ, и самыя удачныя мѣста въ романѣ комическія. Такъ, весьма недурно очерчены комическія лица бояръ союзниковъ Кручины Шалонскаго—Лесута Храпуновъ и Замятня Опалевъ. Въ то-же время вы найдете въ романѣ нѣсколько бытовыхъ сенокъ, не лишенныхъ народнаго колорита, хотя и не имѣющихъ ровно никакого историческаго значенія, могущихъ быть помѣщенными въ романѣ, изображающаго какую угодно эпоху, хотя-бы даже современную Загоскину.—Такова, наприимѣръ, сценка встрѣчи запорожца Кириша съ незнакомою дѣвушкою по дорогѣ на пчельникъ колдуна Кудимыча:

— Здорова красная дѣвица, сказалъ Кириша, приподнявъ вѣжливо свою шапку. Откуда идешь?..

Дѣвушка сначала испугалась, но ласковый голосъ и веселый видъ запорожца ее успокоили. «Я иду домой, господинъ честной», отвѣчала она, отвѣсивъ низкій поклонъ Киришѣ.

— И вѣрно ходила ворожить на пчельникъ?

— А почему ты это знаешь? спросила она, взглянувъ на него съ удивленіемъ.

— Видно знаю! Ну, что? радостную-ли вѣсточку сказалъ тебѣ Кудимычъ?.. Скоро-ли свадьба?

— Архипъ Кудимычъ баятъ, что скоро. Да почему ты знаешь?

— Какъ не знать! А что лебедка, чай, ты не съ пустыми руками къ нему ходила?

— Коли съ пустыми! Я ему носила на поклонъ пол-сорока яицъ, да двѣ копейки.

— Экъ твой суженый-то разхарчился!

— Вотъ еще, велико дѣло двѣ копейки! Для меня Ванюша не постоитъ и за два алтына. Да почему ты знаешь?

— Мало-ли что я знаю, голубушка! А что, отсюда недалеко до пчельника?

— Близехонько.

— Прощай красавица!..

Подобная сценка и другія въ ея родѣ показываютъ, что Загоскинъ не былъ лишенъ наблюдательности и народный бытъ былъ ему до известной степени знакомъ, хотя-бы и съ одной виѣшней стороны. Вообще замѣчательно, что у Загоскина мужики выведены гораздо естественнѣе, правдивѣе и художественнѣе, чѣмъ бояре.

Теперь спрашивается, отчего-же этотъ романъ за-

служилъ такую популярность? Чѣмъ обуславливается тотъ успѣхъ, какой онъ приобрѣлъ въ массахъ публики, и успѣхъ, замѣтите, прочный, долготѣйшій? Что поставило его на ряду съ такими первоклассными произведеніями, которыя и теперь раскупаются также, какъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ? На это можетъ быть одинъ отвѣтъ: масса нашла въ немъ то, что было ей совершенно по плечу и въ чемъ она чувствовала потребность, нашла романъ-сказку, напоминающую, съ одной стороны, средневѣковые рыцарскіе романы, а съ другой—наши доморощенные сказки о Ерусланѣ Лазаревичѣ и Бовѣ Королевичѣ... Что ей было за дѣло до того, что быть начала 17-го вѣка изображенъ въ романѣ въ самыхъ общихъ и лубочныхъ чертахъ, что вся обстановка романа напоминаетъ скорѣе какія-нибудь декорации Александринскаго театра, чѣмъ вѣрную и точную историческую живопись талантливаго художника-археолога, что герои изъясняются порою на такомъ высокопарномъ языкѣ, на какомъ никогда никто не изъяснялся, выражая такія пламенные чувства, какія лежатъ внѣ человѣческой природы? Вѣдь, она привыкла къ тому, что дѣйствіе сказокъ совершается въ невѣдомомъ царствѣ, несказанномъ государствѣ, при какомъ-то жившемъ въ незапамятные времена царѣ Горохѣ, и что для подвиговъ сказочныхъ богатырей никакихъ законовъ природы не существуетъ. Здѣсь-же ее убѣждали, что разсказываютъ ей о томъ, какъ жили предки наши не далѣе, какъ 200 лѣтъ тому назадъ, и ужъ это было въ глазахъ ея большое преимущество. Не вдаваться-же ей было въ археологическія разысканія для проверки отважнаго романиста. Тѣмъ болѣе, что самая существенная въ ея глазахъ сторона романа, именно сказочность его, удовлетворяла вполне ея вкусамъ.

И въ самомъ дѣлѣ, надо отдать полную справедливость Загоскину,—по части развитія интриги романа и возрастающей съ каждой страницей занимательности Загоскинъ оказался мастеромъ своего дѣла. Не даромъ самъ Жуковский не спалъ всю ночь и какъ принялся съ вечера за романъ, такъ и не могъ оторваться отъ него, пока не дочиталъ до послѣдней страницы. Безъ сомнѣнія и каждый изъ насъ въ юности своей, въ свою очередь, читалъ Юрія Милославскаго не иначе, какъ залпомъ въ одинъ присѣсть. Обратите вниманіе, что самое развитіе сюжета имѣетъ характеръ, совершенно подобный средневѣковымъ рыцарскимъ романамъ,—именно характеръ странствія героя: русскій рыцарь XVII вѣка, со своимъ слугою Алексѣемъ, замѣняющимъ оруженосца, странствуютъ по объятай анархіей Руси и въ каждой главѣ подвергаются какимъ-нибудь новымъ неожиданнымъ приключеніямъ и напастанъ. Доходитъ дѣло до того, что въ концѣ второй части и баринъ, и его слуга попадаютъ подъ ножи убійцъ, стерегущихъ ихъ въ засадѣ, а въ началѣ третьей части читателю намекается, что герой можетъ быть убитъ и трупъ его брошенъ въ Волгу, и вдругъ онъ оказывается живъ, сидитъ и мучается голодомъ въ темницѣ, въ мрачномъ подземельѣ въ глуши муромскихъ лѣсовъ въ имѣньи коварнаго боярина Кручины, который собирается его убить въ самый тотъ моментъ, когда запорожецъ Кирша внезапно спасаетъ его. Однимъ словомъ, какіе только

ужасы могли обрушиться на голову злополучнаго героя въ смутныя и страшныя времена всеобщей сумятицы, Загоскинъ ни однимъ такимъ ужасомъ не обидѣлъ его, и въ концѣ концовъ, къ радости читателя, заставилъ его выйти сухимъ изъ воды, холоднымъ изъ огня и сочетаться благополучнымъ бракомъ съ прекрасною Анастасією, которая въ свою очередь впродолженіи всего романа только и дѣлаетъ, что все поспѣваетъ изъ огня да въ полымя.

Такимъ образомъ, какъ это ни странно, мы видимъ, что въ концѣ 20-хъ годовъ, въ то самое время, когда въ передовой, первоклассной беллетристикѣ чувствовалась струя того натурализма, къ которому стремились уже въ то время и всѣ европейскія литературы, рядомъ съ этимъ возникаетъ въ мнимо-исторической оболочкѣ романъ приключеній вполне въ средневѣковомъ духѣ и успѣхъ этого романа, энтузіазмъ, который онъ возбуждалъ, показываетъ, что толпа по своему литературному развитію стояла еще всецѣло на средневѣковой почвѣ, ожидая своего Сервантеса въ лицѣ Гоголя съ его „Мертвыми душами“.

#### IV.

Отзывы Пушкина о «Юріи Милославскомъ».—«Рославлевъ» Загоскина и «Рославлевъ» Пушкина.—Типъ передовой женщины 12 года и родственныя черты этого типа съ передовыми женщинами позднѣйшихъ эпохъ.—Нѣсколько словъ о прочихъ романахъ Загоскина.

Пушкинъ сдержалъ свое слово, данное имъ въ письмѣ Загоскину, и въ „Литературной Газетѣ“, въ началѣ 1830 года помѣстилъ коротенькую рецензію на „Юрія Милославскаго“. Въ рецензіи этой онъ съ большою, конечно, похвалою отзывается о романѣ, находитъ даже, что Загоскинъ точно переноситъ насъ въ 1612 годъ.

«Добрый нашъ народъ, говоритъ Пушкинъ, бояре, казаки, монахи, буйные шиши,—все это угадано, все это дѣйствуетъ, чувствуетъ, какъ должно было дѣйствовать, чувствовать въ смутныя времена Минина и Авраамія Палицына. Какъ живы, какъ занимательны сцены старинной русской жизни, сколько истины, добродушной веселости въ изображеніи характеровъ Кирши, Алексѣя Буриша, Оедьки Хомяка, пана Коньчинскаго, батюки Еремѣя! Романическое происшествіе безъ насилія входитъ въ раму обширнѣйшаго происшествія историческаго. Авторъ не спѣшитъ своимъ разсказомъ, останавливается на подробностяхъ, заглядываетъ и въ сторону, но никогда не утомляетъ вниманія читателя. Разговоръ (живой, драматическій вездѣ, гдѣ онъ простонароденъ) обличаетъ мастера своего дѣла. Но неоспоримое дарованіе г. Загоскина измѣняетъ ему, когда онъ приближается къ лицамъ историческимъ. Рѣчь Минина на Нижегородской площади слаба: въ ней нѣтъ порывовъ народнаго краснорѣчія. Боярская дума изображена холодно. Можно замѣтить два—три легкіе анахронизма и нѣкоторыя погрѣшности противъ языка и костюма и т. д.

Такимъ образомъ и Пушкинъ, при всей благосклонности отзыва, замѣтилъ ту рѣзкую особенность романа, что онъ только и хорошъ въ простонародныхъ бытовыхъ сценахъ, а какъ только дѣло касается исто-

рін, то талантъ измѣняетъ автору. Для насъ любопытенъ самый фактъ помѣщенія Пушкинымъ рецензіи въ „Литературной газетѣ“, показывающей, какъ живо заинтересовался Пушкинъ появленіемъ „Юрія Милославскаго“. Въ настоящемъ случаѣ это былъ интересъ не только человѣка, принимающаго страстное участіе въ судьбахъ русской литературы, но и къ тому-же писателя, который самъ въ это время увлекался историческою беллетристикой. Нѣтъ ничего удивительнаго, что, когда появился второй романъ Загоскина „Рославлевъ“, Пушкинъ не ограничился уже одною рецензіею, а написалъ своего „Рославлева“, въ которомъ, очевидно, выразилъ протестъ противъ пошлости квасного патриотизма Загоскина и принялъ подъ свою защиту одну изъ героинь романа Загоскина, выставивъ ее совсѣмъ въ иномъ родѣ и духѣ. Но прежде, чѣмъ мы приступимъ къ повѣсти Пушкина, мы познакоимся съ романомъ Загоскина.

Принялся за него Загоскинъ немедленно-же по окончаніи перваго романа, причемъ смотрѣлъ на свой новый романъ, какъ на продолженіе прежняго, такъ какъ руководствовался широкимъ замысломъ изобразить Россію въ два наиболѣе крупные момента ея исторической жизни, когда патриотизмъ народа проявился въ самомъ интенсивномъ и напряженномъ видѣ; оттого и заглавіе новаго романа „Русскіе въ 1812 году“, соответствуетъ исполнѣ заглавію перваго романа „Русскіе въ 1612 году“. Предполагая сочинить эти два романа, говоритъ Загоскинъ въ предисловіи къ „Рославлеву“, я имѣлъ въ виду описать русскихъ въ двѣ достопамятныя историческія эпохи, сходныя между собою, но раздѣленныя двумя столѣтіями; я желалъ доказать, что хотя наружныя формы и фисіономія русской націи совершенно измѣнились, — но не измѣнились вмѣстѣ съ ними наша непоколебимая вѣрность престолу, привязанность къ вѣрѣ предковъ и любовь къ родимой сторонѣ“.

Но большая разница описывать эпоху, которой минуло 200 лѣтъ и почти современную намъ. Въ первомъ случаѣ Загоскину ничего не стоило увлекать невѣжественную по части исторіи толпу сказочными элементами своего романа и летать на крыльяхъ воображенія, заставляя naï夫的 читателей думать, что русскіе въ 1612 году и въ самомъ дѣлѣ были такіе, какими они изображены въ „Юрії Милославскомъ“. Совсѣмъ другое дѣло было 1812 годъ. Послѣ него прошло всего 18 лѣтъ, когда Загоскинъ принялся писать свой второй романъ. Большинство участниковъ, изображенныхъ въ романѣ событій были еще живы, да и самъ Загоскинъ былъ, какъ мы видѣли, участникомъ въ войнѣ 1812 года. Такимъ образомъ это былъ романъ почти что изъ современной жизни, и его можно назвать историческимъ въ такомъ лишь смыслѣ, въ какомъ въ настоящее время можно-бы назвать этимъ именемъ романъ, описывающій эпоху 60-хъ годовъ. Понятно, что Загоскинъ принималъ на себя слишкомъ большую отвѣтственность: тутъ уже не могли помочь ни интересъ интриги, ни отсутствіе историческихъ знаній въ массѣ: требовалось основательное знаніе того, чему многіе были очевидцами, а главное дѣло — художественность. Недаромъ Жуковский, услышавъ о новомъ предпріятіи Загоскина, пи-

салъ ему: „Мнѣ сказывалъ кн. Шаховской, что вы въ pendant вашему 1612 году, пишете романъ 1812 года; не хочу съ вами спорить, но боюсь великихъ предстоящихъ вамъ трудностей. Историческія лица 1612 года были въ вашей власти, вы могли выставить ихъ по произволу; историческія лица 1812 года вамъ не дадутся. Съ первыми вы могли легко познакомиться воображеніемъ читателя, и онъ, благодаря вашему таланту, увѣренъ съ вами, что они точно были такими, какими ваше воображеніе ихъ представило вамъ; съ послѣдними этого сдѣлать нельзя; мы знаемъ ихъ, мы слишкомъ къ нимъ близки; мы уже предупреждены на счетъ ихъ, и существенность загоритъ для насъ вымыселъ. Впрочемъ, нѣтъ невозможнаго. Я говорю только: трудно! На всякомъ шагу порогъ испытаться легко“.

Но Загоскинъ не унывалъ. Успѣхъ перваго романа вскружилъ ему голову, и къ тому же все заранѣе обѣщало новому роману еще болѣшій успѣхъ. Общая увѣренность, что „Рославлевъ“ будетъ еще лучше, или по крайней мѣрѣ интереснѣе „Юрія Милославскаго“, была такъ велика, что въ Москвѣ, по словамъ біографа, произошло въ своемъ родѣ событіе, несслыханное въ лѣтописяхъ книжной русской торговли. Романъ еще не былъ конченъ, какъ содержатель типографіи Степановъ сталъ просить Загоскина, чтобы онъ его продалъ: за право напечатать четыре завода, т. е. 4,800 экземпляровъ Степановъ предложилъ ему сорокъ тысячъ ассигн. (а тогда ассигнаціи имѣли большой лахъ) съ тѣмъ только, чтобы онъ не печаталъ втораго изданія въ продолженіи трехъ лѣтъ. Замѣчательно при этомъ, что Степановъ дѣлалъ эту покупку не на капиталъ, котораго у него не было, а московскіе книгопродавцы купили экземпляровъ будущаго романа, съ обыкновенною уступкою 20 процентовъ за комиссію, на 36 тысячъ рублей ассигн., и внесли деньги впередъ, обязуясь продавать не дороже 20 р. за экземпляръ.

Но Степановъ испыталъ горькое разочарованіе въ своихъ расчетахъ. Новый романъ Загоскина пошелъ неизмѣримо хуже перваго. Книгопродавцы продали купленные ими 2400 экземпляровъ, но затѣмъ требованія на книгу прекратились, и Степановъ принужденъ былъ продать другую половину экземпляровъ за безцѣнокъ, потерпѣвши отъ всего предпріятія убытокъ.

Этотъ неуспѣхъ романа исполнѣ оправдывается его содержаніемъ. Предсказаніе Жуковскаго сбылось исполнѣ, тѣмъ болѣе, что и относительно войны 1812 года Загоскинъ обнаружилъ такіе-же жидкія историческія свѣдѣнія, какъ и въ первомъ своемъ романѣ. И еще бы: онъ приступилъ ко второму роману съ тою-же поспѣшностью, какъ и къ первому, безъ какихъ-бы то ни было подготовительныхъ работъ и сколько-нибудь основательнаго изученія изображаемой эпохи. Личное участіе его въ войнѣ не могло оказать ему большой услуги въ этомъ отношеніи, такъ какъ, будучи въ маленькихъ чинахъ, понятно, что онъ могъ видѣть одни закоулки столь сложнаго и колоссальнаго событія, какъ война 1812 года. Это участіе только и принесло ему развѣ ту пользу, что дало возможность довольно живо изобразить нѣсколь-



ко сценъ бивуачной жизни и мелкихъ стычекъ съ непріятелемъ.

Отсутствие основательнаго изученія эпохи привело Загоскина къ весьма забавной удловкѣ: боясь представить историческія личности и историческіе факты невѣрно, да и не зная ихъ, конечно, во всѣхъ подробностяхъ, Загоскинъ взялъ да и обошелъ ихъ; въ самомъ дѣлѣ, во всемъ романѣ вы не найдете ни одного крупнаго лица (только въ одномъ мѣстѣ, при пожарѣ Москвы, мелькаетъ передъ вами стереотипная фигура Наполеона) и ни одного большаго сраженія. О ходѣ историческихъ событій упоминается кое-гдѣ мимоходомъ, въ краткихъ перечняхъ, чтобы только какъ-нибудь связать развитіе романтической интриги, и, опять таки, вся суть романа заключается именно въ этой интригѣ. Но, увы, интрига эта только мѣстами напоминаетъ полныя неожиданныхъ и чудесныхъ приключеній странствія Юрія Милославскаго; но, чтобы добраться до этихъ мѣстъ, читателю приходится перейти черезъ большое количество скучныхъ, сухихъ и вялыхъ страницъ. Довольно сказать, что только съ третьей главы второй части начинается война 12 года. Вся-же первая часть занята изображеніемъ картины жизни и настроенія русскаго общества передъ войною, — и это изображеніе стоитъ ниже всякой критики. Такъ, прежде всего авторъ ведетъ насъ въ самое изысканное свѣтское общество, о которомъ онъ не имѣлъ никакого понятія, такъ что даже снисходительный Жуковскій замѣтилъ ему въ письмѣ: „признаюсь вамъ только въ одномъ: по прочтеніи первыхъ листовъ я долженъ былъ отложить чтеніе, и эти первые листы произвели было во мнѣ нѣкоторое предубѣжденіе противъ всего романа, и я побоялся, что онъ не пойдетъ на ряду съ Милославскимъ. Описание большаго свѣта мнѣ показалось невѣрно, и въ гостини князя Радугина я не узналъ свѣтскаго языка“.

Правда, большинство россіянъ, столь-же мало знакомыхъ съ великосвѣтскою жизнію, какъ и самъ авторъ, конечно не обратило вниманія на это обстоятельство, но не могло не броситься въ глаза крайняя односторонность и исключительность всѣхъ изображаемыхъ Загоскинымъ сценъ. Всѣ выводимыя дѣйствующія лица только и говорятъ, что о патриотизмѣ или французамъ, и особенно въ этомъ отношеніи надоедаетъ главный герой романа, Рославлевъ. Подобно тому, какъ Юрій Милославскій въ продолженіи всего романа только и дѣлалъ, что все терзался въ оковахъ своихъ клятвъ, такъ Рославлевъ съ первой-же страницы рветъ и мечетъ, чтобы непрестанно доказывать всѣмъ и каждому, что онъ истинный сынъ отечества и что у него русское сердце. Отправляется онъ пообѣдать съ пріятелемъ въ гостиницу и тамъ сейчасъ-же вступаетъ въ споръ по этому поводу съ французомъ, обѣдавшимъ съ нимъ за однимъ столомъ; идетъ затѣмъ на раутъ къ княгинѣ Радугиной, и немедленно спѣпляется на этомъ раутѣ съ французскимъ дипломатомъ. При этомъ всего курьезнѣе, что спорившіе нѣтолько уже предвидѣли, что будетъ война 12-го года, но даже знали, что она будетъ народная, и наиболѣе въ этомъ отношеніи замѣчательнъ оказывается пророческій даръ самаго Рославлева. Такъ, въ спорѣ съ французомъ, когда по-

слѣдній спросилъ, что останется въ случаѣ войны съ Наполеономъ отъ Россіи, если Польша, Швеція, Турція и Персія возьмутъ назадъ свои области, если всѣ портовые города займутся французскими войсками, если...

— Вы забыли, вскричалъ Рославлевъ, вскочивъ съ своего мѣста, что въ Россіи останутся русскіе; что тридцать милліоновъ русскаго народа, говорящихъ однимъ языкомъ, исповѣдующихъ одну вѣру, могутъ легко истребить многочисленныя войска вашего Наполеона, составленныя изъ всѣхъ народовъ Европы!...

— Помилуйте, возразилъ французъ: да что такое народъ? Глупая толпа, беззащитное стадо, которое, несмотря на свою многочисленность, не значитъ ничего въ военномъ отношеніи; и Боже васъ сохрани отъ народной войны! Наполеонъ умѣетъ быть великодушнымъ побѣдителемъ; но горе той землѣ, гдѣ народъ мѣшается не въ свое дѣло! Половина Испаніи покрыта пепломъ; та же участь можетъ постигнуть и ваше отечество. Солдаты выполняютъ свою обязанность, когда дерется съ непріятелемъ; но мирный гражданинъ долженъ оставаться дома. Въ противномъ случаѣ, онъ разбойникъ, бунтовщикъ и не заслуживаетъ никакой пощады.

— «Разбойникъ!» повторилъ Рославлевъ прерывающимся отъ нетерпѣнія и досады голосомъ. «И вы смѣете называть разбойникомъ того, кто защищаетъ своего Государя, отечество, свою семью»...

Но Рославлевъ при всемъ своемъ пламенномъ патриотизмѣ все-таки пребываетъ въ предѣлахъ здраваго смысла и благоразумной утѣренности и горячится только на словахъ. Но въ романѣ есть другой герой, какой-то неизвѣстный молчаливый офицеръ, о которомъ Загоскинъ въ предисловіи своемъ говоритъ, что читатели узнаютъ въ немъ историческое лицо тогдашняго времени и что этотъ офицеръ дѣйствительно былъ, подъ именемъ флорентинскаго купца, въ Данцигѣ, но не въ концѣ осады, а при началѣ ея. Вотъ у этого самаго офицера ненависть къ французамъ Загоскинъ довелъ до чудовищной маніи и кровожадной жестокости. Нѣкоторыя черты этого типа представляютъ собою малое подобіе тѣхъ хищныхъ демоническихъ натуръ и бретеровъ, которыя въ то время начали уже появляться на горизонтѣ нашей жизни. Онъ напоминаетъ собою нѣсколько Долохова въ „Войнѣ и мирѣ“. Но Загоскинъ совершенно исказилъ этотъ типъ, обративши его въ узколобаго и прямолинейнаго фанатика, который только о томъ и бредитъ, какъ бы истреблять французовъ (замѣтьте, еще до войны 1812 года) безъ всякой пощады и милосердія. Такъ, узнавши въ вышеозначенномъ французѣ, сплотившемъ въ гостиницѣ съ Рославлевымъ, наполеоновскаго шпіона, онъ тотчасъ-же вызываетъ его на дуэль и затѣмъ слѣдуетъ отвратительная сцена этой дуэли:

«Оба противника, читаемъ мы, отошли по пяти шаговъ отъ барьера, и повернаясь въ одно время, стали медленно подходить другъ къ другу. На второмъ шагѣ французъ спустилъ курокъ—пуля свеснула, и пробитая на вылетъ фуражка слетѣла съ головы офицера».

— «Чортъ возьми! этотъ французъ мѣтитъ хорошо!»—сказалъ сквозь зубы кавалеристъ.—«Смотри, братъ, не промахнись!»

Раздался второй выстрѣлъ, и вмигъ вся лѣвая рука француза обилась кровью.

— «Эхъ, братецъ!»—сказалъ кавалеристъ;—«неужо-бы по лѣвѣ. Я говорилъ тебѣ взять мои пистолеты. Какая, чортъ, стрѣльба безъ шпепера!»

«Прошло еще нѣсколько секундъ:—сердце Рославлева почти перестало биться. Разстояніе между поединщиками становилось все менѣе; вотъ уже осталось не болѣе шести или восьми шаговъ... вдругъ раздался третій выстрѣлъ.

— Ты раненъ?—вскричалъ кавалеристъ.

— «Нѣтъ»,—отвѣчалъ офицеръ, взглянувъ хладнокровно на правое плечо свое, съ котораго пулей сорвало эполетъ. «Теперь милости прошу, сюда къ барьеру!»—продолжалъ онъ, устремивъ свой неподвижный взоръ на француза.

— Je suis mort!—промолвилъ вполголоса раненый.

— «Боже мой! онъ истекаетъ кровью!»—сказалъ его секунданта, вынимая бѣлый платокъ изъ кармана.

— «Не трудитесь!»—прервалъ офицеръ, «онъ доживетъ еще до послѣдняго моего выстрѣла. Ну, что же, сударь? Да подходите смѣлѣе! вѣдь я не стану стрѣлять, пока вы не будете у самого барьера».

— «Господинъ офицеръ!..»—вскричалъ иностранецъ.—«Подумайте! въ двухъ шагахъ! Это все равно»...

— «Если-бы я приставилъ ему мой пистолетъ ко лбу?—Разумѣется. Еще одинъ шагъ, господинъ кавалеръ почетнаго Легіона! Прошу покорно!»

— «Eh bien! soit!»—сказалъ французъ, бросивъ въ сторону свой пистолетъ—Онъ подошелъ, шатаясь, къ барьеру, и, сложивъ крестъ на крестъ руки, сталъ прямо грудью противъ своего соперника. Кровь ручьемъ текла изъ его раны; смертная блѣдность покрывала лицо; но онъ смѣло смотрѣлъ въ глаза офицеру, и только едва замѣтная судорожная дрожь пробѣгала отъ времени до времени по всѣмъ его членамъ. Офицеръ прицѣлился—конецъ его пистолета упирался въ лобъ французу. Вся кровь застыла въ жилахъ Рославлева. Онъ хотѣлъ закричать; но ужасъ оковалъ языкъ его. Межъ тѣмъ офицеръ спустилъ курокъ, на полѣхъ вспыхнуло; но пистолетъ не выстрѣлялъ.

— Ты живъ еще, мой другъ!—вскричалъ секунданта француза.

— «Не надолго!»—промолвилъ хладнокровно офицеръ.—«Подсыпъ на полку, братецъ!»

— «Ради самого Бога!»—сказалъ отчаяннымъ голосомъ иностранецъ, «попадите этого несчастнаго!.. У него жена и шестеро дѣтей!..»

Вмѣсто отвѣта, офицеръ улыбнулся, и взглянувъ спокойно на блѣдное лицо своей жертвы, устремилъ глаза свои въ другую сторону. Ахъ! если-бы они пылали бѣшенствомъ, то несчастный могъ-бы еще надѣяться,—и тигръ имѣетъ минуты милосердія; но этотъ безчувственный, неумолимый взоръ, выражающій одно мертвое равнодушіе, не обѣщалъ никакой пощады.

— «Господинъ офицеръ!..»—продолжалъ иностранецъ, «если жалость вамъ неизвѣстна, то подумайте, по крайней мѣрѣ, что вы хотите отправлять въ эту минуту должность палача».

— Да, я желалъ-бы быть палачемъ, чтобы отсыпъ однимъ ударомъ голову всей вашей нации. Посторонитесь!

— «Одно слово, сударь»,—прошепталъ едва слышимымъ голосомъ раненый. «Прощай мой другъ!»,—продолжалъ онъ, обращаясь къ своему секундantu.—«Не забудь рассказать всѣмъ, что я умеръ какъ храбрый и благородный французъ; скажи ей!..» Онъ не могъ докончить и упалъ безъ чувствъ въ объятія своего друга.

— «Жаль!»—сказалъ кавалеристъ: онъ не трусъ! И признаюсь, если-бы я былъ на твоёмъ мѣстѣ!..»

— «И полно, братецъ! Все-таки однимъ меньше. Теперь кажется осытки не будетъ»,—прибавилъ офицеръ, взглянувъ на полку пистолета. Онъ взялъ курокъ... и т. д. (Рославлевъ, смотрѣвшій за кустами на всю эту возмутительную сцену, выбѣжалъ и остановилъ смертоубійство).

Мы не будемъ говорить уже о томъ, насколько

ко мерзка эта сцена сама по себѣ, принимая особенно во вниманіе, что этотъ офицеръ до самаго конца романа играетъ роль положительнаго типа; вы подумайте только, на сколько правдоподобна она въ Петербургѣ, въ маѣ 1812 года, когда Россія сохраняла еще миръ и даже дружбу съ французами. Откуда-же могла развиться такая необузданная, слѣпая и дикая ненависть къ французамъ въ молодомъ офицерѣ того времени?

Впрочемъ, у Загоскина не одни интеллигентные люди, но и купцы изъ Замоскворѣчья заранѣе уже предугадываютъ не только нашествіе Наполеона, но и пожаръ Москвы. Такъ, одинъ такой купецъ спросилъ у Рославлева:

— Скажите-ка, батюшка, точно-ли правда, что Бонапартій собирается на насъ войною?

— Это еще не рѣшено, отвѣчалъ Рославлевъ.

— А какъ рѣшится, такъ что-жъ онъ на Москву что-ли пойдетъ?

— Можеть быть. Онъ избалованъ счастьемъ и привыкъ заключать миръ въ столицахъ своихъ неприятелей.

— Вотъ что! Да что-жъ онъ въ нихъ дѣлаетъ?

— Веселится, отдыхаетъ, беретъ съ обывателей контрибуціи, то есть деньги.

— И ему платятъ?

— По неволѣ: противъ силы дѣлать нечего.

— Какъ нечего? Что вы сударь! По нашему вотъ какъ. Если дѣло пошло наперекоръ, такъ не доставайся мое добро ни другу, ни недругу. Господи Боже мой! У меня два дома, да три лавки въ Панскомъ ряду, а если Божиимъ напущеніемъ врагъ придетъ въ Москву, такъ я ихъ своей рукой запалю. На вотъ тебѣ! Не хвались-же, что моимъ владѣешь! Нѣтъ, батюшка! Русскій народъ упрямъ; вели только нашъ Царь-Государь, такъ мы этому Наполеону такую хлѣбъ-соль поднесемъ, что онъ, хоть и семи падей во лбу, а—вотъ-те Христосъ! подавится.

— Нѣтъ, это не хвастовство! подумалъ Рославлевъ, смотря на благородную и исполненную души физиономію купца. «Дай мнѣ свою руку, почтенный гражданинъ!» сказалъ онъ. Ты истинно русскій, и если-бъ всѣ такъ думали, какъ ты!..»

До такой степени увлекся Загоскинъ своимъ узко-тенденціознымъ и краснымъ патріотизмомъ, что даже самую любовную фабулу романа онъ основалъ на немъ. Сюжетъ романа заключается въ томъ, что дочь одного богатаго подмосковнаго дворянина Полина, путешествуя съ матерью своей, большою поклонницею всего французскаго, за границу, влюбилась тамъ въ французскаго полковника, графа Синекюра, но скрывала отъ всѣхъ любовь свою и даже дала слово выйти замужъ за Рославлева, и лишь всячески оттягивала свадьбу. Разгорѣлась война, Рославлевъ долженъ оставить свою невѣсту и ѣхать на защиту своего отечества. Между тѣмъ графъ Синекюръ попался въ плѣнъ, и его, раненаго, препроводили какъ разъ въ усадьбу родителей Полины. Здѣсь романъ молодой русской барышни и плѣннаго француза окончателно созрѣлъ; она дала слово принадлежать ему и никому больше, а онъ, какъ подобаетъ врагу отечества, отъялся, зазнался:

— Расхаживаетъ себѣ помѣщикомъ по хоромамъ изъ комнаты въ комнату, рассказываетъ о немъ одинъ крестьянинъ Рославлеву: курить изъ господской пѣнковой трубки, которую покойникъ берегъ пуще своего

глаза. Подавай ему того, другого; да какъ покрикиваетъ на людей—словно баринъ какой! А какъ пойдеть гулять по саду съ барышней, такъ—Господи Боже мой! подбоченится, задереть голову... Ну, чортъ ему не брать...

Кончилось дѣло тѣмъ, что влюбленные, боясь скандала и народнаго волненія, рѣшились при участіи матери Полины обвѣнчаться тайкомъ, ночью, въ кладбищенской церкви. Загоскинъ напрягъ всѣ свои силы, чтобы обставить обрядъ вѣнчанія какъ можно эффектибѣе, и вышла мелодрама самого что ни на есть трескучаго характера: громъ, молнія, завыванія вѣтра, похоронныя дикія рѣчи безумной юродивой Федоры, и тутъ какъ вѣтромъ принесло вдругъ Рославлева, возвращавшагося домой лечить раненую руку, и когда молодые вышли изъ церкви, первое зрѣлище, представившееся имъ при блескѣ молніи и оглушительныхъ раскатахъ грома, былъ самъ герой романа, лежавшій на паперти въ растяжку, безъ чувствъ и истекающій кровью изъ раскрывшейся отъ волненія раны.

Это не пошло Полинѣ ухажать съ своимъ суженымъ въ Москву, въ наполеоновскую армію, не смотря на то, что Рославлевъ послалъ ей вслѣдъ грозное посланіе, исполненное самыхъ страшныхъ проклятій. „Слушайте приговоръ вашъ! писалъ онъ:—вы не умрете ни отъ стыда, ни отъ раскаянія; проклетіе всѣхъ русскихъ, которое прогремитъ надъ преступной главой вашей, не убьетъ васъ—нѣтъ! вы станете жить. Прижавъ къ сердцу обгащенную кровью русскихъ, кровью братьевъ вашихъ, руку мужа, вы пойдете вмѣстѣ съ нимъ по пути, устланному трупами вашихъ соотечественниковъ. Торжествуйте вмѣстѣ съ нимъ побѣду злодѣевъ нашихъ! Забудьте, что вы русская, забудьте Бога!..“ и т. д.

Проклетія отверженнаго жениха незамедлили обрушиться на голову преступной измѣнницы своего отечества. Она должна была пережить весь ужасъ бѣгства французовъ изъ Москвы, смерть мужа, тысячу униженій со стороны французовъ, которые не признавали ее женою умершаго графа Синекура, а смотрѣли на нее, какъ на его содержанку. Наконецъ, она очутилась въ Данцигѣ во время осады его, и тамъ Рославлевъ нашелъ ее на одрѣ смерти, терзаемую самыми ужасными мученіями совѣсти, такъ что, когда Рославлевъ заговорилъ о возвращеніи ея на родину, она вскричала въ отчаяніи:

— Въ отечество? Но развѣ у меня есть отечество?... Развѣ несчастная Полина не отказалась навсегда отъ своей родины?... Развѣ найдется во всей Россіи уголокъ, гдѣ-бъ дали пріютъ русской, вдовѣ плѣннаго француза?... Отечество!... О, если бы прошедшее было въ нашей волѣ, и не стала-бы тогда заботиться о моемъ спасеніи! Съ какою-бы радостью я обрекла себя на смерть, чтобы только умереть въ моемъ отечествѣ. Безумная, я думала, что могу сказать ему: твой Богъ будетъ моимъ Богомъ, твоя земля—моею землею. О нѣтъ, мой другъ! кто покидаетъ навсегда свою родину, тотъ рано или поздно, а умретъ по ней съ тоски...

Наконецъ, на тотъ дождь, гдѣ лежала больная, пала бомба и прекратила физическія и нравственныя страданія умиравшей.

Мы нарочно такъ подробно остановились на сюже-

тѣ, и именно на судьбѣ главной героини Полины, потому что именно эта сторона романа наиболѣе обратила на себя вниманіе Пушкина, повидимому, глубоко взволновала его и заставила написать своего собственнаго „Рославлева“, нарочно въ разрѣзъ роману Загоскина, какъ протестъ противъ пошлаго искаженія дѣйствительности въ угоду узко-патріотической тенденціозности автора „Рославлева“, какъ защиту оскорбляемой тѣни, и ради этой защиты Пушкинъ изобразилъ такой обаятельный типъ русской женщины-гражданки, подобной которому не было до того времени въ русской литературѣ. Мало того, въ повѣсти Пушкина мы видимъ первое сознаніе женской равноправности, о чемъ въ то время никому и не грезилось.

Дѣло въ томъ, что судьба Полины оказалась не вымышленною, а взятою изъ жизни. „Интрига моего романа,—говоритъ Загоскинъ въ своемъ предисловіи,—основана на истинномъ происшествіи—теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметомъ общихъ разговоровъ, и когда проклятія оскорбленныхъ Россіи гремѣли надъ главою несчастной, которую я назвалъ Полиною въ своемъ романѣ“.

Пушкинъ начинаетъ свою повѣсть именно съ того, что высказываетъ свои впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ романа Загоскина, и заявляетъ о главной цѣли своей повѣсти устами второстепенной героини, отъ имени которой ведется разсказъ:

«Читая Рославлева, говоритъ рассказчица, съ изумленіемъ увидѣла я, что завязка его основана на истинномъ происшествіи, слишкомъ для меня извѣстномъ. Нѣкогда я была другою несчастной женщины, избранной г. Загоскинымъ въ героиню его повѣсти. Онъ вновь обратилъ вниманіе публики на происшествіе забытое, разбудилъ чувства негодованія, усмиренныя временемъ, и возмущилъ спокойствіе могилы. Я буду защитницей тѣни,—и читатель извинитъ слабость пера моего, уваживъ сердечныя мои побужденія...»

Далѣе рассказчица повѣствуетъ о своемъ сближеніи съ героинею въ 1811 году, когда ее впервые стали вывозить въ свѣтъ.

«Между дѣвками, выѣхавшими вмѣстѣ со мною, говоритъ она, отличалась княжна \*\* (г. Загоскинъ назвалъ ее Полиною; оставляю ей это имя). Мы скоро подружились—вотъ по какому случаю. Братъ мой, двадцатидвухлѣтній малый, принадлежалъ къ сословію тогдашнихъ франтовъ; онъ считался въ иностранной коллегіи и жилъ въ Москвѣ, танцуя и поивѣнчая. Онъ влюбился въ Полину и упрямилъ меня сближать наши дома.

«Отецъ Полины былъ заслуженный человекъ, т. е. ѣздилъ цугомъ и носилъ ключъ и звѣзду; впрочемъ, былъ вѣтренъ и простъ. Мать ея, напротивъ, была женщина степенная и отличалась важностью и здравымъ смысломъ. Полина являлась всадъ; она окружена была поклонниками. Съ нею любезничали; но она скучала, и скука придавала ей видъ гордости и холодности. Это чрезвычайно шло къ ея греческому лицу и къ чернымъ бровямъ...

«Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго разбора. Ключъ отъ библіотеки отца ея былъ у нея. Библіотека большею частью состояла изъ сочиненій писателей XVIII вѣка. Французская словесность отъ Монтепья до романовъ Кребильона была ей знакома. Руссо знала она наизусть. Въ библіотекѣ не было ни одной русской книги, кромѣ сочиненій Сумарокова, которыхъ Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мнѣ, что съ трудомъ раз-

брасать русскую печать, и вѣроятно ничего порусски не читала, не исключая и стиховъ, поднесенныхъ ей московскими стихотворцами».

Надо замѣтить здѣсь, что Пушкинъ подчеркиваетъ тотъ фактъ, что Полина не читала русскихъ книгъ и едва разбирала русскую грамоту нарочно въ пику Загоскину, чтобы, приведя въ ужасъ, какъ его, такъ и всѣхъ квасныхъ патриотовъ 30-хъ годовъ, принять затѣмъ свою героиню подъ защиту и отпѣть всѣмъ имъ нижеслѣдующую отвѣдь, прекрасно характеризующую бѣдность русской литературы того времени и всю пошлость сѣтованій, затѣмъ ею пренебрегали великосвѣтскіе люди.

«Вотъ уже слава Богу, лѣтъ тридцать, какъ братья насъ бѣдныхъ за то, что мы порусски не читаемъ и не умѣемъ (будто-бы) изъясняться на отечественномъ языкѣ. (Н. Автору «Юрія Милославскаго» грѣхъ повторять пошлые обвиненія: мы всѣ прочли его, и, кажется, одной изъ насъ обязанъ онъ переводомъ своего романа на французскій языкъ). Дѣло въ томъ, что мы рады-бы читать порусски, но словесность наша, кажется, не старѣ Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляетъ намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но *малъ-же это есть читателей требовать исключительной охоты къ стихамъ* (прекрасно!). Въ прозѣ имѣемъ мы только исторію Карамзина; первые два или три романа появились два или три года назадъ; между тѣмъ какъ во Франціи, Англіи и Германіи книги, одна другой занимательнѣе, слѣдуютъ одна за другою. Мы не видимъ даже и переводовъ; а если и видимъ, то, воля ваша, а все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для нашихъ литераторовъ. Мы принуждены все, извѣстія и понятія, черпать изъ книгъ иностранныхъ; такимъ образомъ и мыслимъ мы на языкѣ иностранномъ (по крайней мѣрѣ всѣ тѣ, которые мыслятъ и слѣдятъ за мыслями человѣческаго рода). Въ этомъ признавались мы самые извѣстные наши литераторы. Вѣчныя жалобы нашихъ писателей на пренебреженіе, въ коемъ оставляемъ мы русскія книги, похожи на жалобы русскихъ торговцевъ, негодующихъ на то, что мы шляпки наши покупаемъ у Секлеръ и не довольствуемся произведениями восточныхъ модистокъ».

Эта начитанность поставила Полину высоко надъ всѣмъ окружавшимъ ее обществомъ и она относилась къ нему съ нескрываемымъ презрѣніемъ. Особенно выразилось это рельефно, когда прѣѣхала въ Москву знаменитая Сталь, и въ Москвѣ не знали, какъ угостить знатную иностранку. Полина сидѣла, какъ на иглокахъ, на обѣдѣ, который отецъ ея далъ Сталь, при видѣ, какъ пошло, глупо, безтактно ведетъ себя общество. Когда-же Сталь отпустила какой-то двусмысленный и смѣлый каламбуръ, и всѣ были въ восхищеніи, — лицо Полины запылало, слезы показались на ея глазахъ.

— Что съ тобой сдѣлалось, ма сѣге, спросила ее подруга: неужели шутка немного вольная могла до такой степени тебя смутить? — «Ахъ, милая, отвѣчала Полина: я въ отчаяніи! Какъ ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщинѣ! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящее замѣчаніе, сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла къ увлекательному раговору высшей образованности. А здѣсь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного занимательнаго слова въ теченіе трехъ часовъ! Тупая лица, тупая важность... и только! Какъ-ей было скучно! Какъ она казалась утомлен-

ОСЧИННИИ А. СКАВЧИВОВАГО. — П.

ною! Она видѣла, чего имъ было надобно, что могли понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и бросились... Я сгорѣла со стыда, и готова была заплакать... Но пускай, съ жаромъ продолжала Полина, пускай она вывезетъ объ этой свѣтской мелочи мнѣніе, котораго они достойны. По крайней мѣрѣ, она видѣла нашъ добрый, простой народъ и понимаетъ его. Ты слышала, что сказала она этому старому несносному шуту, который изъ угожденія къ иностранкѣ вадумалъ было смѣяться надъ русскими бородами? «Народъ, который тому сто лѣтъ отстоялъ свою бороду, отстоятъ въ наше время и свою голову». Какъ она мила! Какъ я люблю ее! Какъ ненавижу ея гонителя!»

Но вотъ началась война, начался и квасной патриотизмъ, и въ то время, какъ Загоскинъ восторгается имъ въ своемъ «Рославлѣ», Пушкинъ заставляетъ свою рассказчицу относиться къ нему не безъ сарказмовъ:

«Гонители французскаго языка и Кузнецкаго моста, говорить она, взяли въ обществахъ рѣшительный верхъ, и гостиницы наполнились патриотами: кто высыпалъ изъ табакерки французскій табакъ и сталъ нюхать русскій; кто сжегъ десятокъ французскихъ брошюръ; кто отказался отъ лафита и принялся за кисля шп. Всѣ заклились говорить по французски; всѣ закричали о Пожарскомъ и Мининѣ и стали проповѣдывать народную войну, собираясь на долгихъ отправиться въ Саратовскія деревни».

Полина не могла скрыть своего презрѣнія, какъ прежде не скрывала своего негодованія. Такая проворная перемѣна и трусость выводили ее изъ терпѣнія. На бульварѣ, на Пресненскихъ прудахъ, она нарочно говорила по французски; за столомъ, въ присутствіи слугъ, нарочно оспаривала патристическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности наполеоновскихъ войскъ, о его военномъ гѣніи. Присутствующіе блѣднѣли, опасаясь доноса, и смѣшили укорить ее въ приверженности къ врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай Богъ, говорила она: чтобы всѣ русскіе любили свое отечество, какъ я люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у нея такая смѣлость. «Помилуй! сказала я однажды: охота тебѣ вмѣшиваться не въ наше дѣло. Пусть мужчины себѣ дерутся и кричатъ о политикѣ; женщины на войну не ходятъ, и мнѣ дѣла нѣтъ до Бонапарта». Глаза ея засверкали. «Стыдись, сказала она: развѣ женщины не имѣютъ отечества? развѣ нѣтъ у нихъ отцовъ, братьевъ, мужей, развѣ кровь русская для насъ чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы насъ на балъ вертели въ эскезахъ, а дома заставляли вышивать по канѣ собачекъ? Нѣтъ! Я знаю, какое вліяніе женщины можетъ имѣть на мнѣніе общественное. Я не признаю уничтоженія, къ которому присуждаютъ насъ. Посмотри на M-me de Staël. Наполеонъ боролся съ нею, какъ съ непріятельской силой. И дядюшка смѣетъ еще насмѣхаться надъ ея робостью при приближеніи французской арміи: «будьте покойны, сударыни: Наполеонъ воюетъ противъ Россіи, а не противъ васъ...» Да! Еслибы дядюшка попался въ руки французамъ, то его-бы пустили гулять по Пале-Роялю; но M-me de Staël въ такомъ случаѣ умерла-бы въ государственной темницѣ. А Шарлота Кордэ? а наша Марса Посадница? а княгиня Д\*\*\*? чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостью души и рѣшительностью!»

Такимъ образомъ среди русскаго общества начала XIX столѣтія Пушкинъ подмѣтилъ уже и пѣлъ возможность нарисовать своею гениальною кистью, во весь ростъ передъ нами, тотъ мужественный и герой-

скій типъ женщины—гражданки, который до такой степени присущъ нашей русской жизни, что черты подобнаго рода характера мы можемъ встрѣтить не только въ нашемъ историческомъ прошломъ, но даже въ народныхъ былинахъ, относящихся Богъ вѣсть къ какой сѣдой древности.—Подобнаго рода типы случалось и намъ встрѣчать, конечно, въ наше время, наиболѣе богатое ими, и замѣчательно, что всѣ они имѣютъ такое поразительное сходство между собою, словно отливаются изъ одной разъ когда-то созданной формы: всѣ подобныя женщины съ одинаковымъ негодованіемъ и презрѣніемъ относятся къ окружающему ихъ обществу со всею его пошлостью, суетностью и дикимъ невѣжествомъ, и идутъ въ разрѣзъ съ обычною рутинною жизнью, поражая всѣхъ окружающихъ тою сѣбостью, съ которою онѣ нарушаютъ всѣ общепринятые обычаи и приличія; всѣ онѣ тяготеютъ своею женскою долею и увлекаются до самозабвенія какою-нибудь общественною идеею, жертвуя ей всѣми благами жизни. Наконецъ, во всѣхъ нихъ замѣчательна одна типическая черта: любовь стоитъ у нихъ постоянно на послѣднемъ планѣ; онѣ словно тяготеютъ ея; мужчина, который имѣетъ несчастье полюбить ихъ, если не отвергается ими, то во всякомъ случаѣ дѣлается ихъ рабомъ; онѣ помыкаютъ имъ, какъ механическимъ орудіемъ для исполненія своихъ мечтательно-широкихъ замысловъ.

Такова передъ нами Полина въ своихъ отношеніяхъ къ страстно любящему ее брату подруги ея.

«Вы чѣмъ пожертвуете? спросила она у моего брата, повѣствуетъ разсказщица.—Я не владѣю еще моимъ имѣніемъ, отвѣчалъ мой повѣса. У меня всего-на-все 30,000 долгу, приношу ихъ въ жертву на алтарь отечества». Полина разсердилась. «Для нѣкоторыхъ людей» сказала она: «и честь, и отечество—все бездѣлица. Братя ихъ умирать на полѣ сраженія, а они дурачатся въ гостиницахъ. Не знаю, найдется-ли женщина, довольно низкая, чтобы позволить такимъ фиглярамъ притворяться передъ нею въ любви».

Произошла ссора, и молодые люди помирились лишь тогда, когда молодой повѣса вступилъ въ полкъ. Отправляясь на мѣсто дѣйствія, онъ предложилъ ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свою свадьбу до конца войны.

Вскорѣ послѣ того началось оближеніе ея съ графомъ Синекуромъ, однимъ изъ четырехъ плѣнныхъ французовъ, которыхъ отецъ Полины помѣстилъ въ ихъ домъ. «Ему было тогда 26 лѣтъ; онъ принадлежалъ хорошему дому. Лице его было приятно, тонъ очень хорошій; мы тотчасъ отличили его. Ласки принималъ онъ съ благородною скромностью. Онъ говорилъ мало; но рѣчи его были основательны. Полинѣ онъ понравился тѣмъ, что первый могъ ясно ей истолковать военные движенія и движенія войскъ. Онъ успокоилъ ее, удовлетворивъ, что отступленіе русскихъ войскъ было не безсмысленный побѣгъ и столько-же беспокоило Наполеона, какъ и ожесточало русскихъ.—«Да вы, спросила его Полина, развѣ вы неубѣждены въ непобѣдимости вашего императора? Синекуръ (назову-жъ и его именемъ, даннымъ ему г. Загоскинымъ), Синекуръ нѣсколько помолчалъ, отвѣчалъ, что въ его положеніи откровенность была-бы затруднительна. Полина настоятельно требовала отвѣта. Синекуръ признался, что стремленіе французскихъ войскъ въ сердце Россіи могло сдѣлаться для нихъ опасно, что походъ 1812 года, кажется, конченъ, но не представляетъ ничего рѣшительнаго. «Конченъ! возразила Полина, а Напо-

леонъ все еще идетъ впередъ, а мы все отступаемъ».—«Тѣмъ хуже для насъ», отвѣчалъ Синекуръ, и заговорилъ о другомъ предметѣ.

Своими основательными сужденіями Синекуръ производилъ на Полину тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, что отъ своего жениха получала она письма, въ которыхъ толку невозможно было добиться; они были наполнены шутками умными и плохими, вопросами о Полинѣ, пошлыми увѣреніями въ любви и проч. Полина, читая ихъ, досадовала и пожимала плечами. «Признайся, говорила она подругѣ, что твой Алексѣй препустой человѣкъ. Даже въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ, съ поля сраженія, находить онъ способъ писать ничего незначащія письма; какова-же будетъ мнѣ его бесѣда въ тихой семейственной жизни?»

Она примирилась съ пошлостью своего жениха, только когда его убили въ Бородинскомъ сраженіи, и даже огорчилась его смертію. «Она не была влюблена въ брата,—повѣствуетъ разсказщица,—и часто на него досадовала, но въ эту минуту видѣла она въ немъ мученика, героя, и оплакивала въ тайнѣ отъ меня. Нѣсколько разъ я заставляла ее въ слезахъ. Это меня не удивляло; я знала, какое болѣзненное участіе принимала она въ судьбѣ страждущаго нашего отечества. Я не подозрѣвала еще, что было причиною ея горести».

Но во всемъ величіи своего энтузіазма, во весь свой нравственный ростъ, если можно такъ выразиться, выступаетъ передъ нами Полина въ заключительной сценѣ разсказа, при извѣстіи о пожарѣ Москвы. Сцена эта происходила въ саду, гдѣ были Синекуръ и разсказщица, когда къ нимъ быстрыми шагами подошла Полина.

«Блѣдность ея меня поразила, повѣствуетъ разсказщица:—«Москва взята! сказала она мнѣ, не отвѣчая на поклонъ Синекура. Сердце мое сжалось, слезы потекли ручьемъ. Синекуръ молчалъ, потупилъ глаза».

«Благородные, просвѣщенные французы, продолжала она голосомъ, дрожащимъ отъ негодованія, ознаменовали свое торжество достойнымъ образомъ. Они зажгли Москву—Москва горитъ уже два дня.—«Что вы говорите, закричалъ Синекуръ, не можете быть!»—«Дождитесь ночи, отвѣчала она сухо, можете быть увидите зарево».—«Боже мой! Онъ погибъ, сказалъ Синекуръ; какъ? развѣ вы не видите, что пожаръ Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону нигдѣ нечѣмъ будетъ держаться, что онъ принужденъ будетъ скорѣе отступить сквозъ разоренную, опустѣвшую дорожку, съ войскомъ разстроеннымъ и недовольнымъ? И вы могли думать, что французы сами набрали себѣ адъ: русскіе, русскіе зажгли Москву!—Теперь все рѣшено: ваше отечество вышло изъ опасности; но что будетъ съ нами, что будетъ съ нашимъ императоромъ?»

«Онъ оставилъ насъ. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, сказала она, Синекуръ правъ, и пожаръ Москвы—нашихъ дѣло? Если такъ... О, мнѣ можно гордиться именемъ россиянки! Вселенная изумится великой жертвѣ! Теперь и паденіе наше мнѣ не страшно,—честь наша спасена; никогда Европа не осмѣлится уже бороться съ народомъ, который рубитъ самъ себѣ руки и жжетъ свою столицу».

Глаза ея такъ и блистали, голосъ такъ и звенѣлъ. «Ты знаешь? сказала мнѣ Полина съ видомъ вдохновеннымъ: твой братъ... онъ счастливъ; онъ не въ плѣну—радуйся; онъ убилъ за спасеніе Россіи». Я вскрикнула и упала безъ чувствъ въ ея объятія».

Мы нисколько не удивляемся, что Пушкинъ изобразилъ подобный типъ. Онъ навѣрно не одну подобную героиню видѣлъ въ числѣ женъ своихъ друзей, тѣхъ самыхъ знаменитыхъ женъ, которыя въ то время, какъ поэтъ писалъ свой рассказъ, раздѣляли уже далекую ссылку своихъ мужей;—удивительно, что критика наша и до сихъ поръ не обмолвилась ни однимъ словомъ объ этомъ замѣчательномъ типѣ, достойномъ занимать первое мѣсто въ ряду типовъ русскихъ женщинъ. Такъ Бѣлинскій, останавливаясь подробно на женскихъ типахъ романа „Евгеній Онѣгинъ“—Татьянѣ и Ольгѣ и считая Татьяну лучшею женщиною, какая только мыслима въ нашей жизни, совершенно упустилъ изъ виду Полюну, да и вообще „Рославлева“ онъ пропустилъ молчаніемъ, вѣроятно изъ того предубѣжденія, которое онъ питалъ ко всѣмъ повѣстямъ Бѣлкина. Добролюбовъ, разбирая тургеневскую Елену въ „Наканунѣ“, въ свою очередь совершенно, повидимому, игнорировалъ, что типъ Елены не впервые является въ нашей литературѣ въ романѣ Тургенева, что онъ имѣетъ своего предшественника и въ лицѣ Полины является изображеннымъ еще болѣе совершенно и гениально.

Мы не будемъ долго останавливаться на прочіихъ историческихъ романахъ Загоскина, такъ какъ въ первыхъ двухъ романахъ своихъ авторъ выразился вполне, и мы достаточно познакомились съ нимъ при характеристикѣ этихъ романовъ. Въ послѣдующихъ же своихъ произведеніяхъ этого рода Загоскинъ не только не подвинулся впередъ и не обнаружилъ какихъ-нибудь новыхъ достоинствъ или сторонъ своего таланта, но напротивъ того, съ каждымъ романомъ являлся передъ читателемъ все рутиннѣе, блѣднѣе и безцвѣтнѣе.

Такъ, въ 1833 году Загоскинъ напечаталъ новый историческій романъ въ 3-хъ частяхъ подъ заглавіемъ „Аскольдова могила, повѣсть временъ Владиміра перваго“. Уже одно заглавіе этого романа показываетъ, какъ легкомысленно относился къ исторіи нашъ первый историческій романистъ. Въ самомъ дѣлѣ, писать историческій романъ изъ такой мнѣстической эпохи, какъ эпоха Владиміра Святого, имѣлъ право только такой компетентный ученый, который до тла изучилъ археологію, сравнительную славянскую мнѣологию и Византійскія древности девятого вѣка; да и такой ученый подумалъ-бы, есть-ли возможность хоть приблизительно вѣрно изобразить такую темную иполубаснословную эпоху. Загоскинъ-же, безъ долгихъ размышленій и какихъ-бы то ни было сомнѣній, вооружился первымъ томомъ Карамзина и Сборникомъ былинъ Кириши и ровно въ такое-же количество времени, какое употребилъ онъ на каждый изъ предыдущихъ романовъ, т. е. въ два года, написалъ свою „Аскольдову могилу“.

Карамзинъ не замедлилъ оказать свое вліяніе на Загоскина. Такъ мы видимъ, что въ романѣ Загоскина, въ девятомъ вѣкѣ уже простые кievскіе рыбаки, преспокоенные такого-же пламеннаго патріотизма, какъ и москвичи въ 1812 г., представляли уже Рос-

сію могучимъ и цѣльнымъ государствомъ, а Владиміра доблестнымъ единодержавнымъ царемъ ея. Такъ, въ первой-же главѣ является къ этимъ рыбакамъ какой-то неизвѣстный, оказавшійся потомъ главнымъ мелодраматическимъ злодѣемъ романа, и начинается возмущать ихъ противъ Владиміра, говоря о счастливыхъ старыхъ временахъ, когда Русью правили князья Аскольдъ и Диръ. Когда неизвѣстный упиливаетъ на лодкѣ, между рыбаками происходитъ такая сцена:

— А что, парень, прервалъ дѣтина съ рыжей бороною, вѣдь этотъ долговязый себѣ на умѣ! И впрямь, житье-то наше незавидное. Эхъ, кабы воля, да воля! чтобы намъ хоть одного проклятаго матальника покупать въ Днѣпрѣ?

— А тамъ добрались-бы и до всѣхъ? прервалъ старикъ. И алыхъ, и добрыхъ — топи всѣхъ сразу! Нѣтъ, ребятушки! Какъ у нашего брата руки расходятся, такъ и воля будетъ хуже неволи.

— Да за чтожъ, дѣдушка, въ старину-то насъ никто не обижалъ?

— Право! Да вы никакъ въ самомъ дѣлѣ повѣрили этому краснобаю? Эхъ, дѣтушки! Я два вѣка изжилъ, такъ лучше повѣрите мнѣ, старику. Бывало и худо, что грѣхъ таить: и при бабушкѣ нашего государя, премудрой Ольгѣ, алые господа народъ обижали, и при сынѣ ея Святославѣ Игоревичѣ. Коли безъ того! Вѣдь одному за всѣми не усмотрѣть. И то говорить—и при нашемъ батюшкѣ, Великомъ князѣ, подъ часъ бываетъ со всячинойю. Да чтожъ дѣлать, ребятушки? видно ужъ свѣтъ на томъ стоитъ!

— Да о какомъ-же онъ все толковалъ Аскольдѣ, дѣдушка?

— Неужели не знаешь? Ну, вотъ, что похороненъ тамъ... близъ моста Угорскаго подъ самою рѣкою.

— А кто онъ былъ таковъ?

— Прахъ его знаетъ! Такъ, какой-нибудь ледащій князюшка. Чай, въ его время лѣтний не обижалъ Кіевъ. То-ли дѣло теперь, и подумай-то никто не смѣетъ. Вотъ недавно завозникъ было Ятвяги, да Радимичи: много взяли! Лишь только нашъ удалой князь брови нахмурилъ, такъ они мѣста не нашли! Что тутъ говорить,—продолжалъ старикъ съ возрастающимъ жаромъ. Да бывалъ-ли на Руси когда-нибудь такой могучій Государь? да леталъ-ли когда по поднебесью такой ясный соколъ, какъ нашъ батюшка Владиміръ Святославичъ?..

— Правда, правда! — закричали почти всѣ рыбаки.

— А какъ выйдетъ нашъ кормилецъ, — промолвилъ одинъ изъ нихъ—на борзѣмъ конѣ своемъ, впереди своихъ удалыхъ витязей—что за молодецъ таковой! Такъ, глядя на него, сердце запрыгаетъ отъ радости.

— Да какъ сердцу и не радоваться,—подхватилъ другой—вѣдь онъ нашъ родной! Ему честь—намъ честь.

— Эхъ, ребята! вскричалъ третій, напрасно мы не связали этого разбойника. Лѣтшій его знаетъ, кто онъ таковъ! Уже не Ятвяги-ли его подослали и т. д.

Или, еще того лучше, лѣсной пустынникъ Алексѣй слѣдующими словами укоряетъ своего преступнаго брата, все того-же неизвѣстнаго, желающаго погубить Владиміра и съ этою цѣлію призвать Печенѣговъ:

— Нѣтъ! не кормилецъ тотъ земли русской, кто предастъ ее во власть враговъ! *Владыка слышитъ любовь своихъ подданныхъ*; и горе имъ, если онъ долженъ прибѣгать подъ защиту иноплемennыхъ. *Тогда только блаженствуетъ страна, когда царь и народъ, какъ душа и тѣло, неразлучны между собою.* И неужели ты думаешь, что призванные тобою Печенѣги, истребивъ войско Владиміра, удовольствуются



временною данью и удалится спокойно отъ предѣловъ нашихъ? О, нѣтъ! ты знаешь самъ, что эти хищные авѣры покроютъ пепломъ всю землю русскую; уведутъ въ неволю женъ и дѣтей нашихъ; запрудятъ широкій Днѣпръ трупами беззащитныхъ поселенъ, и до тѣхъ поръ не покинуть Кіева, пока развалины его не поростутъ травою. Несчастный! иль не довольно еще ты собралъ проклятій на главу свою? Ты *никогда любилъ отечество, ты съ гордо-стью называлъ себя русскимъ!* Подумай, что готовишь ты для своей родины?.. Если Печенѣги не разорятъ до конца Кіева, то пощадятъ-ли его сосѣдніе народы? Не слетятся-ли надъ его трупомъ, какъ алчные воршуну, Ятвяги, Радимичи, Литва и Хорваты? Отвѣтствуй мнѣ! Спасетъ-ли тогда неопытный юноша иль рабства и вѣчной гибели растерзанное врагами, смутами и междоусобіями, влосчастное *Царство Русское!*

Какъ вамъ нравится подобная тирада, уснащенная словами въ родѣ отечество, русское царство, поданные и т. п. въ устахъ современника Владиміра, когда слово Русь, по всей вѣроятности, употреблялось еще, какъ названіе племени или княжеской дружины, когда вѣсто какого-бы то ни было царства только и было на Руси, что два княжества — Новгородское и Кіевское, — что-же касается до такихъ словъ, какъ *отечество, родина*, то навѣрное они совсѣмъ не существовали еще, и каждый отдѣльный человѣкъ считалъ себя принадлежащимъ не русскому государству, а такому-то городу или селу.

Вотъ какова „исторія“ въ „Аскольдовой могилѣ“. За то сказочному элементу здѣсь не было ни малѣйшаго удержа, и онъ могъ разыгрываться на полномъ просторѣ, какъ объ этомъ говоритъ и самъ авторъ въ началѣ первой главы: „пусть называютъ мой рассказъ баснею: тамъ, гдѣ безмолвствуетъ исторія, гдѣ вымыселъ сливается съ истинною, довольно одного преданія для того, кто не ищетъ славы дѣписателя, а желаетъ только забавлять русскихъ рассказами объ ихъ отечествѣ“. Впрочемъ, надо признаться, что сюжетъ романа во многомъ уступаетъ сюжету „Юрія Милославскаго“; онъ слишкомъ грубо мелодраматиченъ, и къ тому-же Загоскинъ кое въ чемъ повторяется: такъ Торопка-Голованъ напоминаетъ собою запорожца Киршу, варягъ Фрелафъ — пана Капуцинскаго.

Подобно „Рославлеву“, „Аскольдова могила“ выдержала два изданія; но этимъ и ограничивается сходство въ судьбѣ этихъ двухъ романовъ, — далѣе затѣмъ начинается различіе. „Рославлевъ“, передѣланный въ драму кн. Шаховскимъ, не имѣлъ успѣха, въ то время, какъ „Аскольдова могила“, передѣланная самимъ Загоскинымъ въ оперу, затмила собою романъ, благодаря какъ сценичности либретто, такъ и талантливой музыкѣ А. Н. Верстовскаго. Довольно сказать, что поставленная въ первый разъ на сцену 16 сентября 1835 года, опера 50 лѣтъ существуетъ уже на сценѣ, не утрачивая своего обаянія на публику.

Позднѣйшіе романы Загоскина относятся уже къ 40-мъ годамъ. Такъ въ 1842 году явился въ свѣтъ романъ его въ 4 частяхъ — „Кузьма Петровичъ Мирошевъ, русская быль временъ Екатерины II“, выдержавшій, въ свою очередь, два изданія. Собственно говоря, романъ этотъ, если судить строго, нельзя от-

нести къ историческимъ, такъ какъ эпоха XVIII вѣка рисуется въ немъ самыми общими и блѣдными чертами. Такой-же самый скромный Мирошевъ со своимъ скромнымъ романомъ, могъ-бы существовать и въ 40-хъ годахъ, исключая развѣ только эпизода обѣда у вельможи Екатерининскихъ временъ. Тѣ открытыя пиршества, на которыя можно было приходить съ улицы кому угодно и которыми задавали екатерининскіе сановники, безспорно составляютъ характеристическую черту 18-го вѣка; но эту одну единственную историческую черту только и можно найти во всемъ романѣ.

Затѣмъ въ 1846 году былъ напечатанъ романъ „Брынскій дѣсъ, эпизодъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго“. Романъ этотъ запутанностью и сказочностью интриги, основанной на томъ, что героиня оказывается похищенною въ дѣтствѣ и воспитанною совсѣмъ въ другой семьѣ, и лишь въ концѣ романа узнаетъ своихъ настоящихъ родителей, — напоминаетъ нѣсколько „Юрія Милославскаго“, но публику второй половины 40 годовъ нельзя уже было уловить одною сказочною интригою. Эта публика привыкла уже къ натурализму Гоголя, и прошла сквозь школу критическихъ статей Бѣлинскаго; она требовала уже простыхъ, естественныхъ и реальныхъ сюжетовъ. Историческій-же элементъ романа, по обыкновенію, крайне слабъ и блѣденъ; авторъ и здѣсь обходитъ крупныя событія эпохи, и, излагая ихъ въ краткихъ перечняхъ, все вниманіе читателей обращаетъ на изображеніе сентиментально-приторной любви своихъ героевъ. Желая изобразить эпоху во всѣхъ ея элементахъ, Загоскинъ, между прочимъ, выставилъ въ своемъ романѣ нѣсколько типовъ раскольниковъ, но всѣ они вышли у него слишкомъ ужъ мрачными и нетерпимыми изувѣрами, скроенными по одному рутинному и стереотипному шаблону, показывающему, что онъ имѣлъ очень поверхностныя свѣдѣнія о значеніи раскола на Руси и о его внутреннемъ характерѣ. Какъ-бы то ни было, въ средней публикѣ романъ все-таки имѣлъ успѣхъ на столько, что выдержалъ три изданія.

Наконецъ, послѣдній романъ Загоскина „Русскіе въ началѣ восемнадцатаго столѣтія, рассказъ изъ временъ единодержавія Петра I-го“ былъ изданъ уже въ 1848 году. Здѣсь рисуется эпоха Петра во всемъ разгарѣ реформъ. Загоскинъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы изобразить эту эпоху во всей пестротѣ ея элементовъ: тутъ передъ вами предстаютъ и молодые приверженцы новыхъ порядковъ съ ихъ ломаннымъ языкомъ, уснащеннымъ иностранными словами, и стародумы съ ихъ упорнымъ коснѣніемъ въ обычаихъ старины и тайными заговорами, и ассамблеи, и нѣмецкіе генералы, и самъ Петръ, наконецъ, въ самую роковую минуту своего царствованія, въ плѣну на рѣкѣ Прутѣ, — но нѣтъ одного: того гениально-поразительнаго умѣнія двумя-тремя тонкими и живыми чертами совершенно перенести васъ въ историческую эпоху, какое мы нашли въ „Арапѣ Петра“ Пушкина. Все это выходитъ у Загоскина, хотя на этотъ разъ и исторически вѣрно, но какъ-то аляповато, лубочно и поверхностно. — Нѣтъ ничего мудренаго, что романъ не имѣлъ успѣха. Публикѣ, очевидно, крайне уже при-

ѣлись въ то время историческіе романы, особенно-же изъ эпохи Петра, которыми успѣлъ набить ей оскомину Н. Кукольникъ. Къ тому-же сюжетъ романа казался слишкомъ простымъ и бѣднымъ для читателей, любящихъ сказочныя интриги, а для высокоинтеллигентной публики этотъ самый сюжетъ показался на-противъ того слишкомъ вычурнымъ и неестественнымъ, особенно въ концѣ романа, гдѣ герой отличается необыкновеннымъ великодушіемъ, являясь спасителемъ отъ заслуженной кары своего соперника, котораго онъ считалъ мужемъ своей возлюбленной, ну и, конечно, очень обрадовался, узнавши, что героиня еще не замужемъ и что спасти соперника не для чего.—Было очень странно уже читать любовныя объясненія въ сентиментальномъ карамзинскомъ стилѣ въ концѣ сороковыхъ годовъ, когда на литературную арену выступили уже и Гончаровъ, и Тургеневъ, и Достоевскій, и Григоровичъ. Пѣсенка Загоскина очевидно была уже слѣта.

## V.

Происхождение и дѣтство И. И. Лажечникова.—Его воспитаніе.—Первые литературные опыты.—Предварительная служба.—Участвіе въ войнѣ 1812—1815 гг.—Первая историческая повѣсть «Малиновка».—Служба подъ начальствомъ Магницкаго.—Оближеніе съ Бѣлинскимъ.

Рядомъ съ именемъ Загоскина, въ тѣсной и неразрывной связи, ставятъ всегда имя другого романиста, считающагося въ свою очередь основателемъ русскаго историческаго романа,—Ивана Ивановича Лажечникова, хотя по правдѣ сказать Загоскинъ только и имѣетъ общаго съ Лажечниковымъ, что оба они почти въ одно время начали писать историческіе романы; а затѣмъ ни въ чемъ они не сходятся: ни въ степени ихъ талантовъ, ни въ образованности, ни въ происхожденіи и обстоятельствахъ жизни, ни въ характерѣ ихъ романовъ.

И. И. Лажечниковъ происходилъ изъ купеческаго рода. Отецъ его былъ богатѣйшій коломенскій хлѣботорговецъ, коммерціи совѣтникъ, одинъ изъ первыхъ воротилъ въ своемъ родномъ городѣ Коломенѣ, унаследовавшій отъ своего отца богатое наслѣдство. Домъ его въ городѣ поражалъ своимъ великолѣпіемъ. „Домъ этотъ, повѣствуетъ Лажечниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ о 12-мъ годѣ: славился роскошью своего убранства: вездѣ паркетъ изъ краснаго, чернаго, пальмоваго дерева, мраморъ, штофъ... Въ немъ отецъ мой угощалъ великолѣпныхъ сыновъ кончавшагося вѣка

Изъ станъ славной

Екатерининскихъ орловъ,

и угощалъ великолѣпно, не ударялъ лицомъ въ грязь передъ важными господами, не брезгавшими водить хлѣбъ-соль съ купцомъ. Онъ жилъ, вообще, какъ богатые дворяне того времени. И чтобы совсѣмъ походить на нихъ, онъ купилъ себѣ даже помѣстье въ 23 верстахъ отъ Коломны, „Красное Сельцо“. Помѣстье это было куплено на нѣя хорошаго пріятеля Лажеч-

никова, московскаго губернатора Обрѣзкова, на чужое имя, какъ мы полагаемъ, потому, что купцамъ въ то время было воспрещено покупать населенныя имѣнія“....

«Во время цвѣтущаго положенія дѣлъ, говорится въ автобіографіи, читанной О. Ливановымъ на пятидесятилѣтнемъ юбилей Лажечникова:—Красное Сельцо было настоящимъ Эльдорадо того времени. Туда стекались дворяне уѣзда на приманку вкусныхъ обѣдовъ съ аршинными стерлядями, пойманными въ собственныхъ прудахъ, и двухфунтовыми грушами, только что сорванными въ своихъ оранжереяхъ. Все это приправляли радушіе, умъ, любезность хозяина и красота хозяйки, истовой красавицы своего времени. Офицеры Екатеринбургскаго кирасирскаго полка, стоявшаго въ окрестности, толпились каждый день у гостепріимнаго амфітріона. Трехъ-этажный домъ и такой же флигель не могли вмѣстить на сонъ грядущій посѣтителей. Губернаторы, ѣздившіе ревизовать губернію, дѣлали нѣсколько верстъ кроку по проселочной дорогѣ, чтобы откупать хлѣба-соли у радушнаго помѣщика-купца. Порядочный оркестръ домашнихъ музыкантовъ во время обѣдовъ услаждалъ слухъ гостей увертюрами изъ тогдашнихъ модныхъ оперъ».

Но не одной роскошною внѣшностью подражалъ отецъ Лажечникова дворянамъ, а также и по своему образованію онъ значительно выдѣлялся изъ своихъ собратьевъ-купцовъ. „Надо прибавить, говоритъ Лажечниковъ о своемъ отцѣ въ своемъ автобіографическомъ романѣ „Вѣленскіе, черненькіе и сѣренькіе“,—что онъ имѣлъ врожденное стремленіе къ образованію себя. Случай развилъ еще болѣе эту склонность. Въ одну изъ частыхъ поѣздокъ своихъ въ разные предѣлы Россіи, которыя онъ всякій годъ совершалъ по торговымъ дѣламъ, познакомился онъ гдѣ-то съ *какимъ-то юсуповымъ* Новиковымъ. Новиковъ полюбилъ молодого человѣка, бесѣдовалъ съ нимъ часто о благахъ, доставляемыхъ просвѣщеніемъ, и снабдилъ его спискомъ всѣхъ книгъ и журналовъ, какіе только были изданы на русскомъ языкѣ. Молодой куличикъ не замедлилъ купить эти книги и читалъ ихъ съ жадностью“...

Эта начитанность отца Лажечникова повела за собою два послѣдствія: во-первыхъ, въ домѣ его царствовали ненарушимыя благочиніе, приличіе и гуманная кротость въ обращеніи съ домочадцами и слугами, что составляетъ большую рѣдкость въ купеческихъ домахъ, даже и до сего дня. А во-вторыхъ, чувствуя себя выше всѣхъ согражданъ по своему образованію, гордясь, въ то же время, своею честностью и прямою, —отецъ Лажечникова отличался необузданною острою и колкостью своего языка; при чемъ остроіе его, попадая не въ бровь, а въ самый глазъ, создавалъ ему множество враговъ среди людей важныхъ, такъ какъ, не ограничиваясь своими согражданами, онъ отпускалъ колкости и на счетъ городскихъ властей. Такъ, наприимѣръ, городничаго, который состоялъ въ амурахъ съ одной отпѣвтающей графиней, жившей въ окрестностяхъ города, и потому вѣчно пропадавалъ въ имѣніи ея и весьма мало заботился о городскихъ дѣлахъ, онъ прозвалъ уязвимымъ городничимъ, и кличка эта такъ и осталась за нимъ. Мало этого: по словамъ Лажечникова, онъ „иной разъ такъ сѣло выражался о разныхъ важныхъ предме-

тахъ и лицахъ, что у трусливаго человѣка, слушаваго его, волосы дыбомъ становились“.

Все это сходило старику, благодаря богатству его и связямъ, а главное дѣло мягкимъ и снисходительнымъ правамъ эпохи Екатерины. Но когда насталъ суровый и строгій режимъ царствованія Павла Петровича, ему пришлось жестоко поплатиться за свое вольномысліе. Однажды отпустилъ онъ какую-то остроу на счетъ высокопоставленнаго коломенскаго духовнаго лица. Священникъ, обучавшій дѣтей Лажечникова русскому языку, счелъ своимъ священнымъ долгомъ передать духовному сановнику *bon mot* Лажечникова, а тотъ, воспылавши гнѣвомъ, недолго думая отнесся въ Петербургъ съ жалобою на Лажечникова, какъ на несомнѣннаго якобинца. И вотъ неожиданно въ глухую ночь домъ Лажечниковыхъ былъ разбуженъ страшнымъ стукомъ, шумомъ и звономъ колокольчиковъ на дворѣ. Поднялась суматоха, и „вслѣдъ затѣмъ, пишетъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи, я увидѣлъ рыдающую мать мою, прощаніе ея съ отцомъ, благословеніе его дрожащею рукою надо мной и братомъ моимъ. На дворѣ стояли три таинственныя тройки, запряженныя въ рогожевыя кибитки. При нихъ были какіе-то солдаты. Въ одну кибитку посадили моего отца, въ другую гувернера *Monsieur Beauclieu*, въ третью священника, нашего русскаго учителя; казалось ихъ увезли въ вѣчность. Вслѣдъ затѣмъ слышны были только перешептыванія, рыданія матери и причитанія женской прислуги. Въ этомъ прошествіи никто ничего не могъ понять. Дядька мой Ларивонъ угрюмо молчалъ, нянька Домна усердно молилась и приказывала мнѣ молиться“.

Собравши по возможности больше денегъ и взявъ обоимъ сыновей своихъ, Лажечникова на слѣдующій же день отправилась по слѣдамъ мужа въ сопровожденіи преданнаго слуги своего Ларивона. „По пріѣздѣ въ Москву, говоритъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи, мы отправились въ тайную канцелярію, находившуюся на углу Мясницкой и Лубянской площади, что нынѣ домъ московской духовной консисторіи. Здѣсь какой-то генералъ дозволилъ намъ свиданіе съ плѣнникомъ. Мы простились съ нимъ, не зная, увидимъ-ли его когда-нибудь. По дальнѣйшимъ свѣдѣніямъ извѣстно намъ стало, что узника посадили въ Петропавловскую петербургскую крѣпость и отобрали у него ножи и вилки“.

Походатайству жены за узника взялись усердно хлопотать приближенные императору Павлу лица, Куракинъ и Лобановъ-Ростовскій. Воспользовавшись тѣмъ, что въ день Михаила Архангела, въ сентябрѣ, Павелъ Петровичъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа, они осмѣлились доложить ему и убѣдить императора, что коломенскаго купца оклеветали напрасно. Имъ повѣрили, и Лажечниковъ былъ освобожденъ. Доносчика же священника перевели въ Тульскую губернію на низшее мѣсто и онъ вскорѣ сошелъ съ ума. День Михаила Архангела сталъ священнымъ въ семействѣ Лажечниковыхъ. Каждый годъ онъ праздновался самымъ торжественнымъ образомъ. Катастрофа эта не прошла даромъ Лажечниковымъ. Не говоря уже о томъ, что не малыхъ денегъ стоили имъ хлопоты и ходатайства объ освобожденіи главы дома, торговля

дѣла ихъ оказались сильно запущенными за время его отсутствія. Съ каждымъ годомъ послѣ того благосостояніе ихъ начало клониться къ упадку, а въ 1811 г., вслѣдствіе нѣкоторыхъ торговыхъ неудачъ, дошло дѣло до того, что для спасенія отъ банкротства пришлось распродать все недвижимое имущество.

Но это случилось, когда нашему будущему романисту было уже 19 лѣтъ. Когда же онъ родился, 14 сентября 1792 г., родительскій домъ представлялъ еще изъ себя полную чашу, и ничто не смущало безмятежнаго дѣтства будущаго романиста. Первымъ воспитателемъ его былъ приставленный къ нему дядькою, вышеупомянутый Ларивонъ, человѣкъ большой душевной чистоты и мягкости, никогда не позволявшій себѣ грубаго слова. Воспитанникъ „не видалъ отъ него сердитаго толчка, не только розги (которая, правда, ни отъ кого никогда не была на малюткѣ); никогда бранное слово не вырывалось изъ устъ воспитателя, а если нужно было сдѣлать выговоръ, такъ это дѣлалось во имя стыда. — „Эхъ! какъ вамъ не стыдно, Иванъ Ивановичъ!—говаривалъ онъ въ минуты крайней необходимости, когда видѣлъ непростительную шалость своего питомца: — этого и бурлакъ не сдѣлаетъ“.

„Я учился, говоритъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи, сначала русской грамотѣ у священника. Когда мнѣ минуло шесть лѣтъ, взяли къ намъ въ домъ гувернера *Monsieur Beauclieu*, французскаго эмигранта, не походившаго на своихъ собратовъ-проходимцевъ. Онъ получилъ образованіе въ Страсбургскомъ университетѣ, зналъ основательно французскій и нѣмецкій языки, на русскомъ изъяснялся чисто, но ученымъ нельзя было его называть. Къ намъ въ домъ поступилъ онъ, кончивъ воспитаніе дѣтей въ домѣ князей Оболенскихъ, по рекомендаціи знаменитаго подвижника русскаго просвѣщенія въ Россіи — Новикова, которому, сколько могу сообразить, былъ братъ по масонству. Всегда неукоризненно одѣтый во французскій кафтанъ коричневаго цвѣта, съ косою и бантомъ за плечами, являлся онъ къ общему столу и ученію. Манеры его были просты, но изобличали въ немъ дворянина до республиканскихъ временъ, доброту, не доходившую, однакожъ, до слабости. Старшій братъ мой, учившій у него, любилъ его, какъ втораго отца. Память о немъ до сихъ поръ съ глубокою благодарностью сохраняется въ сердцѣ моемъ. Никогда не видалъ я надъ собою розогъ, и все наказаніе учебное ограничивалось у насъ ставленіемъ за обѣдомъ въ уголъ, каковое наказаніе огорчало меня до обильныхъ слезъ“.

Выставляя этого самого *Monsieur Beauclieu* подъ именемъ Ришара въ своемъ романѣ „Немного лѣтъ назадъ“, Лажечниковъ восторженно говоритъ о своемъ наставникѣ, что не имѣя глубокихъ познаній въ наукахъ, онъ, однакожъ, умѣлъ передать ученику всѣ свои познанія и, что дороже всякихъ знаній, любовь ко всему прекрасному и благородному и ненависть къ угнетенію и несправедливости.

„Вмучившись читать по русски,—говоритъ далѣе Лажечниковъ въ своей автобіографіи,—я съ жадностью бросился на книги и перебралъ всю бібліотечку отца моего, въ которой, сколько припомнить могу, нашелъ „Всемирный путешественникъ“, сочиненія Ломоносова и все, что издано было по русской литературѣ до того времени. Когда я хорошо ознакомился съ французскимъ языкомъ и порядочно съ нѣмецкимъ, моя литературная жажда была обиль-

нѣе; мало по малу, съ физическимъ и умственнымъ ростомъ моимъ, я сталъ читать на французскомъ языкѣ сочиненія аббата де-Сенъ-Пьера, Эмили Руссо, трагедіи Вольтера и Расина, Тацита, Тита Ливія во французскомъ переводѣ, кажется, Лерминье, Шиллера на нѣмецкомъ языкѣ и др.; говорю только о любимыхъ моихъ писателяхъ. Въ это время, еще будучи четырнадцати лѣтъ, я возымѣлъ сильную охоту къ сочинительству и сдѣлалъ на французскомъ языкѣ описаніе Мягкого Кургана, что по дорогѣ изъ Москвы въ Коломну; пятнадцати лѣтъ сочинилъ на томъ-же языкѣ стихотвореніе, а 16 лѣтъ написалъ: «Мысли въ подражаніе Лабрюйеру», и послалъ статью эту въ «Вѣстникъ Европы», издававшийся тогда Каченовскимъ. Редакторъ, не подозревая въ авторѣ мальчика, напечаталъ статью въ своемъ журналѣ, а такъ какъ я громилъ въ одной фразѣ тирановъ, то онъ сдѣлалъ на нее собственноручное замѣчаніе».

По правдѣ сказать, мысли эти вполнѣ ребяческія, подѣ статью пятнадцати-лѣтнему мальчику, и мы приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ для того только, чтобы читатели могли видѣть, какія дѣтскія сочиненія находили себѣ мѣсто на страницахъ лучшихъ журналовъ начала нашего столѣтія:

«Гордость,—размышляетъ юный Лажечниковъ:—разумъ, благородная—должна быть видна и въ монархѣ, и въ народѣ, для того чтобы заставить себя уважать и страшиться,—въ бѣдномъ и несчастномъ челоѣкѣ, для того, чтобы заставить почитать добродѣтель и въ рубищѣ...»

«Кто не былъ несчастливъ, не знаетъ, что есть истинно наслаждаться счастьемъ; кто не видалъ ужасовъ бури, не ощущаетъ живого удовольствія въ ясную погоду; кто не былъ палимъ солнечнымъ зноемъ, не знаетъ, что есть прохлада тѣнистой рощицы и свѣжія струи ручейка кристальнаго!...»

«Когда безсмысленные мальчишки бросаютъ въ меня камнями, что долженъ я дѣлать?—Бѣжать отъ нихъ и спрятаться за высокимъ заборомъ...» и т. д.

А вотъ то самое размышленіе, въ которомъ Лажечниковъ, по словамъ его, громилъ тирановъ:

«Какое различіе между женщиною и царемъ персидскимъ?—Деспотическое правленіе первой основано на законахъ природы—то есть красоты, добродѣтели; а второго—на законахъ, установленныхъ съ одной стороны жестокостью, съ другой—страхомъ. Какъ пріятна и сладостна неограниченная власть первой, ибо она «связываетъ смертныхъ узми любви!—Какъ несносно безпредѣльное могущество второго, ибо оно оковываетъ подданныхъ тяжкими цѣпами тиранства!...»

Вотъ это размышленіе и вызвало со стороны Каченовскаго слѣдующее примѣчаніе:

«Неограниченная, во зло употребляемая власть женщины столь-же несносна, какъ и безпредѣльное могущество персидскаго царя, во зло имъ употребляемое (все курсивы Каченовскаго). Люди уже наслаждались счастьемъ, живучи подѣ властью отеческою, на взаимной довѣренности и правителя, и управляемыхъ основанною, прежде нежели пришло имъ на мысль писать общественныя договоры».

Между прочими своими наставниками и лицами, оказавшими вліяніе на его умственное развитіе, упоминаетъ Лажечниковъ (въ своемъ романѣ «Вѣленіе, черненькіе и сѣренькіе») и того самаго городничаго, котораго отецъ его заклеилъ клечкою «уѣзднаго».

«Уѣздный городничій,—говоритъ онъ,—ласкалъ Ваню и имѣлъ отчасти вліяніе на его воспитаніе...

научилъ его первымъ правиламъ стихотворства и декламации. Ваня съ одушевленіемъ и вѣрно читалъ его стихи передъ многочисленной публикой и даже разъ произнесъ русскій акростихъ, заранѣе переведенный на французскій языкъ, передъ поэтической графиней, которой городничій представилъ его, какъ ранній талантъ. Ваня декламировалъ стихи «съ тактомъ, чувствомъ, разстановкой», и графиня наградила ранній талантъ поцѣлуемъ и французскимъ молитвенникомъ въ роскошномъ переплетѣ».

Между тѣмъ, по обычаю того времени, въ 1804 году, когда Лажечникову было всего 10 лѣтъ, отецъ записалъ его уже на службу «студентомъ въ московскій архивъ иностранной коллегіи», котораго начальникомъ былъ тогда И. Н. Вантышъ-Каменскій. Въ 1806 году юный Лажечниковъ получилъ уже повышеніе, именно произведенъ въ актуаріусы; и тогда онъ началъ уже дѣйствительную службу, сталъ заниматься въ архивѣ, приводить въ порядокъ хранящіеся тамъ документы. Съ этою цѣлю отецъ поселилъ мальчика въ Москвѣ, гдѣ онъ жилъ или у родителей, которые иногда проводили въ столицѣ нѣсколько зимнихъ мѣсяцевъ, или въ домѣ друга отца — генерала Обрѣзкова. Одновременно со службою Лажечниковъ продолжалъ свое образованіе: такъ, онъ бралъ уроки реторики у адъюнкта-профессора Побѣдоносцева и слушалъ частныя лекціи у Мерзлякова.

Въ 1810 году Лажечниковъ мѣняетъ службу. По совѣту все того-же Обрѣзкова, отецъ переводитъ сына въ канцелярію генералъ-губернатора для подготовки «къ болѣе дѣльной службѣ». Но молодой челоѣкъ занимается не столько подготовкой къ службѣ, сколько литературою. Такъ, въ 1808 году онъ помѣщаетъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» Глинки стихотвореніе «Военная пѣснь»; въ 1811 году—въ «Вѣстникѣ Европы» разсужденіе «О безпечности»; одновременно съ этимъ въ «Аглаѣ» князя Шаликова появляется цѣлый рядъ повѣстей, разсужденій и стиховъ.

Когда разразилась война 1812 года, восемнадцатилѣтній юноша не могъ не увлечься всеобщимъ энтузіазмомъ, и въ свою очередь началъ рваться въ ополченіе. Въ началѣ войны Лажечниковъ продолжалъ нести гражданскую службу. Вѣсть о Бородинскомъ сраженіи, о рѣшеніи Кутузова сдать Москву безъ боя—застала еще Лажечникова въ Москвѣ. Служебныхъ занятій у него въ это время не было, потому что самую канцелярію, гдѣ служилъ Лажечниковъ, перевели на владимірскую дорогу. Онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ отъ отца разрѣшительнаго письма изъ деревни. Но родители не раздѣляли патристическаго увлеченія своего сына, и отецъ велѣлъ ему немедленно выѣхать въ деревню. «Я плакалъ, какъ ребенокъ, пишетъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи, но скоро одумался. Чего-бы ни стоило, сказалъ я самъ себѣ, — а буду военнымъ, хотя-бы солдатомъ».

Но тщетно умолялъ онъ родителей въ теченіи нѣсколькихъ недѣль; они были непреклонны.

«Тогда,—пишетъ Лажечниковъ,—я далъ себѣ клятву исполнить мое намѣреніе—во что бы то ни стало бѣжать изъ дому родительскаго. Намѣренію моему нашель я скоро живое поощреніе. Въ городѣ (Коломнѣ) остановился отставной кавалеристъ Беклемишевъ, посѣдѣлый въ бояхъ, который, записавъ сына въ гусары, собирался отправить его въ армію.

Съ этимъ молодымъ человѣкомъ ѣхалъ туда-же одинъ гусарскій юнкеръ, сынъ богатаго армянина. Я открылъ нмъ свое намѣреніе: старикъ благословилъ меня на святое дѣло, какъ онъ говорилъ, и обѣщавъ доставить въ главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мнѣ слово взять меня съ собою. За душой не было у меня ни копѣйки; коломенскій торговецъ-аферистъ купилъ у меня шубу, стоящую рублей 300, за 50 рублей, подорбавъ, что я продаю ее тайно,—съ этимъ богатствомъ и дѣдовскою мѣховою курткой, покрытой зеленымъ рытмъ бархатомъ, шелъ я на службу боевую. Назначенъ былъ день отъѣзда. Всѣ приготовления хранились въ глубочайшей тайнѣ. Роковой день наступилъ—сердце было не на мѣстѣ. Въ одиннадцатомъ часу вечера простился я съ матерью, расточая ей самыя нѣжныя ласки; съ трудомъ удерживалъ я слезы, готовый упасть на ея руки, я сказалъ ей, что хочу ранѣе лечь спать, потому что у меня разболѣлась голова. И она, будто по предчувствію, необыкновенно ласкала меня и раза два принималась меня благословлять. Въ своей спальнѣ я усердно молился, прося Господа простить мнѣ мой самовольный проступокъ и облегчить горестъ и страхъ моихъ родныхъ, когда они узнаютъ, что я ихъ ослушался и бѣжалъ отъ нихъ. Меньшому брату, который спалъ со мною въ одной комнатѣ, сказавъ я, что пойду прогуляться по саду, и чтобы онъ не беспокоился, если я долго не приду. Помнявшись еще разъ, я вышелъ въ сѣни. Условный колокольчикъ зазвенѣлъ за воротами; я видѣлъ, какъ ямщикъ на лихой тройкѣ промчался мимо ихъ, давая мнѣ знать, что все готово къ отъѣзду. Еще нѣсколько шаговъ—и я на свободѣ. Но въ сѣняхъ встрѣтилъ меня дядька мой Ларивонъ. «Худое, баринъ, затѣяли вы,—сказалъ онъ съ неудовольствіемъ, я знаю всѣ ваши продѣлки. Оставляйтесь-ка дома да ложитесь спать, не то я сейчасъ доношу папенькѣ, и вамъ будетъ нехорошо». Точно громовымъ ударомъ ошибли меня эти слова. Я обидно сталъ упрекать дядьку, что онъ выдумываетъ на меня небывшца, завѣряя его, что я только хочу пройтись по городу. Но Ларивонъ былъ неумолимъ. «Воля ваша,—продолжалъ онъ,—заднія сѣни въ садъ у меня заперты на замокъ; я стану на караулъ въ нижнихъ сѣняхъ, что на дворѣ, и не пропущу васъ, а если выдумаете бѣжать силою, такъ я тотчасъ подниму тревогу по всему дому. У воротъ поставилъ я караульняго, и онъ тоже сдѣлаетъ въ случаѣ удачной вырваться отъ него». Тутъ я перебралъ упреки на моленія; я слезно просилъ его выпустить меня и нѣжно дѣловалъ его. Но дядька былъ неумолимъ. Дѣлать было нечего: надо было оставаться въ заключеніи. Отчаяніе мое было ужасно; можно сравнить это положеніе только съ состояніемъ узника, который поднималъ свои цѣпи и рѣшетку турмы, готовъ былъ бѣжать и вдругъ пойманъ... Дядька мой преспокойно сошелъ внизъ. Проклиная его и судьбу свою, я зарыдалъ, какъ ребенокъ. Вся эта сцена происходила въ верхнемъ этажѣ очень высокаго дома. Изъ дверей сѣней видѣнъ былъ, сквозь проломъ древняго кремля, огонь въ квартирѣ стараго гусара, который собирался посвятить меня въ рыцари. Я вышелъ на балконъ, чтобы взглянуть въ послѣдній разъ на этотъ завѣтный огонекъ и проститься навсегда съ прекрасными мечтами, которыя такъ долго тѣшили меня. Вдругъ, съ правой стороны балкона, на столѣтней ели, растущей подлѣ него, зашевелилась птица. Какая-то невѣдомая сила толкнула меня въ эту сторону. Вижу, довольно крѣпкій сукъ отъ ели будто предлагаетъ мнѣ руку спасенія. Не разсуждая объ опасности, перелѣзаю черезъ перила балкона, бросаюсь внизъ, цѣпляюсь проворно за суцекъ, висну на немъ и упираюсь ногами въ другую, болѣе твердый суцекъ. Тутъ, какъ вѣкша, слѣзаю проворно съ дерева, обдираю себя до крови руки и колѣна, становлюсь на землѣ и пробѣгаю минуты

въ три довольно обширный садъ, бывшій за домомъ, на углу двухъ переулковъ. Отъ переулка, ближайшаго къ моей цѣли, былъ заборъ сажени въ полторы вышины: никакая преграда меня не останавливаетъ. Перелѣзаю черезъ него, какъ искусный волкѣжъ. Если-бы заставили меня это сдѣлать въ другое время, у меня не достало-бы на это ни довольно искусства, ни довольно силы. Но таково могущество воли, что она удесатеряетъ всѣ способности душевныя и тѣлесныя. Перебѣжать переулокъ и площадь, раздѣлявшую домъ отъ кремля, и влѣзть въ домъ, гдѣ ожидали меня, было тоже дѣломъ нѣсколькихъ минутъ. Я прибѣжалъ, задыхаясь, готовый упасть на полъ; на головѣ у меня ничего не было, волосы отъ поту липли къ разгорѣвшимся щекамъ. Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось-ли со мною какой невзгоды. Старый гусаръ благословилъ меня образомъ, предъ которымъ только-что отслужили молебствіе; на меня нахлобучили первый попавшійся картузъ. Мы сѣли въ повозки и помчались, какъ вихрь, черезъ городъ.

Родные, конечно, тотчасъ-же узнали о бѣгствѣ сына, бросились за нимъ въ погоню и настигли его въ селѣ Троицкомъ, но уже не для того, чтобы воротить его домой; они рѣшились благословить его на службу. На другой день, пишетъ Лажечниковъ: отецъ повезъ меня въ Москву и представилъ бѣглеца московскому гражданскому губернатору Обрѣзкову, который возвратился въ столицу съ должностными чинами (онъ стоялъ тогда въ Леонтьевскомъ переулкѣ). Губернаторъ, въ присутствіи многихъ лицъ, сдѣлалъ мнѣ строгій выговоръ, что я огорчилъ родителей своимъ побѣгомъ, но приказалъ однакожь тотчасъ выдать мнѣ служебное свидѣтельство и вручилъ мнѣ рекомендательное письмо къ главному начальнику московскаго ополченія. Вскорѣ пріѣхалъ я въ московское ополченіе офицеромъ и черезъ нѣсколько дней былъ переведенъ въ московскій гренадерскій полкъ. Счастье мнѣ улыбнулось; начальникъ 2-й гренадерской дивизіи, принцъ мекленбургскій Карлъ, взялъ меня къ себѣ въ адъютанты\*.

Но въ штабѣ принца Лажечниковъ пробылъ не долго, онъ поступилъ въ военную службу не для карьеры; его манила жизнь лагерная и боевая, и вотъ, въ декабрѣ 1813 г., онъ уволился отъ должности штабнаго адъютанта и былъ назначенъ адъютантомъ къ генералу Полуектову. Это дало ему возможность участвовать въ дѣлѣ подлѣ Бріенномъ и во взятіи Парижа и получить орденъ за храбрость.

По возвращеніи арміи въ Россію, Лажечниковъ зиму 1814 — 1815 годовъ провелъ въ Дерптѣ. Здѣсь онъ познакомился съ Жуковскимъ, гостившимъ у Воейкова. Эти литераторы, прослушавши отрывки изъ „походныхъ записокъ“ молодого офицера, отнесли къ нимъ весьма благосклонно и поощрили его къ дальнейшей литературной дѣятельности.

Между тѣмъ, вновь возгорѣвшаяся война послѣ высадки Наполеона въ Каннѣ, вызвала Лажечникова вмѣстѣ съ его полкомъ снова за границу и во Францію. Въ 1818 году онъ поступилъ адъютантомъ къ графу Остерману-Толстому и, вскорѣ послѣ того отправился съ нимъ въ Варшаву, гдѣ (въ свѣтъ Государя Императора) былъ ежедневно въ кругу тогдашнихъ знаменитостей и близкихъ зрителей достопамятныхъ событій того времени\*. Въ этомъ-же году

Лажечниковъ, продолжая состоять адъютантомъ при Остерманъ-Толстомъ, очень его любившемъ, былъ переведенъ съ чиномъ поручика лейбъ-гвардіи въ павловскій полкъ, а въ декабрѣ 1819 года вышелъ въ отставку и, заручившись рекомендаціями своего генерала, на родственницѣ котораго вскорѣ женился, поступилъ на службу по министерству народнаго просвѣщенія, о чемъ всегда мечталъ.

Послѣдніе годы своей офицерской службы Лажечниковъ усердно занялся литературой. Съ 1817 года онъ началъ помѣщать въ „Вѣстникъ Европы“, „Сынъ Отечества“ и „Соревнователь просвѣщенія и благотворенія“ отрывки изъ своихъ „Походныхъ записокъ“. Въ томъ-же году онъ издалъ первое собраніе своихъ сочиненій, болѣею частью уже напечатанныхъ имъ въ разныхъ журналахъ, — подъ заглавіемъ „Первые опыты въ прозѣ и стихахъ“.

Во всѣхъ этихъ первыхъ литературныхъ опытахъ, не исключая и „Походныхъ записокъ“, — мы видимъ сильное подчиненіе вліянію Карамзина, доходившее до такой степени, что, издавши свою книжку, авторъ и самъ устыдился незрѣлости и несамостоятельности своихъ трудовъ, какъ онъ говоритъ объ этомъ въ своей автобіографіи: „къ сожалѣнію, увлеченный сентиментальнымъ направленіемъ тогдашней литературы, которой заманчивые образцы видны въ „Вѣдной Ливъ“ и „Наташѣ боярской дочери“, онъ сталъ писать въ этомъ родѣ повѣсти, стишки и разсужденія. Впослѣдствіи времени онъ издалъ эти незрѣлыя произведенія въ одной книжкѣ, подъ названіемъ „Первые опыты въ прозѣ и стихахъ“, но, увидѣвъ ихъ въ печати и устыдясь ихъ, вскорѣ поспѣшилъ истребить всѣ экземпляры этого изданія“.

Между прочимъ, въ книгѣ этой была напечатана первая историческая повѣсть Лажечникова „Малиновка“, навѣянная чтеніемъ „Наташѣ боярской дочери“. До какого рабскаго подражанія Карамзину доходилъ въ это время Лажечниковъ, мы можемъ судить по слѣдующему содержанію этой повѣсти:

Малиновка — это дѣвушка, сирота изъ рода Нагихъ. Живя на попеченіи дяди Мирослава, она скрывалась съ нимъ „близъ Тулы, въ густотѣ березоваго лѣса“, отъ преслѣдованія „честолюбія Годунова“. Сначала она была безмятежно счастлива: „весело просыпалась съ краснымъ солнышкомъ; весело встрѣчала первую вечернюю звѣзду. Прекрасная съ веселостью топтала зеленые луга, съ безпечною терялась по извилистымъ тропамъ березоваго лѣса, въ сладкомъ забвеніи засыпала на колѣняхъ почтеннаго родственника“. Но пришла пора любви, Малиновка „почувствовала одиночество. Скука встрѣчала ее на мурavaхъ; тоска слѣдовала за нею во всѣхъ прогулкахъ; вздохи ея слышны были даже и въ тѣ минуты, когда старикъ разными играми и ласками старался вызвать улыбку на юное ея лицо. Малиновка все ждала, „сама не зная кого“.

Между тѣмъ, при дворѣ Годунова блисталъ юноша Миловидъ, — „цвѣтъ юношей, краса витязей, любовь дѣвъ престольнаго града“! Внезапно Годуновъ далъ ему приказаніе разыскать въ тульскомъ лѣсу Мирослава и „отягченнаго цѣпями привести въ столицу“. Напрасно отклонялъ отъ себя добросердечный Мило-

видъ столь жестокое порученіе. „Грозный тиранъ“ былъ неумолимъ. Въ товарищи ему данъ былъ злодѣй Скрытосердъ.

Долго блуждали они по тульскому лѣсу и ничего не находили. Но вотъ, однажды, „при закатѣ румянаго солнышка, пробираясь черезъ лѣсъ“, они услышали чудную пѣсню. То пѣла Малиновка, „славившаяся своимъ умѣніемъ слагать пѣсни и пѣть ихъ. Когда она пѣла радости безпечной юности, рѣзвую беззаботность, быстрые часы удовольствія, тогда старцы почитали себя молодежю, мечтали съ улыбкою о дѣлахъ прошедшихъ и порхали воображеніемъ по душистымъ розамъ любви“. Миловидъ, внимая звукамъ пѣсни еще невидимой пока пѣвицы, „чувствовалъ что-то необыкновенное, чего не могъ изъяснить“. Но вотъ показалась и сама пѣвица „во всей свѣжести, со всѣми прелестями лѣтъ весеннихъ“. Миловидъ былъ пораженъ. Въ свою очередь „Малиновка“, сравнивая его съ крылатымъ юношею, такъ часто посѣщавшимъ ее въ мечтахъ сновидѣнія, подумала: точно *ома*! Тотчасъ воспослѣдовали между ними „мѣна сердецъ и переливъ душъ“.

Вслѣдъ затѣмъ „молодые рыцари проводили красавицу до жилища ея. У воротъ тесовыхъ пожелаали они ей добраго дня, не смѣя слѣдовать за нею въ теремъ, потому что дядя ея Боголюбъ былъ не совсѣмъ здоровъ (какъ разказала она имъ дорогою, не открывая имъ настоящаго его имени)“.

Хитрый Скрытосердъ сразу, однако, сообразилъ, что тутъ что-то не такъ, и черезъ нѣсколько дней „хитрыми допросами окружныхъ поселянъ, обманами, увѣщаніями и даже угрозами“ узналъ, кто въ дѣйствительности мнимый Боголюбъ. Миловидъ же, „въ сладостныхъ мечтахъ любви, забываетъ грозное порученіе тирана“ и ищетъ свиданія съ Малиновкой. Въ первую же встрѣчу они объяснились въ любви: „души любовниковъ порхали на пламенныхъ устахъ ихъ... они соединились на вѣки съ первымъ невиннымъ поцѣлуемъ. Высоко поднималась грудь красавицы; томяно тлѣлся огонь въ глазахъ ея! Какъ преступница, стояла она передъ другомъ своимъ и не смѣла заглянуть въ глубину души, боясь найти что нибудь противное правиламъ, внушеннымъ ей почтеннымъ родственникомъ“.

На слѣдующій день она открыла Мирославу свою тайну и привела къ нему Миловида. Свиданіе было ужасное. „Они встрѣчались нѣкогда въ палатахъ и узнали другъ друга... Что дѣлалось тогда въ душѣ несчастнаго юноши? Сколько страстей стеклось въ нее для борьбы между собою! Долгъ, состраданіе, вѣрность къ престолу, рабство и любовь... Но послѣдняя превозмогаетъ“. Миловидъ открываетъ Мирославу данное ему порученіе и рѣшается вмѣсто исполненія его — отправиться въ Москву и выпросить у Годунова прощеніе старцу.

Между тѣмъ коварный Скрытосердъ не дремлетъ; онъ извѣщаетъ обо всемъ Годунова, и царь приходитъ въ страшный гнѣвъ. „Мирославъ и Миловидъ въ разное время отягчены цѣпями, разными дорогами приведены въ Москву и ввергнуты въ мракъ темницы; обоимъ ожидается смерть — и смерть постыдная!..“ Уже назначена на завтра казнь. „Только



послѣдней, единственной милости передъ казнью требуютъ два несчастливца: свиданія съ Малиновкой. — „Я слышалъ, что она мастерица пѣть и играть на гусляхъ, и хочу узнать опытомъ, таково-ли велико искусство ея, какъ мнѣ объ этомъ сказали“, — сказалъ властелинъ и отдалъ повелѣніе привезти Малиновку въ престольный градъ.

Царскій посланникъ нашелъ ее при дверяхъ гроба; по вѣстѣ о свиданіи съ другомъ, который былъ ей всегда вѣренъ, оживила ее. „Такъ не забылъ меня Творецъ! Я могу еще умереть съ ними!“ — сказала она, и съ твердостью въ душѣ послѣдовала за посланнымъ. Какое явленіе ожидаетъ ее въ Москвѣ, въ палатахъ царскихъ! Годуновъ на престолѣ, окруженный всею пышностью двора своего. Съ одной стороны бояре, подпора царства русскаго; съ другой — супруги ихъ, цѣтъ Москвы бѣлокаменной; вдали... грозная стража, и между ею... отгадало-ли сердце твое, несчастная Малиновка?.. — туманится образъ старца и юноши... оба въ цѣпяхъ!.. Сердце ея бьется сильнѣе, глаза ея покрываются мрачнымъ облакомъ, ноги ея готовы подломиться! — Такъ это они!.. одинъ — второй отецъ, другой — милый другъ души ея!.. Она хочетъ броситься къ нимъ, Годуновъ дастъ знакъ — и Малиновка съ трепетомъ къ нему приближается.

«Никогда дворъ царевъ не украшался такими прелестями; никогда царство русское не производило подобной красоты!.. Старикъ желалъ-бы имѣть ее своею дочерью, молодые — супругою, а жены боярскія, завидуя ей, удивлялись! Самое сердце властелина чувствуетъ къ ней сожалѣніе. Онъ повелѣваетъ ей подойти къ приготовленнымъ для нея гуслямъ и разсказать въ пѣсняхъ повѣствованіе любви ея. Какое повелѣніе! Исполнить его трудно, не исполнить — значило-бы навести сильнѣйшую грозу на чету несчастливцевъ!.. Она садится за гусли; еще разъ взглядываетъ на грозную стражу, на злопозначнаго старца, на милаго друга, еще разъ на него... и поетъ... сперва побѣгъ родственника, невинность его, любовь свою и свои несчастія — и потомъ умоляетъ! На лицѣ тирана примѣтно смущеніе; бояре и жены ихъ закрываютъ платками слезы, текущія по лицу ихъ. Малиновка видитъ торжество свое. Какое-то неизъяснимое предчувствіе говоритъ ей, что въ словѣ пѣсней ея заключается спасеніе двухъ ближайшихъ сердцу ея существъ. Она снова поетъ... и надежда на великодушіе царя изливается въ ея пѣсняхъ. Никогда чувство и природа не соединились съ большимъ искусствомъ, чтобы плѣнять слухъ и сердце; никогда дарованія не давали красоты столько власти, какъ теперь! Еще усилія любви и искусства — и Малиновка читаетъ *милость* въ глазахъ Годунова. «Пѣсни твои меня тронули!» сказалъ властелинъ, побѣжденный въ первый разъ природою: «дарованія твои должны получить награду. Вотъ она!» прибавилъ онъ, указывая на чету несчастливцевъ: «тебѣ предоставляю снять съ нихъ цѣпи».

Таково первое историческое повѣствованіе Лажечникова. Читая его, вы еще болѣе убѣждаетесь въ громадности того скачка, какой сдѣлала литература наша въ теченіи 20-хъ годовъ. Скачекъ этотъ особенно видѣнъ на такихъ второстепенныхъ талантахъ, каковы были Нарѣжный и Лажечниковъ: между ихъ молодыми произведеніями и писанными въ зрѣломъ возрастѣ лежитъ непроходимая пропасть, и замѣчательно при этомъ, что подобнымъ переворотомъ эти второстепенные писатели отнюдь не были обязаны

какому-либо вліянію первостепенныхъ талантовъ: мы видимъ, по крайней мѣрѣ, что въ теченіи 20-хъ годовъ первостепенные таланты (Жуковский, Пушкинъ) занимались исключительно стихами. Повѣствовательная литература была, повидимому, въ полномъ пренебреженіи; и вдругъ къ концу 20-хъ годовъ она дѣлаетъ небывалые успѣхи, при чемъ самые маленькіе беллетристи сразу дѣлаются неузнаваемыми.

Мы видѣли выше, что въ концѣ 1819 года Лажечниковъ, по рекомендаціи своего генерала Остермана-Толстого поступилъ на службу по министерству народнаго просвѣщенія. Онъ былъ назначенъ директоромъ училищъ Пензенской губерніи и скорѣе затѣмъ посланъ визитаторомъ саратовскихъ училищъ. Въ декабрѣ 1823 года въ благодарность за усиленную визитацію онъ былъ назначенъ директоромъ Императорской казанской гимназіи и деректоромъ училищъ Казанской губерніи. Въ концѣ-же 1825 г. и началѣ 1826 г. Лажечниковъ нѣсколько мѣсяцевъ исправлялъ должность инспектора студентовъ казанскаго университета.

Въ это время казанскимъ учебнымъ округомъ управлялъ какъ разъ знаменитый Магницкій, оттого и называетъ Лажечниковъ шесть лѣтъ службы своей подъ его начальствомъ своимъ „казанскимъ плѣненіемъ“. Надо удивляться тому искусству, съ которымъ удалосъ Лажечникову во все время этого плѣненія плыть между Сциллою и Харибдою, не потерявъ ни малѣйшаго крушенія, и не запятнавъ своей памяти. Съ одной стороны, какъ самъ говоритъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Магницкомъ, онъ пользовался его *горячимъ, порывистымъ благорасположеніемъ*, слылъ даже лѣтъ пять *его любимцемъ*. И въ тоже время онъ хвалится въ тѣхъ-же своихъ воспоминаніяхъ, что, состоя инспекторомъ университета, онъ не гнулъ студентовъ въ угоду Магницкому, не слѣдилъ инквизиторски за ихъ „духомъ“, что ни разу ни одного студента не сажалъ въ карцеръ. Наконецъ, что онъ оставилъ въ Пензенской губерніи хорошія воспоминанія о себѣ, свидѣтельствуя то, что Бѣлинскій и его товарищи по пріѣздѣ въ Москву обратились первымъ дѣломъ къ Лажечникову за протекціею, и послѣ перваго своего визита къ нему Бѣлинскій писалъ М. М. Попову: „Вы доставили мнѣ случай видѣть человека, котораго я *всегда любилъ, уважалъ, любилъ видѣть и говорить съ нимъ*“.

Это расположеніе Бѣлинскаго къ Лажечникову продолжалось до самой смерти Бѣлинскаго. „Пока я жилъ въ Москвѣ, говоритъ Лажечниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ, — онъ (Бѣлинскій) нерѣдко посѣщалъ меня; мы сблизились, не смотря на разстояніе лѣтъ; не было заботы и надежды, не было юношескаго увлеченія, которыхъ онъ не повѣрлялъ-бы мнѣ; случилось мнѣ и отечески пожуричь его“. Такъ, мы видимъ изъ матеріаловъ для біографіи Бѣлинскаго, помѣщенныхъ кн. Енгальчевымъ въ Рус. Стар. 1876, что Бѣлинскій читалъ Лажечникову своего „Владимира“, что Лажечниковъ отечески совѣтовалъ Бѣлинскому оставить въ портфель свою драму, надѣлавшую ему столько неприятностей, хлопоталъ за Бѣлинскаго при поступленіи въ университетъ и помогъ ему въ пріисканіи занятій послѣ изгнанія изъ университета.

Своимъ успѣхомъ службы подъ начальствомъ Магницкаго Лажечниковъ безъ сомнѣнія былъ обязанъ съ одной стороны крайней мягкости характера, а съ другой—неподкупной прямою и искренности натуры. Встрѣчаются такія симпатичныя личности, которыя, при всей непоколебимой вѣрности своимъ принципамъ, невольно влекутъ къ себѣ и покоряютъ людей самыхъ противоположныхъ убѣжденій и взглядовъ. Таковъ, безъ сомнѣнія, былъ и Лажечниковъ.

Свое казанское плѣненіе между прочимъ ознаменовалъ Лажечниковъ инициативою поставленія памятника Державину. На торжественномъ актѣ гимназіи, въ концѣ 1825 года, въ рѣчи имъ произнесенной, Лажечниковъ, по словамъ его автобіографіи, „въ первый разъ горячо выразилъ обязанность соорудить въ Казани памятникъ Державину, ученику казанской гимназіи. Смѣло можно сказать, что рѣчь эта была первымъ краеугольнымъ камнемъ, поставленнымъ въ основаніи памятника“. Тотчасъ послѣ этой рѣчи присутствовавшій на актѣ управляющій Казанскою губернію, А. Я. Жмакинъ, изъявилъ ревностное желаніе собраніемъ пожертвованій осуществить предложеніе директора, въ случаѣ соизволенія на это высшаго начальства. Соизволеніе послѣдовало, и Лажечниковъ по праву могъ сказать: „послѣдствія извѣстны: памятникъ Державину стоитъ на площади противъ университета. Горжусь, что я положилъ первый камень въ основаніе этого памятника“.

Въ началѣ 1826 года кончилось казанское плѣненіе Лажечникова; онъ вышелъ съ отставку и поселился въ Москвѣ.

## VI.

«Послѣдній Новикъ» Лажечникова.—Отзывъ о немъ Бѣлинскаго.—Различіе между Лажечниковымъ и Загоскинымъ.—Подражательность Вальтеръ-Скотту.—Искаженіе историческихъ фактовъ.—«Ледяной домъ» и его преимущества передъ «Послѣднимъ Новикомъ».—Ложное представленіе Волынскаго и Тредьяковского.—Письмо Пушкина.—«Басурманъ», какъ *chef d'oeuvre* Лажечникова.—Недостатки и достоинства этого романа.—Либерализмъ и западничество Лажечникова и отраженіе этого въ романахъ его.

Выйдя въ отставку въ 1826 году и поселившись въ Москвѣ, Лажечниковъ принялся, наконецъ, за свой трудъ, который наиболѣе выдвинулъ впередъ его литературное имя,—за сочиненіе перваго своего историческаго романа. Такимъ образомъ лишь 34 лѣтъ отъ роду выступилъ онъ на предназначенную ему дорогу. Принимая-же во вниманіе, что Загоскинъ лишь въ 1828 году приступилъ къ Юрію Милославскому, — въ 1826 же году и не помышлялъ еще ни о чемъ подобномъ,—мы должны были-бы инициативу русскаго историческаго романа признавать за Лажечниковымъ, и если Загоскинъ предвосхитилъ у послѣдняго пальму первенства, то благодаря лишь скороспѣлости своего труда, при своемъ крайне легкомысленномъ отношеніи къ дѣлу. Въ то время какъ Загоскину достаточно было одного года, чтобы и матеріалъ собрать, и написать романъ, Лажечниковъ шесть лѣтъ

трудился надъ своимъ „Послѣднимъ Новикомъ“, и надо отдать ему справедливость,—трудился съ рѣдкою для русскихъ романистовъ усидчивостью, хотя усидчивость эта и не привела Лажечникова, какъ мы увидимъ ниже, къ особенно блистательнымъ результатамъ.

Не говоря уже о томъ, что Лифляндскій край, который избралъ онъ мѣстомъ дѣйствія своего романа, былъ знакомъ уже ему прежде, такъ какъ въ „Походныхъ Запискахъ“ его мы находимъ цѣлый отрывокъ: „Исторія города Дерпта“, онъ съ новымъ жаромъ и усердіемъ принялся за изученіе его, и не только книжное, но и наглядное. Такъ, въ своей статьѣ „Знакомство мое съ Пушкинымъ“, онъ говоритъ объ этомъ изученіи слѣдующее:

«Прежде чѣмъ писать мои романы, я долго изучалъ эпоху и людей того времени, особенно главные историческія лица, которыя изображалъ. Напримѣръ, чего не перечитать я для своего «Новика». Могу прибавить, я былъ столько счастливъ, что мнѣ попадались подъ руку весьма рѣдкіе источники. Самую мѣстность, нравы и обычай страны списывалъ я во время моего двухмѣсячнаго путешествія, которое сдѣлалъ, пройдя Лифляндію вдоль и поперекъ, большею частью по проселочнымъ дорогамъ. Все, что сказано мною о Гюкѣ, воспитанницѣ его, Паткулѣ, да же Бахѣ и Розѣ, и многихъ другихъ лицахъ моего романа, взято мною изъ Вебера, Манштейна, жизни графа А. Остермана на нѣмецкомъ 1743 года, «*Essai critique sur la Livonie par le comte Bray*», Бергмана «*Denkmäler aus der Vorzeit*», старинныхъ нѣмецкихъ историческихъ словарей, открытыхъ мною въ бібліотекѣ сенатора графа Ф. А. Остермана, драгоценныхъ рукописей канцлера графа И. А. Остермана, которыми я имѣлъ случай пользоваться, и, наконецъ, изъ устныхъ преданій маріенбургскаго пастора Рили и многихъ другихъ на самыхъ мѣстахъ, гдѣ происходили главные дѣйствія моего романа».

При такихъ условіяхъ лишь въ 1831 году появилась въ альманахѣ „Сиротка“—первая глава первой части романа „Долина Мертвецовъ“, а затѣмъ, въ томъ же году, вышли одна за другою первыя двѣ части романа; весь же романъ, во всѣхъ своихъ четырехъ частяхъ, вышелъ лишь въ 1833 году. Но при всемъ этомъ тщательномъ и многолѣтнемъ изученіи исторіи и мѣстности дѣйствія романа, Лажечниковъ своимъ произведеніемъ можетъ для насъ служить лишь однимъ лишнимъ доказательствомъ того, что никакія долговременныя и тщательныя изученія, никакая кропотливая работа не могутъ замѣнить таланта. Правда современная критика встрѣтила романъ восторженно и даже Бѣлинскій въ своей первой критической статьѣ въ „Молвѣ“: „Литературныя мечтанія“—отозвался о „Новикѣ“, за исключеніемъ нѣкоторыхъ незначительныхъ оговорокъ, въ самомъ лестномъ, хвалебномъ тонѣ. „Лажечниковъ, — по его словамъ (Соч. В. Бѣлинскаго, изд. 5, т. I, стр. 113)—не только не обманулъ возлагавшихся на него надеждъ, но даже превзошелъ общее ожиданіе и по справедливости признанъ первымъ русскимъ романистомъ. Въ самомъ дѣлѣ, „Новикъ“ есть *произведеніе необыкновенное, ознаменованное печатью высокаго таланта*. Лажечниковъ обладаетъ всѣми средствами романиста: талантомъ, образованностью и пламеннымъ чувствомъ, и опытомъ лѣтъ и жизни“... „Какое сильное и обильное воображеніе, читаемъ мы ниже: какая вѣрная жи-

вописъ лицъ и характеровъ, какое разнообразіе картинъ, какая жизнь и движеніе въ разсказъ! и т. д.

Панегиричность этого отзыва Вѣлинскаго мы можемъ объяснить лишь тремя причинами: во 1-хъ, молодостью великаго критика, едва только дебютировавшего передъ публикой своею статьею, въ 2-хъ, крайне романтическимъ настроеніемъ, отдававшимъ предпочтеніе не трезвой реальной правдѣ, а наиболѣе яркимъ, эффектнымъ краскамъ; не даромъ онъ замѣчаетъ ниже, что „эпоха, избранная авторомъ, есть самый романтический и драматическій эпизодъ нашей исторіи и представляетъ самую богатую жатву для поэта“, и не даромъ лучше всѣхъ дѣйствующихъ лицъ романа понравилась ему Роза съ ея романтической, самоотверженной страстью къ Паткилю. Въ третьихъ, не малую роль играло здѣсь и дружественное расположеніе Вѣлинскаго къ Лажечникову, мѣшавшее ему взглянуть на романъ болѣе безпристрастными глазами.

На самомъ-же дѣлѣ, стоитъ только сравнить „Послѣдній Новикъ“ съ „Юріемъ Милославскимъ“, чтобы увидѣть, на сколько при всѣхъ недостаткахъ послѣдняго, авторъ его все таки превосходитъ своимъ талантомъ Лажечникова. Правда, при недостаткѣ историческаго изученія, при скороспѣлости своей работы, Загоскинъ, вмѣсто историческаго романа, написалъ сказку, но сказку-все таки хоть сколько нибудь оригинальную и самобытную. Если въ своихъ историческихъ воззрѣніяхъ и патетическихъ мѣстахъ Загоскинъ и подчиняется вліянію Карамзина, за то вы найдете въ романѣ рядъ бытовыхъ сценъ исполненныхъ жизни, народности, комизма. Однимъ словомъ, романъ Загоскина со всѣми своими достоинствами и недостатками представляетъ собою все таки нѣчто живое, естественное, нѣющее свою особенную физиономію и поэтому свое мѣсто въ литературѣ. Въ романѣ же Лажечникова все, начиная съ чисто карамзинскаго слога и кончая вальтерскоттовскимъ сюжетомъ— взято на прокатъ съ чужого плеча; все здѣсь искусственно, надумано, вымучено долгимъ и кропотливымъ трудомъ и отъ всего поэтому пахнетъ мертвечиной. Начать съ того, что, какъ вы полагаете, почему вздумалось Лажечникову мѣстомъ дѣйствія русскаго историческаго романа избрать вдругъ полунѣмецкую, получухонскую Лифляндію? Въ первой главѣ своего романа, играющей роль предисловія, Лажечниковъ, повидимому, вполне основательно разъясняетъ намъ это обстоятельство.

«На случай вопроса, говоритъ онъ, почему избралъ я сценою для русскаго историческаго романа *Лифляндію*, которой одно имя звучитъ уже иноземнымъ, скажу, что ни одна страна въ Россіи не представляется народному романтисту пріятнѣйшаго и выгоднѣйшаго мѣста дѣйствія. Крымъ, Кавказъ выигрываютъ, въ сравненіи съ Лифляндіей, красотою мѣстной природы, но теряютъ передъ ней историческими воспоминаніями. Въ палладіумахъ нашихъ, Троицкомъ монастырѣ, Нижнемъ Новгородѣ, Москвѣ разгуливало уже вмѣстѣ съ истиной воображеніе писателя, опередившаго меня временемъ, извѣстностью и талантами своими. Другіе края Россіи бѣдны или исторією, или мѣстностью; но въ живописныхъ горахъ и долинахъ Лифляндіи, на развалинахъ ея рыцарскихъ замковъ, на берегахъ ея озеръ и болотъ, русскій напечатлѣлъ непамятные

слѣды своего могущества. Здѣсь колыбель нашей воинской славы, нашей торговли и силы, здѣсь русскій воинъ положилъ на грудь свою первое крестное знаменіе за первую побѣду, дарованную Богомъ надъ образованнымъ европейскимъ солдатомъ; отсюда—дивная своею судьбою и достойная этой судьбы Жена, неразлучная подруга преобразователя нашего отечества и спасительница нашего величія на берегахъ Прута; здѣсь многое говоритъ о Петрѣ безпримѣрномъ. Вотъ причины моего влеченія къ Лифляндіи! Эрасферъ, Гуммельсгофъ, Мариенбургъ, Кинцы, Лустъ-Эландъ—нынѣ имена мѣсть, едва извѣстныхъ русскимъ, между тѣмъ, какъ въ нихъ происходили тѣ великія явленія, о которыхъ идетъ дѣло. Къ этимъ-то мѣстамъ хотѣлъ-бы я пробить свѣжую, цвѣтистую дорогу; хотѣлъ-бы, чтобы любовь къ народной славѣ, посѣщая ихъ, съ гордостью указывала на нихъ иноземцу, и чтобы сердце русскаго билось сильнѣе, повторяя ихъ имена. Чувство, господствующее въ моемъ романѣ, есть любовь къ отчизнѣ. Въ краю чужомъ оно отсвѣчивается сильнѣе; между иностранцами, въ толпѣ ихъ, подъ сильнымъ вліяніемъ нѣмецкихъ обычаевъ, видѣе вырисовывается русская народная физиономія. Даже главнѣйшія лица нѣ иностранцевъ, выведенныя въ моемъ романѣ, сердцемъ или судьбою влекутся непреодолимо къ Россіи. Вездѣ родное имя торжествуетъ, нигдѣ не унижено оно—безъ униженія, однакожъ, непріятелей нашихъ того времени, которое описываю. Вотъ чего хотѣлъ я достигнуть, помѣщая героя моего въ Лифляндіи!»

Но какъ ни просто и убѣдительно резонерствуетъ Лажечниковъ и какъ ни много патріотизма въ его только что приведенной рѣчи, но сдается все таки намъ, что въ избраніи Лифляндіи мѣстомъ дѣйствія—умыселъ совсѣмъ другой тутъ былъ. Главное дѣло въ томъ, что никакая другая мѣстность Россіи не представляла Лажечникову такого широкаго поля для подражанія Вальтеръ-Скотту, какъ Лифляндія съ ея феодальными баронами, средневѣковыми замками съ подземными мостами, рвами, бойницами, фантастическими легендами и тому подобными романтическими престѣями и ужасами.

И дѣйствительно: вторая же глава романа озаглавлена заманчивымъ заглавіемъ: „Долина мертвецовъ“, и въ этой главѣ кучеръ Фрицъ разсказываетъ путешественникамъ, которыхъ везетъ, страшную легенду въ средневѣковомъ духѣ о сапожникѣ, который разрывалъ могилы, съ цѣлью найти кладъ, и кончилъ ужасною и сверхъестественною смертью съ кладомъ въ рукахъ, рассыпавшимся прахомъ, послѣ чего въ „Долинѣ мертвецовъ“ начали твориться по ночамъ разные ужасы, соответствующіе этой легендѣ. Затѣмъ, въ восьмой главѣ описывается замокъ Гельмгольтъ, принадлежавшій по правамъ аллодіальнымъ баронессѣ Амаліи Тегевольдъ; въ девятой—вы читаете характеристики домочадцевъ этого замка. Далѣе изображается пиръ въ замкѣ, по случаю дня рожденія дочери владѣтельницы замка, Луизы, на который собираются всѣ феодальные владѣльцы со всего округа, а на дворѣ угощаются поселяне. Пиръ разстраивается военною тревогою по случаю пришествія русскихъ. Однимъ словомъ, передъ вами развертывается рядъ картинъ, которыя вы можете встрѣтить въ любомъ романѣ Вальтеръ-Скотта, и вотъ именно ради этихъ картинъ, а не для чего иного, и избралъ Лажечниковъ Лифляндію.

Сюжетъ романа въ свою очередь построенъ совер-

шенно по образцу вальтерскоттовскихъ и вообще западныхъ романовъ; здѣсь не найдете вы и тѣни той простоты и естественности, какими всегда отличались сюжеты русскихъ романовъ. Напротивъ того въ основѣ лежатъ самая хитросплетенная интрига, въ которой какихъ только семейныхъ тайнъ, предательствъ, злодѣйствъ не напичкано съ начала и до конца романа; злодѣи въ родѣ барона Балдуина Фиренгофа и Никлазона, какъ и подобаетъ злодѣямъ, скрежещутъ зубами и, пылая злобою на весь міръ, утопаютъ въ корыстолюбіи, сластолюбіи и прочихъ семи смертныхъ грѣхахъ; добродѣтельные люди, терпя отъ ихъ неправдъ, лишь въ концѣ романа находятъ соответственную ихъ добродѣтелямъ награду. Самая любовная завязка происходитъ здѣсь не такъ просто, какъ въ другихъ романахъ, а съ особенною вычурою: прелестная Луиза, дочь владѣтельницы замка Гельмольдъ, съ дѣтства была предназначена въ замужество за Адольфа, наслѣдника барона Фиренгофа. Какъ вдругъ въ замокъ пріѣзжаетъ молодой офицеръ шведской арміи, въ отсутствіе владѣтельницы замка, матери Луизы, и какъ Луиза, такъ и всѣ прочіе домочадцы принимаютъ его за Адольфа; а на самомъ дѣлѣ это былъ двоюродный братъ его Густавъ, какъ двѣ капли воды похожій на своего кузена. Пользуясь этимъ сходствомъ, Густавъ неслѣпнито вывести обитателей замка изъ заблужденія и сближается съ Луизой, на правахъ мнимаго жениха. Молодые люди страстно влюбляются другъ въ друга, но, наконецъ, совѣсть начинаетъ терзать Густава, онъ рѣшается открыть Луизѣ свой обманъ, и вотъ слѣдуетъ сцена въ гротѣ совершенно въ карамзинскомъ стилѣ:

При видѣ подписи на столѣ грота, состоящей изъ двухъ словъ: „милый Адольфъ“! Густавъ воскликнулъ съ замирающимъ въ груди голосомъ: — Счастливъ Адольфъ! — несчастливъ тотъ, кого принимали за Адольфа!

— Я васъ не понимаю!—сказала испуганно Луиза:—что это значитъ? Вы блѣдны, вы нездоровы? Боже мой, что съ вами дѣлается?

Густавъ упалъ передъ нею на колѣна.—Я — обманщикъ!—произнесъ онъ съ выраженіемъ страсти и отчаянія, —сначала ошибкою служителя и вашихъ домашнихъ, потомъ безразсудствомъ, наконецъ любовью, я неволью вовлеченъ въ обманъ, —любовью истинною, безкорыстною, которая можетъ только съ жизнью моею кончиться. Нѣтъ достойной казни для наказанія подобнаго мнѣ наversa! Кляните, кляните меня: я этого достоинъ! Я — не Адольфъ!

— Кто же вы? — спросила Луиза замирающимъ голосомъ.

— Густавъ! двоюродный братъ Адольфа.

— Густавъ! что вы со мною сдѣлали?—могла она только проинести, покачавъ головой, закрыла глаза руками, и не въ состояніи будучи перенести удара, поразившаго ее такъ неожиданно, упала безъ чувствъ на дерновую скамейку. Въ изступленіи онъ схватилъ ее руку: рука была холодна, какъ ледъ; на лицѣ ея не видно было слѣда жизни. Боже мой, я убилъ ее!—кричалъ онъ, какъ сумасшедшій, бѣгая по саду и ломая себѣ руки...

Послѣ этого Густаву было тотчасъ же отказано отъ дома матерью Луизы, и началась драма со всѣми муками неудовлетворенной страсти и разлуки, и молодые люди были обязаны лишь великодушію Адольфа (который, узнавъ о страсти Луизы и Густава, отка-

зался отъ своей невѣсты) и блестящимъ побѣдаммъ русскихъ войскъ, что въ концѣ романа они могли наконецъ соединиться законнымъ бракомъ.

Но исторія страсти Луизы и Густава составляетъ лишь второстепенный, чисто романическій эпизодъ романа. Главный же интересъ сосредоточивается на двухъ чисто историческихъ эпизодахъ, — судьбѣ Паткуля и Новика. Личность Паткуля, по правдѣ сказать, очерчена въ романѣ весьма блѣдными и тусклыми красками, и вы не выносите изъ его изображенія никакого мало-мальски рельефнаго и опредѣленнаго представленія, и развѣ только составляете о немъ отвлеченное понятіе, что это былъ хитрый, но при всей своей хитрости весьма благородный человѣкъ, и вообще во всемъ этомъ эпизодѣ, даже въ самой казни Паткуля, читателя занимаетъ не столько самъ Паткуль, сколько любовница его, крестьянка Роза съ ея мелодраматическою страстью къ нему.

Что же касается до Новика, самого главнаго героя романа, то онъ составляетъ большое черное пятно въ романѣ, какъ въ историческомъ, такъ и въ чисто-художественномъ отношеніяхъ. Въ историческомъ отношеніи здѣсь тотъ непростительный грѣхъ, что Лажечниковъ впервые ввелъ безцеремонное отношеніе къ историческимъ фактамъ. Надо отдать справедливость въ этомъ отношеніи Загоскину, при всемъ его плохомъ знаніи исторіи, и можетъ быть именно благодаря этому обстоятельству, онъ никогда не позволялъ себѣ вносить въ область исторіи вымыслы досужей фантазіи. Въ романахъ его романическіе эпизоды вездѣ рѣзко отдѣлены отъ историческихъ. Незавѣстный исторіи Юрій Милославскій могъ у него хоть на головѣ ходить, и онъ по отношенію къ нему давалъ полную волю своей фантазіи; но въ тоже время Загоскинъ ни за что не рѣшился бы выдумать изъ своей головы небывальщины въ родѣ того, на примѣръ, чтобы заставить вдругъ князя Пожарскаго влюбиться въ дочь Минина и прижить съ нею ребенка, который оказался-бы въ послѣдствіи Стенькою Разинимъ. Для Лажечникова же ничего не стоило сочинять свои собственные историческіе факты. Такъ, мы видимъ, что главный герой романа, Владиміръ, тотъ самый послѣдній Новикъ, который стоитъ въ заглавіи романа, является нѣкимъ инымъ, какъ незаконнымъ сыномъ царевны Софіи, прижитымъ ею съ княземъ Голицынымъ. При этомъ Лажечниковъ сочиняетъ фантастическую интригу для доставленія царевнѣ Софіи возможности воспитать сына при своемъ дворѣ: такъ, когда Владиміръ родился и надо было скрыть грѣхъ, воспользовались тѣмъ, что въ одно время съ этимъ у боярина Кропотова тоже родился сынъ, и ловкая бабка подмѣнила младенцевъ. Настоящій сынъ Кропотова былъ отвезенъ въ Валовскій скитъ и тамъ воспитанъ, сынъ же Софіи былъ черезъ два года взятъ у Кропотова къ двору Софіи и воспитанъ въ имѣніи Голицына подъ надзоромъ Андрея Денисова изъ рода князей Мышецкихъ, а потомъ былъ взятъ ко двору Софіи пажемъ. Владиміръ чувствовалъ къ царевнѣ самую нѣжную привязанность, инстинктивно чувствуя, что она мать его, и однажды, когда Петръ насмѣхался надъ своею сестрою и угрожалъ ей, молодой Новикъ чуть было не подрался съ царемъ.

«Съ быстротою молніи, рассказываетъ онъ, кровь у меня начала перебѣгать по всему тѣлу. Съ нами въ комнатѣ была царица Марѳа Матвѣевна.

— Полно была дѣвчѣмъ прихвостникомъ! продолжалъ Петръ, положивъ руку на мое плечо.— Ты здѣсь послѣдній Новикъ, у меня можешь быть первымъ потѣшникомъ.

— Пускай потѣшаютъ тебя нѣмцы,—отвѣчалъ я угрюмо, сбросивъ съ плеча своего руку Петра:— я русскій, лучше хочу быть послѣднимъ слугою у законной царицы, чѣмъ первымъ бояриномъ у тебя. Царь-отрокъ вспыхнулъ, и сильная оплеуха раздалась по моей щекѣ. Не помня себя, я замаяхнулся было... но почувствовалъ, что меня держали за руки и что нѣжныя женскія руки обхватили станъ мой, силясь увлечь меня далѣе отъ Петра, все еще стоявшаго на одномъ мѣстѣ съ видомъ гордымъ и грознымъ. Софья Алексѣевна приказывала мнѣ удалиться немедленно. Марѳа Матвѣевна, не выпуская меня изъ своихъ объятій, со слезами на глазахъ умоляла не губить себя. На крикъ ихъ прибѣжали комнатные люди, и меня вывели изъ терема, но не прежде, какъ я послалъ въ сердце своего обидчика роковую клятву отомстить ему!..»

И вотъ, во исполненіе этой клятвы Владиміръ, послѣ бѣгства Петра въ Троицко-Сергіевскую лавру, отправляется туда съ цѣлью извести Петра. Онъ настигаетъ его въ Троицкомъ соборѣ въ алтарѣ, бросается на него съ ножомъ въ рукѣ и уже заноситъ надъ нимъ ножъ.

«Раздается крикъ матери, рассказываетъ онъ: ужасный крикъ, разодравшій мою душу, поворотившій мнѣ всю внутренность, крикъ, отрывающійся и теперь въ груди моей... Движеніемъ, которое я сдѣлалъ, чтобы поймать добычу, падаешь съ жертвенника распятіе. Одинъ изъ моихъ товарищей грозно взываетъ мнѣ: *«постой, не здѣсь, не у престола; въ другомъ мѣстѣ онъ не увидитъ отъ нас!»*. Бьютъ въ набатъ—и все въ одно мгновеніе!.. Я упалъ духомъ; рука, неискусившаяся въ дѣлахъ крови, осталась въ нерѣшительности дѣйствовать. Этотъ мигъ спасъ Петра и Россію!.. Слышу, нѣсколько монаховъ хватаютъ меня свади за руки и вырываютъ ножъ. Связанный, я брошенъ въ какой-то погребъ».

Но такъ какъ въ исторіи неизвѣстно намъ, чтобы на жизнь Петра покушался его родной племянникъ, то друзья Новика тотчасъ-же освобождаютъ его изъ темницы, подмѣнивъ его мертвецки пьянымъ стрѣльцомъ, съ которымъ онъ пріѣхалъ въ лавру. Стрѣлецъ этотъ и былъ казненъ вѣсто Новика.

Вотъ какъ перемѣшана у Лажечникова историческая быль съ небылицами. Освободившись такимъ образомъ изъ темницы и отъ казни цѣною головы своего товарища, Новикъ бѣжалъ изъ Россіи и нѣсколько лѣтъ скитался по Швеціи, снискивая пропитаніе игрою на гусяхъ и пѣніемъ. «Пѣсни, рассказываетъ онъ, сочиненныя мною на разные случаи моей жизни, переносили меня въ прошедшее и облегчали грудь мою, исторгая изъ очей сладкія слезы. Молва о московитскомъ музыкантѣ переходила по горамъ и долинамъ; на семейныхъ праздникахъ, на свадьбахъ мнѣ первому былъ почетъ; всѣ возрасты слушали меня съ удовольствіемъ: старость весело притопывала мнѣ нѣру; юность то пласала подъ мою игру, то горько задумывалась... Очень возможно, что шведы, не знавшіе русскаго языка, и восторгались игрою на гусяхъ Новика; что же касается до пѣсенъ, сочиненныхъ имъ, то, судя по тому образчику, который

приводитъ въ своемъ романѣ Лажечниковъ («Сладко пѣлъ душа соловушка»), можно думать, что пѣсни эти были не весьма высокаго достоинства и представляли собою грубую и неискусную поддѣлку подъ народныя пѣсни въ сентиментально-плаксивомъ тонѣ (это не мѣшало однако тому, что пѣсня Новика была переложена на музыку и была въ тридцатыхъ годахъ моднымъ романсомъ, и самъ Бѣлинскій находилъ ее прекрасною).

Послѣ разныхъ мытарствъ, онъ, наконецъ, облизавшись съ Паткулемъ, появился въ Лифляндіи вожаккомъ какого-то полусумасшедшаго, но тѣмъ не менѣе, какъ увидимъ ниже, вѣщаго слѣпца, и терзаясь тоскою по родинѣ, сдѣлался шпиономъ русскихъ войскъ. Ему обѣщано было за исполненіе этой доблестной обязанности возвращеніе на родину. «Новикъ, говоритъ Лажечниковъ, отъ природы строптивый, пылкій, нетерпѣливый, взялся нести на себѣ ярмо ужасное и постыдное; притворствовалъ, обманывалъ, продавать себѣ подобнаго—такова была его обязанность! Но въ награду ему обѣщано отечество, и нѣтъ жертвы, на которую-бы онъ не рѣшился за эту цѣну».

И такъ, если вы помирали со смѣху, видя, какъ Юрій Милославскій постоянно давалъ клятвы невиннопадъ, то представьте себѣ сентиментальнаго шпиона, который въ продолженіе всего романа только и дѣлаетъ, что все проливаетъ слезы въ тоскѣ по родинѣ,—что это за курьезный образъ во всей своей поразительной нелѣпости!

Не менѣе искажена въ свою очередь и исторія Екатерины I въ романѣ Лажечникова. Такъ, Лажечниковъ считаетъ почему-то необходимымъ вывести ее изъ дворянъ. Отецъ ея, по его словамъ, служившій квартирмейстеромъ въ шведскомъ эльзбургскомъ полку, умеръ вскорѣ послѣ ея рожденія (въ 1684 году). Мать ея была благородная лифляндка, по имени перваго мужа, секретаря какого-то лифляндскаго суда, Морицъ. Лишившись втораго мужа, она изъ Гермунареда, что въ Вестготландіи, пріѣхала по дѣламъ своимъ на родину съ малолѣтнею дочерью своею (нашею героинею) въ рингенское помѣстье господъ Розенъ, гдѣ и скончалась въ непродолжительномъ времени и т. д. Далѣе-же оказывается вдругъ, что мужъ Екатерины цейгмейстеръ Вольфъ (по словамъ Лажечникова—дальній ея родственникъ, служившій нѣкогда съ отцомъ ея въ одномъ корпусѣ и дѣлившій съ нимъ послѣдній сухарь солдатскій), тотчасъ-же послѣ свадьбы своей великодушно объявилъ пастору Глюку, что онъ женился на Екатеринѣ съ единственною цѣлью въ знакъ горячей любви къ ней передать ей свое имя и состояніе, самъ же онъ намѣренъ тотчасъ-же собственноручно взорвать Мариенбургскую крѣпость. И дѣйствительно, едва пасторъ Глюкъ со своею воспитанницею вышли изъ Мариенбурга и русскія войска начали входить въ крѣпость, она была взорвана Вольфомъ, который, конечно, первый-же погибъ подъ ея развалинами.

На самомъ-же дѣлѣ не Катерина Рабе, а Марта, сирота изъ семьи литовскаго крестьянина Скавропенко, выросла въ семействѣ Глюка, не воспитанницею, а просто служанкою, была выдана имъ замужъ не за цейгмейстера Вольфа, а за драгуна шведскихъ

войскъ Іоганна, и послѣдній, послѣ сдачи Маріенбурга, преспокойно ушелъ вмѣстѣ со шведскимъ войскомъ, разставшись навсегда со своею супругою. Можете судить опять-таки, насколько и здѣсь искажена историческая правда.

Послѣ всего этого нѣтъ ничего удивительнаго, что при своей великой фантазіи Лажечниковъ, въ виду блестящей будущности Екатерины Рабе, не могъ утерпѣть, чтобы не помѣстить въ своемъ романѣ нѣсколькихъ пророчествъ относительно ожидавшей ее судьбы. Такъ, уже въ седьмой главѣ романа нищій-слѣпецъ, котораго водилъ Новикъ, прямо предсказываетъ ей корону.

«Схвативъ дрожащую руку дѣвушки, читаемъ мы, — онъ забылся въ какомъ-то внутреннемъ созерцаніи; незрѣнія очи его горѣли; наконецъ, возвысивъ вдохновенный голосъ, какъ-бы прозирая въ небѣ: — Вижу, — сказалъ онъ: — вижу: изъ сумрака выступаетъ дѣва, любимца небесъ; голова ея поникнута, взоры опущены долу, волосы падаютъ небрежно по открытымъ плечамъ; румянецъ стыдливости, играя по щекамъ ея, спорить съ румянцемъ зари утренней, засвѣтившей востокъ. Встааетъ алмазная гора, дивною рукою изсѣченная. Оступилась дѣва на первой ступени, еще ночью тѣною одѣтой; смиренно преклоняетъ колѣно, — и вздохъ, тяжелый вздохъ вылетаетъ изъ груди ея! Вскорѣ, обновленная жизнью неземной, встааетъ и шествуетъ далѣе, не поднимая очей своихъ. Еще четыре ступени, и готовъ алтарь... и розовый вѣнецъ обвиваетъ ея прекрасное чело. Старецъ совершаетъ надъ нею дивное таинство. Взоры ея уже не опущены, волосы искусно подобраны назадъ. Изумленная, она озирается кругомъ: она не вѣритъ своему счастью, но уже его ощущаетъ. Еще четыре ступени, и розовый вѣнецъ смѣняетъ алмазною короною...»

Когда-же происходило бракосочетаніе Екатерины съ Вольфомъ, произошло нѣчто въ родѣ чуда:

«Невѣста и женихъ стали на свои мѣста. Пасторъ съ благоговѣніемъ совершалъ священный обрядъ. Слезы полились изъ глазъ его, когда онъ давалъ четъ брачное благословеніе. Съ послѣднимъ движениемъ руки отдали въ станъ русскому кому-то честь барабаннымъ боемъ... (sic) и вслѣдъ затѣмъ, въ комнату, гдѣ совершалась церемонія, загремѣлъ таинственный пророческій голосъ, какъ торжественный звонъ колокола: «и се на главѣ ея лежитъ корона!» Всѣ невольно вздрогнули и оглянулись. На порогѣ двери стоялъ слѣпецъ. Онъ казался необыкновенно высокъ; грудь его колебалась, незрѣнія очи горѣли, какъ въ то время, когда онъ рассказывалъ свои видѣнія въ Долинѣ мертвецовъ. Какимъ образомъ пришелъ въ комнату, гдѣ совершалось таинство, слѣпецъ, одинъ, безъ проводника, безъ посоха? Кто былъ его путеводитель?... Три дня уже онъ сильно перемогался. Съ изумленіемъ, молча, смотрѣли на него, какъ на пришлеца съ того свѣта. Вдругъ онъ началъ колебаться, искалъ кого-то руками и, произнеся слово: «пован!» — грянулся на полъ. Владиміръ подбѣжалъ къ нему; онъ чувствовалъ еще пожатіе его руки, но черезъ мигъ улыбка смерти порхала уже на лицѣ старца. Владиміръ цѣловалъ его руку и орошалъ ее слезами.»

Вотъ какіе перлы заключаются въ романѣ Лажечникова, и надо замѣтить, что подобные перлы вы можете найти на каждой страницѣ. Какъ-то не вѣрится, чтобы эта сентиментально-историческая фантазія подъ именемъ историческаго романа, изложенная архангелскимъ языкомъ эпохи „Натали боярской дочери“ могла появиться въ 30-хъ годахъ, когда существовали уже первые опыты реальнаго романа Пуш-

кина и Гоголя и былъ уже окончательно выработанъ прозаическій языкъ почти въ такомъ уже видѣ, въ какомъ существуетъ онъ и въ наше время. Но еще невѣроятнѣе, что лучший критикъ того времени, — Бѣлинскій, съ отрицаніемъ и нѣкоторымъ даже презрѣніемъ относившійся къ прозѣ Пушкина, съ восторженными привѣтствіями встрѣтилъ „Послѣдняго Новика“, какъ произведеніе, свидѣтельствующее о высочайшемъ талантѣ автора.

Если критика въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей пришла въ такое восхищеніе отъ „Послѣдняго Новика“, то нужно-ли удивляться, что публикѣ романъ пришелся совершенно по плечу и имѣлъ такой успѣхъ, что въ теченіе перваго-же года послѣ выхода всѣхъ частей романа все изданіе разошлось и было выпущено новое, а черезъ нѣсколько лѣтъ и третье, не смотря на то, что романъ продавался за 20 р. асс., что на нашъ нынѣшній курсъ равнялось бы 20 р. серебромъ. Когда въ 1836 году Лажечниковъ задумывалъ романъ „Колдунъ на Сухаревой башнѣ“, Глазуновъ обязывался уже нотаріальною бумагою уплатить за него 19,000 р. асс., а въ томъ-же году Лажечниковъ заключилъ договоръ съ книгопродавцемъ Ширяевымъ, по которому получалъ за предстоящее изданіе „Басурмана“ 20,000 р. асс. Это показываетъ, въ какой модѣ были въ то время историческіе романы и какъ они быстро раскупались.

Лажечниковъ дописывалъ своего „Новика“ уже въ Твери, гдѣ онъ съ 1831 года по 1837 годъ занималъ мѣсто директора училищъ Тверской губерніи. Тамъ-же написалъ онъ и второй свой романъ „Ледяной домъ“, вышедшій въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1835 году. Романъ этотъ, еще болѣе поправившійся публикѣ, окончательно упрочилъ славу Лажечникова, какъ историческаго романиста. И слѣдуетъ сказать по всей справедливости, въ общемъ романъ этотъ производитъ гораздо болѣе выгодное впечатлѣніе, чѣмъ „Послѣдній Новикъ“. Въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ прочихъ, Лажечниковъ въ свою очередь представляетъ полную противоположность Загоскину. Въ то время, какъ Загоскинъ весь свой талантъ исчерпалъ на одномъ „Юріи Милославскомъ“, затѣмъ съ каждымъ новымъ романомъ становился все слабѣе и несостоятельнѣе; Лажечниковъ-же наоборотъ: видно, что это была не рыхлая дворянская, а напротивъ того — кристальная мужицкая натура, упорная въ трудѣ и настойчиво добывающаяся разъ положенной цѣли. Подобно тому, какъ, задумавъ идти въ ополченіе, онъ не смотря на всѣ препятствія въ окошко вылѣзъ, да настоялъ-таки на своемъ; также точно завоевалъ онъ отъ жизни и талантъ, котораго ему не доставало, и славу выдающагося русскаго романиста. И замѣчательно при этомъ, что съ каждымъ новымъ произведеніемъ, не смотря на свои преклонныя лѣта, онъ развивался и дѣлался талантливѣе.

Такъ „Ледяной домъ“ при всѣхъ его недостаткахъ, о которыхъ рѣчь будетъ ниже, отстоитъ отъ „Послѣдняго Новика“, какъ небо отъ земли. Начать съ того, что романъ этотъ написанъ далеко уже не такимъ высокимъ карамзинскимъ слогомъ, какъ первый, а болѣе простымъ и современнымъ языкомъ. Въ тоже



время не видите вы здѣсь и того рабскаго подражанія Вальтеръ-Скотту, какое поражало насъ въ „Послѣднемъ Новикѣ“. Нѣтъ здѣсь ни развалинъ средне-вѣковыхъ замковъ, ни долинъ мертвецовъ, ни ужасающихъ семейныхъ тайнъ и тому подобныхъ ухищреній въ романтическомъ духѣ. Избравши мѣстомъ дѣйствія романа Петербургъ первой половины восемнадцатаго вѣка и эпоху бирюзовщины, Лажечниковъ сразу окунулся въ русскую дѣйствительность, и надо отдать справедливость ему, дворъ Анны Іоанновны и вообще петербургская жизнь того времени изображена довольно вѣрно съ внѣшней исторической стороны, и обнаруживаетъ въ авторѣ тщательное изученіе эпохи—шуты, карлы, ряженые, всякаго рода потѣхи, начиная съ постройки ледянаго дома и кончая родинами козы, все это сразу переноситъ васъ въ эпоху Анны Іоанновны. Надо отдать справедливость Лажечникову и въ томъ отношеніи, что, рисуя ужасы бирюзовщины, онъ нисколько не сгустилъ красокъ и не преувеличилъ, что можно было ожидать отъ его пылкой фантазіи и страсти къ раздирающимъ эффектнымъ сценамъ. Правда, личность Бирона очерчена весьма неопредѣленными и блѣдными чертами; относительно его клеветовъ самъ Бѣлинскій, при всѣхъ панегирикахъ, какіе онъ расточаетъ роману, замѣтилъ, что „жалъ только, что всѣмъ имъ авторъ придалъ и рыжіе волосы, и рты до ушей; злодѣйство и пороки безобразны, но только не въ такомъ смыслѣ“. Но за то какъ нельзя болѣе удался Лажечникову характеръ Анны Іоанновны. Какъ живая, стоитъ она передъ вами въ романѣ Лажечникова, со своимъ добрымъ сердцемъ, но полнымъ отсутствіемъ воли и слабодушіемъ, заставлявшимъ ее, ради личнаго спокойствія, слѣпо отдаваться внушеніямъ то Бирона, то Волынскаго, то опять Бирона, готовая подписать смертный приговоръ тому изъ своихъ приближенныхъ, котораго вчера еще считала самымъ преданнымъ своимъ слугою и другомъ.

Но, къ сожалѣнію, Лажечниковъ не могъ освободиться и здѣсь отъ того существеннаго недостатка для писателя историческихъ романовъ, который онъ обнаружилъ въ своемъ первомъ романѣ, именно отъ безперерывнаго отношенія къ историческимъ фактамъ. Здѣсь эта безперерывность сказалась въ томъ, что онъ выдумалъ своего собственнаго сентиментально-идеальнаго Волынскаго совершенно вопреки исторической правдѣ. Въ дѣйствительности Волынскій представлялся личностью далеко не казистомъ и былъ вполнѣ человѣкомъ своего времени. Эпоха первой половины XVIII вѣка выставила передъ нами не мало мрачныхъ личностей, которыя вмѣстѣ съ грубыми и дикими звѣрствами необузданнаго самодурства въ личной жизни, соединяли полную деморализацію въ гражданскомъ отношеніи. Хитрые и лживые царедворцы, легко усвоивающіе внѣшній лоскъ европейской придворной жизни, коварные интриганы, они въ то-же время были черствыми честолюбцами и сластолюбцами, безпощадными грабителями и казнокрадами, грубыми циниками и жестокими въ своемъ звѣрствѣ мучителями. Таковъ былъ между прочимъ и Волынскій. Будучи губернаторомъ въ Казани и потомъ министромъ, онъ не только бралъ взятки, но вымогалъ у

людей почти силою огромнѣйшія суммы то подъ именемъ займа, а то и другими путями. Заключивать людей до смерти ему приходилось ни сколько не мучить, чѣмъ и Бирону. Такъ однажды онъ велѣлъ отодрать кошками полицейскаго служителя за то, что тотъ, проходя мимо его дома, не снялъ шапки. Одного изъ конюховъ, за какую-то провинность, заставлялъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ ходить по деревяннымъ спицамъ вокругъ столба. Мичмана кн. Мещерскаго Волынскій посадилъ на деревянную кобылу, предварительно вымазавъ лицо его сажеею, а затѣмъ привязавъ къ его ногамъ гири и живыхъ собакъ. Наконецъ известна его палочная расправа съ Тредьяковскимъ. Оппозиція его противъ нѣмцевъ происходила вовсе не изъ какого-либо патріотическаго рвенія, а была просто на просто придворною интригою противъ Остермана. Бирону-же онъ въ то-же время льстилъ и всячески заискивалъ у него, и поссорился съ нимъ лишь тогда, когда Остерману удалось вооружить временщика противъ Волынскаго, и тотъ не принялъ его.

У Лажечникова-же Волынскій является самоотверженнымъ героемъ, жертвовавшимъ жизнью своею въ борьбѣ съ врагами отечества. „Это, по словамъ Бѣлинскаго, человѣкъ глубокой, могучей душой, пламенный патріотъ, душа чистая, благородная, но легкой, вѣтренной; тонкій политикъ и мальчишъ, не умѣющій совладать съ самимъ собою; государственный мужъ—и волокита, гуляка праздный...“

Замѣчательно, что самъ Бѣлинскій при всѣхъ своемъ панегирическомъ отношеніи къ „Ледяному дому“ признавалъ, что Лажечниковъ искажалъ Волынскаго, но для оправданія автора выдвинулъ цѣлую теорію отношенія искусства къ исторіи.

«Герой—Волынскій, говоритъ онъ (см. Соч. Бѣл. т. III, стр. 12), какъ историческое лицо, онъ и теперь еще загадка. Одни видятъ въ немъ героя, мученика за правду; другіе отрицаютъ въ немъ не только патріота, но и порядочнаго человѣка. Но мы оставимъ историческаго Волынскаго—намъ до него нѣтъ дѣла: мы пишемъ не объ исторіи, а о романѣ. Тутъ представляется другой вопросъ: имѣетъ-ли право поэтъ искажать историческое лицо? Да и нѣтъ, отвѣчаемъ мы. Да будетъ проклятъ, кто-бы занесъ святотатственную руку на искаженіе Петра Великаго и умышленно осмѣлился-бы сдѣлать уродливую карлу изъ великана человѣчества; но анахронизмы, искаженіе событій, вслѣдствіе требованій ткани и механизма романа—но только безъ искаженія идеи лица,—могутъ казаться непростительными или преступными только выходящему разсудку, а не живому эстетическому чувству. Что же касается до сомнительныхъ или неважныхъ историческихъ лицъ, то и говорить нечего: въ произведеніи искусства должно искать соблюденія художественной, а не исторической истины. Что за важность, что Шиллеръ изъ Карлоса, непокорнаго сына или дурного человѣка, сдѣлалъ идеальнаго возвышеннаго, благороднаго человѣка? Худо не это, а то, что его драма есть произведеніе риторики, и ея лица—риторическія аллегоріи, а не живыя созданія. Что намъ за нужда, что Гете изъ восьмидесятилѣтняго Эгмонта, отца многочисленнаго семейства, сдѣлалъ молодого, кипящаго избыткомъ жизни юношу? Онъ хотѣлъ изобразить не Эгмонта, а кипящаго избыткомъ душевныхъ силъ юношу въ положеніи Эгмонта. Исторія служила ему только «поэтическимъ положеніемъ», а главное дѣло въ томъ, что его драма—великое произведеніе великаго художника. Кто

хочетъ знать исторію, тотъ учись ей не по романамъ и драмамъ. Поэтому, для насъ смѣшны нападки нѣкоторыхъ аристарховъ на Лажечникова, что онъ снялъ десятка два или три лѣтъ съ плечъ Волинскаго (добро-бы еще искажилъ историческій характеръ!)»...

Кто и говоритъ, поэты и даже такіе, какъ Шекспиръ, въ своихъ художественныхъ цѣляхъ очень часто совершенно искажаютъ историческіе факты. Но въ такомъ случаѣ никто и не смотритъ на произведенія ихъ, какъ на историческія. Кто-же въ маркизѣ Позѣ или Эгмонтѣ будетъ предполагать портреты историческихъ личностей, носившихъ тѣ-же имена? Но замѣтите, что и подобное право поэтовъ рисовать на исторической канвѣ свои собственные поэтическіе узоры имѣетъ свой предѣлъ. Шиллеру никто не поставилъ въ укоръ, что онъ идеализировалъ маркиза Позу, ну а если-бы онъ выкроилъ своего маркиза Позу изъ мрачной фигуры герцога Альбы, стала-бы тогда одобрять критика подобное искаженіе исторіи? Что заговорилъ-бы Бѣлинскій, если-бы Лажечниковъ превратилъ Бирона въ идиллическаго пастушка, расцѣлывающаго сентиментальныя романсики передъ тою-же Маріорицею или представилъ его героемъ, непонятнымъ благодарными современниками? А вѣдь Волинскій стоитъ совершенно въ одномъ ряду съ Бирономъ по своимъ душевнымъ качествамъ; если хотите, Биронъ даже превосходитъ вѣскольکو своею культурностью и сдержанностью необузданнаго самодура съ дикими нравами, какимъ представляется намъ Волинскій.

Такимъ образомъ, если предположить даже, что Лажечниковъ вовсе не думалъ написать историческій романъ и познакомить своихъ читателей съ эпохою Анны Іоанновны въ своемъ „Ледяномъ домѣ“, а подобно Шиллеру и Гете преслѣдовалъ свои собственные художественныя цѣли, то и въ такомъ случаѣ выборъ Лажечникова для этихъ цѣлей эпохи биронщины и Волинскаго какъ нельзя болѣе неумѣстенъ. Но ради какихъ-же такихъ особенныхъ художественныхъ цѣлей былъ написанъ „Ледяной домъ“? Неужели для того только, чтобы изобразить всепоглощающую страсть пылкой дочери востока Маріорицы и борьбу чувства съ семейнымъ долгомъ въ Волинскомъ? Какъ Бѣлинскій, такъ за нимъ и биографъ Лажечникова, г. Венгеровъ (см. Соч. Лажечникова, изд. 1884 г., т. I, стр. СХХІХ.) очень высоко ставятъ эту сторону романа Лажечникова. По мнѣнію Бѣлинскаго, характеръ Маріорицы удачнѣе всѣхъ прочихъ. „Это рѣшительно лучшее лицо во всемъ романѣ. Она нигдѣ не измѣняетъ себя. Она сходитъ со сцены, какъ вошла на нее: какъ звѣзда любви, которая ярче и прекраснѣе всѣхъ небесныхъ свѣтилъ—и вечеромъ, когда является, и утромъ, когда скрывается. Последнее ея свиданіе съ Волинскимъ было апоэозомъ всей ея жизни, и мы рѣшительно отрицаемъ всякое чело-вѣческое, не только эстетическое, чувство въ томъ, кто-бы, увлеченный сухимъ, какъ арпеметика, морализмомъ, увидѣлъ въ последнемъ мгновеніи ея жизни паденіе, а не просвѣтленіе, не торжественное просвѣтленіе, не торжественное свершеніе подвига жизни... Словомъ, Маріорица есть самый красивый, са-

сочиненія А. СКАВЧЕВСКАГО.—II.

мый душистый цвѣтокъ въ поэтическомъ вѣнкѣ нашего даровитаго романиста“.

Г. Венгеровъ въ свою очередь восклицаетъ: „Да, нужно отвлечь фигуры Волинскаго и Маріорицы отъ современной имъ эпохи, и вы тогда получите глубоко-правдивую и трогательную повѣсть о любви двухъ сердецъ, которымъ условія жизни не даютъ насладиться всею полнотою заслуженнаго ими счастья. Въ этомъ отношеніи „Ледяной домъ“, можетъ быть, первая въ русской литературѣ проповѣдь *свободы чувства*“.

Какъ мы ни вчитывались, какъ мы ни вдумывались, какъ мы ни старались отвлечь фигуры Волинскаго и Маріорицы отъ современной имъ эпохи, увя, ничего не удалось намъ увидѣть въ этомъ любовномъ эпизодѣ романа Лажечникова, кромѣ одной напыщенной риторики моднаго въ то время романтизма. Подобныя-же вулканическія страсти, и такихъ-же самыхъ Маріорицъ вы можете встрѣтить въ любомъ романѣ того времени, особенно-же у того самаго Марлинскаго, къ которому Бѣлинскій относился столь отрицательно. Что-же касается пониманія проповѣди *свободы чувства*, то подобная проповѣдь была далеко не новость въ нашей литературѣ не только въ половинѣ тридцатыхъ годовъ, но гораздо ранѣе, и притомъ проповѣдь далеко не такая робкая и не съ такими оговорками въ духѣ казенной морали, какъ это мы видимъ у Лажечникова. Стоитъ припомнить „Цыганъ“ Пушкина, появившихся въ 1824 году, т. е. одиннадцатью годами ранѣе „Ледяного дома“.

Въ томъ-то и дѣло, если мы вздумаемъ смотрѣть на „Ледяной домъ“, какъ на романъ не историческій, а психологическій, какъ на своего рода „пѣснь торжествующей любви“, въ такомъ случаѣ онъ теряетъ всякое значеніе. Но, конечно, Лажечниковъ, когда готовилъ для него историческіе матеріалы, рылся въ мемуарахъ и всякаго рода документахъ того времени, — когда наконецъ писалъ этотъ романъ—думалъ создать романъ именно историческій, а не пѣснь торжествующей любви. Да и публика приняла этотъ романъ, какъ историческій, и такъ слѣпо повѣрила всему, что въ немъ написано, что личность Волинскаго глубоко запечатлѣлась въ памяти ея въ томъ героическомъ видѣ, въ какомъ она рисуется въ романѣ. Могила Волинскаго на Выборгской сдѣлалась даже предметомъ поклоненія: исторіи пришлось потомъ считаться съ романомъ и употреблять всѣ усилія, чтобы поколебать въ обществѣ тотъ предрасудокъ, какой въ ней утвердился Лажечниковымъ относительно личности Волинскаго.

Если-же мы будемъ смотрѣть на романъ Лажечникова, какъ на историческій, потому что, еще разъ повторю, иначе смотрѣть на него мы не имѣемъ никакого права, въ такомъ случаѣ любовный эпизодъ Волинскаго и Маріорицы долженъ показаться намъ верхоиъ нелѣпости. Начать съ того, что какъ нельзя болѣе курьезно предполагать борьбу страсти съ семейнымъ долгомъ въ Волинскомъ, у котораго, какъ у всѣхъ бояръ русской партіи того времени, навѣрное были цѣлыя крѣпостныя сиралы, нисколько не смущавшіе ихъ совѣсти и въ тоже время нисколько не возбуждавшіе въ супругахъ ихъ такой острой ревности, чтобы послѣдніе готовы были дѣлать своимъ невѣрнымъ

мужьямъ публичные и придворные скандалы. Нѣтъ ничего мудренаго, что Волынский могъ привлечь за смазливенькой молдаванкой, но навѣрное это было не первое и не послѣднее волокитство его, и врядъ-ли оно могло кого-бы то ни было смутить и привести въ ужасъ. Не забудьте, вѣдь, что это былъ вѣкъ Людовика XV, когда заразительный примѣръ Версаля развелъ во всѣхъ европейскихъ дворахъ крайне легкомысленные и терпимые нравы; на супружескую невѣрность начинали тогда уже смотрѣть вовсе не какъ на что-то крайне преступное и ужасное, а напротивъ, какъ на великосвѣтскій шикъ, да и дѣвчья невинность нельзя сказать, чтобы особенно строго охранялась въ тѣ безпутныя времена.

Наконецъ, если-бы Волынский и дѣйствительно представлялъ изъ себя такую второстепенную и незначительную личность, то приданіе ему героическихъ качествъ и романтическихъ порывовъ, хотя-бы и было пятномъ на картинѣ и анахронизмомъ, но не мѣшало-бы картинѣ самой по себѣ быть совершенно полною и законченною. Но въ томъ-то и дѣло, что картина вѣка Анны Іоанновны не можетъ быть полною и законченною безъ изображенія крупной личности Волынскаго во всей ея трезвой, хотя и непривлекательной правдѣ, потому что Волынский представляется весьма характеристическимъ типомъ своего вѣка, безъ изображенія котораго нельзя составить себѣ истиннаго понятія о томъ вѣкѣ грубаго эгоизма, открытыхъ взяточничества и продажности и необузданнаго варварства и звѣрства, едва прикрытыхъ лоскомъ европейской культуры.

Пушкинъ былъ въ этомъ отношеніи какъ нельзя болѣе правъ, когда, получивъ отъ Лажечникова экземпляръ „Ледяного дома“ и прочитавъ его, выразилъ въ письмѣ своемъ къ Лажечникову почти такое-же мнѣніе объ исторической невѣрности романа. Но прежде, чѣмъ мы приведемъ отрывокъ изъ письма Пушкина, мы считаемъ необходимымъ сдѣлать нѣсколько предварительныхъ объясненій.

Надо замѣтить, что если вообще талантъ Лажечникова былъ не великъ, то какого-либо комизма или юмора въ этомъ талантѣ былъ полнѣйшій недостатокъ, а между тѣмъ Лажечниковъ очень любилъ при случаѣ выставлять комическія личности и быть въ этомъ забавнымъ. Но подобныя личности выходили у него лубочно-карикатурными, крайне уродливыми и неестественными; самый языкъ у него при такихъ изображеніяхъ дѣлался вычурнымъ и напряженнымъ, и въ результатъ получалось нѣчто, не только не вызывающее у читателя ни малѣйшей улыбки, а напротивъ производящее непріятное и тяжелое впечатлѣніе. Такое впечатлѣніе производитъ между прочимъ въ „Ледяномъ домѣ“ личность В. К. Тредьяковскаго. Лажечниковъ не пожалѣлъ красокъ, чтобы изобразить его мало того что въ комичномъ видѣ, но и въ самомъ черномъ свѣтѣ. Никто не будетъ спорить, что Тредьяковский игралъ при дворѣ Анны Іоанновны очень жалкую и унижительную роль, желая этимъ устроить свою ученую карьеру, и что вообще чувство человѣческаго достоинства и нравственная гордость были въ немъ весьма мало развиты. Но отъ этихъ недостатковъ до клеветы и предательства очень еще

далеко. Между тѣмъ Лажечниковъ въ четвертой части, носящей заглавіе „Куда вѣтеръ подуетъ“, рассказываетъ, какъ одинъ изъ клеветниковъ Бирона, Подачкинъ, подговаривалъ Тредьяковскаго клеветать на Волынскаго: „Тебя потребуютъ къ государынѣ — ты прямо въ ноги и Расскажи, какъ страдалъ тебя Волынский вистлицею, плахою, хотѣлъ тебя убить изъ своихъ рукъ, коли не скажешь молдаванкѣ, что онъ вдовецъ, и не станешь носить его писемъ, какъ заставлялъ тебя писать вирши противъ ея величества и раздавать народу“. На что Тредьяковский отвѣчалъ: „возлигте упованіемъ своимъ на меня, какъ на адмантовъ камень. Чего не возмogu я исполнить за великія щедроты, которыя ниспосылаетъ на меня его свѣтлость“!

Если здѣсь можно усмотрѣть клевету — то жестокую клевету со стороны Лажечникова на Тредьяковскаго, потому что въ дѣйствительности ничего подобнаго не было. Правда, Тредьяковский жаловался Бирону на Волынскаго, но при какихъ обстоятельствахъ? Когда поруганный, избитый, измученный Волынскимъ безъ всякаго повода, просто потому, что попалъ подъ руку самодура не въ добрый часъ, онъ вѣдъ себя прибѣжалъ къ Бирону, не зная куда ему броситься, гдѣ искать защиты отъ истязаній необузданнаго звѣря. Я полагаю, есть нѣкоторое различіе между подобнымъ порывомъ чловѣка, обезумѣвшаго отъ боли и страха, и спокойно, сознательно обдуманными клеветами въ обществѣ съ клеветами Бирона.

Вотъ противъ подобнаго злостнаго искаженія исторической правды и возсталъ Пушкинъ, принявъ подъ свою защиту не только Тредьяковскаго, но и самого Бирона. „Позвольте, милостивый государь, писалъ онъ Лажечникову: благодарить васъ теперь за прекрасные романы, которые всѣ мы прочли съ такою жадностью и съ такимъ наслажденіемъ. Можетъ быть, въ художественномъ отношеніи „Ледяной домъ“ и выше „Послѣдняго Новика“, но истина историческая въ немъ не соблюдена, и это современемъ, когда дѣло Волынскаго будетъ обнародовано, конечно, повредитъ вашему созданію; но поэзія всегда останется поэзіею, и многія страницы вашего романа будутъ жить, доколѣ не забудется русскій языкъ. За Василія Тредьяковскаго, признаюсь, я готовъ съ вами поспорить. Вы оскорбляете чловѣка, достойнаго во многихъ отношеніяхъ уваженія и благодарности нашей. Въ дѣлѣ-же Волынскаго играетъ онъ лицо мученика. Его донесеніе академіи трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать безъ негодованія на его мучителя. О Биронѣ можно-бы также потолковать. Онъ имѣлъ несчастіе быть нѣмцемъ; на него свалили весь ужасъ царствованія Анны, которое было въ духѣ его времени и въ нравахъ народа. Впрочемъ, онъ имѣлъ великій умъ и великіе таланты“. Этою выдержкою изъ письма, показывающею намъ, какой глубокой, правдивый и трезвый взглядъ на историческіе факты обнаруживалъ Пушкинъ даже относительно такихъ эпохъ, изученіемъ которыхъ онъ, повидимому, не занимался, мы можемъ закончить разборъ „Ледяного дома“.

Вышедши въ 1837 году въ отставку, Лажечниковъ поселился въ деревнѣ подъ Старицей, на берегу

Волги, и здѣсь былъ написанъ имъ третій историческій романъ „Басурманъ“, появившійся въ свѣтъ въ 1838 году. Романъ этотъ имѣлъ гораздо меньшій успѣхъ, чѣмъ предыдущіе: публика раскупала его не такъ быстро, и онъ выдержалъ лишь два изданія. Бѣлинскій въ свою очередь отозвался о немъ довольно холодно и нашелъ, что онъ слабѣе двухъ предыдущихъ. Со стороны публики это охлажденіе къ любимому романисту можно объяснить тѣмъ, что сюжетъ романа, взятый изъ слишкомъ отдаленной эпохи Іоанна III, могъ показаться публикѣ мало занимательнымъ и археологичнымъ. Что же касается до Бѣлинскаго, то онъ находился въ то время въ самомъ зенитѣ своего увлеченія Гегелемъ и теорію искусства для искусства; онъ повсюду искалъ художественныхъ красотъ, и не видя такихъ въ новомъ романѣ Лажечникова, ни дѣйствительныхъ, ни мнимыхъ, онъ въ тоже время не особенно высоко цѣнилъ въ немъ то, чѣмъ онъ особенно замѣчателенъ: рѣдкую цѣлостность и послѣдовательность основной идеи. Въ этомъ отношеніи „Басурманъ“ представляетъ новый шагъ впередъ со стороны Лажечникова, и по нашему мнѣнію, если что достойно отъ Лажечникова сохраниться въ памяти потомства, такъ именно его „Басурманъ“.

Безъ сомнѣнія, въ романѣ вы найдете не мало недостатковъ, обусловливаемыхъ и временемъ, въ которое онъ былъ написанъ, и ограниченностью таланта автора. Такъ, никто не будетъ спорить, что всѣ тѣ главы романа, въ которыхъ дѣйствіе происходитъ на Западѣ, имѣютъ мало сказать мелодраматическій, но чисто сказочный характеръ. Въ самомъ дѣлѣ,—вспомните хотя-бы мѣсть Антонія Фіоравенти, заключающуюся въ томъ, что онъ соглашается спасти любимую жену барона Эрнштейна съ тѣмъ только условіемъ, чтобы баронъ отдалъ въ его распоряженіе своего первенца, когда тому минетъ годъ. Такъ, именно, начинаются многія сказки, въ которыхъ роль Фіоравенти играютъ волшебницы и колдуньи. Правда, что и главный герой, лекарь Антоній, представляетъ изъ себя личность стереотипную и блѣдную, подобно всѣмъ добродѣтельнымъ героямъ романовъ того времени, что любовь его къ Настасьѣ не выходитъ изъ предѣловъ шаблонныхъ романическихъ любовей и производитъ впечатлѣніе скучной сентиментальной размазни, что злодѣи такъ-же страшны, какъ и въ предыдущихъ романахъ, а комическія личности также уродливо карикатурны и неестественны. Но рядомъ съ этимъ вы находите, какъ я уже сказалъ выше, поразительную цѣлостность основной идеи и не мало исторической правды въ частностяхъ романа.

Основная идея романа Лажечникова опредѣляется общимъ направленіемъ его мыслей. Надо замѣтить, что и въ этомъ отношеніи Лажечниковъ представлялъ полную противоположность Загоскину. Въ то время, какъ послѣдній тянулъ болѣе къ славянофиламъ, Лажечниковъ, напротивъ, воспитанникъ француза Болье, обязанный, по его собственнымъ словамъ, ему „любовью ко всему благородному и ненавистью къ угнетенію и несправедливости“, прошедши затѣмъ воспитательный для молодежи того времени курсъ по-

ходовъ 13 и 14 годовъ, былъ истиннымъ западникомъ и либераломъ въ духѣ 20 годовъ. Во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, при всякомъ удобномъ случаѣ и насколько позволяла строгая цензура того времени, Лажечниковъ не упускалъ высказывать свои либеральныя мысли. Такъ, даже въ „Послѣднемъ Новикѣ“, этомъ наименѣе либеральномъ своемъ романѣ, онъ дѣлаетъ кое-гдѣ вылазки противъ крѣпостнаго права. Такъ, напримѣръ, описывая пиръ въ замкѣ Гельмгофъ, онъ говоритъ:

«Правда, и крестьянамъ баронессы готовились угощенія и веселости: жарились для нихъ цѣлые быки, катились на господскій дворъ бочки съ виномъ, шились наряды для новобрачной четы и сыгрывались гудочки и волыночки. Чухонцы, послышавъ объ этихъ приготовленіяхъ, заранѣе разѣвали ротъ отъ удивленія и съ нетерпѣніемъ поджидали у своего окна, когда староста или *кубас* той палкой въ замокъ ихъ погонитъ веселиться, которая столько разъ и такъ немилосердно гоняла ихъ на барщину и напоминала о податяхъ. Таковъ грубый сынъ природы! Сытное угощеніе, шумный праздникъ, заставляютъ забыть все бремя его состоянія и то, что веселости эти дѣлаются на его счетъ. Надо прибавить: таковы иногда бывали и помѣщики, что рѣшались скорѣе истратить тысячи на сельскій праздникъ, нежели простить нѣсколько десятковъ рублей оброчной недоимки или рабочихъ дней немощнымъ крестьянамъ».

Самое искаженіе личностей Волинскаго, Бирона и Тредьяковскаго въ романѣ „Ледяной дождь“, вопреки исторической правдѣ, произошло не изъ изъ чего иного, какъ изъ желанія Лажечникова въ лицѣ Волинскаго изобразить свой собственный идеалъ гордаго чувства собственнаго достоинства въ неподкупномъ государственномъ мужѣ, готовомъ пострадать за свою идею и смѣло вооружающемся на тиранство злого временщика; ну и понятно, что какъ злой временщикъ сообразно этому замыслу изображенъ въ самыхъ черныхъ краскахъ, такъ и Тредьяковскій низостью своей пресмыкающейся душонки долженъ былъ оттънать величіе героя.

Въ „Басурманѣ“ же мы видимъ полный апоэозъ западничества. Представлены здѣсь западные ученые люди въ самый горячій моментъ эпохи *renaissance*, въ моментъ великаго движенія умовъ, когда только что проснувшаяся послѣ средневѣковаго мрака европейская мысль работала на всѣхъ парахъ: каждый день приносилъ какія нибудь новыя, важныя открытія и изобрѣтенія: впереди раскрывались широкія и блестящія перспективы. И вотъ въ этотъ моментъ молодой докторъ Антонъ Эрнштейнъ—тотъ самый воспитанникъ Антоніо Фіоравенти, котораго послѣдній оттагалъ отъ отца его, барона, сказочнымъ путемъ, какъ было о томъ сказано выше,—увлекся вызовомъ въ Москву лекаря, какъ въ то время всѣ живые люди увлекались странствіями въ дальнія и невиданныя страны. „Въ Московію, отозвалось въ душѣ его, какъ будто на зовъ, знакомый съ первыхъ лѣтъ младенчества. Она и прежде, въ лучшихъ мечтахъ своихъ, просила дали неизвѣстнаго, новыхъ земель и людей. Антонъ желалъ быть тамъ, гдѣ не ступала еще нога врача. Можетъ статься, допроситъ онъ тамъ природу суровую, еще свѣжую, какими силами задержатъ долѣе на землѣ временнаго жильца ея, можетъ статься

допытаетъ дѣвственную почву о тайнѣ возрожденія, откроетъ на ней родникъ живой и мертвой воды“...

И вотъ поѣхалъ Антонъ въ неизвѣстную и заманчивую Московію; и только что подѣхалъ къ матушкѣ Москвѣ златоверхой, первое зрѣлище, поразившее заморскихъ путниковъ, было слѣдующаго рода:

«Пылалъ костеръ сажени двѣ въ ширину. Въ противной сторонѣ послышались радостныя, торжественныя восклицанія. Множество людей везло на себѣ что то огромное. Не колоколъ ли? Но какъ скоро двуногая упряжь разступилась, увидали клѣтку съ рѣшеткою изъ толстой, желѣзной проволоки, и сквозь нее двухъ человѣкъ. Одинъ былъ молодой, другой старикъ. Отчаяніе въ глазахъ ихъ, моленія, пылающій костеръ, желѣзная клѣтка, радость черни... о! навѣрно готовится казнь. Западню съ половиною долой, и прямо на пылающій костеръ. Огонь, задавленный тяжкимъ бременемъ, нетерпѣливо закурился; донде начало коробиться и вскорѣ затрещало. Съ клѣтки послышался стонъ. Сердце путниковъ оледѣло, волосы встали дыбомъ. Антонъ и его товарищи просили приставовъ освободить ихъ отъ печальнаго зрѣлища. Имъ на это отвѣчали только, что въ примѣръ другимъ совершается казнь надъ мерзкими, богопротивными измѣнниками, литвиномъ княземъ Иваномъ Лукомскимъ, и его сообщникомъ, толмачемъ Матифосомъ, которые хотѣли отравить великаго государя, господина всея Руси, Ивана Васильевича...»

Пріѣзжаетъ Антонъ въ Москву; великій князь Іоаннъ принимаетъ его весьма пріятливо, и первымъ же дѣломъ, желая похвастаться своимъ могуществомъ, ведетъ его по своимъ тюрьмамъ, мрачнымъ, вонючимъ, удушливымъ клѣткамъ, гдѣ томидись различные плѣнники князя, государственные преступники, между прочимъ Марѳа Борецкая (кстати сказать, изображенная въ романѣ весьма мастерски; ея разговоръ съ Іоанномъ—верхъ совершенства). Далѣе затѣмъ поселяется Антонъ у боярина Образца, и видитъ, что хозяева замуравились отъ него каменною стѣною, чтобы не имѣть никакого сообщенія съ проклятымъ басурманомъ.

Онъ начинаетъ сближаться съ окружающими его людьми, присматриваться къ нимъ, лечить, и съ ужасомъ видитъ, что всѣ они не только его считаютъ колдуномъ, но и повсюду вокругъ себя видятъ чары, наговоры и различныя сверхъестественныя вліянія. „Русь, читаемъ мы въ романѣ, была тогда полна чарованія! Родные предразсудки и повѣрья, остатки міра младенческаго, мѣстическаго,—духи и гении, налетѣвшіе толпами изъ Индіи и глубокаго Сѣвера и сроднившіеся съ нашими богатырями и лурчаками,—царицы, принцы, рыцари запада, принесенные къ намъ въ котомкахъ итальянскихъ художниковъ; все это населяло тогда дома, лѣса, воды и воздухъ, и сдѣлало изъ нашей Руси какой-то поэтической, волшебный міръ. Духи встрѣчали новорожденнаго на порогѣ жизни, качали его въ колыбели, рвали съ дитятей цвѣты на лугахъ, плескали въ него играючи водой, аукались въ лѣсахъ и заводили въ свой лабиринтъ, гдѣ наши Тезеи могли убить лютаго Минотавра не иначе, какъ выворотивъ одежду и закліатіемъ, купленнымъ у лихой бабы, или, все равно, русской Меден. Духи поселялись въ глаза, чтобы взглядомъ испортить кого, падали разсыпною звѣздой надъ женщиною, предававшейся сладкимъ, полуночнымъ гре-

замъ, тревожили недобраго человѣка въ гробу, или, проявляясь въ лихомъ мертвецѣ, ночью выходили изъ домовища пугать прохожихъ, если православные забывали вколотить добрый колъ въ ихъ могилу. Всѣ необыкновенные случаи, всѣ недуги и сильныя страсти были дѣломъ духовъ...“

Вотъ въ какую полудикую среду попалъ Антонъ послѣ ученыхъ университетскихъ диспутовъ, раздушенныхъ фразовъ, скандировавшихъ стихи Горація, великихъ художниковъ, создавшихъ въ то время безсмертныя творенія и т. п. И тѣмъ не менѣе, сквозь непроницаемую кору варварства онъ увидѣлъ массу добродушія, великодушныхъ порывовъ, молодой, свѣжей энергіи, любознательности въ загадочномъ народѣ, среди котораго ему пришлось жить. Онъ завязалъ кое какія связи и даже любовную интригу, и такъ началъ обживаться въ Москвѣ, что готовъ былъ даже принять православіе и жениться на дочери боярина. И вдругъ стоило ему залечить татарскаго царевича Каракача, и то не залечить, а враги Антона нарочно отравили больного, чтобы обвинить ненавистнаго лекаря передъ княземъ, и вотъ тому, который самъ же вызвалъ Антона изъ нѣмечины и осыпалъ его большими милостями, ничего не стоило безъ жалости выдать Антона татарамъ, а тѣ зарѣзали его на Москвѣ рѣкѣ.

Все это производитъ на читателя очень сильное и цѣльное впечатлѣніе. Картина старой Руси въ ея звѣрской дикости и грубомъ невѣжественномъ извѣрствѣ рисуется передъ вами во всемъ своемъ ужасающемъ мракѣ. Среди этой картины угромо возвышается мрачная личность собирателя Руси, изображенная мастерски и исторически вѣрно. Здѣсь вы найдете мѣста, въ которыхъ одна какая нибудь фраза рисуетъ передъ вами эту личность во всей ея сути. Такъ, напримѣръ, обратите вниманіе на то мѣсто, гдѣ князю докладываютъ о скандалѣ, происшедшемъ на пиру у Палеолога, и между прочимъ о томъ, что Антонъ, услышавъ бранныя рѣчи Палеолога противъ князя, бросилъ ему въ лицо цѣпь, которую тотъ подарилъ ему за леченіе Ганды. Князь очень польщенъ такимъ поступкомъ Антона, но тутъ же у него воскресаетъ инстинктъ скупого и разсчитливаго скопидома, и онъ осуждаетъ молодого лекаря, пренебрегшаго драгоценнымъ подаркомъ:—неразумно, говоритъ онъ: коли была дорогая (т. е. цѣпь).

Не менѣе характеристичны, исторически правдивы второстепенныя детали, оживляющія общую картину, напримѣръ, сцена кулачнаго боя, божьяго суда, охоты за орлами—и пр. Вообще въ „Басурманѣ“ мы имѣемъ замѣчательный историческій романъ, который и до сихъ поръ читается съ удовольствіемъ и не безъ пользы.

Но, къ сожалѣнію, это былъ послѣдній историческій романъ Лажечникова. Далѣе онъ пустился въ автобіографическіе романы, каковы: „Бѣленькіе, черненькіе и сѣренькіе“ и „Немного лѣтъ назадъ“, въ которыхъ онъ является безхитростнымъ, но, надо признаться, очень скучнымъ рассказчикомъ, знакомящимъ читателей съ бытомъ и людьми своей колумбовской родины. Закончилъ же онъ большимъ романомъ „Внука цыцurnaго боярина“ изъ польскаго

возстанія, романомъ очень печальныхъ свойствъ во всѣхъ отношеніяхъ. Я бо всемъ этому распространяться не намѣренъ, такъ какъ это не входитъ въ предметъ моего труда.

## VII.

Наводненіе литературы 30-хъ и 40-хъ годовъ историческими романами и сѣтованія Бѣлинскаго по этому поводу. — Романъ изъ русской жизни Ав. Лафонтена. — Біографическій очеркъ Рафаэля Зотова и его романы: «Послѣдній потомокъ Чингисъ-хана», «Леонидъ» и «Таинственный монахъ».

«Кто не пишетъ въ наше время романовъ и повѣстей, особенно же историческихъ романовъ и повѣстей? Кто? только люди ничего не пишущіе! Откуда же эта страсть, въ чемъ ея причины? Объ этомъ можно-бы много сказать, но мы на этотъ разъ ограничимся немногими словами. Большая часть пишущаго народа вообразила себѣ, что романъ, особенно историческій, не поэзія, потому что пишется прозою. Эти господа думаютъ, что событіе (т. е. завязка или развязка какого-нибудь приключенія или происшествія) уже само по себѣ такъ интересно, что можетъ занять вниманіе читателя и доставить ему удовольствіе. Это «событіе» у нихъ всегда бываетъ одно и то же: герой, одаренный всеми добродѣтелями, красотой и умомъ, влюбляется въ героиню, которая тоже — фениксъ своего пола. За нее обыкновенно сватается какой-нибудь «защитѣй», на сторонѣ котораго отецъ. Слѣдуютъ разныя препятствія и страданія; но вѣрность и постоянство превозмогаютъ — даже здравый смыслъ, — и герои, по претерпѣніи разныхъ несчастій, совокупляются наконецъ законнымъ бракомъ. Къ этому вадору г. сочинитель приплетаетъ исторію, выведетъ нѣсколько историческихъ лицъ и заставитъ ихъ говорить и дѣйствовать для вождѣннаго соединенія героевъ своего романа, такъ что у иного такого сочинителя и полтавская битва, и бородинское сраженіе даются именно съ этою цѣлію и, кромѣ счастливаго брака глупыхъ любовниковъ, не оставляютъ послѣ себя никакихъ результатовъ для міра. Согласитесь, что такъ писать легко: нечего выдумывать, не надъ чѣмъ думать; взялъ перо — и пошелъ писать! Чудаки — эти сочинители!»

Такъ жѣтко характеризовалъ Бѣлинскій въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1843 г. большинство историческихъ романовъ, выходившихъ въ его время, и такъ онъ сѣтовалъ на ту поразительную легкость и скороспѣлость, съ какими эти романы писались и появлялись на свѣтъ. И дѣйствительно, было на что сѣтовать и негодовать. Тотъ необычайный успѣхъ, какимъ ознаменовалось появленіе романовъ Загоскина и Лажечникова, не могъ пройти безслѣдно и не возбудить конкуренціи въ то время, когда книгопродавческая дѣятельность только-что успѣла встать на ноги и литературная спекуляція была въ полномъ разгарѣ. Чего только не предпринималось въ то время съ цѣлію улавливать неопытнаго читателя и наживаться на счетъ его легковѣрія и невѣжества: и альманахи, и иллюстраціи, и такія съ виду почтенныя, а въ сущности эфемерныя изданія, какъ энциклопедическій лексиконъ Плюшара, «Панорама С.-Петербурга» Башуцкаго, «Россія» Булгарина. Нѣтъ ничего удивительнаго, что съ легкой руки Загоскина и

Лажечникова историческіе романы въ свою очередь посыпались, какъ изъ рога изобилія. Какъ велика была эта эпидемія исторической беллетристики, можно судить по числу наиболѣе выдающихся именъ, подвизавшихся въ то время на этомъ поприщѣ. Такъ, кромѣ Пушкина, Гоголя, Загоскина, и Лажечникова мы видимъ въ качествѣ русскихъ В. Скоттовъ: — Р. Зотова, Н. Полеваго, Ѳ. Булгарина, Н. Кукольника, Свинына, Ал. Кузича, Воскресенскаго, П. Федорова, А. Андреева, А. Чуровскаго и проч. Женскій трудъ, въ свою очередь, не замедлилъ представить свою лепту всеобщему увлеченію въ лицѣ О. Шнипкиной, о которой будетъ у насъ рѣчь впереди, и другой безвѣстной писательницы, написавшей романъ «Супруги Владиміра» и затѣмъ историческую повѣсть, одно обширное, но совершенно безграмотное заглавіе которой можетъ свидѣтельствовать о томъ, что это за произведеніе. Вотъ это замѣчательное заглавіе: *«Пионы. Русская повѣсть XVI столѣтія. Съ точнымъ описаніемъ житія-бытія Русскихъ бояръ, ихъ прибитія въ отчизну, покорности женъ, тиры вельможей и наконецъ Царская вечеринка. Мимоходомъ замѣчены монахи того времени, ихъ поклонники; не забыты и истинно святыя мужи, какъ-то старцы: Семіонъ Курбскій, Вассіанъ Патрикѣевъ и Максимъ Грекъ, въ достовѣрную эпоху вторичнаго брака царя Василія Іоанновича. Выбрано изъ рукописей издательницею „Супругъ Владиміра“. Москва 1834 года»*.

Создательница «Шитоновъ» все таки разсчитывала на кое-какую извѣстность, именуя себя издательницей «Супругъ Владиміра», но во второй половинѣ 30-хъ годовъ начали фабриковаться цѣлыми массами историческіе романы безъ всякихъ поименованій авторовъ. Это были дубочныя изданія, которыми преимущественно отличались московскіе книгопродавцы; кое какъ скопированные на скорую руку, частью по Карамзину, частью по вышедшимъ уже въ свѣтъ романамъ, печатаемые на сѣрой, чуть не оборточной бумагѣ, съ грубѣйшими грамматическими ошибками и опечатками, и непременно съ громкими заманивающими заглавіями въ родѣ вышеприведеннаго, романы эти тѣмъ не менѣе расходились по ярмаркамъ въ числѣ десятковъ тысячъ экземпляровъ. Книжная спекуляція на этомъ пути дошла наконецъ до такой крайней безцеремонности, что начали издавать историческіе романы съ заглавіями, похожими на заглавія романовъ, имѣвшихъ наибольшій успѣхъ. Такъ появились Ольга Милославская, княжна Рославлева и т. п.

Предпримчивая по части дубочной книжной спекуляціи, Москва, пользуясь страстью публики къ чтенію историческихъ романовъ, ухитрилась даже издать переводный, историческій романъ изъ русской жизни. Такъ въ 1830 г. вышла книга *«Князь Ѳеодоръ Д—кій и княжна Марья М—ва, или вѣрность по смерти. Русское происшествіе. Сочиненіе Августа Лафонтена. Переводъ съ Нѣмецкаго»*.

Это было новое изданіе романа, имѣвшаго успѣхъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, но давно забытаго, и вотъ въ 1830 году, романъ Лафонтена, благодаря всеобщему увлеченію историческою беллетристикой,



вновь вынырнулъ на свѣтъ, не смотря на то, что въ 30-е годы онъ представлялъ собою совершенный анахронизмъ и, распространяясь рядомъ съ „Капитанскою дочкой“ Пушкина или романами Загоскина имѣлъ видъ покойника, внезапно воскресшаго и начавшаго разгуливать въ старомодномъ костюмѣ среди совершенно чуждыхъ ему правотъ и обычаевъ.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ sentimentalный романъ въ письмахъ начала нынѣшняго столѣтія, чуждый какихъ-бы то ни было живыхъ историческихъ красокъ и типическихъ чертъ времени и мѣста. Дѣйствующія лица только и дѣлаютъ, что пишутъ письма своимъ друзьямъ, разражаясь при этомъ безпрестанно длинными, чувствительными тирадами о добродѣтели, любви къ отечеству и тщетѣ честолюбія и роскоши. Сюжетъ заключается въ томъ, что два нѣжные голубка, князь Ѳеодоръ Долгорукій и княжна Марія Меншикова, пылая самою высокою и добродѣтельною взаимною страстью, поклялись принадлежать другъ другу до гробовой доски, не смотря на то, что ихъ раздѣляла непримиримая вражда ихъ родителей — нѣчто въ родѣ вражды Монтекки и Капулетти. — Не встрѣчая поощренія ихъ страсти со стороны родныхъ, молодые люди собрались уже было бѣжать за границу; все было готово къ побѣгу: въ каналѣ стояла яхта, снабженная нужнымъ количествомъ людей и съѣстными припасами; оставалось только сѣсть на нее и уѣхать, но любовь къ добродѣтели остановила героевъ въ самую рѣшительную минуту.

— Марія! воскликнулъ князь Ѳеодоръ, съ огнемъ любви смотря въ глаза княгини Маріи: вотъ судно, которое унесетъ насъ отъ твоего отца. Какая была-бы для меня радость, если-бы нога твоя на него ступила! Но я не хочу, Марія, похитить тебя силою. Ты меня любишь; для меня этого довольно. Мое счастье стоило-бы слишкомъ дорого, если-бы оно было куплено слезами горести, проливаемыми тобою. Подумай, Марія, и на что нибудь рѣшись. Тебѣ должно оставить отечество, родителей, сестру, родственниковъ, должно оставить свою знатность, отказаться отъ своего имени, а я, въ награду за все это, не могу обѣщать тебѣ ничего болѣе, кромѣ своего сердца, вѣрнаго своего сердца!“

Въ отвѣтъ на это Марія прижала его къ своему сердцу и сказала: „Дражайшій Ѳеодоръ! я готова броситься съ тобою въ пропасть. Счастливою, несказанно счастливою была бы я у твоего сердца! Но — какъ можно оставить матушку... Однако избирай Ѳеодоръ, я на все готова!“

— Я уже избралъ, безцѣнная Марія, сказалъ онъ съ нѣжностью, избралъ спокойствіе невиннаго твоего сердца, а не свое счастье. Мы въ состояніи умереть другъ для друга; это всегда дѣлаетъ насъ счастливыми! Слезы горести будутъ мочить глаза твои, но никогда — слезы раскаянія! Пойдемъ назадъ, милая Марія! лучше останемся несчастными, нежели виновными!

И они вернулись на стезю добродѣтели. Послѣ того оберъ-злѣдѣй романа, князь Меншиковъ, началъ сватать свою дочь за императора Петра II, а князя Долгорукова заключилъ въ крѣпость; но вскорѣ послѣ-

довало паденіе и ссылка въ Березовъ самаго оберъ-злѣдѣя; князь же Долгорукій, освобожденный изъ своего заточенія, послѣдовалъ въ Сибирь вслѣдъ за своею возлюбленною, объявивши роднымъ и знакомымъ, что онъ ѣдетъ за границу. — Приставъ по дорогѣ къ семейству Меншиковыхъ, Долгорукій сблизился съ павшимъ временщикомъ, и тотъ такъ полюбилъ его, что въ Березовѣ началъ уговаривать свою дочь, чтобы она бѣжала со своимъ возлюбленнымъ. — Но было уже поздно: роковой недугъ, развившійся вслѣдствіе всѣхъ передрагъ, подтачивавъ жизнь Маріи, и молодые люди ограничились тѣмъ, что ссыльный священникъ соединилъ ихъ законнымъ бракомъ. Замѣчательно при этомъ, что авторъ романа, незнакомый съ русскими обычаями, изобразилъ обрядъ вѣнчанія въ хижинѣ, гдѣ жили Меншиковы. Далѣе затѣмъ авторъ поражаетъ своихъ читателей эффектнымъ эпизодомъ въ дико-романтическомъ духѣ. — Молодые поѣхали въ Тобольскъ для закупки припасовъ. На возвратномъ пути, ѣдучи вдоль по берегу Оби, вышли они изъ коляски, чтобы посмотрѣть на мысъ, который былъ весь покрытъ разными деревьями. Но пока они любовались природой и восхищались, внезапно мысъ отдѣлился отъ береговъ и понесся внизъ по рѣкѣ, увлекаемый теченіемъ. Послѣ тщетныхъ попытокъ спастись, князь Ѳеодоръ Долгорукій и княгиня Марія Меншикова, читаемъ мы въ романѣ: „взошли на холмъ, бывший по срединѣ, потому что глубокая вода затопила уже нижнюю часть острова. Здѣсь сѣли они и обнялись крѣпко, ожидая смерти. Плывшій ихъ островъ попался въ быстрый потокъ рѣки и несся, какъ стрѣла. Любовники еще крѣпче обхватились, потому что островъ начиналъ колебаться и большіе отломки отдѣлялись отъ него. Уже думали они потонуть въ волнахъ, и кровь ихъ оледенѣла. Шумъ ярыхъ волнъ и ужасный громъ возстающей бури заглушали ихъ чувства; и когда высоко-бьющія волны брызгали на нихъ, то они думали уже, что утлывутъ съ волнами. „Ѳеодоръ! любезный Ѳеодоръ! я вѣчно твоя!“ — „Марія! любезная Марія! я вѣчно твой“. — Такъ вскричали они оба и крѣпко прижимали другъ къ другу холодныя уста свои“.

Но все обошлось благополучно. Коварный островъ вновь присталъ къ берегу, и супруги выбрались на твердую землю, для того, чтобы остатокъ дней провести въ мирномъ счастіи подъ соломенною кровлею. Марія вскорѣ умерла, князь Ѳеодоръ, конечно, не пережилъ ее и отправился на тотъ свѣтъ черезъ мѣсяцъ послѣ ея смерти. Ихъ похоронили рядомъ, чѣмъ и кончается чувствительный романъ, надъ которымъ, безъ сомнѣнія, не мало было пролито слезъ нашими бабушками. Но появленіе этого романа вновь въ срединѣ 30-хъ годовъ показываетъ, что и наши матушки все еще были не прочь поплакать надъ подобною sentimentalною чепухою, хотя они были окружены литературными образцами совсѣмъ въ иномъ духѣ и вкусѣ.

Не имѣя ни нужды, ни возможности перебирать всѣ подрядъ историческіе романы, вышедшіе въ 30-е и 40-е годы, мы ограничимся лишь наиболѣе выдающимися, извѣстными и составлявшими нѣкогда любимое чтеніе нашихъ отцовъ, а также и наше въ на-

шемъ дѣтствѣ. Такъ, первое мѣсто послѣ Загоскина и Лажечникова занимаетъ, безспорно, Рафаилъ Михайловичъ Зотовъ. Съ него-то мы и начнемъ.

Романы Р. Зотова, хотя и уступаютъ по таланту автору романамъ Загоскина и Лажечникова, тѣмъ не менѣе имѣютъ свои рѣзкія особенности, и особенно эти вполнѣ зависятъ отъ нѣкоторыхъ условій происхожденія и жизни Зотова, и потому мы считаемъ не лишнимъ прежде всего нѣсколько познакомить читателей нашихъ съ этими условіями, выходящими изъ общаго уровня.

Начать съ того, что Р. М. Зотовъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ царственного происхожденія. Онъ былъ ввукъ Бату-хана, брата послѣдняго крымскаго влстителя Шагинъ-Гирей. Отецъ его родился отъ невольницы Заремы, дѣвушки обольстительной красоты и тоже какого-то восточнаго происхожденія. До 8 лѣтъ мальчика скрывали въ тайникахъ гарема, потому что ханы не любили, чтобы братья ихъ имѣли дѣтей, и лишь когда Бату-ханъ убѣдился, что братъ его не питаетъ къ нему вражды, а напротивъ того, любитъ ѣздить съ нимъ на охоту и проводить съ нимъ вечера, онъ открылся ему въ тайнѣ рожденія своего сына. Ханъ принялъ это очень милостиво, приказалъ даже представить себѣ племянника. Съ этихъ поръ мальчикъ получалъ уже лучшее воспитаніе, къ какому былъ способенъ тогдашній бахчисарайскій дворъ, подъ руководствомъ итальянца Сальви, занимавшаго при дворѣ должность звѣздочета, врача и казначея.

Братья, впрочемъ, не долго жили мирно. Оба они были и честолюбивы, и сластолюбивы. Шагинъ-Гирей заинтересовался красотой Заремы, и братъ долженъ былъ уступить ему свою любимѣйшую жену, но въ душѣ возмѣтился отомстить ему и составилъ заговоръ съ цѣлью умертвить брата и завладѣть престоломъ его. Все уже было готово къ исполненію этого замысла, дворецъ былъ наполненъ убійцами, какъ вдругъ сынокъ Заремы все разомъ разрушилъ: онъ подслушалъ о готовящемся переворотѣ и сообщилъ своему воспитателю Сальви, а тотъ пошелъ къ хану и убѣдилъ его бѣжать въ русскій лагерь въ Перекопъ. Бату-ханъ немедленно-же возсѣлъ на престолъ брата. Въ Константинополѣ приняли посольство Бату самымъ ласковымъ образомъ и обнадежили его въ султанской помощи, а русскій генералъ Бальменъ отправилъ въ Петербургъ эстафетъ съ донесеніемъ о случившемся. Черезъ полгода, когда уже Бату-ханъ воображалъ себя полнымъ властителемъ Крыма, Бальменъ, получивъ приказаніе, быстро двинулся къ Бахчисараю, и, въ свою очередь, сынъ-же его былъ отправленъ вмѣстѣ съ матерью въ Петербургъ въ чествѣ аманата.

Начавши такимъ образомъ свою карьеру доносомъ на отца, отецъ Р. Зотова былъ доведенъ до Петербурга лишь одинъ, такъ какъ мать его дорогою умерла. — Какъ до отъѣзда, такъ и дорогою онъ не переставалъ учиться русскому языку сначала у бахчисарайскаго консула Горопуло, потомъ у поручика Нагеля, который его возъ въ столицу. По пріѣздѣ онъ былъ представленъ сначала Ланскому, потомъ импе-

ратрицѣ, которая рѣшила окрестить его и при этомъ пожаловать сержантомъ гвардіи. При крещеніи нарекли его Михайломъ, а фамилію Зотова дали потому, что онъ случайно походилъ на одного изъ камердинеровъ императрицы, носившаго эту самую фамилію. Затѣмъ мальчика опредѣлили въ шляхетный корпусъ, гдѣ принялъ въ немъ большое участіе графъ Ангальтъ. По выходѣ изъ корпуса Михайлъ Зотовъ былъ по волѣ Павла оставленъ при корпусѣ наставникомъ, но вскорѣ обратилъ на себя вниманіе императора необыкновенною своею силою и переведенъ въ число дворцовыхъ гренадеръ. — Но въ этой должности онъ оставался не долго, такъ какъ Ламсдорфъ, получивши мѣсто псковскаго губернатора, взялъ его къ себѣ чиновникомъ особыхъ порученій, а вскорѣ затѣмъ онъ былъ назначенъ капитанъ-исправникомъ.

Здѣсь съ нимъ случилось весьма важное событіе въ его жизни. Надо замѣтить, что въ то время нравы дворянскаго сословія не отличались особенною чистотою, и какъ въ столицѣ, такъ и по провинціальнымъ городамъ жизнь свѣтскихъ обществъ представляла собою непрерывную оргію пьянства, карточной игры и волокитства. — Нужно-ли и говорить о томъ, что молодой человѣкъ атлетическаго сложенія, въ жилахъ котораго текла горячая восточная кровь, унаслѣдовавшій, къ тому-же, отъ своихъ властительныхъ и женолюбивыхъ предковъ не малую дозу сластолюбія — послужилъ лакомою приманкою для дамъ псковскаго бомонда и сразу завелъ бездну интрижекъ и между прочимъ къ нему оказала свою благосклонность жена вице-губернатора Брылкина. Но онъ имѣлъ неосторожность, не довольствуясь господжею, польститься на ея служанку, крѣпостную дѣвушку, и возбудилъ въ вице-губернаторшѣ неукротимую ревность. Она потребовала, чтобы капитанъ-исправникъ тотчасъ-же женился на обольщенной имъ дѣвушкѣ, въ противномъ случаѣ, угрожала пожаловаться на него самому государю. Эта угроза въ тѣ времена была не шуточная. Павелъ I, какъ извѣстно, очень строго относился къ нравственности офицеровъ, и нарушителей ея обыкновенно заставляли жениться на обольщенныхъ дѣвушкахъ. Такъ, нѣкто Альбрехтъ, бывшій потомъ казначеемъ при театрѣ, принужденъ былъ жениться на охтенской молочницѣ, подавшей подобную жалобу.

Михайлъ Зотовъ не пожелалъ допустить разгнѣванную вице-губернаторшу до жалобы и рѣшился добровольно жениться на ея крѣпостной. Первымъ плодомъ этого союза и былъ будущій романистъ Рафаилъ Зотовъ.

Этотъ насильственный бракъ, конечно, не могъ быть особенно счастливымъ. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что Михайлъ Зотовъ почти не жилъ со своей женой. Онъ купилъ для своей семьи домъ на Завеличьи и нѣсколько душъ, а самъ уѣхалъ въ Парижъ въ чествѣ наставника дѣтей у одного псковскаго богача. Здѣсь онъ имѣлъ какія-то странныя и нѣсколько двусмысленныя сношенія съ прусскимъ дворомъ и первымъ консуломъ Бонапарте, съ его министрами, съ актрисами Жоржъ и Жюли Эвра; затѣмъ онъ явился въ Пултускъ въ русскую армію, представился Беннигсену и получилъ мѣсто по провіантской части.

Послѣ этой кампаніи онъ побывалъ опять во Псковѣ по устройству своихъ домашнихъ дѣлъ, потомъ опять отправился въ Петербургъ, взявши съ собою семилѣтняго сына. Тутъ онъ, въ чинѣ подполковника, получилъ довольно важное мѣсто въ молдавской арміи, куда и отправился, оставивши сына на попеченіи своей прежней покровительницы Ѳед. Ив. Елагинной, — и затѣмъ пропалъ безъ вѣсти. Австрійскій консулъ сообщилъ изъ Калафата, что подполковникъ Зотовъ, переѣзжая черезъ Дунай, утонулъ и похороненъ; бумаги-же его препроводилъ къ Прозоровскому. Но черезъ тридцать лѣтъ Р. Зотовъ встрѣтилъ своего однофамильца и изъ разговора съ нимъ узналъ, что тотъ былъ братъ его и родился отъ того-же самаго М. Зотова послѣ уже таинственнаго исчезновенія его. Оказалось такимъ образомъ, что М. Зотовъ и не думалъ утопать, а долго жилъ въ Турціи, не скрывая своей фамиліи, но будучи двоеженцемъ, не могъ уже возвратиться въ Россію. Попросту-же сказать, онъ ловко отдѣлался отъ силою навязанной ему семьи и завелъ другую, по душѣ.

Читатель, конечно, будетъ удивленъ, что я, вѣсто того, чтобы остановить вниманіе его преимущественно на фактахъ жизни самого романиста, рассказываю такъ подробно жизнь его отца. Но, во-первыхъ, дѣлая это, я пересказываю сюжетъ одного изъ романовъ Р. Зотова, а, во-вторыхъ, біографическія данныя отца Р. Зотова скорѣе дадутъ намъ ключъ къ пониманію нѣкоторыхъ особенныхъ чертъ романовъ Р. Зотова, чѣмъ его собственная жизнь.

Что касается до послѣдней, то она лишь въ началѣ замѣчательна своимъ, по истинѣ, фантастическимъ характеромъ. Представьте себѣ мальчика, завезеннаго отцомъ въ Петербургъ и оставленнаго въ домѣ Ѳед. Ив. Елагинной; затѣмъ отецъ вдругъ исчезаетъ, а Елагинна разоряется и уѣзжаетъ со своимъ семействомъ въ деревню, мальчикъ-же остается на рукахъ гувернера, нѣкоего Краузе, выходца изъ Варшавы, гдѣ онъ имѣлъ прежде мѣсто полицей-инспектора, а затѣмъ опредѣлился къ Елагинной учить ея дѣтей (онъ зналъ нѣсколько языковъ) и устранивать ей оркестръ изъ ея крѣпостныхъ. Краузе сидитъ безъ мѣста, и маленький Р. Зотовъ голодаетъ вѣстѣ съ его семействомъ. Краузе опредѣляется въ какой-нибудь богатый домъ наставникомъ и гувернеромъ, и мальчикъ поселяется въ этомъ совершенно чужомъ домѣ и начинаетъ учиться съ дѣтьми барина. Наконецъ, Краузе, желая избавиться отъ подкинутого ему ребенка, принуждаетъ его припомнить, съ какими людьми отецъ его наиболѣе былъ знакомъ. Мальчикъ припоминаетъ фамилію Чихачева и Кожевникова. Идутъ наудачу сначала къ Чихачеву, тотъ принялъ ихъ сухо и не пожелалъ взять на воспитаніе чужого ребенка; отправляются тогда къ Кожевникову, и послѣдній, по словамъ Р. Зотова, принимаетъ съ открытыми объятіями сына своего друга, тотчасъ-же беретъ его въ домъ и помещаетъ въ гимназію, гдѣ мальчикъ кончаетъ курсъ въ 1810 г., 15 лѣтъ отъ роду.

Далѣе жизнь Р. Зотова не представляетъ собою ничего особенно замѣчательнаго. По примѣру всей мало-мальски порядочной молодежи того времени, онъ участвовалъ въ войнѣ въ 1812 году, въ качествѣ

ополченца и, выдержавши всю кампанію, возвратился въ 1814 году съ десятью ранами и Анною 3-й степени. Затѣмъ пристроился къ театальной дирекціи и занималъ разные мѣста при театрахъ въ продолженіи 25 лѣтъ. На этой службѣ изъ него выработался, мало-по-малу, истый бюрократъ, умѣвшій и къ начальству ловко подлѣзать, и подставить, кому нужно, ножку, и не упустить случая воспользоваться предлагавшимся кускомъ общественнаго пирога. Къ повышеніямъ, наградамъ и особенно къ орденамъ онъ питалъ большую нѣжность; по крайней мѣрѣ, повсюду въ своихъ запискахъ, гдѣ только касается дѣло этого предмета, онъ говоритъ обо всемъ этомъ съ увлеченіемъ. Такъ, напримѣръ, по поводу своего представленія новому директору Остолопову въ качествѣ секретаря, онъ замѣчаетъ: „я явился къ Остолопову и былъ принятъ довольно ласково. Но странно было видѣть, что у директора былъ только Владимиръ 4-й степени, а у секретаря Анна на шеѣ“. Женитьба его, чуждая какихъ-либо романтическихъ и поэтическихъ красокъ, въ свою очередь, совершенно носила характеръ вступленія въ законный бракъ по всѣмъ формамъ житейской практики чиновника, имѣющаго солидное мѣсто и Анну 3-й степени. По крайней мѣрѣ, вотъ какъ онъ повѣствуетъ объ этомъ обстоятельстве своей жизни: „Мнѣ былъ только 21-й годъ, но я уже сдѣлалъ походъ и четыре года былъ на службѣ. Съ окладомъ въ 600 р. не смѣлъ я рѣшиться на женитьбу, но съ 2000 и получивъ 1200 за переводъ — можно было свататься. Жена моя была не богаче меня, и мы въ будущемъ не могли упрекать другъ друга. *Князь Тюфякинъ былъ моимъ посаженнымъ отцомъ и для брачной церемоніи далъ мнѣ свою карету*“. Коротко, ясно и такъ типично, что не требуетъ ни малѣйшихъ разъясненій.

Выйдя въ отставку изъ театальной дирекціи, Р. Зотовъ долго оставался безъ мѣста и тщетно хлопоталъ гдѣ-либо пристроиться. Прежде всего, по словамъ его, онъ обратился къ начальнику III отдѣленія Мордвинову, съ которымъ когда-то дѣлилъ военную кампанію. Мордвиновъ тщетно хлопоталъ о Р. Зотовѣ у гр. Бенкендорфа, но государь отказалъ даже и его ходатайству. Мордвиновъ скорѣе вышелъ въ отставку и передалъ Зотова Л. В. Дубельту, который, въ свою очередь, старался пристроить его въ различныя канцеляріи, но безуспѣшно, и лишь послѣ того, какъ онъ, по случаю построенія Николаевского моста, вздумалъ написать нѣсколько стиховъ, конечно, хвалебныхъ, гр. Клейнмихель пригласилъ его на службу членомъ общаго присутствія департамента ревизіи отчетовъ.

Литературная дѣятельность Р. Зотова была по истинѣ изумительна своею плодотворностью и многосторонностью. Такъ, во время своей службы при театрахъ, онъ успѣлъ написать и перевести 110 пьесъ. Затѣмъ онъ писалъ романы, какъ историческіе, такъ и изъ современной жизни и не только европейской или русской, но изъ китайской (его романъ Цынъ-Ки-Тонгъ), писалъ популярныя статьи по астрономіи, въ родѣ „Геогонія и космогонія“, „Сонъ въ лѣтнюю ночь въ Павловскѣ“, „Фантастическій обзоръ всего мірозданія“, „Путешествіе на Венеру“, „Путешествіе на

Маршъ“, „Пребываніе на нѣкоторыхъ явѣздахъ“, „Солнце и его мировая система“, „Міровѣдѣніе“. По-давалъ высшему начальству проекты, каковы, на-примѣръ: объ охраненіи зданій отъ пожаровъ; объ учрежденіи въ Россіи гражданской стражи; о построе-ніи желѣзной дороги изъ Петербурга въ Одессу; объ обмеженіи всѣхъ рѣкъ въ Россіи по причинѣ истреб-ленія лѣсовъ; о нищенствѣ; наконецъ, о всеобщей воинской повинности и военной службѣ не долѣе трехъ лѣтъ. „Это, — говоритъ онъ, — превратило-бы Россію въ постоянный и всеобщій лагерь, который вѣдѣлъ съ тѣмъ занимался-бы всѣми вѣтвями про-мышленности, науками, художествами. Главное, при этомъ, было-бы обязательное ученіе всѣхъ сословій такъ, чтобы окончившіе курсъ въ университетахъ вступали въ военную службу въ офицерскомъ чинѣ, а съ гимназическимъ курсомъ имѣли-бы право только на унтеръ-офицерское званіе. Военное воспитаніе должно быть всеобщимъ, и оно на всю жизнь сохра-нить каждому духъ дисциплины и общественнаго по-рядка“.

Въ своихъ литературныхъ сношеніяхъ Р. Зотовъ былъ также неразборчивъ, какъ и въ служебныхъ. Такъ, мы видимъ, что онъ мало того, что всю жизнь вращался и работалъ въ литературныхъ кружкахъ весьма предосудительнаго свойства, но и попалъ-то въ эти кружки самымъ недолитературнымъ способомъ. Вотъ, какъ рассказываетъ онъ объ этомъ въ своихъ запискахъ:

«Я не упомянулъ о моихъ газетныхъ сотрудничест-вахъ. Первое я получилъ по ходатайству М. В. Ду-беля у Греча и Булгарина. Они мнѣ дали 4000 р. ассигн. за то, чтобы я писалъ театральныя статьи и всякую другую мелочь. Конечно, я помнилъ свое мас-сонское знакомство съ Гречемъ (въ юности Р. Зо-товъ вмѣстѣ съ Гречемъ участвовалъ въ нѣмецкой ложѣ Peter zur Wahrheit и мечтали объ учрежденіи рус-ской ложѣ), хоть онъ и предалъ меня, пославъ кн. Шаховскому мои стихи противъ него, съ другой стороны, не довѣрялъ и Булгарину, потому что былъ не его партія (?); но мнѣ выбирать было не изъ чего и я пріютился у этихъ людей, у которыхъ добросовѣстно работалъ четырнадцать лѣтъ, и дол-женъ имъ отдать справедливость: они были ко мнѣ всегда ласковы. Взявъ потомъ и политическій отдѣлъ (который весь состоялъ изъ переводовъ), я довелъ свое жалованье до 1200 р. серебромъ и никогда не ссорился съ ними. Четырнадцатилѣтній періодъ безъ ссоры очень важная вещь для газетныхъ редакцій, но все-таки кончилось тѣмъ, что мы поссорились. Одно анонимное общество предложило мнѣ принять на себя редакцію предпринимаемой газеты «Россія», съ тѣмъ, чтобы я составилъ планъ и дѣйствовалъ передъ правительствомъ отъ своего имени; я согла-сился и подалъ этотъ планъ въ III отдѣленіе. Сынъ Булгарина служилъ въ III отдѣленіи и передалъ это извѣстіе Гречу, съ прибавкою, что проектъ мой чудовищенъ. Этого было довольно, чтобы возбу-дить страшный гнѣвъ Греча. Онъ разразился руга-тельствами за мою неблагодарность и упрекалъ за-то, что я подорву «Пчелу». Письмо кончалось, раз-умѣется, тѣмъ, что я съ этой минуты уволенъ отъ сотрудничества. Что мнѣ было дѣлать? Я отвѣчалъ объясненіемъ всего дѣла и отвѣта, который полу-чилъ отъ III отдѣленія, и затѣмъ разстался съ Гре-чемъ навсегда».

Изъ историческихъ романовъ Р. Зотова, имѣвшихъ наибольшій успѣхъ и до сихъ поръ не забытыхъ, мы остановимся на трехъ — на романѣ „Леонидъ или нѣ-

которыя черты изъ жизни Наполеона“, вышедшемъ въ 1832 г., — „Тайнственный монахъ, или нѣкоторыя черты изъ жизни Петра I“ — изданномъ въ 1842 г. и „Послѣдній потомокъ Чингисъ-Хана“, неизвѣстно когда написанномъ Р. Зотовымъ, изданномъ-же въ 1880 г. сыномъ романиста, Вл. Зотовымъ, девять лѣтъ спустя послѣ смерти отца. Читатель извинитъ, что, нарушая хронологическій порядокъ, мы начнемъ пря-мо съ послѣдняго. Это намъ нужно потому, что въ этомъ романѣ наиболѣе рѣзко выражаются тѣ особен-ности романовъ Р. Зотова, о которыхъ у насъ тот-часъ-же пойдетъ рѣчь.

Главная и существенная особенность заключается въ томъ, что герои романовъ Р. Зотова по отношенію къ женскому полу слѣдуютъ нравственнымъ принци-памъ, рѣзко расходящимся съ принципами героевъ прочихъ историческихъ романовъ того времени. Мы уже знакомы съ героями романовъ Пушкина, Загос-кина и Лажечникова. Всѣ они отличаются крайне строгимъ цѣломудріемъ, доходящимъ порою до суро-ваго аскетизма. Какъ только влюбится герой въ пер-вой главѣ романа, и къ тому-же, по большей части, въ первый разъ жизни, такъ и остается вѣрнѣе пред-мету страсти до послѣдней страницы, пока авторъ не заблагоразсудитъ, наконецъ, сочетать своихъ героевъ законнымъ бракомъ послѣ массы всякихъ злоключеній. Строгое отношеніе къ чувству долга и презрѣніе къ чувственности доходитъ иногда у этихъ героевъ до того, что, какъ мы видѣли, Юрій Милославскій, обви-ченный уже съ Анастасіей, отталкиваетъ вдругъ ея страстныя объятія и предлагаетъ ей разойтись на-всегда и обоимъ избрать иноческую жизнь. Одинъ князь Волынской измѣняетъ своей супругѣ и допу-скаетъ себѣ вступить въ незаконную связь съ Маріо-рицей, но чего это ему стоило, какихъ душевныхъ страданій, какихъ ужасныхъ угрызѣній совѣсти: чи-татель такъ и ждетъ, что земля тотчасъ-же развер-нется подъ преступникомъ и онъ въ адскомъ пламени провалится въ преисподнюю.

Совершенно иначе устриваютъ свои сердечныя дѣла герои Р. Зотова. Взглядъ ихъ на половыя отно-шенія принадлежитъ вполне къ мусульманскому типу, и въ этомъ отношеніи романы Р. Зотова предста-вляютъ весьма любопытную игру природы. Нѣтъ со-мнѣнія, что здѣсь проявляетъ свое вліяніе законъ на-слѣдственности. Потомокъ владѣтельныхъ хановъ, утопавшихъ въ наслажденіяхъ гарема, и сынъ тата-рина, первая девять лѣтъ своей жизни проведенная въ стѣнахъ Бахчисарайскаго серала, Р. Зотовъ до извѣстной степени остался вѣрнѣе нравственной си-стемѣ своихъ предковъ. Извѣстно, какъ смотритъ на женщину и свои отношенія къ ней мусульманинъ. Съ одной стороны, онъ вовсе не отрицаетъ глубокой и страстной любви къ одной женщинѣ. Мы видѣли, что дѣдъ Р. Зотова такъ былъ привязанъ къ своей За-ремѣ, что когда братъ отнялъ ее отъ него, онъ вы-шелъ изъ своего восточнаго кейфа и устроилъ цѣлый заговоръ противъ брата. Но эта любовь, какъ-бы она ни была сильна и постоянна, нисколько не обязываетъ мусульманина быть вѣрнымъ предмету своей страсти. Онъ дѣлаетъ любимую женщину хозяйкой дома, гос-пожею гарема, но это не мѣшаетъ ему имѣть десятки

второстепенныхъ женъ подъ ея владычествомъ, и притомъ эти второстепенныя жены не всегда служатъ одною только потѣхою чувственности мусульманина; нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ, въ свою очередь, любитъ — однихъ за одни качества, другихъ за другія.

Герои романовъ Р. Зотова не нѣтъ, правда, гаремовъ, живя среди русской культуры. Но это нисколько не мѣшаетъ имъ держаться по отношенію къ женскому полу совершенно мусульманскаго закона. Таковъ, въ особенности, герой романа „Послѣдній потомокъ Чингисъ-хана“, и это тѣмъ болѣе кстати, что въ романѣ этомъ Р. Зотовъ почти дословно, съ нѣкоторыми лишь украшеніями пѣтями авторской фантазіи, изобразилъ жизнь своего отца, начиная съ его рожденія отъ прелестной Заремы и до мнимаго исчезновенія въ волнахъ Дуная. Любовныя подвиги Михаила Гиреева, какъ именуется герой романа, начинаются тотчасъ-же по пріѣздѣ его въ Псковъ въ качествѣ чиновника особыхъ порученій и затѣмъ капитанъ-исправника. Намъ извѣстно, какъ дорого обошлись Гирееву тѣ легкія побѣды, которыя онъ началъ совершать въ псковскомъ бою. Тутъ нѣтъ еще ничего специально мусульманскаго. Конечно, любой, самый чистокровно-русскій поручикъ того времени сталъ-бы дѣлать то-же самое и могъ-бы также, въ концѣ концовъ, влопаться въ женитбу на крѣпостной. Но ни одинъ русскій романистъ и не сталъ-бы возводить подобнаго поручика въ степенъ идеальнаго героя. Такъ, мы видимъ, что у Пушкина въ „Капитанской дочкѣ“ первостепеннымъ героемъ является дѣломудренный Гриневъ, а не сластолюбивый Швабринъ. Въ то-же время въ побѣдахъ Гиреева мы видимъ не одно сластолюбіе чувственнаго селадона. Гиреевъ идеально и чисто юношески увлекается каждою женщиною, съ которою сходится: и къ Катеринѣ Николаевнѣ Брылкиной онъ чувствуетъ влеченіе, и къ ея младшей сестрицѣ Манѣ, и къ гувернанткѣ французкѣ Эрнестинѣ, и къ Фискѣ, на которой его заставили жениться. Самый этотъ насильственный бракъ является въ романѣ въ сущности вовсе не насильственнымъ. Губернаторъ предлагаетъ Гирееву избавить его отъ этого брака, уславъ въ командировку, но Гиреевъ вовсе этого не желаетъ, а стремится непремѣнно жениться на Фискѣ. Когда молодые послѣ свадьбы остаются одни, между ними происходитъ нѣжеслѣдующій разговоръ. Молодая кинулась мужу въ ноги и, заливаясь слезами, сказала:

— Прости меня, батюшка Михайлъ Емельяновичъ, что я несчастная погубила тебя. Я буду вѣкъ каяться въ этомъ передъ Богомъ и передъ людьми.

— Что ты, милая Анфиса! — вскричалъ Гиреевъ и, поднявъ ее, посадилъ подлѣ себя: ты ошибаешься. Правда, твоя барыня съ баринотъ насильно хотѣла женить меня, но губернаторъ заступился и велѣлъ мнѣ ѣхать по дѣламъ въ Петербургъ. Онъ велѣлъ мнѣ отправиться еще сегодня поутру, и если-бы я самъ не хотѣлъ, то разумѣется, нашей свадьбы не было-бы; но я самъ упросилъ генерала отправить меня завтра поутру, а свадьбу позволить сыграть сегодня. Я самъ желалъ этого, и ты не должна себя ни въ чемъ упрекать.

— Какъ не упрекать! Не крѣпостною-ли дѣвку ты взялъ за себя? Всякая книгична съ радостью-бы вышла за тебя, моего красавца. Это я все виновата. Да какъ-же мнѣ было противиться тебѣ? Вѣдь ты

красивѣе всѣхъ въ городѣ, а можешь и по всей Руси. Баринъ, конечно, берегъ меня для себя, да мнѣ онъ былъ противенъ. Вотъ за что онъ и злился на тебя и хотѣлъ погубить.

— Есть моя милая, говорю тебѣ: Богъ поможетъ, свинья не съѣстъ. Другіе добрые люди не дали-бы погубить меня. Они думали наказать меня этою свадьбою, а я доказалъ имъ, что могъ-бы легко освободиться отъ нея, но самъ захотѣлъ взять тебя, чтобы вырвать изъ рукъ ихъ. Что мнѣ за дѣло, что ты была крѣпостною. Теперь ты дворянка и будешь, конечно, доброю и послушною женою.

— Батюшка, Михайло Емельянычъ, вскричала она: самая покорная буду раба твоя; хотъ въ ухо вдѣнь меня. Ни на волосъ не выступлю изъ твоей воли.

— Я завтра поутру уѣду, и можешь быть съ полгода не вернусь. Отецъ Іосифъ будетъ твоимъ попечителемъ. Ты у него будешь и на хлѣбахъ: я ему впередъ заплатилъ за все. Ты, конечно, будешь посѣщать церковь, но больше всего старайся учиться грамотѣ у него: я его тоже просилъ объ этомъ, а какъ скоро выучишься, то первое свое письмо напиши ко мнѣ.

— Ахъ! какая это будетъ радость! Да я день и ночь буду учиться. Добрый, милый Михайло Емельянычъ, дай мнѣ расцѣловать твои ручки.

«Онъ ее обнялъ и оба пошли провести остальной вечеръ къ священнику — черезъ сѣни».

Если-бы Гиреевъ былъ герой въ духѣ прочихъ историческихъ романовъ, то, казалось-бы, и роману конецъ послѣ того, какъ добровольно женившись на обольщенной имъ крѣпостной дѣвушкѣ, онъ показалъ намъ и свое рыцарское великодушіе, и презрѣніе къ сословнымъ предразсудкамъ. Между тѣмъ романъ только что начинается этимъ эпизодомъ. На другой же день послѣ вышеприведенной нѣжной сцены съ женою, Гиреевъ отъѣзжаетъ въ Петербургъ, и тамъ, поселяясь въ домѣ Еланиной съ цѣлю вести ея гражданскій процессъ, немедленно же вступаетъ въ любовную связь, какъ съ самою хозяйкой, такъ и съ горничной Наташею, приходившею каждый вечеръ стлать ему постель и раздѣвать барина. Герой пользовался, конечно, въ этомъ отношеніи тѣмъ выгоднымъ положеніемъ, что разъ женивши на Фискѣ, его не могли уже женить во второй разъ на Наташѣ. И затѣмъ, въ какой только городъ не пріѣзжаетъ онъ, куда ни кидаетъ его судьба, вездѣ является къ его услугамъ новый предметъ нѣжной страсти. Такъ, пока онъ пребывалъ въ Парижѣ въ качествѣ шпіона прусскаго короля и здѣсь рѣшалъ судьбы Европы, за панибрата обходясь и съ Фуше, и съ Талейраномъ, и съ самимъ Наполеономъ, онъ успѣлъ сблизиться съ легитимисткою, графинею Лоранж, и двумя актрисами Жоржъ и Филипъ. Далѣе затѣмъ, примкнувъ къ русской арміи и получивъ отъ Беннингсена мѣсто генераль-провіантмейстера, онъ воспылялъ неудержимую страстью къ нѣкоей Естеръ, дочери еврейскаго негодянта изъ Молдавіи, — Братіано, который помогалъ ему продовольствовать русскую армію. Оказалось, что эта новая страсть была самою роковою и послѣднею страстью его. Естеръ была даже своею наружностью, какъ двѣ капли воды похожа на Гиреева, такъ что въ книгѣ судебъ они были предназначены другъ для друга отъ рожденія. Эта-то страсть и побудила Гиреева бѣжать въ Турцію, устроивши мнимое потопленіе свое въ Дунаѣ. Но прежде, чѣмъ онъ успѣлъ это сдѣ-

лать, роковая и предопредѣленная страсть нисколько не помѣшала ему захватъ, на возвратномъ пути изъ-за границы, къ своей законной супругѣ, съ радостью увидать, что она превосходно занимается хозяйствомъ, что дѣти его подросли и съ успѣхомъ обучаются наукамъ, и какъ ни милолетно было его пребываніе въ тихой пристани законной семьи, результатомъ этого пребыванія было то, что жена его, Анфиса родила дочь Ольгу, такъ что, если-бы не существовалъ въ Россіи законъ, карающій двоеженство, то что мѣшало бы Гирееву наслаждаться семейнымъ счастьемъ попеременно: одинъ годъ въ Псковской губерніи въ объѣздахъ Анфисы, а другой — гдѣ нибудь въ Одессѣ у ногъ прелестной Естеръ?

Читатель можетъ возразить мнѣ, что женолюбие Гиреева и широта сердца его, способная вмѣщать въ себя разомъ нѣсколько привязанностей, вовсе не составляетъ субъективной особенности таланта Р. Зотова: послѣдній могъ отлично понимать, что въ лицѣ Гиреева онъ изображаетъ татарина, только что обручѣвшаго, и къ тому же принять въ расчетъ всеобщую распущенность нравовъ конца XVIII и начала XIX столѣтій, такъ что авторъ, изображая многочисленныя любовныя связи своего героя, былъ какъ нельзя болѣе объективенъ и реаленъ; что же ему было дѣлать, если отецъ его, жизнь котораго онъ изобразилъ, былъ именно такимъ, какимъ онъ является передъ нами въ романѣ?

Но вотъ возьмемъ мы первый историческій романъ Р. Зотова „Леонидъ“. Въ немъ, въ лицѣ главнаго героя романа, мы видимъ уже не татарина, а чистокровнаго русскаго: Леонидъ происходилъ изъ одиодворцевъ, и отецъ его былъ управляющимъ у богатаго помѣщика Силина. Помѣщикъ воспиталъ Леонида вмѣстѣ со своимъ сыномъ Евгеніемъ и далъ ему возможность кончить курсъ въ московскомъ университетѣ. Леонидъ, въ качествѣ героя романа, былъ надѣленъ авторомъ, конечно, уже всѣми возможными добродѣтелями: онъ былъ и великодушенъ, и отчаянно храбръ, и уменъ, аки змій, и находчивъ. Одинъ только недостатокъ у него былъ: чрезвычайная вспыльчивость, навлекшая ему бездну непріятностей и вслѣдствіе которой онъ не разъ былъ на краю гибели. Что же касается отношеній Леонида къ женщинамъ, то широта сердца его нисколько не уступала Гирееву. Въ первомъ томѣ романа онъ страстно влюбился въ дочь Силина Наташу, которая отвѣчала ему полною взаимностью, и такъ какъ Силинъ и слышать не хотѣлъ, чтобы она вышла замужъ за бѣднаго и темнаго одиодворца, а прочилъ ее за генерала Сельмара, полковаго командира Евгенія и Леонида, то молодые люди рѣшились при помощи Евгенія обвѣнчаться тайно, что и исполнили къ концу перваго тома.

Затѣмъ во второмъ томѣ начинаются военные похождения героя въ кампанію 1805 года. Онъ оказываетъ, конечно, чудеса храбрости, чуть не беретъ въ плѣнъ Наполеона и дѣлается лично извѣстнымъ, какъ послѣднему, такъ и императору Александру. Но излишняя запальчивость губитъ его карьеру; онъ убиваетъ своего ближайшаго начальника штабъ-капитана Стрѣльскаго, человека безъ всякихъ нравственныхъ правилъ и пылавшаго непримиримой ненавистью

къ Леониду за то, что тотъ помѣшалъ нѣкогда ему обыграть Евгенія въ карты. Убіеніе совершилось въ то время, когда Леонидъ стоялъ въ цѣпи; по военнымъ законамъ, онъ подлежалъ за это преступленіе смертной казни, и ему оставалось только спастись бѣгствомъ изъ Россіи.

Надо замѣтить, что какъ разъ передъ этимъ онъ успѣлъ уже въ первый разъ измѣнить своей супругѣ, сойдясь съ нѣкоей графиней Авророю Б., богатою польскою помѣщицею, какою-то таинственною политическою авантюристкою, которая сразу ухитрилась быть наполеоновскимъ агентомъ въ русской арміи, и русскимъ агентомъ во французской, а сама втайнѣ преслѣдовала легитимистскіе замыслы, имѣвшіе конечною цѣлью погубить Наполеона и возстановить въ Европѣ дореволюціонные порядки. Плѣнившись красотою и доблестями Леонида, она употребила всѣ чары своего кокетства, чтобы прельстить его; когда же это ей удалось, Леонидъ въ первую минуту былъ въ отчаяніи.

— Милосердый Боже, что я сдѣлалъ! вскричалъ онъ: Я погибъ! Преступленіе мое можетъ загладиться только одною смертію.

— Нѣтъ, Леонидъ, сказала графиня по нѣкоторомъ молчаніи, стыдливо закрывъ глаза рукою: я болѣе васъ виновна. Я искала вашего сердца; вы мнѣ противились, и неожиданно оба мы пали. Но повѣрьте мнѣ, во всякомъ паденіи всегда болѣе виновна женщина.

— Ахъ, нѣтъ, графиня! Преступленіе мое ужасно, невыразимо. Вы не знаете еще моей тайны, которую я такъ безумно до сихъ поръ скрывалъ отъ васъ. Преступокъ мой, мое несчастье не имѣютъ границъ.

«Графиня сдѣлалась вдругъ внимательнѣе къ словамъ Леонида, потому что сначала думала видѣть въ рѣчахъ его обыкновенный эпилогъ мнимаго раскаянія любовниковъ.

— Какая-же это тайна, которая увеличиваетъ ваше преступленіе?—спросила она его съ видимымъ безпокойствомъ.

— Я... женатъ!

«При этомъ словѣ пронзительный вопль вырвался изъ груди графини; нѣсколько секундъ взоры ея дико и неподвижно были устремлены на Леонида, потомъ съ тихимъ, продолжительнымъ стономъ закрылись, и она безъ чувствъ опрокинулась на подушки софы. Леонидъ бросился помогать ей, привелъ ее въ чувство, осыпалъ руки ея нѣжнѣйшими поцѣлуями и умолялъ о прощеніи. Долго она, открывъ глаза, въ нѣмой безчувственности, смотрѣла на него, какъ-бы не понимая его словъ. Наконецъ, съ какимъ-то ужасомъ она оттолкнула его, сказавъ въ полголоса: «Оставьте меня, оставьте ради Бога!»—Съ отчаяніемъ въ сердцѣ и съ поникшею головою пошелъ Леонидъ въ свою комнату.—Здѣсь бросился онъ съ изступленіемъ на кровать и ручьи слезъ горькаго раскаянія нѣсколько облегчили его грудь. Нѣсколько времени пролежалъ онъ въ мучительномъ семъ положеніи; наконецъ, сонъ одолѣлъ измученнаго его силы; но и тутъ безпокойныя, карательныя мечтанія терзали его душу».

Все это нисколько не мѣшало Леониду, тотчасъ же послѣ убійства Стрѣльскаго и побѣга, обратиться къ покровительству графини, и она взялась быть ангеломъ хранителемъ его; повела его прямо къ Наполеону, и тотъ послалъ его въ Вѣну подъ фамиліей барона Лиліенберга наблюдать и доносить ему, что дѣлается въ вѣнскихъ политическихъ кружкахъ.



И вотъ Леонидъ очутился въ Вѣнѣ въ качествѣ французскаго шпіона подѣ личиною мнимаго баварскаго барона. Здѣсь онъ снова началъ оказывать чудеса храбрости, дипломатической тонкости, предусмотрительности, находчивости и прочихъ доблестей, вступаясь въ сѣти тайныхъ политическихъ и мистическихъ обществъ, которыми была въ то время полна Европа. Между тѣмъ великодушная графиня, не смотря на всю свою любовь къ Леониду, рѣшилась выписать изъ Россіи и доставить ему жену его Наташу. Она поѣхала къ Силину, который послѣ смертнаго приговора надъ Леонидомъ и бѣгства его, снова требовалъ, чтобы Наташа вышла замужъ за Сельмара. Графиня явилась къ старику, изобличила Сельмара въ томъ, что онъ дѣлалъ и ей тоже предложеніе, и требовала, чтобы онъ сдержалъ обѣщаніе. Видя себя между двухъ невѣстъ, Сельмаръ предложилъ ѣхать всѣмъ троимъ, т. е. Наташѣ, графинѣ и ему въ Вѣну къ Леониду, и если Наташа удостовѣрится въ невѣрности Леонида, то должна будетъ выйти замужъ за Сельмара, въ противномъ случаѣ, останется у своего мужа, Сельмаръ-же женится на графинѣ. Сельмаръ рассчитывалъ на то, что Леонидъ возобновитъ свою связь съ графинею, а онъ подстержетъ ихъ и выдастъ Наташѣ; но оказалось вдругъ, что не для чего ему и придумывать подобную западню. Когда они пріѣхали въ Вѣну и явились къ Леониду, они застали его какъ разъ въ пламенныхъ объятіяхъ съ нѣкоей актрисой Розаліей, съ которою Леонидъ успѣлъ сойтись, ведя свою политическую игру. Произзошла невообразимая сцена. „Съ полураскрытыми ртомъ, съ выпученными и кровью налитыми глазами, съ протянутыми впередъ руками, стоялъ Леонидъ, какъ истуканъ, и съ безчувственною неподвижностью смотрѣлъ на лица, коихъ внезапнаго появленія не постигалъ. Наташа первая начала говорить.

— Вотъ достойная награда за то, что я ему всѣмъ пожертвовала: дружбою отца, мнѣніемъ свѣта, счастьемъ жизни! Несчастный! Какъ глубоко ты упалъ! Но я не хочу увеличивать твоихъ мученій бесполезными упреками. Ты зналъ, какъ я тебя любила,—узнай же теперь, какъ я утѣю и истить. Карлъ Андреевичъ! Вы искали руки моей. Вотъ она. Мы сегодня же обѣнчаемся! — Съ этимъ словомъ подала она руку Сельмару, который съ лукаво торжествующимъ видомъ поклонился Леониду и вышелъ съ Наташей. Графиня осталась“.

Да, графиня осталась. Она, повидимому, не особенно была огорчена невѣрностью Леонида разомъ двумя своими возлюбленными, и скорѣ заключила съ ними брачныя узы. Такимъ образомъ Леонидъ, подобно Гирееву, сдѣлался двоеженцемъ, и что замѣчательно, онъ питалъ въ душѣ своей нѣжность къ обѣимъ супругамъ: глубоко скорбѣлъ объ утратѣ Наташи и обожалъ графиню, которая до самой смерти своей продолжала быть ангеломъ хранителемъ его. Послѣ смерти графини и цѣлаго ряда новыхъ приключеній, причѣмъ Леонидъ, по прежнему, то оказывалъ чудеса храбрости, то былъ на волосокъ отъ гибели—онъ былъ не только прощенъ, но удостоенъ особенныхъ знаковъ высочайшаго благоволенія, Евгенийъ помирилъ

его съ Наташею и бракъ ихъ, по обоюдной просьбѣ, снова былъ признанъ дѣйствительнымъ.

Что касается романа Зотова „Тайнственный монахъ“, то хотя герой его Гриша далеко не является такимъ отчаяннымъ сердцеѣдомъ, какъ Гиреевъ и Леонидъ, но и у него вы находите въ нѣкоторой степени подобные же задатки любвеобильнаго сердца. Впрочемъ, если въ романѣ этомъ вы не найдете полигаміи, за то есть полиандрія, такъ какъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ является двумужницей. Содержаніе романа заключается въ слѣдующемъ.

Въ продолженіи всего романа на первомъ планѣ рисуется передъ нами нѣкій тайнственный монахъ Іона, человѣкъ весьма жестокосердый, совершающій въ каждой части романа какія-нибудь смертоубійства, причѣмъ всѣ стремленія его черной души направлены къ тому, чтобы извести пара Петра, и въ этомъ отношеніи онъ мало того, что является главнымъ гениемъ романтической интриги и держитъ въ своихъ рукахъ всѣ нити сюжета, но оказывается, что и всѣ историческія событія первой половины царствованія Петра, начиная съ стрѣльчихъ бунтовъ и кончая измѣною Мазепы, совершились по инициативѣ этого самаго Іоны, имъ были измышлены и направлены. Читатель, конечно, интересуется знать, что же это за тайнственный лицо, игравшее столь важную и существенную роль въ русской исторіи. Но авторъ тщательно скрываетъ это, съ каждой страницей все болѣе и болѣе заинтриговывая читателя, и лишь въ самомъ концѣ романа снимаетъ, наконецъ, маску съ своего героя и объявляетъ намъ настоящее его имя. Что касается до меня, то я не желаю долго мучить своихъ читателей, а прямо заявляю, что сей тайнственный монахъ былъ никто иной, какъ малороссійскій гетманъ Василій Дорошенко. Сверженный съ своего гетманства при Алексѣѣ Михайловичѣ, онъ скрылся бѣгствомъ изъ Сосницъ, и между тѣмъ какъ всѣ считали его умершимъ, онъ подѣ личиною монаха Іоны тайно управлялъ всѣми событіями того времени. „Отецъ твой лишилъ меня гетманства, говоритъ онъ Петру: ты ли, другой ли бы царствовалъ на рускомъ престолѣ,—вы всѣ были моими врагами. Я думалъ, истребя васъ, сдѣлать Малороссію независимую,—и вотъ цѣль моихъ преступленій“.

Но не одного гетманства былъ лишенъ Василій Дорошенко. Не задолго передъ своимъ бѣгствомъ, онъ тайно обѣнчался съ дочерью Мазепы Еленой, и имѣлъ уже отъ нея сына Григорія. Елена, которую неизвѣстно почему-то Хованскій въ первой главѣ называетъ Наташею, была схвачена стрѣльцами во время взятія Чигирина и бѣгства своего мужа, и Хованскій распорядился съ нею, какъ съ военною добычею. Но когда узналъ, что она дочь Мазепы, онъ посватался за нее у отца ея и женился на ней законнымъ бракомъ, и такимъ образомъ Елена Хованская сдѣлалась двумужницею.

Между тѣмъ Дорошенко воспиталъ сына своего Григорія подѣ сѣнью Воскресенскаго монастыря и затѣмъ, когда мальчику было семь лѣтъ, подкинулъ его къ князю Хованскому. Почти одновременно подкинутъ былъ къ князю Хованскому и другой мальчикъ изъ того же монастыря, Александръ, совершенно неиз-

вѣснаго происхожденія, и тайна этого происхожденія такъ и осталась неразрѣшенною до самаго конца романа. Григорій превратился потомъ въ главнаго героя романа, а изъ товарища его Александра вышелъ знаменитый Александръ Даниловичъ Меншиковъ. — Вы, можетъ быть, и не подозрѣвали, что Меншиковъ былъ воспитанникомъ князя Хованскаго, — такъ вотъ вамъ историческій фактъ, открытый, или лучше сказать изобрѣтенный Р. Зотовымъ. — Выросши вмѣстѣ, подъ нѣжными попеченіями княгини Хованской, Григорій и Александръ подружились, и послѣ казни князя Хованскаго каждый пошелъ своею дорогою. Александръ сдѣлался пирожникомъ, чтобы превратиться потомъ въ потѣшнаго и сдѣлаться денщикомъ и любимцемъ царя, а Григорій былъ опредѣленъ кн. Хованскимъ въ стрѣльцы, когда ему не было еще и 15 лѣтъ. Потомъ онъ оказалъ чудеса храбрости, защищая своего благодѣтеля кн. Хованскаго отъ царской стражи, напавшей на князя съ цѣлью арестовать его, былъ раненъ и затѣмъ послѣ казни кн. Хованскаго, оставаясь въ стрѣльцахъ, подпалъ подъ руководство монаха Іоны, въ которомъ онъ и не подозрѣвалъ еще отца, называя его дядею. Но тщетно отецъ Іона старался направить Григорія по стопамъ своимъ и сдѣлать его своимъ сподвижникомъ во всѣхъ крамолахъ и смутахъ, какія онъ замышлялъ противъ Петра. — Григорій оказался отъ самой колыбели преисполненъ самыхъ вѣрнопопданническихъ чувствъ, и отецъ, и сынъ сдѣлались Ормуздомъ и Ариманомъ романа. Каждый разъ, когда Іона былъ близокъ уже къ осуществленію своего мщенія, вѣрный престолу и отечеству сынъ его отводилъ преступную руку отца и спасалъ царя. Такъ, когда послѣ казни Хованскаго, стрѣльцы ворвались въ Сергіево-Троицкую лавру, оказалось, что это ихъ возбудилъ къ тому все тотъ же монахъ Іона, и вотъ мы читаемъ въ романѣ слѣдующую сцену:

«Съ небольшою толпою не остававшихъ отъ него стрѣльцовъ и Гришею, устремился монахъ въ главную церковь и, найдя главные двери запертыми, пошелъ отыскивать другія, ведущія въ алтарь. Вскорѣ отыскалъ онъ ихъ. Однимъ ударомъ сорвалъ съ петель и вошелъ во внутренность церкви. Товарищи его бросились къ образамъ на святотатственный грабѣжъ, а монахъ очутился одинъ съ Гришею. Въ эту минуту раздался на главной колокольнѣ звонъ большого колокола. Монахъ остановился. Лицо его сдѣлалось мрачнѣе обыкновеннаго.

— Это набатъ! они зовутъ на помощь, — сказалъ онъ сквозъ зубы... но авось не поспѣютъ; а если... но, все равно! тѣмъ лучше: — больше рѣзни, истребленія. Послѣ этихъ словъ бросился онъ впередъ. Пройдя алтарь сѣвернаго придела церкви, вступилъ онъ въ главный и во впадинѣ за жертвенникомъ увидѣлъ вдругъ женщину, уже довольно пожилыхъ лѣтъ, на лицѣ которой, при взглядѣ на ужасное лицо монаха, изобразилось странное смѣшеніе страха, твердости и величія. Подлѣ нея, еще далѣе въ углу, стоялъ юноша стройнаго стану, лѣтъ около 13-ти, съ черными выюшными волосами, съ пріятною и гордою наружностью, блистающими взорами и поблѣднѣвшимъ лицомъ. Съ изумленіемъ обратились глаза Гриши на эту чету, а потомъ на своего дядю, — и сколь ни привыкъ уже онъ въ продолженіи сегодняшнихъ ужасовъ видѣть грозное выраженіе лица его, — но теперь онъ затрепеталъ, глядя на пламя, заливающееся изъ очей его, на дрожащія уста его, хотѣвшія улыбнуться и

на руки его, схватившіяся за ножъ, торчащій за поясомъ. «Царица Наталья! Царь Петръ!» глухо вскричалъ онъ: «вы здѣсь!» — и быстрыми шагами подошелъ къ жертвеннику.

— Что ты хочешь сдѣлать, дядя? — съ робкою рѣшимостью спросилъ онъ его: онъ царь, помазанникъ Божій, — а здѣсь алтарь! Зѣвски посмотрѣлъ монахъ на Гришу, поднялъ руку съ ножомъ, — но Гриша имѣлъ довольно силы, чтобы удержать его. — «Нѣтъ, я не допущу!» вскричалъ онъ. Не здѣсь, не у алтаря... Въ эту минуту и старика опоминилась: съ силою изступленія бросился на монаха и повисла на рукѣ, держащей ножъ. Юный Петръ все это время молчалъ.

«Невольно опустилъ монахъ руку, свирѣпымъ взоромъ окинулъ всѣхъ троихъ, покачалъ головою съ видомъ мрачнаго презрѣнія, и схватя другою рукою Гришу, съ силою повернулъ его на другую сторону.

— И ты, дерзкій мальчишка, — сказалъ онъ ему съ видомъ, выражавшимъ болѣе сожалѣніе, чѣмъ гнѣвъ, — и ты удержалъ меня отъ удара мести! Пойдемъ, я слышу шумъ. Съ этимъ словомъ потащилъ онъ Гришу изъ алтаря, бросивъ еще одинъ злобный взглядъ назадъ».

Разбирая „Послѣдняго Новика“ Лажечникова, мы видѣли, что покушеніе на Петра въ алтарѣ Троицкой лавры совершаетъ племянникъ царя, сынъ Софіи отъ князя Голицына, а здѣсь тѣмъ-же самымъ покушателемъ является Василій Дорошенко, спасителемъ же внукъ Мазепы, Григорій. Въ обоихъ случаяхъ намъ только и остается, что удивляться той снѣзости, съ какою наши Вальтеръ-Скотты распоряжались историческими фактами!

У Петра тогда-же врѣзалась въ памяти фізіономія своего спасителя. Между тѣмъ заговоры и тайныя совѣщанія у царевны Софіи продолжались. Іона стоялъ по прежнему во главѣ и водилъ на всѣ совѣщанія и ночныя экспедиціи сына своего Григорія. Съ радостнымъ сердцемъ возвращался Григорій всякій разъ домой, видя безуспѣшность покушеній. Наконецъ, на 9-е августа, было предположено ночное нападеніе стрѣльцовъ на село Преображенское, гдѣ жилъ Петръ со своею матерью, — послѣдняя мѣра, и самая грозная. Сердце Григорія стѣснилось, и невѣдомая тоска овладѣла душою его. Какъ разъ въ это время Григорій встрѣтился съ своимъ товарищемъ дѣтства Оашею и рассказалъ ему, какая опасность угрожаетъ царю; Саша передалъ это Лефорту, у котораго былъ слугою въ это время, а Лефортъ предупредилъ царя, и Петръ могъ такимъ образомъ заблаговременно спастись изъ села Преображенскаго въ Сергіево-Троицкую лавру.

— Скажи-же ты мнѣ теперь, Гриша, — укорялъ его Іона, — что ты думалъ сдѣлать хорошаго, отеривъ ничтожному мальчишкѣ тайну твоихъ друзей, начальниковъ и дяди и предавъ ихъ всѣхъ въ руки палача?

— Я думалъ, — запинаясь отвѣчалъ Гриша, — что ты и я не только будемъ черезъ это спасены, но еще получимъ награду отъ царя за спасеніе его отъ убійцы. Вѣдь, онъ царь, онъ помазанникъ Божій... и участвуя въ заговорѣ противъ него, я не только гублю себя въ этой жизни, но и въ будущей.

«Мрачно опустилъ Іона голову и долго не отвѣчалъ Гришѣ ни слова; наконецъ, схватилъ его за руку и спросилъ: а если-бы спасенные тобою были личными врагами твоими, которые отняли-бы у те-

бы семейство, имущество, славное имя и даже родину,—чтобы ты сказалъ?

«Гриша съ минуту задумался, но потомъ съ яснымъ взоромъ отвѣчалъ: онъ—царь, онъ—земной Богъ, и за дѣла его будетъ судить Небесный Царь; насъ-же учить Священное Писаніе...

— Довольно: теперь пора идти,—сказалъ съ нетерпѣніемъ Іона—и повелъ Гришу за собою по улицѣ.—Такимъ образомъ и спасеніемъ своимъ отъ покушенія Шекловитаго Петръ былъ обязанъ все тому-же внуку Мазепы и сыну Дорошенки—Григорію. Когда Григорій предсталъ передъ царя для допроса, Петръ тотчасъ-же узналъ въ немъ прежняго своего спасителя, а когда удостоверился изъ слѣдствія, что Григорій вторично спасъ его, щедро наградиъ его, велѣлъ записать въ боярскія дѣти, далъ ему имя Григорія Усердова и отправилъ его въ стрѣлцкій полкъ, стоявшій на Литовской границѣ».

Далѣе затѣмъ Ариманъ на время восторжествовалъ, такъ какъ Іонѣ удалось побудить стрѣлцкій полкъ, стоявшій на Литовской границѣ, пользуясь путешествіемъ Петра за границу, ринуться къ Москвѣ и по дорогѣ разграбить Преображенскій монастырь, причемъ въ этотъ бунтъ былъ вовлеченъ и Григорій, воображившій, что Петра уже нѣтъ, и стрѣльцы идутъ къ Москвѣ съ единственною цѣлью возстановить порядокъ и освободить Россію отъ нѣмцевъ. Дошло дѣло до того, что Григорій вѣстѣ съ товарищами былъ присужденъ къ смертной казни, и мы лишились-бы преждевременно героя романа, если-бы Іона не спасъ его изъ темницы.

Въ той-же части Григорій окончательно уже вступаетъ на путь благонамѣренности: онъ оказываетъ Петру важную военную услугу; тотъ его прощаетъ при содѣйствіи князя Меншикова и принимаетъ въ свою гвардію. И ужъ послѣ этого тщетно старикъ Іона старается увлечь сына подъ мятежныя знамена Мазепы.—«Нѣтъ, Боже сохрани меня, батюшка!—воскликаетъ Григорій:—ни за какую цѣну въ свѣтѣ не хочу быть участникомъ въ судьбѣ измѣнника Мазепы. Не знаю вполнѣ твоихъ причинъ къ ненависти и ищению, но ты ничѣмъ лично не былъ обязанъ царю, и я только сожалею, что ты отвергаешь его милосердіе. Но Мазепа 20 лѣтъ былъ непрерывно имъ облагодѣтельствованъ, и его предательство гнусно, постыдно! Въ успѣхѣ и неудачѣ имя его равно заслужить вѣчное проклятіе».

Въ заключеніе-же Григорій объявляетъ отцу: «ты мнѣ, къ несчастію, открылъ обстоятельство, которое долгъ чести и присяги не позволяютъ мнѣ скрыть. Я долженъ буду донести царю объ измѣнѣ Мазепы. Скрою отъ него только то, что ты участникъ въ этомъ возмущеніи».

Старикъ отвѣчалъ ему на это: «Дѣлай, что Богъ и совѣсть тебѣ приказываютъ. Кто знаетъ, къ чему все это приведетъ насъ: Мазепа все еще колеблется, боится. Узнавъ-же, что царю открыта его измѣна, онъ долженъ будетъ сбросить личину и дѣйствовать рѣшительно. Судьба наша скорѣе тогда кончится. Прощай-же, другъ мой. Прощай, до свиданія»...

И Григорій летитъ съ быстротою молніи донести Петру объ измѣнѣ Мазепы. Его не пускаютъ, такъ какъ была ночь и Петръ спалъ въѣжкимъ сномъ; но онъ объявляетъ, что отъ минуты промедленія зави-

снуть, можетъ быть, участь всей войны и государства, и рѣшается самъ разбудить Петра, постучавшись въ его дверь, не смотря на опасность разгнѣвать царя. Узнавъ объ измѣнѣ Мазепы, Петръ сейчасъ-же созываетъ военный совѣтъ, и на другой-же день Меншиковъ съ сильнымъ отрядомъ уже быстро шель къ Батурину.

Такимъ образомъ оказывается, что и полтавского побѣдою, и самою судьбою русскаго государства Петръ обязанъ былъ все тому-же ревностному Григорію, который успѣлъ во время донести на своего дѣда, Мазепу. Внуку Мазепы и сыну В. Дорошенки, спасающій Россію,—вотъ какъ удивительно и непостижимо складываются историческія событія въ романѣ Р. Зотова и какова фантазія у нашего романиста! Понятно, что за всѣ подобныя подвиги героя не только самъ онъ былъ возвышенъ и осыпанъ царскими милостями, но и мятежный отецъ его былъ навсегда прощень царемъ: — «Я однажды далъ слово, сказалъ Петръ, когда Іона открылъ ему, кто онъ такой: и не беру его назадъ. Дорошенко былъ знаменитый человекъ,—и я его почитаю; но онъ умеръ, и дѣла его пусть судитъ Богъ. Тайнственный монахъ Іона бунтовалъ и злодѣйствовалъ противъ меня,—и въ великій день Полтавской побѣды я простилъ его, желая, чтобы искреннимъ раскаяніемъ онъ также-бы заслужилъ себѣ небесное прощеніе. Сынъ Дорошенки честный и хороший воинъ,—и я радъ буду воздать ему за преданность ко мнѣ. Теперь дѣло кончено. Живи съ сыномъ и супругою, которую тебѣ храбрый-же твой сынъ спасъ, въ тишинѣ и безвѣстности, и во всея мірѣ я одинъ буду знать, что отецъ Григорія еще живъ».

Но всѣ эти ратные и государственные подвиги нисколько не мѣшали герою не давать маху и по сердечной части. Такъ, уже въ концѣ первой части онъ спасъ отъ неистовствъ разъяренныхъ стрѣльцовъ князя Трубецкаго и дочь его Машу и тогда-же воспылалъ къ ней пылкою страстью, а она — къ нему, какъ къ своему спасителю. Но князя Трубецкіе были слишкомъ высоки для безроднаго стрѣльца, и онъ, затанувъ въ душѣ свою страсть, въ то время, какъ полкъ его стоялъ на Литовской границѣ, отъ скуки занялся любовью съ Великолукскою вдовою Грунею, и очень нѣжно они другъ друга полюбили. Пять лѣтъ уже наслаждались они любовью, какъ вдругъ стрѣлцкій полкъ взбунтовался, и Григорій долженъ былъ идти съ отцомъ и товарищами къ Москвѣ. Григорію очень грустно было разставаться съ Грунею, хотя въ то-же время привлекала его и перспектива обѣщанной отцомъ его возможности снискать Машу Трубецкую; но отецъ-Іона очень легко и просто избавилъ сына отъ унижающей его высокое происхожденіе связи съ Грунею: онъ взялъ да и пристрѣлилъ послѣднюю изъ ружья, съ такимъ-же невозмутимымъ хладнокровіемъ, съ какииъ убиваютъ бѣшенаго пса или топчутъ таракана. Онъ взомелъ къ ней въ свѣтелку, когда она набожно молилась, разставаясь мысленно съ своимъ милымъ. «Спокойнымъ окомъ,—читаемъ мы въ романѣ,—слѣдуя за всѣми движеніями молящейся, грозный старикъ непримѣтно приложился, и въ то мгновеніе, какъ Груня въ набожномъ своемъ восторгѣ, казалось, совершенно отдѣлилась отъ земли, — роковой

курокъ спустился и прежде чѣмъ раздался вѣрный выстрѣлъ—ея уже не стало. Все тѣло ея вздрогнуло, нѣсколько зашаталось и съ едва внятнымъ стономъ она упала къ подножію кіота. Бросивъ на безжизненную страдальницу взглядъ глубокаго состраданія, убійца медленно вышелъ на лѣстницу. Нѣсколько стрѣльцовъ, услыша выстрѣлъ, бросились было наверхъ, но, встрѣтивъ мрачный и кровью налившійся взоръ Іоны, они остановились и съ недоумѣніемъ на него смотрѣли. — „Чего вамъ надобно? Ступайте на мѣста“ — грознымъ голосомъ закричалъ онъ имъ. — Одинъ изъ стрѣльцовъ сквозь зубы проворчалъ ему о выстрѣлѣ. — „Такъ вамъ что задѣло?“ — возразилъ онъ: развѣ вы здѣсь надсмотрщики, или судьи? Заботься всякій о самомъ себѣ, и береги свою голову. Ступайте по мѣстамъ. Мы тутчасъ выступаемъ“. — Безмолвно повиновались стрѣльцы, а Іона вышелъ на улицу и, поворотя къ заставѣ, медленно пошелъ на общее сборное мѣсто“.

Признаться сказать, омерзительнѣе этой сцены трудно найти во всей нашей литературѣ. Положимъ, что правы въ тѣ времена были грубые и жестокіе, но и при всей грубости и жестокости нравовъ русскіе люди и тогда были слишкомъ добродушный народъ, чтобы быть способными на подобную, совершенно татарскую расправу. Убійство Груни мотивируется, правда, тѣмъ, что Григорій имѣлъ неосторожность передать ей о походѣ стрѣльцовъ на Москву. Но вѣдь стрѣльцы не тайкомъ, а открыто, въ виду всего города, отправлялись въ свой мятежный походъ, и почему-же одна Груня должна была смертью своею искупить откровенность своего милаго? Хорошъ былъ и милый, на котораго это звѣрское убійство отца его не произвело ни малѣйшаго впечатлѣнія; точно какъ будто отецъ ничего болѣе не сдѣлалъ, какъ лишь избавилъ его отъ мѣшавшей ему въ пути хромой лошади, и всѣ мысли юноши вновь устремились къ Машѣ Трубецкой.

Затѣмъ, когда Григорій окончательно былъ прощенъ Петромъ и сдѣлался гвардейцемъ, Маша Трубецкая оказалась уже вышедшею замужъ за товарища Григорія, Коричина. Вы подумайте только, что послѣ этого сдѣлалось-бы съ любимъ героемъ Загоскина, — Юріемъ Милославскимъ или Рославлевымъ? Они навѣрное пришли-бы въ полное отчаяніе и устремились-бы въ самый опасный пунктъ битвы, чтобы умереть отъ непріятельскихъ пуль, или бросились-бы въ земныя дѣла и удалились въ монастырь. Григорій-же ни мало не палъ духомъ; онъ ловко воспользовался тѣмъ, что товарищъ его и соперникъ Коричинъ былъ весьма преданъ спиртнымъ напиткамъ, и, не смотря на всѣ увѣщанія, на весь ужасъ благочестиваго пастора Глюка (воспитателя Екатерины I), вполне свободно занялся съ своею возлюбленною Машею адюльтеромъ. Тутъ уже вслѣдъ за благочестивымъ Глюкомъ, и самъ авторъ разразился цѣлымъ потокомъ нравственныхъ сентенцій на ту тему, что человѣкъ рожденъ добрымъ, чистымъ, невиннымъ, но страсти постепенно и почти противъ воли увлекаютъ его въ проступки и что, „совершивши однажды проступокъ, только въ первыя минуты возвращается первобытное, никогда вполне не заглушаемое чувство добра и невинности, но уже поздно, — и съ удовле-

творенною, но уже ослабѣвшею страстію, человѣкъ продолжаетъ идти по стезѣ заблужденія, потому что воротиться уже нельзя“. И на томъ основаніи, что воротиться было уже нельзя, автору только и оставалось сдѣлать, что убить во время Полтавской битвы Коричина и прикрыть грѣхъ своихъ героевъ, соединивъ ихъ законнымъ бракомъ.

Что касается историческаго элемента романовъ Р. Зотова, то въ романахъ „Леонидъ“ и „Послѣдній потомокъ“ вы находите у него нѣсколько болѣе основательное знаніе исторіи, чѣмъ у Загоскина; видно, что онъ хорошо изучилъ эпоху наполеоновскихъ войнъ со всѣми дипломатическими сношеніями того времени, тайными обществами, политическими броженіями, военными дѣйствіями и пр. Онъ даже, видимо, щеголяетъ своею эрудиціею; но это лишь относительно начала нынѣшняго столѣтія, что-же касается до романа „Таинственный монахъ“, то здѣсь мы видимъ не менѣе поверхностное и скудное знаніе эпохи Петра, чѣмъ у всѣхъ прочихъ историческихъ романистовъ того времени. Романистъ выѣзжаетъ на однихъ лишь самыхъ крупныхъ и общезвѣстныхъ фактахъ, и тщетно вы будете искать у него колорита эпохи, духа партій, мелкихъ и тонкихъ чертъ быта и нравовъ — все это грубо, аляповато и лубочно до послѣдней степени: стрѣльцы всѣ подражъ какія-то кровожадные чудовища; царь Петръ и его сподвижники сіяютъ однимъ сплошнымъ лучезарнымъ блескомъ.

Выше мы видѣли, что Лажечниковъ ввелъ вредный обычай изобрѣтать силою своей фантазіи историческіе факты. Р. Зотовъ не только пошелъ по стопамъ Лажечникова въ этомъ отношеніи, но значительно превзошелъ его. Онъ не ограничивался уже тѣмъ, что изобрѣталъ мнимыхъ сыновей и внуковъ различныхъ историческихъ личностей, но заставлялъ своихъ героевъ ворочать судьбами Россіи и Европы, управлять всѣми историческими событіями. Такъ, мы видѣли, что не будь Григорія, трижды спасаго Петра, то Петръ или погибъ-бы еще мальчикомъ, или юношей былъ-бы убитъ въ селѣ Преображенскомъ, или проигралъ-бы войну со шведами, — и во всѣхъ трехъ случаяхъ Россія была обязана Григорію, что Петръ благополучно царствовалъ до 1725 года, успѣлъ и Петербургъ основать, и Россію вдвинуть въ систему европейскій государствъ. Точно такими-же устроителями историческихъ судебъ являются и прочіе герои романовъ Р. Зотова. Разница только та, что имъ не приходилось спасать императора Александра I, такъ какъ онъ не подвергался въ продолженіи своей жизни никакимъ опасностямъ; но за то они ежеминутно спасали всѣхъ прочихъ европейскихъ вѣнценосцевъ, питая ко всѣмъ имъ безразлично одинаковыя чувства благоговѣнія и преданности, не смотря даже на враждебныя отношенія Россіи къ кому-либо изъ нихъ. Такъ, напримѣръ, Леонидъ со своимъ отрядомъ въ одномъ ночномъ дѣлѣ наткнулся какъ разъ на Наполеона и жизнь послѣдняго была въ его рукахъ.

«Стоявшій близъ Наполеона генералъ, — читаемъ мы въ романѣ — схватилъ его за руку, и стараясь загородить его и увлечь, закричалъ: «Ваше Величество, спасайтесь! это Русскіе!» Восклицаніе сіе внезапно остановило въ какомъ-то оцѣпенѣніи Леонида, машинально сдѣланнаго отряда знакъ не двигать»

съ мѣста. И такъ передъ нимъ былъ Наполеонъ! Съ жадностью вперилъ онъ взоръ свой на существо, передъ нимъ стоявшее, и не вѣрилъ чудесному случаю, приведшему его столь близко къ величайшему военному гению своего вѣка. Наполеонъ, изумленный нечаяннымъ появленіемъ русскаго отряда, коего малочисленность тотчасъ онъ замѣтилъ, освободилъ руку свою отъ заботливо увлекавшаго его генерала. Минутная блѣдность, явившаяся на лицѣ Наполеона, уступила мѣсто обыкновенному величію и спокойствію. Замѣтивъ неподвижность отряда, приказалъ онъ свѣтъ своей и караулу гренадеръ атаковать слабую горсть, предводимую Леонидомъ, и подвинуть шесть батальоновъ, позади кладбища расположенныхъ.

— Ваше Величество!—вскричалъ Леонидъ по французски, —отмѣните приказаніе атаковать насъ, потому что необходимость защиты принудить отрядъ мой стрѣлять, —и ваша жизнь будетъ въ опасности, а это привело-бы меня въ отчаяніе, потому что жизнь каждаго вѣнценосца священна для русскаго. Я добровольно отступаю къ главному моему отряду, —почитая себя слишкомъ счастливымъ, что видѣлъ такъ близко знаменитѣйшаго человека нашего столѣтія.

«Наполеонъ бросилъ на Леонида пронизательный взглядъ, движеніемъ руки остановилъ гренадеръ своихъ, летѣвшихъ уже впередъ, и спросилъ Леонида, какъ его зовутъ.

— Русскіе офицеры Волосовъ и Силинъ удостоились видѣть такъ близко Ваше Величество, —и день этотъ запишутъ они для сохраненія въ памяти своего потомства. Теперь позвольте намъ идти.

— Русскіе благородны, —сказалъ Наполеонъ, —я это знаю. Поступокъ вашъ дѣлаетъ вамъ честь. Прощайте, господа!..

Вообще, управляя судьбами Европы, герои романовъ Р. Зотова только и дѣлаютъ, что все возвращаютъ въ высшихъ государственныхъ сферахъ, завтракаютъ съ посланниками, обѣдаютъ съ министрами, ужинаютъ съ маршалами и безпрестанно представляются то австрійскому императору, то прусскому королю, то Наполеону, и всѣ послѣдніе ихъ лично знаютъ, оказываютъ къ нимъ благоволеніе, возвышаютъ ихъ и щедро награждаютъ. Герои же, съ своей стороны, мало того, что относятся къ нимъ съ подобающимъ почтеніемъ, но говорятъ не иначе, какъ отрывистыми фразами совершенно въ духъ военной дисциплины. Такъ, напримеръ, насъ нисколько не удивляетъ, что Гиреевъ, въ качествѣ дворцоваго гренадера, при той строгости солдатской выправки, которой требовалъ императоръ Павелъ I, отвѣчалъ ему нижеслѣдующими фразами при своемъ представленіи царю:

Платье-комендантъ представляетъ его съ двумя другими офицерами, —Павелъ I заставилъ сдѣлать нѣсколько ружейныхъ приѣмовъ и былъ ими доволенъ.

— Хорошо-ли, князь, спалъ на новосельѣ? —милостиво спросилъ государь у Гиреева.

— Мнѣ вездѣ хорошо, ваше императорское величество, —отвѣчаетъ тотъ, не шевеля ни однимъ мускуломъ, —гдѣ я имѣю счастье служить вашей священной особѣ.

— Спасибо; а будешь хорошо служить, самому хорошо будетъ. Тебѣ императрица, моя родительница, пожаловала пенсію?

— Въ тысячу рублей, ваше императорское величество, и я вседневно молю Господа о успокоеніи души ея и о здравіи вашего императорскаго величества.

— Много-ли ты помнишь изъ своего дѣтства о ханствѣ?

— Все помню, ваше императорское величество. Я въ это время еще выучился по-русски, по-французски, исторіи и ариметикѣ.

— Кто-же тебя училъ?

— Въ Бахчисарай русскій консулъ Горопуло, а потомъ адъютантъ генерала Бальмена.

— Сколькихъ лѣтъ привезли тебя въ Россію?

— Десяти лѣтъ, ваше императорское величество, и тогда-же принялъ православную вѣру.

— И присягу на вѣрноподданничество?

— Точно такъ, ваше императорское величество, и сохранию эту священную клятву до гробовой доски.

— Спасибо.

«Павелъ подаль ему руку, и Гиреевъ, ставъ на колѣни, поцѣловалъ ее.

И можете себѣ представить, что совершенно тѣмъ-же самымъ тономъ дворцоваго гренадера бесѣдуетъ Гиреевъ при представленіи своему Наполеону.

— Вы конечно новоприбывшій князь Гиреевъ? —спросилъ его Наполеонъ.

— Точно такъ, отвѣчалъ Гиреевъ.

— Вы коренной русскій? ваша фамилія монгольскаго происхожденія?

— Я сынъ послѣдняго крымскаго хана.

— Шагинъ-Гирей? —сказалъ Бонапарте, какъ-бы желая блеснуть своею ученостью.

— Бату-Гирей; Шагинъ былъ его братъ, который сперва свергъ его, а потомъ долженъ былъ бѣжать передъ русскою арміею.

— Да, да! сѣверная Семипирамида забрала васъ въ свои руки. Вы недавно были въ Берлинѣ у прусскаго короля?

— Я имѣлъ честь представляться его величеству.

— И получили орденъ за заслуги?

— Точно такъ.

— А здѣсь вы не прикомандированы къ посольству? Мнѣ сказали, что вы хотите воспитывать чихихъ-то дѣтей.

— Точно такъ. Франція такъ опередила насъ въ своемъ просвѣщеніи, что намъ не стыдно заимствовать у нея свѣта.

Выше-же мы видѣли, что и Леонидъ, встрѣтись съ тѣмъ-же Наполеономъ, на полѣ брани, какъ съ неприятелемъ, обращается къ нему въ томъ-же лаконическомъ тонѣ фельдфебельскаго характера.

Въ заключеніе укажемъ еще на одну замѣчательную особенность историческихъ романовъ Р. Зотова, имѣющую то значеніе, что этою особенностью не замедлили воспользоваться всѣ историческіе беллетристы низшаго сорта, и вскорѣ она сдѣлалась господствующею въ историческихъ романахъ лубочнаго характера. Дѣло въ томъ, что Р. Зотовъ рѣзко раздѣлялъ повѣствовательныя главы романовъ отъ чисто историческихъ, такъ что у него правильно чередуются главы, въ которыхъ разговариваютъ и дѣйствуютъ герои, и главы, въ которыхъ авторъ ограничивается сухимъ и краткимъ пересказомъ историческихъ событий. Читая послѣднія главы, вы забываете порою, что передъ вами романъ, а не краткій учебникъ по русской исторіи. Впрочемъ, весьма многіе современники и особенно современницы Р. Зотова были за это какъ нельзя болѣе благодарны ему, такъ какъ они смѣло могли, не читая перевертывать тѣ главы, въ которыхъ излагается скучная исторія, и переходить лишь къ тѣмъ, гдѣ заключались разговоры дѣйствующихъ лицъ романа. —Такъ обыкновенно и читались романы Р. Зотова русскою публикою.

## VIII.

И. В. Кукольникъ.—Быстрое возвышеніе и столь же быстрое паденіе его популярности.—Причины того и другого.—Подражательность Кукольника.—Характеръ его историческихъ романовъ и повѣстей.—Повѣсть «Сержантъ Иванъ Ивановичъ Ивановъ». — Нагоняй гр. Бенкендорфа и отзывъ критики того времени. — Романъ «Два Ивана, два Степановича, два Костылькова».

Въ лицѣ Нестора Кукольника мы видимъ далеко не одного изъ тѣхъ скромныхъ тружениковъ, какими намъ представлялись Загоскинъ, Лажечниковъ и Р. Зотовъ, которые при всемъ успѣхѣ своихъ произведеній и при всей своей популярности никогда не воображали о себѣ слишкомъ много, не заносились и не считали себя великими людьми. Несторъ-же Кукольникъ считалъ себя нѣкогда звѣздой первой величины и пережилъ эпоху такой блестящей славы, какая выпадаетъ на долю лишь немногихъ избранныхъ баловней судьбы. Вообще 30-е годы были эпохою, замѣчательною въ нашей литературѣ въ томъ отношеніи, что въ это время рядомъ съ нѣсколькими писателями, дѣйствительно великими и пріобрѣтшими въ послѣдствіи почетное званіе русскихъ классиковъ, пролетѣли по небосклону русской словесности нѣсколько ослѣпительныхъ метеоровъ, блескъ которыхъ въ свое время, пожалуй, что превышалъ ихъ истинно великихъ современниковъ; но метеоры эти быстро разсыпались, не оставивъ по себѣ ни малѣйшаго слѣда. Таковы были Марлинскій, Бенедиктовъ; таковъ же былъ и И. Кукольникъ.

И. Кукольникъ, повидимому, имѣлъ всѣ данныя, чтобы изъ него выработался порядочный писатель. Родившись въ 1809 г., въ семействѣ профессора Виленскаго университета, извѣстнаго въ свое время весьма обширною эрудиціею, онъ съ дѣтства жилъ въ мірѣ книгъ. Въ 1829 г. онъ кончилъ курсъ въ Нѣжинскомъ лицѣ, будучи сотоварищемъ Гоголя, съ которымъ, впрочемъ, почему-то не сошелся, и уже въ 1833 году, 24 лѣтъ, произвелъ всеобщій восторгъ въ петербургской публикѣ своею драмою „Торкватто Тассо“. Сенковский въ своей „Библіотекѣ для чтенія“ прямо поставилъ его наравнѣ съ Гете и называлъ его не иначе, какъ „великій Кукольникъ“. Въ литературныхъ кружкахъ и въ обществѣ только и слышалось, по свидѣтельству И. Панаева: „Какія колоссальныя надежды долженъ подавать поэтъ, вступающій съ такимъ произведеніемъ!“ и самъ Панаевъ пришелъ въ восторгъ отъ этого произведенія. „Петербургская молодежь, говоритъ онъ, занимавшаяся литературой, въ высшей степени заинтересована была личностію автора „Тасса“. Носились слухи, что онъ привезъ съ собою множество удивительныхъ произведеній, долженствующихъ сдѣлать переворотъ въ русской литературѣ“.

Наиболѣе-же всего возросла слава Кукольника послѣ перваго представленія патріотической драмы его „Рука Всевышняго отечество спасла“. Это первое представленіе въ мартѣ 1834 г. носило характеръ какого-то патріотическаго торжества. Высочайшія особы присутствовали на спектаклѣ. Вызовамъ автора и овациямъ не было конца.

Сочиненія А. Скабичевскаго.—II.

И. Кукольникъ постоянно былъ окруженъ цѣлою толпою поклонниковъ, которые всюду сопровождали его, приходя въ восторгъ отъ каждаго его слова, преклоняясь передъ нимъ и осыпая его непрестанно самыми работливыми похвалами. На журфиксахъ по средѣ собиралось у него до 80 человекъ его почитателей, людей всѣхъ сословій, званій, состояній, причемъ нѣсколько преображенскихъ офицеровъ составляли нѣчто въ родѣ почетной свиты его, и онъ иногда обращался къ нимъ, словно какой-нибудь военачальникъ, собиравшимъ воззваніемъ *преображенцы*. Такъ, однажды за ужинкомъ, поднимая бокалъ и указывая на портретъ брата, Кукольникъ провозгласилъ:

— Преображенцы! за здоровье отсутствующаго Платона.

Когда на вечерахъ у него Глинка собирался пѣть, Кукольникъ, обращаясь къ офицерамъ, шепталъ, прикладывая указательный перстъ къ губамъ: „слушайте, слушайте, преображенцы“.

Ореолъ Кукольника еще болѣе возблисталъ въ глазахъ поклонниковъ его, когда онъ сблизился съ Брюловымъ и М. Глинкою, и они составили своего рода триумвиратъ искусствъ,—живописи, музыки, поэзіи, причемъ Кукольникъ распространялъ и поддерживалъ ту мысль, что этотъ союзъ долженъ оказывать громадное вліяніе на успѣхи искусствъ въ нашемъ отечествѣ.

Слава Пушкина, доживавшаго въ то время свои послѣдніе годы, казалось, совсѣмъ померкла въ блескѣ славы Кукольника. По крайней мѣрѣ, послѣдній на своихъ вечерахъ громкогласно заявлялъ всей публикѣ:

— Пушкинъ, безспорно, поэтъ съ огромнымъ талантомъ; гармонія и звучность его стиха удивительны, но онъ легкомысленъ и не глубокъ. Онъ не создалъ ничего значительнаго; а если мнѣ Богъ продлитъ жизнь, то я создамъ что нибудь прочное, серьезное и можетъ быть дамъ другое направленіе литературѣ...

И многочисленные поклонники Кукольника, серьезно внимая этимъ вѣщимъ словамъ своего кумира, ждали отъ него литературнаго переворота.

Это дикое и съ перваго взгляда совершенно непонятное увлеченіе объясняется въ сущности очень просто. Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ явленіемъ нашей русской жизни, очень печальнымъ, но неоднократно уже повторявшимся въ нашей исторіи и совершающимся даже нынѣ передъ нашими глазами. Явленіе это заключается въ томъ, что каждое новое литературное движеніе на Западѣ, каждая новая школа, возникающая въ Германіи, Англіи и особенно во Франціи, непремѣнно находитъ среди насъ своихъ поклонниковъ и послѣдователей, несмотря на то, что у насъ подобное движеніе и эта самая новая школа являются уже чѣмъ-то пережитымъ, и притомъ пережитымъ гораздо полнѣе, шире и глубже. Такъ, напримѣръ, кто могъ ожидать, что послѣ столь великихъ и могучихъ образцовъ натурализма, какіе преподали намъ Гоголь, Островскій, Щедринъ, Тургеневъ, Гончаровъ и прочіе беллетристы 40-хъ годовъ, у насъ было-бы возможно увлеченіе современнымъ французскимъ натурализмомъ? Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что французскіе натуралисты не только не возвысились



надъ нашими натуралистами 30-хъ и 40-хъ годовъ и не опередили ихъ въ чемъ-либо, но наоборотъ, большинство ихъ сѣзало натуралистическую школу, вставивши ее въ тѣсныя рамки исключительнаго изображенія и анализа половыхъ влеченій съ физиологическихъ и патологическихъ точекъ зрѣнія. И вдругъ среди молодыхъ, вновь вышедшихъ на литературное поприще, беллетристовъ, нашлось нѣсколько прихвостней французскихъ натуралистовъ, которые забыли всѣ наши великія преданія столь недавняго прошлаго, и начали слѣпо пересаживать на русскіе нравы пресловутые документы французскихъ натуралистовъ, заимствуя при этомъ у ихъ кумира, Золя, не то, чему дѣйствительно стоило-бы у него поучиться, т. е. умѣнію его рисовать широкія картины современной общественной жизни, а лишь страсть къ созерцанію женскихъ подвизовъ.

То же самое мы видимъ и въ 30-ые годы. Къ этому времени литература наша, повидимому, успѣла уже вполне пережить романтизмъ и подъ нѣмецкимъ, и подъ англійскимъ влияніями. Подражали мы и Клопштоку, и Уланду, и Гете, и Шпллеру, и Шекспиру, и Байрону; наконецъ, начали мало по малу переходить, съ одной стороны, на путь національной самобытности, съ другой—на почву реализма. Но крайней мѣрѣ мы видимъ, что Пушкинъ во второй половинѣ своей литературной дѣятельности былъ не только самобытенъ, но и глубоко реаленъ. Въ то же время къ половинѣ 30-хъ годовъ Гоголь успѣлъ уже написать и свои „Вечера“, и „Арабески“, и всѣ комедіи.

Между тѣмъ съ Франціею и въ тотъ разъ случилось то же, что и въ наше время: увлеченная своими политическими движеніями, она нѣсколько запоздала со своею литературою, и въ то время, когда у насъ были уже Пушкинъ и Гоголь, а въ Англіи—Диккенсъ и Теккереи, Франція только что успѣла покончить съ классицизмомъ, и у нея возникла своя романтическая школа, побѣда которой надъ классицизмомъ, въ лицѣ Виктора Гюго и его неистовыхъ послѣдователей, совпала какъ разъ съ революціей 1830 г. И вотъ наша молодежь того времени поспѣшила тотчасъ же увлечься новою и модною школою французскаго романтизма, громко трубившею на всю Европу свою запоздалую побѣду надъ классицизмомъ.

Какъ велико и слѣпо было это увлеченіе, можно судить по слѣдующей выдержкѣ изъ записокъ И. Панаева:

«Послѣ появленія *«Notre Dame de Paris»*, я почти готовъ былъ идти на плаху за романтизмъ. Я узналъ о *«Notre Dame de Paris»* изъ *«Московского Телеграфа»*. Вскорѣ послѣ этого весь читающій по французски Петербургъ началъ кричать о новомъ гениальномъ произведеніи Гюго. Всѣ экземпляры, полученные въ Петербургъ, были тотчасъ-же расхватаны. Я едва досталъ для себя экземпляръ и съ нервическимъ раздраженіемъ приступилъ къ чтенію. И прочелъ его, почти не отрываясь. Никогда еще я не испытывалъ такого наслажденія отъ чтенія. Клодь-Фролло, Эмеральда, Квазимодо не выходили изъ моего воображенія; сцену, когда Клодь-Фролло приводитъ ночью Эмеральду къ висѣлицѣ и говорить: «выбери между мною и этою висѣлицей»—я выучилъ наизусть. Я больше двухъ мѣсяцевъ бредилъ этимъ романомъ и перечитывалъ отрывки изъ

него Бречетову и нѣкоторымъ изъ моихъ товарищей, съ которыми болѣе симпатизировалъ.»

Но и тогда съ нашими россиянами случилось то же, что и нынѣ. То, что было болѣе замѣчательнаго, почтеннаго и цѣннаго въ сочиненіяхъ В. Гюго, тѣ новыя идеи, которыми были пронизаны эти сочиненія, прошли совершенно мимо ушей поклонниковъ В. Гюго.

Но не одинъ И. Панаевъ, только что сошедшій тогда со школьной скамьи, и болѣе старшіе и зрѣлые поклонники французскаго романтизма, совершенно игнорируя идейную подкладку В. Гюго, увлекались одною внѣшнею, чисто-формальною стороною его поэзіи, страстію В. Гюго къ трескучимъ эффектамъ, смѣлымъ антипезамъ и крайне вычурному и высокопарному языку его; однимъ словомъ—усвоили однѣ только слабыя стороны своего кумира. Къ числу такихъ послѣдователей В. Гюго, рядомъ съ Марлинскимъ и Бенедиктовымъ, принадлежалъ и Кукольникъ. Покрайней мѣрѣ драмы его *«Торкватто Тассо»*, *«Джулия Мости»*, *«Джакомо Саназаръ»*, *«Роксолана»* и пр. всѣ скроены по образу и подобию драмъ В. Гюго, но, конечно, не представляютъ и тѣни того глубокаго идейнаго содержанія, какое вы находите въ пьесахъ В. Гюго, а напротивъ того, отличаются крайнею пустотою и банальнымъ мелодраmatизмомъ. Но невѣжественная толпа того времени, подъ влияніемъ такихъ критическихъ авторитетовъ, какими представлялся Сенковский, принимала эти драмы за дѣйствительно „новое слово“ литературы, и этимъ обуславливалась та популярность, какою пользовался Кукольникъ въ половинѣ 30-хъ годовъ. Но это не могло продолжаться долго. Вскорѣ началось новое литературное движеніе и положило конецъ увлеченію напыщенною риторикою и пустозвонными внутри, хотя и блестящими снаружи, фразами. Вмѣстѣ съ паденіемъ авторитета Сенковского, рядомъ съ закатомъ такихъ эфемерныхъ звѣздъ, какъ Марлинскій и Бенедиктовъ, пошатнулась и популярность Кукольника. Онъ растолстѣлъ, обрюзгъ отъ частыхъ возліаній Бахусу и даже по наружности пересталъ походить на вдохновеннаго поэта и безкорыстнаго служителямузы. Толпа поклонниковъ мало по малу рѣдѣла вокругъ него, и наконецъ, его покинули даже преобразенцы, столь восхищавшіеся когда-то каждымъ его стихомъ и ожидавшіе отъ него чего-то великаго. Онъ сошелся съ такими темными литературными силами того времени, каковы были Гречъ, Булгаринъ, Воейковъ и прочіе подобнаго же рода литературныхъ дѣлъ мастера, кулаки и промышленники, наживавшіеся на счетъ невѣжества публики. Это окончательно отвернуло отъ него всѣхъ молодыхъ и честныхъ литераторовъ. Къ тому же и самъ онъ, оставивъ свои юныя мечты создать нѣчто великое и произвести въ литературѣ переворотъ, выступилъ на поприще литературнаго ремесленничества и барышничества. Уже съ начала 40-хъ годовъ онъ является передъ нами авторомъ безконечно длинныхъ и скучныхъ, очевидно, наскоро состряпанныхъ историческихъ романовъ и повѣстей изъ западной и русской жизни,—и всѣ эти произведенія обнаруживаютъ передъ нами, какъ нельзя болѣе, талантъ малыйкій, жиденькій, и

къ тому же лишенный всякаго содержанія и хотя бы тѣни оригинальности, постоянно кому-нибудь подражавшій. Какъ въ юности подражалъ онъ В. Гюго, такъ теперь онъ подражаетъ Ал. Дюма и Альфреду де-Виньи, и въ 1841 году выпускаетъ безконечный романъ „Эвелина-де-Вальероль“, изъ времепъ фронды. Во время самаго разгара эпидеміи историческихъ романовъ, въ 1832 году, появился переводъ съ польскаго романа Ф. Бернатовича „Поята, дочь Лездейки, или Литовцы въ XIV столѣтіи“,—и романъ этотъ имѣлъ большой успѣхъ въ нашей публикѣ въ продолженіи всѣхъ 30-хъ годовъ. Въ pendant къ этому роману, Кукольникъ въ 1842 году издалъ романъ тоже изъ литовской жизни XIV вѣка „Альфъ и Альдона“, столь же испещренный именами литовскихъ боговъ и богинь, мѣстностей, урочищъ, рѣкъ и т. п. Романъ этотъ по своей крайней растянутости, скукѣ и неудобочитаемости превосходитъ все, что только существуетъ на свѣтѣ въ скучномъ родѣ.

Какъ поклонникъ французскаго романтизма, Кукольникъ, конечно, считалъ самую непримиримую ненависть къ натуральной школѣ, равно какъ и къ кружку Станкевича, которому наиболѣе обязанъ онъ былъ паденіемъ своей популярности. — Такъ, при встрѣчѣ съ нимъ Панаева во второмъ уже періодѣ его дѣятельности, Кукольникъ обратился къ нему съ такою рѣчью: — „Это ты! Я сначала не узналъ тебя, — мы съ тобой теперь видимся рѣдко. Ты — Краевскій!“ — и эти послѣднія слова были произнесены такимъ тономъ, какъ-бы Кукольникъ хотѣлъ сказать: „Ты пропащій человекъ!“ и при этомъ онъ махнулъ рукой.

Но такова въ то-же время была сила подражательности въ Кукольникѣ, что при всемъ враждебномъ отношеніи къ натуральной школѣ и ея представителямъ и партизанамъ, Кукольникъ не замедлил подчиниться и вліянію Гоголя. Въ теченіе 40-хъ годовъ онъ написалъ массу историческихъ повѣстей изъ петровской эпохи, и въ этихъ повѣстяхъ на каждой страницѣ такъ и мечется вамъ въ глаза стараніе Кукольника поддѣлаться подъ гоголевскій стиль. Для доказательства намъ не для чего долго рыться, а стоитъ открыть наудачу книгу, и навѣрное мы прямо наткнемся на какое-нибудь рабское подражаніе Гоголю. Для примѣра я раскрываю первый томъ сочиненій Кукольника на 473 стран.; передъ нами четвертая глава повѣсти „Благодѣтельный Андроникъ“, и вотъ какъ она начинается:

«Есть имена самыя романическія, которыхъ, къ особенному удивленію, вовсе не употребляютъ наши романисты, и надобно дожидаться какой-либо чисто исторической статьи, чтобы встрѣтить сколько-нибудь интересное имя. Если-бы не исторія, мнѣ-бы никогда и въ голову не пришло, что жена Андроника Евстафьевича называлась Голендухой Демьяновной. А какое романическое имя! Оно одно уже цѣлый романъ! А если къ этому прибавить еще романическій ея характеръ, тогда жена Андроника рѣшительно покажется цѣлою библіотекой романовъ. Домна Савишна хороша, но, въ сравненіи съ Голендухой Демьяновной, лицо совершенно ординарное. Какой-же былъ характеръ у Голендухи Демьяновны, спросите вы? Романическій; то есть, въ ней не было никакого характера. Она была добра, когда бесѣдовала съ Андроникомъ Евстафьевичемъ: моло-

дилась и охорашивалась, когда передъ ней сидѣла Домна Савишна; злилась и била сестру свою, малолѣтнюю Палашку, когда слышала, что на осѣднемъ дворѣ попададя производила экзекуцію надъ не-исправною челядью; заикалась даже, когда Ерема Костыль, дядечекъ Тихвинно-Онуфриевского прихода, великій занка, приходилъ къ главѣ и солнцу всѣхъ воронежскихъ дьячковъ и произносилъ торжественную рѣчь, чарки ради и т. д.»

Или посмотрите, какъ во второмъ томѣ начинается разсказъ „Капустинъ“:

«Пою несчастіе Капустина, московскаго купца, происшедшее отъ родоначальницы его, въ прямой линіи огородной капусты, продукта вполнѣ извѣстнаго у насъ на сѣверѣ; продукта, который, по важности своей, можетъ смѣло поспорить съ картофелемъ, этимъ американскимъ дивомъ, генеральномъ пищею многихъ милліоновъ. — Но еще не наступило время капусты; она хранилась въ парникахъ, и то не вездѣ, потому что на дворѣ стоялъ юнь, и вси Москва кушала спаржу и зеленныя шти, для чего, какъ извѣстно, капуста не нужна, а достаточно разной мелкономѣстной травы, которая, по общему закону всего земнаго, сначала обращается въ снѣдь человека, а потомъ скотинѣ» и т. д.

Ужъ изъ однихъ этихъ выдержекъ вы можете судить, какъ далеко отстоялъ Кукольникъ въ своемъ подражаніи отъ образца. Не обладая природнымъ юморомъ, онъ въ своихъ историческихъ повѣстяхъ безирестанно внадалѣ въ неуклюжее и натянутое шутовство и вычурную манерность; это одно дѣлаетъ его повѣсти чрезвычайно тяжелыми и скучными въ чтеніи, особенно, если прибавить къ этому безконечныя разговоры дѣйствующихъ лицъ, до крайности растянутые и притомъ по большей части на домашнемъ языкѣ, чрезъ мѣру пересыпанномъ иностранными словами, передѣланными на русскій ладъ (это Кукольникъ дѣлалъ для приданія рѣчамъ героевъ своихъ историческаго колорита, но черезъ-чуръ пересаливалъ въ этомъ, и какъ-бы ни много иностранныхъ словъ употребляли современники Петра, навѣрное они говорили языкомъ не столь вычурнымъ и нестрымъ, какъ это мы видимъ у Кукольника).

Что касается до содержанія всѣхъ этихъ безчисленныхъ историческихъ повѣстей, то хотя, съ одной стороны, онѣ и обнаруживаютъ довольно основательное знаніе Кукольникомъ эпохи Петра, но въ то-же время нельзя сказать, чтобы нравы и духъ этой эпохи изображались въ повѣстяхъ художественно и реально. То-же, что мы сказали сейчасъ о языкѣ дѣйствующихъ лицъ, слѣдуетъ замѣтить и о всѣхъ прочихъ краскахъ Кукольника: во всемъ онъ пересаливаетъ, все онъ представляетъ въ какомъ-то грубо-карикатурномъ видѣ, точно будто передъ вами не объемлющее изображеніе эпохи, а рядъ шаржей. Возьмите вы, напримѣръ, самую личность Петра. Не говоря уже о Пушкинѣ, но даже у Р. Зотова Петръ является болѣе похожъ на дѣйствительнаго Петра, какимъ онъ долженъ намъ представляться, чѣмъ у Кукольника. Положимъ, что Петръ былъ и гений, и работникъ, и водку анисовую пилъ въ адмиралскій часъ, и дѣтей крестилъ у матросовъ, но въ то-же время не надо забывать, что онъ былъ русскій царь, и царь грозный, съ дубинкой въ рукахъ, съ молніеносными взглядами, очень рѣшительный въ своихъ поступкахъ, а подчасъ и крайне необузданный въ

своемъ гнѣвѣ. Передъ нимъ все вокругъ трепетало, а если кто дерзалъ шутить и поперекъ слово молвить, то дѣлалъ это съ оглядкой, въ какую-нибудь такую рѣшительную минуту, когда человекъ ставитъ на карту жизнь свою, авось вывезетъ кривая. Поэтому какъ нельзя болѣе естественна и понятна растерянность и гостей, и хозяевъ, когда Петръ прѣзжаетъ вдругъ къ Гаврилѣ Аѳонасьевичу въ „Арапѣ Петра Великаго“. Не менѣе естественъ и тотъ ужасъ, какой чувствуетъ въ романѣ Зотова Григорій, когда дерзаетъ ночью будить Петра. У Кукольника-же Петръ является положительно какимъ-то балагуромъ, съ которымъ всѣ окружающіе обходятся не только за панибрата, но грубятъ ему такъ, какъ не смѣли въ то время грубить мало-мальски ботатому и знатному боярину. Подумайте, напимѣръ, насколько естественна и правдоподобна хотя-бы такая сцена въ разсказѣ „Новый годъ“:

«Послѣ полуночи прѣхалъ Государь и былъ не мало удивленъ, увидавъ, что Александръ Ивановичъ (денщикъ его) въ новый годъ, когда вся Москва разукрашена огнями, сидитъ за книгой.

— Что-же ты, Александръ, дома сидишь? спросилъ Государь:—а иллюминація?

— Поздно, Государь; теперь уже темно. Когда-бы днемъ, такъ еще туда-сюда: пока Прозоровскій или Ромодановскій докладываютъ, можно отлучиться; а вечеромъ я не люблю пататься: чего добраго, за бродягу примутъ. Да и что такое твои иллюминаціи? Другой разъ, какъ будетъ тебѣ послѣбоднѣ, самъ покажешь.

— Да ты развѣ не видалъ иллюминацій?

— Не только не видалъ, да и не слышалъ.

— А въ день моего прѣзда, по всей Москвѣ, что было?..

— Что было? Огни, да и только. Глаза высмотрѣлъ, чтобы гдѣ не занялось. Дрянная потѣха, Государь: того и глди, пожаръ затѣшь!..

— Ну, такъ, Александръ! Когда въ городѣ добрый порядокъ, такъ иллюминація не опасна.

— Такъ ты прежде сдѣлай въ городѣ порядокъ, а потомъ уже сало для потѣхи и жи.

— Сдѣлаю, сдѣлаю! отвѣчалъ Государь:— только дай срокъ.

— Ты, Государь, все въ долгую тянешь; вотъ и меня уже сколько времени обѣщаніями манишь, а посулъ безъ зерна, все одно, что мыло ѣшь.

— Потерпи, Александръ! Давно-ли ты служишь? — Таки не со вчерашняго дня. Я тебя люблю, Государь, и ты меня любишь. Да что въ томъ проку-то? За Головина, такъ еще мундиръ, исподни и сапоги даромъ давали! А теперь новый имѣнецъ какой-то комиссаръ сталъ. Говорить: на парекхъ денщикамъ отпуску нѣтъ: жалованье большое получаютъ!

— Вреть!—сказалъ съ поспѣшностью Государь и т. д.

Въ то-же время пѣтъ такой повѣсти, въ которой Петръ не являлся-бы сватомъ. И въ „Арапѣ“ Петръ Великій самъ прѣзжаетъ къ Гаврилѣ Аѳонасьевичу въ качествѣ свата, но здѣсь онъ сватаетъ въ собственныхъ своихъ видахъ и становится поперекъ вкусовъ и желаній всей семьи Гаврилы Аѳонасьевича, не исключая и самой невѣсты. У Кукольника-же наоборотъ, онъ является постояннымъ *deus ex machina*, который точно какъ будто для того и царствовалъ, чтобы отстранять всѣ прещастія ко вступленію въ законный бракъ своихъ влюбленныхъ подданныхъ. Въ разсказѣ „Новый годъ“ оказывается даже, что

Петръ измѣнилъ празднованіе новаго года съ сентября на январь нарочно для того, чтобы помочь своему любимому денщику Александру Ивановичу Румянцеву жениться на дочери окольничьяго Андрея Артамоновича, Марьѣ Андреевнѣ.

Мы не имѣемъ ни надобности, ни возможности входить въ подробное разбирательство всѣхъ безчисленныхъ историческихъ повѣстей Кукольника, а остановимся лишь на двухъ, представляющихъ свой особенный интересъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ фактомъ весьма страннымъ и неразгаданнымъ: именно тотъ самый Кукольникъ, въ которомъ, казалось-бы, трудно заподозрить хотя-бы малѣйшую тѣнь либерализма, вдругъ является передъ нами врагомъ крѣпостного права и такъ рѣзко обличаетъ нравы его, что заслуживаетъ гнѣвъ начальства. Трудно угадать и рѣшить, дѣлалъ-ли это Кукольникъ сознательно, вслѣдствіе того, что крѣпостное право было въ то время такъ уже оскандализовано въ глазахъ всѣхъ, что даже и такіе люди, какъ Кукольникъ и Р. Зотовъ (у послѣдняго въ его „Леонидѣ“ тоже есть кое-какія вылазки противъ крѣпостного права) возмущались его ненормальностью, или-же Кукольникъ, изображая нравы петровской эпохи, и не воображалъ, что онъ попадетъ совсѣмъ въ другую цѣль.

Какъ-бы то ни было, но разсказъ Кукольника „Сержантъ Иванъ Ивановичъ, или всѣ за одно“, появившійся въ сборникѣ „Сказка за сказкой“, въ 1841 году—надѣлалъ въ свое время не мало шума. Вотъ содержаніе этой повѣсти.

Главными героями являются Ландышевы, мать вдова и сынъ, жившіе въ своемъ имѣніи недалеко отъ Костромы и напоминающіе собою Простакову съ Митрофанушкой. Варвара Сергѣевна не могла надыхаться на своего возлюбленнаго Володю, и воля его была для нея закономъ. Володя-же, конечно, совершенно безграмотный, только и занимался, что лошадыми, собаками, да дворовыми дѣвками. Не было красавицы на селѣ, которую-бы онъ не овладѣлъ, пользуясь своимъ барскимъ правомъ. Такъ, на первыхъ-же страницахъ повѣсти, онъ плѣняется Домною, невѣстою крѣпостного парня Ивана и происходитъ слѣдующая возмутительная сцена: увидавъ Домну, пришедшую съ женихомъ своимъ къ Варварѣ Сергѣевнѣ просить барскаго соизволенія на бракъ, Володя въ одно мгновѣніе соскочилъ съ лошади, подаль уздацъ Ивану и сказалъ, не глядя на него: „Держи, болванъ! Изъ чьей ты волости, красавица?“

— А вотъ, изъ Кудиновки, отвѣчала дѣвушка, покраснѣвъ по уши...

— Изъ нашей волости! Да какъ-же я про тебя ничего не зналъ? Видишь ты, старый чортъ! Что, ты, ивно, для себя ее пряталъ?!

Это обращеніе относилось къ Ефремычу. Съ трудомъ удержавъ сухопараго, вислоухаго своего коня, Ефремычъ отвѣчалъ почтительно:

— Володимѣръ Степанычъ, а Володимѣръ Степанычъ! Того... Вѣдь всѣхъ не усмотришь!..

— Знаю я тебя, старый котъ! Самъ ты лакомка. Мало тебѣ, что-ли, послѣ барина остается? Какъ зовутъ, душка? спросилъ онъ дѣвушку.

— Домной, отвѣчала она и заплакала.

— Ну, такъ поцѣлуй меня, сказалъ Володя, схвативъ ее за обѣ руки.

— Не замай! закричалъ Иванъ, вѣ себя отъ рев-

ности и гнѣва, и оттолкнулъ Володю такъ небрежно, что тотъ не устоялъ на ногахъ и повалился подъ ноги россыпанту... Ужасъ сдѣлался общимъ. Ефремычъ и верховые сѣлились и бросились на Ивана. Несчастный понялъ свое преступленіе и, молча, позволилъ связать себя.

— Ведите его на конюшню, озорника! Вотъ я его! Домну, Ефремычъ, въ чулочницы! Слышь, сейчасъ въ чулочницы. И съ нею управлюсь по своему.

Въ это самое время пріѣхалъ воевода требовать Володю на царскую службу. Варвара Сергѣевна въ ужасѣ начала закармливать его, запивать и умолять о пощадѣ; насилу сторговалась съ уступчивымъ воеводою, порѣшивъ на томъ, чтобы вмѣсто сына поставить на службу четырехъ крѣпостныхъ и пожертвовать сто рублей на богадѣльню.

Послѣ отъѣзда воеводы Володя немедленно-же отправился на конюшню. Управляющій, дворецкій, дядька, буфетчикъ, старшій конюхъ, ключникъ и многіе другіе дворовые чины съ разныхъ сторонъ опростомѣли бѣжали на конюшню, на случай могущихъ послѣдовать приказаній отъ лица Володимира Степановича. На прилавкѣ лежалъ связанный Иванъ и разговаривалъ съ конюхами.

— «Оумичъ!» сказалъ Володя управляющему: «Гдѣ у насъ нынче острогъ?»

— А въ старомъ амбарѣ. Тамъ въ окно не пролѣзешь.

— А кто изъ конюховъ вчера приставакъ къ Пашкѣ, когда я спалъ послѣ обѣда?

— Ерема, отвѣчалъ Оумичъ.

— Вязи его!—Связали.

— А кто стучалъ опомнись въ окно къ прихамъ, когда я тамъ былъ съ Ефремычемъ?

— Сергѣй истонникъ!

— Вязи его! А кто еще на недѣлѣ провинился?

— Да Андришка, что на царскій, украсть въ Татарской слободѣ молодого кобеля для твоей милости. Татары приходили жаловаться Варварѣ Сергѣевнѣ; барыня сказала, что безъ твоей милости она не порѣшитъ такого большого дѣла!

— Много она смыслитъ. Поди-ка, Оумичъ, свяжи Андришку: зачѣмъ не украсть онъ и чалой суки? А я ему три раза наказывалъ: кобеля и суку!.. Поди-же, Оумичъ, всѣхъ свяжи, да въ острогъ, а завтра всѣхъ четырехъ отвези въ Кострому, прямо въ Воеводскую канцелярію. Завтра въ провинціи рекрутѣ принимаютъ...

— Въ солдаты! завопилъ Иванъ, рванувшись такъ, что чуть было веревки не разлетѣлись...

— Въ солдаты! сказалъ со смѣхомъ Володя. Завтра ты уже не мой, такъ сегодня разсчитаемся. Эй ты, конюхъ, плетей!

— Не бей его, Володимиръ Степановичъ, сказалъ Оумичъ тихо Володѣ: не бей, а то неравно его въ провинціи не примутъ...

— Ну, быть по твоему! сказалъ Володя, отходя съ досадой. А жаль! Самъ было хотѣлъ силы попробовать, руку приложить, на водку ему прикинуть.

Между тѣмъ Домна, узнавъ, что милаго ея сдаютъ въ солдаты, бросилась къ баринѣ въ спальню, гдѣ съ подложки дѣвочка раздѣлала Варвару Сергѣевну.

— Воръ! разбойникъ! закричала барыня и схватила подушку.

— Твой сынъ воръ! Твой сынъ разбойникъ! кричала Домна, упавъ передъ постелью Варвары Сергѣевны: Помилуй! матушка барыня! Не выдавай моего Ивана въ солдаты, жениха моего, жизнь мою! Руки на себя наложу, вотъ-те Христосъ, а сыну твоему не дамъ!..

— Что ты такое городишь, бестія! закричала Варвара Сергѣевна, оправляясь и швырнувъ въ Домну

подушкой: ну, что Володя, съѣлъ тебя, что-ли? Ну, говори, что онъ съ тобой сдѣлалъ?

— Да, что сдѣлалъ? Цѣловаться хѣзъ!..

— Велика бѣда! Да что онъ взрослый, что-ли? Ужъ и дѣвушки поцѣловать не можетъ, и пошутить ребенку нельзя! Такъ на что онъ и баринъ, и помѣщикъ. коли ужъ и своихъ тронуть не воли! Экая развратница! Чай, при любовникѣ пристае! Видишь, откуда стыду научилась, мерзавка! Въ солдаты его, въ солдаты, благо, нужно! Дамъ я ему на дворѣ у меня развратничать!..

Вбѣжалъ Володя: Варвара Сергѣевна еще болѣе разгорячилась:

— Чего-же ты это смотришь, Володя! И ночью отъ этихъ безпутныхъ покоя нѣтъ. Тыфу ты, нечистъ какая!.. Вонъ ее, со двора долой, а любовника въ солдаты! Слышишь, Володя, въ солдаты! Завтра-же пошли въ провинцію... Прочь, съ глазъ долой, негодная!..

Домна встала; черезъ двери поклонилась образамъ, сказала съ какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ: «Прости и заступи, Господи!» и бросилась изъ комнаты.

— Лови ее! лови! закричалъ Володя и побѣжалъ за нею въ погоню. Ее поймали въ деревнѣ, въ домѣ отца и снова водворили во дворъ, опредѣливши ее въ судомойки работать на кухнѣ безъ смѣны.

Рекрутѣ между тѣмъ отправили въ провинцію, но и Володя не увернулся отъ военной службы. Вслѣдъ за воеводою явился провинціалъ-фискаль Василій Пазухинъ и объявилъ Варварѣ Сергѣевнѣ наотрѣзъ:

— Я тебѣ скажу коротко и ясно. Воевода оплошалъ. Когда-бы узналъ государь, быть ему въ отвѣтъ. Людей твоихъ въ будущій приемъ рекрутами зачтутъ, а ты сына подай. Онъ у меня на росписи. Любимъ Александровичъ — добръ, хоть и суровъ; а я строгъ, хотя съ виду и ласковъ...

Провинціалъ-фискаль оказался непреклоннымъ, и дѣлать было нечего, пришлось Володѣ ѣхать въ Петербургъ на царскую службу. Варвара Сергѣевна повезла его сама. Отправилась она цѣлымъ обозомъ со всею дворнею, въ числѣ которой была и Домна, къ которой не переставалъ приставать баринъ. Но никакіе побои, обѣщанія, упрёки, ласки не помогли. Исхудала бѣдная Домна, а все еще плакала по Ванькѣ, какъ называла его вся челядь. Не смотря на всю дерзость и страсть Володи, онъ какъ-то побаивался Домны, и если билъ ее, что случалось не рѣдко, то всегда однако-же послѣ обѣда, завтрака или ужина.

Варвара Сергѣевна разыгрывала въ Петербургѣ крайне комическую роль, не понимая новыхъ порядковъ, окружавшихъ ее, и на каждомъ шагу попадалась врасплохъ самодурствомъ и барскою фанаберіею. Между тѣмъ Володю взяли въ Ингерманландскій полкъ и тамъ вскорѣ онъ поступилъ, въ качествѣ рядового, подъ начальство того самаго Ивана, котораго онъ сдалъ въ рекруты, отнявши у него певѣсту, такъ какъ Иванъ былъ избранъ въ сержанты. Въ должности сержанта Иванъ получилъ право подвергать своего барина тѣлесному наказанію, и онъ не замедлил воспользоваться этимъ правомъ. Володя не захотѣлъ рано вставать на ученье, объявивши будившему его товарищу, что ему хочется спать, пусть за него Ванька ружьемъ артикулъ выбрасываетъ; тогда сержантъ Иванъ явился самъ къ барину и произошла слѣдующая сцена:

своемъ гнѣвъ. Передъ нимъ все вокругъ трепетало, а если кто дерзалъ шутить и поперекъ слово молвить, то дѣлалъ это съ оглядкой, въ какую-нибудь такую рѣшительную минуту, когда человекъ ставитъ на карту жизнь свою, авось вывезетъ кривизну. Поэтому какъ нельзя болѣе естественна и понятна растерянность п гостей, и хозяевъ, когда Петръ прѣѣзжаетъ вдругъ къ Гаврилѣ Анонасьевичу въ „Арапѣ Петра Великаго“. Не менѣе естественъ и тотъ ужасъ, какой чувствуется въ романѣ Зотова Григорій, когда держаетъ ночью будить Петра. У Кукольника-же Петръ является положительно какимъ-то балагуромъ, съ которымъ всѣ окружающіе обходятся не только за панибрата, но грубитъ ему такъ, какъ не смѣли въ то время грубить мало-мальски ботатому и знатному боярину. Подумайте, напримѣръ, насколько естественна и правдоподобна хотя-бы такая сцена въ разсказѣ „Новый годъ“:

«Послѣ полуночи прѣѣхалъ Государь и былъ не мало удивленъ, увидавъ, что Александръ Ивановичъ (денщикъ его) въ новый годъ, когда вся Москва разукрашена огнями, сидитъ за книгой.

— Что-же ты, Александръ, дома сидишь? спросилъ Государь:—а иллюминація?

— Поздно, Государь; теперь уже темно. Когда-бы днемъ, такъ еще туда-сюда; пока Прозоровскій или Ромодановскій докладываютъ, можно отлучиться; а вечеромъ я не люблю шататься: чего добраго, за бродягу примутъ. Да и что такое твоя иллюминація? Другой разъ, какъ будетъ тебѣ поспობодѣе, самъ покажешь.

— Да ты развѣ не видалъ иллюминацій?

— Не только не видалъ, да и не слыхалъ.

— А въ день моего прѣѣзда, по всей Москвѣ, что было?..

— Что было? Огни, да и только. Глаза высмотрѣлъ, чтобы гдѣ не занялось. Дрянная потѣха, Государь: того и гляди, пожаръ затѣнется!..

— Ну, такъ, Александръ! Когда въ городѣ добрый порядокъ, такъ иллюминація не опасна.

— Такъ ты прежде сдѣлай въ городѣ порядокъ, а потомъ уже сало для нотѣхи и жижи.

— Сдѣлаю, сдѣлаю! отвѣчалъ Государь:— только дай срокъ.

— Ты, Государь, все въ долгую тянешь; вотъ и меня уже сколько времени обѣщаніями манишь, а посулъ безъ зерна, все одно, что мыло ѣшь.

— Потерпи, Александръ! Давно-ли ты служишь?

— Таки не со вчерашняго дня. Я тебя люблю, Государь, и ты меня любишь. Да что въ томъ проку-то? За Головина, такъ еще мундиръ, исподни и сапоги даромъ давали! А теперь новый нѣмецъ какой-то комиссаръ сталъ. Говоритъ: на царскихъ денщиковъ отпуску нѣтъ: жалованье большое получаютъ!

— Вреть!—сказалъ съ поспѣшностью Государь и т. д.

Въ то-же время нѣтъ такой повѣсти, въ которой Петръ не являлся-бы сватомъ. И въ „Арапѣ“ Петръ Великій самъ прѣѣзжаетъ къ Гаврилѣ Анонасьевичу въ качествѣ свата, но здѣсь онъ сватаетъ въ собственныхъ своихъ видахъ и становится поперекъ вкусовъ и желаній всей семьи Гаврилы Анонасьевича, не исключая и самой невѣсты. У Кукольника-же наоборотъ, онъ является постояннымъ деу ех машина, который точно какъ будто для того и существовалъ, чтобы отстранять всѣ препятствія ко вступленію въ законный бракъ своимъ влюбленнымъ подданнымъ. Въ разсказѣ „Новый годъ“ оказывается даже, что

Петръ измѣнилъ празднованіе новаго года съ сентября на январь нарочно для того, чтобы помочь своему любимому денщику Александру Ивановичу Румянцеву жениться на дочери окольничьяго Андрея Артамоновича, Марьѣ Андреевнѣ.

Мы не имѣемъ ни надобности, ни возможности входить въ подробное разбирательство всѣхъ безчисленныхъ историческихъ повѣстей Кукольника, а остановились лишь на двухъ, представляющихъ свой особенный интересъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ фактомъ весьма страннымъ и неразгаданнымъ: именно тотъ самый Кукольникъ, въ которомъ, казалось-бы, трудно заподозрить хотя-бы малѣйшую тѣнь либерализма, вдругъ является передъ нами врагомъ крѣпостного права и такъ рѣзко обличаетъ нравы его, что заслуживаетъ гнѣвъ начальства. Трудно угадать и рѣшить, дѣлалъ-ли это Кукольникъ сознательно, вслѣдствіе того, что крѣпостное право было въ то время такъ уже оскандализовано въ глазахъ всѣхъ, что даже и такіе люди, какъ Кукольникъ и Р. Зотовъ (у послѣдняго въ его „Леонидѣ“ тоже есть кое-какія вылазки противъ крѣпостного права) возмущались его ненормальностью, или-же Кукольникъ, изображая нравы петровской эпохи, и не воображалъ, что онъ попадетъ совсѣмъ въ другую цѣль.

Какъ-бы то ни было, но разсказъ Кукольника „Сержантъ Иванъ Ивановичъ, или всѣ за одно“, появившійся въ сборникѣ „Сказка за сказкой“, въ 1841 году—надѣлалъ въ свое время не мало шума. Вотъ содержаніе этой повѣсти.

Главными героями являются Ландышевы, мать вдова и сынъ, жившіе въ своемъ имѣніи недалеко отъ Костромы и напоминающие собою Простакову съ Митрофанушкой. Варвара Сергѣевна не могла надыхаться на своего возлюбленнаго Володю, и воля его была для нея закономъ. Володя-же, конечно, совершенно безграмотный, только и занимался, что лошадами, собаками, да дворовыми дѣвками. Не было красавицы на селѣ, которую-бы онъ не овладѣлъ, пользуясь своимъ барскимъ правомъ. Такъ, на первыхъ-же страницахъ повѣсти, онъ плѣняется Домною, невѣстою крѣпостного парня Ивана и происходитъ слѣдующая возмутительная сцена: увидавъ Домну, пришедшую съ женихомъ своимъ къ Варварѣ Сергѣевнѣ просить барскаго соизволенія на бракъ, Володя въ одно мгновеніе соскочилъ съ лошади, подаль узда Ивану и сказалъ, не глядя на него: „Держи, болванъ! Изъ чьей ты волости, красавица?“

— А вотъ, пазъ Кудиновки, отвѣчала дѣвушка, покраснѣвъ по уши!..

— Изъ нашей волости! Да какъ-же я про тебя ничего не зналъ? Видишь ты, старый чортъ! Что, ты, вѣрно, для себя ее пряталъ?!

— Это обращеніе относилось къ Ефремычу. Съ трудомъ удержавъ сухопараго, вислоухаго своего коня, Ефремычъ отвѣчалъ почтительно:

— Володимѣръ Степанычъ, а Володимѣръ Степанычъ! Того... Видѣ всѣхъ не усмотришь!..

— Знаю я тебя, старый котъ! Самъ ты лакомка. Мало тебѣ, что-ли, послѣ барина остается? Какъ зовутъ, душка? спросилъ онъ дѣвушку.

— Домной, отвѣчала она и заплакала.

— Ну, такъ поцѣлуй меня, сказалъ Володя, схвативъ ее за обѣ руки.

— Не замай! закричалъ Иванъ, внѣ себя отъ рев-

ности и гнѣва, и оттолкнувъ Володю такъ небрежно, что тотъ не устоялъ на ногахъ и повалился подъ ноги россианту... Ужасъ сдѣлался общимъ. Ефремычъ и верховые спѣшили и бросились на Ивана. Несчастный понялъ свое преступленіе и, молча, позволилъ связать себя.

— Водите его на конюшню, озорника! Вотъ я его! Домну, Ефремычъ, въ чулочницы! Слышь, сейчасъ въ чулочницы. И съ нею управлюсь по своему.

Въ это самое время пріѣхалъ воевода требовать Володю на царскую службу. Варвара Сергѣевна въ ужасѣ начала закармливать его, запаивать и умять о пощадѣ; насилу сторговалась съ уступчивымъ воеводою, порѣшивъ на томъ, чтобы вмѣсто сына поставить на службу четырехъ крѣпостныхъ и пожертвовать сто рублей на богадѣльню.

Послѣ отъѣзда воеводы Володя немедленно-же отправился на конюшню. Управляющій, дворецкій, дядька, бѣфетчикъ, старшій конюхъ, ключникъ и многіе другіе дворовые чины съ разныхъ сторонъ опростомѣли бѣжали на конюшню, на случай могущихъ послѣдовать приказаній отъ лица Володимира Степаныча. На прилавкѣ лежалъ связанный Иванъ и разговаривалъ съ конюхами.

— «Омичъ!» сказалъ Володя управляющему: «Гдѣ у насъ нынче острогъ?»

— А въ старомъ амбарѣ. Тамъ въ окно не пролѣзешь.

— А кто изъ конюховъ вчера приставакъ къ Пашику, когда я спалъ послѣ обѣда?

— Ерема, отвѣчалъ Омичъ.

— Вязи его!—Связали.

— А кто стучалъ опомнясь въ окно къ пряхамъ, когда я тамъ былъ съ Ефремычемъ?

— Сергѣй истопникъ!

— Вязи его! А кто еще на недѣлѣ провинился?

— Да Андришка, что на псарнѣ, укралъ въ Татарской слободѣ молодого кобеля для твоей милости. Татары приходили жаловаться Варварѣ Сергѣевнѣ; баринья сказала, что безъ твоей милости она не порѣшитъ такого большого дѣла!

— Много она смыслила. Поди-ка, Омичъ, свяжи Андришку: зачѣмъ не укралъ онъ и чалой суки? А я ему три раза наказывалъ: кобеля и суку!.. Поди-же, Омичъ, всѣхъ свяжи, да въ острогъ, а завтра всѣхъ четырехъ отвези въ Кострому, прямо въ Воеводскую канцелярію. Завтра въ провинціи рекрутовъ принимаютъ...

— Въ солдаты! завопилъ Иванъ, рванувшись такъ, что чуть было порежки не разлетѣлись...

— Въ солдаты! сказалъ со смѣхомъ Володя. Завтра ты уже не мой, такъ сегодня рассчитаешься. Эй ты, конюхъ, плетей!

— Не бей его, Володимиръ Степанычъ, сказали Омичъ тихо Володѣ: не бей, а то неравно его въ провинціи не примутъ...

— Ну, быть по твоему! сказалъ Володя, отходя съ досадой. А жаль! Самъ было хотѣлъ силы попробовать, руку приложить, на водку ему прикинуть.

Между тѣмъ Домна, узнавъ, что милаго ея сдаютъ въ солдаты, бросилась къ баринѣ въ спальню, гдѣ съ подложницы дѣвочкѣ раздѣлали Варвару Сергѣевну.

— Воръ! разбойникъ! закричала баринья и схватила подушку.

— Твой сынъ воръ! Твой сынъ разбойникъ! кричала Домна, упавъ передъ постелью Варвары Сергѣевны: Помилуй! матушка баринья! Не выдавай моего Ивана въ солдаты, жениха моего, жизнь мою! Руки на себя наложу, вотъ-те Христосъ, а сыну твоему не дамъ!..

— Что ты такое городишь, бестія! закричала Варвара Сергѣевна, оправляясь и швырнувъ въ Домну

подушкой: ну, что Володя, съѣлъ тебя, что-ли? Ну, говори, что онъ съ тобой сдѣлалъ?

— Да, что сдѣлалъ? Цѣловаться дѣлалъ...

— Велика бѣда! Да что онъ взрослый, что-ли? Ужь и дѣвушки поцѣловать не можетъ, и пошутить ребенку нельзя! Такъ на что онъ и баринъ, и помѣщикъ, коли ужъ и своихъ тронуть не воли! Экая развратница! Чай, при любовникѣ пристагъ! Видишь, откуда стыду научилась, мерзавка! Въ солдаты его, въ солдаты, благо, нужно! Дамъ я ему на дворѣ у меня развратничать!..

Вбѣжалъ Володя: Варвара Сергѣевна еще болѣе разгорячилась:

— Чего-же ты это смотришь, Володя! И ночью отъ этихъ безпутныхъ покоя нѣтъ. Тыфу ты, нечистъ какая!.. Вонъ ее, со двора долой, а любовника въ солдаты! Слышишь, Володя, въ солдаты! Завтра-же пошли въ провинцію... Прочь, съ глазъ долой, негодная!..

Домна встала; черезъ двери поклонилась образамъ, сказала съ какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ: «Прости и заступи, Господи!» и бросилась изъ комнаты.

— Лови ее! лови! закричалъ Володя и побѣжалъ за нею въ погоню. Ее поймали въ деревнѣ, въ домѣ отца и снова водворили по дворъ, опредѣливши ее въ судомойки работать на кухнѣ безъ смѣны.

Рекрутовъ между тѣмъ отправили въ провинцію, но и Володя не увернулся отъ военной службы. Вслѣдъ за воеводою явился провинціалъ-фискаль Василій Пазухинъ и объявилъ Варварѣ Сергѣевнѣ наотрѣзъ:

— Я тебѣ скажу коротко и ясно. Воевода оплошалъ. Когда-бы узналъ государь, быть ему въ отвѣтъ. Людей твоихъ въ будущій приемъ рекрутами зачтутъ, а ты сына подай. Онъ у меня на росписи. Любимъ Александровичъ — добръ, хоть и суровъ; а я строгъ, хотя съ виду и ласковъ...

Провинціалъ-фискаль оказался непреклоннымъ, и дѣлать было нечего, пришлось Володѣ ѣхать въ Петербургъ на царскую службу. Варвара Сергѣевна повезла его сама. Отправилась она цѣлымъ обозомъ со всею дворнею, въ числѣ которой была и Домна, къ которой не переставалъ приставать баринъ. Но никакіе побои, обѣщанія, упреки, ласки не помогли. Исхудала бѣдная Домна, а все еще плакала по Ванькѣ, какъ называла его вся челядь. Не смотря на всю дерзость и страсть Володи, онъ какъ-то побаивался Домны, и если билъ ее, что случалось не рѣдко, то всегда однако-же послѣ обѣда, завтрака или ужина.

Варвара Сергѣевна разыгрывала въ Петербургѣ крайне кокетскую роль, не понимая новыхъ порядковъ, окружавшихъ ее, и на каждомъ шагѣ попадалась врасплохъ самодурствомъ и барскою фанаберіею. Между тѣмъ Володю взяли въ Ингерманландскій полкъ и тамъ вскорѣ онъ поступилъ, въ качествѣ рядового, подъ начальство того самаго Ивана, котораго онъ сдалъ въ рекруты, отнявши у него невѣсту, такъ какъ Иванъ былъ избранъ въ сержанты. Въ должности сержанта Иванъ получилъ право подвергать своего барина тѣлесному наказанію, и онъ не замедлил воспользоваться этимъ правомъ. Володя не захотѣлъ рано вставать на ученье, объявивши будившему его товарищу, что ему хочется спать, пусть за него Ванька ружьемъ артикулъ выбрасываетъ; тогда сержантъ Иванъ явился самъ къ барину и произошла слѣдующая сцена:



рый встрѣтилъ его въ Петербургѣ въ костюмѣ амура въ то самое время, когда онъ былъ дежурнымъ по эскадрону въ Стрѣльнѣ. Но Булгаринъ и послѣ этого не унимался, написалъ даже сатиру на князя, за что былъ посаженъ на три мѣсяца въ кронштадтскую крѣпость и переведенъ въ какой-то армейскій драгунскій полкъ, находившійся въ войскахъ, дѣйствовавшихъ въ Финляндіи. Здѣсь онъ тоже не замедлилъ навлечь гнѣвъ начальства: его послали арестовать какого-то сельскаго пастора, отличившагося своими партизанскими дѣйствіями противъ русскихъ войскъ и подлежащаго за это разстрѣлію: онъ же помогъ пастору скрыться. Это происшествіе сдѣлалось извѣстнымъ въ Финляндіи и въ Швеціи. По заключеніи мира, явилась въ Стокгольмѣ гравюра съ изображеніемъ этого случая и съ надписью: „Великодушіе русскаго офицера“. Въ бытность Булгарина въ Швеціи въ 1838 г. пригласилъ его къ обѣду одинъ почтенный и богатый человѣкъ. Гостей было множество. Булгаринъ, сѣвши за столъ, увидѣлъ передъ собою гравированную картину. Всѣ пили съ восторгомъ за его здоровье.

Это не прошло Булгарину даромъ, и вотъ мы видимъ, что по окончаніи войны, онъ, „будучи подпоручикомъ, 20-го мая 1811 г. отставленъ отъ службы, по худой аттестаціи въ кандидатныхъ спискахъ“.

Тогда онъ отправился въ Варшаву и вступилъ въ одинъ сформированный французами уланскій полкъ рядовымъ. Многіе смотрѣли на этотъ поступокъ Булгарина, какъ на пѣвну. Товарищъ его по корпусу, полковникъ Петръ Ивановичъ Кошкуль, встрѣтя впоследствии Булгарина въ числѣ плѣнныхъ французовъ, обозвалъ его подлецомъ. Но пужно принять въ соображеніе предшествовавшія неудачи его въ русской службѣ, а также и то, что когда онъ поступилъ во французскую службу, Франція съ Россіей была еще въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ, и тотчасъ-же по вступленіи своемъ въ ряды польскихъ улановъ, Булгаринъ былъ посланъ въ Испанію. Въ 1812 году онъ находился въ корпусѣ маршала Удино, дѣйствовавшего въ Лятвѣ и въ Бѣлоруссіи противъ графа Витгенштейна. Въ 1813 году участвовалъ въ сраженіи при Бауценѣ; въ сраженіи при Кульмѣ онъ былъ въ эскадронѣ польскихъ уланъ, который пробился сквозь корпусъ прусскаго генерала Клейста. Въ 1814 году, во Франціи, онъ былъ взятъ въ плѣнъ прусскимъ партизаномъ Воломбомъ и отправленъ въ Пруссію, а потомъ плѣнныхъ привели въ Россію. По окончаніи войны ихъ размѣняли и полякамъ объявили безусловную амнистію. Булгаринъ, съ другими освобожденными поляками, явился въ Варшавѣ къ цесаревичу. Константинъ Павловичъ принялъ его ласково и, указавъ на прежнихъ товарищей его, Жандра, Албрехта и пр., въ звѣздахъ и лентахъ, сказалъ:

— И ты былъ-бы теперь генераломъ, если-бы остался у меня.

— Ваше высочество!—отвѣчалъ Булгаринъ,—я служилъ моему отечеству.

— Хорошо, хорошо!—возразилъ великій князь,—теперь послужи мнѣ!

Цесаревичъ предложилъ Булгарину хорошее мѣсто, но тотъ отказался, объявивъ, что долженъ ѣхать къ

матери и привести въ порядокъ разстроенное свое имѣніе. Онъ, дѣйствительно, посѣтилъ мать и возобновилъ знакомство съ своими родственниками. Дядя его, Павелъ Булгаринъ, полюбивъ Олду за живой характеръ, умъ и находчивость, поручилъ ему вести процессъ съ родственникомъ, графомъ Тышкевичемъ и Парчевскимъ. Дѣло шло объ восьми тысячахъ душъ. Булгарину за ходатайство обѣщано было пять процентовъ, т. е. четыреста душъ. Процессъ производился въ сенатѣ, и новый ходатай отправился въ С.-Петербургъ.

Вотъ здѣсь-то и началась та нравственная порча, которая въ какія-нибудь пять лѣтъ сдѣлала Булгарина неузнаваемымъ. Гречъ въ своихъ запискахъ приписываетъ эту порчу, главнымъ образомъ, занятію Булгарина сутяжничествомъ по веденію процесса. „Мнѣ кажется,—говоритъ онъ,—что занятія этихъ процессомъ, сопряженныя съ уловками и продѣлками, которыя не всегда оправдываются законами чести и долга, имѣли вредное вліяніе на развитіе его понятій и характера. Для достиженія своей цѣли, онъ употреблялъ всѣ возможные средства: съ утра до вечера таскался по сенаторскимъ и оберъ-прокурорскимъ переднимъ, навѣщалъ секретарей и стряпчихъ, кормилъ и подкупалъ ихъ, привозилъ игрушки и лакомства ихъ дѣтямъ, подарки женамъ и любовницамъ“ и т. д.

Если все это и такъ, то къ этому слѣдуетъ прибавить, что, конечно, Булгаринъ отъ природы былъ крайне неустойчивъ и легкомысленъ въ нравственныхъ отношеніяхъ и не обладалъ твердымъ нравственнымъ закаломъ, иначе не пошелъ-бы онъ и сутяжничать. Въ то-же время не мѣшаетъ принять въ соображеніе и растлѣвающее вліяніе на него самого Н. И. Греча, особенно съ тѣхъ поръ, какъ начали они издавать „Сѣверную Пчелу“. По крайней мѣрѣ, на 450 стр. своихъ записокъ Гречъ самъ намекаетъ на это, говоря о томъ, какъ ему приходилось удерживать сарматскіе порывы Булгарина. Среди хлопотъ по процессу, началъ Булгаринъ порою и пописывать. Такъ онъ вздумалъ издать „Оды Горациа“ съ комментаріями Ежовскаго и другихъ критиковъ, но зная плохо латинскій языкъ, обратился къ помощи какого-то родственника Греча. Ежовскій и нѣкоторые латинисты жаловались на заимствованіе ихъ примѣчаній, но Булгаринъ оправдывался тѣмъ, что упомянулъ объ этихъ заимствованіяхъ въ своемъ предисловіи. Въ то-же время онъ втерся къ Магницкому и Руничу и старался, при ихъ помощи, ввести эту книгу въ училища, но общанія ихъ ограничились словами. Книга не раскупалась, и Булгаринъ рѣшился пожертвовать ее въ пользу училищъ.

Затѣмъ онъ занялся русскою исторіею, выбравъ для этого періодъ самозванцевъ, причемъ пользовался польскими источниками. Героинею его была Марина Мнишекъ, и въ маѣ 1823 года на публичномъ чтеніи Общества Соревнователей Просвѣщенія и Благотворительности онъ читалъ, между прочимъ, отрывки изъ біографіи Марины Мнишекъ, но потерпѣлъ полное фіаско.

Въ то-же время онъ началъ издавать „Сѣверный Архивъ“, въ которомъ помѣщалъ разные историче-

скіе матеріалы. но впадалъ въ страшные промахи, особенно по недостаточному знанію иностранныхъ языковъ, коверкалъ собственныя имена, сжѣшивалъ событія. Желая придать сухому журналу болѣе интереса для читающей публики, онъ вздумалъ издавать при немъ особые листки, подъ заглавіемъ „Волшебный фонарь“, и тутъ впервые онъ испыталъ себя въ сатирическомъ родѣ; это ему пришлось по вкусу, онъ замѣтилъ относительный успѣхъ въ публикѣ его сатирическихъ и историческихъ очерковъ, и оставивъ ученую литературу, весь отдался беллетристикѣ и газетнымъ статьямъ въ „Сѣверной Пчелѣ“, которую началъ издавать вмѣстѣ съ Гречемъ съ 1825 года, при чемъ и при этомъ случаѣ Булгаринъ не замедлилъ выказать главную черту своего характера—способность всюду втѣпаться и пользоваться какими бы то ни было обстоятельствами.

Затѣмъ, черезъ четыре года, въ 1829 году, онъ дебютируетъ первымъ своимъ романомъ „Иванъ Выжигинъ“. Романъ этотъ, собственно говоря, не входитъ въ наше разсмотрѣніе, такъ какъ онъ нравственно-сатирический, а не историческій. Но мы не можемъ удержаться и не сказать нѣсколько словъ о главномъ героѣ его, Иванѣ Выжигинѣ, такъ какъ герой этотъ, подобно тому, какъ и всѣ романическіе герои, отлично рисуетъ передъ нами нравственный міръ самого автора, свидѣтельствуя о его идеалахъ.

Правда, что Булгаринъ, въ своемъ предисловіи къ роману (въ видѣ письма къ его превосходительству Арсенію Андреевичу Закревскому) смотритъ на своего героя объективно и самъ сознается, что онъ вовсе не желалъ представить его совершенствомъ.

«По правиламъ,—говоритъ онъ,—надобно, чтобы герой романа дѣйствовалъ, какъ баярдъ, говорилъ сентенціями, какъ ораторъ, и представлялъ собою образецъ человѣческаго совершенства и скуки. Когда сочиненіе мое было почти готово, я получилъ книжку прекраснаго французскаго журнала «Revue Britannique» (№ 29. 1827) и къ удовольствію моему нашелъ статью, подъ заглавіемъ «Отчего герои романовъ такъ приторны?» Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ авторъ говоритъ: «Отъ совершенства, въ которомъ ихъ представляютъ. Это ангелы, а не люди». Далѣе говоритъ авторъ: «намъ представляютъ героевъ романа какими-то театральными божествами, и отъ того они также холодны. Многие думаютъ, что представятъ ихъ слабыми, нерѣшительными, подвластными обстоятельствамъ, значить унижить ихъ. Но мы люди, мы имѣемъ слабости, и потому самые недостатки человѣчества занимаютъ и трогаютъ насъ болѣе». Таковъ былъ и есть мой образъ мыслей на счетъ героевъ романа. Мой Выжигинъ есть существо доброе отъ природы, но слабое въ минуты заблужденія, подвластное обстоятельствамъ—однимъ словомъ: человекъ, какихъ мы видимъ въ свѣтѣ много и часто. Такимъ хотѣлъ я изобразить его. Присутствія его жизни такого рода, что могли-бы случиться со всякимъ, безъ прибавленія вымысла».

Этими словами Булгаринъ, очевидно, желаетъ дать намъ понять, что герой его не идеальное совершенство, а обыкновенный смертный, каковы всѣ мы, какими сознавалъ себя и самъ авторъ. Посмотрите-же теперь, каковъ этотъ герой и каковы происшествія его жизни, могшія случиться со всякимъ.

Незаконнорожденный сынъ князя Милославскаго, прижитый имъ съ крестьянкою, Иванъ Выжигинъ послѣ разныхъ невообразимыхъ мытарствъ, попалъ

вдругъ въ плѣнъ къ киргизамъ; затѣмъ, сойдясь съ ними и свыкшись съ ихъ жизнью, ходилъ съ ними на разбой, и по дѣлѣжъ добычи на его долю достались разные товары, которые по ликвидаціи очистили ему около сорока тысячъ рублей. Приѣхавъ съ этими деньгами въ Москву, онъ втерся въ большой свѣтъ, подъ личиною юго-западнаго польскаго дворянина, и въ такомъ самозванномъ видѣ началъ промышлять карточной игрою.

«Я игралъ честно,—разсказываетъ онъ.—въ коммерческія игры, но игралъ искусно, хладнокровно, внимательно; садился играть на большіе деньги, и всегда почти выигрывалъ. Не имѣя никакого понятія объ игорномъ плутовствѣ, я однимъ счастьемъ разрушалъ всѣ заговоры, составляемые противъ меня игроками. Когда играли въ банкъ, я внезапно ставилъ нѣсколько картъ въ серединѣ стола: выигрывалъ, бралъ деньги и уѣзжалъ домой. Проигравъ, я не продолжалъ игры, и никогда не отыгрывался. Не будучи привязанъ ни къ игрѣ, ни къ деньгамъ, я игралъ, какъ говорится, расчистно, и какъ счастье мнѣ благоприятствовало, то я, не будучи игрокомъ, жилъ игрою. Въ два года я выигралъ около двадцати пяти тысячъ рублей наличными деньгами, а въ долгу у меня было по крайней мѣрѣ столько-же...».

Но онъ не могъ остановиться на одномъ подобнаго рода честномъ шулерствѣ, такъ какъ связь его съ одною актрисою требовала громадныхъ расходовъ, и вотъ онъ сошелся съ настоящими шулерами, и въ дождъ своей любовницы открылъ игорный домъ съ цѣлью обыгрывать наварняка. Это не пошло ему выйти сухому изъ воды, когда шулера были захвачены полиціею, и въ концѣ-концовъ, выигравъ процессъ у своихъ родственниковъ, сдѣлавшись очень богатымъ и женившись на любимой дѣвушкѣ, какъ и подобаетъ герою, въ заключеніе онъ восклицаетъ съ совершенно чистою совѣстью: «испытывъ многое въ жизни, бывъ слугою и господиномъ, подчиненнымъ и начальникомъ, киргизскимъ наѣздникомъ и русскимъ воиномъ, дѣлвнцемъ и дѣльцомъ, мотомъ, игрокомъ по слабости, а не по страсти, испытывъ людей въ счастьи и несчастіи,—я удалился отъ свѣта, но не погасилъ въ сердцѣ своемъ любви къ человѣчеству».

Вотъ къ какимъ поступкамъ считалъ Булгаринъ способными людей средняго уровня нравственности, къ которымъ причислялъ и себя.

Какъ-бы-то ни было, по романъ Булгарина имѣлъ такой большой успѣхъ, что въ два года разошлось его до семи тысячъ экземпляровъ. Видя успѣхъ „Ивана Выжигина“, книгопродавецъ Алексѣй Закинъ заказалъ Булгарину „Петра Выжигина“, но послѣдній, изданный въ 1831 году, далеко уже не имѣлъ такого успѣха, и это очень понятно.

Романъ „Иванъ Выжигинъ“ былъ прочтенъ публикою, подобно п „Юрію Милославскому“, изданному въ томъ-же году, какъ сказка. Но въ „Петрѣ Выжигинѣ“, выступивъ впервые на поприще историческаго романа, Булгаринъ имѣлъ дѣло съ событіемъ, только что совершившимся и бывшимъ въ памяти у всѣхъ современниковъ, и къ тому-же ему пришлось конкурировать съ Загоскинымъ; и если „Рославлевъ“ Загоскина не имѣлъ, какъ мы видѣли, успѣха, то могъ ли ожидать его „Петръ Выжигинъ“, романъ во всѣхъ отношеніяхъ уступавшій „Рославлеву“?

и самому народу, окрестившему всякій неправый судъ „*чиелычынэмъ*“; пусть люди компетентные судятъ романъ этотъ со стороны его исторической правды; что-же касается до художественной его стороны, то остается только пожалѣть, что Полевой изложилъ свой оригинальный взглядъ въ формѣ романа, а не просто историческаго трактата безъ малѣйшихъ претензій на повѣствованіе.

Константинъ Петровичъ Масальскій родился въ 1802 г., жизнь провелъ за канцелярскимъ столомъ въ различныхъ министерствахъ; выйдя въ отставку въ 1842 г., онъ умеръ въ 1861 году. Написалъ онъ не мало и историческихъ, и современныхъ романовъ въ теченіи своей жизни; по крайней мѣрѣ, мы видимъ, что сочиненія его въ 1845 году были изданы въ пяти томахъ; но изъ всѣхъ этихъ пяти томовъ только и сохранились въ памяти людей позднѣйшаго поколѣнія два его романа: „Стрѣльцы“ и „Регентство Бирона“, но и объ этихъ романахъ положительно не знаешь, что сказать: все въ нихъ, съ одной стороны, вполнѣ прилично и на своемъ мѣстѣ, согласно установленной рутинѣ историческихъ романовъ, а съ другой, — такъ сѣро, такъ заурядно и такъ безцвѣтно, какъ тѣ канцелярскія бумаги, которыя строчилъ Масальскій полжизни. Однимъ словомъ, отъ каждой строки Масальскаго такъ и вѣетъ на васъ чиновничьимъ министерства государственныхъ имуществъ, знающимъ, гдѣ слѣдуетъ ставить запятые, гдѣ букву ѣ, гдѣ увлечься патріотическимъ пафосомъ, гдѣ пройти по части моральной строгости или паборотъ — подпустить въ мѣру клубнички.

Ольга Шишкина была великосвѣтская, придворная дама, любимая фрейлина императрицы Елизаветы Алексѣевны; какихъ-нибудь болѣе подробныхъ свѣдѣній о ея жизни не имѣется. Непзвѣстно даже, когда она родилась, когда скончалась (кажется, не очень еще давно). Написала она всего два историческихъ романа (кромѣ „Путевыхъ записокъ по югу, кажется, Россіи“: „Князь Скопинъ-Шуйскій или Россія въ началѣ XVII столѣтія“, изданный въ 1835 году, и „Прокопій Ляпуновъ, или междоусобица въ Россіи, продолженіе Князя Скопина-Шуйскаго“, 1845 г. Оба романа очень длинные — каждый въ четыре тома.

Первый романъ, очевидно, непосредственно былъ внушенъ чтеніемъ „Юрія Милославскаго“ Загоскина, и тотчасъ-же послѣ этого чтенія въ 1829 году задумала Шишкина состязаться съ Загоскинымъ, какъ объ этомъ можно судить по слѣдующему мѣсту предисловія:

«Уже болѣе шести лѣтъ, какъ была написана первая страница романа „Князь Скопинъ-Шуйскій, или Россія въ началѣ XVII столѣтія“. Съ тѣхъ поръ, хотя не ежедневно, правду сказать и не особенно, но по нѣскольکو мѣсяцевъ въ году занимался имъ авторъ. Конечно, никто этому не повѣритъ. Если-же кто внутренно и согласенъ, что человѣку, ничего не печатавшему, не принадлежащему къ сословию литераторовъ, не имѣющему съ ними знакомства, дѣйствительно было очень трудно, при собственнѣхъ только весьма ограниченныхъ свѣдѣніяхъ, обработать свое пронаведеніе такъ, чтобы оно не совсѣмъ походило на линючіе ситца, къ которымъ забавно примѣнены развозимыя по уздамъ новыя сочиненія; если, повторяю, кому нибудь и покажется это справедливымъ, едва-ли кто въ этомъ

сознается: въ наши времена чрезвычайно боятся прослыть легковѣрнымъ и т. д.

Ниже, съ тою-же великосвѣтскою развязностью, писательница объясняетъ цѣль своего изданія:

«Не льстивыя похвалы пріятеля, — говоритъ она, — и не собственное тщеславіе побуждаютъ издать романъ „Князь Скопинъ-Шуйскій“: авторъ, нерѣшительность котораго уже доказана, не смѣлъ-бы положить ни на то, ни на другое. Но надобно признаться, что я изъ числа тѣхъ странныхъ людей, которые не могутъ одни, безъ товарищей, веселиться и хорошею погодою. Мнѣ захотѣлось, показалось нужно, какъ будто необходимо разсказать вѣзмъ, какъ пылаетъ душа моя любовью къ отечеству, какъ ревностно я желаю ему вѣчнаго благоденствія. Мнѣ захотѣлось подѣлиться чувствами, доставившими мнѣ много отрады и наслажденій, среди заботъ, въ уединеніи и на пышныхъ празднествахъ! Это свойственно русскимъ, а обо мнѣ уже давно сказано, que je suis Russe jusqu'au bout des ongles. Можетъ быть, хотѣли мнѣ полетѣть этимъ, можетъ быть и посмѣяться надо мною: при нынѣшнемъ утонченномъ образованіи трудно это угадать...»

Но не смотря на то, что Шишкина считала себя *la russe jusqu'au bout des ongles*, русскій языкъ, по-видимому, плохо ей давался, и мѣстами выражается она на немъ весьма нескладно. Такъ на первой же страницѣ романа Шишкина описываетъ дождь, „*замѣчательный по высокой своей кровлѣ, на двое раздѣленной перилами*“. Какъ ни ломалъ я голову, чтобы представить себѣ, какъ это перила могутъ раздѣлять пополамъ высокую крышу, никакъ не могъ вообразить ничего подобнаго. Или вотъ вамъ еще образчикъ слога Шишкиной въ четвертой части романа:

«У небольшого, опрятнаго домика, на берегу Москвы рѣки мужчина и женщина сидѣли рядомъ на завазничкѣ, упершись головами въ бревенчатую стѣну. Смотри на нихъ, должно было думать, что или постигло ихъ тяжкое, невозвратимое бѣдствіе, или въ первый еще разъ послѣ мучительной болѣзни вышли они подышать чистымъ воздухомъ. Блѣдныя, изсохшія ихъ лица, впалые глаза и судорожное потрясеніе ихъ членовъ пугали проходившихъ. Спѣшившіе въ хлѣбныя лавки кушцы остерегались встрѣтить взоры ихъ, живо выражавшіе странное, неимоверное смѣшеніе самыхъ противоположныхъ чувствъ. То казалось, пламенная вѣра услуждала ихъ страданія; то они совершенно терили надежду на милосердіе Божіе; то думали, что ближніе имъ помогутъ; то ненавидѣли людей, какъ свирѣпыхъ враговъ; то мысль о близкой смерти успокоивала ихъ волненіе; то они съ ужасомъ отвергали ее, желая, во чтобы то ни стало, продлить жизнь».

Знакомить читателей съ содержаніемъ этихъ безконечно длинныхъ и скучныхъ романовъ я считаю совершенно излишнимъ. Достаточно будетъ сказать лишь, что они съ первой до послѣдней страницы такъ и пылаютъ патріотизмомъ. „Высокая цѣль оживотворяла меня, говоритъ Шишкина въ предисловіи къ „Прокопію Ляпунову“, я считала святымъ вдохновеніемъ, призваніемъ Божиимъ желаніе пробудить въ благородныхъ сердцахъ любовь къ родному, часто заглушаемому иностранными наставниками, и не совсѣмъ справедливому, но великолѣпному картиною русскаго образованія. Исторію должно учиться. Она полезна, необходима. Всѣ это знаютъ и никто объ этомъ не споритъ. Но и пріятное развлеченіе часто необходимо для ума и сердца. Исторію не всѣ чи-

таютъ, не всѣ могутъ понимать и цѣнить важность происшествій государственныхъ, но читая „Иванго“, „Юрія Милославскаго“ и имъ подобныя историческія романы, всѣмъ пріятно, мысленно переносясь въ отдаленныя вѣка, какъ будто лично бесѣдовать съ людьми знаменитыми, среди семействъ ихъ, въ ихъ домашней быту“.

Критика того времени очень благосклонно и снисходительно относилась къ романамъ Шишкиной, конечно, въ уваженіи къ тому обстоятельству, что вотъ такая высокопоставленная дама снисходитъ до занятія литературою и задается цѣлями во всякомъ случаѣ очень почтенными и похвальными, хотя, по правдѣ сказать, романы Шишкиной вполне заслуживаютъ того полнаго забвенія, какое ихъ постигло.

На основаніи всѣхъ разобранныхъ нами, равно и упомянутыхъ произведеній мы можемъ сдѣлать теперь окончательный выводъ относительно исторической беллетристики нашей 30—40 годовъ. Мы видимъ, что вся она распадается на двѣ категоріи, не имѣющія между собою ничего общаго: съ одной стороны, передъ нами историческія произведенія Пушкина и Гоголя, произведенія очень высокаго достоинства, но оставшіяся безъ подражанія. Общество даже въ лицѣ

своихъ передовыхъ, литературныхъ представителей оказалось недорослымъ до высоты этихъ произведеній, не способнымъ не только подражать имъ, но и въ достаточной мѣрѣ оцѣнить ихъ. И вотъ образовалась особенная школа исторической беллетристики, не имѣющая съ ними ничего общаго, но бывшая вполне по плечу полубразованному обществу, — именно беллетристика болѣе сказочнаго, чѣмъ историческаго содержанія.

Первое, что вастъ поражаетъ въ этой школѣ, — это замѣчательное однообразіе всѣхъ ея произведеній. Всѣ они словно выкроены по одному шаблону или вылиты въ одной формѣ. Даже съ вѣншей ихъ стороны бросается въ глаза ихъ взаимное сходство: всѣ они раздѣляются на томы, страницъ отъ 200 до 300, а томы, въ свою очередь, на главы, и передъ каждой главой непременно вы встрѣтите одинъ или нѣсколько эпиграфовъ. Всѣ они украшены одною или двумя гравюрами, довольно иногда недурными. У всѣхъ у нихъ въ заглавіи вы найдете непобѣдное *или*. Далѣе затѣмъ, всѣ они обнаруживаютъ самое поверхностное знаніе исторіи ихъ авторовъ, произвольное искаженіе историческихъ фактовъ, порою даже и сочиненіе небывалыхъ. Всѣ они въ одинаковой степени патріотичны и мелодраматичны. Такую картину представляетъ собою наша историческая беллетристика 30—40 годовъ.

## ЖЕНЩИНЫ ВЪ ПЬЕСАХЪ ОСТРОВСКАГО.

### I.

Надъ Островскимъ, благодаря, съ одной стороны, тому, что на сценѣ удержались лишь нѣсколько пьесъ его преимущественно изъ купческаго быта, а съ другой стороны, благодаря критикѣ, которая имѣла съ нимъ дѣло преимущественно въ первые годы его литературной дѣятельности, тяготеетъ такой предразсудокъ, что это — писатель, избравшій себѣ исключительную спеціальность изображеніе купческихъ нравовъ, что вслѣдствіе этого онъ всю русскую сцену, которая до него благоухала высокаго сорта духами, пропиталъ запахомъ полусубуковъ. Въ силу этого предразсудка читатели, прочти заглавіе моей статьи, сейчасъ же, конечно, подумаютъ, что въ ней пойдетъ рѣчь исключительно о героиняхъ Замоскворѣчья, о дщеряхъ „темнаго царства“, кроткихъ, запуганныхъ и забытыхъ свирѣпыми нравами своихъ родителей, неспособныхъ ни къ малѣйшему самостоятельному шагу, помимо воли старшихъ; все времяпрепровожденіе у нихъ заключается въ томъ, что спятъ онѣ у окошечекъ, вертятъ пальчикомъ вокругъ пальчика и подмигиваютъ проходящимъ мимо офицерамъ, а когда жизнь становится окончательно не въ моготу и надъ головой нависаетъ черная туча въ видѣ насильнаго замужества за какое-нибудь страшное

то единственнымъ исходомъ для нихъ представляется бултыхнуться въ воду и покончить такимъ образомъ всѣ нехитрые счеты съ злосчастною жизнью. И только единственнымъ свѣтлымъ лучемъ среди всей этой мглы „темнаго царства“ будетъ сіять передъ читателями, конечно, уже Катерина „Грозы“, составляющая пробный камень для дебютантокъ Александрійскаго театра и указующая своимъ подругамъ новый путь, хотя путь этотъ, какъ намъ извѣстно, ведетъ въ ту же Волгу.

Скажу впередъ поэтому предупредить читателей, что если мы будемъ говорить о всѣхъ этихъ героиняхъ темнаго царства, то онѣ займутъ у насъ то скромное мѣсто, какое имъ подобаетъ въ безконечно длинной и пестрой галлерей женскихъ типовъ Островскаго. Передъ нами теперь не тѣ уже комедіи, которыя только и имѣла въ своемъ распоряженіи критика 50-хъ годовъ, а 44 пьесы, въ которыхъ мы найдемъ женщинъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества. Относительно разнообразія женщинъ Островскій далеко оставляетъ за собою всѣхъ прочихъ писателей его времени. У него не найдете вы, правда, такихъ безусловно идеальныхъ героинь, каковы Елена въ „Наканунѣ“ или Ольга въ „Обломовѣ“, въ которыхъ лучшія качества русской женщины одухотворены и осмыслены высшимъ европейскимъ образова-

онъ всего, по своему благородству, ни въ какія хозяйственные дрязи не входила. Юленька у меня такъ и дѣлаетъ: она ото всего рѣшительно далека, кромѣ какъ занята собой. Она спитъ долго; мужъ поутру долженъ распорядиться насчетъ стола и рѣшительно вѣять; потомъ дѣвка напоятъ его чаемъ и онъ уѣзжаетъ въ присутствіе. Наконецъ, она встаетъ; чай, кофе, все это для нея готово, она кушаетъ, разодѣлась отличнѣйшимъ манеромъ и сѣла съ книжкой у окна дожидаться мужа. Вечеромъ надѣваетъ лучшія платья и идетъ въ театръ или въ гости. Вотъ жизнь! вотъ порядокъ! вотъ какъ дама должна вести себя! Что можетъ быть благороднѣе, что деликатнѣе, что нѣжнѣе?... Хвалю.

Подобно тому, какъ дорогія вещи рѣдко употребляются для того, для чего онѣ назначены; ихъ боются попортить, поцарапать и держать поэтому подъ стекломъ лишь для того, чтобы любоваться ими, такъ точно и прелестныя женщины этой категоріи старательно удаляются не только отъ своихъ женскихъ и человѣческихъ обязанностей, но отъ какой бы то ни было заботы, которая могла-бы провести хотя-бы маленькую морщинку на ихъ обворожительныхъ личикахъ. Такъ, въ комедіи „Вшешныя деньги“, когда Надежда Антоновна Чебоксарова наекнула своей дочери Лидіи объ опасности разоренія, послѣдняя съ запальчивостью возразила ей:

Лидія. Очень жаль! Но согласитесь, маман, что, вѣдь, я могла этого и не знать, что вы могли пожалѣть меня и не рассказывать мнѣ о нашемъ разореніи.

Мать. Но все равно, вѣдь послѣ ты узнала-бы. Лидія. Да зачѣмъ-же мнѣ и послѣ узнавать? (почти со слезами). Вѣдь вы найдете средства выйти изъ этого положенія, вѣдь, непременно найдете, такъ оставаться нельзя. Вѣдь не покинемъ-же мы Москву, не уѣдемъ въ деревню; а въ Москвѣ мы не можемъ жить, какъ нищія! Такъ или иначе, вы должны устроить, чтобы въ нашей жизни ничего не измѣнилось. Я этой зимой должна выйти замужъ, составить хорошую партію. Вѣдь вы мать, ужели вы этого не знаете? Ужели вы не придумаете, если ужъ не придумали, какъ прожить одну зиму, не уронивъ своего достоинства? Вамъ думать, вамъ! Зачѣмъ-же вы мнѣ-то рассказываете о томъ, чего я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствія, вы лишаете меня беззаботности, которая составляетъ лучшее украшеніе дѣвушки. Думали-бы вы, маман, одѣв и плакали-бы одѣв, если нужно будетъ плакать. Развѣ вамъ легче будетъ, если я буду плакать вмѣстѣ съ вами? Ну, скажите, маман, развѣ легко?

Мать. Разумѣется, не легко.

Лидія. Такъ зачѣмъ-же, зачѣмъ-же мнѣ-то плакать? Зачѣмъ вы навязываете мнѣ заботу? Забота старитъ, отъ нея морщины на лицѣ. Я чувствую, что постарѣла на десять лѣтъ. Я не знала, но чувствовала нужды, и не хочу знать. Я знаю магазинныя бѣлья, шелковыхъ матерій, ковровъ, мѣховъ, мебели; я знаю, что когда нужно что-нибудь, идуть туда, берутъ вещь, отдають деньги, а если нѣтъ денегъ, велятъ соимѣ прѣхать на домъ. Но откуда берутъ деньги, сколько ихъ нужно имѣть въ годъ, въ зиму, я никогда не знала; я не знала, что значить дорого, что дешево, я всегда считала все это жалкимъ, мѣщанскимъ, копѣчнымъ разчетомъ. Я съ дрожью омерзѣнія отстраняла отъ себя такія мысли. Я помню, одинъ разъ, когда я ѣхала изъ магазина, мнѣ пришла мысль: не дорого-ли я заплатила за платье? Мнѣ такъ стало стыдно за себя, что я вся покраснѣла и не знала, куда спрятать лицо; а между тѣмъ, я была одна въ каретѣ. Я вспомнила, что видѣла одну купчиху въ магазинѣ, которая торговала кусокъ

матеріи; ей жаль и много денегъ-то отдать, и кусокъ-то изъ рукъ выпустить. Она поддержитъ его, да опять положить, потомъ опять возьметъ, пошпачется съ какими-то двумя старухами, потомъ опять положить. а соимѣ смѣются. Ахъ, маман, за что вы меня мучаете?

Результатомъ такого отстраненія отъ всѣхъ женскихъ заботъ и дрязгъ является крайнее незнаніе жизни, младенческая неопытность, которой подобнаго рода женщины не только не стыдятся, напротивъ, гордятся ею, какъ особеннымъ шикомъ. Неопытность эта доходитъ до такихъ крайностей, что очень часто женщины эти въ самыя роковыя минуты жизни своей, когда въ судьбѣ ихъ готовится полный переворотъ, являются въ полномъ невѣдѣніи и недоумѣніи, что такое вокругъ нихъ дѣлается. Такъ въ комедіи „Волки и овцы“—Глафира рассказываетъ, какую жизнь она вела въ Петербургѣ въ домѣ сестры:— „мы съ сестрой,—говоритъ она,—жили въ какомъ-то чаду: катанья по Невскому, въ бархатѣ, въ соболяхъ,—роскошные обѣды дома или въ ресторанахъ; всегда въ обществѣ; опера, французскій театръ, а чаще всего Буффъ,—пикники, маскарады“... И вдругъ все это разомъ оборвалось, но Глафира никакъ не можетъ объяснить, что за катастрофа произошла передъ нею:— „я не знаю,—говоритъ она,—что сдѣлалось. Что-то произошло вдругъ для насъ съ сестрой неожиданное. Сестра о чемъ-то плакала, стала все распродавать, меня отравили къ Меронѣ Давыдовѣ, а сами скрылись куда-то, исчезли, кажется, за-границу“.

Единственная наука, какую онѣ изучаютъ чуть не съ пеленокъ и постигаютъ до послѣднихъ тонкостей, это—наука любви, и эта специальность ихъ составляетъ исключительную тему всѣхъ ихъ разговоровъ.— „У маленьки крестной, говоритъ Настя въ комедіи „Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ“, ни о чемъ другомъ въ домѣ и разговоръ и не было, только про любовь и говорил:—и гости всѣ, и она сама, и дочери“. На что тетка ея Анна замѣчаетъ:— „Можно богатымъ-то про любовь разговаривать, имъ дѣлать-то нечего“.

Ну и дѣйствительно стоитъ удивленія, до какой виртуозности изучаютъ онѣ и науку, и искусство страсти нѣжной. Вотъ хоть-бы эта самая Глафира. Она, какъ невинный младенецъ, не понимаетъ, что сестра ея разорилась со своимъ благовѣрнымъ, но за то несмотритъ, какую тонкую теорію развиваетъ она передъ Лыняевымъ, когда тотъ увѣряетъ ее, что онъ непреклоненъ передъ женскою красотою, что никакая женщина неспособна забрать его въ руки и дальше содержанки не пойдетъ въ сношеніи съ нимъ.

— „И бы намъ противорѣчить не стала, отвѣчала на эти его увѣренія Глафира: я бы взяла и дачу, и рисковъ, и деньги, и все-таки бы вы женились на мнѣ. Ну, представьте себѣ, что вы меня любите невозможно: иначе, конечно, невозможно ничего. И такъ вы меня любите, мы живемъ душа въ душу. И олицетворенная кротость и покорность, я не только исполню, но предупреждаю ваши желанія, а между тѣмъ поочередно забираю въ руки васъ и все ваше хозяйство, узнаю малѣйшія ваши привычки и капризы и, наконецъ, въ короткое время дѣлаюсь для васъ совершенной необходимостью, такъ что вы безъ меня шагу ступить не можете. Вотъ въ

одно прекрасное утро я говорю вамъ: «папаша, я чувствую потребность помолиться, отпусти меня денка на три на богомолье.» Вы, разумеется, сначала заупрямитесь, я покораюсь вамъ безропотно. Потомъ нарѣдка робко повторяю свою просьбу и смотрю на васъ нѣсколько дней сряду умоляющимъ взоромъ; вы все день за день откладываете, и наконецъ отпускаете. Безъ меня начинается въ домѣ ералашъ: то не такъ, другое не по васъ; то кофей горекъ, то обѣдъ опоздалъ; то у васъ въ кабинетѣ не убрано,—а если убрано, такъ на столахъ бумаги и книги не на томъ мѣстѣ, гдѣ имъ нужно. Вы начинаете выходить изъ себя, часто вздыхать, то бѣгать по комнатѣ, то останавливаться, разводить руками, говорить съ собой, начинаете прислушиваться, не идутъ-ли, часто выбѣгать на крыльцо; а я нарочно промедлю дня два, три. Наконецъ, ужъ вамъ не сидится, вы теряете терпѣніе и начинаете ходить по дорогѣ версты за двѣ отъ дому. Вотъ я їду. Сколько радости! Опять тихая спокойная жизнь для васъ; въ вашихъ глазахъ только безконечная нѣжность. Но вотъ однажды, когда ваша нѣжность ужъ не знаетъ предѣловъ, я говорю вамъ со слезами: «милый папаша, мнѣ стыдно своихъ родныхъ, своихъ знакомыхъ, мнѣ стыдно людямъ въ глаза глядѣть. Я должна прятаться отъ всѣхъ, заживо похоронить себя, а я еще молода, мнѣ жить хочется. Прощай, милый папаша! Не нужно мнѣ никакихъ твоихъ сокровищъ. Я выхожу замужъ».

Далѣе предполагается ожесточенный споръ; Лыняевъ, повидимому, ставитъ на своемъ.

«Гдѣ-жъ намъ спорить съ вами!—продолжаетъ Глафира: только въ тотъ-же день въ вечеру я незамѣтно исчезаю, и никто не знаетъ, то есть никто не скажетъ вамъ, куда. Проходитъ день, другой, вы разсылаете по всѣмъ дорогамъ гонцовъ, сыщиковъ, сами мечетесь туда и сюда; теряете силы, аппетитъ, сходите съ ума. И вотъ за нѣсколько минутъ до того, когда вамъ уже дѣйствительно нужно помѣшаться, вамъ объявляютъ по секрету, гдѣ я скрываюсь. Вы бросаетесь ко мнѣ съ подарками, съ брилліантами, со слезами умоляете меня возвратиться,—я непреклонна. Вы плачете, я сама рыдаю! Я люблю васъ, мнѣ жалъ съ вами разстаться, но я неумолима. Наконецъ, я говорю вамъ: милый папаша, ты любишь холостую жизнь, ты не можешь жить иначе,—сдѣлаемъ вотъ что! Обвѣнчаемся потихоньку, такъ что никто не будетъ знать, ты опять будешь вести холостую жизнь, все пойдетъ по прежнему, ничего не измѣнится,—только я буду покойна, не буду страдать. Вы послѣ небольшого колебання соглашаетесь. Но на другой-же день откуда у меня эта свѣтлость возьмется, эта лѣнь, эта медленность въ движеніяхъ! Откуда возьмутся эти роскошные туалеты. Оттопырится нижняя губка, явится повелительный тонъ, величественный жестъ. Какъ мила и нѣжна я буду съ посторонними и какъ строга съ вами. Какъ счастливы вы будете, когда дождетесь отъ меня милостиваго слова. Ужъ не буду я суетиться и бѣгать для васъ, и не будете вы папашей, а просто Мишель (*Говоритъ тихо*). «Мишель, сбѣгай, я забыла въ саду на скамейкѣ мой платокъ!» И вы побѣжите...»

И это все развиваетъ передъ Лыняевымъ не какая нибудь пожившая уже кокетка, а первой молодости неопытная барышня, только собирающаяся еще вкушать благъ жизни!

# V.

Но развѣ тутъ дѣло идетъ о любви?—спросить меня читатель въ недоумѣніи. Развѣ есть здѣсь хоть блѣдный намекъ на истинное чувство? Вѣдь это все отъ

сочиненія А. СКАВИЧЕВСКАГО.—П.

начала до конца одна фальшь, лицемеріе, дьявольское кокетство съ единственною цѣлью завлечь въ свои сѣти богатаго жениха и поработить его своей власти. Но объ истинной любви и рѣчи быть не можетъ среди женщинъ разсматриваемой категоріи, и та наука страсти нѣжной, о которой была у насъ выше рѣчь, заключается именно ни въ чемъ иномъ, какъ въ особеннаго рода стратегіи, нѣющей цѣлью плѣнить сердца выгодныхъ покупателей. Дорогія вещи приобрѣтаются цѣною золота, а не любви. Разъ женщина обращена въ болѣе или менѣе дорогую вещь,—отъ нея вовсе не ждутъ, чтобы она кого-либо полюбила, а просто на просто покупають ее.—И дѣвушки, сознавая это, въ свою очередь, только и заботятся о томъ, какъ-бы поскорѣе и выгоднѣе себя продать, и нисколько не скрываютъ этого, а прямо высказываютъ о своемъ желаніи, ни мало не конфузясь. Такъ, въ комедіи „Доходное мѣсто“ мы читаемъ такой разговоръ между двумя сестрами:

Юлинка. Правится тебѣ твой женихъ, Василий Николаевичъ?

Полина. Ахъ, просто душака! А тебѣ твой Бѣлогубовъ?

Юлинка. Нѣтъ, дрянъ ужасная!

Полина. Зачѣмъ-же ты мамсынькѣ не скажешь?

Юлинка. Вотъ еще! Сохрани Господи! Я рада-радешенька хоть за него выйти, только-бы изъ дому вырваться.

Полина. Да, правда твоя! Не попадись и мнѣ Василий Николаевичъ, кажется, рада-бы первому встрѣчному на шею броситься: хоть-бы плохенькой какой, только-бы изъ бѣды выручилъ, изъ дому взялъ. (Смѣется).

Въ свою очередь мать ихъ внушаетъ имъ прямо: — Я вамъ дѣлаю модныя платья и разныя бездѣлушки, а для себя перекрашиваю да перешиваю изъ стараго. Не думаете-ли вы, что я наряжаю васъ для вашего удовольствія, для франтовства? Такъ ошибаетесь. Все это дѣлается для того, чтобы выдать васъ замужъ, съ рукъ сбыть. По моему соображенію, я васъ могла-бы только въ ситцевыхъ да въ затрапезныхъ платьяхъ водить. Если не хотите, или не умѣете себѣ найти жениха, такъ и будетъ. Я для васъ обрывать да обрѣзывать себя понапрасну не намѣрена.

Въ вышеприведенномъ разговорѣ двухъ сестеръ Полина, хотя и говоритъ вслѣдъ за сестрою, что не будь Василія Николаевича, она рада-бы первому встрѣчному на шею броситься, но все-таки она до нѣкоторой степени увлечена своимъ женихомъ, и поэтому и мать, и сестра считаютъ ее легкомысленною дурочкою.— „Какъ-бы не дуракъ этотъ Ждадовъ,—говоритъ мать,—такъ-бы тебѣ вѣкъ горе мыкать, въ дѣвкахъ сидѣть за твое легкомысліе. Кто изъ умныхъ-то тебя возьметъ? Кому надо? Хвастаться тебѣ не чѣмъ, тутъ твоего ума ни на волосъ не было: ужъ нельзя сказать, что ты его приворожила—самъ набѣжалъ, самъ въ петлю лѣзетъ, никто его не тянулъ. А Юлинка дѣвушка умная, должна своимъ умомъ себѣ счастье составить...“

Такимъ образомъ уже въ той первобытной, дореформенной купль-продажѣ женщинъ, какую мы видимъ въ комедіи „Доходное мѣсто“, въ видѣ заурадной рутинной выдачи дочекъ замужъ, высшая школа женскаго искусства требовала отъ женщины отсутствія хотя-бы малѣйшаго увлеченія и страсти: умная дѣвушка, желающая продать себя выгоднѣе, и тогда



уже, въ 50-хъ годахъ, должна была сохранять ледяное равнодушіе ко всѣмъ мужчинамъ безразлично, и руководствоваться однимъ холоднымъ расчетомъ, и въ малѣйшемъ увлеченіи видѣть уже глупость.

Впослѣдствіи-же, особенно въ 70-ые годы, купля-продажа получила значительно болѣе широкое развитіе; она перестала уже быть контрабандной торговлей втихомолку, въ семейныхъ уголкахъ, подъ благовидною маскою законнаго брака, а выступила на базаръ, сдѣлалась публичнымъ, даже аукционнымъ торгомъ, безъ всякихъ масокъ и околичностей. Теперь стали уже смотрѣть, какъ на глупость не только на страсть, увлеченіе, но и на желаніе со стороны нѣкоторыхъ старовѣрокъ продать себя не иначе, какъ въ формѣ законнаго брака. Почему не сдѣлаться и содержанкой, камеліей, если это оказывается выгоднѣе?

И вотъ является передъ нами новая героиня въ видѣ Лидіи Чебоксаровой, о которой была уже рѣчь выше; это уже мерзавка своей жизни чистокровная, самой высокой пробы. Это уже не простодушная Полинъка, которая рада повѣситься на шею первому столоначальнику, лишь-бы выйти замужъ. Лидія знаетъ себѣ цѣну и дешево продавать себя не намѣрена, и къ тому-же она умѣетъ показать товаръ свой лицомъ. Такъ, когда мать объявляетъ ей, какъ мы выше видѣли, о грозящемъ имъ разореніи, она смущается лишь въ первую минуту, а потомъ сейчасъ-же овладѣваетъ собою и на вопросъ матери „Но что-же намъ дѣлать?“ — отвѣчаетъ хладнокровно:

Лидія. Что дѣлать? Не терять своего достоинства. Отдѣлывайте заново квартиру, покупайте новую карету, закажите новыя ливреи людямъ, берите новую мебель, и чѣмъ дороже, тѣмъ лучше.

Надежда Антоновна. Гдѣ-же деньги?

Лидія. Онъ за все заплатитъ.

Надежда Антоновна. Кто онъ?

Лидія. Мужъ мой.

Надежда Антоновна. Кто твой мужъ, гдѣ онъ?

Лидія. Кто-бы онъ ни былъ.

Надежда Антоновна. Не дѣлалъ-ли кто тебѣ предложенія?

Лидія. Никто не дѣлалъ, никто не смѣлъ дѣлать; мой женихъ отъ меня, кромѣ презрѣнія, ничего не видали. Я сама искала красавца съ состояніемъ, теперь мнѣ нужно только богатаго человѣка, а ихъ много.

Надежда Антоновна. Не ошибись въ своихъ расчетахъ.

Лидія. Неужели красота потеряла свою цѣну? Нѣтъ, тамап, не беспокойтесь! Красавицъ мало, а богатыхъ дураковъ много.

Простодушная Полинъка при всемъ своемъ равнодушіи къ Вѣдоугову и даже отвращеніи отъ него все-таки считала нужнымъ притворяться влюбленной въ него, дѣлала ему глазки; Лидія-же нисколько не стѣсняется открыто высказывать человѣку, дѣлающему ей предложеніе, что она не любящая женщина, а продающаяся вещь:

Надежда Антоновна. Вотъ, Лидія, Савва Гоннадичъ дѣлаетъ тебѣ предложеніе черезъ меня; онъ проситъ твоей руки. Хотя съ своей стороны я согласна и очень рада, но твоей воли я нисколько не стѣсняю.

Лидія. Въ такомъ дѣлѣ, разумѣется, я должна имѣть свою волю, и если-бъ мнѣ кто-нибудь попра-

вился, повѣрьте, тамап, я скорѣе-бы послушалась своего сердца, чѣмъ вашего совѣта. Но ко всѣмъ моимъ поклонникамъ я равнодушна одинаково: вы знаете, сколькимъ женихамъ я уже отказала; а выйти замужъ надо, пора ужъ, потому я и предоставляю себя въ полное ваше распоряженіе.

Васильковъ. Значитъ, вы меня не любите?

Лидія. Нѣтъ, не люблю. Зачѣмъ я буду васъ обманывать! Но мы съ вами послѣ объяснимся. Тамап, вы беретесь устраивать мнѣ судьбу, помните, что вы же должны будете и отвѣчать за мое счастье.

Надежда Антоновна (Василькову). Слышите, мой другъ.

Васильковъ. Я очень жалю.

Лидія. О чемъ? Что я васъ не люблю?

Васильковъ. Нѣтъ, что я поторопился.

Лидія. Откажитесь, еще есть время. Должно быть, и съ вашей стороны любовь не очень сильна, когда вы такъ легко отъ меня отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня, что я съ вами откровенна; притворяться ничего не стоитъ, но я не хочу этого. Всѣ невѣсты говорятъ, что влюблены въ своихъ жениховъ, но вы не вѣрите имъ — любовь приходитъ послѣ. Отбросьте въ сторону самолюбіе и согласитесь! За что мнѣ было полюбить васъ? И лицо-то ваше не изъ красивыхъ, и имя неслыханное, и фамилія какая-то мѣщанская. Все это мелочи, къ этому можно привыкнуть, но не вдругъ. За что вы сердитесь? Вы меня любите, благодарю васъ, Заслужите мою любовь, и мы будемъ счастливы.

Нужно ко всему этому прибавить, что здѣсь совершенно особенный языкъ, на которомъ всѣ слова имѣютъ условное значеніе, не имѣя вообще ничего общаго съ тѣмъ значеніемъ, какое мы придаемъ этимъ словамъ. Такъ, подъ любовью подразумѣвается здѣсь не болѣе, ни менѣе какъ лишь ласковая улыбка и такъ называемая благосклонность, и заслужить такую любовь можно было Василькову лишь однимъ путемъ — открыть ей портмоне, биткомъ набитый кредитными билетами, и предоставить ей пользоваться имъ безконтрольно. Но Васильковъ оказался не такимъ простофилей. Онъ былъ себѣ на умъ и къ тому-же крестень въ родѣ Софьи Карловны, положившій себѣ за правило изъ разъ опредѣленнаго бюджета не выходить, хоть-бы весь свѣтъ вокругъ него рушился. Онъ и повсватался-то за Лидію не изъ одного увлеченія, а также и съ расчетомъ; — „у меня, говорилъ онъ, особаго рода дѣла, и мнѣ именно нужно такую жену — блестящую и съ хорошимъ тономъ“.

При такихъ условіяхъ Лидія скоро пришлось разочароваться въ своемъ мужѣ: ей не только не удалось покорить его своей власти и овладѣть его кошелькомъ, а напротивъ того, онъ сразу осадилъ ея безумное мотовство, стараясь ввести ея расходы въ свой неизмѣнный бюджетъ. Тогда возмущенная Лидія рѣшилась разорвать съ мужемъ, — и вотъ началась открытый и нагло-циничный, чуть-что не аукционный торгъ: Лидія начала по очереди предлагать себя своимъ поклонникамъ съ тѣмъ, чтобы они выручили ее изъ затруднительнаго положенія и устроили ея жизнь. Просто-на-просто, она рѣшилась сдѣлаться камеліей, лишь-бы жить съ прежнею роскошью и шикомъ, ни въ чемъ себѣ не отказывая. И лишь, когда всѣ поклонники ея оказались прокутившимися бонвиванами, у которыхъ въ карманѣ гулялъ вѣтеръ, она вновь обратилась къ своему мужу и вторично продавалась ему, но на условіяхъ весьма уже суровыхъ, которыя онъ предложилъ ей въ видахъ своихъ выгодъ и пользуясь

ея отчаяннымъ положеніемъ. Дальше подобнаго открытаго торга трудно повидимому уже идти.

## VI.

Но мерзавки своей жизни идутъ еще и далѣе. Когда вы покупаете дорогую вещь, вещь эта находится въ полномъ вашемъ распоряженіи, не питаетъ къ вамъ никакихъ враждебныхъ чувствъ. Ее могутъ украсть у васъ, но сама она не станетъ искать вора и не бросится въ его руки. Купленная-же женщина, поступая въ разрядъ вещей, все-таки остается человѣкомъ, и какъ ни искажена въ ней человѣческая природа, она инстинктивно возмущается и протестуетъ противъ совершившагося акта закабаленія. Этотъ протестъ является въ видѣ непримиримой ненависти, которая развивается мало-по-малу въ купленной женщинѣ къ своему владѣльцу; ненависть-же влечетъ за собою неудержимое стремленіе потѣшаться надъ своимъ властелиномъ и обманывать его на каждомъ шагѣ. Такъ въ драмѣ „Невольницы“ Софья Сергѣевна Волкова, прошедшая всю школу женскаго рабства, учитъ свою неопытную подругу:

Софья. Женщина не только не всегда должна говорить правду, а никогда, никогда. Знай правду только про себя.

Евдѣлія. А другихъ обманывать?

Софья. Конечно обманывать, непременно обманывать.

Евдѣлія. Да зачѣмъ-же?

Софья. Вы только подумайте, какъ на насъ смотрятъ мужья и мужчины вообще! Они считаютъ насъ молодушками, вѣтренными, а, главное, хитрыми и лживыми. Вѣдь ихъ не разубѣдишь; такъ зачѣмъ-же намъ быть лучше того, что они о насъ думаютъ? Они считаютъ насъ хитрыми,—и надо быть хитрыми. Они считаютъ насъ лживыми — и надо лгать. Они только такихъ женщинъ и знаютъ; имъ другихъ и не нужно, только съ такими они и умѣютъ жить.

Евдѣлія. Ахъ, что вы говорите!

Софья. Что-жъ по вашему? Начать мужу доказывать, что я, молъ, хорошая, серьезная женщина, гораздо умнѣ тебя, и чувства у меня гораздо благороднѣе, чѣмъ у тебя. Ну, что-жъ, доказывайте, а онъ будетъ улыбаться, да думать про себя: „пой, матушка, пой! Знаемъ мы васъ; тебя на минуту безъ надзора оставить нельзя!“ Ну, утѣшительное это положеніе?

Евдѣлія. Да неужели это такъ?

Софья. Поживите, такъ увидите.

Евдѣлія. Но если мы лучше, такъ мы должны стать выше ихъ.

Софья. Да какъ вы станете, коли въ ихъ рукахъ власть, власть ужасная тѣмъ, что она опопляетъ все, къ чему ни коснется. Я говорю только про нашъ кругъ. Посмотрите, взгляните, что въ немъ. Посредственность, тупость, пошлость; и все это прикрито, закрашено деньгами, гордостью, неприступностью, такъ что издали кажется чѣмъ-то крупнымъ, внушительнымъ. Наши мужья сами пошлы и ищутъ только пошлости и видать во всемъ только пошлость.

Преобладающимъ видомъ обмановъ, которыми тѣшутся жены-невольницы надъ своими властелинами являются, конечно, измѣны. Но эти измѣны вовсе не имѣютъ здѣсь характера какого-нибудь рокового взрыва страсти, вслѣдствіе потребности любить и взаимною любовью согрѣть сердце, встрѣчающее во-

кругъ себя одинъ ледяной холодъ, освѣтить свою жизнь и наполнить ее. Ничего подобнаго и слѣда здѣсь нѣтъ... Замороженное чуть не съ пеленокъ сердце у такихъ женщинъ остается все также холодно и сухо; но, тѣмъ не менѣе, онѣ переходятъ отъ одного любовника къ другому, изъ моды, изъ подражанія или ради кокетства и чрезмѣрнаго развитія чувственности. Иногда при этомъ происходитъ игра якобы въ возвышенную любовь, но это оказывается очень мѣшкотно, сентиментально, надоедаетъ, и, въ концѣ концовъ, находятъ гораздо и практичнѣе, и умнѣ просто по просту покупать любовниковъ на мужнины деньги. Такъ и дѣлаетъ Софья, совѣтуя тоже самое и Евдѣліи.

Софья. Надо денегъ давать ему побольше, да почаще, совѣтуетъ она Евдѣліи на ея сѣтованіе, что ея любовный неаккуратенъ относительно свиданій: онъ ни обманывать, ни опаздывать не будетъ, ужъ совсѣмъ идеальный сдѣлается.

Евдѣлія. Денегъ! Что вы! Вы его не знаете... Денегъ дати! Да это обидитъ, жестоко оскорбитъ его! Нѣтъ, какъ это возможно! Какъ я могу уважать его послѣ этого!

Софья. Да зачѣмъ-же вамъ уважать, довольно съ васъ любить его! Кто-же молодыхъ людей уважать! Да, и гдѣ ихъ у насъ взять такихъ, которыхъ уважать можно!

Евдѣлія. Да нѣтъ, какъ это... какъ осмѣлится предложить деньги?

Софья. Очень просто. Купите хорошій, дорогой бумажникъ, а въ бумажникъ-то положите рублей двѣсти или триста. Вотъ и конфузится нечего: вы дарите бумажникъ, а деньги въ него нечаянно попали. Да мало-ли какъ можно; хотите, я васъ научу.

Евдѣлія. Нѣтъ, нѣтъ, не надо. Да я вамъ не вѣрю, вы шутите.

Софья. Что за шутки! Я сама дарю. Да и какъ не дарить! Молодому человѣку одѣться хочется поприличнѣй, да и мало ли у нихъ расходовъ; а жалованье небольшое...

Евдѣлія. Нѣтъ, пожалуйста, не продолжайте! Это что-то будничное, прозаическое. Мы съ вами не понимаемъ другъ друга; мы говоримъ о разныхъ предметахъ. Я понимаю только любовь чистую, возвышенную.

Софья. Возвышенная-то, пожалуй, еще дороже обойдется.

Евдѣлія. Что вы, что вы! вы меня удивляете, вы меня поражаете!

Софья. Да, конечно. Возвышенная любовь гораздо скучнѣе, она очень надоедаетъ молодымъ людямъ; на нее надо много времени даромъ тратить. Онъ-бы почиталъ что-нибудь, пошелъ къ пріятелямъ поиграть въ карты; а тутъ надо возвышаться до возвышенной любви. Это очень тяжелое занятіе.

Вотъ до какого циническаго упрощенія доходитъ дѣло. И здѣсь мы видимъ въ своемъ родѣ прогрессъ: Уланбековы („Воспитанница“) довольствовались своими же крѣпостными Гришками, у Гурмыжской („Лѣсъ“) альфонсомъ является уже Булановъ, правда всего на все недоучившійся гимназистъ, но благородной крови и способный впослѣдствіи сдѣлаться членомъ земской управы. Софья Волкова играетъ въ свою упрощенную любовь уже съ столичными карьеристами, подающими самыя блестящія надежды.

## VII.

Переходимъ отъ мерзавокъ къ патриоткамъ служать особеннаго рода женщины, въ сущности, столь же суетныя, тщеславныя, склонныя къ роскоши и

блеску, столь-же наконецъ продажныя, по въ которыхъ вслѣдствіе какихъ-то невѣдомыхъ чудесныхъ причинъ уцѣлѣло сердце, и онѣ сохранили способность въ одинъ прекрасный день полюбить человѣка истинною и глубокою любовью. — Таковы Вишневецкая („Доходное мѣсто“), Лариса Огудалова („Безприданница“), Бѣлесева („Богатыя невѣсты“), Настя („Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ“).

Судьба подобныхъ женщинъ, по большей части, бываетъ крайне драматична, если не трагична. Любовь, загорающаяся въ ихъ сердцахъ, не является живительною и отрадною весеннею грозою, не судитъ имъ счастья, не возбуждаетъ въ нихъ горячей энергіи къ выступленію на новый спасительный путь жизни, а лишь пробуждаетъ въ нихъ позднее сознание загубленной жизни, озаряетъ мрачную и безвыходную бездну, на днѣ которой онѣ гибнутъ, окруженные отвратительными чудовищами и гадами.

Такъ Вишневецкая, подъ влияніемъ своей любви къ Любимову, пришла къ позднему сознанию всей безнравственной униженности своего положенія.

Вишневецкая. Развѣ вы жену брали себѣ? говоритъ она мужу: вспомните, какъ вы за меня сватались! Когда вы были женихомъ, я не слыхала отъ васъ ни одного слова о семейной жизни; вы вели себя, какъ старый волокита, оболыщающій молодыхъ дѣвушекъ подарками; смотрѣли на меня, какъ сатиръ. Вы видѣли мое отвращеніе къ вамъ, и не смотря на это, вы все-таки купили меня за деньги у моихъ родственниковъ, какъ покупаютъ невольницъ въ Турціи. Чего же вы отъ меня хотите?

Вишневецкій. Вы моя жена, не забывайте! и я въ правѣ всегда требовать отъ васъ исполненія вашего долга.

Вишневецкая. Да, вы свою покупку, не скажу, освятили—нѣтъ, а закрыли, замаскировали бракомъ. Иначе нельзя было: мои родные не согласились-бы, а для васъ все равно. И потомъ, когда ужъ вы были моимъ мужемъ, вы не смотрѣли на меня, какъ на жену; вы покупали за деньги мои ласки. Если вы замѣчали во мнѣ отвращеніе къ вамъ, вы спѣшили ко мнѣ съ какими-нибудь дорогими подаркомъ и тогда ужъ подходили смѣло, съ полнымъ правомъ. Что же мнѣ было дѣлать?.. вы все таки мой мужъ; я покорялась. О! перестанешь уважать себя. Каково испытывать чувство презрѣнія къ самой себѣ! Вотъ до чего вы довели меня! Но что со мной было потомъ, когда я узнала, что даже деньги, которыя вы мнѣ дарите—не ваши, что онѣ приобретены нечестно...

Съ такимъ же сердечнымъ сокрушеніемъ, подъ влияніемъ своей любви къ Цыклунову, Бѣлесева осыпаетъ упреками своего опекуна Гнѣвышева, который, воспитавши ее въ своемъ домѣ, какъ сироту, развратилъ ее, сдѣлалъ своей содержанкой, и потомъ желаетъ отдѣлаться отъ нея, купивши ей какого-нибудь ничтожнаго мужа.

— «Денегъ вы дадите, я знаю, говоритъ она: я въ этомъ не сомнѣваюсь; но гдѣ-жъ у меня тѣ качества, которыя нужны, чтобъ быть хорошей женой? Какъ буду исполнять обязанности, о которыхъ я понятія не имѣю? Вы какъ меня воспитали? Вы взяли въ свой домъ, баловали, и окружали роскошью бѣднаго ребенка, сироту. Все, что нужно для внѣшности, для умѣнья держать себя, я узнала въ подробности, а что честно и безчестно для женщины, вы отъ меня скрывали. Замужъ!.. замужъ!.. А что такое: мужъ, домъ, семья, развѣ я знаю, развѣ вы мнѣ сказали? Ваша глупая жена всѣми силами

старалась развивать во мнѣ гордость, мотовство, суетность; и какъ она радовалась своимъ успѣхамъ, нисколько не подозревая, что она старается для васъ, что она дѣйствуетъ въ пользу вашихъ сластолюбивыхъ замысловъ! Послѣ такого воспитанія вамъ не трудно было обольстить меня; вамъ стоило только сказать: «хочешь ты жить въ бѣдности, или въ богатствѣ», и кончено... и я ваша!..

Но, какъ мы сказали выше, это страшное сознание той бездны, въ которую низвергнуты эти женщины силою обстоятельствъ и своей собственной нравственной несостоятельности, въ рѣдкихъ случаяхъ приводитъ къ какимъ-нибудь благимъ результатамъ. — Одной только Бѣлесовой удалось выйти изъ этой бездны, и то благодаря только тому, что любимый ею человѣкъ, Цыклуновъ, другъ ея дѣтства, оказался на столько хорошимъ и сильнымъ духомъ человѣкомъ, что не постыдился ея позора, не усомнился въ ея раскаяніи, а мужественно подаль ей руку спасенія и вывелъ ее на иной путь добра и правды. Но вѣдь какое это рѣдкое исключеніе!.. Такое же рѣдкое, какъ и тѣ двѣсти тысячъ, зашитыя въ шинели Крутицкаго („Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ“), которыя внезапно свалились съ неба на голову Настю. Не случись этихъ двухъ сотъ тысячъ, что было-бы съ Настею, избалованною и развращенною въ домѣ крестной матери, гдѣ только и дѣлали, что все о любви говорили, не привыкшею ни къ какому труду, стыдившеюся своей бѣдностью?.. Не смотря на всю свою любовь къ ничтожному Баклушину, она шла уже въ нанятую для нея Разновѣсовымъ квартиру, шла съ ужасомъ и отвращеніемъ, и все таки шла; „мнѣ хочется пожить получше“, говорила она въ свое оправданіе.

Дѣло въ томъ, что бездна, о которой идетъ здѣсь рѣчь, слишкомъ глубока и крута, но вмѣстѣ съ тѣмъ и заманчива. — Много нужно душевныхъ силъ, много воли, чтобы женщинамъ, дошедшимъ до мрачнаго сознанія своего позора, самимъ, по собственной инициативѣ, выбраться наверхъ; между тѣмъ какъ жизнь, которую онѣ ведутъ, не только не развиваетъ и не закаляетъ ихъ душевныхъ силъ, а напротивъ того, расслабляетъ и разлѣвчаетъ ихъ: изношенные, безхарактерныя, малодушныя, онѣ не способны ни къ какому самостоятельному шагу, и потому загорѣвшаяся въ нихъ любовь приводитъ ихъ лишь къ безсмысленному отчаянію, къ тщетнымъ усиліямъ покончить съ собою самоубійствомъ; послѣ чего онѣ махаютъ на все рукою и стремятся забыться, еще болѣе погружаясь въ свою безпутную и пустую жизнь.

Къ этому-же разряду женщинъ принадлежитъ и Александра Николаевна Нѣгина въ комедіи „Таланты и поклонники“, но я выдѣляю ее, потому что мы видимъ здѣсь нѣкоторыя осложненія. Нѣгина не находится еще на днѣ пропасти, какъ вышеозначенныя женщины ея категоріи, она лишь скользитъ по ея краямъ. Она любитъ очень порядочнаго человѣка Мелузова, бѣднаго, но честнаго труженника, учителя своего, который стремится развить въ ней всѣ лучшіе, человѣческіе инстинкты и повести ее по хорошей дорогѣ. Но на бѣду у дѣвушки непреодолимая страсть къ сценѣ, и она подвизается на сценѣ провинціального театра, борясь съ мѣстными интригами и живя

випроголодь, терпя вѣстѣ со своею матерью самую страшную нужду. И вдругъ у нея является поклонникъ въ видѣ милліонера Великатова, у котораго великолепная усадьба съ лебедями на прудѣ, и который предлагаетъ ей горы золотыя, мечтая такъ устроить ея жизнь: „въ моей усадьбѣ, въ моемъ роскошномъ дворцѣ, моихъ палатахъ есть молодая хозяйка, которой все поклоняется, все, начиная съ меня, рабски повинуется. Такъ проходитъ лѣто. Осенью мы съ очаровательной хозяйкой ѣдемъ въ одинъ изъ южныхъ городовъ, она вступаетъ на сцену въ театрѣ, который совершенно зависитъ отъ меня, вступаетъ съ полнымъ блескомъ; я наслаждаюсь и горжусь ея успѣхами. О дальнѣйшемъ я не мечтаю, проживемъ, увидимъ“...

Здѣсь женщину не другіе продаютъ, для того чтобы потомъ она очнулась; ей предлагаютъ на полный самостоятельный выборъ два противоположные пути.

Повидимому ее влечетъ въ пропасть врожденная страсть къ сценѣ, какъ она сама говоритъ Мелузову: — „ты ничего не понимаешь... и не хочешь меня понять. Вѣдь я актриса; а вѣдь, по твоему, нужно быть мнѣ героиней какой-то. Да развѣ всякая женщина можетъ быть героиней? Я актриса... Еслибъ я и вышла за тебя замужъ, я бы скоро бросила тебя и ушла на сцену, хотя за маленькое жалованье, да только-бъ на сценѣ быть. Развѣ я могу безъ театра жить“?

Но неужели, чтобы пробить себѣ дорогу талантливой актрисѣ, единственное средство сдѣлаться содержанкой? И неужели Мелузовъ сталъ-бы препятствовать своей женѣ продолжать подвизаться на сценѣ? Въ томъ-то и дѣло, что подъ личиною служенія искусству скрывается здѣсь нѣчто совсѣмъ другое, скрываются бѣлые лебеди на озерахъ Великатова. Въ концѣ концовъ, мы видимъ здѣсь продажу себя женщиною еще болѣе ужасную. Здѣсь продается не наивная дѣвушка, не знающая жизни и никого еще не любившая, и не перерѣзая кокетка съ замороженнымъ сердцемъ, а любящая женщина сознательно измѣняетъ своей любви и съ честнаго пути сворачиваетъ на постыдный путь разврата, прикрываясь тѣмъ, что она этимъ служитъ своему таланту, святому искусству, и пуская въ ходъ такіе безнравственные софизмы: — „Я не могу быть героиней, да и не хочу. Чтожъ мнѣ быть укоромъ для другихъ? Вы, молъ, вотъ какая, а я вотъ какая... честная!.. Да другая, можетъ быть, и не виновата совсѣмъ; мало-ль какія обстоятельства, или родные... или тамъ обманомъ какимъ... А я буду укорять? Да сохрани меня Господи!“

Какое общество и каковы нравы, среди которыхъ бытъ честной, непроданной женщиной и доброю матерью семейства представляется героизмомъ и дѣвушка боится идти по этому пути, чтобы не выдѣлиться изъ общаго уровня и не быть укоромъ для другихъ!..

### VIII.

Но довольно о мерзавкахъ. Пора намъ сколько нибудь освѣжиться отъ того спертата воздуха, который мы до сихъ поръ дышали и вздохнуть полною грудью въ обществѣ патріотокъ своего отечества.

Здѣсь мы будемъ уже имѣть гораздо болѣе широкій и разнообразный выборъ, и придется намъ говорить о патріоткахъ уже не огуломъ, а раздѣливши ихъ на нѣсколько степеней, хотя необходимо впередъ оговориться, что это раздѣленіе на степени будетъ принадлежать намъ. Что же касается до Островскаго, то онъ, съ своей стороны, не дѣлаетъ ни малѣйшихъ предпочтеній одной изъ своихъ героинь передъ другою. Объективность его въ этомъ отношеніи можно уподобить солнцу, которое съ одинаковою любовью льетъ свой свѣтъ на маленькую былиночку, равно какъ и на роскошный дубъ и словно внушаетъ намъ, чтобы любясь какою-нибудь *victoria regia*, о цвѣтении которой сообщаютъ въ газетахъ, мы не упускали изъ вида и незабудочки, маленькой, чуть видной изъ травы, но которая имѣетъ свою неотъемлемую прелесть.

Съ незабудочекъ-то мы и начнемъ. Здѣсь на первомъ планѣ рисуются намъ простенькія, безхитростныя, кроткія русскія дѣвушки, съ честною, прямою натурою и нѣжнымъ, привязчивымъ сердцемъ.

Всѣ мечты ихъ исчерпываются тѣмъ, чтобы глубоко, крѣпко и беззавѣтно привязаться на всю свою жизнь къ избраннику своего сердца и свить тепленькое гнѣздышко для милыхъ дѣтушекъ. Разъ имъ это удастся, и мечты окажутся осуществленными, онѣ будутъ считать себя счастливейшими смертными и совершенно уйдутъ въ свою раковину, будутъ готовить вкусные пироги по праздникамъ и откармливать толстощекихъ птенцовъ. Однимъ словомъ, пороха онѣ не выдумываютъ, съ неба звѣздъ не хватаютъ, никакого особеннаго геройства отъ нихъ вы не дождетесь, но матери и хозяйки изъ нихъ выходятъ отличныя, а главнѣе дѣло—въ ихъ сердцахъ много тепла, любви и участія.

Но для того, чтобы подобнаго рода простенькій, элементарный, чисто зоологическій идеалъ ихъ жизни былъ осуществимъ, необходимо, чтобы обстоятельства сложились для нихъ вполне благоприятно, чтобы родители не воспрепятствовали имъ выйти замужъ за избранника своего сердца, чтобы избранникъ сердца оказался человекомъ хоть сколько-нибудь порядочнымъ, чтобы дальнѣйшая жизнь ихъ была хоть сколько-нибудь обезпечена.

Все это должно прійти къ ихъ услугамъ само собою; сами-же онѣ не способны ни къ малѣйшему самостоятельному шагу, ни къ малѣйшимъ сопротивленіямъ, усиліямъ, борьбѣ для завоеванія своего счастья. Онѣ созданы для того, чтобы беззавѣтно подчиняться, видя въ этомъ не только свой удѣлъ, но и священный долгъ, положенный свыше.

Среди подобнаго рода дѣвушекъ и сложились такіе стародавнія выраженія, какъ: судьба, не судьба и суженаго конемъ не объѣдешь. Дѣйствительно, судьба играетъ всесильную роль въ ихъ жизни, и все отъ нея зависитъ; онѣ въ этомъ отношеніи вполне уподобляются тѣмъ нѣжнымъ цвѣточкамъ, которые не имѣютъ никакой возможности укрыться отъ буйства стихій: проглянетъ солнышко, они разцвѣтутъ роскошно; дохнетъ на нихъ непривѣтный морозомъ, безильно опустятъ они свои головки, поблѣкнуть и завянуть безвременно.

Наиболѣе ярко и точно рисуется передъ нами подобнаго рода архаическій, допетровский типъ русской женщины въ образѣ Любовь Гордѣевны въ комедіи „Бѣдность не порокъ“. Дочь богатѣйшаго въ городѣ купца тысячника, полюбила она бѣднѣйшаго и ничтожнѣйшаго прикащика своего отца, — Митю. Полюбила она его не за какія-нибудь выдающіяся достоинства или эффектные качества, привлекающія женщинъ, а просто потому, что пришла пора любить, и сердце ея начало искать, къ кому бы привязаться. И вотъ, сама тихая и сиротливая, она избрала такого-же и парня, совершенно по себѣ. „Парень-то хорошій, говорила она: больно ужъ онъ мнѣ по сердцу, такой тихій и сиротливый“!

Но разница между ею, дочерью надменнаго Гордѣя Карпыча, и Митею была такъ велика, что она не смѣла и помышлять о возможности соединиться со своимъ милымъ, и потому въ самомъ разгарѣ своей страсти, едва открывшись въ любви своему возлюбленному, она уже говорила съ тоскою и надорваннымъ сердцемъ: — „Что наша любовь? Какъ былинка въ полѣ, не расцвѣтетъ путемъ — да и поблекнетъ“!...

И обстоятельства, дѣйствительно, оправдывали горькое раздумье Любовь Гордѣевны: вмѣсто тихаго и сиротливаго Мити непреклонный родитель вздумалъ сватать ее за злого и жаднаго Коршунова, сгубившаго уже двухъ женъ.

И поникла головою молодая дѣвушка, готовая покориться судьбѣ безъ малѣйшаго сопротивленія.

Когда-же Митя, прощаясь на вѣки съ нею, вздумалъ предложить ей бѣжать съ нимъ изъ родительскаго дома, Любовь Гордѣева пришла въ ужасъ передъ такимъ рѣшительнымъ шагомъ.

— Да какъ-же безъ отцовскаго-то благословенія? Ну, какъ-же, ты самъ посуди? — возразила она, и затѣмъ, рѣшила тотчасъ-же безъ малѣйшихъ колебаній:

— Нѣтъ, Митя, не бываетъ этому! Не томи себя напрасну, перестань! Не надрывай мою душу! И такъ мое сердце все изныло во мнѣ. Поѣзжай съ Богомъ. Прощай!

М и т я. За чтожь ты меня обманывала, надо мной надѣвалась?

Л ю б о в ь Г о р д ѣ е в н а. Полно ты, Митя. Что мнѣ тебя обманывать, зачѣмъ? Я тебя полюбила, такъ сама же тебѣ сказала. А теперь изъ воли родительской мнѣ выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Должна я ему покориться, такая наша доля дѣвчѣ. Такъ знать тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено на старѣ. Не хочу я супротивъ отца идти, чтобъ про меня люди не говорили да въ примѣръ не ставили. Хотя я, можетъ быть, сердце свое надорвала черезъ это, да по крайности я знаю, что я по закону живу, никто мнѣ въ глаза посмѣяться не смѣетъ. Прощай!...

Но совершенно напрасно было-бы въ этихъ словахъ Любовь Гордѣевну видѣть малодушное безволіе, заботность и запуганность дѣвушки, подавленной семейнымъ самодурствомъ. Она дѣйствуетъ въ настоящемъ случаѣ по принципу, по твердому убѣжденію, что свыше положено и вѣками утверждено, чтобы дѣвушка покорялась своей судьбѣ и родительской волѣ, такъ и быть должно. Думай она иначе, у нея и хва-

тило-бы, можетъ быть, мужества ухватъ съ Митей, но она считаетъ это величайшимъ грѣхомъ и рѣшается пожертвовать своею любовью и счастьемъ всей жизни, чтобы остаться вѣрною закону, чтобъ никто надъ нею не насмѣялся, какъ надъ беззаконницей.

Такова именно и была логика всѣхъ первобытныхъ женщинъ, составлявшихъ неотъемлемую принадлежность рода. Принадлежа роду, сливаясь съ нимъ до полного уничтоженія личной самостоятельности и индивидуальности, женщина была въ то-же время хранительницею всѣхъ заветовъ рода. Основаніемъ-же родового быта было, какъ извѣстно, безусловное повиновеніе младшихъ членовъ старшимъ. И если-бы Любовь Гордѣевна преступила этотъ основной законъ, то какъ-же потомъ могла она внушать своимъ дѣтямъ то самое повиновеніе, которое нарушила сама?

Этой родовой логикѣ Любовь Гордѣевна осталась вѣрна до конца. Едва ушелъ Митя навсегда, она на горькія сѣтованія матери отвѣчала съ тѣмъ мужествомъ, съ какими люди идутъ на казнь за свою идею:

— Ну, маменька, что тамъ и думать, чего нельзя, только себя мучить.

И она, мало того, что покорилась своей судьбѣ съ тою-же непреклонною рѣшимостью, съ какою разсталась съ Митею, но будъ Коршуновъ не Коршуновъ, а сколько-нибудь сносный человѣкъ, она скоро свыклась-бы со своею долею и даже къ мужу своему привязалась-бы, не такъ-бы страстно, какъ къ Митѣ, но все-таки на столько, чтобы быть доброю и нѣжною женою. Подобнаго рода женщины ищутъ въ любви не столько пылкихъ наслажденій, сколько соблюденія того семейнаго культа, для котораго онѣ видятъ себя предназначенными, и если дубъ твердъ и представляетъ мужественную опору, то не все-ли равно, одинъ дубъ или другой, — онѣ съ одинаковою цѣлостію обвиваются вокругъ него и свиваются на немъ свое тепленькое гнѣздышко... Вотъ про такихъ-то именно женщинъ и сложена пресловутая поговорка: — „стерпится, слюбится“!

## IX.

Далѣе затѣмъ слѣдуютъ женщины, принадлежащія, въ сущности, къ тому-же зоологическому типу: точно также все свое призваніе и счастье онѣ полагаютъ въ любви и въ свиваніи теплаго гнѣздышка; точно также честно и беззавѣтно отдаются онѣ влеченію своего сердца, безъ всякаго своекорыстнаго разсчета или какихъ-нибудь заднихъ мыслей. Но мы не замѣчаемъ въ нихъ того обезличенія и самоуничтоженія во имя родовыхъ принциповъ, какое мы видѣли въ Любовь Гордѣевнѣ. Здѣсь мы видимъ зародышъ личной самостоятельности и инициативы. Такія женщины влюбляются уже не въ перваго встрѣчнаго парня, чтобы отдаться ему беззавѣтно, не входя въ какой-бы то ни было анализъ качествъ мужа, лишь-бы только горшокъ щей стоялъ-бы въ печи, да дѣти качались въ колыбели. Имъ недостаточно, однимъ словомъ, чтобы избранникъ ихъ сердца былъ только мужчина, самецъ; онѣ ищутъ героя, который хоть чѣмъ нибудь выдавался-бы изъ окружающаго ихъ уровня.

Такъ наприѣтъ, ужъ на что Авдотья Максимовна Русанова:—повидимому, она ближе всего подходитъ къ Любови Гордѣевнѣ и, вообще, къ зоологическому типу. О ней и отецъ ея говоритъ: „пусти ее къ лютымъ звѣрямъ, и тѣ ея не тронутъ, у нея въ глазахъ-то только любовь да кротость; она будетъ любить всякаго мужа, надо найти ей такого, чтобъ ее-то любить, да могъ-бы понять, что это за душа... душа у нея русская“...

Слова Русанова, повидимому, совершенно оправдываются: подобно Любови Гордѣевнѣ, Авдотья Максимовна полюбила тоже въ своемъ родѣ тихого и сиротливаго парня Бородинна, съ которымъ вдвоемъ она и осеніе, темные вечера у окошечка просиживала, и въ сѣняхъ встрѣчалась въ сумеречкахъ, не наговорила, и накинувши шубку на плечики, у калитки его дождалась; былъ онъ и Ванюшка, и дружокъ, но вдругъ явился отставной гусарчикъ Вихоревъ, красивый, ловкій, съ усами колечкомъ и сладкими рѣчами,—и у Авдотьи Максимовны головка пошла кругомъ.

Что руководило ею въ предпочтеніи честному и великодушному Бородину такого пустого, ничтожнаго и дрянного вертопраха, какимъ оказался Вихоревъ?—Конечно тутъ играло свою роль незнаніе людей и жизни, но болѣе всего дѣйствовалъ женскій инстинктъ: Вихоревъ, съ внѣшнимъ лоскомъ образованности, ловкими манерами и вкрадчивыми рѣчами, сразу покорила сердце дѣвушки, какъ вѣчто совершенно выдающееся изъ всей окружающей и пріѣвшей ей дѣйствительности, какъ герой иного, чуждаго ей міра, рисовавшаяся обольстительными красками въ ея дѣвичьихъ грезахъ.

— Увидала я его, рассказываетъ она: у Анны Антоновны, на прошлой недѣлѣ... Сидимъ это мы съ ней, пьемъ чай, вдругъ онъ входитъ... Какъ увидѣла я этакого красавца, такъ у меня сердце и упало; ну, думаю, быть бѣдѣ. А онъ, какъ нарочно, такой ласковый, такіе рѣчи говоритъ... чтожъ мнѣ дѣлать-то! На грѣхъ я его увидѣла! Такъ, вотъ, съ тѣхъ поръ изъ ума нейдетъ, и во снѣ все его вижу. Словно я къ нему привороженная какая... (Сидитъ, задумавшись). И нѣтъ мнѣ никакой радости!.. Прежде я веселилась, дѣвка, какъ птичка порхала, а теперь сижу, вотъ, какъ къ смерти приговоренная: не веселитъ меня ничто, не глядѣла-бы я ни на кого. Ужъ и что я, бѣдная, въ эти дни слезъ пролила!.. Вѣдь, надо-жъ быть такой бѣдѣ!..

Любовь налетаетъ, такимъ образомъ, на подобнаго рода дѣвушекъ, какъ гроза, смерчъ, какъ приворотная болѣзнь, которой онѣ и сами не рады, но превозмочь онѣ ея не могутъ и отдаются ей всецѣло, не смотря ни на что и забывая все на свѣтѣ. Тутъ не найдете вы поэту и слѣда той непоколебимой вѣрности родовымъ принципамъ, которая заставила Любовь Гордѣевну, безъ малѣйшихъ колебаній, напрямки отказать своему возлюбленному, предложившему увезти ее, но въ то-же время не найдете и яснаго сознанія, что женщина имѣетъ право свободно располагать своимъ сердцемъ и самостоятельно устраивать свое счастье. Родовые принципы все-таки продолжаютъ казаться этимъ дѣвушкамъ столь священными и обязательными, что нарушить ихъ нельзя безнаказанно. Поэтому-то, отдаваясь своей страсти, онѣ и смотрятъ на нее какъ на приворотную болѣзнь, порчу. Онѣ го-

товы бываютъ убѣжать со своимъ милымъ, выйти за него замужъ помимо воли родителей, но тѣмъ не менѣе все-таки смотрятъ на это какъ на тяжкій грѣхъ, за который ждутъ наказанія.

Такъ, Авдотья Максимовна, когда Вихоревъ предложилъ ей увезти ее, пришла въ первую минуту въ ужасъ.

Вихоревъ. Уѣдьте потихоньку, да и обвенчаемся.

Авдотья Максимовна. Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! что вы это, ни за что на свѣтѣ!.. Ни-ни, ни за какія сокровища!..

Вихоревъ. Татенька васъ любитъ, онъ проститъ. Мы къ нему сейчасъ пріѣдемъ послѣ свадьбы, знаете, по русскому обыкновенію, ему въ ноги... Ну старикъ и того...

Авдотья Максимовна. Да и не говорите!.. Онъ проклянетъ меня!.. Какое мнѣ тогда будетъ жить на бѣломъ свѣтѣ! До самой смерти у меня будетъ камень на сердцѣ.

Она такъ испугалась столь страшнаго предложенія Вихорева, что, по ея словамъ, насилу до дому добѣжала. Тѣмъ не менѣе, когда Вихоревъ, все-таки, увезъ ее, она говорила ему въ экстазѣ:

— „Ненаглядный ты мой, радость, жизнь моя! Куда хочешь съ тобой! Никого я теперь не боюсь и никого мнѣ не жалко. Такъ-бы вотъ и улетѣла съ тобой куда-нибудь!“ — И рядомъ съ этимъ, все-таки, умоляла Вихорева вернуться къ татенькѣ:

— Викторъ Аркадьичъ!—воскликала она,—я съ вами и въ огонь, и въ воду готова, только пустите меня къ татенькѣ!

Еще болѣе рѣзкій примѣръ подобныхъ-же колебаній между страстью и татенькиною волею мы видимъ въ Дашѣ, въ драмѣ „Не такъ живи, какъ хочется“.

Повидимому, она не Авдотья Максимовна чета. Ея хватило не только на то, чтобы влюбиться въ пріѣзжаго купчика и бѣжать съ нимъ въ Москву; но затѣмъ, когда мужъ разлюбилъ ее и измѣнилъ, она, ни мало не задумавшись, бросила и мужа.

Но стоило только отцу ея Агафону напомнить ей о родовыхъ завѣтахъ, и посмотрите, какая кроткая овечка изъ нея сдѣлалась. Безъ малѣйшаго сопротивленія допустила она своимъ родителямъ везти ее обратно къ мужу и съ сокрушеніемъ сердца согласилась съ отцомъ, когда тотъ началъ доказывать ей, что она терпитъ наказаніе за совершенное ею преступленіе.

— Ты сама права, что-ль?—говорилъ старикъ:—дѣло сдѣлала, что насъ со старухой бросила? Говори, дѣло сдѣлала? Такъ это и надо? Такъ это по закону и слѣдуетъ? Врагъ васъ обманул! Вы точно какъ не люди! Вотъ ты и терпи, и терпи! Да наказанье-то съ кротостью принимай, да съ благодарностью. А то что это? что это? Вѣжать хотеть! Какой это порядокъ? Гдѣ это ты видѣла, чтобы мужа съ женами порознь жили? Ну, ты его оставишь, бросишь его, а онъ въ отчаянье придетъ—кто тогда виноватъ будетъ, кто? Ну, а захвораетъ онъ, кто за нимъ уходить? Это, вѣдь, первый твой долгъ. А застигнетъ его смертный часъ, захочетъ онъ съ тобой проститься, а ты по гордости ушла отъ него...

И Даша въ отвѣтъ на эти рѣчи только и была въ



состояніи броситься на шею отца съ восклицаніемъ: — „батюшка!“...

Но при всѣхъ подобныхъ колебаніяхъ между свободою страсти и родительскимъ произволомъ, женщины подобнаго рода отличаются отъ Любови Гордѣвны тѣмъ, что не могутъ выносить насилія и какого-бы то ни было гнета надъ ними. Онѣ не въ состояніи бывають покориться навязываемой имъ долѣ и, помирившись съ нею, начать свивать свое семейное гнѣздышко съ немилымъ человекомъ. Къ нимъ, однимъ словомъ, не подходитъ уже поговорка: „стерпится, слюбится“. Неволья и принужденіе сразу ожесточають ихъ, на нихъ находятъ отчаянность, и тутъ онѣ забываютъ всѣ свои принципы и правила и даже женскій стыдъ, готовы бывають, очертя голову, на самый рискованный шагъ, а тамъ хоть и въ Волгу.

Такова „Надя“ въ комедіи „Воспитанница“. Пока жизнь ея текла ровною и свободною струею, никто ее не притѣснялъ и не неволилъ, барыня принимала въ ней участіе, воспитывала ее, какъ свою дочку и ласкала, — Надя видѣла въ себѣ человека не чужого въ домѣ, у нея были строгія правила и она мечтала, какъ мечтають и всѣ подобныя ей дѣвушки, о заурядномъ женскомъ счастіи: — „У меня, говорила она, теперь только одна и надежда выйти за хорошаго человека, чтобы мнѣ быть полною хозяйкой. Посмотри тогда, какой я порядокъ въ домѣ заведу; у меня не хуже будетъ, чѣмъ у дворянки какой-нибудь“.

Въ тоже время объ ухаживаніи за нею барина она говорила: — „Напрасно онъ ухаживаетъ. Что-жъ, конечно, онъ мальчикъ хорошенькій, даже, можно сказать, красавецъ; только отъ меня ему ничего не дожидаться; потому что я совѣмъ не такихъ правилъ, п, напротивъ того, теперь всячески стараюсь, чтобы про меня никакого дурного разговору не было. У меня только одно и на умѣ, что выйти за мужъ“.

Но совѣмъ инымъ духомъ преисполнилась она, когда увидѣла себя подъ гнетомъ черстватаго, лицемернаго и безчеловѣчнаго самодурства Уланбековой.

— Пока она баловала меня, да ласкала, говорила она теперь Лизѣ: такъ я думала, что я такой-же человекъ, какъ и всѣ люди; и мысли у меня совѣмъ другія были объ жизни. А какъ начала она мной командовать какъ куклой, да какъ увидѣла я, что никакой мнѣ волн, ни защиты нѣтъ: такъ отчаянность на меня, Лиза, нашла. Куда страхъ, куда стыдъ дѣвался — не знаю. Хоть день, да мой, думаю, а тамъ что будетъ, ничего я и знать не хочу! Хоть меня замужъ отдавай за пастуха, хоть въ какой замокъ за тридцать замковъ запири — мнѣ все равно!

## Х.

И вотъ, можете себѣ представить, — буквально къ той-же самой категоріи женщинъ, колеблющихся, нерѣшительныхъ, боящихся всякихъ каръ, когда дѣло идетъ о ихъ счастіи, и приходящихъ въ отчаянность лишь, когда всѣ пути имъ закрыты, принадлежитъ и Катерина въ „Грозѣ“. Если она отличается чѣмъ-нибудь отъ Авдотьи Максимовны, Даши и Нади, — то развѣ тѣмъ лишь, что обладаетъ отъ природы художественною натурою и ультрарелигіознымъ воспи-

таніемъ. Но эти два обстоятельства не только не ведутъ къ какому-либо существенному отличію Катерины отъ вышеупомянутыхъ героинь, а напротивъ того, они лишь усугубляютъ всѣ тѣ качества, которыми героини эти отличаются: качества эти являются у Катерины интенсивнѣе, рѣзче, вслѣдствіе чего она, какъ будто, и выдѣляется изъ уровня подобныхъ ей женщинъ, между тѣмъ какъ въ сущности является вполне съ ними тождественною.

По своему ультрарелигіозному воспитанію Катерина во многомъ напоминаетъ тургеневскую Лизу въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“. Дѣтство она провела на полной свободѣ:

«Я жила, рассказываетъ она, ни объ чемъ не тужила, точно птичка на волѣ. Маменька во мнѣ души не чаяла, наряжала меня какъ куклу, работать не принуждала, что хочу, бывало, то и дѣлаю. Знаешь, какъ я жила въ дѣвушкахъ? Вотъ я тебѣ сейчасъ расскажу. Встану я, бывало, рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключокъ, умоюсь, принесу съ собою водицы, и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полью. У меня цвѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маменькой въ церковь, всѣ и странницы — у насъ похонъ домъ былъ странницъ да богомолокъ. А придемъ изъ церкви, сидѣмъ за какую-нибудь работу, больше по бархату золотомъ, а странницы стануть рассказывать: гдѣ онѣ были, что видѣли, житія разныя, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснуть лягутъ, а я по саду гуляю. Потомъ къ вечернѣ, а вечеромъ опять рассказы да пѣніе. Таково хорошо было!.. И до смерти я любила въ церковь ходить! Точно, бывало, я въ рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, какъ все это въ одну секунду было. Маменька говорила, что всѣ, бывало, смотрятъ на меня, что со мной дѣлается!.. А то, бывало, дѣвушка, ночью встану — у насъ тоже всадѣ лампадки горѣли — да гдѣ-нибудь въ уголкѣ и молюсь до утра. И рано утромъ въ садъ уйду, еще только солнышко восходитъ, упаду на колѣна, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу; тамъ меня и найдутъ. И объ чемъ я молилась тогда, чего просила — не знаю; ничего мнѣ не надобно, всего у меня довольно»...

Крайне впечатлительная, нервная, вѣчно экзальтированная, со своими чисто горячечными грезами и чуть что не галлюцинаціями, Катерина была до послѣдней степени пуглива и вѣчно была подъ гнетомъ какого-нибудь ужаса, вѣроятно подъ вліяніемъ тѣхъ суевѣрныхъ рассказовъ странницъ и богомолокъ, которые она ежедневно слушала въ дѣтствѣ... Пройдетъ по улицѣ сумасшедшая барыня, грозя всѣмъ палкой и гееной огненной, и Катерина вся уже дрожитъ, и сердце у нея упало; послышится громъ вдалекѣ и новые страхи:

Катерина (съ ужасомъ). Гроза! Побѣжимъ домой! Поскорѣе!

Варвара. Что ты съума, что-ли, сопла! Какъ же ты безъ брата-то домой покажешься?

Катерина. Нѣтъ, домой, домой! Богъ съ нимъ! Варвара. Да что ты ужъ очень боишься: еще далеко гроза-то.

Катерина. А коли далеко, такъ пожалуй пождемъ немного; а право-бы, лучше идти. Пойдемъ лучше!

Варвара. Да, вѣдь, ужъ коли чему быть, такъ и дома не спрячешься.

Катерина. Да, все-таки, лучше, все покойнѣе, дома то я къ образу, да Богу молюсь!..

Варвара. Я и не знала, что ты такъ грозы боишься. Я вотъ не боюсь.

Катерина. Какъ, дѣвушка, не бояться! Всякій долженъ бояться. Не то страшно, что убьютъ тебя, а то, что смерть тебя вдругъ застанетъ, какъ ты есть, со всеми твоими грѣхами, со всеми помыслами лукавыми. Мнѣ умереть не страшно, а какъ я подумаю, что вотъ, вдругъ, я явлюсь передъ Богомъ такая, какая я здѣсь съ тобой, послѣ этого разговора-то, вотъ что страшно.

Но, въ случаѣ обиды или какого-нибудь притѣсненія, Катерина, подобно Надѣ, подвержена той-же отчаянности, и тогда куда страхъ дѣвается:

— „Я еще лѣтъ шести была, не больше, рассказывала она: такъ что сдѣлала! Обидѣли меня чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру, ужъ темно, я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли, верстъ за десять“!..

Царни поглядывали на нее, но она никого не любила, а только смѣялась надъ ними. Не любя, вышла она и замужъ за Тихона; ее, вѣроятно, просто выдали за него, а она не сопротивлялась, потому что онъ былъ ей не противенъ, и она его жалѣла.

Но потомъ, подъ гнетомъ тяжкаго семейнаго деспотизма и вѣчныхъ попрековъ свекрови, она ожесточилась; мужъ, оказавшійся тряпкою, не способный защитить ее, сдѣлался ей противенъ, и она влюбилась въ Бориса, который, какъ и Вихоревъ въ глазахъ Авдотьи Максимовны, казался Катеринѣ героемъ, рѣзко выдѣляющимся изъ всего ее окружающаго, чело-вѣкомъ иного, волшебнаго міра.

И вотъ начались тѣ-же самыя колебанія, какія мы видимъ и у Авдотьи Максимовны, только еще болѣе рѣзкія и характерныя вслѣдствіе впечатлительности Катерины и ея религіозной экзальтаціи. Подобно Авдотьи Максимовнѣ, Катерина смотритъ на свою страсть къ Борису, какъ на бѣсовское навожденіе, порчу, отъ которой она и рада-бы избавиться, да не можетъ:

Катерина. Не говори мнѣ про него, сдѣлай милость, не говори! Я буду мужа любить. Тиша, голубчикъ мой, ни на кого тебя не промѣняю! Я и думать-то не хотѣла, а ты меня смущаешь.

Варвара. Да не думай, кто-жъ тебя заставляетъ?

Катерина. Не жалѣешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Развѣ я хочу о немъ думать; да что дѣлать, коли изъ головы нейдетъ? Объ чемъ ни задумаю, а онъ такъ и стоитъ передъ глазами. И хочу себя передомнить, да не могу никакъ. Знаешь-ли ты, меня нынче ночью опять врагъ смущалъ. Вѣдь я было изъ дому ушла.

На словахъ она очень храбрится: — „Что мнѣ только захочется, говорить, то и сдѣлаю, уйду и была такова. Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характера! Конечно, не дай Богъ этому случиться! А ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостылѣетъ, такъ не удержатъ меня никакой силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь“. — А сама, когда мужъ ее убажаетъ, требуетъ, чтобы онъ взялъ съ нея какую-нибудь страшную клятву.

— „Какую клятву?—спрашиваетъ онъ въ недоумѣніи.

Катерина. Вотъ какую: чтобы не смѣла я безъ тебя ни подъ какимъ видомъ ни говорить съ кѣмъ чужимъ, ни видѣться, чтобы и думать ни о комъ, кромѣ тебя.

Кабановъ. Да на что-жъ это?

Катерина. Успокой ты мою душу, сдѣлай такую милость для меня.

Кабановъ. Какъ можно за себя ручаться, мало-ль что можетъ въ голову придти.

Катерина (падая на колѣни). Чтобы не видѣть мнѣ ни отца, ни матери! Умереть мнѣ безъ покаянія, если я...

Кабановъ (поднимая ее). Что ты! Что ты! Какой грѣхъ-то! Я и слышать не хочу!

Но и когда мужъ уѣхалъ, Катерина, конечно, ни за что сама не рѣшилась-бы на рискованный шагъ свиданія съ Борисомъ, совершенно подобно тому, какъ Авдотья Максимовна не позволила-бы Вихореву увести ее, и роль Варвары въ „Грозѣ“, какъ подстрекательницы, совершенно уподобляется роли Арины Ѳедотовны въ комедіи „Не въ свои сани не садись“.

Но вотъ роковой шагъ былъ сдѣланъ, Катерина отдалась Борису, и затѣмъ была совершенно подавлена сознаниемъ своего беззаконія. Куда дѣлась прежняя храбрость на словахъ, когда она говорила, что все, что только ей захочется, то она и сдѣлаетъ. Когда-же пріѣхалъ мужъ, она окончательно растерялась, сдѣлалась сама не своя: — „дрожитъ вся, рассказывала о ней Варвара: точно ее лихорадка бьетъ, блѣдная такая, мечется по дому, точно чего ищетъ. Глаза какъ у помѣшанной! Давеча утромъ плакать принялась, такъ и рыдаетъ. На мужа не смѣетъ глазъ поднять. Маменька замѣчать стала, ходитъ да все на нее косится, такъ змѣей и смотритъ; а она отъ этого еще хуже. Просто мука глядѣть-то на нее“!..

При такомъ сокрушенномъ и растерянномъ состояніи духа, понятно, что стоило явиться сумасшедшей барынѣ со своими угрозами геенной огненной, да раздаться громовому удару, да увидѣть Катеринѣ на стѣнѣ изображеніе страшнаго суда, чтобы при всемъ народѣ броситься въ ноги мужу и свекрови и покаяться...

Не будь Кабановой съ ея неумолимымъ и безжалостнымъ тиранствомъ, этою экзальтированною сценною и кончилась-бы драма Катерины: Борисъ уѣхалъ бы, мужъ простилъ-бы свою преступную жену, они помирились-бы и все вошло-бы въ свое русло, подобно тому, какъ Авдотья Максимовна воротилась подъ защиту и покровительство своего прежняго любезнаго Бородинки, или Даша къ своему раскаявшемуся въ своемъ безпутствѣ мужу. Но Кабанова, усугубивши свое преслѣдованіе невѣстки, скоро доводитъ ее до той-же отчаянности, какую мы видимъ и въ Надѣ.

Правда, передъ своимъ паденіемъ въ Волгу, Катерина, прощаясь съ Борисомъ, какъ будто отваживается на шагъ еще болѣе рѣшительный и не столь молодужный, какъ самоубійство: она проситъ Бориса взять ее собою. Но, повидимому, это были одни жалкія слова, которыми и сама Катерина не придавала большого значенія, отлично зная, что Борису невозможно взять ее съ собою; она не стала даже и настаивать на своей просьбѣ. Весьма даже вѣроятно, что будь на мѣстѣ разунылаго Бориса разудалый Кудрашъ и согласись онъ увести Катерину, она сейчасъ-бы на попятный дворъ, совершенно подобно Авдотьи Максимовнѣ, и наговорила-бы массу очень красивыхъ и чувствительныхъ словъ въ доказательство того, что

и съ милымъ она готова въ огонь и въ воду, но и постылаго Тихона оставить ей нельзя, и кончилось-бы дѣло все тою-же Волгою.

Вотъ, другое дѣло—Варвара. Мнѣ кажется, что Островскій едва-ли не сознательно вывелъ ее въ контрастъ Катеринѣ, и контрастъ этотъ провелъ по всей драмѣ. Но Варвара ведетъ уже насъ въ новую категорію женщинъ Островскаго, которую мы и займемся въ слѣдующей главѣ.

## XI.

Теперь мы будемъ имѣть дѣло съ женщинами, которая въ обществѣ называются своевольными, своеобычными, а народъ называетъ ихъ бой-дѣвка, бой-баба. Здѣсь мы видимъ полное уже отрѣшеніе отъ всѣхъ родовыхъ завѣтовъ домостроевской старины и широкое развитіе индивидуальности. Женщины этой категоріи уже не вѣшаютъ головы при первой неудачѣ въ жизни, не отдаются пассивно опредѣленію судьбы или волѣ старшихъ; онѣ стремятся самостоятельно и независимо устроить свою судьбу и при своемъ умѣ, ловкости и находчивости всегда успѣваютъ въ этомъ, выходя замужъ непремѣнно за того, кого сами избираютъ; въ дѣвчествѣ это огневая и бѣдовья дѣвушки, съ которыми родители никакъ не могутъ совладать; въ замужествѣ — энергическія и неуныныя хозяйки, держація обыкновенно въ ежовыхъ рукахъ весь домъ, не исключая и своего благоутраго. Старуха Кабанова въ молодости своей навѣрно принадлежала къ этому типу, и Варвара родилась вся въ нее.

Варвара—прежде всего натура глубоко реальная, чѣмъ она и отличается радикально отъ Катерины; никакихъ не знаетъ она нервныхъ экзальтацій, страховъ: ни сумасшедшая старуха со своими угрозами, ни громы небесные нисколько ее не смущаютъ. Она и говорить то въ пьесѣ мало, раторствовать и высказываться—не въ ея натурѣ; она больше дѣйствуетъ, и посмотрите, какъ энергично: помогаетъ Катеринѣ видаться съ ея любезнымъ, не забывая при этомъ и себя.

Ее обвиняли въ рабской лживости и притворствѣ и ставили ей въ примѣръ Катерину, какъ образецъ прямой и честной натуры. Но лживость и притворство вовсе не представляютъ природныхъ свойствъ Варвары; вѣдь не лжетъ же она и не притворяется ни передъ Катериною, ни передъ Кудряшевымъ. Это болѣе ничего съ ея стороны, какъ лишь система дѣйствій по отношенію къ одной Кабановой. Когда Катерина говоритъ, что она обманывать не умѣетъ и скрыть ничего не можетъ, Варвара отвѣчаетъ ей на это:

— Ну, а, вѣдь, безъ этого нельзя; ты вспомни, гдѣ ты живешь! У насъ весь домъ на томъ держится. *И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало.*

И еще бы: — „Что за охота сохнуть то,—говоритъ Варвара въ другомъ мѣстѣ: хоть умирай съ тоски, пожалѣють, чтоль, тебя? Какъ же, дождайся. Такъ какая-жъ неволя себя мучить-то!“

Варвара въ этомъ отношеніи представляетъ тотъ переходъ къ дѣвушкамъ разсматриваемой нами кате-

горіи, при которой у подобныхъ дѣвушекъ не хватаетъ еще мужества открыто заявлять свою волю, да и трудно это было бы передъ Кабановой, но это не мѣшаетъ имъ устривать свою жизнь самостоятельно и по своему, хотя бы и за глазами у старшихъ.

Обратите, между прочимъ, вниманіе и на выборъ Варвары. Это уже не тихій и сиротливый паренъ въ родѣ Гриши, и не человѣкъ, поражающій воображеніе женщины однимъ вѣншиимъ лоскомъ образованности при полной внутренней несостоятельности, какъ Вихоревъ или Борисъ. Варвара полюбила Кудряша, найдя въ немъ внутреннее, психическое соотвѣтствіе со своею натурою. Стоитъ припомнить первую сцену драмы, діалогъ Кудряша съ Шапкинымъ, чтобы понять, за что Кудряшъ могъ полюбить Варвару; однимъ словомъ, сама удалая, она полюбила и парня еще болѣе удалого, который не робѣлъ и не молчалъ передъ Дикимъ подобно Борису:

— Я грубиянъ считаюсь,—говорилъ онъ Шапкину: за что-жъ онъ меня держитъ? Стало быть я ему нуженъ. Ну, значить, я его и не боюсь, а пушай онъ меня боится.

Шапкинъ. Ужъ будто онъ тебя и не ругаетъ? Кудряшъ. Какъ не ругать! Онъ безъ этого дышать не можетъ. Да не спускаю я: онъ—слово, а я—десять; плюнетъ да и пойдетъ. Нѣтъ, ужъ я передъ нимъ рабствовать не стану.

И вотъ въ то время, когда разуныый Борисъ былъ посланъ свирѣпымъ дядюшкою въ Сибирь, а разочарованная Катерина пошла искать правды и утѣшенія въ волнахъ Волги, одна Варвара устроилась благополучно и завоевала то самое счастье, котораго добивалась: она убѣжала съ Кудряшевымъ.

Къ числу такихъ-же разбитныхъ и разудалыхъ дѣвушекъ, какъ Варвара, принадлежитъ Груша въ драмѣ „Не такъ живи какъ хочется“. Она вся такъ и дышетъ жаждою свободы и веселаго разгула: — „Какъ же, охота мнѣ замужъ!—говоритъ она матери: по тѣхъ поръ и погулять, пока въ дѣвкахъ. Еще замужемъ-то наживуся! Гуляй дѣвка, гуляй я! За мужемъ-то жить трудно! Угождай мужу, да еще какой навернется... Всѣ они холостые-то хороши!.. Еще станеть помыкать тобой. А дѣвкамъ намъ житье веселое, каждый день праздникъ, гуляй себѣ—не хочу! Хочешь работай, хочешь—пѣсни пой!.. А пригласулся-то кто, развѣ за нами усмотришь? Хитрый дѣвокъ народу нѣтъ“...

Агнія въ комедіи „Не все коту масляница“ представляетъ дальнѣйшую степень въ разсматриваемой нами категоріи. Она не тихонько уже отъ матери устриваетъ свое счастье, а дѣйствуетъ открыто, безъ малѣйшихъ стѣсненій.

— Воляница ты у меня, говоритъ ей мать: ты его (Ипполита) какъ это подцѣпила?

Агнія. Очень просто. Шла я какъ-то изъ городу, онъ меня догналъ и проводилъ меня до дому. Я его поблагодарила.

Круглова. И позвала?

Агнія. Съ какой стати?

Круглова. Какъ-же онъ у насъ объявился?

Агнія. Позвала я его, да послѣ. Сталъ онъ много оконъ ходить разъ по десяти въ день; ну, что хорошаго, лучше ужъ въ домъ пустить. Только слава. Круглова. Само собой.

Агнія. Все говорить?

Круглова. Да говори ужъ за одно.

Агнія (равнодушно и грязя орѣхи). Потомъ онъ мнѣ письмо написалъ съ разными чувствами, только нескладно очень...

Круглова. Ну? А ты ему отвѣтила?

Агнія. Отвѣтила, только на словахъ. Зачѣмъ вы, говорю, письма пишете, коли не умѣете? Коли что вамъ нужно мнѣ сказать, такъ говорите лучше прямо, чѣмъ бумагу-то марать.

Круглова. Только и всего?

Агнія. Только и всего. А то что-же еще?

Круглова. Много очень воли ты забрала.

Агнія. Заприте.

Круглова. Болтай еще...

Въ другой разъ мать застала ее цѣлующуюся съ Ипполитомъ.

Круглова. Что-жъ это такое?

Агнія. Что? Ничего.

Круглова. Какъ ничего? Я своими глазами видѣла, какъ онъ тебя цѣловалъ.

Агнія. Эка важность, поцѣловалъ!

Круглова. По твоему это не важность?

Агнія. Да, конечно. Вотъ кабы укусить, это нехорошо.

Круглова. Ты въ своемъ разумѣ, или рехнувшись? А срамъ, стало быть, ничего?

Агнія. Какой срамъ! Срамъ-то бываетъ у богатыхъ; а мы, какъ ни живи, никому до того дѣла нѣтъ. И хорошо, и худо—все для себя, а не для людей. Хорошо живи—люди не похвалятъ, и дурно живи—никого не удивишь.

Круглова. Извольте подумать, чѣмъ она занимается!

Агнія. А вы думали, что я все еще въ куклы играю?

Круглова. Потихоньку-то отъ матеря...

Агнія. Да я и при васъ, пожалуй.

Круглова. Стыдочку-то, стало быть, немного.

Агнія. На что его нужно, на то онъ есть.

Круглова. А все-таки нехорошо, что мать-то не знаетъ.

Агнія. Знать-то вамъ нечего; еще ничего вѣрнаго нѣтъ. Придетъ время, не беспокойтесь, скажемъ; мы этотъ порядокъ знаемъ.

Круглова. Съ тобой говорить-то что больше, то хуже. Лучше бросить; а то еще, пожалуй, у тебя сама виновата останешься. А что правда, то правда; не во время вы христосоваться начали.

Агнія. Впередъ зачитите. Конечно, удержатъ себя можно; да для чего? Молодость-то наша и такъ не красна: чѣмъ ее вспомнить будетъ?

Но и Агнія полюбила Ипполита не слѣпо и беззавѣтно, какой бы онъ ни былъ. У нея такой же идеалъ мужа, какъ и у Варвары; она требуетъ, чтобы онъ былъ такой же удалой и смѣлый, какъ и она, и когда явившійся внезапно хозяинъ Ипполита Аховъ гонитъ вонъ своего племянника, Агнія возмущается, когда видитъ, что Ипполитъ малодушно ретируется, и кричитъ ему вслѣдъ: „стыдно трусить!“—И вслѣдъ за тѣмъ у нея является сильная реакція въ ея любви къ Ипполиту.

— Маменька, восклицаетъ она, послѣ визита Ахова,—когда Ипполитъ придетъ, гоните его безъ милосердія.

Круглова. Не Ерилла-ли гнать-то?

Агнія. За что его? Онъ чѣмъ виноватъ? Какъ же ему не возноситься, когда ему всѣ покоряются?

Круглова. Ты что ни говори, а мнѣ Ипполита жалко.

Агнія. Чего его жалѣть-то; онъ не маленький. Кабы у него совѣсть, такъ онъ самъ бы стыдился, что его жалѣютъ. Какого маленькаго обидѣли! Видѣть его не могу...

Круглова. Что такъ грозно?

Агнія. Ну, будь онъ женатъ, да съ женой здѣсь: каково бы ей, бѣдной... Не канатою онъ съ Ериломъ-то связанъ, бросилъ да и пошелъ. А я было чуть не полюбила его, плаксу.

Круглова. У тебя, видно, сколько дней въ недѣлѣ, столько и пятницъ. Не успѣла полюбить, да ужъ и разлюбила.

Агнія. Да-таки и разлюбила.

То же самое, еще болѣе рѣзко и прямо, говорятъ она и Ипполиту, когда онъ снова является къ ней. Она встрѣчаетъ его словами, что онъ трусъ и лгунъ еще, что по его характеру денегъ отъ хозяина онъ не дождется, а вѣрнѣе всего, что онъ самъ его прогонитъ, и что человѣка безсовѣстнаго любить нельзя.

Ипполитъ. Хорошо, что вы мнѣ это заранѣе сказали-сь.

Агнія. А вы не знали?

Ипполитъ. По чѣмъ-же я могу вашъ характеръ знать-сь! Обыкновенно у женщинъ больше такое понятіе-сь, что хоть на разбой ходи, только для нея и для дому будь добычникъ.

Агнія. Я воровъ не люблю, а другія, какъ хотѣть—не мое дѣло.

Ипполитъ. Значитъ, только изъ одного того, чтобы любовь вашу заслужить?

Агнія. Не говорите мнѣ о любви, пожалуйста.

Ипполитъ. Почему же такъ-сь?

Агнія. Я не хочу мальчика любить. Какой вы мужчина?

Ипполитъ. По вашимъ словамъ, я самый ничтожный человѣкъ-сь?..

Агнія. Это ваше дѣло.

Ипполитъ. Ото всѣхъ въ презрѣніи.

Агнія. Кто-жъ виноватъ?

Ипполитъ. Замѣсто того, чтобы мнѣ отъ васъ утѣшеніе...

Агнія. Васъ стануть бить, какъ мальчишку, а я должна васъ утѣшать! Да съ чего вы выдумали?

Ипполитъ. Кто же меня пожалѣетъ-сь?

Агнія. Мнѣ-то что за дѣло! Смѣяться надъ нами, а не жалѣть.

Ипполитъ. Послѣ этого, ужъ только поминать останется на моемъ мѣстѣ.

Агнія. Конечно, лучше.

Ипполитъ. Стало быть, вы обо мнѣ очень низкаго понятія?

Агнія. Очень.

Ипполитъ. Однако, такой ударъ отъ васъ! Я даже какъ его перенести, не знаю.

Агнія. Очень рада.

Ипполитъ. И никакого, значить, къ челоу-честву снисхожденія?

Агнія. И не ждите.

Ипполитъ. Однако-же, влетѣлъ я ловко! Вотъ такъ обманъ для моихъ чувствъ! Ошибался я въ своей жизни...

Агнія (отирая слезы). Не вы ошиблись, я ошиблась. Уйдите, пожалуйста! Уйдите, говорятъ вамъ. Стыдно мнѣ, взрослой дѣвушкѣ, не умѣть людей разбирать. Меня никто не тянулъ къ вамъ.

Ипполитъ. Но позвольте мнѣ въ свое оправданіе...

Агнія. Подите, подите!

Ипполитъ. Но, однако хоть малость пожалѣйте!

Агнія. Послушайте. Нынче-же выпросите себѣ у хозяина хорошее жалованье, или отходите отъ него и ищите другое мѣсто! Если вы этого не сдѣлаете, лучше и не знайте меня совсѣмъ, и не кажитесь мнѣ на глаза!..

И только тогда Агнія пережѣвала гнѣвъ на шп-лость, когда Ипполитъ явился къ ней съ 15,000 рублей заработаннаго жалованья, которые онъ заставилъ Ахова отдать ему.

Такимъ образомъ мы видимъ здѣсь въ лицѣ Агніи

тотъ-же типъ смѣлой и удалой дѣвушки, но типъ этотъ стоитъ степенно выше, чѣмъ Варвара и Груша, не только тѣмъ, что Агнія дѣйствуетъ уже безъ хитрости, а прямо и открыто, но идеалъ у нея опредѣленнѣе, сознательнѣе, шире: она требуетъ отъ мужа не одного забубеннаго удалства, но и честности; презираетъ не однихъ трусовъ, но и воровъ.

Еще болѣе широкіе идеалы мы видимъ у Парашы въ комедіи „Горячее сердце“, идеалы, приближающіе ее къ тѣмъ уже женщинамъ, о которыхъ будетъ еще рѣчь у насъ впереди.

Параша находится въ положеніи худшемъ, чѣмъ Варвара: отецъ ея грубый и неотесанный самодуръ, у котораго отъ вѣчнаго сна мысли въ головѣ путаются; вмѣсто матери злая и распутная мачиха, ненавидящая свою падчерицу. Но дѣвушка въ усъ не дуется. Съ мачихой она постоянно зубъ за зубъ и открыто ей говоритъ: „Много-ль у насъ воли-то въ нашей жизни, въ дѣвичьей? Много-ли времени я сама своя-то? А то, вѣдь я—все чужая. Молода—такъ отцу съ матерью работница, а выросла, да замужъ отдала—такъ мужнина раба безпрекословная. Такъ отдамъ-ли я тебѣ эту волхушку дорогую, короткую? Все, все, отнимите у меня, а воли я не отдамъ... На ножъ пойду за нее“!...

То же говоритъ она и отцу: — „Слушай ты, батюшка! Не часто мнѣ съ тобой говорить приходится, такъ ужъ скажу я тебѣ за разъ. Вы меня, дѣвушку, обидѣли. Браниться мнѣ съ тобой совѣсть не велитъ, а молчать силы нѣтъ; я послѣ хоть годъ буду молчать, а тебѣ вотъ что скажу: не отнимай ты моей воли дорогой, не марай мою честь дѣвичью, не ставь за мной сторожей! Коли я себѣ добра хочу—я сама себя уберегу, а коли вы меня беречь станете... Не убережъ вамъ меня“!...

Пригласился Парашѣ сынъ разорившагося купца, Вася, и влюбилась она въ него ошибкой, заподозрѣвши въ немъ героизмъ, котораго въ немъ не было ни капли. Вотъ какъ рассказываетъ самъ Вася о томъ, какъ полюбила его Параша:

— „Была вечеринка, только я накануне былъ выпивши, и въ это утро съ тятенькой побранился, и такъ, знаешь ты, весь день былъ не въ себѣ. Прихожу на вечеринку и сижу молча, ровно какъ я сердитъ или разстроенъ чѣмъ. Потомъ вдругъ беру гитару, и такъ мнѣ это горько, что я съ родителемъ побранился, и съ такимъ я чувствомъ заиглѣлъ:

Черной воронъ, что ты въсѣшь  
Надъ моею головой...

„Потомъ бросилъ гитару и пошелъ домой. Она мнѣ послѣ говорила: „такъ ты мнѣ все сердце и прострѣлилъ насквозь“! Да и что-жъ мудренаго, потому было во мнѣ героизмъ“.

Но это увлеченіе было недолговѣчно, и уже на первомъ-же свиданіи Парашы съ Васей въ комедіи мы видимъ, что въ ней начинается уже разочарованіе въ своемъ любовномъ. — Такъ она уговариваетъ его поспѣшить бракомъ, а онъ отвѣчаетъ ей, что дѣло у него съ тятенькой поразстроилось.

Параша. Знаю. Да, вѣдь, вы живете; значить, жить можно; больше ничего и не надобно.

Вася. Такъ-то такъ...

Параша. Ну такъ что-же? Ты знаешь, въ здѣшнемъ городѣ такой обычай, чтобъ невѣсть увозить. Конечно, это дѣлается больше по согласію родителей, а вѣдь, много и безъ согласія увозятъ: здѣсь къ этому привыкли, разговору никакого не будетъ—одна только и бѣда: отецъ пожалуй денегъ не дастъ.

Вася. Ну, вотъ видишь ты!

Параша. А что-жъ за важность, милый ты мой! У тебя руки, у меня руки....

Но Вася продолжаетъ отвиливать и откладывать дѣло въ дальній ящикъ, говоря, что, какъ Богъ дастъ, полученія тоже есть, старые долгишки; въ Москву тоже надо съѣздить, и выводить, наконецъ. Парашу изъ себя:

— За что-жъ это Господи, наказаніе какое! восклицаетъ она: Что-жъ это за паренъ, что за плакса на меня навязался! Говоришь-то ты, точно за душу тянешь. Глядишь-то, точно украсть что. Ахъ ты меня не любишь, обманываешь? Видѣть-то тебя тошно, только ты у меня духу отнимаешь. (Хочетъ идти).

Вася. Да постой, Параша, постой!

Параша (останавливается). Ну, ну! Надумался, слава Богу! Пора!

Вася. Что-жъ ты такъ въ сердцахъ-то уходишь, нешто такъ прощаются? Что ты въ самомъ дѣлѣ! (Обнимаетъ ее).

Параша. Ну, ну, говори. Милый ты мой, милый!

Вася. Когда-жъ мнѣ къ тебѣ еще побывать-то? потолковали бы, право, потолковали...

Параша (отталкиваетъ его). Я думала, ты за дѣломъ. Хуже ты дѣвки; пропадай ты пропадомъ! Видно, мнѣ самой объ своей головѣ думать! Никогда-то я, никогда теперь на людей надѣяться не стану. Зарокъ такой себѣ положу. Куда я сама себя опредѣлю, такъ тому и быть. Не на кого, по крайности, мнѣ плакаться будетъ.

Но дѣло приняло совершенно другой оборотъ, когда Васю, пришедшаго къ ней на свиданіе, заподозрили въ покушеніи на воровство и заперли въ острогъ для того, чтобы потомъ сдать не въ зачетъ въ солдаты. Любовь съ прежнею силою разгорѣлась въ сердцѣ дѣвушки; она видѣла въ немъ теперь страдальца изъ-за нея и бѣжала изъ дома, чтобы дѣлать съ нимъ всѣ несчастія.

На свиданіи съ нимъ въ острогѣ она внушала ему непремѣнно сдѣлаться героемъ, не щадя жизни своей. — „Старайся, Вася, старайся!“—говорила она: а ты вотъ что: какъ тебя обучать всему и станутъ переводить изъ некрутовъ въ полкъ, въ настоящіе солдаты, ты и просись у самаго главнаго, какой только есть самый главный начальникъ, чтобъ тебя на Кавказъ и прямо чтобъ сейчасъ на страженіе“!

Вася. Зачѣмъ?

Параша. И старайся ты убить больше, какъ можно больше непріятеля. Ничего, ты своей головы не жаль.

Вася. А какъ ежели самого...

Параша. Ну, что-жъ: одинъ разъ умирать-то. По крайности мнѣ будетъ плакать объ чемъ. Настоящее у меня горе-то будетъ, самое святое. А ты подумай, ежели ты не будешь проситься на страженіе и переведутъ тебя въ гарнизонъ; начнешь ты баловаться... воровать по огородамъ... что тогда за жизнь мнѣ будетъ? Самая послѣдняя. Горемъ назвать нельзя, и счастья-то не бывало—такъ подлость одна. Изомретъ тогда мое сердце, на тебя глядя.

Такимъ образомъ, какъ видите, идеаломъ Парашы является не просто только удалой и безстрашный паренъ, но вѣстѣ съ тѣмъ и герой, умирающій за свою родину. И каково-же было ея разочарованіе, когда

этотъ герой пошелъ въ пѣсенники и шуты къ Хлынову, который выкупилъ его изъ рекрутъ.

— Развѣ ты струсилъ?—спрашиваетъ она вѣ себя отъ негодованія: Отвѣчай! Отвѣчай мнѣ! Струсилъ ты? Обробѣлъ? Такой красивый, такой молодецъ и струсилъ. Съ бубномъ стоитъ! Ха! ха! ха!.. Вотъ когда я обижена. Что я? Что я? Онъ плясунъ, а я что? Возьмите меня ктонибудь! Я для него только жила, для него горе терпѣла. Я—богатаго купца дочь, солдаткой хотѣла быть, въ казармахъ съ нимъ жить, а онъ!.. Ахъ, противный! Трудно мнѣ... духу мнѣ!.. духу мнѣ надо... а нѣтъ. Была меня судьба, била... а онъ... а онъ... добилъ (падаетъ къ Аристарху на руки).

Тогда любовь къ Васѣ окончательно гаснетъ въ ней и Параша избираетъ себѣ другого милаго, приказчика отца—Гаврилу, давно любившаго ее безнадежно и въ которомъ она теперь познала именно такого героя и защитника, какого искала.

— Я прямо буду говорить,—обращается она къ отцу: вотъ какъ мнѣ любъ этотъ человѣкъ (Вася): когда ты хотѣлъ его въ солдаты отдать, и я тогда хотѣла за него замужъ идти, не боялась солдаткой быть. А теперь, когда онъ на вохъ, когда у меня и деньги, и приданое будетъ, и мѣшать-то намъ некому, теперь-бы я пошла за него, да боюсь, что онъ отъ жены въ плясуну уйдетъ. И не пойду я за него, хоть осыпъ ты меня съ ногъ до головы золотомъ. Не умѣлъ онъ меня брать бѣдную, не возьметъ и богатую. А пойду я вотъ за кого (беретъ Гаврилу). Не отдашь ты меня за него, такъ мы убѣжимъ да обвѣчаемся. У него ни гроша, у меня столько-же. Это намъ не страшно. У насъ отъ дѣла руки не отвалятся, будемъ хоть по базарамъ гнилыми яблоками торговать, а ужъ въ кабалу ни къ кому не попадемъ. А дороже-то для меня всего: я вѣрно знаю, что онъ меня любить будетъ. Одинъ день я его видѣла, а на всю жизнь душу ему по-вѣрю.

## XII.

Всѣ до сихъ поръ разсмотрѣнные нами женщины Островскаго, не исключая и лучшей изъ нихъ, Параша, при всѣхъ прекрасныхъ качествахъ ихъ, имѣютъ между собою то общее, что всецѣло стоять на почвѣ эгоизма: всѣ онѣ только о томъ и заботятся, какъ-бы устроить свое личное счастье посредствомъ замужества съ избранникомъ своего сердца; разъ удастся имъ достигнуть этого, онѣ замыкаются въ свою семейную скорлупку, дѣлаются хорошими хозяйками и матерями, чѣмъ и ограничивается все ихъ заурядное женское призваніе.

Теперь въ заключеніе намъ придется имѣть дѣло съ женщинами высшаго разряда, составляющими лучшее украшеніе и гордость человѣчества, женщинами, у которыхъ преобладающимъ качествомъ ихъ души является самопожертвованіе.

Женщины подобной категоріи имѣютъ видъ вовсе не какихъ-нибудь величественныхъ героинь и отличаются отнюдь не тѣмъ, что ежеминутно совершаютъ какіе-нибудь громкіе и красивые подвиги. Съ перваго взгляда онѣ ничѣмъ особеннымъ васъ не поразятъ. Такія, повидимому, простыя, скромныя, иногда застѣнчиво-робкія. Жизнь ихъ течетъ самымъ зауряднымъ теченіемъ. Но взгляните въ эту жизнь, и вы увидите, что главное содержаніе ея заключается въ томъ, чтобы жертвовать своимъ досугомъ, силами,

если нужно счастьемъ и даже жизнью, для достиженія удобства и счастья ближнихъ, кто-бы эти ближніе ни были: два-три дорогіе человѣка или все человѣчество. Интересно знать, думаютъ-ли подобныя женщины хоть одну минуту о себѣ самихъ? Постоянно вы видите ихъ хлопочущими и заботящимися о другихъ. И это дѣлается у нихъ не принципиально, не искусственно, а совершенно инстинктивно, такъ что онѣ и сами этого не замѣчаютъ. Таково ужъ у нихъ любвеобильное сердце; онѣ не могутъ жить безъ того, чтобы не голубать, не лелѣять кого-бы то ни было. Даже и половая любовь является въ ихъ глазахъ синонимомъ не наслажденія и счастья, а самопожертвованія. Такова, между прочимъ, Марія Андреевна Незабудкина. Дочь бѣднаго чиновника, не получившая большого образованія, она является передъ нами скромною, безхитрою барышнею дореформеннаго періода, начала 50-хъ годовъ. Она ни о чемъ, повидимому, не мечтаетъ, какъ лишь выйти замужъ, ну и, конечно, если возможно, за любимаго человѣка. Она и любить ужъ молодого, бѣднаго чиновника Мерича, обманываясь въ своей любви и принимая своего возлюбленнаго совсѣмъ не за то, что онъ есть. Но вы видите, что взглядъ у нея на любовь совершенно особенный, какого мы до сихъ поръ не видѣли во всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами женщинахъ. „Чего я для него не сдѣлаю!.. говорить она въ экстазѣ своей страсти: все, все, все!..“ И такъ любить кого-нибудь значитъ быть готово дѣлать для него все. Такой взглядъ Марьи Андреевны на любовь выражается еще опредѣленнѣе, когда разочаровавшись въ Меричѣ, она говоритъ ему:

— Ты любилъ? Никогда ты не любилъ меня. Я одна любила. Теперь мнѣ поведение твое стало ясно. Хоть ужъ и поздно, а я узнала тебя. Господи, Боже мой! И ты смѣешь называть это любовью! Хороша любовь!—не только безъ самопожертвованія, даже безъ увлеченія! На насъ весь судъ, намъ не прощаютъ ничего... Я къ тебѣ бросаюсь на шею, а ты оглядываешься, не увидѣлъ-бы кто. Ты вспомни хорошенько! бывало, ждешь тебя, не дожدهшься; всѣ глаза проглядишь, а ты придеши, какъ ни въ чемъ не бывало, только развѣ обдумаешь дома, что говорить, да какъ-бы сдѣлать шагъ впередъ.

Разочаровавшись въ Меричѣ, Марья Андреевна жертвуетъ, какъ извѣстно, собою и выходитъ замужъ за противнаго ей Беневоленскаго, спасая свою мать отъ грозившаго ей разоренія. Но отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать ее съ тѣми продажными женщинами, о которыхъ мы говорили выше и которыя продаютъ себя ради суетнаго снисканія благъ земныхъ. Это была та единственная жертва, которую была способна принести дореформенная женщина, не умѣвшая зарабатывать пропитаніе себѣ и матери какимъ-либо трудомъ. Но принесла такую ужасную жертву, Марья Андреевна не повѣсила голову, не пришла въ отчаяніе, не стала помышлять о самоубійствѣ; у нея оказалось такъ много душевныхъ силъ, что и въ самую страшную минуту жизни жажда самоотверженія не покинула ея и, гордо поднявъ голову, она бодро стала глядѣть впередъ.

— Передо мною новый путь,—восторженно говорила она, прощаясь съ Меричемъ; и я его напередъ знаю. У меня еще много впереди для женскаго сердца. Говорятъ, онъ грубъ, необразованъ, вѣяточникъ; но это, быть можетъ, оттого, что подлѣ него



не было порядочнаго челоѣка, не было женщины. *Говорятъ, женщина много можетъ сдѣлать, если захочетъ.*—Вотъ моя обязанность. И я чувствую, что во мнѣ есть силы. Я заставлю его любить меня, уважать и слушаться. Наконецъ—дѣти, я буду жить для дѣтей... Нѣтъ, Владиміръ Васильевичъ, вамъ не видать моихъ страданій. Я не доставлю вамъ удовольствія пожалѣть меня. Какія-бы ни были обстоятельства, я хочу быть счастливою, хочу, чего-бы мнѣ это ни стоило.

И она навѣрно достигла своего счастія самопожертвованія. Исправить такого негодая, каковъ былъ Беневоленскій, ей, конечно, врядъ-ли удалось. Но, все-таки, она не пропала, и черезъ нѣсколько лѣтъ вышла на тѣ новые пути, какіе открылись для женщинъ, жаждающихъ принести свои силы на пользу ближнихъ.

Но вышла или не вышла Марья Андреевна на эти новые пути, мы встрѣчаемъ у Островскаго и такихъ женщинъ, которыя стоятъ уже на нихъ. Такова Лизавета Ивановна Иванова въ комедіи „Въ чужомъ пиру похмѣлье“. Тяжелую ношу несетъ она на своихъ плечахъ, прокармливая и себя, и отца своими трудами, и видъ суроваго подвижничества имѣетъ жизнь ея.

— Нѣтъ, ужъ мы очень много трудимся!—говорить она въ печальномъ раздумьи; что ни говори, какъ себя ни утѣшай, а тяжело, право, тяжело! Ужъ я не говорю о деньгахъ; не говорю о томъ, что за наши труды намъ платятъ мало; хоть-бы уваженіе намъ за нашъ честный трудъ оказывали; такъ и этого нѣтъ. На что ужъ наша хозяйка, и та смотритъ на насъ съ какимъ-то сожалѣніемъ! А всего мнѣ обиднѣе, что смѣются надъ папашей. Онъ, точно, немного страненъ, да, вѣдь, онъ всю жизнь провелъ за книгами, его можно извинить. И что въ этомъ смѣшного, что челоѣкъ ходитъ въ старой шинели, въ старой шляпѣ? А у насъ такая сторона, чуть не въ глаза хохочутъ. Конечно, это невѣжество, въ образованіемъ это пройдетъ; а все-таки тяжело. Вотъ вчера, какъ я шла изъ церкви, какіе-то молодые купцы вслухъ смѣялись надъ моимъ салопомъ. Гдѣ-же я лучше возьму? Ты-же приносишь людямъ пользу почти безкорыстно, тебя-же презираютъ!

Но какъ ни тяжка эта ноша, Лизавета Ивановна не промѣняетъ свою жизнь ни на какую другую, и когда хозяйка предлагаетъ ей выйти замужъ за влюбленнаго въ нее богатаго купчика, она отвѣчаетъ ей:

— „Неужели вы, Аграфена Платоновна, до сихъ поръ меня не знаете? Я ни за какія сокровища не захочу терпѣть униженія. Вѣдь, они за каждую копѣйку вымѣстятъ оскорбленіемъ; а я не хочу переносить ихъ ни отъ кого. То-ли дѣло, какъ мы живемъ съ папашей? Хоть бѣдно да независимо. Мы никого не трогаемъ и насъ никто не смѣетъ тронуть“.

Такова-же, наконецъ, передъ нами и Лиза въ драмѣ „Пучина“, прокармливающая всю свою семью неуспыннымъ и неблагодарнымъ трудомъ. Не въ ореолѣ недоступнаго совершенства и не на пьедесталѣ безукоризненнаго геройства рисуется передъ нами эта великая и святая дѣвушка, а со всѣми тѣми искушеніями, какія преслѣдуютъ на каждомъ шагу труженицу, пригвожденную къ швейной машинѣ. Какимъ поразительнымъ реалистомъ является передъ нами въ этомъ отношеніи Островскій, можно судить по слѣдующей сценѣ, въ которой раскрывается передъ нами

вся философія жизни тысячь труженицъ, едва не умирающихъ съ голоду, не смотря на свой неустанный, отупляющій и подтачивающій физическія силы механический трудъ. Когда бабушка Лизы, Анна Устиновна, напоминаетъ ей объ отдыхѣ, Лиза говоритъ:

— Отдыхъ? Нѣтъ, отдыхать некогда, да и нельзя. Анна Устиновна. Отчего-же нельзя?

Лиза. А вотъ отчего: если работать сплошь, день-за-день, такъ работа легче кажется; а если дать себѣ отдыхъ, такъ потомъ трудно приниматься. Послѣ отдыха работа противна становится.

Анна Устиновна. Что ты, что ты! Господь съ тобой!

Лиза. Да, противна. Она и всегда не сладка, да ужъ какъ свыкнешься съ ней, такъ все-таки легче. Вы думаете, что мнѣ самой погулять не хочется! Вы думаете, что мнѣ не завидно, когда другіе гуляютъ?

Анна Устиновна. Какъ, чай, не завидно.

Лиза. Нѣтъ, нѣтъ. Я васъ знаю. Вы думаете, что я съ радостью работаю, что мнѣ это весело; вы думаете, что я святая. Ахъ, бабушка!

Анна Устиновна. Святая, святая и естъ!

Лиза. Сказать-ли вамъ, что у меня на душѣ?

Анна Устиновна. Да что-жъ у тебя, кромѣ ангельскихъ помысловъ?

Лиза. Нѣтъ, лучше не говорить. Сказать, такъ вы испугаетесь.

Анна Устиновна. Ангелъ хранитель надъ тобой!

Лиза. Ахъ, бабушка, я боюсь, я боюсь...

Анна Устиновна. Чего-же ты, душенька, боишься?

Лиза. Я боюсь, что надоѣстъ мнѣ работа, опостылѣетъ, тогда я ее брошу...

Анна Устиновна. Поди ко мнѣ, поди, дитя мое! Господи, сохрани ее и помилуй!

Лиза. Бабушка, давайте молиться вмѣстѣ! Трудно мнѣ, трудно мнѣ, трудно!

Но не тѣмъ только работа опостылѣла дѣвушкѣ, что была сама по себѣ трудна и томительна, а главное дѣло, что она очень скудно вознаграждалась.

— Вотъ что:—говорила она Погуляеву, принявшему въ ней участіе,—укажите мнѣ работу такую, за которую-бы больше платили. А то, посмотрите, вотъ какая комната, вонъ бабушка, какъ она одѣта! у насъ ничего нѣтъ; я работаю, работаю и никакъ изъ нужды не выбьюсь. (Плачетъ).

Погуляевъ. Перестаньте! Давайте потолкуемъ.

Лиза. Я дѣвушка молодая, а взгляните, что на мнѣ! Мнѣ стыдно на улицу выйти. Я не хочу ридиться, мнѣ хоть бѣдное платье, да чтобы оно было чисто, ново, по мнѣ сшито. Я хороша собой, молодая—это ужъ, вѣдь, мое; мнѣ хочется, чтобы и люди видѣли, что я хорошенькая; а у меня сердце замираетъ, какъ я начну надѣвать эти лохмотья; я только себя уродую. (Плачетъ).

Погуляевъ. Да перестаньте-же, перестаньте! Ахъ, Боже мой! Потолкуемъ такъ, безъ слезъ.

Лиза. Легко вамъ говорить: «безъ слезъ!» Да и что толковать! Намъ, бѣднымъ людямъ, толковать некогда. Вы мнѣ работу дайте! Пусть она будетъ вдвое, втрое труднѣе, только-бы мнѣ денегъ больше вырабатывать, чтобы комнату нанять посвѣтлѣе, да одѣться почище.

Погуляевъ. Я вамъ найду работу, погодите.

Лиза. Найдите, только поскорѣй. Мнѣ ужъ надоела нужда, я выбилась изъ силъ. Если найдете, я вамъ буду очень благодарна.

И неужели найдется челоѣкъ, который рѣшится бросить камень въ подобнаго рода дѣвушку, когда, удрученная неблагодарною работой, и видя, что все-бѣе выбивается изъ силъ, въ отчаяніи она рѣшится свернуть на какую-нибудь страшную дорогу, руко-

водствуясь при этомъ чувствомъ самоотверженія, желая, чтобы дорогія ей существа хоть сколько-нибудь пригрѣлись. И Лиза была близка къ этому ужасному шагу, если-бы Погуляевъ не предложилъ ей руку и сердце. Но и выходя замужъ за него на безпечальное житіе, Лиза не покидаетъ своего прежняго пути труда и самопожертвованія.

— А вы меня выучите такой работѣ, — говорить она жениху, за которую много денегъ дадутъ?

Погуляевъ. Да зачѣмъ вамъ теперь?

Лиза. А затѣмъ, чтобы помогать бѣднымъ дѣвушкамъ. Много ихъ въ такомъ положеніи, въ какомъ я была.

Лучше, выше, святѣе этихъ словъ вы не услышите во всѣхъ десяти томахъ сочиненій Островскаго, ни отъ одной изъ 44 героинь его. Здѣсь мы дошли до такой высоты, выше которой современную русскую женщину трудно себѣ представить, и дойдя до такой высоты, мы чувствуемъ, что поднялись на самую вершину горы и намъ остается только перевести духъ и положить перо, предоставивши читательницамъ нашимъ самимъ выбирать, на какую изъ всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами героинь Островскаго жалали-бы онѣ походить.

## АЛЕКСАНДРЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ПУШКИНЪ.

### I.

#### Происхожденіе Пушкина; годы дѣтства и первые проблески дарованія.

1799—1811.

Со стороны отца А. С. Пушкинъ принадлежалъ къ древнему дворянскому роду, упоминаемому въ лѣтописяхъ со временъ Іоанна Грознаго, причѣмъ съ наибольшимъ уваженіемъ относился поэтъ къ предку своему, Григорію Гавриловичу Пушкину, служившему при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ посломъ въ Польшу, съ титуломъ нижегородскаго намістника. Отъ него-то и произошелъ Пушкинъ по прямой линіи.

Мать Пушкина была внучкой Ибрагима Ганнибала, прославленнаго поэтомъ „Арапа Петра Великаго“. Но надо замѣтить, что, изъ тщеславія передъ столичною знатію, Пушкинъ слишкомъ разукрасилъ, какъ происхожденіе, такъ и положеніе при дворѣ Петра своего чернаго предка. Пушкинъ рисуетъ его человекомъ въ своемъ родѣ знатнаго происхожденія изъ рода вліятельныхъ абиссинскихъ князей; свидѣтельствуемъ о томъ, что, взятый изъ Константинополя, гдѣ онъ былъ аманатомъ, Ибрагимъ былъ препровожденъ къ Петру русскимъ посланникомъ; Петръ его самъ крестилъ, воспиталъ, сдѣлалъ потомъ любимымъ своимъ камердинеромъ и секретаремъ, послалъ за границу, гдѣ, не жалѣя денегъ на его содержаніе, доставилъ ему возможность блистать въ высшемъ парижскомъ обществѣ, а когда онъ вернулся въ Россію, государь выѣхалъ ему на встрѣчу за 28 верстъ. На самомъ-же дѣлѣ Ибрагимъ вмѣстѣ съ нѣсколькими другими арапченками, столь-же темнаго происхожденія, какъ и онъ самъ, былъ выкраденъ изъ константинопольскаго гарема русскимъ посланникомъ и препровожденъ Петру, какъ любителю всякаго рода „курьезовъ“ и „монстровъ“, такъ какъ въ то время было въ большой модѣ у насъ содержать среди дворни всякаго рода инородцевъ: араповъ, калмыковъ, турчатъ и т. п. Онъ дѣйствительно былъ воспитанъ при дворѣ Петра и затѣмъ посланъ въ Парижъ, гдѣ

записался во французскую инженерную школу, совершилъ походъ въ Испанію, но не только не имѣлъ возможности блистать въ высшемъ обществѣ, а во все время пребыванія за границей проживалъ въ крайней бѣдности. Изъ его писемъ видно, что, назначивъ ему на содержаніе всего двѣсти сорокъ франковъ въ годъ, Петръ часто совсѣмъ забывалъ о существованіи своего арапа и не всегда выплачивалъ аккуратно жалованье его. По крайней мѣрѣ, въ письмахъ Ибрагима постоянно жалуется на крайнюю бѣдность и проситъ „не учинить его отчаяннымъ“ и не дать „пропасть въ нищету“. Изъ Парижа его „выгнали“ въ Россію, „какъ собаку, безъ денегъ“, по его выраженію, и онъ былъ въ такомъ безпомощномъ положеніи, что собирался идти пѣшкомъ, и „ежели не достанетъ жалованья, то милостыню будетъ просить дорогою“. Возвратился онъ въ свѣтѣ князя В. Л. Долгорукова, который очень имъ тяготился и не хотѣлъ кормить дорогою, такъ что Ганнибалъ выражалъ опасеніе, „какъ-бы ему съ голоду не умереть“...

Нраву онъ былъ жестокаго и крутого. Женившись насильно на дочери флотскаго капитана грека Дюпера и заподозривъ жену въ невѣрности, онъ ее безчеловѣчно пыталъ и истязалъ; потомъ, пользуясь связями, выхлопоталъ разводъ, заточилъ жену въ монастырь, а самъ женился на другой, дочери капитана, Христинѣ Шебергъ. Отъ этого брака родилось у него шестеро дѣтей: четыре сына и двѣ дочери. Изъ нихъ наиболѣе прославился сынъ Иванъ Абрамовичъ, какъ одинъ изъ участниковъ и героев Наваринской битвы и основатель Херсона, гдѣ ему былъ воздвигнутъ памятникъ.

Совсѣмъ иныхъ свойствъ былъ другой сынъ Ибрагима, Осипъ. Служа въ артиллеріи, сначала сухопутной, потомъ морской, онъ отличался пылкимъ темпераментомъ и необузданнымъ нравомъ и до такой степени былъ преданъ всякаго рода дикимъ увлеченіямъ и излишествамъ, что сдѣлался ужасомъ семьи, и отецъ долго не пускалъ его на глаза свои. Женившись затѣмъ на Марьѣ Алексѣевнѣ Пушкиной, онъ скоро развелся съ нею, и въ Псковѣ, служа по выбору, сказавшись вдовцомъ, обвѣнчался, при живой

женѣ, на вдовѣ капитана У. Е. Толстой. Результатомъ этого двоеженства былъ уголовный процессъ, кончившійся тѣмъ, что Осипа Абрамовича высочайшей резолюціей 1784 года развели со второю женою, утвердивши первый бракъ его, сослали на службу въ Средиземное море, а затѣмъ онъ былъ сосланъ на жительство въ свое имѣніе, с. Михайловское, гдѣ и пребывалъ до своей смерти.

Отъ Марьи Алексѣевны у Осипа Абрамовича родилась дочь Надежда. По смерти мужа, Марья Алексѣевна, женщина энергическая, практическая и опытная хозяйка, проживала въ доставшемся ей отъ мужа селѣцѣ Кобринѣ (Петерб. губерніи) и, тщательно воспитывая дочь, вывозила ее въ свѣтъ въ самое утонченное высшее петербургское общество, пользуясь положеніемъ и связями дяди ея и крестнаго отца, Ивана Абрамовича. Здѣсь молодая, красивая креолка, избалованная съ дѣтства ласкою и потворствами, капризная, пылкая, властолюбивая, имѣла успѣхъ и между прочимъ плѣнила сердце блиставшаго въ свѣтскихъ кругахъ своимъ утонченнымъ французскимъ образованіемъ гвардейскаго офицера, Сергѣя Львовича Пушкина.

Братья Пушкины—Сергѣй и Василій Львовичи—представляли собою типы передовыхъ дворянъ того времени: писали стихи, знали много умныхъ изреченій и острыхъ словъ изъ стараго и новаго періода французской литературы и смѣло разсуждали, о чемъ угодно, съ голоса французскихъ энциклопедистовъ, послѣдней прочитанной книжки и на лету подхваченнаго сужденія. Василій Львовичъ былъ извѣстенъ въ литературѣ, какъ одинъ изъ арзамасцевъ, принятый въ это общество Жуковскимъ, и какъ авторъ сатиры „Опасный сосѣдъ“. Въ теченіи 25 лѣтъ непрестанно вращался онъ въ литературныхъ кружкахъ и умеръ съ книжкою Беранже въ рукахъ. Сергѣй Львовичъ, въ свою очередь, постоянно гонялся за разными знаменитостями, русскими и иностранными. Домъ его въ Москвѣ былъ посѣщаемъ членами того блестящаго литературнаго круга, который въ началѣ столѣтія образовался тамъ около Карамзина; въ числѣ друзей и знакомыхъ дома встрѣчались самыя почтенныя имена того времени—Жуковский, Тургеневъ, Дмитриевъ и проч. вмѣстѣ съ именами заѣзжихъ эмигрантовъ, туристовъ, артистовъ и т. п. Вращаясь вѣчно въ свѣтскихъ и литературныхъ кругахъ и ведя разсѣянную и чисто праздничную жизнь, братья поражали современниковъ своей крайнею безпечностью. Это были бонвиваны эпохи регентства на подкладкѣ русской распушенности. Въ положеніе своихъ дѣлъ они не вникали, деревенскую жизнь ненавидѣли; домъ ихъ, по словамъ одного очевидца того времени, всегда былъ на изнанку: въ одной комнатѣ богатая, старинная мебель, въ другой—пустыя стѣны или соломенный стулъ; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня съ баснословною неопрятностью; ветхіе рыдваны съ тощими клачами и вѣчный недостатокъ во всемъ, начиная отъ денегъ до послѣдняго стакана. Имѣнія-же ихъ находились въ такомъ плачевномъ состояніи, что когда для спасенія Болдина посланъ былъ туда дѣятельный управляющій, онъ бѣжалъ изъ имѣнія, при видѣ страшнаго разоренія крестьянъ, до

котораго они были доведены безпечностью и передовыми стремленіями помѣщика.

Но какова-бы ни была изнанка жизни братьевъ Пушкиныхъ, съ внѣшней стороны они были такъ блестящи, и Сергѣй Львовичъ такъ сумѣлъ плѣнить стараго наваринскаго героя, Ивана Абрамовича Ганнибала, что тотъ, безъ долгихъ колебаній, рѣшился отдать за него свою племянницу и крестницу, Надежду Осиповну, промолвивъ: „онъ не очень богатъ, но образованъ“.

Послѣ брака и рожденія первой дочери Ольги, Сергѣй Львовичъ, по заведенному тогда порядку, вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Москву на покой. Послѣ того вплоть до нашествія французовъ Пушкины жили попеременно то въ Москвѣ, то въ своей подмосковной деревнѣ, Захарьинѣ. И вотъ, въ 1799 году, 26 мая, въ четвергъ, въ день Вознесенія Господня, въ Москвѣ, на Молчановкѣ родился у нихъ сынъ Александръ.

До семилѣтняго возраста Пушкинъ не только не представлялъ изъ себя чего-либо замѣчательнаго, но напротивъ того, своею неповоротливостью, тучностью, робостью и неподвижностью приводилъ въ отчаяніе своихъ родителей, и они серьезно опасались даже за его умственные способности. Заставить его бѣгать и играть со сверстниками можно было лишь насильно. Разъ на прогулкѣ онъ незамѣтно отсталъ отъ общества и преспокойно усѣлся посреди улицы. Сидѣлъ онъ такъ до тѣхъ поръ, пока не замѣтилъ, что изъ одного дома кто-то смотритъ на него и смѣется.— „Ну, нечего скалить зубы!“—сказалъ онъ съ досадою и отправился домой.

Когда настойчивыя требованія быть поживѣ превосходили мѣру терпѣнія ребенка, онъ убѣгалъ къ бабушкѣ, Марьѣ Алексѣевнѣ Ганнибалѣ, зализалъ въ ея корзинку и подолгу смотрѣлъ на ея работу. Въ этомъ убѣжищѣ уже никто не тревожилъ его.

Вслѣдствіе этого, ему не пришлось быть любимымъ и балованнымъ сыномъ своей матери. Напротивъ того, Надежда Осиповна выказывала открытое предпочтеніе старшей дочери Ольгѣ и младшему сыну Льву. Это обстоятельство, однако-же, имѣло впоследствии благотворное вліяніе на Пушкина. Неизбалованный въ дѣтствѣ излишними угожденіями, онъ легко переносилъ лишенія и рано привыкъ къ мысли—искать опоры въ самомъ себѣ.

Единственными друзьями его ранняго дѣтства были бабушка Марья Алексѣевна и знаменитая, воспитанная впоследствии, нянюшка Арина Родіоновна. Марья Алексѣевна была женщина замѣчательная, бывалая, прошедшая сквозь огонь и воду послѣ разлуки съ своимъ мужемъ и отличавшаяся не только опытностью, но и здравымъ смысломъ. Нянюшка Арина Родіоновна, представлявшая изъ себя типъ старинныхъ, преданныхъ барскихъ слугъ, отказавшаяся отъ предлагавшейся ей отпускной за себя и за своихъ родныхъ, поражала знаніемъ народнаго поэзіи: весь сказочный міръ былъ извѣстенъ ей, и она передавала его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у нея съ языка. Большую часть народныхъ былинъ и пѣсенъ, которыхъ Пушкинъ такъ много зналъ, слышалъ онъ отъ Арины Родіо-

новны. Такимъ образомъ этимъ двумъ женщинамъ обязанъ былъ Пушкинъ наиболѣе поэтическими элементами своей музы: въ то время, какъ Анна Родіонова раскрывала передъ нимъ сокровища народнаго эпоса, Марья Алексѣевна увлекала его своими разсказами о старинѣ и о своихъ молодыхъ, полныхъ приключеніями, годахъ въ историческій міръ старыхъ дворянскихъ преданій и нравовъ 18-го столѣтія.

На седьмомъ году съ мальчикомъ произошелъ внезапный переворотъ: изъ вялаго и неповоротливаго онъ вдругъ сдѣлался развязнымъ, рѣзвымъ, шаловливымъ. Няню и бабушку, успѣвшую выучить ребенка грамотѣ, смѣнили, по общему обычаю того времени, иностранные гувернеры и учителя. Кромѣ священника Ыликова и еще другого, обучавшихъ закону Божію и нѣкоторымъ другимъ наукамъ, всѣ остальные наставники были иностранцы: первымъ былъ французскій эмигрантъ графъ Монфоръ, музыкантъ и живописецъ; потомъ Руссо, хорошо писавшій французскіе стихи; далѣе Шадель и пр. Нѣмецкому языку, нелюбимому Пушкинымъ въ дѣтствѣ, учила г-жа Лоржъ, англійскому—гувернантка миссъ Велі. Былъ еще учитель, нѣмецъ Шиллеръ, обучавшій и русскому языку. Ученіе шло довольно безпорядочно вслѣдствіе частой смѣны преподавателей и не всегда удачнаго выбора ихъ. Обладая счастливою памятью, Пушкинъ выучивалъ уроки, лишь слушая, какъ отвѣчала ихъ его сестра; когда же перваго спрашивали его, ему приходилось ограничиваться постыднымъ молчаніемъ. Кромѣ нѣмецкаго языка, недолюбливалъ онъ и ариметику, надъ которою онъ пролилъ не мало слезъ, и особенно не давалось ему дѣленіе. Зато французскій языкъ, при непрерывномъ упражненіи и въ классахъ, и въ разговорахъ между собою, усвоенъ былъ отлично, и впоследствии Пушкинъ владѣлъ имъ, какъ своимъ роднымъ. Знаменитый графъ Алексѣй Сентъ-При говорилъ, что слогъ французскихъ писемъ Пушкина сдѣлалъ бы честь любому французскому писателю. Но итальянски Пушкинъ выучился также въ дѣтствѣ: отецъ его и дядя отлично знали этотъ языкъ.

Съ 9-го года начала развиваться въ Пушкинѣ страсть къ чтенію, не покидавшая его всю жизнь. Онъ прочелъ сперва Плутарха, потомъ Гомера въ переводѣ Витобе, потомъ приступилъ къ бібліотекѣ своего отца, состоявшей изъ эротическихъ произведеній французскихъ писателей XVIII вѣка, Вольтера, Руссо, энциклопедистовъ. Сергѣй Львовичъ поддерживалъ въ дѣтяхъ это расположеніе къ чтенію и вмѣстѣ съ ними читывалъ избранныя сочиненія. Говорятъ, онъ особенно мастерски передавалъ Мольера, котораго зналъ почти наизусть. Напролетъ цѣлыя ночи проводилъ Пушкинъ за чтеніемъ всѣхъ книгъ, попадавшихъ ему въ руки.

Къ этому слѣдуетъ присоединить вліяніе тѣхъ литературныхъ и политическихъ разговоровъ, которые непрестанно велись въ гостиной Сергѣя Львовича образованнѣйшими людьми того времени, причѣмъ дѣтямъ позволялось безпрепятственно присутствовать при этихъ разговорахъ, лишь-бы они не вмѣшивались въ рѣчи старшихъ. Наконецъ, въ домѣ устраивали домашніе спектакли и всякаго рода jeux d'esprit, въ которыхъ участвовали и дѣти. Все это вмѣстѣ взятое

сочиненія А. СКАВИЧЕВСКАГО.—II.

сильно вліяло на умственные способности воспримчиваго и талантливаго ребенка и влекло къ очень раннему развитію ихъ. При такихъ условіяхъ, нѣтъ ничего удивительнаго, что первые опыты въ стихотворствѣ появились у Пушкина очень рано, на 12-мъ году. Началось дѣло, по обыкновенію съ подражаній. „Любимымъ упражненіемъ Пушкина, по словамъ сестры его, сначала было импровизировать маленькія комедіи и самому разыгрывать ихъ передъ сестрою, которая въ этомъ случаѣ составляла публику и проносила свой судъ“. Однажды какъ-то она освистала его пьеску „Escamoteur“. Онъ не обидѣлся и самъ на себя написалъ слѣдующую эпиграмму:

Dis moi, pourquoi l'Escamoteur  
Est-il sifflé par le parterre?  
Hélas—c'est que le pauvre auteur  
L'escamota de Molière,

т. е. „Скажи, за что партеръ освисталъ моего „Похитителя“? Увы! за то, что бѣдный авторъ похитилъ его у Мольера“. Ознакомившись съ Лафонтеномъ, Пушкинъ сталъ писать басни. Начитавшись Генриады, онъ задумалъ шуточную поэму въ стихахъ, содержаніе которой заключалось въ войнѣ между карлами и карлицами во времена Дагобера. Гувернантка похитила тетрадку поэта и отдала Шаделю, жалуюсь, что М. Alexandre за подобными вздорами забываетъ о своихъ урокахъ. Шадель расхохотался при первыхъ стихахъ. Раздраженный авторъ тутъ же бросилъ свое произведеніе въ печку. Макаровъ разсказываетъ о стыдѣ и замѣшательствѣ Пушкина, когда въ домѣ графа Бутурлина, вслѣдствіе молвы о поэтическихъ его дарованіяхъ, къ нему приступили всѣ жившія тамъ дѣвушки съ альбомами и просьбами написать что-нибудь. Какой-то господинъ прочелъ русское четверостишіе Пушкина и, для большей торжественности, ударялъ на о. Мальчикъ только успѣлъ сказать „Ah, mon Dieu!“ — и убѣжалъ безъ памяти въ бібліотеку графа, гдѣ долго еще не могъ придти въ себя.

Къ этому ко всему слѣдуетъ замѣтить, что большинство первыхъ стихотворныхъ опытовъ Пушкина было написано имъ на французскомъ языкѣ, изъ чего можно заключить, что въ эту пору дѣтства роднымъ языкомъ поэта, на которомъ онъ и думалъ, и писалъ, былъ французскій.

## II.

### Лицейскіе годы А. С. Пушкина.

1811 — 1817.

Въ то время какъ въ первые годы своей жизни Пушкинъ тревожилъ родителей своею вялостью и неподвижностью, въ послѣдующіе, наоборотъ, онъ привелъ ихъ къ опасеніямъ за его будущее неукротимою пылкостью страстнаго темперамента. Напрасно воспитатели, по большей части плохіе, старались обуздать эту вулканическую натуру; добываясь одного наружнаго повиновенія и употребляя для этой цѣли пошлыя и рутинныя мѣры строгости, они не только не достигли никакихъ результатовъ, но встрѣтили въ

мальчикъ отчаянное сопротивленіе, ежеминутно разрушавшее всѣ ихъ усилія. Къ такому-же отпору приводили увѣщанія и требованія родителей, сопровождаемыя вспышками гнѣва и тщетными угрозами съ ихъ стороны. И вотъ, какъ это всегда бываетъ при подобныхъ обстоятельствахъ, у родителей составилось мнѣніе о сынѣ, какъ о натурѣ вполнѣ извращенной, какъ о вырождѣ, котораго ожидаетъ самая печальная будущность. Единственную надежду начали они питать на удаленіе его изъ родительскаго дома въ какое-либо закрытое заведеніе, гдѣ могли-бы обуздать его чужіе люди суровыми мѣрами строгости. Долго колебались они между двумя модными въ то время заведеніями: іезуитскимъ коллегіумомъ и частнымъ пансіономъ, устроеннымъ аббатомъ Николею и находившимся въ то время въ вѣдѣніи аббата Макара. Наконецъ, порѣшили въ пользу іезуитскаго коллегіума и отправились уже въ Петербургъ хлопотать о поступленіи сына туда, какъ вдругъ учрежденіе Царскосельскаго лицея совершенно измѣнило планы ихъ. Директоромъ лицея былъ назначенъ В. Ѳ. Малиновскій, съ которымъ Серг. Львов. былъ въ дружескихъ отношеніяхъ. При помощи его, а особенно при содѣйствіи А. И. Тургенева, двѣнадцатилѣтній Пушкинъ былъ принятъ въ числѣ 30 воспитанниковъ, изъ которыхъ долженъ былъ состоять лицей.

По единогласному свидѣтельству всѣхъ знавшихъ внутреннюю жизнь семьи Пушкиныхъ, юноша покидалъ родительскій домъ безъ малѣйшихъ сожалѣній; съ своей стороны и семья провожала его холодно, словно сваливая съ плечъ тяжелую обузу. Исключеніе составляла лишь сестра Пушкина, къ которой онъ былъ привязанъ, и лишь съ одной ею прощался онъ съ грустью.

Василій Льв. привезъ племянника въ Петербургъ и держалъ его у себя въ домѣ все время, покуда онъ приготовлялся къ экзамену. 12-го августа 1811 года Пушкинъ, вмѣстѣ съ Дельвигомъ, выдержалъ пріемный экзаменъ и поступилъ въ лицей; 19-го же октября послѣдовало торжественное открытіе лицея и послѣ того начались лекціи.

На лицей, при его основаніи, возлагали большія надежды, предполагая сдѣлать его образцомъ высшихъ учебныхъ заведеній, поставить на одномъ уровнѣ съ наполеоновскими Lycées и англійскими Colleges. Лучшіе и самые передовые свѣтила науки и педагоги того времени были избраны преподавателями лицея, каковы А. И. Кунцынъ, Л. И. Карцевъ, И. К. Кайдановъ, потомъ А. И. Галичъ и др.

Но быстрое охлажденіе къ дѣлу и распушенность, — эти два неизмѣнные качества, сопровождающія всѣ Россійскія предпріятія, — не замедлили сказаться и здѣсь. Послѣ смерти, въ 1814 г., перваго директора лицея, В. Ѳ. Малиновскаго, лицей безъ малаго два года состоялъ подъ управленіемъ профессоровъ, которые поочередно вступали въ директорство, мѣшали другъ другу, безпрестанно ссорились между собою, и для обузданія ихъ оказалось нужнымъ помѣстить въ званіе сперва инспектора классовъ, а потомъ и директора, военнаго челоуѣка аракчеевской школы, отставнаго подполковника С. С. Фролова, принявшагося за дѣло круто, чисто по-фельдфебельски, но скоро уво-

леннаго и оставившаго послѣ себя массу шутовскихъ воспоминаній.

Весь этотъ періодъ, до назначенія директоромъ Е. А. Энгельгардта, Пушкинъ называетъ временемъ анархій, а другіе его товарищи — междоусобицею. Преподаватели въ свою очередь, на второй же годъ спустили рукава: Кунцынъ началъ ограничиваться требованіемъ буквальнаго выучки своихъ тетрадей, и его упрекали вообще въ наклонности къ лѣнливому, апатическому существованію. Кошанскій, читавшій древніе языки и словесность русскую, въ первый годъ увлекалъ слушателей своими бесѣдами о великихъ образцахъ древности и тщательно поправлялъ ихъ упражненія въ слогѣ, но на второй годъ запилъ и совсѣмъ бросилъ преподаваніе. Математикъ Карцевъ, будучи отъ природы юмористомъ и видя общее нерасположеніе къ математикѣ воспитанниковъ, занимался на урокахъ выслушиваніемъ лицейскихъ анекдотовъ и остроумною болтовнею. Добродушный и слабый Галичъ, замѣнявшій Кошанскаго, до такой степени былъ осѣданъ своими воспитанниками, что допускалъ устройство тайныхъ студенческихъ попойекъ въ отведенной ему въ лицѣ аудиторіи.

При такихъ порядкахъ воспитанники были вполнѣ предоставлены самимъ себѣ. Учебныя занятія не особенно обременяли ихъ, и знанія, требуемыя по программѣ, достигались легко, а въ случаѣ недостатка, ловко маскировались подставными вопросами и отвѣтами, выбранными съ общаго согласія учителей и учениковъ. У воспитанниковъ, такимъ образомъ, оставалась масса празднаго времени, въ которое они разгуливали свободно по всему лицей и царскосельскому саду, заводя любовныя интрижки съ горничными и крѣпостными актрисами домашняго театра графа Варо. Вас. Толстого. „Наташа“, которой посвящено одно или два лицейскихъ стихотворенія Пушкина, принадлежала къ лицейскимъ нянюшкамъ; пьесы „Къ актрисѣ“ и „Ты не наслѣдница Клеронъ“ обращены къ крѣпостной актрисѣ. Отъ кутежей между собою въ стѣнахъ лицея воспитанники въ старшихъ классахъ перешли къ кутежамъ съ гвардейцами и вообще золотою молодежью, проживавшею лѣтомъ въ Царскомъ Селѣ на дачахъ. Изрѣдка они устраивали школьные бунты и протесты; такъ, они изгнали изъ заведенія инспектора, М. Ст. Пилецкаго-Урбановичъ, ожесточившаго воспитанниковъ своею религіозною навязчивостью, презрительными отзывами о семействахъ своихъ питомцевъ и іезуитскимъ обращеніемъ, скрывавшимъ подъ личиною снисхожденія много жестокости и коварства.

Нужно-ли послѣ того удивляться той малоуспѣшности, которую обнаружилъ Пушкинъ на экзаменахъ, и тому, что въ аттестатѣ его даже по русскому языку значится посредственная отмѣтка? Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы такъ ужъ совсѣмъ ничѣмъ и не былъ обязанъ онъ лицей. Кое-что запало въ голову воспитанниковъ и отъ лекцій Кунцына и Кошанскаго. Не мало вліянія оказали на нихъ, по свидѣтельству М. А. Корфа, бесѣды учителя французской словесности де-Бужи, брата Марата; онъ весьма способствовалъ къ укрѣпленію мыслительныхъ силъ въ воспитанникахъ, постоянно стараясь приучать ихъ къ отчетливому

представленію и изложенію того, что они слышали, видѣли и что возникало въ ихъ головахъ. — Но наиболѣе обязанъ былъ Пушкинъ лицейской богатой библіотекою, пользованіе которою было предоставлено воспитанникамъ безъ малѣйшихъ ограниченій.

Имѣя массу свободнаго времени и предоставленный исполнѣ самому себѣ, съ жаромъ набросился Пушкинъ на книги лицейской библіотеки; дни и ночи читалъ онъ безъ отдыха, причеиъ болѣе всего интересовали его книги по исторіи и французской словесности. Напрасно Дельвиіъ старался пріохотить его къ изученію нѣмецкой литературы; Пушкинъ покинулъ своего товарища на первыхъ попыткахъ ознакомиться съ Клопштокомъ. Товарищи относились къ Пушкину сначала нѣсколько непріязненно, видя его умственное превосходство надъ ними и замѣчая, что онъ многое прочелъ, о чемъ они и не слышали, и все, что читалъ, помнилъ. Они прозвали его „французомъ“, за отличное знаніе французскаго языка, что очень оскорбляло юношу въ эпоху войны 1812 года, при всеобщей ненависти ко всему французскому. Не мало въ первое время отталкивало отъ него расположеніе его къ насмѣшкамъ и преслѣдованію непріязненныхъ личностей, доводившее иногда многихъ до дѣтскаго отчаянія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружилось довѣрчивое и любящее сердце Пушкина и скромность, заставлявшая его не только не кичиться и не важничать передъ товарищами своими знаніями и талантами, но, напротивъ того, показывать, что все научное онъ не считаетъ ни во что, и мастеръ только бѣгать, прыгать черезъ стулья, бросать мячикъ и проч. При такихъ качествахъ характера, Пушкинъ скоро побѣдилъ непріязнь къ себѣ товарищей и сдѣлался, напротивъ того, душою класса, а затѣмъ коноводомъ литературнаго кружка. Этотъ литературный кружокъ образовался едва ли не тотчасъ по открытіи лицея; участниками въ немъ были: Дельвиіъ, Илличевскій, Корсаковъ, князь А. М. Горчаковъ, баронъ М. А. Корфъ, С. Г. Ломоносовъ, Д. Н. Масловъ, Н. Г. Ржевскій, В. К. Кюхельбекеръ, М. Л. Яковлевъ. Литературныя занятія кружка заключались во-первыхъ — въ изданіи рукописныхъ журналовъ, въ которыхъ члены помѣщали свои произведенія, а во-вторыхъ — въ особенной литературной игрѣ. Составивъ одинъ общій кругъ, товарищи обязывали каждаго рассказать повѣсть или, по крайней мѣрѣ, начать ее. Въ послѣднемъ случаѣ, слѣдующій за рассказчикомъ принималъ ее на томъ мѣстѣ, гдѣ она остановилась, и развивалъ далѣе; третій въ свою очередь продолжалъ ее и т. д., пока повѣсть не приходила къ окончанію. Дельвиіъ первенствовалъ въ этой гимнастикѣ воображенія; его никогда нельзя было застать въ располыхъ: пнтриги, завязки и развязки были у него всегда готовы. Пушкинъ уступалъ ему въ способности придумывать наскоро происшествія и часто прибѣгалъ къ хитрости. Разъ изложилъ онъ восхищеннымъ слушателямъ исторію 12 спящихъ дѣвъ, умолчавъ объ источникѣ, откуда почерпнулъ ее. Тогда же, въ грубыхъ конечно чертахъ, онъ передалъ двѣ повѣсти, имъ самимъ придуманныя: „Метель“ и „Выстрѣлъ“, которыя послѣдствіемъ явились въ „Повѣстяхъ Бѣлкина“.

Подъ вліяніемъ этихъ литературныхъ игръ и за-

нятий кружка, Пушкинъ очень скоро перешелъ отъ французскихъ стиховъ къ русскимъ и на первыхъ порахъ наиболѣе прославился между товарищами своими колкими и жѣткими эпиграммами. Н. О. Кошанскій очень строго отнесся къ первымъ опытамъ своего ученика, старался отвратить его отъ попытокъ сочинительства и только позднѣе, убѣдившись въ его талантѣ, съ жаромъ принялся знакомить его съ теоріей словесности и классическими произведеніями древности, но это продолжалось недолго и кончилось съ несчастною болѣзнью наставника, о которой мы выше говорили.

Первые опыты Пушкина, извѣстные подъ именемъ „лицейскихъ стихотвореній“, носятъ на себѣ вліяніе всѣхъ тѣхъ писателей, которыми увлекался Пушкинъ въ своемъ отрочествѣ. Изъ русскихъ писателей это были Карамзинъ, Жуковский и, въ особенности, Батюшковъ. Послѣдній производилъ на Пушкина самое сильное впечатлѣніе и былъ главнымъ учителемъ его въ отношеніи пластичности формъ и той тонкой, граціозной, чисто классической гармоніи между содержаніемъ и формами, какою наиболѣе отличался авторъ „Умирающаго Тасса“. Пушкинъ высоко цѣнилъ даже сходство, какое могутъ представлять нѣкоторые изъ собственныхъ его стиховъ съ манерою Батюшкова. Что же касается содержанія лицейскихъ стихотвореній, въ этомъ отношеніи Пушкинъ подчинился вліянію той школы французскихъ анакреонтическихъ писателей, на которой онъ былъ воспитанъ въ родительскомъ домѣ, каковы — Шенье, Шамель, Берни, Грессе, Грекуръ, Парни. Этииъ вліяніемъ обуславливается и тотъ веселый и нѣсколько легкомысленный взглядъ на жизнь, и то обиліе эротическаго и вакхическаго элементовъ, какое мы встрѣчаемъ въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина. Но какъ бы ни были расположены смотрѣть отрицательно на всѣ подобныя бездѣлки люди, требующіе отъ поэзіи серьезнаго содержанія, нельзя отрицать и нѣкоторой доли благотворнаго вліянія, какое оказали вышеупомянутые писатели на характеръ поэзіи Пушкина: они сразу поставили ее на реальную почву изображенія земныхъ, опредѣленныхъ, всѣми ощущаемыхъ и каждому знакомыхъ радостей и печалей. Это одно составляло большой шагъ впередъ отъ господствовавшаго въ то время въ нашей литературѣ мистическаго романтизма съ его скорбными томленіями — неизвѣстно о чемъ, и порываніями — неизвѣстно куда.

Первое стихотвореніе Пушкина, вышедшее въ свѣтъ, было посланіе къ „Другу Стихотворцу“, напечатанное въ № 13 „Вѣстника Европы“ съ подписью: Александръ Н. К. ш. п. Затѣмъ, въ томъ же году, появились въ томъ же „В. Евр.“, издававшемся Вл. В. Измайловымъ: „Кольна“, „Венерѣ отъ Лансы“, „Опытность и Блаженство“. Но наиболѣе памятный для Пушкина годъ былъ 1815-й. Съ него начинается литературная извѣстность и слава его. Въ этомъ году подъ стихами его уже находимъ полное его имя. О немъ заговорили.

Въ январѣ 1815 года, 4-го и 8-го, въ первый разъ происходило въ лицѣ торжественное публичное испытаніе, на которое нарочно пріѣхали изъ Петербурга многіе важные государственные люди и ревнители



просвѣщенія; между прочимъ присутствовалъ и Державинъ. Вотъ какъ вспоминаетъ Пушкинъ объ этомъ глубоко врѣзавшемся въ его память экзаменѣ: „Державинъ былъ очень старъ. Онъ былъ въ мундирѣ и въ плисовыхъ сапогахъ. Экзаменъ нашъ очень его утомилъ: онъ сидѣлъ, поджавши голову рукою; лице его было безсмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Портретъ его—гдѣ представленъ онъ въ колпакѣ и халатѣ—очень похожъ. Онъ дремалъ до тѣхъ поръ, пока не начался экзаменъ, изъ русской словесности. Тутъ онъ оживился: глаза заблестали, онъ преобразился весь. Разумѣется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Онъ слушалъ съ живостью необыкновенной. Наконецъ, вызвали меня. Я прочелъ мои „Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ“, стоя въ двухъ шагахъ отъ Державина: голосъ мой отрочески зазвенѣлъ, а сердце забилося съ упорнымъ восторгомъ... Не помню, какъ я кончилъ свое чтеніе: не помню, куда убѣжалъ. Державинъ былъ въ восхищеніи, онъ меня требовалъ, хотѣлъ обнять... Меня искали, но не нашли“...

Послѣ этого слухи о появленіи необыкновеннаго таланта не замедлили распространиться по Петербургу. Всѣ дивились. На большомъ обѣдѣ у министра народнаго просвѣщенія, графа Разумовскаго, о Пушкинѣ шелъ общій говоръ. Всѣ предсказывали будущую славу его. Хозяинъ, обратясь къ Сергѣю Львовичу, который находился тутъ-же, замѣтилъ между прочимъ: „Я бы желалъ, однако-жъ, образовать сына вашего къ прозѣ“.—„Оставьте его поэтомъ“—возразилъ съ жаромъ Державинъ.

Столь льстивые отзывы, понятно, помирili родителей съ ихъ блуднымъ сыномъ. Въ то же время Пушкинъ тогда-же сблизился уже съ первоклассными писателями того времени, Жуковскимъ, Карамзиннымъ и Батюшковымъ. Жуковский, бывши въ Москвѣ, получилъ отъ Василія Льва стихи Пушкина „Воспоминанія въ Ц. С.“, отправился къ друзьямъ своимъ и тамъ, читая ихъ вслухъ, останавливался на лучшихъ мѣстахъ и восклицалъ: „вотъ у насъ настоящій поэтъ!“—Лѣтомъ 1815 года, посѣщая часто Царское Село и читая Императрицѣ стихи свои, Жуковский сблизился съ Пушкинымъ и полюбилъ его, какъ родного. Это было время самой громкой славы Жуковского. Три изданія „Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ“ раскупились въ одинъ годъ; „Посланіе къ Имп. Александру“ было принято съ восторгомъ, какъ выраженіе общихъ народныхъ чувствъ. Друзья носили Жуковского на рукахъ. Вдовствующая императрица, Марія Феодоровна, весьма благоволила къ нему. И можете себѣ представить, этого 32-лѣтній поэтъ, дожившій до полнаго развитія своего таланта и апогея своей славы, до такой степени сразу былъ увлеченъ гениемъ Пушкина, что ему, 15-лѣтнему мальчику, сидѣвшему на школьной скамейкѣ, нарочно читалъ свои стихи, и если въ слѣдующія свиданія Пушкинъ не вспоминалъ и не повторялъ ихъ, то Жуковский считалъ такіе стихи слабыми и уничтожалъ ихъ или передѣлывалъ. Въ то же время съ нѣжнымъ, отеческимъ участіемъ Жуковский радовался блестящимъ успѣхамъ Пушкина, снисходилъ къ его увлеченіямъ, прощалъ его заносчивость, берегъ

его, заботился о немъ. Самъ Пушкинъ впоследствии называлъ его своимъ ангеломъ-хранителемъ.

Къ тому-же времени относится и сближеніе Пушкина съ Карамзинымъ. Карамзинъ и прежде уже, будучи знакомъ съ Сергѣемъ Льв. и бывая у нихъ въ домѣ, мелькомъ видѣлъ талантливаго юношу. Въ февралѣ 1816 года онъ привезъ въ Петербургъ къ печати восемь томовъ „Исторіи Госуд. Россійскаго“ и читалъ друзьямъ своимъ посвященіе, которымъ начинается первый томъ исторіи. Пушкинъ присутствовалъ при чтеніи, запомнилъ все и, пришедши домой, записалъ отъ слова до слова, такъ что посвященіе сдѣлалось извѣстно въ лицейскомъ кружкѣ гораздо прежде, чѣмъ было напечатано. Уже тогда Карамзинъ познакомился съ Пушкинымъ ближе и успѣлъ привлечь его къ себѣ ласкою, одобреніями и участіемъ. Но наибольшее сближеніе послѣдовало лѣтомъ въ 1816 году, когда Карамзинъ поселился въ Царскомъ Селѣ. Тамъ, занимаясь продолженіемъ исторіи и печатаніемъ первыхъ ея томовъ, Карамзинъ приглашалъ къ себѣ Пушкина, бесѣдовалъ съ нимъ, и Пушкинъ имѣлъ возможность слушать Исторію Госуд. Рос. изъ устъ самого исторіографа. Пушкинъ горячо полюбилъ Карамзина и все его семейство и сдѣлался у нихъ домашнимъ человѣкомъ. Какъ и Жуковский, Карамзинъ любовался молодымъ поэтомъ, предостерегалъ, удерживалъ, берегъ его и послѣ спасъ въ одну изъ рѣшительныхъ минутъ его жизни.

Къ этому-же періоду относится знакомство и сближеніе Пушкина и съ другими передовыми силами русской литературы того времени, каковы—И. И. Дмитриевъ и Батюшковъ. Съ Дмитриевымъ онъ познакомился черезъ Карамзина; Батюшковъ былъ старый другъ Сергѣя Льв. Наконецъ, тогда-же сблизился съ Пушкинымъ и А. И. Тургеневъ, который до конца жизни оставался съ нимъ въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ и часто съ нимъ переписывался.

Ранніе и быстрые литературные успѣхи побудили Пушкина еще съ большимъ рвеніемъ и страстностью принимать за развитіе своего поэтическаго таланта. Отбывая кое-какъ школьную науку, неглижируя и лѣнясь, въ то-же время дни и ночи просиживалъ юноша въ своей каморкѣ подъ № 14, бесѣдуя съ музами. Довольно сказать, что въ стѣнахъ лицея онъ успѣлъ написать около ста двадцати стихотвореній и тутъ-же задумалъ и началъ писать первую свою поэму „Русланъ и Людмила“.—Но такъ велика была скромность молодого поэта, что и тогда весьма немногія изъ своихъ стихотвореній онъ рѣшался посылать въ печать, причемъ сердился и выходилъ изъ себя, когда нѣкоторые стихотворенія были печатаемы друзьями, помимо его вѣдома. Даже и впоследствии, выпустивши въ 1826 году первое изданіе своихъ произведеній, Пушкинъ изъ 120 лицейскихъ стихотвореній своихъ удостоилъ печати лишь 23 пьесы.

Въ половинѣ мая 1817 года начались въ лицѣ выпускные экзамены и тянулись 15 дней при многочисленной публикѣ. Посѣтителямъ предоставлено было задавать лиценстамъ вопросы, что дало поводъ къ занимательнымъ отвѣтамъ и преніямъ. На экзаменѣ изъ русской словесности Пушкинъ читалъ сочиненное имъ на этотъ случай стихотвореніе „Безвѣріе“,

но отвѣчалъ плохо и былъ выпущенъ 19-мъ, съ чиномъ X класса или гвардіи офицера.

### III.

#### Жизнь и дѣятельность А. С. Пушкина въ С.-Петербургѣ.

1818—1830.

Передъ выходомъ изъ лицей, Пушкинъ мечталъ о военной службѣ. Не задолго передъ тѣмъ появившійся Высочайшій указъ предоставлялъ лицамъ право опредѣляться прямо въ гвардію офицерами, и 12 товарищей Пушкина тотчасъ-же избрали военное поприще. Жизнь военная и молодому поэту представлялась въ самомъ привлекательномъ видѣ. Уже давно онъ познакомился съ нею въ кругу квартировавшихъ въ Царскомъ Селѣ офицеровъ. Къ тому-же, повидимому, онъ имѣлъ всѣ данныя для нея: физическая организація его, крѣпкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражненіями. Онъ славился, какъ неутомимый ходокъ пѣшкомъ, страстный охотникъ до купанья, ѣзды верхомъ, и отлично дрался на эспадронахъ, считаясь чуть-ли не первымъ ученикомъ у извѣстнаго учителя Вальвиля. Пушкину хотѣлось поступить въ лейбъ-гусары, и одинъ знакомый генералъ обѣщалъ ему содѣйствіе, но не удалось молодому поэту носить военнаго мундира. Свиданіе съ отцомъ разстроило всѣ его планы. Сергѣй Львовичъ наотрѣзъ объявилъ, что не въ состояніи содержать сына въ гусарскомъ полку, и позволилъ ему опредѣлиться въ одинъ изъ пѣхотныхъ полковъ гвардіи, но Пушкинъ не захотѣлъ этого и черезъ 4 дня по выходѣ изъ лицей записался въ министерство иностранныхъ дѣлъ, что вполнѣ соответствовало его склонностямъ: служба эта, будучи номинально, предоставляла ему много досуга.

По выходѣ изъ лицей, Пушкинъ снова вернулся подъ родительскій кровъ. Родители его жили теперь уже въ Петербургѣ, а на лѣто уѣзжали въ Псковскую губернію, въ родовое свое село Михайловское. Сюда и пріѣхалъ Пушкинъ съ родными тотчасъ по выпускѣ изъ лицей. „Вышедъ изъ лицей, говорить Пушкинъ въ своихъ запискахъ, я тотчасъ почти уѣхалъ въ псковскую деревню моей матери. Помню, какъ обрадовался я сельской жизни, русской банѣ, клубникѣ и пр., но все это нравилось мнѣ не долго. Я любилъ и донинѣ люблю шумъ и толпу“.

Эта страсть къ городской жизни и къ толпѣ, очевидно была унаслѣдована Пушкинымъ отъ своихъ родителей и особенно отъ отца. Сергѣю Львовичу обязанъ онъ былъ и своимъ тщеславіемъ, страстью тянуться во чтобы то ни стало въ высокое свѣтское общество. Страсть эта, сгубившая его впослѣдствіи, не замедлила обнаружиться при первыхъ-же шагахъ его въ жизни.

Казалось-бы, что и по умственнымъ склонностямъ Пушкина, и по средствамъ родителей онъ долженъ былъ вращаться, преимущественно, въ литературной средѣ, тѣмъ болѣе, что въ этой средѣ онъ съ дѣтскихъ лѣтъ былъ принятъ съ участіемъ, лаской и

любовью первыми литературными свѣтилами того времени. Съ перваго шага въ свѣтъ, Пушкинъ очутился въ обществѣ тогдашнихъ литераторовъ, какъ извѣстный и заслуженный его членъ. Онъ почти совсѣмъ не былъ въ положеніи начинающаго. Едва вышелъ онъ изъ лицей, какъ уже осенью 1817 года онъ былъ принятъ въ члены литературнаго общества Арзамасъ, вокругъ котораго группировались всѣ молодые писатели новаго романтическаго направленія, ратовавшіе противъ устарѣлыхъ классиковъ, которые, въ свою очередь, группировались вокругъ московскаго общества „Бесѣды любителей русскаго слова“ и „Вѣстника Европы“ Каченовскаго. По обычаю арзамасскаго общества всѣмъ членамъ давали особенныя шуточные прозвища, Пушкина называли „сверчкомъ“, потому что, по выраженію одного изъ арзамассцевъ, „въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ Петербурга, спрятанный въ стѣнахъ лицей, прекрасными стихами уже подавалъ онъ оттуда свой звонкій голосъ“. Новый членъ Арзамаса произносилъ, обыкновенно, шуточное похвальное слово какому-либо члену враждебной „Бесѣды любителей русскаго слова“. Неизвѣстно, кому произнесъ похвальное слово Пушкинъ при вступленіи своемъ, но ему дозволено было сказать рѣчь свою александрійскими стихами, которые, къ сожалѣнію, не дошли до насъ. Къ несчастью Пушкина, Арзамасъ скоро разсѣялся. Собраніе, въ которомъ Пушкинъ произнесъ рѣчь свою, было послѣднимъ, такъ какъ члены Арзамаса отозваны были изъ столицы разными обязанностями. Но кромѣ Арзамаса въ Петербургѣ было нѣсколько другихъ литературныхъ обществъ, кружковъ и салоновъ (Общ. любит. словесности, наукъ и художествъ, Общ. соревнователей просвѣщенія и благотворенія, кружокъ А. Н. Оленина, вечера В. А. Жуковскаго), и хотя Пушкинъ не принадлежалъ къ нѣкоторымъ изъ нихъ, однако же слѣдилъ внимательно за ихъ занятіями. На вечерахъ Жуковскаго читалъ онъ пѣсни „Руслана и Людмилы“, подвергая ихъ передѣлкамъ подъ вліяніемъ сужденій и приговоровъ друзей. Извѣстно, что послѣ чтенія послѣдней пѣсни Жуковскій подарилъ автору свой портретъ, украшенный надписью: „Ученику отъ побѣжденнаго учителя“. Батюшковъ-же, прочтя посланіе Пушкина къ Ѳ. Ф. Юрьеву, сжалъ въ рукахъ листокъ бумаги съ этимъ посланіемъ и проговорилъ: „О! какъ сталъ писать этотъ злодѣй!“

Къ этому-же времени относится знакомство Пушкина съ П. А. Катенинымъ, этой благороднѣйшей и замѣчательной личностью того времени. Пушкинъ просто пришелъ въ 1818 году къ Катенину и, подавая ему свою трость, сказалъ: „Я пришелъ къ вамъ, какъ Діогенъ къ Антисфену: побей—но выучи!“ — „Ученаго учить—портить!“ отвѣчалъ Катенинъ. Съ тѣхъ поръ дружескія связи не прерывались, и Катенинъ оказывалъ большое вліяніе на Пушкина, какъ знатокъ языковъ и европейскихъ литературъ. Пушкинъ именно Катенину обязанъ осторожностью въ оцѣнкѣ иностранныхъ поэтовъ, умѣншемъ находить свои достоинства въ писателяхъ различныхъ школъ и особенно хладнокровіемъ при жаркихъ спорахъ, скоро возникшихъ у насъ по поводу классицизма и романтизма. Катенинъ, между прочимъ, помирлялъ

Пушкина съ кн. Шаховскимъ, приверженцемъ классицизма, и съ актрисой А. М. Колосовой, дебюты которой Пушкинъ встрѣтилъ злой эпиграммой.

Но, къ сожалѣнію, Пушкинъ только мелькомъ бывалъ въ литературныхъ кружкахъ и видался со своими друзьями и сотоварищами по перу. Болѣе-же всего его тянуло въ высшій свѣтъ, гдѣ онъ считалъ неприличнымъ носить званіе литератора и всячески старался, чтобы забыли о томъ, что онъ пишетъ стихи. Связи отца и служба по министерству иностранныхъ дѣлъ открыли Пушкину входъ въ лучшіе дома большого свѣта, каковы были гр. Бутурлиныхъ и Воронцовыхъ, кн. Трубецкихъ, гр. Лаваль, Сушковыхъ и пр. Здѣсь Пушкинъ на первыхъ порахъ съ пылкою страстностью увлекся балами и всѣми великосвѣтскими развлеченіями, но большой свѣтъ скоро наскучилъ ему, и онъ кинулся въ вихрь полусвѣта. Страсть къ обществамъ, явнымъ и тайнымъ, различныхъ наименованій, была такъ сильна въ то время, что безпрестанно возникали общества не только литературныя, масонскія, политическія, но эротическія и вакхическія. Таково было, между прочимъ, общество „Зеленой лампы“, основанное Н. В. Всеволожскимъ и у него собиравшееся. Это было оргическое общество, которое въ числѣ различныхъ домашнихъ представленій, какъ изгнаніе Адама и Евы, гибель Содома и Гоморры, устраиваемыхъ имъ въ своихъ засѣданіяхъ, пародировало, между прочимъ, собранія съ парламентскими и масонскими формами, но было посвящено исключительно обсужденію плановъ волокитства, закулисныхъ проказъ и всякаго рода отчаянныхъ шалостей, иногда крайне скандальныхъ, рискованныхъ и опасныхъ; сюда-же входили и кутежи съ богатырскими пари относительно количества выпитыхъ напитковъ и безпрестанныя дуэли изъ-за самыхъ ничтожныхъ пустяковъ, вродѣ какой-нибудь случайной театральной ссоры.

Пушкинъ присоединился, именно, къ этому обществу великосвѣтскихъ безобразниковъ, и какъ велики были излишества, которымъ онъ предавался въ это время, можно судить по тому, что въ теченіи трехъ лѣтъ онъ два раза лежалъ на краю гроба, въ горячкѣ, именно вслѣдствіе постоянныхъ возбужденій организма, не выдерживавшаго подобнаго богатырскаго разгула. Къ этому нужно принять во вниманіе, что кутежи съ золотой молодежью были не только не по физическимъ силамъ Пушкина, но и не по карману его, и онъ очень нуждался въ деньгахъ. За стихи въ то время еще не платили ему; 700 руб., получаемые имъ на службѣ, были каплею въ морѣ для великосвѣтскихъ кутежей, отецъ-же Пушкина не особенно раскошеливался для молодого повѣсы и выводилъ его изъ себя своею скупостью. Такъ, одинъ современникъ, добрый пріятель Пушкина, рассказывалъ, какъ поэту приходилось упрашивать, чтобы ему купили бывшіе тогда въ модѣ бальные башмаки съ пряжками; Сергѣй Льв. же предлагалъ ему свои старые, павловскихъ временъ. „Мнѣ больно видѣть, говорить Пушкинъ въ одномъ письмѣ къ брату, равнодушіе отца моего къ моему состоянію. Это напоминаетъ мнѣ Петербургъ: когда больной, въ осеннюю грязь или въ трескучіе морозы, я бралъ извозчика отъ Анчикина моста, онъ вѣчно

бранился за 80 копѣекъ, которыхъ, вѣрно-бы, ни ты, ни я не пожалѣлъ для слуги“. Если-же и попадала въ карманъ Пушкина лишняя копѣйка, онъ тотчасъ же ставилъ ее ребромъ съ геніальнымъ безразсудствомъ. Такъ, однажды ему случилось кататься на лодкѣ, въ обществѣ, въ которомъ находился и отецъ его. Погода стояла тихая, и вода была такъ прозрачна, что видѣлось самое дно. Пушкинъ вынулъ нѣсколько золотыхъ монетъ и одну за другою сталъ бросать въ воду, любуясь паденіемъ и отраженіемъ ихъ въ чистой влагѣ.

И не смотря на то, что скудость денежныхъ средствъ ставила его безпрестанно въ двусмысленныя и неловкія положенія, сильно тревожившія и огорчавшія его, онъ все-таки продолжалъ тянуться къ знати.

«Пушкинъ,—рассказываетъ о немъ одинъ изъ лицейскихъ друзей его—либеральный по своимъ воззрѣніямъ, часто сердилъ меня и вообще всѣхъ насъ тѣмъ, что любилъ, напримѣръ, вертѣться у оркестра, около знати, которая съ покровительственною улыбкою выслушивала его шутки, остроты. Случалось изъ креселъ сдѣлать ему знакъ, онъ тотчасъ прабѣжить. Говорилъ, бывало: «что тебѣ за охота, любезный другъ, возиться съ этимъ народомъ—ни въ одномъ изъ нихъ ты не найдешь сочувствія». Онъ терпѣливо выслушаетъ, начнетъ щекотать, обнимать, что обыкновенно дѣлалъ, когда немножко потерпится; потомъ, сморщивъ, Пушкинъ опять съ тогдашними лъвами».

Надо удивляться, какъ среди этой разбѣянной жизни, исполненной непрерывныхъ оргій, у Пушкина хватало времени на литературныя работы. Между тѣмъ, оставшіяся послѣ него тетради свидѣтельствуютъ объ упорномъ, усидчивомъ трудѣ, который онъ положилъ на обработку „Руслана и Людмилы“, трудъ не менѣе четырехъ лѣтъ, такъ какъ, задуманная еще на скамьяхъ лицея, поэма вышла въ свѣтъ въ 1820 г. Появленіе „Руслана и Людмилы“ произвело сильную сенсацию и въ литературѣ, и въ обществѣ, равносильную внезапному пушечному выстрѣлу среди мертвой тишины или яркому лучу свѣта, загорѣвшемуся среди непроницаемаго мрака. Поэма шла совершенно въ разрѣзъ съ установившимися литературными пріемами и не была похожа ни на что существовавшее въ литературныхъ кружкахъ до того времени. Тутъ и тѣни не было ни того высокопарнаго, чопорнаго тона, съ какимъ передавались сюжеты народнаго эпоса классиками, ни плаксиваго сентиментализма и туманной мечтательности романтиковъ: бездна остроумія, шутливое отношеніе къ сказочному міру, живой и здравый реализмъ, проглядывающій сквозь чудеса, и свободное, простое теченіе разсказа, при безпрестанныхъ отступленіяхъ и неожиданныхъ обращеніяхъ къ постороннимъ предметамъ—все это производило впечатлѣніе неслыханной новизны и, въ то-же время, подкупало своею поэтическою обаятельностью. И между тѣмъ, какъ публика на расхватъ покупала поэму, читала и перечитывала ее до заученія наизусть, въ журнальномъ мірѣ поднялся цѣлый сыръ-боръ изъ за нея. Затихшіе въ послѣднее время и утихавшіе споры между классиками и романтиками вспыхнули съ новою силою. И между тѣмъ какъ романтики до небесъ расхваливали поэму, приписывая ей рядъ знаменитыхъ предковъ и у себя, и на сторонѣ, сравнивая ее съ „Душенькой“ Богдановича и съ „Оберо-

номъ "Виланда, п съ „Неистовымъ Орландомъ“ Аріоста, классики на страницахъ „Вѣстника Европы“ обрушились на нее съ ожесточеніемъ и ужасомъ. „Обратите вниманіе, — писалъ критикъ „Вѣстн. Евр.“, — на новый ужасный предметъ, возникающій среди океана россійской словесности... Наши поэты начинаютъ пародировать Киршу Данилова... Просвѣщеннымъ людямъ предлагаютъ поэму, писанную въ подражаніе „Еруслану Лазаревичу“. Критикъ допускаетъ еще собраніе русскихъ сказокъ, какъ собираютъ и безобразныя старыя монеты, но уваженія къ нимъ не понимаетъ. Выписавъ сцену Руслана съ головой, критикъ восклицаетъ: „Но увольте меня относительно описанія и позвольте спросить: если-бы въ московское благородное собраніе какъ-нибудь втерся (предполагая невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ и закричалъ зычнымъ голосомъ: „здорово, ребята!“ — неужели-бы стали такимъ проказникомъ любоваться?... зачѣмъ допускать, чтобы классическія шутки старины снова появлялись между нами?“ (В. Евр., 1820 г., № XI).

Но въ то время, какъ поэма „Русланъ и Людмила“ произвела такой шумъ въ литературномъ обществѣ, автора ея ужъ не было въ Петербургѣ, и очень можетъ быть, что успѣху поэмы на половину содѣйствовало именно это обстоятельство. Дѣло въ томъ, что, крайне чуткій ко всему, что окружало его въ жизни того времени, Пушкинъ не могъ остаться глухимъ къ тому броженію, которымъ было преисполнено наше высшее общество послѣ войны 1812 года. Не съ одними повѣсами и кутидами сталкивался Пушкинъ въ большомъ свѣтѣ и въ гвардейскихъ кружкахъ. Рядомъ съ такими забубенными людьми, какъ бр. Всеволожскіе или Якубовичъ, Пушкинъ былъ близокъ и съ личностями совсѣмъ иного рода, каковы были Катенинъ, Н. И. Тургеневъ, Чаадаевъ, Раевскій, Пущинъ и затѣмъ масса людей, горячо увлекавшихся общественными вопросами своего времени. Онъ былъ охваченъ сѣтью политическихъ кружковъ и тайныхъ обществъ, которые не принимали его въ свои нѣдра, считая слишкомъ легкомысленнымъ и суетнымъ, но въ то-же время вліяніа на его образъ мыслей и вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждали въ немъ желаніе проникнуть въ эти кружки и сдѣлаться членомъ ихъ. И вотъ, оскорбленный этимъ непризнаніемъ, Пушкинъ вздумалъ составить себѣ самостоятельно видное положеніе между ними и разразился массою политическихъ памфлетовъ и эпиграммъ, которые быстро расходились среди публики, увеличивали его популярность, но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлали положеніе поэта съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе опаснымъ. Распространившіеся въ обществѣ слухи объ арестѣ и наказаніи его въ тайной канцеляріи еще болѣе подлили масла.

„Мнѣ было 20 лѣтъ въ 1820 г., говоритъ онъ въ одной своей позднѣйшей запискѣ: нѣсколько несобдуманныхъ словъ, нѣсколько сатирическихъ стиховъ обратили на меня вниманіе. Разнесся слухъ, что я былъ позванъ въ тайную канцелярію и высѣченъ. Слухъ былъ давно общимъ, когда дошелъ до меня. Я почелъ себя опозореннымъ передъ свѣтомъ, я потерялся, драгся — мнѣ было 20 лѣтъ! Я размышлялъ, не приступить-ли мнѣ къ самоубійству, или... Но въ

первомъ случаѣ я самъ-бы способствовалъ къ укрѣпленію слуха, который меня безчестилъ; во второмъ я не смывалъ никакой обиды, потому что обиды не было; я только совершалъ преступленіе и приносилъ жертву общественному мнѣнію, которое презиралъ... Таковы были мои размышленія; я сообщалъ ихъ одному другу, который вполнѣ раздѣлялъ мой взглядъ. Онъ совѣтовалъ мнѣ начать попытки оправданія себя передъ правительствомъ: я понялъ, что это бесполезно. Тогда я рѣшился выказать столько наглости, сколько хвастовства и буйства въ моихъ рѣчахъ и въ моихъ сочиненіяхъ, сколько нужно было для того, чтобы понудить правительство обращаться со мною, какъ съ преступникомъ. Я жаждалъ Сибири, какъ возстановленія чести...».

Результатомъ всего этого было то, что въ одинъ прекрасный день Пушкинъ былъ приглашенъ къ тогдашнему петербургскому генералъ-губернатору, гр. Милорадовичу.

Когда привезли Пушкина, говоритъ И. И. Пущинъ, гр. Милорадовичъ приказывалъ полиціймейстеру ѣхать на его квартиру и опечатать всѣ его бумаги. Пушкинъ, слыша это приказаніе, говоритъ ему: „Графъ! Вы напрасно это дѣлаете. Тамъ не найдете того, чего ищете. Лучше велите дать мнѣ перо и бумагу, я адѣсь же все вамъ напишу“. Милорадовичъ, тронутый этой свободной откровенностью, торжественно воскликнулъ: „Ah! c'est chevaleresque“, и пожалъ ему руку. Пушкинъ сѣлъ, написалъ всѣ контрабандные стихи свои и попросилъ дежурнаго адъютанта отнести ихъ графу въ кабинетъ. Послѣ этого Пушкина отпустили домой и велѣли ждать дальнѣйшаго приказанія. Между тѣмъ Пушкинъ не унимался. Такъ, напримѣръ, вскорѣ послѣ убійства герцога Беррійскаго, онъ въ театрѣ вынималъ изъ кармана портретъ Лувеля и показывалъ его своимъ сосѣдямъ. Жалобы на него дошли, наконецъ, до царя. Преданіе увѣряетъ, будто нѣкоторые предлагали сослать Пушкина въ Соловецкій монастырь. Но государь отвергъ эту строгую мѣру, и такъ какъ Пушкинъ былъ лиценстъ, то онъ обратился за совѣтомъ къ Энгельгардту. Встрѣтившись съ нимъ въ царскосельскомъ саду, Александръ пригласилъ его пройти съ собою.

— „Энгельгардтъ, сказалъ онъ ему: Пушкина надо сослать въ Сибирь. Онъ наводнилъ Россію возмутительными стихами; вся молодежь наизусть ихъ читаетъ. Мнѣ нравится откровенный его поступокъ съ Милорадовичемъ, но это не исправляетъ дѣла“. Энгельгардтъ отвѣчалъ на это: — „Воля вашего величества; но вы мнѣ простите, если я позволю себѣ сказать слово за бывшаго моего воспитанника. Въ немъ развивается необыкновенный талантъ, который требуетъ поощренія. Пушкинъ — теперь уже краѣ современной нашей литературы, а впередъ еще больше на него надежды. Ссылка можетъ губительно подѣйствовать на пылкій нравъ молодого человѣка. Я думаю, что великодушіе ваше, государь, лучше вразумитъ его“.

Между тѣмъ, Пушкинъ бросился къ Карамзину, рассказалъ свои обстоятельства, просилъ совѣта и помощи, со слезами на глазахъ выслушалъ дружескіе упреки и наставленія. „Можете-ли вы, — сказалъ Карамзинъ, — по крайней мѣрѣ общать мнѣ, что въ продолженіи года ничего не напишете противнаго правительству? Иначе я выйду лжецомъ, прося за васъ и говоря о вашемъ раскаяніи“. Пушкинъ далъ ему слово и сдержалъ его: не раньше 1821 года прислалъ онъ изъ Бессарабіи, безъ подписи, стихотвореніе „Кинжалъ“. И. Я. Чаадаевъ, въ свою очередь, былъ у Карамзина и упрашивалъ его съѣздить къ императрицѣ Марьѣ Теодоровнѣ и къ начальнику Пушкина по

службѣ, гр. Каподистріи. Но заступничество Энгельгардта и Карамзина могло только смягчить, а не отменить наказаніе. Пушкинъ былъ, собственно говоря, не сосланъ, а лишь переведенъ на службу въ попечительный комитетъ о колонистахъ южной Россіи, состоявшій въ вѣдомствѣ коллегіи иностранныхъ дѣлъ и находившійся тогда въ Екатеринославѣ. Наскоро собрался онъ въ дорогу, не успѣвъ даже, какъ должно, проститься со своими пріятелями; до Царскаго Села проводилъ его два товарища, баронъ Дельвигъ и М. Л. Яковлевъ. Родители дали ему надежнаго слугу, челоуѣка пожилыхъ лѣтъ, Никиту; и вотъ 5-го мая 1820 г. Пушкинъ оставилъ Петербургъ.

## IV.

## Пребываніе А. С. Пушкина на югѣ.

1820—1824.

Пушкинъ оставилъ Петербургъ безъ особеннаго унынія. Съ одной стороны, его, какъ 20-ти-лѣтняго юношу, увлекало интересное положеніе страдальца за идею, а съ другой—онъ былъ увѣренъ, что изгнаніе его продолжится недолго. Въ красной рубашкѣ съ опояскою, въ поярковой шляпѣ, скакалъ онъ въ страшную жару на перекладныхъ по такъ-называемому бѣлорусскому тракту (на Могилевъ и Кіевъ). Въ половинѣ мая онъ пріѣхалъ въ Екатеринославъ и съ письмомъ отъ гр. Каподистріи явился къ своему новому начальнику, Инзову. Не успѣвъ онъ еще оглядѣться въ своей новой обстановкѣ, какъ занемогъ; онъ простудился, купаясь въ Днѣпрѣ, и схватилъ сильную лихорадку. Положеніе его было очень скверное. Въ полномъ одиночествѣ онъ лежалъ въ скверной избенкѣ на досчатомъ диванчикѣ, небритый, блѣдный, худой. Въ такомъ видѣ застали его петербургскіе знакомые, Раевскіе, проѣзжавшіе черезъ Екатеринославъ на Кавказъ. Николай Николаевичъ Раевскій, ветеранъ 12-го года, командовавшій въ то время 4-мъ корпусомъ первой арміи, по просьбѣ сына своего, принялъ большое участіе въ положеніи больного поэта и рѣшился взять его съ собою на Кавказъ. Инзовъ не сталъ этому препятствовать и удовольіе своего чиновника въ отпускъ на нѣсколько мѣсяцевъ. Такимъ образомъ Пушкинъ прожилъ въ Екатеринославѣ всего двѣ недѣли, и отъ этого города остался въ его поэтической памяти одинъ только образъ: два скованные разбойника, убѣжавъ изъ екатеринославской тюрьмы, спаслись въ цѣпяхъ впасть по Днѣпру. Это происшествіе послужило впоследствии темою для извѣстной поэмы Пушкина „Братья-разбойники“.

Съ Раевскими уѣхали на Кавказъ, кромѣ сына Николая и военнаго доктора Рудыковского, двѣ младшія дочери его—Марія и Софья, гувернантка ихъ—миссъ Маттенъ и компаньонка. Нужно-ли говорить о томъ, что эта поѣздка на Кавказъ весьма живительно подѣйствовала и на тѣло, и на духъ поэта. Онъ выздоровѣлъ отъ своей болѣзни, и въ то-же время кавказская природа сильно подѣйствовала на его воображеніе и дала могучій толчекъ его творчеству. Уже во время этой поѣздки была задумана Пушкинымъ

поэма его „Кавказскій плѣнникъ“ подѣ живыми впечатлѣніями кавказскаго края. „Два мѣсяца жилъ я на Кавказѣ—разсказываетъ Пушкинъ въ письмѣ своемъ къ брату, писанному вскорѣ послѣ возвращенія оттуда,—воды мнѣ были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно сѣрные горячія; впрочемъ, я купался и въ теплыхъ кислосѣрныхъ, въ желѣзныхъ и въ кислыхъ холодныхъ. Всѣ эти цѣлебные ключи находятся не въ дальнемъ разстояніи другъ отъ друга, въ послѣднихъ отрасляхъ Кавказскихъ горъ. Жалѣю, мой другъ, что ты со мною вмѣстѣ не видалъ великолѣпную цѣпь этихъ горъ, ледяныя ихъ вершины, которыя издали на ясной зарѣ кажутся странными облаками, разноцвѣтными, радужными; жалѣю, что не всходилъ со мною на острый верхъ пятихолмаго Бешту, Машука, Желѣзной горы, Каменной, Зибинной“... Но поѣздка на Кавказъ ограничилась минеральными водами: вообще, въ глубь Кавказа Пушкинъ не ѣздилъ въ тотъ разъ и не видалъ ни Терека, ни Казбека. Въ первыхъ числахъ августа путешественники наши окончили купанья и отправились на южные берега Крыма, въ Юрзуфъ, гдѣ находилось остальное семейство Раевского. Этотъ перевѣздъ и трехнедѣльная жизнь въ Юрзуфѣ оставили въ Пушкинѣ лучшія воспоминанія его жизни. Путешествіе окружено было всѣми удобствами—изъ Керчи до Юрзуфа они плыли на военномъ бригѣ, отданномъ въ распоряженіе генерала. Здѣсь, въ прелестную южную ночь, расхаживая по палубѣ, Пушкинъ создалъ свою элегію „Погасло дневное свѣтило“.

Въ Юрзуфѣ, очаровательнѣйшемъ уголкѣ южнаго крымскаго берега, вся семья Раевского была въ сборѣ. Здѣсь впервые Пушкинъ увидѣлъ и познакомился съ двумя старшими дочерьми Раевского, Катериною Николаевною, поражающею своимъ твердымъ характеромъ и развитымъ, чисто мужскимъ умомъ, и съ Еленою Николаевною, 16-лѣтнею дѣвушкою, высокою, стройною, съ прекрасными голубыми глазами. Нѣсколько ранѣе, во время поѣздки на Кавказъ, онъ сошелся съ старшимъ сыномъ Раевского, Александромъ, весьма образованнымъ и умнымъ, и очень увлекся этимъ челоуѣкомъ. Вообще, онъ очень близко и тѣсно сошелся съ семействомъ Раевского, въ которомъ всѣ его полюбили, и въ письмахъ своихъ онъ вспоминаетъ о жизни въ Юрзуфѣ не иначе, какъ съ восторгомъ. „Старшій сынъ его (Раевского),—пишетъ Пушкинъ своему брату—будетъ болѣе, чѣмъ извѣстенъ. Всѣ его дочери—прелесть, старшая—женщина необыкновенная. Суди, былъ-ли я счастливъ: свободная, безпечная жизнь въ кругу милаго семейства; жизнь, которую я такъ люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое, полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображенію, горы, сады, море; другъ мой, любимая моя надежда—увидѣть опять полуденный берегъ и семейство Раевского“... „Въ Юрзуфѣ,—пишетъ Пушкинъ Дельвигу,—жилъ я сиднемъ, купался въ морѣ и объѣдался виноградомъ. Я тотчасъ привыкъ къ полуденной природѣ и наслаждался ею со всѣмъ равнодушіемъ и безпечною неаполитанскаго lazzaroni. Я любилъ, проснувшись ночью, слушать шумъ моря и заслушивался цѣлые часы. Въ двухъ шагахъ отъ дома росъ кипарисъ;

каждое утро и посѣщалъ его и къ нему привязался чувствомъ, исполненнымъ дружбы\*. Къ воспоминаніямъ о жизни въ Юрзуфѣ относится и тотъ женскій образъ, который безпрестанно являлся въ стихахъ Пушкина этого періода и преслѣдуетъ его въ продолженіи трехъ лѣтъ до самой Одессы и тамъ только смѣняется другимъ.

Но не одни только наслажденія природою и влюбчивость занимали Пушкина въ это время. Въ домѣ нашлась старинная бібліотека, въ которой Пушкинъ тотчасъ отыскалъ сочиненія Вольтера и началъ ихъ перечитывать. Въ то-же время, подъ руководствомъ молодыхъ Раевскихъ, онъ практиковался въ англійскомъ языкѣ, и эта практика состояла въ чтеніи Байрона. Знакомство съ британскимъ поэтомъ, бывшимъ въ то время властителемъ думъ и сердецъ во всей Европѣ, произвело могучее вліяніе на Пушкина, и не только на его поэтическое творчество, но и на весь образъ жизни и мыслей. Тотъ оппозиціонный задоръ, который повлекъ за собою высылку Пушкина и который до сихъ поръ скорѣе имѣлъ характеръ молодого буйства, чѣмъ какую-либо серьезную идейную подкладку, теперь окрашивается въ цвѣтъ моднаго байронизма. Байронизмъ этотъ на русской почвѣ сразу получилъ совершенно особенный характеръ. Политическая сторона байронизма стояла здѣсь на послѣднемъ планѣ; на первомъ-же было гордое и презрительное отрицаніе всѣхъ традиціонныхъ обычаевъ, приличій и предразсудковъ и стремленіе къ необузданной свободѣ личности въ проявленіи глубокихъ, сильныхъ и демоническихъ страстей. Поѣздка изъ Юрзуфа въ Каменку, имѣніе Раевскихъ-Давыдовыхъ въ Киевской губерніи, гдѣ Пушкинъ нашелъ цѣлый кружокъ людей, проникнутыхъ байронизмомъ (А. Раевскій, В. Л. Давыдовъ, князь С. Г. Волконскій, В. А. Поджіо), довершила развитіе въ немъ байроновскаго духа. Каменка подчинила себѣ Пушкина тономъ своихъ сужденій о лицахъ и предметахъ, образомъ мышленія, въ ней господствовавшимъ, способомъ относиться къ явленіямъ жизни и людямъ. Ни передъ кѣмъ такъ не старался Пушкинъ блеснуть либерализмомъ, свободой отъ предразсудковъ, смѣлостью выраженій и сужденій, какъ передъ друзьями, оставленными въ Каменкѣ. Можно сказать, что Каменка постоянно послалась передъ его глазами и служила какъ-бы орудіемъ, которое держало его на крайнихъ вершинахъ русско-байроновскаго настроенія.

Между тѣмъ, какъ Пушкинъ путешествовалъ, во внѣшнемъ положеніи его устроилась новая переменна. Вслѣдствіе болѣзни и отпуска намѣстника Бессарабской области А. Н. Бахметова, должность его была возложена временно на Инзова, который, переѣхавъ въ Кишиневъ, перевелъ туда и попечительный комитетъ о колонистахъ южнаго края. Такимъ образомъ, Пушкину пришлось прибыть изъ Каменки въ Кишиневъ, гдѣ онъ и поселился въ домѣ самого Инзова. Эта новая обстановка совершенно соотвѣтствовала байроновскому настроенію Пушкина. Населеніе Кишинева въ ту эпоху было чрезвычайно пестрое и представляло собою картинную смѣсь „племенъ, нарѣчій, состояній“: тутъ встрѣчались на каждомъ шагу и евреи, и болгары, и турки, и французы, и итальянцы.

Возстаніе грековъ наполнило городъ значительнымъ количествомъ греческихъ и молдаванскихъ фамилій, бѣжавшихъ отъ смутъ своей родины. Присутствіе ихъ сообщило Кишиневу сильный восточный характеръ, въ которомъ европейская образованность и восточное варварство смѣшивались оригинально и живописно. Пестрота, шумъ, разнообразіе и полная распушенность нравовъ тогдашняго Кишинева произвели сильное впечатлѣніе на Пушкина: онъ полюбилъ городъ, вполне соотвѣтствовавшій его настроенію духа.

Вмѣшавшись въ эту пеструю толпу, Пушкинъ повелъ жизнь, полную развлеченій, шумныхъ пиршествъ, ухаживаній, ссоръ, дуэлей и всяческихъ приключеній. Не было многочисленнаго собранія или картежной игры, гдѣ-бы не являлся Пушкинъ, нечесанный, небритый, въ молдаванской фескѣ на головѣ, архалукѣ, въ бархатныхъ шароварахъ и съ желѣзною дубинкою въ рукахъ, вообще въ костюмѣ самомъ картинномъ, беспорядочностью своею приводившемъ въ ужасъ чопорныхъ кишиневскихъ чиновниковъ. Безпощадная насмѣшливость, готовность каждую минуту выйти изъ себя и подраться произвели то, что Пушкинъ нажилъ себѣ въ городѣ массу враговъ и недоброжелателей. Сolidные и степенные люди смотрѣли на него съ недоуваніемъ, какъ на дерзкаго отрицателя всего святаго, какъ на какое-то чудовище. Распространилось даже среди общества шуточное прозвище, данное Пушкину какии-то острякомъ—бѣсъ арабскій (каламбуръ—на слово бессарабскій). Послѣ-же двухъ дуэлей (съ З. изъ за картъ и съ Старовымъ изъ-за того, что танцовать,—вальсъ или мазурку) и дикаго скандала съ молдаваномъ Балшемъ, Пушкина положили бояться въ городѣ, какъ бретера и скандалиста. Между тѣмъ добрый и мягкій Инзовъ относился къ своему невозможному подчиненному чисто по-отечески. Онъ журилъ его послѣ каждой шалости, наказывалъ арестами, причемъ приставлялъ даже солдатъ къ его квартирѣ, или-же посылалъ въ командировки. Такъ, во второй половинѣ 1822 года, послѣ одной буйной карточной ссоры, во время которой Пушкинъ, снявши сапогъ, ударилъ противника каблукомъ въ лицо, онъ былъ посланъ въ Измаиль, и во время этой, именно, поѣздки Пушкинъ, встрѣтивъ на дорогѣ цыганскій таборъ, присталъ къ нему и нѣсколько времени кочевалъ вмѣстѣ съ нимъ.

Около трехъ лѣтъ прожилъ Пушкинъ въ Кишиневѣ такою жизнью, отлучаясь очень часто то въ Киевъ и Каменку, то въ Одессу и степи. 28 мая 1823 г. Инзовъ сдалъ должность новороссійскаго генералъ-губернатора новому начальнику, М. С. Воронцову. Тогда-же было соединено въ одной власти и управленіе Бессарабіей, административнымъ центромъ сдѣлалась Одесса, куда переѣхалъ и Пушкинъ, зачисленный въ канцелярію генералъ-губернатора. Сначала Пушкинъ былъ очень радъ этому переводу. Его манила жизнь въ Одессѣ, шумномъ приморскомъ городѣ съ итальянской оперой, богатымъ и образованнымъ купечествомъ, русскими и иностранными путешественниками, наконецъ съ молодыми, способными чиновниками, прибывшими въ край, по выбору Воронцова. Все это сулило Пушкину много новыхъ развле-



ченій, занятій и связей, какихъ Кишиневъ, потерявшій значеніе административнаго центра, не могъ уже дать. Но молодому поэту вскорѣ пришлось горько разочароваться. Оказалось, что здѣсь не могло быть и помина о той свободѣ, простотѣ и фамилиарности отношеній къ службѣ, какія существовали въ Кишиневѣ. Новый начальникъ съ блестящей свитой чиновниковъ и адъютантовъ сразу поставилъ себя центромъ управляемой страны. Только-что пріобрѣтенный край впервые увидалъ власть со всѣми атрибутами блеска, могущества и стойкости. Отъ подчиненныхъ прежде всего теперь требовались бюрократическая *„порядочность“* въ образѣ мыслей, наружное приличіе въ формахъ жизни и преданность къ службѣ, олицетворяемой главой управленія. Пушкинъ, очевидно, не могъ удовлетворить всѣмъ этимъ новымъ требованіямъ и въ то-же время видѣлъ, что тысяча глазъ слѣдятъ за его словами и поступками изъ одного побужденія—наблюдать явленіе, неподходящее къ общему строю; онъ терялся въ этомъ мірѣ приличій, вѣжливаго, дружелюбнаго коварства и холоднаго презрѣнія ко всѣмъ его вспышкамъ, хотя-бы и подсказаннымъ благороднымъ движеніемъ сердца. Онъ пытался сначала принорочиться къ новой сферѣ: обстригся, причистился, пріодѣлся; но этого было мало: по существу онъ оставался все тѣмъ-же страстнымъ, увлекающимся и необузданнымъ, а не ревностнымъ и подтянутымъ бюрократомъ, какимъ его хотѣли видѣть. Извѣстно враждебное отношеніе Пушкина къ командировкѣ, сдѣланной ему Воронцовымъ—ислѣдовать саранчу въ южныхъ стѣнахъ Новороссіи. Командировка придумана была Воронцовымъ съ цѣлью представить Пушкину случай отличиться по службѣ и обратить на себя вниманіе петербургской администраціи, а Пушкинъ принялъ порученіе это за желаніе насмѣяться надъ нимъ, и всѣмъ пзвѣстенъ тотъ шуточный рапортъ въ стихахъ о саранчѣ, который былъ представленъ Пушкинымъ своему начальнику виѣсто дѣловой бумаги. Болѣе всего оскорбляло самолюбіе Пушкина то обстоятельство, что и Воронцовъ, и его подчиненные совершенно игнорировали въ немъ поэта, а смотрѣли лишь, какъ на чиновника. И вотъ, кончилось дѣло тѣмъ, что Пушкинъ, долго сдерживая свое негодованіе, разразился, наконецъ, въ одесскомъ обществѣ потокомъ и прозаическихъ, и стихотворныхъ сарказмовъ противъ своего начальника. Сарказмы эти не замедлили дойти до ушей Воронцова, и результатомъ всего этого было то, что 23 марта 1824 года гр. Воронцовъ обратился къ управляющему мин. иностр. дѣлъ, гр. Нессельроде, прося его доложить государю о необходимости отозвать Пушкина изъ Одессы. Въ началѣ письма, гр. Воронцовъ говоритъ, что, заставъ уже Пушкина въ Одессѣ, при своемъ прибытіи въ городъ, онъ съ тѣхъ поръ не имѣлъ причинъ жаловаться на него, а напротивъ, обязанъ сказать, что замѣчаетъ въ немъ стараніе показать скромность и воздержанность, какихъ въ немъ, говорятъ, никогда не было прежде. Если теперь онъ ходатайствуетъ объ его отзываніи, то единственно изъ участія къ молодому человѣку не безъ таланта и изъ желанія спасти его отъ слѣдствія главнаго его порока—самолюбія.

«Здѣсь есть много людей, пишетъ гр. Воронцовъ: а съ эпохой морскихъ купаній число ихъ еще увеличится, которые, будучи восторженными поклонниками его поэзіи, стараются показать дружеское участіе непомѣрнымъ восхваленіемъ его и оказываютъ ему черезъ то вражескую услугу, ибо способны къ затмѣнію его головы и признанію себя отличнымъ писателемъ, между тѣмъ какъ онъ, въ сущности, только слабый подражатель не совѣтъ почтеннаго образца—лорда Байрона—и единственно трудомъ и долгимъ изученіемъ истинно великихъ классическихъ поэтовъ могъ бы оплодотворить свои счастливыя способности, въ которыхъ ему невозможно отказать... Вотъ почему необходимо извлечь его изъ Одессы. Переводъ снова въ Кишиневъ къ генералу Инзову не пособилъ бы ничему—Пушкинъ все-таки остался бы въ Одессѣ, но ужъ безъ наблюденія, да и въ Кишиневѣ онъ нашелъ бы еще между молодыми греками и болгарамъ довольно много дурныхъ примѣровъ. Только въ какой-либо губерніи могъ бы онъ найти менѣе опасное общество и болѣе времени для усовершенствованія своего возникающаго таланта и избавиться отъ вредныхъ вліяній лести и отъ заразныхъ крайнихъ и опасныхъ идей».

Въ концѣ же письма гр. Воронцовъ выражаетъ твердую надежду, что настоящее его представленіе не будетъ принято въ смыслѣ осужденія или порицанія Пушкина.

Но не успѣло это письмо дойти до Петербурга, какъ о Пушкинѣ возникло новое дѣло. Не задолго до того поэтъ написалъ одному пріятелю письмо, въ которомъ находились между прочимъ слѣдующія строки:

«Читаю библію, святой духъ иногда мнѣ по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я дѣлаю? Пишу пестрыя строфы романтической поэмы и беру уроки чистаго аеизма. Здѣсь англичанинъ—глухой философъ и единственный умный аеизмъ, котораго я еще встрѣтилъ. Онъ написалъ листовъ тысячу, чтобы доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent créateur et régulateur, мимоходомъ уничтожая слабыя доказательства безсмертія души. Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастію, болѣе чѣмъ правдоподобная».

Письмо это было перехвачено на почтѣ и какими-то образомъ распространилось въ спискахъ по Москвѣ. Можно себѣ представить, въ какое негодованіе привело оно тогдашнее мистическое начальство. И вотъ, 11-го іюля 1824 года, отъ гр. Нессельроде послѣдовала гр. Воронцову въ отвѣтъ на его письмо слѣдующая бумага:

«Графъ! Я подавалъ на разсмотрѣніе императора письма, которыя В. Сіят. прислали мнѣ по поводу кол. секр. Пушкина. Его Величество вполнѣ согласился съ вашимъ предположеніемъ объ удаленіи его изъ Одессы, послѣ разсмотрѣнія тѣхъ основательныхъ доводовъ, на которыхъ вы основываете ваши предположенія, и подкрѣпленныхъ въ это время другими свѣдѣніями, полученными Его Величествомъ объ этомъ молодомъ человѣкѣ. Все доказываетъ, къ несчастію, что онъ слишкомъ проникся вредными началами, такъ пагубно выразившимися при первомъ вступленіи его на общественное поприще. Вы убѣдитесь въ этомъ изъ приложеннаго при семъ письма. Его Величество поручилъ мнѣ переслать его вамъ; объ немъ узнала московская полиція, потому что оно ходило изъ рукъ въ руки и получило всеобщую извѣстность. Вслѣдствіе этого, Его Величество, въ видахъ законнаго наказанія, приказалъ мнѣ исключить его изъ списковъ чиновниковъ министерства иностранныхъ дѣлъ за дурное поведеніе; впрочемъ, Его Величество не соглашается оставить его

совершенно безъ надзора, на томъ основаніи, что пользуясь своимъ независимымъ положеніемъ, онъ будетъ, безъ сомнѣнія, все болѣе и болѣе распространять тѣ вредныя идеи, которыхъ онъ держится, и вынудить начальство употребить противъ него самыя строгія мѣры. Чтобы отдалить, по возможности, такія послѣдствія, императоръ думаетъ, что въ этомъ случаѣ нельзя ограничиться только его отставкою, но находить необходимымъ удалить его въ имѣніе родителей, въ Псковскую губернію, подъ надзоръ мѣстнаго начальства. В. Сіят. не замедлитъ сообщить Пушкину это рѣшеніе, которое онъ долженъ выполнить въ точности, и отправить его безъ отлагательства въ Псковъ, снабдивъ прогонными деньгами».

Гр. Воронцовъ получилъ это предписаніе въ Крыму, гдѣ путешествовалъ и былъ въ это время боленъ лихорадкой. По его приказанію, правитель дѣлъ его походной канцеляріи А. И. Левшинъ передалъ исполненіе высочайшей воли относительно Пушкина тогдашнему градоначальнику Одессы, гр. А. Д. Гурьеву. Такъ кончилась годичная служба Пушкина въ свѣтѣ гр. Воронцова.

Но было бы ошибочно думать, что всѣ эти вышеизложенныя мытарства и приключенія совершенно исчерпывали жизнь Пушкина на югѣ. По совершенно справедливому и единодушному замѣчанію всѣхъ биографовъ, Пушкинъ постоянно жилъ какою-то двойною жизнью, точно какъ будто въ немъ подъ одною тѣлесною оболочкою были соединены два человѣка, нисколько не похожіе другъ на друга, и въ то время какъ одинъ Пушкинъ, — заносчивый, высокомерный и тщеславный денди, задорный бретеръ, игрокъ и волокита, — прожигалъ жизнь въ непрестанныхъ оргіяхъ, другой Пушкинъ, скромный и даже застѣнчивый, съ нѣжною и любящею душою, поражалъ усидчивостію и плодотворностію своей умственной дѣятельности. Можно положительно сказать, что онъ пожиралъ всѣ книги, какія только попадались ему на глаза и въ Кіевѣ — у Раевскихъ, и въ Каменкѣ — у Давыдовыхъ, и въ Кишиневѣ — у Инзова, у Орлова, Пушина, И. П. Липранди. Не ограничиваясь однимъ чтеніемъ, онъ дѣлалъ большія выписки изъ книгъ. Въ то же время онъ собиралъ народныя пѣсни, легенды, этнографическіе документы. Подъ конецъ же пребыванія на югѣ страсть къ собиранію книгъ развилась у него до такой степени, что онъ сравнилъ себя со стеклянникомъ, разоряющимся на покупку необходимыхъ ему алмазовъ. Большая часть его денегъ уходила этимъ путемъ, и превосходная бібліотека, оставленная имъ послѣ смерти, свидѣтельствуетъ о разнообразіи и основательности его чтенія. Между прочимъ, онъ успѣлъ выучиться на югѣ по-англійски и довершилъ знаніе итальянскаго языка. Съ жадностію слѣдилъ онъ за ходомъ греческаго возрожденія и велъ даже журналъ событіямъ его. — Не ограничиваясь одними книгами, Пушкинъ, по словамъ И. П. Липранди, прибѣгалъ даже къ хитрости для пополненія недостающихъ ему свѣдѣній: онъ искусственно возбуждалъ споры о предметахъ, его интересовавшихъ, у людей болѣе въ нихъ компетентныхъ, чѣмъ онъ самъ, и затѣмъ пользовался указаніями спора для пріобрѣтенія нужныхъ ему сочиненій.

Какъ плодovито, въ то же время, было его творчество, можно судить по тому, что въ продолженіи

четырехъ лѣтъ жизни его на югѣ были написаны имъ, кромѣ массы лирическихъ стихотвореній, всѣ поэмы его байроновскаго стиля: въ 1821 г. — „Кавказскій плѣнникъ“ и „Братья разбойники“, въ 1822-мъ — „Бахчисарайскій фонтанъ“, въ 1824-мъ — „Цыганы“; рядомъ со всѣмъ этимъ въ 1823-мъ году была уже написана имъ первая глава „Евгенія Онѣгина“. Сверхъ того, по черновымъ тетрадямъ, оставшимся послѣ Пушкина, можно судить, что въ разгаръ своего байроновскаго свободомыслія онъ задумывалъ политическую трагедію „Вадимъ“, предполагая написать картину заговора и возстанія „славянскихъ племенъ“ противъ иноплемennаго ига, напомнить именемъ Вадима извѣстную трагедію Княжнина, удостоенную официального преслѣдованія въ прошлое столѣтіе, и наконецъ открыть эру мужественныхъ Альфіеровскихъ трагедій въ русской литературѣ, на мѣсто любовныхъ классическихъ, которыя въ ней господствовали. Все содержаніе новой трагедіи должно было вертѣться около движенія народныхъ массъ и служить апофеозомъ гражданскимъ доблестямъ ихъ руководителя Вадима, причемъ и „славянскія племена“, и „иноплемennики“ составляли только весьма прозрачную аллегорію, за которой легко было разобрать настоящихъ дѣятелей и настоящихъ враговъ, подразумеваемыхъ трагедіей. Тѣ же черновыя тетради свидѣтельствуютъ, что тогда же Пушкинъ началъ было писать сатирическую поэму, дѣйствіе которой должно было происходить въ аду, при дворѣ сатаны. Наконецъ къ 1822 году слѣдуетъ отнести и ту рукописную поэму, которая была навѣяна, очевидно, чтеніемъ Вольтера и впоследствии доставила ему не мало раскаяній, навлекши непріятности со стороны духовенства.

Находясь подъ вліяніемъ Байрона и Ан. Шенье, увлекаясь въ то же время Овидіемъ и сравнивая свою участь съ участью древняго изгнанника, сосланнаго на тѣ же самые берега Дуная, — въ то же время Пушкинъ и самъ не замѣчалъ, какъ изъ него вырабатывался совершенно самобытный народный русскій художникъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ съ каждымъ новымъ произведеніемъ болѣе и болѣе проглядывало совершенно новое направленіе, о которомъ въ то время никто еще не помышлялъ у насъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ то время, какъ друзья и приверженцы Пушкина ставили его во главѣ русскаго романтизма, въ то время какъ Пушкинъ въ горячей перепискѣ съ друзьями (Бестужевымъ, Рылѣевымъ, Дельвигомъ, кн. Вяземскимъ), разсуждая о животрепещущихъ литературныхъ вопросахъ того времени и о задачахъ критики, путался въ опредѣленіи того самаго романтизма, во главѣ котораго его ставили, никому и въ голову не приходило, что вовсе не романтизмъ составляетъ главную силу и достоинство новыхъ произведеній Пушкина, а ихъ непосредственная, органическая связь съ окружающею поэта жизнью. Но слово *реализмъ* не было еще въ то время произнесено въ нашей литературѣ.

И дѣйствительно, все то обновленіе, которое внесъ Пушкинъ въ нашу литературу, и весь переворотъ, который онъ произвелъ, главнымъ образомъ заключались въ томъ, что, по самому существу своему, Пуш-

кинъ обладалъ глубоко реальнымъ чутьемъ. Съ самыхъ первыхъ своихъ шаговъ, съ лицейскихъ стихотвореній уже, онъ творитъ, по большей части, подъ непосредственнымъ внушеніемъ впечатлѣній жизни. То же самое мы видимъ и во второмъ періодѣ его литературной дѣятельности—байроническомъ. И здѣсь живыя впечатлѣнія постоянно берутъ перевѣсъ, вытѣсняють чуждыя, заимствованныя вѣянія, и этимъ живымъ впечатлѣніемъ обязанъ былъ Пушкинъ лучшимъ, что только создано имъ въ этотъ періодъ. Слѣдя за его жизнью въ связи съ творчествомъ, вы видите, какъ сама жизнь непосредственно внушаетъ ему его созданія: подъ впечатлѣніемъ Кавказа является „Кавказскій плѣнникъ“; Крыму былъ обязанъ Пушкинъ „Бахчисарайскимъ фонтаномъ“; поѣздкою въ Измаиль обуславливается поэма „Цыганы“.—Обратите затѣмъ вниманіе на то, что является лучшимъ, наиболее художественнымъ и обаятельнымъ во всѣхъ этихъ поэмахъ. Конечно, не характеры героевъ, безцвѣтные и отвлеченные, внушенные вліяніемъ Байрона, а живыя картины мѣстной природы и быта. До такой степени тогда уже реализмъ составлялъ главную суть его гения, что каждый разъ, когда онъ сходилъ съ реальной почвы, онъ начиналъ мучиться въ тщетныхъ усиліяхъ создать что либо, и творчество покидало его. Этимъ и объясняются неудачи его создать трагедію „Вадимъ“, сатирическую поэму изъ адской жизни; наконецъ, извѣстно, что и поэму „Братья-Разбойники“ Пушкинъ не кончилъ и сжегъ, и то, что мы имѣемъ подъ этимъ названіемъ, составляетъ лишь отрывокъ, случайно уцѣлѣвшій у Н. Н. Раевского. Все это Пушкину не удалось именно потому, что здѣсь онъ не имѣлъ живыхъ красокъ, непосредственно навѣянныхъ дѣйствительностью, и долженъ былъ создавать отвлеченно. Въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ же онъ сознательно уже становится на реальную почву. Когда появилась первая глава романа еще въ рукописи, друзья Пушкина увидѣли въ ней подражаніе байроновскому Донъ-Жуану; но Пушкинъ съ жаромъ возсталъ на это мнѣніе, возражая, что ничего нѣтъ общаго между Онѣгинымъ и Донъ-Жуаномъ; что у него и въ помыслѣніи не имѣлась байроновская сатира; что первая глава романа есть не болѣе, какъ вступленіе, которымъ онъ остается доволенъ, что слѣдуетъ ожидать другихъ главъ, того, что будетъ далѣе, а далѣе, конечно, и тогда уже носились передъ его глазами картины русской жизни, со всѣми ея особенностями.

Наконецъ, къ этому же періоду жизни Пушкина относится впервые возникшее въ немъ сознаніе, что онъ можетъ существовать безъ службы, безъ покровительства властей и посторонней поддержки, однимъ своимъ литературнымъ трудомъ. До тѣхъ поръ стихи давали ему очень мало денегъ. „Русланъ“ и „Кавказскій плѣнникъ“ оставили его съ пустыми руками. Издатель послѣдняго, Н. И. Гнѣдичъ, раздѣлался съ Пушкинымъ тѣмъ, что прислалъ ему 500 р. асс. и одинъ экземпляръ поэмы. Не то было съ „Бахчисарайскимъ фонтаномъ“. Изданіе его принялъ на себя кн. П. А. Вяземскій, предпославшій ему, какъ извѣстно, свое остроумное предисловіе и вскорѣ послѣ выхода книжки отправившій къ Пушкину въ Одессу

3,000 р. асс., да и то, какъ кажется, этимъ не ограничившійся.

## V.

## А. С. Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ.

1824—1826.

Пушкинъ выѣхалъ изъ Одессы 30-го іюля 1824 г., получивъ 389 р. прогонныхъ денегъ и 150 р. недоданнаго ему жалованья. Онъ обязался подпиской слѣдовать до мѣста назначенія своего черезъ Николаевъ, Елисаветградъ, Кременчугъ, Черниговъ и Витебскъ, нигдѣ не останавливаясь на пути. Маршрутъ этотъ составленъ былъ съ ясною цѣлью удалить его отъ Кіева и тѣхъ польскихъ и русскихъ знакомыхъ, какихъ онъ могъ встрѣтить на пути.

Пушкинъ ѣхалъ скоро, въ точности исполняя свою подписку. По донесенію Псковской земской полиціи, 9-го августа онъ уже прибылъ въ Михайловское, гдѣ его ожидали близкіе — отецъ, мать, братъ и сестра. Но не радостна была встрѣча опальнаго сына съ родителями, не видавшими его нѣсколько лѣтъ. Трусливому отцу Пушкина и легко воспламеняющейся его супругѣ сдѣлалось страшно и за самихъ себя, и за остальныхъ членовъ семьи при мысли, что въ средѣ ихъ находится опальный человѣкъ, преслѣдуемый властями, къ тому же затѣнзимъ. Съ ужасомъ смотрѣли они на дружбу поэта съ младшимъ братомъ и сестрою, опасаясь, что онъ совратитъ и ихъ въ безбожіе. Между тѣмъ начальникъ края, маркизъ Пауллуччи, поручилъ уѣздному Опочецкому предводителю дворянства, Пещурову, пригласить отца Пушкина принять на себя надзоръ за поступками сына, обѣщаясь, въ случаѣ его согласія, воздержаться съ своей стороны отъ назначенія всякихъ другихъ за нимъ наблюдателей. Серг. Льв. имѣлъ слабость принять это предложеніе, и что изъ этого вышло, можно судить по слѣдующему письму Пушкина къ Жуковскому, 31-го окт. 1824 г.:

«Милый, прибѣгаю къ тебѣ. Посуди о моемъ положеніи! Приѣхавъ сюда, былъ я всѣми встрѣченъ, какъ нельзя лучше; но скоро все пережилось. Отецъ, испуганный моею ссылкою, безпрестанно твердилъ, что и его ожидаетъ та-же участь. Пещуровъ, назначенный за мною смотрѣть, имѣлъ безстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче — быть моимъ шпиономъ. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мнѣ съ нимъ объясняться; я рѣшился молчать. Отецъ началъ упрекать брата въ томъ, что я преподаю ему безбожіе. Я все молчалъ. Получаютъ бумагу, до меня касающуюся. Наконецъ, желая вывести себя изъ тягостнаго положенія, прихожу къ отцу моему и прошу говорить искренно — болѣе ни слова... Отецъ осердился. Я поклонился, сѣлъ верхомъ и уѣхалъ. Отецъ призываетъ брата и повелѣваетъ ему не знаться авес се monstre, se fils dénaturé. Жуковский, думай о моемъ положеніи и суди. Голова моя закипѣла, когда я узналъ все это. Иду къ отцу: нахожу его въ спальнѣ и вскакиваю все, что у меня было на сердцѣ цѣлыхъ три мѣсяца; кончаю тѣмъ, что говорю ему въ послѣдній разъ. Отецъ мой, воспользовавшись отсутствіемъ свидѣтелей, выбѣгаетъ и всему дому объявляетъ, что я его билъ... Потомъ, что хотѣлъ бить!... Передъ

тобою не оправдываюсь. Но чего-же онъ хочетъ отъ меня съ уголовнымъ обвиненіемъ?—Рудниковъ сибирскихъ, лишенія чести? Спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ. Не говорю тебѣ о томъ, что терпѣть за меня братья и сестра. Еще разъ спаси меня. Поспѣши, обвиненіе отца извѣстно всему дому. Никто не вѣрить, но всѣ его повторяютъ. Сосѣди знаютъ. Я съ ними не хочу объясняться. Дойдетъ до правительства; посуди, что будетъ. А на меня и суда нѣтъ. Я «hors de lois».

Въ то-же время псковскому губернатору Бор. Ант. Адеркасу Пушкинъ писалъ:

«М. Г. Борисъ Антоновичъ! Государь императоръ высочайше соизволилъ меня послать въ помѣстье моихъ родителей, думая тѣмъ обезпечить ихъ горестъ и участь сына. Но важныя обвиненія правительства пали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нѣжной любви его къ прочимъ дѣтямъ. Рѣшаюсь для его спокойствія и своего собственнаго просить его имп. вел., да соизволитъ меня перевести въ одну изъ своихъ крѣпостей. Ожидая сей послѣдней милости отъ ходатайства вашего пр—ства».

Совѣты-ли Жуковского, или урокъ, полученный отъ сына, подѣйствовали на Сергѣя Льв.; только, уѣхавъ вскорѣ со всѣмъ семействомъ изъ Михайловскаго въ Петербургъ, онъ оттуда, въ ноябрѣ 1824 г. послалъ отказъ отъ возложенной на него обязанности наблюденія за сыномъ. Ссора между отцомъ и сыномъ длилась, однакоже, вплоть до 1828 г., когда они примирились, благодаря усиліямъ Дельвига и особенно тому обстоятельству, что Пушкинъ былъ уже освобожденъ отъ надзора и ласково принятъ молодымъ государемъ. Во второй разъ, такимъ образомъ Серг. Льв. мирился съ сыномъ, благодаря лишь его успѣхамъ.

Пушкинъ остался теперь одинъ въ Михайловскомъ на всю зиму 1824—25 гг. Надзоръ за нимъ перешелъ опять къ Пещурову, а для религіознаго руководства назначенъ былъ настоятель сосѣдняго Святогорскаго монастыря (въ 3 верстахъ отъ Михайловскаго), простой, добрый и, какъ описываетъ его наружность И. И. Пущинъ, нѣсколько рыжеватый и малорослый монахъ, который отъ времени до времени навѣщалъ поэта въ деревнѣ.

Въ октябрѣ 1824 г. Пушкинъ официально былъ вызванъ въ Псковъ для представленія мѣстному начальству. Осталось преданіе въ этомъ городѣ, что онъ тогда же являлся на базаръ и въ частные дома, къ изумленію обывателей, въ мужицкомъ костюмѣ. Дѣлалъ-ли онъ это ради изученія народности, или это было такое же шутовство, которое побудило его въ Кишиневѣ носить восточные костюмы, неизвѣстно. Рядомъ съ этимъ стоитъ другой анекдотъ, что въ годовщину смерти Байрона Пушкинъ отправился въ Святогорскій монастырь къ своему духовному опекуну и отслужилъ тамъ соборне панихиду по новопреставившемуся бояринѣ Георгію.

Образъ жизни Пушкина въ деревнѣ напоминаетъ жизнь Онѣгина въ IV главѣ романа. Онъ также вставалъ рано и тотчасъ же отправлялся налегкѣ къ бѣгущей подъ горой рѣчкѣ и купался. Зимой онъ, какъ и Онѣгинъ, садился въ ванну со льдомъ передъ своимъ завтракомъ. Утро посвящалъ онъ литературнымъ занятіямъ: созданію и приготовительнымъ трудамъ, чтенію, выпискамъ, планамъ. Осенью—въ эту всег-

дашнюю эпоху его сильной производительности—онъ принималъ чрезвычайныя мѣры противъ разсыянности и вообще красныхъ дней: или не покидалъ постели, или не одѣвался вовсе до обѣда. По замѣчанію одного изъ его друзей, онъ и въ столицахъ оставлялъ до осенней деревенской жизни исполненіе всѣхъ творческихъ своихъ замысловъ и въ нѣсколько мѣсяцевъ сырой погоды приводилъ ихъ къ окончанію. Пушкинъ былъ, между прочимъ, неутомимый ходокъ пѣшкомъ и много ѣздилъ верхомъ, но во всѣхъ его прогулкахъ поэзія неразлучно сопутствовала ему. Самъ онъ рассказывалъ, что, бродя надъ озеромъ, тѣшился тѣмъ, что пугалъ дикихъ утокъ сладкозвучными строфами своими. Если случалось ему оставаться дома безъ дѣла и гостей, онъ игралъ двумя шарами на билліардѣ самъ съ собой, а длинные зимніе вечера проводилъ въ бесѣдахъ съ няней, Ариной Родионовной. Онъ посвящалъ почтенную старушку во всѣ тайны своего генія. Арина Родионовна была посредницей въ его сношеніяхъ съ русскимъ сказочнымъ міромъ, руководительницей его въ изученіи повѣрій, обычаевъ и самыхъ приемовъ народа, съ какими подходилъ онъ къ вымыслу и поэзіи. Пушкинъ отзывался о нянѣ, какъ о послѣднемъ своемъ наставникѣ, и говорилъ, что этому учителю онъ много обязанъ исправленіемъ недостатковъ своего первоначальнаго, французскаго воспитанія.

Въ двухъ верстахъ отъ Михайловскаго лежитъ село Тригорское, гдѣ жило доброе, благородное семейство Пр. Ал. Осиповой, съ которымъ Пушкинъ былъ въ постоянныхъ сношеніяхъ, часто тамъ обѣдывалъ, заходилъ туда въ своихъ прогулкахъ и проводилъ тамъ цѣлые дни, пользуясь искреннею дружбою и привязанностью всѣхъ членовъ его. Онъ посвятилъ Пр. Ал. Осиповой свои подражанія корану, написанныя, можно сказать, передъ ея глазами, и вообще семейство это дѣйствовало успокоительно на Пушкина. Онъ встрѣчалъ въ немъ и строгій умъ, и расцвѣтающую молодость, и рѣзвость дѣтскаго возраста; усталый отъ увлеченій первой эпохи своей жизни, Пушкинъ находилъ удовольствіе въ тихомъ чувствѣ и родственной веселости: граціозная гримаса, дѣтская шалость нравились ему и занимали его. Двѣ старшія дочери Осиповой отъ перваго мужа, Анна и Евпраксія Вудльфъ, составляли между собою такую же противоположность, какую мы видимъ между Татьяной и Ольгой въ „Ев. Онѣгинѣ“, и существуютъ догадки, что Пушкинъ написалъ свои безсмертные типы именно подъ вліяніемъ созерцанія этихъ двухъ барышень. Кромѣ нихъ тутъ были еще многочисленныя кузины, напр. Анна Ивановна, впоследствии Трувенеръ (въ семействѣ ее называли Netty), Анна Петровна Кернъ, оставившая записки о своемъ знакомствѣ съ Пушкинымъ, Алек. Ив. Осипова (Алина), кузина Вельяшева; всѣ онѣ были почтены Пушкинымъ стихотворными изъясненіями, похвалами, признаніями и пр.

Но Пушкинъ, оставаясь холоднымъ зрителемъ всѣхъ волненій этой мирной сельской жизни, мало принималъ въ нихъ личнаго участія; мысль его постоянно жила въ далекомъ, недавно покинутомъ краѣ. Полученіе письма изъ Одессы съ печатью, изукрашенною такими же кабалистическими знаками,

какѣ находились и на его перстнѣ,—постоянно составляло событіе въ уединенномъ Михайловскомъ. Пушкинъ запирался тогда въ своей комнатѣ, никуда не выходилъ и никого не принималъ къ себѣ. Памятикомъ настроенія поэта при такихъ случаяхъ служить стихотвореніе „Сожженное письмо“, отъ 1825 г.

Въ то же время однообразіе деревенской жизни такъ сильно тяготило Пушкина, что онъ постоянно рвался изъ своего заточенія, мечтая о бѣгствѣ за границу. Уже въ Одессѣ начались у Пушкина помыслы о бѣгствѣ; это видно изъ стихотворенія „Къ морю“ (1824 г.), гдѣ говорится, что одна только страсть, приковавъ автора къ берегу, помѣшала устроить ему „поэтический побѣгъ“ и тѣмъ отвѣтить на соблазнительные призывы „свободной стихіи“. Затѣмъ, въ письмѣ къ брату Льву Серг. весной 1824 г. изъ Одессы, Пушкинъ пишетъ, что онъ два раза просилъ о заграничномъ отпускѣ съ юга Россіи и оба раза не получалъ дозволенія. „Осталось одно, прибавляетъ онъ: взять тихонько трость и шляпу и поѣхать поспотрѣть на Константинополь. Святая Русь мнѣ становится не втерпѣжъ“. Въ Михайловскомъ онъ постоянно строилъ планы бѣгства въ сообществѣ съ старшимъ сыномъ Осиповой, дерптскимъ студентомъ А. Н. Вульфомъ, который пріѣзжалъ почти на всѣ вакаціи зимой и лѣтомъ въ деревню и тотчасъ же посвященъ былъ Пушкинымъ въ свои замыслы. Сначала Вульфъ, мечтая ѣхать за границу, предлагалъ Пушкину увезти его съ собой подъ видомъ слуги. Но затѣмъ, когда подобный фантастическій замыселъ оказался неудобноисполнимымъ, друзья составили новый планъ. Пушкинъ выдумалъ у себя мнимый аневризмъ и обратился, при посредствѣ родныхъ, съ просьбою къ высшимъ властямъ о разрѣшеніи ему отправиться въ Дерпт лечиться у дерптскаго профессора хирургіи И. Ф. Майера (родственника Жуковскаго). Друзьямъ казалось, что изъ Дерпта ничего уже не стоило удрать за границу. Но и этотъ планъ остался безъ осуществленія, такъ какъ Пушкину вышло разрѣшеніе ѣхать лечиться всего на все въ Псковъ.

Все это происходило въ сентябрѣ и октябрѣ 1825 г., и въ этихъ мечтахъ и порываніяхъ незамѣтно подкралось 14 декабря. Пушкинъ находился въ Тригорскомъ, когда дворовый человѣкъ Осиповой вернулся изъ Петербурга съ извѣстіемъ, что тамъ бунтъ, дороги перехвачены войсками, и онъ самъ едва пробрался между ними на почтовыхъ. Пушкинъ страшно поблѣднѣлъ, услышавъ новость, досидѣлъ кое-какъ вечеръ и уѣхалъ въ Михайловское.

Всю ночь провелъ онъ въ тревожныхъ размышленіяхъ о томъ, что онъ долженъ самолично встрѣтить политическій переворотъ, дарящій ему такъ внезапно полную свободу, и принять участіе, по крайней мѣрѣ, въ дальнѣйшей судьбѣ, если онъ уже не могъ участвовать въ его подготовленіи. Ему казалось необходимымъ явиться поскорѣе въ среду новыхъ людей, нуждающихся теперь въ пособникахъ и совѣтникахъ. И вотъ, не недѣля, раннимъ утромъ слѣдующаго дня Пушкинъ уже выѣхалъ изъ Михайловскаго по направленію къ Петербургу, но, не доѣхавъ до первой станціи, онъ вернулся обратно въ деревню вслѣд-

ствіе дурныхъ примѣтъ: именно, при выѣздѣ изъ Михайловскаго, онъ встрѣтилъ попа, а затѣмъ, когда онъ выбрался въ поле, заяцъ трижды перебѣжалъ ему дорогу.

Послѣдствія бунта не замедлили оправдать эти дурныя примѣты. Пушкинъ пришелъ въ ужасъ и первымъ дѣломъ началъ бросать въ огонь письма и бумаги, мало-малыски компрометирующія его; такъ, между прочимъ, сжегъ онъ свою автобіографію, которую писалъ въ то время. Каждый день приносилъ извѣстія объ арестованіи лицъ, всего менѣе подозрѣвавшихся въ чемъ-либо. Мало-по-малу, вокругъ Пушкина начинала образовываться пустота, словно послѣ жаркой битвы. Нѣсколько разрозненныхъ и уцѣлѣвшихъ личностей поглощено было теперь мыслію о спасеніи самихъ себя. То-же приходилось дѣлать и Пушкину. Съ каждымъ днемъ становилось яснѣе, что единственный способъ выйти на свободу состоялъ въ томъ, чтобы обратиться за нею къ новому правительству, не имѣвшему такихъ поводовъ сердиться и преслѣдовать его, какъ прежде. Въ началѣ 1826 года Пушкинъ уже пишетъ Дельвигу слѣдующее любопытное письмо, видимо составленное и перебѣленное такъ, чтобы его можно было показывать, кому слѣдуетъ: „Насилу ты мнѣ написалъ, и то безъ толку, душа моя. Вообрази, что я въ глуши ровно ничего не знаю; переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мнѣ, какъ будто вчера мы цѣлый день были вмѣстѣ и наговорились до-сыта. Конечно, я ни чемъ не замѣшанъ, и если правительству досугъ подумать обо мнѣ, то оно въ томъ легко удостовѣрится. Но просить мнѣ какъ-то совѣстно, особливо нынѣ; образъ мыслей моихъ извѣстенъ. Гонимый 6 лѣтъ сряду, замаранный по службѣ выключкомъ, сосланный въ глухую деревню за двѣ строчки перехваченнаго письма, я, конечно, не могъ доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавалъ полную справедливость истиннымъ его достоинствамъ; но никогда я не проповѣдывалъ ни возмущенія, ни революціи. Напротивъ. Классъ писателей, какъ замѣтилъ Alfieri, болѣе склоненъ къ умозрѣнію, нежели къ дѣятельности. И если 14 декабря доказало у насъ иное, то на это есть особая причина. Какъ-бы то ни было, я желалъ-бы вполнѣ и искренно помириться съ правительствомъ п, конечно, это ни отъ кого кромѣ его не зависить. Въ этомъ желаніи болѣе благоразумія, нежели гордости, съ моей стороны. Съ нетерпѣніемъ ожидаю рѣшенія участи несчастныхъ и обнародованія заговора. Твердо надѣюсь на великодушіе молодого нашего царя. Не будемъ ни суевѣрны, ни односторонни, какъ французскіе трагики; но взглянемъ на трагедію взглядомъ Шекспира. Прощай, душа моя“.

Друзья Пушкина не замедлили принять горячее участіе въ его стремленіи къ освобожденію, и изъ Петербурга сообщены были ему правильные, формальные пути къ нему. Пушкинъ исполнилъ въ точности программу друзей, и когда наступила надлежащая минута, онъ представилъ псковскому губернатору Адеркасу слѣдующее прошеніе на Высочайшее имя:

«Всемилоостивѣйшій Государь! Въ 1824 г., имѣвъ несчастье заслужить гнѣвъ покойнаго Императора легкомысленнымъ сужденіемъ касательно афеизма, изложеннымъ въ одномъ письмѣ, я былъ исключенъ изъ службы и сосланъ въ деревню, гдѣ и нахожусь подъ надзоромъ губернскаго начальства.

«Нынѣ, съ надеждой на великодушіе Вашего Имп. Величества, съ истиннымъ раскаяніемъ и съ твердымъ намѣреніемъ не противорѣчить моимъ мнѣніямъ общепринятому порядку (въ чемъ и готовъ обязаться подпиской и честнымъ словомъ), осмѣлился я прибѣгнуть къ В. Имп. В. со всеподданнѣйшею моею просьбою:

«Здоровье мое, разстроенное въ первой молодости, и родъ аневрозма давно уже требуютъ постоянного леченія, въ чемъ и представляю свидѣтельство медиковъ: осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить позволенія ѣхать для сего или въ Москву, или въ Петербургъ, или въ чужіе края».

Къ прошенію были приложены медицинское свидѣтельство Псковской врачебной управы о болѣзни Пушкина и слѣдующее обязательство его:

«Я нижеподписавшійся обязуюсь впредь ни къ какимъ тайнымъ обществамъ, подъ какимъ-бы они именемъ ни существовали, не принадлежать; свидѣтельствую при семъ, что ни къ какому тайному обществу такому не принадлежалъ и не принадлежу и никогда не зналъ о нѣмъ. 10-го класса Александръ Пушкинъ. 11-го мая 1826 года».

Прошеніе Пушкина, препровожденное Адеркасомъ генералъ-губернатору, маркизу Пауллуччи, а имъ графу К. В. Нессельроде, лежало безъ движенія въ Москву, куда переѣхалъ дворъ, до дня коронаванія. Черезъ шесть дней послѣ этого событія, именно 28 августа, состоялась высочайшая резолюція о препровожденіи Пушкина съ фельдъегеремъ въ Москву.

Между тѣмъ, какъ во внѣшней жизни Пушкина происходили всѣ эти событія, во внутреннемъ мірѣ его совершился весьма важный переворотъ во время его пребыванія въ Михайловскомъ. Здѣсь онъ окончательно отбѣдлался отъ байронизма и увлекся теперь уже Шекспиромъ. Поэма „Цыганы“, написанная въ 1824 году, была послѣднею данью направленію, которому онъ подчинялся на югѣ. Уже въ 1825 году онъ пишетъ Н. Н. Раевскому:

«Правдоподобіе изложеній и истина разговора — вотъ настоящіе законы трагедіи. Я не читалъ ни Кальдерона, ни Велли, но что за человекъ Шекспиръ! Не могу прійти въ себя! Какъ ничтоженъ передъ нимъ Байронъ-трагикъ, этотъ Байронъ, всего на всего постигшій только одинъ характеръ (у женщинъ нѣтъ характера; у нихъ страсти въ ихъ молодости, и вотъ почему такъ легко выводить ихъ). И вотъ Байронъ раздѣлил между своими героями тѣ и другія черты собственного характера: одному далъ свою гордость, другому — свою ненависть, третьему — меланхолію и проч., и такимъ-то образомъ изъ одного характера — полнаго, мрачнаго и энергичнаго — создалъ множество характеровъ ничтожныхъ. Это вовсе ужъ не трагедія»...

Увлеченіе Шекспиромъ повело Пушкина къ весьма благотворнымъ результатамъ. Во-первыхъ, подъ влияніемъ великаго драматурга, умѣвшаго сохранять гениальную простоту и вѣрность дѣйствительности даже въ моменты самаго трагическаго пафоса, Пушкинъ окончательно вытупился на путь реализма. Не даромъ въ томъ-же самогъ письмѣ онъ говоритъ: „есть и еще заблужденіе: задумавъ какой-нибудь характеръ, стараются высказать его даже въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ (таковы педанты и

моряки въ старыхъ романахъ Фильдинга). Заговорщикъ говорить: „дайте мнѣ пить“ — какъ заговорщикъ, а это смѣшно. Вспомните Байронова „Озлобленнаго“: „онъ заплатилъ!“ (на payeto). Это однообразіе, тупость лаконизма, непрерывная ярость — *развѣ это естественно?* Отсюда и неловкость, и робость разговора. Читайте Шекспира. Нисколько не боясь скомпрометтировать свое дѣйствующее лицо, онъ заставляетъ его разговаривать съ *полной непринужденностью жизни*, ибо увѣренъ, что въ свое время и въ своемъ мѣстѣ оно найдетъ языкъ, соответствующій его характеру“.

Во-вторыхъ, подъ влияніемъ изученія Шекспира и особенно его хроникъ, Пушкинъ тогда уже началъ проникаться тѣмъ исторически-объективнымъ взглядомъ на жизнь, какой мы видимъ во всѣхъ крупныхъ произведеніяхъ послѣдняго періода его дѣятельности. Наконецъ, Шекспиру же былъ обязанъ Пушкинъ и тѣмъ, что онъ съ большимъ еще усердіемъ, чѣмъ прежде, бросился на собираніе русскихъ пѣсенъ, пословицъ, на изученіе русской исторіи, и такъ какъ силы его пришли въ лихорадочное напряженіе, вслѣдствіе чтенія Шекспира, то онъ тотчасъ же и предался мысли осуществить все, имъ навѣянное и указанное, и въ теченіи 1825 года написалъ свою „Комедію о Царѣ Борисѣ“, которой прощался со всѣми старыми своими направленіями и начиналъ новый періодъ своего развитія.

Одновременно съ драмою „Борисъ Годуновъ“ Пушкинъ успѣлъ написать въ Михайловскомъ: шесть главъ „Евгенія Онегина“, „Графа Нулина“, въ свою очередь, навѣяннаго чтеніемъ Шекспира, п свои записки, сожженные имъ послѣ 14-го декабря. Наконецъ, подъ впечатлѣніемъ чтенія Тацита, которое онъ сопровождалъ своимъ „замѣтками“, онъ тогда уже написалъ стихотворную часть „Египетскихъ ночей“. Мы не упоминаемъ здѣсь о массѣ мелкихъ его произведеній, написанныхъ въ это-же время. Такъ богата и плодотворна была его поэтическая дѣятельность въ тиши уединенія села Михайловскаго.

## VI.

### Послѣдніе годы холостой жизни А. С. Пушкина.

1826—1831.

Появленіе въ селѣ Михайловскомъ фельдъегеря, пріѣхавшаго за Пушкинымъ, произвело всеобщій ужасъ и недоумѣніе. Всѣмъ показалось, что поэтъ совсѣмъ исчезалъ изъ числа живыхъ. Это было 2-го или 3-го сентября. Пушкинъ весело провелъ вечеръ въ Тригорскомъ и часу въ 11-мъ отправился домой, провожаемый до дороги, по обыкновенію, молодымъ женскимъ поколѣніемъ семьи. На другой день рано утромъ въ Тригорское прибѣжала няня Пушкина, Арина Родіоновна, съ поразительнымъ извѣстіемъ, что какой-то человекъ, не то солдатъ, не то офицеръ, наскыкавшій въ Михайловское подъ вечеръ, увезъ съ собою Пушкина, и притомъ такъ затопилъ его,



что Пушкинъ успѣлъ только накинуть на себя шинель и захватить деньги.

По приѣздѣ въ Москву, Пушкинъ былъ тотчасъ же представленъ императору Николаю. Вотъ какъ рассказывалъ впослѣдствіи Ан. Гр. Хомутовой объ этомъ представленіи самъ Пушкинъ:

«Фельдъегерь подхватилъ меня изъ моего насильственного уединенія и на почтовыхъ привезъ въ Москву, прямо въ Кремль, и, всего покрытаго грязью, меня ввели въ кабинетъ императора, который сказалъ мнѣ:

— «Здравствуй, Пушкинъ, доволенъ-ли ты своимъ возвращеніемъ?»—Я отвѣчалъ, какъ слѣдовало: Государь долго говорилъ со мною, потомъ спросилъ: — «Пушкинъ, принялъ-ли бы ты участіе въ 14-мъ декабрѣ, еслибъ былъ въ Петербургѣ?»—«Непремѣнно, государь: всѣ друзья мои были въ заговорѣ, и я не могъ-бы не участвовать въ немъ. Одно лишь отсутствіе спасло меня, за что я благодарю Бога!»—«Довольно ты надурчился,—возразилъ императоръ: надѣюсь, теперь будешь разсудителенъ, и мы болѣе сорваться не будемъ. Ты будешь присылать ко мнѣ все, что сочинишь; отнынѣ я самъ буду твоимъ цензоромъ».

Сверхъ того, рассказываютъ еще о слѣдующей подробности свиданія Пушкина съ императоромъ Николаемъ: поэтъ и здѣсь остался поэтомъ. Ободренный снисходительностью государя, онъ дѣлался болѣе и болѣе свободенъ въ разговорѣ; наконецъ, дошелъ до того, что, незамѣтно для себя самого, перешелъ къ столу, который былъ позади его, и почти сѣлъ на этотъ столъ. Государь быстро отвернулся отъ Пушкина и потомъ говорилъ: „съ поэтомъ нельзя быть милостивымъ“.

Между тѣмъ вѣсть объ освобожденіи Пушкина по милостивой аудіенціи, полученной имъ у Государя, быстро разнеслась по Москвѣ и въ торжествахъ, сопровождавшихъ день коронаванія, она была радостно встрѣчена публикой, особенно литературно-образованной. И въ великосвѣтскихъ салонахъ, и въ литературныхъ кружкахъ Пушкинъ былъ принятъ, какъ первый гость; вездѣ встрѣчали его восторженныя оваціи и поклоненіе. Послѣ шестилѣтней ссылки, увлекшись свободой, Пушкинъ весело кружился въ шумѣ и вихрѣ московской жизни, только что отпраздновавшей коронацію. То было горячее литературное время въ Москвѣ: на непрерывныхъ и многочисленныхъ литературныхъ собраніяхъ обсуждались животрепещущіе вопросы, литературные и философскіе, начиная съ судьбы русской словесности до судьбы самой Россіи. Пушкинъ все болѣе и болѣе сходилъ съ молодыми московскими литераторами: былъ на обѣдѣ у Хомякова въ честь основанія „Московского Вѣстника“ и затѣмъ на двухъ собраніяхъ читалъ свою новую, только что написанную драму, сначала у С. А. Соболевскаго, а потомъ у Веневитинова. На первомъ чтеніи слушатели состояли изъ тѣснаго, интимнаго кружка близкихъ знакомыхъ хозяина: П. Я. Чаадаева, Д. В. Веневитинова, гр. М. Ю. Вельгорскаго и И. В. Кирѣевскаго. Второе-же чтеніе, 12-го сентября, происходило при многочисленномъ собраніи ученыхъ и литераторовъ; здѣсь, кромѣ братьевъ Веневитиновыхъ, присутствовали братья Хомяковы, Кирѣевскіе, Мицкевичъ, Баратынскій, Шевыревъ, Погодинъ, Рапчъ, Соболевскій и др. Чтеніе это кончилось шумны-

ми оваціями. „Мы смотрѣли другъ на друга долго,—вспоминаетъ объ этомъ чтеніи Погодинъ—и потомъ бросились къ Пушкину; начались объятія, поднялся шумъ, раздался смѣхъ, полились слезы, поздравленія... Явилось шампанское, и Пушкинъ одушевился, видя такое дѣйствіе на избранную молодежь. Ему было пріятно наше волненіе. Онъ началъ, намъ поддывая жару, читать пѣсни о Стенькѣ Разинѣ, какъ онъ выплывалъ ночью по Волгѣ на остроносой своей лодкѣ; предисловіе къ „Руслану и Людмилѣ“; началъ рассказывать о планѣ для „Дмитрія Самозванца“, о палачѣ, который шутитъ съ чернью, стоя у плахи на Красной площади въ ожиданіи Шуйскаго, о Маринѣ Мнишекъ съ Самозванцемъ — сцену, которую написалъ онъ, гуляя верхомъ, и потомъ позабылъ доловину, о чемъ глубоко сожалѣлъ. О, какое удивительное то было утро, оставившее слѣды на всю жизнь! Не помню, какъ мы разошлись, какъ докончили день, какъ улеглись спать. Да едва-ли кто и спалъ пѣзъ насъ въ эту ночь. Такъ былъ потрясенъ весь нашъ организмъ!“

Но не долго продолжалось радостное настроеніе Пушкина подъ первымъ впечатлѣніемъ только что полученной свободы. Онъ не замедлилъ вскорѣ горько разочароваться и убѣдиться, что эта свобода была крайне условна и ограничена. Между тѣмъ, какъ онъ безпечно наслаждался свѣтскою жизнью въ Москвѣ и упивался литературными оваціями, онъ и не замѣтилъ, какъ нажилъ себѣ врага во всесильномъ гр. Бенкендорфѣ, который каждый день ждалъ отъ него визита, но, не дождавшись, обратился къ нему съ слѣдующимъ письмомъ отъ 30-го сентября:

«М. Г. Ал. С. Я ожидалъ приѣзда Вашего, чтобы объявить высочайшую волю по просьбѣ вашей, но, отправляясь теперь въ С.-Петербургъ и не надѣясь видѣть здѣсь, честь имѣю уведомить, что государь императоръ не только не запрещаетъ приѣзда вашего въ столицу, но предоставляетъ совершенно на вашу волю, съ тѣмъ только, чтобы предварительно испрашивали разрѣшенія черезъ письмо. Его величество совершенно остается увѣреннымъ, что вы употребите отличныя способности ваши на преданіе потомству славы нашего отечества, передавъ вмѣстѣ безсмертію имя ваше. Въ сей увѣренности, его имп. величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметами о воспитаніи юношества. Вы можете употребить весь досугъ, вамъ предоставляется совершенная и полная свобода — когда и какъ представить ваши мысли и соображенія, и предметъ сей долженъ представить вамъ тѣмъ обширнѣйшій кругъ, что на опытѣ видѣли совершенно всю пагубную послѣдствія ложной системы воспитанія. Сочиненія вашихъ никто разсматривать не будетъ: на нихъ нѣтъ никакой цензуры. Государь имп. самъ будетъ и первымъ цѣнителемъ произведеній вашихъ, и цензоромъ. Объявляя вамъ его монаршую волю, честь имѣю присовокупить, что какъ сочиненія ваши, такъ и письма, можете, до представленія его величеству, доставить ко мнѣ; но впрочемъ отъ васъ зависить и прямо адресовать на высочайшее имя».

Пушкинъ и не замѣтилъ въ этомъ письмѣ намека гр. Бенкендорфа на то, что поэтъ не удостоилъ его посѣщенія. Напротивъ того, онъ былъ въ восхищеніи отъ письма графа и показывалъ его всѣмъ и каждому, какъ выраженіе лестной для него царской милости. Онъ воображалъ, что въ подчиненіи его высочайшей цензурѣ самого государя заключается такое-

же довѣріе къ нему, какими пользовался нѣкогда Карамзинъ. Но онъ не замедлилъ горько разочароваться въ этомъ. Въ письмѣ гр. Бенкендорфа не было договорено самаго главнаго: именно, что Пушкинъ не только не могъ ничего печатать до высочайшаго просмотра, но и показывать кому-либо вновь написанное. И вотъ, когда Пушкинъ мирно отдыхалъ въ селѣ Михайловскомъ послѣ всѣхъ московскихъ ованій, вдругъ онъ получаетъ 22-го ноября слѣдующаго рода строгое внушеніе отъ гр. Бенкендорфа:

«М. П. А. С. При отъѣздѣ моемъ изъ Москвы, не имѣя времени лично съ вами переговорить, обратился я къ вамъ письменно съ объявленіемъ высочайшаго соизволенія, дабы вы, въ случаѣ какихъ-либо новыхъ литературныхъ произведеній вашихъ, до напечатанія и распространія оныхъ въ рукописяхъ, представляли-бы предварительно о разсмотрѣніи оныхъ или черезъ посредство мое, или даже прямо его императорскому величеству. Не имѣя отъ васъ извѣщенія о полученіи моего отзыва, я долженъ, однако же, заключить, что оный къ вамъ дошелъ, ибо вы сообщали о содержаніи онаго нѣкоторымъ особамъ. Нынѣ доходить до меня свѣдѣніи, что вы изволили читать въ нѣкоторыхъ обществахъ сочиненную вами вновь трагедію. Это меня побуждаетъ васъ покорнѣйше просить объ увѣдомленіи меня: справедливо-ли такое извѣстіе, или нѣтъ? Я увѣренъ, впрочемъ, что вы слишкомъ благоразсудны, чтобъ не чувствовать въ полной мѣрѣ великодушнаго къ вамъ монаршаго снисхожденія и не стремиться учинить себя достойнымъ онаго».

Письмо это произвело на Пушкина самое подавляющее впечатлѣніе. Онъ убѣдился, что участь его чуть-ли не болѣе зависить отъ гр. Бенкендорфа, чѣмъ отъ государя, и тотчасъ-же написалъ въ Москву М. П. Погодину, съ которымъ онъ условился участвовать въ его новомъ журналѣ, чтобы тотъ остановилъ печатаніе его произведеній: «Милый и почтенный, — писалъ онъ — ради Бога, какъ можно скорѣе остановите въ московской цензурѣ все, что носитъ мое имя. Покажѣтъ не могу участвовать и въ вашемъ журналѣ; но все перемелется и будетъ мука, а намъ — хлѣбъ да соль. Некогда пояснять; до скорого свиданья. Жалѣю, что договоръ нашъ не состоялся».

Въ тотъ-же день (29-го ноября) онъ послалъ гр. Бенкендорфу извинительное письмо въ самыхъ подобострастныхъ и льстивыхъ выраженіяхъ, изъясняя, что онъ дѣйствительно въ Москвѣ читалъ свою трагедію нѣкоторымъ особамъ — конечно, не изъ ослушанія, но только потому, что худо понималъ высочайшую волю государя. Вѣсть съ тѣмъ онъ препроводилъ на высочайшее усмотрѣніе свою трагедію. Затѣмъ, по требованію гр. Бенкендорфа, были высланы и стихи, предназначенные Пушкинымъ къ печати, каковы были: „Анчаръ“, „Стансы“, 3-я глава „Онгина“, „Фаустъ“, „Друзьямъ“ и „Пѣсни о Стенькѣ Разинѣ“. Всѣ эти произведенія, кромѣ двухъ послѣднихъ, были разрѣшены. Относительно „Пѣсней о Стенькѣ Разинѣ“, гр. Бенкендорфъ писалъ Пушкину, что „онѣ, при всемъ своемъ поэтическомъ достоинствѣ, по содержанію своему неприличны къ напечатанію, и что, сверхъ того, церковь проклинаетъ Разина, равно какъ и Пугачева“. Пѣсни эти не были возвращены Пушкину, и онѣ до сихъ поръ не отыскиваются ни въ подлинникѣ, ни въ спискахъ.

СОЧИНЕНІЯ А. СКАВЧИВСКАГО. — II.

Въ декабрѣ послѣдовалъ докладъ гр. Бенкендорфа государю о драмѣ Пушкина. Императоръ, прочтя драму, замѣтилъ нѣкоторыя мѣста, требующія очищенія, и то, что цѣль была-бы болѣе выполнена, если-бы сочинитель передѣлалъ свою комедію въ историческій романъ, на подобіе романовъ В. Скотта. Пушкинъ отвѣчалъ гр. Бенкендорфу на извѣщеніе его объ этомъ: „Съ чувствомъ глубочайшей благодарности получилъ я письмо вашего престола, увѣдомляющее меня о всеимпериальнѣйшемъ отзывѣ его величества касательно моей драматической поэмы. Согласно, что она болѣе обивается на историческій романъ, нежели на трагедію, какъ государь императоръ изволилъ замѣтить. Жалѣю, что я не въ силахъ уже передѣлать мною однажды написанное».

Принявъ этотъ высочайшій отзывъ за неблагопріятный, Пушкинъ положилъ свою драму въ портфель, гдѣ она пролежала до 1829 г., когда онъ рѣшился вновь представить ее на высочайшее благоусмотрѣніе. Но и во второй разъ пьеса не получила одобренія; потребовалось переписать нѣкоторыя тривиальныя мѣста, слова и выраженія, слишкомъ простонародныя и нарушающія скромность, замѣнить названіе „комедія“ драмою, и лишь послѣ новыхъ измѣненій пьеса могла явиться въ свѣтъ въ 1831 году.

Въ концѣ того-же 1826 года Пушкинъ представилъ гр. Бенкендорфу заказанную „Записку о народномъ воспитаніи“, гдѣ ясно отражается вся та паника, которую переживалъ поэтъ въ это время. Вы видите въ ней поразительное сплетеніе подчиненія взглядамъ государственныхъ совѣтниковъ въ родѣ гр. Бенкендорфа съ стремленіемъ провести либеральную тенденцію. Тѣмъ не менѣе записка не понравилась, и гр. Бенкендорфъ 23 дек. 1826 г., извѣщая Пушкина, что государь съ удовольствіемъ читалъ разсужденіе его и изъявляетъ ему высочайшую признательность, прибавилъ:

«Его Величество при семъ замѣтитъ изволилъ, что принятое вами правило, будто-бы просвѣщеніе и гений служатъ исключительнымъ основаніемъ совершенству, есть правило опасное для общаго спокойствія, завлекшее васъ самихъ на край пропасти и повергшее въ оную толпное число молодыхъ людей. Нравственность, прилежное служеніе, усердіе — предпочтѣно должно просвѣщенію неопытному, безнравственному и безполезному. На сихъ-то началахъ должно быть основано благонаправленное воспитаніе. Впрочемъ, разсужденія ваши заключаютъ въ себѣ много полезныхъ истинъ.»

Все это показываетъ, какими подозрительными глазами все еще смотрѣли на Пушкина и какъ тѣсомъ былъ кругъ дарованной ему свободы. Отеческій внушенія гр. Бенкендорфа преслѣдовали поэта не только за каждый мало-мальски неосторожный шагъ, но и безъ всякаго повода, въ зачетъ, такъ сказать, будущаго. Такъ, напримѣръ, въ началѣ 1827 г. онъ обратился съ просьбою о разрѣшеніи пріѣзда въ Петербургъ по семейнымъ обстоятельствамъ, и хотя разрѣшеніе было ему дано, но гр. Бенкендорфъ не пренебрегъ при этомъ внушить поэту: „Его величество не сомнѣвается въ томъ, что данное русскимъ дворяниномъ государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будетъ въ полномъ смыслѣ сдержано».

Благонадежность Пушкина еще болѣе поколебалась въ глазахъ полиціи, когда въ 1827 г. возгорѣлось дѣло о стихотвореніи „Андрей Шенье“. Стихотвореніе это, посвященное Н. Н. Раевскому, было написано Пушкинымъ въ началѣ 1825 г. и помѣщено въ первомъ собраніи его стихотвореній, изданномъ въ 1826 г. Цензура, разсмотрѣвъ стихотвореніе 8-го окт. 1825 г. (слѣдовательно за 2 мѣсяца до 14-го декабря), выпустила изъ него 44 стиха (со стиха „Привѣтствую тебя“ и до стиха „И буря мрачная“). Между тѣмъ этотъ отрывокъ распространился по Москвѣ, какъ стихотвореніе, написанное будто-бы Пушкинымъ специально по поводу 14 дек. Одинъ изъ списковъ съ надписью „По поводу 14 дек.“, принадлежавшій кандидату московскаго университета Ал. Леопольдову, попалъ въ руки полиціи, и вотъ возгорѣлось дѣло, длившееся два года. Пушкинъ неоднократно былъ призываемъ по этому дѣлу, и относительно его состоялся слѣдующій указъ Пр. сената: „хотя Пушкина надлежало-бы подвергнуть отвѣту передъ судомъ, но, какъ преступленіе сдѣлано имъ до манифеста 22 авг. 1826 г., то, избавя его отъ суда и слѣдствія, обязать подпискою впредь никакихъ своихъ стихотвореній безъ разсмотрѣнія цензуры не осмѣливаться выпускать въ свѣтъ, подъ опасеніемъ строгаго по законамъ взысканія“. Государствен. совѣтъ, сверхъ этого, усмотрѣвъ въ самыхъ отвѣтахъ Пушкина на слѣдствіи неприличныя выраженія, присудилъ его къ секретному полицейскому надзору. Замѣчательно, что это опредѣленіе государств. совѣта, состоявшееся 29 авг. 1828 г., при постоянныхъ разъѣздахъ Пушкина, слѣдовало за нимъ по пятамъ изъ губерніи въ губернію и, наконецъ, было объявлено ему московскою полиціею лишь въ концѣ января 1831 г., за нѣсколько дней до свадьбы.

Всѣ эти непріятности сильно вліяли на расположеніе духа Пушкина и его душевное спокойствіе. Онъ часто теперь хандрилъ, находился въ раздраженномъ, нервномъ состояніи; раскаяніе о годахъ молодости, утраченныхъ въ „праздности, въ неистовыхъ пирахъ, въ безумствѣ гибельной свободы“, мысли о смерти начали посѣщать его чаще и чаще. Онъ ведетъ теперь кочующую жизнь, нигдѣ не оставаясь болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, словно не можетъ найти себѣ мѣста на землѣ. Трудно слѣдить за всѣми его постоянными переѣздами въ этотъ періодъ времени. То онъ бросается въ омутъ столичной жизни и стремится словно забыться отъ снѣдающей его тоски, снова предаваясь свѣтскимъ развлечениямъ, оргіямъ и картамъ; то, напротивъ того, бѣжитъ изъ столицъ и клянетъ столичную жизнь. Такъ напр., лѣтомъ 1827 г. онъ писалъ П. А. Осиповой: „Нелѣпость и глупость обѣихъ нашихъ столицъ равносильна, хотя и различна, и такъ какъ я стараюсь быть безпристрастнымъ, то если бы мнѣ предоставленъ былъ выборъ между обоими городами, я избралъ бы Тригорское, подобно арлекину, который на вопросъ, что онъ предпочтаетъ—быть колесованнымъ или повѣшеннымъ—отвѣчалъ: я предпочитаю молодой супъ“. Въ свою очередь, въ январѣ 1828 г. онъ пишетъ въ Тригорское: „для меня шумъ и суета петербургской жизни дѣлаются все болѣе и болѣе несносными, и я съ тру-

домъ ихъ переносю. Я предпочитаю вашъ прекрасный садъ и прелестный берегъ Сороти; видите, милостивая государыня, что настроеніе мое еще поэтично, не смотря на гадкую прозу моей настоящей жизни“.

И въ то время, какъ городская жизнь его раздражаетъ и злитъ, деревня, совершенно наоборотъ сравнительно съ его юными годами, успокаиваетъ его нервы, и онъ снова дѣлается среди деревенской обстановки ясенъ душой и веселъ. Такъ, уѣхавши осенью 1828 года въ Малинники, деревню Тверской губерніи, принадлежавшую Пр. Алек. Осиповой, онъ пишетъ оттуда Дельвигу въ ноябрѣ: „Здѣсь очень весело. Прасковью Алекс. люблю душевно; жаль, что она хвораетъ и все беспокоится. Сосѣди ѣздятъ смотрѣть на меня, какъ на собаку Мунито (ученая собака, которая въ то время показывалась въ Петербургѣ). Скажи это гр. Хвостову. Петръ Марковичъ (Полторацкій, родственникъ Осиповой) здѣсь повеселѣлъ и уморительно милъ. На-дняхъ было сборище у одного сосѣда; я долженъ былъ туда прѣѣхать. Дѣти его родственницы, балованные ребятишки, хотѣли непременно туда-же ѣхать. Мать принесла имъ изюму и черносливу и думала тихонько отъ нихъ убраться; но Петръ Марк. ихъ взбудоражилъ; онъ къ нимъ пріобѣжалъ: „дѣти! дѣти! мать васъ обманываетъ! не ѣшьте чернослива, поѣзжайте съ нею—тамъ будетъ Пушкинъ, весь сахарный, а задъ его яблочный; его разрѣжутъ, и всѣмъ вамъ будетъ по кусочку“. Дѣти разревѣлись: „не хотимъ чернослива, хотимъ Пушкина“. Нечего дѣлать, ихъ повезли—и они обѣжались ко мнѣ, облизываясь, но увидѣвъ, что я не сахарный, а кожаный, совсѣмъ опѣшили. Здѣсь очень много хорошихъ дѣвчонокъ. Я съ ними возжусь платонически, и оттого толстѣю и поправляюсь въ моемъ здоровьѣ“.

Но эти возвраты яснаго и рѣзкаго настроенія духа, словно послѣдніе проблески юности, посѣщаютъ Пушкина теперь довольно рѣдко и быстро сдвѣиваются снова тревожнымъ и мрачнымъ настроеніемъ, и снова онъ мечется не зная, куда ему дѣться. Такъ, въ началѣ турецкой войны онъ заявляетъ вдругъ желаніе участвовать въ ней. Въ январѣ 1830 г. просится за границу или сопровождать нашу миссію въ Китай. Всѣ эти планы не получили разрѣшенія. За то въ мартѣ 1829 г. онъ, не испрашивая никакого разрѣшенія, уѣхалъ на Кавказъ, гдѣ, находясь въ русскомъ лагерѣ подъ Эрзерумомъ, словно нарочно искалъ смерти, становясь подъ непріятельскія пули. Плодомъ этой поѣздки и было его „Путешествіе въ Эрзерумъ во время похода 1829 года“.

Самовольное путешествіе на Кавказъ, равно какъ и стремительный переѣздъ изъ Петербурга въ Москву въ мартѣ 1830 года съ цѣлью ухаиванія за своею будущею женою, не обошлись Пушкину безъ нагоняя со стороны гр. Бенкендорфа, и онъ писалъ Пушкину, что „всѣ непріятности, которымъ онъ можетъ подвергнуться за своевольные поступки, онъ долженъ будетъ отнести къ собственному своему поведенію“. Удрученный этимъ письмомъ, Пушкинъ отвѣчалъ, что съ 1826 г. онъ каждую весну проводилъ въ Москвѣ, а осень въ деревнѣ, никогда не испрашивая предварительнаго разрѣшенія и не получая ни-

какого замѣчанія; что это отчасти было причиной и невольнаго проступка его—поѣздки въ Эрзерумъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ онъ выражалъ горестъ, которую приносятъ ему выговоры, и описывая себя въ гоненіи, говорить, что другіе еще болѣе злопамятствуютъ ему, и что гр. Бенкендорфъ *остается единственнымъ его защитникомъ*: „Если завтра, прибавилъ онъ, вы не будете министромъ, то послѣ завтра меня посадятъ въ тюрьму“. При этомъ поэтъ жаловался на Булгарина, который хвалился близостью гр. Бенкендорфу и, злобясь на него, по словамъ поэта, за критики, впрочемъ, не имъ писанныя, готовъ въ остервененіи своемъ рѣшиться на все.

Гр. Бенкендорфъ успокаивалъ Пушкина, увѣряя, что Булгаринъ никогда не говорилъ ему ничего дурнаго о немъ, что журналистъ этотъ вовсе не близокъ къ нему, и если бывалъ у него, то развѣ одинъ или два раза въ годъ; что въ послѣднее время онъ призывалъ къ себѣ Булгарина только для того, чтобы обуздать его.

Къ этому-же времени относится сватовство Пушкина. Онъ познакомился съ семействомъ Натальи Николаевны Гончаровой еще въ 1828 г., когда Н. Н. было всего 15 лѣтъ. Онъ былъ представленъ ей на балѣ и тогда-же сказалъ, что участь его будетъ навѣки связана съ молодой особой, обращавшей на себя всеобщее вниманіе. Въ 1830 году прибытіе части Высочайшаго двора въ Москву оживило столицу и сдѣлала ее средоточіемъ веселій и празднествъ. Н. Н. участвовала въ всѣхъ удовольствіяхъ, которыми встрѣтила древняя столица Августѣйшихъ гостей и, между прочимъ, въ великолѣпныхъ живыхъ картинахъ, данныхъ московскимъ генерал-губерн. Дм. Вл. Голицынымъ. Молва объ ея красотѣ и успѣхахъ достигла Петербурга, гдѣ жилъ тогда Пушкинъ. И вотъ стремительно уѣхавъ въ Москву, какъ мы выше говорили, онъ возобновилъ прежнія свои исканія. Въ самый день Свѣтл. Хр. Воскресенья 21 апрѣля 1830 года онъ сдѣлалъ семейству Н. Н. предложеніе, которое и было принято.

Вслѣдъ за тѣмъ въ исходѣ лѣта Пушкинъ отправился въ Петербургъ для устройства своихъ дѣлъ и переговоровъ съ отцомъ касательно основанія будущаго своего дома и состоянія. Сергѣй Львовичъ выдѣлилъ сыну часть своего родового имѣнія Болдина, Нижегородской губерніи, и Пушкинъ отправился туда въ августѣ 1830 года для принятія своего наслѣдства. Въ Болдинѣ провелъ онъ осень и часть зимы, окруженный со всѣхъ сторонъ карантинными по случаю холеры, и, равнодушный къ своей собственной особѣ, сильно безпокоился объ участи родныхъ.—Только въ декабрѣ успѣлъ онъ пробраться въ Москву съ свидѣтельствомъ для залога въ Опекунскомъ Совѣтѣ выдѣленной ему части. Новый 1831 годъ засталъ его въ приготовленіяхъ къ женитьбѣ, но за мѣсяцъ до свадьбы его расположеніе духа было вновь омрачено извѣстіемъ о смерти Дельвига 14 января 1831 г., и эта внезапная смерть ближайшаго друга и однокашника сильно потрясла его и глубоко огорчила. Наконецъ, въ среду 18 февраля 1831 года, въ Москвѣ, въ церкви Старога Вознесенія, Пушкинъ былъ обвѣнчанъ съ Н. Н. Гончаровой.

Не смотря на все скитальчество въ разсматриваемые нами годы жизни Пушкина, этотъ періодъ его жизни былъ самый плодотворный въ творческой дѣятельности. Такъ, мы видимъ, что тотъ реализмъ, на путь котораго рѣшительно выступилъ Пушкинъ въ концѣ своего пребыванія въ с. Михайловскомъ, не замедлилъ привести его къ попыткамъ въ той формѣ, которая наиболѣе соотвѣтствуетъ этому литературному направленію,—именно, къ формѣ прозаическаго романа. И вотъ лѣтомъ и въ началѣ осени 1827 г. Пушкинъ написалъ большую часть исторической повѣсти „Арапъ Петра Великаго“ и сразу создалъ тотъ безыскусственно простой, кристально-чистый и вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени художественный повѣствовательный слогъ, который и до сихъ поръ остается неподражаемымъ.

Писаніе исторической повѣсти изъ эпохи Петра показываетъ, что Пушкинъ въ то время занимался историческимъ изученіемъ этой эпохи. Но колоссальная личность Петра такъ поразила и вдохновила поэта, что онъ не могъ ограничиться одною прозою; и вотъ онъ тогда-же предпринялъ воспѣть великаго преобразователя Россіи въ поэмѣ. И замѣчательно, что, вопреки своему обыкновенію замыкаться осенью для своихъ поэтическихъ работъ въ деревнѣ, Пушкинъ поѣхалъ въ Петербургъ, словно нарочно для того, чтобы воспѣвать Петра на самомъ мѣстѣ его кипучей дѣятельности, и вотъ здѣсь осенью того-же года онъ создалъ свою „Полтаву“. Какъ сильно было напряженіе творчества въ этотъ разъ, мы можемъ судить по тому, что поэма была написана всего на все въ 13 дней, причемъ Пушкинъ отнюдь не уединялся отъ свѣта, а велъ такую-же свѣтскую и разсѣянную жизнь, какъ и всегда, когда бывалъ въ столицѣ.

Второй, не менѣе сильный, порывъ творчества въ этотъ періодъ своей жизни Пушкинъ испыталъ осенью 1830 года, въ Болдинѣ, когда въ какіе-нибудь дватри мѣсяца онъ написалъ, какъ самъ говорить въ письмѣ Плетневу, „двѣ послѣднія главы Онѣгина, совсѣмъ готовыя для печати; повѣсть, писанную октавами („Домикъ въ Коломенѣ“); нѣсколько драматическихъ сценъ: „Скупой рыцарь“, „Моцартъ и Сальери“ и „Донъ-Жуанъ“. Сверхъ того, я написалъ около тридцати мелкихъ стихотвореній. Еще не все: написалъ прозою (весьма секретно) пять повѣстей“ (Повѣсти Бѣлкина). Въ этотъ списокъ не попали еще „Лѣтопись села Горохина“ и „Пиръ во время чумы“.

## VII.

### Послѣдніе годы жизни Пушкина.

1831—1837.

Проживъ до весны въ Москвѣ, новобрачные послѣ Святой выѣхали въ Петербургъ, и Пушкинъ переехалъ со своею женою на дачу въ Царское Село, гдѣ въ это лѣто проживалъ и Жуковский. Въ Петербургѣ вскорѣ развилась холера, что затруднило сношеніе съ городомъ и Пушкинъ, „прижатый“, какъ онъ выражался, къ Царскому Селу, былъ предоставленъ не-

большому обществу друзей, великолепнымъ садамъ дворца, семейнымъ радостямъ медовыхъ мѣсяцевъ и воспоминаніямъ золотыхъ дней своего дѣтства. Здѣсь Пушкинъ, подъ вліяніемъ общаго положенія дѣлъ того времени, отчасти и друга своего Жуковского, утомленный въ то-же время всѣми тѣми гоненіями, которыми онъ испыталъ въ предшествовавшіе годы, впервые выступилъ на поприще того официального патриотизма, который, не избавивъ его отъ тѣни подозрѣнія, лежавшей на немъ въ глазахъ высшей администраціи, въ то-же время производилъ охлажденіе въ нему въ значительной части русскаго общества. 5-го августа написано было имъ стихотвореніе „Клеветникамъ Россіи“, за которымъ вскорѣ послѣдовала „Воробинская годовщина“. Тамъ-же, въ Царскомъ Селѣ, состязаясь съ Жуковскимъ, Пушкинъ написалъ свои сказки „О царѣ Салтанѣ“, „О цопѣ Остолопѣ“, „О Мертвой царевнѣ“, „О золотомъ пѣтушкѣ“.

Впрочемъ, патриотическія стихотворенія не остались совсѣмъ безъ слѣда, и 14-го ноября 1831 года Пушкинъ зачисленъ былъ на службу въ вѣдомство Государственной Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ съ жалованьемъ 5,000 ассн. въ годъ, въ видѣ особенной Высочайшей милости. вмѣстѣ съ тѣмъ ему было дозволено входить въ Государственные архивы для собиранія матеріаловъ къ исторіи Петра В., чѣмъ онъ и не замедлилъ воспользоваться въ ту-же зиму, но переѣхалъ съ дачи въ Петербургъ. Изъ квартиръ своей въ Морской отправлялся онъ каждый день въ разные вѣдомства, предоставленные ему для изслѣдованій. Онъ предавался новой работѣ своей съ жаромъ, почти со страстью. Такъ протекала зима 1832 года. 7-го января слѣдующаго года онъ былъ принятъ въ число членовъ Имп. Рос. Академіи и началъ прилежно посѣщать засѣданія Академіи по субботамъ. Плодомъ этихъ посѣщеній были статьи его: „Россійская Академія“ и „О мнѣніи М. А. Лобанова“. Весной 1833 года онъ переѣхалъ на дачу, на Черную рѣчку, и отправлялся каждый день въ Архивъ, туда и оттуда иѣшкомъ; когда-же чувствовалъ утомленіе, шелъ купаться, и этого средства было достаточно, чтобы снова возвратитъ ему бодрость и силы. Въ архивахъ Пушкинъ не ограничивался однимъ собираніемъ матеріаловъ къ исторіи Петра; ему попалось случайно подъ руки нѣсколько бумагъ, относящихся къ Пугачевскому бунту: онъ быстро увлекся изученіемъ этого событія и вскорѣ весь ушелъ въ него. При такой непрерывной и страстной дѣятельности, къ осени 1833 года у него были уже готовы матеріалы для „Исторіи Пугачевского бунта“, написана вчернѣ „Капитанская дочка“, и сверхъ этого были совсѣмъ отдѣланы — „Русалка“ и „Дубровский“.

Не ограничиваясь однимъ архивными изысканіями, Пушкинъ, какъ истый реалистъ, предпринималъ тогда уже то, что нынѣ, полстолѣтіе спустя, ставятъ въ особенную заслугу современнымъ намъ французскимъ натуралистамъ, какъ нѣчто новое, или только-что введенное: — именно, онъ захотѣлъ посѣтить всѣ мѣста, ознаменованныя пугачевскимъ бунтомъ. И вотъ осенью въ 1833 году онъ совершилъ поѣздку по Казанской, Сибирской, Пензенской и Оренбургской гу-

берніямъ. Вездѣ онъ, обозрѣвая мѣстности, въ то-же время исмалъ живыхъ преданій и свидѣтельств очевидцевъ. Такъ, въ Казани онъ провелъ съ этимъ цѣлью полтора часа у нѣкоего сторожика, купца Крупнина; въ Оренбургской губерніи разговаривалъ со старикомъ Дмитріемъ Пьяновымъ, сыномъ того Пьянова, о которомъ упоминается въ „Исторіи Пугачевского бунта“, а въ селеніи Берды встрѣтилъ старую казачку, помнившую происшествія того времени очень живо. Онъ пишетъ, что чуть не влюбился въ нее, не смотря на малоприятельную наружность. Въ Уральскѣ Пушкинъ былъ принятъ съ большимъ радушіемъ всѣмъ обществомъ города, соединившимся въ одномъ обѣдѣ, данномъ въ честь поэта.

Истративъ на все это путешествіе мѣсяцъ, Пушкинъ возвратился въ Бодино 2-го октября, а до конца ноября пробылъ въ деревнѣ, послѣ чего возвратился въ Петербургъ на службу. Въ этотъ промежутокъ времени были имъ закончены „Сказка о рыбацкѣ и рыбакѣ“, „Пѣсни западныхъ славянъ“, которые онъ писалъ между дѣломъ, въ теченіе 1832 и 33 годовъ. „Мѣдный всадникъ“ и „Исторія Пугачевского бунта“.

По прибытіи въ Петербургъ, Пушкинъ представилъ въ декабрѣ 1833 года на разсмотрѣніе начальства свою „Исторію Пугачевского бунта“ и получилъ дозволеніе на изданіе ея; сверхъ того, въ видѣ награды, онъ былъ пожалованъ въ камеръ-юнкера, а на печатаніе книги дано ему было замѣтнообразно 20,000 руб. асс. съ правомъ выбрать одну изъ казенныхъ типографій.

Новоизданію, Пушкинъ былъ наверху милостей, почестей и славы; со стороны могло казаться, что жизнь улыбается ему какъ нельзя болѣе. А на самомъ дѣлѣ онъ былъ глубоко несчастный человекъ, и тысячи острыхъ нѣлъ со всѣхъ сторонъ подтачивали его существованіе. — Начать съ того, что положеніе Пушкина было крайне двусмысленно. Съ одной стороны, казалось, что это было поднятіе въ высшія сферы общества, весьма льстившее тщеславію поэта; но въ то-же время это внѣшнее возвышеніе соединялось съ цѣлымъ рядомъ нравственныхъ униженій всякаго рода. Пушкинъ не могъ войти въ высшія сферы человѣкомъ, равнымъ людямъ, находившимся въ нихъ, ни по своему состоянію, ни по родовитости, что нестрашно развивало въ немъ болѣзненную мнительность, при которой каждый неоплаченный визитъ, малѣйшій признакъ небрежности въ отношеніяхъ къ нему и къ его дому раздувались въ его воображеніи въ умысленное пренебреженіе къ нему, въ желаніе доказать ему, что онъ сидитъ не въ своихъ санахъ. Въ то-же время, это новое положеніе, при всей его кажущейся высотѣ, носило характеръ своего рода заточенія, такъ какъ оно было обязательно: Пушкинъ не могъ самовольно выйти изъ него, видя его ненормальность, не могъ даже жить, гдѣ ему вздумалось бы; когда же онъ просился въ отставку, ему или отказывали, или грозилъ ошалоу, лишеніями — вродѣ запрещенія посѣщать архивы.

И особенно положеніе Пушкина при дворѣ сдѣлалось тягостно, когда ему пожаловали камеръ-юнкерство. Это придворное званіе было уже не по лѣтамъ

Пушкина, и положеніе его невольно было комично, когда ему приходилось на выходахъ стоять среди безбородыхъ юношей. Этихъ и объясняются исполненныя горечи слова его дневника отъ 1-го января 1834 года.

«Третьяго дня я пожалованъ въ камеръ-юнкеры (что довольно неприлично мнѣмъ лѣтамъ). Меня спрашивали, доволенъ-ли я мнѣмъ камеръ-юнкерствомъ.—Доволенъ, потому что государь имѣлъ намереніе отличить меня, а не сдѣлать смѣшнымъ: а по мнѣ хоть въ камеръ-пажи, только-бы не заставили меня учиться французскимъ вокабуламъ и аркеметикъ». Отсюда-же вытекаетъ и отвѣтъ его великому князю, который поздравилъ его въ театрѣ съ назначеніемъ: — «Покорнѣйше благодарю, ваше высочество; до сихъ поръ всё надо мною смѣялись, вы первый меня поздравили».

Самое исполненіе придворныхъ этикетовъ въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ крайне тяготило Пушкина своею формальностью, соединенной съ выговорами и замѣчаніями чисто школьническаго характера. Третьяго дня, писалъ онъ своей женѣ: возвратился я изъ Царскаго въ 5 часовъ вечера, нашелъ на своемъ столѣ два билета на балъ 29-го апрѣля и приглашеніе явиться на другой день къ Литтѣ: я догадался, что онъ собирается мыть мнѣ голову за то, что я не былъ у обѣдни. Въ самомъ дѣлѣ, въ тотъ-же вечеръ узнаю отъ забывавшаго ко мнѣ Жуковского, что государь былъ недоволенъ отсутствіемъ многихъ камеръ-герцовъ и камеръ-юнкеровъ и что онъ велѣлъ мнѣ это объявить. Я извинился письменно. Говорятъ, что мы будемъ ходить попарно, какъ институтки. Вообрази, что мнѣ съ моей сѣдой бородкой придется выступить съ Безобразовымъ или Реймерсомъ—ни за какія благополучія! j'aime mieux avoir le fouet devant tout le monde, какъ говорить mr. Jourdain».

Въ то-же время обязательная придворная жизнь, наязанная Пушкину, соединенная съ выходами, приемами, нарядами жены, требовала такихъ расходовъ, которые были совершенно не по средствамъ Пушкина, остававшагося при своемъ высокомъ положеніи все тѣмъ-же помѣщикомъ средней руки, да еще помѣщикомъ съ крайне разстроеннымъ состояніемъ. Всѣ имѣнія родныхъ его къ этому времени успѣли придти въ полный упадокъ. Мы уже замѣтили выше, что управляющій, честный нѣмецъ, посланный въ Болдино, убѣждалъ оттуда въ ужасѣ. Тщетно умолялъ Пушкинъ своихъ родныхъ поселиться года на два, на три въ Михайловскомъ. Сер. Льв. пришелъ въ ужасъ и неистовство отъ перспективы закабаленія въ деревенскую глушь.

«Вы не можете вообразить,—пишетъ Пушкинъ къ Осиповой 29-го июня 1835 г.,—какъ тяготитъ меня управленіе этимъ имѣніемъ (Болдинымъ). Нѣтъ никакого сомнѣнія, что спасти Болдино необходимо, хотя бы только для Ольги и Льва, которымъ въ будущемъ предстоитъ нищенство, или, по крайней мѣрѣ, бѣдность. Но я самъ не богатъ, я имѣю собственное семейство, которое зависитъ отъ меня и которое безъ меня впадетъ въ крайность. Я взялъ имѣніе, которое, кромѣ хлопотъ и непріятностей, ничего мнѣ не приноситъ. Родители мои и не знаютъ, что они шагахъ въ двухъ отъ разоренія; если бы они могли рѣшиться пробыть нѣсколько лѣтъ въ Михайловскомъ, дѣла могли-бы поправиться; но этого никогда не будетъ».

И вотъ какъ неизбѣжные спутники разоренія, долги залогъ и перезалогъ имѣній, безпрестанный хлопотъ о томъ, гдѣ-бы и какъ-бы раздобыть денегъ, а долги росли не по днямъ, а по часамъ. Къ тѣмъ 20 т. руб., которыя Пушкинъ получилъ заимообразно наизданіе Пугачева, присоединился новый казенный долгъ: именно 16 августа 1835 г. пожаловано было ему въ ссуду 30,000 руб. асс., безъ процентовъ, съ тѣмъ, чтобы въ уплату общей суммы долга, возросшей такъ-же образомъ до 50,000, или получаемое имъ жалованіе, по 5,000 р. въ годъ. Но вслѣдъ затѣмъ передъ самою смертью уже Пушкинъ вновь хлопочетъ у министра финансовъ Канкрина о томъ, что нельзя ли принять въ уплату этого долга 200 душъ, принадлежащихъ лично ему въ Нижегородской губерніи и заложённыхъ въ Московскомъ Опекунскомъ Совѣтѣ.

Это печальное финансовое положеніе не могло не отражаться и на творчествѣ поэта. И тутъ мы видимъ весьма прискорбное раздвоеніе: въ то время какъ Пушкинъ болѣе тѣмъ когда-либо ратовалъ за чистое и свободное искусство и восклицалъ надменно презрѣнной черни: „подите прочь, какое дѣло поэтому мирному до васъ“,—въ дѣйствительности литературная дѣятельность его съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе принимала спекулятивный характеръ и вся обращалась къ тому, какъ-бы добыть болѣе денегъ. Конечно, не ради „звучковъ чистыхъ и молитвъ“ предпринималъ онъ обширные историческіе труды вроде „Исторіи Пугачевского бунта“ или „Исторіи Петра В.“, труды, такъ мало свойственные его гению и потому крайне слабые, сухіе, въ которыхъ вы и слѣда не видите того, что вы привыкли соединять съ именемъ Пушкина. Это-же желаніе добыть какъ можно болѣе денегъ побуждало его взяться за какое-нибудь періодическое изданіе. Такъ, сначала онъ мечталъ о газетѣ, но когда газета не была ему разрешена, предпринималъ въ послѣдній годъ жизни ежемѣсячный журналъ „Современникъ“. Цѣль изданія журнала была, повидимому, весьма почтенная: именно противодѣйствовать тому легкомысленно насмѣшливому, парадоксальному взгляду на литературу нашу, который господствовалъ въ то время въ петербургской литературѣ, особенно на страницахъ „Библиотеки для Чтенія“; возвратитъ критику снова въ руки малаго избраннаго кружка писателей, уже облеченнаго уваженіемъ и довѣренностью публики; но сквозь всѣ эти чисто литературныя цѣли постоянно проглядываетъ надежда поправить свое состояніе.

Вообще, весьма грустное впечатлѣніе производилъ этотъ гениальный человѣкъ, которому поклонялась вся Россія, затертый въ блестящей толпѣ расштыхъ мундировъ, въ качествѣ выскочки глотающій поминутно если не пренебреженіе, то еще того хуже—снисходительность, съ тоскливой скукой одиноко бродившій по балнымъ заламъ или взирающій изъ за колонны, какъ увиваются свѣтскіе франты за его женою. Она отплясываетъ, разодѣтая въ пухъ и прахъ, веселая и безпечная, а у него въ это время кошки скребутъ на сердцѣ, и не отъ одной ревности, а при мысли, что вотъ всѣ вокругъ веселятся, счастливы, довольны, обезпечены, не думая о завтрашнемъ днѣ, а ему предстоитъ завтра ѣхать въ Опекунскій



Совѣтъ послѣднее пиѣніе закладывать или вести торгашескіе переговоры съ литературными барышниками. Нѣтъ ничего мудренаго, что всѣ письма его въ послѣдніе два-три года его жизни, особенно къ женѣ, постоянно носятъ характеръ какихъ-то стоновъ, какъ объ этомъ можно судить по слѣдующимъ выдержкамъ:

«Хлюпы по имѣнію меня бѣсятъ, пишетъ онъ въ одномъ письмѣ:—съ твоего позволенія надобно будетъ, кажется, выдти мнѣ въ отставку и со вѣдомомъ сложить камеръ-юнкерскій мундиръ, который такъ пріятно льстил моему честолюбію и въ которомъ, къ сожалѣнію, не успѣлъ я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я увѣренъ, что тебѣ не труднѣе будетъ исполнить долгъ доброй матери, какъ исполняешь ты долгъ честной, доброй жены. Зависимость и разстройство въ хозяйствѣ ужасны въ семействѣ, и никакіе успѣхи тщеславія не могутъ вознаградить спокойствія и довольства. Вотъ тебѣ и мораль». «Милый мой ангелъ! пишетъ онъ въ другомъ:—я было написалъ тебѣ письмо на четырехъ страницахъ, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я его тебѣ не послалъ, а пишу другое. У меня рѣшительно силнѣе. Скучно жить безъ тебя и не смѣю даже писать тебѣ все, что придетъ на сердце. Ты говоришь о Болдинѣ. Хорошо бы туда засѣсть, да мудроно. Объ этомъ успѣемъ еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моихъ жалобъ въ худую сторону. Никогда не думалъ я упрекать тебя въ своей зависимости. Я долженъ былъ на тебѣ жениться, потому что всю жизнь былъ бы безъ тебя несчастливъ; но я не долженъ былъ вступать въ службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной дѣлаетъ человека болѣе нравственнымъ. Зависимость, которую налагаемъ на себя изъ честолюбія или изъ нужды, унижаетъ насъ. Теперь они смотрятъ на меня, какъ на холопа, съ которымъ имъ можно поступать, какъ имъ угодно. Опала легче презрѣнія. Я, какъ Ломоносовъ, не хочу быть шуткомъ—ниже у Господа Бога. Но ты во всемъ этомъ не виновата, а виновать я изъ добродушія, коимъ преисполненъ до глупости, не смотря на опыты жизни».

«Я передъ тобой кругомъ виноватъ въ отношеніи денежномъ. Были деньги—я проигралъ ихъ. Но что дѣлать? я такъ былъ жолченъ, что надобно было развлечься чѣмъ нибудь. Все *то*тъ виноватъ; но Богъ съ нимъ; отпустилъ-бы лишь меня восвоюся».

«На дняхъ я чуть было бѣды не сдѣлалъ: съ *то*тъ чуть было не поссорился—струхнулъ-то я, да и грустно стало. Съ этимъ поссорюсь—другого не найду. А долго на него сердиться не умѣю; хоть онъ не правъ...»

«Канкринъ шутить—а мнѣ не до шутокъ. Г. обѣщалъ мнѣ *Газету*, а тотъ запретилъ, заставляетъ меня жить въ С.-Петербургѣ и не даетъ мнѣ способа жить своими трудами. Я теряю время и силы душевныя, бросаю за окошко деньги трудовыя и не вижу ничего въ будущемъ. Отецъ мотааетъ имѣніе безъ удовольствія, какъ безъ разсчета; твои теряютъ свое отъ глупости и беспечности покойника Ае. Ник. Что изъ этого будетъ, Господь вѣдастъ»...

«Какъ ты съ хозяйномъ управлялась? Что дѣти? Экое горе! Вижу, что непремѣнно нужно имѣть мнѣ 80,000 дохода. И буду ихъ имѣть. Не даромъ же пустился въ журнальную спекуляцію, а вѣдь это всервно, что золотарство, которое хотѣла взять на откупъ мать Безобразова: очипать русскую литературу, есть... чистить... и зависѣть отъ полиціи. Того и гледи, что... Чортъ ихъ побери! У меня кровь въ желчь превращается...»

Прибавьте вы ко всѣмъ этимъ непріятностямъ нескончаемыя полицейскія и цензурныя дразни. Дѣло въ томъ, что ни приближеніе ко двору, ни всѣ изли-

ваемые на Пушкина высочайшія милости не избавляли его отъ строгаго полицейскаго надзора. По прежнему относительно всѣхъ своихъ занятій и каждаго шага онъ долженъ былъ испрашивать предварительное разрѣшеніе, по прежнему прочитывалась его переписка, и гр. Бенкендорфъ дѣлалъ ему выговоры. То придирались къ нему, зачѣмъ онъ ограничивается одною общою цензурою, въ то время, какъ онъ подчиненъ высочайшей цензурѣ, то наоборотъ требовали, чтобы сочиненія, одобренныя къ напечатанію самимъ государемъ, онъ затѣмъ представлялъ въ общую цензуру. Поэма его «Мѣдный всадникъ» была не допущена къ печати, и при жизни ему не пришлось видѣть ее напечатанною. Благодаря гр. Бенкендорфу, отъ котораго безусловно зависѣло допущеніе пьесъ на сцену, Пушкину не удалось видѣть ни одной своей пьесы на сценѣ. Онъ очень желалъ, чтобы А. М. Каратыгина съ мужемъ своимъ прочитала на театрѣ сцену у фонтана Дмитрія съ Мариною, но не смотря на многочисленныя личныя просьбы Каратыгиныхъ, гр. Бенкендорфъ отказалъ имъ въ своемъ согласіи. Послѣ того Пушкинъ подарилъ Каратыгину для бенефиса «Скупого рыцаря», но и эта пьеса не была играна при жизни автора по какимъ-то цензурнымъ недоразумѣніямъ.

Но особенно увеличились цензурныя придиры и непріятности, когда въ 1833 г. министромъ народ. проsv. былъ сдѣланъ гр. Уваровъ, относившійся къ Пушкину весьма недружелюбно. Распоряженія его выводили Пушкина изъ себя, и чаша гнѣва его окончательно переполнилась, когда однажды на вечерѣ у Карамзина къ нему подошелъ Уваровъ и, по поводу ходившей въ то время по рукамъ эпиграммы «Въ академіи наукъ», свысока и внушительно началъ выговаривать, что онъ роняетъ свой талантъ, осмѣивая почтенныхъ и заслуженныхъ людей такими эпиграммами.—«Какое право имѣте вы дѣлать мнѣ выговоръ, когда не смѣете утверждать, что это мои стихи?»—возразилъ Пушкинъ, выйдя изъ себя.—«Но всѣ говорятъ, что ваши!»—«Мало-ли, что говорить! а я вамъ вотъ что скажу: я на васъ напишу стихи и напечатаю ихъ съ моею подписью».

И вотъ, когда Уваровъ захворалъ, а наслѣдникъ его, предполагая близкую смерть министра, позаботился заранѣе опечатать его имущество и посрамился на всю столицу при неожиданномъ его выздоровленіи, Пушкинъ на эту скандальную исторію написалъ стихи подъ заглавіемъ «На выздоровленіе Лукулла» (съ латинскаго). Ни одинъ петербургскій журналъ не согласился напечатать эти стихи. Тогда Пушкинъ послалъ ихъ въ Москву, и тамъ ода была напечатана во 2-й сентябрьской книжкѣ «Московского Наблюдателя» 1835 года. Появленіе оды вызвало большую сенсацию въ придворныхъ сферахъ и привело за собою немало непріятностей Пушкину, начиная съ оскорбительной переписки съ кн. Репнинымъ, дурно отзывавшимся о Пушкинѣ, какъ о человѣкѣ, въ салонѣ Уварова, и кончая неудовольствіемъ самого государя. Пушкинъ былъ тотчасъ-же вызванъ къ гр. Бенкендорфу. Вотъ какъ самъ онъ рассказывалъ этотъ свой визитъ къ шефу жандармовъ:

«Вхожу. Графъ съ серьезной, даже съ строгой миной, впрочемъ, учтиво отвѣтивъ на мой поклонъ, пригласилъ меня сѣсть у стола *vis-à-vis*. Журналъ съ развернутой страницей моихъ стиховъ лежалъ передъ нимъ, и онъ сейчасъ-же предъявилъ мнѣ его, сказавъ:—«Александръ Сергѣевичъ! Я обязанъ сообщить вамъ неприятное и щекотливое дѣло по поводу вотъ этихъ вашихъ стиховъ. Хотя вы и называли ихъ Лукулломъ и переводомъ съ латинскаго, но согласитесь, что мы, да и все русское общество въ наше время настолько просвѣщено, что умѣетъ читать между строкъ и понимать настоящій смыслъ, цѣль и намѣреніе сочинителя». — «Совершенно согласенъ, и радуюсь за развитие общества»... — «Но позвольте замѣтить (строго перебилъ онъ меня), что подобное произведеніе недостойно вашего таланта тѣмъ болѣе, что осмѣянная вами личность — особа, значительная въ служебной иерархіи»... — «Тутъ я перебилъ его:—«Но позвольте-же узнать, кто эта жалкая особа, которую вы узнали въ моей сатирѣ?» — «Не я узналъ, а Уваровъ самъ себя узналъ, принесъ мнѣ жалобу и просилъ обо всемъ доложить Государю! и даже то, какъ вы у Карамзинныхъ сказали ему, что напишете на него стихи и не отопретесь, то есть подпишетесь подъ ними!» — «Сказалъ и теперь не отпираюсь... только эти-то именно стихи я написалъ совсѣмъ не на него». — «А на кого-же?» — «На васъ!» — Бенкендорфъ, пораженный такимъ неожиданнымъ оборотомъ, опрокинулся на спинку кресла, такъ что оно откатилось отъ стола, и вытаращивъ на меня глаза, вскрикнулъ:—«Что? на меня?» А я, заранѣе восхищаясь развязкой, вскочилъ съ мѣста и быстро дѣлая по четыре шага передъ столомъ или передъ его носомъ, три раза оборачиваясь къ нему лицомъ, повторялъ: «На васъ, на васъ, на васъ!» Тутъ уже Александръ Христофоровичъ, во всемъ величинъ власти, громовержцемъ поднимаясь съ кресла, схватилъ журналъ и, подойдя ко мнѣ, дрожащей отъ злости рукой тыкая на извѣстные мѣста стиховъ, сказалъ:—«Однако, послушайте, сочинитель! Что-же это такое: «Какой-то прѣдхожа наслѣдникъ... (читаетъ): «Теперь ужъ въ великомъ не стану нянчить ребятшекъ»... Ну это ничего... (продолжаетъ читать): «Теперь мнѣ честность—тринь-трава, жену обманывать не буду!» — Ну, и это ничего, вздоръ... но вотъ, вотъ ужасное, непозволительное мѣсто (читая): «И воровать ужъ не забуду казенныя дрова!» — «А? что вы на это скажете?» — «Скажу только, что вы не узнаете себя въ этой козлости!» — «Да развѣ я воровалъ казенныя дрова?» — «Такъ, стало быть, Уваровъ воровалъ, когда подобную улику принялъ на себя!» — Бенкендорфъ понялъ снлаголизмъ, сердито улыбнулся и промчалъ: «Гмъ! да! самъ виноваты!» — «Вы такъ и доложите государю, А за сямъ имѣю честь кланяться вашему сіятельству».

Наконецъ, ко всему этому присоединились и неприятности чисто литературныя. Подписка на „Современникъ“ шла плохо. Пушкинъ замѣчалъ вообще охлажденіе къ нему въ литературныхъ сферахъ. Кое-гдѣ въ журнальной критикѣ начинали проскальзывать опасенія, что онъ исписался, и при нервной раздражительности Пушкинъ глубоко принималъ къ сердцу всѣ эти толки и выходилъ изъ себя. И вотъ передъ смертью у него все болѣе и болѣе развивается отвращеніе къ жизни. „Я ошеломленъ, писалъ онъ осенью Осиповой не задолго до своей смерти, и нахожусь въ сильнѣйшемъ раздраженіи. Повѣрьте мнѣ, жизнь, какая она ни на есть пріятная привычка, а все же заключаетъ въ себѣ горечь, которая дѣлаетъ ее подъ конецъ отвратительною. Свѣтъ — это гадкая лужа грязи“.

Такимъ образомъ, всѣ обстоятельства, повидимому,

прямо вели поэта къ какой-либо катастрофѣ, особенно принимая въ расчетъ пылкость и увлекаемость его натуры. Между тѣмъ, въ великосвѣтскомъ обществѣ образовалась противъ Пушкина цѣлая коалиція, съ гр. Уваровымъ и Бенкендорфомъ во главѣ; ожидали только случая, чтобы такъ или иначе погубить его, и случай этотъ не замедлилъ представиться; достаточно было, правда, нѣсколько легкомысленнаго, но совершенно невиннаго ухаживанія за женою Пушкина блиставшаго въ то время въ большомъ свѣтѣ, красиваго, ловкаго, вкрадчиваго кавалергарда барона Жоржа Геккерна Дантеса, французскаго подданнаго, легитимиста, состоявшаго подъ особеннымъ покровительствомъ императора Николая, — и вотъ въ свѣтѣ была распушена по этому поводу гнусная сплетня, позорившая честь Пушкина. Въ то-же время Пушкинъ началъ получать рядъ отвратительныхъ анонимныхъ писемъ, исполненныхъ оскорбительнѣйшихъ намековъ и насмѣшекъ. Результатомъ этой адской интриги была ссора Пушкина съ Дантесомъ, раздѣлившая все великосвѣтское общество на два лагеря. Ссора эта не была затухаема и женитьбою Дантеса на свояченицѣ Пушкина, Катеринѣ Ник. Гончаровой. Напротивъ того, все болѣе разгораясь, разжигаемая недоброжелателями Пушкина, дошла наконецъ до дуэли, которая состоялась 27 янв. 1837 года за Черной рѣчкой, близъ Комендантской дачи, въ 5 часу дня. По словамъ секунданта Пушкина, лицейскаго товарища его Данзаса, гр. Бенкендорфъ зналъ объ этой дуэли, но обязанный предупредить ее, онъ послалъ жандармовъ не на Черную рѣчку, а въ Екатерининскій садъ, будто-бы по ошибкѣ. Пушкинъ былъ, какъ извѣстно, смертельно раненъ, въ верхнюю часть бедра, причѣтъ пуля, пробивъ кость, глубоко засѣла въ животъ. Два дня боролся онъ со смертью, въ ужасныхъ мученіяхъ, и наконецъ 29 января утромъ его не стало.

Между тѣмъ, вѣсть о несчастной дуэли и безнадежномъ состояніи Пушкина быстро разлетѣлась по городу. Уже рано утромъ, когда Пушкинъ былъ еще живъ, подъѣздъ его квартиры на Мойкѣ у Пѣвческаго моста былъ атакованъ публикой до такой степени, что Данзасъ долженъ былъ обратиться въ преображенскій полкъ съ просьбою поставить у крыльца часовыхъ, чтобы возстановить какой-нибудь порядокъ: густая масса собравшихся загораживала на большое разстояніе все пространство передъ квартирой Пушкина, и къ крыльцу не было возможности протискаться. Толпы народа и экипажи весь день осаждали домъ; извозчиковъ нанимали, просто говоря: „къ Пушкину“, и извозчики везли прямо туда. Всѣ классы петербургскаго населенія, даже люди безграмотные, считали какъ бы своимъ долгомъ поклониться тѣлу поэта. Это было похоже на очутившееся вдругъ общественное мнѣніе. Университетская и литературная молодежь рѣшила нести гробъ на рукахъ до церкви. Стихи молодого поэта Лермонтова на смерть Пушкина переписывались въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, перечитывались и выучивались наизусть всѣми. Возникли опасенія, и тѣло поэта изъ квартиры въ Конюшенную церковь было препровождено вечеромъ; при отпѣваніи 1-го февраля присут-

ствоваши одни приглашенные по билетамъ. Послѣ отпѣванія, гробъ занесли въ подвалъ церкви, гдѣ онъ оставался до 3-го февраля, а въ этотъ день поздно ночью гробъ былъ отправленъ въ Святоторскій-Успенскій монастырь, въ сопровожденіи жандармовъ и А. И. Тургенева, которому было поручено совершить погребеніе праха поэта. Прахъ былъ похороненъ возлѣ матери, въ той могилѣ, которую Пушкинъ приготовилъ для себя за годъ до смерти. Тамъ возвышается нынѣ надгробный памятникъ изъ бѣлаго мрамора съ подписью „Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ“ въ лавровомъ вѣнкѣ.

Пушкинъ умеръ, не оставивъ послѣ себя ничего, кромѣ долга въ 50,000 р. Но сверхъ того, что на похороны его было отпущено 10 т. р. асс., при кончинѣ

его весь казенный долгъ былъ снятъ съ иждивѣнія наследниковъ и сверхъ того высочайше пожаловано было 50,000 р. асс. на изпечатаніе его сочиненій, сборъ съ которыхъ опредѣленъ былъ на составленіе отдѣльнаго капитала для дѣтей покойнаго. Тогда же и два сына его зачислены были въ Пажескій корпусъ, и какъ имъ, такъ и вдовѣ поэта, назначены пенсіи.

Въ 1880 году 5 іюня Москва праздновала открытіе на одномъ изъ лучшихъ своихъ бульваровъ, на Тверскомъ, памятника гениальному и безсмертному поэту, которымъ могла-бы достойно гордиться каждая страна, и это всенародное литературное торжество, собравшее у ногъ поэта всю русскую интеллигенцію, безспорно занимаетъ одну изъ лучшихъ страницъ русской исторіи.

К О Н Е Ц Ъ.



# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

встрѣчающихся въ книгѣ именъ писателей и заглавій ихъ произведеній \*).

## А.

Авдѣевъ, М.—I, 75—84, 502, 775; II, 197.  
 Авенаріусъ, В.—I, 29, 61—62, 248.  
 Авериевъ.—I, 572; II, 109.  
 Австенко.—II, 431.  
 Аксаковъ, И. С.—II, 642.  
 Аксаковъ, Константинъ.—I, 386, 387, 388, 715; II, 46, 48, 49, 56.  
 Аксаковъ, Сергій.—II, 110, 248, 685, 686, 687, 689.  
 «Ангъ главнаго педагогическаго института», ст. Добролюбова.—I, 544.  
 «Али-Гадизъ», ск. Вагнера.—I, 710, 711.  
 Александровъ.—I, 572; II, 213.  
 «Альбертъ», пов. А. Толстого.—I, 633.  
 «Альбомъ» — Группы и портреты, Хвоццннской.—II, 61—194.  
 Альфредъ-де-Виньи.—II, 773.  
 «Альфъ и Альдона», р. Кукольника.—II, 773.  
 Андреевъ, А.—II, 746.  
 Андросовъ.—I, 419.  
 «Анна Каренина», ром. Л. Толстого.—II, 405—428, 561, 600, 605, 623, 624.  
 Анненковъ.—I, 194, 281, 398.  
 «Антонъ Горемына», пов. Григоровича.—II, 272, 275.  
 «Арабески», Гоголя.—I, 645, 771.  
 «Арапъ Петра Великаго», Пушкина.—II, 663, 666—669, 672, 692, 712, 775, 870.  
 Аріостъ.—II, 845.  
 «Аріостонъ», ром. Нарѣжнаго.—II, 659.  
 Аристотель.—II, 474.  
 Аристофанъ.—I, 439.  
 «Аскольдова могила», ром. Загоскина.—II, 709.

«Ася», п. Тургенева.—I, 726.  
 «Attalea princeps», ск. Вс.  
 Гаршина.—II, 531, 532.  
 Ауербахъ.—I, 268.

## Б.

Бажинъ.—I, 606; II, 5, 23, 26, 29.  
 «Базаровъ», ст. Писарева.—I, 170.  
 Байронъ.—I, 219, 288, 292, 297, 298, 299, 310, 311, 356, 357, 373, 380, 401, 441, 573, 581, 760; II, 229, 238, 239, 245, 563, 771, 854, 862.  
 Бакунинъ.—I, 408, 410, 730.  
 «Балъ», соч. Одоевского.—I, 345.  
 Бальзакъ.—I, 433; II, 229.  
 Барантъ.—I, 724.  
 Баратынский.—I, 317, 350, 364, 445, 744, 863.  
 «Баритонъ», пов. Хвоццннской.—I, 669, 670.  
 Батюшковъ.—I, 209, 212, 838, 839, 840, 842.  
 «Басурманъ», р. Лажечникова.—II, 725, 734, 741—744.  
 «Бахчисарайскій фонтанъ», поэма Пушкина.—I, 212, 854, 855.  
 «Безприданница», др. Островскаго.—II, 807.  
 «Безъ своей воли», разск. Гл. Успенскаго.—II, 548.  
 Бенедиктовъ.—I, 371, 373, 398, 400; II, 769, 772.  
 Бентамъ.—I, 343.  
 «Береза», ск. Вагнера.—I, 702.  
 «Бернаръ Мопра», ром. Ж. Зандъ.—I, 444.  
 Бернатовичъ, Ф.—II, 773.  
 Бергардтъ Бениеръ.—I, 100.  
 Берне.—I, 176, 427, 760.

Бернотъ.—I, 373; II, 338.  
 Берни.—II, 838.  
 Бень-Джонсонъ.—I, 122, 123.  
 Бестужевъ, А.—I, 11, 212, 320, 440, 584; II, 4, 23, 126, 682, 738, 769, 772, 854.  
 «Благодѣтельный Андроникъ», повѣсть Кукольника.—II, 773.  
 «Богатыри», ром. Н. Чаева.—II, 92.  
 «Богатыя невѣсты», к. Островскаго.—II, 807.  
 Богдановичъ.—II, 844.  
 «Богъ правду любитъ, да не скоро снаметъ», ск. Л. Толстого.—I, 662.  
 Бокль.—I, 13, 102, 103; II, 32, 172.  
 «Большая медвѣдница», ром. Хвоццннской.—I, 663, 668, 686, 688, 689, 693.  
 «Борисъ Годуновъ», др. Пушкина.—II, 118, 665, 666, 862.  
 «Борисъ Годуновъ», др. А. Толстого.—II, 255.  
 Борнсъ.—II, 230.  
 «Бородино», стих. Лермонтова.—I, 645.  
 «Бородинская годовщина», ст. Бѣлинскаго.—I, 397, 722, 757; II, 363.  
 Бороздинъ, Н. Н.—II, 664.  
 Ботиниъ.—I, 417.  
 Брамбеусъ баронъ, см. Сенковскій.  
 «Братья разбойники», поэма Пушкина.—II, 847, 854, 855.  
 «Бригадиръ», соч. Одоевского.—I, 345.  
 «Бродячія силы», В. Авенаріуса.—I, 29.  
 «Брынский лѣсъ», ром. Загоскина.—II, 712.  
 Буало.—I, 299.  
 «Буддизмъ, его догматы, исторія и

\*) Страницы, обозначенныя огуломъ и жирнымъ шрифтомъ, показываютъ, что въ нихъ соотвѣствующій писатель или произведение составляютъ главный предметъ рѣчи. Изъ произведеній обозначены лишь крупныя; мелкія стихотворенія опущены. Равно опущены и всѣ названія, встрѣчающіяся въ приведенныхъ цитатахъ.

литература, соч. Васильева ст. Добролюбова.—I, 547.

«Буддизмъ въ наукѣ», ст. Герцена.—I, 504, 767, 771.

Булгаринъ.—I, 326, 329, 330, 363, 371, 401; II, 128, 338, 432, 433, 437, 745, 746, 772, 782—789, 869.

Буренинъ.—II, 501.

«Бурсакъ», ром. Нарѣжнаго.—II, 653, 659.

Бутовскій, А.—I, 482, 486, 490.

«Былое и думы» Герцена.—I, 783, 798.

«Бѣлый», ст. Як. Полонскаго.—I, 142.

«Бѣлая Лиза», пов. Карамзина.—II, 654, 721.

«Бѣдная невѣста», ком. Островскаго.—I, 501, 565.

«Бѣдность не пороки», др. Островскаго.—II, 811.

«Бѣдные дворяне», ром. А. Потѣхина.—II, 135, 159, 161.

«Бѣдные люди», р. Достоевскаго.—II, 352.

«Бѣлые, черные и странные», р. Лажечникова.—II, 744.

Бѣлинскій, В.—I, 11, 14, 16, 17, 18, 113, 143, 150, 186, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 219, 280, 281, 282, 299, 315, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 342, 343, 344, 356, 359, 360, 361, 367, 370, 372, 373, 374, 378, 379, 386, 390, 391—458, 465, 466, 473—482, 492, 497, 498, 499, 501, 502, 516, 517, 546, 548, 549, 550, 603, 666, 715, 721, 722, 730, 738, 744, 757, 764, 766, 771, 773, 778; II, 96, 100, 202, 272, 273, 302, 339, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 361, 362, 363, 373, 374, 398, 470, 505, 506, 516, 709, 712, 724, 725, 726, 727, 736, 737, 741, 745, 780.

Бѣлинскій, Мансимъ, см. Ясинскій.  
«Бѣлинскій», соч. А. Н. Пыпина.—II, 347, 353.

«Бѣсы», ром. Ф. Достоевскаго.—I, 702.

«Бѣшеная лошадь», Лѣтнева.—II, 197.

«Бѣшеные деньги», ком. Островскаго.—II, 709.

Бѣнокъ.—I, 40, 41, 72, 496; II, 19.

Бѣль.—I, 322.

Бюргеръ.—II, 109.

## B.

Вагнеръ, Николай.—I, стр. 697—714; II, 474.

Вальтеръ-Скоттъ.—I, 298, 458; II, 229, 728, 735.

Вальманъ.—I, 123.

Веневитиновъ.—I, 313, 315, 332, 335, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 359, 362, 398, 734, 744; II, 663, 863.

Венгеровъ.—II, 738.

Вернеръ.—I, 288.

«Вечера на хуторѣ близъ Динаньи», Гоголя.—I, 718, 719; II, 312, 675, 677, 771.

«Взбаламученное море», р. А. Писемскаго.—I, 29, 49—56, 687, 716.

«Взглядъ на рус. лит. 1846 г.», ст. Бѣлинскаго.—I, 474, 480.

Виландъ.—II, 845.

Вильмонтъ.—I, 410, 724.

«Виссаріонъ Гр. Бѣлинскій», біогр. очеркъ Д. Свѣжскаго.—I, 281.

«Внѣ», Гоголя.—I, 710; II, 659, 663, 676, 681.

«Власть земли», разск. Гл. Успенскаго.—II, 495, 542, 548.

«Власть тьмы», др. Л. Толстого.—II, 621—634.

«Внука пампырнаго боярина», р. Лажечникова.—II, 744.

Воейковъ.—I, 371; II, 338, 720, 772.

«Война и миръ», р. гр. Л. Толстого.—I, 215, 612, 613, 645—662; II, 112, 114, 124, 129, 584, 600, 605, 610, 621, 700, 787.

«Волки и овцы», ком. Островскаго.—II, 800.

Вольтеръ.—I, 287, 301, 796; II, 475, 833, 849, 854.

«Вопросы жизни», ст. Пирогова.—I, 506—515, 553.

Вороновъ.—II, 285.

Воскресенскій.—II, 746.

«Воспитанница», др. Островскаго.—II, 806, 815.

«Воспоминанія о Бѣлинскомъ», Ив. Панаева.—I, 281.

«Воспоминанія о Бѣлинскомъ», Тургенева.—I, 282; II, 353.

«Воспоминанія о студенчествѣ Грановскаго», Григорьева.—I, 324.

Вронченко, М. Н.—II, 641.

«Встрѣча на стаминѣ», пов. И. Панаева.—II, 362.

«Выселки», разск. А. Левитова.—I, 137—139.

Вундтъ.—I, 13.

«Въ разбродѣ», ром. Шеллера.—II, 6, 25.

«Въ сороковые годы», р. Авдѣева.—II, 197.

«Въ лесахъ», романъ Мельникова.—II, 164, 171.

«Въ ожиданіи лучшаго», ром. Хвощинской.—I, 677, 686.

«Въ сторону отъ большаго свѣта», ром. Ю. Жадовской.—II, 636, 640, 648.

«Въ чемъ моя вѣра», Л. Толстого.—II, 624.

«Въ чемъ счастье», Л. Толстого.—II, 575—580.

«Въ чужомъ пиру похмѣлье», ком. Островскаго.—II, 827.

Вяземскій, кн. П. А.—I, 370, 719; II, 641, 854, 855.

## G.

Гаймъ.—I, 149.

Галаховъ, А.—I, 308.

Гамцъ.—I, 729.

«Гамцъ-Нюхельгартенъ», поэма Гоголя.—I, 146; II, 345.

Ганъ.—I, 456.

Гартманъ.—II, 508, 564.

Гаршинъ, Вс.—II, 516—533.

«Гдѣ лучше», романъ Ф. Рѣшетникова.—I, 255, 261, 262, 276.

Гобель.—II, 240.

Гегель.—I, 1, 3, 113, 115, 123, 150, 257, 258, 287, 293, 296, 326, 389, 395, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 417, 419, 430, 445, 465, 476, 496, 521, 729, 757, 759; II, 31, 32, 373, 741.

Гейне Генрихъ.—I, 216, 219, 419, 427, 428, 760; II, 238, 245, 246.

Гельвецій.—I, 287.

Гермиустъ.—I, 13.

«Герон голубинаго полета», романъ М. Авдѣева.—I, 75—84.

«Герой нашего времени», ром. Лермонтова.—I, 441.

Герцень.—I, 219, 336, 344, 367, 397, 434, 437, 442, 448, 453, 457, 473, 492, 546, 715, 717; II, 96, 352.

Гете.—I, 219, 288, 291, 297, 310, 313, 373, 390, 391, 401, 409, 415, 420, 421, 422, 425, 444, 518, 521, 573, 582, 758, 760, 764, 765; II, 234, 238, 239, 240, 245, 258, 599, 737, 769, 771.

Гизо.—I, 724; II, 32, 614.

«Гимназическія рѣчи», Гегеля.—I, 420.

Глинна, С. Н.—I, 315, 316, 345, 352; II, 129, 642, 718.

«Гнилая болота», ром. Шеллера.—II, 11.

Гнѣдичъ, Н. И.—II, 855.

Гоголь.—I, 11, 35, 113, 127, 146, 150, 151, 153, 158, 211, 249, 280, 282, 299, 315, 322, 326, 327, 330, 343, 367, 373, 390, 401, 406, 407, 409, 424, 425, 431, 432, 438, 440, 448, 452, 497, 502, 516, 518, 573, 645, 646, 655, 660, 661, 662, 666, 691, 710, 717—722, 755, 757, 760; II, 5, 20, 46, 100, 102, 111, 160, 212, 213, 214, 216, 217, 223, 229, 230, 238, 248, 249, 308, 312, 338, 345, 360, 506, 663, 665, 675—682, 684, 696, 712, 734, 746, 770, 771, 773, 793.

Головачева (Панаева), Авд. Н.—II, 360, 361, 362, 377.

Гомеръ.—I, 317, 356; II, 76, 240.

Гончаровъ, И. А.—I, 36, 75, 167, 169, 217—256, 282, 299, 450, 451, 452, 453, 457, 498, 502, 557, 614, 687, 775, 783; II, 3, 99, 134, 214, 215, 223, 427—440, 465, 470, 713, 770.

Гораций.—I, 160, 533; II, 784.

«Горе отъ ума», ком. Грибоедова.—I, 404, 425, 438, 439, 631; II, 431.

«Горе село, дорога и городокъ», Левитова.—II, 318.

Горловъ.—I, 486.

«Горячее сердце», др. Островскаго.—II, 823.

Гофманъ.—I, 343, 390, 391, 401, 433, 444, 761, 762, 763.

«Гофманъ», ст. Герцена.—I, 760.

Градовскій, А.—II, 31—32.

Грановскій.—I, 11, 280, 282, 352, 381, 390, 395, 415, 430, 437, 448, 457, 473, 481, 492, 499, 502, 504, 666, 717, 723—743, 744, 756, 767, 773, 778, 790.

«Графъ Нулинъ», Пушкина.—II, 862.

Гребенна.—II, 248, 249, 350, 362.

Грекуръ.—II, 888.

Грессе.—II, 838.

Гречъ, Н. И.—I, 315, 316, 326, 329, 363, 371, 401, 404, 428, 429; II, 336, 432, 433, 437, 784.

Грибоедовъ.—I, 315, 426, 428, 438, 527, 718, 749, 750; II, 214.

Григорій Турскій.—II, 70.

Григорьевъ, Д.—I, 128, 131, 453, 455, 502, 783; II, 134, 135, 136, 266, 272—274, 275, 350, 373, 713.

Григорьевъ, А.—I, 501; II, 298, 322, 324.

Григорьевъ, Г.—I, 315, 324.

Грицко-Основляненко.—II, 249.

«Гроза», др. Островскаго.—I, 163, 179, 182, 548, 565, 693, 727; II, 137, 139, 224, 282, 794, 795, 815.  
Громена, М. С.—II, 561—569.  
«Грѣхъ да бѣда на него не миветь», др. Островскаго.—I, 503.  
Губеръ.—II, 641.  
Гумбольдтъ, В.—I, 149.  
Гюго, Викторъ.—I, 268, 288, 297, 298, 391, 428, 483, II; 238, 771, 772, 773.

## Д.

Даль.—I, 455; II, 133, 350, 362, 373.  
Данилевскій, Гр.—II, 164, 165.  
Дантъ.—I, 439; II, 239.  
Дарвинъ.—I, 13; II, 83, 172.  
«Два Ивана, два Степановича, два Костылынова», ром. Кукольника.—II, 769, 780—782.  
«Два Ивана или страсть къ тамбамъ», ром. Нарѣжнаго.—II, 659.  
«Дворянское гнѣздо», р. Тургенева.—I, 37, 242, 497; II, 137, 138.  
«Дваохотника», пов. А. Потѣхина.—II, 146.  
«Developpement des idées révolutionnaires en Russie», Герцена.—I, 793.  
«XIX вѣкъ», ст. Ив. Кирѣевскаго.—I, 332, 352, 353, 355, 369.  
«Девятый валь», ром. Гр. Данилевскаго.—II, 164.  
«Дѣт семьи», ром. Шеллера.—II, 12.  
Декандоль.—I, 752.  
Денартъ.—I, 40, 41.  
Дельвигъ.—I, 317, 364; II, 835, 837, 847, 854, 860, 868.  
Де-Местръ.—II, 476.  
Демосфенъ.—II, 475.  
«Деревенская жизнь помѣщика въ старые годы», ст. Добролюбова.—I, 557.  
«Деревенскія письма», Н. Успенскаго. 132.  
Державинъ.—I, 10, 299, 319, 521, 749; II, 725, 839.  
«Джанабо Саназаръ», др. Кукольника.—II, 772.  
Джоржъ-Эллотъ.—II, 229.  
«Джулио Мости», др. Кукольника.—II, 772.  
Divina comedia, Данта.—I, 439.  
Дидро.—I, 287.  
Диккенсъ.—I, 54, 391, 433; II, 10, 19, 229, 771.  
«Диллетантизмъ въ наукѣ», ст. Герцена.—I, 767, 768.  
«Диллетанты-романтики», ст. Герцена.—I, 442, 767.  
Дмитріевъ, М. И.—I, 192; II, 831, 840.  
«Дмитрій Самозванецъ», р. Булгарина.—II, 782, 788.  
«Дневникъ лишняго человека», пов. Тургенева.—I, 380.  
Добролюбовъ.—I, 14, 16, 144, 145, 146, 163, 164, 165, 166, 169, 171, 177, 179, 180, 181, 280, 281, 282, 287, 313, 443, 481, 519—569, 641, 668; II, 1, 2, 3, 364, 398, 470, 709.  
«Долгъ прежде всего», разск. Герцена.—I, 788.

«Доминъ въ Коломнѣ», п. Пушкина.—II, 870.  
«Донъ-Жуанъ», Байрона.—II, 855.  
«Донъ - Жуанъ», Пушкина.—II, 870.  
«Донъ-Жуанъ», др. поэма А. Толстого.—II, 246, 251, 256, 258.  
Достоевскій, Ф.—I, 128, 248, 453, 502, 702; II, 103, 112, 250, 324, 334, 348, 349, 352, 373, 564, 713.  
«Доходное мѣсто», ком. Островскаго.—II, 802, 807.  
«Драконъ», разск. А. Толстого.—II, 246, 247.  
Дреперъ.—I, 13.  
«Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ», Н. Некрасова.—II, 364, 379.  
Дружининъ.—I, 775; II, 362, 641.  
«Дубровский», романъ Пушкина.—I, 212; II, 871.  
«Думы», Рылѣева.—I, 748.  
«Душенька», Богдановича.—II, 844.  
Дымманъ, Еф.—I, 165, 166.  
«Дымъ», ром. И. С. Тургенева.—I, 1—30, 242, 502, 716.  
«Дѣтство», пов. Л. Толстого.—I, 612, 614, 622, 644.  
Дюма-отецъ.—I, 13; II, 773.  
Дюма-сынъ.—II, 439—484.  
«Дядя-пудъ», ск. Вагнера.—I, 702.

## Е.

«Евгеній Онегинъ», ром. Пушкина.—I, 363, 456, 573, 749; II, 678, 682, 709, 854, 855, 857, 858, 862, 865.  
«Эвелина де-Вальероль», р. Кукольника.—II, 773.  
«Египетскія ночи».—Пушкина.—II, 802.  
Ермолаевъ, А. И.—II, 664.  
Ершовъ.—I, 371, 373.  
«Essai sur l'histoire de la civilisation en Russie», соч. Жеребцова.—I, 163.  
«Еще изъ записокъ молодого человека», ст. Герцена.—I, 766.

## Ж.

Жадовская, Ю. В.—II, 635—652.  
Жанъ-Поль-Рихтеръ.—I, 703, 760.  
«Желѣзная дорога.» п. Некрасова.—II, 364.  
«Женская исторія», р. Ю. Жадовской.—II, 649, 652.  
«Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова», ст. Д. Писарева.—I, 167, 169.  
Жеребцовъ.—I, 163, 547.  
«Жизнь Магомета», соч. В. Ирвинга, —ст. Добролюбова.—I, 547.  
«Жизнь московскихъ закулисовъ», А. Левитова.—II, 318.  
«Жизнь Шупова», ром. Шеллера.—II, 25.  
Жоржъ-Зандъ.—I, 13, 268, 288, 297, 298, 403, 428, 433, 436, 444, 445, 455, 779; II, 238, 638.  
Жоффа-Сентъ-Илеръ.—I, 751.  
Жуковский В.—I, 85, 192, 203, 209, 212, 299, 309, 310, 313, 314, 333, 350, 370, 883, 885, 390, 521, 719, 749; II, 239, 240, 248, 338, 343, 372, 381, 385, 663, 682, 685, 688, 695,

697, 698, 699, 720, 724, 831, 832, 839, 840, 842, 856, 870, 871.

## З.

«Заборевъ», Гребенки.—II, 362.  
Загоскинъ.—I, 128; II, 5, 128, 230, 362, 642, 665, 682—713, 725, 730, 734, 741, 745, 746, 747, 749, 754, 766, 769, 786, 791.  
Зайцевъ.—I, 282.  
«Записки доктора Крупова», Герцена.—I, 344, 664.  
«Записка о народномъ воспитаніи», Пушкина.—II, 866.  
«Записки изъ мертвѣго дома», Ф. Достоевскаго.—I, 128.  
«Записки охотника», Тургенева.—I, 11, 13, 128, 148, 453, 454, 455, 584, 783; II, 111.  
«Записки Тенина», Михайловскаго.—II, 516.  
Зарубинъ.—I, 128, 135.  
Златовратскій.—II, 328, 329, 468, 478, 516, 541—560.  
«Злоба дня», др. Потѣхина.—II, 162, 164.  
«Змѣй», Н. Успенскаго.—I, 131, 139.  
«Знакомство мое съ Пушкинымъ», Загоскина.—II, 726.  
Золд.—II, 229, 405.  
«Золотыя сердца», Златовратскаго.—II, 516.  
Зотовъ, В.—I, 373.  
Зотовъ, Р.—II, 128, 838, 745, 746, 749—768, 769, 774, 776.

## И.

«Иванъ Вымигинъ», р. Булгарина.—II, 782, 785—786.  
«Идеалы», Шиллера.—I, 422.  
«Изъ воспоминаній о переписи», Л. Толстого.—II, 569—575.  
«Изъ сочиненій доктора Крупова», ст. Герцена.—I, 767, 781, 782, 790.  
Искандеръ, см. Герценъ.  
«Искусство», кн. П. Ж. Прудона.—I, 63—75.  
«Искушеніе», пов. Хвоцинской.—I, 687, 688, 689, 690.  
«Исповѣдь», Л. Толстого.—II, 624.  
«Испытаніе», р. Хвоцинской.—I, 685.  
«Histoire de ma vie», Жоржъ Зандъ.—II, 638.  
«Исторія Госуд. Россійскаго», Карамзина.—II, 840.  
«Исторія», пов. Новодворскаго.—II, 504.  
«Исторія русскаго народа», Н. Полевого.—II, 665.  
«Исторія русской словесности», А. Галахова.—I, 308.  
«Исторія Пугачевскаго бунта», Пушкина.—II, 871, 872, 874.  
Иоаннъ Дамаскинъ.—II, 236.

## К.

Кабанисъ.—I, 496.  
Кавелинъ.—I, 282.  
«Кавказскій плѣнникъ», поэма Пушкина.—I, 214; II, 848, 854, 855.  
«Кавказскій плѣнникъ», пов. Л. Толстого.—I, 662.



«Назани», пов. Л. Толстого.—I, 633, 636.

Надальдович, Н. Ф.—II, 664.

Наденский.—I, 371.

Надтемир.—I, 299, 300, 399; II, 382.

Надте.—I, 287, 298, 409, 410.

«Напитанская дочка», повесть Пушкина.—I, 212; II, 663, 669—675, 747, 755, 871.

Напист.—I, 718.

«Наприз и раздумье», ст. Герцена.—I, 442, 780; II, 352.

«Напустинь», пов. Кукольника.—II, 774.

Нарамзин, Н. М.—I, 194, 203, 299, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 317, 322, 332, 345, 383, 385, 521, 749; II, 385, 653—658, 663, 665, 682, 684, 709, 727, 746, 838, 839, 840, 846, 865.

Нарус.—I, 758.

«Нарьера», пов. Новодворского.—II, 504, 505, 509, 513, 515.

Натков.—I, 386, 388; II, 47, 501.

Наченовский.—I, 212, 315, 316, 327, 362, 365.

Нельсень.—II, 297.

«Нинжалъ», Пушкина.—I, 748.

Нирша-Даниловъ, былинны.—II, 246, 664, 709, 845.

Ниртеский, Ив.—I, 313, 315, 332, 335, 351—354, 355, 356, 358, 359, 362, 398, 754; II, 47, 48, 49, 863.

Ниртеский, А.—II, 105, 246, 863.

Нлопштонъ.—II, 771.

Нлючинковъ, В.—I, 29, 56—58, 248.

Нлюшинковъ.—I, 386, 433.

«Нлатва при гробъ Господнемъ», г. Н. Полевого.—II, 782, 790—791.

Нияминъ.—II, 653, 854.

«Ниязь Серебряный», ром. А. Толстого.—II, 255, 271.

«Ниязь Скопинъ-Шуйский», р. Шляхивой.—II, 791, 792.

«Ниязь Федоръ Д—гий и нияжна Марья М—ва», ром. Ав. Лафонтена.—II, 746—748.

«Нюгда же придетъ настоящий день?», ст. Добролюбова.—I, 548, 566.

«Нюлесо счастья», ск. Вагнера.—I, 707.

Нозловъ.—I, 317.

Нольцовъ.—I, 141, 367, 458, 460, 469, 470, 471; II, 230, 289, 290, 373, 388, 395, 647.

«Ному на Руси жить хорошо».—II, 364, 400, 403, 404.

Нондильякъ.—I, 316.

Нондорс.—II, 602, 608.

Нонтъ Огюсть.—I, 483, 487, 493, 494, 570; II, 602.

«Нонцы и начала», Герцена.—I, 793.

Норель.—II, 302, 653.

«Норобейники», поэма Некрасова.—II, 364, 376, 400, 404.

Ностомаровъ, Н. И.—I, 282.

Нотшихинъ.—II, 120, 286.

Нохановская.—I, 125—127, 503; II, 102, 324.

Нючебу.—I, 747; II, 31.

Нюшелъ.—II, 533—540.

Нраевский, А.—II, 342, 773.

Нрасовъ.—I, 386, 387, 390, 395.

Нрешинъ.—I, 155.

Нрестовский, Всев.—II, 247.

В. Нрестовский (псевдонимъ), см. Хвоцкая.

«Нрестянский вопросъ въ царств. Имп. Николая», В. И. Семевского.—II, 605.

«Нрестянский дѣти», Некрасова.—II, 364, 376.

Нроненбергъ.—II, 352.

Нротковъ.—II, 173.

«Нрушинский», ром. А. Потѣхина.—II, 134.

Нрыловъ, Ив.—I, 312, 370, 531, 718; II, 406, 688.

«Нто виноватъ», ром. Искандера.—I, 219, 751, 767, 774, 775, 778, 782.

«Нто-жъ остался доволенъ» ром. Хвоцкой.—I, 685.

Нудряевъ.—I, 11, 282, 433.

Нузень.—I, 318, 326.

«Нузья Петровичъ Мироевъ», ром. Загоскина.—II, 711.

Нузымичъ, Ал.—II, 746.

Нуюльничъ.—I, 371, 373, 666; II, 230, 338, 713, 746, 769—782.

Нуюльничъ.—I, 14.

Нуперь.—I, 295.

«Нурма», сказка Вагнера.—I, 702.

Нурочкинъ, Н.—I, 63.

Нущевский.—I, 572; II, 285, 289.

Нювье.—I, 752, 758.

Нюхельбергеръ.—II, 837.

## Л.

Лажечниковъ.—I, 123; II, 128, 665, 713—745, 746, 749, 754, 762, 766, 769.

Ламотъ-Фукъ.—I, 288.

Лассаль.—I, 85—112; II, 31, 60.

Ладатеръ.—I, 290.

Ладонтень, Авг.—I, 747; II, 746—748.

Ладонтень-Жанъ.—II, 834.

Лавитовъ, А.—I, 128; 137—139, 572; II, 285—330.

«Ладяной домъ», ром. Лажечникова.—II, 725, 734—740, 742.

Лейкинъ.—I, 572.

«Леонидъ», р. Р. Зотова.—II, 745, 753, 757—760, 766, 776.

Лермонтовъ.—I, 11, 212, 282, 299, 312, 336, 367, 373, 379, 390, 432, 436, 441, 527, 645; II, 238, 245, 246, 248, 304, 338, 352, 372, 381, 386, 388, 470, 477, 479, 506.

Леру, Пьеръ.—I, 755.

Лессингъ.—I, 287, 506, 517, 518; II, 32.

«Лессингъ», ст. Чернышевскаго.—I, 506, 518.

«Литературный вечеръ», очеркъ И. Гончарова. II, 427—440.

«Литературныя воспоминанія», Ив. Панаева.—I, 281, 324, 370.

«Литературныя мелочи прошлаго года», ст. Добролюбова.—I, 560, 562.

«Литературныя мечтанія», В. Бѣлинскаго.—I, 391, 398; II, 726.

«Литературныя опасенія», ст. Надеждина.—I, 363, 397.

Лонкъ.—I, 316, 322, 496; II, 19.

«Лола Монтесъ», пов. Дружинина.—II, 362.

Ломоносовъ.—I, 14, 15, 16, 17, 192, 299, 300, 301, 310, 314, 317, 318, 332, 545; II, 154, 382, 476, 686.

Луганскій казакъ, см. Даль.

Лун-Блаитъ.—I, 499.

Лукинъ.—I, 214.

«Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ», ст. Добролюбова.—I, 565.

Льюисъ.—I, 13.

«Лѣсновъ (Стебницкий)».—I, 29, 59—61, 248; II, 3, 112.

«Лѣсъ», ком. Островскаго.—II, 806.

«Лѣсъ рубить—щепки летятъ», ром. Шеллера.—II, 6.

Лѣтновъ.—II, 197.

«Лѣтопись села Горохина», Пушкина.—II, 666, 870.

«Лѣцеры», пов. Л. Толстого.—I, 633.

## М.

«Мазепа», р. Булгарина.—II, 782, 788.

Максимовичъ.—II, 664.

«Малиновка», пов. Лажечникова.—II, 713, 721—723.

«Маркеръ», Л. Толстого.—I, 613, 633, 641.

Майновъ, Вас.—I, 214.

«Майновъ, Ал.—I, 154, 436, 447, 501, 666; II, 101, 230, 245, 289, 306, 352, 362.

Майновъ, Вал.—I, 448, 458—473, 477, 478, 482, 492, 498.

«Майоръ и Сверчокъ», ск. Вагнера.—I, 712.

Максимовичъ.—I, 352.

«Маякъ и Волчокъ», ск. Вагнера.—I, 710.

Малолей.—I, 13.

«Малые ребята», разск. Гл. Успенскаго.—II, 488, 495.

Мальтусъ.—I, 343, 486, 499, 500.

«Мальтусъ и его противники», ст. В. Милюткина.—I, 486.

«Маревъ», В. Ключникова.—I, 30, 56—58.

Марковичъ, Болесл.—II, 112, 412, 431.

Марко-Вовчокъ.—I, 128, 564; II, 248, 324, 635.

Марковъ, Евг.—II, 197, 198, 199, 200, 396, 434.

Марлинский, см. А. Бестужевъ.

Мартиновъ (переводчикъ).—I, 14.

«Марса посадница или покореніе Новгорода», повесть Карамзина.—II, 657—658.

Масальский.—II, 782.

«Матеріалы для біографіи Добролюбова», Чернышевскаго.—I, 544.

«Мать», поэма Некрасова.—II, 334.

«Мемду денегъ», романъ А. Потѣхина.—II, 259, 266, 274—286.

«Мемду людьми», пов. Рѣшетникова.—I, 264, 274.

Мезевичъ.—II, 338.

Мельниковъ, П. Ив.—II, 164, 165, 271.

«Менцель, критикъ Гете», соч. Бѣлинскаго.—I, 397, 438, 722; II, 364.

«Мертвое озеро», романъ Некрасова и Станцкаго.—II, 360, 361.

«Мертвое тѣло», разск. В. Стѣпцова.—I, 133.

«Мертвая душа», соч. Гоголя.—I, 140, 573, 645, 646, 655, 666; II, 5, 102, 111, 224, 286, 338, 481, 465, 680, 696.

«Мечтатели», пов. Новодворскаго.—II, 504, 505.

«Мечты и звуки», ст. Некрасова.— II, 343—346.

«Мила и Нолли», ск. Вагнера.— I, 704.

Миллер, Ор.— I, 186.

Милль.— I, 18; II, 19.

Милютин, Вл. Ал.— I, 482—490, 498, 506, 666; II, 398.

Минаев, Д. Д.— I, 281.

«Миргород», пов. Гоголя.— I, 645; II, 680.

Михайловский, Н. Н.— II, 328, 329, 592.

Михайлов, А. См. Шеллер.

Мицкевич.— II, 863.

«Мишура», ком. Потехина.— I, 136.

Модестов, В.— I, 466.

Молешиот.— II, 172.

Мольер.— II, 238, 833, 834.

Монтескье.— I, 301.

«Морозь красный нос», поэма Некрасова.— II, 364, 400, 401, 403, 404.

«Москва и Петербург», Герцена.— I, 767.

«Мотивы русской драмы», ст. Д. Писарева.— I, 163, 179.

«Мощарт и Сальери», Пушкина.— II, 870.

«Мысли и замѣтки о русской литературѣ», Бѣлинскаго.— II, 352.

«Мѣдный всадникъ», Пушкина.— II, 872, 876.

## N.

«Наблюдения дѣтства», сочин. Гл. Успенскаго.— I, 602.

Надеждин.— I, 208, 209, 313, 327, 328, 335, 336, 354, 356, 357—367, 370, 389, 393, 394, 395, 398, 439, 444.

Надоумка. См. Надеждинъ.

«Наказъ» Екатерины II.— I, 8.

«Накануне», ром. Тургенева.— I, 36, 37, 502, 548;— II, 16, 137, 709, 794.

«Народное дѣло», ст. Добролюбова.— I, 567.

Нарѣжний.— II, 653, 658—663, 723.

«Насѣшна мертвеца», соч. Одоевскаго.— I, 345.

«Наталья, боярская дочь», ром. Карамзина.— II, 653, 654—657, 721, 723.

«Наука жизни или какъ молодому человѣку жить на свѣтѣ», соч. Иф. Дыммана.— I, 165, 166.

Наумовъ, Н. И.— II, 325, 478.

«Нашъ взаимный другъ», ром. Диккенса.— I, 54.

«Наши идеалисты и реалисты», А. Немировскаго.— I, 64, 73.

«Национальный вопросъ въ исторіи и литературѣ», А. Градовскаго.— II, 91—92.

«Небыльщина», П. Якушкина.— I, 136—137.

«Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ», др. Островскаго.— II, 809.

«Невольницы», др. Островскаго.— II, 806.

«Не въ свои сани не садись», ком. Островскаго.— I, 503, 555; II, 325.

«Не все коту масленица», ком. Островскаго.— II, 820.

«Новый проспектъ», пов. Гоголя.— II, 360.

«Не въ привычку дѣла», разск. Гл. Успенскаго.— II, 490, 495.

«Неистовый Орландъ», Аріоста.— II, 845.

Некрасовъ, Н.— I, 453, 541;— II, 99, 227, 245, 266—270, 305, 324, 330—404.

«Некуда», ром. М. Стебницкаго.— I, 29, 59—61.

А. Немировскій.— I, 64, 73.

«Немного лѣтъ назадъ», ром. Лажечникова.— II, 744.

«Необходимость, значеніе и сила эстетическаго образованія», ст. Надеждина.— I, 366.

«Необыкновенный завтракъ», поп. Некрасова.— II, 360.

«Непостижимая странность», ст. Добролюбова.— I, 567.

«Нереда», Пушкина.— I, 422.

«Нертвенный вопросъ», Д. Писарева.— I, 175, 177.

«Не сошлись характерами», ком. Островскаго.— II, 797.

«Несчастные», поэма Некрасова.— II, 333, 377.

«Не такъ мила, какъ хочется», др. Островскаго.— II, 820.

Нефедовъ.— II, 289, 299, 305.

Никитинъ.— II, 290, 647.

«Новгородъ и Владиміръ», соч. Герцена.— I, 767.

Новиковъ.— I, 8, 9, 14, 15, 303, 304, 307, 332, 721; II, 477, 478, 714.

Новодворскій.— II, 500—516, 528, 530.

«Новозобрѣтенная привилегированная красна Дирлинга и К<sup>о</sup>», пов. Некрасова.— II, 360.

«Новый годъ», разск. Кукольника.— II, 775.

«Новый кодексъ русской практической нравственности», ст. Добролюбова.— I, 165.

«Новыя варіаціи на старыя темы», ст. Герцена.— I, 767, 779.

«Носъ» Гоголя.— I, 343.

«Ночлеги», разск. Стѣпцова.— I, 133.

«Ночь на Рождество», Гоголя.— II, 663, 675.

«Ночь», разск. Гаршина.— II, 528, 530.

«Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести», ст. Герцена.— I, 767.

«Нѣсколько мыслей въ планѣ мурала», соч. Веневитинова.— I, 349, 350.

Ньютонъ.— II, 19, 611.

## O.

«Оберонъ», Виланда. II, 845.

«Обломовъ», ром. Гончарова.— I, 217, 220, 244, 584; II, 16, 224, 431, 465, 794.

Оболенискій.— II, 587—613.

«Обыкновенная исторія», ром. Гончарова.— I, 217, 218, 219, 450, 452.

«Обрывъ», ром. Гончарова.— I, 217—256, 457, 687.

«Объ ослабленіи классическаго преподаванія въ гимназіяхъ», Грановскаго.— I, 734.

Омидъ.— II, 854.

Огаревъ.— II, 391.

«Ода на свободу», Пушкина.— I, 748.

«Одинъ въ полѣ не воинъ», ром. Шпилъгагена.— I, 85—112.

Одоевскій, В. О.— I, 315, 332, 334, 335—349, 352, 370, 389, 400, 401, 703, 744, 753, 760, 787; II, 28.

Озеровъ.— II, 653.

«О значеніи авторитета въ воспитаніи», ст. Добролюбова.— I, 553.

«О значеніи искусства въ цивилизаціи», Эдельсона.— I, 63, 65.

Олень.— I, 751.

«Около денегъ», ром. А. Потехина.— II, 197, 199.

«О критикѣ «Наблюдателя», ст. Бѣлинскаго.— I, 401.

Оленинъ.— II, 664.

Омулевскій.— I, 572, 606; II, 5, 23, 29.

«О назначеніи ученыхъ», переводъ лекціи Фихте.— I, 409.

«Опасный сосѣдь», В. Л. Пушкина.— II, 831.

«Опытная женщина», пов. Некрасова.— II, 360.

«Опытъ о народномъ богатствѣ или о началахъ политической экономіи», А. Бутовскаго.— I, 486.

«Опытъ о философіи Гегеля», соч. Вильмена.— ст. Станкевича.— I, 409.

«Органическое развитіе человѣка въ связи съ его умомъ и нрав. дѣятельностью», ст. Добролюбова.— I, 547.

«О русской журналистикѣ прошлаго столѣтія», ст. П. Милюткина.— I, 505.

«О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя», ст. Бѣлинскаго.— I, 406, 516.

Осиповичъ, А. см. Новодворскій.

«О собратіи любителей русскаго слова», ст. Добролюбова.— I, 514.

«О степени участія народности въ развитіи русской литературы», ст. Добролюбова.— I, 560.

«Остраница», Гоголя.— II, 677.

Островскій, А. Н.— I, 128, 501, 502, 548, 555, 565, 585; II, 47, 99, 136, 282, 324, 325, 770, 793—830.

«Откликъ съ Патриаршихъ Прудовъ», ст. Надеждина.— I, 365.

«Отношеніе искусства къ дѣятельности», Н. Чернышевскаго.— I, 175.

«Отрочество», разск. Л. Толстого.— I, 612, 614, 622.

«Отсталая», пов. Ю. Жадовской.— II, 650, 652.

«Отцы и дѣти», ром. Тургенева.— I, 29, 39—46, 527, 687.

«О философской критикѣ художественнаго произведенія», Ретпера.— I, 420.

«Очерки Бородинскаго сраженія» Глинки, ст. Бѣлинскаго.— I, 438.

«Очерки бурмы», Помяловскаго.— I, 669, 670.

«Очерки гоголевскаго періода», соч. Чернышевскаго.— I, 280, 281, 373, 506, 517, 518.

«Очерки Севастопольской войны», Л. Толстого.— I, 644.

## P.

Павловъ, М. Г.— I, 332, 334, 389, 390, 395, 419, 721.

Панаевъ, В. И.—I, 194.  
 Панаевъ, Ив.—I, 281, 317, 321, 324, 325, 337, 361, 370, 387, 388, 415, 432, 434, 435, 453, 766, 767; —II, 24, 347, 349, 352, 355, 362, 377, 769, 771, 772, 773.  
 «Пана-приникъ», ск. Вагнера.—I, 702.  
 «Парижскія Тайны», ром. Сю.—I, 480.  
 Парни.—II, 838.  
 «Peuple russe et le socialisme», Герцена.—I, 793.  
 «Переписка съ друзьями», Гоголя.—I, 151, 153, 158, 497, 502, 511, 646, 691, 721, 722; II, 102, 111.  
 «Переселенцы», ром. Григоровича.—II, 272.  
 Перовскій, Аленскій (пс. Антонъ Погорѣльскій).—II, 232, 688.  
 «Петербургская сторона», Е. П. Гребенки.—II, 350.  
 «Петербургскіе углы», Некрасова.—II, 350, 360.  
 «Петербургскіе шарманщики», Григоровича.—II, 350.  
 «Петербургскій дворникъ», В. И. Луганскаго.—II, 350.  
 «Петербург и Москва», Бѣлинскаго.—II, 350.  
 «Петръ Вышинъ», ром. Булгарина.—II, 782, 786—788.  
 Печерскій. См. Мельниковъ.  
 Пиндартъ.—I, 317, 356.  
 Пироговъ, Н.—I, 506—515, 553.  
 «Пиръ во время чумы», Пушкина.—II, 870.  
 Писаревъ, Дм. Ив.—I, 143—218, 280, 282, 313, 413; II, 21, 22, 398.  
 Писемскій, —I, 36, 49—56, 57, 58, 59, 61, 75, 128, 131, 167, 168, 169, 248, 282, 502, 550, 687, 716, 776, 783; —II, 1, 2, 3, 103, 112, 136.  
 «Письма изъ Авеппе - Malignu», Герцена.—I, 784.  
 «Письма изъ Франціи и Италіи», Герцена.—I, 784.  
 «Письма къ старому товарищу», Герцена.—I, 796.  
 «Письма объ изученіи природы», ст. Герцена.—I, 504, 767, 772, 773, 790.  
 Платонъ, проповѣдникъ.—I, 214.  
 Платонъ, философъ.—I, 753; II, 473.  
 Плутархъ.—I, 749.  
 «Плѣнникъ», Гоголя.—II, 677.  
 «Поврежденные», разск. Герцена.—I, 783.  
 «Повѣсти Бѣлкина», А. Пушкина.—I, 212; II, 709, 837, 870.  
 «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», Гоголя.—II, 659.  
 «Погибшіе и погибающіе».—I, 216.  
 Погодинъ, М. Н.—I, 335, 348, 349, 367, 375, 389, 719, 721, 733; II, 46, 126, 351, 641, 863, 864.  
 Погооскій.—I, 118.  
 «Подите прочь», Пушкина.—I, 428.  
 «Подлинновъ», Рѣшетникова.—I, 128, 133—135, 261; II, 101.  
 «Подростающая гуманность», ст. Писарева.—I, 216.  
 «Пока не требуетъ поэта», Пушкина.—I, 423.  
 Полевой, П.—I, 149.

Полевой, Ник.—I, 11, 123, 212, 287, 299, 315—332, 335, 336, 357, 358, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 371, 379, 389, 391, 397, 398, 400, 401, 406, 422, 423, 753, 761; II, 23, 97, 126, 230, 338, 339, 342, 665, 684, 746, 782, 790, 791.  
 Полежаевъ.—I, 409, 423, 424, 744.  
 «Полинья Саксъ», пов. Дружинина.—I, 775.  
 Половскій, Яв.—I, 141—143.  
 «Полтава», Пушкина.—I, 645, 870.  
 Поль-де-Монъ.—I, 378, 391, 401.  
 «Помѣщикъ», пов. Тургенева.—II, 352.  
 Помяловскій.—I, 128, 669; II, 28, 29, 99, 285, 322.  
 Пономаревъ, С. И.—II, 370.  
 «По поводу одной драмы», ст. Герцена.—I, 442, 767, 773, 774, 778, 779.  
 «По разнымъ поводамъ», ст. Герцена.—I, 779.  
 «Поросенокъ», разск. Н. Успенскаго.—I, 131.  
 «Портретъ», Гоголя.—I, 343, 719, 720.  
 «Портретъ», пов. А. Толстого.—II, 233, 235.  
 «Портчане», Помяловскаго.—I, 128.  
 «Посадникъ», др. А. Толстого.—II, 197.  
 «Послѣднее дѣйствіе комедіи», ром. Хвощинской.—I, 685.  
 «Послѣдній Новикъ», ром. Лажечникова.—II, 725—734, 740, 742, 762.  
 «Послѣдній потомокъ Чингисъ-хана», ром. Р. Зотова.—II, 745, 754—757, 766.  
 «Послѣднія произведенія гр. Л. Н. Толстого», крит. эт. М. С. Громеки.—II, 561—569.  
 «Послѣ обѣда въ гостяхъ», пов. Кохановской.—I, 125—127.  
 Посошновъ.—II, 286.  
 Потѣхинъ, Ал.—II, 131—162, 164, 197, 199, 200, 213, 259, 266, 274—286.  
 «Походныя записки», Лажечникова.—II, 721.  
 «Поята, дочь Лездейки», ром. Бернатовича.—II, 773.  
 «Правда хорошо, а счастье лучше», др. Островскаго.—II, 796.  
 «Преступленіе и наказаніе», ром. Ф. Достоевскаго.—I, 215.  
 «Приходскій учитель», пов. Хвощинской.—I, 674.  
 «Похвала глупости», драма Потѣхина.—I, 663.  
 «Прерванные разсказы», Герцена.—I, 767.  
 «Пріятель», пов. Тургенева.—I, 37.  
 «Проказникъ», ром. Загоскина.—II, 685.  
 «Проконій Лапуновъ», р. Шишкиной.—II, 791—793.  
 «Пролетаріи и паутизмъ», ст. В. Милюткина.—I, 482, 483.  
 «Прометей», тр. Эсхила.—I, 439.  
 «Проселочныя дороги», р. Григоровича.—II, 135.  
 «Простой случай», пов. Жадовской.—II, 647.  
 Прудонъ.—I, 64—76, 249, 250, 410, 577, 793; II, 60, 488, 611.  
 «Пугачевскіе», ром. Евг. Салиаса.—II, 92, 112—122.

«Пучина», др. Островскаго.—II, 827.  
 Пушкинъ, А. С.—I, 10, 11, 186—214, 242, 243, 299, 309, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 321, 322, 324, 327, 333, 336, 344, 356, 357, 358, 361, 363, 364, 366, 370, 385, 390, 400, 401, 409, 421, 422, 423, 425, 431, 436, 447, 497, 516, 518, 521, 573, 645, 719, 748, 749, 758, 760; II, 8, 47, 118, 212, 238, 239, 244, 245, 248, 254, 258, 345, 372, 375, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 470, 477, 479, 525, 663, 665—675, 677, 678, 680, 682, 684, 687, 688, 692, 696, 697, 704—709, 712, 724, 725, 726, 733, 734, 738, 739, 740, 746, 747, 754, 755, 770, 771, 774, 793—795, 829—889.  
 Пушкинъ, В. Л.—II, 831, 835.  
 «Пушкинъ и Бѣлинскій», ст. Д. Писарева.—I, 166.  
 Френнингъ.—I, 290, 291.  
 Пыпинъ, А. Н.—II, 347, 353.  
 «Пѣсенна земля», ск. Вагнера.—I, 710, 711.  
 «Пѣсни западныхъ славянъ», Пушкина.—II, 872.

## Р.

Рабле.—I, стр. 123.  
 Радищевъ.—II, 477, 478.  
 Радклифъ.—II, 684.  
 «Разбойники», тр. Шиллера.—II, 154.  
 «Разговоръ о счастьи», Н. Карамзина.—I, 308.  
 «Раздѣленіе поэзіи на роды и виды», ст. В. Бѣлинскаго.—I, 390.  
 «Размышленія у параднаго подъѣзда», Некрасова.—II, 364, 377.  
 «Разореніе», ром. Гл. Успенскаго.—I, 571—604, 632.  
 Разрушеніе эстетики, ст. Д. Писарева.—I, 175.  
 «Разъѣздъ», Гоголя.—II, 431.  
 Расинъ.—I, 317; II, 302, 653.  
 Р—ва Зинаида, см. Ганъ.  
 «Ревизоръ», ком. Гоголя.—I, 425, 438, 645, 666; II, 216, 236, 338, 431, 680.  
 «Регентство Бирона», р. Масальскаго.—II, 791.  
 Рейхлинъ.—II, 475.  
 Ретшеръ.—I, 420, 421, 433.  
 Розенгеймъ.—II, 641.  
 «Ронсолана», др. Кукольника.—II, 772.  
 «Романъ», пов. Новодворскаго.—II, 504.  
 «Романъ инсейной барышни», соч. Писарева.—I, 180, 216.  
 «Романы и повѣсти», Хвощинской, —8 т., Спб. 1859 г.—I, 663—698.  
 «Рославлевъ», ром. Загоскина.—II, 675, 685, 696—704, 786.  
 «Рославлевъ», Пушкина.—II, 675, 696, 697, 704—709.  
 «Россія», Булгарина.—II, 745.  
 Ростопчина, графиня.—I, 668.  
 «Рудинъ», Тургенева.—I, 502, 716, 726; II, 224.  
 «Рука Всевышняго отечество спасла», др. Кукольника.—II, 769.  
 «Русалка», Пушкина.—II, 871.  
 «Русляны и Людмила», поэма Пуш-

кина.—I, 212; II, 840, 842, 844, 845, 855, 864.

«Русская сатира Екатерининского времени».—I, 560.

«Русская цивилизация, сочиненная Жеребцовым», ст. Добролюбова.—I, 547.

«Русские в начале XVIII ст.», р. Загоскина.—II, 712.

«Русский Жилблаз», р. Нарѣжнаго.—II, 659.

«Русские женщины», Некрасова.—II, 286—270, 364, 380.

«Русские ночи», Одоевского.—I, 327, 389, 342, 343, 344, 348, 703.

Руссо.—I, 301, 308, 309, 755, 796; II, 407, 474, 475, 479, 833.

«Рыбаки», ром. Григоровича.—II, 272.

Рыбинков.—II, 105, 246.

Рылтеев.—I, 748; II, 864.

Рѣшетниковъ, В. М.—I, 128, 133—135, 137, 255—278, 585; II, 99, 101, 102, 111, 227, 285, 289, 310, 322, 325.

## С.

Саванаролла.—I, 720.

Савельев-Ростиславичъ.—I, 435.

Салась, Евг.—II, 92, 112—128.

Салтыковъ, М. Ев.—I, 177; II, 99, 101, 136, 216, 223, 468, 470, 592, 770.

Сахаровъ.—II, 105, 246.

«Саша», поэма Некрасова.—II, 389, 391.

«Саша», разск. Н. Успенскаго.—I, 129.

«Свадьба Фигаро».—I, 748.

«Свиньи», разск. В. Стѣпцова.—I, 133.

Свифтъ.—I, 781; II, 19.

Д. Свѣтиславъ, см. Д. Минаевъ.

Свининъ.—II, 746.

«Свои люди сочтемся», ком. Островскаго.—I, 501.

Семевскій, В. И.—II, 605, 606.

«Семейное счастье», р. Л. Толстого.—I, 614.

«Семейная хроника», С. Аксакова.—II, 110.

«Семейство Талыниновыхъ», ром. Станичкаго.—II, 362.

Сениковский.—I, 329, 356, 371, 373, 374, 401, 724; II, 338, 769, 772.

Сень-Симонъ.—I, 295.

«Серапионовы братья», Гофмана.—I, 344.

Сервантесъ.—I, 123, 582; II, 238, 696.

«Сердитое безсиліе», ст. Д. Писарева.—I, 215.

«Сержантъ Ив. Ив. Ивановъ», пов. Кукольника.—II, 769, 776—779.

«Сила характера», р. Смирновой.—II, 197.

Сисмонди.—I, 724.

«Сказки Кота-Мурлыки», Ник. Вагнера.—I, 697—714.

«Сказки», Пушкина.—II, 871, 872.

«Скупой рыцарь», Пушкина.—II, 870, 876.

«Славянский Сборникъ», Савельева-Ростиславича.—I, 435.

«Словенские вечера», Нарѣжнаго.—II, 653, 660—663.

«Словесность и торговля», ст. Шевырева.—I, 377—378, 379.

Случевскій, И.—I, 63, 65, 66.

Слѣпцовъ, В.—I, 128, 132—133, 205, 206, 207; II, 325, 507.

«Смерть Іоанна Грознаго», др. А. Толстого.—II, 255.

Смирнова.—II, 197, 198, 199, 200.

Смитъ, Ад.—I, 322, 338, 499; II, 19.

«Смотрини и рукобиты», пов. Даля.—II, 362.

Снегиревъ.—II, 105.

Соллогубъ, гр.—I, 370; II, 352.

Соловьевъ, Влад.—II, 564.

Соломонъ.—II, 563.

«Сонъ Обломова», Гончарова.—I, 614.

«Сорочка-воровка», пов. Герцена.—I, 767, 783.

Сочиненія А. Потѣхина. (пб. 1873.—II, 131—162.

Спенсеръ.—I, 13, 494.

Сталь.—II, 705.

Станицій, см. Головачова.

Станевичъ.—I, 158, 171, 281, 335, 367, 378, 381, 384, 386, 389, 390, 391, 395, 396, 397, 398, 402, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 430, 436, 724, 730, 756, 757, 759, 764; II, 174, 773.

«Станиця Едрова», соч. Герцена.—I, 767.

«Старички острова Панхам», соч. Одоевскаго.—I, 344.

«Старое барство», ст. Д. Писарева.—I, 215.

«Старушка», Ап. Майкова.—II, 362.

«Старый миръ и Россія», Герцена.—I, 793, 795.

Стебницкій, см. Лѣсковъ.

Стендаль.—II, 229.

«Степные очерки», А. Левитова.—II, 291, 298, 305, 311—318.

«Стокая вода», ст. Д. Писарева.—I, 167.

«Страшная месть», Гоголя.—II, 603, 675, 676, 680, 681.

Стровецъ, П. С.—II, 664.

Стронинъ.—II, 126.

Стурдза.—II, 31.

«Стрѣльцы», р. Масальскаго.—II, 790, 791.

Суворинъ.—II, 474, 501.

«Судъ», поэма Некрасова.—II, 377, 404.

Сумароковъ.—I, 299, 300; II, 653.

«Съ того берега», Герцена.—I, 786, 787, 794.

Сю, Евгений.—I, 13, 480.

## Т.

«Тайнственный монахъ», ром. Зотова.—II, 745, 754, 760—766.

«Таланты и поклонники», др. Островскаго.—II, 808.

«Тарасъ Бульба», Гоголя.—I, 718; II, 663, 677, 678, 680, 681.

Тацитъ.—II, 65, 862.

Теминъ. См. Н. К. Михайловскій.

«Темное царство», ст. Добролюбова.—I, 554, 557.

Теккерей.—I, 18, 433; II, 10, 771.

Телецъ, Габріель. (Тирсо-де-Молина)—II, 254.

Тинъ.—I, 288.

Тимофеевъ.—I, 371, 373; II, 338.

«Титъ Сафониучъ Казанокъ», пов. А. Потѣхина.—II, 144.

«Тихе воды ниже травы», соч. Гл. Успенскаго.—I, 697.

Толстой Алексій.—II, 109, 197, 225—259, 271.

Толстой, Левъ.—I, 153, 195, 585, 603—662, 716; II, 24, 103, 113, 114, 124, 125, 126, 128, 129, 250, 324, 405—428, 431, 468, 470, 561—634, 787.

Томашъ-Муръ.—I, 753.

«Тонкий человекъ», пов. Некрасова.—II, 360.

«Торговая Волга», Зарубина.—I, 128, 135.

«Торивато-Тассо», др. Кукольника.—I, 373; II, 769, 772.

«То, чего не было», ск. Гаршина.—II, 581.

Тредьяковский.—I, 300; II, 382, 476, 739, 740, 742.

«Три письма», разск. Гл. Успенскаго.—II, 516.

«Три смерти», Л. Толстого.—I, 644.

«Три страны свѣта», ром. Некрасова.—II, 356, 359, 360, 361.

«Трудное время», пов. В. Стѣпцова.—II, 507.

«Трудъ мужчинъ и женщинъ», Л. Толстого.—II, 593—599.

«Трусы», разск. Гаршина.—II, 520, 523.

Тургеневъ, А. И.—I, 350; II, 831, 835, 840, 879.

Тургеневъ И. С.—I, 1—30, 36, 39—47, 57, 61, 73, 75, 128, 131, 148, 167, 169, 170, 242, 243, 248, 282, 364, 380, 436, 437, 453, 454, 455, 481, 497, 501, 502, 527, 716, 726, 775, 783; II, 3, 99, 136, 205, 223, 248, 250, 347, 352, 353, 373, 391, 470, 641, 709, 713, 770, 795.

«Тургеневъ и Гончаровъ», ст. Д. Писарева.—I, 167.

«Тысяча душъ», ром. Писемскаго.—I, 36, 550; II, 1, 136.

Тьеръ.—I, 724.

Тютчевъ.—I, 501, 666; II, 280, 245, 306.

## У.

Уландъ.—II, 109, 240, 771.

«Университетская наука», ст. Писарева.—I, 148, 149, 153, 166, 169, 215.

«Уронъ холостымъ», ком. Загоскина.—II, 685.

Успенскій, Гл.—I, 571—604, 632, 697; II, 99, 101, 111, 310, 468, 478, 479—500, 516, 528, 530, 541—545, 546, 548.

Успенскій, Н.—I, 128—132, 135, 139, 571; т. II, 325.

«Устои, исторія одной деревни», Н. Златовратскаго.—II, 542, 546—560.

«Утро помещика», пов. Л. Толстого.—I, 613, 622, 627, 632; II, 605.

«Учебная книга русской словесности», Греча.—I, 429.

## Ф.

«Фаустъ», Гете.—I, 420, 573, 663; II, 599, 641.

«Фаустъ», пов. И. С. Тургенева.—I, 37.

Федоровъ, П.—II, 746.

**Фейербах.**—I, 759, 768; II, 373.  
**«Femmes qui tuent et femmes qui votent»,** par Al. Dumas fils. Paris 1880.—II, 439—464.  
**Фетъ.**—I, 141, 174, 501, 666; II, 101, 230, 245, 269, 306.  
**Фильдингъ.**—II, 862.  
**Фихте.**—I, 287, 409, 410.  
**Флоберъ.**—II, 229.  
**Фонвизинъ.**—I, 8, 9, 10, 243, 718, 725; II, 160, 161, 477, 675.  
**Фохтъ.**—I, 13.  
**Фурье.**—I, 295, 338.

## X.

**«Хворая»,** пов. А. Потѣхина.—II, 199, 200.  
**Хоштинская, Н. Д.**—I, 501, 663—698; II, 134, 161—194, 635.  
**Херасковъ.**—II, 653.  
**«Хлѣба и зѣлицъ»,** ром. Шеллера.—II, 197.  
**Хомяковъ, А.**—I, 350, 754; II, 46, 47, 48, 49, 642, 863.  
**«Хорошее житье»,** Н. Успенскаго.—I, 131, 132.  
**«Художники»,** разск. Гаршина.—II, 525.  
**Худяковъ.**—II, 246.

## Ц.

**«Царь Федоръ»,** др. А. Толстого.—II, 255.  
**«Цѣты новиннаго юмора»,** ст. Д. Писарева.—I, 175.  
**Цезарь.**—II, 65.  
**Цертелевъ, ин.**—II, 664.  
**«Цѣхъ ученыхъ»,** ст. Герцена.—I, 504, 767.  
**Цицеронъ.**—I, 474, 475.  
**«Цыганы»,** поэма Пушкина.—I, 212; II, 738, 854, 855, 861.

## Ч.

**Чадловъ.**—I, 315, 332, 354—355, 367, 369, 527, 740, 744, 763; II, 845, 846, 863.  
**Чаевъ, Н.**—II, 92, 109, 112, 113, 128—132.

**«Черная женщина»,** ром. Греча.—I, 429.  
**«Черная работа»,** разск. Гл. Успенскаго.—II, 483, 484, 495.  
**«Черный годъ или Горскіе князья»,** Нарѣжнаго.—II, 659.  
**«Черты для характеристики русскаго простонародья»,** ст. Добролюбова.—I, 564.  
**«Черноземныя поля»,** ром. Евг. Маркова.—II, 197, 198, 200.  
**«Четыре дня»,** разск. Гаршина.—II, 520, 522.  
**«Чиновникъ»,** стих. Некрасова.—II, 351.  
**«Что такое обломовщина?»,** ст. Добролюбова.—I, 557.  
**«Чудный мальчикъ»,** ск. Вагнера.—I, 702.  
**«Чужое добро въ прокъ не идетъ»,** др. А. Потѣхина.—II, 153.  
**Чуровскій, А.**—II, 746.

## Ш.

**Шаликовъ, ин.**—II, 718.  
**Шапель.**—II, 838.  
**Шассонъ (Людвикъ).**—II, 457.  
**Шатобрианъ.**—I, 288, 295, 298.  
**Шатрианъ.**—I, 269.  
**Шаховской, ин.**—II, 685, 687, 688, 698.  
**«Швей»,** ск. Вагнера.—I, 710, 711.  
**Шевченко.**—I, 141, 142; II, 230.  
**Шевыревъ, С. П.**—I, 335, 348, 356, 367, 377, 378, 379, 394, 396, 397, 400, 401, 407, 419, 719, 721, 863.  
**Шекспиръ.**—I, 69, 72, 122, 123, 219, 401, 415, 426, 521, 573, 574, 581, 760; II, 19, 154, 167, 194, 238, 258, 465, 737, 771, 795, 861, 862.  
**Шеллеръ.**—I, 606; II, 1—30, 102, 197, 198, 199, 201.  
**Шеллингъ.**—I, 1, 3, 332, 333, 334, 338, 340, 342, 343, 345, 352, 355, 361, 362, 366, 398, 404, 409, 415, 521, 715.  
**Шенье.**—II, 239, 245, 838, 854, 867.  
**Шерръ.**—I, 122.  
**«Шигоны»,** романъ. М. 1834.—II, 746.

**Шиллеръ.**—I, 288, 292, 310, 383, 390, 401, 402, 405, 408, 415, 421, 422, 423, 445, 517, 518, 749, 760, 764; II, 154, 238, 240, 737, 771.  
**Шиншина, О.**—II, 746, 782, 790, 791, 792.  
**Шишковъ.**—I, 345; II, 663.  
**Шлоссеръ.**—I, 13, 290.  
**Шопенгауеръ.**—II, 563.  
**Шпилягенъ.**—I, 85—112, 268, 307.  
**Штейнталь.**—I, 149.  
**Шульце-Деличъ.**—I, 87, 88, 89, 90.  
**Шульцъ.**—II, 31.

## Щ.

**Щедринъ, см. Салтыковъ.**  
**Щербина.**—II, 247.

## З.

**Здельсонъ.**—I, 63, 65.  
**«Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни воины»,** пов. Поводворскаго.—II, 503, 504, 505, 510, 511, 515.  
**Зсхиль.**—I, 439, 581.  
**Зразъ Роттердамскій.**—I, 663, 781; —II, 475.

## Ю.

**Ювеналъ.**—I, 439, 782.  
**Юнгъ-Штилингъ.**—I, 290, 291.  
**«Юность»,** раз. Л. Толстого.—I, 612, 614, 622;—II, 24.  
**«Юрій Милославскій»,** ром. Загоскина.—I, 594; II, 5, 657, 665, 682, 684, 687—696, 697, 698, 711, 712, 725, 727, 734, 786, 791.

## Я.

**«Явленія русской жизни подъ критикою эстетики»,** К. Случевскаго.—I, 63, 65, 66.  
**Языковъ.**—I, 350.  
**Якубовичъ.**—II, 664.  
**Якушкинъ, П.**—I, 128, 135—137.  
**Ясинскій.**—II, 501, 502, 530.





313 17 1 43

*One*

Hoover Institution Library  
3 6105 071 539 014

**STANFORD LIBRARIES**

To avoid fine, this book should be returned on  
or before the date last stamped below

SON-9-40

~~OUT TO~~

FOR USE IN  
LIBRARY ONLY

~~1971 12~~

*PG 3011*

*L 626*

*V 2*

*541116*

